

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Св. митр. Иларион | Коялович М. О. | Соловьев В. С. |
| Св. Нил Сорский | Лешков В. Н. | Бердяев Н. А. |
| Св. Иосиф Волоцкий | Погодин М. П. | Булгаков С. Н. |
| Москва – Третий Рим | Беляев И. Д. | Трубецкой Е. Н. |
| Иван Грозный | Филиппов Т. И. | Хомяков Д. А. |
| «Домострой» | Гиляров-Платонов Н. П. | Шарапов С. Ф. |
| Посошков И. Т. | Страхов Н. Н. | Щербатов А. Г. |
| Ломоносов М. В. | Данилевский Н. Я. | Розанов В. В. |
| Болотов А. Т. | Достоевский Ф. М. | Флоровский Г. В. |
| Пушкин А. С. | Одоевский В. Ф. | Ильин И. А. |
| Гоголь Н. В. | Григорьев А. А. | Нилус С. А. |
| Тютчев Ф. И. | Мещерский В. П. | Меньшиков М. О. |
| Св. Серафим Саровский | Катков М. Н. | Митр. Антоний Храповицкий |
| Шишков А. С. | Леонтьев К. Н. | Поселянин Е. Н. |
| Муравьев А. Н. | Победоносцев К. П. | Солоневич И. Л. |
| Киреевский И. В. | Фадеев Р. А. | Св. архиеп. Иларион (Троицкий) |
| Хомяков А. С. | Киреев А. А. | Башилов Б. |
| Аксаков И. С. | Черняев М. Г. | Концевич И. М. |
| Аксаков К. С. | Ламанский В. И. | Зеньковский В. В. |
| Самарин Ю. Ф. | Астафьев П. Е. | Митр. Иоанн (Снычев) |
| Валуев Д. А. | Св. Иоанн Кронштадтский | Белов В. И. |
| Черкасский В. А. | Архиеп. Никон (Рождественский) | Лобанов М. П. |
| Гильфердинг А. Ф. | Тихомиров Л. А. | Распутин В. Г. |
| Кошелев А. И. | Суворин А. С. | Шафаревич И. Р. |
| Кавелин К. Д. | | |

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ

НАРОДНАЯ
ДУША И СИЛА
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2012

УДК 1(470)(091)

ББК 87(3)2

Р 64

Розанов В. В.

Р 64 Народная душа и сила национальности / Сост., предисл.,
указ. имен и прим. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, 2012. – 992 с.

В книге публикуются важнейшие труды великого русского мыслителя, писателя, публициста Василия Васильевича Розанова (1856–1919). По своим взглядам он был близок к славянофилам, разделял с ними веру в начала соборности, общинности, артельности, видел в полном развитии этих начал обещание жизни «более высокой, гармоничной и примерной, нежели в какой томится Европа».

Важнейшим вопросом общественной жизни Розанов считал семью, тесно связывая ее с темой пола. Именно через пол, полагал он, человек связан со всей природой. Пол – мистическая, глубинная тайна, которая не может быть познана. «Связь пола с Богом – большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом».

Особое внимание Розанов уделял еврейскому вопросу, считая его ключевым вопросом всемирной истории, усматривая в сионизме громадную антихристианскую силу, подрывающую мировую культуру.

ISBN 978-5-4261-0013-8

© Институт русской цивилизации, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Василий Васильевич Розанов родился 20 апреля (2 мая) 1856 г. в уездном городке Ветлуге Костромской губернии. Отца он лишился на пятом году своей жизни; мать Надежда Ивановна Розанова (урожденная Шишкина, о дворянском происхождении которой В. В. Розанов вспоминал с гордостью, как и о своем деде-священнике) после смерти мужа перебралась с семьей детьми в Кострому, где у них был небольшой домик, сад и огород. Семья всегда бедствовала; жили на пенсию отца. Позднее В. В. Розанов, вспоминая о своем детстве, писал, что все они голодали по целым неделям, не было условий для обучения, не было учебников, дети учились скверно. Истерзанная нуждой, мать умерла, когда Василию было четырнадцать лет.

В 1870 г. старший брат Николай, окончивший Казанский университет и получивший должность учителя гимназии, заменил отца двум младшим братьям — Василию и Сергею, — перевез их в Симбирск, ставший им «духовной» родиной. Брат был умеренных, консервативных взглядов, ценил творчество Н. Я. Данилевского и М. Н. Каткова, уважал государство, любил свою нацию. Никогда Василий Розанов не читал так много, как в Симбирской публичной библиотеке им. Н. М. Карамзина. Без «Карамзинки» невозможно представить «становление юной души». В Нижегородской гимназии, куда в 1873 г. перевели старшего брата, Василий Розанов пережил бурное увлечение идеями позитивизма, социализма и атеизма И. Бентама, Ф. Лассаля, Н. Макиавелли, Д.-С. Милля, К. Фохта, сочинений В. Г. Белинского, Д. И. Писарева, Н. А. Добролюбова, Н. А. Не-

красова. В это время стихи Н. А. Некрасова для него заслонили не только творчество А. С. Пушкина, но до известной степени и всю русскую литературу. Л. Н. Толстого он читал мало, Н. Е. Салтыкова-Щедрина не читал вообще. Любовь к творчеству Ф. М. Достоевского началась с Нижнего Новгорода и длилась всю жизнь. От первых нижегородских прочтений романов Ф. М. Достоевского через розановскую книгу «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1891) до проныцательных записей о Ф. М. Достоевском в «Мимолетном» (1914—1916) великий русский писатель стал для В. В. Розанова «родным» и «своим», а его мысли сопровождали его всегда.

В годы обучения (1878—1882) на историко-филологическом факультете Московского университета В. В. Розанов уже не был безбожником. Бог для него — «мой дом», «мой угол», «родное». В университете он еще застал старых профессоров: В. И. Герье (всеобщая история), М. М. Троицкого (история философии), Н. И. Стороженко (всеобщая литература), Ф. И. Буслаева (русская литература) и др. Но главным для становления мировоззрения оказались не столько лекции, сколько углубленная внутренняя работа. На третьем курсе им были написаны первые философские исследования: «Цель человеческой жизни» и «Об основаниях теории поведения» (за последнее ему присудили университетскую премию). Однако пробудившийся в студенческие годы серьезный интерес В. В. Розанова к философии столкнулся с рутинной всей системы преподавания. Он был поражен, что студентам не преподносилась сама идея «науки в целом», не вырабатывалось у них представление о «всеобщности и универсальности знаний». И он стал испытывать совершенно беспричинную скуку. Все рациональное, отчетливое, позитивное явно наскучило ему.

В январе 1881 г., когда студенты из большой аудитории спускались вниз по лестнице, кто-то произнес: «Достоевский умер... Телеграмма». Эта весть потрясла В. В. Розанова: «...Значит, живого я никогда не могу его увидеть? и не услышу, какой у него голос! А это так важно: голос решает о человеке все...». В начале того же 1881 г. в жизни студента четвер-

того курса Василия Розанова произошло событие, связанное с именем великого писателя. Он женился на Аполлинарии Прокофьевне Суловой, бывшей возлюбленной Ф. М. Достоевского. Брак с женщиной, старше своего супруга на 17 лет, был бесплоден и «нечист»: между женой и мужем не было совершенного и надлежащего целомудрия. Детей у них не было по причине болезни А. П. Суловой, чему она была очень рада. («Куда бы я пошла с детьми, когда муж такой мерзавец и ничтожество»). Совместная жизнь оказалась совершенно неудачной, а брак — трагичным для будущей семейной жизни Василия Васильевича.

По окончании университета В. В. Розанов был направлен на должность учителя истории и географии в Брянскую прогимназию. Брянск — уездный городок черноземной полосы России, утопающий в золотистых лучах солнца, встретил «молodoженов» любопытствующими не без изумления взглядами нарядных барынек, тянущихся по тротуару из небольшой, белой и красивой церкви. Старинный, древнейший городок, каких в России сотни, был беден. Из шестнадцати тысяч жителей половина состояла из домохозяйств безграмотного или малограмотного мещанства и из другой половины приезжих: чиновников, учителей, врачей и дельцов. Приезжие люди («колониисты») лечили, учили мещан, управляли ими, покупали в их лавочках провизию, табак, снимали у них квартиры, тем самым рассеивали в городской массе свое жалование. Было здесь и промышленное предприятие, но мещане смотрели на него как на чудище рядом с собою, сплав богатства и силы, мудрости и науки, принесенной «из-за моря» и поставленной около небольших домиков без спроса их жителей, без их нужды. Женщины постоянно пили чай, который подавался утром, в середине дня, вечером и еще всякий раз, если кто-либо придет в гости, а в гости друг к другу ходили постоянно, целыми семьями и с детьми. Мужчины сильно, яростно и рискованно играли в карты: проигрывали и выигрывали.

Десять лет В. В. Розанов преподавал историю и географию в Брянской прогимназии (с 1882 г.), Елецкой гимназии

(с 1887 г.), в Бельской прогимназии (с 1891 г.). Здесь, в глухой провинции, среди казенщины, серости и скуки в течение пяти лет он писал свое первое большое (737 с.) философское сочинение «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Полемизируя с профессорами Московского университета (прежде всего с бестолкового «разума» приверженцем английской опытной психологии и индуктивной логики профессором М. М. Троицким, «бэконянцем»), В. В. Розанов выступил действительно «философом», умеющим мыслить и писать в строгой академической манере с инстинктом прилежания к теме и упорством огромного труда. Он издержал свыше 1000 рублей своих денег, заплаченных за издание 600 экземпляров книги, которые в течение пяти лет вычитались автором по 20—25 рублей ежемесячно из скромной зарплаты педагога. Современники (за исключением небольшого круга глубоких и творческих натур единомышленников) не поняли и не приняли книгу «О понимании», отрицательные рецензии на которую Л. З. Слонимского в «Вестнике Европы» и анонимного критика в «Русской мысли» способствовали тому, что совершенно отбили охоту у читателей к трактату молодого исследователя. А он удивлялся: каким образом при восьми университетах и четырех духовных академиях не появилось совершенно никакого отзыва и никакого мнения о большой книге? Самое обидное, что насмеялась над ним жена А. П. Суслова и даже оскорбляла, говоря, что «он пишет какую-то глупую книгу». Молодость она провела за границей, до брака постоянно жила в столицах; совершенно очевидно, что скучала в провинции, тяготилась службой мужа-учителя в гимназии и не интересовалась учительской обстановкой, скромными и порядочными людьми, составлявшими уездное общество. В другое время она «наделала бы дел», тут же она безвременно увядала. Женщина сильного воображения, добрая в порывах, но и беспощадная со всяким, стоящим поперек ее самых фантастических желаний, она руководствовалась в жизни не реальными обстоятельствами,

не действительными потребностями, но прихотью. Лучшее ее удовольствие — нести знакомым «всякую околесицу» на мужа, выказывать к нему презрение. Любви не оставалось уже ни капли, был парализующий страх и желание: сохранить мир в семье. Но мира этого не было. Брак распадался.

В годы учительства В. В. Розанову неожиданно легко и быстро удалось вступить в переписку с такими видными представителями русского консерватизма XIX в., как Н. Н. Страхов и К. Н. Леонтьев, сыгравшими важнейшую роль в его становлении как мыслителя. 80-е гг. XIX в. — **время торжества позитивизма**, когда все настоящие русские мыслители, буквально задыхаясь в душной атмосфере усредненного сциентизма и либеральной риторики, чувствовали себя «литературными изгнанниками» и были рады каждому молодому приверженцу дорогих им православно-славянофильских взглядов. Живая впечатлительность, отзывчивость молодого провинциального мыслителя, горячая поддержка им консерватизма и глубокое понимание трагического одиночества своих корреспондентов позволили ему за короткое время стать близким для каждого из них человеком. «Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, — писал В. В. Розанов в «Опавших листьях». — Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то* не мог любить, не только много, но и ни капельки... Любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева».

Особенно В. В. Розанов не любил Вл. Соловьева, который всегда был в «излишней славе». Творчество Вл. Соловьева, по убеждению автора «Мимолетного», не вписывается в ряд русской философии XIX в. — **прибежища «тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов»**, потому что Вл. Соловьев был только «шум» и «суета», «самолюбие его было всепоглощающее». Какой же это философ, пусть даже один из даровитейших? В оценке В. В. Розанова, Вл. Соловьев — вечный ветер, а «все сочинения» его были «падучие звездочки», — и каждая переставала

гореть почти раньше, чем вы успевали загадать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его «желание вечно оскорблять»... Его полемика с Н. Н. Страховым по поводу учения о культурно-исторических типах Н. Я. Данилевского «до того чудовищна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно газетному языку». На В. В. Розанова Вл. Соловьев производил впечатление какого-то «ненасытного завидования, ревнования к другим и — оклеветания». Вл. Соловьев почти не мог выносить похвалы другому или даже тайного, лишь «вырывающегося» восхищения к другому. Рожденный от русского отца и матери-хохлушки Вл. Соловьев был таинственным и трагическим образом совершенно не русским, не имея даже *йоты* «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли — неведомо». Как ни странно, он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок.

В. В. Розанов выделял *два вида* писательства: 1) полет и 2) постройку. Надежны книги только вторых, а первые лишь увлекают. Так вот, Н. Н. Страхова он относил к *строителям*, тогда как Вл. Соловьева, напротив, — к *полетчикам*. Разве не даровитый человек этот Вл. Соловьев, разве дурно владеет словом? Но неисцелимая путаница мысли, не дающая ничему созреть и сложиться, сумбур самых высоких понятий, полная воля извержения всяких слов и мыслей — погубили все плоды, которые мог бы принести этот талант.

Разбирая одну из полемических статей Н. Н. Страхова «Наша культура», молодой корреспондент этого мэтра русского консерватизма посетовал ему: «Нет в ней *одного* тона, но есть много резких вскрикиваний». Н. Н. Страхов, согласившись со справедливостью такой оценки, отвечал: «Но если бы я задался *одним* тоном, было бы хуже, вышло бы не сердито, а злобно». Замечание глубоко тонкое. Дело в том, что во всем славянофильстве нельзя найти *ни одной злобной страницы*, — и «бедные» славянофилы именно только «вскрикивали», когда палачи — поистине палачи! — ради-

кального западничества жгли их крапивой, розгой, палкой, колом, бревном... Да, это мученики русской мысли: и в полемике с Н. Н. Страховым «торжествующий» Вл. Соловьев со своим тоном «всегдашнего победителя» был мучителем. Н. Н. Страхов спорил, строил аргументы; Вл. Соловьев хорошо знал, что дело «в настроении», и, не опровергая или слегка опровергая аргументы, обжигал противника смехом, остроумием и намеками на «ретроградность» и «прислужничество правительству» как покойного Н. Я. Данилевского, так и «недалекого уже до могилы» Н. Н. Страхова.

Так, в полемике с Н. Н. Страховым Вл. Соловьев договорился до того, что обвинил Н. Я. Данилевского в заимствовании основного понятия «*культурно-исторический тип*» из «Учебной книги всеобщей истории в органическом изложении» немецкого историка Г. Рюккерта, которая появилась за двенадцать лет до публикации «России и Европы». Подчеркивая абсурдность соловьевских обвинений в заимствовании с точки зрения логики, здравого смысла и черт характера Н. Я. Данилевского, В. В. Розанов в своих «Литературных изгнанниках» отмечал, что чисто психологически всякий «заимствователь», как правило, робок к чужим мыслям, а в их изложении и во все неуклюж или неумел. Но только очень недальновидный человек «не отличит творца, инициатора от последователя, заимствователя». Такого недальновидного читателя «Россия и Европа» нашла в лице своего критика. Между тем «дар компиляции» — это именно «очень тонкий, ажурный» дар; Вл. Соловьев не смог разглядеть, что даже «самый ум Данилевского был не компилятивный». Если уж русский антидарвинист имел смелость публично выступать против известнейшего натуралиста Дарвина, то странно было бы вообразить, что «он начнет компилировать с безвестного Рюккерта».

Во всей этой полемике, сплетшей наиболее либеральный венок Вл. Соловьеву, он был отвратителен именно *нравственно*... Тихого и милого добра, нашего русского добра, — добра наших домов и семей, нося которое в душе, мы и получаем способность различать нюхом добро в мире, добро в Космосе,

добро в Европе, — не было у Вл. Соловьева. Он весь был блестящий, холодный, стальной (поразительный стальной смех был у него — «ужасный смех Соловьева»)... Несомненно, что он себя считал и *чувствовал* выше всех окружающих людей, выше России, ее Церкви... Только «одно *мое* лицо», «единственно *мое*» и до скончания веков только «*мое, мое*»!!! И — ради Бога, «никакого *еще* лица». Жажда потушить чужое лицо (воистину, «*человекоубийца* был искони») была пожирающею в Соловьеве, и он мог «любить» именно студентиков, «приходящих к нему», «у двери своей», «курсисточек», или — мелких литераторов, с которыми вечно возился, и окружал себя (всегда на «ты»), «журнальной компанией», «редакционной компанией», да еще скромными членами «Московского психологического общества», среди всех этих студентов чувствовал себя «богом, пророком и царем», «магом и мудрецом». В нем глубочайше отсутствовало чувство *уравнения себя с другими*, чувство *счастья себя в уравнении*, радости о другом и о достоинстве другого. «Товарищество» и «дружба» (со всеми на «ты») совершенно были исключены из него, и он ничего не понимал в окружающих, кроме рабства, и всех жестко или ласково, но большею частью ласково (т. е. наиболее могущественно и удачно) — гнул к неперемennomу «побудь слугою около меня», «поноси за мной платок» (платок пророка), «поддержки надо мной зонтик» (как опахало над фараоном-царем). В нем было что-то урожденное и вдохновенное и гениальное от грядущего «царя демократии», причем он со всяким «Ванькой» будет на «ты», но только не он над «Ванькою», а «Ванька» над ним пусть поддержит зонтик. Эта тайная смесь глубоко демократического братства с ужасающим высокомерием над братьями, до обращения их всех в пыль и ноль, *при наружном равенстве*, при наружных объятиях, при наружных рукопожатиях, при самых «простецких» со всеми отношениях, до «спанья кажется бы вповалку», — и с секретным уходом в 12 часов ночи в свою одинокую моленную, ото всех сокрытую, — здесь самая сущность Соловьева и его великого «solo-один». Поэтому В. В. Розанов стоял на стороне Н. Н. Страхова,

который везде только расчищал дорогу от подобного рода *соловьевых* в русской культуре, а потом как бы говорил: «Скажите мне спасибо и ступайте сами!»

В отличие от Вл. Соловьева В. В. Розанов относил Н. Н. Страхова и его друга Н. Я. Данилевского к «*строителям*». Н. Я. Данилевский *выстроил* две громадные концепции, из которых одна *положительная* по содержанию, другая — *отрицательная*. Первая — теория культурно-исторических типов, развитая в книге «Россия и Европа»; вторая — критика дарвинизма, изложенная в двух томах сочинения «Дарвинизм. Критическое исследование». По своему универсальному значению они не только высоко возвышаются над умственной деятельностью русского общества, но имеют и мировое значение. «Учение первых славянофилов, Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, — это наше домашнее дело, наше сознание о себе, и оно не имеет общечеловеческого интереса; но теория культурных типов, — утверждал В. В. Розанов, — это уже философия истории, это высокая публицистика, которая бьется, тоскует, страдает на рубеже двух цивилизаций, в сущности с любовью к той и другой, но более, чем с любовью к ним, — с любовью к жизни, к человеку, с отвращением и страхом перед разложением, смертью...» Н. Я. Данилевский всегда видел главную идею, ради которой трудился, и, по оценке В. В. Розанова, был *строителем-«архитектором»*. Напротив, Н. Н. Страхов — это *строитель-«ювелир»*, всегда точивший и обтачивающий чужие мысли и идеи, чужие замыслы и порывы. Вся его работа на протяжении жизни в разнообразных областях, где он трудился, — в биологии, механике, психологии, метафизике — *критическая*. «Мыслей создано достаточно, — считал Н. Н. Страхов, — и незачем выдумывать новых; но прекрасные мысли местами не так сказаны, местами неверно восприняты, и в общем до сих пор мало связаны и частью не продуманы еще». Он всю жизнь «продумывал» чужие мысли; и они отличались чрезвычайной сложностью и тонкостью, несмотря на совершенную прозрачность языка. С неудержимой силой его мысли влекутся к неясным сторонам в жизни

природы, во всемирной истории и в общественных вопросах. Н. Н. Страхов всегда стоял близ «вечных истин»; вся тайна Н. Н. Страхова — «в мудрой жизни и мудрости созерцания». Сюда он и звал своих читателей, сюда-то он и *сам пришел*. «Чрезвычайная вдумчивость» есть главная особенность умственных дарований Н. Н. Страхова, — полагал В. В. Розанов, — именно она сообщает всю прелесть его сочинениям. Их можно и должно вновь и вновь перечитывать, а при перечитывании переживать их вторичным, *свежим* переживанием. Страницам и строкам книг тихого, благородного писателя, каким был Н. Н. Страхов, недостает силы удара, они не «режут бумагу» пером, а будто разрисовывают ее тихой кисточкой. Рисунок акварелей здесь носит специальное изящество. И вот с этим философом-аналитиком консервативного направления русской мысли, биологом, литературным критиком, публицистом, которого В. В. Розанов впоследствии называл не иначе как своим «крестным отцом» в литературе, с января 1888 г. завязалась оживленная переписка. Николай Николаевич Страхов на склоне своих лет встретил в молодом авторе работы «О понимании» большую гибкость ума, лихорадочную возбужденность юноши и рвение к истине.

Н. Н. Страхов знал пять иностранных языков, был прекрасным специалистом, знающим философию, биологию, математику и механику, утонченным литературным критиком, которому, однако, *некуда было*, кроме мало платившего «Русского вестника», свою статью пристроить, и у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю. Если сравнить убогую жизнь Ф. М. Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стояли извозчичьи дворы и обитали по комнатушкам проститутки, — с жизнью женатого на еврейке-миллионерке М. М. Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и «оппозиционная редакция» «Вестника Европы»; если сравнить жизнь вечно больного и всегда безденежного К. Н. Леонтьева с жизнью литературного магната Г. Е. Благовосветлова из «Дела», то легко понять, что нигилисты в России давно догадались, где

«раки зимуют», и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью *неимущего — к имущему*. Молодой В. В. Розанов сразу понял, что в России «быть в оппозиции» — значит любить и уважать Государя, а быть нигилистом, «быть бунтовщиком» — значит «*лизать пятки у богатого*», быть «*прихлебателем у знатного*»! И В. В. Розанов примкнул к консерватизму Н. Н. Страхова и К. Н. Леонтьева. Это общение дало ему многое. Но и он сполна отблагодарил «крестных отцов» своей литературной деятельностью, расширивших его жизненные горизонты и помогавших преодолевать тяготы провинциальной рутины, а потом и перебраться в столицу, — он стал впоследствии ревностным популяризатором и глубоким истолкователем их творческой деятельности, причем каждый раз подкрепляя свои суждения личными впечатлениями.

В. В. Розанов написал две превосходные статьи о творчестве Н. Н. Страхова. Николай Николаевич благодарил: «Целую Вас от всей души, дорогой Василий Васильевич, за Вашу статью обо мне. Не думал я, что доживу до такой оценки, и когда я читал... слезы выступали у меня на глазах (я ведь старик)». Н. Н. Страхов был растроган определением, которое дал ему В. В. Розанов, — «деятель умственного воспитания читателей». Но это действительно так, ибо Н. Н. Страхов всегда «болел» о читателе, о путанице в его уме и о притуплении в русских людях нравственных вкусов. Сердечно благодаря В. В. Розанова, он констатировал, что «почти все, что прямо ко мне относится, очень хорошо; что же касается до рассуждения о славянофилах и западниках, то оно очень остроумно и глубоко». Старейшему Н. Н. Страхову было «всегда совестно читать длинные и прекрасные письма» В. В. Розанова. До похвал Н. Н. Страхов, признаться, был «жаден», не то что, скажем, западники. Все они «наелись до отвалу славы, взаимно кормя друг друга восхвалениями». Н. Н. Страхов все же больше не благодарил В. В. Розанова, а давал молодому коллеге советы.

Первый совет: учиться по-немецки. Работы Бэра, Канта, Гегеля к тому времени не были достаточно хорошо переведе-

ны, а посему, если В. В. Розанов хотел бы двигаться свободно в области мысли, то этого нельзя было сделать, не зная по-немецки. *Второй совет*: чужие мысли только помогают своим, поэтому во множестве книг надо искать и находить только *свое*. В этом и состоит настоящее чтение, т. е. такое, когда мысль работает вполне бодро. *Третий*, главный и необходимый страховский *совет* В. В. Розанову, желавшему прекратить карьеру провинциального учителя и «зарабатывать деньги писанием»: писать статьи небольших размеров, ибо при обилии розановских мыслей и легкости их изложения, — полагал он, — это должно быть не трудным делом; «из длинного всегда можно сделать короткое, но не наоборот». Лучше всего писать о русской литературе: о Ф. М. Достоевском, И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом, М. Е. Щедрина, Н. С. Лескове, Г. И. Успенском и т. п., где В. В. Розанов мог сказать много дельного.

«Хорошо советовать, трудно исполнить, — ворчал В. В. Розанов. — Всякий *написанный* труд созидает в голове написавшего *форму*, которая неодолимо хочет подчинить себе *следующий труд*... Должно было не год, не два уйти на какое-то *молекулярное перестраивание мозга*, когда «парение» посократилось, и я сделался способен написать «лирическую журнальную статью» листов на 7—8—10 печатных: причем «музыку» мог продолжать сколько угодно». Поначалу получались объемные произведения: «Сумерки просвещения», «Легенда об инквизиторе», «Эстетическое понимание истории» и др. Как некоему чуду и удаче он удивлялся и радовался, если удавалось написать статью только в один печатный лист. Когда же В. В. Розанов перешел работать в газету — писать фельетоны в 700 строк, — его душа возопила: «Не могу!!», «Мало места!!», «Дух не входит», но нужда заставляла: «пиши», «умей». И Розанов внял советам своего «крестного отца» в литературе. С годами, «все сокращаясь в форме», помятуя о страховских советах, он в пору расцвета своей литературной деятельности дошел до статей не очень длинных, но с которыми «легко дышится». Статьи о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове, И. В. Киреевском и А. С. Хомякове, В. Г. Белинском и А. И. Гер-

цене, Ап. Ал. Григорьеве и Н. Я. Данилевском, А. С. Суворине и М. Н. Каткове, Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом, Н. В. Гоголе и А. П. Чехове были небольшими по объему, но емкими по содержанию с удивительно точной и неповторимой характеристикой, а от некоторых из них исходит особый розановский аромат личных встреч и бесед с героями его заметок, публиковавшихся в «Новом времени», «Новом пути», «Новом слове», «Русском слове», «Московских ведомостях», «Весакх», «Колоколе», «Мире искусств» и др. Статьи В. В. Розанова «не залежатся», но будут тотчас прочитаны и оценены не только в газетах, но и журналах: в «Русском вестнике», «Вопросах философии и психологии», «Русском обозрении», «Журнале Министерства Народного Просвещения» и др., в которых он с подачи Н. Н. Страхова публиковался.

Особо «привлекательнейшим образцом русской литературы» был для В. В. Розанова Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891). Летом 1890 г., бродя по летнему саду в г. Ельце, В. В. Розанов зашел в читальню, случайно открыл новый номер «Русского вестника», в котором была опубликована статья «Анализ, стиль и веяние», и был поражен новизною мысли неизвестного ему автора. Мыслитель консервативного направления имел силу высказывать то, о чем никто в лицо обществу и читателям не говорил. В К. Н. Леонтьеве чувствовался «аристократ ума». Заинтересовавшись леонтьевскими идеями, В. В. Розанов спрашивал в письмах к Ю. Н. Говорухе-Отроку и Н. Н. Страхову о творчестве и самой личности К. Н. Леонтьева, просил прислать его фотографию и книги, а получив их, стал жадно читать, особенно «Восток, Россию и славянство». «Книга К. Н. Леонтьева замечательна, — отвечал ему Н. Н. Страхов, — и я рад, что Вы ее прочитали и что она Вам понравилась. Это — эстетический славянофил, который увлекается и религиею, и народностью, и гордостью, и смирением, и всем на свете. Он очень чуток, и пишет изящно; беда у него одна: много вкуса и мало денег и здоровья». Ю. Н. Говоруха-Отрок выслал ему в Елец несколько экземпляров брошюры К. Н. Леонтьева «Наши

новые христиане». В. В. Розанов был ошеломлен удивительной леонтьевской характеристикой «ложности и некоторой фальшивости стиля» Пушкинской речи Ф. М. Достоевского. Однако, несмотря на леонтьевское развенчивание «морализма» речи великого писателя, В. В. Розанова неизъяснимо привлекало: 1) что Достоевский до того охватил все вопросы духовной жизни нашего общества, что, говоря о нем, находишься прямо в центре живой, теперешней истории; и 2) он любил его творчество за необыкновенную правоту всех его героев, за то, что, будучи «исковерканы», они никогда не бывают манерны, искусственны, придуманы.

Когда К. Н. Леонтьев узнал от Ю. Н. Говорухи-Отрока о розановском интересе к нему, то прислал в Елец свою фотографию и брошюру «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни», а на другой день и первое письмо. Переписка В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева длилась всего лишь один 1891 год, который для последнего оказался предсмертным. Им не пришлось встретиться, но отношения между ними сразу поднялись таким высоким пламенем, что они вполне стали доверительными друзьями. Правда, при этом «почва была хорошо подготовлена», да и сам В. В. Розанов проходил такой же фазис угрюмого отшельничества, в котором много лет жил 60-летний К. Н. Леонтьев. Из Оптиной Пустыни в Елец потянулись речи-письма, и, наоборот, из Ельца в Оптину Пустынь, где жил не только К. Н. Леонтьев, но и глубоко чтимый многими старец отец Амвросий, одно за другим доставлялись розановские послания: «Ваша теория прогресса и разложения (пневмония как пример выздоровления или умирания, общая формула: прогресс-усложнение, умирание-упрощение, оправдание ее даже на развитии планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд на революцию как на «открывшийся в Европе эгалитарный процесс» и пр., о 1000-летнем росте государств) — все меня поразило, все было ново и, очевидно, истинно («печальная и суровая наука»), и я до последней строчки все принял в свой ум и сердце, потому что, очевидно, и много сердца Вы вложили во все свои писания...»

Что роднило В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева при разнице в возрасте в четверть века? Оба корреспондента кипели негодованием к либерализму. Если у В. В. Розанова источником антилиберального настроения было общее христианское (а вместе с ним и демократическое) чувство, что все люди равны по душам и добряк-консерватор выше прижимистого либерала; то у К. Н. Леонтьева этим источником был «эстетический страх» перед тем, что либерализм своей уравнительностью «подкашивает разнообразие и, следовательно, красоту вещей, социального строя и природы». Более всего В. В. Розанов приковывало к К. Н. Леонтьеву его изумительно чистое сердце, отсутствие всякого притворства и «деланности»... К. Н. Леонтьев представился ему «чистою жемчужиной в своей Оптиной Пустыни». И В. В. Розанов полюбил К. Н. Леонтьева «слепо, не рассуждая», как иногда девица влюбляется в «старого усталого рыцаря». Что-то подсказало, «шепнуло» ему, что Константин Николаевич «любит и молодую Россию, любит нас — молодежь: а «пороть» хочет потому, что мы чем-то его, старого и умного, огорчили». И, сделавшись в значительной степени под влиянием К. Н. Леонтьева более жестким в литературе, более взыскательным и неумолимым в требованиях к самому себе, в своих письмах В. В. Розанов выводил: «Вы поняли прогресс и медленную революцию (разложение), дали теорию процесса; силу же, которая движет этот процесс... Насколько будет моих сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в восполнении этого недостатка».

В. В. Розанов взялся за написание большой работы о творчестве своего корреспондента из Оптиной Пустыни с весьма примечательным названием «Эстетическое понимание истории», где проанализировал главное достижение леонтьевской публицистики — закон жизни и смерти всякой органической целостности, который гласил: «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, *сперва уравниваясь и смешиваясь внутренно*, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую «Нирвану»». В жизни растений,

животных, человека, и в развитии государственных организмов и культур мира К. Н. Леонтьев выделял три периода: а) *первичной простоты*, б) *цветущей сложности* и в) *вторичного смесительного упрощения*. Леонтьевскую концепцию развития органического мира В. В. Розанов понимал как восхождение от простейшего к сложнейшему, как постепенную индивидуализацию, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов. Развитие для русского органициста — это «постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности», постепенное усложнение составляющих элементов, увеличение внутреннего богатства и укрепление единства. Поэтому «высшая точка развития» органических тел есть «высшая степень сложности». Главным признаком высшего напряжения жизни в леонтьевской органицистской концепции культуры В. В. Розанов считал «разнообразие всех элементов живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от остального, через его отрицание».

Постановка проблемы *среднего человека* — это объективный вывод из леонтьевского анализа нахождения европейской культуры в периоде *вторичного смесительного упрощения*. *Средний человек* менее всего понимает прекрасное, потому он менее всего «выразителен» и «эстетичен». *Средний человек* (мещанин для А. И. Герцена, *Грядущий Хам* для Д. С. Мережковского) — нездоровое существо этого мира, враждебное ему, ибо оторвано, обособлено от традиций своей культуры и противостоит им в качестве «орудия всемирного разрушения». Так зачем же, — спрашивал К. Н. Леонтьев, — обнаруживать по этому поводу холопскую радость? По его мнению, стремление к *среднему* типу — это стремление к прозе, к расстройству государственности, общественный строй которой держится сильными, разнообразными и выразительными человеческими характерами. Совершенно по-гамлетовски он ставил проблему «быть или не быть?» русской нации, увлеченной на «антикультурный и отвратительный путь», по которому теперь движется германо-романский культурно-исторический тип. Вслед за

К. Н. Леонтьевым В. В. Розанов констатировал, что к концу XIX в. в социальной жизни и Европы, и России все люди стали подобны друг другу; все государства имеют приблизительно одну конституцию; они все одинаково воюют и управляются. Во всех городах все та же индустрия и однообразный быт. Европейская культура периода *эгалитарности* ведет «к понижению Духа и Красоты, упрощая и человека, и его потребности, и структуру Социума, и круг интересов, занятий и целей, — спустя сто лет охарактеризовал размышления К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова Г. Д. Гачев. — А уж грядущий затем к власти Работник — и того примитивнее: Красоту, Природу-землю не знает, труда своего не любит (в отличие от земледельца), исполнен зависти да злобы, — какой он может «рай земной» установить, по своим-то понятиям?..»

И рукопись статьи, и розановские письма доставляли жителю Оптиной Пустыни *величайшее* утешение. «Вы до того ясно меня (т. е. мои книги) понимаете, что я даже дивлюсь, — восклицал К. Н. Леонтьев. — Наконец-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали!*...»

Письма были не только теоретического характера, но и на бытовые темы. «*Вы женитесь!* Дай Господь мир и любовь. Не знаю, какова Ваша невеста, но, расположившись к Вам за Ваше ко мне заочное и *неожиданное* сочувствие, — восклицал К. Н. Леонтьев на радостное сообщение своего молодого корреспондента, — и замечая и по статьям Вашим, и по письмам, что Вы человек, *глубоко все чувствующий*, молю Бога, чтобы Он подкрепил Вас на этом, столь скользком в наше время пути!..»

А семейный путь Василия Васильевича с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожденной Рудневой, глубоко православной женщиной, для которой брак был религиозным таинством, действительно, вовсе не был усыпан розами. Тот факт, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучил ее, как грех. Познакомился он с нею, вдовою, оставшейся с 5-летней дочерью на руках в момент внезапной и быстрой кончины товарища по гимназии И. Ф. Петропавлов-

ского, квартировавшего у одной хозяйки (матери Варвары) г. Ельца, которая поразила молодого В. В. Розанова глубоко человеческим состраданием, жалостью и печалью, и стал часто посещать неизвестную ему ранее семью, найдя в ней чистоту душевной атмосферы, не возмущенный новыми условиями уклад древней благочестивой русской жизни. Варвара была исключительно нравственным человеком, совершенно не умела лгать. За двадцать лет совместной жизни ей никогда и в голову не приходила возможность сказать не то, что она определенно думает. В ней он встретил ласку души, тончайшую деликатность, физическую нежность, неуловимо милые манеры, благороднейшее отношение к каждому из родственников. Мать Александра Андриановна Руднева понимала, глядя на спокойное, мягкое отношение кавалера и его любовь к ее дочери, более основанную на уважении, нежели на страсти, что в будущем ее дочь ожидает спокойная и уверенная жизнь. Тревогу вызывало лишь положение женатого (но без жены) человека и отсутствие какого-либо выхода из него, делая тем самым отношение влюбленных весьма скорбным. Помог духовный отец, выразивший свое одобрение на совместную жизнь, и указал на решительного и смелого священника, который согласился бы их венчать в приютской церкви «без записей, без свидетелей, чисто тайно и только для совести», убедив его в необходимости свершения таинства обряда венчания. Священник по-православному обвенчав, сказал: «Помните, Василий Васильевич, что она не имеет, моя дорогая невестка (Варвара была вдовой его покойного брата — А. Б.) никакой другой опоры в жизни, кроме как в Вас, в Вашей чести, любви к ней и сбережении. И Ваш долг перед Богом всегда беречь ее. Других защищает закон, люди. Она — одна, и у нее в мире только один Вы». На что из сердца жениха вырвалось: «Моя Варя одна в мире».

Вообще-то по закону семейного союза Розановых не существовало. Пятеро детей родились «от прохожего молодца»; жена — «блудница», муж, имеющий законную жену, но не проживающий с нею, — «достоин Сибири». «Все — крайне сквер-

но. А для Бога как?» Но прожили они счастливо всю жизнь в любви, ни разу не ссорились, тайно — муж с женой, связанные словом никому ничего не рассказывать; а «для мира» — любовник с любовницей. Совместная жизнь субъективно была очень хороша (вначале, правда, была ужасная нужда), а «вдали и вокруг — темно». Вместе с падчерицей Александрой («Сашошей») у них было пятеро детей, один (шестой) ребенок умер — «все перенесли, ютятся друг возле друга». Дочь Татьяна, родившаяся в 1895 г., у которой воспитанником от купели во время крещения был действительный статский советник Николай Николаевич Страхов, получила, как считающаяся незаконнорожденной, от крестного отца полное имя, отчество и фамилию Татьяна Николаевна Николаева. У дочерей Веры (1896 г.) и Варвары (1898 г.), у которых воспитанником от купели во время крещения как у «незаконнорожденных» был лейтенант морской службы Александр Викторович Шталь, фамилия была Александрова, а отчество — Александровна; сын Василий Александров был по отчеству Александрович. Летом 1902 г., во время болезни Варвары Дмитриевны, в Севастополь, в Крым, где постоянно проживала последние годы «злая старуха», которая «ни за что не давала развода», с оказией отправился товарищ В. В. Розанова по журналу В. А. Тернавцев. Потом он рассказывал, «со вкусом ругаясь, как ни с чем отъехал». Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочетал, того человек не разлучает». «Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой!» — возмущался В. А. Тернавцев. Вспоминая о неистовстве ее ревности, В. В. Розанов говорил, что А. П. Суслова «подстерегала его на улице». И когда, раз, он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину... Старая, она делалась все похотливее и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа... И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене» как к чему-то раз навсегда святому: «Жена» — этим все сказано, а уже какая — второй вопрос.

Беспокоился К. Н. Леонтьев и нежеланием В. В. Розанова служить в Ельце. «Не хотите ли Вы, чтобы Вас перевели в Москву в одну из гимназий?.. Весь вопрос в том, желаете ли Вы в Москву. Мое мнение, что это было бы Вам полезно. Раннюю молодость хорошо провести в провинции; ближе к «почве» и т. п. Но в 37 лет, в период «плодоношения», так сказать, лучше трудиться там, где сбыт «плодов» облегчен всячески». В последующих письмах от К. Н. Леонтьева стало все чаще и чаще звучать приглашение к встрече в Оптиной Пустыни. Молодожены хотели приехать в Оптину Пустынь спустя месяц после венчания. И поехали... сначала в Москву, но по неопытности и дороговизне в Лоскутной гостинице большого города быстро растратились и вынуждены были перебраться на Воробьевы горы, в старообрядческую семью. В. В. Розанов написал в «Московские ведомости» четыре ярких фельетона, направленных против позитивистского «наследия 70-х годов». Гонорара едва хватило, чтобы расплатиться за проживание, питаться, подлечиться и добраться до дома, а «славы» — чтобы консервативную направленность этих «воскресных фельетонов», живо написанных очерков, отметил вступивший с ним в спор тогдашний «законодатель вкусов» либерал Н. К. Михайловский, который впоследствии стал одним из основных оппонентов В. В. Розанова, своей критикой создав ему репутацию одиозного публициста-реакционера.

Консервативные розановские очерки привлекали к его творчеству внимание единомышленников. Через два года после женитьбы В. В. Розанов, будучи в Петербурге, был познакомлен Н. Н. Страховым с Л. Н. Майковым, который был «своим человеком» в страховском «кружке». Именно Леонид Николаевич и сообщил, что В. В. Розанову непременно нужно увидеться с «вице-министром» А. И. Георгиевским, но «зачем» увидеться — не сказал. «Свидание было ужасно странное, — вспоминал В. В. Розанов. — Я сидел». А. И. Георгиевский «немного расспрашивал, много сам говорил... Видя, что я ничего не прошу, он в заключение и предложил мне перевестись в Петербург». Предложение переехать в Петербург В. В. Розанов

получил и от меценатствующего государственного контролера Т. И. Филиппова, который стремился собрать в столице кружок писателей славянофильского направления.

В 1891 г. директором гимназии в г. Белый Смоленской губернии был назначен брат — Николай Васильевич Розанов. Василий Васильевич вместе с женой перевелся из Ельца в Белый — городок в 130 верстах от железной дороги с 3½ тысячи жителей. Местные старожилы-интеллигенты уверяли, что «Белый» с мужским окончанием — это теперешнее имя города, а некогда он назывался «Белая» с женским окончанием, т. к. это была крепость *Белая* с земляным валом, защищавшая Московское государство от набегов литовцев. Город состоял из *одной* «Кривой» улицы, от которой начинались проулки — в поле, но в проулках было дома три-четыре с огородами. За городом не столько природа, сколько болото. Там единственным местом для гулянья с молодой женой было кладбище, где есть цветы. Лучшая береза, с развесистыми ветвями, — там же на кладбище. Обвенчавшиеся ходили гулять туда. Больше решительно некуда было пойти. Только хорошего и была одна гимназия, где ученики отлично учились и учителя хорошо учили. Зато здесь хорошо читалось и писалось.

В один из осенних дней, а именно 18 октября 1891 г., из Сергиева Посада в г. Белый было отправлено последнее письмо от Константина Николаевича Леонтьева: *«Надо нам видеться. Ибо рядом с полнейшим согласием у нас с Вами есть непостижимые, недоразумения... Постарайтесь приехать... Умру, — тогда скажете: «Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил!» Смотрите!.. Есть вещи, которые я только Вам могу передать»*. Спустя 24 дня телеграфное известие о смерти К. Н. Леонтьева, прочитанное в газете, поразило В. В. Розанова, наполнило его сердце глубочайшей печалью и жалостью. Он умер (и вовсе не от своей мучительной болезни) от пневмонии, которую выбрал в качестве примера в своем «Византизме и славянстве» для объяснения признаков смерти в «триедином процессе». Мыслитель не уберегся от дурной погоды, и «воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в воз-

расте 60 лет роковая, приковала его к постели, с которой он больше уже не встал. Похоронили Константина Николаевича Леонтьева тихо, благолепно, православно торжественно. Гроб провожала небольшое количество родных и искренних почитателей покойного. Не было ни кучи венков, ни речей над гробом. Место для захоронения выбрали в Гефсиманском скиту близ Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

31 марта 1893 г. датируется последнее письмо в г. Белый от Н. Н. Страхова, который сообщал, что «...формуляр коллежского советника В. В. Розанова отправлен был в канцелярию Государственного Контроля 15 марта за № 4658. Из полученного ныне отзыва Государственного Контроля видно, что Розанов с 16 марта перемещен на службу в контроль с назначением на должность чиновника особых поручений VII класса при государственном контролере». Кроме того, в письме Николай Николаевич по-стариковски сетовал: «итак, что же Вы не едете? В чем беда? ...Во всяком случае я душевно рад. Пожалуйста, приезжайте. Мне нездоровится всю зиму и теперь уже неделю сижу дома».

В Госконтроле В. В. Розанов долго не засиделся. Начинаясь журналистская деятельность Василия Васильевича Розанова. Он начал писать статьи в различные журналы и газеты. Публикуемые в течение нескольких лет журнальные статьи он оформлял в серию книг, вышедших на рубеже XIX—XX вв., — «Литературные очерки» (1899), «Сумерки просвещения» (1899), «Религия и культура» (1899), «Природа и история» (1900), «В мире неясного и нерешенного» (1901).

В 1895 г. в «Русском вестнике» была напечатана розановская статья «Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век», в которой анализировался девяти томный труд Н. П. Барсукова «Жизнь и труды Погодина». Ее появление способствовало продолжению публикации этой фундаментальной работы, испытывающей большие финансовые трудности. С 1820 г. и на протяжении 55 лет своей жизни М. П. Погодин вел дневник, куда заносил наблюдения, замечания, разговоры, отзывы о лицах и событиях, предположе-

ния и мечтания и который был «насыщен высоким культом к духовному развитию нашего общества». Предполагая написать жизнь *одного* человека, Н. П. Барсуков незаметно для себя явил читающей публике процесс становления духовной культуры *всего* российского общества и вместо надуманной и скучной «Истории русской словесности» подарил ей «зрелище самой жизни, от которой как ее естественный цвет и плод отделяется литература». В. В. Розанова пленяла юношеская мечта М. П. Погодина, выходца из простолюдинов, о возможном крупном денежном выигрыше в лотерею и его размышление о том, куда бы можно употребить такой предполагаемый выигрыш. Человек десять отличных студентов он послал бы за границу для усовершенствования своей учености, собрал бы отличную библиотеку, на эти деньги издавал бы с обширными примечаниями труды Ломоносова и Державина, завел бы училище для образования учителей на всю Россию, открыл бы публичные лекции, где своим учителям и друзьям, например, Мерзлякову предложил бы читать русскую словесность, Калойдовичу — русскую историю, Кубареву — греческую и римскую словесность, Оболенскому — эстетику, Веселовскому — физиологию, Гульковскому — химию, Павлову — физику. Умиляло В. В. Розанова обнажающее душу М. П. Погодина восхищение возможностью стоять и молиться в Успенском соборе, храме, в течение восьми веков молились Богу за свой народ русские государи Дмитрий Донской, Иоанны и др., откуда выпускали на битву Холмских, Воротынских; возможностью ходить в Архангельский собор и поклоняться гробам Калиты и Иоанна III; приложиться к мощам святого Алексия, рассматривать хранящуюся пятьсот лет древность, которая «возбуждает сильное чувство». Пленяло В. В. Розанова раздражение М. П. Погодина на чрезмерное употребление образованным классом «подлого французского языка», и в противовес этому он настойчиво настаивал на «живости» и красоте «природного русского наречия». В. В. Розанов всячески подчеркивал благородство русского мыслителя, рядом с которым в разные годы жизни стояли истинные гении —

Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, но в его душе ни разу «не шевельнулось мучительное чувство Сальери».

В «Новом пути» В. В. Розанов опубликовал статью к столетию со дня рождения А. С. Хомякова, «гения» русской культуры, заслуга которого перед русской культурой многими признавалась «неисчерпаемой», ибо этот «Колумб, открывший Россию», своей упорной и монотонной деятельностью «покачнул все русское сознание в сторону народности, земли, в сторону большого внимания к своей истории и нашей Церкви». К выходу второго издания двухтомного собрания сочинений И. В. Киреевского под редакцией М. Гершензона в «Новом времени» (1911) В. В. Розанов писал о его «творениях», оценивая их, как исходящие «из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира», — всюду речь его лилась «золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем».

В 1898 г. в «Русском обозрении» в статье «50 лет влияния» В. В. Розанов писал о литературном критике В. Г. Белинском, этом одиноком и бесприютном человеке, не имевшем «места» ни в обществе, ни в государстве, «пасынке» университета, «основателе практического идеализма в нашем обществе». Его сочинения «внесли ласку» в отношения учителя к ученикам, учили безошибочно отличать хорошее от дурного, добросовестно делать свое дело; везде они разошлись по России мягкостью, честностью и немножко мечтою. Все идеальное, что есть в этом обществе, он возвеличил, поднял на значительную высоту, зажег «искры», «огоньки» во всех уголках человеческого обихода, всюду надолго возбудил светлые и именно практические усилия. От Белинского, полагал В. В. Розанов, пошло «идеальное в практике»: незаметные «чиновники», «учителя», «семинаристы» по глухим провинциям. А вот основатель «органической критики» Ап. Григорьев, напротив, стремился выявлять «типовое» в русской литературе, а этим

типовым он считал «простое и смиренное» в русском человеке и русской жизни. «Научность составляет отличительную черту этого течения», — утверждал В. В. Розанов в 1892 г., — и достигалась она, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в каждом литературном произведении, во-вторых, определением его исторического положения, т. е. органической связью с предыдущим и последующим. Термину «*органический*» более всего подходят слова «*живой*», «*жизненный*». Ап. Григорьев горячо отстаивал глубокое значение искусства, его непосредственную связь с жизнью, идеальным отражением которой оно является. «Искусство, — цитировал Ап. Григорьева В. В. Розанов, — воплощает в образы, в идеалы сознания массы. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключом к уразумению эпох — организмов во времени и народов — организмов в пространстве». Соответственно такому высокому значению искусства и критика должна подняться на надлежащую высоту. Если в искусстве открывается смысл жизни, то и путем анализа художественных произведений «органическая критика» призвана разъяснять этот скрытый в них смысл, выяснять их идейное содержание. Но эту задачу критика может осуществить, если поднимется до целостного интегрального понимания жизни и в качестве критерия для своих оценок примет не преходящие явления жизни, не отвлеченные идеи, теории, а тот глубокий идейный смысл, который лежит в основе жизненных процессов и отражается в художественных произведениях. Для правильного понимания и истолкования явлений искусства критика должна найти общую с ними почву. Вот почему критика должна стремиться стать столь же органическою, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусства. Но такая «органическая критика» возможна лишь тогда, когда она основывается на цельном, прочном, органически сложившемся мировоззрении, когда она является не простой игрой ума и остроумия, а результатом серьезных духовных стрем-

лений и исканий, когда она представляет для самого критика действительно жизненное дело, тесно связанное с его наиболее глубокими внутренними переживаниями.

Журналистская деятельность В. В. Розанова перед первой русской революцией (1905 г.) и после нее связана со многими изданиями. В 1901 г. В. В. Розанов сблизился с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус и начал печататься в журналах «Мир искусства», «Весы», «Новый путь» (издатель П. П. Перцов), а позднее — в «Золотом руне». Некоторые статьи по политическим причинам не проходили в «Новом времени», на жаловании которого он состоял. По договору с А. С. Сувориным Розанов не имел права печататься в других изданиях, так как кроме оплаты статей получал еще и посточно. Здесь была не только денежная сторона дела, но и желание выразить свои мысли в том духе, который не смог быть опубликован в «Новом времени». Василию Васильевичу было жаль своих ненапечатанных статей, и он отсылал их в «Русское слово» или «Русский вестник», где публиковался под разными псевдонимами: «Варварин», «Ибис», «Старожил», «Обыватель» и др. «Пресса называла отца Иудушкой, предателем и всячески его поносила. А я считала и считаю, — вспоминала о своем отце старшая дочь Татьяна, — что он был шире и правого «Нового времени», и «Гражданина», а также левой либеральной газеты «Русское слово» и кадетской «Речи».

Любимыми темами публикаций В. В. Розанова начала XX столетия были: русская культура и ее отношение к культуре европейской, история Древней Руси, настоящее и будущее Отечества, характер русской души, наше национальное назначение, сила русской национальности, наши национальные таланты и т.п.

Так, в 1911 г. к полувековому юбилею со дня отмены крепостного права в «Новом времени» В. В. Розанов опубликовал статью «Великий день нашей истории», в которой это событие русского прошлого оценивается как «религиозный момент», как «всемирно-историческая точка, еще не разгаданная!», а в статье «Последняя капля» «Русского слова» — как «вели-

кая русская реформа, над которою трудилась и созидала *вся Россия*». Секрет этого «молодого весеннего дождя» реформы 19 февраля 1861 года, который «обрызгал трон: и вся Россия расцвела», В. В. Розанов усматривал в том, что *«самые души вдруг у миллионов людей переродились»*. И с пиететом восторженного юноши, но не пятидесятилетнего мужа русский мыслитель восклицал: «Поклонимся и мы этому маленькому «чуду» нашей истории; поклонимся сердцу Александра II... Поклонимся всему тогдашнему благородному поколению; поклонимся старейшим сейчас людям на лице Русской Земли. Они ...совершенно уже без тревог сойдут в землю, «приложившись к отцам» своим, «отцам всей Русской Земли», от старых наших Ярославов, Андреев, Иоаннов до «теперь». Будем, господа, радоваться сегодня, и беззаботно радоваться. Будем верить в свою историю и в свою Землю!»

«В судьбах русской журналистики XIX века сыграли исключительную роль Катков и Суворин», — констатировал В. В. Розанов в статье «Колокола» (1916). М. Н. Катков создал государственную печать, руководил газетой, которая, будучи независимой от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале и умопостигаемом представлении. В передовицах своих «Московских ведомостей» М. Н. Катков провозглашал, что *Россия в настоящем своем положении* совершенно здорова, и для того, чтобы идти по пути православия, самодержавия и народности, нужно только *верить в себя, верить в свои силы* и, искренно уповая на Бога, беззаветно повинаясь царю и крепко опираясь на русский народ, бодро смотреть в глаза своим внешним и внутренним врагам. Уверовав в эту идею, М. Н. Катков заставлял своих читателей и последователей уверовать в *настоящую, реальную* Россию. Жил он не в Петербурге, а в Москве, и будучи просто отставным профессором философии и журналистом, как бы поставил под московскую цензуру ту петербургскую власть, которая не исполняет вовсе или плохо исполняет «свои должности». В трудные моменты российской действительности он мог сказать единственное слово, которое по

своему напряжению, силе и красоте моментально и неодолимо подхлестывало министерские департаменты Петербурга и преимущественно Министерство народного просвещения. Писал он словно «указами»: его слово именно «указывало» и «приказывало», «оставалось переписать», и часто министерства, подавленные его словом, просто «переписывали» его передовицы в министерских распоряжениях. Во «властных сферах» Петербурга боялись не столько статей с московского Страстного бульвара, сколько недостойного и малого *в себе* служения России, своего эгоизма, своей корысти. Боялись, что все эти слабости невозможно будет укрыть от «громадного ума, зоркого глаза, разящего слова» М. Н. Каткова. Боялись, ненавидели и клеветали на него.

Совсем не таков был А. С. Суворин. В. В. Розанов сравнивал его с флейтой около пушки. Если «пушка выстрелила и больше слушать нечего», то «флейта играет и ее слушают». После политической журналистики М. Н. Каткова мало что осталось, «как после пушечного выстрела, которого теперь нет», А. С. Суворина живо помнят русские люди, помнят и любят его. Если М. Н. Катков был из дворян, то А. С. Суворин — сын мужика, вышедшего в офицеры; он был русский ясный и деятельный человек. Работал он «в мелочах, в подробностях», много писал, много трудился, основал, например, театр и любил его, издавал «Маленькие письма» и «Маленькую библиотеку». А. С. Суворин первым напечатал полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (в 1882 г.) с его биографией, с воспоминаниями о нем и письмами писателя. В год 50-летия со дня смерти поэта он издал А. С. Пушкина (в 1887 г.), «по гривеннику за том», в прекрасной печати, в переплете, что означало по тем временам «Пушкин почти даром». При своем «маленьком образовании» в сравнении с профессором М. Н. Катковым А. С. Суворин был «природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова. Он был впечатлительнее, зорче, дальновиднее и сообразительнее его». Если М. Н. Катков был «скупой хозяин», то А. С. Суворин был «большой хозяин». У А. С. Суворина — денег много, детей много, магазинов

много, изданий много. Если не у «Суворина» печататься, не в его знаменитом «Новом времени», то как же «получить известность» в России? Патриотизм М. Н. Каткова был патриотизмом официально-правительственным, величаво-историческим; А. С. Суворин любил Россию страстнее и многообразнее, подвижнее и живее: он любил все, что есть «русское, талантливое, сочное, яркое, успешное, деятельное, энергичное. И около него начало копиться все это... тысячею своих талантов». На страницах суворинского «Нового времени» разрабатывались, проводились и продвигались вперед все реальные интересы России, а «это есть главная работа газеты». Спокойный русский читатель находил в журналистских изданиях А. С. Суворина «представительство России и русского дела», а не марксистские успехи в Германии, «пользу и нужду» России, а не «пролетариата в Саксонии» или «партийного съезда в Марбурге левых групп». «Кружковой эгоизм» российской журналистики, выражавший идеи именно своего, т. е. «нашего кружка»: «кружка Белинского» в «Отечественных записках», «кружка Чернышевского и Добролюбова» в «Современнике», «кружка Михайловского» в «Русском богатстве», «кружка Стасюлевича» в «Вестнике Европы», но не выражавший русских интересов, «решительно не мог его своротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству; главное — ее пользам и нуждам». «Почему он не марксист или не антимарксист?.. Почему он не любит стихов Верхарна и Поля Верлена?.. Где следы его увлечения Шопенгауэром сперва и Ницше потом?» И вообще, «почему он не волнуется нашим кругом чтения?», — накинулся на А. С. Суворина весь этот «кружковой эгоизм», мысли которого были «социалистическими», «марксистскими», англоманскими, германофильскими или космополитическими. И основные книги его «Круга чтения» всегда были не русскими, а переводными с иностранных языков. Университеты и гимназии в России жили и питались иностранными учебниками, «руководствами», «обозрениями», «пособиями». Училась Россия и продолжает учиться по «шпаргалке» и «подстрочнику». Станным образом, «русского», кроме

таланта и этики, в этой литературе ничего не было! — с отчаянием восклицал В. В. Розанов. Однако русская читающая публика полюбила газеты и журналы А. С. Суворина вопреки травле со стороны остального газетного мира. Мало-помалу они сосредоточили вокруг себя весь практический, деловой патриотизм. Патриотизм А. С. Суворина, его чуткость, «выбор газетного положения» среди прочего журналистского мира состоял вовсе не в мелочах, не в частностях, а в самом главном и важном: в широком охвате глазом «всей панорамы» текущего положения дел России, среди которого он схватил себе «главный пункт», «лучшую ситуацию». И около А. С. Суворина стали множиться практические патриоты, люди дела, а не фразы, люди не «флага», выкрика или программы, а инженерной, долгой и трудной работы для Российского государства, для всего нашего драгоценного Отечества.

Особое внимание Розанов уделял еврейскому вопросу, считая его важнейшим вопросом всемирной истории. В своей книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» Розанов раскрывает тайны иудейских ритуалов, умертвляющих христианских детей. Исследовав убийство Андрея Ющинского, Розанов делает вывод, что мальчик стал «жертвой ритуала и еврейского фанатизма», имевшего для иудеев высший религиозный смысл. «Как мало мы знаем еврейство и евреев! — делает вывод из своего исследования Розанов. — Мы ведь совсем их не знаем. Как они умело скрывают под фиговым листом невинности силу громадную, мировую силу, с которой с каждым годом приходится все больше и больше считаться».

По требованию масонов за справедливую критику антихристианских положений *иудаизма* Розанов был исключен из Религиозно-философского общества в Петербурге.

В годы Первой мировой войны тоскливо и безрадостно протекала жизнь всей России и семьи Розановых. А. С. Суворина уже не было в живых, редактором «Нового времени» стал его сын Борис. В. В. Розанов все так же писал много. Но газета под влиянием событий на фронте левела, и розановские статьи были не ко двору. Сын Василий был на фронте. С продо-

вольствием становилось все хуже. С февраля 1917 г., когда в Петрограде произошла революция, продукты сильно подорожали и стали отпускаться в ограниченном количестве. Когда к осени окончательно закрылась редакция «Нового времени», на семейном совете было решено уехать из Петрограда. Семья Розановых перебралась в Сергиев Посад, арендовав там дом. Жена Варвара Дмитриевна была частично парализованной и с трудом передвигалась. Василий Васильевич сильно сдал здоровьем. Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать. И лишь старшая дочь Татьяна, единственная в семье, работала машинисткой в комиссии по охране Троицко-Сергиевой Лавры за очень низкую плату. Жили продажей вещей, мебели, одежды, книг или их обменом на продукты. «Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко, — вспоминала Татьяна. — Однажды, когда мы зимой уже совершенно замерзли, нам неизвестный железнодорожник Новиков прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь». Не удалось спасти жизнь сыну Василию. Он с сестрой Варей в сентябре 1918 г. плохо одетый и почти без денег отправился на Украину за продуктами. В пути он заболел испанкой. Они остановились в Курске. Сестра отправила Василия в больницу, где он через три дня умер.

Василий Васильевич был потрясен смертью сына. Единственным утешением ему была дружба с П. А. Флоренским и Ю. А. Олсуфьевым. Зимой 1918 г. В. В. Розанов уже был не в состоянии помогать дочерям по хозяйству, а все больше лежал. Ночью 22 января ему стало совсем плохо. Сбежали за священником П. А. Флоренским. К полудню 23 января 1919 г. Василий Васильевич Розанов скончался и был похоронен в Гефсиманском Скиту близ Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в десяти шагах от могилы одного из своих «крестных отцов в литературе» Константина Николаевича Леонтьева. Вскоре рядом с могилкой В. В. Розанова схоронили и его жену — Варвару Дмитриевну.

А. В. Белов

Мировоззрение В. В. Розанова. По своим воззрениям В. В. Розанов был близок к *славянофилам*, разделяя с ними веру в начала *соборности*, общинности, совместного владения землей и склонности к артельным формам труда, видя в полном развитии этих начал обещание жизни «более высокой, гармоничной и примерной, нежели в какой томится Европа».

Духовная эволюция Розанова была очень сложна. Начав со своеобразного *рационализма* (с отзвуками *трансцендентализма*), легшего в основу его первого философского труда «О понимании», Розанов довольно скоро стал отходить от него, хотя отдельные следы былого рационализма оставались у него до конца дней. Но с самого начала Розанов проявил себя как религиозный мыслитель. Таким он оставался и всю жизнь, и вся его духовная эволюция совершалась, так сказать, внутри его религиозного сознания. В первой фазе Розанов всецело принадлежал *Православию* — в свете его оценивал темы культуры вообще, в частности — проблему Запада. Наиболее ярким памятником этого периода является книга его, посвященная «Легенде о Великом Инквизиторе», а также его статьи в сборниках: «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура» и т. д. Однако уже и в это время у Розанова встречаются мысли, говорящие о сомнениях, которые вспыхивают в его душе. С одной стороны, Розанов резко противопоставляет христианский Запад Востоку: западное христианство ему представляется «далеким от мира», «антимиром». В Православии «все светлее и радостнее», — поэтому дух Церкви «на Западе еще библейский, на Востоке — уже евангельский». В свете Православия христианство представляется Розанову как «полная веселость, удивительная легкость духа — никакого уныния, ничего тяжелого», — и несколько дальше тут же он пишет: «нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость — и только радость и всегда радость». Но в эти же годы он пишет ст. «Номинализм в христианстве», где он остро говорит о всем христианстве, что оно «превратилось в доктрину», что «номинализм», риторика — не случайное явление в христианстве, что «это именно и есть христианство, как оно вырази-

лось в истории». Розанов уже объят сомнениями относительно «исторического» христианства, которое он противопоставляет подлинному и истинному христианству. «Глубин христианства, — пишет он, — никто еще не постиг, — и это задача, даже не брезжившаяся Западу, может быть, есть оригинальная задача русского гения». «Религии Голгофы» он впервые противопоставляет «религию Вифлеема», которая заключает в себе «христианство же, но выраженное столь жизненно-сладостно, что около Голгофы, аскетической его фазы, оно представляется как бы новой религией».

Розанов становится критиком «исторического» христианства во имя «Вифлеема», и проблема *семьи* ставится в центре его богословских и философских размышлений. Он еще не отходит от Церкви, он все еще «около церковных стен» (как назвал он двухтомный сборник своих статей), но в «споре» христианства и культуры у него постепенно христианство тускнеет, теряет «жизненно-сладостную» силу и постепенно отходит в сторону, чтобы уступить место «религии Отца» — «Ветхому Завету». Любопытно отметить, что в первой статье первого тома книги «Около церковных стен» (статья носит характерное название «Религия как свет и радость») Розанов еще пишет: «...тщательное рассмотрение убеждает, что среди всех философских и религиозных учений нет более светлого и жизнерадостного мировоззрения, чем христианское». Но уже здесь идет речь о «великом недоразумении, которое в судьбах христианства образовалось около момента Голгофы», — ибо «из подражания Христу и именно в моменте Голгофы образовалось неутомимое искание страданий». Через это «весь акт искупления прошел мимо человека и рухнул в бездну, в пустоту, — никого и ничего не спасая». В этих словах объектом критики у Розанова является не само христианство, а его неверное понимание в Церкви. «Сущность Церкви и даже христианства определилась, — пишет он, — как поклонение *смерти*». «Ничто из бытия Христа, — читаем тут же, — не взято в такой великий и постоянный символ, как смерть. Уподобиться мощам, перестать вовсе жить, двигаться, дышать — есть общий и великий идеал Церкви».

Исходная интуиция Розанова в его исканиях и построениях в области антропологии есть *вера* в «естество» человека и нежная *любовь* к нему. Розанов любил «естество», природу, — и это так сильно звучало всегда в нем, что его мировоззрение часто характеризовали как «мистический пантеизм». «*Природа* — друг, но не съедобное», — говорит Розанов. — «Все в мире любят друг друга какой-то слепой, безотчетной, глупой и необоримой любовью... каждая вещь даже извне отражает в себе окружающее... и эта взаимная «зеркальность» вещей простирается даже на цивилизацию, и в ее штрихи входит что-то из ландшафта природы».

Из этого «чувства природы», очень глубокого у Розанова, питались разные его размышления. Этот принципиальный биоцентризм (сказавшийся уже в первой книге Розанова «О понимании»), совсем не вел его к «мистическому пантеизму», а к другому выводу, который он сам однажды формулировал в таких словах: «всякая метафизика есть углубление познания природы». Это есть космоцентризм. Но так как у Розанова всегда было очень острое чувство Творца, была всегда существенна идея тварности мира, то космоцентризм не переходил у него в *пантеизм*.

Вся метафизика человека сосредоточена для Розанова в тайне *пола*. Человек «включен» в порядок природы, и точка этой включенности и есть пол как тайна рождения новой жизни. Эта «творящая» функция пола нужна и дорога Розанову; ведь пол, по Розанову, «и есть наша *душа*». Розанов утверждает, что человек вообще есть «трансформация пола». «Нет крупинки в нас, ногтя, волоса, капли *крови*, — пишет Розанов, — которые не имели бы в себе духовного начала». Появление личности есть огромное событие в жизни *космоса*, ибо во всяком «я» мы находим обособление, противоборство всему, что не есть «я».

Понимая пол как ту сферу в человеке, где он таинственно связан со всей природой, т. е. понимая его метафизически, Розанов считает все «остальное» в человеке как выражение и развитие тайны пола. «Пол выходит из границ естества, он — внеестественен и сверхъестественен». Если вообще «лишь

там, где есть пол, возникает лицо, то в своей глубине пол есть «второе, темное, ноуменальное лицо в человеке»: «здесь пропасть, уходящая в антипод бытия, здесь образ того света». «Пол в человеке подобен зачарованному лесу, то есть лесу, обставленному чарами; человек бежит от него в ужасе, зачарованный лес остается тайной».

В статье «Семя и жизнь» приводится много характерных и существенных размышлений Розанова на те же темы. «Пол не функция и не орган», — выступает Розанов против поверхностного эмпиризма в учении о поле; отношение же к полу как органу «есть разрушение человека». В этих глубоких словах ясно выступает вся человечность этой *метафизики*; никто не чувствовал так глубоко «священное» в человеке, как Розанов, именно потому, что он чувствовал священную тайну пола. Его книги напоены любовью к «младенцу», — и не случайно то, что последний источник «порчи» современной цивилизации Розанов видит в том разложении семьи, которое подтачивает эту цивилизацию.

Углубление в проблемы пола у Розанова входит, как в общую рамку, в систему *персонализма* — в этом вся значительность его размышлений. Метафизика человека освещена у него из признания метафизической центральности сферы пола. «Пол не есть вовсе тело, — писал Розанов, — тело клубится около него и из него»... Никто глубже Розанова не чувствует «тайны» пола, его связи с трансцендентной сферой («связь пола с *Богом* большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом»). Вдумываясь в то, как складывается судьба семьи в развитии христианской истории, Розанов сначала был склонен обвинять Церковь, вообще «историческое христианство» в одностороннем уклоне в сторону аскетического «гнущения» миром. Но постепенно его взгляд меняется — он уже начинает переносить свои сомнения на саму сущность христианства. «Христианство давно перестало быть дробилом, дрожжами», оно «установилось». Оттого «вокруг нас зрелище обледенелой в сущности христианской цивилизации... где все номинально». Источник этого, по-новому *сознанию* Розанова,

в том, что «из текста *Евангелия* естественно вытекает только монастырь». «У Церкви нет чувства детей», — в другом месте утверждает Розанов. Высшей точки эти сомнения его достигли в его нашумевшей статье об «Иисусе Сладчайшем» (в сб. «Темный лик христианства»). Здесь Розанов утверждает, что «во Христе мир прогорк». У Розанова начался период христороборчества, решительного поворота к Ветхому Завету (религии Отца). Теперь оказывается, что он «от роду не любил читать Евангелия — а Ветхим Заветом не мог насытиться», что «иночество составляет метафизику христианства». Христианство он теперь называет «христотеизмом», в котором только одна треть правды теизма». Особенной силы и острой выразительности христороборчество Розанова достигает в его предсмертном произведении «Апокалипсис нашего времени». Это — очень жуткая вещь с очень острыми, страшными формулами. «Христос невыносимо отягчил человеческую жизнь», Христос — «таинственная Тень, наведшая отошание на все злаки»; христианство «бессильно устроить жизнь человеческую» со своей «узенькой правдой Евангелия». Есть здесь и такие слова: «зло пришествия Христа...»

Христианство — «истинно, но не мочно», — написал однажды Розанов, — и историческое «бессилие» Церкви, тот факт, что она не овладела историческим процессом, не смогла внести в него свой свет, чтобы во всем преобразить его, — все это для Розанова есть «грех» Церкви. «Человек не делает историю, — пишет Розанов, — он в ней живет, блуждает, без всякого ведения для чего, к чему». «Быть обманываемым в истории есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды внушаемы человеку для того, чтобы, манясь ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы, — для приведения его в состояние, ничего общего с этими надеждами не имеющее, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории». Единственное «место», в котором человек может проявить личное творчество, есть семья, рождение детей — и Розанов всячески стремится раскрыть священное значение семьи, рождение детей.

Розанов постоянно утверждает мистическую глубину, присущую семье, ее сверхэмпирическую природу, «семью нельзя рационально построить», «семья есть институт существенно иррациональный, мистический».

Все мировоззрение Розанова оставалось верным той изначальной интуиции, которая легла в основу еще первой его книги «О понимании». Насквозь пронизанная рационализмом, уверенностью в «рациональной предустановленности» бытия, она в то же время представляет очень своеобразную мистическую интерпретацию рационализма. Бытие разумно, и его разумность открывается в нашем разуме — все познаваемое заключено в понимании, содержится в его формах, но еще закрыто. Эта «параллельность» *бытия* и нашего *разума* как-то, по собственному признанию Розанова, предстала ему как раз в видении и определила сам замысел его книги «О понимании». Как из семени развивается растение, так из глубин *ума* развивается все *знание*, — и этот образ «семени», легший в основу первой книги, навсегда остался основным для Розанова. Он писал: «всякое ощущение беспросветно, темно для человека, непроницаемо в своем смысле, пока оно не будет возведено к смыслу чего-то, уже ранее присутствовавшего в духе». «Мы должны, — пишет тут же Розанов в линиях трансцендентализма, — понимать явления внешней природы, как только повторения процессов и состояний своего первичного сознания».

Рационализм, чуть-чуть приближающийся к трансцендентализму, сейчас же истолковывается у Розанова в смысле трансцендентального реализма. «Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина». А *реализм* тут же истолковывается в линиях *теизма* — чем прямо и категорически отвергается предположение о пантеизме Розанова. «Подобно тому, как мыслящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, — так и нравственному чувству — отвечающий ему долг, а религиозному созерцанию — созерцаемое им Божество». Розанов всю жизнь жил Богом. Он глубже других чувствовал Божественный свет в космосе, непосредственное касание к трансцендентной сфере.

Космоцентризм Розанова имел исключительное влияние на различных русских мыслителей — не только близких, но и враждебных ему по духу. То положительное, что неразрывно связано в диалектике русской мысли с Розановым, есть не проблема пола и семьи, а именно его космоцентризм. Розанов внес свою лепту в будущую, еще до конца не построенную русскими философами *софиологию*, которая должна философски осмыслить то, что в живом религиозном восприятии заключено в Православии с его комизмом.

Не менее важно и то, что дал Розанов в основной для диалектики русской философии теме о «секуляризме», о возможности построения системы культуры на основе Церкви. Розанов исходил все время от христианства, всегда был «около церковных стен», был сознательным противником секуляризированной Европы, но это не помешало ему трагически выразить нерешенность в Церкви самой темы секуляризма. На этом пути Розанов, не уступая секуляризму, пришел, однако, к такой острой критике Церкви, какую не мог даже развить секуляризм. Итог сложного, напряженного творчества Розанова совсем не идет на пользу секуляризму, он все же по существу является положительным. Совершенно невозможно отвергать это положительное влияние самых острых идей Розанова на обновление и возрождение русских религиозных исканий — и именно в направлении того, как религиозно осмыслить и освятить «стихийный» процесс культурного творчества. Проблема церковной культуры не может быть решена, обходя темы Розанова, обходя его космоцентризм. Даже больше: русский персонализм, часто слишком накреняющийся в сторону одного этицизма, должен вместить в себя темы Розанова, чтобы взойти до софиологической его постановки. На этом пути к будущей софиологии идейное наследство Розанова является особенно ценным.

Прот. В. Зеньковский, Д. К.

РАЗДЕЛ I

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАРОДНАЯ ДУША

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Добрые люди Древней Руси»
В. Ключевского. Сергиев Посад, 1892 г.

Всякая историческая культура налагает на индивидуум определенные, постоянные черты, и, зная ее общий характер, мы можем угадывать под ней единичные, живые лица, хотя бы их и не видели вовсе; как и наоборот, видя подобные лица, можем понять общий смысл культуры, который для нас почему-либо стал неясен или мы забыли его. В этом соотношении между общим и единичным кроется многозначительность частных исторических изысканий: одна подробность из давно пережитого восстанавливает для мыслящего наблюдателя это пережитое в его целом, и притом с убедительностью, равной той, какую мы находим в рассуждениях натуралиста, который по одной сохранившейся части давно исчезнувшего организма восстанавливает перед нами весь его образ.

Подобную услугу для русского общества оказал недавно известный профессор Московского университета В. О. Ключевский. В очень краткой публичной лекции, прочитанной в Историческом музее, он показал современному обществу ис-

кусно извлеченный обрывок из древней русской жизни, взглянув на который многие с изумлением почувствовали, как мало они знали истинного о смысле этой давно умершей жизни. И между тем эта жизнь нам родная, близкая. Не одно любопытство, но и опасение ошибиться в суждениях об этом близком, родном заставило многих так пристально вдуматься в слова известного профессора, и его краткое чтение возбудило в нашей печати самое оживленное внимание.

I

В чтении, посвященном доброму делу помощи голодающим, почтенный профессор вздумал напомнить современному ему обществу, как совершалось подобное же дело в Древней Руси и по каким мотивам:

«Древнерусское общество под руководством Церкви, – говорит он, – в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять вторую из двух основных заповедей, в которых заключаются весь закон и пророки, – заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для ближнего* практика этой заповеди направлялась преимущественно в одну сторону; любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основание практического нравоучения, потребность в этом подвиге поддерживалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего – это, прежде всего, накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Челю-

* В этих и непосредственно следующих словах указывается факт слишком общий и постоянный, чтобы в нем не видеть некоторый род исторической антиномии: вспомним обычай гостеприимства у кавказских горцев, у арабов и возможность умереть от голодной смерти среди многолюдных улиц европейских столиц – и мы увидим, как всякий прогресс общественности есть в то же время регресс личности: что (как благотворительность) берет на себя государство, то естественно слагает с себя индивидуум как ненужное более, не требуемое, – и когда случайно требование предъявляется к индивидууму, оно уже не находит в нем нужных сторон души.

веколюбие на деле значило *нищелюбие*. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественно-го благоустройства, сколько *необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему*. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием. Древнерусский благотворитель, «христолюбец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. *Когда встречались две древнерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаванием во имя Христово, трудно было сказать, которая из них больше подавала милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих*. Вот почему Древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом «отай», тайком, не только от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы»¹.

Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входят святой милостыней», – говорили в старину: «Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». Благотворителю нужно было воочию видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу; нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари накануне больших праздников, рано по утрам, делали тайные выходы в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и призреваемым, также посещали и отдельно живших убогих людей. Как трудно изучить и лечить болезнь по рисунку или манекену больного организма, так казалось малодейственной заочная милостыня. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела *нищенство считалось в Древней*

Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа, состоящим при церкви практическим институтом общественного благонравия. Как в клинике необходимо больной, чтобы научиться лечить болезни, так в древнерусском обществе необходим был сырой и убогий, чтобы воспитать уметь и навык любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дел мертва. Как живое орудие душевного спасения нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который он любил носить в мысли как олицетворение своих лучших чувств и помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчезли в Древней Руси все нищие и убогие, кто знает – может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться: у него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства. Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливали в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого).*

Вот слова поистине драгоценные, заслуживающие войти во всякую учебную хрестоматию, прозвучать в каждом уме и сердце современного общества, так безмерно удалившегося от смысла и буквы этих слов. Собственно, обо всем этом приблизительное понятие мы имели и раньше; и раньше знали мы, что Древняя Русь была «богомольна и милостива»; но недоставало формулы, сжатых и точных образов, которые собрали бы и отвердили эти смутные представления.

* «Добрые люди Древней Руси». С. 2–4.

II

Но кроме этой ценности формулы, важно и разъяснение смысла древней жизни, которое содержится в приведенных словах: в них показан узел взаимно переплетенных понятий и чувств, взглянув на которые мы тотчас понимаем, что изолированно одно от другого они не могли бы существовать, что они суть часть живого исторического организма и должны были умереть тотчас, как только переменялась его структура – то целое, в чем они составляли часть.

И в самом деле, некоторая созерцательность, углубление в свой внутренний мир, в свою совесть суть необходимые условия для того, чтобы эта совесть была столь чувствительна, чтобы ее «внутреннее домостроительство» было такой неперменной потребностью и удовлетворялось средствами столь деликатными. Внешний покой, обращение внимания куда-то внутрь – к своей душе, к кругу своей семьи и к тем, кто к ней приближается со стороны, отсутствие какой-либо смятенности в жизни и в совести – было той почвой, на которой выросли все эти близкие, человеколюбивые отношения в Древней Руси. И можно представить себе, до какой степени все это стало невозможно тотчас, как только этот покой был нарушен: как не нужен стал «посох», который представлял собою для древнего «христороубца» нищий, как только этот «христороубец» вошел в коллегий, стал на палубу корабля, поехал учиться за море. Иные мысли, целый вихрь этих мыслей, нужда, ответственность, совместность работы – все это смяло прежний уклад души, смутило, взволновало, кристальную поверхность жизни. Явились иные потребности, и между ними на первом месте – потребность силы, внешнего одоления, и в сторону этих потребностей стали расти силы души, в то же время умаляясь в других направлениях. Переменялись задачи истории, и с ними преобразился сам человек.

Если мы обратим внимание только на то, что *нового приобрел* в этом превращении человек, мы без сомнения поймем его как успех, как шаг вперед, как улучшение; но наше отношение

к этому превращению станет по крайней мере сомнительным, если, смотря на приобретенное, мы не забудем и о потерянном. Это потерянное, в самом деле, имеет гораздо более абсолютную цену, нежели то, что заместило его: внешняя сила, успех всякого предприятия, конечно, ценны; ценно, что, вечно побеждаемые, мы стали наконец побеждать; что стали умелы уже во многих делах, и усиливаемся, и надеемся стать когда-нибудь умелыми во всех. В этом именно направлении движется наш прогресс: нам все еще кажется, что наши ружья недостаточно скоро стреляют, поезда железных дорог недостаточно быстро движутся, что есть народы, которые не менее нас сильны. Но *наши ли* это идеалы? вечны ли они? могут ли они насытить сколько-нибудь наше сердце? Вот мы победили всех и на покоренной земле движемся во всех направлениях с головокружительной быстротой: неужели достаточно этого, чтобы лицо наше никогда более не выразило скорби? чтобы жизнь почувствовалась нами легко? Не почувствуется ли она скорее как могила? и древний, *ничего не умеющий* «христолобец» не покажется ли нам гораздо лучше понявшим смысл жизни, нежели мы со своей техникой, со своим богатством, с тысячею вычурных навыков и ни к чему существенному не ведущих «умений»?

III

В. О. Ключевский приводит и факты, одевающие живую плотью его общий взгляд. В 1601–1603 годах, во время посетившего Россию голода, «жила в своем имении вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина. Это была простая, обыкновенная добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому – чувство, с которым русская женщина на свет рождается, – в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других, и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила все ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни,

ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам. Не считая себя вправе брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с благотворительной целью. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки. Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в Муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей: «Что это подеялось с тобой, дочь моя? когда хлеба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя такая охота к еде припала?» «Пока не было у меня детей, — отвечала невестка, — мне еда и на ум не шла, а как пошли ребята родиться, я отошала и никак не могу наестся, не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде, только мне стыдно, матушка, просить у тебя». Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгуньи и позволила ей брать себе пищи сколько захочется, и днем и ночью.

Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему, обделенному жизнью, помогла Ульяне легко переступить через самые закоренелые общественные предрассудки Древней Руси. Глубокая юридическая и нравственная пропасть

лежала между древнерусским барином и его холопом: последний был для первого по закону не лицом, а простою вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть, и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побоев господина, русское законодательство еще в XIV веке провозглашало, что если господин *огрешится*, неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя двory зажиточных землевладельцев, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам как на ближайший предмет их сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах прежде, чем протягивать руку с благотворительной копейкой нищему, стоящему на церковной паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам и не требовала от нее личных услуг: что могла – все делала для себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, но каждого и каждую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманые отношения к низшей подвластной братии?

Тут едва ли уместны слова об «обдуманности»: нет, не «обдуманность», но живое ощущение, что передо мной стоит другой подобный же человек и, быть может, по внутренним своим дарам даже лучший и высший, чем я, хотя мне и подчиненный, может сблизить меня с ним внутренне и, сблизив, уже вызвать к нему и соответствующие отношения. И это же может сделать *завет*, строгое и тесное обращение к темным сторонам моей души, которые должны прятаться, которые отсекаются без уступчивости, как уродливый нарост на духовном моем существе, а не поощряются, не прощаются, не допускаются как слабость. Было достаточно «обдуманности» в римском праве,

дозволявшем употреблять рабов на откармливание рыбы в прудах; и не менее было обдуманности в образованных кругах Франции XVIII века, когда, однако, перед уроком алгебры или философии, судя по мемуарам, женщины спокойно брали ванны в присутствии мужской прислуги, так же мало испытывая при этом стыдливости, как в присутствии собаки или кошки, которая случилась бы тут. «Обдуманность» испытана в истории и в этом испытании оказалась недостаточной: она не верна, колеблется, не простирает безусловного влияния на целую природу человека; и страсти, руководя действиями и отношениями людей, всегда и при всякой обдуманности могут сделать эти действия преступными, эти отношения – невыносимыми.

«Осорбина была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое благотворительное испытание. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, она уже помышляла о вечном устроении собственной души, но все еще тлела перед Богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволяло ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасыщаемым скопидомством все прятала да прятала все свои сбережения и излишки. Порой у нее в доме не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы. Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в Нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платье, посуду, все ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчетливые господа просто прогоняли с дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпусковых, что-

бы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы, среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допускать до этого своих челядинцев и удерживала их при себе, сколько было у нее силы. Наконец, она дошла до последней степени нищеты, обобрала себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может, и кто желает – пусть берет свои крепости или отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, «... потому что в то время нищих было без числа», – лаконически замечает ее биограф. Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: «Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голода». – «А мы вот что скажем, – говорили нищие, – много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы – как, бишь, ее?» Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом; отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлеба печь! С какой любовью надобно было подавать нищему ломоть хлеба, не безукоризненного, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедан! Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, не дала безумия Богу, не изнемогла от нищеты – напротив, была весела, как никогда прежде, – так заканчивает биограф свой рассказ о ее последнем подвиге. Она умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам более возвышенного и более трогательного образца благотворительной любви к ближнему.

«Никто не сосчитал, – говорит в заключение почтенный профессор, – ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в русской земле и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов»*.

IV

Здесь невольно припоминаются нам слова другого уважаемого профессора, которого лет 10 назад пишущему строки эти привелось слушать, как и В. О. Ключевского. Говоря о смене нравственных идеалов в эпоху Возрождения, профессор Н. И. Стороженко привел как пример упдающих идеалов Елизавету, ландграфиню Тюрингенскую: «Счастливая жена и мать, – говорил он, – она мучилась, однако, сознанием, что провела жизнь не в девстве. Овдовев и потеряв состояние, она радовалась, когда приходилось ей унижаться из-за куска хлеба для себя и детей. Получив снова свое состояние, она раздала его по монастырям, основала больницы, ухаживала за больными и прокаженными и умерла преждевременно от непосильных трудов и истощения».

Этот образ для каждого, и русского, конечно, так же благороден и дорог, как и образ нашей родной Ульяны. Мы хотим только остановиться на разнице, которая есть в этих двух образах.

Известно громадное значение труда «De civitate Dei»² блаженного Августина для всего последующего развития римско-католической Церкви. Начатый в тот самый год, когда стены вечного города, покинутого своим императором, дрожали под ударами Алариха и его вестготов, труд этот как бы носит на страницах своих отблеск того исторического зарева, при свете которого он писался. Не забудем, что блаженный Августин был типичный представитель своего времени, и даже для всех времен он есть высокий выразитель античной цивилизации, ее духа, ее красоты. И вот эта красота невозвратно рушилась на

* «Добрые люди Древней Руси». С. 8–9.

его глазах под гуннами, под готами, под вандалами и другими. *Civitas Dei* – это тесный град, это – неразрушимая, вечная весь, под которою спасаются немногие, когда остальные гибнут, когда мир подвергается катаклизмам. Это – Церковь. Со страстностью, какая могла возникнуть только в такой миг и в таком сердце, эта идея церкви-града противоположилась миру как его отрицание, как его осуждение, как радость о гибели его – в тайниках души, однако же, дорогого. В «*De civitate Dei*», в самом деле, содержатся объяснение падения древнего мира, оправдание этого падения, радость о нем. Невозможно достаточно оценить силу душевного поворота, какой совершился в творце этого замечательного труда, – но нельзя не заметить и некоторой его болезненности и узкости, обусловленных отношением этого душевного состояния все же к частному и временному факту истории, хотя и единственному по своим размерам и трагизму. Эта сила, эта болезненность и исключительность и залегли во все последующее развитие западной церкви: идея тесной веси Божией как чего-то далекого от мира и ему противоположного, с ним не связанного и только борющегося, эта идея (вернее, чувство) стала основной для великих организаторов нового исторического здания, которое мы называем католицизмом: безбрачие всего клира; ему одному доступность «и крови Христовой»³; непонятный живым народам богослужебный язык; наконец, учение о государствах как преходящих ступенях истории и о государях как свергаемых гневом Божиим простых избранниках толпы – все это заключалось уже как вывод в том основном чувстве, с которым блаженный Августин на развалинах древнего мира писал как бы заветы для нового.

«Анти-мир» – так можно было бы определить церковь, выросшую на этих особых заветах, могучих в силе своей, но и односторонних; и вот почему западный мир, насколько он не вошел в нее, насколько он вырос из каких бы то ни было других начал – политических, культурных, рациональных, – всюду и постоянно становился «Анти-церковью». Без взаимного просветления, без желания понять друг друга, без сожаления, с каким-то отмщающим чувством они борются в истории без

другого удовлетворения, без другой надежды как только – не видеть друг друга, не знать друг о друге, как день ничего не знает о ночи, им сменяемой, но с ним не смешивающейся.

Позже язычество в эпоху гуманизма, походы королей на Рим и посылка ими же туда простых убийц, наконец открытый атеизм XVIII–XIX вв., решение окончательно устроиться на земле без Бога и против Бога – есть только антитеза желанию «устроиться без мира и вопреки миру», какая гораздо ранее совершилась уже в римской церкви.

«Я не мир принес на землю, но вражду и разделение»⁴ – это таинственное пророчество Спасителя во всей полноте своей осуществилось в западной ветви Им основанной Церкви.

И, однако, если только «вражду и разделение» Он принес, где же место для завета: «возлюби ближнего своего, возлюби врага своего»?⁵

Место это там, где нет борьбы как сущности, где она есть лишь случайность и заблуждение. Замечательна разница в типе, который наблюдается во всех средствах спасения, употребляемых по отношению к заблуждающимся в западной и в восточной ветвях церкви: на Западе они всегда носят характер причинный, *отгоняющий от заблуждения*, на Востоке – характер целесообразный, *привлекающий* к истине. Среди осужденного к гибели мира, в одинокую и вечную весь можно ли ожидать грешников? разве, когда гибнет корабль среди бури, есть место убеждению для гибнущих? не заключается ли дело в том, чтобы как можно поспешнее, как можно больше полужахлебнувших, полуживых набросать в лодки, где уже сидят сильные гребцы с приподнятыми веслами, чтобы грести к близкому и твердому берегу, недоступному для волн (*Civitas Dei*)?

Этого понятия о грехе как о чем-то всеобъемлющем, окончательно и безвозвратно погубляющем вот эти предстоящие толпы людей, вовсе нет в восточной Церкви. Проникающее ее чувство спокойнее и вечнее: оно не относится в своем происхождении ни к какому единичному факту, ни к какому историческому катаклизму; поэтому и нет в нем ни того напряжения, страстности, какие наблюдаются в господствующем на

Западе религиозном чувстве, и нет его узкости, односторонности, болезненности. Ощущение *уже совершившегося искупления* рода человеческого от греха здесь гораздо жизненное, ярче – и сообразно ощущению этому все здесь светлее, радостнее: нет абсолютности в гибели людей и в пороках их – есть только легкомыслие, забвение главного. Не толпа *слепорожденных* проходит перед церковью – толпа, которая не видит ее и сама не может увидеть, которую нужно поэтому «ввести» туда (*compelle intrare*⁶), – вокруг нее в опьянении минуты безумствует, *закрыв глаза*, слишком пока довольная, слишком счастливая толпа. Пройдут эти минуты безумного веселья, почувствуется низменность этого счастья, и тогда люди сами увидят, где им должно быть. В храм, горящий свечами, теплящийся молитвами, *о них молитвами*, они войдут и возьмут предуготовленные для них свечи – и поклонятся все Единому Богу.

Существеннейшая черта Православия заключается в этом: оно ожидает, оно долготерпит*; не проклинает, не ненавидит, не гонит. И сообразно этому внутреннему покою чужда какая-либо экзальтация всем его внешним выражениям: наши храмы никуда не устремляются своими формами, они светлы внутри, порывистость и страстность чужда нашим церковным напевам; и в противоположность всему этому как сумрачны, затенены католические кафедралы, какая устремленность в го-

* Это отражается и на частностях, напр<имер>, на понятии о милостыне: много лет назад, подав нищему монету и следя за ним в окно, я увидел, как он прямо пошел в кабак. Повинуясь невольному движению сердца, воспитанного в идеях, ничего общего с Православием не имеющих, я тотчас раздражился и громко выразил сожаление о подаянии: милостынею я делал только утилитарный поступок, и, раз в нем не было нужной стороны, он был в моих глазах дурен, вреден. Бывшая тут же четырнадцатилетняя крестьянская девушка (из староверческой семьи), услышав ропот мой, с волнением заметила: «Что Вам за дело, куда он пошел и что сделал с Вашими деньгами? – за это он ответит Богу; а Вы только подайте – Бог у Вас только за это спросит». Иными словами: не размышляя и не анализируя, поступай хорошо, делай добро; увидеть это добро и последовать ему или нет – это принадлежит чужой свободной воле, которая наравне с вашей имеет свое самостоятельное отношение к Богу. Абсолютность добра, его необусловленность обстоятельствами, его всегдашнее требование – и одновременно свобода индивидуальной воли, ее самоопределяемость, отчетливо и твердо здесь выражены.

тике и тоскующее желание, трудно сдержанный порыв в церковной западной музыке.

V

Этот дух Церкви, еще библейский на Западе, уже евангельский на Востоке, наложил печать свою и на народные характеры. Мы возвратимся теперь снова к двум идеальным типам христианской нравственности, о которых говорили выше.

В характере идеальной христианки Древней Руси мы наблюдаем прежде всего полную *слиянность* с окружающею жизнью – слиянность в интересах, в привязанностях, в способах радоваться и в причинах печали. Ульяна – мать, и, очевидно, счастливая; выполнив весь свой долг перед Богом, она чужда какого-либо осуждения к тем, кто забыл свой долг; на путь, ею пройденный, она никого не нудит и детей своих выводит на другой, для всех обычный путь. Высокие способности своей души она, очевидно, считает особым даром Божиим, за который она должна Его благодарить, но за отсутствие которого осудить других – значило бы роптать на Бога и Его Промысл. В годину, особенно бедственную, нищенствуя с нищими, она и особенно весела и деятельна. Таким образом, слиянность ее с окружающими людьми и с окружающею жизнью есть полное подчинение, наравне с ними, вечным законам природы, которые священны: «благословен Бог мой и благословен мир Его», – как бы слышится в каждом поступке этой женщины, ничего не отрицающей, всему покоряющейся, во всем долготерпеливой.

Очень сходны по содержанию своему с ее добрыми делами и добрые дела ее западной сестры, Елизаветы Тюрингенской. Но при этом сходстве и какое внутреннее различие: духом осуждения веет от всего ее нравственного склада, осуждения – миру, его радостям, его естественным законам и путям развития; скорбь и сожаление чувствует она к себе, насколько вступила, насколько она не могла не вступить на эти пути; и участие к миру этому лишь тогда, когда, свернувшись на этих путях, он разбит, страдает, гноится в рамах.

«По-ту-сторонняя церковь» – невольно думается при этом: церковь не просветляющая действительность, но отрицающая ее. И не от этого ли жизнь – насколько она уже есть, еще не истреблена – вздымает свои мутные волны, без какого-либо играющего в них луча, чтобы залить эту церковь, всякую святыню на земле, чтобы все погрузить в первобытную темь?

ГДЕ «КУЛЬТУРА» РУССКАЯ...

Один умный немец и лютеранин, но родившийся в России, никогда из России не выезжавший, сказал в случайном разговоре, «вне темы»:

– Я всегда кладу на блюдо, когда собирают эти наши мужички «на построение храма»; а когда случается бывать в церкви, то кладу не на блюдо «с благотворительностью», а в кружку «на украшение храма». Потому что хоть я и не православный, но мне очевидно, что вся русская *культура* выросла из Православия и создается до сих пор главным образом им. *Народная культура*...

Между тем он и в храм заходит редко (с дочуркой от православной жены), а читает все интеллигентские книжки последнего чекана. Так что взгляд этот не только «вне темы», но и вне «предрассуждения»... Но немец этот – любитель Гете, о котором что-то последние годы ничего не слышно на Руси, точно Гете и не рождалось никогда. Так что он образован не только последним чеканом, но и старым чеканом. И вот: «Православие есть родник культуры».

Чем? Православие родит мысли, задает вопросы, вызывает споры... Возьмите всю необозримую литературу раскола и сектантства. Оно же дает звуки, напевы, слуховые мотивы... Оно дает краски... Оно учит истории, ну кой-какой, с вымыслами, легендами, даже пусть с враньем... «Допрежде Руси еще греки были... И греки те жили за морем». Не велика история и география, но «все-таки»... Видал я маляров: красит дверь, а сам все поет: «Господи, воззвах Тебе, услыши мя»... Немного:

но все-таки почему это хуже граммофона с Вяльцевой? И почему эта история и география хуже Вербицкой? Между тем все это народ получал *от церкви*, даже когда был безграмотен, и получает везде еще и теперь, насколько тоже безграмотен.

Все это я измеряю наименьшею мерою, в какой уже решительно никто не откажет размерам *образовательного* влияния церкви; у самого у меня другие меры, но я о них помолчу.

Вспомнил же все это, просматривая и кой-где почитывая великолепное издание общерусского значения, но крайне местного заглавия: «Картины церковной жизни *Черниговской епархии* из IX-вековой ее истории»... – «Ну, что, – скажут, – епархиальный труд и епархиальная история: кому это интересно». Но, на самом деле, это кусочек общерусской жизни, общецерковной, которая решительно такая же везде по колориту, по духу, как в Черниговской «епархии», а во-вторых: первым черниговским князем был Мстислав Удалой, в местностях этих подвизался Феодосий Углицкий, мощи которого собирают теперь тысячи народа, и там же трудился, говорил и писал Лазарь Баранович... Из Черниговской «епархии» вышли созидатели монастырской жизни в России, святители Антоний и Феодосий Печерские, из нее же пришел на Москву митрополит св<ятой> Алексей, основатель Чудова монастыря... Так что, с одной стороны, Черниговская епархия есть «кусочек», а с другой стороны, – это «родительский кусочек», «родительское место» всей Православной Руси. Я назвал только десятую часть знаменитых имен, или здесь «подвизавшихся», или отсюда вышедших, «отъехавших» и проч. Да ведь Михаил «Черниговский» и с ним «болярин» Феодор были замучены перед глазами Батыя за отказ поклониться кумирам и пройти через очистительный огонь: одно уже это делает Черниговскую «епархию» священною для всей Руси! Нам только неприятно слово «епархия», напоминающее епархиальное «управление», епархиальное «училище» и даже епархиальную консисторию – слова и понятия новые и не совсем симпатичные... На самом же деле это только в русский язык и в русскую историю они еще недавно введены, а вот у греков, «которые за морем», два слова – «архиерей» и «епархия» –

встречаются на монетах еще Августова времени, до начала христианства! Это просто термины греко-римского управления областями и стариннее не только чего-нибудь русского, но и всей Руси. На самом деле «Черниговская епархия» есть собственно древнейшее Черниговское княжество, с первым легендарным князем «Черным» и дочерью его красавицею «Цорною», с знаменитыми князьями Мстиславом (Удалым), Святославом Ярославичем, Владимиром Мономахом, святыми князьями Игорем (Ольговичем) и Михаилом, с преподобною княгинею Евфросинией Суздальской и Романом Михайловичем... Вот какое это гнездо, собственно, в царственном сложении Руси. А в церковном — отсюда изошли или здесь временно проходили свое служение: Платон, митрополит Московский, Стефан Яворский, св<ятой> Димитрий Ростовский, Петр Могила и многие, многие другие. Зато и изукрасилась же Черниговская земля храмами, монастырями и чудотворными иконами. Спасибо большое «ученику Императорской Академии Художеств» Н. А. Протопопову, коим выполнена художественная сторона издания, — как и делает честь фотолитографии С. В. Кульженко (в Киеве) отпечатание подобного по роскоши труда. Церкви, иконостасы, живопись богородичных икон — изумительны по мастерству работы и по художеству убранства. Трудно судить, так ли это великолепно в натуре, как в фотографических снимках, но фотографии говорят о роскоши и вкусе. Край этот боролся и страдал от татар, от Литвы, от Польши: и все вспыхнуло великолепием в усилиях перебороть иностранщину и инородчину и остаться верными сперва Киеву и затем Москве. И к Москве сильно «крепил» Чернигов, начав отставать уже от ближнего Киева, как только «все потянуло» к Москве.

Признаюсь, до знакомства с этою книгою ни «Черниговская губерния», ни «Черниговская епархия» не представлялись так значительными; приобретение книги в высшей степени желательно в библиотеки, читальни, в гимназии и училища всего Юго-Западного нашего края, да и сюда ближе, к северу и востоку: множеством нитей Черниговский край переплетен и связан со всеми историческими местами, с историческими средоточиями Руси.

Книга написана обыкновенным слогом, коллективно и епархиально, – вероятно, при помощи черниговских преподавателей и местных ученых иереев; и это в том отношении любопытно и важно, что, очевидно, подобные *местные* истории и описания могут явиться и в Нижнем Новгороде, в Казани, в Костроме, Ярославле, Твери, в Калуге, и в Рязани, и прочих местах, где есть что вспомнить, где сохранилась «дедина». Дай Бог успеха, старания и прилежания. Я смотрю на местную «Черниговскую историю» как на высококультурный *пример*: ведь такая книга, хотя бы в фототипиях, сохранит на все века все *видимое сейчас* на месте, все *уцелевшее к нашему году*, а «дедина» растеривается в веках, растеривается и пропадает. Это ее печальное свойство. Наконец, не важно ли, не *просветительно* ли, что каждый «господин купец» в Чернигове, Конотопе, Нежине, Путивле (тамошние городки), каждый «мещанин в чуйке», из которых есть очень и очень много с острым глазком, с острым умом, могут сразу и из одной книги обозревать и обдумывать свою «епархию» и свой, в сущности, чудный по церковному художеству край. Одна «Елецкая Богоматерь» чего стоит: она чудно явилась «на дереве еловом, на горе Болдиной»¹ в княжение благочестивого Святослава Ярославича, внука Владимира Святого... Икона ее вся изукрашена еловыми ветвями, что – по крайней мере в фотографической передаче – являет изумительное и редкостное зрелище. Как бы не Богоматерние иконы, куда бы Русь делась и чего бы она стоила: а такими иконами она вся изукрасилась и под их покровом хранится. Иверская, Казанская, Владимирская, Смоленская, вот узнал Елецкую дивную... следовало бы составить со всей роскошью, с затратой многих тысяч, великолепнейшее воссоздание и историю этих Хранительниц Земли Русской, к которым примыкает, в сущности, все Православие, все оно с ними слилось. О догматах куда там судить: это «премудрость» и непонятно. А иконы – явно, зрительно и вразумительно. Спасибо преосвященному черниговскому и нежинскому владыке Василию, заботами которого сооружен сей труд. Он посвящен Государю Императору, пришедшему поклониться мощам св<ятого> Феодосия Угличского.

В заключение не могу отказаться от удовольствия привести былинный отрывок, которым начинается изложение прекрасной книги; в отрывке говорится о русском народе-этнографии:

По Киеву его звали Куянином,
По полям звали Полянином,
По лесам – Древлянином,
На западе звали Рутенином...
А на Буге – Бужанином,
На Днестре звали Тиверцем,
На Ильмене – Смолянином,
На Днепре – Северянином,
А в иных местах и никто не знал,
Какого он рода-племени,
Как звать-величать его по имени,
Как чествовать по изотчеству;
И звали его просто богатырем северным.

Вот прочтешь это и подумаешь: а все мнутся люди, своего добра не видят и чужого ищут. Думают «завести культуру» через Богрова и Вербицкую. И палят-палят, печатают-печатают; но хоть распечатайтесь и распалитесь, господа, – Русь не дрогнет, не пошевелится: и посмотрит жалеючи на вас с верхов тех елочек, откуда «дивно явились» ей хранительницы и защитницы тишины и покоя нашего, а наконец, и красоты и богатства русского, и местно чтимые, и всероссийски чтимые иконы Богородительниц русских.

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ В ВОЙНЕ

Переживаешь чувства, никогда не испытанные. Входишь в духовный опыт, пожалуй, даже в целую систему духовной опытности, которой и не подозревал ранее. Можно сказать, без этих роковых дней войны мы все, целое наше поколение, сошли бы в могилу менее развитыми, кое-чего вовсе не узнав, не изведав, не

постигнув. Война вдруг вскрыла целый мир отношений, связей, смысла, без нее неуловимых, призрачных, неосязаемых. Что такое землетрясение? Оно пугает не только человека. Животные задолго до него начинают выселяться из лесов, сбегают с острова или со скатов вулкана. Вся природа в тревоге, особенной, космической, неустрашимой, непобедимой. Все покидают область, которая нимало не разрушится, а только дрогнет <...>.

Война чрезвычайно похожа на землетрясение. Это – землетрясение политического мира, содрогание, толчок культуры, пусть мгновенный и даже неразрушительный. Но пока он продолжается, этот толчок культуры, пока мир не заключен, – в сущности, вся культура вдруг становится нетверда в себе, без опор, в неуверенности: и эта неуверенность простирается на все пространство, где война, и на все время, пока война. Россия воюет с Японией: что это значит? В учебнике читаешь: «была война» – и ничего не ощущаешь. Но вот она настала воочию, – и что такое она в сущности? Не знаешь, как она выразится, где получит границы. Вулкан неизвестно куда и насколько даст трещины. Но сущность войны тем чудовищна и ужасна, что если не в факте, то в напряжении своем и в идее своей она так же, как некогда Везувий над Помпеей ставит вопрос о существовании целого. Везувий сотни раз трясло, а Помпею засыпал он только однажды. Вероятно, что война с Японией ничем опасным для России не кончится. Но все следят, куда политический мир, этот вулкан, сейчас горящий или тлеющий, дает свои зловещие трещины. Следят за Англией, глядят на Америку, трогают германский борт <...>. Произошел разрыв между державами: люди взялись за пушки, за ружья и пошли друг на друга, как медведь на барса, барс на медведя. Отныне все ужасное возможно. Закон «не убий» обращается в «убий»; «не ограбь! не отнимай!» обращается в «грабь и отнимай!». Мировое «не разрушай!» обращается в бурю – «разрушай!». Решительно – вулкан, землетрясение. Все моральные стихии действуют навыоборот: и это пока не пронесется вожаемое: «мир настал».

Паника на бирже. Паника овладевает биржами всей Европы, даже и невоюющих ее стран; и государственные люди, как

и газеты, бессильно стараются успокоить общество. Вот вам обратная сторона двух строчек: «Тьмы низких истин» и т. д. Это – та же поэзия, но не в белом, а в черном одеянии. Тот же факт самогипноза, но не в жидущем, а в разрушительном движении. Ничего еще не произошло, а деньги вдруг стали дешевле, и множество состояний разорены... в сущности, под двусмыслием:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Наблюдать за этим страхом Европы было чрезвычайно поучительно, даже философично. Отчего бояться мне, когда я тот же, что вчера, ничем не хуже, ничего худшего не сделал?! Да, мы все те же. Так же мирно живем и мирно работаем, как жители Помпеи за 12 часов до работы Везувия. Но все испугались, потому что без всякого частного порока существование всех вдруг стало более условно, чем было всегда: и не столько реально, как фантастически, т. е. даже более разрушительно, нежели как это могло бы произойти от какого угодно факта. Некоторая страна, целый народ, вооруженный, с культурой, с цивилизацией – отрицает не Марью и не Ивана, а... Россию! Россию, в которой мы тысячу лет живем и трудились всегда так мирно, как бы ей ни во времени, ни в пространстве не было предела?! Одна из мистических, пусть «мечтательных» сторон войны, а вместе и глубоко воспитательных, страшных, заключается именно в том, что национальное существование, которое всегда ощущается для гражданина как что-то беспредельное и абсолютное, вдруг получает осязательность и очевидность предела и условности. Война есть в точности «Бог» (мистическая, неземная сила, недаром древние изобрели «Марса»), который грозит, пусть только временно и пугающе, целому существованию народа, всему ему: «Смотри, тебя не будет!» Мысль: «Боже, мы можем *быть* и *не быть*» – впервые представляется мирным обитателям, гражданству.

Мне кажется, я очень верно передаю чувства, с которыми русские понесли вдруг невероятные суммы на армию. Понес-

ли кошельки со старыми монетами и кольцами, гимназические медали! Решительно ведь произошло событие, как в Нижнем перед Мининым! Что же случилось? Неужели мотивом этого было только повреждение четырех броненосцев, легко исправимых правительственными средствами? В России прошла, именно как от сотрясения вулкана, волна испуга и оскорбленности. Русские Иваны и Марьи, как никогда раньше и, может быть, никогда потом, почувствовали, что такое «Россия». Качнуло корабль, в котором, в сущности, мы с бесконечною уверенностью и спокойствием жили. Всякий стукнулся головою о его борт и ощутил: «А, это *наш* борт! За ним *враждебная* соленая стихия, которая нас сожрет и не поперхнется, если только лопнет этот *спасительный* борт». Отсюда энтузиазм, патриотизм, жертвы. Все Иваны и Марьи до известной степени обезличились, потеряли индивидуальность свою, частность свою, но зато в каждом из них появился «образ и подобие» всей России; каждое русское «Я», может быть впервые с рождения, сказало в себе: «Я – Россия! Я – тоже Россия, но только в миниатюре: точная копия огромного и целого».

Это счастливое чувство, редкое, исключительное. Не только целое поколение, но иногда ряд поколений рождается и умирает, не испытав вовсе его и не восприняв в себя соответственного развития, углубления.

Мы в эти недели пережили ощущение великой концентрации России и олицетворения ее; мы ощутили Россию как лицо, как бесконечный индивидуум, и почувствовали его дорогим и личным чувством, каждый. Это тоже воспитывает. Это тоже единственное ощущение, может быть, за всю биографию каждого из нас. Враг борется не с единичными Иванами и Семёнами, которыми и не интересуется, и даже не озлоблен против них: ненависть его и борьба, его корабли и пушки усиливаются повредить, а то и разрушить вовсе то громадное целое, что от каждого из нас имеет в себе каплю меда и обратно им всем дало много меда. Теперь только воочию и осязательно становятся понятны нескончаемые заботы об армии, кажущиеся такими ненужными в мирное время. Армия охраняет целость, неразру-

шенность и неразрушимость длинных ребер бесконечной пирамиды, в которой все мы живем. Эти бока нашего здания, «борт корабля», внешнюю одежду пирамиды – армия, можно сказать, лелеет, чистит, оберегает от сырости и малейшего разрушения, как и солдат свое ружье. Солдат всегда не нужен, но в роковую минуту он только и нужен, – в ту роковую минуту, когда вулкан трясет и подымается вдруг странный, дикий, чудовищный, страшный вопрос: «*быть* ли России, *быть* ли всем нам».

Где же сеятель твой и хранитель, –

сказал о мужике Некрасов; второе определение относится к солдату. На вопрос: «*Быть* ли России?» – мы не рассуждаем в ответ, а выставляем миллион штыков и огнедышащие жерла пушек! «Ах! беда настала!» – кричат бегущие вспять наши поносители. И вот, пока мы не увидели затылки бегущих, испуганных, вопрос «*быть* ли России» не снят с очереди. Как только враг повернулся задом, «*бытие*» России из вопроса переходит в несомненность.

– Конечно *быть*! «Ваше степенство!» «Ваше высокородие!»

И дипломатия, и история, культура, цивилизация, наука, философия раздвигают свои кресла и дают сесть в рядах своих «лицу», именуемому *Россия*. Отныне ей будут сложены стихи, наука займется ею, философия будет размышлять об ее назначении, ее культурных особенностях. Дипломаты, короли и целые армии станут пожимать ее руку.

Это – если она сумеет напугать. Ну, а если испугается, все бросится на нее с гиком: «Ату ее!» Разница между «ату ее!» и «ваше степенство» и определяется силою мускулов и неусыпностью солдата, его беззаветною преданностью долгу. Он – как часовой. Часовой ведь ничего не делает, только ходит взад и вперед. Для зрителя, – он гуляет, ничего не делает. Но то, что он *есть*, и *каков он есть* – это определяет безопасность бесконечных сокровищ, вокруг которых он ходит. Солдат есть спаситель России: но это всегда гипотеза, мечта, а нашему поколению дано «потрогать пальцами» туман этой философии.

Почему во время турецкой кампании не было и тени этого возбуждения, какое охватило сейчас Россию? Говорят, газет было меньше. Но оставьте долю и русскому уму. С первого же часа балканских событий было очевидно, что это есть местное явление. Что это есть провал почвы на таком-то участке поля, а не действие неопределенно-далеких и бесконечно неизвестных вулканических сил. Первый выстрел на Печелийском заливе всеми был выслушан именно как первый и почти еще не слышный толчок, но несомненно подземного вулканического огня. Совершенно неизвестно, никому в Европе неизвестно, дает ли он трещины, и в каком направлении, и насколько длинные; все ли тут уцелеют или не уцелеет никто. В историю привзошло неизвестное: и это опять новое для всего нашего поколения ощущение! Его не было для наших отцов. Не было не только в последнюю турецкую, но и в Крымскую войну. Меня могут осуждать, но я осмелюсь сказать, что его даже не было и в эпоху борьбы с Наполеоном! Там был виден предел, чем все кончится, в случае удачи и также в случае неудачи. Кончиться могло исчезновением Пруссии и восстановлением Варшавского королевства: но трещина даже и вовсе не пошла бы по телу России. А с переделом карты собственно Западной Европы Наполеон уже приучил всех, ознакомил и опытно научил. Теперь «наполеоновское потрясение», т. е. что-то похожее на всеобщий водоворот и «переделы», грозит, в силу неясности политических сцеплений, уже не маленькой не тесной Западной Европе, а миру стран и народов решительно на протяжении всего света. Недаром, не без причины ведь (ибо ведь это денег стоит!) спешно ремонтируют крепости и корабли даже в Португалии и Голландии, — и начали это делать сейчас, как только раздался выстрел в Печелийском заливе. Все со всем связано, все и каждый друг от друга зависимы: в этом — сущность цивилизации и, особенно, нашего момента, нашей истории <...>. Цивилизация стала в полном смысле слова «единой»: и тем более страшна стала ее малейшая хрупкость. Отсюда страхи, тревога, «мечты»; паника бирж и вооружения Голландии и Португалии. Вдруг колоссальному факту мира, России, дерз-

кая и яростная, не бессильная вовсе, хоть и маленькая, страна говорит: «Не надо тебя! Ни тебя, ни твоих Сусаниных, ни твоего языка, восхищавшего Пушкина и Тургенева, ни сказок, ни былин, ни нянюшек, баюкавших твое детство, ни славянофилов и западников, ни Стасюлевича с Михайловским, ни памяти Некрасова и Салтыкова (беру примеры, нам особенно близкие, чтобы передать суть дела) – вообще ничего! Убирайся в преисподнюю, проваливайся в Балтийское море, с урядниками, губернаторами, земскою статистикою, с Мещерским и Стаховичем! Все это хлам, который пора выбросить из истории, – и вот я это начинаю!» Качнулась Россия; качнулась чуть-чуть, легчайшим и лишь для чувствительных инструментов заметным качанием, однако вся – от Печелийского и до Финского залива. Чуткое и тонкое сердце русских вот это-то и ощутило, и отсюда-то лирично-тревожная нотка в наши дни, отсюда копейки и миллионы не только на «раненых», по филантропическому мотиву, но и на армию. «Часовой! Гляди за Россией, враг крадется», – как бы пронеслось в тиши ночи. Только великим умом русских, а вовсе не событиями, пока мелочными, ничтожными (что они сравнительно с Плевной, Севастополем, Бородиным!), – можно объяснить, что вдруг Россия измерила всю огромность и, главное, неопределимость надвигающихся дней. Будь у нас война только с Японией, мы танцевали бы, ели, пили, совершенно как прошлую зиму. Ведь, кажется, балы и удовольствия не отменялись даже в плевненские дни.

Великое счастье, что эти первые дни европейской «Пелопонезской войны» мы переживаем (без хвастливости) не только с великим и чутким умом, но встретили их героически, спокойно, твердо, величественно, хотя необыкновенно серьезно, чуть-чуть угрюмо. Веселых и бравурных криков ведь ни одного не пронеслось – это замечательно! Их не было даже и до войны, в ожидании войны (ее слишком многие ясно и точно ожидали, без всяких колебаний и сомнений, здесь, в Петербурге, и даже не очень прислушивались к разговорам дипломатов, зная, что тут вовсе дело не в благопожеланиях одной стороны, а в одинаковом желании двух сторон, разделившихся пропа-

стью). Я назвал войну «Пелопонезскою», названием древним, нам не родным, невольно: ибо и сейчас все так же сцеплено и взаимно обусловлено, так же ничтожно и мало по виду, частично по начальному интересу, и так же (по сознанию уже многих!) грозит потрясти весь цивилизованный мир. Взять только угрюмое молчание, с каким американские корабли отказались протестовать со всеми прочими против нападения японцев на нас в заливе Чемульпо. Все чревато сейчас: и молчание, и разговоры! Все напряжено: в немногих местах – любовью, дружбой; и почти везде – злобой, завистью, раздражением! Вот это-то и делает слабою и хрупкою почву Европы. Точно она состоит из колоссальной тяжести камней: но с высохшим, растрескавшимся между нами цементом; силы – страшные в каждой точке; а единства-то точек нет! Это-то и создает в цивилизации то «неустойчивое равновесие» ее частей, которое составило опасность Пелопонезской войны и повлекло роковые ее исходы. Пока только русские окидывают глазом вдруг потемневшее под грозою поле, прочие все думают «делить и переделывать», когда, может быть, начнут переделывать их самих. Так, Пруссия, Саксония, Австрия уже делили заранее восточные провинции Франции, попавшей в руки санкюлотам <17>93 года. «Теперь-то мы поправим границы», – думали дипломаты, когда против ветхих хищников спешили к голодным и неодетым молодым войскам Дюмурье, Карно, Бонапарт... Без сомнения, на Западе теперь чрезвычайно много злорадующихся расчетов, за которыми последуют, может быть, мучительные розги.

Укрепи, Бог, Россию. Но как хорошо, что пока мы так серьезны. Душа наша – вот что важнее всяких пожертвований. Душа наша – вот главная жертва, время которой настало.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

В обществе всегда много говорили и говорят теперь о культуре, говорят о ней вообще и иногда сравнивают английскую культуру, немецкую культуру, культуру романских

стран – в их оттенках, в их выгоды для заимствующего. Почему же нет речей о русской культуре? Если есть нация, есть и культура, потому что культура есть ответ нации, есть аромат ее характера, сердечного строя, ума. Читатель уже смеется: «А, знаменитый русский дух!..» Пожалуй.

«Русский дух», как вы его ни хороните или как ни высмеивайте, все-таки существует. Это не непременно гений, стихи, проза, умопомрачительная философия. Нет, это – манера жить, то есть нечто гораздо простейшее и, пожалуй, мудренейшее. Не всякий философ имеет красивую манеру жить, но решительно всякий человек, красиво живущий, есть непременно прекрасный философ, но только не рефлексивный, а действующий. Сказать, что русские совершенно не имеют своей манеры жить, думать, умирать, обедать, читать, сочинять, – нельзя. А стало быть, и сказать, что так-таки совершенно нет «русского духа», – было бы опрометчиво. «Русский дух» есть у типографского наборщика, который станет набирать эту статью, у меня, ее пишущего, и в том способе, как один и другой из нас проведет свой даже обеденный час.

Как есть «русский дух», так есть и русская культура. Когда мы спрашиваем, «где русская культура», то мы собственно спрашиваем, «где отделение русской словесности в Императорской Публичной библиотеке, которое обилием и ценностью превосходило бы французское, немецкое и т. д.». То есть мы предлагаем русской культуре немецкий вопрос и считаем ее отсутствующею, потому что она не безлична, не повторяет. Я иначе дышу, не в физиологическом, а в духовном смысле – вот вам и вся русская культура, и совершенно достаточная. Библиотека у нас иностранная, но в библиотеке есть г. Стасов: вытащите мне из «Немецкого моря» второго Стасова, найдите его в Англии, во Франции – и я отрекусь от русской культуры. Культура – это мы, это я, насколько мы не безличны. А кажется, мы не безличны. «Распущены» – это так, но это другой вопрос; «не образованы» – о, всеконечно, но это совершенно, совершенно третий вопрос. Русская культура – это покров русского духа. Нас закраивал совершенно иной портной, чем

француза или немца, и не знаю, даст ли нам Бог долгий век, но пока мы щеголяем в своем платье и на свой манер.

«Но где же окончательный смысл этого духа и где его вечные плоды»? Этаким нетерпеливым и чисто русский вопрос. Русский все смотрит в вечность, «подай» ему «вечность». А где была «вечность» в смысле завершения, в смысле окончательного плода, неумирающего результата у римлян в пору борьбы с Аннибалом, то есть в пору, довольно близкую к завершению? «Вечность», как вековечный плод, объявляется только в последнюю минуту; «вечность» – это всегда угол, к которому сходятся сближающиеся ливни, и само собою разумеется, что он, этот угол, является тогда, когда движения этим линиям более нет. «Умрем, тогда видно будет»; и то, что теперь, пока, в нашей истории «ничего в волнах не видно», то есть не видно еще окончательного и всемирно-значительного, плода нашего тысячелетнего существования, есть не причина для плача, а причина скорее для бодрости. Значит – долго жить.

Но – что-нибудь из черточек русского духа! Я думаю, две главные: мягкость и окончательность (неполовинчатость). Сурового человека русские не выносят, разве на минуту. Даже знаменитые наши полководцы, Суворов и Кутузов, были: один юморист, а другой – в пору такой борьбы, когда наше национальное «я» было поставлено на карту, – все-таки нисколько не жестокий, даже не суровый человек. Да, вынести «отечественную» не только в имени, но и в смысле, войну и сохранить в ней спокойствие, а местами и прямо добродушие – это что-нибудь значит для национальной характеристики в смысле еще не явленной миру благодати. Война есть жестокое дело, и вместе она ведется расчетливо, с расчетом. Таковы и были римские войны и римская политика, как система рассчитанной жестокости. Но у нас не только политика, но и самая война никогда не была жестоким расчетом. Такой войны мы не вынесли бы, впали бы в нервную горячку. Самая важная причина некоторого нерасположения у нас к гениальному Лермонтову заключается в том, что его гений, так сказать, омрачается мрачностью. Истинно серьезное русский видит или непременно хочет видеть только

в сочетании с бодрой веселостью или добротою. Шутку любил даже Петр Великий, и если бы его преобразования совершались при непрерывной угрюмости, они просто не принялись бы. «Не нашего ты духа», – сказали бы ему. Но он работал и шутил. «А! это – нашего духа; принимаем тебя и твое».

Но более обещающая черта – это русская окончательность. Разве не «окончательны» Грозный и Петр, не «целостен» Суворов? Суть «окончателности» заключается в доведении порыва, в чем бы он ни заключался, до самой его последней точки, дальше которой и двигаться нельзя. Пожалуй, эта черта татарская, тут есть немножко Тамерлана. Но ведь в русской крови вообще есть чрезвычайно много примесей, и это не худо; от этого она гораздо богаче других славянских кровей. Разберите вы у римлян, где кончался этруск, где умбр, где латинянин. Увы, даже имя «латины» есть имя врагов Рима!

Итак, быть бы богатым, то есть быть бы даровитым, в своем «я»; а откуда это богатство «я», с Востока оно или с Запада, от варяг, половцев, древлян, кривичей, от чуди или от «татарвы», – детям Адама мало нужды. Договорим же об «окончателности»: разве наше старообрядство, с его «Исусом», наша беспоповщина с ее вечным клокотанием новых и новых подразделений сект; наш Разин и Пугачев, как представители анархии, Сперанский – как представитель порядка и формы, не суть самая красноречивая иллюстрация того, что во всяком движении дойти до «последней точки» раз принятого направления есть упоение русского духа, есть поэзия русского духа?

Вот эта-то черточка «окончателности» есть главный залог того, что мы далеко пойдем. «Окончателность» есть абсолютное; и у нас это абсолютное выражается не в мышлении, как оно, медленно зрея, выразилось у немцев в философии Гегеля, а в самой крови нашей, в горящем огне желаний. Мы абсолютны в движении и даже именно в историческом движении. То есть так или иначе, но история наша завершится чем-то абсолютным, конечно по смыслу и по ценности. Замечательно, что и великие наши писатели все имели какую-нибудь абсолютную мечту. Вспомним Гоголя, вспомним Достоевского, посмотрим

сейчас на Толстого. Все это – абсолютные сердца. Знаете, что у нас был даже абсолютист здравого смысла?! Это – Пушкин. За ним не пошли полосы русского развития, как за другими; но все море русской жизни с ее крепким здравомыслием, в сущности, отражает Пушкина, или, пожалуй, Пушкин отразил его. Но и здесь здравый смысл доведен до абсолютности же.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И НАШЕ К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ

I

В июньской и июльской книжках *«Вестника Европы»* за 1891 г. рубрика «Из общественной хроники», всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации. «Запад гниет, Запад разлагается» – такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. *Теперь славянофильство, как организованное целое, более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники*, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; *остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения*, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другой целью. Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней *высокомерное отношение к «чужим» и «чужому»*, по-прежнему *слышится благодарность судьбе, сделавшей нас иными – лучшими*, более сильными и свежими, чем наши «ближние» (июнь, 1891 г., с. 882)¹.

В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря² селятся задрнуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть ис-

тинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их ни было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самую теорией, ими завещанной? Кто и когда «организовал» славянофильство и что вообще могут означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит «обрывки».

В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении «западников», и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников*. На какой труд, подобный, например, *«России и Европе»* покойного Н. Я. Данилевского³, по сложности, по системе развиваемой мысли, могут указать «западники» в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова?⁴ Эта прелесть и сила речи, которою, независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в *«Национальной политике»* и других многочисленных статьях К. Леонтьева⁵? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только пре-

* Вообще в развитии «западнического» учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что *история* его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.

клониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, *если б она действительно имела силы бороться* – она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге *«Восток, Россия и Славянство»*⁶ или в брошюре *«Национальная политика, как орудие всемирной революции»*. Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь», – сказал этот писатель в одном из своих трудов⁷; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинное, – не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?

Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? «Спор выясняет истину», – повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана; она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она завлакивается от общества молчанием и погибает под тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим – без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, *«Вестник Европы»*, который вот уже четверть века держит среди нашего общества зна-

мя западноевропейской культуры, если бы хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, – давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда – все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?

II

Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории – так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о «гниении» Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность

и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь общей мысли, что западная культура, в ее *целом*, падает или что прогресс *вообще* есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть⁸.

В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, – в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, – все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: *продлить культурное существование человечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы*. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, боровшийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это – малоизвестный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули⁹. Он нашел объективные признаки *всякого* разложения и *всякого* развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, – по ним определил его несомненное падение. Отринув показа-

ние субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества *процессы развития имеют одно течение*: восхождение от первоначальной простоты, слитности – к многообразию форм, в одно и то же время раздельных и связанных прочно единством общего типа; далее непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветают религиозный культ, военные подвиги, наконец поэзия и философия, – вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме – вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относятся последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу, и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец человеческий дух и его история, – везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается *распадением прежде слитной массы на своеобразные и обособленные части*. И напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупe границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу, все становится однородной массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающей физической природой; также утрачивает свои грани и твердые углы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабили законы, принудительно удерживающие каждую пла-

нету в своей орбите вскоре бы наступили хаос и смешение и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.

Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для собственной победы и для того, чтобы не сдаться правому, но ненавидимому противнику?

III

С конца прошлого века события развиваются так быстро, что в самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыгаться французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую *общую* точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисходящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончательный результат, к которому, со времени этой революции, направляются все дела Европы: уравнивание и слияние этих государств в компактную массу европейского человечества – с ослаблением и потом уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и человечество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями исторического процесса, который уже открылся. С достижением их человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и первобытно, как

и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, — с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое более никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к *особенному* в правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, по-видимому личного происхождения. Одно государство, повторяющееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в миллионах подобных, — это есть историческая задача времени, успешно осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той твердости — они не так резко разделяют политические тела, как прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от системы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, — всего этого уже нет более. Политические границы, как и административные (между провинциями), — вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международных обществ, международные же конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и согласованные тарифы — все это похоже на стальную паутину, которая крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разнородные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут неразличимы. В самом характере главной власти, которою резче всего

обозначается автономность государств и народов, произошла сильная и, к удивлению, не замечаемая перемена: король – это не полководец больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, в своих дарах и даже в капризах *полную* личность своего народа с его умом и страстями. Это – только главный администратор в стране, который платится как и все другие, когда действует неумело. О его личности, о его пороках или добродетелях не слагаются более легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается – «все умирает», говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить против всего этого? Но если так, то все наше отношение к *прогрессу* меняется, и отношение к западной культуре делается невольно исполненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит и всякое величие и все мудрое. Колоссальный организм, гнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на разных частных предметах, все одну и ту же истину – *одну и главную в наше время*, – впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскрыется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, колосс всемирной культуры еще подвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в прежние века, под напором турок или арабов – это было склонение молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в того, кто первый, потянув в себя воздух, сказал нам, почему в самом деле атмосфера так удушлива?

IV

«Вестник Европы» ничего этого не понимает: ему все мерещатся дворянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он не даром «журнал политики». Он не знает, что со своею бедною «политикою» он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке соприкосновения здорового организма с больным. Но кто это поймет, конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в политических созерцаниях своих, маститый журнал не возвысился над плохими учебниками, где объясняется, что «за временами преуспеваний» следуют «времена упадка» и энергическое движение вперед вызывает потом «реакцию». Приложить эти заученные параграфы к живой и текучей жизни – вот все, что он может.

Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомненное сознание *положения своего народа в истории*. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользящее к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее «усовершенствованиями» и всем внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возрела. Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, противопоставляются пятнадцать веков ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столько создать, столько накопить, так долго и страстно любить это накопленное и на исходе пятнадцатого века своего существования – вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить

раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что, унося ее неоцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, – мы совершенно и окончательно отвернемся от того, что она сделала за последнее время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывается, по-видимому, наносить самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева¹⁰ рассказывается один интересный случай: граф Строганов, с семьей которого он путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, прочесть номер «Аугсбургской газеты». Но, несмотря на все усилия, юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем – все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, главное, совершенно неинтересны. И между тем он изучал в это же время Тасса и Данта на острове Искьи¹¹ и даже одного итальянца познакомил с «Декамероном»¹². Что же: приехав на родину, он менее в ней послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евгений Утин или г. Арсеньев, которые уже верно умеют читать газеты? Этим примером и этим сравнением мы все сказали.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

Пушкин рассказывает про свои ученические годы, что сколько он ни пытался успевать по алгебре и геометрии – ничего не выходило. Серьезные и величавые эти науки представлялись ему каким-то логическим фокусничеством. И он скорее запоминал теоремы, чем понимал их. Пример этот – пример органической, врожденной неспособности.

Пропорционально ей – у Пушкина был гениальный дар к поэзии.

Подобное рассказывается в биографиях едва ли не всех великих людей. В детстве, отрочестве, возмужалости и до са-

мой смерти они глубоко к чему-нибудь неспособны, и это пропорционально их исключительному дару в другом. Так, наблюдательный Дарвин был поразительно неспособен к восприятию поэзии и не мог понять никакой красоты в Шекспире.

А средние люди, ни к чему не талантливые, зато умеренно способны ко всему.

Не то же ли мы наблюдаем и у народов? Неужели мы не скажем, что римляне были исключительно талантливые государственники, юристы, и пропорционально этому станем ли отрицать бедность и подражательность их поэзии? А такие народы, как финны, армяне, татары, народы старые, народы, ничуть не малоспособные, не обнаружили и, может быть, не имеют вовсе никакой преимущественной склонности, ни к чему преимущественного таланта.

Если с таким мерилом мы подойдем к вопросу о «самобытности» и «национализме», то мы, может быть, кое-что примем окончательно и окончательно отвергнем. Мы совершенно ясно поймем, что есть таланты-народы, которым, конечно, было бы грустно потерять этот талант, да едва ли это и возможно, и есть народы средние, народы серые, которые совершенно тщетно усиливались бы вывести в истории какую-то «свою линию»: у них нет таланта, а следовательно, они могут все заимствовать без вреда себе, тогда как талантливый народ в некоторых категориях заимствований будет так же бессилён, как Пушкин в геометрии или римляне в поэзии; а усиливаясь, даже и вопреки неспособности, перенимать — будет истощать себя.

Попади римляне еще при царях в руки какого-нибудь тирана Дионисия, любителя философии и поэзии, и кто знает, не изуродовал ли бы он своеобразный и тогда дикий народец Лациума¹; попади Пушкин в руки беспощадно сурового педагога, который, принимая его талант за каприз, всяческой мукой внедрил бы, «вбил» бы в него геометрию и алгебру до конца курса — и может быть, роскошный Пушкин не расцвел бы. Или он вырос бы искаженным, изуродованным, больным и озлобленным.

Итак, талант требует культуры, среды, обстановки существования. И это так же верно относительно личности, как и

относительно нации. С этой точки зрения «национальный вопрос» и «национальная политика» имеют *raison d'être*².

Вот ряд мыслей, на которых напрасно не остановился г. Инфолио, подвергнув наше славянофильство излишне строгой и едва ли справедливой критике. Можно ли забыть то доброе, что славянофилы дали русской земле и русскому сознанию: надел крестьян с землей – их требование и предмет горячих практических усилий; возобновление церковного прихода, как основной единицы народной жизни, не осуществилось, но было предметом их постоянной агитации; свобода совести, свобода вероисповедания, расширение независимости печати – все эти рубрики их программы. Она во многом была неудачна, но везде была благородна.

Господин Инфолио говорит, что «идеи» подобны семенам, падающим с неба на землю-нацию. Не справедливее ли принять, что сама нация есть семя, распускающееся в цивилизацию. То, что мы назвали «преимущественным талантом» нации, есть, так сказать, первосортность ее зерна, своекачествоность его, особая и характерная его порода. Есть нации как трава, безличные, но оригинальные. И есть нации-цветки, есть наконец нации-орхидеи, редкие, исключительные. Ими любуются, им удивляются. Господин Инфолио «небесное происхождение» идей доказывает их общностью у всех почти народов или у многих даровитых. Но ведь и качества и признаки, напр<имер> орхидейности, присущи всем многочисленным видам и разновидностям этой даровитой породы. Такая идея, как христианство, не привилась же к неграм, к папуасам? Между тем почему бы «с неба» не сойти ей в Африку или Австралию? Право, для «неба» все равно. Но очевидно, что настоящее «лоно» идей и великих исторических движений и направлений есть, так сказать, физиологическая и кровная натура племени. Я согласен, что – не мозг их, не одна логическая лаборатория; я беру понятие шире и называю просто: «натура».

Ошибки у славянофилов были: это по преимуществу их конструктивные построения. Они хотели предвидеть и даже предназначать России ее «исторические пути». Такова была

особенно неудачная попытка К. Н. Леонтьева указать в «Востоке, России и Славянстве», что Россия призвана дать повторение Византии, что все ее права на оригинальное и свое творчество в истории – ничтожны и смешны. Вообще все схематические построения, приложение к России гегелевских «триад» и т. п. весьма похожи на неудачу того друга Лермонтова, который при отправлении его на Кавказ подарил ему роскошно переплетенную тетрадь с золотым тиснением: «Стихи М. Лермонтова». Но шалун Лермонтов написал в нее какую-то ерунду. А гениальные свои творения он писал на клочках бумаги и чуть ли их не терял. Так совершается и в истории именно с талантливыми народами: они редко оправдывают предсказания своих исторических теоретиков и все роскошное создают в стороне от «заготовленной тетради».

Таланту нужно только отсутствие излишней муштровки. Славянофилы стояли за свободу, но, предназначая «русские пути», они впадали в глубочайшее противоречие с лучшей собственной идеею.

В золотые переплеты ставятся труды уже написанные. Обдумывать теорию истории какого-нибудь народа можно тогда, когда она совершилась и почти уже кончилась. Таким образом, славянофильство, насколько оно пыталось быть теорией русского исторического труда, могло бы и вправду бы явиться после нашей исторической смерти. Но теперь, около живого народа, это *a-prior*-ное³ построение его исторических путей вышло, естественно, неудачно и неостроумно, а в случае силы и успеха – оно было бы вредно.

Но отдельными указаниями славянофилов, по преимуществу в сфере текущей практической жизни, особенно жизни общественной, Россия и прежде пользовалась, и в будущем может еще воспользоваться. Как руководители, они были бы опасны именно излишеством своего теоретизма. России приходилось заимствовать у Европы многое и в таких сферах, где они ждали и хотели самобытности. В образовании, в суде, в устроении армии, увы, не приходилось откладывать реформ. Вообще отношение славянофилов к Европе представляет сла-

бый пункт: практика не ждет и торопит к заимствованиям. Вся их оценка Петра в конце концов мелочна и не достигает величия критикуемого лица, хотя в подробностях она и основательна. И если как руководители они слабы, то как пособники они могут быть друзьями живущего и грядущих поколений.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА РУССКОГО ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ ЗА XIX ВЕК

*Ник<олай> Барсуков. Жизнь и труды
М. Погодина. Книги первая — девятая.
С.-Петербург. 1888–1895¹*

I

История культурного нашего развития за самые знаменательные годы, приблизительно от 1818* и до 1875 г. (если Бог даст г. Барсукову окончить его труд), которую мы имеем под скромным именем «*Жизни и трудов Погодина*», возникла почти случайно. Желание вдовы покойного нашего историка издать биографию его чтимого мужа совпало с тем обстоятельством, что уже с 1820 года он начал вести дневник, куда заносил свои наблюдения, замечания, разговоры, отзывы о лицах и событиях, предположения и пр., и вел его на протяжении 55 лет; а главное — все это совпало с тем, что приблизительно около 1875 года уже жил замечательный человек, который был как бы *насыщен* высоким культом к духовному развитию нашего общества, и притом в среде учеников незабвенного московского профессора. Предложение г-жи Погодиной было обращено к нему; в его руки попал неоценимый «Погодинский архив» — все эти тетради дневников, кипы писем, где под пылью, под выцветшими чернилами таилась жизнь полувека. Он

* Год, с которого начинают довольно подробно описываться жизнь и столкновения житейские Погодина.

ее дополнил еще всем обильным историческим материалом, ранее уже опубликованным в наших как специальных, так и общелитературных журналах; все это привел день ко дню, разговор прерванный – к его окончанию, письмо написанное – к ответу на него, и развернул панораму.

Одну из привлекательных сторон труда г. Барсукова составляет как бы бессознательность его, непреднамеренность как в выборе содержания, так и в выполнении, и, наконец, даже в самом заглавии. Он предполагал написать жизнь одного человека, но незаметно для самого автора около фигуры этого человека выросло целое общество, исторически развивающееся по мере того, как центральное лицо рассказа переходило из возраста в возраст, училось, преподавало, странствовало, покупало и продавало редкости своего *древлехранилища*, в мужестве произносило одни речи и в старости – другие. Таким образом, вместо надуманной и скучной «Истории русской словесности» мы имеем в его книге зрелище самой жизни, от которой как ее естественный цвет и плод отделяется литература. Толпа девушек и женщин замешивается среди холодных ученых и расчетливых администраторов; рядом с изданиями «Московского Общества истории и древностей Российских» раскрываются семейные хлопоты Аксаковых, домашний быт Киреевских или Тютчевых, частности характера и приключений вечно странствовавшего Гоголя. И благодаря этой *смешанности* литературы с жизнью, мы получаем бесподобную, на фактах основанную, *критическую* историю первой. И в самом деле, лишь видя, в каком отношении к реальному факту жизни стоял тот или иной писатель, мы можем вскрыть для себя невысказанный смысл его произведений, который дотоле нам представлялся отвлеченно неясным; драмы, хроники, ученые труды, стихотворения – все это в бескровные очертания свои принимает конкретное содержание, все *наливается жизнью* и становится для нас прозрачно в малейшей своей складке. Мы видим героя «Дневника» и вместо книги не только в заботах служебных и ученых трудах, но и в полулюбовных волнениях в имении Знаменском, среди привлекательной семьи Трубецких, где он

был учителем в юношеские годы; видим его то в «новом фраке» отличного сукна, подаренном ему старым князем, то открывающим в себе «черты удивительного сходства» с Шиллером, то смущенно отмечающим, что, стоя за всенощной, он не был внимателен к службе, «потому что ему все мечталась (задуманная) трагедия». Вот почти без выбора несколько мест из книги г. Барсукова, рисующих живую и прихотливо сложившуюся натуру всем памятного московского старца в его молодые годы.

Он мечтал о выигрыше в лотерею маленькой деревеньки и однажды, гуляя по Мещанской (в Москве, близ Сухаревой башни) с Кубаревым (товарищ по университету, позднее по кафедре в нем), думал о своих предприятиях по выигрыше предполагаемого имения. Человек десять отличных студентов он послал бы путешествовать для усовершенствования по всем частям учености; собрал бы отличнейшую библиотеку, открытую для всех любителей учености; завел бы училище для образования учителей на всю Россию; открыл бы публичные лекции. Мерзляков (это все – его учителя) читал бы русскую словесность; Калойдович – русскую историю; Кубарев, возвратившись из путешествия, читал бы греческую и римскую словесность, Оболенский – эстетику. Веселовский – физиологию, Гульковский – химию, Павлов – физику. Мерзлякову он назначил бы 10 тысяч жалованья и поручил бы ему издание с примечаниями Ломоносова, Державина. Одновременно с этим Погодин думал «о составлении капиталца», и это не мешало ему в то же время читать с увлечением сочинение Руссо о неравенстве, причем он «с большим удовольствием смотрел на месяц, в полном сиянии катившийся по голубому небу, и думал о Боге» (I, 146).

«Что знаю я основательно? Ничего! Боже мой, Боже мой! Какую пользу приношу моему отечеству? Не тунеядец ли я? не даром ли ем хлеб? Эти мысли еще более тревожили меня, когда я жил у Трубецких (репетитором). Так ли должно учить, как учу я? Слепец слепца водит. Между тем я думаю, что едва ли кто лучше меня учит. Боже мой, Боже мой...» (I, 144). «Читал о сердце Лодер (профессор анатомии); Боже мой, с какою мудростью устроено сердце человеческое!.. О, атеисты!» (*ib.*)

«Какие великие свойства русского народа! Какая преданность вере, престолу. Вот главное основание всех великих деяний. Русский крестится, говорит: *Господи, помилуй!* – и идет на смерть. Каких переворотов не было в России! Иноплеменное двухсотлетнее владычество, тираны, самозванцы – и все устояло как было, опираясь на религию. Покажите вы, подлые, низкие души, вы, глупые обезьяны, французы в русской коже! Покажите мне историю другого народа, которая бы сравнялась с историей нашего народа, языком которого вы стыдитесь говорить, подлецы! Петр! Петр! ты все унес с собой!» (I, 138).

«Велик, беспремерен народ русский. Возьмем в пример время Петра. Невежество; появился Петр, и какие явились люди из среды этих невежд. Все одушевилось. О, Петр, Петр – человеческий Бог!.. Что почувствовала бы душа Петра, прочтя первую оду Ломоносова?.. Быстрота смысла у русского – чудо... «Недоросль» Фон-Визина должен быть помещен оригиналом в нашу «Историю». Восхищались, говоря с Кубаревым, им и Державиным. Ругали наших бестий, которые не понимают их» (I, 212). Еще в другом месте – какая-то недоконченная мысль: «Златоуст – из *дворян*, Феодосий Печерский *помещик* курский» (курс<ив> Пог<одина>) (I, 212).

«Если бы вдруг осенило меня небесное вдохновение и я бухнул эпическую поэму «*Моисей*»*, в 24 песнях, которая стала бы рядом с «*Мессиадою*», «*Иерусалимом*» (Тасса). Вдруг заговорили журналы. Дмитриев, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин ищут знакомства. А, дождались мы, – сказали бы они. В чужих краях зашумела бы молва о новой эпической поэме. Академия, руками Карамзина, вручает мне золотую медаль. Я, тридцати лет, благодарю, называю Карамзина моим учителем. Между зрителями – княгиня Голицына» (в которую Пог<один> был полувлюблен) (I, 190).

«То мечтал он, что его узнает Карамзин, берет жить к себе, определяет его занятия, чувствует к нему привязанность,

* В этой поэме, с планом которой долго носился Погодин, он думал выразить натурфилософские идеи Шеллинга, чрезвычайно занимавшие и увлекавшие его в молодости.

любит его, назначает своим преемником, препоручает ему написать свою жизнь и умирает. При погребении Погодин говорит ему надгробное слово, красноречивейшим образом описывает его добродетели, свою горесть, не может выговорить слов от рыданий. Все предстоящие трогаются и плачут с ним. Обнимает его в последний раз, целует его руки. После издает сочинения Карамзина и перед оными помещает жизнь его». Эти мечты сменяются другими: «Он делается вице-губернатором, губернатором и, наконец, министром просвещения. Делает полезнейшие узаконения, заводит училища, академии, университеты, учреждает особенный орден для ученых, издает все лучшие сочинения наших писателей, награждает таланты, дает благодетельные советы по всем частям государственного управления, споспешествует счастью отечества и... *и сам ничего не имеет*» (I, 70).

«Восхищался, — пишет он, — стоя в Успенском соборе. Первый храм России; сюда в течение восьми веков приходили государи русские молиться Богу за народ свой. Здесь молился Донской, Иоанны; здесь служили Алексии, Филиппы; отсюда выпускали на битву Холм-ских, Воротынских. Какое благоговение возбуждает сия простота, его куполы, его узкие окошки. Ходили в Архангельский собор; поклонились гробам Калиты, Донского, Иоанна III; помолился за Иоанна IV. Были в Чудове, приложились к мощам св<ятого> Алексия, рассматривали одежды его, хранящиеся пятьсот лет. Древность возбуждает сильное чувство. Ходили на Красное крыльцо. Здесь, по этим ступеням ходил царь Алексей, за ним в трескучий мороз на руках несли Петра; Наталия шла возле; перед крыльцом толпился народ и кричал: *жив буди многия лета, надежда Государь!* и шел вместе с ним в церковь Божию. Какие воспоминания...» (I, 166).

Мы привели места, исключительно обнажающие душу Погодина, и не коснулись гораздо более занимательной, но легче представимой для читателя внешней стороны жизни как его самого, так и тех людей, с которыми он сталкивался. Заметим только, что вкус г. Барсукова, его чуткость к слову как *памятнику* момента, пережитого душою, не покидает его на протяже-

нии всех девяти томов и к лицам какого бы разного душевного склада он ни переходил (Погодин и Белинский, Гоголь и Герцен, княжны Трубецкие и митр<ополит> Филарет и пр.).

II

Читатель уже мог заметить из приведенных выдержек, что совершенное отсутствие *классичности*, чем так обильно богат был Карамзин, составляло отличительную особенность Погодина. Он весь был в факте, в жизни; обобщение не закрывало от него предметов, минут, людей, их действий; и так же точно его собственный характер, порывы, поступки, интересы, занятия не поддаются вовсе подобному обобщению. От этого – отсутствие постоянства и единства в трудах его. Как ребенок, готовый бы заняться годы приводящего его в восторг игрушкой, однако вырывает ее через минуту из рук, потому что видит уже другую, лучшую, – так Погодин, несмотря на специфическое призвание свое «к Истории» («историю» он всегда писал с большого «И»), не мог не бросать ее всякий раз, когда шум событий, новое явление в литературе или затруднение в политике звало его внимание. Можно сказать, он слишком любил жизнь и слишком мало ценил себя, точнее – слишком мало был на себе сосредоточен, чтобы посвятить себя одному монументальному труду, хотя бы это был «Моисей», имевший поднять нашу литературу на уровень Тасса и Клопштока. Чтобы предпринять «Историю государства Российского», «Историю России с древнейших времен», – необходим известный эгоизм, некоторая сухость души и высокомерие ума, чего и тени не было у этого дитяти народа*, хотя именно замыслы великих творений бродили у него постоянно в голове. При этом замечательно – следя на протяжении девяти томов за этим человеком, видя его во все возможные минуты, во всяких положениях, и даже в невозможно распушенных, мы ни разу не замечаем, чтобы он был в отношении какого-нибудь предмета туп, что можем подметить в человеке даже таких великих заслуг, как его знамени-

* Погодин происходил из крепостного крестьянства.

тый ученик С. М. Соловьев*, и, наконец, в неуловимо легких штрихах, – в Карамзине, и всегда почти – в «кумире» Погодина, И. И. Дмитриеве. И хотя он исполнен самых высоких мыслей о себе (именно от бессознательной даровитости) и только не знает, куда приложить силы – к «Моисею», переводу «Славянской грамматики» Добровского или «История России до монгольского ига»², он никогда не тщеславен и даже почти не видит себя, а только тысячи предметов, вопросов, на которые разбегаются его глаза. От этого он – истинно благороден, несмотря на помыслы «о капитальце»; ибо сущность неблагородства в человеке есть именно отравленность мысли его собою. Около него в разные поры жизни стояли истинные гении – Пушкин, Гоголь; в ранние годы как некоторых гениев он издала созерцал Карамзина и Дмитриева – и никогда мучительное чувство Сальери не шевельнулось в душе его. Нужно читать отметки его «Дневника» за время пребывания в Знаменском, среди высокоаристократической семьи, где этот сын народа, еще продолжавшего оставаться в закрепощении, имел единственный предмет смущения и раздражения в том, что здесь употребляют «подлый французский язык», и он с живостью записывает у себя в книжке:

«Я замечаю, что французский язык хотя здесь и употребляется, но не потому, чтобы он нравился, а от того, что все его употребляют»,

и младших членов семьи он перетягивает на свою сторону, к употреблению «природного русского» наречия. Он полувлюблен во всю женскую половину семейства; его сокрушает, что мать «любит больше Николинку, нежели Сашеньку», и он вступает с ней, по поводу этой несправедливости, в тайные полунаставительные объяснения. И, однако, его полувлюбленность так мало заключает в себе эгоизма, что, познакомившись с известным поэтом-воином Д. В. Давыдовым и придя в восхищение от него, он записывает в «Дневнике»: «Как было бы хорошо, если бы княжна Аграфена Ивановна (ему нравившаяся)

* См. его разбор Лорана в «Критическом обозрении» и мн. др.

вышла за него замуж». Ни разу темная мысль: «Почему это не мне?», «чем я хуже других?» – если только это не касалось старой рукописи или других сокровищ его великолепного *Древлехранилища*, не помрачила его душу. И это есть истинный аристократизм – ничему не завидовать, в основе чего лежит сознание своего равенства со всеми. Он отвез огурец своей матери от Трубецких и «хорошего сукна» в подарок своему отцу – от них же; и как не отказался от огурца, не отказался и от сукна, потому что был истинно горд и ему в голову не могла прийти мысль, чтобы *он* оценивался на деньги, на состояние. В нем, таким образом, в тесном соединении мы наблюдаем истинного демократа, который есть в то же время истинный аристократ, видящий границы, проводимые между людьми социальным строем, и размышляющий о них, но как будто вовсе не чувствующий, что они также и *через него* проведены... Какая разница с позднейшею демократическою завистью у нас, в которой сказалось новое *начинающееся* сословие, мучительно алчущее *себе* всего и ничего не желающее оставить другим*.

Мы отвлеклись в сторону – к чувствам новым, которых не знал несравненный историк московский. И между тем, будучи студентом, он всякую Пасху ходил к профессорам своим с праздничным поздравлением, и по «*Дневнику*» мы видим, что он делал это с тем же чувством любви и почтительности, с каким бояре до Петровского времени приходили на поклон к своим государям**. Именно незатемненность

* Это – сословие так называемых разночинцев, которое единственное свое достояние – книжную наученность (не ум, не талант) усиленно пыталось и сумело выставить как единственно заключающую в себе смысл привилегию – привилегию, которая должна быть сохранена и укреплена законодательным путем, когда все другие этим же законодательным путем должны быть ослаблены или всего лучше совсем уничтожены. При реформах императора Александра II только эта привилегия уже принималась в расчет и к уважению (напр<имер>, при всеобщей воинской повинности).

** Однажды знатный иностранец, участвовавший в посольстве к московскому государю, был удивлен, увидя знакомого ему сановитого боярина, к которому приступа не было, когда он в чужой земле представлял своего государя, – теперь бегаящим и суесящимся около него, как мальчик, и он выразил ему свое удивление. «Эх, батюшка, – отвечал тот ему впопыхах, – ведь мы своим государям не по-вашему служим». Тут сказала вся Москва.

души, незатемненность на протяжении десятков лет, между тем как мы видим все самые интимные ее движения, есть самое привлекательное зрелище, развертывающееся перед нами в «Жизни и трудах Погодина». И это зрелище гораздо более утешительно для нас и более поднимает в нас человеческую гордость, чем как это мог бы сделать рассказ о каком угодно подвиге на поле брани. Ибо ни разу в жизни своей не позавидовать, не подумать: «Почему это не я?», видя счастье, талант, успех другого, – это труднее для человеческой слабости, нежели для сил человека подняться на снежные высоты и перебросить через них армию при удивлении, страхе, волнении народов для *памяти* истории.

Если невозмущенная ясность составляла основную черту в нравственном облике Погодина, то *удивленность* и *неугомонная занятость* были отличительной особенностью его ума, как это с живостью сказалось, например, в следующих словах, занесенных в «Дневник» по прочтении Шлецеровой критики текста Несторовой летописи:

«Прочел Шлецера – и очутился в новом мире и уразумел, что такое критика...» (I, 54).

Его все занимало, но не исключительно с умственной стороны, но скорее – с волевой. Он не только интересовывался, но всему непременно хотел бы «споспешествовать»; *видеть* уже значило для него *привязаться*, и привязаться значило – улучшать, помогать, способствовать. В отметках «Дневника» мы встречаем не только ясные мысли, как, напр<имер>, эту:

«...горе воспитателю, который бы захотел слишком рано научить рассуждать своего питомца; горе и тому, которого воспитание нравственных сил остается позади от физических; но как определить эту неответственность, как устроить воспитание, чтобы и нравственные и физические силы шли наравне? Воспитатели! Вот задача, от нее зависит счастье рода человеческого!» (I, 127).

И он, в волнении, уже «молится Богу, чтобы помог ему дать хорошо урок географии», – но местами попадаются и мысли положительно глубокие, удивительной силы проникающие, и которые в те ранние годы нашего столетия решительно не останавливали еще ничьего внимания (например, о некоторых общих, органических особенностях великих людей в истории). Но по какому-то невниманию к себе, которое так привлекательно, он их не разрабатывал вовсе, но бросал тотчас, как они ему приходили на ум, чтобы бежать и любоваться и любить еще и еще множество предметов вне себя. У него именно не было оглядки на свой след, не было эгоистического анализа себя; мир ему представлялся огромною и неоценимою жемчужиной, в удивлении и восторге перед которою протекала его жизнь, и он никогда не спросил себя, не представляет ли и он сам в этом мире некоторой жемчужины и нельзя ли сделать из нее какого-нибудь лучшего употребления, нежели только удивление, умирающее вслед за минутою, как оно произошло. Его труды литературные и ученые – ничтожны или малозначительны; из предприятий, «дел» – нет ни одного памятного; он сгорел, как свеча перед миром, не оставив по себе ничего, кроме некоторой копоти и куска пахнувшей свечильни; но это его горение было истинно прекрасно; что он *жил*, а не писал только сочинения – это и прекрасно, и благотельно, и поучительно, а благодаря труду г. Барсукова становится поучительно и на все времена.

III

В силу указанных особенностей души Погодин без усилия, без старания вошел в общение со всем выдающимся, что появлялось на горизонте нашей действительности за полувекковую пору его зрелости. Нужно читать по отметкам в *«Дневнике»*, с каким благоговением он выслушивал самые незначущие слова, если они принадлежали кому-нибудь из чтимых им профессоров университета или тому или иному маститому писателю. Когда в семейство Трубецких один раз приехал

кн<язь> П. Вяземский – он весь вечер к нему «приглядывался»; в 1825 г., написав магистерское рассуждение «*О происхождении Руси*», он представил его, через И. И. Дмитриева, знаменитому историографу при письме, где писал:

«У Вас начал я учиться добру, языку и Истории; позвольте же посвятить Вам, в знак искренней благодарности, первый труд мой...»

На что Карамзин, через Дмитриева же, отвечал более классически, чем живо:

«Милостивый Государь, Михаил Петрович. Примите изъявление искреннейшей моей признательности. С живейшим любопытством читаю Ваше рассуждение, писанное основательно и приятно. Усердно желаю, чтобы Вы и впредь занимались такими важными для Российской Истории предметами, к чести Вашего имени и нашей исторической литературы. Прося о продолжении Вашей ко мне благосклонности, с истинным почтением имею честь быть и пр.»

Погодин с этим письмом обежал всю Москву, показывая строки, более начертанные, чем написанные историографом и обращенные к нему, еще совершенному ничто в этом мире громад, светил и всяческого духовного величия. И также кто бы ни восходил над горизонтом действительности талантом, знаниями или просто оригинальностью характера или жизни*, Погодин, наивный любитель мира, уже спешил его разглядывать; и так как никто не замечал, чтобы к этому разглядыванию примешивалось какое-нибудь дурное чувство или постороннее искание, то все отвечали ему приветом и дружбою на его порыв. Отсюда – множество его связей. Он

* Таков был, например, таинственный своим затворничеством граф М. А. Дмитриев-Мамонов, к которому Погодин, никогда его не выдавший, обратился с письмом в 1821 г., а по его смерти, в <18>50-х годах, разразился негодованием на прессу, что она прошла молчанием кончину такого достопамятного, хотя бы только странностью, человека.

был часто груб с людьми; даже почти всегда был груб, потому, что, чрезвычайно ценя их внутренние дары, как бы не видел вовсе внешней оболочки этих даров и нисколько не регулировал свое отношение к ней (так он очень иногда раздражал Гоголя). С тем вместе у него не было постоянных, избранных любимцев, предметов исключительного поклонения; таким предметом поклонения для него если и было что-нибудь, то – вся Русь, все море им ощущаемой вокруг себя жизни; и Пушкина, Гоголя, Карамзина он любил почти так же, как мы любим красоту Кавказа и климат южного берега Крыма, которые нам нравятся, когда мы даже не видим их, мысль об утилизации которых для *себя* чужда нам и они для нас дороги просто как красота, как дар Божий любимому нами отечеству. Между множеством изданий Погодина есть одно – собрание факсимиле, почерков знаменитых людей русских: полководцев, царей, вельмож, писателей. Он просто любил их всех, издали или вблизи – это не было для него на первом плане; в его оценку людей не входила какая-нибудь исключительная черта – эстетическая, моральная, умственная: он любил все *достопримечательное*, что давало пищу его господствующей потребности – быть удивленным, заинтересованным. Отсюда – чрезвычайное несходство лиц, с которыми он входил в общение: он был на «ты» с Шевыревым и Гоголем; мы видели уже отношение его к Карамзину; и вот что записывает он после первого знакомства с Денисом Давыдовым:

«Огонь! С каким жаром говорил о поэзии, о Пушкине, о Жуковском. «В молодости только, – говорил он, – можно писать стихи: надобна гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку... Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов». Как восхищался Байроном, рассказывал места из него. Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. Он переводить ничего не может. Прекрасно дразнит обезьяну (?). Пишет стихи за присест, однако марает много. Александрийские стихи – императорские. Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь!»

Он любил пеструю толпу людей, любил этот шумный базар истории, на который приходили люди и уходили с него, и он тогда плакал над ними, как плакал о Пушкине в аудитории Московского университета, но слезами светлыми, без длящегося уныния, без щемящей боли, без всего саднящего в душе или едкого в воспоминаниях. Тип совершенного душевного здоровья представляет собою этот человек из народа, переводивший, однако, «Рене» Шатобриана и плакавший над смертью Юлии в «Новой Элоизе» и несколько этим всем не заразившийся. Он поднялся прямо с почвы народной, с которой не разорвал никогда связи; и мимо его или над ним проносились дуновения ветров самой разнообразной силы и неодинакового качества, не пошатнув его несколько, не погубив, даже не изменив сколько-нибудь заметно.

Между писателями нашими, как это ни странно, он по качествам ближе всего примыкает к Ломоносову. То же смешение научных занятий с художническими порывами; тот же реализм; та же неугомонность; то же желание всему «споспешествовать»; тот же неистощимый энтузиазм к земле Российской; та же совершенная простота, и не подозревающая даже, что все прекрасное, что у них выходило само собою, можно также и «делать». Только у одного предметом господствующего интереса были естественные науки, он дивился более громадам и чудесам мира физического; у другого предметом поклонения и «возделывания» была история – он удивлялся более людям. Пожалуй, Погодин был попроще, поуже, пассивнее Ломоносова; но, во всяком случае, он был человек его духовного *типа*; он был, прибавим, несколько теплее, нежнее его. В обоих мы наблюдаем черты нашего крестьянства в их общих, не суженных и еще не углубленных линиях.

IV

В симпатиях своих как один, так и другой сливались с целостным бытием своего народа, а не с каким-либо одним его течением. Только Ломоносов, более близкий к личности

Петра, тяготел с чрезвычайною силою к этому колоссу нашей истории; Погодин, сообразно своей удаленности и изменившимся историческим отношениям, уже не испытывал этого тяготения; но он также чрезвычайно любил личность удивительного царя. Как было бы ошибочно, однако, назвать «западником» Ломоносова, так ошибочно будет назвать Погодина «славянофилом», хотя симпатии одного к европейскому просвещению и другого ко всему славянскому были чрезвычайно сильны. Они были слишком даровиты и *жизненны*, чтобы принять эти, в конце концов несколько книжные, теории; они жили слишком натурою, инстинктом, здравым смыслом, чтобы подчинить себя сухой и замкнутой логике этих учений. Погодин подверг впоследствии «Историю» Карамзина резкой критике и всегда отдавал перед ним предпочтение Шлецеру; он плакал, когда умер старый московский профессор Гейм; он строил планы посетить Шеллинга и мысленно вел с ним беседы о натурфилософии. И в самом деле, не выражением ли скудости нашего духа было бы, встретив благородное, умное, «достопримечательное», прежде чем удивиться, восхититься, взволноваться – спросить, откуда оно и не контрабанда ли это? Самый этот вопрос уже предполагает в себе отсутствие способности энтузиазма; и тот энтузиазм, который мы потом допускаем в себе, убедившись в доброкачественности «марки», не может не быть несколько делан и холоден. Хотя, с другой стороны, убеждение, что «все французы – собаки» и «российское наречие – лучше всех», конечно, не может подлежать какому-либо осуждению. Любовь к почве, к земле своей и некоторое априорное отрицание всех иных земель и языков *до* знакомства с ними также коренится в живых, милых, прекрасных, необходимо нужных инстинктах человека, как удивление и культ при *позднейшей* встрече с тем и иным конкретным фактом чужой жизни коренятся в его разумности и в добрых свойствах его сердца. Шлецер всю свою жизнь положил на критическое изучение Несторовой летописи; за шесть дней до безболезненной кончины Гейм еще читал лекции и должен был прервать последнюю, потому что его задушил кашель.

Оба возделывали *нашу* почву, не ища в ней для себя никакого клада. Как же перед этим высоким подвигом – и уже без всякой мысли, что они копали именно *нашу* почву, – не преклониться всякому русскому, и уже преклониться не как русскому с благодарностью за содеянный труд, но с удивлением как человеку? Западничество и славянофильство, так не соединимые в книгах, соединяются без всякого противоречия в живой натуре человека, которая богаче, могущественнее и правдивее всякой логики. Во всяком случае, этот «всероссийский» склад натуры Погодина, отсутствие в нем провинциализма и филиальности убеждений при их живости, горячности – еще более расширили круг его сближенности с людьми; и, можно сказать, переходя из десятилетия в десятилетие, он, как кряжистый дуб, если и не достигал непосредственно, то видел перед собой весь шумящий около него лес действительности; и что видел, что слышал, о чем вспоминал или на что надеялся в этом людском лесу – он заносил в необозримые томики своей «Записной книжки» изо дня в день. Мы указали на горизонтальную широкость этих записей, их всезахватывающее содержание в каждую текущую минуту; и если мы припомним, что эти минуты длились до 1875 года нашего века, а начались в самом начале двадцатых годов, – мы поймем, как велик их не столько фактический, сколько *духовный* интерес.

Вот 2–3 мимолетные черточки, показывающие психическую структуру общества тех лет, когда Погодин *начал* свой «Дневник».

В Московском университете курс анатомии читал Лодер, друг и товарищ творца «Фауста» и «Германа и Доротеи». По его мысли и желанию на одной из стен анатомической залы была сделана надпись, и мы ее можем понимать как выражение взгляда маститого ученого на свою науку и на задачу своего служения ей. Что же, были ли это слова Гиппократы, Гарвея, Мальпиги? Нет, это была строка из псалма: *Руце Твои сотвориште мя и создаете мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим*³. Погодин, приведя этот текст, замечает у себя в «Дневнике»: «Эта священная надпись слилась в нераздельное

целое с самыми первыми начатками моих научных занятий в Москве» (I, 51).

Это – небесная сторона тех ушедших в могилу дней, а вот и земная:

Когда Лодер получил Анненскую звезду, главенствовавший в профессорской корпорации медицинского факультета профессор Мудров повел слушателей своей аудитории (в числе их был и знаменитый впоследствии Пирогов) поздравить их наставника и своего товарища с государевой милостью. Когда студенты почтительно выстроились перед новым кавалером ордена – Мудров, выступив вперед, вынул из кармана заготовленный лист и прочел приветствие «гласом проповедника», по воспоминанию Пирогова:

«Красуйся светлостью звезды твоя, но подожди еще быть звездой на небесех» (то есть не умирай, живи между нами) и т. д.

Мы видим, как в сфере внутренних ощущений, так и внешних форм, как бы другую породу людей, с другой планеты и уже ни в каком случае не из нашего отечества, не из нашего века. Между тем – это были наши предки. Вот еще черта, дорисовывающая их нравственный облик:

Погодин был, как уже выше замечено, из рода крепостного крестьянства; стесненный одно время в средствах, он обратился к старичку Сандунову, исполнявшему обязанности инспектора студентов, за позволением переехать в казенные номера. «Хорошо, – сказал старик, – приходи ко мне тогда-то, и мы посмотрим вместе, где можно тебе поместиться». Назначенный день наступил, и они отправились в № 14, предназначенный для недостаточных студентов. Комната была почти пуста, большинство ее обитателей разбрелось куда-то. «Сандунов подошел к одной кровати; шерстяное, дырявое, грязное одеяло покрывало постель. Палкою приподнял он одеяло, открылись голые доски. Старик обратился к Погодину и сказал:

«Нам вот каких надо. Ты такой ли?» (то есть так ли ты беден, чтобы в этом нуждался? Иначе не занимай место беднейшего тебя).

Погодин замечает по этому поводу:

«Нам вот каких надо. Святые слова! Вот был какой дух в университетском начальстве того времени. Не знаю, какие гуманные теории и учтивые фразы могут быть сравнены с этими простыми словами».

Иногда более, нежели в самых фактах, строй души и формы ее состояния выражаются в структуре речи. И вот еще один, последний штрих.

Кончившие курс студенты, по тогдашнему благочестию и благородному обычаю, ходили благодарить ректора и профессоров не только за жалованье, но и с любовью посвящавших им свой труд и знания. Погодин, сдав последний выпускной экзамен, также отправился к доброму, ласковому ректору Антонскому, который его очень любил за прилежность к наукам. На беду, впопыхах и, вероятно, приготавливая благодарственные слова, он позабыл оставить палку в передней и с нею вошел к нему:

«Ах-та, что ты это? – вскричал, увидя его, ректор. – Бить-та пришел ты меня-та. Ай-ай-ай! Что ты это делаешь! Поди-та, поди-та от меня! Бить-та меня он-та хочет!»

Сгорая от стыда, Погодин бросился к Мерзлякову, рассказал ему все и просил разъяснить Антону Антоновичу, как и почему это вышло. Все, конечно, уладилось, и на завтра же ректор обласкал пылкого ученика, расспросил его о занятиях, семейном положении и обещал хлопотать о казенном «коште» для заграничного (научного) путешествия и пр. (I, с. 105).

Вот с каких людей, каких времен, какой психической структуры начинается труд г. Барсукова, где жизненные сцены, размышления, письма, воспоминания, предположения, чередуясь, восходят из года в год без какого-либо перерыва до времени, когда писались уже следующие строки:

«Вам, милый юноша, понравилось то, что Самарин говорит о народе: перечтите-ка да переведите эти фразы на простые понятия, так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе, абстрактно примененные к нашему народу. Если б об этом

можно было писать, не рискуя впасть в тон доноса, я бы потешился над ним за эту страницу... Самарин не лучше Булгарина по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надобно быть осторожному... Конечно, статья Ваша против него жива и дельна – но я крайне недоволен ею с одной стороны. Этот барин третировал нас с вами du haut de sa grandeur⁴, как мальчишек; Вы возражали ему, стоя перед ним на коленях. Ваше заключительное слово было то, что он даровитый человек. Что Самарин человек умный – против этого ни слова, хотя его ум парадоксальный и бесплодный; что Самарина нельзя никак назвать бездарным человеком, и с этим я совершенно согласен. Но не быть бездарным и быть даровитым – это вовсе не одно и то же. Это, впрочем, общий всех нас недостаток – легкость в производстве в гении и таланты. В чем увидели вы даровитость Самарина? В том, что он пишет не так, как Студитский? Но ведь это дурак, а он умен. Вспомните, что он человек с познаниями, с многосторонним образованием, говорит на нескольких иностранных языках, читал в них все лучшее, да не забудьте при этом, что он светский человек. Что же удивительного, что он умеет написать статью так же порядочно (comme il faut), как умеет порядочно держать себя в обществе? Оставляя в стороне его убеждения, в статье его нет ничего пошлого, глупого, дикого, в отношении к форме все как следует; но где же в ней проблеск особенного таланта, вспышки ума, смысла? Надо быть слишком предубежденным в пользу такого, чтобы видеть в нем что-нибудь другое, кроме человека сухого, черствого, с умом парадоксальным, больше возбужденным и развитым, нежели природным, человека холодного, самолюбивого, завистливого, иногда блестящего по причине злости, но всегда мелкого и посредственного... Вы имели случай раздавить его; Вам это было легче сделать, чем мне. Дело в том, что в своих фантазиях он опирается на источники русской истории; тут я – пас. Он мне сказал об *«Ипатьевской летописи»*, а я не знаю и о существовании ее; Вы – другое дело, Вы читали и изучали, и ею же его и могли бить. Вы это и сделали, но с таким уважением к нему. А вме-

сто этого Вам следовало бы подавить его вежливою ирониею, презрительною насмешкою... Церемониться со славянофилами нечего. Я не знаю Киреевских, Ивана и Петра, но, судя по рассказам Грановского и Герцена, это фанатики полупомешанные, особенно Иван, но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова: это человек, в котором благородство – инстинкт натуры; я мало знаю брата его Ивана Сергеевича и не знаю, до какой степени он славянофил, но не сомневаюсь в его личном благородстве. За исключением этих людей все остальные славянофилы, знакомые мне лично или только по сочинениям, страшные и на все готовые... или, по крайней мере, пошлецы. Самарин не лучше других; от его статьи несет мерзостью. Эти господа чувствуют свое бессилие, свою слабость и хотят заменить их дерзостью, наглостью и ругательным тоном. В их рядах нет ни одного человека с талантом. Их журнал, *«Москвитянин»*, читаемый только собственными сотрудниками, и *«Московский сборник»* – издание для охотников. А журналы их противников, *«Отечественные записки»*, *«Современник»*, расходятся тысячами, их читают, о них говорят, их мнения в ходу. Да что об этом толковать много! Катать их!.. И Бог Вам судья, что отпустили живым одного из них, имя его под пятою своей!..» (IX, с. 35–37).

Так писал Белинский в 1847 г. своему молодому другу, начинающему ученому, Кон<стантину> Кавелину по поводу его *«Ответа Ю. Ф. Самарину на статью последнего: О мнениях «Современника» исторических и литературных»* (этот журнал только что перешел тогда от Плетнева к Краевскому и Некрасову). От тона, от новых приемов, которые слышатся в этом письме и которые через немного лет (<18>60-е годы) мы увидим на страницах всех почти журналов, перейдем на минутку к воззрениям более практическим, высказанным тем же человеком: «Некто Кулиш, – писал Белинский Анненкову, – в *«Звездочке»*, журнале, который издает Ишимова для детей, напечатал *«Историю Малороссии»*, где сказал, что Малороссия должна или отторгнуться от России, или погибнуть. Прошел год – и ничего, как вдруг Государь получает от кого-то эту

книжку с отметкою фразы... Можете представить, в каком ужасе было Министерство просвещения (тогда заведовавшее цензурою). Мусин-Пушкин накинулся на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого патриотизма. Вот что делают эти скоты – либералишки! Ох, эти мне хохлы! Либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя: все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедовать отторжение от него области... Наводил я справки о Шевченко и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда не годная вещь. Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит, что Шевченко – человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса, творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченко сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченко должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля. Читая один пасквиль, Государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда Государь прочел другой пасквиль, то пришел в великий гнев. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал. Шевченко послали на Кавказ за эту литературу солдатом. Мне не жаль его: будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ровно ничего, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения» (IX, с. 230–231).

Еще несколько строк об отношении к *внутренней собственной* жизни (малорусская все-таки отделена от нас некоей чертой), и нам станет ясно в своей тенденции обрисовывающееся здесь мирозерцание.

В 1847 г. на кафедру Московского университета вступил любимый ученик Грановского П. Н. Кудрявцев – происхождени-

ем из духовного звания и прошедший через семинарию. Только что вернувшись из-за границы, он поселился, чтобы быть ближе к отцу своему (священнику), в Замоскворечье и взял к себе сестру, вдову тоже священника, с маленькими детьми.

«Кудрявцев, – писал Анненкову В. Боткин, член кружка Белинского и Герцена, – начинает свои лекции в сентябре. Я не знаю еще, где он будет жить; но то, что он будет *жить вместе с своею сестрою, вдовой священника, и у которой четверо маленьких детей*, – и Кудрявцев не имеет достаточно силы воли, чтобы отделаться от этого родственного деспотизма, – это представляет мало утешительного. Поймите, что это за мир, что за сфера! Да досадно еще то, что Кудрявцев чувствует себя хорошо в этой сфере... В его уме нет ни малейшей смелости, он набит авторитетами... Мне сдается, что Белинский разделяет мои предчувствия» (IX, с. 223).

И еще, после свидания с Кудрявцевым, он писал: «Только сегодня увиделся я с Кудрявцевым, между тем как он уже более двух недель в Москве. Он пришел ко мне *словно убитый*. (Кудрявцев вскоре умер от чахотки, первые признаки которой у него появились во время двухгодичного заграничного путешествия, но Боткин не догадывался об этом.) Эти *семейные обстоятельства его ужасно отделали*: глаза впали, лицо – цвета пергамента. Кудрявцев не общителен, я от него не мог ничего узнать, но всячески старался развеселить его и часа через два немного успел. Из Европы *попасть в сферу духовную! А силы воли нет, чтоб решительно отделаться от нее*. И за это он дорого заплатит. Поселился он с сестрой, у которой четверо детей, за Москвой-рекой, чтобы быть поближе к отцу. В таких положениях *juste milieu*⁵ никуда не годится. Addio⁶» (IX, 223). Белинский же об умственной стороне Кудрявцева писал несколько ранее, до его возвращения из-за границы: «Этот человек никогда не выйдет из своей коры. Он и в Париж привез с собою свою Москву. Что за узкое созерцание, что за бедные интересы, что за ребяческие идеалы. Кудрявцев – духовно-малолетний, нравственный и умственный недоросль... и вся беда в том, что он москвич» (там же, с. 222).

V

Уже умирающей почти рукой Белинский писал приведенные выше письма, всего за несколько месяцев до смерти, и осуждением дышат его строки. Любовь Кулиша и Шевченко к своей Украине, к ее быту, к ее людям, к этим тысячам покачнувшихся набок деревень, с звучащими там песнями, с передаваемыми рассказами, – все это кажется ему малозначительным сравнительно с «французскими повестями», которые вдруг стала мारать цензура, вовремя не догадавшаяся замарать эти строки. Эту их любовь – прекрасного поэта и горячего историка – он топчет, топчет их привязанность к родной земле, которая мешает его любви к понятиям французской словесности. И сущность этих понятий, как видно из писем его же и Боткина о Кудрявцеве, отражалась, хотя и косвенно, как некоторая темная неприязнь и глухое непонимание своей *собственной* земли, того материнского чрева, которое их всех выкормило и выносило.

От Белинского, от его предсмертных литературных трудов, которые писались под влиянием чувства, для нас теперь вскрытого, пошла целая группа писателей, надолго получившая преобладание над всеми остальными течениями нашей литературы. Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, из художников – Некрасов и Салтыков и, наконец, г. Н. Михайловский и г. Скабичевский – все эти люди, как бы преемственно развивая в себе последний порыв Белинского, только приложили его ко всей многообразной действительности – в стихах, в прозе, сатире, романе и, главным образом, все-таки в критике. Очень развитый, очень многословно выраженный – это есть все один и тот же порыв отвергнуть, растоптать, унижить чужую любовь, чужое уважение и, наконец, самую действительность – не по основаниям каким-нибудь и даже вообще не после какой-нибудь проверки, но потому только, что все это растет не из тех «французских повестей», которые им были и остаются дороги более, нежели людские поколения, их живая кровь, всякая реальная действительность. В разное время этими «французскими повестями» становилось различное: то, как для Белинского, – фран-

цузские социальные теоретики; то, как было позднее, – теоретики того же склада Англии и Германии; но что объединяет всех этих людей – это невнимание к чему-нибудь еще, кроме их занимающих «сюжетов», и неразборчивость в средствах, какими можно привлечь к ним внимание остальных частей человечества (см. слова Белинского: «да что долго толковать – катать их *всех*», сказанные о людях, которые и «знали» то, чего он «не знал», и у которых «благородство» было «инстинкт натуры»). Знаменитый критик негодовал, каким образом судьба Малороссии может быть поставлена наряду с зачеркнутыми цензурою французскими повестями; очень скоро настало время, когда вообще перестали понимать, каким образом серая, хмурая, некрасивая Россия в своих ежедневных нуждах, в своем историческом труде, в своей молитве, для *нее* дорогих преданиях и, наконец, во всем ею исповедуемом вот уже тысячу лет может стоять препятствием на пути не к чтению только, но и к живому осуществлению в действительность сюжетов тех «повестей».

Что это было за странное движение? Откуда эта потеря чувства действительности? Что это за странный культ, горевший десятилетия три в нашем обществе и не угаснувший окончательно еще и теперь? И кто, наконец, были они – эти своеобразные посланцы, которых ни уместить как следует в историю литературы мы не умеем и не можем, очевидно, из нее выбросить, – с юношею во главе мужей и седоволосых старцев? В той части приведенных писем, которая относится к Кудрявцеву, мы видим как бы просвет, падающий на этот факт, видим зачаточный след, идя которым, находим некоторое для него объяснение. Самая поразительная и общая черта, соединяющая как авторов тех писем, Боткина и Белинского, так и *всех* писателей, которые образуют это течение литературы, состоит в том, что никогда, ни на одну минуту, ни в какое время им не приходила

* Мы разумеем Писарева. Характерно и многозначительно, что ни Добролюбов или Чернышевский, ни даже Белинский не пользовались таким ореолом, не возбуждали такого горячего, страстного энтузиазма, как этот писатель. И что бы ни говорили, какие бы поправки и возражения к этому факту ни привносили, он останется *историческим* фактом, который предстоит не отвергнуть, а объяснить.

на ум мысль, что их сочинения могут быть нужны кому-нибудь еще, *кроме юношей*, которым они нужны в высшей степени; что их может взять в руки и серьезный историк (напр<имер>, тот же Кулиш), и поэт, государственный муж, отец семьи или вообще кто-нибудь, имеющий на земле серьезные, *взрослые* интересы. Точка зрения этих взрослых людей, имеющих насущные нужды и трудные обязанности, – вот что равно и безусловно отсутствует у юноши Писарева и старика Некрасова, у вдохновенного Белинского и циника Щедрина, у много учившегося Боткина и ничего почти не знавшего Шелгунова.

Мы говорим именно про структуру духа, которая остается та же при всяких степенях образования и во всех возрастах. Катков, напр<имер>, не интересовался никогда, читают ли его мальчики, и вообще даже не интересовался, читает ли его и общество: он говорил всегда немногим *лицам*, которые его могли понимать; напротив, когда писал Добролюбов и также всякий другой писатель из *этого* течения литературы, он вовсе не предполагал, что его слова будут серьезно обсуждаться и взвешиваться людьми такого закала души, как хотя бы Катков.

Салтыков (Щедрин) уже на склоне лет, заканчивая свою литературную деятельность и пользуясь несравненным авторитетом в обществе, забеспокоился мучительно тем взглядом, какой был много лет назад брошен на него юношею Писаревым (в статье «Цветы невинного юмора»), очевидно неправильно его понявшим; и тем, что вслед за Писаревым еще толпы юношей также неправильно будут его перетолковывать. Очевидно, суд взрослых для него не существовал; *этот* суд его не тревожил – хотя бы между судящими был человек такой умственной силы, безупречной искренности, могучего таланта, как Достоевский. И если, далее, мы возьмем исторические труды Шелгунова или Шашкова и в них всмотримся, мы увидим, что мысль о составе этих трудов, их компетентности, возможном отношении к ним ученых – никогда даже не приходила им в голову и, *главное*, насколько их не занимала. «Отечественные записки», «Современник», теперь «Русское богатство» и «Русская мысль» – эти органы, говоря серьезно и о серьезных предметах, о чем бы, однако,

ни говорили, говорят именно юношеству, с точек зрения для юношества занимательных, ему понятных или им усваиваемых.

Что же это за странное явление, что за необъяснимое отношение к возрасту, помимо истины, пользы, красоты созданий, единственно принимаемое во внимание? Кто, наконец, они – эти странные люди, и в чем была их истинная миссия, помимо той кажущейся, которою они были так усердно заняты? Вне всякого ведения для себя – они были бессознательные *педагоги* и с замечательным совершенством выполнили функцию, которой в них никто не предполагал и они сами не предполагали ее в себе. Вне школы, скучной, бессвязной, бескультурной, не способной сколько-нибудь вовлечь расцветающие души в мир серьезных интересов, за ее стенами и с явным антагонизмом к ней развернулась школа без стен, без парт, без застегнутых в мундир чиновников, в которую радостно ринулось* все свежее, ищущее, любознательное, – и они, эти педагоги-писатели, радостно и дружно пошли навстречу этому движению. Что в том, что материал воспитания, то есть самые писания, были часто недоброкачественны, как бестолковы бывают и переводимые «для упражнения» примеры: важно, что метод усвоения этих предварительных упражнений был абсолютен, что в том общении, какое начиналось между учителем и учениками, соблюдены были все вечные принципы образования: индивидуализм отношений, неторопливость восприятий, их однородность, культ уважения к предметам научения и любви к лицу научающего**.

И если по всем линиям своего воздействия эта школа стремилась отделиться от литературы взрослых – в этом сказалось целомудрие истории, не смешивающей своих процессов. Здесь

* Уже Ив. С. Аксаков, изучая на юге России ярмарки, писал о поразившем его явлении: что «все молодые люди, честные по своим стремлениям и всему складу души, – зачитываются Белинским». Он не писал: «все размышляющие, умные, образованные местные жители».

** Отсюда замечательный спор, поднятый над могилою Некрасова и не умолкший до сих пор: был ли он *искренен* и правдив в своем научении, а не о том, был ли он *правилен* в этих научениях? Для взрослого нужно знать *истину*, для несовершеннолетнего нужно *обождать* научающего, без чего пропадает в него вера и самое научение рассыпается.

возникла своя поэзия, для которой не существовали критерии поэзии «той»; свои рассказы, повести, романы, где уморительно было бы искать какой-то «психологии», «анализа» и даже смешно, немножко неприлично было говорить о браке в его глубоком, таинственном значении*. Все женщины, в этих повестях действовавшие, остались до конца милыми девушками, у которых вопрос «о четырех детях» (см. выше письмо о Кудрявцеве) вызвал бы гомерический смех и чувство некоторой естественной стыдливости. Единственно, что занимательно было здесь – это самое «действие», а вовсе не характеристики, не «тонкое развитие» страсти (которой и не было), не «художественная цельность» произведения и т. п. «глупости» взрослых. И когда эти взрослые, обращаясь сюда, пытались говорить о нуждах государства, задачах семьи, догматах церкви, целях культуры – горсти каменье сыпались им в ответ, потому что они действительно говорили нечто нелепое, неуместное и так же мало нужное здесь, как «Курс акушерства» мало нужен в библиотеках Смольного монастыря.

Отсюда, чем юношественнее был писатель, чем он далее уходил от действительности, чем более «сюжетов» необычайных изобретал сам или приносил с Сены, Шпрее, Темзы – о чем, впрочем, никто не спрашивал, – тем неудержимее, свежее приветствовался. Добролюбов был еще несколько серьезен – хотя и хорош в «Свистке», в «Когда же придет настоящий день?» и более всего в бесподобной «Что такое обломовщина?» и в «Темном царстве» – сатире на «тех». Чернышевский был слишком учен; совсем не понятен Герцен**; но Белинский в сво-

* См. романы «Что делать?», «Шаг за шагом, или Светлов» и многие другие. Отсюда вытекло и все глумление, которому были подвергнуты в свое время «Война и мир», «Обрыв» и, первое время, «Анна Каренина», – пока именно (среди других причин) под воздействием этого романа изумительной художественной силы не произошел перелом в духовной жизни нашего общества.

** В высшей степени замечательно, что Герцен, несмотря на свой радикализм и бездну талантности, никогда особенным культом не пользовался в нашем юном обществе. Он был не только слишком сложен, умственно развит, но и недостаточно внутренне чист для этого. Острота, хорошо написавшаяся, если бы даже написав он и почувствовал ее неправоту, – уже не зачерпнулась бы им, и этого никогда не сделал бы Писарев.

их восторгах, а еще лучше Писарев, столь же восторженный и совершенно понятный, простой, – был истинным кумиром. Это был Гомер, которого множество маленьких Александров Македонских, засыпая, клали под подушку, чтобы назавтра проснувшись еще и еще читать, и мысленно благодарить его, и позднее плакать над его могилой, а при достаточных средствах даже и приносить ему гекатомбы*.

И когда весь этот цикл литературы, к сожалению, уже истощающийся**, замкнется – мы, обернувшись назад, будем поражены свежестью, богатством форм и, главное, необычайной оригинальностью этого совершенно нового во всемирной литературе явления; а углубившись в его смысл, поймем и великую мысль, на нем почившую. Наконец (и это уже наше

* В Нижегородской гимназии (где я учился) и особенно в Нижегородском дворянском институте в середине <18>70-х годов степень зачитанности Писаревым была так велика, что ученики даже в характере разговоров и манере взаимного грубовато-циничного обращения пытались подражать его писаниям. Я в Нижнем уже не читал Писарева, прочтя его всего в Симбирске, во 2-м и 3-м классах гимназии, где также прочел всего Бокля и Карла Фохта и составил конспекты этих книг, у меня до сих пор хранящиеся. Но и в Нижнем, в 4-м классе, из-за насмешек старшего брата (который заменял мне отца) над Боклем и Писаревым, я поссорился с ним в столь резких формах, что он принужден был отделить меня от общего обеда, и я ел один, сожалея о роде человеческом, не усваивающем таких честных писателей. Классе в 6-м, однако, придя к товарищу и увидя у него том Писарева, я раскрыл старого любимца – и вдруг самая манера его изложения и также все мысли мне показались до того неинтересными и скучными, точно это были «Les aventures de Telemaque» Фенелона⁷, и это был день, с которого я как бы забыл, что и читал его когда-нибудь.

** Он иссякает не столько внешним образом, в обилии, сколько внутренно, как бы перерождаясь. Напр<имер>, у г. Н. Михайловского, который первое время кажется очень искренним, нельзя не заметить, что он часто тоньше и умнее своих статей, и, напр<имер>, полемизируя с вами, видит в том и ином неправоту свою и не сознается в этом, замечает след. Он старается быть наивнее, чем есть; так сказать – приседает в уровень со своими читателями, и это вносит в его писания, в общем еще очень свежие, фальшь и отнимает у них то безупречно-воспитательное значение, какое именно искренностью своею имели сочинения Белинского, Чернышевского, Писарева, теперь отчасти – Протопопова и Скабичевского. Сюжеты «французских повестей» (см. выше письмо Белинского) ему уже не одни снятся, одним глазом он уже видит и действительность, и между тем силится внушить читателю, что только их одни и видит.

пожелание), мы навсегда сохраним эту школу для нашего юношества, без какого-либо опасения перед ее прямыми утверждениями, подробностями, всем в ней несущественным (кстати, ее и разрушить нельзя – не человеческими руками она создана). К Богу, к пониманию истории, к смирению перед землею своею и привязанности к ней люди не книгами приводятся, и не нужно, чтобы приводились книгами. *Это* – слишком жизненно для книг, слишком серьезно; и, наконец, это так существенно, так важно, что вверить судьбу этого обретения родины случайной встрече с книгою не было бы мудро. Итак, пока без родины, без Бога, в стороне от нас и наших путей, в садах чудесных Гесперид пусть растут наши дети, отдыхают до времени, когда придет *их* час и позовет их к *труду*.

ГДЕ ИСТИННЫЙ ИСТОЧНИК «БОРЬБЫ ВЕКА»?

Л. Тихомиров. «Борьба века». Москва, 1895 г.

I

Со времен «Республики» Платона, этого раннего и наиболее философского построения возможной действительности на месте существующей, и до грубых учений Бакунина об «аморфизме» обществ через историю культурного человечества проходит ряд полуйдей, полужеланий, в которых некоторое лучшее будущее показывается человеку и манит его из юдоли настоящего. «Утопия» Томаса Мора, «*Civitas solis sive de rei publicae idea dialogue poeticus*» Кампанеллы¹ – все эти книги самым именем своим уже показывали, что их содержание составляет лишь частную полумысль, полумечту их авторов, ради которой они не направили бы так, а не иначе ни одного практического своего дела. Но вот настал век, когда эти мечты овладели самою действительностью, точнее – когда они стали действительностью самою ощутимую, самою

яркою; выйдя из тиши кабинетов, они волнуют улицу, смущают правительства, грозят порвать правильный ход истории, вмешавшись в естественную связь реально ее составляющих дел. Они становятся центром, душою борьбы, около которой блекнет, представляется незначительною борьба собственно политическая – за территорию, границы, экономические преимущества или влияние государственное. Она – все одна, одна – уже целый век, когда предметы, орудия, деятели всякой другой борьбы меняются. Эта борьба, которая обнимает собою не государство, ведется не армиею, – есть, в сущности, борьба *общества* в его неопределенных границах; она ведется *людьми*, напрягает силы *человека*, и вот почему она потрясает все, что над ним или для него устроено на земле: государство, церковь, экономические отношения, как и семью.

Конечно, источники этой борьбы должны быть чрезвычайно многочисленны и разнообразны; однако есть между ними несомненно преобладающие. В самых условиях века, в условиях жизни, именно за этот век выросших, несомненно таится что-то, что сделало возможным это странное, невероятное за два, за три века назад явление, что идеи, которые могли быть занимательны для застольных друзей Томаса Мора или для слушателей Платоновой академии, стали усвояемы и привлекательны для каждого поденщика фабрики, для самого неспособного ученика какой-нибудь технической школы. Нам думается, в двух обстоятельствах, действительно возникших за этот последний век, кроется главная причина, обусловившая такую возможность.

Прежде чем указать эти причины, оговоримся, что нами оставляется совершенно в стороне *предметная* сторона социального брожения, что мы рассматриваем его как *явление* и во все не как *программу*. И в самом деле, эта программная сторона, имеющая как будто в виду ответить на некоторые реальные нужды, в действительности не есть самая главная, не есть даже очень значительная в этом брожении. Страдания человека, несовершенства общества – они всегда были, но всегда вызывали сословия, корпорации, семьянина, рыцаря, плебея к борьбе

против *этого* определенного страдания, *этим* определенными способами, без мысли об устроении на новых началах *всех* человеческих отношений. Между тем, что именно связывает все социальные системы, единит их в одну цепь развития – это именно *неудержание* в них чего-либо из строя существующего. Мечта, в которой сохранялся бы католический священник или немецкий пастор, где семья была бы как у Гольдсмита или Толстого и, наконец, где Моммзен или Липсиус могли бы продолжать свои исторические изыскания, – вот что, по живому и верному инстинкту всех, никогда не засчитывалось и не будет зачтено в ряд «социальных систем». Существенная черта социализма состоит именно в *неудержании* чего-либо из старого, и уже к ней прибавляется как вторичная и менее существенная черта – манящие яркие образы строя нового. Вот почему не будет ошибкою, если, стараясь определить источники этих порывов, мы будем смотреть на них как на некоторый протекающий в истории *психоз* – без всякого, однако, узкого или порицательного значения этого термина. Их существо, мы настаиваем, не *в цели*; это существо – в некоторой особой психической атмосфере нового человека, из которой возникают самые различные цели, самые несходные построения, от фаланстер Фурье до ожиданий Маркса о новом по-капиталистическом строе, – все равно образуемые не столько по указанию нужды, сколько по закону их созидающей души.

II

Потеря чувства действительности есть первое и главное из двух условий, на которые мы готовимся здесь указать. Быть может, мы ближе выразили бы природу этого явления, если бы назвали его утратой *вкуса* к действительному. Взгляд, брошенный назад, к первым социальным построениям, введет нас в понимание этого странного явления. Платон, Томас Мор, Кампанелла – какие изолированные умы, какие уединенные характеры! Мы хотим сказать, как мало связующего осталось между ними и живой действительностью. Они

ушли в пустыню своих созерцаний, где, кроме их самих и их «идей», никого не было. И не ближе, как на границе этой пустыни, не иначе, как в положении внимательного слушателя, — было человечество. Платон мог, *читая*, восхититься дифирамбом Анакреона; *плясать* в хоре под звуки этого дифирамба — вот чего он никогда бы не мог. Он все обдумывал устройство Сиракуз, которых раньше не видал; вел мысленно беседы с Дионисием, которого не знал; и даже с Сократом, которого так глубоко понял, так нежно полюбил, он заговорил только после того, как тот выпил чашку цикуты: по крайней мере, ни из его диалогов, ни из воспоминаний Ксенофонта мы не видим, чтобы Сократ сколько-нибудь замечал около себя этого вдумчивого, вечно молчаливого ученика, который, верно, представлялся ему несколько тупым. Афин, Греции, завтрашнего закона, вчера потерянной битвы — вот чего не было, что не шумело, не язвило, не волновало мысль этого человека от лет очень ранних и до глубокой старости. Потеря вкуса к действительности, отъединенность от рода людского — вот имя этого душевного состояния, которое у Платона, Кампанеллы, Мора имеет достаточное себе объяснение в их творческом гении, в обилии растущих изнутри идей, как бы не пропускающих внутрь лучей действительности — по крайней мере, не пропускающих их в достаточном количестве.

Это же явление — *чем* оно могло быть вызвано в наши дни у каждого почти близника, у репортера газеты, собирающего для завтра известия, которые уже сегодня никому настоятельно не нужны? *Смещенностью* всякого почти человека в этот век с живого места на земле, в которое он хотел бы и не может врасти прочным интересом, понятным трудом, постоянной привязанностью. Я несу свой труд на фабрику или в департамент, которых история мне не очень известна, судьба не очень занимательна и польза сомнительна; и в то же время дети мои, которых прошлое я знаю, их существо мне понятно, будущность — дорогá, формируются людьми, их вовсе не знающими иначе как под углом этого для них обязательного труда. Руки каждого в наши дни, его заботы, внимание, мысль приложе-

ны не к объектам, с ним кровно или генетически связанным, а к иным и далеким; и к тому, что кровно или генетически с ним связано, приложено постороннее внимание, чужая мысль, живую нитью не соединенная с ним забота. Чувство действительности, не упроченное здесь – в объектах труда, ослабленное там – в объектах привязанности, слабеет неудержимо. Оно слабеет не только как представление, как живой и вечно во мне стоящий образ, но и как воля, как усилие, как мотив деятельности. Мир, касаясь физически непосредственно меня, духовно становится от меня далек. Он, как и для Платона, Кампанеллы, Мора, отодвигается – у них на границу их созерцаний, у меня – на границу некоторой внутренней пустоты. То чувство, тот интерес, с которым я на него смотрю, напоминает несколько тот слабый интерес и чувство, с которым русский солдат времен Елизаветы Петровны смотрел на картофельные поля Померании, по которым он проходил. Касаясь их подошвами ног, скользя по ним взглядом, он мог ими пользоваться или их истребить с равным спокойствием; и как, подходя к ним, ничего действительно нужного не приобретал, так, удаляясь, ничего дорогого в них не утрачивал. И между тем (мы возвращаемся к нашим дням) в своей абстрактной необходимости чувство привязанности продолжает жить во всяком человеке. Мы хотим сказать, что и в наши годы, в этих новых обстоятельствах, каждый человек остается, как и всегда, живым ростком, органы которого тяготеют к почве, к атмосфере, свету солнца. Он с ними хочет взаимодействовать – это его натура; он выпускает корни, которые напрасно ищут укрепиться в зыбкой, текущей под ним действительности, выкидывает листки, которым навстречу не бегут никакие живительные, греющие лучи. Так называемое *искание* – неопределенное, мучительное, в котором все инстинкты человеческие извращены, является последствием этого отношения человека к действительности. Мы часто удивляемся, удивляемся впервые в истории, *жестокостям*, которые совершаются со словами *любви* на языке; мы поражены *деспотизмом*, притеснением, которые налагаются в тех и иных странах (Франция) во имя *свободы*. Мы растеряны, недоумеваем, ког-

да слух наш оглушен тысячью высоких и чистых слов и глаз утомлен кровью, мерзостью, ужасом. И между тем этот непонятный контраст, это непостижимое противоречие дел и слов есть противоречие внутренней природы человека, как она есть, и внешней действительности, как она тоже есть, – контраст залога и исполнения, усилия и осуществления. Лист, загнивающий вместо того, чтобы зазеленеть, вовсе не усиливается стать именно вонючим и темным; его точное усилие направлено именно к свету, к зелени. *Усилия* человека теперь, как и всегда, в первом движении своем, в темном невыраженном своем залоге, направлены к любви и истине, и между тем ненавистью и ложью проникнуты явно выраженные *дела*. Если мы отойдем за два, за три века в прошлое или если мы переступим теперь за внешние грани европейской цивилизации, мы увидим, что явление, нами указанное, есть новое и местное. Не только на равнинах Азии, но и у нас, в России, – всюду, куда еще не проникли деятельные условия новой цивилизации, равно как в прошлом целой Европы до эры «разделения труда» в промышленности, в государстве, в обществе, – человек не жил этою разорванной жизнью, где его живое внимание и необходимый труд сосредоточены на разнородном. Существование всякого было цельнее, сосредоточеннее; его труд ему понятен и нужен; и действительность перед всяким взором имела ту самую яркость и свежесть, какую имела в себе самой, – достоинство если и не высокое, то вполне ощутимое. Не было никаких условий для того, чтобы человек, как бы полузабыв об этой играющей вокруг него жизни, стал воссоздавать в своем воображении новую целостную жизнь, и не только воссоздавать, но ради неверной надежды на ее осуществление и разрушать действительную жизнь с тем спокойствием и равнодушием, как будто бы это был полусон, полупризрак, а не действительность.

III

Если, не придавая программной стороне социализма значения, мы, однако, примем ее во внимание как симптом,

мы откроем вторую общую причину его быстрого и повсеместного развития. Таящиеся в нем желания, не в главной разрушительной своей стороне, но в положительной и созидательной, общее всего выражены в самом имени его adeptов: *soci*-алисты, *commun*-исты. Индивидуализм новых обществ, индивидуализм не в смысле яркости человеческой личности (скорее она тускла теперь), но в смысле ее разобщенности, оторванности от какого-либо целого, которому она прежде принадлежала в церкви, в цехе, в миниатюрном, хорошо сплоченном государстве, – вот что не переносится человеком в силу также неуничтожимых сторон его души. «Не хорошо человеку оставаться одному» – вот слова, Богом о человеке сказанные, сказанные при самом исходе его бытия, на которые обширным и внушительным комментарием являются социальные порывы нашего века. Мы без труда замечаем, что эти порывы отсутствуют вовсе там, где еще сохранилась счлененность человека с человеком, и присутствуют ò-бок всюду, где только эта счлененность распалась. Ни в крепко связанной семье, ни в хорошо сплоченных сословиях, как духовное или военное, ни в крепком быте, как, например, наш крестьянский, – чувство социальности невозможно, не прививается, не встречает себе реагирующей почвы. Социалист – сосредоточим на этом внимание – обычно безроден; это – скиталец, изгой когда-то прочного быта, остаток разрушившейся общественной клетки, который ищет прилепиться к другой и обычно заражает ее собою, потому что в ней действует, но к ней не принадлежит. Он – человек, который потерял свое место в мире и собственно потерял всякое взаимодействие с ним, кроме денежного, которое его не удовлетворяет; он в этом мире не имеет обязанностей, ему в нем не нужны права, в нем он блуждает и, блуждая, разрушает, потому что ни к чему не тяготеет, не может тяготеть.

Его тоска, его порывы, будучи уродливы по выражению, опасны для общества, нелепы по выказываемой отчетливо цели, – в сущности здоровы по направлению и индивидуально безвинны по происхождению. Нужно только хорошо это по-

нять и не вдаваться в обман слов; миражи большого чувства и изуродованного ума не принимать серьезно в «программном» смысле. Это – великая социальная болезнь, которая направлением своего течения действительно указывает, что более всего нужно, первее всего необходимо. Необходимо воссоздаться обществу как организму; безродные должны получить родство, бескровные духовно – кров, безотечественные – отечество не в смысле только территориальном, и социализма более не будет. Не дальнейшее поэтому расширение и расширение хаотической свободы, не снятие с индивидуума последних связей его с целым, в предположении еще облегчить его и тем успокоить, умиротворить, может насытить нового человека; но – мы выговорим пугающее всех слово, в котором, однако, заключено все спасение, – новое всемирное закрепощение человека его долгу, его делу, его *обязанности* перед живым, осязаемым, конкретным целым может только возвратить покой его сердцу, свежесть и силы его уму. Подумаем, как узко место, на котором стоит священник, как неподатливы грани, в которых замкнута его жизнь, как недоступна ему праздность, блуд и еще множество дел, мыслей, чувств и, главное, наслаждений, из которых нам дан свободный выбор, – и вот, в своем ограничении он счастлив, умиротворен, когда мы все в своей свободе алкаем «неба нового и земли новой».

IV

В интересной книжке г. Л. Тихомирова «Борьба века», посвященной социальному брожению наших и прошлых дней, есть одна сцена, которая, будучи реальна, в то же время чрезвычайно выпукло носит на себе все черты, которые мы соединяем мысленно с этим брожением.

«В Женеве, на сходке *рабочих*, на возвышенном месте стоит оратор, худой и воспаленный. Он жестоко громит зловерный швейцарский строй. «Посмотрите на себя, – восклицает он, – на эти *изможденные* лица *жертв* безжалостной эксплуатации!» А вокруг него сидят женевские рабочие, *красные*, пол-

ные, все молодец к молодцу. Уж, кажется, собственные глаза могли бы показать нелепость восклицания. И, однако, оратор кричит, а «изможденные» рабочие прекрасно слушают, потягивая пиво из своих кружек.

Один рабочий, которому наскучило слушать «des phrases creuses»² о *будущем*, попросил разъяснить ему, как бы устроить, чтобы *теперь* больше зарабатывать. Оратор тотчас *подозрительно* и *иронически* спросил его:

— Да вы рабочий ли?

— Я-то рабочий. Вот мои руки. Они все в мозолях. А вот вы кто — не знаю.

Оратор был захудалый *русский князь* из всечеловеков, никогда в жизни, конечно, не работавший».

Если восклицание изгоя далекой родины мы переведем словами: «Как несчастен я; как несчастен, что никто не удержал меня на той земле, где я родился, в том быте, в котором я вырос, в условиях общественно-исторических, которым принадлежал я от рождения!» — мы поймем социализм не только в сущности его, в страдании, но и в средствах исцелить его.

«Во время президентства Греви, при бездейтельном почти правительстве, один социалистский депутат, обращаясь к избирателям, говорил перед ними о недостатках свободы во Франции. Яростных восклицаний нельзя было обобратиться. Можно было подумать, что дело идет об Иване Грозном. И что же: *единственный* факт, который приводил оратор, был тот, что на улицах Парижа не допускают процессий с *красными* знаменами»* (символ социальной революции).

Господин Тихомиров понимает это буквально. Но оратор хотел сказать, что он не имеет дела, к которому посылался бы утром, не имеет семьи, о которой должен был бы заботиться, крова, который должен был бы защищать и за который трепетал бы ежедневно; и когда в праздности «не-делания», в пустыне своей свободы он захотел создать себе отечество под красным знаменем и поволок его по улицам, у него это новое отечество, эту произвольную семью, это выдуманное и, одна-

* «Борьба века», с. 16–17.

ко, единственное у него на земле счастье – отняли. Его жесты, его скорбь, его готовность бороться – понятны, как только на место призрачных слов мы поставим настоящие.

Недостатки книги г. Тихомирова, которые нам показались значительными, все вытекают из того именно, что он понимает «борьбу века» в ее прямом смысле, несколько чистосердечно и наивно, не замечая, что истинная ее сущность лежит в боковых условиях, в невысказанных словах, в том, что вовсе не входит ни в какие социальные «программы». От этого, перебирая характерные черты его занимающего явления, он то растерян, то возмущен; он их оспаривает, за них упрекает – однако так, что в словах его не слышно никакой надежды. В замечаниях его, в характеристиках иногда много меткости, почти глубины. Так, он характеризует все явление термином «социальный мистицизм». Но когда же мистицизм поддавался логике? Когда он отступал перед силлогизмом? И наконец, когда он отвечал на будничную, ежедневную нужду? В том, что есть *фактического* в труде г. Тихомирова (напр<имер>, с. 10–12, 17–18 и многие другие), он мог бы прочесть опровержение почти всего, чего он боится, чем встревожен, что ищет разрешить как теоретик.

V

Быть *обманиваемым* в истории, точнее – надеяться в ней и не получать, есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды *внушаемы* человеку для того, чтобы, *маясь* ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы для приведения его в состояние, ничего общего не имеющее с этими надеждами, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории. Наши «проекты», наши расчеты и «программы», наши мечты – суть нужные рычаги и блоки, с помощью которых некоторые тяжести поднимаются от земли, другие опускаются на землю для возведения здания, в плане которого вовсе не содержится чертежа этих рычагов и блоков. Мысль, что человек в самом деле делает

историю, – вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого ведения – *для чего, к чему*. Мы можем только надеяться, что это блуждание не напрасно; что оно нужно; что, оставаясь покорны ведущей нас руке, мы не погибнем или погибнем не ранее, чем когда станет это необходимо, и мы все равно от того не уклонились бы.

Вот почему, не закрывая глаза на действительно великие страдания огромных масс людей, в умиротворении которых предполагаются задача и сущность социализма, мы ни на минуту не сомневаемся, что его корень и будущий исход лежат далеко в стороне от подобного умиротворения. Оно так же мало входит в раскрывающиеся планы всемирной истории, как мало в Ренессанс входило действительное возвращение к античному миру, в Реформацию – возрождение апостольских времен и сокрушение «Римской блудницы», в революцию – осуществление «естественного братства» людей. Во всех названных нами случаях люди надеялись не менее горячо, верили, по-видимому, так же основательно, как теоретики «нового строя» в наши дни, и самые движения тех столетий так же широко раскидывались, так же безбрежны были по содержанию и по массам людей, волнуемых ими, как и социальное брожение, нами переживаемое. И между тем Возрождение перешло неуловимо в «споры этих несносных монахов»; Лютер и Меланхтон сменили Эразма и Ульриха фон Гутена – но и из *их* веры, порывов, силы вытекли вовсе не апостольские времена, но бюрократизм, ученость, поверхностность и сухость нового протестантства. Революция, безличная, неясная, массовая до Наполеона – в нем получила себе сосредоточение и лицо, уста говорящие и руку действующую, которые высказали миру ее смысл, очень далеко разошедшийся с тем, какой предполагали в ней мечтатели от Руссо до Кондорсэ. И так же точно, когда социализм тревожит теоретиков экономической науки, пугает правительства, волнует улицу – историк может спокойно смотреть на эти страхи и завывания, ища далеко вне точек общего сосредоточения место, куда упадет всеми в страхе ожидаемый факт.

МЕСТО ХРИСТИАНСТВА В ИСТОРИИ

Между всеми науками, предметом изучения которых служит человек, история имеет преимущество общности и цельности. Религия, право, искусство, нравственность – все это в освещении других наук является разрозненным, обособленным; история же изучает эти сферы человеческой деятельности в их живой связи. И причина этого различия понятна. Другие науки, как, напр<имер>, право или мораль, изучают свой предмет без постоянной мысли о человеке; история же, стремясь уяснить для себя происхождение всего, рассматривая все лишь в процессе образования, невольно должна восходить к тому, что служит общим источником и морали, и права, и всего другого подобного, – к творческому духу самого человека. Здесь открывается для нее глубокое единство того, что в других науках, изучающих все уже в готовом, законченном виде, представляется столь обособленным, замкнутым в себе.

Вследствие этого особенного отношения к своему предмету история способна давать нам разрешение таких вопросов, ответа на которые мы тщетно искали бы в других науках. Указывая генетическую связь между всеми сферами человеческого творчества, она определяет *взаимное положение всех их*, и, следя за этим положением в прошедшем, мы иногда можем определить довольно точно и их взаимное отношение в будущем. Как геометр, найдя в старинной рукописи недоконченный чертеж какой-нибудь фигуры, может, внимательно углубившись в направления и свойства начатых линий, мысленно продолжить их и замкнуть всю фигуру, так и историк, следя за направлением творческих сил человека в прошедшем, иногда может предугадать это направление в будущем и открыть то, что называется *планом истории*.

Это знание есть самое важное из всех, потому *что* оно одно дает нам возможность сознательной жизни. Жить сознательно – это значит руководиться в своей деятельности целями, и притом не ближайшими; жить бессознательно – это значит

управляться в своей жизни причинами, которые остаются для нас внешними и чуждыми. Но, конечно, мы твердо можем быть уверены в достоинстве своих целей лишь тогда, когда знаем, что они совпадают с тем направлением, которое уже невидимо, неосязательно дано всемирной истории, уже существует в ней.

С этой именно точки зрения мы и будем рассматривать тот факт, определить значение которого нам предстоит теперь. Посмотрим, нет ли в истории каких-нибудь указаний на то, какое положение занимает христианство в ряду всех других явлений прошедшей жизни человечества, и постараемся извлечь из этих указаний то главное знание, в котором мы все нуждаемся, — знание целей нашей собственной деятельности.

I

Два великих племени почти исключительно занимают поприще всемирной истории — арийское и семитическое. Если мы проследим за характером этих двух племен на всем протяжении их существования, мы будем поражены глубоким различием, которое повсюду и во всем обнаруживается между ними. На самой заре своего исторического существования те племена, дальнюю отрасль которых составляем и мы, назвали себя «светлыми», *arīoi*, и этим именем бессознательно отметили тот особый характер, который запечатлелся на всей их истории. Повсюду, где мы их ни наблюдаем, от Ганга и до Миссисипи, от старых «Вед» и до нашего времени, они являются исполненными жизнерадостного чувства, любят природу и поклоняются красоте и, не заглядывая в отдаленное будущее, всецело отдают настоящему свои душевные силы. Невозможно исчислить всех родов деятельности, какие занимали их, и если история так безгранично богата событиями, если то, о чем повествует она; так нескончаемо разнообразно, то это благодаря исключительно особенностям арийского духа. В чем же заключаются эти особенности? Как выразить, как определить тот особенный душевный склад, из которого объясняется все своеобразие арийской истории и жизни?

Объективность – вот то название, которое всего правильнее определяет этот особый склад души. Ум, чувство, воля – все силы душевные – у арийца направлены *к внешнему, навстречу впечатлениям, идущим снаружи*. С необходимостью одно это свойство повело к созданию всего того, что мы находим в их истории и жизни. Разум, направленный на внешнее, и не мог ничем иначе выразить свою деятельность, как наблюдением над природою и размышлением о ней, то есть именно тем самым, что образует науку и философию, которую мы одинаково находим у всех арийских народов. Опытный и наблюдательный характер, который по преимуществу носит эта наука и философия, мы склонны принимать за необходимую и вечную черту в ней, обусловленную самим предметом познания; в действительности же черта эта обусловлена только субъективными особенностями арийского духа, и если нам так трудно понять это, если мы так упорно отвергаем местный и временный характер нашей науки, то это свидетельствует только о том, как бессильны мы стать выше своей природы, как не можем подняться над тем, что есть в ней особенного и частного. Обращенное на то же внешнее, чувство создало искусство как стремление воспроизвести это внешнее. Уже Аристотель, который первый определил своим рефлектирующим умом то, что без определений, бессознательно и невольно сознавал человек раньше, назвал *искусство – подражанием*; и в этом определении – уже бессознательно для себя самого – он отметил ту коренную черту арийской души, о которой мы говорим теперь. Подражать можно лишь тому, что любишь, чем заинтересован, воспроизводить же неприятное или чуждое никто не станет, потому что самый процесс такого воспроизведения не может доставить никакого удовольствия. И то, что искусства у арийцев достигли такого высокого совершенства, что одно и то же они стремились воспроизвести и в линиях картины, и в контурах статуи, и в словах поэмы, – это свидетельствует о том жизнерадостном чувстве, о том любовном внимании к физической природе и вообще ко всему окружающему, которое всегда было им присуще. Наконец, воля,

направленная на внешнее, должна была выразиться в стремлении подчинить себе это внешнее или, по крайней мере, регулировать его отношение к себе, и здесь лежит объяснение третьей особенности в истории арийцев – именно той, что повсюду, где они ни появлялись, они создавали государство и устанавливали права. Государство есть то, в чем выражается отношение одного народа к другим, для него внешним народам, в чем он определяет себя и отделяет от других; право есть то, что определяет отношение одного лица к другим, для него чуждым людям. И то и другое обращено к внешнему, одинаково носит объективный характер. Отсюда же, из этого направления воли к внешнему, вытекает и стремление путем науки подчинить себе окружающую природу, и великий антагонист Аристотеля, Бэкон Веруламский, указав на это подчинение как на цель натуральной философии, – выразил в этом указании ту же черту арийского характера, которую в своем определении искусства выразил греческий философ. Мы не можем здесь останавливаться на более тонких чертах истории и отмечаем только эти грубые, общепризнанные факты ее. Наука, искусство и государство – это три главных продукта арийского творчества, в них именно достигли арийцы величия, и в последовательном, медленном созидании их проходила история этих народов. И как следствие к своей причине, они должны быть отнесены к объективному складу трех главных способностей души арийцев.

Обратимся теперь к рассмотрению душевного склада семитических народов в связи с их историей. То, что составляет отрицание арийского характера, что совершенно противоположно ему по направлению, – есть *субъективность*, и она именно составляет отличительную черту психического склада семитических народов. Они никогда не смотрели с интересом на окружающий мир, и у них никогда не возникала наука. То высокое понятие, которое сложилось о науке арабов в Средние века и долгое время держалось в Новых, при ближайшем ознакомлении с делом оказалось ложным. Они повсюду являются или продолжателями, или комментаторами, но никогда и ни в

чем – начинателями, творцами. Изучение медицины началось у них лишь с того времени, как халиф Альмансун призвал к своему двору, в Багдад, сирийских врачей; под влиянием этих врачей и, конечно, руководимые практической потребностью, они стали сами изучать медицину, но и тогда не пошли далее переводов и комментариев Гиппократов и Галена. То, что они сделали в астрономии, ограничивалось изобретением некоторых инструментов и более точными и обильными, сравнительно с греками, наблюдениями; но и здесь они трудились на почве, уже возделанной ранее, и не оплодотворили ее никакой новой мыслью. Им долгое время приписывалось изобретение алгебры, но теперь известно, что начатки этой науки существовали уже ранее, у арийских индусов; решение уравнений, прогрессии, даже суммирование рядов – все то, что мы называем элементарной алгеброй, – было известно на берегах Ганга ранее, чем арабы начали прилагать свои силы к этой науке и дали название, которое мы употребляем теперь. Наконец, в философии, в которой они также славились долгое время, они не пошли далее усвоения и истолкования Аристотеля и отчасти Платона. Альф-Араби, «второй метафизик», как называли его современники, говорил о себе с гордостью, что он 40 раз прочитал «Физику» Аристотеля и 200 раз его «Риторику». Аверроэс, о котором с таким уважением вспоминает Данте в «Божественной комедии», носил в Средние века прозвание «великого комментатора». «Аристотель объяснил природу, а Аверроэс объяснил Аристотеля», – говорили о нем с гордостью арабы. И во всем этом, чем гордились арабские ученые и за что прославляли их другие народы, видно одно – это отсутствие инициативы, недостаток творческого начинания во всем. Если от арабов мы перейдем к евреям, то в древности не найдем у них никакой мысли о научном знании, а в Новое время хотя иногда они и обнаруживали высокие способности к науке, но замечательно, что и здесь, никогда не являясь инициаторами, творцами новых идей, они только придавали европейской науке характер крайней абстрактности, отвлеченности. Таково было влияние в XVII в. Спинозы на философию

и Давида Рикардо в текущем столетии – на политическую экономию. В этом абстрактном мышлении, в этом отвращении от наблюдения и опыта сказалась та черта субъективности, то направление душевного созерцания внутрь, а не к внешнему, которое обнаруживается у них и во всем другом. Они никогда не знали светлого мира искусства, и им незнакомо было то чувство, с которым художник-грек воспроизводил природу в статуе или в картине и любовался своим созданием. Из всех искусств только два – музыка и лирика уже с самого раннего времени процветали у них. Но это есть именно те виды искусства, в которых ничего не воспроизводится: они исключительно субъективны и к ним совершенно не идут слова Аристотеля, что «искусство есть подражание». Если бы какой-нибудь семит, а не грек определял искусство, он, верно, сказал бы: «искусство есть выражение внутреннего мира человеческой души» – до такой степени чуждо семитам то, что так знакомо и близко арийцам, и арийцам незнакомо то, что так родственно семитам. У семитов даже не зарождалось никогда живописи и скульптуры – этих искусств, грубые начатки которых в Европе находятся уже в памятниках доисторического быта: открывая кости животных, теперь уже вымерших, на них находили нацарапанные фигуры зверей и изображения охоты. В области архитектуры даже храм Соломонов был сооружен у евреев не ими самими, но пришлыми, чужими художниками¹. Это совершенное бессилие семитов к образным искусствам можно проследить у них и в том, что есть образного, воспроизводящего и в сфере поэтического слова. Эпоса, в котором, как в море небеса, отражается весь сложный мир человеческой жизни, который мы находим в «Магабарате» и «Рамаяне» индусов, в рапсодиях Гомера, в «Эдде» скандинавов, в наших былинах, – этого эпоса никогда не знали семиты. У них нет никаких преданий, нет мифологии, нет других воспоминаний, кроме священных и исторических, – черта, поражающая нас своею странностью: как будто народы эти никогда не знали ни детства, ни героической юности, но всегда были такими, какими мы их знаем теперь, – вечно возмужалыми, не расту-

щими и не стареющими. Наконец, если от науки и искусства мы обратимся к политической жизни, мы и здесь найдем у семитов обнаружение той же субъективности. Как, вследствие субъективного склада своей души, они оставались холодными к красоте природы, не любовались ею и не любили ее, так и по той же причине они всегда были безучастны и к окружающим людям. Они селились среди других народов и охотно отдавали им требуемое, лишь бы не принимать на себя обязанностей управления и организации. То, что принято в истории называть их государствами, – Тир и Сидон, Карфаген и Иудея – все это было скорее или группой торговых факторий, или рядом селений какого-нибудь племени. Вот характерные слова, которыми описывается в Библии то, что мы так неправильно, перенося свои арийские понятия на чуждые племена, называем государством: «И пришли те пять мужей в город Лаис, и увидали народ, который в нем, что он живет покойно, *по обычаю Сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть*» (Суд. 18:7). Это – странный народ, без организации и без власти, то есть такой, какой нам трудно представить себе, какого мы не встречаем нигде в арийской истории. Все участие семитических народов в политических движениях истории можно отнести как к своим причинам к политическим движениям окружавших их арийских государств.

II

Мы очертили характер арийцев и семитов, каковыми их знает история, в отношении умственном, художественном и политическом и не коснулись одной только стороны их жизни – религиозной. Теперь на ней именно мы должны сосредоточить свое внимание.

Первый вопрос, который естественно возникает здесь, состоит в том, почему из всех народов земных одним только семитам, и именно евреям, дано было Откровение? Почему другие народы были лишены его?

Если мы вдумаемся глубже в ту особенность, которую мы отметили выше в душевном складе семитов, мы, быть может, приблизимся к разрешению этого важного и интересного вопроса. Не желая выходить из пределов истории, мы не будем здесь вдаваться в доказательства, но скажем только, что есть самые серьезные и самые точные основания* думать и утверждать, что дух человеческий не есть ни произведение органической природы, ни что-либо одиночно стоящее во всем мироздании. Не только с религиозной, но и с научной точки зрения самым правильным будет признать, что в нас живет «дыхание» Творца нашей природы, и этим дыханием живем мы, что оно есть источник всего лучшего, что чувствуем мы в себе, и что его затемнение есть причина всего темного, что мы знаем в истории и находим в жизни. Теперь, если с этой точки зрения мы посмотрим на арийцев и семитов, мы поймем, почему не первые, а вторые были предызбраны для Откровения. По самому складу своей души арийцы были вечно обращены к внешнему, к физической природе, и то все, что мы называем красотой их жизни и истории, — наука, искусство, государство, все это — красота только для нас: в действительности же, с высшей точки зрения на природу человеческой души — это есть ее искажение и обезображение. Окружающий мир, как в зеркале своем, отражался в этой обращенной к нему душе, сверкал в нем мириадами чудных созданий, но если мы припомним, что то, в чем отражался он, есть дыхание и образ самого Божества, мы без труда поймем, что эти отражения были недостойны его, что они затемняли его и оскверняли собою. И здесь лежит разгадка всего. Дух семитов, который всегда был обращен внутрь себя, который не чувствовал природы и отвращался от жизни, один в истории сохранил чистоту свою, никогда не переставал быть дыханием Божества. Никакие мысли и никакие желания не развлекали его — одно Божество было предметом его веч-

* ...Эти основания изложены нами в книге: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Москва, 1886, в главах XIII с. 417—443, в XIV с. 474—483 (по отношению к возникновению и развитию религиозных идей) и в XV с. 541—547 (по отношению к содержанию религии).

ной и неутолимой жажды. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже!» – говорит Давид в одном из своих псалмов (16). Эта потребность Божества, вечная в семитах, и особенно в евреях, была прекрасно выражена блаженным Августином, когда, не найдя успокоения в человеческой мудрости, он обратился к христианству: «Боже, Ты создал нас для Себя, и наше сердце не найдет покоя, пока оно не успокоится в Тебе». Как бы в ответ на эти постоянные искания, как бы удовлетворяя этой неумолкающей жажде, еврейскому народу и дано было Откровение. Он один в истории и искал его, и был достоин воспринять – именно потому, что душа его не затемнена была земными помыслами и заботами, в которые так безраздельно погружалась душа арийца.

Различное отношение двух племен к Откровению, которое мы старались объяснить выше, очень рельефно было высказано немецким ученым Грау. Применяясь к словам и образам Библии, где еврейский народ часто называется избранною невестою Бога, он говорит: «Если мы представим семитическую и арийскую группы народов в виде двух дев, из которых Бог должен избрать одну для союза с собою в святой любви, то, конечно, арийская дева может хвалиться многими преимуществами, которых не имеет семитическая дева. Она может сослаться на украшения и сокровища, которые она приобрела через свое господство над миром, на богатство фантазии, проявившееся во всех искусствах, на мудрость и глубокие познания во всех вещах мира. Как мужественная дева, она может даже, в сознании своей силы, найти довольство и цель жизни в самой себе. Ничего этого нет у другой девы. Она стоит перед той, как нищая, бедная и неукрашенная перед королевой. Но она имеет одно, чего недостает той, – это сердце, полное неизгладимого стремления к Богу и Спасителю ее души, к Создателю ее жизни, – сердце, полное неисчерпаемой любви, которая не спрашивает ни о небе, ни о земле, если только она обладает Богом, и которая допускает погубить тело и душу, лишь бы дух имел часть с Ним. Одно имеет некрасивая дева – это смиренную веру, в силу которой она сама по себе желает

быть ничто, но все имеет в другом, – при которой она не находит никакого удовлетворения в мире и потому прикрепляется единственно к Богу, нисколько не сомневается в Боге, но совершенно на Него полагается. Живое предносится нам образ такой девы в Божией Матери, которая ничего не имеет, кроме смиренной веры, чистой и целомудренной души, когда она говорит Ангелу-благовестнику: *«Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему»* (Лк. 1:38)*.

Еврейский народ ревниво оберегал данное ему сокровище. Можно сказать, что чем более любил он Бога, тем менее любил он людей. Что в Боге все народы земные имеют своего Отца, который в милосердии своим печется о заблудших столько же, сколько о верных, скорбит о них и ищет их спасения, – эта

* ...Приведенная цитата взята нами из сочинения г. Беляева: «Современное состояние вопроса о значении расовых особенностей семитов, хамитов и нафетов для религиозного развития этих групп народов». Москва, 1881. Из этой интересной и, к удивлению, почти неизвестной в нашей литературе книги мы узнаем, что вопрос об особенностях психического склада у различных рас человеческого рода уже давно поднят и деятельно разрабатывается в западноевропейской науке, тогда как у нас, в научном смысле, он остается еще совершенно неизвестен. Характеристика семитов сделана Грау в сочинении «*Semiten und Indogermanen in ihrer Beziehung zu Religion und Wissenschaft*». К сожалению, вчитываясь в эту характеристику, мы не находим в ней указания на что-либо одно, центральное в психическом складе семитических народов, из чего уже, естественно, выводились бы особенности их истории и жизни; различные черты характера поставлены рядом, перечислены, и в таком виде они не способны получить объясняющего значения, указывают на аналогичное в явлениях культурной и религиозной жизни, но не определяют ни причину зависимости этих явлений, ни общего источника всех их (пример: «Семит отличается субъективизмом, живостью и горячностью чувств, энергической стремительностью, напряженностью всех внутренних способностей и упрямым, неотступным преследованием предположенной цели» и т. п.). Мы принимаем за центральную основу у семитов – субъективность, обращение сознания внутрь себя, и у арийцев – объективность, обращение сознания к внешнему; и, находя это же как основу и в обширных видах человеческого творчества (как наука, право, искусство и пр.), связываем одно с другим, через что они взаимно подтверждаются и объясняются. Не выделив одного чего-либо как центральной особенности в семитах и арийцах, Грау не мог проследить и судьбы этой особенности в истории, ее отношения к актам Откровения и Искушения, а с тем вместе не мог определить и истинного положения христианства в планомерном развитии исторической жизни. Эти вопросы даже и не поднимаются им.

мысль была совершенно чужда евреям. Мы могли бы привести из Библии много примеров этой поразительной замкнутости избранного народа, его нежелания приобщить другие народы к Откровению, которое дано было ему. Так, мы могли бы указать на избиение всего мужского населения в городе Сихеме после того, как оно уже приняло обрезание. Но мы приведем здесь другой факт, мы укажем на *цельный взгляд* евреев на отношение к себе и к Богу других земных народов. Этот взгляд тем более привлекает наше внимание, что был высказан в позднее время унижения и страдания еврейского народа, которое должно бы смягчить его сердце, и принадлежит великому деятелю его истории. «В тридцатом году по разорении города, – рассказывает Ездра в 3-й книге своего пророчества, – я был в Вавилоне и смущался, лежа в постели моей, и помышления всходили на сердце мое». Ему припоминались все странные судьбы его народа, его избрание Богом, его слава при Давиде и Соломоне и его теперешнее унижение. Он роптал, он говорил к Богу: «Ты предал народ Твой в руки врагов Твоих. Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом?» В Вавилоне также грешат и, кроме того, не признают даже по имени истинного Бога, еврейский же народ и в величайшем нравственном падении никогда не отрекался от этого имени, и между тем один поднят на высоту, а другой низвергнут в бездну несчастья и унижения. Это возмущает сердце пророка, и он говорит: «Я видел, как Ты поддерживаешь сих грешников и щадишь нечестивцев; народ Твой погубил, врагов же Твоих сохранил и не явил о том никакого знамения». В его ропщущем сердце поднимается глубокий, никогда не разрешенный вопрос о происхождении зла, поднимается сомнение в Божественном Промысле и его праведности: «Не понимаю, – говорит он, – как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, чем Сион? Или иной народ познал Тебя, кроме Израиля? Или какие племена веровали заветам Твоим, как Иаков? *Ни воздаяние им не равномерно, ни труд их не принес плода; ибо я прошел среди народов и видел, что они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о заповедях Твоих*» (3 Езд. 3). К нему послан

был Ангел Уриил, и словами, сходными с теми, что слышал и Иов, он пытался смирить его ропщущий дух; он говорил ему, что «сердце его слишком далеко зашло в этом веке, что пытливость ума его об Израиле дерзка, что он напрасно пытается постигнуть пути Всевышнего» (3 Езд. 4). Но эти увещания остались бесплодны. Через несколько дней после беседы с Ангелом прежние мысли снова зародились в нем, и в словах, которые он сказал на этот раз, выразился тот поражающий взгляд, о котором мы говорили выше. Эти слова касаются уже не Вавилона, не утеснителей только израильского народа. Вспомнив о днях творения мира и человека, он говорит: *«Для нас, Господи, создал Ты век сей, о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто Тобою признанные, начали властвовать над нами. Мы же, народ Твой, которого Ты назвал Твоим первенцем, единокровным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? и доколе это?»* (3 Езд. 6).

Каким ужасающим холодом веет от этих слов, какая странная отчужденность от всех людей слышится здесь! Кроме своего народа, все остальные племена земные не только пренебрежены, но почти забыты. Во всемирной истории и во всемирной литературе, где было так много унижения и гордости, возвеличения и падения, вероятно, никогда не были сказаны слова такой презрительности, как эти. И сказаны в уединении ночной молитвы, сказаны к Богу, то есть вытекают из самой глубины души, выражают постоянную мысль, в которой нет никакого сомнения. Здесь гордость и унижение так велики, что они не обращены даже к тем, кого унижают; унижаемые, очевидно, не существуют для того, кто унижает.

Ездра в своем ропщущем сердце мог забыть о людях, но о них не мог забыть Бог. И здесь, нам думается, лежит объяснение непостижимых на первый взгляд судеб израильского народа, который так долго был избранным и в конце был отвергнут. Ездра не понимал, почему израильский народ в пле-

ну и страдает, и действительно, если принять во внимание грехи тех и других, он не окажется более виновным перед Богом; но Ездра забыл, что страдания Израиля не внутренние – не голод и мор, но что он в целом предан в руки врагов. Здесь было наказание не за частные грехи отдельных людей, но за грех общий всему Израилю – за грех его перед другими народами, о которых он забыл, которых он не хотел приобщить к своему избранию. В Библии народ Божий нередко сравнивается с виноградной лозой: эта лоза все более и более засыхала в своем отчуждении и эгоизме. Напрасно восставали среди евреев пророки, напрасно величайший из них, Исайя, с неизъяснимою силою говорил, что все народы земные должны собраться к Сиону. Их преследовали и убивали. Израиль не хотел заботиться о приведении народов к Сиону; как и для Ездры, эти народы – бесчисленные миллионы человеческих душ – были для него лишь ненужными каплями, каплющими из сосуда, и что они бесплодно терялись и засыхали в земле – об этом нечего было заботиться.

Эта безжалостность к Божию творению, это невнимание к человеческой душе и было наказано, когда «исполнились времена и сроки», – отвержением еврейского народа. Новое и высшее Откровение, которое дано было людям, совершилось через Израиль, но уже не для него. Как будто все силы засыхающей лозы, оставляя омертвелыми другие части ее, собрались в одном месте и произвели последнее и чудное явление израильской истории и жизни – Св<ятую> Деву Марию. Через нее совершилось вочеловечение Сына Божия; Он не был признан Израилем, но Откровение, им принесенное на землю, было принято другими народами, и именно арийскими.

Так, две тысячи лет назад, на дальнем берегу Средиземного моря, в глухой и уединенной стране, совершилось это событие – самое потрясающее во всемирной истории. Как и все истинно великое на земле, оно совершилось без шума и незаметно. В то время как на Западе ненужно передвигались легионы, произносились пустые речи и писались бессильные законы – в Вифлееме и Иерусалиме решались судьбы и Востока,

и Запада. Там перемещалось всемирно-историческое значение семитических и арийских народов, упразднялся Рим и заложена была новая история и новая цивилизация – та, в которой живем, думаем и стремимся мы.

Среди народа, гордого своим избранничеством, ни с кем не сообщающегося, ходил и учил Спаситель. Бедной самарянке, с которою за осквернение почел бы говорить книжник-раввин, Он говорил слова неизъяснимой мудрости; Он простил грешницу, боявшуюся поднять глаза от земли; Он проник в бедное, стыдящееся самого себя сердце мытаря; рассказал притчу о милостивом самарянине. Все это было так не похоже на то, что уже много лет привык слышать еврейский народ от своих учителей. Кроме немногих избранных, он оставался глух к Его словам. Но все-таки этот народ был семенем Авраама; это был страдалец в Египте, хранитель заповедей; он слушал пророков; в течение долгих веков он один на земле хранил закон и имя истинного Бога, и только теперь, повинаясь неизменному ходу истории, он пал так низко. Однако падение это было связано со всею его предшествующею судьбою, было внутренне необходимо, и он не мог уже подняться из него. За несколько дней до своих страданий и смерти, в словах, полных неизъяснимой грусти и неизгладимого величия, Спаситель высказал судьбу израильского народа: «О, Иерусалим, Иерусалим, – сказал Он, смотря на град Давидов, – сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели», – и, думая о наступающих страшных днях и о последних судьбах мира и человека, продолжал: «Вот дом ваш оставляется вам пуст; отныне не увидите Меня, доколе не воскликнете: Благословен Грядый во имя Господне!» (Мф. 22)². Историческое и религиозное значение еврейского народа кончилось. Здесь мы не можем удержаться, чтобы не высказать несколько общих замечаний исторического характера. Все, что совершается в истории, совершается с внутреннею необходимостью, и она видна как в том, что в ветхозаветные времена еврейский народ был избран, так и в том, что в новозаветные времена он

был отвергнут. Скажем более: между тою и другою судьбою была неразрывная связь, и ни которая из них не могла бы совершиться, если бы не совершилась другая. Здесь проявило свою силу то темное и неясное для человеческого ума, что непреодолимо управляет жизнью природы и ходом истории, что всегда чувствовали люди, но чего они никогда не умели ни понять, ни выразить; то самое, что чуткие греки отметили словом «Мойра» и что они не осмелились олицетворить ни в каком образе; что гораздо ранее формулировалось на одном соборе буддийского духовенства под именем закона сцепления причин и действий и на что слабо и лишь в частностях указывает наша наука под именем законов природы. Добро и зло как в природе, так и в истории связаны неразрывною связью, неотделимы друг от друга, и эта неотделимость сказалась в признании и отвержении еврейского народа. Припомним то, что было сказано ранее о душевном складе его, – именно о том, что его созерцание всегда направлено внутрь самого себя, что оно субъективно: будучи один из всех народов таковым, мог ли он в чем-нибудь нарушить свою духовную чистоту, исказить природу своей души впечатлениями внешнего мира? И если нет – если из всех народов земных он один оставался чистым, мог ли он не стать единым избранным, мог ли не воспринять первый все Откровения? Но именно потому, что он был так субъективен, мог ли он быть общителен с другими народами? И если ясно, что нет, то каким образом обетование искупления, долженствовавшее исполниться над всем семенем Адама, пролиться на все народы земные, каким образом это искупление могло совершиться иначе, как не через отвержение этого народа тотчас же, как только совершилось это искупление? Одна и та же причина породила оба эти явления, призвание и отвержение, и если мы поймем, если мы почувствуем, с какою страшною необходимостью совершилось это, мы проникнемся глубокою жалостью к еврейскому племени, некогда столь великому и святому и теперь так низко павшему. Этот закон воздаяния, это сцепление причин и действий – оно висит и над всеми народами, и также над нашим, и если мы могушествен-

ны, свободны и счастливы теперь, мы должны помнить, что это одна половина явления, и, думая о другой, должны быть сострадательны ко всему, что уже пало и унижено в истории.

Будем продолжать начатое исследование. История не может и не должна входить в рассмотрение самого акта Искушения – эта мистическая сторона религиозной жизни человека принадлежит исключительно богословию. Ее задача состоит в том, чтобы изучить условия, при которых это Искушение совершилось, и, не касаясь самого существа Откровения, определить по его *общим и внешним* чертам то отношение, в котором оно находится к различным эпохам и к различным народам. Здесь, оставаясь одновременно и строго и скромно, она может открыть такие точки соприкосновения, которые прольют самый ясный свет на некоторые темные стороны в судьбах человечества.

С этой именно точки зрения мы и рассмотрим отношение Евангелия к характеру двух главных исторических племен – семитов и арийцев.

Тот характер чистоты духа, который присущ семитам и которым запечатлена Библия, этот характер мы находим и в Евангелии. Книга Руфь напоминает нам самые светлые события из истории Святого Семейства; книга Иисуса, сына Сирахова, исполнена тою же простотою и мудростью, как и многие страницы евангелистов. В этом отношении Евангелие составляет продолжение Библии: это – также завет Бога к людям. Но это завет – новый, и здесь, в этом названии, отмечается уже какое-то отличие. В чем заключается оно?

Вместо духа исключительности и строгости, который лежит на Библии, веет с каждой страницы ее величием и ужасом, мы находим в Евангелии дух светлой радости, дух прощения и примирения, любви к людям. Что-то глубоко родственное каждому сердцу, что-то влекущее к себе, заставляющее не замыкаться, не уходить в себя, но, напротив, раскрывать свою душу, – слышится в каждом слове Спасителя и в каждом действии Его. Это уже не Иегова, грозящий и гневный к своему народу, к своему «первенцу и избранному»,

это – Богочеловек, сошедший к людям, живущий среди них, любящий и понимающий все, что в них есть слабого и незначительного. Вспомним брак в Кане Галилейской – это заботливое внимание к маленьким радостям маленьких людей; вспомним также притчу о блудном сыне.

Дух светлый и радостный, дух открытости и общения с людьми – не звучит ли все это чем-то уже знакомым нам? Да, это дух народов, которые, едва восприняв первые впечатления жизни, назвали себя сами «светлыми», «агаіоі». Совершенно чуждый ему по происхождению, он одинаков с ним по характеру, тяготеет сам к нему и взаимно притягивает его к себе. Небесная радость, которая слышится в Евангелии, склоняется к земной радости, которою проникнута арийская жизнь; она просветляет ее собою, но не отрицает уже. Та черта объективности, *то обращение не внутрь себя, но к внешнему*, что было всегда так чуждо семитам, вдруг появляется на склоне их истории, в момент завершения их исторического и религиозного значения. Тотчас же, как появилось, это стремление к внешнему разрывает замкнутость семитического духа и идет как благая весть, как «евангелие» навстречу всем народам земным. Но не все народы поняли это; это поняли те только, которые в этом движении к внешнему, в этом светлом и радостном духе почувствовали что-то родственное, близкое: не туранцы и не египтяне, но именно арийцы первые восприняли христианство и теперь несут его уже и другим народам.

Мы сравнили ранее труд историка с трудом геометра, который стремится завершить недоконченный чертеж, найденный им в старинном манускрипте. Как геометр напрягает свой ум, чтобы отгадать мысль неизвестного автора чертежа, так усилия историка направлены к тому, чтобы понять мысль и план, управляющие ходом человеческого развития. Найдя и определив направление какого-нибудь одного течения, он окидывает взглядом все остальное поле истории и ищет, нет ли на нем где-нибудь других течений, которые бы соответствовали, гармонировали с найденным уже, шли бы ему навстречу. Тогда завершение недоконченного узора истории, мысленное окон-

чение еще только осуществлявшегося плана ее уже не может представить большого затруднения.

III

Задолго до начала христианства в светлой и жизнерадостной Греции появился странный человек: двадцати пяти лет изгнанный из родного города, он долго странствовал по Элладе, и куда он ни приходил, он повсюду встречал отчуждение и неприязнь. «Вот уже будет теперь 67 лет, как я мыкаю горе по Элладе», – говорил он в последний год своей жизни. Он не принимал участия в политической жизни своего времени, и причиною его изгнания и его странствований не была вражда партий. Переходя из страны в страну, он слагал рапсодии, и в их характере исключительно мы должны искать объяснения его странной судьбы. Чем-то непохожим на все, что до тех пор видела и знала Греция, веяло от этих рапсодий; в них слышалось новое и незнакомое настроение души, слышался разлад со всею окружающею действительностью, с историею, поэзиею и религиею: «Куда ни посмотрю, куда ни обращаю разум, – говорит он в одном из сохранившихся отрывков его песен, – *все разрешается в одно, все стягивается в одинаковую однообразную сущность*. Я стар, а все блуждаю обманчивым путем. Нужен твердый ум, чтобы смотреть в обе стороны... Никто не может поручиться за свое знание... Надо всем тяготеет одно неверное мнение». Сомнение, выраженное в последних словах, касается, однако, не тех особенных мыслей, которые занимали его, но того обычного склада чувства и ума, который он встречал повсюду. Ему чуждо все греческое мирозозерцание, он враждебно смотрит на светлый мир Гомера, желчно смеется над Олимпом: «Люди воображают, – говорит он, – что боги родились, что они сходны с ними, имеют их одежду, голос и образ. Оттого фракийцы изображают своих богов голубоглазыми и белокуроыми, а эфиопы – черными и курносыми, мидяне, персы, египтяне и другие народы также представляют своих богов по своему образу, а Гомер и Гезиод, воспевая нечестивые дела

богов, приписали им все, что и у людей считается позорным и бесчестным: воровство, прелюбодеяние и взаимный обман». Он борется против антропоморфических представлений родной религии и противопоставляет им свое убеждение: «Один есть Бог, – говорит он, – ни видом, ни мыслью не похожий на смертных; Он весь – зрение, весь – слух, весь – мысль, и без труда Он господствует над миром своим умом»; Он учит, что это единое Божество вечно и неизменяемо, что оно неподвижно и нераздельно.

Рапсод этот был Ксенофан Колофонский³. На 90-м году жизни он пришел в Великую Грецию и здесь умер в городе Элее. Только один человек из всех, кто знал и слышал его, воспринял его мысли и дал им дальнейшее развитие. Но и этот единственный ученик относился к нему неприязненно, холодно: мысль, оставленную Ксенофаном, он воспринял как тягостное, как постылое бремя, до того противоречила она всему складу греческой души.

То, что было у Ксенофана на степени смутного сознания, у Парменида обставилось стройными доказательствами, против которых даже и в наше время трудно было бы привести основательные возражения. Живой, многообразной и изменчивой действительности, о которой говорят нам органы чувств, в которую так глубоко был погружен грек вследствие объективного склада своей души, – этой действительности он противопоставил понятие о чистом бытии, чуждом изменяемости и множественности, и первый показал, что оно одно может стать предметом истинного и вечного знания. Недоступное ни зрению, ни осязанию, оно открывается единственно мышлению, и, следовательно, в нем одном должен состоять процесс познания; все же, о чем свидетельствуют нам чувства, есть лишь призрак, фантом, о котором мы не можем думать, не впадая в противоречия.

Уже в этом указании способа познания нам слышится коренное изменение арийского отношения к природе, которое всегда чувственно, всегда обращено навстречу идущим извне впечатлениям. Но у Парменида субъективен только способ по-

знания: самый же познаваемый предмет – чистое бытие – носит еще космический характер; правда, и он – уже не живая природа, но он стоит рядом с природою как абстрактный снимок с нее, как ее неподвижное и вечное отвлечение. Во всяком случае, этот предмет познания имеет внешнее по отношению к человеку положение. С появлением Сократа и эта черта объективности исчезает. Он первый оставил исследования внешней природы: «Свел, – как говорили о нем, – философию с неба на землю»; было бы правильнее сказать, что он ввел ее в человеческую душу, оставив равнодушно внешний мир, как небесный, так равно и земной. Как и Парменид, он настаивал на том, что предметом познания может быть только вечно существующее, но путем своего неподражаемого метода он заставлял своих собеседников находить это вечное в их собственной душе.

«Мать моя была повивальная бабка, и я продолжаю ее ремесло, – говорил он о себе, – я ничему не учу, я только другим помогаю родить мысли». Он первый посмотрел на душу как на неисчерпаемый источник знания, всех богатств которого мы не сознаем потому только, что мало прислушиваемся к ее движениям, вечно обращены к природе, живем лишь впечатлениями органов чувств. Он *повернул это внимание от внешней природы внутрь себя*, и в этом именно заключается всемирно-историческое значение его деятельности, учения и жизни. «Γνωθὶ σεαυτόν – познай себя самого». Эта мысль кажется простою и неважною, но, если мы проследим направление развития арийских и семитических племен и приведем ее в связь с этим развитием, мы поймем, что только демоном Сократа могла быть внушена ему эта мысль: до такой степени ее значительность в истории превышает силы единичной личности*. И не только в учении Сократа, но во всей его личности, в каждой

* ...Собственно изречение это, между несколькими другими правилами народной мудрости, было написано на фронтоне Дельфийского храма, – но, конечно, есть разница между ним как *общим местом*, как просто мудрым выражением, и между тем глубоким и строгим содержанием, которое раскрыл в нем Сократ. В этом смысле можно сказать, что он создал это изречение, то есть не его форму, не звук слов, но мысль, в них содержащуюся, которая на два тысячелетия определила судьбу философии.

черте его характера мы чувствуем, что он был в истории центральной личностью, в которой совершался перелом не только греческой жизни, но жизни всего обширного арийского племени. Что-то странное видели в нем греки, он не был похож ни на кого из них. «Аτομία», «неуместность» – вот слово, которым характеризует его Платон в своем «Симпосиионе». И действительно, он является чем-то неуместным и странным, если рассматривать его в ходе развития лишь одного греческого народа или даже одних арийских племен; и, напротив, все в его личности, каждый поступок в его жизни становится понятным и необходимым, если рассматривать его как соединительное звено между двумя самостоятельными процессами развития, через которые проходила жизнь арийцев и семитов. Сын арийского племени, он не только обратил созерцание своего народа туда, куда оно обращено лишь у семитов, – в глубину собственного духа, но он и заставлял искать в этом духе лишь тех знаний, которые одни только ценились теми же семитами: знания нравственных истин вечного характера. Он не учил о природе, он был только моралистом. Наконец, учение свое он запечатлел добровольною смертью – черта, поражающая нас своею странностью в арийской истории, в истории племен, всегда так терпимых ко всякому мнению, с одной стороны, всегда так уступчивых, мягких – с другой. В Сократе греки казнили человека, который разрушал их психический строй, который бессознательно для себя самого выводил свой народ и с ним все арийские племена навстречу какому-то другому течению, о котором он сам не знал, что оно есть, которого он не видел, как не видел Моисей обетованной земли. И как же было ему не говорить о своем гении, об этом добром божестве, к внушениям которого он так часто прислушивался? Поистине, если бы он не сказал нам о нем, мы подумали бы, что он только скрыл его от нас, но мы знали бы, что около него стояло это доброе «δαιμόνιον»⁴: до такой степени все его поступки гармонировали не с окружающею действительностью, но с иными и далекими течениями в жизни всего человечества, частью уже совершившимися, частью еще имевшими произойти. В то самое

время как он, готовясь выпить чашу с ядом, в последний раз беседовал со своими учениками и говорил им о бессмертии души, в это самое время среди другого и чуждого племени также происходило раздвоение прежде цельной жизни: там восставали и избивались пророки. Даже частные, мелочные черты в его характере поражают нас разладом с духом его собственного народа и родственною близостью с духом другого, ему неведомого племени: Платон рассказывает в «Федре», как однажды на приглашение идти гулять Сократ желчно отвечал, что он не хочет, потому что он ничему не может научиться у деревьев и окрестностей. Это равнодушие к красоте природы, это нежелание на нее смотреть есть черта чисто семитическая и вместе совершенно незнакомая, чуждая грекам: в Библии едва ли есть хоть одно описание природы, и между греками едва ли бы нашелся еще второй человек, который дал бы ответ, подобный тому, какой услышали от Сократа его друзья.

Мы сказали, что в появлении Сократа выразился перелом греческой истории: и действительно, все другие течения греческой жизни начинают с этого времени умалаться, и разрастается только то одно, которое впервые возникло много лет назад в личности Колофонского рапсода. Не только политическая жизнь, свобода внутреннего развития, но также религия, искусства, поэзия – все увядает в Греции, все засыхает, как в то же самое время засыхала и увядала жизнь другого народа. И как там все силы духов не умирающего народа сосредоточивались в одной ветви его, чтобы принести последний и чудный плод, – так и здесь, в Греции, все творческие способности богато одаренного племени сосредоточились в одном узком, но глубоком течении и произвели высочайший расцвет спиритуалистической философии. Этот высший и последний плод греческого развития запечатлен двояким характером: по существу своему как некоторое *знание* он есть произведение арийского духа; но глубокая субъективность, отчуждение от всей природы, которое сказалось в этой философии, заставляют нас видеть в ней склонение арийского духа в сторону семитического.

Чем далее развивалась эта философия, тем ближе и ближе подвигалась она к тому, что уже было у главного из семитических племен, именно еврейского. Истины, знакомые нам из Библии, не появляются, но уже мерцают в ней: вспомним учение Платона о знании и о прекрасном.

Здесьняя земная жизнь нашей души, учил этот философ, есть лишь временный переход для нее; она томится в ней, и если так ищет истины, если так наслаждается созерцанием красоты, то только потому, что это пробуждает в ней воспоминание об ином мире, в котором она жила некогда и куда ей предстоит возвратиться. Все, что создает человек в своей жизни относительно прекрасного и относительно истинного, он создает лишь по воспоминанию о той безусловной красоте и безусловной истине, которую созерцала его душа в своем премирном существовании. Когда он учится, когда он познает, он лишь припоминает то, что знал ранее своего появления на земле. Припомним также прекрасное учение этого философа о Демиирге: этот вещественный мир, в котором мы живем и который мы созерцаем, обязан происхождением своим Предвечному Зодчему, который созидал его, устремив взор на мир идей, этих бесплотных и от века существовавших первообразов всего действительного. Духовный мир, таким образом, безусловно предшествовал материальной природе. Еще ближе к Библейскому откровению подходит учение о Боге Аристотеля; но весь интерес этого учения становится понятен только тогда, когда оно рассматривается в связи с остальными частями его философии, и в особенности в связи с его понятиями о процессе, генезисе. Как известно, в Аристотеле греческая философия закончилась: она не пошла дальше, не могла подняться выше идей этого мыслителя. Чем же для него, в ком завершился греческий дух, была его философия, как смотрел он на ее сущность и на ее цель? Повсюду изыскание первых причин бытия и знания он называет безразлично то «первою философиєю», то «теологиєю»: учение об основах мироздания у него сливается с учением о Божестве. Не разбирая этого учения, укажем в нем, в видах его отношения к Библии, только на

одну частную черту: как известно, Божество, по Аристотелю, есть *первый двигатель* мирового развития, и с тем вместе само оно *чуждо* всякой изменяемости и, следовательно, также *пространственного движения*. Рассматривая вопрос о том, как неподвижное может стать причиной движения, он объясняет это примером. Божество, говорит он, есть источник мирового развития не в том смысле, в каком толчок есть причина движения: оно действует на мироздание тем особенным способом, каким действует на человека прекрасная статуя, им созерцаемая. Она сама остается неподвижна, и, однако, мы, которые смотрим на нее, приводимся в движение, волнуемся и влечемся к ней. Так и Божество, продолжает он, одним существованием своим движет и направляет к себе все мировое развитие. Оно есть источник вечной жизни, которую мы созерцаем вокруг себя и чувствуем в себе, и вся эта жизнь есть только вечное напряжение природы слиться с Творцом своим, вечная жажда ее приблизиться к Нему, к своему источнику и к своему завершению. Невольно вспоминаются при этом слова царя Давида, уже приведенные нами ранее: «Как желает лань к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» То, что почувствовал в себе псалмопевец, то понял и объяснил Аристотель; во всяком случае, оба они остановились на одном.

Прошло еще несколько веков; на берегах Нила, в недавно возникшей Александрии, куда направлялись суда всех стран и всех народов, встретились впервые люди, ранее никогда не знавшие друг друга. Тут были христианские пресвитеры, ученые раввины, философы неоплатонической школы. Каждая из этих групп людей являлась последним звеном длинного процесса исторического развития. Эти процессы происходили совершенно независимо один от другого; но, странное дело, все эти люди узнали друг в друге знакомые, близкие черты. Прочитав евангелие от Иоанна, один неоплатоник сказал, что первые строки его до выражения: «И Слово плоть бысть»⁵ — есть то самое, что думают он и его друзья. Напротив, евреи и христиане, знакомясь с Платоном, находили в его Демиурге черты сходства с творящим Иеговой, а в мире бесплотных

идей, при помощи которых был создан мир, они видели отдаленный намек на Предвечное Слово. Начался великий синтез двух различных течений, дотоле отделенных друг от друга и местом, и племенной средою. То, чего не находили греческие философы в великих завещанных им учениях, но к чему уже давно и страстно порывалась их душа, то они нашли и восприняли в Откровении; то, что затрудняло христиан в понимании Откровения, что вызывало в среде их споры и недоумения, то они объясняли и разрешали с помощью понятий, выработанных в греческой философии. Так, учение западной Церкви о пресуществлении святых даров покоится на различии между субстанциею и акциденциями, которое было установлено Аристотелем в его «Метафизике». Через несколько столетий, когда греко-римская цивилизация была уже холодным трупом, а в Западной Европе затеплилась новая жизнь и расцвело другое просвещение, – в Парижском и Оксфордском университетах со всякого, желавшего получить в них кафедру, бралось предварительное клятвенное обещание, что, преподавая, он ни в чем не будет отступать ни от Библии, ни от Аристотеля. Так к этому времени срослись между собою Откровение, воспринятое семитами, с высшим плодом арийского духовного развития.

Здесь мы можем считать нашу задачу оконченною. Две идеи невольно остаются в нашем уме, когда, отрываясь от всех подробностей исследования, мы останавливаемся на общем его смысле, ищем главного из него вывода: это – идея о *целесообразности*, которая господствует в ходе исторического развития, и идея *христианской цивилизации* как завершения истории, как ее окончания. Первая возвышает наш дух, укрепляет наши силы для деятельности, вторая указывает для этой деятельности цель. Со времени открытия Коперника, с тех пор как стало известно истинное положение Земли в мироздании, одна тяжелая, сумрачная мысль повисла над сознанием людей: это – мысль о ничтожестве человека, о незначительности всего, что он делает, о случайности слепых законов природы, которые вчера вызвали его к существованию в одном далеком уголке мира и завтра могут погубить снова. Есть что-то сиротливое

в этой мысли, внушающей одновременно и отчаяние, и чувство страшной свободы. Человек одинок, никто не видит его на этой кружащейся планетке, и он может делать на ней, что ему угодно. Нет никакого верховного закона над человеком, нет другой ответственности для него, кроме той, которую придумывают сами люди, сегодня условливаясь считать добром и злом одно, завтра – другое. Вся жизнь человечества, вся история его – это только игра случайностей, к которой невозможно относиться серьезно, в которой нечему радоваться и не о чем сожалеть.

Этот взгляд на человека и на его положение в мироздании, который высказывался многими великими умами в два последних столетия, устраняется признанием целесообразности в истории. Там, где есть гармоническое соответствие частей, где процессы, зародившиеся вдали друг от друга, в своем движении и развитии таинственно согласуются между собою, – там мы не можем отрицать, что кроме того психического начала, которое обнаруживается в каждой из частей порознь, есть иное и высшее, которое стоит вне их и управляет их движением. Есть мысль в истории, которая проявляется в тысячелетиях и согласует развитие народов, не знающих взаимно о своем существовании. Источник этой мысли далек от нас, далек от земли, на которой мы живем и движемся, управляемые этой мыслью. Мы не можем видеть этого источника, и нам не нужно этого, чтобы знать, что он есть: мы видим действие – мы сами, с нашими идеями, с нашими чувствами и желаниями, только результат этого действия. И здесь, с этим представлением о мысли, которая живет в нас и в нашей истории, к нам снова возвращается та великая, радостная и успокаивающая идея, которую утратил человек с открытием Коперника. То, что он потерял в мироздании, он находит в своей истории. Нет более основания ни чувству своего одиночества, заброшенности в мироздании, ни сознанию своего ничтожества. Мы можем спокойно смотреть на звездное небо, пусть оно ничего более не говорит нашему сердцу: мы уже свободны от того грустного чувства, с которым смотрели на это небо люди в течение двух столетий. Не там, не среди холодных и ясных звезд, но в нас

самых, в нашем сердце и в нашей истории мы открываем предвечную мысль, заботливо руководящую нашею жизнью.

Далекая и последняя цель, к которой направляет нас эта мысль, есть, мы сказали, *христианская цивилизация*. Под этим выражением мы разумеем полное слияние в нас самих и во всем, что мы делаем и что создаем, элементов семитического духа с элементами духа арийского. Что именно в этом состоит цель истории – это никем не сознается, что можно видеть из того, как постоянно, с каким безумным упорством люди стремятся разделить в себе и в своей жизни эти элементы, как нередко они смотрят на такое разделение как на успех в истории, как на ее прогресс. Печальным примером подобного разделения могут служить взаимные отношения между религиею и наукою, о которых одни с сожалением, другие злорадно, но все с одинаковою уверенностью говорят, что они не могут быть ничем иным, как только борьбою: заблуждение глубокое, основанное на непонимании всего хода истории. Как можем мы отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собою мироздание, проникнуть все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве? Стремиться подавить в себе эту мысль, думать, что ее пытливость может быть не угодна Богу, – это значит отвращаться от Божества, в своей бессмертной душе убивать Его дыхание. Воля Творца нашей души несомненно выражена для нас в самом строе этой души, и если в нее вложено этою волею стремление к познанию, мы можем только осуществлять ее: познавая, мы повинемся Богу. Таким образом, печать религиозного освящения лежит на науке. И с другой стороны, как можем мы думать, что наука в каком бы то ни было смысле может поколебать наши религиозные убеждения? Что общего между знанием астрономии и заветом Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и все остальное приложится вам»?⁶ Тут нет ни согласия, ни противоречия – это истины разных категорий, из которых одна не имеет никакого отношения к другой. Когда мы говорим о противоречии

между наукою и религиею, мы все еще думаем о тех жалких и павших религиях, которые возникли из ранних попыток арийского ума объяснить себе природу: таковы были греческий политеизм и индусский пантеизм. С появлением науки как истинного знания они все пали как ложное, несовершенное знание. Они не имеют ничего общего с откровенною религиею, которая дана была семитам и от них воспринята нами. Эта религия есть нравственный закон, данный нам, чтобы руководить нас в жизни. Его нельзя ни связывать с наукою, ни противопоставлять ей: они не имеют ничего общего. Каковы бы ни были наши знания, Нагорная проповедь Спасителя останется вечною правдою, к которой мы не перестанем прибегать, пока не перестанем чувствовать горе и унижение, пока останемся людьми. Здесь есть несоизмеримость и, следовательно, не может быть противоречия. Только пустые души, одинаково бессильные и к религиозному чувству, и к научной деятельности, могут находить между ними какую-то несовместимость. Люди же истинно высокие духом одинаково совмещали в себе и это чувство, и эту деятельность. Как на пример этой гармонии между религиею и наукою мы можем указать на жизнь самого Коперника, о труде которого так ложно судили посторонние люди. Они думали, что этот труд подрывает религию, и римский престол осудил его буллою, а Вольтер писал о нем восторженные страницы. И то и другое мнение было одинаково заблуждением: оно вытекало из стремления к разделению семитических элементов от арийских, оно основывалось на непонимании, что история идет к их синтезу, к их гармоническому сочетанию. Мы же, помня это, думаем, что его умственный подвиг был вместе и религиозным. На всей жизни великого преобразователя астрономии лежит печать той глубокой серьезности, которую может дать нашей душе только вера в Бога. Он писал свое сочинение, не думая издавать его. Друзья почти насильно взяли у него рукопись и издали ее против его воли. За несколько часов до смерти к нему принесли первый напечатанный экземпляр книги. Он взглянул на него и умер. В течение всей долгой жизни он оставался простым

каноником соборной церкви в одном незначительном городке. Так жил этот великий человек, и так окончил он свои дни. Что бы ни думали о нем другие, я убежден, что его глубокое мышление было так же чисто перед престолом Всевышнего, как и псалмы Давида, и так же свято, как и они. То и другое неразделимо: размышляя или молясь, мы одинаково возвращаемся душою к источнику нашей жизни – к Богу.

ОКОЛО НАРОДНОЙ ДУШИ

Можно сказать, головной мозг нашей интеллигенции обескровел от заботы, где и как сыскать новые способы культурно воздействовать на народ. Библиотеки и читальни в память «знаменательного события» или «в память великого человека», маленькие издательские кружки, чтения с туманными картинками и без них, собеседования и проч. – все это «культурно воздействует» или пытается культурно воздействовать на народ. Слов нет, где труд – там и Божие благословение; и *как бы* люди ни старались и *где бы* ни старались – все в пользу. Итак, мы начинаем нашу речь не для того, чтобы что-нибудь остановить или кого-нибудь расхолодить; наше желание – сколько-нибудь помочь.

Нельзя не обратить внимания на следующее: приглядываясь ко всем этим усилиям интеллигенции, замечаешь, что она уж слишком активна во всем этом, а народ слишком пассивен. Интеллигенция, точно мамка, приставляет ко рту младенца-народа соску и нудит его пососать своей кашицы, причем нельзя не видеть, что народ в значительной степени от этой кашицы отвертывается. Это во-первых. Во-вторых, нельзя не обратить внимания на томительную однотонность всех этих культурно-воздействующих средств, – так сказать, на однообразие в разнообразии. По-видимому, разница: то книжка, то лекция, то туманная картина. Но на самом деле это все одно: кашица, сваренная то на молоке, то на воде, то погуще, то пожиже. Все и везде – слово; все и везде поучение. В сущно-

сти, все эти книжки и чтения суть светская форма церковного проповедничества; и та тетрадка, по которой проповедник говорит свое «слово», иногда довольно скучное, – есть первый оригинал и начальный корень всех теперешних книжечек и чтений, с которыми интеллигенция выходит к народу. Все – слово, все – словесность; все – поучение, с видом неизмеримого превосходства поучающего над поучаемым. И хочется крикнуть всему этому: «Не так!»

Прежде всего, это поучение нудно и для самой интеллигенции. Так, бедная, старается, что пот со лба катится; принаравливается, изловчается, усиливается быть простоватой и удобопонятной, и чрезвычайно боится, – как и всякий, впрочем, проповедник, – проболтаться о собственных пороках, слабостях и грешках, которые по немощи человеческой у каждого есть, и она их тоже не избежала. И она, как и духовные лица, делает «святое лицо» перед народом, что не довольно легко и для настоящего проповедника. Во-вторых: да оправдывается ли этот труд результатами? Проповедующая интеллигенция немножко скучает, а поучаемый народ потихоньку позевывает. Что скучно для учителя, не может не быть скучно и для ученика. Если народ где и учится около образованных классов, то не прямо, а косвенно, – в моменты, когда эти образованные классы не стараются быть особенно поучительны. Он учится и культурно воспитывается около настоящей и во всю ширь развернутой, самостоятельной, *своей* жизни этих классов, где они нисколько не помышляют о наставительности, а живут страстями и умом, гневом, ссорами и дружелюбием, живут жадно, живут, наконец, корыстно. На хорошей, отлично поставленной мануфактуре народ настоящим образом воспитывается, воспитывается в труде, в ответственности, ну – и образовывается удивлением перед техникой и всеми чудесами науки. Равно в тех немногих пока случаях, где простолюдин начнет по-настоящему понимать настоящую литературу, – он воспитывается же. Не сегодня завтра Крылов сделается любимой деревенской книжкой: вот это – воспитание, культура. Очень жаль, что некоторые утонченности языка и мыслей

Козьмы Прутков¹ не могут сделаться понятными народу, а то он тоже мог бы войти в обиход народный. Но только тогда, когда деревне станет понятна «Война и мир» и эта громадная эпопея тоже станет достоянием села, мы можем, перекрестившись, сказать: «Слава Богу, *народ* наш стал *культурен*». Увы, однако, может быть, этого даже *никогда* не будет! Слишком все это трудно и сложно. Всех в гимназии не переучишь, а понимать нашу литературу почти невозможно, по крайней мере, без гимназического образования.

Нужно не читать народу лекции, а *жить с народом* – вот что я хочу сказать. И не то, чтобы одеваться по-народному, – это будет «ряженье» и «ряженные»; а чувствовать по-народному, по-народному думать. Надо вырастить в себе народный нюх и народный глаз. От *ощущения* – до *мысли*: вот путь! Ошибка славянофилов заключалась в том, что они были слишком умны: ну, куда такому ученому, как Данилевский, такому тонкому критику, как Страхов, или такому «европейски образованному человеку», как И. С. Аксаков, было «пойти в народ».

А и поклонилась бы Спесь отцу-матери,
Да ворота не крашены².

Нельзя не заметить и до известной степени не отдать чести нашим не очень мудреным нигилистам, что им в семидесятых годах лучше удалась славянофильская идея: не мудрствуя лукаво, они с одним Писаревым и Карлом Фохтом за душою окунулись в народное море, ругаясь, споря с народом из-за якобы «предрассудков» его, доходя чуть не до драки и, во всяком случае, иногда испытывая побои или представление «к г<осподину> становому». Но дело сделали. Вошли в народ, они первые и массою, и пошли плечом к плечу, около работы и вообще деловым образом, а не литературно и не книжно. Но нельзя не заметить, однако, что та элементарность души, которая им помогла *просочиться* в народ, найти первую скважину, в которую они и пролезли, теперь мешает их дальнейшему действию на народ и слиянию с ним. Народ жил тысячу лет.

Конечно, он и младенец, но он – и старик. Он стар культурою своею, не книжною, а бытовою, житейскою. Нигилисты могли сойтись с ними как рабочие с рабочими, на интересах работы, заработной платы, отдыха и проч. Но за этим начиналась в народе другая сложная жизнь, другая тонкая жизнь, в понимании истории нигилисты оказывались слишком варварами, чтобы не только что «воздействовать» на народ, но хотя бы и идти с ним рука об руку.

Это весь мир *души* человеческой, весь мир *совести* человеческой. Можно так сказать: нигилисты поняли народ только в его будничной стороне и будничным образом; они взяли человека в будень и посмотрели на него будничным глазом. Но в народе есть и праздник, у *души* народной есть и праздничная сторона. Это все, где она является разрисованною, увеличенною, сияющею, печально или светло – все равно. Ибо есть и печальные праздники. И вот тогда она уже не есть душа плотника, душа башмачника, дровокола, угольщика, с которою умеет разговаривать нигилист на ей понятном языке, а душа человеческая: и вот к ней-то нигилист со своим багажом из Писарева и Фохта не умеет подступить. Сказывают, теперь нигилисты бросились к культуре и читают так много, как им отродясь не приходилось читать. Будто бы, далее, они натолкнулись в этом чтении на декадентов и поглощают их в таком количестве, что подняли спрос на всевозможные экзотические альманахи и книгоиздательства всех созвездий. Наконец, разъясняют, что они не столько ищут у декадентов их известные и неизвестные «извращения», сколько просто смотрят на их книгу как на образовательную энциклопедию, откуда могут почерпнуть самые последние взгляды и самые шумные факты. Все это имеет тот вид ребячества и неопытности, какой всегда был присущ «мрачным» нигилистам, так что приведенным слухам можно поверить.

В общем, однако, движение правильно: нигилисты, – они же и социалисты, марксисты и проч., – всегда были *душевно* неразвитые люди, были какие-то грубые элементарные язычники, которых воистину «не просветил свет Христов»; но про-

светил не в смысле вероучения, а в том гораздо более важном смысле, что Христос вырастил у человечества, точно шестое чувство тонких ощущений, ухо для неслышных звуков и глаз для невидимых образов и через то открыл для него совершенно новый мир жизни, о каком самого предположения не было в античном мире. Нигилисты, экономисты, исторические материалисты настолько, можно сказать, и живут своим внешним миром, постолько их счеты и правильны, постолько они совершенно не видят этого другого мира и не взяли в расчет темных сторон души, неизъяснимых в ней движений, беспричинных и бесконечных... Назовем, для краткости, всю эту сторону души «метерлинковскою» и скажем мысль свою этими европейскими терминами, к каким привыкли они: нигилистам надо пройти весь путь от Фохта и Писарева до Метерлинка, чтобы не быть выброшенными дальнейшим ходом истории просто как ненужный балласт, как слишком грубый и непригодный материал для дальнейшего помола исторической мельницы.

Нужно жить с народом не в одной его работе, но и в его празднике. А чтобы приобщиться и к народному празднику, нужно светскому обществу доразвиться до глубины народной культуры – до его религиозной культуры. Ну, вот этот праздник, который мы торжествовали недавно: праздник «воскресения» после смерти, праздник «очищения от греха». «Грех», «смерть», «воскресение» – не правда ли, какая это тарабарщина для нигилиста? Это слова из какой-то книги, которую и не начало читать или которую давно забыло наше образованное общество. Ведь это общество точно какое-то железное, – не хворающее, не умирающее, не грешащее и не кающееся. Народ никак не может слиться с обществом на этой *пустоте* его, так как он неизмеримо перерос ее, серьезнее ее, хотя он и безграмотен.

Правда, народ наш надо культивировать. Все же он безграмотен, и это кое-что значит; но читатель, следящий за моею мыслью, вероятно, уже согласился, что культивировать народ можно не книжкою и не лекциею, а начав жить вместе с народом. Здесь образованное общество, в своей широкой и самостоятельной жизни, в жизни не педагогической, а настоящей

культурной, стало перед великою задачею: чем усваивать некоторые идеи из Метерлинка, из Ибсена, из Ницше, из декадентов, – подойти к ним осязательно и зрительно в образе великого народа, живущего древнею религиозною культурою, великою душевною культурою, и в большой работе смешать свою душевную жизнь с народною жизнью.

Подвиг по плечу Петра Великого, хотя и в обратном направлении. Петр Великий не совсем успел в своей задаче, и даже до нашего времени «дело Петрово» застряло оттого, что он, как и теперешние нигилисты, подошел к народу только снаружи и материально, в работе и буднично, желая помочь народу и облегчить его вещественно. Но не заметил праздника его души, трагического или светлого – все равно. Не заметил, где она растет к небу. В борьбе его «со старым» он не победил народной души, а только ударил по ней с силою и оскорбил ее; но, получив «заушение»³, она выстояла перед бронзовым гигантом: и по той простой причине, что она была глубже и Петровой души, как выше души теперешних нигилистов, вот этим «метерлинковским светом», против которого что же поделаешь дубьем. Образованным классам надо доделать дело Петрово: им нужно войти в душу народную, оглядеться там, многому, очень многому научиться; ну, а кое в чем и вступить в борьбу, не педагогически, не учебно, а по-настоящему. Может быть, образованное общество самому народу в той же линии душевности откроет возможность новых восторгов, новых светов, новых ликований? Может быть, о грехе, о смерти, о воскресении, о совести и раскаянии оно скажет новое слово, для самого народа неожиданное? Вот где было бы довершение Петрова дела; или, кто знает, поворот к чему-то совсем новому...

Все эти мысли невольно приходили на ум в минувший день Пасхи... Величайший годовой праздник народа: а что мы в нем чувствовали? О, и мы «приобщались народу» в этот день с пышными куличами и сладкими творожными пасхами. Но, поистине, насколько больше торжества и смысла было в маленьком 50-копеечном куличе, какой, освятив его в церкви,

нес к себе в убогую комнатку петербургский рабочий. У него все так это обдуманно и связано. Связано с цельным годом душевной жизни, шедшей темпами, подъемами и опусканиями. Это целая душевная драма, с большим трагическим оттенком, какую переживал, а не то чтобы только видел народ в «слезном покаянии» и вот в «светлом торжестве». Без этой драмы, без соучастия в ней души народной, живущей церковно, – что значат куличи и пасхи? Лишняя еда. Ее у нас и в будни много, и ее мы можем разнообразить сколько угодно. Тут ничего нет. Нет прежде всего праздника. А чтобы пережить его, нужно совершенно перемениться душою, расшириться до способности принять в себя эти великие мистерии погребения и воскресения, греха и очищения от него, которые все пришли к нам в Европу с Востока.

Европа – она прекрасна, но маленькая. Есть какая-то связь великих душевных явлений с массивностью обитаемой человеком земли. Кажется, ни одна еще религия не приходила с острова. Азия, самый громадный материк, растящий такие чудовищные деревья и питающий таких огромных животных, дала нам и великие таинства религии, всех религий.

Полувосточному, полузападному народу, русским как-то совершенно даже не в меру довольствоваться очень научными, но очень короткими мыслями, составляющими обиходную жизнь Европы. Там с религиею покончили или кончают; у нас она никогда не угаснет уже потому, что одною ногою мы стоим в Азии.

О НАРОДНОЙ ДУШЕ

Меня спрашивают: что значит тот «метерлинковский свет» в душе народной, о котором я заговорил в статье «Около народной души»; и продолжают: «О народной душе говорили и славянофилы, говорили, что мы должны учиться у народа; но как учиться и чему учиться – этого они никогда не умели толково объяснить. Может быть, вы продолжите и разовьете

свои мысли?» Говорить о трудном чрезвычайно трудно; но как, переходя от арифметики к алгебре, учащийся испытывает трудности, плачет, бьется, но зато потом вознаграждается тем необыкновенно ярким и всеобнимающим светом, какой из алгебры проливается на всю область математики и, между прочим, на самую арифметику, – так вечно учащееся человечество и вечно учащееся, например, наше общество не должны останавливаться перед темами очень трудными, не обещающими дать скорый результат.

Скажу по правде: слова о «метерлинковском свете» в душе народной я написал как-то ощупью, не очень ясно сознавая, что они значат, но с неодолимой силой чувствуя, что *так надо написать*. Бывает так с писателями, что пальцы часто пишут, и *очень уверенно*, как бы говоря: «А ум потом *догадается*». И догадывается. Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу¹, где смерть родного человека происходит за стеной и его близкие и друзья ее не видят; а между тем что-то прокралось в их душу, и душа эта и *знает*, и *не знает* о смерти. Вот эти состояния, где человек и «знает», и «не знает», где что-нибудь и «есть», и «не есть» (смерть завтра, смерть далеко), я и назвал условным термином «метерлинковские состояния». А душу, способную к таким восприятиям, даже способную просто к вере в возможность у других таких состояний, – я назвал «метерлинковскою душою». Все это, разумеется, условно, и, раз выразив мысль свою, – можно оставить Метерлинка и в стороне.

Знают ли многие, что *в самый час* Цусимского боя в Петербурге некоторые знали, что там «все провалилось»? До телеграмм, до известий. Встревоженные слова: «Мы не разбиты, не *неудача*, – а погибли почти все суда», – эти слова я слышал в памятное утро и успокаивал, не веря им, зная хорошо, что *невозможно этого знать теперь еще* (в тот час)². Но поверившие были страшно беспокойны, и не было средств их успокоить.

Это – частность, крупинка. Это тот случай, – берем опять аналогию из арифметики, – где одно целое число не делится на другое целое число, и это открывает ученику сущность и не-

избежность «дробей»; это тот случай «непрерывных дробей», который открывает ученику возможность странного, *бесконечного приближения к чему-то*, чего, однако, вечно возрастающая величина никогда *не достигнет*. Ведь и такие дроби вовсе не представимы «для разума»; рука производит вычисления, пишет и пишет периоды в дроби; а ум давно уже потерял силу следовать за производимым вычислением, он «не понимает», «не видит», «не представляет» того, что происходит в вычислении и что на самом деле *есть*.

Позитивизм как философия и его социальные отражения, все эти «марксизмы», «социализмы» и «исторические материализмы», похожи на арифметику целых чисел, без догадки о том, что некоторые из них не делятся друг на друга, без знания «дробей» и «бесконечностей». Все эти рассуждения, что «накорми человека, и он *счастлив* будет», каковые составляют альфу и омегу экономики и материализма, сочинены точно не людьми, а какими-то коровами, которые, кроме своих двух желудков и своей жвачки, ничего не знают. Оговорюсь: весь этот материализм только и поддерживался теми сухощавыми и еще худшими, *злыми* господами, которые возражали экономистам: «Ну, что кормеж: есть *небесная пища*, и вот пусть народ ею питается». Эта нравственная фразеология христианства *по существу глубоко безумна*, безжалостна к народу. Но экономисты, повалившие или почти повалившие христианство, все-таки ничего не могут сделать с тем, что называется «христианским светом» или, как я предпочел бы назвать, с этим странным, особенным светом души человеческой, в силу коего она тоскует во всяческом «объединении», а иногда на сухом хлебе испытывает невероятные восторги. Вся поэзия, все люди поглубже знали это:

Скучно, скучно, ямщик удалой!
Разгони чем-нибудь мою скуку³.

Или:

Бес благородный *скуки тайной*...⁴

А уж на что, казалось, Некрасов был реалист. Довольствоваться бы успехом, деньгами, славой! Больше этого ничего *не могут дать человечеству* экономисты. Но этого *так мало!!* И вот это «так мало» опрокидывает назад всех Марксов, Энгельсов, Фохтов и всю премудрую фалангу XIX века, которая, двинувшись, действительно разрушила христианскую цивилизацию, по крайней мере, потрясла столбы: но потрясла – чтобы умереть в бессилии самой.

Оглянусь на литературу. Действительно поразительное явление, что «нигилисты» зачитываются декадентами, – явление неожиданное, которого никто не сумел бы предсказать, – на самом деле, конечно, свидетельствует о глубоком внутреннем умирании всего этого движения, охватившего русскую жизнь со второй четверти XIX века. Нигилисты, которых скоро придется именовать «последними нигилистами», как есть «последние могикане», недаром зашевелились везде, забеспокоились, начали издавать целые книжки и сборники против этого поразительного слияния нигилизма с декадентством. Плохо то, что с декадентством-то нигилисты связываются скверным, и все это есть действительно скверное и печальное явление. Но ведь смерть когда же красива? Умирают в безобразии. Бациллы тифа, с которыми я сравнивал бы декадентов, охватят давно подточенный организм старческого нигилизма: и в той общей яме, в которой закопают труп, скроются и бациллы, и «бывший Иван», декадентство и нигилизм. Бесспорно, что атмосфера идет к очищению: лет через 8–10 не останется на Руси ни декадентства, ни нигилизма. Я думаю, – выигрыш большой.

Вернусь к теме. Алгебра выше арифметики, и народ наш хотя и безграмотен, однако так как несет в себе по преимуществу очень древнюю культуру, то он имеет и душу в себе, так сказать, существенно алгебраическую, «темную», «метерлинковскую», тогда как наши нигилисты и, в сущности, все образованное общество, которое есть, конечно, общество нигилистическое, – живут, так сказать, душою арифметической и дальше «целых чисел» никакого счета не знают. Народ, например, имеет «суеверия»: такой прелести, – и глубоко-

кой прелести, – общество не знает. Народ испытывает страхи, предчувствия; гадает: «Что значит, что комета пришла». Он различает *лицо* неба, – ну, путает, а все же что такое там чувствует; не астролог он, не вавилонянин, а сродни этим мудрецам. Знает «зорьки» и что значит алая заря и бледная, что значит – «солнышко закатывается в облако» и «закатывается в чистой лазури». Наше же «общество» давно вместо всяких зорек зажгло керосиновый свет, а по вечерам только ходит на бульвар «ловить бабочек» или собирается на конспиративные квартиры. Все это так плоско и, наконец, так глупо, – что куда до народа. Даль собрал «поговорки» русского народа; нуте-ка, соберите «поговорки» общества! Ничего не выйдет. Никому не интересно.

Это и показывает разную меру души. Народ наш *развитее* общества, а общество только смышленнее его, то есть и осведомленнее, и немножко плутоватее. Счет не в пользу общества.

Есть понятие «трогательное». Что такое «трогательное»? Это и не ум, и не знания, и не глубина души, не только глубина. Народ имеет более «трогательную» душу, чем общество: и это, кажется, все чувствуют, что высказывается в том, как все жалеют народ, простолюдина, как относятся к нему ласково, как склонны прощать его в заблуждениях, в ошибках, в грехах. Народ – «трогательное» существо, а вот общество и «интеллигенты» почему-то не трогательны. Это тоже все чувствуют. Почему? Интеллигент – какое-то бедное существо, неразвитое, хоть вечно хлопочущее, подвижное и осведомленное. «Его не так жалко». В простолюдине «полон образ Божий», как-то закруглен, закончен, очень насыщен внутренним содержанием; а интеллигенту всего этого не хватает. Толстой не станет рисовать интеллигентов, не наполнит ими роман: а «простыми людьми», от генералов до мужика, простыми – он наполнил «Войну и мир». Достоевский почти только интеллигентов и рисовал, но посмотрите же и согласитесь, до чего *от этого сюжета* его живость искривлена, судорожна, запачкана и отчасти порочна! Сколько крови и распутства!

Славянофилы и бывшие «почвенники» (Данилевский, Страхов, братья Достоевские) звали «прикоснуться к народу и исцелиться им». Мне же кажется, нужно просто войти в душу народную, даже не столько с медицинскими, сколько с осведомительными целями: и оглядеться в ней, как Аладдин осматривался в подземелье. Ибо есть много чудных и интересных вещей в ней, удивительных именно для *знания* нашего. Народ совершенно иначе чувствует природу, чем мы; совершенно имеет другое представление о жизни человеческой, о судьбе и назначении человека. Наши богословы, если бы начали прислушиваться к мнениям народа о «совести», о «Боге», а не только читать пергаменты Симеона Полоцкого, – совершенно заново могли бы построить свои «богословия», довольно жалкие. Это все примеры. Народ имеет хороший «глазок» на все, имеет хорошие «меры» в душе; имеет здоровое нравственное обоняние. Ну, куда его «спасать» марксистам, этим великовозрастным ребятам, которые на каравае хлеба чертят рабство небесное? Плохие чертежи и совсем плохие чертежники. К этой теме я позволю себе и еще вернуться.

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Неизменное и древнее русское ядро со всех сторон обложилось «окраинами». И «окраинный вопрос» в России есть один из самых темных и неясных в путях своих и в существе своем. Он труден для правительства, мучителен для населения. Не знают, как поступать в нем, русские, закинутые службою на окраину, и русские внутри России. Для нас, при нашем несистематическом уме, неметодическом характере, он особенно страдателен: мы не умеем за него взяться, еще хуже «продолжаем» дело и, наконец, как всегда почти, начинаем «отмахиваться» через ссылку просто «на примеры у других народов». Но с кого брать пример: с немцев, поляков в Галиции, с англичан? Или с римлян и греков? Все эти народы имели у себя «колониальные» или «исторические» вопросы.

И все смотрели на них совершенно различно и различно разрешали их. Когда думаешь о применении русского ума или, точнее, русской души к этому темному вопросу, то вырисовываются только два воспоминания. Одно – сообщение учебника географии России, где при обозрении Якутской области сказано, что местное русское общество, даже образованное, охотно говорит по-якутски, и даже это считается там шиком, как французский язык во внутренней России. Второе воспоминание утешительное: где-то я прочел, что император Александр I подарил прусскому королю несколько крестьянских семей. Король отвел им место около Потсдама. С тех пор они размножились. Говорят и по-немецки, но сохранили и язык, и веру, и все обличье великорусских мужиков, не утратив йоты своей художественной личности. Только, может быть, не пьют так много и аккуратнее в деньгах и труде. Да и то это предположительно!

Вот два факта, из которых что же выходит? Что русские – народ легкомысленный и что это народ стойкий. У нас это как-то совмещается. Русские люди отличаются двумя свойствами: ругать себя и все свое – это первая русская черта, кажется, никем другим не разделяемая; и в то же время они способны, – нет, больше, они требуют и ищут вечного восхищения перед чужими и чужим! Только несчастные эллины и римляне, и то благодаря классическим гимназиям, не вызывали у нас восторга; но, напр<имер>, «Вестник Европы» всегда восхищался Финляндиею и финляндцами, «Москов<ские> ведом<ости>» – часто татарами и Батыем, все русские – и барышни особенно – черкесами и «восточными человеками», сибиряки и сибирячки – якутами, правительство русское и образованное русское общество перессорились между собою из-за того, кто восхитительнее: французы, немцы или англичане. Даже Лев Толстой в «Анне Карениной» заметил, что «приехавшему в Петербург иностранному принцу из всех *русских национальных особенностей*, которые ему показывали, больше всего понравились *француженки из «Альказара»*¹. Разумеется, без этого – русские не русские и Петербург не Петербург. Что еще я припомню?

Да, воспоминание-некролог кн<язя> Мещерского о каком-то, кажется, англичанине или вообще европейце. Сей его «друг» лет сорок назад приехал в Россию по делам, требовавшим для окончания нескольких месяцев. Но, приехав в Россию, он почувствовал влияние какой-то растворяющей лени, – и в «несколько месяцев» дела не окончил: отложил на год. За год лени принаросло, да и явились симпатичные русские знакомые: было это сорок лет назад; англичанин и в год «дела» не кончил, попросил у домашних или у какой-то там компании еще отсрочки. Отсрочка пришла, но уже поздно: англичанин совсем не окончил дела, остался навсегда в России, даже предпочитая терпеть утеснения от русского исправника, и, чтобы окончательно обрусеть, – конечно, сделался русским либералом, начал кричать на все стороны, – что «в России жить невозможно», ругать с приятелями и, может быть, с приятельницами правительство и даже стал потихоньку выписывать «Vorwärts»². Когда он стал читать «Vorwärts», то о нем можно было сказать, что русская культура его окончательно победила и что он настолько сделался русским, как бы его родила московская попадья и сам он женился на чухломской поповне. Я думаю, это понятно само собою. И после этого я спрашиваю: «Что же такое значит русифицировать и как это можно сделать?»

Сделать этого мы, я думаю, по программе никак не сумеем: но не невероятно, что это когда-нибудь делается. Я тоже, как «чисто русский человек», – не люблю всего русского или, по крайней мере, всегда ругаюсь на русское. Но это – одно. Около этого я чувствую, что как до Р. Х. по всей вселенной того времени разлился какой-то особый аромат, неошутимый, неосязаемый, но обаятельный и захватывающий в себя, – это «эллинизм», просто как некоторая сумма эстетики, свободы, индивидуализма, дурачества и философии, софистов и Платона и т. д. и т. д., так когда-нибудь, ну, лет через сто, из России разольется на весь мир эта невероятная наша русская свобода и «милость», то есть миловидность всех людей и всяких отношений, которая захватит и увлечет в себя и немцев, и французов, и англичан, и итальянцев. Потому что, право же,

около русского универсализма и какого-то самозабвения все они какие-то мещане, грошовики и процентчики. Это – в переносном смысле. Все любят себя или для себя: на чем же тут соединиться, как к этому прийти другим народам? Но Русь, от первоначального своего слова: «Приидите володети и княжити нами» – и до новейших литературных течений, только и делает, что уверяет всех, что все эти другие гораздо лучше нас, – так что в один прекрасный день все и почувствуют свою родину в России.

Мысль о таком высоком назначении нашей славянской «мякоти», – в параллель древнему эллинизму, – пришла мне на ум, когда я прочел в одной деловой «записке» прекрасного педагога и администратора, попечителя (к сожалению, – бывшего) Рижского учебного округа г. Левшина несколько вводных слов о пангерманизме, с которым отчасти приходится бороться русской школе и русской администрации в немецко-латышском крае. Этот пангерманизм вытекает из взгляда немцев на себя как на «исключительную расу», «высшую породу», так сказать, в человечестве. Мысль – старая. Когда я ее слышу или о ней читаю, мне всегда приходит на память одно длинное примечание в знаменитой «Истории цивилизации в Англии» Бокля. В примечании этом Бокль приводит наблюдения одного путешественника по Германии. Суть их в следующем. Путешественник говорит, что, прожив некоторое время в Германии и познакомившись с разными классами и профессиями в ней, приходишь к удивительному выводу, что высшая интеллигенция Германии, – не в нашем русском смысле «интеллигенция», но в европейском и всемирном, – до того резко отделяется от основного населения страны, то есть собственно от *народа* в ней, точно это два племени, две породы совершенно разного корня и происхождения. И насколько интеллигенция германская, в лице ее философов, ученых и высших людей общества, кажется превосходящею всякую другую европейскую, настолько же простое население ее тупее и грубее французского, английского и, пожалуй, всякого европейского. Такова ссылка Бокля и мнение путешественника. Мне кажется, они таковы,

что всякий, присмотревшись к тому же предмету, – найдет то же. Теперь я обращаюсь к идее «высшей расы». Раса – в крови, а не в цивилизации, не в истории. Раса есть физиологическое данное и *народное* данное. Теперь, каким же образом может быть «высшею расою» и сыграть в будущем роль какого-то нового мирового «эллинизма», то есть на этот раз уже «германизма», – племя, которое по беспристрастному и совершенно незаинтересованному наблюдению просто-напросто есть племя тупое и грубое, тупее и грубее среднего европейского населения? Ведь греки покорили мир не Платоном и Софоклом, ведь не это называлось «эллинизмом»: «эллинизмом» называлось «что-то такое, что есть в Афинах и чего нет в Риме», тонкий аромат народности и цивилизации, аромат улиц и садов, шумных собраний и торговой площади, а вовсе не библиотеки и музеи Эллады. Словом, – покоряет народное, житейское и бытовое, а не то чтобы интеллигентный класс. С этой точки зрения и при свете этих рассуждений притязания немцев кажутся той безвкусицей, какую вообще всегда славилась немецкая неуклюжесть. Идея о «высшей расе» и «эллинизме» в немецком шлафроке есть именно идея, возникшая не у Кантов и Гумбольдтов, а скорее по немецкому взмору и в прирейнских городах, над которою задумывается и которой улыбается берлинский бюргер и дюссельдорфский пастор, беседуя под вечер со своими Amalchen³. Правительство, конечно, утилизирует эту идею, ибо выгодность ее слишком очевидна для правительства: на будущий «эллинизм» ему дадут пушек и денег, и рекрут сколько нужно, и служить все будут отлично, и работать отлично, и повиноваться – отлично же. Но для Европы и вообще для истины – смехотворность этого притязания очевидна. Наука и философия Германии есть первая в Европе, литература в значительной степени – первая же. Но *народ* туп: и этого ничем не поправишь. Имеет ли Германия великую Церковь? Великое *в стиле* правительство? Вот в чем познается суть дела, вот где – *народное*. Возьмите историю французских королей: хотя они и погибли, все же хроника их в своем роде Шехеразада абсолютизма, и ведь это вовсе не то, что линия

берлинских фюрстов. И не оттого, что там длинно, а здесь коротко: Людовик XI жил на самой заре их, а сколько о нем анекдотов, сплетен и *дела*! У немцев все без анекдотов и без сплетен, а *одно дело*. Ну, сюда Европа не побежит, да и историку тут будет скучно. Германия вся есть великий огород, но в ней не нашлось уголка для сада. А сказано об Эдеме, что то был «сад», да и рай представляется у всех народов в виде «сада» же. Кто городил и сажал вечно и всегда только «огород» и никогда не почувствовал небесной скуки о *саде* – тот тем самым и не есть всемирный народ, а только очень обширный и упорядоченный уезд. Уездный отличный способ управления, уездные пасторы; уездная добросовестная вера. Сравните римских пап с потсдамскими пасторами – и вы опять согласитесь со мною, с Боклем и его мудрым примечанием.

СИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

«Пангерманская идея столкнулась со славянофильской... Практика жизни и наблюдения действительности показывают, что всюду, где немецкий элемент населения приходит в столкновение со славянским, – немецкий обязательно отступает. Вопросом этим задается Вагнер в своей книге – «Поляки и пруссаки», – и после нескольких меланхолических рассуждений указывает средство против растворяющей силы славянства: бороться с нею можно и следует через изоляцию германского населения при помощи строго немецкой школы на родном языке и проникнутой немецким духом и, затем, через непрерывное и плотное единение немцев между собою всюду, где они живут вкрапленно среди славянского или вообще среди инородческого, не немецкого населения».

Так говорит бывший попечитель Рижского учебного округа г. Левшин в предисловии к обзору задач русской школы в немецко-латышском крае. Читаешь – и глазам сперва не веришь: неужели немцы где-нибудь уступают перед славянством? Взглянув только на Петербург и Москву,

то есть все-таки на царственные места русской силы и русского духа, замечаешь меланхолично, что почти во всех областях жизни лучшие места заняли немцы. Я с отчаянием припоминаю даже, что когда государь Александр III посетил Нижегородскую выставку и к встрече его выставили в белых атласных кафтанах и с топориками на плечах старомосковских рынд, то он, взяв одного из них за плечо, спросил: «Как твоя фамилия?» – «Шмит», – отвечал сынок нижегородско-немецкого коммерсанта!!! Ну, если так, – то куда же деваться русским? В первый момент совершенно берет отчаяние, и на русских смотришь, в самом Петербурге и в самой Москве смотришь – как на исчезающую, гибнущую, бездарную и изнеможденную нацию. Утешает только второй момент, когда вдруг эти Шмидты и проч. вдруг начинают вас опровергать в письмах, уверяя, что все они чистейшие русские, издревле православны, а дедушки их пришли в Русь чуть не раньше всех, – еще с Рюриком и варягами или, самое позднее – из Литвы, при Иоанне Грозном: и уверяют тогда, когда на самом деле папаши их еще говорят ломаным русским языком и сами они потихоньку лютеране! Оглядываясь и проверяя эти письма, в самом деле там и здесь замечаешь немчиков, до того ушедших во все «потроха» русской действительности, русского уклада жизни и до того порвавших со всем немецким, не интересующихся ничем немецким, что думаешь: «Да и на самом деле – точно с варягами пришли, и вот устраивают обильную и неустроенную страну!»

Историки замечают не без удивления, что хотя в точности варяги пришли к нам, но ведь никакого никогда «варяжского периода» по колориту, по духу у нас не было, как, например, в Англии были мучительно враждебные друг другу периоды: 1) англосаксонский, 2) нормандский, 3) общеганглийский. Точно всех этих варягов тотчас же по пришествии окрестили, – окрестили и наказали им не помнить ничего из старого бусурманства. Что это? Напор силы? Соблазн слабости лени и ничегонеделанья? Только видишь, что русское болото всех засасывает.

Мне кажется, при всех великих качествах *немецкой культуры*, – лично немцы крайне неинтересны; они скучнее англичан, как о них рассказывает Диккенс, скучнее французов, итальянцев и, я думаю, даже татар и цыган! В них есть что-то от рождения выцветшее. Но ведь бок к боку живешь не с «культурой», в ее схеме и отвлечении, а с людьми: и сухие, формальные, деловитые немцы никого не засасывают, – как этого и испугался Вагнер. «Аккуратному» немцу закажешь сапоги, сошьешь у него пальто, починишь часы: а в беседу и общение, в связь семьи и дружбы возьмешь все-таки хоть и «не аккуратно-го», но сколько-нибудь более занимательного человека. Около немцев нет окраинного таяния, то есть вот растают немножко немец и немножко поляк и через несколько времени сольются во что-то, в чем нет ни поляка, ни немца и вместе есть и поляк и немец. Около слабой, – по замечанию Бисмарка – *женственной* природы славян, – это таяние не только образуется, но и идет довольно быстро. Все, чего может достигнуть в этом отношении Германия, – она может достигнуть только политически, административно, через действие закона и действие властей. Быт к этому ничего не прибавляет; общество немецкое, – если только можно говорить о «немецком обществе», – ничего не прибавляет. Я говорю: потому трудно говорить о «немецком обществе», что там все как-то трудятся, работают, служат, достигают, в награду за это едят и спят, – но как собственно они *живут* и даже *живут ли* сколько-нибудь картинно, колоритно и сочно – об этом никому не известно или очень мало известно. Таким образом, «германизация» есть процесс головной, сознательный, философский, культурный. Он идет книгою, солдатом и чиновником. Напротив, у нас едва ли что-нибудь по этой части будет достигнуто «планомерными действиями», к каким мы вообще очень мало способны; у нас это не выйдет, не склеится. Но «само собою» это же дело делалось, делается и будет делаться небезуспешно.

Ввиду этого, мне кажется, нам, русским, надо быть спокойными, твердыми и более всего вникать в собственную «суть» и развивать собственную «суть», – которая есть и пре-

красна и сильна. И надо кинуть эту «суть» нашу в свободное соперничество и с германизмом, и с англиканизмом, и с галицизмом. «От нас нашей русской сути в семи водах не отмоешь», – сказал *европеец* Тургенев; сказал это в той же фразе, где он советует нам «окупнуться в немецкое море», то есть прилежно, всеми силами учиться и учиться у немцев, брать у них все лучшее, безмерно в душе благодарить за это, – помня, что все это – не *мы*, а только – *нами взятое*. Вот, к сожалению, славянам почти нечего брать друг у друга. Милые народцы, симпатичные, – но ничего в истории не сделали, лентяи и забавники, празднoлюбцы и шатуны. Это слишком плачевно, и, конечно, мы все стоим, все славянские народы стоят перед эпохою энергичного движения вперед, самой деятельной работы. Без этого мы сгинем, нас задавят и съедят. Да и стоит, потому что Бог не может долее тысячи лет терпеть тунеядцев.

Спешное замечание в сторону, – по предмету дня. Все говорили о близящейся войне Германии и Англии и о положении, которое в ней примет Россия. Мне так же, как и другим, кажется, что было бы историческим безумием ставить на карту вековой мир с Германией. «Не купи дом, а купи *socседа*». Ничто так, во-первых, не благородно само по себе, а во-вторых, так и не выгодно, как вечный мир с соседом; даже при отсутствии племенной симпатии, как это у нас с немцами. И Англия, и Франция, конечно, не суть наши вековые друзья, а только «друзья по моменту»: и что будет с Россиею, как трудно сделается ее положение, когда, потеряв этих новых друзей, она не найдет около себя и старого друга, – об этом и подумать страшно. Оглянувшись на Китай и Японию сзади, – мы увидим Россию, окруженную со всех сторон враждою, и враждою со стороны политических могуществ, в сложности чрезвычайно превышающих ее собственное могущество. Однако при мире с Германией Россия могла иметь неудачи и неприятности на международной шахматной доске, но ей никогда не грозил «шах и мат». Самую войну с Бонапартом мы вели *психологически* уверенно, ибо при ненависти к нему Германии – это была очевидная авантюра неудачного «антихриста». Но «шах и мат» – не сей-

час, а в будущем – может показаться на нашем горизонте, когда мы отойдем от Германии. Только и можно сказать о подобных постановлениях: «Кого Бог захочет наказать, у того он *отнимает разум*». Какие планы войны рассматривали перед смертью Черняев и Скобелев – это даже не интересно: отличные генералы, высокоталантливые люди, беззаветные храбрецы и патриоты, они не были людьми великой исторической судьбы, то есть судьба не положила им под подушку никакого великого, исключительного жребия. А это что-нибудь значит, отчего-нибудь было. Судьба не стояла над ними и за них – частные их мнения, в том числе и роковое мнение о войне с Германией, суть только личные взгляды, может быть, удачные и, может быть, неудачные; во всяком случае, не провиденциальные, без «перста Божия» в себе. Бог с ним! Мы должны быть до смущения осторожны, потому что в последние годы есть что-то не расположенное к нам в самой этой Судьбе. Так и хочется сказать старым языческим термином, что время бы умолить богов. Но мы не знаем жертв и не имеем богов.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

19 февраля 1861 г. — 19 февраля 1911 г.

Эх, молодость, молодость... Безрассудна ты, вздорна иногда, а ничего нет тебя краше. И когда в годы благоразумной старости возвращаешься к тебе мыслью, возвращаешься воспоминанием, да, наконец, возвращаешься этим самым «рассудительным суждением», то говоришь:

– А черт бы побрал эти «рассудительные суждения», у которых сто костылей и ни одного крыла. Возьмите от меня мудрость, возьмите мою осторожность, избавьте, пожалуйста, от высоких чинов: и в обмен дайте мне прыткие ноги, хорошее пищеварение, молодые мускулистые руки и, главное, главное – молодое воображение, молодое желание, молодую веру в людей и жизнь...

Возьмите мое разбитое сердце и верните не разбитое...

Конечно, – сегодня это мысль тысяч людей возраста пожилого и старого, которые боролись если не с крепостным правом (таких «сизых орлов» уже можно по пальцам перечесть), то с многочисленными, даже с бесчисленными остатками крепостного права, крепостной поры, крепостного быта и крепостной «были»...

* * *

Все 19 февраля 1861 года укладывается в три строчки Пушкина:

Была та славная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая, –
Мужала...¹

Какой порыв в этих строках! И у многих, у многих старцев проступят слезы на глазах, когда они почувствуют, что в самом деле дивный поэт в этих строках, сказанных о другом времени и других лицах, выразил их молодое чувство 60-х годов минувшего века, – с тем вместе вечное чувство всего поднимающегося, встающего «как один человек», надеющегося...

Вся Русь, после сорокалетнего принудительного «сидения на месте», вдруг встала и пошла... Нет, встала и побежала на молодых сильных ногах, таких доверчивых, с доверчивой душой, с доверчивой мыслью... Ах, если бы не скоро открывшиеся «ямки» на пути, – что вот пришлось споткнуться, – встать и «опять упасть»... Если бы не это чертовое «плетенье» дороги, в которой вдруг скоро наступила такая «неразбериха», где «свой своего начал предавать»... Но это другая, печальная история, – *и не сегодня* день для этих воспоминаний. Утрем тайную слезу, подавим черную досаду и вернемся и ограничимся первым днем радости.

Просто – 19 февраля.

Время Николая Милютина, Кавелина, Великого князя Константина Николаевича, «Современника»...

Время молодых, «только что вот выступивших» Тургенева, Достоевского, Толстого, Островского, Григоровича...

Ну, и в фундаменте всего, конечно, – молодой верящий Царь... Без него – просто ничего нет, ничего бы не было, все было бы невозможно. Молодой, образованный, полный великого порыва: – «Вперед!..»

Молодой весенний дождь обрызгал трон: и вся Россия расцвела. «Царская власть», «царское лицо»: много об этом думано, а еще больше нужно подумать. Ну, вот, подите-ка создайте 1861 год без «лица, в котором все сосредоточивается», которое чего «хочет» – того «обязана хотеть» вся Россия.

Вся Россия оглянулась... Улыбается и видит: среди нее стоит красивый человек, с русыми усами и бакенбардами, в гусарском ментике и аксельбантах: а лицо такое суровое, грозное...

Сдвинул он брови...

Поднялось сердце у всей России: – «Ну, ну?!..»

Пятьдесят миллионов человек; и ждут, что скажет этот прекрасный человек, с радостью в сердце и грозою в бровях.

Нет, господа, это религиозный момент, это всемирно-историческая точка, еще не разгаданная! «Точку» эту *зачеркнуть в мыслях* легко, а вот подите-ка *выработайте ее фактически* в тысяче лет терпения, страдания и надежды. «Увидим! Увидим! Когда-нибудь! Когда-нибудь!»

И пришло 19 февраля 1861 года.

«Раз... два... Ну, стоим, ну, дальше?..» Только сердце колотится, уста ничего не умеют сказать.

«...Три! Повелеваю отныне, чтобы ни один человек в России не смел именоваться *рабом* и не был в состоянии раба! По церквам! Молебны! Филарет – пиши грамоту, народ – крестись!»

«Хочу и повелеваю. Так угодно...» – «Теперь я устал. Великое слово дано. А вы по моему слову...»

И все побежало в разные стороны, держась за карманы, кашляя, ковыляя, и... «ямки», «ямки», много «ямок», поехала

«телега Руси» – и все «в ямку» да «в ямку», при злобном хихиканье где-то из канавы поблизости.

Но оставим это. Сегодня день радости.

Ах, эта «граница» и «неограниченное»... Откуда эта странная мечта, эта странная тоска, у всех народов, не у христиан одних, – создать идею «ангела»... И «дух» и «плоть»... С одной стороны, «чистый дух», но – «может воплощаться». Все религии, а в философии глубочайшая ее часть – метафизика, наконец, – все сказки, все мифы, да и в самой математике «исчисление бесконечных величин» – указывают на вечное тоскование человека «в своих пределах» и на великую потребность его – выйти из них и вступить в «бесконечность»... Вот откуда – «ангел», праведная форма нищевского грешного «сверхчеловека...». Вот, наконец, основание, что 50 миллионов человек ждут мановения *одного*, – чтобы сразу и всем одновременно начать что-то делать, одинаково думать и находить упоение в этом *согласии и единогласии*.

«Так хочет Царь! Так хочет Царь»...

Совсем это не то, что «так хочет седовласый историк С. М. Соловьев», «лучший публицист «NN», к этому призывает нас знаменитый оратор» такой-то. Совсем другое! *Что же* другое? Тайна. Тайна, которую легко разрушить. А вот попробуйте-ка ее создать, сотворить вновь, сотворить впервые... Ах, чтобы умертвить человека, достаточно проколоть булавкой его мозжечок: умрет от этого даже Ньютон, умрет праведник... А вот вы *родите-ка* Ньютона, родите праведного человека на землю: пусть постараются отцы и матери, зададут себе «урок»... «Проколоть булавкой» все легко, родить – часто *никто* не может, не умеет.

* * *

И все руки со счастьем разжались; Филарет охотно написал бумагу; *против своих убеждений* написал, как мы знаем это исторически, и, как исторически же знаем, – написал *с одушевлением*, величественно и вдохновенно! Вот чудо! *Самые*

души вдруг у миллионов людей переродились – и в этом весь секрет... Собственники без горечи отошли от своих состояний, от своего богатства: чего не мог сделать за себя только всю жизнь Толстой, такая личность! «Бесконечное лицо» в центре народа, эта «бесконечная величина» математики, «ангел» религии, молить, – *пришел и захотел*: и вдруг все *встали и исполнили*.

Вполне иррациональный момент! 19 февраля, между прочим, оттого нам дорого, что, каково бы оно ни было на иностранную оценку, – для нас, русских, несомненно, это есть оригинальный и самобытный факт нашей истории, есть, может быть, самое великое проявление особенностей сложения нашей души, нашего исторического воспитания и нашего государственного мистицизма, переходящего от «обыкновенной политики» к началам «сверхчеловечности», которые всегда любил Восток, почитал Восток, верил им Восток... И на Востоке они мерцали, проявлялись.

Поклонимся и мы этому маленькому «чуду» нашей истории; поклонимся сердцу Александра II, – потом так истерзанному в чаду земном и грязном, в чаду едком и мучительном. Поклонимся всему тогдашнему благородному поколению; поклонимся старейшим сейчас людям на лице Русской Земли. Они имели свое «Ныне отпускаеши раба твоего»; и особенно после 17 октября² они совершенно уже без тревог сойдут в землю, «приложившись к отцам» своим, «отцам всей Русской Земли», от старых наших Ярославов, Андреев, Иоаннов до «теперь».

Будем, господа, радоваться сегодня, и беззаботно радоваться. Будем верить в свою историю и в свою Землю!

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

19 февраля 1861 года капнула та капелька, та драгоценная капелька, которую полвека и даже больше вырабатывал в себе *русский организм... Весь организм*, в целом его составе. Скажем широкое слово, что эта реформа – *безыменная*: хотя она, понят-

ным образом, скреплена с определенными именами, как и приурочена к «дню и часу», но, ведь, все это только «манифестовало» работу целой нации за XIX век, работу уже давно умерших людей, как и работу безвестных, далеких, глухих краев...

«Все давно ждали».

А когда произошло, то –

«Все радовались».

Вот в этом «ждали» и «радовались» и состоит все дело. По «безыменности», невольной безыменности «ждавших» и «радовавшихся», и приписывая решительно все дело *им, именно* и хочется сказать, что это была *великая русская реформа*, над которою трудилась и созидала *вся Россия*, «тьма» умов народных, «мгла» сердец человеческих... «Тьма» и «мгла» в смысле «неисчислимого множества», поневоле «безыменного».

Толстой, в великом подъеме духа писавший «Войну и мир», когда дошел до размышления о том, «кому же мы обязаны были изгнанием Наполеона» и «освобождением Москвы и России», ответил глубоко художественно и мудро:

«Вот та самая барыня, которая забирала своих арапов и собачек и переезжала с ними в тамбовскую деревню, *в смутном сознании, что она Бонапарту не слуга*», – и была настоящей виновницей освобождения России... «Потому что что же было Наполеону делать в стране, в которой ему *вообще никто не хотел повиноваться*»...

А «Кутузов» и армия, битвы и вся *механика войны* – только осязательно очертили этот узор народной души, *в котором все дело*, только были *служебными и подчиненными* великого народного: *хочу!!*

Великое прозрение художника... Да и без него, впрочем, все ясно: конечно, все дело в том, что *Россия в лице ее населения* и представить не могла себя иначе как национально независимую, государственно независимую, как *свободную и самостоятельную страну*... «На своих ногах стою и своими руками все делаю»... И вот это: «не могу себя *иначе* чувствовать» – и выперло вон Наполеона, как выпирает тяжесть и масса воды попавшую в нее пробку. «*Кто* выпирает?» «Которые частицы

воды?» – Ответ один: все, вся река, весь океан! Выпирает стихия и удельный вес ее!

Кто освободил крестьян?

Для осязательности и очевидности дела укажем, что *перед* решением реформы, перед наклонением весов в сторону «да» или «нет» не было сделано подсчетов, вымерений труда, доходностей, государственных налогов... Реформа была «вне расчета» и не «по расчету»... Это явно! Если подобные соображения и приводились иногда и кое-где или если их принимали «тоже во внимание», то лишь в качестве «пособия», «подспорья» для решимости или «для рассеяния страхов и угроз»! Но ни в каком случае это не входило *главным* и даже просто очень *большим* мотивом! Сильнее была угроза «беспорядком», опасение «беспорядка»... Известное выражение Екатерины II, что в лице помещного дворянства, владеющего «народными душами», она «имеет и распоряжается несколькимистами тысяч *полицеймейстеров*», поставленных над всей Россией густою сетью, – было, в сущности, важнейшим мотивом, задержавшим на шестьдесят лет освобождение крестьян!.. От этого «протест против крепостного права», в литературе, в обществе, где бы то ни было, так же не терпелся и преследовался с такой же горячностью, с такой же подозрительностью, с такою же, наконец, мстительностью, как позднее протест «против полицейского режима» в пору Тимашева, Шувалова, Толстого, Сипягина и Плеве. «Вдруг настанет анархия, если устранить 100 000 полицеймейстеров» (при Екатерине II) или «если ослабить, вообще, полицейскую систему», «полицейский авторитет», полицейское «высокодержавство» в каждом уезде, на каждой улице и в каждом проходном дворе... Это был главный страх, главное запугивание в умелых руках, – которое действовало на власть, слишком еще патриархальную и, от патриархальности, политически неопытную. *Великое, что принадлежит имени Александра II*, заключается в преодолении этого довольно естественного беспокойства, – ибо, конечно, Государь ответствен пред будущим и ответствен за *страну сейчас*. Но он одолел эту *тревогу века*; смежил глаза на то, чего боялись Екатерина, Александр и Николай! Молодость и вели-

кодушное доверие в прекрасные черты народной души – дали ему силу *ступить в темноту*...

Он сделал шаг (великая решимость!) – и тотчас дверь распахнулась, и все увидели, что страхи пусты: ибо за затворенную дверь сидел измученный человек, а вовсе не озверевший, не озлобленный преступник, «готовый на все»... Как пугали, как опасались предыдущие Государи, как имел все поводы думать и Александр II, просто по инерции вековой мысли, просто потому, что не было же, до самого 19 февраля не было, *очевидных доказательств* «против»...

Вот за это, именно за это одно, вся Россия должна положить сегодня земной поклон Государю Александру II.

И тут – его героизм, благородство...

Как и все «19 февраля» было актом подъема благородных сил России, направившихся сюда уже целый век.

Пушкинское –

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, павшее по манию Царя¹, –

жило, в сущности, в душе всех русских образованных людей, всех русских просто добрых людей! Это было мечтою страны, энтузиазмом страны, за обнаружение которого, по мотиву подозрительности, указанному выше («анархия»), – многие поплатились ссылкой, заточением! Это всегда осязательно и очевидно, это не требует «дальнейших доказательств». И вот, как «барыня, уезжавшая в тамбовское имение со своими шутами и шутихами, в смутном сознании, что *она не слуга Бонапарту*» спасла национальную целость, свободу и гордость России, – так точно, через пятьдесят лет после этого, узы народные «пали по манию Царя», по тому, собственно, мотиву, что русская душа «не могла себе представить, и выжить, и перенести порядка вещей, по которому один человек владеет душою другого, жизнью его и трудом его», «не купив его», «от рождения своего и навеки»!!

«Не могу быть *зависимым*!» – бились сердца.

«Не могу *иметь рабов*!» – бились благородные сердца.

Вот два великих чувства, которые создали «1812» и «1861 г.».

Выперло вон, как пробку море...

Правда русской души выперла крепостное право?..

Чьей души? Всех «Иванов» и «Петров», сколько их ни было тогда в России, в тот 1861 год, и даже более: от 1801 до 1861 года.

И время, минута и день поклониться сегодня всему теперешнему нашему поколению, не очень крупному, не очень яркому, не очень великодушному и мечтательному, своим великим предкам XIX века за то, что они дали всей России и на все времена этот сегодняшний наш светлый день, как вечное воспоминание в роды и роды о великом движении «безыменного сердца» и «безыменной души», которым был весь народ, от которого по плоти и мы, теперешние, родились...

«Слава отцам!»

Нет, — не все хулить «отцов» и славить «детей», время сказать:

— Мы дети честных родителей! И мы гордимся, что происходим именно от таких отцов, честь которых, на достигнутой высоте, поддержать трудно. Но мы будем усиливаться ее поддержать.

НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО

Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. П. Е. Казанского, ординарного профессора, декана юридического факультета Императорского Новороссийского университета. Одесса, 1913. XL+960 с.

— Ничего не поделаешь... Много делали.

— Кто?

— Цари, Цари. Все занимались личными своими делами, они занимались общим делом. Все дремали, они бодрствова-

ли. Раньше всех взялись за общий труд, – не их «романовский труд», не их – «рюриковский труд», а за труд «всея России». Понукали, вели, наказывали. Строго наказывали. Жестоко наказывали. Прощали. И наказан ли *кто*, – говорили: «От Него», и награжден ли бывал кто, – говорили: «Он дал».

Все «Он», «Они». Все одно имя. Куда ни повернись, война ли, мир ли, народный ли голод, всероссийская ли чума, все кто-кто «Один» заботится, хлопочет, молится, – скорбит. И образовалась всероссийская тяга, которая – как только «на Руси неладно», «на Руси опасно», «на Руси гибельно», – обращает взоры всех к одной фигуре, одному человеку, одному имени, который до Петра Великого звался «русским Царем», а после Петра Великого и по его первому примеру и от него наследованию стал называться «всероссийским Императором». Тяга эта уже есть. Тяги этой никто не может взять оттого, что никто *уже*, главное *уже*... не трудился тысячи лет над одним домом, нашим общим домом, где мы все живем, питаемся, думаем, который нас обуславливает, а мы никак не можем его обусловить.

Что делать с «уже»... Как поправить, изменить то, что *было*? Поистине «никто не может вторично войти в утробу матери и родиться вновь».

И если бы мы с безумной торопливостью и неслыханным успехом начали работать, энергичествовать, геройствовать, показали бы себя Геркулесами и Ахиллами, – мы все-таки стали бы *прирабатывать* только к России, положим от 1900 года. Победили бы Японию и отняли бы от нее Корею и Сахалин. Но это же ведь меньше Сибири. Отняли бы у Германии Померанию: но это меньше Прибалтийского края и Финляндии. Победили бы Австрию и приобрели Червонную Русь, – хорошо, прекрасно, – и все-таки эти все победы меньше дел Екатерины и Суворова, Петра и его Меншикова, Долгорукого и Шереметева. Что бы мы ни сделали *потом*, все будет меньше того, что сделано *уже*...

Ужасное «уже», непоправимое для нас и наших потомков... Непоправимое и непобедимое...

А раз все «наше» будет меньше, чем «их», то и тяга «к нам» будет всегда меньше тяги «к ним». И главное, все это – «уже», чего никак нельзя переменить. Нельзя человеку забыть своей биографии и народу нельзя забыть и перестать чувствовать свою историю.

Это выше нашего «хочу» и «не хочу», «понимаю» и «не понимаю». Это то могущественное «есть», с которым вообще нельзя ничего поделать. Есть, совершилось. Все слушают, все повинуются.

Пирамида «слушаний» и «повиновений» и образует «наше царство», которое лишь, во-вторых, есть материальное и физическое, вещественное, военное, географическое; но, во-первых-то, и прежде всего оно есть духовное царство, идеальное царство, заключающееся в 140-миллионном «нам хочется того, что Царь находит лучшим, и справедливым, и мудрым».

Сказали и забыли все, а уж *он* заботится. *Как* заботится – мы не знаем и доверяем. Доверяем по 1000 лет своего опыта, когда Царь и Цари не растеряли Русь, сохранили Русь, устроили Русь.

Нам поспать хочется. Поленимся хочется. «В свои делишки» уйти хочется. Скверное обстоятельство, – и, конечно, «лучше бы всем пробудиться и делать». Прекрасно, – пробудились и делают. Но они могут только «постараться делать», а не то, чтобы «уже сделали»... Весь секрет истории в этих трех буквах, в этих трех благословенных буквах **у**, **ж**, **е**. За теми, которые попытаются начать делать, не стоит никакого «уже»; и как бы нам ни хотелось доверять их успешности, гению, мы все-таки можем лишь *нудить* себя поверить, а настоящей и полной уверенности у нас быть не может; и потому единственно что нет за новенькими – фатального «уже». С этим «уже» ничего нельзя поделать: оно есть душа всего, одушевляет на все, крепит надежду, веру. «Все верят». Это если – *он*.

А если *мы*, то является то окаянство, что: никто не верит. Психология, лежащая фундаментом в основе всего царства. Исправники верят. Полицеймейстеры верят. Пастухи верят. Судьи верят. Солдаты верят. Даже воры верят, что «может

казнить только Он». Вдруг его казнить хочет Милюков. – Вор со «Дна» Горького отвечает:

– Кто вы и почему вы меня казните?

– Я профессор.

– Не знаю, что такое «профессор».

– «Профессор есть тот, кто читает лекции в университете».

– Не знаю, что такое «университет» и что такое «лекция».

Но всякий даже со «Дна» Горького знает, что такое «Царь», и даже имеет ужасно поражающее знание, какое-то врожденное, переданное ему почти в вековом трепете отцов и дедов, что «Царь может казнить». Знает это и татарин, и барон, и Сатин, и актер, и проститутка¹.

Коих невозможно объединить, невозможно в *одном* в чем-нибудь убедить, невозможно под них подвести «одного общего знаменателя».

«Царь» – материально и идейно – и есть тот «общий наибольший делитель» или «наименьшее кратное число», что ли, без коего задача всех материальных и всех идейных обстоятельств русской жизни «не решается», а при его наличности – «решается легко». Где-то в темном уголке нашей души, – притом души всякого, даже анархиста, – стоит безмолвная фигура, «Царь», без коего не может думать, действовать и жить даже анархист. Он борется – против «Царя»; мы любим – «Царя». Если бы не было «Царя», если бы как-нибудь угасла его идея, то не только моя психология, но и психология анархиста потеряла бы стержень, около которого она обращается. И естественно перестанет обращаться, то есть мы оба перестанем духовно жить. Мы станем чем-то невообразимым – «греком при Перикле», «немцем в эпоху Реформации», «французом в пору революции», – то есть для нас и в наши времена чем-то мифологическим и никому не нужным, как только из нас вынута слово и понятие «Царь». «Царь», таким образом, это безмолвная фигура в душе каждого, есть то «2», на которое делится «4», «6», «8» и т. д., и т. д., «делится всякая душа русская», уже по природе и от рождения своего, и этого просто невозможно избыть, как «креста» нельзя избыть «христианину»...

Мы – *нерусские*, насколько мы не понимаем, что такое «Царь». Ибо так родилось все, так устроилось все, и просто это есть «сложение (конструкция) чисел нашей страны».

Я выразил кратко и «по-своему» ту мысль, которая на протяжении *тысячи* страниц – перевиваясь мириадами цитат из ученых книг и из некоторых отмеченных речей в Г<осударственной> Думе и в некоторых законодательных памятниках – развивается в одушевленном, твердом и смелом труде одесского профессора, г. Казанского. Я был это лето на юге², и мне передавали впечатление от «одесской революции» личные ее зрители, – когда евреи бежали по улицам с наглыми и победными криками: «*Издохло* ваше самодержавие». И слово это у людей, ничего раньше определенно не думавших о «самодержавии», не думавших за ленью и вообще за «бытовой жизнью», – вызвало ужас и яростный отпор в движении сердца: «*Наши Царь! Наши Царь!* – мы не хотим ваших еврейских вождей, будь то сам Давид или сам Соломон». Для современников и, главное, для будущего передаю эти буквальные слова, мною слышанные, из кусочка «русской революции в Одессе»; притом слышанные из уст очень образованной (по-моему, гениальной) румынки, но очень «усвоившей себе» все русское³. Проф<ессор> Казанский, бесспорно родом великорус из средних губерний, тоже, вероятно, пережил *лично* дни одесской революции: и оттого книга его – не бескровный ученый трактат, а одушевленное и «с кровообращением в себе» политическое, историческое и религиозное исповедание... Для «ученых», для «профессоров», которые вообще являют собой бальзаковскую «шагреновую кожу», уже без одушевления и дыхания, – это очень ново... Свои, «ученые», товарищи, – вероятно, «распнут» г. Казанского. Но его труд примет Россия. Его труд не «международно-ученый», а русский труд... Давно пора!..

Смысл его в том, что, несмотря на наличие у нас всей конституционной обстановки и на наличие парламента – чего не отрицает и не порицает г. Казанский, – у нас тем не менее в глубине вещей, в глубине всех русских обстоя-

тельств, конституции нет, конституция была бы бедствием, конституция невозможна, и, наконец, она прямо вызвала бы непонимание себя. А если бы ее действительно люди поняли и почувствовали, – то это вызвало бы что-то вроде народного помешательства и яростное отвержение себя, яростную и даже кровавую борьбу против себя народа. Если бывает и бывало, что «народ иногда бунтует», – то это кажущиеся и мнимые «бунтики»; но настоящий и страшный бунт может произойти только за самодержавие. Настоящее восстание поднялось бы в единственном случае, если бы народ почувствовал, что у него отнято самодержавие, то есть отнят предмет тысячелетней веры. – «Он, Батюшка, казнит, Он и милует», «обустраивает, Он все знает», «как Он, Батюшка, – хочет, а мы – за Ним».

Выше всего и прежде всего «Царь есть защитник народный», главное – защитник *слабых и обиженных; сирот. «Безграничность»* воли царской прямо вытекла из «*volō*» народного, дабы эта «защита» и «защитимость» были действительно безграничны, неограниченны, нескончаемы, всемогущи. Как только народ увидит «границу» Царю, – границу ли в «барском положении», границу ли во власти духовенства, границу в законах, правилах, привычках, традициях, границу в «народных представителях», в «конституции», так народ растеряется, сироты растеряются и *завопят*: «Кто же во всяком случае и во всяком злом обстоянии нас защитит!!!» – «Подайте нам Его, бесконечного, который бы всякую препону прорвал и всякого человека и людскую массу *одолеет*». Вот. Это – вопль сирот, обиженных, бесправных, не могущих, – в которых пропорционально «Я не могу» – каждого лица живет корректив: «Пусть Он *может* все». И этот вопль до того могуществен, неодолим, это есть такой вой океана в бурю, – что он опрокидывает как щепку все, все, что мы умеем вообразить и что мы сумели бы построить. Посему претензия кого-либо сказать:

– Он *не может*... Позвольте-с, в *данных* обстоятельствах и по таким-то *условиям* – он не может, Царь не может...

Эта претензия вызвала бы такой рев народного урагана, после которого от «претензий» и щепок нельзя было бы найти.

Никакие бумажные «конституции», будь даны они даже «по всей форме», не изменили бы и не изменяют этой «конституции», то есть сложения, устройства Русской земли... И теперь Государь точь-в-точь так же самодержавен, как Иоанн Грозный... который даже «ушел в монастырь» Богу молиться, «отрекшись от самодержавия» и назначив вместо себя царем Симеона Бекбулатовича, то есть «кой-кого». Он «отрекся от царства», а народ по-прежнему его одного считал Царем. Пример дан. Факт испытан. Царь вовсе «не на троне в Москве», – а есть у каждого русского в сердце «трон», и на нем сидит «один Царь для всех». И вот этого-то «в сердце Царя» нельзя ничем и никак ограничить. – Есть.

Ну, что вы сделаете с «есть». *Есть, бытие* – это во главе всего, выше идей, пожелания.

– «Господи, если бы климат в России был, как в Италии».

Но нам принадлежит любить русский климат, потому что он *есть* между 36° и 71° параллелями и от «меридиана Вержболова» до «меридиана Берингова пролива».

Вот почему всякая революция есть могила самой себе.

И она полна червей. И только. А «люди» все поверх могилы в «нашем милом царстве», где «всякая шестерочка делится на два» и где нам Потемкины и Шуваловы, Панины и Воронцовы, наконец, даже Сперанский и Аракчеев ближе, понятнее и интимнее Перикла и Кимона: потому что те – *чужие* и нам *вовсе не понятны*.

Сперанского мы уговорим: как я уговорю Перикла?! Он не поймет, он не станет слушать.

Аракчееву я дам полное повиновение, он успокоится: но как и что я дам Кимону, когда ни я его не понимаю, ни он меня не понимает.

И оттого, что «Сперанский может нас слушать», – через 30 лет пришел прелестный Станкевич.

И оттого что Аракчееву повиновались, протекли четыре десятка лет и Россия зашумела в «эпоху преобразований».

«А потому, что она Россия и она милая».

И потому, что Царь избирает и доверяет, советуясь с Богом, душой своей и разумом.

Вдруг бы Его ограничить. Господи: в *какой* точке? В *какой* момент? В каком состоянии?

«Вот когда он приблизит к себе Жуковского или Станкевича».

Господи: на 1000 лет одни «Станкевичи». Я бы задохнулся, и все бы задохнулись в сахаре, стихах и лекциях Грановского.

И вздохнули бы:

— Господи, хоть бы немного железа, твердости, повелительности и шумной бранной славы.

И действительность, и мечты, и грезы человеческие, народные — бесконечны, неуловимы, неисчерпаемы. Неисчерпаемо *нутро* человеческое...

И этому совершенно соответствует то благое устройство, что есть Некто среди нас Один, коему все возможно... Возможно не только в *мысли*, но в самой *мечте*. И мы счастливы просто *присутствовать* при бесконечном царском творчестве.

Ограничение Царя есть *умаление* всех нас; «ограничение царское», то есть строгая и *формальная* конституция, — это в своем роде Огюст Конт и его «позитивизм», то есть что-то деревянное, ограниченное, искусственное; что-то *машинное* и *бесчеловечное* в центре человеческих дел.

А «неограниченная царская власть» — это философия Платона и Шеллинга, это стихи Пушкина, неизреченность Байрона, задумчивость Шелли.

И будет ли он «Анчаром» (критика врагов) — *слава Ему*.

Будет ли благодетелем и защитником сирот и обиженных — *слава Ему*.

Не потому что он хорош.

А потому что «Он» — «Он».

Точка. А кто будет спорить, того мы будем колотить. «Потому что мы русские». И потому что спорящий крадет мою душу и убивает меня.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИЛЫ В РОССИИ

К вопросу об инородчине

«Инородчиною», конечно без всякого унижения и порицания, я называю все «иные народности» в России, выражая в слове просто факт, этнографию. Но употребляю именно это слово потому, что не выделяю которое-нибудь *одно* инородное лицо, а говорю обо *всех* их, обо *всей их массе*. Мне хочется сказать им несколько слов *с русской точки зрения*, которая, может быть, не совсем им ясна. Ибо, естественно, всякий смотрит из центра, «из себя», – «это уже неодолимо вследствие человеческой ограниченности», то есть греха Адама.

Да. Есть инородческие точки зрения, инородческие интересы, надежды, мечты. Тут и претензии, тут и настоящая боль.

И есть все это – русское. Тоже боль и тоже мечты.

Начнем с *боли* инородческой, которая для каждой семьи выражается просто в *труде для ее детей* начинать изучение первоначальных же предметов, получать первоначальные сведения и первые объяснения – не на материнском и отцовском языках, не на языке домашнем и семейном, а – на чужом, русском, несколько *отдаленном*.

Вторая боль – историческая, отдаленно-общая. «Если мы с элементарной школы потеряем национальный язык и затем в жизни, в службе, в работе естественно будем употреблять все тоже *не наш* язык, то в конце концов он ослабнет, на нем вообще перестанут говорить и писать, будут мало говорить и писать, и, в конце концов, по истечении десятилетий или немногих веков – он исчезнет, пропадет, затеряется, *вымрет*. Мы – *не хотим умирать*». Это мессианизм каждой нации, даже самой маленькой.

Эти две вещи, – простая семейная трудность «с детишками» и отдаленная мечта «своего возрождения», – подпирая друг друга безмолвно, – и образуют «инородческие движения в России», то глухие, то явные. Движения – центробежные, от

центра к периферии направленные; и, в последней надежде, имеющие мысль – разорвать «солнечную систему», к которой все членики принадлежат. Оторвавшись от России, – «мы полетели бы *вдаль*», в «новые союзы и комбинации», или, если можно и лучше бы всего, – остались просто «собою».

Так диктует эгоизм, свое «Я».

* * *

Исчерпывают ли, однако, «Я» и эгоизм историю? История превратилась бы в зоологию; да и то в зоологию одних хищных, если бы она служила отражением одного «Я», без внимания к «Мы» и «Они». Даже и животные живут стадами, собираются в стада: и им просто так *приятнее, лучше*. Не одна безопасность диктует стада, – ибо и в стаде антилопы все-таки бегут от льва, но и неиссякаемый инстинкт просто общности, объединения. – «Ἀνθρώπος ζῷον πολιτικὸν ἐστίν», «человек есть общественное животное» – определил Аристотель, написавший первую во всемирной письменности «политику». Где же инстинкт этой «общественности»? Не одно удобство. Просто счастье – общаться, единиться, быть именно «в системе», а не лететь «одному» и «вдаль». «Вдаль» хотел уйти Каин, да и тот – *после греха*. «Уйду от всех людей» – это плохое начало истории: а ведь, в сущности, им начинают инородцы, пытаясь оторваться «от России». Ибо если «от России», то, конечно, так же и потому же – «от Германии», «от Швеции», – от *всего* и от *всех*... Куда бы они ни пришли, к кому бы «в союз» ни попросились, везде молча посмотрят на них как на блуждающего Каина, «который уже оставил родину»... Это не всегда будет сказано, но всегда будет почувствовано.

«В Германию ты пришел из России», «к Германии пришел *от* России: и будешь *вероятным предателем* и здесь».

От этой мысли некуда деться. Она – естественная будущность всего отрывающегося.

Конечно, каждый что-то теряет в себе, теряет что-то из своей свободы, – будучи *в стаде*, входя «в систему». Это –

и планеты; это – и животные. Не иначе – и человек. Конечно, наша земля сама была бы «солнцем», не будь настоящего притягивающего ее солнца. Но каким? *Темным*, маленьким, неживым, замерзшим.

Что такое были бы латыши между Россией и Германией? Финны между Швецией и Россией? Они просто *погасли* бы, и только. Наивно думать, что у них сейчас явится Шиллер. Шиллер есть плод культуры и веков, и есть нации, у которых даже после веков культуры Шиллера не явилось. Громадные Соединенные Штаты все-таки Шиллера не имеют. Нет, у них ничего не появилось бы, кроме миниатюрных кадетов и миниатюрных социал-демократов, которых теперь вообще так много, как булыжника в мостовой, и никто этого булыжника не считает. В вечных спорах и, конечно, «борьбе партий», – и латыши и финны погасли бы до такой ужасной никому невидности и ни для кого неинтересности, как об этом страшно подумать даже «за них», то есть подумать вчуже. Те финны, о которых даже иногда говорят в Европе, те армяне, о которых тоже в Европе говорят, – и коих историю и песни теперь собирают *университетские* ученые, то есть ученые, каких выбрало и поставило на чреду науки *русское* государство, чужеродная империя, – эти финны, армяне, латыши очень скоро снизошли бы к интересу существования курдов, «персюков», басков в Пиренеях, и проч., и проч. В сущности, они *косно лежали бы камнем*, пока их кто-нибудь не поднял бы с земли и не взял.

Увы, все *малое* и должно принадлежать к системе. Это не «деспоты» выдумали и не деспотические народности. Это «сказал Бог», как передается в истории миротворения.

Шиллера не будет. Будет несколько адвокатов и немного отвратительных врачей. Мамаше, возящейся с детьми, удобнее обратиться к теперешнему русскому доктору, чем к будущему «своему», потому что «свой» вообще ничего не лечит. Даже чтобы *лечить хорошо*, нужна трудная и долгая предварительная культура.

И Веллингтона или Кутузова у латышей не будет: будет много воров и разбойников. Ведь чтобы и с ними управиться,

нужно хор-р-рошее правительство, с дисциплинированной армией, с большими окладами жалованья. Откуда маленькой нации их взять?

Дело в том, что уже теперь «все получше», и врачи, и адвокаты, и исправники, и заводы, и порядок по городам, существует у латышей, у армян, у чухон – *благодаря связи с Россией и вследствие этой связи с Россией*, даже если она и враждебна или болезненна. Пусть они ненавидят Россию: но именно вследствие этой ненависти они *объединены, слиты в одно, дышат одним духом* и, хорохорясь против России, – имеют *туземный патриотизм*. Великие блага, полученные от связи с Россией: как только она прекратится и они станут «сами» «солнцами», они возненавидят друг друга, свой пойдет на своего, партия на партию и под-партия на под-партию. И, словом, из патриотического и доблестного *сейчас* превратятся в угольный мусор, в каменный щебень, в такую мелочь и сплетни, что стыдно будет на них посмотреть.

Нет, не это. Не это – их путь, не это – человеческий путь.

Человек сделал *историю*. Вот в чем дело. И историю он сделал не «сам» и не стремясь быть «солнцем», а отрекаясь от себя и служа солнцу, которое светило бы «всем» и *все* – «животворило».

Не эгоизмом соткана история, а великими самоотречениями. Воистину история сотворена смирениями и благородною скромностью.

Разве всегда были «русские»? Были «кривичи», «поляне», «древляне»; были «чудь» и «мордва» по Оке. Но все угасли не угасая, ибо все родились и возродились в Россию. Это только *имя* одно, и воистину инородцы «борются» не против государства, а против филологии и пустого «Словаря русских слов»: *ибо они все зерном войдут в Россию*, войдут в государство наше, войдут в правительство наше, войдут в литературу нашу и в промышленность нашу. «Мы сами» тоже когда-то умерли и тоже теперь ожили «в России»; умерли и ожили «кривичи» по озеру Ильмену и по Волхову, «поляне» по Днепру. Почему же «латыши» умрут, когда станут русскими? Они не умрут, а увеличатся,

возрастут, как увеличились «кривичи», торгуя теперь не только по Волхову, но и в Сибири и слушая не только былины свои, но и читая Пушкина. В чем же собственно заключается «смерть поляка» и «смерть латыша», если они сделаются «русскими»? Едва ли самнитяне и этруски умерли в «римлянах», ибо сами римляне суть латины + этруски + самнитяне + греки южной Италии, ее аборигены разноплеменные и ее колонисты. Спор идет о грамматике и языках, а не о *деле*. Никакие «самнитяне» и даже никакие «финикияне» – не умирали и живут по-прежнему и вечно, но лишь в новом имени, однако со своею сущностью. Никогда «латыш не умрет»: но когда-нибудь скажут, как говорят о Лермонтове: «Он от шотландского *рода Лерма*», о другом великом русском поэте, что он – «из латышского рода»...

– Так из латышского, – кричит самолюбие. – И пусть он лучше пишет «по-латышски» и будет «латышским поэтом».

Но не воображайте, что в Запорожской Сечи Гоголь написал бы «Мертвые души». *Ничего* вовсе он не написал бы там, а был бы войсковым писарем, сказочником-бандуристом, и вообще чем-нибудь *этнографическим*, а не *литературным*. *Дух Гоголя* родила Россия, она ему дала *темы*, она ему дала *одушевление*, она ему дала все *горькое* и *сладкое*, все *муки*, и всю *заботу*. Разве не страница *истории русского общества* вся «Переписка с друзьями»? И «будущий латыш-поэт» вовсе будет не поэтом, а хорошим огородником или плохим работником: тогда как, войдя в Россию, он возвеличит *латышский гений на русском языке*. Вот что возможно, и желайте возможного. А не тянитесь к невозможному и к *небывающему*. Оторвавшись от России, от университетов и литературы ее, от связи со всем ее прошлым, инородцы просто полетят в дикость, как яблоня, высаженная из сада в лес. Никакой у них «цивилизации» не будет, ибо это вообще не так легко. Даже Америка, чем бы она была без связи с английским языком и английскою литературою? А инородцы будут именно «американцами» без «английского языка». И эта «латышская цивилизация» будет только сумбур, отвратительный для человечества. Этого просто «не надо», и оттого, что это просто «дурно». «Дурного» вообще «не надо».

А ряд инородцев и их центробежные стремления обещают просто ряд «дурного» в смысле ничтожного, смешного, бессильного, призрачного. Просто *нереального*. Суть в том, что в инородцах, всех порознь и вместе, мало *реального существа мира*, и от этого они и втянуты в чужое большое тяготение. Не солнце велико и сильно, а планеты малы и бессильны.

Но, ζῶον πολιτικόν¹: возьми же долю свою со счастьем, с радостью, с *любовью*. «Отвергнуть себя» есть великое счастье: не меньше, чем сухой эгоизм. Разве самоотверженные не блаженствуют, не сияют? История померкла бы сейчас же как мерзость, если бы она не была сплетена из великих самоотречений. Самоотрекается солдат в битве, самоотверглись мученики, самоотверглись святые; да разве величайшие из ученых не самоотвергались ради истины? Вот сколько. И над всеми венцы. Лучше ли их «слава» разбойника, бунтовщика, дезертира, изменника? Обобщенно – «слава» Каина? А инородцы никогда иной «славы» не получают: ибо Россия все-таки теперь есть их *отечество* и иного пути, чем каинство, вообще для них не лежит. Но все *трудное* для них – сейчас же превратится в сладкое и даже сладостнейшее, едва они станут совсем на иную точку зрения: Россия есть подлинно *наше отечество*, латышское, чухонское, немецкое, польское, армянское, грузинское, татарское... И все, чего мы хотим, – это как можно скорее стать окончательно *русскими*, без всякого *разделения*, без всякой *иной веры даже*, иного *быта даже!*... Нам противны эти *частности* наши, эти *дробности* наши, – эти не имеющие никакого значения и никакой будущности остатки на нас «лесных дичков», «полевых диких трав», «невозделанных растений», по Дарвину, и «невозделанных животных», по нему же... Все это – долой! *Пока* – больно, неудобно: но *завтра* – мы войдем в великое сияние Единого Солнца, в котором не угаснем, а усилимся всею его силою... И история и человечество возблагодарит нас и запомнит нашу жертву: как она ничего вообще из благородного не забывает».

И жертва Авеля будет принята.

Как путь Каина всегда был проклят и никогда не благословится.

АНТИСЕМИТИЗМ – АНТИИЕЗУИТИЗМ

Что такое антисемитизм?

О, это дело ясное! Антисемитизм – это человеконенавистничество, умственный разврат, игра на дурных страстях толпы... Так современному читателю объясняют евреи, тщательно умалчивая о том, как в действительности антисемитизмом ставится вопрос об еврействе.

Однако почему же антисемитизм распространяется все более и более и в жизни народов начинает играть все более и более деятельную роль? Ведь в наш век просвещения распространение такой антипросвещенности, какую выставляют антисемитизм, было бы явной нелепицей, а между тем антисемитизм бесспорно распространяется, делаясь в то же время спокойнее и тверже, ибо он делается час от часу и сознательнее. Если прошлое столетие было борьбою против иезуитизма, которую иезуиты со своими приверженцами называли борьбою против католичества и против христианства, то все указывает, что предстоящее столетие будет в истории человеческой культуры отмечено борьбою против еврейства, которую евреи и еврействующие, следуя тактике иезуитов, старательно выставляют для христиан, не имеющих своих глаз, борьбою против человеческих начал братства и любви.

Да, евреи – современные иезуиты. Организация их всегда была такая же, как и организация иезуитов, но лишь в наши времена значение еврейства в общей жизни народов сравнялось с властью и влиянием, которые иезуиты имели до нынешнего столетия в делах мира. В этом – смысл и причина распространения антисемитизма, который в еврействе борется против сильной и враждебной христианству организации, и борется, спасая христианскую культуру от порабощения ее силой ей неприяженной.

Еврейство – это иезуитский орден наших дней, с тою только разницей, что иезуиты существовали только два с половиною столетия и после их официального упразднения в 1774 г.

столетия с лишком оказалось недостаточно, чтобы изгладить следы существования этого ордена; евреи же, как организация, существуют тысячелетия. Идейная же разница в том, что цель иезуитства совпадала с целями христианства, цели же еврейства стоят от христианства отдельно и противоположны им.

«Ad maiorem Dei gloriam»¹ – эта формула равно принадлежит и евреям, и иезуитам. «Цель оправдывает средства» – это правило и иезуитов, и евреев в практике их морали.

Как и евреи, иезуиты выдвинули из своей среды высоких мучеников братства и любви; но, когда орден их был уничтожен, человечество вовсе не поникло, но, напротив, необычайно широко двинулось вперед именно в нравственной и религиозной жизни своей.

Как и у евреев, у иезуитов действительная оценка ордена определяется организацией его центра и, в силу одинаково суровой дисциплины, масса окрашивается в однообразный цвет лучами из центра, но такую она будет – мы верим вместе со всем человечеством, – конечно, только пока получает лучи от этого центра.

Как в борьбе против иезуитизма темный народ срывал свое темное горе в грубых и кощунственных выходках против сутаны, так и антисемитизм знает вспышки массовой вражды и невежества. Но к сущности антисемитизма эти вспышки нисколько не относятся, бывая везде, где борьба входит и в народные слои.

Организация международного еврейства, как и иезуитская, скрывается втайне; она уже достаточно разоблачена, чтобы не сомневаться в присутствии тайны; тайна же в наше время обвиняет уже сама по себе, ибо обозначает отделение от начал общечеловеческих. В этом смысл антисемитизма и его борьбы с воинствующей исключительностью еврейства.

«Мы одни – католики» – вот формула иезуитизма, который гнал, отнимал школы, отнимал проповедь, отнимал администрацию у августинцев и других невоинствующих орденов; «мы одни – люди», – говорят евреи и соответственно этому действуют. «Имущество нееврея принадлежит еврею», – го-

ворит Талмуд. И иезуиты, и талмудизм – оба, соответственно этому основному воззрению, организовались в *status in statu*, стали государством в государстве, и даже, до известной степени, они стали цивилизацией в цивилизации и человечеством в человечестве. Иезуиты и евреи равно интернациональны, и одновременно евреи составляют до известной степени такой же орден, то есть такое же правительство, как знаменитое изделие испанского рыцаря. В первое столетие своего существования иезуиты расплозились в Китай, Японию, ближнюю и дальнюю Индию, в Мексику, Перу, Бразилию. У них, как и у евреев, словно есть какой-то инстинкт распространения – следствие того, что для иезуита нет отечества, кроме своего ордена, и нет брата среди людей, кроме иезуита-«братчика». И так же, задолго еще до разрушения Иерусалима, еще до Р.Х., евреи уже наполняют Александрию и Рим, а теперь они решительно повсюду, и так же повсюду не имеют отечества и не ищут его. При такой огромной разбросанности одни и другие остаются совершенно чужды всякой стране, которая им дает приют. Во всех странах, среди всех народов они сейчас же устраиваются по-своему, и устраиваются всемирно одинаковым образом. Они повинуются, и повинуются слепо, только своей собственной организации, своему – не всегда и не всем известному – закону, правилу, ритуалу. Как иезуиты, так и евреи заводят свое воспитание с исключительным духом, по исключительным методам, с темными устными преданиями и отчасти по тщательно оберегаемым втайне книгам. Это *status in statu* особенно выражается в том, что они стараются при помощи международного ростовщичества и банковской сети, накинута на всю Европу, вести свою особую политику – политику разложения. В Парагвае иезуиты организовали целое экономическое государство – огромную экономию, со своим флотом, с рабовладельчеством, с превосходно обработанными плантациями, что-то вроде Карфагена среди североафриканских диких племен. Там они действовали на свободе, а в Европе они устраивают, совершенно сходно с евреями, отличную эксплуатацию «добрых католиков», особенно через духовные завещания трепещущих

перед смертью верующих. В свое время иезуиты были так же несметно богаты, как и евреи, они так же торгуют, — и поводом, в XVIII веке, потребовать на суд кодексы их специальных законов послужил отказ их уплатить огромный долг не по общекоролевским законам, но по специальным правилам их ордена, будто бы разрешавшим подобную неуплату. Когда Шуазель, услышав об этом отказе, потребовал к рассмотрению эти «особые правила», мир был удивлен и возмущен безнравственностью множества из них, и процесс об уплате долга кончился изгнанием всех иезуитов из Франции, а вскоре и из целой Европы. Но изгнанные иезуиты не исчезли, и здесь сказалась предусмотрительность их интернациональности. Всякий гонимый из Франции иезуит находил «братчиков» в Бельгии, в свободной Швейцарии, в православной России и, наконец, в остающихся, за исключением Европы, еще четырех частях света, как иудей, пробирающийся из западнорусского края на восток, находит «своих» в Ярославле, в Тамбове, в Сибири и на Кавказе. Еврею нет отказа в помощи еврея, как иезуиту всегда готовы квартира и стол во всяком иезуитском коллегиуме. Если мы взглянем на «книги особых правил» тех и других, мы увидим, что сходство их простирается до мелочей, и это сходство вытекает из глубокой разделенности еврея и иезуита от всего остального мира. Тому и другому все разрешено *Ad maiorem Dei gloriam* или *genus judaicae*². Те же умолчания при клятве, разрешающие клятвопреступление; та же беспредельная эксплуатация нееврея евреем и неиезуита иезуитом и то же — «цель оправдывает средство». Достаточно отметить наименования христиан в Талмуде, чтобы понять, как мало причин еврею церемониться с христианином; они поставляются «ниже турок», считаются «поклоняющимися идолам», «не людьми, но равными животным, от которых отличаются только формой тела», и, наконец, «тела умерших христиан суть падаль». Таким образом, во время жесточайшей войны христианин не исповедует и доли той ненависти к врагу своему, какую всякий еврей, настроенный по камертону Талмуда, исповедует к христианину во всякое мирное время. Неважно, что мы не воюем с евреями; важно,

что они с нами воюют, и они нас завоевывают, потому что мы даже не подозреваем, что живем среди войны.

Борьба с иезуитизмом велась просвещением, и тех, кто ее вел, Европа назвала вождями своего просвещения. Очень жаль, что кое-где антисемиты допустили поставить себя в совершенно ложное положение, сманенные на почву совершенно неуместных и совершенно неверных рассуждений об «общечеловечности» еврея, когда он, насколько он талмудист, именно не «общечеловек», а «исключительный человек». На самом деле борьба с еврейством есть именно борьба с тьмою, с ненавистью, с секретом учения и выставляемого им идеала, с исключительностью. Она есть только повторение просветительной борьбы с иезуитизмом и прямое продолжение той же борьбы. Если мы обратим внимание на строй европейского просвещения, мы заметим, что суть его заключается в изгнании из себя всего темного, неясного, всякой западни человеку, всяких секретов и особенностей. Наше Евангелие открыто, всякий читай и проверяй его. Какая противоположность иезуитам, книги которых вышли на свет Божий только по требованию суда! Какая противоположность евреям, которые проклинали перевод 70 толковников, сделанный в Александрии, и подвергли осмеянию известного гуманиста-еврея Мендельсона, который под влиянием идей Лессинга дал перевод Библии на немецкий язык, для евреев Германии, без талмудических комментариев! Собственно Библия – археология для еврея; для него нов и свеж, сейчас действителен только Талмуд – это скопище мрака и невежества, сомнения и чело-векоотчуждения. Потому-то антисемитизм есть борьба против исключительности и касты, захватывающей мировую власть, и борьба эта кончится только тогда, когда евреи, как иезуиты, откроют свои книги и отрекутся от своей организации. Евреи рассчитывают, что им удастся одурачить свет, мы же уверены, что мир только еще стал пробуждаться и открывать глаза на иезуитский орден наших дней и придет время, когда он властно скажет этому ордену: «Откройся весь и стань человек». И так будет: несмотря на всю нынешнюю силу еврейства, которая в свое время все-таки была согнута иезуитами под пяту их ордена...

ЕВРЕИ В ЖИЗНИ И В ПЕЧАТИ

Очень умеренная критика положения евреев в России, которую одна из петербургских газет допустила на свои столбцы, вызвала страстный еврейский или за евреев взрыв в печати. Испуганно спрашиваешь себя: неужели есть что-либо недоступное критике свободной печати, свободной не в положении, которое связано и не может не быть связано законом, но в совести своей, в мнениях своих, в желании ко всему относиться критически и осмотрительно? Русские столь сильно критиковали себя самих, свои сословия, как в особенности дворянское, свое духовенство, свою необразованность, отсталость, косность, что не могут не спросить себя, и даже несколько растерянно: почему привилегия не быть судимым принадлежит в составе русского населения одной, весьма пришлой, частице его – евреям?! Всех судят – могут судить и евреев: печатать и общество всех критикует – подлежат критике и евреи. Мы не негодовали по поводу художественных созданий Щедрина, когда он говорил о Колупаевых и Разуваевых в составе «истово-православных людей»; единство с нами в вере и даже ревность к нашей родной вере не закрывала от глаз наших экономических хищников; как можем мы удержать речи и почему мы должны удерживаться в речах, когда не сатирик нравов, а уголовный суд обнажает перед нами Ойзера Диманта?

Если взять еврейские органы русской печати, еврейские явно или еврейские замаскированно, мы увидим, как едко относятся они к коренным и специальным особенностям русизма, и повсюду рекомендуют, указывают и считают единоспасительным для нас переход к общечеловеческому облику идей и чувств. «Будьте просто люди», – говорят они нам. Но мы видим при этом, что сами они имеют для себя совсем другой лозунг: «Будем непременно евреями», и в этой двойственности лозунгов мы не можем не видеть фальшивой игры. Мы давным-давно «вообще люди», даже, может быть, с излишне крупной потерей индивидуальных черт, и даже нельзя представить себе, куда

еще дальше идти по пути национального обезличения. И вдруг о евреях ни слова. Или, вернее, о евреях только плач общечеловека по поводу их несколько исключительного положения, вызванного историческими и экономическими причинами? В храме печати они – какая-то святая святых? С какой стати, по какому праву? Не самое ли это наше элементарное право обращаться с критикою к отрицательным сторонам деятельности евреев? И мы с энергиею обращаем к ним такой лозунг: «Оставьте в России свои специальные еврейские интересы и оставайтесь просто людьми, хотя и без специального обрусения». Мы давно это твердим, давно убеждаем самих евреев отказаться от своей исключительности и за это попадаем в антисемиты, ибо кто не за евреев, тот антисемит. Яркое доказательство того, что так именно стоит дело, – «С<анкт>-П<етербургские> Вед<омости>» со своей *случайной* статьей против евреев, именно случайной, шедшей вразрез с другими статьями и в пользу евреев. Самое правило – *andiatur et altera pars*, «выслушай и противную сторону», было поставлено газете чуть не в преступление. Оставляя в стороне темный еврейский люд, мы и в еврейской интеллигенции, в литературном еврействе находим эту же специальность своих еврейских интересов и крайнюю их отгороженность от общерусских интересов. Русские русских упрекают, но видели ли мы, чтобы упрекнул еврей еврея, упрекнул из-за дела явно вредного? Этот материалистический национальный эгоизм их и меряние себя и чужих разною мерою и делают из еврейства пугало для всех народов. Всем очевидно, что они усиливаются сделать из других предмет своей эксплуатации и желают двинуться на население с лозунгом: «Разомкнитесь, станьте общечеловеками, чтобы мы удобнее проникли в вас со своим специфическим еврейством и вас разрушили». Не надо забывать, сколько миллионов евреев в России и какая это стройная, компактная, трезвая и деятельная масса.

Евреи бессильны там только, где русские какими-нибудь особенными исключительными обстоятельствами сбиты в плотную организованную, хорошо защищающуюся кучу. Так, еврейской эксплуатации не существует в местностях со старо-

обрядческим и вообще с сектантским русским населением. Но факт в том, что вне этих религиозных островков остальная масса русских и разрознена, и некультурна. Что такое русский на всем протяжении центральных губерний? – Ни яркой и мощной общественной организации около него; в сфере экономической – ни мелкого кредита, как помощи в случае несчастья; не всегда твердая нравственная поддержка со стороны «батюшки»; довольно неясный юридический свет в лице земского начальника; в сфере грамоты – грамота отвлеченная и незнание ремесел. Стоит соблазном перед ним питейная торговля; и очень худым советчиком встанет около него еврей, со своим вековым гешефтмахерством, если он будет перепущен через черту оседлости. Русский колосс – недостаточно еще сильный колосс. Центр империи не без причины у нас заваливается. И если к этому колоссу, во всяком случае не стоящему во весь рост, не налившемуся полновесным зерном, подпустить сильную траву, может быть, очень прекрасную для себя, – не сдобровать русской ниве.

О ЕВРЕЙСТВЕ

Печальная для русских сторона еврейского вопроса заключается в том, что в каждой точке, где сталкиваются русский и еврей, русский опирается только на свои индивидуальные силы, еврей же опирается на силы целого еврейства не только где-нибудь в Баку или Нижнем живущего, но и в Вильне, а пожалуй, даже и в Париже. От этого в каждой порознь точке еврей одолевает русского; а потому еврейство одолевает русских и во всех точках, где эти две народности сливаются. Простец обыватель не понимает этого; но что это так – он видит. Отсюда в нем родится глубокое негодование, которое он целиком изливает на еврея, но добрая половина которого должна бы быть перенесена на те силы внутри самого русского государственного организма, которые не укрепляют его, но расслабляют, втихомолку изменяя его жизненнейшим принципам. Мы читали, как

в Бельском уезде, Смоленской губернии, огромный % земель захватывается еврейством; читали, как в Орловской губернии евреи становятся землевладельцами; видели и знаем, как в Ельце мучная торговля, а в Брянске торговля лесом или захвачены целиком, или захватываются евреями. И когда мы читали об этом или сами это видели – мы спрашивали себя невольно: а что же русские? где русские власти? где законы русские?

Здесь узел вопроса. Евреи идут на нас сомкнутою силою, мы же им сопротивляемся единолично и, конечно, раздавливаемся. Здесь причина первого, мучительного чувства. Здесь причина, почему так настаивают евреи на уничтожении черты оседлости (которая, кстати, едва ли и существует не фиктивно только). Они знают, что, как только они выиграют у нас территорию, все остальное, экономическая и даже юридическая победа, у них уже выиграно, уже обеспечено мощною и тайною организацией еврейства. У нас администрация так слаба, так беспринципна и, наконец, так еще недисциплинированна, что закон может существовать, правительство может распоряжаться, но местный чиновник, какой-нибудь исправник или полицеймейстер, может иметь «свой взгляд на вещи», конечно, с имеющимся под ним «своим интересом», который и решает все. Мы помним, что, когда из-под московских губерний выселялось пришлое еврейство, выселялось оно из Орловской губернии, а из Ефремовского уезда, той же губернии, оно вовсе не выселялось. Мы припоминаем другой случай, той же губернии, но в другом городе: раз евреи, которые преследовались как не имеющие права жить в городе, доведенные до крайности стойкою, но безобидною требовательностью местных жителей, скрылись и были укрыты во дворе исправника. Вот факты; и они, в сущности, решают все. Мы не можем судить и осуждать еврейство за его захваты: это – природа вещей, природа человека. Но что перед этими захватами подаемся и отступаем мы – вот истинный и настоящий предмет нашего суда и осуждения.

РАЗДЕЛ II

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ. СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ?

ФИЛОСОФСКИЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

I

Случается иногда слышать, что нам уже нечему учиться у древних, что единственное, к чему мы обязаны перед ними и перед их мыслью, есть уважение. Напротив, мы всегда думали, что в силе и отчетливости мышления они не превзойдены новыми народами и что поэтому всякий, кто ищет философской истины, должен обращаться к ним с не меньшим вниманием, чем с каким он обращается к произведениям новых мыслителей. По крайней мере многое, о чем смутно и неполно продолжают еще писать и в наше время, было с удивительною ясностью расследовано уже греками. Сюда принадлежит, напри^мер, *теория процесса* как ряда преемственных и связанных изменений. Мы все еще бессильны подняться над движущимися атомами, наш грубый и неповоротливый ум все еще видит в мире только силу и вещество, движущее и движимое, – между тем как греческий гений с несравненною ясностью понял недостаточность этого объяснения и давно отличил в *процессе* такие элементы, которых мы и до сих пор продолжаем не замечать. Вот почему

с изучением древней греческой мысли мы связываем отнюдь не исторический только интерес. Этот последний, мы думаем, никогда не может быть достаточно силен, чтобы сделать это изучение действительно внимательным и полным. Напротив, мы соединяем с этим изучением самый живой интерес, соединяем надежды приблизиться к истине, которою еще не обладаем. Мы должны обращаться к греческой философии более, чем к какой-нибудь другой великой философии, не только с тем, чтобы узнать, о чем и как думали две тысячи лет тому назад, но для того, чтобы узнать, как должны думать мы сами и сейчас.

Как бы то ни было, интерес к греческой философии никогда до сих пор не являлся господствующим у нас и никогда не был распространен. Ее изучению всегда предавались только единичные умы, и она не интересовывала всего общества. Предметом изучения служил у нас в особенности Платон и, в гораздо меньшей степени, Аристотель. Это различие в отношении к двум главным философским умам Греции следует объяснить, как нам кажется, тем, что Платон привлекал к себе известною возвышенностью своих умозрений и их близостью к тем истинам, которые составляют содержание христианской религии. Сюда следует присоединить еще и чрезвычайную красоту формы, в которую он умел облекать свои философские рассуждения и к которой более, нежели наше время, были чутки прежние поколения нашего общества. По крайней мере старые наши переводчики Платона ничего не говорят о преимуществах его философии перед философиею Аристотеля в смысле большей близости к истине, и поэтому мы можем думать, что не эта близость к истине руководила ими при выборе предмета изучения. Что же касается до философии Аристотеля, то, имея исключительно объясняющий характер, она не привлекала к себе умы прежнего времени – частью, вероятно, вследствие скрытого недоверия к способности отвлеченной мысли объяснить что-либо действительно, частью вследствие вообще слабого у нас интереса к подобному объяснению. Все это станет яснее, когда мы скажем далее о различных типах философских систем. Поэтому те сочинения Аристотеля, которые посвяще-

ны теоретическим знаниям, почти не изучались; изучались же и переводились наименее значительные его произведения, именно те, которые, по его собственному разделению, относятся к знаниям практическим – цель которых не объяснять природу, но руководить человека в его деятельности. Сюда в особенности относится его сочинение о поэтике. Как это ясно из самого названия этого произведения, оно изучалось не из интереса к философии, а из интереса к литературе, к искусству созидания в области слова и к изучению созданного. Этот интерес естественно вытекает из того чрезвычайного оживления, с которым наша поэзия, в течение не более одного столетия, и возникла, и развилась до своих настоящих размеров. Несколько позднее и отчасти уже в наше время предметом изучения стали политические и нравственные сочинения Аристотеля.

Наконец, что касается до того, что интерес к греческой философии никогда не был распространен в нашем обществе, то это, как нам кажется, происходит от двух причин: во-первых, от трудности греческой философии и, во-вторых, от своеобразного способа изложения у древних, который так не схож с манерою литературного изложения у нас. Трудность греческой философии для понимания естественно вытекает из того, что она дошла до нас главным образом в своих последних, заканчивающих произведениях (Платон и Аристотель), которые явились последним плодом продолжительных и напряженных усилий греческого гения разрешить для себя основные вопросы бытия и знания. Для нас исчез, или почти исчез, весь длинный ряд предшествовавших попыток разрешить эти вопросы, – и мы, не подготовленные изучением их, не воспитанные и не изощренные этим изучением, принуждены непосредственно входить в чрезвычайно сложный и тонкий мир мысли Платона и Аристотеля. Это еще возможно для единичных умов, но невозможно для массы общества, которая должна пережить что-либо подобное в своем собственном умственном развитии, должна проработать ряд философских мировоззрений вместе с выдающимися умами в своей среде, чтобы стать способною к восприятию высокоразвитых миро-

воззрений какого-либо чуждого народа. Этого необходимого условия всегда недоставало у нас, и этим, без сомнения, объясняется то, что едва ли не все идеи греческой философии, принадлежащие к числу общеизвестных, восприняты у нас не в своем истинном смысле, но в ином и гораздо более легком для понимания. Таково, например, понятие о Платоновых *идеях* как о чем-то неизменяющемся и неподвижном, что существеннейшим образом противоречит учению Платона, как оно изложено в «Софисте» и отчасти в «Пармениде».

II

Господствующее положение в нашей науке и литературе всегда занимала философия германская, и интерес к ней был распространен и в массе общества. Характеристические черты ее влияния были следующие. Во-первых, ее идеи распространялись преимущественно с кафедры. Далее, изучение ее было чрезвычайно жизненно в том смысле, что оно не замыкалось в самом себе, не оставалось без последствий, но косвенно оказывало сильнейшее влияние и вне сферы собственно философских изучений; оно направляло научные занятия и определяло их характер, напр<имер>, в области истории, теории литературы и вообще искусства и даже в сфере наук о природе. Наконец, она с чрезвычайно силою влияла на литературу и общество, отражаясь, напр<имер>, в идеях обеих наших больших партий – славянофилов и западников. Ее влияние, кроме внутренних достоинств, следует объяснить нашею близостью с Германией и постоянством общения с ней, особенно через посылку наших ученых в ее университеты. По крайней мере известно, что вне своего отечества германская философия распространилась ранее всего у нас и у нас же, по всему вероятно, наиболее тщательно изучалась. У нас она нередко всецело становилась мировоззрением людей и определяла все их жизненные взгляды и отношения, тогда как в других странах она, если и входила в убеждения людей, то всегда лишь в ряду многих других ей чуждых идей и была скорее известна только, нежели влия-

тельна (Тэн, Ренан). Наконец, что влияние германской философии во многом объясняется близостью и постоянством наших сношений с Германией, можно видеть и из того, какие именно философские системы ее у нас господствовали: изучались почти исключительно те системы, которые в данный текущий момент являлись господствующими в Германии. Так, ни Лейбниц, ни даже Кант не изучались с такою тщательностью, как Фихте, Шеллинг и Гегель, и из трех последних первым двум далеко не уделялось столько внимания, сколько третьему, без сомнения потому, что в самой Германии их философия чрезвычайно быстро сменилась философией этого последнего*. Замечательно, что ни одно сочинение Шеллинга не переведено на русский язык. Вообще, в самый разгар изучения германских мыслителей они почти совершенно не переводились на русский язык. Переводы стали появляться только с начала шестидесятых годов, и это, быть может, не без косвенного влияния начавшегося в это время совершенно иного философского течения. Здесь, вероятно, сказалось желание защитить идеалистическую философию, выдвинув ее не в переработке, а в ее неизменном виде.

Влияние германской философии развивалось одновременно с изучением древней и благоприятствовало ему, хотя это изучение являлось подчиненным по отношению к изучению философии германской и как бы вытекало из него. Мы уже говорили, что жизненного значения идеи греческой философии никогда не имели в нашем обществе и в нашей литературе, то есть они никогда не получали руководящего влияния и объясняющего значения в области других наук или в сфере практической жизни. Изучение произведений древней философии всегда было только предметом специальных занятий

* Мы опускаем здесь влияние Вольфа и его школы, потому что оно не простиралось на литературу и общество и ограничивалось почти исключительно учебными заведениями, преимущественно средними. Вольф своею тщательною, хотя и не глубокою, обработкою всех частей философии в ряде ученых трудов представил богатый запас сведений, из которых долгое время черпали материал все наши составители учебных руководств по философии и ее отдельным частям, особенно по логике¹. Но ни сам Вольф не был глубоким философом, ни переделки его сочинений не могут назваться в строгом смысле изучением философии.

немногих ученых, и в этом оно резко отличалось от изучения германских философов (или вообще новых), которое всегда было жизненно, всегда велось с целью научиться, с надеждою достигнуть истинного знания.

III

С <18>60-х годов появляются два новых течения в развитии философских изучений в нашей литературе и в обществе: одно служит выражением английской классической философии, другое – выражением позитивной; оба одинаково враждебные прежним направлениям и хотя различные, но сочувственно относящиеся друг к другу.

Есть два способа относиться к научным трудностям: первый состоит в том, чтобы бороться с ними, в борьбе изощрять свои силы и наконец преодолевать их; второй способ состоит в том, чтобы обходить их. История специальных наук и философии одинаково представляет примеры как одного, так и другого отношения; однако к чести человеческого ума следует заметить, что уклонения от решения трудных вопросов являлись несравненно реже, нежели настойчивые попытки разрешить их. Есть некоторые немногие вопросы науки, самое возникновение которых было неправильно и обуславливалось неясностью, неразработанностью той или другой области знания. Таковы знаменитые задачи в геометрии и в механике: найти квадратуру круга и вечное движение. Можно сказать, что общему характеристикою этих вопросов служит некоторая как бы исключительность их, отсутствие общего значения для науки, которое могло бы приобрести их разрешение. Они лежат в стороне от цельного движения науки, и их нерешенность ни в чем не препятствует этому движению, нисколько не задерживает его. Это вопросы скорее любопытные, нежели важные. Заметим, однако, что, несмотря на их неважность, ум человеческий и от них отказался только тогда, когда была строго и отчетливо доказана невозможность их разрешения. Кроме этих немногих и исключительных трудностей, признанных

неразрешимыми, есть другие и гораздо более многочисленные трудности, которые часто в течение ряда веков не поддавались усилиям человеческого ума, и история их разрешения – то, что следовало за этим разрешением, – чрезвычайно поучительна. Разрабатывая какую-нибудь область науки и уже исчерпав ее содержание, ум человеческий обыкновенно находил, что в то время, как все другое в ней ясно и не возбуждает никаких недоумений, есть немногие вопросы, которые решить было не только неизмеримо труднее, нежели все остальные, но которые и после всех усилий еще заключают в себе некоторую неясность: в решении их как будто есть какая-то недоконченность, в них самих – какая-то темнота и запутанность. И всякий раз, неустанно размышляя о них, человеческая мысль приходила к открытию новой и высшей области науки, самого существования и возможности которой никто не подозревал дотоле. К этой высшей области именно и принадлежали казавшиеся столь трудными прежде вопросы – в ней они получали ясное и простое разрешение. Исследовав эту новую область, человек и в ней находил некоторые особенные трудности, решение которых вводило его в другую и еще более высокую сферу знания, и т. д., до нашего времени. Все эти особенные и трудные вопросы науки представляли собою как бы нити, только один конец которых находился в исследуемой области, другой же скрывался в той, которую еще предстояло открыть. В истории они всегда служили и ариадниною нитью, которая все дальше и дальше уводила человеческий ум в лабиринт знания, и основным стимулом, который никогда не давал ему успокоиться, во всякий момент времени являясь перед ним тем, что, с одной стороны, уже было хорошо известно, с другой же стороны, было еще совершенно темно. Пользуясь совершенным светом или пребывая среди совершенной темноты, человек, быть может, не двигался бы вперед; ему нужен некоторый полумрак, и вечные усилия рассеять его составляют то, что мы называем историей науки и философии. Как на особенно известные примеры подобного открытия новых сфер знания через изучение особенно трудных вопросов в прежних сферах можно указать

на открытие аналитической геометрии Декартом и дифференциального исчисления Лейбницом.

К числу подобного рода затруднений, без сомнения, относятся и вопросы философии, стремящейся изучить элементы всякого бытия и знания. Думать, что в течение ряда веков все ее усилия были совершенно бесплодны, может решиться или тот, кто не знаком с тем, что приобретено этими усилиями, или тот, кто, в силу самого устройства своего ума, не может понять и оценить эти приобретения. Что теория знания ничего не приобрела в трудах Канта, что все жизненные процессы нисколько не стали яснее после Лейбница – утверждать это возможно лишь при отсутствии истинного и глубокого интереса к этой теории и к этим процессам и при вытекающем отсюда поверхностном изучении названных философов. *Отсутствие живой любознательности есть исключительный и единственный источник всякого отрицания философии*, – и такое отрицание всегда являлось результатом или временного, или местного понижения психического уровня, ослабления умственной силы. Оно может внушать тревогу за данные условия исторической жизни и за тех, кто живет в них, но оно не может и не должно внушать никаких опасений за самую философию. Если до сих пор у всех народов она развивалась в высшие моменты их духовной жизни, если ей предавались самые могущественные умы человечества, если она завершала всякую историю, а не являлась в начале ее, во время всеобщей грубости, то и мы, на основании двухтысячелетнего опыта, должны скорее усомниться в чрезвычайном превосходстве своих умственных сил, нежели думать, что в наше время история совершается как-то совершенно наоборот сравнительно с тем, как она повсюду и всегда шла до сих пор.

Но и, далее, признание неразрешимым не одного какого-нибудь вопроса, и притом имеющего частное значение, а всей совокупности вопросов, из интереса к которым возникла философия, – это также противоречит всему, что мы знаем об истории наук. Эта неразрешимость была бы таким же странным и необычным явлением, как если бы геометрия была возможна в некоторых побочных своих ветвях, но не-

возможна была бы в своем целом, наприм^{ер}, в ней существовала бы и разрабатывалась теория пределов или учение о конических сечениях, но не было бы возможности что-нибудь сделать в стереометрии или в тригонометрии. И мы думаем, что на усилия ограничить философию индуктивной логикой и опытной психологией следует смотреть не иначе, как мы смотрели бы теперь на мнение ученых времени упадка греко-римской цивилизации и зарождения христианской, которые стали бы утверждать, что, наприм^{ер}, геометрия закончена Эвклидом, так как позднейшие попытки Архимеда и Аполлония ввести в область ее изучения конические сечения остались совершенно безуспешными: совершенная непонятность их сочинений с ясностью доказывает-де, что эта наука навсегда должна ограничиться изучением фигур, чертимых с помощью циркуля и линейки.

Каждое сочинение, каковы бы ни были его внешние черты, сопровождается или не сопровождается оно эрудицией, – научно лишь настолько, насколько оно доказательно; поэтому что касается до трудов специально философских, то их научность обуславливается единственно силою суждения. И вот именно здесь – в этом центральном нерве всякой науки и всякой философии – замечается в текущей литературе какая-то тревожная расстроенность, что в особенности и побудило нас выше приписать отрицание философии простому понижению психического уровня в переживаемый нами момент исторической жизни. Эта расстроенность силы суждения проявляется в двух чертах: в неспособности сознать силу чуждой аргументации и в неспособности почувствовать слабость собственной*. Каждый, кто внимательно стал бы присматриваться к научным трудам

* По временам эта неспособность к суждению достигает поразительной степени: нам случилось прочесть в одном из журналов ряд публичных лекций, читанных в Петербурге, предметом которых служили явления зависимости физиологических функций от воли человека (напр^{имер}, произвольное ускорение своего кровообращения, к которому способны некоторые индивидуумы). Вообще все лекции отличались чрезвычайным интересом сообщаемых фактов, но каково же было наше изумление, когда в конце последней мы прочли заключительный вывод, что все эти факты с очевидностью показывают зависимость психических явлений от коркового вещества мозга.

нашего времени, в большинстве их заметил бы этот странный недостаток: обыкновенно всякого рода мысли в них высказываются и иногда развиваются, но почти никогда не обосновываются, и это до такой степени стало обычно, что уже почти не замечается. Если доказательства иногда и приводятся, то они имеют такую форму, что в них скорее можно видеть остаток литературной манеры прежнего времени, нежели живую логическую потребность пишущего: так мало в них осторожности, так торопливо и небрежно они делаются. Идеи высказываются и принимаются просто на основании большей или меньшей склонности к ним, которая обуславливается всем психическим строем и общим характером ранее воспринятых впечатлений и случайно усвоенных знаний. Древние сказали бы, что это «мнения, а не знания»; применяясь к понятиям нашего времени, мы скажем, что тут нет никакой доли науки. Так и знаменитое положение об исключительно опытном происхождении всех знаний, высказанное английскою философию, в применении к самой основе индукции – закону всеобщей связи причины со следствием – может быть выражено так: «Все знания, приобретенные путем индукции через простое перечисление, не обладают полною достоверностью; знание закона всеобщей связи причины со следствием приобретено путем индукции через простое перечисление (бесчисленные и частью бессознательные наблюдения над окружающею действительностью); однако этот закон отличается полною достоверностью и, в качестве основы индуктивной теории, есть источник достоверности всяких других знаний». Здесь различие в степени достоверности двух знаний, добытых (по предположению) одним и тем же путем, является первым примером беспричинного факта; и то, что он не возбуждает внимания и любопытства целой философской школы настоящего времени, свидетельствует о том отсутствии в ней любознательности, о котором мы говорили выше.

Из английских философов Д. С. Милль пользуется едва ли не наибольшим уважением и любовью в нашем обществе, и притом в его наиболее развитой и благородной части. Причина этого лежит в том, что вместе с некоторыми другими философ-

скими писателями Нового времени – Литтре, Ланге, а у нас Кавелиным – он образует очень характерную группу мыслителей, к которой так идут прекрасные слова: «*Video meliora proboque, deteriora sequor*»². В великом историческом процессе, через который проходит духовная жизнь Европы, они были избраны выразителями одного преходящего, но необходимого момента. Бессознательно и невольно для себя они выполняли эту миссию, но они несли ее как бремя. Проповедь того, что они считали истиною, не приносила им радости, и они чувствовали что-то почти враждебное к тем, кто за ними следовал. Окруженные европейскою славою, они лишены были того простого и светлого чувства, которое жило в самых убогих проповедниках противоположных идей, часто преследуемых и гонимых. На всей их деятельности лежит печать какого-то грустного стоицизма, и он исходил не из внешней борьбы, которая для них была легка и успешна: они являлись стойками не в отношении к окружающему обществу, но в отношении к той роли, выполнить которую им было суждено историею. Кто умеет чувствовать помимо прямого и точного смысла слов тот дух и то настроение, с которым писатель произносит их, тот увидит в их сочинениях первые симптомы того чувства, которое в последние годы с такою силою охватило европейские общества и обусловило принятие и распространение философии Шопенгауэра и Гартмана. Неустанные борцы против спиритуализма во всех формах его, они ни к чему не влеклись с такою силою, как именно к нему, ни к чему не прислушивались с таким вниманием, ни над чем не задумывались так часто; и то, что в течение своей жизни они так тщательно хоронили в себе, то они выразили под конец ее, не будучи в силах долее сдерживаться*.

* Литтре бросает позитивную философию для своего исторического словаря и считает его лучшим и самым долговечным своим трудом; Д. С. Милль пишет под конец жизни трактат о религии; Ланге почти каждую главу своей «Истории материализма» начинает с полемики против идеализма, а кончает отрицанием материализма; юрист Кавелин кончает тем, что личное нравственное совершенствование ставит выше общественно-политических улучшений (в «Задачах этики») и признает недостаточность утилитаризма. Чрезвычайно характерно также различие в его отношениях к проф<ессору> Сеченову и к Самарину.

Кроме названных писателей и более, нежели все они, читался у нас Герберт Спенсер; но он уже относится к совершенно иному течению философской мысли. Если Д. С. Милль служит только соединительным звеном между английскою классическою философиею и позитивною, то Спенсер является уже представителем позитивизма, к влиянию которого на нашу литературу мы и переходим.

IV

Позитивное направление философии, в противоположность всем ранее указанным, очень слабо выражено в наших университетах и академиях, но чрезвычайно сильно в литературе и в обществе. Оно почти не проводится *ex cathedra*³, а если и проводится, то большею частью не с кафедры философии; но ему посвящено множество отдельных трудов и статей в периодических изданиях, и что интерес к этим трудам был очень жив – на это указывает то, что и вся остальная наша литература в ее целом полна была веяний этого направления. С 1860-х годов оно почти безраздельно господствовало в нашей литературе и жизни и только в последние годы наполовину вытеснено другими влияниями. Заметим, что по своей жизненности, по влиянию на весь склад убеждений – нравственных, религиозных и политических – оно походит на влияние германской философии в 1840-х годах.

Мы сказали, что влияние позитивной философии уже наполовину вытеснено теперь; можно прибавить, что она вообще есть явление отживающее. Она ни в ком не вызывает более энтузиазма, и ее основные положения уже не распространяются, но только защищаются – верный симптом всякого упадка в сфере духовной жизни. Даже те, которые принимают на себя ее защиту, делают это вяло, без какого-либо напряжения сил, и, можно думать, из этих защитников многие готовы равнодушно променять ее на всякую другую философию. В большинстве случаев по самому характеру их писаний можно узнать в них философских индифферентистов, которые держатся

позитивизма не потому, чтобы он был им дорог, но вследствие простой косности, для которой неприятны всякая умственная работа и необходимо связанное с нею всякое изменение враз сложившихся убеждениях. Однако если не в среде писателей, то в массе общества еще находятся люди, искренно и глубоко убежденные в истинности этого учения.

Роковым для позитивной философии может быть вопрос: что именно она дает человеческому знанию, чего не дано помимо нее? Она отрицает философию, и она бесполезна для наук. И в самом деле, если смысл и цель ее заключается в том, чтобы показать бесплодность всякого умозрения, сосредоточить умственные силы людей исключительно на положительном знании, то она могла бы иметь значение лишь тогда, когда цель эта была бы достигнута. Но люди продолжают заниматься философией после появления позитивизма так же, как и до него. Значит, он не содержит в себе доводов, одинаково убедительных для всех. Явление странное: каждое открытие, каждое положение в сфере точного знания – в математике, в физике, в химии, признается тотчас же всеми людьми, не отвергается приверженцами ни одной философии; отчего же утверждения позитивизма принимаются не всеми? Быть может, восставая против философии, он сам есть только философия? Это подозрение оправдывается не одною историею его распространения, но и историею его возникновения. Он не только распространяется совершенно так же, как распространялась и всякая другая философия, – принимается одними и отвергается другими, чего никогда не бывает с точными науками, с «положительным знанием»; но и кроме того, если всякая истина, как в нем утверждается, должна быть результатом опыта и наблюдения, то можно спросить: на каких опытах и наблюдениях возведено здание самой позитивной философии? Очевидно, что это есть теоретическое построение, как и всякая другая философская система: О. Конт вовсе не был экспериментатором, а мыслителем, – и кто станет отрицать это? Но если так, то положительная философия содержит в себе и предсказание своей ближайшей судьбы; ее значение «взвешено и смерено» в ней

самой. И в самом деле, она утверждает, что все философские построения преходящи, потому не истинны. В отличие от точных знаний, они временно властвуют над человеческими умами и сменяются одни другими, чего не может быть с истиною доказанною, точною. Следовательно, как философское построение и она должна погибнуть в будущем, а с нею и все содержание ее, весь смысл все положения и требования. Но все в сфере знания, что исчезнет в будущем, не есть уже теперь истина. Итак, признание позитивизма ведет к его отрицанию, и это с безусловною необходимостью: если он есть лишь требование, то он лишен силы заставить признать себя, и потому бесплоден; если он есть теоретическое построение, то почему оно истинно, когда все другие ложны? Если он есть ограничение и обоснование знания опытом и наблюдением, то зачем он на первых же шагах изменил себе, не призвав опыт и наблюдение к построению самого себя?

Но, являясь так безнадежно запутанным с философской точки зрения, позитивизм и для точных наук остается также бесплодным, и в этом именно лежит его главный недостаток сравнительно с другими системами философии. На философию в ее историческом развитии следует смотреть именно как на *системы мыслимости* того, о чем или не может быть никакого точного знания, или о чем оно еще не явилось пока. Отсюда именно и вытекает ее глубокая жизненность в целом, несмотря на все умирания отдельных систем, и здесь же лежит объяснение того факта, что, не будучи сама точным знанием, она всегда стояла во главе наук, двигала, одушевляла и направляла их; наконец, в этом же следует искать объяснения и третьей особенности ее сравнительно с точным знанием, именно ее универсального значения в умственной жизни народов – того, что в каждый момент своего развития она являлась центральным фокусом, в котором сосредоточивались все духовные интересы, все искания и все надежды данного поколения людей. И в самом деле, есть многое, о чем человек не может иметь точного знания, но от мысли о чем (в какой бы то ни было ее форме) он не может отказаться. Мир в своем целом похож на сложный меха-

низм, который лежит перед человеком, но к которому он не может приблизиться. Он видит некоторые части этого механизма, но ничего не знает о других, и особенно внутренних, частях; не знает также и того, откуда он взялся и для чего существует. Спрашивается, может ли он воздержаться от всякой мысли об этих невидимых частях, этом неизвестном возникновении и неизвестной цели? Мы думаем – не иначе, как перестав быть человеком. Животное смотрит на такие механизмы безо всякого желания узнать то, что скрывается за видимыми их частями; но человек – ребенок, дикарь, философ – всегда что-нибудь думает о нем. Здесь проявляется вечное стремление всякого знания перейти в понимание, и оно вытекает из самого устройства психической природы человека, почему одинаково присуще и тому, кто посвятил всю свою жизнь науке, и тому, кто не знает самого слова «наука». Об этом-то неизвестном человек может образовать или ряд мыслей, которые не будут противоречить ни тому, что он замечает в видимых частях механизма, ни друг другу: это – *философия*; или он может вообще что-нибудь думать, представлять себе то или другое, несколько не связывая эти представления ни между собою, ни с тем, что он видит: это – *мнения* обыкновенных людей, чуждых философии и науки; наконец, он может будто бы совершенно ничего не думать: это – *позитивизм*. Но содержится ли в последнем какое-нибудь средство подавить в человеке эту потребность переходить от знания к пониманию? Нет, он есть лишь совет или требование удерживаться от ее удовлетворения. Приверженцы этой странной философии утверждают, что сумели достигнуть такой воздержанности, но мы им не верим, потому что продолжаем видеть в них людей. Показателем их тайных мыслей служит их неодинаковое отношение к тем, кто так или иначе высказывает свои взгляды на это неизвестное. Кто ничего не утверждает, тот ничего и не отрицает; и кто никак не думает о чем-либо, тот одинаково относится ко всяким мыслям о нем. Сохраняют ли позитивисты это абсолютное спокойствие, абсолютную одинаковость в своем отношении ко всем мирозерцаниям, каков бы ни был их характер? Нет, они не делают

этого – они с жаром отрицают одно и равнодушнее смотрят на другое, напр<имер>, равнодушнее смотрят на рационалистическую философию, нежели на теософию; значит, они думают что-то о неизвестном, но только не высказывают ни другим, ни даже друг другу своих мыслей. Из них каждый в отдельности есть в душе философ, но их философия по необходимости плоха, потому что они чуждаются общения, не высказываются и взаимно не проверяют своей философии. Она плоха и потому также, что образована почти бессознательно, что она – не плод тщательного обдумывания, но уродливый результат полузаглушенной потребности, которой не дано правильного удовлетворения. Весь смысл позитивизма сводится к этому: лучше плохо думать, чем хорошо, мысли бывают истиннее, когда они не развиты и не согласованы друг с другом, мышление правильное, когда оно бессвязно, – «credo, quia absurdum est»⁴, как сказал еще Тертуллиан полторы тысячи лет назад. Философия, напротив, принимает это непознаваемое и стремится дать удовлетворение этой потребности. С искусством и силою, какие только доступны человеческому уму, она строит систему мысли, в которую могут быть внесены поправки или которая будет даже заменена другою, но однородною по цели и по существу. В действительности все философии чрезвычайно близки между собою, родственны. Как треугольник и квадрат одинаково суть геометрические фигуры и существование одного нисколько не исключает истинности существования другого, так и предшествующие философии не упраздняются, но лишь дополняются последующими. В действительности – это одно царство человеческой мысли, в котором можно кое-что поправить или удалить, но в котором ничто не разрушено и не разруσιμο целиком. Те или иные люди охотнее живут умом в одних сооружениях этого царства, нежели в других, но это не уничтожает их истинности. Народы не обманывались в течение веков, входя в это царство мысли и преклоняясь перед ним; напротив, ими руководил верный инстинкт. Если оно и не окончательная истина, как всякое единичное знание в точных науках, то это – величайшее приближение к истине, и притом

обнимающее собою не частные предметы и явления, но самую вселенную, в которой лежат все они.

Кроме сфер, навсегда закрытых для ясного и точного знания, есть другие, куда оно еще не успело проникнуть. Это – области, в которые предстоит вступить точным наукам, но куда они не могут вступить, если будут идти наудачу, не руководясь никаким планом, никакою мыслью. Этот план, эта руководящая мысль может быть дана точным наукам опять только философией. Как в системе мыслимости, или, точнее, как в ряде таких систем, в ней уже исчерпаны все способы отношения человеческого ума к неизвестному. В каждый момент своего развития, каждый раз, когда она стоит перед неразрешенною задачею, точная наука повторяет в себе то положение, в котором всегда стояла философия: то же непознаваемое лежит перед нею; и в философии, в длинном ряде попыток проникнуть в неизвестное, она может выбирать тот способ, который ей кажется наиболее пригодным. Отсюда – великое методическое значение умозрительной философии. Она есть неистощимый арсенал, откуда всякая наука может брать нужное для нее оружие. Каждое открытие, которое предстоит сделать, всякое ожидаемое объяснение не может быть ничем иным, как только некоторою комбинациею человеческой мысли, отличною от тех, которые уже существуют: мысль должна совершить некоторое движение, чтобы уйти из того расположения идей и представлений, которое в ней есть, и принять другое, искомое. Этот переход должен быть совершен по какому-нибудь пути, и указание этих путей содержится в философии, которая ходила всеми путями. Не «Аналитики» Аристотеля и не дополнение, сделанное к ним Бэконом, но философия во всем ее целом есть великий двигатель всякой науки. Историки философии замечают, что ни Аристотель не руководился правилами силлогистики в построении своей философии, ученые – правилами индукции в своих открытиях и что вообще знание логики не дает средства двигать науку вперед. Но из общего хода человеческого развития мы знаем, что великим успехам в области точных наук всегда предшествовало великое развитие теоре-

тического мышления: эпохе александрийских ученых – развитие греческой философии, эпохе зарождения новой науки в XVI–XVII вв. – великое напряжение мысли в схоластической философии. Вовсе не в «Новом Органоне» Бэкона следует искать начала новой европейской науки, так как из истории ее с точностью известно, что его или не знали, или на него не обращали внимания творцы точных наук – механики, физики, астрономии и других: ее истинный корень лежит в схоластической философии – в том историческом питании и изоощрении, которое получила в ней предварительно человеческая мысль. Этим объясняется, почему народы новейшей формации между ними мы сами, наш народ, – ничего или почти ничего не можем сделать в науках, хотя творения Бэкона открыты перед нами. Это потому, что наша мысль исторически не воспитана, и именно в философии. Замечательно, что сам Бэкон не только ничего не сделал в науках, но даже не понимал открытий, сделанных его современниками; напротив, Декарт и Лейбниц – творцы новой умозрительной философии – дали великое движение и точным наукам: один – открытием аналитической геометрии, другой – изобретением дифференциального исчисления. Но и кроме того, они с величайшею проницательностью трудились над выяснением всех первых и основных начал физико-механических наук, которые с таким трудом возникали в их время, и дальновидность одного из них простиралась так далеко, что современный нам физик сказал о своей науке: «Будучи ньютоновской по содержанию, она является картезианской в своих стремлениях»*.

Все сказанное относится к методам как общим путям всякого исследования. Но для успешности последнего необходимы еще некоторые *предваряющие представления* о неизвестном, без которых невозможно приступить к самому исследованию его. Они обуславливают собою частные приемы изучения, его исходную точку и подробности. Нельзя ничего изучать, не имея совершенно никакого представления об изучаемом, потому что

* «Философия Декарта. Рассуждение о методе». Перевод и объяснения проф. Любимова. Спб., 1886. Предисловие.

с чего тогда начать его? И на какой вопрос оно должно ответить? Эти представления, которые невольно и непременно составляет всякий натуралист, приступая к опытам и наблюдениям, – в наиболее совершенной форме и, следовательно, наиболее могущие облегчить изучение, содержатся также в философии. Будучи цельным мирозерцанием, она может дать созерцание и того частного, что предстоит исследовать, потому что частное всегда отражает в себе целое, имеет нечто аналогичное в своем строении и в своей сущности с этим целым, никогда не может быть чем-либо совершенно разнородным с ним. Целое же в философии если и не познано окончательно, то обдуманно с такою тщательностью, которая дает возможно большее приближение к знанию: философия не есть сама истина, но то, истиннее чего ничего нет. И притом целое в ней обдуманно не только в форме общего представления; в ней содержится также выяснение и основных категорий, на которые оно распадается. Таковы, наприм<ер>, начала причинности и целесообразности. Что бы ни изучала точная наука, она всюду встретится с проявлением которого-нибудь из этих начал, и ясно, что понимание их может облегчить объяснение единичных явлений природы.

В этом-то методическом отношении позитивная философия бессильна, и это составляет главный недостаток ее – тот, вследствие которого, ничего не внося собственно в философию, она является бесполезною и для наук. Что в ней не содержится никакого нового открытия или объяснения природы, это общеизвестно; но в ней не содержится и никакого указания, которое могло бы способствовать таким открытиям, никакого объясняющего принципа для явлений и предметов. Умозрительные построения она отвергает, а метод опытного исследования, который хотя и не помогает открытиям, но по крайней мере объясняет, как они совершились, был установлен Бэконом и усовершенствован Ньютоном, Гершелем и Д. С. Миллем; О. Конт и его школа ничего не сделали в этом отношении. Далее, будучи сама теоретическим построением, и притом по своей трудности не могущим стать в уровень с другими системами философии, она ничего не может дать как образец и как пример. Что каса-

ется до предваряющих представлений, то, не будучи цельным мирозерцанием, она не может дать и их; эти представления, по ее указанию, должны быть лишь результатом точного исследования, которое, однако, как мы заметили, не может и начаться без них. Но что в особенности важно – это то, что в ней не изучаются категории мироздания, и потому она не может даже способствовать объяснению ни одного явления. Единственная категория, на которую она указывает лишь как на объясняющую явления природы, есть категория причинности. Но она уже ранее была разработана Декартом, а также отчасти (в другом смысле) английскою классическою философиею.

Единственная отличительная особенность позитивной философии заключается в известной иерархии, которую она устанавливает между науками, и эта иерархия есть именно то, что ни в каком случае не полезно, а может быть, даже и вредно для них. Ее основная мысль состоит в том, что человеческое знание должно восходить от простейшего к более сложному. Эта мысль высказана уже Декартом в его «Рассуждении о методе», и она справедлива и плодотворна именно лишь настолько, насколько установлена им: то есть *при изучении однородного*, одни части которого более просты, а другие более сложны, мы должны начинать с первого, как, напри^мер, в алгебре решению уравнений квадратных и со многими неизвестными должно, конечно, предшествовать решение уравнений с одним неизвестным и первой степени. Но О. Конт распространил это на все сферы познаваемого, соединил их в одну непрерывную, будто бы лишь усложняющуюся цепь бытия, а ряд наук, познающих это бытие, установил таким образом, что он начинается с математики и завершается социологией.

Это может иметь лишь два смысла: во-первых, тот, что для успешности изысканий в последующей науке нужно пользоваться тем, что уже добыто в науке предыдущей, *как истинною*; и, во-вторых, тот, что к более сложной науке приложимы методы простейшей. При том и другом смысле цепь бытия необходимо предполагается однородною – иначе очевидно, что ни методы, ни истины предыдущей науки не приложимы к

последующей. Но если допустить первый смысл установленной О. Контом иерархии, то самая разработка сложных наук должна представиться совершенно невозможною, потому что к более сложной науке, очевидно, приложимы не начальные истины науки предыдущей, но истины завершающие – иначе был бы ряд наук, а не иерархия, в которой основание последующей науки покоится на вершине предыдущей. Так именно и понимается отношение наук, что можно видеть, наприм<ер>, из слов, сказанных на съезде германских натуралистов одним физиологом (если не ошибаемся, Гельмгольцем): «Организм и его явления есть только *необыкновенно трудная* механическая задача». Но уже относительно простейшей науки – математики известно, что достижение ее вершин столь трудно и в этих вершинах она становится столь сложною, что ученые, работающие в одной ее области, не знают и не в силах следить за тем, что совершается в других областях; а между тем совершенно неизвестно, какая именно из завершающих областей предыдущей науки может стать пригодною для разработки последующей, и, следовательно, они должны быть в равной мере изучаемы все. Ясно, что тот, кто захотел бы разработке более сложной науки предпосылать усвоение содержания всех простейших, вечно кончал бы только началом, то есть он постоянно только усваивал бы и никогда не разрабатывал, вечно учился бы и никогда не научал. Таким образом, при этом понимании иерархии наук никакой прогресс в последних невозможен.

Если же принять второй смысл, то требование О. Конта, будучи во всяком случае бесполезно, в одном случае может быть вредно. И в самом деле, сказать, что психология, наприм<ер>, должна разрабатываться при помощи физиологии и ее методов, – это значит не оказать услуги ни физиологии, ни психологии. Первой оказана была бы услуга лишь тогда, когда мысль О. Конта сопровождалась бы указанием какого-нибудь средства ускорить разработку физиологии нервной системы, которое могло бы проникнуть в те тонкие и глубокие области органических отправления, где они переходят в психические. Но такого средства О. Контом не указано, а без него эта наука

продолжает развиваться и теперь так же, как она развивалась и до него, как если бы его философии никогда не появлялось. Что касается до психологии, то требование позитивной философии в отношении к ней сводится к тому, чтобы были оставлены особые приемы изучения, существующие в этой науке, то есть что психологи должны примкнуть к физиологам. Это, конечно, должно увеличить число последних, но и то лишь неискусными и непривычными рабочими, – но что может произойти от этого для самой науки? если психологические явления действительно сводимы к физиологическим, то естественным своим развитием, независимо от указаний О. Конта, она дойдет и до объяснения последних; но возможно и другое предположение. Однородность явлений психических и физиологических или, возвращаясь к общей мысли О. Конта, непрерывность ряда всех существ и явлений природы, различие их лишь большею или меньшею сложностью – это есть вопрос, который, конечно, разрешится только с завершением науки. Но что, если этой непрерывности не существует и мироздание распадается на категории, не сводимые одна к другой? Что, если явления и предметы, изучаемые простейшею наукою, окажутся лишь побочною опорой для явлений и предметов, изучаемых более сложною наукою, отнюдь не захватывающею их *сущности*? Тогда указания О. Конта уже не останутся только бесполезными, как в первом случае, но явятся величайшим тормозом для развития науки, какой только когда-нибудь появлялся в истории; а все успехи наук, столь быстрые и вызывающие всеобщую радость, окажутся хотя и действительно «увеличением количества человеческих знаний», но, однако, знаний лишь мнимой важности, только закрывающих собою истинный предмет и истинные задачи каждой науки. В этом случае физики, решающие «необыкновенно трудную задачу организации и жизни», или физиологи, работающие над вопросами психологии, будут походить на того, кто, желая уразуметь сущность осадного искусства, стал бы изучать цвет, в который выкрашены башни осаждаемой крепости, форму камней, из которых сложены ее стены, и состав почвы, на которой она стоит. Результаты такого изучения

в одном смысле были бы очень успешны, потому что давали бы все новые и новые сведения, но в другом смысле они были бы и совершенно бесполезны. До сих пор, по крайней мере, все великие успехи физиологии по отношению к явлениям психической жизни носят именно этот двусмысленный характер*.

V

То влияние, которым теперь наполовину вытеснена позитивная философия, принадлежит системе Шопенгауэра и Гартмана. Начало этого вытеснения у нас следует отнести ко времени появления рассуждения Вл. Соловьева: «Кризис западной философии; против позитивизма» (Москва, 1874), которое вызвало большое движение в нашей литературе. Всякий, кто помнит то время, вероятно, согласится с нами, что смелое и открытое нападение молодого ученого на деспотически царившую систему показалось для многих каким-то освобождением и облегчением. Интерес к философии, который всегда был присущ нашему обществу, но был подавлен дотоле позитивизмом, снова почувствовал свою свободу, свое право на жизнь; поняли и приверженцы позитивизма, что их авторитет поколеблен и влияние, которым они так долго и безраздельно пользовались в нашей литературе и жизни, ускользает от них. Более, нежели кому другому, Вл. Соловьеву следует приписать эту честь возрождения философских учений и интересов в нашем обществе. Но, как и всегда, к сожалению, это возрождение не пошло самостоятельным путем, но только отразило в себе то движение, которое началось в то время в западноевропейской литературе: именно пессимистическая философия, получившая тогда широкое распространение в Европе, получила господство и у нас.

Уже самый характер распространения пессимистической философии осуждает ее как таковую и заключает в себе верные

* Мысль эта (особенно в применении к физиологии) с замечательною тонкостью выяснена *Н. Н. Страховым* в «Основных понятиях психологии и физиологии». СПб., 1886.

признаки того, что ее господство не будет продолжительно. То, что обусловило ее принятие, была не объективная истинность ее, но соответствие с тем особенным настроением, которое в последние годы охватило европейские общества, не в разуме, но в чувстве лежит источник ее господства. Как противовес узкому самодовольству позитивизма и его самоуверенности, она может быть даже плодотворна. Скажем более: если бы она не спустилась так быстро в слишком низменные слои читающего общества и не получила там особую и неприятную окраску, она могла бы возбудить большие ожидания, хотя все-таки не в собственном философском отношении. Страдание есть то, что очищает человеческую душу и углубляет ее, и оно необходимо во все времена, в наше же более, нежели в какое-либо другое; но это очищающее и углубляющее значение имеет страдание очень сильное и истинное. Оно есть именно то, что обрывает речь и заставляет человека уходить в себя; здесь, в своем внутреннем мире, он не живет более для других, и здесь же раскрываются его силы и пробуждается истинное и глубокое понимание религиозной и нравственной жизни. Но с этим углублением и просветлением человеческого духа не имеет ничего общего столь распространенный теперь пессимизм, который более всякой другой философии шумлив и суетен. Мы, впрочем, должны огорчиться, что этот упрек почти должен быть снят с Шопенгауэра* и отнесен всецело к Гартману. Во всяком случае тот недостаток, который присущ позитивной философии, повторяется и в пессимистической: она не способствует лучшему пониманию природы и жизни, а только набрасывает на них покров, вытканый в субъективном духе и здесь получивший окраску сомнительного достоинства. То, что есть истинно ценного в ней, – это различие нескольких видов причинности, и оно должно остаться неприкосновенным в философии. Важны также объяснения

* Хотя неприятно действуют его вечные жалобы на то, что в университетах и в обществе его философия не принимается, и в значительной степени вытекающая отсюда ненависть к идеализму Фихте, Шеллинга и Гегеля, который господствовал в его время в Германии. Здесь, думается нам, уже сказалась жажда шумливого успеха, который теперь с таким избытком окружает и, конечно, более всего губит его философию.

некоторых явлений художественного и религиозного творчества, впрочем, только одного определенного типа.

VI

Истинная задача философии состоит в том, чтобы дать человеку правильное понимание действительности. Поэтому с наукою у нее одна цель, и только приближаются они к этой цели с двух противоположных сторон; но, приближаясь, — они необходимо сближаются. Бесплодна та философия, которая не идет навстречу науке, и едва ли нужна человеку (не говорим о практических потребностях) та наука, которая не стремится приблизиться к философии. Сознание единства их цели, общности интересов есть необходимое условие для правильного развития умственной жизни всякого народа; но для этого необходимо также и сознание того, что есть различного в приемах, с помощью которых они трудятся над одною и тою же задачею.

Если вдуматься глубже в смысл того, что дает наука, то можно заметить, что она дает только *описания*. Всякий раз, когда она думает, что объясняет предмет или явление, она, в сущности, только обставляет прежнее описание еще другими описаниями, которые касаются или чего-нибудь такого, что ранее не было замечено в изучаемом, или его отношения во времени и в пространстве к другим предметам и явлениям. Как бы далеко ни шел ее анализ, он только дробит на мельчайшие и мельчайшие элементы действительность и, таким образом, все глубже и глубже проникает в нее своим описанием. Но и последние мельчайшие элементы, открываемые анализом, всегда лежат к науке своею наружною стороною. Проникнуть за эту сторону она не в силах — и именно потому, что она есть описание. Никогда и ни в чем наука не знала и не знает внутреннего содержания явлений.

Таким образом, задача ее состоит в том, чтобы во всех направлениях (и в том числе в направлении глубины) распространять *знание действительного*, знание точное, определенное и истинное. Задача же философии состоит в том, чтобы

объяснять это *узнанное*, давать понимание его. Наука теснее и теснее примыкает к оболочке природы, исследуя все изгибы ее; философия стремится к этой же оболочке, навстречу науке, но лишь изнутри содержимого. Она объясняет науке, почему эта оболочка имеет то или другое устройство, тот или иной изгиб, – потому что она рассматривает самое содержимое, которое движениями своими формирует ее.

Наука касается внешнего, а философия внутреннего оттого, что орудием первой являются органы чувств, которые всегда обращены к наружному, а орудием второй является мысль. Последняя так же не может коснуться внешнего, как органы чувства – внутреннего. Наука поэтому есть знание опытное и наблюдательное, философия – умозрительное; думать, что между ними есть антагонизм, – значит думать, что или философия должна объяснить не истинно существующее, или наука должна чуждаться истинного объяснения.

Объяснение не только целой природы, но каждого единичного предмета и каждого единичного явления есть и может быть только метафизическое. Возьмем самое простое явление – падение тела. Не замечаем ли мы, как это явление, по мере того как в него вдумывался человек, раскрывало все больше и больше свое содержание, становясь все интереснее и загадочнее? Сперва оно было единичным явлением, не возбуждавшим ничьего внимания; Галилей подметил его закон, то есть дал описание, распространяющееся не на одно, но на все падающие тела, и притом определяющее форму линий, которые описываются различным образом падающими телами; Ньютон открыл, что это падение есть только частный случай всемирного тяготения, то есть простое, по-видимому, явление, выражаемое словами «тело падает», разложил на два – силу и вещество и дал описание их взаимодействия. Но тотчас, как только дано было это исчерпывающее описание, в науке поднялись споры о том, есть ли сила тяготения только свойство вещества или она имеет наружное по отношению к нему положение, может ли она действовать через расстояние и проч. Смысл этих споров, в которых принимали участие Ньютон, Лейбниц, Гюйгенс и

почти все выдающиеся умы XVIII в., очевидно, состоял в том, чтобы дать метафизическое объяснение явлению, отнюдь не понятному, но лишь описанному Ньютоном.

Возьмем еще пример, полнее объясняющий указанное отношение между наукою и философией. Ряд наук, изучающих органическую природу, как бы далеко ни простирались их успехи, только дальше и дальше проникает описанием во все многообразие органических форм и процессов. Достаточно называть имена зоологии и ботаники, анатомии и гистологии, палеонтологии и эмбриологии, чтобы понять, что все эти науки суть не более как в различных направлениях движущиеся описания и смысл именно описания имеют самые, по-видимому, удивительные открытия, которые совершены в этих науках в наше время, например, открытие атавизма, перемежаемости органических форм, партеногенезиса. И всякое дальнейшее развитие этих наук будет только увеличивать наше удивление перед природой, раскрывающей свои глубочайшие изгибы перед нашими взорами, но не будет нимало способствовать пониманию ее. Это понимание может быть дано только метафизикою, и именно теми двумя ветвями ее, которые изучают причинность и целесообразность. Всякое происходящее изменение есть или проявление первой, или проявление второй.

Внесем в органический мир понятие причинности (механически действующей) как его внутреннее содержание и станем развивать это понятие; по прошествии некоторого времени мы заметим, что раскрытые тезисы этого понятия не совпадают с теми формами, которые присущи органическому миру и его процессам, — частью не укладываются в них, частью не наполняют, и вообще не соответствуют им. Как на пример такого несоответствия укажем на следующее: в причинном процессе производимое равно производящему, потому что всякий избыток в нем явился бы беспричинным возникновением. Производимое явление есть или сама причина, но только дробящаяся, или соединение нескольких причин в одно: так, всякое данное совершившееся движение может распасться на много незначительных движений (например, в случае удара и теплоты, им

развиваемой) или, напротив, – многие незначительные движения могут сложиться в одно большое. Таким образом, возрастание последующего в сравнении с предыдущим чуждо причинности – есть то, к чему бессильна она. Вторая особенность причинного процесса состоит в том, что ему чужда определенность, и притом как в нем самом (процессе), так и в результате его (вещь): всякое внешнее влияние может изменить его, в слабой или в сильной степени – безразлично, и от этого он не прервется; то есть он пассивен в отношении к внешнему действию, а с тем вместе и результат его – вещь, его заканчивающая, может явиться такою или иною.

Обе эти особенности отсутствуют в органическом мире: в своем целом, как совокупность некоторых форм и процессов, органический мир в последующие времена все возрастает, переходя и в том и в другом отношении от простого к более сложному; в исходной точке процесса он является движущеюся клеточкою, на конце его – двумя царствами органических существ. И далее, процесс этот – определенный: внешние условия лишь незаметно отклоняют его, и всякий раз, когда их действие становится очень сильно, он прерывается – явление совершенно неизвестное в области причинности, где ни малейшая часть движения не пропадает, но лишь соединяется с другою, *сохраняясь* в ней. Кроме того, самые результаты органических процессов имеют также определенную форму: эмбриологический процесс, наприм<ер>, в каждой стадии своей образует одну определенную черту и в своем целом образует строго определенную форму рождающегося организма. Итак, удалим из органического мира понятие причинности, как не соответствующее ему, и заменим его понятием целесообразности. Если мы станем раскрывать это понятие, как раскрывали прежде понятие причинности, то увидим удивительное соответствие его форм формам органического мира: каждая особенность этого понятия, каждый росток его стремится к какой-нибудь особенности органического мира, наполняет ее, как содержимое свою форму, и, достигнув своего окончательного развития, замыкается, не разрывая ее, – не нуждаясь

ни в чем, кроме того, что уже есть в органическом мире. И чем далее в своем целом будет раскрываться это понятие, тем плотнее оно примкнет к его внешней оболочке, наполнит все изгибы ее: к той самой оболочке, к которой уже примкнула наука, но примкнула только с другой стороны, наружной. Так, в частности, что касается до определенности органических форм и процессов и до их возрастания в последующие времена, то все это (необъяснимое с точки зрения причинности) является естественным и необходимым выражением всякого целесообразного процесса, где бы и в чем он ни происходил. Так как цель осуществляется только в последнем моменте этого процесса, то только один этот момент, сравнительно со всеми предыдущими, и является вполне развитым – таким, к которому потом уже ничего не прибавится; на пути же к этой замыкающей форме процесс распадается на ряд стадий, из которых каждая последующая будет сложнее предыдущей и именно сверх всех черт осуществляемой цели, уже выраженных в ней, будет принимать еще какую-нибудь новую черту формирующегося существа. И так как это существо уже предопределено заранее, то и всякое движение в процессе может быть только определенным, потому что стремится к осуществлению определенной черты. Весь же процесс явится распадением простого и однородного на своеобразные и целесообразные части (органы). Это – то, что принято называть дифференцированием, и если целая школа биологов, произнося это слово, все еще не видит в органическом мире целесообразности, то это показывает, что из-за ослепления предвзятою теориею люди могут не понимать даже собственных слов, которые для них являются как бы иностранною речью, потому что дифференцирование есть целесообразность – распадение общего понятия, в котором выражена цель, на понятия более частного значения и, наконец, на представления, которые все содержатся в нем, но только в скрытом состоянии. Дифференцируется государство, целесообразно создаваемое человеком, – но не дифференцируются ни волны в океане, ни песок, носимый ветром в пустыне.

Изю всех философских систем две, нам думается, могут наиболее способствовать пониманию природы как наиболее богатые метафизическими понятиями – системы Аристотеля и Лейбница; и то обстоятельство, что из всех философов эти два до сих пор менее всего сосредоточивали на себе внимание нашей литературы и нашего общества, объясняется тем, что до сих пор мы более питали чувство общего уважения к философии, нежели вникали в смысл ее. Мы стояли перед храмом, но не входили в него. От этого нас более привлекали внешние черты философских систем с их красотой и гармониею, нежели гибкость ее внутренних понятий.

СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Н. Страхов. Философские очерки. С.-Петербург, 1895

I

Сборник философских очерков, изданных г. Страховым в нынешнем году, завершает собою длинный ряд книг, содержащих наиболее обработанное изю всего, что было им написано от дней нашего «возрождения», в первые годы царствования императора Александра II, и до предшествующего года, когда мы потеряли его сына¹. На протяжении двух царствований и почти полувека зная, которое нес этот писатель, оставалось то же; и в то время как даже такие упорные борцы, как покойный Достоевский, иногда поддавались в сторону противоположных знамен, – автор, на книге которого мы останавливаем внимание читателей, ни одним жестом, никаким движением и ни в какое время не выразил намерения в чем-либо отделиться от того, с чем он ранее был слит, или с чем-нибудь сблизиться, от чего он был когда-нибудь отделен. Совершенная неизменяемость его духовного образа и неподатливость литературного положения есть его отличительная особенность.

Почти единственным исключением из этого* является его отношение к Дарвину. Подобно тому как самый важный труд этого английского ученого «*Origine of species*» был переведен на русский язык С. А. Рачинским, некогда профессором ботаники в Московском университете и теперь смиренным учителем Татевской школы, инициатором церковного направления в народном обучении², – так провозвестником этой теории в нашей литературе, быть может первым и, во всяком случае, очень ранним, был г. Страхов, впоследствии наиболее упорный и влиятельный борец против нее**. Можно подумать, что в первый момент ее появления г. Страхов был увлечен великими ее обещаниями и подкуплен обильным фактическим материалом, на какой она опиралась. Позднее, и очень скоро, ее логические недочеты яснее выступили, и, ничего в фактах Дарвина не отвергая, со многими его предположениями соглашаясь, он, как и другие серьезные критики, отверг, однако, его теорию в целом, как объяснение недостаточное относительно своего предмета (органический мир), как объяснение неверное в применении даже к отдельным важнейшим чертам органической жизни. Вместе с монументальным трудом Данилевского³ статьи г. Страхова наиболее имели влияния на установление истинных взглядов на эту теорию в нашем обществе, и как прежде трудно было встретить человека, который при ее изложении или упоминании высказывал бы какую-нибудь оговорку, так теперь трудно встретить человека, который бы этой оговорки не делал.

За этим небольшим исключением, мы находим взгляды г. Страхова не изменившимися на протяжении почти полувека, и

* См. его «О методе естественных наук и значении их в общем образовании». Спб., 1865, с. 187 и след. Отзыв, здесь высказанный о дарвинизме, свидетельствует, с каким живым интересом встретил г. Страхов появление теорий английского ученого, и если впоследствии отношение его к ним изменилось – это совершилось потому только, что возникшего энтузиазма не могло поддержать последующее размышление.

** Господин Рачинский не высказывал печатно своего позднейшего взгляда на дарвинизм, но не будет нескромным, если мы здесь сообщим, что из устных бесед его мы имели случай узнать, что он также не разделяет более теории Дарвина.

если статьи свои, написанные 20–30 лет назад, он издает теперь, то потому, что они ничего не утратили в его глазах в своей истинности; но общество, которое было неблагоприятно настроено для принятия его идей в момент их появления, изменилось до неузнаваемости и в лице «детей» своих, в <18>80–<18>90-е годы, с живым вниманием приветствует писателя, которого не хотело знать в лице «отцов», в <18>60–<18>70-е годы.

Таким образом, заметный, если не замечательный успех, выпавший на долю писателя, которого мы указываем читателям, есть последствие смены мировоззрений, переживаемой нашим обществом и, кажется, обществом целой Европы. Мы указали на дарвинизм как падающее воззрение на природу органическую; но и позитивизм как воззрение на строй человеческих знаний, на задачи человеческого ума, и попытки Бокля объяснить историю влияния внешней природы и свести ее сущность на прогресс знаний⁴ – или похоронены безвозвратно (как последняя), или почти похоронены (как позитивизм с его разветвлениями). Нет к ним более внимания; нет чуткого прислушивания к тому, что еще говорится в пределах этих теорий или в их направлении; и это важнее, нежели то, что они не имеют авторитетных защитников и продолжателей. Угасла самая надежда что-либо существенное узнать из этих теорий или что-нибудь драгоценное приобрести через них, угасла эта надежда в тысячах незаметных умов – вовсе не писателей только, не ученых кафедры, но самого общества. И вот отчего, если бы явилась даже талантливая попытка поднять снова эти учения, она, мы в этом убеждены, не имела бы теперь никакого успеха.

И между тем творения, напр<имер>, Кеплера или Ньютона – живут; даже в зыбкой философии – Платон и Аристотель продолжают изучаться; Декарт переводится и комментируется даже специалистами-физиками; Кантова теория познания служит направляющею основой при производстве опытов (Гельмгольц); Вико, Гердер, Гизо уважаются не менее теперь, чем когда они создавали свои исторические объяснения. Все это были люди *объективного* знания. Так или иначе веря, на то или иное надеясь в скрытой глубине сердца, эти умы не допуска-

ли своих надежд, своей веры до вмешательства в объяснения мира. Дело познания *потом* может совпасть с моею верой; *теперь*, пока я познаю, оно к ней не направляется мною, но идет к *своим* целям, *своим* методом, *ему* свойственными путями. Вот почему классификация причинных основ мира, какую мы находим у Аристотеля, с интересом рассматривается и нами; механические требования картезианства обязательны и для теперешнего физика; Вико помогает и новым ученым при разборе исторических памятников.

Этой объективности вовсе не было у основателей теорий, при падении которых мы присутствуем, и вот откуда – их недолговечность. Теории эти не были продуктами *искания*, в своем содержании они не суть *знания* о мире, но – концепции (идеи) мира, его *представления*, вытекшие из настроения истории в момент их появления. О. Конт признавался, что он никогда не читал Канта, то есть он не *искал* ранее, чем нашел. *Где, как* строить мировоззрение – это было уже ранее самого построения определено моментом веры, в которой никогда не колебался французский мыслитель. На *месте*, этою верой определенном, в *стиле*, этою верою продиктованном, он воздвиг философское здание, построил систему понятий, утверждений, отрицаний, в которой его *вера*, субъективная и никогда не высказанная, жила наиболее привольно, наименее связано, – где никакому ее движению, ни одному самому смелому предположению не встречалось преград. Что за дело до того, что она была пуста от всех обычно понимаемых элементов веры: религии и всего, что из нее вытекает или к ней подготовляет сердце? Она была *вера* по законам своего образования, по способу возникновения, наконец – по слепому невниманию к возражениям, какие могли бы быть против нее представлены. Это была вера не о потусторонних вещах, как всякая, – и эта вера истинному знанию не может мешать*; но – о вещах *этого*

* Нам всегда казалось, что вера в законных своих пределах, то есть касаясь потусторонних вещей, не только не связывает прогресс науки, но, вследствие одной редко замечаемой ее особенности, даже ему способствует. Мы позволим себе повторить здесь мысли об этом, высказанные несколько лет назад: «*Отчетливость* мышления, строго отделяя известное

от неизвестного, повсюду выделяет грань между ними; и так как известное обыкновенно находит свое объяснение и для себя опору в неизвестном, то отсюда вытекает постоянное стремление ума все глубже и глубже спускаться в область неизвестного. Заметим, что это постоянное сознание грани между известным и неизвестным есть условие, без которого невозможно развитие науки, – а между тем оно встречается не часто. Обыкновенно не сознают отчетливо этой границы, и неизвестное считается уже известным; это совершенно убивает науку, потому что убивает источник ее – стремление узнать неизвестное: нет интереса исследовать то, что кажется уже известным. Вот почему верующая религия со своею нетерпимостью и преследованиями гораздо менее повредила развитию науки, чем *верующий скептицизм*. Первая не скрывала, что есть многое необъятное, что остается неизвестным для человека. Поэтому эпохи ее господства отмечены в истории великою пытливостью духа и плодотворными открытиями. Вся греческая философия выросла и развилась в глубоко религиозное время: Ксенофан, Эмпедокл, Парменид, Анаксагор, Сократ и ученики его – все они жили в эпоху, чуждую распущенности религиозного чувства, и потому-то именно во всей жизни и каждом слове их чувствуется такая удивительная любознательность, и любовь их к трудно доставшейся истине была так велика, что некоторые из них ради нее решались оставить отечество, а другие приняли смерть. Также и в Европе эпоха высшего развития религиозного чувства отмечена великими системами схоластической философии – Альберта Великого, Дунс-Скота, Роджера Бэкона и многих других; а полное одушевление, реформационное обновление церкви тотчас же за собою вызвало основание новой философии и почти всех наук, какие существуют теперь: Декарт участвовал в 30-летней войне, ему современником был Бэкон, а учениками первого были Гейлинкс, Мальбранш, а второго – Локк и Ньютон, все одинаково проникнутые высокой религиозностью. Напротив, то, что мы называли *верующим скептицизмом*, – эта уверенность, что в неизведанных еще областях бытия нет ничего отличного от того, что есть в изведанном, всегда порождала умственный индифферентизм, при котором невозможно плодотворное изыскание в науке. Так, все эпохи религиозного упадка были вместе и эпохами умственного падения. Когда пала греческая религия, с нею и философия выродилась в бесплодную александрийскую ученость; когда с Возрождением временно пал католицизм, пала и схоластическая философия, а новая, замечательно, не зародилась – она, как сказано уже, появилась только после Реформации. Это сопутствование двух фактов – сильной религиозности и духа научного изыскания, продолжавшееся в течение всей истории человечества, заставляет предполагать между ними причинную связь, и мы ее находим в постоянстве сознания при религиозности *границы*, отделяющей известное от неизвестного. Оно, это сознание, лежащее следствием в религии и причиною в науке, делает то, что наименее религиозные народы и эпохи суть вместе и наименее способные в науке, и обратно – наиболее религиозные обнаруживают наибольшее творчество в ней» («Розанов В. В. > О понимании: опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886, с. 696 и след.).

мира, о характере их сложения, происхождения, конечного назначения; и с силою истинного суеверия, обычного предрассудка она связывала прогресс ума, делала невозможным какой-либо успех ведения. Так, известно, что область астрономии Конт хотел ограничить исследованием Солнечной системы, за границами которой, по его настойчивому предположению, не было ничего, кроме ее же повторений. Достаточно указать на изучаемое теперь движение самой Солнечной системы в межзвездных пространствах, чтобы оценить, как могла бы отозваться на науке его попытка не допускать направляться телескоп за границы нами обитаемого мира.

Таким образом, долговечность этих воззрений, не опиравшихся на объективные данные, могла быть продолжительна лишь в меру достоинства заложенной в них веры. Есть виды веры более долговечные, чем наилучшие философские концепции, и почти так же прочные, как простые реальные знания (самые прочные из приобретений ума). Такова вера в бессмертие души, в Бога, в загробное существование. Очень мало есть объективных данных, которые поддерживали бы эту веру; очень трудны философские соображения, на которые она могла бы опереться. Но в самом существе этой веры есть столько достоинства, что, и не поддерживаемая ничем, иногда погребенная под градом насмешек, скептицизма, опровержений, — она вновь и вновь с неудержимою силой возрождается в человеке. Как вы ни сгибайте дерево, направление его роста останется вертикальным; мы не знаем — почему это; не догадываемся — для чего; мы даже догадываемся, что, стелясь по земле, — оно с бóльшим удобством переносило бы свою тяжесть; и, однако, вопреки всем данным, наперекор догадкам, обманывающая ожидания, — его ствол есть вертикаль или стремится стать таковою. Человек верит в некоторые истины; и, без сомнения, есть реальное для этой веры основание, но только оно скрыто от него, — как и дерево, поднимаясь к солнцу, ничего не знает об астрономическом значении этого светила.

Без сомнения, именно ничего реального, хотя бы и скрытого, не было под верою, которая была общим родником концеп-

ций, о которых мы упомянули. Они были продуктом частного и местного духовного настроения, какое переживала Европа от <18>48 года до <18>80-х годов, и с его ослаблением – падают. Чтобы на какой-нибудь детали показать, как мало жизнеспособности было в них, мы остановим внимание читателей на двух воззрениях на историю, высказанных Боклем и которые в свое время казались чем-то аксиоматичным.

Это – воззрение, во-первых, что человек в своей истории управляется внешними обстоятельствами, в частности – физической природою; и, во-вторых, что прогрессирующая часть этой истории сводится к накоплению знаний.

Вот – Италия; и как перед нашими глазами лежит она, так ее видел и Бокль, и еще бездну читал о ней, о чем сообщил в списке трудов, несколько тщеславно приложенном в начале его книги. Под тем же вечно синим небом, на той же суглиняковой почве, в виду тех же Апеннин, извергающего Везувия, далекой Этны, на берегах тех же маленьких речек и великолепных заливов рос и «железный» Рим, и дышащая негой, красотой, бессилием эпоха Возрождения; что замечательно особенно – это то, что, «возрождаясь», она имела даже для себя прототипом «железный» Рим, пыталась, усиливалась, гася в себе всякую оригинальность, повторить его в языке, манерах, всем прочем: перестать быть в себе и воссоздать его. Ради точности воспроизведения в лице некоторых даровитейших людей, как Лоренцо Валла, она даже возвратилась к язычеству. Но вот что поразительно: в результате этих усилий обезличиться, умереть в себе – получилась оригинальнейшая во всемирной истории эпоха, с глубоким самостоятельным значением. А главное – эта эпоха, вопреки своему язычеству, латыни своих поэтов и прозаиков, республиканским попыткам (Коло ди Риензи), гораздо менее напоминала собою воспроизводимый образец, нежели как напоминала его далекая, под угрюмым севером выросшая Москва, едва умевшая прочитывать самое слово «Roma» и, вероятно, произносившая его с каким-нибудь славянским акцентом: та же религиозность и та же внешность в религиозном, то же «собираение земель»,

то же преобладание нужды над удовольствием, заботы над отдыхом, обычая над личной инициативой; то же молчание уст при безустанной работе рук. Небо Москвы и Рима, небо Италии за 400 лет до Р.Х. и ее же небо в 1400–1500 гг. после Р.Х. – мы это видим, это кричит нам, что человек не продукт природы, что природа на историю его имеет минимальное, исчезающее сравнительно с другими условиями, влияние. И этого не видел Бокль, когда угрюмо тупо писал свои рубрики: «влияние климата», «влияние почвы», «влияние общего вида страны» – и подтверждал мысли, очевидно нелепые, бесконечными выписками из книг, которыми обложил себя.

Христианский мир – и дохристианский: как мало *знаний новых* принес Спаситель, и тех Он не доказал, только умер за них или за что-то, – что об этом справляться, если это не были знания! Что замечательно, Бокль сам в пространнейшей выписке доказывает, что в Евангелии не содержится никаких более новых утверждений, чем какие ранее высказывали уже Сенека, Цицерон, Сократ и другие. Он это пишет все; писал чернилами, как и я теперь, и, вероятно, что-нибудь думал в это время. Мир христианский и дохристианский – ничего общего! Полная противоположность, совершенное перерождение в учреждениях, наклонностях умственных, порывах нравственных! И в точке этого великого разделения – никакого нового знания, никакой реальной истины, расширявшей горизонт человеческого ведения. Как это ярко, как это многозначительно, как многомысленно – для нас; но луч света, снопы сияния солнечного напрасно били в помутневшую ретину историка Англии, и он видел перед собою не мир, не жизнь, не историю, но только тупые книжные построения своего заламаншского учителя (Конта).

Вот факты; они ярки, они несомненны. И несомненно же и ясно, почему, едва умерло поколение людей, частным и местным продуктом настроения которого явились эти учения, – они потеряли какую-нибудь значительность. Повторяем – они не опровергнуты; нет и не было нужды в их пространном опровержении. Чтобы подорвать Аристотеля –

нужно было, чтобы родился Декарт; но Бокль – он был уже стар, он был уже архаичен во времена Аристотеля, с точки зрения его четырех видов причинности; он был опровергнут гораздо ранее, чем взялся за перо, и только не был сам внимателен к тем опровержениям, которые были высказаны против его теорий высокими и точными умами, ранее его размышлявшими об истории человечества.

II

Мы сказали, что все господствующие воззрения, царившие в умственной жизни Европы от <18>48-го до <18>80-х годов, были продуктами веры. Можно объяснить это и до известной степени оправдать, сказав, что эти десятилетия были временем глубокого и освежающего сна для целой Европы, в который она впала после чрезмерных напряжений мысли, какие пережила от Канта и до Гегеля, от революции <17>89–<17>93 годов и до социальных порывов <18>48 года. Дарвинизм в сфере объяснений органической природы, позитивизм в сфере логической и механизм в понимании целой вселенной – это была временная и великолепная нелепость, которой отдалась Европа, чтобы не утруждать своей мысли соображениями более тонкими, размышлениями менее поверхностными; это был необходимый отдых ее Александрийского периода после чрезмерных напряжений творческого и оригинального ее гения. Замечательно, что в то время, как в области философской устанавливалось простое сочетание «точных наук», параллельно с этим в отдельных отраслях науки разрасталась бесконечная и бесцельная эрудиция, без всякой почти мысли в себе, без одушевления, без порыва, без цели и, в сущности, – без основания. Таких прекрасных идей, какими обязана Европа в области филологии братьям Гриммам, Вильг. Гумбольдту; таких монументальных трудов, как сравнительная грамматика индоевропейских языков Боппа; такого прозрения в мир искусства, какое дали Винкельман и Лессинг, – мы и тени более не находим в поздние десятилетия

XIX века. Компиляция вытесняет собою мысль; книга царит над идеей; печатный станок работает тем живее, чем слабее и неподвижнее становится человеческий дух. Все учатся, но уже ничего не производят; учатся обильно и почти ничего не извлекают из своего учения. Мы говорим, мы повторяем – это был великолепный сон; и теперь, когда он, видимо, оканчивается всюду, мы должны быть почти благодарны судьбе, что никаким ярким, упорным, гениальным противодействием он не был в свое время прерываем. Бог хранил человека; он хранил его философские силы в то время, как сам человек, в неведении, так горько оплакивал себя, свою судьбу, глубь философской ночи, из которой, казалось ему в малодушии, уже не будет пробуждения.

Эти напрасные сетования разбросаны всюду и у прекрасного писателя, книга которого невольно пробудила в нас все эти мысли. Он был современником наступления глубокого сна; он делал, и безуспешно, усилия, чтобы тому засыпанию помешать; скука, зевота, вялая насмешка служили ему естественным ответом. И когда наконец компиляция и бессвязность окончательно овладели наукой и философией; когда тысячелетний исполин бесцельно передвигал пальцами рук и ног и произносил отрывочные слова, ничему действительному не отвечавшие, – удивление, горесть, наконец, раздражение овладели нашим автором. Он искусственно понизил свой голос; он упростил свою речь до детского понимания; специалист-ученый, он принял облик писателя для юношества, чтобы как-нибудь, каким-нибудь способом сделать усваиваемыми для людей своего времени те понятия, которые они так странно и вдруг забыли. Отсюда, из этого исторического положения, вытек весь характер трудов г. Страхова, его манера, его темы. Он не создает нового, он припоминает только старое. Он стал *критиком* не только в области литературной, но и в области научной и философской, – всюду указывая на забытые «вечные истины», пытаясь всюду завязать в живой узел с действительностью так странно, так беспричинно, так безосновательно оборванные традиции прежнего. В поэзии

он возвращает наше внимание к Пушкину – высочайшему образцу художества и всякой красоты, в критике – к приемам толкования Ап. Григорьева, в морфологии – к идеям Каспара Вольфа и Бэра, в философии – к принципам Декарта и диалектическому движению категорий Гегеля. Он разъясняет этих писателей; он разрабатывает всюду элементы наук – те «основные понятия», на фундаменте которых позднее трудолюбие, опыт, наблюдение возвели более удивительные на взгляд, нежели трудные, здания современных знаний. Трудность именно там – позади этих поздних надстроек, – в правильной установке вопросов, на которые наука должна бы отвечать, в определении правильного метода, которым могли бы быть найдены ответы на эти вопросы. Отсюда с критическим характером работ нашего автора соединяется методический: он поправляет или отвергает возникающие на глазах его теории именно в методе, и гораздо менее – в результатах. Дарвин и великое множество современных натуралистов, не *построив* те или иные теории, – ошиблись; они ошиблись, *упустив из виду* вопросы, которые вытекали из предложенной ими себе задачи. Наконец, натуралисты – ошиблись, смешав в чертах органического мира прибавочные (физико-химические) с первоначальными, собственно органическими чертами – какковы *развитие, размножение, разделение на полы, уродство* как отступление от нормы, *классифицируемость* и пр., – и успехи физико-химические в области физиологии принимая за успех самой физиологии, в действительности забытой, оставленной в тени в ее собственных задачах*. Как это ни удивительно, мы в этом забвении снова находим шаг назад даже от Аристотеля: уже он во всяком порядке явлений искал его τὸ τί ην εἶναι – то, что именно его делает таким, ни с чем не схожим, ни с чем не сливаемым порядком, – и научал различать это от вторичных черт, которые, в нем повторяясь,

* Мы хотим сказать, что такие учения, как о механике кровообращения, как об окислении тканей и крови, как о химической стороне питания, – не составляют никакой части собственно физиологии, а являются к ней добавочными необходимыми главами.

принадлежат как главное другим порядкам и их собою характеризуют. Внешний, неживой мир есть собственная сфера физико-химических сил; и если они и повторяются в организмах – так же странно было бы под углом их рассматривать организмы, как грозу, бурю, дуновение ветра, вращение Земли около оси – было бы странно рассматривать под углом зрения органическим только потому, что грозу испытывает человек, что буря разражается над лесом и зеленеющим полем и, наконец, что на вертящейся Земле обитает весь органический мир. Мы сводим заблуждения наук к простым, понятным истинам; и поздний потомок наш будет удивлен, каким образом эти понятные истины, нарушая которые ум человеческий должен бы стыдливо затаиваться, – в век странный, в годы неповторимые не только нарушались, но нарушались с торжеством, с упоением успехами, с высокомерным пренебрежением к годам, когда эти истины помнились, к людям, которые об этих истинах напоминали.

III

Мы снова возвращаемся к писателю, который, не сознавая значения исторического момента, в который он родился, так неудачно, так напрасно пытался помешать установлению и торжеству некоторых теорий, – так, к счастью, прибавим, не помешал им установиться. Отсюда чувство скорби и легкого раздражения, которое проникает все его труды, отсутствие доверия к ходу истории, полунегодование, полупрезрение к тому, что люди зовут прогрессом; объединяя это, скажем – ропот на Промысл Божий. Конечно, в этом он был неправ; конечно, история в изъянах своих и просветлениях, в падениях и высоком торжестве, в рытвинах, низинах, прогалинах, шумящем боре есть чудо творения Божия, перед которым мы можем трепетать, дивиться, уразумевать, и никогда – негодовать, высказывать ропот, еще менее – им пренебрегать. В сущности, она есть то же, что жизнь организма, который тоже болеет, имеет несовершенства, стареется, умирает, и, однако, пока в нем длится

жизнь — мы считаем святотатственным к нему прикоснуться и эту жизнь в нем погасить или в чем-нибудь резко нарушить его законы. В организме есть, мы сказали, своя химия и физика, но не она составляет его сущность; в истории есть также физика наших дел, химия наших замыслов, но не в них ее смысл; этот смысл — в великом, странном, не постигаемом нами сочетании этих дел и замыслов, из которого выходит всякий раз не то, что человек ожидал, к чему стремился, на что надеялся. Быть вечно удивленным в своей истории — это, по-видимому, навсегда останется его уделом на земле.

Зрителем одного из таких исторических удивлений оказался на склоне лет писатель, которого мы разбираем. Без всяких видимых причин, без резкого будущего колокола, без сильного толчка и только по истечении лет, достаточных для отдыха, полувековой сон наук и философии оканчивается. От сердца, в котором загорелась снова вера, кровь гонится к периферии великого дремлющего организма, наполняет анемичный мозг, и без спора, без противодействия, без борьбы и страдания призраки, владевшие им, отлетают прочь. Где эти умственные сумерки? где эта верующая логика? где детская метафизика, говорящая «нет» о том, что не испытано, об областях, куда не заглянул никто? Где это знание о неизвестном, предвидение о непредвидимом, и все «позитивные» сны, которыми грезило человечество и от которых, повторяем, без причин, — всюду теперь пробуждается? Они забыты — те сны; они передаются еще, и им не верят; немногие сателлиты еще на них настаивают, и их никто не хочет слушать. Мир со своими тайнствами, природа со своей неисчерпаемой глубиной снова стоит перед человеческой любознательностью. Как, в самом деле, чуден он, как священна она! Молиться, познавать — это в самом деле одно и то же, потому что и так, и этак мы прикасаемся к Богу.

Но мы все отвлекаемся от писателя, который пробудил в нас невольно эти мысли. По крайней мере, излагая их, мы объясняем его особенную судьбу в нашей литературе, его начинающийся успех после долговременного невнимания. Нам хочется, однако, показать хоть как-нибудь, хоть на каком-нибудь

примере, привлекательность книги, которая ожидает внимания читателя. Вот, почти без выбора, одна в ней мысль, и мы думаем – она в высшей степени способна пояснить то, что мы назвали в природе ее глубиной, ее священным смыслом:

«...Человек есть зритель мира. Самая удивительная загадка заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть зритель. Как бы чудесен ни казался нам мир, как бы поразительны ни были для нас его порядок, стройность, красота, могущество, разнообразие, – наиболее чудесное и наиболее поразительное явление состоит в том, что мы можем это видеть и этому удивляться. Великолепен свет солнца; «эти могучие лучи дышат вечностью», – говорит один поэт. Но этот свет получает свое великолепие от нас; сам себя он не видит и ничего не знает о своем великолепии. Картина мира сама себя не видит и сама для себя не существует; но есть зритель, который видит эту картину, для которого она существует и который сам для себя существует. Вот самое большое чудо мира.

Если мы скажем, что человек сам породил этот мир, что его мысль создала эту видимость, внесла в нее свет, красоту, порядок, то это может показаться странным; но не будет ли казаться еще более странным, если мы скажем, что мир породил человека, что мысль человеческая есть произведение природы и что, следовательно, слепая картина породила из себя зрителя, для того чтобы он ее видел и ею любовался?

Во всяком случае, только здесь, только в этой точке мы прикасаемся к истинной загадке бытия и мышления. Что бы ни существовало и как бы ни существовало, бытие должно быть таково, чтобы возможно было мышление. И обратно – нельзя ничего понять, если мы не понимаем мышления»*.

Не правда ли, как это просто и вместе как значительно? Читатель чувствует, что это – слова не занимающегося философией, но философа. Мы хотим сказать, что этот тон и это отношение к миру доступны тому только, для кого мышление не есть профессия, нужда, развлечение, но потребность, выте-

* <Страхов Н. Н.> Философские очерки. Спб., 1895. Статья «Главная черта мышления». С. 119–120.

кающая из первичного сложения духа. Такой человек в эпохи раннего развития истории становится поэтом, позднего – философом. Ибо тот и другой имеют в основе некоторое удивление к миру, отражающееся в первом как безотчетный восторг и во-втором – как возвышенное мышление.

В днях лучших, которые не могут не настать для философии после пробуждения, о котором мы упомянули выше, не забудется имя писателя, книгу которого мы хотели и так мало сумели разобрать. Правда, он не изобрел ничего нового в мышлении, не соединил своего имени с каким-нибудь сильным и оригинальным движением мысли. Но еще может быть вопросом: разве не оригинально в век, который истощался в изобретениях нелепого, сохранить полную трезвость ума и обладание своими чувствами, не принять никакого участия в общей вакханалии? В годы, когда всякий засыпал для прошлого и историю мира начинал с минуты ему грезившегося сна, не оригинально разве, как бы уединившись на момент от истории, похоронить свое *Я* под высоким культом к забытому и действительному?

ДВЕ ФИЛОСОФИИ

Критическая заметка

*Федор Шперк**. Диалектика бытия. Аргументы и выводы моей философии. С.-Петербург. 1897. *Его же*. О страхе смерти и принципе жизни. Спб., 1895. *Его же*. Мысль и рефлексия. Афоризмы. Спб., 1895. *Его же*. Книга о духе моем. Поэма. Спб., 1896.

Мы, русские, имеем две формы выражения философских интересов: учебно-официальную; это – «философия»

* Друг В. В. Розанова философ Федор (Фридрих) Эдуардович Шперк (род. 1872), которому посвящена настоящая статья, умер 7(19) октября 1897 г. – *Посмертное примечание*.

наших университетских и духовно-академических кафедр; и мы имеем как бы философское сектантство: темные, бродящие философские искания, которые, оригинально возникнув около середины прошлого века, продолжают до настоящих минут. В обеих формах своих «философия» наша движется без всякого взаимодействия; они почти не знают друг друга; явно друг друга игнорируют.

Первая «философия» не только подтверждает содержанием своим, но и усиливается поддержать идею, что у нас «все от варяг быша, еже бысть». Не только народного чего-нибудь, или чего-нибудь идущего из живого общества, нет в ней; но всякий труд, в котором это народное или вообще живое оказалось бы, тем самым очутился бы вне этого философствования исключительно «по долгу службы». Она имеет декорум науки и не имеет души ее; то есть она не имеет порыва и, словом, того, что в одних интересных физиологических лекциях, несколько лет назад прочитанных в Петербурге, было названо «жизненным порохом»: взрывчатого, биологического начала. Книги, какие появляются в этом отделе, не имеют, так сказать, лица в себе, а только заглавие. Они не автобиографичны и не биографичны; могли бы быть написаны «Семеновым», как и «Петровым». Они всегда представляют работу, появляющуюся в удовлетворение нужды кафедры и даже гораздо чаще – только для укрепления служебного положения написавшего ее профессора. Они есть свидетельства о его знаниях, но несколько не есть выражение его образа мыслей.

Несчастье книг второго порядка, «сектантских», составляет отсутствие научного декорума и, иногда, привычной для читателя, а может быть и действительно нужной, регулярности изложения. Однако мы должны вспомнить, что знаменитое сочинение Бэкона «*Instauratio magna*» («Великое восстановление», то есть наук) представляет невыразимый хаос изложения, бегучесть, порывистость во все стороны, отсутствие спокойствия и плана; и в главной части своей – *Novum Organon*¹ – это «*Instauratio*» переходит прямо в афоризмы. Вообще, существо рождается непохожим на то, каким оно бы-

вает в старости. Теперешняя форма западной науки, то есть приемы и система изложения, есть форма старости; и оттого новые труды так не походят на бурно-неустроенные труды Бэкона и также, прибавим, Декарта или Лейбница. Как много философом последнего изложено просто в частных письмах; другие представляют что-то вроде «памятных записок», составленных по просьбе частных людей. В мощный период рождения наука (и философия) чуждалась улицы и площади, не искала для себя театра; и вот отчего даже по форме мы видим ее неприбранной, в старом колпаке и грязном фартуке, полуодетой и иногда почти раздетой.

У нас философия пошла, как мы заметили, двумя путями: одна, заимствовав форму старости, не рождает в ней содержания. Ее отличительная особенность заключается в том, что она вербальна, а не реальна. Т. е. она не движется вовсе около *naturam rerum*², исследует не самую природу вещей, трудится не над темами философии; но, около этих тем или по поводу этих тем, собирает и классифицирует крохи древнего и нового мышления. Напротив, вторая ветвь нашей философии, не имея научного декорума и часто плана, в высшей степени полна того, что мы называли выше «жизненным порохом»: этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли, — и всегда около действительности, около *naturam rerum*. Мы решаемся сказать, что она, не будучи нисколько «из варяг», однако, близко подошла к «варяжской» науке в ее существе, в «дыхании жизни», в ее, так сказать, вечном мотиве; и только не отвечает текущим и, может быть, минутным, а во всяком случае внешним приемам изложения, плана, «декорума». В психологической части она действительно интересуется «коготком», который «увяз» и заставляет «всю птичку пропасть»; в логической — она в самом деле пытается запутанности человеческой мысли; в метафизической — пытается тайны бытия, «семя бытия», как говорит интересный философ, заглавие маленьких книжек которого мы выписали. Эта афористическая и неустроенная философия тесно связана с нашей литературой; тогда как регулярная связана исключительно с

учебными нуждами, с задачами преподавания старинной педагогической дисциплины, которая и на Западе больше терпит теперь, нежели растет, и по примеру Запада пассивно введена у нас. И, нам думается, насколько именно литература, а не школа и все школярное, есть деятельно просвещающая сила в нашей стране, – русская «философия», насколько она *есть, есть* не в магистерских и докторских философских диссертациях, этом невольном литературном приложении к устному университетскому экзамену, но вот в таких и подобных этим маленьких, бесформенных, но полных «взрывчатости» книжках.

Очень небольшая часть трудов г. Шперка представляет стихотворения; все остальное – проза. То и другое – философично. Автор прибегает к стихотворной форме или, точнее, к ритмически текущей прозе и поэтическим образам там, где мысль его переходит в чувство, где стремление к истине или тому, что кажется ему истиною, превращается в любовь к ней, в волнение, в восторженное ей поклонение. И тогда он начинает петь, а не говорить. Это вытекает несколько из самых тем его. Он – *краевой* мыслитель, бродит по *краям* ведения, а не посередине их, где топчутся люди. Поэтическая форма у него понятна, естественна и только может нравиться по прихотливой свободе своей.

Печальная сторона г. Шперка, печальная для него как мыслителя, состоит в том, что он не умеет развивать мыслей. В нем как будто недостает *силы ращения*, выращивания; но *сила рождения*, и могучая сила, в нем положительно есть. Вы начинаете его понимать ясно и раздельно только там, где мысль его совпадает уже с вашей, бродит около того же. Тогда вы поражаетесь его пронизывающим вниманием к миру и многим таинственным догадкам, до которых он дошел или к которым близок. Вы с любопытством перебираете афоризм за афоризмом; вы видите, что он глубоко заинтересован тайнами бытия, человеческою психологией, особым характером и судьбою великих исторических племен. И места, которые в его книгах стали вам понятны, становятся вам дороги; а на-

конец, дорог и сам писатель, этот, очевидно, уединенный и глубоко в себя погружившийся мыслитель, который «возлюбил истину паче всякой красоты мира».

Большая и главная часть его трудов, между прочим последняя брошюра, представляет чистую диалектику понятий, алгебру природы, если можно так выразиться. Она вращается в элементарнейших понятиях, поэтому именно неопределимых, почти не передаваемых и крайне трудных для усвоения. Это – абстрактные знаки усложнения человеческих понятий; вывод из понятия *бытия* – понятия *тождества*, из *тождества* – *единства*, из *единства* – *множества* и т. д. – все то, что со времен Платонова «Парменида» и до диалектики Гегеля составляло душу логической обработки наших отношений к Космосу. Очевидно, в собственных воззрениях автора здесь – центр его философствования. Но и вне диалектики как моралист и историк, как наблюдатель он дает чрезвычайно много любопытного, оставаясь, однако, везде крайне абстрактным, обобщающим умом.

Ясно, что тайна организма, тайна бытия органического есть для него узел, из которого он хотел бы разгадать в одну сторону – законы механические и в другую – законы психические и исторические. Но эту узловую тайну, если позволено так выразиться, он рассматривает в свете мистическом и религиозном, какой, конечно, и присущ ей более всего. Отсюда – мистический свет, который разливается у него на всю природу. Повторяем, среди его прекрасных афоризмов истинный любитель философии будет чувствовать величайшее удовольствие, нигде не видя фальши и мишуры, так часто набивающей философские книги, многого в них не понимая*, но что понимая – там находя ценные жемчужины.

* Два наших философа, Н. Н. Страхов и Вл. С. Соловьев, оба познакомившиеся и полюбившие этого молодого, только что вышедшего (до окончания курса) из университета человека, оба мне говорили, что не только многого, но и *ничего* не понимают в его брошюрах, изложении. Интересен устно высказанный мне Шперком мотив оставления университета (кажется, по переходе на IV курс): «Я не мог в живую свою думу принимать мертвого содержания лекций». – *Посмертное примечание.*

Все его рассуждения, – напр<имер> о роли семитических, романо-германских и славянских народов в истории, – чутки, глубокомысленны и нам кажутся истинными. Таковы же его рассуждения о чувстве *стыда* у человека или о чувстве космической у него *виновности* при некоторых, – казалось бы неважных, пороках. Сжатость изложения чрезвычайно затрудняет понимание и этих мест в его брошюрах-трактатах. Его мышление и язык вообще имеют в себе что-то стихийное; то есть и силу стихии, ее свежесть, ее первобытную значительность, – но, однако, какую-то *безвидную*. Иногда хочется сравнить его с непролившеюся тучею, которая проходит у вас над головою; и так же верно будет, если сравнить его с первичным туманом, который подымается из-под ног от Матери-Земли. Из этого тумана низин образуются со временем легкие золотистые облачка в небе. Вот способности-то формировать их и недостает у Шперка: еще солнце не взошло, горячий луч не брызнул; наш автор – весь в «рождении», в «начале», в «исходе»...

ПОЛ КАК ПРОГРЕССИЯ НИСХОДЯЩИХ И ВОСХОДЯЩИХ ВЕЛИЧИН

Во всех фактах, которые мы привели, христианских и дохристианских, мы имеем в зерне дела какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не внушенное отвращение к *совокуплению*, то есть к соединению *своего* детородного органа с *дополняющим* его детородным органом другого пола. «Не хочу! не хочу!» – как крик *самой природы*, вот что лежит в основе всех этих, казалось бы, столь противоположных религиозных явлений. Крик... «самой природы»: и мы должны предположить, что в том как бы мировом котле, где замешивалась каша всемирной насущности, всемирной личности, уже содержались какие-то элементы этого противоборства, этой противоположности; что уже там, в этом первозданном, или, вернее, домирозданном, котле бурлили *течения* и *противотечения*, ходили круги кипящей материи туда, сюда,

винтом, кругообразно, а *отнюдь не по прямой линии*: и когда она застыла и родился *оформленный мир*, мы так и видим в нем эти застывшие и переданные нам, то есть *вложенные в природу существ* – движения «туда», «сюда», «винтом» и, словом, не по прямой линии. Пол был бы совершенно ясное или довольно ясное явление, если бы он состоял в периодически совершающемся совокуплении самца и самки для произведения новой особи; тогда это было бы то же, что стихии кислорода и водорода, образующие «в соединении» третье и «новое существо» – *воду*. Но кислород и водород «противотечений» не знают; и если бы мы увидали, что вдруг не частица кислорода, *жадно* соединяясь (как всегда в химическом сродстве) с частицею водорода, порождает *каплю воды*, а, напротив, частица водорода, которая-нибудь одна и исключительная, вдруг начинает тоже «с жадностью» лезть *на себе подобную* частицу водорода же, убегая с отвращением от дополнительной для себя частицы кислорода, мы сказали бы: «чудо! *живое!* индивидуально-отличное! *лицо!!*» Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы: «*стоп! не пускаю сюда!*» Тот, кто его не пустил, и был первым «духом», не-«природою», не-«механикою». Итак, «лицо» в мире появилось там, где впервые произошло «нарушение закона». Нарушение его как единообразия и постоянства, как нормы и «обыкновенного», как «естественного» и «всеобще-ожидаемого».

Тогда нам понятны будут «противоборства» в «котле» как такой процесс, в котором «от века» залагалось такое важное, универсально-значительное для космоса, универсально-нужное миру начало, как *лицо, личность*, индивидуализм, как «я» в мире. «Я» борется со всяким не-«я»: суть «я» и заключается в том, чтобы вечно утверждать о себе: «не *вы*», «не *они*». Суть «я» именно в я. Это и не добро, и не зло; точнее, «добро» я заключается в обособлении, в несмешивании, в противоборстве всему, а «зло» я заключается в слабости, в уступчивости, в том, что оно хотя бы ради «гармонии» и для избежания «ссоры» *мирится* с другим, *сливается* с ним. Тогда есть «мораль», но нет *лица*: ну а важно или не важно «лицо» для мира, об

этом будут судить уже не одни моралисты. Без «лица» мир не имел бы сиянья – шли бы «облака» людей, народов, генераций... И, словом, без «лица» нет духа и *гения*.

Когда мир был сотворен, то он, конечно, был цел, «закончен»: но он был *матовый*. Бог (боги) сказал: «Дадим ему *сверкание!*» И сотворили боги *лицо*.

Я все сбиваюсь говорить по-старому «Бог», когда давно надо говорить *Боги*; ибо ведь их два: *Эло-гим*¹, а не *Эло-ах* (ед. число). Пора оставлять эту навеянную нам богословским недомыслием ошибку. Два Бога – *мужская* сторона Его и сторона *женская*. Эта последняя есть та «Вечная женственность», мировая женственность, о которой начали теперь говорить повсюду. «По образу и подобию Богов (*Элогим*) сотворенное» все и стало или «мужем», или «женою», «самкою» или «самцом», от яблони и до человека. «Девочки», конечно, в Отца Небесного, а мальчики – в Матерь Вселенной! Как и у людей: дочери – в отца, сыновья – в мать.

Но я несколько отвлекся в космологическую сторону от взыскания первоначального зерна, которое лежит в основе «безбрачных» явлений. Мировое «не хочу» самца в отношении самки и самки в отношении самца не было подвергнуто до последнего времени наблюдению, и только XIX век начал собирать в этом направлении факты. Факты эти приводят к бесспорному заключению, что «пол» не есть в нас – в человеестве, в человеке – так сказать, «постоянная величина», «цельная единица», но что он принадлежит к тому порядку явлений или величин, которые ньютоново-лейбницевская математика и философия математики наименовали величинами «текущими», «флюксиями» (Ньютон). Обращение внимания на эти величины привело одновременно Ньютона и Лейбница к открытию «исчисления бесконечно малых» (дифференциальное исчисление), которое, между прочим, интересно в том отношении, что через него впервые *мертвая* математика (или как бы мертвая, мертвая в арифметике и вообще пока она занимается «постоянными величинами») получила доступ, получила силу *дотронуться, коснуться и живых* (органических) явлений,

«вечно текущих»... Вот такая-то «вечно текущая» величина в нас или, точнее, существо в нас есть пол наш, как наша «самотечность», что мы суть – *или «самец», или «самка»*. Вообще это так: мы суть 1) самцы, 2) самки. Но около этого «так» лежит и *не так*; противоборство, противотечение, «флюксия» (Ньютон), «я» отрицающее всякого «не я». И, словом, *жизнь*, начало жизни; *лицо*, начало лица...

Предположение, что *пол* есть «цельная величина» и вообще *не* «текущее», породило ожидание, что всякий самец хочет самки и всякая самка хочет самца; ожидание, до того всеобщее, что оно перешло и в требование: «всякий самец *да пожелает* своей самки» и «всякая самка *да пожелает* себе самца»... «Оплодотворяйтесь и множитесь», конечно, это включает. Но навсегда останется тайною, отчего же при *универсальном* «оплодотворяйтесь, множитесь», данном *всей* природе, *один* человек был создан в единичном лице – *Адама!* Изумление еще увеличится, если мы обратим внимание, что позднее из Адама вышла Ева, «мать жизни» (по-еврейски – «мать *жизней*», яйценоская, живородящая «*ad infinitum*»²): то есть что в существе Адама *скрыта была и Ева*, будившая в нем грезы о «подруге жизни»... Адам, «по образу и подобию Божию сотворенный», был в скрытой полноте своей *Адамо-Евою*, и самцом и (*in potential*)³ самкою, кои *разделились*, и это было *сотворением Евы*, которою, как мы знаем, закончилось творение новых тварей. «Больше нового не будет». Ева была *последнею* новизною *в мире*, последнею и *окончательною новизною*.

Лишь в силу всеобщего ожидания – «всякий самец хочет самки» и т. д. – образовалось и ожидание, что самые спаривания самцов и самок имеют течь «с правильностью обращения луны и солнца» или по типу «соединяющихся кислорода и углерода» *без исключения*. Но все живое, начиная от грамматики языков, имеет «исключения»: и пол, то есть начало *жизни*, был бы просто *не жив*, если бы он не имел в себе «исключений», и, конечно, тем более, чем он более жив, жизнен, жизнеспособен, животворящ... Не все знают, что уже в животном мире встречаются, но лишь в более редком виде, решительно

все или почти все «уклонения», какие отмечены и у человека: у человека же, можно сказать, нельзя найти двух самотечных пар, которые совокуплялись бы «точка в точку» одинаково. «Сколько почерков – столько людей», или наоборот: и совершенно *дико* даже ожидать, что если уж человек так *индивидуализирован* в столь ничтожной и не представляющей интереса и нужды вещи, как почерк, чтобы он не был индивидуализирован также в совокуплениях. Конечно, «сколько людей – столько *лиц, обособлений* в течении половой жизни». Это не только всеобщее «так»; но было бы порочно, преступно, «нищелюбиво» и «нищесобразно», и совершенно уродливо, если бы это не было «так». Всякий «творит совокупление *по своему* образу и подобию», решительно не повторяя никого и совершенно не обязанный никому вторить: как в почерке, как в чертах лица...

«Всеобщее ожидание» в области, где вообще нет и *не должно* быть «всеобщего», породило ропот, осуждение, недовольство, пересуды: «отчего та *пара* совокупляется не так, как *все*», причем, разумеется, собственно – «не так, как»... Ответ на это многообразен: «Да вы-то точь ли в точь живете так, как *все*?» или: «Я не живу как *вы* по той причине, по которой вы не живете так, как я». Но в итоге эти «всеобщие ожидания», присмотревшись к которым можно бы заметить, что самых-то «ожиданий» столько, сколько людей, но только это особенное в каждом затаено про себя, – они породили давление *морального закона* там, где в общем его не может быть, так как вся-то область эта – *биологическая*, и *не* «моральная», и *не* анти-«моральная», а просто – *своя, другая**. Моральный закон, неправо вторгнувшись в не свою область, расслоил совокупления на «нормальные», то есть ожидаемые, и «не нормальные», то есть «не желаемые», причем эти «не желаемые» не желаются теми, которые их не желают, и в высшей степени желаются теми, которые их желают и в таком случае исполняют. Все возвращается собственно к тому, «что есть», так и естественно в

* Единственный из богословов, ясно это понявший и последовательно и пламенно выразивший, – М. М. Тареев. См. его «Основы христианства», т. 4, «Христианская свобода»⁴.

биологии: но около того, что «есть», с тех пор приставился раб, бегущий за торжественною колесницею жизни, хватающийся за спицы ее колес, обрызгиваемый из-под нее грязью, падающий в грязь, вновь встающий, догоняющий, опять хватающийся за спицы и неумолчно ругающийся. Он представляет собою те «ожидания всех», которых в наличности нет с абсолютным тождеством, но к которым равнодушно присоединились и те, которые далеко отступили от нормы: равнодушно по интимности самой этой области, в которой каждый думает про себя, что ее не уконтролирует «общее правило», и по стыдливости этой области, где каждый «свое особое» хоронит особенно глубоко, и нет лучшего средства схоронить это «особое», как присоединяясь к «общему правилу» и осуждая все «особое». От совокупности этих обстоятельств и условий вытекла необыкновенная твердость, можно сказать «незыблемость», морального закона в половой сфере, которая в действительности не только всегда была «зыбка», но, можно сказать, ни в одной точке своей и ни на одну минуту не переставала волноваться и представляла вечный океан с величественными в нем течениями, с бурями, водоворотами, с прибоем и отбоем у всякой отдельной скалы... «Незыблемость» правила шла параллельно совершенной «зыбкости» того, к чему оно относилось; и, собственно, «зыбкость»-то и была единственным *внутренним* правилом, из самой сущности стихии вытекающим... Семейные добродетели восхвалялись и содомитами, о вреде онанизма писали и онанисты, а отшельники пустынь, совокуплявшиеся с полевой птицею и лесным зверем, не умели допустить, чтобы мужчина мог иметь сношения на протяжении своей жизни более нежели с тремя женщинами и женщина более чем с тремя мужчинами тоже на протяжении всей жизни (недопустимость 4-го брака у христиан, то есть по требованию «святых» христианства). Все это не так безразлично. Конечно, все таятся и потому никто особенно не страдает от «общего правила»; но выпадают случаи объявления, обнаружения: и тогда поднятые камни побивают «отступника» от того, к чему решительно никто «не прилежит». Между тем пол — именно океан, и в нем не зароп-

дится «водоворот» там, где ему «не указано быть», вековые течения его не перестанут и не спутаются, не расширятся и не сузятся; и все останется так, «как есть» и «предуказано», и в том случае, если правило исчезнет под давлением истины, что оно вмешалось в область, существенно *не свою*.

Здесь все принадлежит наблюдению и ничто – исправлению.

* * *

«Свое» у каждого выражается прежде всего в *силе*, в *напряжении*. Здесь мы имеем ряд степеней, которые удобно выражаются рядом натуральных чисел:

... + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 \pm 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7...

Наибольшая напряженность в смысле возможности удовлетворить и в смысле постоянной жажды удовлетворения указывает на наибольшую степень самочности самца *в противолежании* его самке и самки *в противолежании* ее самцу. Наибольший самец есть наичаще, наioxотнее и наимогущественнее овладевающий самкою; и наибольшая самка есть та, которая томительнее, нежнее и кротче других подпадает самцу. Под наслоением суеверий, страхов, в особенности предположений и пересудов, у человечества образовалось совершенно неверное представление образа «настоящего самца» и «настоящей самки»; то есть человечество – народы и единичные люди – совершенно неправильно осложнили наибольшую половую силу второстепенными, добавочными чертами, и притом не только психическими, но даже и физическими. В общем представлении романистов, драматургов, мещан и «общества» – это что-то огромное, шумное, голос громкий, манеры наглые, оскорбительные; «он» и «она» стучат, гремят, никому не дают покоя; что-то неудобное для всех, смущающее. «Нахал» и «разухабистая баба» – вот предполагаемо люди, от которых матери и отцы должны уберечь дочек, прятать подрастающих сыновей. Такие-то будто бы «соблазняют» и «составляют», насилуют и растлевают. Но было бы печальное

потомство от сих пустых стучащих бочек; тогда как род человеческий, «плодоносящий», «множащийся», вовсе, однако, не таков: жив, энергичен, неутомим, неистощим. Настоящие силы не стучат. Настоящая сила скорее стелется, ползет. Не буйвол, ревущий в степи, есть господин степи, а ягуар, прячущийся в тростнике. Скорей полуиспуг, полудюгадку выразила народная мудрость, русская и китайская. Русские говорят: «В тихом омуте черти водятся», а о китайцах мне привелось прочитать, что у них будто бы есть поговорка: «Когда женщина походит на ангела, то берегись и знай, что в ней сидит дьявол». В обоих случаях старые люди, сложившие поговорку, как бы предупреждают молодых, указывая им не доверяться наружным признакам, предполагать за ними обратное внутреннее содержание. Поговорки эти, конечно, сложены не в отношении только пола: но они едва ли бы сложились в этой общей форме, если бы половая жизнь, половые образы, фигуры, играющие такую выдающуюся роль во всякой народной, общинной и частной жизни, стояли в резком противополжении тезисам этих поговорок. Очевидно – нет! И китайцы, и русские указали, что половая страсть не «ревет в поле», а скорее крадется в лозняках; что это что-то на вид «тихое» и иногда даже «ангелоподобное», по крайней мере у женщин. Но здесь мы должны войти в небольшое рассуждение. С первого же взгляда очевидно, что «наибольший самец» должен выглядеть, должен иметь все сопутствующие вторичные качества совсем иные, чем «наибольшая самка», именно уже потому, что он *противостоит* ей, что он есть другой ее полюс! У очень мужественных мужчин растет большая борода: неужели же из этого мы заключим, что совершеннейшая женщина должна тоже иметь бороду или хоть те маленькие усики, которые иногда появляются у женщин?! Между тем предположение, что женщина-самка должна быть «разухабиста», именно подобно предположению, что у Жанны д'Арк или Дездемоны, у Офелии и Татьяны росли усики. Конечно, это глупо, и в такой мере, что можно, отметив ее, и не останавливаться на опровержении.

Нет, самец и самка – они *противоположны*, и только!

Отсюда все выводы, вся философия и истина. *Наибольшая противоположность* мужчины и женщины и выразит *наисильнейший в них пол!* То есть чем менее «мужеподобна» женщина, тем она самочнее; как чем менее «женоподобен» мужчина – тем более он самец. Паллада-Афина, «воительница» и «мудрая» – не замужняя, не мать и вообще очень мало самка. В ней возраста нет; она не знала детства, не будет бабушкой. Ей, *мужеподобной*, параллелен только *женоподобный* Ганимед, который никогда не будет отцом, мужем, дедушкой. Явно, что в *противостоянии* своем наибольший самец и наибольшая самка суть:

- 1) герой, деятель;
- 2) семьянинка, домоводка.

Один будет:

1) деятелен, предприимчив, изобретателен, смел, отважен и, пожалуй, действительно «топает» и «стукает»; другая же;

- 2) тиха, нежна, кротка, безмолвна или маломолвна.

«Вечная женственность» – прообраз одной. «Творец миров» – прообраз другого.

Есть какое-то тайное, невыразимое, никем еще не исследованное не только соотношение, но полное тождество между *типичными качествами* у обоих полов их половых лиц (детородных органов) с их душою в ее *идеале, завершении*. И слова о «слиянии душ» в супружестве, то есть в половом сопряжении, верны до потрясающей глубины. Действительно, «души сливаются» у особей, когда они сопряжены в органах! Но до чего же противоположны (и от этого дополняют друг друга) эти души! Мужская душа в идеале – *твердая, прямая, крепкая, наступаящая, движущаяся вперед, напиральная, одолевающая*: но между тем ведь это все – почти словесная фотография того, что стыдливо мужчина закрывает рукою!.. Перейдем к женщине: идеал ее характера, поведения, жизни и вообще всего очерка души – *нежность, мягкость, податливость, уступчивость*. Но это только *названия* качеств ее детородного органа. Мы в *одних и тех же словах, терминах и понятиях* выражаем *ожидаемое и желаемое* в мужчине, в *душе* его и *биографии* его, в каких терминах его жена выражает наедине с собою «желае-

мое и ожидаемое» от его органов; и взаимно, когда муж восхищенно и восторженно описывает «душу» и «характер» жены своей, он употребляет и *не может избежать употребления* тех слов, какие употребляет мысленно, когда – в разлуке или вообще долго не выдавшись – представляет себе половую сферу ее тела. Обратим внимание еще на следующую тонкую особенность. В *психике* женской есть то качество, что она *не жестка, не тверда, не очерчена резко и ясно*, а, напротив, ширится, как *туман*, захватывает собою *неопределенно далекое*; и собственно не знаешь, где ее *границы*. Но ведь это же все *предикаты увлажненных и пахучих тканей* ее органа и вообще половой сферы. Дом женщины, комната женщины, вещи женские – все это не то, что вещи, комната и дом мужчины: они точно размягчены, растворены, точно вещи и место превращены в ароматистость, эту милую и теплую женскую ароматность, и душевную и не только душевную, с притяжения к которой начинается «влюбленность» мужчины. Но все эти качества – лица, биографии и самой *обстановки*, самых вещей – суть качества воспроизводительной ее сферы! Мужчина никогда «не наполнит ароматом» весь дом: психика его, образ его, дела его – шумны, но «не распространяются». Он – дерево, а без запаха; она – цветок, вечно пахучий, далеко пахучий. Каковы *души*, таковы и *органы*! От этого-то в сущности *космогонического сложения* (не земного только) они и являются из всего одни плодородными, потомственными, сотворяют и далее, в бесконечность, «по образу и подобию своему»... Душа от души, как искра – от пламени: вот деторождение!

* * *

В европейской литературе есть книжка, и даже, пожалуй, книжонка, из которой, как это ни неприятно, только и можно почерпнуть некоторые факты половой жизни: так как Европа, проникнутая христианским гнушением к полу, не допустила ни философов, ни поэтов заняться собиранием здесь любопытных фактов и только «грязные медики», все равно копающиеся

во всяких экскрементах, во всякой вони, болезнях, нечистотах, не брезгающие ничем, не побрезговали «и этим». Но, в сущности, даже и они побрезгали! О дифтерите, который *убивает детей*, все же они говорят не этим отталкивающим чувством, как о *дающих жизнь* половых органах и о самой половой жизни, половой деятельности. Например, мне было передано об одном парижском светиле медицины, который в сочинениях своих серьезно проводил ту мысль, что «женатые и замужние, если они, не довольствуясь имеющимся у них удовлетворением половой страсти, обращаются на сторону, то есть изменяют – муж жене или жена мужу, – то они суть явно ненормальные люди, душевнобольные; и что как таковые они не могут быть оставляемы на свободе в благоустроенном обществе, а должны запираяться на замок, в психиатрических лечебницах или же просто в тюрьмах». Любопытно, что, кажется, ни одного случая не было, чтобы с медицинской стороны предложено было так поступить с сифилитиками; и это нельзя объяснить только тем, что они дают хлеб врачам, а уже Фурье заметил, что «доктора очень любят, когда страну посещают хорошие лихорадки, тифы и т. п.»; нет, тут больше и печальнее: медицина, «христианская медицина» действительно не видит «ничего особенного» в сифилисе, считает его картиною здоровой структуры общества; а совокупления, и особенно когда они счастливы, обильны, когда они «приливают», как океанический прилив, они считают «вырождением» и «патологией» и предлагают запереться от них обществу. Есть «крещенные люди»; но ведь есть и «крещенные профессии», и даже, наконец, есть «крещенные науки»: в их обществе очутилась и медицина, и это ничего, что ее столпами были тоже совершенно «крещенные», даже до погружения семи раз в купель, Фохты, Молешоты, Бюхнеры, не опознавшие себя младенцы...

Книжка или книжонка, о которой мы говорим, Крафт-Эбинга: «Половая *психопатия*»⁵. Πάθος значит «страдание»: то, от чего *кричат*, на что имеющие ее *жалуются*. И хотя никто из описываемых в книжке лиц не «кричал» и не «жаловался» Крафт-Эбингу, но он собрал ставшие известными ему

факты в книжку «о страданиях пола», не имея для этого даже того основания, какое имел бы механик, занятый давлениями, толчками и вообще действиями на *вещественные массы*, именовать «патологическою физикою» явления электричества, гальванизма или явления света, где эти *массы* отсутствуют.

Мне лично половая жизнь ни из рассказов, ни из книг не известна в большей степени, чем как это узнаешь случайно. Но я предпошлю извлечениям из Крафт-Эбинга кое-что, что мне, однако, пришлось узнать, ибо, всегда эту жизнь интересуясь, я дополнительными расспросами, когда было можно, а также и просмотром куда следует открывал подробности, опущенные у «испуганного» Крафт-Эбинга. Первый раз мне пришлось прочесть о наибольшей самочности лет 20 назад в известных «Записках» о своей жизни Н. И. Пирогова, нашего великого хирурга. Там, описывая разные свои переезды и поездки в начале служебной деятельности, он между прочим упоминает о встрече – сколько помнится, где-то в Западном крае, около Риги или Пскова, – должно быть, с университетским своим товарищем. Именно он у него остановился на перепутьи. Товарищ оказался женатым недавно и на совершенно молоденькой женщине, лет 16-ти. В мимолетной встрече он ему жаловался, что хотя очень любит свою жену и доволен ее характером, но чувствует себя изнеможенным от ее постоянного желания совокупляться. Здесь нужно отметить и то, что сам он был очень молод и, следовательно, не изношен; и то, что в ту пору <18>30-х или <18>40-х годов «развращающего чтения» еще не было; или, по крайней мере, на него еще не могла натолкнуться женщина, столь юная, что она, очевидно, только что вышла «из-под крыла матерного». Здесь мы имеем, таким образом, *естественное, не возбужденное, глубоко природное* влечение в такой силе и напряжении, какому, во всяком случае, не отвечало тоже природное и молодое влечение молодого мужчины, но как самца обыкновенного⁶. Это наблюдение показывает, что «самочность» не есть постоянная величина, приблизительно одинаковая у всех, но что она варьирует: в одном «самца» более («самки» более), чем в дру-

гом, и это не есть ни плод развращения, ни плод возбуждения или дурного воспитания. О следующем случае мне пришлось слушать: однажды в кружке женщин из «общества», среднего и скромного, зашли «суды и пересуды» о девицах и женщинах их круга; и некоторые очень осуждали таких-то и таких-то лиц своего пола «за их выдающееся нескромное поведение, развязность манер, речей» и пр. Тогда их прервала одна из слушавших, замужняя женщина: «...вообразите, все, о ком вы говорите, – *скромные* девушки, нимало не заслуживающие вашего порицания; но вот эти, – и она назвала несколько скромнейших девушек и женщин, – сущие подлюги; я знаю от мужа своего, что те, о ком вы говорите дурно, были и остаются невинными, несмотря на всяческое ухаживание мужчины, на все его усилия, а эти скромницы совсем напротив...» Мне позднее привелось узнать два случая, когда жены не только не удерживали своих мужей от ухаживания «с последствиями», но толкали их на такое ухаживание, как бы любопытствуя через них о поле окружающих женщин и девиц; и разразившаяся гневом или, во всяком случае, порицанием была, очевидно или может быть, из таких женщин. Здесь, однако, следует принять во внимание следующее: очевидно, что эти «падавшие» женщины и девицы не «заготовили» же себе «скромности» на случай ухаживания, в предположении, что она понравится или привлечет: в общем – она ведь отпугивает, предупреждает самое начало ухаживания; очевидно, они ничего не думали, ничего не ожидали, но были *действительно скромны* и именно *скромнее остальных*; они были их женственнее, добродетельнее и в меру этого *самочнее*; были, так сказать, более нежны, ароматисты, более содержали в себе сладкого нектара; и... «упали» не от того, что менее *хотели* сопротивляться, но от того, что приближение и видимое желание мужчины возбудило в них ответный ток такой силы и напряжения, который повалил их: как мучнистость колоса тянет стебель его к земле, как отрывается и падает на землю яблоко, и не яблоко-сморчок, неотрываемо сидящее на своем стебле, кислое, жесткое, безвкусное. «Нахально вели себя», по

укоризне собеседниц, бесполое, почти бесполое женщины и девушки; у них, верно, были и «усики» на губе, и «разухабистые» манеры, как у писарей; громкий и жесткий голос, мужицкая походка. Те же сидели тихо в уголке; не ходили – а плыли или скользили по полу; были застенчивы, конфузливы, стыдливы... Они были добродетельны: как *героизм* в мужчине, конечно, есть добродетель, так главная добродетель в женщине, семьянинке и домохозяйке, матери и жене, есть изящество манер, миловидность (другое, чем красота) лица, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум проникновенно-сладкий, душа добрая и ласковая. Это – те, которых помнят; те, к которым влекутся; те, которые нужны человеку, обществу, нации; те, которые угодны Богу и которых Бог избрал для продолжения и поддержания любимого своего рода человеческого. Часто они бывают и не красивы, но как соловей: ибо зато «поют, как никто»...

О следующем случае я имел случай расспросить: мне и еще одному писателю передавала пожилая женщина, что ее молодой друг испытывает то несчастье, на какое жаловался Н. И. Пирогову его университетский товарищ. «Он недавно женат, сам молод, военный – и почти болен от жены, до бегства, до желания развестись. Говорит, что ее могли бы насытить только три мужа. И удивительно, это такая милая дама. Она ничего не может сделать, потому что, ненасытная сама, она вечно его возбуждает, и он не в силах уклониться от исполнения ее желаний.

– Вы говорите, она приятная женщина?

– Чрезвычайно. Наблюдая ее в обществе, никак нельзя предположить, что у нее такой... исключительный аппетит. И какой голос: такого нежного, глубокого голоса я ни у одной женщины не слыхала!»

«Голос»... но ведь это то, чего *не подделаешь!* Это уже не «кокетство скромностью», которую еще можно подделать: это – сама *душа*, вернее говорящая о сокровищнице сердца, о характере, чем взгляд, чем улыбка. Все поддельно, кроме *голоса*. «*Задушевный голос*»... И вот у такой женщины, которая,

судя по отзыву мужа, носила в себе утроенную самочность, – голос был «неги, какой я ни у кого не слыхала»: и шел явно от «души» – утроенно человеческой, небесной...

«Вечная женственность»... как совершенно другой полюс, как диаметрально противоположная вещь несокрушимо мужеству, напору, смелости, упругости, твердости самца... она есть только сердечная, умственная, бытовая, матерная, нравная фотосфера, распространяющаяся около утроенной, удесятиренной самочности ее. Молчаливая, но с каким говором в душе! «Вечная молчаливица», как кто-то сказал и о мужчинах-героях, что «они – прежде всего молчаливики».

Эта-то «вечная женственность» как проявление повышенной самочности и лежит объяснением в основе древнего факта, не разгаданного историками, так называемой священной проституции. «La sainte est toujours prostituée», – пишет о египтянках в большой своей «Истории Востока» Масперо⁷. Что за загадка? Каким образом глубокому и серьезному народу, каковы были египтяне, по свидетельству всех древних наблюдателей и новых историков, как им пришло на ум религиозным именем «sainte» наименовать тех особых существ, тех редких и исключительных существ, которые неопределенно и беспредельно отдавались мужчинам, были «prostituée»? Неужели имя «sainte» мы могли бы кинуть толпящимся у нас на Невском «проституткам», этим чахлым, намазанным, пьяным, скотски ругающимся и хватающим вас за рукав особам? Ну вот перед человечеством впервые стоят два понятия, два признака: «святая» – это понятие небесного, Божьего; и простой факт, что «всем отдает себя». И невинный человек, перво-званным глазом взглянув на оба факта, должен сотворить их соединение или разъединение, то есть сказать или: «prostituée est sainte», или «prostituée est grande pécheresse», «великая грешница!» Вообразите, первый народ сказал «prostituée est sainte». Что же это такое? Не имел он вкуса, глаза? Не умел обонять, ничего не понимал в характерах человеческих? Но тогда «совокупность цивилизации египетской», сумма «всех прочих ее качеств» разила бы... как наша невяская прости-

тутка, и тогда едва ли бы Масперо, Бругш, Ленорман стали изучать эту вонючую гадость. «Очень интересно»... Тут может покопаться медик, но что тут делать историку культуры? Египетская культура приковала к себе внимание *бесчисленных* ученых, этих скромных и добродетельных тружеников, своим беспримерным изяществом, соединенным с глубиной и торжественностью:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
*Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит*⁸.

В двух последних строчках написана как бы эпитафия над всею могилою Египта. Что-то пустынное... молчаливое... устремленное к Небу, религиозное... и, как тонко замечает Бругш, «не меланхолическое, но глубоко радостное в себе, восторженно счастливое при этой сдержанности языка и скромности движений!» Так это и есть на рисунках Египта: в необозримых изданиях, в необозримых фолиантах, где воспроизведено все нарисованное ими за четыре тысячи лет жизни, культуры, я встретил только *один* рисунок сбора винограда, где один, очевидно полупьяный, мужчина повис, обняв за шею двух тоже не весьма трезвых своих друзей, и «пишет мыслете» с ними. Сценка, полная реализма, какую я не встречал в рисунках греческой живописи; но и она – скорее милая, чуть-чуть смешная, но нисколько не нахальная. Сала, грязи я не встретил нигде в этих бесчисленных фолиантах, грязи «сального анекдотца», кое-чего «во вкусе Боккаччио». Ничего, ни разу: и между тем сколько повторяющихся, как стереотип, фигур, где и «они», и «оне» с плодами и цветами, с жертвами идут к громадной статуе Озириса, «Судии мертвых», статуе «всегда cum fallo in statu erectionis», как грустно замечает архимандрит Хрисанф в «Истории древних религий»⁹.

И вот – «sainte prostituée»... Есть и рождаются иногда исключительные, редкие младенцы-девочки, вот именно с этою

«вечною женственностью» в себе, с голосом неизъяснимо глубоким, с редкою задумчивостью в лице, или, как описал Лермонтов,

...в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
*Бог знает чем была погружена*¹⁰.

И она расцветает в *sainte prostituée*... как вечную *податливость* на самый слабый зов, как нежное эхо в ответ на всякий звук...

Есть ведь «всемирные педагоги» – ну, в желаниях, ну, в поэзии; есть «всемирные воины», как древние скандинавы; всемирные мудрецы – Сократ, Спиноза: как же не быть, естественно *быть кому-то* и «всемирною женою», всемирною как бы «матерью», всемирною «невестою»... Она «невестится» перед всем миром, для всего мира, как ведь и все вообще девушки в 14–15 лет «невестятся» *неопределенно перед кем*, перед всяким, перед *всеми* (чуть-чуть «*sainte prostituée*» проглядывает). Из такой врожденной девочки-девушки-женщины как бы истекают потоки жизни, и ей мерещится, «будто *я всех родила*», «*все родила*»... И волосы ее, и очи, и сосцы, и бедра, и чрево... таковы, что первозданный невинный взгляд египтянина уловил и назвал, и торжественно воскликнул, или, скорее, богомольно прошептал – «*sainte*». Масперо договаривает: «...египтянки *из лучших семейств*, дочери жрецов и знатных военачальников, достигнув зрелости, отдавались кому хотели и сколько хотели и так проводили много лет, что не вредило будущему их замужеству, так как по миновании этой свободной жизни их охотно брали в жены лучшие и знатные из воинов и священников». Почему не взять, если она «*sainte*»? Как не прельститься, если она «*religieuse et sainte*»? Как не надеяться, что она будет верною женою и преданною материнству матерью, если она уже испила все и насытилась всем, нимало, однако, не истощившись, ибо истощаются *торопясь*, напри-

мер «наши», а этим куда же было спешить? И в естественные годы спокойствия и равновесия, безбурности и тихости она выбрала себе лучшего и *одного*. Он также ее не ревнует, как она его, к тому возрасту молодости, когда он проводил жизнь как и она; хотя, наверное, к этим «*saintes*» влеклись и пылкие, совершенно невинные юноши, первозданным взглядом своего возраста подмечая в них подлинную «*sainteté*», за которую все отдают. Однако Масперо не договорил (или не знал), что этих «*saintes prostituées*» было немного в каждом городе и всей стране: ибо вообще немного рождается в стране и городе, в годе и десятилетии Василиев Блаженных, Спиноз, Мальбраншей, Кольцовых, Жуковских. «Не все вмещают слово сие, но кому дано» (природно, от Бога). Огромное большинство египтянок, без сомнения, имели инстинкт, как и наши: то есть сразу же выбирали себе мужа – одного и на всю жизнь или выходя за второго, третьего, четвертого... седьмого (беседа Иисуса с *семи*-мужнею самарянкою) в случаях смерти или разлада, не более. Женщина, познавшая только семерых мужчин, когда ни закон, ни религия, ни родители ей не ставили предела и хотели и ждали от нее большего, конечно, есть умереннейшая в желаниях женщина, врожденно тихая и спокойная! Как наши «все».

Нужно только иметь в виду эту нумерацию:

... + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ± 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7...

«*Sainte prostituée*» есть + 8 + 7 + 6... По мере приближения к низшим цифрам, к + 3 + 2 + 1, тембр голоса грубеет, взгляд становится жестче, манеры резче, «нахальства больше», как сказали бы семинаристы. Появляются типичные их «поповские дочери», которые выходят в замужество с мешком определенного приданого и всю жизнь счастливы, составляя «приданое к своему приданому», не весьма сладкое для попа и диакона, но «ничего себе», «терпится». Наконец наступает +. Обратите внимание на знаки + и –. Такие не мертвы, хотя абсолютно никогда не «хотят». «Кое-что» по части + в них есть: но оно связывается «кое-чем» по части –. Таким образом, в них нет *однолинейного* тяготения – к «самцу», но две

как бы стрелки, обращенные остриями в разные стороны: к «самцу» – одна, а другая?.. Закон прогрессивности, как и то, что здесь все происходит только между *двумя* полами, указывает, что вторая стрелка и не может быть ни к чему еще направлена, кроме как к *самке* же. Самка ищет самки; в первой самке, значит, соприсутствует и самец; но пока он так слаб еще, едва рожден, что совершенно связывается остатками самки, угасающею самкою, которая, однако, тоже связана вновь народившимся здесь самцом. «Ни туда, ни сюда». Голос страшно груб, манеры «полумужские», курит, затягивает и плюет, басит. Волосы растут дурно, некрасивы, и она их стрижет: «коса не заплетается»; нет девицы, а какой-то «парень». Где здесь «вечная женственность»?

...Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена!

Нет, уж об такой этого не скажешь: ходит на курсы, на митинги, спорит, ругается, читает, переводит, компилирует. «Синий чулок» с примесью политики или политик с претензиями на начитанность. «Избави Бог такую взять в жены», и их инстинктивно не берут (хотя берут дурнушек, некрасивых, даже уродцев), ибо действительно «какая же она жена», когда в ней едва-едва + 1 самки, а то и вовсе ± 0 . Если бы, «паче чаяния», у нее и родился ребенок, она не сумеет вынуть грудь и накормить его; «не Мадонна, а вахмистр». И мужа ей совсем не нужно, она скучает с ним, убегая неудержимо в «общественные дела», в разные «организации», притворную «благотворительность», в основе же – в шум, беганье, возню, суету. Мужчина, «воин и гражданин» (стрелка самца), уже полупробужден в ней; и только вот не растут усики. И она не умеет нести на себе *по-настоящему-женскому женское платье*: оно на нее не так надето, неуклюже, и все как-то коротит, без этих длинных и красивых линий, волнующих мужчину. Их и не любят мужчины: «какой славный *товарищ* эта Маша».

И, наконец, все переходит в чисто *минусовые* величины: «она» волнуется между своим полом, бросает страстные взгляды, горячится, чувствует себя разгоряченную около женщин, девушек. Косы их, руки их, шея их... и, увы, *невидимые* перси, и, увы, увы, *вовсе скрытые* части, вся «женская тайна» – все их неизъяснимо волнует и тянет, тем сильнее, до муки, до страдальчества, что это так навеки закрыто для них – именно, именно для *них-то* и закрыто, открываясь только для мужчины, мужу. Танталовы муки: так близко, постоянно вокруг, даже и видится при небрежном раздевании, при купаньи; но невозможно *внимательно взглянуть*, не умерев сейчас же со стыда. Мировая преграда – в самом устройении вещей, в плане мира! «Ничего нет ближе локтя *своего*, но *невозможно* укусь!»...

Муки Тантала! – бесконечно *отодвинутое* исполнение! Невозможно оно, не будет! – никогда!..

Слезы, тоска, мечты. Грезы. Стихи, много стихов. Философия, длинная философия! Кстати, и некоторое призвание к ней. «Вахмистр в юбке» усваивает легко и Маркса, и Куно-Фишера, – и вообще умственно, духовно, идейно, словесно, *рабоче* куда *выше* «слабого пола».

Закон этот, конечно, применим и к мужскому полу. Как он здесь выразится?

Там «пробиваются усики», здесь укорачивается борода, все это не в физическом, а преимущественно в духовном, нравном, бытовом, сердечном отношении, но отчасти также и физическом. Северные норманны, как их описывает Иловайский¹¹, пожалуй, лучше всего живописуют первоначального самца, + 8, + 7 мужской прогрессии. «В мирное время, когда не было ни с кем войны, они выезжали в поле и, зажмутив глаза, бросались вперед, рассекая воздух мечами, как бы поражая врагов; а в битве они без всякого страха кидались в самую сечу, рубили, наносили раны и гибли сами, думая перейти по смерти в Валгаллу¹², которую также представляли наполненной героями, которые вечно сражались». Неукротимая энергия, как и у турок, потрясших Европу храбростью и войнами. Ранние войны латинян и вечная «междоусобная борьба» ран-

них эллинов тоже имеет в основе себя, вероятно, этого же самца, который не знает, куда ему деваться от сжигающего жара, и кидается туда и сюда, в битвы, в приключения, в странствия (Одиссей и эпоха Генриха Мореплавателя). Все это первоначальное грубое ворочанье камней культуры. Вулкан ворочает землю, по-видимому безобразя ее, разбивая ее, разрывая ее; но на самом деле это уже *начало* культуры, ибо это уже не есть неподвижность мертвого *материка*. Островок культурнее материка, «маленькая земляца» всегда принимает первый луч Божий, *разбитость*, *расшибленность* чего-либо вообще есть *первый шаг к культуре*.

Но одно – разбить косную массу на куски; и другое – начать обрабатывать куски. Бой и шлифование – разные фазисы одного процесса, но требуют они совсем разных качеств.

Вот здесь-то, во всемирной потребности *шлифоваться*, и выступает роль $+2$, $+1$, ± 0 пола, -1 , -2 его.

Борода начинает укорачиваться, пыл – опадать, а в характере, дотоле жестком, грубом, *непереносимом* для «ближнего», начинает проступать мягкость, делающая удобным и даже приятным соседство. Являются «ближние» и в территориальном, и в нравственном смысле; является «родство» в смысле духовном и переносном, а не в одном кровном. Все это по мере того, как самец от высоких степеней $+8$, $+7$ переходит к умеренным и совсем низким: $+3$, $+2$, $+1$. В этих умеренных степенях зарождается брак, как привязанность одного к *одной*, как довольство *одною*; и, наконец, появляется таинственный ± 0 , полное «неволение» пола, отсутствие «хочу». Нет жажды. Гладь существования не возмущена. Никогда такой не вызовет «на дуэль», не оскорбится и уж всего менее «оскорбит». Сократ, сказавший, что он легче *перенесет обиду*, чем *нанесет* ее, – тут, в этих гранках; как и мировое: «Боже, *прости* им – не ведут бо что творят». Вообще выступает начало *прощения*, кротости, мировое «непротивление злу». Платон Каратаев тут же, около Сократа; как и Спиноза, мирно писавший трактаты и наблюдавший жизнь пауков. Все – выразители мирового «не хочу». «Не хочется»... Созерцательность страшно выросла,

энергия страшно упала, почти на *нуль* (Амиель, Марк Аврелий). Мечты длинные, мечты бесконечны... Все существование – кружевное, паутинное, точно солнышко здесь не играет, точно это зародилось и существует в каком-то темном, не освещенном угле мира. Тайна мира. В характере много лунного, нежного, мечтательного; для жизни, для *дел* – бесплодного; но удивительно плодородного для культуры, для цивилизации. Именно – паутина, и именно – кружево с длинными нитями из себя, *завязывающимися со всем*. В характере людей этих есть что-то меланхолическое, даже при ясности и спокойствии вида и жизни; меланхолическое безотчетно и беспричинно. «Мировая скорбь», «Weltchmerz» здесь коренится, в этом таинственном «не хочу» организма. Здесь цветут науки и философия. И наконец \pm разлагается в $+ 0$ и $- 0$: первый отмирает – в нем ведь ничего и не было? И остается – 0 , который быстро переходит в $- 1$, $- 2$, $- 3$ и проч.

На низких, первоначальных степенях, $- 0$, $- 1$, мы наблюдаем это в форме известных *двойных* содружеств; не в форме товарищества, шумного и обширного, с забавами и «предприятиями», но всегда – дружба только *двух*, тихая, бесшумная. Если вы присмотритесь, то эти «два» стоят всегда в контрасте, духовном, бытовом, характерном и даже физическом; и один как бы *дополняет* другого. Есть взаимная дополняемость, и отсюда получаются житейская гармония и слиянность. Жизнь, можно сказать, переполнена этими странствующими и стоячими (сцепление двух), которые вообще всегда образуют красивое явление, привлекая взоры всех тишиною, незамутненностью своею – тем, что никому не мешают и явно довольны спокойным довольствием, – довольны своим существованием. Гоголь первый дал нам такую диаду в известном соседстве знаменитых «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича». Злой Гоголь их поссорил, но обыкновенно они не ссорятся и один хоронит другого. Из-за чего им ссориться? Еще заметите это в живописи Тургенева: он нарисовал целый ряд таких диад – «Хорь и Калиныч», «Чертопханов и Недопюскин», отчасти Лежнев и Рудин (вода и огонь), кажется, еще несколько, много. Чаше

всего один покровительствует, другой – покровительствуем, один – жёсток, жесто́к, груб, резок, другой – нежен, мягок, податлив. «Точно муж и жена, мужчина и женщина». Но ничего нет, еще ничего нет. У Достоевского это выражено в идиллии «Честного вора», где этому слабому и бесхарактерному человеку, к тому же запивающему, покровительствует трезвый, тихий и милый портной. Перефразируя наблюдение первых христиан: «У язычников самые добродетели их суть только красивые пороки», – можно сказать, что у этих диад «самые пороки становятся как-то невинны». У других людей в воровстве сказались бы хищность, бессовестность; и на него ответили бы боем. Но у этих самое воровство добродетельно: «Честный вор». Да и в самом деле «честный»: до того кроткий, что его и обругать не придет в голову никому, не то что побить; но сам он до того мил и праведен, что от одного тихого укора повесился. Воистину, «таковых есть царе о небесное»... Делают ли что они – добро им, не делают – добро же. Не веруют – хорошо, а украли – тоже хорошо. Как-то безвредно, без «последствий». И любодествуют они – тоже хорошо, и не любодествуют – хорошо же. Впрочем, они почти никогда не любодествуют. «Не хочется». Ни Хоря, ни Калиныча, ни Чертопханова, ни Недопюскина, ни «Лишнего человека» (см. «Дневник лишнего человека»)¹³ мы не умеем представить себе «с бабою» или «около девицы». Эти диады, или пассивные одиночки, – до такой степени есть начинающиеся праведники, линии начинающейся христианской праведности, такой особенной, такой типичной, с кроткими глазами, с опущенными руками, с тихим взором, взором – длинным, задумчивым, что невозможно усомниться в том, что уже задолго до христианства в них началось христианство или что Евангелие, само в этой же категории явлений существующее, встретившись с этим течением – слилось с ним, «обнялось» с ним, и они-то соединенным руслом своим и произвели то, что мы именуем «историею христианства», «историею христианской цивилизации», «историею Церкви». Я сказал: «и Евангелие в этом ряду». И в самом деле, это – его откровенный глагол. «Бессеменное зачатие» – вот с чего оно

начинается, с требованием признать его – оно выступило. Это есть то *чудо*, то «неизреченное», «не вмещающееся в разум», не бывающее и невероятное, о чем услышав все засмеются, так как это есть «дважды два = пять» пола: и между тем без согласия на это «чудо» и «бессмыслицу» – вы не христианин, «не крещеный». А как только это приняли и покорились этому, как только уверовали в это половое «дважды два = пять», так вы «христианин», «крещены», «в сынах спасения» и «Царствия Божия».

«В Православную Святую Церковь веруешь?

– Верую.

– И в Божию Матерь тоже веруешь?

– Верую.

– А ну, сынку, перекрестись.

Приходивший крестился. Тогда кошевой говорил ему: «Ступай».

Так совершался, по Гоголю, прием в Православную Сечь, эту азбучную общину мужиков-рыцарей¹⁴.

«Бессеменное зачатие»... но что оно такое? – Это $+ 0$ пола, – 0 пола, или ± 0 пола, как хотите определяйте, принимайте: но, как только в половом месте вы поставили *значащую величину*, все равно *единицу* или *дробь*, поставили *что-нибудь* – вы отвергли, ниспровергли Евангелие и христианизм. Самая его суть и есть ± 0 пола. В этом не «что-нибудь» его, а все оно. Церковь до такой степени на этом яростно настаивает, что ее невозможно ничем так оскорбить, как и действительно нельзя бы ничем ее так ниспровергнуть, как утверждением, намеком, предположением, что в И. Христе или Божией Матери было что-нибудь *настояще-половое*, а не только «схема», «очерк», да и то лишь *словесный*, «девы-женщины», «учителя-мужчины». «У Иисуса были *братья*», – сказано в Евангелии; «она не знала Иосифа, *дондеже не родила* (то есть *пока* не родила) Иисуса». – «Нет! нет! – восклицает Церковь. – Божия Матерь была *монахиною*, монахиною *в существе* и только без формы, и *ничем иным* она и не могла быть, потому что *иначе и не началось бы христианство как что-то совсем новое в мире!*» И эти братья Иисуса суть его *двоюродные братья* или что-то другое, а не родные

братья: ибо у *Божией Матери* не могло быть детей, она – монахиня. Открывая Евангелие, конечно, видим, что как будто оно опрокидывает этот крик Церкви: сказано «братья Господни» и «дондеже не родила Иисуса». Но, вчитываясь глубже, больше, вчитываясь годы, «до седых волос», «до последняя», – видим, что втайне, не в буквальном смысле, а в *духе своем*, Евангелие поддерживает этот крик Церкви и даже именно оно и породило его собою, как вопль, как неистовое и страшно *уверенное в себе* утверждение!! Конечно, Божия Матерь – монахиня, как и рожденный Ею – монах же; без пострига, без формы, без громких слов, без чина исповедания, но в существе – *таковы именно!* Иначе зачем бы и говорить о «бессеменном зачатии» и подчеркивать потом, страстно и мучительно: «не от похоти мужския» (зачат Иисус). Итак, «бессеменное зачатие» – это раз; и затем, зачатый так и Сам был *бессеменным*: *это-то* и есть новое и оригинальное, почему Его и нарекли «сыном Божиим», «богочеловеком», и приняли, и поклонились. Ему – как *таковому именно*. Как только в образ Его, в Лик Его вы внесете семейность, семенесение: так вы и разрушили, раскололи, уничтожили этот Лик. Согласились вы на него – вы приняли Христа, «нового Бога»; нет – и вы отвергли Его, вы – не христианин. Но «бессеменность» в видимом, ясном, признанном очерке мужчины, в каком ходил Иисус, это и есть ± 0 пола, то таинственное явление, какое неизвестно в биологии. Понятен глубочайший интерес, глубочайшее волнение, с каким мы должны бы, ученые обязаны бы давно начать к нему приглядываться.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

К выходу 2-го издания Полного собрания сочинений
И. В. Киреевского, в редакции М. Гершензона. 2 тома¹

Ну вот, наконец и *лицо* человека, о котором приходилось столько думать и которого любил уже давно – Ивана Васильевича Киреевского, в превосходном новом издании его сочине-

ний, сделанном М. Гершензоном с тем пониманием и вкусом, с которым этот странный еврей-библиофил «охорашивает» старых и полузабытых русских писателей, над которыми, кажется, уже и могила заросла травой... Но он их любит, этот черненький еврей-Талмудист (по виду); как ведь собрал же незабвенный Шейн обрядовые русские песни, русские и белорусские, с таким прилежанием, с такою очевидно любовью, в таком множестве вариантов, что просто руками разводишь... Будущий библиограф XXI столетия напишет когда-нибудь целую монографию о том, *как и почему* привязались эти евреи – народ, казалось бы, до того нам чуждый, враждебный – к русским могилам, к русским погостам, к пожелтевшим старым тетрадочкам книгохранилищ, к старопечатным русским книгам... Любопытное будет исследование. Но пока что – нельзя не сказать спасибо.

В очках, должно быть с круглыми стеклами и неуклюжих, в высоком воротнике сорочки, в более чем старомодном полукафтани, полусюртуке, с остриженными волосами, сидит «наш друг Иван Васильевич» в большом и удобном старинном кресле. Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо поставлено прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; над глазами большие надбровные дуги; череп – хорошей коробочкой, без округлости, без шаровидности, как у обыкновенных русских. Нет, – это необыкновенный русский.

Взгляд пристальный. Губы маленького, красивого (хочется сказать – «хорошенького») рта сжаты. Все выражение – презрительное, негодующее. Но он молчит. Слушает и презирает говорящего.

И вот я дорисовываю в воображении: vis-à-vis² сидит Герцен, с его широким русским лицом, добрым, мягким, с сочными полными губами, – и изливается в потоках речей, оспаривая «нашего Ивана Васильевича». Соловей сам себя заслушался. Талант весь масляный. Так и блестит:

Как некий чародей
Отселе править миром я могу...³ –

говорит у Пушкина миллионер-рыцарь, перед открытыми сундуками с сверкающим золотом. У Герцена «золото» было в его талантах, в его уже, наверное, округлой, шарообразной голове, «истинно русской».

Что недоступно мне?...⁴ —

мог спросить о себе, опять словами богатыря-рыцаря, Герцен; что не поддается очарованию моего слова, очарованию моей мысли... и... и будущего «Полного собрания сочинений». Герцен был прирожденный сочинитель; сидевший против него и все молчавший Киреевский был явно не сочинитель.

Он презирал, молчал, негодовал и не мог ничего возразить «тоже нашему» Александру Ивановичу. Слова никак не лезли из маленького и изящного рта, немного девичьего.

Александр Иванович считал это за явную победу и, еще шире распустив крылья, как орел несся над пространствами всемирной мысли, и позитивной, и идеалистической, цитировал Шеллинга и апостола Павла и все связывал золотым шнуром своей мысли, хочется сказать — колючей военной проволокой, но сделанной из чистейшего золота — остроумия, его гибкости, его приткости. Считая противника совершенно побежденным (потому что тот все молчал), он уже — по русской доброте — теперь уже оказывал ему покровительство, кое-что небрежно припомнив из его давних полуслов, — соглашался с этими полусловами, уступал из своего, отказывался. Богачу отчего не отказаться? А Герцен каждую минуту чувствовал, каждую секунду чувствовал: «Как я богат! Нет, как я несчетно одарен... сравнительно с этим моим бедным другом, так ошечинившимся, и бессильно ошечинившимся, в ворота своей рубахи и плохо сшитого кафтана».

Наконец Киреевский буркнул:

— Вы нескромны!!

Герцен ответил: что такое? ничего не понимаю! «Нескромны», «immodeste»⁵... что такое говорит этот чудак, этот еж, этот крот?.. «Нескромнен»: я ему говорю о падении Рима и

апостоле Павле, исповедавшем на его площадях, цитирую, и верно цитирую, Volney'n: он мне говорит, что я «нескромен»...

– Нескромны, и все это очень глупо, и «Апостол Павел», и «Рим», и ненужный Вам «Волней». Вы нескромны, наглы и легкомысленны. Вам кажется, что Вы ужасно даровиты, а на самом деле Вы глубоко бездарны, и золота-то в Вас нет, а только позолота... Или, точнее, Вы весь осыпаны бриллиантовой пылью и сверкаете, как солнце, но настоящего-то теплого солнышка в Вас нет ни единого луча. И все к Вам побегут, но ничего из Вас не вырастет.

– Вы говорите, как Валаамова ослица, извините...

– И договорю... И умрете Вы холодной смертью, без настоящего друга около себя, без родного человека, измученный, раздраженный, разочарованный... Умрете холодной ледяшкой где-нибудь не на родине; но есть свои законы у холодного солнца, у искусственного солнца, вот из бриллиантовой пыли: в то время как Вы будете так холодно и ненужно умирать, вдали от этого места будет шуметь Ваше имя, шуметь Ваша слава... «Полному собранию сочинений» будет очень хорошо: только Вам-то будет очень плохо...

– Это голос Корейши, юродивого...

– И Корейша договорит: просто этого ничего не нужно, ни «Вас», ни Вашего «Полного собрания сочинений». Ветер, даль и пустота...

– Что же нужно?

– Молчание!

– Молчание? талант «бездарных»?

– Талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер – исключения, и ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания, тем больше «делается». «Чего» делается? Всего, всех бесчисленных вещей, которые созидаются в природе, «ткуются на ее вечном станке», как выразился Гете. Молчание – добродетель, а разговоры... могут быть просто «болтовней». Вы в самом деле нескромны и удивились и не поняли, когда я Вам заметил это. Между тем на-

стоящий ум начинается со скромности, то есть с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с внимания к окружающему, с желания учиться из окружающего. Вы, Александр Иванович, такой говорун, что, очевидно, никогда ничему не будете учиться серьезно. При Вашем блеске Вам кажется, что у Вас «от рождения все науки в голове сидят». Но они, конечно, там не «сидят», и Вы во всем *есть* и на всю жизнь *останетесь* дилетантом... При таланте, вот таком огромном, как у Вас, или лучше – при такой бездне мелких талантов, какую обладаете Вы, – дилетантство с полбеды: но за Вами в дилетантизм потянутся и бездарные, нашей России будет совсем плохо. Долго, долго не придет к Вам *настоящей науки*... Ценна ли *настоящая наука*, Вы об этом если не знаете, то догадываетесь: но вот эта *настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить; я думаю – немой и даже глухой. Но зато утроенно зрячий, с телескопами вместо глаз... Наука, как и все лучшее, рождается из добродетели: я недаром заговорил о Вашей нескромности, перейдя от нее к порицанию в Вас всего, к уникальному порицанию, к универсальному отрицанию. Теперь я начну универсальную *хвалу*, и начну ее с хвалы *святому*. Если Вы растерялись перед словом «скромность», то тут Вы уже совсем ничего не поймете. Но ничего. Я буду говорить перед Вами, как перед тумбой. Буду говорить постижимым бормотаньем как бы среди глухих. Начало мира... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего мира... И пока мир держится именно *на этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, – он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое – оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть *настоящее*. «*Настоящий человек...*», «*настоящее золото...*», «*настоящая дружба*»: вы понимаете эти термины. Мир состоит из «настоящих вещей» и из *подража-*

ний «настоящим вещам...». И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота в русском казначействе, обеспечивающего наши несчастные и бесчисленные ассигнации. Мы подошли вплотную к лицу вещей: вот и талант Ваш – не настоящий, и кто пойдет за Вами – не настоящие люди, и во всем движении Вашем не будет настоящего содержания. Но выйдем из кабинета этого и пойдем за околицу нашей деревни: вот куда, где мой брат, Петр Васильевич, собирал народные песни и собрал их несколько томов: это есть *мир настоящего*, глухой, темный, суровый, незнаемый. *Народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума*. Наши с Вами разговоры пройдут, и «Вольней» вам в самом деле не нужен, как и «Апостол Павел среди Рима» есть только словесное украшение великолепной Вашей речи. И потому, что Вы – «не настоящее». Но вот в этом «народном море» последняя крупинка сыграет свою роль; займет умы настоящей науки, не чета моей голове и не чета Вашей голове, и взволнует настоящим волнением совесть более глубокую, чем у нас «с Вами». Безотчетно это море и именует себя «Святая Русь». Но и эта «Святая Русь» сейчас же хрустнула бы во всем своем достоинстве, если бы она была самодовольна, самовлюбленна, вот как мы с Вами; если бы она не была полна слез о себе, сознания своего убожества и своей немощи. Так что есть ярусы «святого»: «святое» в «святом» и «святое» под «святым». Как в «истине» есть тоже сложность, углубления и высоты. Самоуверенная и сомнительная демократия есть такое же жалкое и скоропроходящее явление, как и Ваш блестящий талант или блески Вашего таланта; народ «свят» *отраженною святостью* другого высшего, что уже не есть этнографическая масса, а вечные абсолюты, над всеми народами стоящие; вечные звезды в истории. Ну... это совесть, это Бог. Выйдя сюда, мы уже выйдем за грани Руси. Сюда я не уйду. Но я остаюсь и останусь с Русью; и тогда – как вы умрете, наверное, где-нибудь вне Руси и холодно, озябши, – я непременно умру в Руси; и хоть шума вокруг меня не будет, но зато будет немножко того тепла, без которого жить невозможно и страшно

даже умереть без него. Моя дорога уныла: но она светло кончится; Ваша дорога светла: но она уныло кончится.

* * *

Труды Киреевского вязнут в зубах... За пятьдесят лет — два издания! И то какие: не народные, не дешевенькие, а великолепные большие издания для ученых и библиотек. Нет, это не о них сказал Некрасов великолепный стих:

Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной...

Эта проклятая «зола» так западает к самому корешку, и, сберегая новенькую книгу — ее ни ногтем не выковырнешь, не выдешь ртом. «Знакомые истории».

Девушка в девятнадцать лет
Не замечается над нею,
О ней не будут рассуждать,
Ни дилетант, ни критик мрачный...⁶

Да, чтобы переиздать или даже чтобы хоть внимательно перечитать эти старые тетради и книжки, надо родиться какому-нибудь специалисту «Гершензону», пройти весь неизмеримый, весь бесконечный путь от «Талмуда» до «славянофильства», и тогда он найдет в полузабытом, почти забытом писателе какие-то слова жизни и понимания, каких не нашел нигде еще в русской литературе...

Вот чего никак нельзя представить себе, чтобы человек очень старой культуры, неся ее в крови наследственно или в сознании усвоенно, культуры этих «вавилонских оттенков» или оттенков «римских», «греческих», — стал вчитываться и наконец взялся переиздать Герцена, с учеными примечаниями, с кропотливостью над каждой строкой. «Будто Священное Писание»...

Вот этого духа «священства», – священства *в самом происхождении*, не лежит ни на одной странице и ни на одной строке Герцена. Корейша-Киреевский в самом деле набормотал когда-то правду: что все сочинения Александра Ивановича не «из добродетели» – тогда как его, Корейша, сочинения текут в самом деле «из добродетели». Смешно, смеешься до упаду, а потом перестаешь смеяться и думаешь: «Это в самом деле серьезно». Дело в том, что, не будь у Александра Ивановича такое «легкое перо», он никаких сочинений не писал бы, а или проигрался бы в Монако (если только Монако тогда было), или был бы убит на дуэли, или сделался бы генерал-губернатором, командиром корпуса или первым секретарем при русском после в Лондоне. Что-нибудь в этом роде... Смиранный же Иван Васильевич, «такой Корейша», никуда бы не перелез из своей симбирской деревеньки или из каменного дома на «Собачьей площади» (в Москве), где вот они спорили с Герценом: и если бы не пером, то хоть долотом на каменных столбах уж записал бы, то есть вырезал бы, свои знаменитые мысли... До того неинтересные студенту и 19-летней девице... То есть Киреевский был подлинно «священный писатель», и его «кой-какие сочиненьица» суть тем не менее подлинное «священное писанье» в нашей русской литературе... Написанные в том настроении, о котором Лермонтов сказал:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...
Отчего же мне так больно и так трудно?..⁷

Стих Некрасова о студенте, «посыпающем золою» и т. д., и этот другой стих о пустынноике, вышедшем одиноко на дорожку, можно сопоставить. Две сладости: реальная, земная; и другая – какая-то явно не земная, грустная, одинокая, отвергнутая... Но тем пуще сладкая, сладчайшая.

Одна сладость пала на Герцена. Другую выбрал себе Киреевский.

Он и за ним вся линия славянофилов (он был *родоначальник* их) в самом деле сочинили какое-то «священное писание»

в русской литературе, «естественно не читаемое»... Алтарей так мало, а площадей так много. Но все их «творения», до-вольно «вязкие в зубах», в самом деле исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к Русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, – везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем. Чего от них никогда не могло прои-зойти, чего в линии их развития никогда не могло появиться – это Д. И. Писарева. Ни его «Отрицания эстетики», ни его «мыслящих реалистов»... А это характерно. Дети всегда характерны для родителей.

* * *

От Киреевского пошли русские одиночки... От Герцена пошла русская «общественность»... Пошло шумное, деятельное начало, немного «ветреное» начало... движущееся туда, сюда, всюду. У Герцена была шарообразная голова, «по-русски», и полные мягкие губы. И «общественное начало» у нас говорило и говорило. Говорило сочно, сладко, «заслушиваясь себя»... с успехом, какой всегда имел и Герцен. Впрочем, оно лет через 50 обмелело бы; даже раньше; если бы в помощь ему и отчасти чтобы сменить его и вытеснить не пришли семинаристы <18>60-х годов, с закалом суровым, дерзким и... жертвенным. Герцен был так талантлив и счастлив, что «жертвы» у него никак не получилось бы: между тем только на «жертве» строится великое в истории. Замечательно, что, когда пришли «семинаристы», по-видимому, «единомышленные» с ним, Герцен затосковал... Он увидел свой конец, свою смерть. Он был в порыве глубоко их отвергнуть, восстать на них: но не решился и – промолчал. Почему? Ведь он был так неизмеримо их талантливее, не говоря уже о просвещенности. «Друг Мадзини... друг Прудона». Тогда как Чернышев-

ский был всего из Саратова, а Добролюбов из Нижегородской бурсы. Отчего же он почувствовал себя вдруг слабым? Семинаристы, при всей их грубости и «незнании иностранных языков», сообщили всему движению тонкость и твердость стали: тогда как Герцен был именно мягкое железо. Сталь может рубить железо, а железо – в какой бы массе ни было – не может перерезать самой тонкой пластинки стали. На всем протяжении неизмеримых сочинений Герцена, где столько блеска и роскоши, нет ни одной страницы трогательной и «хватящей за душу». Даже нет, в сущности, ни одной интимной страницы. Уж слишком не «священное писание»... Попахивает бульваром: ну, «бульваром» в июльские дни, когда Париж шумел, Людовика-Филиппа гнали и Гизо бежал в карете с грязным бельем. Но хоть и в «июньские дни», однако именно «бульваром»... Ничего не поделаешь. Судьба. Та же «судьба», с горечью и сладостью в себе, дала Добролюбову много поест черной каши и кислых щей, прежде чем он вышел в литературу. Да и таланта у него, как у Герцена, не было. У него была та «скромность», о которой спросил Киреевский у Герцена и Герцен тогда ничего не понял. Скромность – и с ней «добродетель», качество немного Корейши. У семинаристов появилось чуть-чуть «священного же писания», с его жаром, с его верою, с его «торжественным настроением в душе». И – не «вязло в зубах». Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова, – чуть ли не единственный стих, какой он написал, – не из шуточных:

Милый друг, я умираю
От того, что был я честен,
Но зато родному краю
Вечно буду я известен.

Милый друг, – я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею⁸.

Это просто нам, в самом деле, завещание умирающего, живым *родным людям*, – перед лицом которых и перед лицом гроба не приходит на ум ни вымысел, ни украшение. Одна простота. Одна правда. Одна суровость. Вот таких восьми строк во «всем» Герцене нет. На «родное» по-родному и ото-звались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову; больше: она вся встала перед ним. Когда на людном собрании «общества в память Герцена», после двух-трех чтений о нем корифеев петербургского либерализма, европейского либерализма, я заговорил «и о Добролюбове», – я был остановлен пренебрежительным замечанием:

– Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом...

Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен – европейский ум. Да и какой талант – разнообразие талантов. Произнесено было так уверенно, что я замолчал. Да, Добролюбов был беднее Герцена, как и Киреевский. Но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении он был его и неизмеримо даровитее, тоже как Киреевский. Герцен весь рассыпался, разливался: но воды его «мелели» с каждым днем и каждой саженью движения вперед. Ключ и Киреевского, и Добролюбова бил из глубины земли... Бил и не истощался и поил многих и многих... И пившие находили воду его свежую, вкусною и здоровою. В Герцене ни одной ниточки не было от Киреевского, но в Добролюбова вошла крошечным уголком, тоненькою ниточкою душа Киреевского. Это любовь к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне. Киреевскому было бы совершенно нечего конфузиться перед Добролюбовым; Добролюбов не мог бы почувствовать никакого негодования к Киреевскому. Хотя все их мирозерцание, все их идеалы – несоизмеримы, далеко, в сущности – враждебны. Но

Капля крови, общая с народом...⁹

Между славянофильством и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины

одного и того же дня. Опускаю подробности, которые, впрочем, тоже важны...

ПАМЯТИ А. С. ХОМЯКОВА

(1 мая 1804 г. — 1 мая 1904 г.)

Столетие, исполняющееся 1 мая со дня рождения Хомякова, пробудит о нем если не в целом русском обществе, то в специальных литературных и общественных кругах теплую память и некоторое движение мысли. Личность покойного, мы знаем, для некоторых русских людей едва ли не первенствует на всем небосклоне русского XIX века. Его признают гением (мы слышали определения именно в этих словах). Заслугу его перед Россией признают неисчерпанной и неисчерпаемой. Он «был Колумбом, открывшим Россию». Так именно о нем писали и говорили. Но таких энтузиастов очень немного; их наберется несколько десятков, у нас и у западных славян — людей уединенных, кабинетных, книжных, не весьма внимательных к живой истории своих дней. Напротив, из самого состава почитателей мы заключаем, что в А. С. Хомякове была большая историческая нужда, но только нужда своего времени, тех 40-х и 50-х годов XIX века, которым принадлежит расцвет его деятельности; но что по миновании этой надобности, выполнив какую-то специальную миссию, он присоединился к великим книжным сокровищам русским, но не вошел живою частицею души в живую русскую жизнь. Он, который писал так много о «любви», увы, не объят любовью народной в ее обширном значении. Около «Пословиц русского народа» (В. И. Даля), «Толкового словаря великорусского языка» (его же) и, еще далее, около «Слова о полку Игореве» или, позднее, около Крылова, Лермонтова, Пушкина, Кольцова, даже около Некрасова имя его бледно, образ тускл, слова как-то не запоминаются, спутываются. Только его слова о Европе: «страна святых чудес»¹ — вошли почти пословицею в живой оборот но-

вого русского языка; какая насмешка истории, если принять во внимание, что во всех своих трудах он усиливался опровергнуть этот яркий афоризм. Теперь, когда прошло 44 года после его смерти, идеи его не представляют высокого и цельного здания. Они похожи на рассыпавшуюся башню св<ятого> Марка в Венеции². Было прекрасное здание, прекрасный план, от которого осталось много щебня. Но щебень этот есть, но здание это было, но есть много людей, хранящих о нем благоговейное воспоминание. В общем, все принадлежит истории, а не действительности. Так и Хомяков. Он все же упорно и монотонно (все в одном направлении) своею деятельностью покачнул все русское сознание в сторону народности, земли, в сторону большого внимания к своей истории и нашей Церкви. Цельность строя его мысли, кроме специалистов, никто не хранит. Но отзвук, но «запах» его мысли распространился почти на всех. Дело в том, что широкая жизнь, с ее множественством практических задач, с ее «нудностью», скорбью, болью, уторопленностью, прошла мимо Хомякова. Но он бросил в ее багаж (а многие говорят – ей под колеса) нечто такое, чего она не могла вовсе избыть. И вот она идет к другим целям, не хомяковским; но нечто хомяковское имеет у себя, в богатствах или дефиците – это не совсем и не для всех ясно.

* * *

Мне кажется, начала «любви», им проповедуемой, не так много было у него самого. Он был слишком индивидуалист, слишком особняком стоявший человек (для сравнения припомните Некрасова). С окружающей жизнью он не сливался. Таким образом, в «мирское», «хоровое начало» (его термины, его любимые идеи) он не вошел согласным с другими голосом, и именно от недостаточной в нем любви к другим, простоты и скромности. Все свидетельства о нем современников, как и его литературные полемики, говорят о нем как об уме гордом, характере высокомерном, что вследствие примеси к этому шутливости оставляло впечатление заносчивости. Это

до того противоречит всей программе его проповеди, что стоит задуматься. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Его противники, западники, были гораздо проще его, любвеобильнее, смиреннее; но потому-то именно, что они имели эти дары души, они и не придавали им вовсе никакого значения, восхищались «гордой музой Байрона» и проч. Напротив, гордая и высокомерная натура Хомякова «вечно плакала о том, чего не имела»: о смиренномудрии, простоте, гармонии с ближним. Это составило его известные идеалы. Но как самый плач о них был несколько искусственный, то все это и пало на русскую ниву несколько искусственным и плохо принявшимся посевом.

Во всяком случае, не у Хомякова русские научились простоте, смирению и любви. Если хотите, они этому больше научились даже у Белинского и Грановского (с последним Хомяков вел ученую полемику)³. Осмелюсь сказать, что простоте и смирению они даже научились больше у Некрасова. Как и любовь к народу, подлинное реальное народничество, неистощимый труд для него они взяли вовсе не из славянофильских теорий. Мы вообще научаемся из примеров, а не из слов. И вот ряд людей, сонм людей, к которым Хомяков и его школа стояли во враждебном отношении, самым примером, жизнью, а также и безыскусственным словом (без теорий) показали пример вообще доброго, скромного и внимательного отношения и к земле родной, и ко всем чужим странам.

Дом – не тележка у дядюшки Якова⁴ –

в этом стихотворении Некрасова больше чувства народности, не принужденного, само собою сказавшегося, чем во всех стихотворениях Хомякова. Этой несчастной истины кто же не видит.

«Любовь», – говорим мы часто. Но тогда ли, когда больше всего любим? Любовь разлагается на внимание, на заботу, на ласку, на шутку, на прибаутку, на веселый дух, все сопровождающий. И когда этого пестрого спектра нет, подозрительна и «любовь». Напротив, когда человек поет песни и работает,

думается, что он любит весь мир, хотя этого не высказывает и не доказывает. Много вообще антиномий кроется в странной душе человека.

* * *

Перейдем к оценке некоторых частных идей Хомякова. «Только любовь (к предмету, к лицу) открывает нам истину (лица или предмета); без этого анализ наш, как бы ни был остер, скользит по поверхности вещей». Это – исходная точка его воззрений. Хорошо. Но была ли она им применена к лютеранству и католичеству, на оспаривание которых, на понижение уровня которых он положил значительную часть жизни? Вот – Лютер. Не нужно иметь братской любви всечеловечества, чтобы не отвергнуть, что этот одинокий монах был точь-в-точь то же, что наш родной Гусь, что пламенный Савонарола, но только счастливый, получивший наконец удачу после стольких исторических неудач. Католичество, не знавшее себе возражений, заволокшее все небо тогдашней цивилизации, да частью и родившее из себя это небо, представляло авторитет, о каком решительно в наши времена разрозненности нельзя себе составить понятия. Будучи истинною сердечною (верою, «religio»), оно владело и пользовалось силами государственного подавления, преследования. Представьте, что губернатор, полицмейстер, полиция и все местные войска повинуются мановению архиерея с характером и претензиями Никона. Да что Никона... Представьте самого невозможного, несговорчивого, неуступчивого, самонадеянного и вместе самого корыстолюбивого, тщеславного и властолюбивого протоиерея, какого знавали вы в своей жизни; и представьте, что умерла вся земля, умер или замер мир и вот он один на нем среди послушных, отупелых от рабства и испуга поселян, – и вы получите некоторое подобие средневекового строя после Иннокентия III, при Григории VII и его преемниках. Это такие душные потемки, каких мир не видел со времен Калигулы и Нерона, но построенные на золотом престоле Евангелия и

якобы как «продолжение» его, как «укрепление» его. Все, что говорят нам о Талмудизме и Талмуде, якобы дающих только разработку Библии, было в папстве и католичестве, которые так же смешались и были неотделимы (в то время) от Христа и его Евангелия, как для правоверного еврея Талмуд неотделим от Моисея и пророков. Распутать эту паутину, разлепить эту слепленность, конечно, никому не было бы под силу («где тут разобраться!»). После великих личных страданий, великих колебаний и сомнений веры, только опираясь – уж если хотите – на простоту, смирение и доброту своего сердца, простой августинский монах⁵ навалился всем грузным телом (темпераментом, характером своим) на эту паутину; и изорвал ее всю собою, разломил, можно сказать, всю Европу, как мина броненосец, и произвел такое волнение в истории, какого от начала мира было не слыхано. Ибо цивилизация-то средневековая была почти закончена; университеты, жития святых, память Колизея, чудные (действительно чудные!) богослужения, сонм орденов монашеских – все являло в дивной красоте и гармонии эту Венецию всемирной истории, волшебную, всемогущую, страшную, очаровательную. Как мал перед его подвигом подвиг Колумба! Лютер, как и крестоносцы, тоже шел завоевывать «св<ятую> Землю», только не территориально, а идейно. Во всяком случае, если тут и были ошибки (а они, несомненно, были, и очень большие), как, однако, не понять, и именно любовью не понять, великое, до известной степени единственное в истории лицо, стоящее в центре этого невыразимого волнения европейской цивилизации? Хомяков подходит к нему (именно к лицу Лютера) с какими-то вопросами киевского семинара, с какой-то схоластической тетрадкой «вопросов» и «ответов», спрашивает его по «вопросам» и, не слыша от него «ответов», значащихся в киевской тетрадке, творит над ним суд до того неуклюжий и не в соответствии с событием и лицом, что читателя по коже дерет. Это был суд Бенкендорфа о «Капитанской дочке» («вроде романов Вальтер-Скотта, только слабее»), суд докторов над Гоголем: что-то рациональное и не умное, как

будто благожелательное, а в сущности злое, ученое и, однако, невежественное. Видите ли, все они, и лютеране и католики, «не имели законного предания», которое сохранилось только в Киеве: лютеране вовсе отвергли киевское предание по той простительной причине, что не знали его, а католики по той, что «откололись» от Киева, стали «раскольниками». «Предания», и именно чистого, апостольского, конечно, все искали, особенно Лютер: о «filioque»⁶ (о нем одном и помнит Хомяков) они просто забыли, не постигая, какой жизненный и практический, душеполезный и душегубительный смысл соединяется с этим. Их интересовали более жизненные учения: о праве или бесправии личности судить о вопросах веры; о том, своим ли подвигом или заслугами Церкви спасается человек; об авторитете иерархическом (папском) да и о тысяче вопросов, которые возникали, но которые проспали в Киеве. «Как они смели, на Западе, думать, страдать и мыслить, когда мы на Востоке дремали и, в частности, я видел золотые сны о славе моего Киева?» – вот удивительно местный, придиричий, эгоистический и высокомерный вопрос, сквозь призму которого проходит вся богословская критика Хомякова. «Эгоист, ты только о себе и думаешь», – могли ему ответить равно лютеране и католики; «весь твой метод суждений напоминает рассуждения теперешней армяно-грегорианской Церкви»⁷. Они, видите ли, эти армяне, посылали своих представителей на Вселенские Соборы до IV включительно, но за местными делами не послали представителей на V, VI и VII Вселенские Соборы. И не то чтобы отвергают их, оспаривают: но остаются в стороне от позднейших утверждений и вообще наслоений, какие привнесли в жизнь христианского мира эти три последние собора. Но армяне, довольствуясь своею четырехсоборностью, и не претендуют на вселенское значение. Между тем как с этим же армянским суждением Хомяков мнил себя быть Колумбом христианского мира.

«В 1847 году, плывя на пароходе по Рейну, я вступил в разговор с одним почтенным пастором, человеком образованным и серьезным. Разговор мало-помалу перешел на предметы

религиозные, и в частности на вопрос о догматическом предании, которого законность пастор отвергает. Я спросил его, к какому исповеданию он принадлежит. Он был лютеранин. На каких основаниях он предпочитает Лютера Кальвину? Он предложил мне весьма ученые доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подносил ему стакан лимонада. Я просил пастора сказать мне, какому исповеданию принадлежит его слуга. Тот был также лютеранин. Почему он предпочитает Лютера Кальвину? Пастор остался без ответа и показал недовольный вид. Я уверил его, что не имею в мыслях ни малейшего желания его оскорбить, но думал только показать ему бытие предания в протестантстве. Смутясь несколько, но тем не менее дружелюбно пастор сказал мне, что, он надеется, невежество, условливающее эту видимость предания, рассеется перед светом науки. «А люди со слабыми способностями, – спросил я его, – а большая часть женщин, а рабочий, которому время едва достает для добывания насущного хлеба, а дети, а незрелые юноши, чье суждение о вопросах столь ученых, каковые разделяют мир реформаторов, не выше детского суждения?»

Пастор замолчал и после нескольких минут размышления сказал: «Да, да, тут есть кое-что, *ist etwas darin*, я об этом подумаю». Мы расстались. Не знаю, думает ли он до сих пор». И т. д.⁸

Алексей Степанович победил. Но как побеждал Пигасов Рудина или Рудин Пигасова, как побеждали вообще на Собачьей площадке* в Москве в <18>40-х годах и даже как вообще побеждают люди без истории, горящие в пустом жаре слов, людей истории, в слове не всегда искусных и находчивых. Ну, да, конечно, и *предание*, и *авторитет* есть у лютеран, как у католиков; дети следуют за родителями, неученые за учеными, как и у нас «приход за попом, ибо поп учен». И «предание», и «авторитет» есть даже у революционеров, ибо и для них Мирабо авторитетнее Людовика XV, а дни <17>93 года памятнее и священнее дней Трианона и Версаля⁹. Но заключим ли из схождения слов, что эти «предание» и «авторитет» есть то же

* Местожительство Хомякова и Аксаковых.

у них, что у католика, а у последнего как у лютеранина и революционера? Да, есть «предание» у каждого, но *свое*, другое; и ни одно из них уже не повторяет великого священного римского предания, страшного и опаляющего, убившего собою «я» в человеке. В Лютере родился действительно новый человек, ничего общего не имеющий с католиком Варфоломеевской ночи, и за Лютера держится («предание») лютеранин, но уже в *облегчение* себя, а не в *отягощение* себе; Лютер не давит, а освобождает. И, может быть, каждый своими слабыми силами не удержался бы против римского авторитета и предания, но, держась за Лютера, но, слушая в истории его могучий голос, видя его правдивую фигуру, все удерживаются против вихря с Ватикана. Лютер уничтожил *фетишизм* предания – и только. Маленький следует за большим – да, но насколько он мал и пока мал и пока не может и не хочет иному следовать сам. Вырастет он, станет большим; пусть тогда выбирает лично для себя, что ему нужно. Лютер как бы обратился к человечеству со словом: «Возлюбленные дети, я открыл, что признававшееся всемирною и окончательною истиною есть всемирная и изначальная ложь. Перед небом мы – сироты. Я сильнее вас, но и я слаб. Истина не в истине, а в способе отношения к истине. Человеку ничего не надо, кроме удела – искания, в этом – грехопадение, в этом наставшая после Адама слабость. Я пойду, куда влечет меня ограниченное, но честное мое сердце; идите и вы все, но не за мною, а после меня, и как увидите, что я заблуждаюсь, не идите за мною во все, и идите за собою, и, куда вам укажет ваше более зрячее сердце». Фетиш пал. Фетиш бессмысленный, бессмысленно поклоняемый; фетиш, перед которым не слабые только дети, не «слуга, подававший лимонад», а все были слабы, и Абельяр, и Галилей. А это – разница, неужели Хомяков ее не видел?! Религия очеловечилась. Человек скромно признал скромную свою земную ограниченность, которую вовсе забыл Рим, и в этом-то, в этом-то забвении и заключался главный порок средневековой, почти законченной и страшной цивилизации. «Возлюбленные дети, мы слабы, и я, и римский первосвящен-

ник»; небо средневековое потряслось и раскололось от этих скромных слов на Вормском сейме¹⁰; «и я, и папа, и императоры, и князя – мы все сироты перед небом и у неба».

И потрясся Олимп многохолмный,

как говорят часто в «Илиаде».

Как, не посмотрев сердцем и любовью, Хомяков не понял великой драмы протестантизма, так же, без любви отнесясь к католикам, он не понял великой драмы Рима. О «римских заблуждениях» слишком часто приходится говорить, слишком естественно говорить православному, который, как известно, «чужд римских заблуждений». «Римские заблуждения» все суть проступки страстного (и гениального) игрока, который, видя на руках козырный туз, мечет карты смело, изумительно, долго – успешно; пока после невероятных выигрышей ему вдруг не начала мигать проклятая «пиковая дама», оказавшаяся напоследок на руках вместо беспроигрышного туза. Настоящее отношение к Риму есть отношение сострадания. В пределах человеческих папство совершило все возможное как в смысле святости, так и мудрости; но никогда у него не было скромного сознания и своей человеческой участи – погрешать, быть слабым, ошибаться; и идти вспять, дабы разыскать новую дорогу. Оно все шло прямо, без поворотов. После Варфоломеевской ночи оно не повернулось. После инквизиции не повернулось же. «Все свято, ибо все от Христа, и начиная с Христа», по несомненному, проверенному преданию, с дачею людям всех прав сомнения и отрицания, но с необходимостью же для них согласиться, и уже тогда согласиться твердо и окончательно, когда сама свобода ничего не могла сказать в отрицание истины. Известно, что перед каждым возглашением нового святого католики «давали слово адвокату дьявола»; каждый мог без насмешки над собою, без угрозы себе войти на кафедру и начать отрицать заслуги предлагаемого святого, критиковать его жизнь или «житие» и вообще отрицать его. Нет, у нас на Востоке этого бы не дозволили. О рабстве в католицизме

навраны горы пустяков: нет, такое гордое и долговечное здание на рабстве не основывается. Католицизм знал (и знает) безграничную свободу, но не вековую, не переходящую в анархию: после свободы *сегодня* и для *меня*, на завтра и для детей моих вырастал столь же необыкновенный авторитет, как была необыкновенна свобода, на сегодня данная. «С чем отец согласился, да не отрицают того дети; но они, в свою очередь, тоже отцы, и для них есть свой удел свободы; однако только в отношении внуков, которым будет уже обязательно это решение теперешних детей». Пока, с прогрессом, поле свободы не суживалось более и более и ко временам Лютера, Коперника, Галилея, Колумба не дошло до удушения, до невозможности для всего человечества дышать. Нет, католичество творило гениально и свободно; в самих делах веры оно было свободно до атеизма (бывали такие папы), до бунта, до революции (и такие папы были); последую и Фоме, который усомнился в Воскресении Христа, и Петру, который от Него отрекся; и сохраняя во всем этом апостольство, то есть необыкновенную преданность Христу, который именно о преемниках Петра сказал необыкновенное и специальное слово, ни к кому иному не отнесенное: «Паси овцы Мои». Пастырство всемирное – вот мечта Рима; пастырство по слову Христа, уверенное до самозабвения, не сомневающееся о себе и в Варфоломеевскую ночь. Как мы не можем сравнивать с Москвою Калуги, хотя Калуга тоже хороший город, так и папы не могли уравнивать с Римом ни Константинополь, ни Аугсбург, ни Москву, ни Берлин. Папы, можно сказать, связаны с Римом и несут на себе его трагедию, а не то, чтобы папы ввели Рим в трагическую судьбу. Рим больше пап – вот в чем секрет; в Авиньоне папы были уже ничто, и только пока были в Авиньоне¹¹. Вернулись в Рим, и все опять стало мощно, необыкновенно, стало опять значительно и влиятельно, несмотря на пережитые унижения (пощечина Бонифацию VIII¹²). За Римом стоит Петр, таинственно пришедший туда и там умерший способом, предсказанным Христом; за Петром – Христос... Папам ли было не замутиться в уме, не ослабеть перед такими обещаниями и соблазнами...

пока скверная «пиковая дама» не замигала из сданных карт. Разумею все теперешнее положение папства перед лицом европейской цивилизации: уже открытой Америки, вертящейся около солнца земли, рабочего вопроса, перед лицом светских королей, неверующих парламентов, отнятой у них Италии, отрекшейся от них Франции, не думающей соединяться с ними России и т. д. и т. д. Признаков «пиковой дамы» слишком много, и только азарт мешает Ватикану заметить то, что все видят. Да вековая невозможность ему – «повернуть».

История католицизма вся в этой великой игре страстей и сокрытой за нею таинственной магии, которая управляла папами, как гипнотизер своею сомнамбулою или, пожалуй, как луна управляет лунатиком. Все знают безнравственное учение иезуитов (о чем писал Самарин)¹³; поверим ли мы, что все иезуиты лично и за себя безнравственны! Но они все и лично этого не чувствуют, как и инквизиторы вовсе не чувствовали своей жестокости. Вот пример сомнамбулизма¹⁴, безответственности сомнамбулы, бесстрашия сомнамбулы. Тут именно шалости «пиковой дамы»: невероятного, чему пришлось поверить Герману, потому что умершая или убитая им старуха действительно всегда выигрывала и вообще имела секрет карт. «Как неоспоримо Христос повелел нам пасти своих овец, так, несомненно, мы, и притом только мы одни, правы, когда пасем и поскольку пасем человечество». Признак власти, невероятной, несбыточной, у них в руках: кроме зрелища, что никто им не повинует (на последок времен). «Ну, так *должны* повиноваться! Ну, так *будут* повиноваться!» Не это ли та вера, о которой сказано: «Если с верою скажете горам – двиньтесь, они двинутся»?

Хомяков как в личную сердечную драму Лютера не заглянул глубоко (без любви) и не постиг ее земной великой правды, так и на трагедию папства он посмотрел поверхностно, не открыв в ней этого небесного магического момента (сомнамбула). Все представил он как борьбу самолюбий. Перечтем такую же центральную у него страницу о папстве, какую привели о лютеранстве:

«Со времени основания своего апостолами Церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь известный мир (не папы ли и папство и объединили к X веку этот «мир»?), связывавшее Британские острова и Испанию с Египтом и Сириею, не было нарушаемо. Когда восставала ересь (то есть разделение, а когда же она не «восставала?»), христианский мир посылал своих представителей, своих высших сановников (ну, вот так католичество и собралось при появлении «ересей» Гуса и Лютера на соборы Констанцкий¹⁵ и Вормский) на эти священно важные собрания, называемые соборами, – собрания, которые, несмотря на беспорядки и иногда даже насилия (где же тут «целокупная любовь?»), затмевавшие их чистоту (значит, есть «пятна»? но посмотрите – в итоге без «пятен»), представляют своим мирным (?) характером и возвышенностью вопросов, подлежавших решению, благороднейшее из всех зрелищ истории. Церковь всецело принимала или отвергала определения этих собраний («слуга»-то, «принесший лимонад пастору», не так же ли безмолвно с ним соглашался?), смотря по тому, находила ли их сообразными или противными своей вере и своему преданию, и называла «вселенскими» те из соборов, которые признавала выражением своей мысли. Временный авторитет в вопросах дисциплины (почему «временный», если решения абсолютно верны, а если они не абсолютны вообще, почему для следующего, второго поколения, также имеющего право судить, они авторитетны?), они становились неопровержимым и непоколебимым свидетельством в вопросах веры. Они были голос Церкви. Ереси не нарушали этого божественного единства: они были заблуждениями личными (да арианство¹⁶ обнимало почти весь Восток; прочие ереси увлекали царства и, во всяком случае, провинции), а не расколами провинций или епархий. Таков был порядок церковной жизни, внутренний смысл которого скоро забыт был на Западе»¹⁷.

Всякий понимает, что «расколы» перестали подниматься не от отсутствия возможности их, а от потери интереса к предметам их. Все, целое море мысли и вопросов, стало относиться к области «схоластики»; и когда образованные слои европейско-

го человечества обратились к другим вопросам – политическим, философским, экономическим, – то «перестали быть и ереси», а народы, как подавший лимонад пастору слуга, пассивно пошли за большинством и за прошлым. Этот-то вожделенный «мир», который был миром равнодушия, Хомякову представляется достигнутым «организмом целокупной любви» и «не подлежащим пересмотру решением всех вопросов». И вот он начинает критиковать, в мотивировке – слащавый, а в цели – беспощадный:

«Предположим, какой-нибудь путешественник в конце или в начале IX века пришел с Востока в один из городов Франции или Италии. Полный мысли об этом древнем единстве, полагая себя среди братьев, он входит в храм, дабы освятить (!) седьмой день недели. Полный искренности и любви, он присутствует при богослужении. Он слышит эти высокие молитвы, наполнявшие его сердце радостью с самого раннего детства. Он слышит слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа». Он слушает. А вот в церкви возглашается Символ веры христианской и католической – Символ, для которого каждый христианин должен жить и за который должен уметь умереть (да почему за один Символ веры, а, например, не за слова Христа: «Паси овцы Мои» – или не за слово апостола, соблюдаемое в англиканской Церкви: «Епископ должен быть единыя жены мужем»? Но на Востоке оба эти слова выслушаны были глухо). Он слушает... Это Символ измененный, Символ неизвестный (то есть вставлено *filioque*). Наяву или во сне он это слышит? Он не верит своим ушам, сомневается в своих чувствах. Он осведомляется, просит пояснений. Он полагает, что зашел в собрание сектантов, отвергнутых местною церковью. Увы, нет. Он слышит голос самой местной церкви. Весь патриархат, и наиболее обширный, целый мир произвел раскол... Удрученный печалью (!), путешественник жалуется; его утешают: «Мы прибавили самую малость», – говорят ему, как не перестают нам повторять это латины до сих пор. «Если это малость, зачем же вы прибавили?» – «Это вопрос совершенно отвлеченный». – «Почему же знаете вы, что вы его поняли?» – «Но это наше местное предание». – «Как оно

могло найти место во вселенском Символе вопреки формальному (да что за «формальности», и с прокурорской строгостью, в вере, да еще основанной на «целокупной любви»?) определению вселенского собора, воспретившего всякие изменения Символа?» – «Но это предание общее, и мы выразили его смысл по местному мнению». – «Мы не знаем этого предания; да и во всяком случае, каким образом местное мнение может найти место во всеобщем Символе? Познание божественных истин разве уже не есть дар, ниспосылаемый всеобщности Церкви? Чем заслужили мы такое исключение? Не только не подумали вы с нами посоветоваться, но даже не приняли на себя труда уведомить нас! Ужели мы так глубоко пали! И, однако, едва ли век прошел, как Восток произвел величайшего из христианских поэтов и, может быть, блистательнейшего из богословов Дамаскина! И мы считаем еще среди себя исповедников, мучеников веры, ученых, философов, полных знанием христианства, подвижников, чья вся жизнь есть молитва (и у католиков, даже у иезуитов, все это было и есть, нисколько не прекратилось после разделения Церквей). За что вы нас отвергли» (за что *мы* их «отвергли»?)... Но сколько бы ни говорил бедный путешественник, раскол был сделан. *Мир римский* (курсив Хомякова) *совершил действие, в котором подразумевалось объявление, что мир Восточный есть не более как мир илотов¹⁸ в вере и учении. Церковная жизнь* (то есть основанная на любви, согласии) *кончилась для половины Церкви¹⁹.*

Так Хомяков похоронил весь Запад: не говоря о лютеранах, «церковная жизнь кончилась и в католичестве».

«Замечательно, до чего же во всем этом месте гнусно-ханжеской тон у Хомякова! Вот уж московская просфирия, вздумавшая поступить в охранное отделение и для «удобств службы» одевшая захваченный со стороны «стихарчик». Уверен, не иным тоном пытали подсудимых в московских застенках и в «святейшем судилище» (инквизиция) Рима, этих «охранных отделений» Иисусова «кагала»...

Она осталась на Востоке, где на фундаменте «целокупной любви» не позволили даже напечатать эти и другие его

богословские сочинения, изданные в Праге. «Путешественник, зашедший в римский храм», в действительности зашел туда не чтобы «единомыслием исповедать Отца и Сына и св<ятого> Духа», а с довольно каверзною и уже заранее решенною мыслью – найти там что-нибудь, что бы отвергнуть, осудить; и осудить молящихся в нем по тому собственно мелочному мотиву, что его «в свое время не уведомили». Здесь, во всем этом «армянском» методе рассуждения, разверзается такая сухость сердца, придирчивость ума, такое жестокое отношение к ближнему, к страдальцу западному во время нашего векового сна, какие возможны именно в стране, где только спорили, а не жили и даже где только снизу посматривали на чиновников, которые одни все и делали. Ядовитый путешественник забыл, что у католиков не одно «filioque», а и культ Мадонны без всяких подобий его у нас; что у них иное все понятие о Церкви, все *чувство Церкви*; что у них, однако, на церковно-религиозной почве вылилось такое великое создание, как «Divina Comedia», когда у нас на той же почве появилась и бесспорно гениального человека только «Переписка с друзьями»²⁰, и проч. Католики вовсе не «забыли нас уведомить»: а просто между Гибралтаром и Эльбой (пространство довольно обширное, состав народов довольно сложный) продолжали жить по-своему, совершенно поглощенные внутренней своей работой. «Илотами» они нас не называли; а Хомяков с таким наслаждением назвал их «илотами веры» («потеряли церковную жизнь»), что практический спор: у кого сохранилась жемчужина простоты, любви и мира – этим решается бесспорно.

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ

Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.

26 мая 1848 года «вешние воды» Петербурга прорвали и унесли последние частицы сил, которыми цеплялся за землю

Белинский. Ни к кому так не идут, как к нему, последние страницы «Рудина»:

«...И масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить...

— Ты, я уверен, однако, сегодня же, сейчас же готов опять приняться за новую работу.

— Нет, я устал теперь. С меня довольно.

Они обнялись в последний раз. Рудин вышел, а Лежнев сел к столу писать к жене письмо. Между тем на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.

Белинский есть основатель практического идеализма в нашем обществе. Были люди столь же чистые, как он, душою, но прошедшие незаметно, в тиши, трудившиеся около маленького дела, в стороне от больших дорог истории; другие были люди несравненно обширнейшего, чем у него, образования (славянофилы, Тютчев) или глубокомыслия (Достоевский, Толстой); есть фигуры, необыкновенно красиво сложившиеся (Карамзин, Тургенев) и, так сказать, стоящие неувядаемым перистилем¹ в портиках истории. Но чье еще имя назовем, кто пробегал бы по этому портику таким живым дыханием, неугомонным ветерком; чей звучный голос так долго, заметно и иногда властительно звучал под его сводами и волновал чистейшим волнением чистейшие сердца? «Удивляюсь я: в какой бы глухой городок я ни заезжал, везде я находил, что среди играющих в карты клубских завсегдатаев, сплетен, всяческого сора есть группа не принимающих никакого в этом участия светлых голов: они все — восторженные почитатели Белинского». Эта запись Ив. Аксакова, ездившего в пятидесятых годах изучать малороссийские ярмарки и отметившего влияние скорее неприязненного ему писателя, могла бы стать лучшею надписью на могиле Белинского.

Основатель практического, жизненного, житейского идеализма. Удивительно, как все соединилось в Белинском

для полноты этой миссии. Он вышел в жизнь с тощеньким «чемоданчиком», да и тот где-то на перепутьях «отрезали». Он был один, совершенно один; только светлая голова, только руки; кровь – если позволительна гипербола – температуры 100° и пульс 200 ударов в минуту. Характерно, и очень важно, и почти нужно было в провиденциальных целях, что ему не дали доучиться в университете и он «выбыл» чуть ли не «по неспособности». Совершенно один, и никакой материальной, вещественной, формальной поддержки, хотя бы даже в виде пустыньского диплома. Только человек, только его душа; «веяние ветра Божия». Очень неприятно было читать его переписку с невестой, года два назад напечатанную, где он требовал от нее, чтобы она приехала к нему в Петербург: «...обвенчаемся тихо и пешком пойдем домой». Неприятная черта здесь была в каком-то непонимании его, что у девушки или у ее родных есть свои привычки, предрассудки, требования, которые любящий человек мог и, конечно, должен был уважать. Да, «должен» – здесь, на земле, в формальных границах, в которых все мы живем. Но тайна Белинского и сущность его души, его миссии и была совершенная несвязность ни с какими формами быта, практики: в чистейшем веянии, и не «по» земле, а «над» землею. И это отношение к невесте, так мучительно не хотевшей огорчить своих родных, поражает нас в Белинском жестокостью и грубостью только при первом чтении писем; позднее, взвешивая их и относя к цельности его исторической фигуры, невольно говоришь: так все и должно было случиться, как случилось; конечно, Белинский не мог и даже не должен был сидеть на свадебном ужине. Никакого «быта», никаких «нравов»².

С отрезанным «чемоданчиком», он жил где-то еще «на антресолях». Когда разыгралась история с чаадаевским письмом, в напечатании которого Белинский принимал самое деятельное участие, – упоминается, что он «в это время жил у Надеждина, в мезонине».

О чем, бишь, «Нечто»?.. Обо всем...³ –

эта характеристика литературного «emplois»⁴, которую делает Репетилов, в своей неопределенной зыбкости и, так сказать, неуловимости очень точно выражает, если ее переложить на материальные знаки, неуловимость и зыбкость внешнего положения Белинского. Нет в нашей литературе еще человека, который, лежа на гребне исторической волны, и так долго, так видно лежа, — годы, десятки лет взмахивал бы только своими тощими руками, без малейшего «своего» под ним суденышка. Не только он был один, но он всегда был бесприютен; он уже вел за собою огромную толпу, ибо Грановский, Герцен, В. Боткин, собственно, все лишь дополняют и разнообразно продолжают образ Белинского без специфического и нового, оригинального в себе значения; но, как видно по письмам его о Краевском и Некрасове, внешним образом он все еще оставался среди них каким-то неустроенным studiosus'ом⁵ — с влиянием, простирающимся на всю Россию, и без уверенности, не ожидает ли его дочерей безысходная нужда (см. его письма, исполненные страха за семью, перед смертью)⁶. Все это сплело ему терновый венец при жизни; но на расстоянии времени все это как-то увеличивает блеск его имени и опять нужно было для полноты его исторической миссии. «Дух веет идеже хоцеть». Нужно было, чтобы «горение» Белинского до конца осталось только «из себя» горением, чисто «человеческим», «духовным», почти без примеси извне подбрасываемых дров.

Что же сделал этот одинокий и бесприютный человек, не имевший «места» в обществе, «нуль» в государстве, «пасынок» университета, «пловец в море житейском»? Все идеальное, что есть в этом обществе, есть в университете, частью даже в государстве, он безмерно возлюбил. «Шелуха» практического бытия своего народа, «отброс» его текущих дней — он возвеличил, поднял, призвал всех вкушать от всего, что есть «съедобного» в зерне, его так мало заметившем и приютившем. Деятельность Белинского не исчерпывается одною литературою в ограниченных и сухих ее рамках: в 12 томах солдатенковского издания его «Сочинений» есть, собственно, полный очерк нужного и ценного в жизни, «ис-

кры», «огоньки», брошенные во все углы человеческого обихода. Он именно все «светлое» возлюбил и ко всему ему, в полном очерке, возбудил надолго светлые и именно практические усилия. Нельзя не отметить именно «практического» его влияния. «Смакователи» эстетики в <18>40-х годах и позднее вовсе не имеют своим родоначальником Белинского в фазе его поклонения Гегелю и Гете; они все относятся генетически к более пассивным натурам его времени – В. Боткину, Грановскому, Кудрявцеву; к тем, которые «говорили», и не к нему, который «кричал на крыше»*.

От него пошло именно идеальное в практике, как и он сам был человек, который сейчас же бы променял слово на всякое открывшееся возможное дело; от него пошли те незаметные «чиновнички», «учителя», «семинаристы» по глухим провинциям, о которых упомянул в письме своем Аксаков⁸. Он, если позволительно так выразиться, зажег идеализм в «рабских» слоях нашего общества и надолго сделал невозможным обратное впадение этих слоев в «вино» и всяческую житейскую «грубость». Зажег свет в глыбе земли, и никогда или долго эта глыба не сделается у нас опять бесформенною, бессмысленною «землею», то есть он и его сочинения внесли ласку в отношения учителя к ученикам; добросовестное делание своего дела судебским секретарем; из семинариста сделали приветливого и вдумчивого в свою паству священника; везде они разошлись по России лаской, мягкостью, честностью; немножко – мечтою, но на той прекрасной ее границе, где она нисколько не мешает делу и только согревает его, облегчает его, улучшает его. Вот что, как огромный и прочный факт, дал России Белинский.

* Нельзя не обратить внимания на то, что, уже став «литературным авторитетом», Белинский не выпустил из-под пера своего ни одной «отчеканенной» строчки; то есть что цели литературной «чеканки» (и, следовательно, какого бы то ни было литературного *emploi*, «положения», и даже литературно-исторической «по себе» памяти) не входили никакою долею в круг его забот и внимания. Из его частных писем, за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пыпину⁷, многие выше по форме его статей, и, во всяком случае, они все сливаются с «Полным собранием его сочинений» без границы, между ними проходящей.

Это и есть главное, и около него все остальное, то есть частное, предметное содержание его критических работ, уже образует второстепенность.

В последние десятилетия прошла в нашей литературе тенденция поставить впереди его других критиков и также – осудить его за последний период его деятельности, когда он «изменил прекрасному». Ну, эта «измена»-то и текла из «прекрасного вообще» в его душе, что отогнало в сторону «прекрасное» в узком и стесненно-ограниченном «слове». Прекрасно «думать прекрасное», и еще прекраснее его «совершать»: против этого какой же «книжник» что-нибудь скажет? Но обратимся к его предполагаемым заместителям. Справедливо, что Добролюбов был утонченнее (нервознее) и потому сильнее Белинского; женственнее* – и потому страстнее, владычественнее его; но его деятельность, превосходная по растрачиваемым силам, была уже и одностороннее деятельности Белинского, – пусть в избранном русле и глубже; и она была гораздо более груба и материальна по целям, движению, объектам усилий. Тот дух еще мягкого, человеческого, рокошущего протеста, которым под самый конец не столько заострилась, сколько стала тревожиться деятельность Белинского, – этому духу, окунув его в холодную воду своего стиля, Добролюбов сообщил закал стали. Слово вдруг стало резаться, когда с ним прежде играли, и очень многие хотели бы вечно играть. Далее, Ап. Григорьев был, конечно, осторожнее и дальновиднее Белинского в суждениях; также его преемник в критике – Н. Н. Страхов. Но ведь тут много значит эпоха, накопившийся опыт фактов и психического развития. Когда появлялись «Рудин», «Отцы и дети», «Театр» Островского,

* Черта, на которой мы упорно настаиваем. Есть ряд писателей, например у нас Карамзин, Лермонтов, во Франции Руссо, с ярко выраженным женственным сложением в душе; такие писатели все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее; в их лице какие-то как будто «кормилицы» прошли в истории с напояющим «молоком». Еще примеры: Ломоносов, Пушкин – типично мужские души, удивительно слабой заразительности; из двух наших народных поэтов – Кольцов явно мужской консистенции, Никитин – женственной. Стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая» – типичный женский «надмогильный плач».

«Война и мир», «Преступление и наказание», то с этими произведениями вся Россия зрела, и также созревали критики; в кудрявую юную шевелюру общества падал первый седой волос. Белинский только не понимал (например, «народного» и «простонародного») того, чего вовсе не было в его время, а Ап. Григорьев или Страхов поняли и охватили то, чего было с избытком в их время. Следует добавить к этому, что славные и ставшие знаменитыми воззрения этих критиков (например, на «смирный» и «хищный» тип человека) лишь немного времени спустя после их смерти кажутся ужасно преждевременными: «Л. Толстой в «Войне и мире», этой прекрасной хронике русского семейства, продолжил далее типы «Капитанской дочки»; он указал на простое и доброе и уничижил хищное» (слова и вообще точка зрения Страхова)⁹. Но ведь он «простым и добрым» разворачивает всю нашу цивилизацию, «закусив удила»; и когда же приходило в голову Пушкину сделать такое употребление из мирных обитателей Белогорской крепости? Нет, тут не то, и даже вовсе не то, что предполагали и предвидели оба эти критика. То есть вовсе не тот смысл имеет русская литература: не вечного пейзажа, «смирненно-мудрого» «перебеления бумаг» и почтительного «отдыха на могиле своих предков». Но мы отвлеклись...

Белинский все любил издали, и потому все, облитое им любовью, облито особенно страстно. Гончаров в обширной статье¹⁰, посвященной его памяти, прекрасно и точно указывает, что он был очень образован, имея необходимость прочесть такое множество и столь разнообразных книг; но при его глубокой деликатности «неоконченный курс» сказался вечным предположением о каких-то таинственных глубинах науки и философии, коими обладают его друзья, «окончившие», – Герцен, Бакунин, Кудрявцев, Тургенев. Он вечно расспрашивает и вечно учится. Характер вечной попытки научиться, «просветиться» носят и его статьи, и именно этим «учащимся» своим тоном, тоном безмерно пытливого и недоверчивого к себе ученика, они и производят такое заражающее действие; от этого течет их воспитательное значение.

Далее, в обществе и государстве он был «отброс», «studiosus»; само собою разумеется, что он не мог проникнуться тем специфическим неуважением к «людям нашего круга», которым пылает Л. Толстой; ни тем специфическим неуважением к «племянникам министра», переписку коих живописует всю жизнь вращавшийся среди министров кн. Мещерский¹¹. В прекрасные – истинно прекрасные – «антресоли» ничего отсюда, из этой «кухни» государственно-социального строительства, не доносилось; и, «смотря на небо», обоняя «свежий воздух» 5-го этажа, Белинский сохранил почти до самого конца беспримесно-книжный теоретический идеализм. Отсюда некоторые трогательнейшие его письма, например, к одному другу-юноше на Кавказ, с длинными и сложными увещаниями никогда не роптать на начальников и вообще принимать же в расчет, что при огромной исторической работе «иногда» государство и не может не ошибаться или даже и не «подавить» человечка. Отсюда его «Бородинская годовщина»¹², так возмущившая особенностями своего тона его приятелей, «служивших». От этого та доля отрицательности, какая есть у Белинского, не сложилась ни в какие узкие и определенные отрицания; разделение между «светом» и «тьмою», какое есть у него и должно быть у всякого писателя, легло чрезвычайно правильною чертою между «просвещением» и «грубостью». Он от «Литературных мечтаний»¹³ и до последних годовых обзоров текущей литературы остался неумолчным борцом за свет вообще «идеи» против грубости косной «глины», «красной земли», где еще не веет «дух Божий». Его миссия и значение совокупности его трудов есть «обще»просветительное и высоко«просветительное», без частных устремлений или с устремлениями менявшимися и, следовательно, в изменчивости своей сохранившими лишь общий характер порыва к свету. Он не уважал «Горе от ума» за его публицистический характер, и он преклонился перед Гоголем за то, что тот «обличил Россию»; он написал «Бородинскую годовщину», и он же написал известное «Письмо к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», которое можно на-

звать порнографией России; он преклонился перед «равнодушием к действительности» Гете и прославил Пьера Леру за страстную (в идеях и требованиях) переработку действительности. Очевидно, эти противоположности срывают значение друг у друга; не в них – важное у Белинского; важно и вечно, что в каждую минуту бытия своего он горел к лучшему и что лучшее это было для него «умственный», «духовный», «образовательный» свет против лежания, против великой оцепенелости его родины.

Тут мы опять вспоминаем, в сущности, очень важный эпизод его с невестой. Граница, за которую не простирается значение Белинского, лежит в книге. Весь «умственный», «духовный», «образованный» свет, за который он боролся, шел из книги, без всякой примеси к нему «самосветящихся земляных частиц». Их впервые подняли позднейшие и гораздо более могущественные, чем он и все его окружение, писатели – Л. Толстой особенно рельефно и понятно и еще утонченнее и глубже Достоевский («святая» карамазовщина), менее понятно и доказуемо Гоголь, Лермонтов. Из какой «книги» идет свет Платона Каратаева (в «Войне и мире»), Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании»; это всеобщее восклицание Гоголя: «Скорбью ангела некогда загорится русская литература» – и почти непонятные его словечки, но, собственно, вдруг становящиеся понятными при взгляде на Достоевского, Толстого: «У – Русь! чего ты хочешь от меня? какая непостижимая между нами таится связь?.. Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе – обратило на меня полные ожидания очи?.. И, еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... Какая сверкающая, чудная, незнакомая даль... Русь!» Какое, казалось бы, дикое восклицание: что общего с Чичиковым? Но как оно понятно около «Смерти Ивана Ильича» и множества-множества строк, даже страниц у Достоевского:

«Постигнуть я притом не могу, Алеша, как иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала

Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с таким павшим идеалом в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Черт знает что такое, даже, вот что... Ужасно, что это одновременное совмещение не только страшная, но и таинственная вещь; тут – дьявол с Богом борется, а поле борьбы – сердца людей. Широко человек, слишком широк, я бы сузил». Почти можно продолжать Гоголем: «Что пророчит сей необъятный простор; и грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразаясь в глубине моей; неестественною властью осветились очи... у, Русь». Тоны странно сливаются, и в строки одного писателя можно вплетать строки другого, не разрушив единства лица писавшего.

Эти писатели, как мы выразились, «светоносно-земляные», начали, собственно, совершенно новую эру в нашем развитии, и деятельность Белинского, весь «книжный» ум его и его окружения (люди <18>40-х годов и теоретики <18>60-х) просто перестали «быть» для всякого, кто умеет вчитаться и вдуматься в этот существенно новый и гораздо более могущественный свет. Но ведь и вообще эти писатели уже выводят нас за рубрику всего «петровского цикла», «петербургского теоретического существования», и ведут в очень неясные, но существенно новые «миры».

Умственное наследие Белинского уже подернулось археологическою ветхостью; как несколько принужденно мы читаем теперь и его современников – В. Боткина, Герцена, Грановского. Все это

...пленной мысли раздражены;

не волнует нас и сохраняет лишь исторический интерес. Белинский, дав необозримое множество литературных разборов, сохраняет более классное значение, то есть для класса, для «учащегося» вообще, и в жизни каждого из нас он захватывает влиянием отрочество, юность и вообще годы нашего

ученического «странствования». Соответственно этому и в обществе ему принадлежат, то есть ему еще подчиняются, умственно-средние и низшие слои. Но от этой стареющей и почти старой ноши, которую он несет с собою, должен быть строго отделяем сам несущий. Белинский есть не только «писатель»: он есть «лицо», и как «лицо» он так же светит сейчас, как и в вешнюю пору сороковых годов. Ничего не умерло в чертах его нравственного образа, и в них он несет столько значения, что стал вечно нужным существом, «двенадцатым» гостем среди всяких 11 «пирующих» или «труждающихся и обремененных». Всякое дурное дело имеет, сверх упрека от живых-честных, еще и упрек от мертвого, Белинского; и всякое доброе дело, сверх похвалы от живых добрых людей, имеет похвалу и от него. Он – соучастник нашей жизни как нравственное лицо; он вечно жив между нами и даже более: в нем все те же «100 температуры», «200 ударов пульса в минуту», и он нас спрашивает: «Живы ли вы?»

Была, кажется, попытка поставить ему памятник; мы не «за» «медную хвалу», слишком холодную. Кстати, русские типично не скульпторы, и у нас вовсе нет живых, жизненных, «говорящих» памятников, то есть, можно думать, этот способ посмертного воздаяния не «рвется» из русской души, не выражает ее любящих припоминаний. Кажется, характер русского «подвига» не вяжется, не связывается в один узел с «бронзой» «стоящей» и некоторым из нас драгоценнейшим людям, например Киреевскому, да и тому же именно Белинскому, просто нельзя, не приходит на ум «воздвигнуть» памятник, соорудить «мавзолей»... Иная гамма у нас «чтимого», «припоминаемого» подвига. Теперь «памятник» есть или, точнее, стал у нас символом признания за человеком «всероссийского» значения: что «отечество» вот признает и «увековечивает»... Время его постановки обыкновенно совпадает с совершенным выходом человека, например писателя, из «живой» памяти, из волнений сердца: и, собственно, это есть символ того, что при умолкнувших страстях «уста» уже «шепчут имя», не различая его точного значения и содер-

жания; и слишком понятно в этом случае, что его начинают тогда шептать «уста всей России». Поэтому «преткновение», которое встретила мысль постановки Белинскому памятника, есть символ, что около него еще быются сердца, волнуются страсти; что он более жив, чем мы определили выше. Тут, без сомнения, абберрация, и как положительные, так и отрицательные движения около «проекта памятника» идут, можно предполагать, в «училищных» слоях нашего населения.

За XIX век фигура Белинского, в своем смирении, бесформенности, одухотворении, есть, конечно, одна из самых видных; и с его 50-летним живым влиянием не может быть поставлено в ряд влияние, например, Карамзина, который, как только умер, сейчас же стал «монументом», не читаемым. Но, повторяем, мы не за «медную хвалу» и также не за переименование улиц, что стало входить у нас в употребление, – в Пушкинскую, Глинкавскую и проч. «Улица имеет свой быт, нравы, мудрость и поэзию: это народное достояние, с тем «крестным именем», в какое окрестил ее безымянный «поп» – народ. «Память» каждого человека нужно индивидуализировать, то есть особенно, заново, по-новому чтить каждого входящего «углом» в храмину духовной или вообще житейской истории. Белинский так нуждался при жизни; умирая, так страшился за будущность детей; всю жизнь он работал на просвещение – «нес крест просвещения» в духовно-косной стране; просвещение тех времен, признав его «неспособным к продолжению курса учения», сделало такой промах непонимания против «вверенного его заботам» ученика. Вот черты, которые уже слагают особенности его «памятника». Почему бы не сделать из потомства Белинского некоторых постоянных пенсионеров так обязанного ему образования; то есть что каждый мальчик и девочка, указующие его имя в составе своих предков, имеют от элементарного и до высшего раскрытыми перед собою (бесплатно) двери всех учебных заведений; а при возможной нужде имеют и готовый в них «кошт». Это так просто и так отвечало бы особенностям его заслуг.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

I

Как и художественная литература, наша критика успела уже пережить в своем развитии несколько фазисов. Смена этих последних обуславливалась изменением в целях, которые она поставляла перед собой.

Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство первого — это составляло цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Белинского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением этого стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда останется именно прекрасное, — то, каковы бы ни были дальнейшие судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и только — дополнена. Он сделал то, что необходимо было раньше всего сделать в отношении к литературе, и в то же время, — это было самое существенное, важное. Знать, что именно следует ценить в ней и чем пренебрегать — это значило для общества начать ею воспитываться и для писателей — стать относительно других литератур в положение оценивающего зрителя, а не слепого подражателя. С величайшей чуткостью к красоте, какой обладал Белинский, с чуткостью к ней именно в единичном, индивидуальном, быть может, нераздельна некоторая слабость в теоретических обобщениях, — и это было причиной, почему до конца жизни он не установил никакого общего мерила для прекрасного, никакого постоянного критериума для отделения в литературных произведениях хорошего от дурного. Он был похож на тех людей, самых нужных и самых лучших, которых мы иногда наблюдаем в окружающей нас жизни: с изумительным совершенством и безошибочностью они различают хорошее и дурное, сами воздерживаются от последнего и удерживают от

него других и, однако, совершенно не знают, почему именно одно всегда бывает дурно и другое всегда хорошо; тогда как рядом с ними мы видим бледных теоретиков, которые истощили силы своего ума над отыскиванием всеобщих оснований для хорошего и дурного и теряются в бессильных колебаниях при встрече с самым простым фактом в жизни своей или себе близких. Однако, как бы ни предпочитали мы безошибочное понимание частного знанию всеобщего, мы не должны отвергать и важности последнего, и тот, кто своей теоретической мыслью сумел бы выяснить всеобщее мерило хорошего и дурного в сфере поэтических и художественных произведений, без сомнения, сделал бы нечто не только в высшей степени трудное, но и высоко достойное и необходимое*.

* Очень скоро после смерти Белинского точка зрения, им установленная, была заменена в критике другими основаниями; и мы можем указать за очень много лет лишь одно крупное произведение, где эстетическая оценка вновь заняла первенствующее место перед всякими другими способами понимать поэзию и искусство: это ряд в высшей степени значительных статей покойного К. Н. Леонтьева – «Анализ, стиль и веяние; по поводу романов гр<афа> Л. Н. Толстого» – лучший критический этюд за много последних лет. Но и в самой статье этой есть нечто, очень трудно уловимое и не поддающееся передаче, что дает чувствовать не только *почему* – это мы знали и раньше, – но и как *надолго* умерла эта точка зрения. Без сомнения, для очень длинного фазиса нашей истории, конца которого сейчас и предвидеть нельзя, спокойные времена, времена неторопливого созидания и чуткой, наслаждающейся своим предметом критики – прошли безвозвратно; и не скоро новый критик, весь погруженный в чудеса речи, и образов, и картин и забывая за ними остальное, произнесет, вслед за автором «Анализа и стиля», этот старый державинский стих:

Таков, Фелица, – я развратен¹ –

в эстетике. Есть в самом деле времена и задачи, несовместимые с эстетикой; есть категории добра и зла, несовместимые с другими категориями, и мы, несмотря на механические усилия свои, не можем вовсе их соединить, когда они органически не сходны. Статья Леонтьева потому исторически замечательна, что эта красота, на которой она вся сосредоточена, есть исключительно внешняя *красивость*. Ни у Белинского, ни у кого другого из наших критиков эстетическая точка зрения еще не была так совершенно очищена от всяких сторонних примесей; и ни у кого же, как у Леонтьева, в силу этой чистоты своей, она не чувствуете столь недостаточной для удовлетворения цельного нашего существа, требований цельной жизни, чему в конце концов должна уметь удовлетворять литература.

II

Связать литературу с жизнью, заставить первую служить последней и понимать последнюю через явления первой – это составило смысл и задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на второй план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может быть глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ускользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный мудрец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах концентрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как относиться к последней. Но не всякое литературное произведение выполняет все эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять смысл изображаемого или, еще чаще, может погрешить в указании его причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литературе, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно сказанное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это – на основании сравнения ее содержания с живой текущей действительностью, как ее понимает критик.

Невозможно было придать литературе более жизненное значение, пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исторически развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать ее, не любить ее, не интересоваться ею – это значило с того

времени стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском родной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, центральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, осязаемых влияний, просто через изменение взгляда на литературу, через новое отношение к ней, в которое стала критика и за ней – общество.

Великое значение исторически развивающейся жизни заключается в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает в себе все истинное и доброе, что в нее вносится индивидуальной волей, дает рост ему и силу и сама от него возрастает; ложное же и дурное почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролюбова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные им в предвидении близкой смерти, в виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю
Верно буду я известен² –

осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже более – как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый ряд поколений, как-то быстро выступивших и быстро же сошедших со сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душевный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которые жило в этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И кто из нас, теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, обратись к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных старых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть.

В этом состоит, но этим и ограничивается положительная сторона его деятельности. Весь исполненный желаний, он на желания же и хотел влиять, и так как он делал это через критику, то есть через литературу, то косвенно и невольно подчинил ей желания общества. Отсюда и вытекает характер переворота, который произвел он; и с этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал. Натура всего менее рефлексивная и пассивная, он совершенно не способен был, отрешившись от себя, подчиниться на время произведению, которое ему нужно было понять, войти в мир образов и идей его творца. Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было его отличительной чертой – естественное последствие исключительности его духовного склада.

Два течения в нашей литературе ведут отсюда свое начало: упадок критики и обращение почти всей литературы в тенденциозную – с одной стороны; отделение от этого течения и совершенно свободное, вне всякой зависимости от критики, развитие нескольких самобытных дарований – с другой. Это произошло таким образом: не будучи способен понять что-либо разнородное с собой, Добролюбов подчинил своему влиянию все третьестепенные дарования, которые впали в смысл его критики и он, в свою очередь, совпал своей критикой с их смыслом (Марко Вовчок, Некрасов – большей частью своих произведений, Щедрин – почти всеми, и многие другие). Напротив, все действительно великие дарования последнего цикла нашей литературы (Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как критика говорит что-то, хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в какое-либо соображение. Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они были связаны с его особым душевным складом, – хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и

незначашее, как не имеющее под собой никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни – все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, не значащие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки. Однако нет человека настолько слабого, чтобы не нашлось еще другого слабейшего, который захотел бы подчиниться ему. Если прежде третьестепенные дарования подчинялись критике, то теперь люди безо всяких дарований стали выступать на литературное поприще, в надежде единственно своим подчинением критике снискать для себя читателей и даже некоторое влияние. Это породило необозримую литературу беллетристических произведений и стихотворческих работ. В толстых журналах, которым и теперь еще принадлежало главное значение в нашей литературе, обыкновенно в одном отделе появлялись эти романы, повести и стихи, а в другом отделе, «идейном», они же разбирались, кое в чем ограничивались, но в общем одобрялись – явление, по своей беззастенчивости совершенно невозможное ни в период Белинского, ни во время Добролюбова. И, в то время как этими произведениями критика пространно занималась, она высокомерно обходила молчанием или произносила краткие и небрежные слова о произведениях другого, отделившегося литературного течения. Вскоре, однако, незначительность делаемого дела все яснее начала чувствоваться самими критиками: их раздражение от этого возрастало, они тоскливо смотрели на настоящее и безнадежно на будущее. Единственно радостное было у них в воспоминаниях, когда то же самое дело и как будто также делалось с успехом, влиянием и силой. Сознание отсутствия в себе какого-либо исторического значения видимо тяготило их: они постоянно говорили, что их направление все-таки сослужило великую службу обществу, но они никогда не говорили о себе в отдельности, а всегда и исключительно – о себе в связи с Добролюбовым. В общем, они были злы и дурны, как все несчастные люди. Мало-помалу

это направление стало иссякать количественно: все меньше становилось критик, все короче они становились, и мы теперь видим, наконец, как некогда столь цветущая у нас эта ветвь литературы почти прекращается. Она существует лишь как традиционно обязательный отдел во всяком периодическом издании. Чего-либо ведущего, направляющего, какой-либо внутренней силы в ней не осталось и следа.

Одно явление, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и закончило все значащее в этом течении критики. Мы разумею разбор романа «Анна Каренина» в критическом этюде М. С. Громеки «Последние произведения гр<афа> Л. Н. Толстого» (М., 1884). По прекрасному языку, глубокому чувству, в нем разлитому, и своеобразию приемов – это есть классическое произведение не только критики нашей, но и нашей литературы вообще. Мы не можем лучше определить его значение, как сказав, что оно имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к разбираемому им роману: независимо от этого оно и само по себе есть одно из глубоких и прекрасных проявлений того нравственного перелома, который с восьмидесятых годов начался в нашем обществе. Несмотря на противоположность проникающего его смысла смыслу критики Добролюбова, мы относим его, однако, к течению, которое было начато ею: это потому, что и в нем волевой элемент преобладает над рефлексивным и оно, подобно критике Добролюбова, разбирая литературное произведение, собственно разбирает в нем нарождающееся явление жизни, страстно отстаивая его против других, еще могущественных, хотя и стареющих ее течений.

Мы сказали, что с возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей литературы: все слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, все сильное отделилось и пошло самостоятельным путем. Собственно, только этот второй поток и образует собой новый фазис в развитии нашей литературы. Немногие и очень сильные дарования, которые составляют его, все запечатлены глубокой индивидуальностью: каждое из них шло самостоятельным путем, вне всякого влияния остальных; их индивидуализму

способствовало, может быть, и то, что они развивались вне какой бы то ни было зависимости от своей оценки в обществе или в критике. Последняя смотрела на них почти враждебно, и если перечитать все критические отзывы, явившиеся, например, по поводу «Обрыва», и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого литературного произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более или по крайней мере менее порицалось, нежели роман Гончарова. Причина враждебности заключалась здесь в том, что, не будь этих дарований, текущая критика могла бы еще колебаться в сознании своей ненужности: слабостью всей литературы она могла бы оправдывать свою слабость; незначительностью предметов, которые обсуждала, могла бы объяснить незначительность своего содержания. Но когда в литературе существовали художественные дарования и она не умела связать о них нескольких значащих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал, – критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования.

III

Третье течение нашей критики возникло одновременно со вторым. Его начинателем и полным выразителем был Ап. Григорьев; тонким, настойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Страхов.

Научность составляет отличительную черту этого течения. Если в первом своем периоде наша критика выясняла эстетическое достоинство литературных произведений, во втором – их жизненное значение, то в этом она задалась целью *объяснять, истолковывать* их. Это достигалось, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в каждом литературном произведении, и во-вторых, определением его исторического положения, то есть органической связи с предыдущим и отношения к последующему.

Обилие мысли и богатство собственных, уже пережитых, настроений дало возможность Ап. Григорьеву понять и своеобразие каждого литературного произведения, и внутреннюю, духовную связь многих из них между собой. К сожалению, при редкой даровитости в истинном, глубоком значении этого слова он не обладал даровитостью внешней – теми внешними качествами блестящего изложения, остроумия или игривой шутки, которые так привлекают к себе читателей. Несерьезность широких масс нашего читающего общества и господствующих течений нашей литературы ярко сказалась в том, что ни первое, ни вторая не сумели рассмотреть мысли, которая заключена была не в блестящих формах. Перевес Добролюбова и даже его преемников над Ап. Григорьевым был собственно перевесом литературного стиля над мыслью. А между тем, вчитываясь в сочинения Ап. Григорьева (т. I, 1876)³, испытывалось невольно, как, в конце концов, мысль *совершеннее* всего остального в человеке, как отходят перед нею и бледнеют и художественный восторг, и исполненная сжатой страсти речь. Как ни много писалось о Пушкине, как ни умел ценить его Белинский, каким высоким пафосом ни запечатлены его статьи о нем, всеобъясняющая мысль Ап. Григорьева покрывает все это, – и вместе с прекрасным и великим образом нашего поэта, впервые понятым, в читателе неотделимо вырастает и чувство самого глубокого удивления к его критике. Понятие о народности в поэзии, которое так часто произносится и почти не сопровождается объяснениями, считаясь слишком простым, впервые рассказывает здесь свой сложный смысл; и впервые же становится понятно, как много нужно было сил, чтобы стать народным поэтом, и к каким это привело результатам. Сведение всего вопроса на психическую почву, как это сделал Ап. Григорьев, было приемом глубоко философским. Рассматривая ряд народностей, в своей совокупности создавших европейскую цивилизацию, как выразителей особых *психических типов*, он видит и в европейской литературе ряд отражений этих типов; отсюда – местные особенности в ней, например, постоянное сходство английской и

французской литературы или, еще общее, – всех германских литератур со всеми романскими, при родственности отдельных национальных литератур в пределах каждого из этих двух великих семейств, на которые распадается население Западной Европы. Но отдельные народности в Европе не живут изолированно: они связаны между собой единством цивилизации и с нею – единством целей своих в одно время, успехом в достижении их или неуспехом – в другое. Ряд переживаемых надежд и разочарований, общих для всей Европы в одно и то же время и несходных друг с другом в различные времена, порождает смену *исторических настроений*, которые также все отражаются в литературе: например, настроение средневековое, под которым написана была «Божественная комедия»⁴, и настроение Возрождения, под которым написан был «Декамерон»⁵. Совокупность национальных типов, различных по этнографической среде, и психических настроений, различных по историческим эпохам, переплетаясь взаимно, – и составляют всю сеть, всю гармонию отдельных тонов, которые, сливаясь в одно стройное, многовековое созвучие, образуют собой европейскую литературу. Изучать эту последнюю – значит расчленять эту гармонию на отдельные тона и следить за звуком каждого из них, то заглушаемым, то заглушающим; понимать ее смысл – значит находить в себе и пробуждать к жизни душевное настроение, звучащее во всяком тоне.

Отсюда не трудно понять и отношение к западноевропейской литературе литературы каждой иной народности, которая долгое время развивалась изолированно и потом примкнула к общему потоку европейской цивилизации.

Усвоение форм литературного творчества есть для нее первый шаг к сближению и подчинению, но шаг еще незначительный, подчинение чисто внешнее, и при нем она может сохранять глубокую внутреннюю самобытность, может оставаться вполне национальной. Такова была вся русская литература XVIII века, исполненная надежд *своего* народа, тревог *своего* времени, повсюду под заимствованными формами отражая особый склад *его* ума и чувства. В комедиях Фонвизи-

на, в одах Державина, в сатирах Новикова, в Феофане Прокоповиче или в Кантемире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим тон и звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и жизни своего времени и народа. Херасков писал свою «Россиаду», как Петр Великий замышлял Академию наук, как его современник, неизвестный автор «Записной книжки любопытных замечаний»*, путешествуя по Европе, при виде всего замечательного, на что ему показывали, брался прежде всего за аршин, чтоб его измерять. Предметами внимания их были создания чужой жизни и истории; но и они, внимавшие, и самое внимание их не заключали в себе ничего привнесенного, были продуктом своей земли и своей истории.

Карамзин был первый русский европеец, уже не по предметам своего внимания, но по самому вниманию, по всему душевному строю, – и в этом лежит тайна его обаяния для современников и его значения в нашей истории. В нем первом европейская цивилизация коснулась уже не форм нашего быта, поэтического творчества и мышления, но тронула внутреннее содержание наше, коснулась самой души. Глубокая ли впечатлительность его, подвижность всей натуры или ранние впечатления детства, проведенного с чужеземными музами, были причиной этого – решить трудно: но уже в первых его произведениях вполне чувствуется вся его будущность, весь переворот, который ему суждено было совершить в нашем духовном развитии. Стоит сравнить его примечания к своему переводу поэмы Галлера «О происхождении зла» (М., 1786) с примечаниями Кантемира к его переводу Фонтенелевых «Разговоров о множестве миров», чтоб оценить всю глубину пропасти, которая их разделяет. В «Письмах русского путешественника»⁶ впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в тече-

* Писана в 1697–<16>98 гг., изд. в С.-Петербурге в 1788 г. Это один из самых любопытных памятников нашей литературы, и ее историк не ошибся бы, если бы с подробного его анализа начал изложение ее хода за два последние века.

ние века, она смотрела на него тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами.

С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел полтора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карамзиным, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, как его современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, поплакать. За первою каплей последовали другие, и ощущение их становилось все жгучее, влечение к ним – неотразимее. Что значило удивление наивного современника Петра пред «птицею стратикомил⁷» или пред «капищем всех болванов» (Пантеон Агриппы⁸) и все осязаемое, видимое, что поражало его зрение, в сравнении с тем неуловимым, неосязаемым миром идей и чувств, который открылся Карамзину и людям его времени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидев инструмент неизвестного происхождения и назначения, с любопытством осматривали его огромные трубы и их прихотливые изгибы, но, подивившись всему довольно, затем спокойно возвращались к своим делам и ежедневным заботам; теперь же мы слышали самые звуки, чудные мелодии полились в наш слух, шевельнулось, как никогда, наше сердце, и, возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за свои дела, душа же наша полна была и на родине чужих звуков. Тоскуя по ним, сознавая невозможность без них жить, мы наконец решились положить свою душу в том, чтоб и у себя слышать и извлекать те же обворожившие нас звуки. Мы возненавидели родные песни – простые, грубые песни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы построить из их материала хотя подобие того, что слышали раз и забыть чего никогда не могли. И наши усилия увенчались успехом. Быстро формировался наш язык; целый ряд тружеников жил и умер для одной идеи; и если не они, то их дети слышали наконец мелодии – те самые, которые грезились их отцам, но уже в звуках родного языка. Разве не дух германских народов живет в поэзии Жуковского;

разве в балладах его не слышатся Средние века? Разве не светлая и спокойная древность дышит в стихах Батюшкова? То, что казалось невозможным, было сделано: что было неуловимо – было уловлено. Как, какую ценой совершилось это?

Шаг за шагом, далее и далее вступала русская душа в сеть тех духовных типов и тех исторических настроений, о которых мы сказали выше. Можно удивляться, как, в самом деле, глубоко переживала она их и как одинаково была способна к самым противоположным. За миром поэзии – миром чувства – открылся мир мысли – наук и философии; мы вступили и в него, и тайны Гегелевой диалектики, казалось, влекли нас еще более, чем пафос Шиллера или очарования Байрона. Читая произведения нашей литературы, невозможно почти понять, каким образом возникли они, не имея под собой никакой в сущности действительности: как факты жизни нашей, дела катились одною стороною, тогда как душа бродила по иным и фантастическим мирам, как будто вовсе ничего не зная об этих фактах и делах. «Ундина» Жуковского, мелкие стихотворения Лермонтова, подражания древним Пушкина, его же «Пир во время чумы» – как мы можем подумать, чтобы там, на родине всех этих душевных настроений, последние вылились когда-нибудь более совершенно, еще искреннее, с сильнейшею любовью, чем в этих произведениях далекой и чуждой, покрытой снежным покровом страны?

И все-таки о дереве, приносившем столь прекрасные плоды, можно было сожалеть, что оно не успело дать *своих*. Никто не знал ни вкуса их, ни других достоинств, и мысль о том, что погублено что-то еще не жившее, быть может, тяготила многих.

Здесь и лежит объяснение Пушкина. Уже Белинский заметил, что он как бы *совместил* в себе по тону, по настроению всех своих предшественников, а позднее Н. Н. Страхов отметил, что у него *в формах* нет никаких нововведений*. Таким образом, для всякого, кто стал бы рассматривать его лишь поверхностно, и притом не пересмотрел всех его произведений,

* Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. Спб., 1888, с. 37–41.

и особенно самых поздних, невольно могло бы представиться отсутствие в нем оригинальности, самобытности и, следовательно, какого-либо величия в историческом положении. Так это и понимается многими даже до настоящего времени.

Не вступая в борьбу с усвоенными формами поэтического творчества, он в пределах их пережил все душевные настроения, исторически сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей прежней поэзии*, — и каждый раз переживая которое-нибудь из них, верил в него как в окончательное и совершенное (откуда глубина и страстность его разнообразной поэзии). Однако, в противоположность его ожиданиям, ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному. Это возвращение выразилось у него в известном стихотворении «Возрождение», где он говорит о своей «измученной душе», в которой пробуждаются чудные видения

Первоначальных, чистых дней⁹.

Его последние произведения: вторая половина «Евгения Онегина», «Капитанская дочка», «Повести Белкина» — это все, что так смутило его современников, и между ними самого Белинского, которые, ожидая от него все большей душевной сложности, все дальнейшего углубления в таинственный мир европейских идеалов, были возмущены его возвращением к *простому и доброму*, что живет как высший идеал душевной красоты в нашем народе. Типы иной красоты, которым он поклонился некогда и, как и другие русские поэты, облил их слезами своей любви, в конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся в нашей жизни, выросшим из нашей действительности. Отсюда же, от этого последнего фазиса в деятельности Пушкина, ведет свое начало и трезвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало господствующим в нашей литературе. Сергей Аксаков в

* См. речь о Пушкине Достоевского, например, замечания о стихотворении «Однажды, странствуя среди долины дикой» и т. д.

«Семейной хронике» непосредственно примыкает к «Капитанской дочке»; к ним обоим примыкает Л. Н. Толстой с семейною хроникой Ростовых и Болконских – «Войной и миром»; как эпизоды, как разорванные нити этих хроник могут быть рассматриваемы и лучшие образцы нашего семейного романа – «Обрыв», «Дворянское гнездо», отчасти «Обломов». Повести Тургенева представляют еще дальнейшую суженность и индивидуализацию этого течения нашей жизни: на ее общем бытовом фоне выделяются люди с особенным выражением лица и необычною судьбой («Рудин», тип Базарова). Полный разрыв с этою бытовою основой и уклонение в сторону гениального и уродливого как в изображаемом, так и в самом изображении представляет собою Ф. М. Достоевский.

Теперь если мы подумаем, что ни один из наших поэтов и художников, начиная от Жуковского и кончая Л. Толстым, не был носителем более нежели одного духовного настроения; и далее, если примем во внимание, что даже такой человек, как Лермонтов, до конца дней своих не мог высвободиться из-под очарования поэзии Байрона, жил настроением его музыки, то необъятная мощь пушкинского гения станет для нас ясна. С другой стороны, если мы признаем, что в сфере литературы мы и до сих пор движемся в пределах направления, им данного, только разрабатываем это направление и этой разработке не видно еще конца, – мы поймем его историческое положение. Он привнес всею своею деятельностью, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, подобного которому по значительности ни разу не произносилось.

В истолковании и доказательстве этой истины, далеко не сознанной еще, далеко не признанной и теперь, состояла великая заслуга критической деятельности Ап. Григорьева.

Доходят известия, что, когда с университетской кафедры приходится касаться нашей новой литературы (XIX века), во всех объяснениях своих ученые невольно становятся на точки зрения, утвержденные Ап. Григорьевым (так поступал, например, покойный Ор. Ф. Миллер). Наука, как *объяснение*, ничего другого и не может сделать: истолкование нашей новой лите-

ратуры было сделано им только как оценка ее – Белинским, как возведение ее на степень самого глубокого и важного жизненного дела – Добролюбовым.

По этим трем господствующим целям мы можем дать определяющие названия и самим фазисам нашей критики: первый из них был *эстетический*, второй – *этический*, третий – *научный*.

IV

Всякий раз, когда критика наша, выразив уже все, что могла, в пределах одного фазиса, переходила к другому, представители этого последнего относились враждебно к идеям и стремлениям предыдущего. Так, известно отношение школы Добролюбова к эстетическим теориям и оценкам и школы Ап. Григорьева (например, г. Н. Страхова) к школе Добролюбова. Враждебность эта была естественна, как стремление нового явления утвердить себя среди старых, сознать внутри себя и сделать очевидным для других правоту свою, ту правду, во имя которой оно появлялось и хотело жить.

Но должна ли эта враждебность быть чем-нибудь постоянным? Мы могли бы сказать «да», если бы в котором-нибудь из фазисов недоставало этой правды, его особенной своеобразной правды, но она есть, и в ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное признание, но только в границах его своеобразного и исключительного утверждения. За этими границами начинается в каждом фазисе недостающее, которое и было восполнено другим фазисом. Правый в утверждениях, каждый фазис был не прав в своих отрицаниях. И в самом деле: что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо, что рубленая проза лучше поэзии, что вялые и деланные повести и рассказы все-таки могут быть хороши даже как повести и рассказы? И с другой стороны, восставать против школы Добролюбова – не значило ли бы говорить, что произведение, исполненное глубокого смысла и жизненной правды,

ниже, чем оно же, лишенное всего этого? Отымите из «Анны Карениной» ту «рассудочную тенденцию», о которой говорит Громека, – ту глубокую и особенную идею, которая звучит в каждом ее слове и во всех ее удивительных образах, – и, хотя бы вся живость этого романа осталась, мы сами разбили бы эту живопись, изорвали бы все эти сцены и описания, если б нам оставили только их, взамен того чудного целого, которым мы теперь наслаждаемся. Наконец, всему этому чем может мешать научное рассмотрение литературы? Или что из указанного может мешать ему?

Таким образом, все фазисы нашей критики были частями, которым естественно было возрасти до целого. Закончено ли оно? Это значит: теми отношениями, в которые последовательно становилась наша критика к предмету своему – литературе, исчерпаны ли уже все возможные и должные отношения к ней?

Мы уже имели случай заметить, что писатели последних десятилетий запечатлены одною чертою – глубокою индивидуальностью, отсутствием обоюдного влияния друг на друга. В прежних периодах нашей литературы мы этого не замечаем, или, по крайней мере, черта эта была в них менее выражена: Жуковский впадает по временам в тон Дмитриева; Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, перебиваются один в другого. Совершенно обратное мы видели в 1850–1870-е годы: духовный взор писателей этого времени как будто обращен был внутрь себя, они не чувствовали друг друга, даже не читали друг друга; они создавали, прислушиваясь к движениям только своего сердца и своей мысли. Далее, если мы обратим внимание на то, как именно изучала научно-историческая критика наших писателей, то увидим, что она преимущественно брала их в связь друг с другом, то есть каждого в отдельности писателя рассматривала как бы обращенным к другим писателям: к тем, которые находились позади его, и к тем, которым суждено было выступить позднее. Нити в духовной жизни, за которыми она особенно и с любо-

вью следила, были все *исходящие*: она отмечала, как, выйдя из субъективного духа поэта, эти нити распространялись по всем направлениям и сплетались с мирозерцанием или с настроением чувства в других поэтах. Ее направление, таким образом, было объективное; по крайней мере по преимуществу.

Глубокий индивидуализм всех новых писателей невольно вызывает мысль о недостаточности этого отношения, о возможности и необходимости иного – противоположного. И в самом деле, хотя всякий писатель, как и всякий человек, есть, конечно, преемник и предшественник – обращен и к прошедшему, и к будущему, но и в первое и во второе он врос лишь вершинами своего духовного развития, но не корнями его. Как на всякую душу, правильно и на дух поэта смотреть как на нечто глубокое, своеобразное, замкнутое в себе: «из иных миров» он приносит с собою в жизнь нечто особенное, исключительное; оно растет в нем и развивается, лишь питаясь, как материалом, всем предыдущим и так же питая последующее, в свою очередь становясь материалом. Но за усвояемым и процессом усвоения скрывается усвояющее: оно-то и есть самое главное, существенное.

Возможно рассматривать литературу как ряд подобных средоточий, как ряд прежде всего индивидуальных миров. С этой точки зрения предметом нашего особенного внимания должны стать в творчестве писателя все *входящие* нити. Уловив эти нити в его созданиях, мы должны идти, руководимые ими, в дух самого писателя и вскрывать его содержание, его строй. Там они соединяются, и узел их образует то, чем, очевидно, жил он, что принес с собою на землю, что его и мучительно, и радостно тревожило и, оторвав от частной жизни, бросило на широкую арену истории.

Рассматривать с этой точки зрения писателей представляет глубокий интерес. Быть может, кроме того, это и единственно правильный взгляд на них. Мы до того привыкли к безличному процессу истории, что всякого человека рассматриваем только как средство для чего-то, ступень к чему-то. Это, наконец, утомляет; это, наконец, недостойно. Человек

вовсе не хочет быть только средством, он не вечный учитель в словах своих, не выючное животное, которое несет какие-то вклады в «великую сокровищницу человечества», с благодарностью от современников и в назидание потомству. Он просто свободный человек, со своею скорбью и со всеми радостями, с особенными мыслями, которые его занимают вовсе не потому, что ими можно пополнить «сокровищницу». Разве недостаточно измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем направлениям, приравнивая к одному, дотягивая до другого, обрубая на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, «богоподобный человек». Умейте подходить к нему с любовью и интересом, и он раскроет пред вами такие тайны души своей, о которых вы и не догадываетесь.

35-ЛЕТИЕ † АП. АЛ. ГРИГОРЬЕВА

Критик-самобытник Аполлон Александрович Григорьев
(к XXXV-летию со дня его смерти).

Биографический очерк с портретом
Л. М. Шах-Паронианц. С.-Петербург, 1899.

Сентября 25-го этой осени исполнилось 35 лет со дня смерти знаменитого своею неизвестностью критика – Ап. Ал. Григорьева. О панихиде по нем было глухо оповещено в газетах, и глухо выслушалось оповещение. Присутствовали – его сын с семейством, свято чтущий память отца и посвятивший ему в 1895 г. в книжках «Недели» статью «Одинокый критик», автор настоящей книжки, г. Шах-Паронианц, Ив. Л. Щеглов и старый-старый типографский наборщик, знавший покойного и набиравший еще статьи Белинского. И только. Вообще, слава и даже просто память о человеке – как-то случайна. Вдруг зазвонил колокол, все сбегались; «А? Что?» – да ничего, пономарь спьяна зазвонил. Известна шутка: когда в обществе многих людей случайно воцаряется молчание, говорят: «Дурак родился».

Какая ошибка! Скорее нужно бы говорить: «Хоронят умного» и иногда «Хоронят гения». Оставим сетования.

Статья Григорьева-сына «Одинокый критик»¹ не права в заглавии и обидна для вернейшего и неизменного друга знаменитого-неизвестного критика, для памяти Ник<олая> Ник<олаевича> Страхова, который издал 1-й том его «Сочинений»², свято чтит его память и развил дальше мысли критика-самобытника. Вообще «самобытное» течение русской литературы так мало, так узко, так забито историческим градом насмешек и непонимания, что люди, его составляющие, должны стоять плечом к плечу, держаться за руки друг друга, не отделяться один от другого, то есть должны умалиться в своем «я», дабы сколько-нибудь быть сильными в «мы». Г-н Шах-Паронианц почти не знает сочинений Н. Н. Страхова и, кое-где цитируя его анонимные статьи (отзывы о Григорьеве) из старой «Библиотеки для чтения», точно и не подозревает, что великолепное изложение точек зрения Григорьева на литературу и искусство дано им в книге, имевшей три издания: «Гр. Л. Н. Толстой и Ив<ан> Серг<еевич> Тургенев» (статьи о «Войне и мире»)³. Таким образом, автор пропустил истинный словесный жемчуг на свою тему и совершил этим «обиду непонимания» или «обиду незнания» другу героя своей книжки.

Но это и есть единственный упрек, какой можно сделать его книжке, и разве еще другой, меньший, – отсутствие оригинальной, яркой кисти в руке биографа. Но затем идет длинный ряд достоинств. «Труды Ап. Григорьева, составлявшие его плоть и кровь, покоятся, – говорит он в предисловии, – в архивной пыли, на пожелтевших страницах отошедших в вечность органов печати, пока наследники его или другие лица, предпочитающие затрачивать крупные суммы денег на печатание разных курьезов западноевропейской мысли, не расщедятся хоть сколько-нибудь на издание полного собрания сочинений критика-самобытника». Эти слова сразу располагают читателя к биографу, давая почувствовать, что он тоже геройствует около забытой могилы, то есть есть человек, которому наиболее хочется пожать руку. Он собрал все о Григо-

рье: факты жизни, самые мелкие анекдоты, воспоминания не только автобиографические, но и его однокашников по школе и университету; стихи о нем, прозу о нем. Григорьева, очевидно, горячо любили все, кто знал его. Лично мы помним, что Страхов хранил прямо культ его. У него висел большой портрет Григорьева; как-то пишущий эти строки заметил что-то об уме его: «Это был гениальный ум, – ответил Страхов. – Но отчего такая судьба? И не был ли он сам в ней виновен?.. Ну, конечно; это был совершенно сумасшедший человек». И последнее определение он сказал так же твердо и спокойно, как первое. Действительно, в строгановскую пору, когда так искали таланты в Московском университете, отсортировывались, береглись, – Ап. Григорьев был не среди блестящих слушателей, но он блестел как первая величина среди всех, и взыскательно-внимательный попечитель захотел с ним познакомиться, позвал к себе, еще студента и школяра. Так он восходил; а закатился – в «Долговом отделении», в нищете; то литератор, не знавший, куда отдавать свои статьи, которых не принимали редакции, то учитель русского языка и словесности в Неплюевском кадетском корпусе, в Оренбурге, – и в промежутках этого какой-то вечный странствователь. Кажется, мы не ошибемся, если комментируем второе определение Страхова так: он был под вечным впечатлением, всегда под впечатлением – изящнейшего, и это впечатление несло его с силою, как ураган несет листок. Впечатление в Григорьеве всегда было больше Григорьева, и он ему подчинялся, как лодочка аэронавта движению огромного над нею шара. От этого казалось, что не Григорьев жил, а только в Григорьеве жили разные писатели, литературные эпохи, гении творчества или духовного настроения. «Вы несчастны?» – спрашивали его, перед смертью, в долговом отделении. «Нет, я счастлив, – ответил он, – я вот шатаюсь тут всю ночь по коридору, пью чай и всю ночь как будто разговариваю с тобою (Страхов), с Беляевым, с Аксаковым; спорю, опровергаю, сам делаю себе возражения, – все это с такою ясностью, с такою силою, что если бы записать все, что я передумал, то вышла бы превос-

ходная статья, какую я только способен написать». В конце концов Ап. Григорьев, конечно, был счастлив и даже прожил разумнейшую жизнь, ибо что же может быть счастливее этого непрерывного увлечения и разумнее опять этого же увлечения? А темы его дум и порывов были самые высокие.

Почему, однако, человек, так глубоко симпатичный и так разумный, – сыграл так мало роли? И неужели сама история похожа на «дурака, рождающегося среди молчания»? Ап. Григорьев отметил «типовое» в русской литературе, и этим типовым он счел «простое и смиренное» в русском человеке и в русской жизни. Он сказал многое и замечательное; но эта мысль, которую мы так просто формулировали, и почти в этом простом виде, составляет новое слово Григорьева в русской литературе. Под формулу двух строк подходят герои «Капитанской дочки», подходит настроение Пушкина в «Повестях Белкина», подходит «Война и мир» в Платоне Каратаеве и Пьере Безухове; подходит Толстой в «непротивлении злу!». Да и весь наш народ, с голодухами включительно, очерчивается формулой «простого, смиренного человека». Ап. Григорьев, развивая в обширных статьях идею «простоты и смирения», – немного строк посвятил в них простой, календарной почти отметке: «Есть хищный тип, не русский – тип Байрона и Лермонтова». Примеры могут быть дурны и хорошо правило; выразители – ничтожны, а выражаемое велико. Хищное начало в мире... Да, именно в мире, а не в человеке одном, – что оно такое? Никто не знает, никто не разгадал. Но загадка хищного – есть; и притом загадка пожирающая, как слагали греки легенду о своем сфинксе. Да возьмем миниатюру: кто сильнее слона? носорога? Но лев его разрывает, а льва вовсе и никто не разрывает, за исключением славного и какого-то верховного на земле хищника, самого человека. Вот вам и «кроткое начало»... Да и «пожирающего» с разрешением и даже по указанию Божию: «Все – в снедь тебе» (Быт. 2). Загадка, сфинкс. Я могу быть кроток, но дело не обо мне, а об истории, а историю совершили хищные вожди человечества. «Платоны Каратаевы» только разувались и обувались, но уже Толстой, который так безмерно на это

любуется, сам есть хищник, который ломит плечом историю, да со всеми подробностями хищника ее ломит, с хитростью и притаенностью; его не возьмешь в Ясной Поляне, как барса в лозняке. Сам Лермонтов создает тип Максима Максимыча, то есть тип типов «простоты и смирения», и в какую пору! Таким образом, открывается замечательная вещь, что идеалы кротости и покорности не только не суть высшее и «другое» по отношению к стелющейся по истории таинственной кошке, но эта кошка, которая мяукает в Байроне, иногда блеет, как ягненок, в Льве Толстом, в Лермонтове, в Достоевском (бесспорно хищный тип) с его «Идиотом» и «Алешей Карамазовым» и, конечно, в других. Таким образом, «сфинкс» есть действительно «сфинкс» (= «загадка»), потому что имеет два лица, и притом взаимно как будто отрицающиеся, то есть с каким-то «диалектическим», совершенно по Гегелю, переломом в себе. И «кроткое лицо» есть только одно, или, по крайней мере, «бывает одним» из двух лиц сфинкса: и посмотрите, какая кротость – точно ангельская, с надрывом, лизанием руки ближнему, служением ближнему, страданием за ближнего. Таким образом, «хищный тип» не есть только внешне блистающий тип, как казалось Григорьеву, – не есть поза, как твердил он же; но... будем дерзки: это есть Божий дар, и высший Божий дар, царственный. «Овых сделал Господь царями, овых слугами». Вы можете это проклинать (если хватит духа восставать против Господа), но не можете этого отрицать ни в лани и тигре, ни в Платоне Каратаеве с его «Историей о купце, которого...» и в Лермонтове с его «Песнью о купце Калашникове». Что тип-то царственный – это бесспорно; что он Божий – этого не пришло на ум Ап. Григорьеву. И он прошел мимо величайшей темы, которую сам называл, занявшись меньшею и, в сущности, ужасно затасканною, хотя, соглашаемся, затасканною не в беллетристике, не в романах, не в критике, но ведь это не изменяет дела, и Ап. Григорьев, будучи оригинален и нов как русский литературный критик, был как-то исторически стар и даже «старомоден». И, далее, если хищный дар (так мы его дерзаем называть) столь загадочен в происхождении, так неисчерпаем

в содержании и, словом, со всех сторон иррационален и мистичен, то ведь «дар кротости» так дальше трузизма и не идет. Я поклонился ему; но молиться... просто я не нахожу слов для молитвы, то есть слов для сложного и длительного поклонения. Но мы зафилософовались.

Досадную сторону в книжке г. Шах-Паронианца составляет то, что на ней не выставлено цены. Мы проглядели насквозь всю обложку. Что же, она даром раздается? Или это – любительская книжка для автора и его знакомых? Такая досада. Ведь Григорьева нужно еще проводить в читающую публику, и надо это делать, как говорил Григорьеву Ф. М. Достоевский, – умело. Книжка же эта положительно есть *compendium* биографического и критического о Григорьеве материала, и как первая, и, может быть, надолго первая в этом роде и об этом предмете, она нужна библиотекам, если и не будет спрашиваться вечно глухим читателем.

К ВЫХОДУ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Вышли из печати 2-й, 4-й и 6-й выпуски «Собрания сочинений Аполлона Григорьева» под редакцией В. Ф. Саводника, содержащие крупнейшие труды покойного критика: «Основания органической критики», «Реализм и идеализм в русской литературе» и «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». Первая статья, хотя не окончена, за смертью автора, но представляет собою изложение его взглядов, уже окончательно сложившихся, и, следовательно, – теоретическую предпосылку его отдельных критических очерков, имевших предметом какое-нибудь отдельное современное произведение или единичного художника, писателя. Г-н Саводник предпосылает этой статье небольшое, но содержательное предисловие.

«Одна из причин, почему Григорьеву не удалось дать стройного и законченного изложения своего положительного учения, заключается, кажется, в том, что ему, выступавшему

в свете с идеями, резко отличными от тех, которыми жило и в которые веровало как ближайшее к нему поколение, так и поколение его современников, приходилось уделять очень много внимания задаче чисто отрицательной, то есть борьбе с господствующими в современной литературе взглядами и течениями, их критическому разбору и опровержению».

Этих точек зрения, господствовавших в <18>60-е годы, было три: «историческая критика», объяснявшая, «как и что» и «из чего именно» вышло в процессе развития литературных форм, течений и настроений. Ее провозгласил Белинский в последний фазис своей деятельности. Далее, сильно бился пульс теории «искусства для искусства», которую отстаивал даровитый и влиятельный Дружинин. Это, собственно, германская точка зрения, заложенная в трудах Вильгельмана, Лессинга, Шлегелей, а также и в разветвлениях философии так называемого «германского идеализма». Эта точка зрения очень основательна как отдел науки, как отдел философии, парящей над искусством, — и особенно над искусством выразительным, каковы живопись и скульптура. Конечно, есть законы самодовлеющего искусства; есть что-то таинственное в человеке, что манит его украшать, улучшать; что создало, гораздо раньше статуй и картин, прически и костюмы, украшения деревенских изб, украшение оружия. Известна великая страница в «Илиаде», где подробно описан Ахиллесов щит, выкованный для героя по просьбе его матери богом Вулканом. Щит — только защита от стрел и против меча. Вот его утилитаризм. Для чего же «богу» и человеку захотелось покрыть его резьбой и многочисленными изображениями, так сказать миниатюрами! А — покрыли. Закон, что это — «понравилось», что это было «любо». Открыть законы этого «любования», всемирно-человеческого чувства, всемирно-человеческого волнения, — конечно, любопытно и важно. Это — из великих вкладов и возможных разгадок человеческого духа; это — лестница к спуску в глубочайшие недра и сокровенности человеческого существа. Но в поверхностных своих выявлениях эта точка зрения обращается в пустейшее, праздное и отвратительное занятие, которое и справедливо и

несправедливо Аполлон Григорьев называл «гастрономическим взглядом на искусство». Слово очень зло и остроумно, но оно убивает только, по-видимому. Да, это вполне таинственно уже в пище, где тоже есть свое «нравится», и хотя большая доля пищевого «нравится» объясняется из утилитарного мотива, из физиологических и химических потребностей организма, но, однако, есть некоторый остаток, который из этих мотивов уже не объясняется. Все лекарства почему-то «неприятны», несмотря на то что они «целебны». Хина горька для здорового и для больного. Касторовое масло решительно ни для кого и ни в каком состоянии не приятно.

Напротив, есть «вредные» вещества, которые «манят». Есть «сладкие» яды: и где им объяснение! Таким образом, «гастрономический взгляд на искусство» только углубляет тему и не рассеивает ее: особенно привлекает исследователя, что область безотчетного и недоказуемого «нравится» и «не нравится» исчисляется с таких первобытностей и элементарностей, как пища, еда.

Третья точка зрения, — и она шла победным ходом в <18>60-е годы, — была «утилитарная критика». Нельзя не удерживать хоть внутри себя замечания, что именно и специально для тех <18>60-х годов эта точка зрения была в высшей степени уместна. В самом деле: шло преобразование не только государства, но всей народной жизни. Шло что-то подобное теперешней войне, по размерам, по важности, по потрясаемости. Были подняты все вопросы, самые даже элементарные: об устройстве семьи, о правах или бесправии любви. Волновались юноши, волновались девушки; волновались сыны, волновались дочери. Не в столице только, не в центре только, но по всей России, от Невы до Каспия, от Карпат до Арарата, точно было воздвигнуто и начало действовать «учредительное собрание», которому предстояло выработать все «заново», дать «новые скрижали» для «нового жития» народу, изводимому в своем роде из Египта: из бессудности или суда со взятками, из крепостного права или обеспечения лени и тунеядства высших классов, из запрещения по всей стране какой-либо самодее-

тельности, самоуправления, – то есть из запрещения элементарной заботы о себе, мысли о себе. «Все – чиновник, везде – чиновник». «Он один, народ – безмолвствует и повинуется». Это, конечно, был Египет и египетское рабство. Нам теперь невозможно судить об этом положении, потому что мы не имеем живого ощущения этого положения. Мы «не видели», мы, в сущности, – не знаем. Потому что «знать» – это «подойти» и «понюхать». Покойный критик и философ Н. Н. Страхов рассказал мне однажды, – точнее, он задумчиво говорил в моем присутствии: «Я не понимаю, почему в беллетристике и в обличительных стихах ни разу не описано то, что на самом деле было самым ужасным зрелищем крепостного права: именно зрелище улицы среди белого дня, улицы в столице и хоть под окнами министерства или дворца, где барин сходит с извозчика, то есть с салазок мужика: и при малейшем его замечании о неверной уплате – бьет его по лицу кулаком, а мужик-извозчик стоит и, конечно, не смеет защищаться. Нельзя было пройти по улице, чтобы не наткнуться на такое зрелище. Между тем удар по лицу – это ужас для доброго и порядочного человека. И вот это чувство порядочности и доброты, это отрицание у мужика всякой чести и достоинства, это отсутствие мужику всякой защиты, – попадаясь на каждом шагу, как только вы выходили из своей комнаты, – было до того ужасно и нестерпимо! И – никто на это в литературе не обратил внимания». Между тем эта, казалось бы, мелочь не приходит на ум при размышлении о крепостном праве. Оскорблялись не одни мужики: оскорблялись именно не мужики, а все гражданство, все население, все чиновничество и само дворянство, насколько оно не было набором Скотининых и Простаковых.

И вот запела тоскливая муза Некрасова, тоскливая и мстящая. Посыпались «социальные романы» Чернышевского, с убранием в сторону всякой «эстетики». Не буду говорить дальше и разъяснять дальше: шло время, шли годы, которых совершенно нельзя теперь представить, которые мы совершенно теперь позабыли, и в те годы – «утилитарная критика» метала свой *va bank*.

И она была права. Моментально, но – право. Добролюбов писал под псевдонимом «-бова», писал в «Современнике», где Чернышевский предоставил ему отдел «критики». С ним, с этим «-бовым», полное имя которого, конечно, было известно всем в Петербурге, да и всем в России, вел полемику в своем «Времени» и «Эпохе» Достоевский. И вот, у него вырывается принципиальное согласие, выраженное в следующих словах (цитирую на память и только основную мысль):

«Конечно, если бы во время Лиссабонского землетрясения, на другой же день его, когда город дымился в развалинах и столько населения его погибло, – вышел вдруг поэт с лирою и начал петь:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханья
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица...¹

(известное стихотворение Фета): то лиссабонцы, – говорит Достоевский, – распяли бы этого поэта. Распяли бы за жестокость его, за насмешку над собою. И это их человеческое и гражданское движение было бы так же, пожалуй, автономно и неудержимо, так же, наконец, человечно и справедливо, как у самого поэта автономно и неудержимо вырвалось его стихотворение, «потому что уж он поэт», «даже во время землетрясения – поэт».

Ну, а в этом объяснении Достоевского – все оправдание Добролюбова. «Времена такие». «Времена особенные и ни на что не похожие». А между тем Достоевский полемизировал страстно; он страстно защищал права чистой поэзии, страстно нападал на Добролюбова.

Мы, когда пишем, – невольно и безотчетно пролагаем свои строки «в вечность»: и от этого возникает половина че-

ловческих полемик и споров. Нельзя пролагать «в вечность». Все – временно, и особенно – наши строки. Достоевский испугался за поэзию «в ее вечности». Он вообразил, что критика Добролюбова «повиснет мечом» и над поэзией XX века, над поэзией 90-х и 80-х годов XIX века, когда у нас «слава Богу, – Бальмонт». Его испуг был не прав; как, с другой стороны, и намерения или претензии Добролюбова дать «канон критики» на все времена, – конечно, были столь же не правы. Оба полемизирующие плыли на лодочке, воображая, что стоят на земле и что в писаниях их «планета движется». Планета ничуть не двигалась в их писаниях. Для <18>60-х годов был прав Добролюбов; а через 30–40 лет оказался столь же прав Достоевский. История вошла в русло свое; реформы совершились; настала тишина; и Бальмонту сказали: «Пожалуйте».

Г-н Саводник продолжает и объясняет:

«Точка зрения Добролюбова и Чернышевского пользовалась громадным авторитетом в русском обществе того времени, но она решительно противоречила всему складу личности Аполлона Григорьева, глубочайшим его верованиям и убеждениям. Против представителей этого направления, которых он обычно называл «теоретиками», и направлена, главным образом, полемика Григорьева, так как они в ту эпоху представляли собой крупную силу, главенствовавшую в общественном сознании и оказывавшую могущественное влияние на взгляды и вкусы читающей публики, и преимущественно молодого поколения.

Полемизируя со своими противниками, Григорьев вместе с тем излагает свои собственные оригинальные воззрения на искусство, на методы и приемы его истолкования, излагает свою теорию органической критики.

Термин «органический» ближе всего можно бы заменить словом «живой», «жизненный». Григорьев горячо отстаивает серьезное, глубокое значение искусства, его непосредственную, кровную связь с жизнью, идеальным отражением которой оно является. «Искусство, – говорит он, – воплощает в образы, в идеалы сознания массы. Поэты суть голоса масс,

народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключом к уразумению эпох – организмов во времени и народов – организмов в пространстве». Соответственно такому высокому значению искусства, – продолжает г. Саводник, – и критика должна подняться на надлежащую высоту. Помня, что в искусстве открывается смысл жизни, она должна ставить себе задачей, путем анализа художественных произведений, разъяснить этот скрытый в них смысл, выяснить их идейное содержание. Но эту задачу критика может осуществить только тогда, когда подымается до целостного интегрального понимания жизни, когда в качестве критерия для своих суждений и оценок примет не преходящие явления жизни и не те или другие отвлеченные идеи и теории, как это делали представители исторической и публицистической критики, а тот глубокий идейный смысл, который лежит в основе жизненных процессов и отражается в художественных произведениях. Для правильного понимания и истолкования явлений искусства критика должна найти общую с ними почву. И такая общая почва, несомненно, существует: «Между искусством и критикой, – говорит Григорьев, – есть органическое родство в сознании идейного, и критика, поэтому, не может быть слепо-историческою, а должна быть, или, по крайней мере, должна стремиться стать столь же органическою, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусства». Но такая «органическая» критика возможна лишь тогда, когда она основывается на цельном и прочном, органически сложившемся мировоззрении, когда она является не простою игрою ума и остроумия, а результатом серьезных духовных стремлений и исканий, когда она представляет для самого критика действительно жизненное дело, тесно связанное с его наиболее глубокими внутренними переживаниями. «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не баловство одно), – писал он в 1858 году в одном дружеском письме, – суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся

до формул и определений». И такой именно характер носит вся критическая деятельность Григорьева, тесно связанная с его личностью, с его глубокими, органическими симпатиями и тяготениями; во всех его статьях чувствуется горячее дыхание жизни, биение живого пульса, – чувствуется, что все вопросы, которых он касается в своих статьях, представляют для него не один только отвлеченный, головной интерес, но неразрывно связаны со всем его внутренним миром... Все это придает его писаниям особенную теплоту, которая вместе с тонким эстетическим чувством и художественной проницательностью обаятельно действует на вдумчивого читателя и заставляет его забыть некоторую разбросанность и сбивчивость изложения, обусловливаемую страстным, увлекающим темпераментом Григорьева».

В. Ф. Саводнику принадлежит высокая честь – поднять Григорьева из гроба. Пытался это сделать, вскоре после смерти критика, Н. Н. Страхов: но – неудачно. Изданный им Григорьев был продан «свесу» букинистам: его никто не покупал, не брал. «Пошел на обертку» за ненадобностью благородному читателю. В издании В. Ф. Саводника (книгоиздательство Башмаковых) Григорьев быстро расходуется, и каждая серия новых выпусков вызывает собою отзывы и критику в журналах и газетах. Другие времена пришли, живет другое поколение, то лучшее и более серьезное поколение, в образовании которого много сделали и Н. Н. Страхов? и Ап. Ал. Григорьев. Вся личность, вся судьба Ап. Григорьева – поэтична, страдальческа, безумна. Он страдал тем пороком, которым страдал и Глеб Успенский, – и в личности и судьбе обоих? несмотря на разницу «политических платформ», было что-то общее, родное. И еще сюда прибавим великого композитора – Мусоргского. Это поистине гуляки – Моцарты в русской культуре: с огнем, сжигающим внутри, с бутылкой (увы) вина в руках. Какие личности! – скажу прямо: какая роскошь личности во всех трех!! Счастливы ли они были? По-своему и втайне – да. Ибо кто же променяет тайные звуки души, при всем ужасе внешней обстановки, – на благополучное существование Чичикова или

Кутлера. Да, Григорьев, Мусоргский, Успенский – это уже «не мертвые-с души». Ошибся Гоголь: не все мертво на Руси. Ошибся великий Кащей нашей литературы. Хороша ты, Русь; ну – и пьяна ты, Русь. К счастью – была.

Еще заметка: Григорьев весь «наш», учебный, училищный, частью – студенческий. Он жил «попытками», учителем. Впрочем, и все у него в жизни было попыткою и неудачею. Во всяком случае, это только ясно: студент московский и потом учитель провинций. Потом пришел, приехал или прибежал в Питер: здесь он жил, женился, нелепо и бессмысленно, умер – почти неведомо, где и как. «Не по Кутлеру жил». Ни профессором, ни присяжным критиком прочно поставленного журнала не был. Писал на «задворках» и где случится. Вечная ему память, прекрасному человеку, но я веду слово «наш» к тому, что теперь забота именно учителей гимназий и семинарий, старых педагогов-словесников, поставить Григорьева «на свое место»: в сердца учеников, гимназистов и семинаристов, в сердца учениц своих и – на ученические полочки ученических библиотек. За вами очередь, господа русские педагоги.

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»...

Г-н Т. Ардов напечатал в «Утре России» несколько в высшей степени интересных статей о настоящем и будущем России¹... И не интересных только, но даже волнующих. Автор начал с пересказа одного эпизода в «Подростке» Достоевского: застрелился некто Крафт, обруселый немец, юноша, что-то вроде студента. И когда стали узнавать, *отчего* он застрелился, то стали говорить, будто причиной смерти послужили мысли, в которых находился последнее время этот Крафт: именно, что по его взгляду, очень долго зревшему, Россия – «второстепенное место» в истории, никакого всемирного призвания не заключающее и ни к какой всемирной роли не способное. Идеальный юноша так полюбил свою вторую мать, что не мог вынести этой печальной мысли и покончил с собой.

Нужно заметить, примеры такой любви к России, и именно немцев, – встречаются!.. Меня в свое время это место из «Под-
ростка» так же поразило, как и г-на Ардова. И тоже, окончив
роман, – я возвращался к этим 2–3 страничкам в начале его.
Эпизод разителен тем, что лицо Крафта даже не выведено в
повествовании, не показано: много-много, что он на какой-то
странице «напился чаю» или сказал кому-то: «я к вам приду»...
Таким образом, этот наклеенный сбоку романа кусочек печат-
ной бумаги весьма походит на записочку, которую положили
вам под подушку на ночь, – и она всю ночь будет вам сниться...
Г-н Ардов весьма правдоподобно говорит, что это – мысль са-
мого Достоевского; не постоянная его мысль, ибо вообще-то
он стоял за «великое призвание России», но так... стоявшая у
него «уголком» в душе мысль и которую он в душу читателя
вставил тоже «уголком»...

– Можно с ума сойти... Может быть, бред есть все, что мы
думаем о великом призвании России... И тогда – удар в висок
свинцового куска... И вечная Ночь... Ибо для меня вечная Ночь
переносимее, нежели мысль, что из России ничего не выйдет...
А, кажется, – ничего не выйдет.

Это был «бес» Достоевского; его поистине «кошмар» и
«черт» («Брат<ья> Карамазовы»)... «Своя же мысль, но в от-
вратительном виде», – как он толкует там «беса». – «Господин
в сером пиджаке, приживальщик»... «Мое подлое я, – которое
убить бы, но убить – нет сил, оно – трансцендентно, оно –
вечно». Крафт убил себя из-за этой мысли; а Достоевскому,
поверь он в нее окончательно, то есть окончательно разуверь-
ся в «будущности России», пришлось бы перелицевать всю
свою литературную деятельность и попросту и смиренно
пойти в «приживальщики» к М. М. Стасюлевичу, Спасовичу,
Градовскому, Пыпину...

– Вот мы же и говорили, Федор Михайлович, что все
дело – в Западе, а Россия – пустое место. А вы нервничали;
оскорбляли нас за эту прозаическую истину. Проза всегда
сильнее стихов... Вы стихи очень любите, и это вредно, а
главное – затемняет истину.

И Шиллер – Достоевский – Крафт выкрикнули:

– Нет, лучше пулю в висок... Лучше мозги пусть по стенам разбрызгаются, чем эта смердяковщина...

Замечательно, что та мысль, от которой благородный Крафт застрелился (Достоевский несколько раз называет его «благородным»), – эта же самая мысль внушает Смердякову его знаменитые «романсы». В человеке «с гитарой» описывается, как этот лакей хохлится со своей невестой и то «развивает ее», то очаровывает пением. «Россия-с, Марья Ивановна, – одно невежество. Россию завоевать нужно. Придут французы и покорят ее: а тогда я в Париже открою парикмахерскую».

Это та же «мысль Крафта», переданная «подлецу-приживальщику», бесу «в смокинге», который страшнее всех демонов в плаще и сиянии. Единственный подлинный дьявол, – о, какой подлинный!

«Мое – подлое я, но – трансцендентное».

– «Дьявол с Богом борется: а поле борьбы – сердца людей».

И Достоевский помогал и помогал своему «Богу»:

– Знаете ли вы, что есть только один Народ-Богоносец; и этот народ – русский... Когда народы начинают *смешивать* богов своих, то они исчезают: всякий народ *утверждает* себя в истории, *себя одного* и своего Бога, – а других всех прочих богов и другие народы отвергает, уничтожает...

– «Нет, Шатов», – поправляет его Ставрогин, коего «прежние мысли» излагал «бесталаный» друг... – «Нет, я не смею теперь: я даже говорил еще властнее, еще гордее и абсолютнее... У вас «Бог» выходит каким-то только *атрибутом народности*, – его мечтой или «идеей», его «составной частью»... А ведь подлинно-то есть Бог, перед Которым народы – ничто, и вот это Он, Вечный, избирает преемственно себе тот или иной народ в «сыновство»... Так что «Русский народ-Богоносец» – эту мысль нужно читать наоборот, чем вы сказали: истинный Вечный Бог избрал убогий народ наш за его смирение и терпение, за его невидность и неблистание, в союзе с Собою: и этим народом Он покорит весь мир своей

истине, которая есть именно – смирение, безвидность, простота, ясность, доброта. Отсюда:

– *Смирись*, гордый человек! – брошенное русской интеллигенции, – то есть «не изменяй своему Богу, Богу *смирения*, Который призвал тебя в *сыновство*». Ибо тогда, без идеала и помощи Божией, – мы погибнем.

И –

Образ кроткой Татьяны, безмолвной Татьяны, «покорной судьбе своей», – который он бросил всем на Пушкинском празднике.

Таким образом, около «идеи Крафта», можно сказать, «танцует весь Достоевский», – как около своего «беса», своей «мучительной идеи», своей «тоски за всю жизнь»...

– Позвольте, позвольте, – говорит прокурор в «Бр<атях> Карамазовых», – если в Гоголевскую «тройку», так быстро и роскошно мчащуюся, что перед ней «сторонятся все народы», впрячь только героев этой самой «великой поэмы», ну – напр<имер>, Собакевича, Чичикова и Ноздрева, – то ведь что же тогда выйдет?.. Не далеко ускачет такая «тройка»... Да, знаете, «народы»-то, пожалуй, и «сторонятся» перед Россией; но – от отвращения, от омерзения. И уже давненько подумывают: как им защититься от этой дикости, от этого иступленного преступления, от всех наших чудовищных пороков и низости... Как *связать* и *укротить* эту «бешено мчащуюся тройку», этот бешеный «развал» и «нигилизм»...

Опять – идея Крафта и Смердякова... А «прокурор» не похож ни на Крафта, ни на Смердякова. Прокурор – просто «порядочный человек», с некоторым чувством закона и долга; в то же время человек практический и трезвый, видящий, что делается вокруг. Он – человек маленький, не умный; но вот это небольшое, и однако же насущно-нужное в общезжитии, чувство долга, закона и порядочности заставило его сказать о России... похоронное слово... Стасюлевич и Пыпин, люди не гениальные, тем именно и сильны и необоримы, что они говорят все время «маленькую нужную идею», без которой «никак не обойтись»... Тут случилось странное qui

рго quo²: именно Стасюлевичу и Пыпину выпала роль «смирной Татьяны», убогая скромная роль сказать провинциальную истину, затхлую истину, «с сельского погоста», что: 1) нельзя обижать мужиков, вообще – сирот; 2) надо побольше школ; 3) мужика и бабу его надо лечить. Да, – не «с ногшибательные» истины, не «ницшеанского» полета, без плаща, перьев и пламени:

– Не надо воровать носовых платков.

А Достоевский перед этой «простенькой истиной», в «платице Татьяны», со своим «Народом-Богоносцем» и «Смирись, гордый человек», – ну, идеями великими, восторженно-чудными, – играл все-таки роль «печального демона»...

Печальный демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей...³ –

и манил ее несказанными обещаниями «усыновления Божия»... Но на скромной земле «наседка-курица» – вот этот Стасюлевич, вот этот Пыпин – сжались крыльями над своим «земным выводком» и дерзко закричали: «Не хочу! Не хотим! Никому не дам и ни для чего не дам, ни ради каких обещаний, деревенскую нужду, деревенскую обиду, бабу, мужика и нуждающиеся в ремонте дороги».

– Мы – ремонтеры, Ваше Преосвященство: и вашей обедни нам пока некогда слушать.

Вот диалог между Достоевским и Стасюлевичем; между Стасюлевичем и Крафтом – Смердяковым – «прокурором»...

* * *

Одно воспоминание: когда я в молодости был учителем, то у меня был товарищ, ныне покойный, Серг<ей> Ив<анович> Саркисов, армянин. Был умен, пылок, преподавал греческий язык. Беззаветно любил одну русскую женщину, увы (по-русски) – чужую жену. Был счастлив с нею. Был в то же время страстный армянский патриот; составил

армянскую грамматику и сделал в ней некоторые новые объяснения. Нашего, и в то же время его учителя, Ф. И. Буслаева он за филологический талант называл «богом», как и немецкого лингвиста Боппа, и своего летописца Моисея Хоренского. Вот он раз и говорит мне:

– Знаете ли Вы одно место из Достоевского, где он говорит о *народах* в истории?

Я, конечно, знал. Но он раскрыл о «Народе-Богоносце» и прочел, страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами:

– Это – Евангелие истории... Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке: это – пророк говорил своему народу. Для русских это – Священное Писание.

Он, почему-то, еще очень восхищался Верою в «Обрыве» Гончарова, говоря, что лучшего типа девушки во всемирной литературе не знает. Не скрою, что в свое время и я был «закружен» им. Да, думаю, что это и вообще – так. Но это – в сторону, хоть может и пригодиться ниже. А пока вернусь к г. Ардову и его мыслям «около Крафта».

* * *

Он привел – впрочем, известное – выражение императора Вильгельма, когда ему кто-то напомнил, что нужно думать не о «желтой опасности», а о «славянской угрозе»:

– Что Вы, Ваше Величество, тревожите мир указаниями на «желтую опасность». Она – далеко. Германия вся облегается славянскими народами. Славянский мир – вот где кроется опасность для Германии.

Тогда, будто бы, Вильгельм отвел в сторону говорившего и сказал ему вполголоса:

– Нет!.. Никакой опасности – от славян... Славяне – это вовсе не нация, это только удобрение для настоящей нации. Настоящая нация – мы, немцы; и славяне призваны к тому, чтобы унавозить поля, на которых со временем раскинется будущая Великая Германия.

Этому отвечает выражение Франца-Иосифа – фактический ответ его каким-то славянским депутатам, прочтенный мною лет шесть назад в газетах:

– Я предпочту стоять часовым солдатом возле немецкой палатки, в германском военном лагере, чем титуловаться «королем» вашим или вообще какого бы то ни было славянского народца.

То же презрение. Та же мысль: «это – пустое место, для меня вовсе не интересное».

Можно вообще допустить или угадывать, что *государственно* «по ту сторону Вержболова»⁴ эта мысль царит как аксиома. «Славяне – это туманность, которая разрешится в германское солнце». Славяне умрут, духовно, этнографически, всячески. Они просто – *не нужны миру*; и – потому, что в них *ничего нет*.

Мысль – Крафта, «прокурора», Смердякова; мысль Стасюлевича... «Что такое особенное? Ничего нет, ничего не вижу»...

– А я *вижу*!! – вопил Достоевский и указывал на то, о чем говорит далее г. Ардов и говорил гораздо ранее его Бисмарк.

Бисмарк одно время был послан в Петербург и приглядывался к русскому характеру, к «русским людям»... Гениальному человеку, вот как и Гоголь, достаточно «проехаться по стране»⁵, чтобы заприметить в ней такое важное, чего «тутошные люди», век живя, – не заметят. И Гоголь это, только «проехавшись по России», заметил; и Бисмарк заметил, только «побывав в Петербурге послом».

С ним случился раз анекдот⁶: он заблудился на медвежьей охоте. Поднялась пурга, дорога была потеряна, и Бисмарк очутился в положении поляков с Сусаниным. Лес, болото, снег, никуда дороги. Он считал себя погибшим:

– *Ничего!* – обернулся мужичок с облучка.

Он был один, с этим мужиком. Без русской речи, кроме каких-нибудь слов.

Мужичок все обертывался и утешал железного барина:

– Ничего, выберемся!

«Выберемся» он уже не понимал. А только запомнил это «ничего», много раз повторявшееся. И когда стал канцлером, то в затруднительных случаях любил повторять на непонятном языке:

– Ничего. Nitschevo.

Распространительно: «Бог не выдаст – свинья не съест». «Не пришел *час гибели* – и не погибнем. А пришел этот час, то как ни кудахтайся – не выберешься». В общем: «Ничего».

Так вот этот Бисмарк и говаривал:

– Все русские женственны. И в сочетании с мужественной тевтонской расой – они дали бы, или дадут со временем, чудесный *человеческий материал для истории*.

Эту мысль Бисмарка, – она же и мысль Вильгельма, а в конце концов и мысль Крафта, Смердякова, Стасюлевича и «прокурора», – развивает от себя г. Ардов, и очень интересно:

– Германцы – хищническое племя. Вся Германия стоит на костях погибших славянских народностей, этих «поморян» Померании и «лабов» по реке Эльбе... Немецкий титул «граф» происходит от «грабить» и выражает волевое и мысленное движение – «грабь!», а немецкий глагол *haben*, то есть «иметь», одного корня с «хапать», хватать, похищать. Немцы – мужское племя, с огромным инстинктом насильничества, господства, власти. Это – одна сторона, которая с запада Германии нашла себе ограничение в сильном и тоже мужском племени кельтов. Не то с востока: здесь Германия прилегает всем своим огромным боком к племени женственному, слабому, нежному, мягкому, уступчивому – к славянам, к русским. И то, что совершилось с прибалтийскими славянами, превращенными в рабов ливонскими рыцарями, немецкими грабительскими «графами», – неодолимо раньше или позже совершится вообще со всем славянством, начиная от поляков и малороссов и кончая русскими. Везде «*slavi*» будут «*slavi*», как говорит и имя их: «славяне» значит «рабы». Неодолимо: ибо это вытекает из соотношения характеров, рас, психологии. «И посмотрите, – продолжает Ардов (отсюда и начинается интерес его мысли), – этому действительно отвечает наша

народная психология, особенно как она сказала в самом ярком и многозначительном своем выражении, в великой русской литературе. Она прекрасна; но обратите же внимание, в чем лежит это ее «прекрасное». Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, целый ряд беллетристов-народников, все с поразительным *единством* и *без какого-либо* значительного *исключения*, возводят в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного человека, в сущности – ничтожного человека, еще страшнее и глубже – безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а, вот видите ли, – великолепно умирает и терпит!!! Это такая ужасная психология!.. и, что страшно, она так правдива и из «натуры», что голова кружится. От Татьяны, сказавшей:

Но я другому *отдана*
И буду *век* ему *верна*⁷, –

от этого ужасного слова, в сущности всемирного слова всякого рабства, всякого «оруженосца», «пажа», отнюдь не рыцаря и не воина, не самостоятельного «я», – через «бедных людей» Достоевского (какой ужасный смысл в самом имени: Макар *Девушкин*) и его же «Честного вора» (аншлаг для всей Руси), через Платона Каратаева, через безвольных героев Тургенева, – проходит один стон векового раба: о том, откуда бы ему взять «господина», взять «господство» над собой... Это еще от новгородской Руси: «приидите *володеть* и *княжити* над нами»⁸. Перекидываясь от Рюрика и Трувора прямо в XIX век, что мы усмотрим во всех этих переводных изданиях Павленкова, в этом чисто женственном отдавании себя Боклю, Спенсеру, Дрэперу, Льюису, Молешоту, как раньше Гегелю, как недавно Ницше и перед ним Шопенгауэру, как не такое же «призвание князей», как не Татьянин ответ, как не вечное сознание: «...я сама – ничто; дурнушка, деревенская девушка... Но придет рыцарь, придет Солнышко, и от Него я рожу дитя-богатыря».

О, сущий «Макар Девушкин»!.. и имя-то себе выбрал мужчины – девичье. Ну, что тут поделаешь, если «от Рюрика»...

* * *

Но вспоминается бисмарковское: – «Ничего».

Прежде, однако, чем перейти к «ничего», dokonчим ардовскую мысль:

Ардов и говорит: «Да, вся русская литература, а за нею и все общественные наши идеалы, общественные тенденции суть женские, женственные. На вековечный крик самца-мужчины, ну, напр<имер>, самца-тевтона: «я – хочу», русское племя, устами по крайней мере литературы своей, отвечает: «Возьми меня!»

По-видимому: «сон Вильгельма совсем сбудется». Если бы не мужичок, успокоивавший посла: – «Ничего, барин!.. Вывезет».

Ардов парирует «сон Вильгельма» следующим: – Да посмотрите на русскую историю, не сейчас, а как она совершилась *сначала*. Достоевский и Толстой пришли только теперь, а ведь что-то *было и до них*. Не все были Рудины и тургеневские «нервы»... Да в русской истории положено столько *железа*, столько *мужчины*, такие *бронзовые характеры* «сколачивали Русь», как, может быть, этого не было у самих немцев, только к XVII веку сколотившихся в Пруссию. Суворов – уже это не «честный вор» из Достоевского; воины Бородина – не «Макары Девушкины»; сподвижники Екатерины и Петра – люди, которые никак не уступят в закале, в воле, энергии, в даре и силе созидания сподвижникам Фридриха Великого и старца Вильгельма.

* * *

Указав на это, в конце статей он, однако, отказывается от этого «железного созидания», – переноса все свои симпатии к мягкотелой «культурной работе». Вообще, мысль его инте-

реснее началась, чем кончилась. «Загвоздка Крафта» остается не вынутой. «Культурное созидание» еще лучше нас могут выполнить немцы: и тогда правильна мысль Смердякова – «пусть умная нация покорит глупую». Ардов предоставляет России роль какой-то ненужной, необъяснимо почему ненужной, «связи» между «армянами, литовцами, хохлами, поляками, евреями, финнами» и проч. и проч. Роль чисто механическая, отнюдь не духовная. Все это сводится опять к «идее Крафта»; а Крафт был «благородный человек» и кончил из-за нее самоубийством. Кстати, почему «Крафт», а не «Иванов»? И благороднейшего медика в «Бр<атях> Карам<азовых>» Достоевский назвал «Герценштубе», и даже приписал где-то, что «если вы захвораете серьезно, зовите к себе врача с немецким именем»; «это вам говорю я, русский из русских», прибавил он.

«Крафт» – тот же «Даль», тот же «Гильфердинг», та же семья «Гротов». «Верный немец» – «верный» идее своей, привязанности. «Верный и последовательный» в своей идее. От того и «застрелился», – как застрелился бы Даль или еще «Востоков» (тоже – немец), «разуверься он в красоте и будущности русского языка, русских и России».

* * *

Осмотримся.

Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они «необыкновенно *женственные*»; и прибавил, что «в сочетании с *мужественным* германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории». Эту же мысль, у Бисмарка не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне – не нация: это – только материал и почва, на которой вырастет другая нация, с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о «мужественном» и «женственном» в истории.

«Муж есть *глава* дома»... Да... Но *хозяйкой* его бывает жена. Та «жена», которая при замужестве потеряла свое имя, а во Франции не может распорядиться своим имуществом и даже своим заработком. Но и во Франции, как и в России, как решительно везде, жена наполняет «своей атмосферой» весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым, всех привлекает к нему или от него отталкивает; и, в конце концов, она «управляет» и самим мужем, как шея движениями своими ставит *так* и *этак* голову, заставляет смотреть *туда* или *сюда* его глаза и, в глубине вещей, *нашептывает* ему мысли и решения...

Муж, положим, «глава»; но – на «шее», от которой и зависит «поворот головы».

Вот что можно ответить Вильгельму и Бисмарку на их указания о «женственном характере» славян, в частности – русских, и на «печальную роль подчиненности и даже рабства» в будущем, которую они нам предрекают, основываясь на нашей «женственности».

Достоевский, много мысли отдавший «будущему России», не сказал этой формулы, которую я говорю здесь, – формулы ясной и неопровержимой, ибо она физиологична и вместе духовна; но он тянулся именно сюда, указывая на «всемирную отзывчивость русских», на их «способность примирить в себе противоречия европейской культуры», на то, что «русские наиболее служат всемирному призванию своему, когда *наиболее от себя отрекаются*»... Пушкинская речь его, сказанная в этих тонах, известна; но гораздо менее известно одно место из «Подростка», именно диалог Версилова со своим сыном от крепостной девушки, где эта идея выражена с таким поэтическим обаянием, до того нежно и глубоко, так, наконец, всемирно-прекрасно, как ему не удавалось этого никогда потом... Много лет меня занимает мысль разобрать этот диалог: здесь выразилось «святое святых» души Достоевского, и тут он стоит не ниже, но, пожалуй, еще выше, чем в «Легенде об инквизиторе» и в монологе Шатова-Ставрогина о «Народе-Богоносце»... Эти слова грустного русского стран-

ника, бедного русского странника, бежавшего за границу чуть ли не от долгов, а в сущности – от скуки, от «нечего делать», с гордым заключительным: «из них (европейцев) настоящим европейцем был *один* я... Ибо я *один* из всех их признавал тоску Европы, признавал судьбу Европы», и проч., – удивительны. Но тут нельзя передавать: поэзия цитируется, а не рассказывается. В этой идее Достоевский и выразил «святое святых» своей души, указав на особую внутреннюю миссию России в Европе, в христианстве, а затем и во всемирной истории: именно «докончить» дом ее, строительство ее, как женщина доканчивает холостую квартиру, когда входит в нее «невестою и женою» домохозяина.

Женщина *уступчива* и говорит «*возьми* меня» мужчины; да, но едва он ее «берет», как глубоко *весь* *переменяется*. «Женишься – переменишься» – многодумная вековая поговорка. Это не жена *теряет* свое имя; так – лишь по документам, для полиции, дворников и консистории. На самом деле имя свое и, главное, лицо и *душу* теряет мужчина, муж. Как редко при муже живут его мать, его отец; а при «замужней дочери» обычно живет и мать. Жена не только «входит в дом мужа»: она входит как ласка и нежность в первый миг, но уже во второй – она делается «госпожой». Точнее, «господство» ей отдает муж, *добровольно и счастливо*.

Что это так выходит и в истории, можно видеть из того, что, например, у «женственных» русских никакого «варяжского периода», «норманнского периода» (мужской элемент) истории, быта, существования не было, не чувствовалось, не замечается. Тех, кого «женственная народность» призвала «володети и княжити над собою», – эти воинственные, железные норманны, придя, точно сами отдали кому-то власть; об их «власти», гордости и притеснениях нет никакого рассказа, они просто «сели» и начали «пировать и охотиться» да «воевать» с кочевниками. Переженились, народили детей и стали «Русью» – русскими, хлебосолами и православными, без памяти своего языка, родины, без памяти своих обычаев и законов. Нужно читать у Огюстена Тьерри «Историю завоева-

ния Англии норманнами», чтобы видеть, какой это был ужас, какая кровь и особенно какое ужасное *вековое угнетение*, навешшее черты искаженности на всю последующую английскую историю. Ничего подобного – у нас!..

Если мы перекинемся от тех давних времен, в *подробном образе* нам не известных, к векам XVIII и XIX, когда опять началось живое общение русских с «мужским» западным началом, – то опять увидим повторение этой же истории. Как будто снаружи и сначала – «подчинение русских», но затем сейчас же происходит более *внутреннее овладевание* этими самыми подчинителями, всасывание их, засасывание их. «Женственное качество» – налицо: уступчивость, мягкость. Но оно сказывается как *сила*, обладание, овладение. Увы, не муж «обладает женой»; это только кажется так. На самом деле жена «обладает мужем», даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным «безволием», которое чарует «водящего» и грубого и покоряет его себе, как нежность и миловидность. Что будет «мило» мне – то, поверьте, станет и «законом» мне. Вот на что не обратили внимания Бисмарк и Вильгельм. Даже Бисмарк заметил и *запомнил* «милого мужичка», утешавшего его своим «ничего», когда тот заблудился в снежных дебрях на охоте; а у мужичка едва ли сохранилась большая память о немецком барине, кроме того, что он его тогда «вызволил», – и «слава Богу», – за что получил, верно, «пятишницу» на чай. «Бисмарковского периода» в жизни мужика не было, но в необычайную сложность биографии Бисмарка все-таки вплелся русский взгляд, русский прием сказать «ничего!» в отчаянном положении. Не железный ли человек был Миних? А какое он принес «свое влияние» на Русь? Был суровый, даже до жестокости, командир; ругали, проклинали, но не больше. Однако уже его сын писал по-русски «Добавления к запискам господина Манштейна»⁹, – писал как русский патриот, как русский служилый человек, как добрый работник на необозримой русской ниве. И теперь есть русские дворяне «Минихи», совершенно то же, как «Ивановы».

* * *

Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям... Именно, вот как невеста и жена – мужу... Но чем эта «отдача» беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до «убийства себя», тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была «отдача». И в супружестве не ветреная жена владеет мужем, но самая покорная, безропотная, отдающаяся «вся»... За «верную жену» муж сам обратно «умрет» – это уж закон великодушия и мужества. Тут происходит буквально святое *взаимокормление*; и вот его-то *силу* не учли историки, считающие, что процесс истории есть соперничество сил и интересов, соперничество властей – и только. Оглядываясь назад, укажем: да отдавали ли мы какому-нибудь русскому мыслителю – ну, Новикову, ну, Радищеву, Чаадаеву, Герцену – столько сил и энтузиазма, столько чтения и бессонных ночей, сколько их отдали мы Боклю и Спенсеру?! А Ницше последних лет? Его «Заратустру» цитировали как любимые стихотворения, как заветную, гонящую сон сказку; и Пушкин совершенно *никогда не знал* такой поры увлечения им, как была «пора Ницше» в его золотые дни. То же было за немного времени перед тем с Шопенгауэром. Факт этот до такой степени всеобщ и постоянен, что даже нельзя представить себе «образ русского общества», каким он был бы под воздействием «русского же увлечения». Если бы Русь зачиталась вдруг Пушкиным, стала его цитировать на перекрестках улиц, в каждом номере газеты, во всяком журнале... – нельзя представить и вообразить!! «Русские бы стали на себя не похожи»: до такой степени увлекаться чем-нибудь непременно *из Европы* есть единственное «похожее на себя» у русских, у России... Женщина, вечно ищущая «жениха, главу и мужа»...

Сейчас совершенно еще не видно, что из этого выйдет; об этом пока тоскуют одни славянофилы – «почти не русские». Но неизбежно что-то огромное должно выйти отсюда. Я думаю, отсюда-то именно и вытечет, через век, через 1,5 века, огромное «нашептывающее» влияние русских на европейскую

культуру в ее целом. Под воздействием этой непрерывной и страшной любви к себе, полной такого самозабвения, такого пламени, уже скучающая «мещанской скукой» Европа не может не податься куда-то в сторону от своего эгоизма и сухости, своей деловитости и практицизма. Тут предсказывать невозможно: можно только указать на «Минихов», на Даля, на Востокова, Гротов, на еврея-собиранителя русских народных песен Шейна и добавить, что «русских католиков», как Волконские, как Мартынов и Гагарин, было меньше численно, а главное – они все были *меньшего значения*... Главное, тут что выходит: что русские, так страстно отдаваясь чужому, сохраняют в самой «отдаче» свое «женственное я»; *непременно* требуют в том, чему отдаются, – кротости, любви, простоты, ясности; безусловно, ничему «грубому», как *таковому*, русские никогда не поклонились, не «отдались» – ни Волконские, ни Гагарин, ни Мартынов. Напротив, когда европейцы «отдаются русскому», то отдаются самой сердцевине их, вот этому «нежному женственному началу», то есть отрекаются от самой сущности европейского начала, вот этого начала гордыни, захвата, господства. Эту разницу очень нужно иметь в виду: русские в «отдаче» сохраняют свою душу, усваивая лишь тело, формы другого... В католичестве они не «поднимают меч»; олютеранившись, не прибавляют еще сухости и суровости к протестантизму. Наоборот, везде вносят нежность, мягкость. Западные же увлекаются именно «женственностью» в нас... Ее ищут у Тургенева, у Толстого... Таким образом, мы увлекаемся у них «своим», не найдя «в грустной действительности на родине» соответственного идеалу своей души (всегда мягкому, всегда нежному); у них же «увлечение русским» всегда есть перемена «внутреннего идеала»... Есть «обрусевшие французы», отнюдь не потому, чтобы они у нас нашли почву для любви к «la gloire»¹⁰... Но «офранцузившиеся русские» никогда не говорили себе: «с новым Наполеоном я или потомки мои дойдем до края света». Никогда! Нет такой *мечты*!!

Русские принимают тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с нами, принимают именно дух. Хотя *на словах*

мы и увлекаемся будто бы «идейным миром» Европы... Это только так кажется. Укажите «объевропеившегося русского», который объевропеился бы с пылом к «власти», «захвату», «грабежу», к «grafen» и «haben» как «грабить» и «хапать»; чтобы мы немечились или французились по *мотивам к движению, завоеванию, созиданию...*

Мы надевали европейский сапог с мыслью, что он еще меньше будет жать ногу, чем «домашняя туфля». Но европейцы, когда снимали свой сапог, именно знали, что надевают «русскую туфлю», которая вообще нигде не жмет, но зато и не есть, в сущности, обувь. Они – отрекались; мы – «паче себя утверждали». Вера Фигнер перешла в социализм, когда увидела в Казани оскорбленным администрацией своего любимого учителя (см. ее «Воспоминания о Лесгафте»)¹. Вот русский мотив. Но я не знал немца, который, принимая Православие, думал бы: «теперь у меня пойдут лучше занятия философией», или «станет устойчивее фабрика», или «я что-нибудь сочиню даже выше *Фауста*». Мотивы немецкие исчезли; но у русских русский мотив (жалость, сострадание) усилился (то есть когда они переходят в европейство).

Печорин, странный идеалист <18>40-х годов, перешел в католичество*. Что же, он стал «строить козни» лютеранам? А он поступил в иезуитский орден. Нет, он сделался «братом милосердия» в одном из ирландских госпиталей. «Русский мотив» усилился.

Весь русский социализм, в *идеальной и чистой* своей основе, основе *первоначальной*, – женственен; и есть только расширение «русской жалости», «сострадание к несчастным, бедным, неимущим», к «неможным победить зло жизни». (Смотри разительные «Записки» Дебагория Мокриевича.) Но все это – мотивы еще Ульяны Осоргиной, о которой читал Ключевский в своей лекции «Добрые люди Древней Руси». Смотри также женские типы Тургенева («собирала больных кошечек, больных птичек» Елена) или у Толстого, в «Воскресении», типы «политических», идущих в Сибирь: «дайте, я

* См. «Жизнь Печорина» М. О. Гершензона.

понесу вашего больного ребенка; вы сами устали». А социализм – европейская и притом очень жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм).

И в «дарвинизме» русских втайне увлекло больше всего то, что он «сшиб гордость у человека», заставив его «происходить» вместе с животными и от них. «Русское смирение» – и только. Везде русский в «западничестве» сохраняет свою душу; точнее, русский вырывается из «русских обстоятельств», все еще для него грубых и жестоких (хотя они несравненно «женственнее» западных), – и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотетическом Западе, условий или возможностей для такого высокого диапазона русских чувств, какому в отечестве грозит «кутузка».

* * *

Западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка. Замечательно, что русские никогда не увлекались нравственными характерами западных литератур, если это не были характеры «дополнительные для русской души»... Например, Корделия увлекательна, но она есть олицетворение жалости к отцу. Герои Диккенса увлекательны, но это все есть «бедные люди» Достоевского и даже скромный герой гоголевской «Шинели». Нужно заметить, что Диккенс «пел» и любил не типичные английские идеалы, не людей «бифштекса» и гигантской работы. Сам Диккенс был изменник родины и «почти русский писатель» (см. Ульяну Осоргину в «Древней Руси»). Оттого его на Руси и любили. Но «королей» и «министров» из Расина, Корнеля, из Виктора Гюго, из Дюма – никогда не любили, предпочитая им «воришек» из Эжена Сю. Заметив это, обратимся к Западу. Он преклонился вовсе не перед *художеством* русских писателей, довольно неуловимым в переводе, но перед новым нравственным миропорядком, какой открывался просто картинками русской жизни и характерами русских людей. Минувший год в Наугейме¹² мне пришлось не самому слышать, но

через третье лицо услышать рассказ о том необыкновенном и *исцеляющем* действии, какое русская литература производит на иностранцев, на американцев, немцев, англичан «в несчастьи», в «ломке жизни», в «крушившейся судьбе».

– Я не знаю, что у нее... Она постоянно печальна. Подолгу и часто она говорит со мной о русской литературе, больше всего о Тургеневе. Она знает мельчайшие его вещи, знает незаметные его афоризмы. И вот, как Тургенев *смотрит на жизнь и на человека* – это неизъяснимо ее волнует, привлекает и, видимо, утешает, успокаивает. Она приводила мне места из его «Фауста» и из «Романа в девяти письмах», каких я и сама не заметила. А я знаю Тургенева и люблю его. В Мюнхене, позднее, мне приводилось слышать от шведов:

– Мы же *знаем русскую жизнь*, потому что мы читали Толстого. И ваши деревни, и ваши мужики, и ваша религия – *не чужие нам*.

В самом деле, «литература – жизнь». Особенно у нас, особенно в «натуральной школе» нашей... Знают литературу, – и им открылась вся громада нашей жизни... ленивой, тихой, незаметной, глубокомысленной.

«В самом деле, русская туфля не жмет».

Есть ли *во всей русской литературе* хоть одна страница, где была бы сказана насмешка над «оставленной девушкой»? над ребенком? матерью? над бедностью? «Вор» – и тот в «честных» («Честный вор» у Достоевского). Русская литература есть сплошной гимн униженному и оскорбленному. И так как таковых множество всегда, везде, множество в гордой и гигантски работающей Европе, то можно представить взрыв восторга, когда всем им показана страна, показан целый народ, где никогда никто не смеет обидеть «сиротку» не в имущественном, а вот в нравственном смысле, – обидеть «убогого» по положению, по судьбе, по «ломке жизни». Таких слишком много. Что им скажут «короли» Гюго, да и вообще слишком явно «выдуманные сюжеты» западной обычной беллетристики. Но русские рассказы, – тоже «обычно» из настоящей жизни, с несомненными чертами в себе «подлин-

ной верности с действительностью», – могут дать утешение: «Есть страна, целый огромный народ, неизмеримого протяжения, где я не была бы *презираема*», «не была бы так глупо *оскорблена*», где всякий «*заступился бы за меня*», где «взяли бы меня за руку и поставили на ноги». «Я – окаянная, но – в нашей стране, а не на всей планете».

Вот действие русской литературы: оно многозначительно не по отзывам западной критики, не по шумной ее славе, не по осязательным триумфам, а по неосознательному, по не учитываемому нигде и никем сродству с душой простого читателя, повсеместного читателя, в известном строе этой души, в известном ее положении... «Кому-то русская песня всегда нравится»... Нет, – больше, лучше: «есть души, которым русская песня одна нужна на свете, милее всего на свете, как ушибленному – его мать, как больному ребенку – опять же мать его, может быть некрасивая женщина и даже не добродетельная женщина». «Добродетели» с русских, конечно, странно спрашивать... «Тройка»... Но вот что есть всегда на Руси: отзывчивость. Она, может быть, даже от того и создалась на Руси или преувеличилась на Руси, что слишком уж многих и повсеместно давят разные «тройки». Как бы то ни было, но «убаюкаться на Руси» многим хочется... Ну, и надеть наши «туфли»...

* * *

«Женственное» – облегает собою мужское, всасывает его. «Женственное» и «мужское» – как «вода» и «земля» или как «вода» и «камень». Сказано – «вода точит камень», но не сказано – «камень точит воду». Он ей только «мешает» бежать куда нужно, «задерживает», «останавливает». «Мужское» во всяком случае – сила; и она слабее ласки. Ласка всегда переборет силу. «Тевтонское нашествие» упало бы в «Русь», как глыба земли в воду. Замутило бы ее, расплескало бы ее, но в конце концов растворилось бы в ней. «Русская стихия» осталась бы последней и поверх всего. Вильгельм и Бисмарк естественно имели точку зрения «военачальническую» и вообще «началь-

ническую»; но есть еще точка зрения «подданническая». Вот она-то и важна. Она была совсем не видна ни Бисмарку, ни Вильгельму. Заприметь они ее, они бы поняли, до какой степени «сон Вильгельма» несбыточен, невозможен и даже смешон. На Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер; к сожалению, не умею назвать немецкую фамилию Востокова. И поразительно, что они все не только потеряли «свое немецкое», придя на Русь, с каковою потерей, естественно, *потускнели бы*. Этого не случилось, а случилось другое: они *расцвели*, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое «тело»), но пропитав все это «женственной душой» Востока... В конце концов оставили и свою религию, приняв нашу восточную – без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами. Решительно невозможно себе представить, чтобы русский, придя в Германию, стал «ух какой вахмистр!». То есть немецкую душу совсем не принимают русские, а только – формы. Таким образом, на слова Франца-Иосифа, что он «предпочел бы стоять часовым у немецкой палатки, чем сделаться славянским королем», можно ответить: «ну, Ваше величество, сколько мы знаем случаев, что немцы предпочитают служить коллежскими секретарями у нас, чем у вас в полковниках». Как все это сделалось? Как случилось? Почему Саблер сделался энтузиастом консисторского делопроизводства? Почему Даль, чиновник в петербургском департаменте и лютеранин, стал собирать пословицы, поговорки и, наконец, весь «живой говор» Руси? Почему Шейн всю жизнь пробродил по селам и деревням, собирая самые *напевы*, самые *мотивы* бытовых, свадебных, похоронных песен? Он, Талмудист-еврей?! Отчего Гершензон в Москве с такой любовью реставрирует всю старую литературную Русь? «Женственная душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцветивая. Решительно, – они работают по формам, по приемам лучше русских. Оттого Саблер и дошел до обер-прокурора: дело не малое. Но работают в русском духе, для

русских целей. Работают в точности и полно *русскую работу*. Вот ряд маленьких *miracula ethinica*¹³, приняв которые во внимание можно ответить и Бисмарку, и Вильгельму, и Францу-Иосифу, как тот мужичок в лесу:

– Ничего, барин... Вызволимся как-нибудь.

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский

Россия и Европа. Взгляд на культурные
и политические отношения славянского мира
к германо-романскому. Изд. 5-е. Спб., 1895.

Труд, не имевший при жизни автора никакого почти успеха, вышел ныне уже пятым изданием¹. Не будет излишне смелым, если мы скажем, что книга эта становится настольною для всех высоких кругов русского образованного общества; еще не вся учившаяся Россия ее знает; но, кажется, можно предположить, что ее знает вся Россия размышляющая, колеблющаяся, ищущая истины среди моря мыслей, частью туземно вырастающих, частью навеянных к нам с Запада.

Конечно, всякий, кто причисляет себя к сторонникам славянофильской мысли², может только радоваться при виде этого широкого успеха, какой выпал на долю хотя одной книги, выражающей им чтимую доктрину. Но он не скроет от себя и должен сделать усилие, чтобы разъяснить обществу, что в этой столь читаемой книге выражена еще не вся доктрина и даже не самая ее ценная часть³.

I

Теория культурно-исторических типов, предложенная Н. Я. Данилевским, вовсе не есть завершение славянофильской теории, не есть ее высшая фаза, как это утверждают почти все

ее критики и последователи⁴. Гораздо правильнее ее можно определить как скорлупу, которая замкнула в себя нежное и хрупкое содержание, выработанное первыми славянофилами и после никем не поправленное, никем не разрешенное. В их трудах, так мало систематических, что их можно принять за черновые наброски, случайно попавшие в печать, дано все то положительное, что и до сих пор мы находим в славянофильстве. К сожалению, труды эти совершенно не распространены, и мы боимся, не в силу ли предубеждения, что в книге Данилевского дано их завершение, ознакомившись с которым нет нужды знать предварительные и незрелые фазы доктрины.

И. Киреевский, А. Хомяков и Кон<стантин> Аксаков между тридцатыми и пятидесятыми годами истекающего века заложили это драгоценное, неразрушенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины. Первый в трудах своих: «Девятнадцатый век»⁵, «Ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», «О необходимости и возможности новых начал для философии», «Отрывки»^{*} – проводит самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточнославянского, в частности русского. Было бы неуместно в краткой заметке перечислять эти черты; остановимся на какой-нибудь одной, чтобы указать, до какой степени его мысли многозначительны и как они верны.

«Скажи мне, как ты оцениваешь истину, и я расскажу все, что ты в себе содержишь», – мог бы каждый из нас предложить вопрос ближнему, партии, народу, наконец, целой группе народов. Этим вопросом по отношению ко всей группе романо-германских племен задался Киреевский. «Истина есть то, что доказано», – отвечает их философия, мир точных наук, догматика^{**} их церкви, наконец, их право, их политическое сложение.

^{*} Все его сочинения изданы, к сожалению, очень небрежно А. И. Кошелевым в 1868 г.⁶ и с тех пор не повторялись изданием⁷.

^{**} Напр<имер>, изменение Символа веры⁸ покоится на силлогизме; во Св<ятой> Троице Отец и Сын равны; но Дух Св<ятой>, по Символу, исходит от Отца; следовательно, Он исходит и от равного Ему Сына.

Когда сеть силлогизмов нигде не прерывается, когда они исходят из наблюдения и проверены опытом – от Бэкона и до Уэвелля, от Кальвина и до Фейербаха, – ученый, пастор, ремесленник равно не усомнятся, что истина охвачена тут, внутри этих силлогизмов, опытов, этой реторты человеческого познания.

И вот мы читаем историю нового права Блюнчли⁹: около 600 страниц и не более 3–5 страниц на мыслителя. Какое их множество, какие великие, светлые имена... И какая грусть, какое сомнение охватывает, когда страницы бегут перед нами и с каждою новою мы входим в сеть нового мышления, так неуловимо подкупающую, так правильную, против которой мы так бессильны спорить. О, кажется, легче было бы покорить все народы, всем им дать один закон, нежели это множество умов, бескорыстно ищущих истины, привести к признанию истины одной, к согласию в одном мнении. Но что это, вот уже почти невероятное: «Я в тебе ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бедняка, ни человека, – я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придает моей пище вкус, и потому солю ее; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем ее; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе – животных, на тебе – людей и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть *мой* предмет, как мой предмет – моя *собственность*»^{*}.

Это – не из потаенного письма, не из потерянной записной книжки маньяка; нет, скромный ученый в 1845 году опубликовал этот взгляд на отношение человека к человеку, на нравственную нашу природу в книге «Der Einzige und sein Eigentum»¹⁰; и книга не канула в Лету: «Ее достаточно прочитать, чтобы тотчас почувствовать себя очищенным от греха, обеспеченным от заблуждения и свободным от всякого ига; чтобы стать свободным человеком, каким был автор, быть может единственный в нашем веке», – восхищается через 47 лет не соотечественник, не друг, но недруг-чужестранец^{**}.

^{*} Макс Штирнер ум<ер> 1855 г. в Берлине; книга его вторично была издана в 1882 г.

^{**} Теодор Рандаль, в «Journal des Debats», 1892 г.

И вот, если *это* – истина (вспомним еще философию Ницше), если как некоторое *знание* высказаны эти слова и как *знание же* приняты они бесчисленными читателями, значит, самое *мерило* ложного и истинного потеряно, самая реторта изготовления наук и философии имеет в себе какой-то изъян. Здесь, в этой реторте силлогизмов, могут возникнуть великие, светлые истины; но раз мы признаем их за таковые не *по одному* тому, что они из нее именно вышли, значит, есть *другое* какое-то средство различать добро и зло, измерять истинное, справедливое.

«Правилен ли строй душевный мыслящего существа, его силы, его способности гармонированы ли?» – вот вопрос, который мы должны предложить себе ранее, чем станем оценивать извивы мыслей, быть может, болезненно направленных, как у несчастного Ницше, у восторженного Руссо и целого ряда мыслителей, столь страстных, столь бурных и вместе так странных, что они заставили наконец задуматься над собою и поставить вопрос о родственности гения и безумия. Вопрос, который, конечно, не мог бы возникнуть при взгляде на Ньютона, Линнея, Аристотеля.

Киреевский еще не предвидел торжества многих странных учений в наше время; никто в его время не предвидел возможности школы Ломброзо¹¹. Но он – первый в Европе – сказал слова, выслушав которые мы не только понимаем эти чудовищные учения, развившиеся на наших глазах, но и видим исход из них, имеем правильную на них точку зрения. И эта точка зрения потому особенно прочна, что не принадлежит индивидуально Киреевскому, не есть плод его личных размышлений: он лишь подметил метод оценки истинного и ложного в народе нашем и еще ранее – в нашей истории, в нашей древней письменности. Всюду он усмотрел, что сплетению понятий дается лишь второе место, последующее значение, главное же внимание обращено на *целостный* дух размышляющего, его *правильное* состояние. Два указания из литературы новой яснее вскроют перед нами мысль его; во «Власти тьмы» гр<афа> Л. Н. Толстого мы очень мало доверяем рассудительным ре-

чам матери преступника, его самого, всем тем, которые, не смотря на связность своей мысли, ходят, мы видим, «во власти тьмы». Напротив, богобоязненный отец преступника (Аким) со своим знаменитым «тае-тае», хотя не может членораздельно передать ни одной мысли, для нас светел, мы его слушаем, ему доверяем. Он, темный не только в книжном научении, но и косноязычный, почти немой, для нас разумен, есть носитель истины... *как добытой? по правилам* какой логики? Для Бэкона, для Аристотеля, для автора «*Novum Organon renovatum*»¹² он есть только жалкий нищий, которому можно лишь бросить кусок хлеба. Добролюбов «В темном царстве», выясняя характер Катерины, как на особенно ценную в ней черту указывает на то, что она не рассудочно дошла до протеста против «темных сил», ее окружающих, но самую натуру, правдою сердца своего почувствовала ложь и зло этих сил¹³. Названные писатели не имеют ничего общего в себе; и только общая народная кровь, текущая в их жилах, заставила их одинаково смотреть на истину как на продукт вовсе не мозговой деятельности, не рассудочного сплетения понятий.

II

Мы приподымаем лишь незаметный краешек в учении высоких и светлых умов, положивших основание славянофильству. Хомяков в трудах своих: «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренса», 1853 года, то же – «по поводу послания парижского архиепископа», 1855 года, то же – «по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры», 1858 года, в «Письмах к Пальмеру» и, наконец, в «Опыте катехизического изложения учения о церкви»* – выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с двумя западными. Сущность Церкви – это любовь, это согласие; и, следовательно, естественная внешняя ее форма – *соборность*¹⁵. Она сохранена

* См. соч. А. С. Хомякова, том 2, изд. под ред. Ю. Самарина¹⁴.

на Востоке – и притом с столь великою опасливостью за ненарушимость принципа, что после отделения от себя западных церквей восточные никогда не осмелились, несмотря на крайнюю иногда в том нужду, собраться вновь на Вселенский собор; ибо вселенность предполагает в себе полноту членов, а между тем западные члены церкви не примирены с восточными. Не хочет она, не сознает возможным «собраться» не примиренною; вот уже тысячелетие жизни в изолированности она принимает как временное зло, которому исполняться же «времена» и «сроки», и тогда Церковь Христова, с членами исцеленными и овцами не растерянными, соберется вновь «собороваться». Этому принципу – мы хотим сказать, любви и согласию – в печальную эпоху исторических смут на Востоке изменила Церковь римская; вместо того чтобы пожалеть, чтобы сострадать Востоку в минуты тяжкие, она его презрела, и хоть в поводах к чувству этому, быть может, была и права, но не была права в самом чувстве и между тем им замутилась навсегда. Мы не можем даже в самых кратких чертах указать все глубокомысленное и прекрасное течение хомяковских воззрений, но он объясняет, как протестантство было лишь продолжением этого же отношения к Церкви, но только уже против Рима направленное, внутри Церкви западной совершившееся. Грех, не прощенный Востоку Римом, был взыскан с Рима Лютером, Цвингли, Кальвином, а гораздо позднее, уже на наших почти глазах, эти отпадения все продолжают: протестантизм кажется слишком обильным верою для «свободных мыслителей»; является тюрингенская школа богословов, сбрасывающая с себя христианство как неправильно понятый миф, является материализм, сбрасывающий с себя всякую религию, наконец, все духовное.

III

Кон<стантин> Аксаков в ряде статей, из которых особенно замечателен критический разбор «Истории России» Соловьева, появившийся по выходе VII тома этого обширного тру-

да¹⁶, дает объединение структуры русской истории. Впервые он указал, как недостаточно сводить историю России к истории правительства в России, внешним образом и насильственно преобразующего косный народ. Начало государственное – это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая; между тем и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у Соловьева. Воинский сан и канцелярский приказ, князь – собиратель дани, великий князь московский, дающий перевес интересам государственным над *родовыми* отношениями, наконец, император как просветитель, преобразователь – вот постоянная тема всех предыдущих историков, разрабатывая которую они едва имели досуг бросить какой-то боковой, урванный у главной темы взгляд на стоящий в глубине сцены безмолвный, бездеятельный, безвольный народ; и невольно у читателя является вопрос, зачем, для выражения какой мысли стоит этот народ.

Начало *общинное* столь же постоянно и так же повсюду проникает русскую историю, как *родовое* – западноевропейскую; вот главное открытие, которое делает К. Аксаков в замечательной статье своей: «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности»¹⁷. Это общинное начало выразилось в *вечевом* строе Древней Руси; актом собравшегося в Новгороде веча было самое призвание князей, начало государственности: народ не безмолвствует, не стоит, не занимает только место на громадной территории Восточной Европы, но действует, мыслит, творит, как живая нравственная сила. И по призвании князей вече сохраняется во всех городах, то есть община продолжает жить под всеми теми внешними передвижениями, которые одни, по-видимому, наполняют историю, производят в ней шум оружия, перипетии княжеских отношений. Позднее, с объединением княжеств под Москвою, общинная жизнь городов сливается и находит для себя выражение в земских соборах: это – *земля*, призываемая на совет свободно избранным, поставленным ею над собою *государством*. Первый царь созывает первый земский собор. Ему принадлежит землею не оспариваемое, но с любо-

вью утверждаемое право деятельности, закона, силы; земле принадлежит царем не оспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнения, суждения по совести, область духа. Государь поступает, как ему Бог указывает; земля не поперечит его *делам*; она присоединяет к ним лишь свою *думу*, свободно выраженную, которой последовать или не последовать свободен царь. Высшее начало соборности, согласия, любви отражается в этих отношениях.

Выражаясь в истории, это начало выражается повсюду и в быте русском: достаточно упомянуть *мир*, поземельную *общину* нашу, достаточно вспомнить понятность, излюбленность *артельного* начала людом русским, чтобы признать справедливость этого.

Таковы в самых кратких чертах объяснения К. Аксакова. Около этих трех основоположников славянофильской идеи группируются меньшие и позднейшие: Петр Киреевский, Юр<ий> Самарин, И. С. Аксаков, поэт Тютчев; чуть-чуть в стороне от них стоящий, мало понятый, мало оцененный у нас Н. П. Гиляров-Платонов. Роль всех их в славянофильстве была гораздо меньшая: они не разветвили, не усложнили, не углубили этого учения, они его *оподобили*, применили ко множеству частных, к явлениям вновь нарождающимся, к явлениям старым, незамеченным.

IV

Н. Я. Данилевский набросил обертывающий покров на все эти учения; около этой нежной, хрупкой, жизненной сердцевины образовал внешнюю скорлупу – и только. Отсюда отчужденность от него носителей прежнего славянофильства (например, И. С. Аксакова); будет правильнее сказать – выразителей его существенной, жизненной, плодоносной стороны. Он в самом деле не указал, не объяснил ни одной особенности нашего исторического сложения, собственно к *славянофильству* он ничего не прибавил; его роль была другая, менее значительная, более грубая. В двух словах – это будет понятно.

Существуют *типы* органического сложения; не виды, не роды, не классы, различающиеся органами, но типы, в которых различие гораздо глубже и касается самого *плана*, по которому созданы или произошли организмы. Человек, птица, ящерица, рыба, как они ни разнообразны с виду, одинаково, в сущности, устроены: они имеют ряд органов, симметрично расположенных по правую и левую сторону некоторой идеальной линии, проходящей от передней оконечности организма к задней. Но вот перед вами морская звезда; в ее формах, лучисто идущих от центра, вы не узнаете самого плана, по которому создано тело всех названных выше существ, – для построения этого животного нужен был *второй* план, нужно было *новое* усилие творческой созидающей мысли, между тем как при созидании ящерицы или рыбы новое усилие делала только материя, одевая собою тот же план, по которому устроен и человек. Также, рассматривая содержимое двустворчатой раковины и припоминая строения вам ранее известных животных, вы произносите невольно: «Это – что-то совершенно другое, это – еще *тип* органических созданий», не выражая этим ничего иного, кроме своего изумления, непонимания, растерянности перед необычным и неожиданным, что вам раскрылось в природе.

И в истории всемирной, если мы всмотримся в нее внимательно, мы увидим нечто аналогичное: есть *группы* народов, не в частях своей жизни, не в некоторых формах деятельности отличающиеся одна от другой, не чем-либо прибавленным, убавленным, переиначенным, как переиначены некоторые функции и органы у млекопитающего и рыбы, – есть народы, есть культуры всемирно-исторические, как бы осуществляющие в своем ходе, в строении *иной план*, чем другие. На ту же нужду они отвечают различно, при встрече с одним предметом испытывают разнородное: Филоктет от боли раны кричит¹⁸; Иов – тревожится, не согрешил ли он? Аппий Клавдий, похитив Виргинию и обвиненный, разбивает себе голову в темнице; Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом покаяния и скорби. Не удивительно ли: в целой Библии нет ни одного силлогизма,

хотя увещание, объяснение, убеждение – обычные случаи, когда мы употребляем «следовательно», – рассеяны в ней едва ли не с первой страницы до последней. Тот же мир вокруг этих людей, но не те же они; гамма их внутренних струн разнородна – иное в них сцепление понятий, иной порядок чувств, содержание понятий. Они лишь внешним образом соотносятся друг с другом – торгуют, воюют, странствуют по лицу земли, но на этой земле осуществляют различное, переживают несходное и вообще мало понимают друг друга или понимают с большим усилием. Таков араб и римлянин, иудей и грек – один с шумливым форумом, великим Капитолием¹⁹, Афродитой Книдской²⁰, другой – с скрижалями Завета, без отечества, без границ, со скорбью и сокрушением, которыми заразил мир; таков уже на исходе судеб исторических славянин, коль он соприкасается с романцем, швабом, англичанином, многое *от них* усвоивший, перенявший и все-таки не усвоивший *их*, не чувствующий, не понимающий внутренней необходимости их форм созидания; еще менее ими усвоенный в интимном содержании души своей, в складе характера, в неуловимом оттенке смеха, иронии, в молитвах печали, безотчетного разрушения, порывистого творчества. Все это суть люди разных типов психического сложения, и отсюда неодинаково сложение их быта – внутренний план их истории.

То, что Киреевский, Хомяков, К. Аксаков наблюдали как факт, чему они удивлялись, чему не доверяли другие, есть явление, которому Данилевский дал имя, указал аналогии в природе, нашел место во всемирной истории. Он не открыл новой черты в этом явлении; в пук наблюдений, сделанных первыми славянофилами, не вложил ничего от себя; собственно для славянофильства как учения об особенностях русского народа и истории он ничего не сделал. Его роль была формально-классификаторская; он сказал: «Группа этих особенностей есть особый культурно-исторический тип, один из нескольких, на которые распадается всемирная история и которые в ней не преемственно продолжают друга друга, но, чередуясь или существуя бок о бок, созидают разнородное».

Читатели, теперь столь многочисленные, «России и Европы» легко поймут из этой книги, *почему*, на *основании* каких общих законов истории они не схожи с германцем, французом, римлянином, греком; но в чем именно не схожи, *чем* их родина отличается от тех стран в историческом, бытовом, культурном отношении – этого они не узнают отсюда, это могут они узнать только из трудов Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, других меньших первоначальных славянофилов. «*Кто я?*», «*вокруг меня не то же, что я*» – вот краткие выражения, вот формулы сердцевинной и краевой фаз одной и той же доктрины, ее жизненной плодоносной части и внешней, жесткой, только разграничивающей стороны.

2. К. Н. Леонтьев

К. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. Т. 2. М., 1885–1886.

Кн<язь> С. Трубецкой. Разочарованный славянофил; его же: «Противоречия нашей культуры» («Вестник Европы», 1894).

П. Милюков. Разложение славянофильства («Вопросы философии и психологии», 1893, май).

Ген<ерал> Киреев. Наши противники и наши союзники («Протоколы славянского благотворительного общества», 1894).

Л. Тихомиров. Русские идеалы и К. Н. Леонтьев («Русское обозрение», 1894, октябрь).

И. Фудель. Культурный идеал К. Н. Леонтьева («Русское обозрение», 1895, январь).

Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и некоторое нравственное требование; это не только доктрина, но и некоторый принцип жизни, закон и норма наших суждений и практических требований – вот из какой незамеченной стороны в нем вытекла упорная борьба, завязавшаяся над гробом последнего выдающегося славянофила. Мы разу-

меем умершего в 1891 году Кон<стантина> Ник<олаевича> Леонтьева. Почти неизвестный при жизни, он тотчас после смерти вызвал обширную и страстную о себе литературу, почти равняющуюся его собственным «опера politica»¹ и гораздо обильнейшую, нежели какая была посвящена которому бы то ни было из славянофилов. Славянофил ли он? Но неужели же западник? Западники отталкивают его с отвращением, славянофилы страшатся принять его в свои ряды – положение единственное, оригинальное, указывающее уже самую необычайностью своею на крупный, самобытный ум; на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено.

I

Отдельные замкнутые, своеобразные миры исторического созидания, как Китай, как семитизм, как античный мир, романо-германская Европа и, наконец, славянство, Данилевский назвал культурно-историческими типами. Ничего в его идее не изменяя, К. Леонтьев назвал тот же факт, ту же группу исторических явлений культурно-историческим стилем. Идеи и названия заимствованы первым из биологических наук; второй особенностями даров своих, своими влечениями побужден был к перемене имени при сохранении того же понятия: мир художественных законов и идей он распространил на историю. Роль его в истории славянофильства еще уже, еще менее жизненна и оригинальна, чем роль Данилевского; и она также исключительно формальна. Мы увидим ниже, что это не значит вовсе, чтобы она была маловажна.

«Восток, Россия и Славянство» – так озаглавил он сборник статей своих, указав в самом заглавии этом градацию предметов своего преимущественного внимания, культа, любви. Славяне отходят у него на совершенно задний план; главная мысль – о новой культуре, не европейской, не буржуазно-утилитарной; Россия есть великая надежда в помышлениях об этой культуре, но и она лишь относительный момент; главный центр внимания – Восток как носитель иных, совер-

шенно новых, совершенно не похожих на европейские культурных начал. Турок и татарин, афинский монах и наш старообрядец – все это в ряде влекущих его образов имеет свое положение; болгарин, серб, галичанин, выучившийся у нас, в Париже, в Берлине, не занимают в его исторических перспективах никакого положения, в его симпатиях – никакого места. Судя по его писаниям, их страстности, их отчаянию, их удивительной беззастенчивости, он был первый и единственный не чаятель только (как все славянофилы), но до известной степени уже и носитель новой культуры; единственный гражданин мечтаемого отечества – Колумб, вышедший уже на Новую Землю, а не плывущий только к ней; и на этой Новой Земле он так же мало стеснялся старого, покинутого, полуумершего (как он думал) мира, как не стеснялся бы своей Испании, ее веры и ее предрассудков Колумб, если бы он не думал более никогда возвращаться в нее.

Исходная точка его исторических и политических взглядов заключается в идее трех фаз², через которые проходит всякое развитие, как едва видимой былинки, растущей в поле, так и человека, народов, наконец, тел небесных: первоначальной простоты; последующей цветущей сложности; вторичного упростибельного смешения. Зерно и колос и опять зерно; этнографическая масса и из нее выдающиеся классы, положения, иерархия властей; и снова, при упадении их, простота вторично-дикого населения (Греция и Италия перед началом Средних веков). Туманное, бесформенное пятно, из которого развиваются солнца, около них образуются планеты, из них выделяются материки и одеваются растительною и животною жизнью, и далее остывший мир, опять безжизненный, обледенелый, голый, упрощенный, – вот великие и всеобщие факты мировой эволюции. Нет в живом и мертвом ничего, что не было бы подчинено закону этих трех фаз, и если мы спросим себя, что же в них есть главное, то мы увидим, что это – начало грани, предела, обособления. По-видимому, внешнее, оно есть в то же время внутренний принцип каждой вещи и показатель ее жизненного напряжения, силы, способности

к бытию; и насколько мы любим природу, хотим сохранения в ней жизни, мы эту ограниченность, обособленность и разделение всех в природе вещей должны любить. Отсюда критерий добра и зла, благого и губительного для целой природы и для истории – критерий, не имеющий ничего общего с установившимися точками зрения в прежней политике и морали; яркость, цветистость, красота (что все есть проявление грани), не в себе самой ценимая, но как залог прочности и долголетия, есть мерило, с которым без боязни ошибиться мы можем подойти к каждому предмету в истории, ко всякому явлению жизни политической, общественной, художественной. Этим мерилom, формальным и потому безошибочным*, К. Леонтьев оценивает и жизненные силы западной цивилизации. Акт бурный и мощный в ней, который мы зовем «великою революциею» и с нее начинаем свою историю, историю идей своих и стремлений, есть только момент вступления Европы в последнюю фазу всякого развития – вторичного упрощательного смещения. Мы так любим свободу, так усиливаемся к ней, но она – только высвобождение индивидуума, этого социального атома, из-под законов, связывавших его в некогда живом и сильном организме, теперь разрушающемся. Все в этом организме теряет свою обособленность; все смешивается, уподобляется одно другому, сливается в однородную массу, все уравнивается**, потому что все умирает. Гибельности процесса этого мы не чувствуем, потому что мы именно его выразители; и порыв наших желаний, убеждения нашего ума не индивидуально нам принадлежат, но нам даны нашим временем, его смыслом, его тенденцией всеобщей, непобедимой – умереть. Ни красноречие церкви, ни сила предрассудков, ни усилия политиков этого биологического процесса не могут удержать: «Европа, еще так цветистая и своеобразная в каждом уголке своем 1 1/2 века назад, слита в однообразие всюду той же буржуазии, везде одинаковой администрации, одних почти законов, одного быта. Великое древнее здание

* То есть чуждым субъективных примесей.

** Так называемый эгалитарный процесс – по терминологии Леонтьева.

истории теряет свой стиль: башни обваливаются, выступления стираются, линии разграничивающие перестают быть отчетливы; громады камня, странное, едва оформленное пятно остается на месте святого и прекрасного храма, который мы так любили, так многому в нем научились; и теперь... любим мы, ненавидим ли его, кто разделит в нас, как разделим мы сами в себе эти чувства?»

Почти не нужно объяснять роль России в виду этого великого наклонения европейской цивилизации: не нужно говорить о ее политике, внешней или внутренней. И все желаемое для нее и оценка в ней всякой действительности уже ясны отсюда.

II

Мы заметили, что роль Данилевского и Леонтьева собственно в славянофильстве носит черты внешности и формализма, но взамен этого они имеют другое, и более существенное, значение. Можно сказать, в лице их славянофильство впервые выходит за пределы национальной значительности и получает смысл универсальный. Учение первых славянофилов, Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, – это наше домашнее дело, наше сознание о себе, и оно не имеет общечеловеческого интереса; но теория культурных типов и теория грани, предела как показателя жизненного напряжения в целой природе – это уже философия истории, это высокая публицистика, которая бьется, тоскует, страдает на рубеже двух цивилизаций, в сущности с любовью к той и другой, но более, чем с любовью к ним, – с любовью к жизни, к человеку, с отвращением и страхом перед разложением, смертью... Мы без смущения назовем имена Макиавелли, Монтескье, Ж. Бодена, Эд. Борка, Прудона, между которыми должны быть поставлены имена этих писателей. Они зовут столь же новое; отрицают столь же обширное; и, в сущности, отрицают и зовут еще обширнейшее и более новое, чем те великие умы, и также опираясь на обширную философию.

Гораздо более загадочным и сложным, чем Данилевский, представляется К. Леонтьев, не в составе доктрин своих, которые ясны и просты, но в себе самом, в своей натуре, в смысле лица своего. Длинный ряд статей, появившихся о нем в последние годы, этот взрыв негодования, недоумения, ревностной защиты, какую мы наблюдаем над его гробом, – поразительны; едва ли есть кто-нибудь, кто в глубине души без остатка, без молчаливой оговорки был бы удовлетворен им, и едва ли есть кто, кто, высказав в отношении его все порицания, в тайне души своей не задержал бы, не скрыл некоторого удивления к нему, некоторого с ним согласия. Мы говорим, конечно, о пронизательных.

Три элемента образуют существо его духа, обуславливают его суждения, формируют его мировоззрение: натурализм, эстетика и религиозность. Медик по образованию, политик и писатель в зрелые годы, он умер тайным пострижником Афонской горы, покорив в себе религиозному началу другие. Покорив как? покорив насколько? – вот загадка, в которой скрывается ключ к его объяснению. Если, не довольствуясь внешним смыслом им написанного, мы станем прислушиваться к тонам его речи, всматриваться в степень оживления, с какою он говорит о тех и иных предметах, мы тотчас заметим, что три указанные элемента не были в нем соединены гармонично; мы хотим сказать, не были соединены в той зависимости, какая вытекает из их природы, требуется их законом. Чувство эстетическое в нем безотчетно, неудержимо; оно веет из каждого оборота его речи, из всякой оценки, им произносимой, из всякого требования, порицания, надежды, горечи, какую ему приходится высказывать. Чувствуется, что здесь – натура пишущего, которой некуда спрятаться, с которою он не может совладать, когда даже и хотел бы, когда нужно бы*; и, в глубине души своей, он с нею не захочет даже совладать, – как вода

* См. замечательное частное письмо его (почти статья по объему) к Иосифу Фуделю, опубликованное последним в январской книжке «Русского обозрения» за 1895 г.³ Письмо это имеет решающее значение в оценке внутренней жизни Леонтьева, хотя обо всем, что там ясно раскрывается, можно было догадываться и ранее.

струющаяся, живая, никогда не захочет остановиться и, даже ударяя бурно в берег и отбегая назад, через минуту обегает его и стремится в направлении того же склона (случай, где он сопоставляет изящное с моральным и религиозным, см. «Письма к И. Фуделю»). Это чувство – его жизнь, скудель его печалей, родник всех радостей; и начало грани, предела или, что то же, формы и понято им так глубоко и универсально, потому что оно есть прежде всего начало красоты, эстетическая сторона целого мироздания. Если, далее, мы обратимся к тому, что называли натурализмом в нем, то увидим, что его анализ истории и политики холоден и свободен, как размышление медика у постели больного, где он хочет знать, и – ничего более*. Его приговоры – беспощадны**, его указания, советы – бесстыдны часто***, и это в такой мере, что на некоторое время даже отталкивают от него читателя, пока позднее он не покоряется невольно силе ума его и правде языка. Но вот мы подходим к религии... какая связанность языка, скудость воображения, вялость письма и мышления! Где поразившие нас искры гения, пафос великого публициста, столь жгучий, ласкающий, манящий, когда он говорит о предметах земных, о красоте земных форм, смущениях политики, опасных изгибах исторических течений****; здесь он не вникает более, не задумывается, не ищет. В речи, которая не умеет более играть, потеряла жизнь свою,

* «Наука будущая и желаемая должна быть проникнута великим презрением к своей пользе» (холодна, безучастна; ни льстить человеку, ни радовать или утешать его). Сам Леонтьев, безусловно, выполнил это требование. Приведенные слова находятся в «Письме к И. Фуделю».

** Как, например, о славянах вообще, и даже – о русских, о России («мы прожили много, сотворили духом мало»; «у нас все оригинальное и значительное принадлежит Византии и ничего – собственно нашей, славянской крови») («Византизм и Славянство» – центральная для воззрений Леонтьева статья в 1-м томе «Востока, России и Славянства»).

*** «Вот каков русский народ – «богописец», когда над ним не свистит государственный бич» (из «Анализа, стиля и веяний в романах г. Л. Н. Толстого»).

**** См. «Национальная политика как орудие всемирной революции»; ср<авни> язык этой брошюры с языком богословствующей части «Наших новых христиан» и с языком книги: «От<ец> Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни»⁴.

он приводит соответствующие делу канонизированные слова – и только; что-то формально-внешнее, извне требующее, непонятно господствующее для него религия. Правда, в жизни он покорил себя ей, и мы опять спрашиваем себя: как? Где умиление, где радость, где порыв доверчивый и простой к предмету веры? Он отдает ей требуемое, он ей послушен, но не деятельно, как в сферах красоты и мысли, а пассивно; он не тоскует* здесь, не негодует, как там, когда видит гибель прекрасного в жизни или темноту людей к положению земных вещей; он даже не очень страшится здесь вопреки собственным уверованиям; он говорит: «...и поэзия земной жизни (NB: прежде всего припоминается), и условия загробного спасения одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы... а, говоря объективно, некоей как бы гармонической, ввиду высших целей, борьбы вражды с любовью. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники...»**.

И, распространяя *антиномию* эту на всю историю, на целую жизнь, он развивает, что жестокое и несправедливое так же необходимо на земле, как кроткое и доброе, равно неизбежно, в сущности, не осуждаемо. Так, может быть так, наш излишне мудрый друг, но... принадлежит ли судить об этом человеку? И Спаситель о самарянине, который так размышлял бы над изувеченным прохожим, рассказал ли бы умилительную притчу, которой мы внимаем в церкви, принимаем ее без анализа; и в церкви же, уже монахом, слушал ее Леонтьев и применял, истолковывал ее в этом странном приложении к истории. На всем протяжении его трудов, во всех бесчисленных предметах, каких он касался, нельзя найти ни одной строчки, ни одного факта, ни одного случая, где смешное, уродливое, некрасивое, что нас заставляет отвернуться от себя, что носит на себе «знак раба» не юридический только, снискало бы одобрение его прочими своими достоинства-

* См. «Отец Климент Зедергольм» и «Наши новые христиане».

** «Наши новые христиане – Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. М., 1892, с. 19.

ми (как полезное, истинное или этическое). И, напротив, гибким адвокатом прекрасного, прекрасного даже в смешении со злом, как в приведенном примере самарянина и разбойников, он является на самых одушевленных своих страницах. Мытарь презираемый, мытарь действительно смешной и жалкий, мытарь не в вековой притче, но где-нибудь возле себя, тут за углом, – вот что ему навсегда осталось непонятно, чего он не хотел бы никогда простить ему самому и даже, кажется, против него хотел бы бороться с Богом...*

Эти бедные селенья,
Эта скучная природа...
Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной⁵ –

этот необходимый член символа славянофильства выпал из последнего его исповедания.

III

Из этих установленных нами перспектив далекого и близкого его душе открывается совершенно новый взгляд на его сумрачные теории. Еще раз повторяем: состав этих теорий ясен, ясны все его отрицания и утверждения в их связи; он сам, его скорбь и уныние – вот что загадочно, что смущает невольно того, кто захотел бы без остатка осветить его лицо для себя. Он все говорил в долголетней и разнообразной своей деятельности о народах Запада и Востока, их вероятной или неизбежной судьбе; но не было ли постоянно в его рассуждениях опущено что-то, о чем, однако, ему, как именно монаху,

* См. «Культурный идеал К. Н. Леонтьева» И. Фуделя и в нем слова Леонтьева – об Алкивиаде⁶. По христианскому воззрению, самые добродетели древних греков были только «красивыми пороками»; напротив, с точки зрения Леонтьева, самые пороки древних были немножко «добродетелями».

следовало бы подумать ранее и впереди всего, и мы ожидали бы, что он об этом подумал. Церковь и особые обетования, ей данные, – вот что совершенно забыто им, что в его страхах, сомнениях и ими обусловленном негодовании не занимает никакого положения*. Он ее не вспомнил вовсе и вот отчего остался неутешен. Его понимание истории, его предвидение судеб человеческих только натуралистическое. Выше мы привели исходный пункт его размышлений – теорию трех фаз, чрез которые проходит развитие всего живого и даже мертвого: но какое они имеют отношение к церкви? Разве и она им натуралистически подлежит? И в них – гибели? Будто ей не дана вечность и самая природа ее не супранатуральная? Разве эту вечность мы уже не предвкусили в удивительных периодических возрождениях, какие пережиты были христианским обществом после атеистического Renaissance, после культа разума в XVIII веке и, наконец, какое мы переживаем теперь, после отрицаний от 40-х до 80-х годов нашего века, отрицаний столь твердых и, казалось, окончательных? Великий эстетик и политик, он видел в истории волнующиеся массы народов, их любил, ими восхищался, но, только эстетик и по-

* Вот, для примера, несколько ясных мест. «...Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли – вот единственно возможная на земле гармония! И больше ничего не ждите! Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут. Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать конец. А если будет конец, то какая нужда нам заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений!.. Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина или разгадка земной жизни до сих пор скрыта от нас за непроницаемую завесу?» («Наши новые христиане», с. 23–24). Или еще: «...Благотворительное братство, доводящее людей до субъективного постоянного удовольствия, не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом» (id., с. 34). В одном и в другом случае мысль о Промысле просто не приходит ему на ум; и тела церкви как бы не существуют вовсе на земле; ни христианства, ни Христа, ни, напр<имер>, этого глагола Его: «Я живу – и вы будете жить» (Ин. 1:19). Он как бы «схватывается» за церковное тело на минуту, когда оно ему нужно было; и с прекращением нужды даже не помнит, край одеяния чьего держал в руках.

литик, он не заметил вовсе святого центра их общего движения, который незримо ведет, охраняет, поддерживает идущих. Он только различил бредущие толпы, натуралистические стада «человеческих голов»; и все замеченное им здесь – точно, верно, научно; но есть и остался ему неизвестен в темном ките святой образ, который и избрал эти толпы, и ведет их к раскрытому и ожидающему шествия храму? и все то, что он так любил в истории, эти блестящие свеч волнующие хоругви, курящийся к нему дым, – существует вовсе не силою красоты в них, но долгом служения своего и своего предстояния маленькой черной иконке:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя⁷.

Отсюда, из этого странного, почти языческого забвения вытекает третья особенность нас занимающего писателя: чрезмерное преобладание в нем отрицания над утверждением, отвращающего чувства над любовью*, надеждою, порывом. Эстетическое начало есть по существу своему пассивное: оно вызывает нас на созерцание, оно удерживает, отвращает нас от всего, что ему противоречит; но бросить нас на подвиг, жертву – вот чего оно никогда не может. Люди не соберутся в крестовые походы, они не начнут революции, не прольют крови... из-за Афродиты земной. И ее одну знал и любил ис-

* Говорим только об его писаниях, идеях, строе мирозерцания. Письма (частные) его к г. Губастову, печатавшиеся около двух лет в «Рус<ском> обозр<ении>» (1896–1897)⁸, свидетельствуют, наоборот, о необыкновенной теплоте, отзывчивости его души как частного человека, как семьянина, хозяина и члена общества. В добром и кротком он почти доходил (вопреки своим жестокосердным теориям) до смешного, как, напр<имер>, с долгом своим «кавасу Яни», состоявшим из нескольких десятков рублей и который, бедствуя сам и уже по истечении почти десятков лет со времени займа, он до смешного пытается уплатить, даже не зная, жив этот турецкий подданный или нет. И множество подобных же деталей рисуют его душу трогательными и нежными чертами.

тинно К. Леонтьев. Афродита Небесная, начало этическое в человечестве – вот что движет, одушевляет, покоряет человека полно; за что, наконец, он проливал и никогда не устанет проливать кровь. Леонтьев не имел в будущем надежд; но это оттого, что, заботясь о людях, страшаясь за них, он, в сущности, не видел в них единственного, за что их можно было бы уважать, – и не уважал. Слепой к родникам этических движений, как бы с атрофированным вкусом к ним*, он не ощущал вкуса и к человеку – иного, чем какой мог ощутить к его одежде, к красоте его движений, к подобному...** Странная пассивность всех отношений к действительности, что зовут его «реакционерством», была уже естественным плодом этого. Любить сохранившиеся остатки красоты в жизни, собрать ее осколки и как-нибудь их сцементировать – это было все, к чему он умел призывать людей, что выходило из алфавита ему известных понятий и слов. И ум сильный, взгляд твердый говорили ему, что все это ненадолго, что жизнь не может стоять; и между тем он не мог рвануться вперед, не умел называть, не видел, не понимал того, силою чего в истории человек порывался и порывается.

IV

И это тем удивительнее, что его взгляд был обращен на Восток. Мы сказали, он был человек новый, единственный гражданин некоторого мечтаемого отечества; это в том смысле, что он сбросил без остатка ветхую одежду западных предрассудков, верований, привычек, надежд, понятий. Но, сбросив их, он не облекся новым достаточным; выразительность линий, яркость и пестрота красок – вот что в его воображении вырисовывалось в будущей ожидаемой цивили-

* См. замечательный отрывок из его письма к И. Фуделю в статье последнего: «Культурный идеал К. Н. Леонтьева».

** См. его «Наши новые христиане – Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой»; также любопытное его письмо-послание к Фету (Шеншину) по поводу юбилея последнего, напечатанное в «Гражданине».

зации⁹: великолепный портал, уходящие в небеса шпицы, но не священник, не таинства, не символы, не страх на земле и ожидания за гробом. «Это – ночь, которую мы не отвергаем», – мог бы сказать он только о всем подобном. И он знал, он предчувствовал, он видел, что хотя бы удобств «утилитарно-эгалитарного прогресса» люди не бросят из-за жадно манившей его красоты линий.

Между тем это ли на Востоке? Та история, над которой он столько размышлял и все-таки понимал ее только внешним образом, даже внешними массовыми движениями своими могла бы указать ему не скрытые в ней эстетические и религиозные начала. Все движется опять к Иерусалиму – таков смысл веков, смысл этой волны истории, которая, гребнем своим отойдя от Палестины, Сирии, обошла по всему побережью Средиземного моря, остановилась в Испании, сияла во Франции, передвинулась в Германию и Скандинавию и, ясно понижаясь в Западной и Средней Европе, вздымает, тревожит сонные воды на широких равнинах нашей родины, уже почти соприкасающейся краем своим с теми ветхими странами, откуда началось движение. Смысл этого движения кто разгадает? Кто разгадает будущее? Однако ясно, что не для созерцания каких-то красот мы туда подходим, и ясно также, что не для смерти.

Он во всем ошибся; он ошибся, мы повторяем без всякой боли о его памяти. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь» – так в одном из своих трудов высказался этот замечательный человек о составе своих доктрин. Благородный и истинно великий, он нес свои идеи как тягость, как болезнь; и очень печальная судьба, что ложность этой болезни, призрачность этой тягости становится ясна так поздно, что уже не может прозвучать для него облегчающею вестью. Так, благородная душа, ты ошиблась; и ты не сошла бы так уныло в могилу, если бы жила истиною, а не этим заблуждением. Разве уже нет утешения в том, что истина всегда радостна, что все печальное ео *ipso*¹⁰ есть и заблуждение? Разве это не залог, что Бог и жизнь – одно и как вечен Он – не умрет она.

НЕУЗНАННЫЙ ФЕНОМЕН...

Идя в цирк и проходя мимо ложи императора, гладиаторы восклицали: «Ave, Caesar, morituri te salutant»¹... Здесь я хочу говорить о писателе, который прошел мимо «Цезаря», потупя взор, и ничего не сказал. «Цезарь» – общество, толпа, «всеобщее признание»; гладиатор перед ареной – Леонтьев. Он был бы даже «избавлен от смерти», наконец, даже был бы посажен рядом с «Цезарем», скажи «Ave Caesar! Salve, plebs!»². Но он промолчал. И умер в муке, растянутой на тридцать лет.

К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, подерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись высоким пламенем, что, и не успевши свидеться, мы с ним сделали горячими, вполне доверчивыми друзьями. Правда, почва была хорошо подготовлена: я знал не только все его политические труды (собранные в сборнике «Восток, Россия и Славянство», 2 т.), но и сам проходил тот фазис угрюмого отшельничества, в котором уже много лет жил К. Н. Леонтьев³. Самое место его жительства – Оптиная Пустынь³, где жил чтимый глубоко мною старец от<ец> Амвросий, – привлекало меня. И я помню, что когда случалось, в праздничный вечер, играть с юношеством и подростками «в почту» (каждый себя называет городом и получает по своему адресу, как и отсылает от себя, шуточные записочки), – то всегда при этом выбирал (= называл себя) «Оптина Пустынь». Она мне казалась самым поэтичным и самым глубокомысленным местом, среди прозрачных и скучно-либеральных «Петербурга» и «Москвы», не говоря уже о «Лондоне» или «Берлине». Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, не надо было договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины, понятно друг в друге. Мною, кроме большой книги «О понимании» (1886), были написаны к этому времени «Место христианства в истории», две статьи в

«Вопросах философии и психологии» и «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (в «Русск<ом> вестн<ике>» за 1891 г.). С временем окончания этой последней статьи совпадает и начало моего знакомства с Леонтьевым. Прочтя – как сейчас помню, в Елецком летнем клубе – его «Анализ, стиль и веяния в произведениях гр<афа> Л. Н. Толстого» в «Русск<ом> вестн<ике>» за тот же 1891 год, я был поражен самой *личностью* автора, до такой степени не сходною с обычными «литературными физиономиями», и выписал его «Восток, Россия и Славянство» через Говоруху-Отрока, писавшего под псевдонимом «Ю. Николаев». А когда Леонтьев узнал (через Говоруху-Отрока) о моем интересе к нему, то прислал мне, в Елец, книгу свою «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни». На другой день после этого я получил и первое письмо... Дружба наша, столь краткая и горячая, не имела в себе прослоек, задоринок. Только, – можно сказать в *последний* день его жизни, – мы разошлись. Именно, я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься и *Вронским* (из «Анны Карениной»), а он еще выше поднялся на дыбы из-за моего прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою. Все было страстно, пылко в нашем противоречии. Совершенно я понимал его восхищение перед *героями жизни, дела* (полководец, политик), после того как литература, не только в ее невысоких слоях, но и в очень высоких, приучила всех рамоликов⁴, и наших и иностранных, восхищаться исключительно героями *письменности, кабинета*: учеными, поэтами, филантропами, философами. *Гамлетом*, а не *Цезарем*, *Маркизом Позою*⁵, а не *Валленштейном*, не *Альбою*, не *Брутом*. Но, понимая эту односторонность и сочувствуя бунту против нее, я все-таки хотел преклониться – ну, перед Кромвелем, ну, наконец, даже хотя перед Фридрихом Великим, но уж никак не перед юбочником Вронским, с его «жирными ляжками», и т. п. Вронский не был для меня *героем*, не был представителем *героического*, то есть *эстетического* лицом; а для Леонтьева – *был*. При этом я недаром любил от<ца> Амвросия Оптинского: сам сын

очень бедных людей и видел много в своей жизни бедности, я никогда от нее не хотел отделяться, как от *родного*, как медвежонок от *своей берлоги*. (Переход на сторону богатых и сильных мне казался *изменою* маленькому домику матери в Костроме; и я этого также *органически* не мог, как Леонтьев не мог и не хотел никогда «предать» свое барское, старое Кудиново⁶ (в идеях, в сочувствиях).) Наконец, бедность я знал как *трудность* и *страдание*, всегда возбуждавшее во мне и навсегда воспитавшее *сострадание*, – почему все сытое и самодовольное, физически и духовно, раз и навсегда имело во мне себе недруга. Итак, я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании ее у *богатых*, а у *бедных*; согласен с религиозным его устроением души, но нуждаясь в религии как *утешении*, а не как в источнике *квиетизма*⁷ (его точка зрения); я был готов на борьбу, движение, «походы» (какие можно и куда можно), но в *защиту* пролетариата, а не *против* пролетариата. Таким образом, точек расхождения было множество; но нас соединило единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший дворянин-помещик был то же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в Оптиной Пустыни очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но главное, нас соединила одинаковость темперамента. Не могу ее лучше очертить, как оттенив отношением к Рачинскому. Рачинский всегда был рассудителен, слов до конца не договаривал, ни из какого одного принципа мыслей своих не выводил. У него все были «середочки» суждений, благоразумные «общие места», с которыми легко прожить; и сам он был предан такому благоразумному и добродетельному делу, около которого походив надо было снять шапку и сказать: «Благодарю вас, Сергей Александрович, за то, что вы существуете». *Безрассудного* не было ничего у Рачинского – безрассудного и *страстного*! А мы *роднимся* только на страстях. Я и Вронскому оттого не умел симпатизировать, что он мне казался тем же мелким чиновником или литератором, только на во-

енной почве, то есть с тем же *темпераментом*, мелочностью души и жизни. С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в «мать-кормилицу-широку-степь», во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или «голову положить», или «царский венец взять». Еще не разобрав, *кто* и *что* он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по «местам» безбрежного отрицания и нескончаемо далеких утверждений (чаяний), увидел, что это человек пустыни, конь без узды; и невольно потянулись с ним речи, как у «братьев-разбойников» за костром. Цитадель ближайших штурмов был самодовольный либерализм наш, литературный, но затем также общественный и государственный. В те дни он был всемогущ, и решительно каждый нелиберал был «как бы *изгой* без княжества»⁸: ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давали того, что всякий типичный имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась медная бляха с надписью: «я либерал». Вот эта-то несправедливость, так сказать, мировая, что люди расценивались не «по душам», а прямо «по кастовым признакам» таких-то убеждений, подняла, и на много лет подняла, всю силу моего негодования против нее; как мы волнуемся же против «привилегированных высших учебных заведений», откуда, выходя и без знаний, и без сердца, люди уже по одной своей заштампованности получают сразу «IX-классный чин» должности⁹. Таким образом, источником моего антилиберального настроения было общее христианское чувство и вместе демократическое (= все люди равны по душам и добряк-консерватор выше прижимистого либерала); а у Леонтьева этим источником был эстетический страх, что либерализм своим уравнительным и освободительным движением подкашивает разнобразие и, следовательно, красоту вещей, социального строя и природы. Но в краткие месяцы нашей дружбы этой разницы побуждений нельзя (некогда) было рассмотреть. Мы только оба кипели негодованием к либерализму. Таким образом, «братья-разбойники» были вовсе «не братья», – и это сказалось удивленным и как бы болящим его восклицанием

в последних письмах, почти накануне заболевания и смерти. Но если бы мы и окончательно рассмотрели друг друга, я убежден, ничего бы собственно из горячности дружбы мы не утратили. Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: отсутствие всякого *притворства* в человеке, малейшего *скрадывания* своих мыслей. Человек был в словах – *весь*, как Адам без одежд. Среди масок литературных, всяческой трафаретности в бездарных и всяческой изломанности в даровитых, он мне представился чистою жемчужиной, в своей Оптиной Пустыни, как на дне моря. И до сих пор, не имея ничего общего ни с его сословным аристократизмом, ни с его чаяниями «открыть вторую Америку» в византизме и основать новую разбойническую республику (новую Венецию) на полуразрушенных камнях Афона, я тем не менее сохраняю всю глубокую привязанность к этому человеку, которого позволяю себе назвать великим умом и великим темпераментом. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности, гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова.

Рассматривая по смерти этого *монаха* его библиотеку*, я увидел толстый том с надписью: «*Alcibiade*» – французская монография о знаменитом афинянине. Такого воскрешения афинизма (употреблю необыкновенный термин), шумных «агора» афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского «на ты» к богам и к людям, – этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева. Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажатого дома возлюбленной. Ум Леонтьева – скажу, *гений* его – был какой-то особенный. Нужно бы приложить снимки с *почерка* его – этого женского почерка, с едва выраженным

* Она находилась, в отдельном шкафе, у редактора «Русск<ого> обозрения» Ан. Ал. Александрова, жившего в Москве, на Тверской ул<ице>.

нажимом пера, лежачего (очень отлого поставленные буквы), с тонкими, почти острыми загибами букв, с *подчеркиваниями* слов или иногда в слове только *слогов*, которые будто слышались, как произносит он резким *отрывающим* голосом, будто женщина чешет косу, откидывая далеко гребень. Этот *почерк* был очень похож на *стиль* его (каллиграфически избражал его), нервный и острый, страстный и мучительный... Идеи его были исключительны, и неудивительно, что не принялись. Но вполне удивительно, что он не был оценен и как *писатель*, как «калибр ума», как «портрет литературный» в галерее нашей словесности. Здесь он занимает, можно сказать, отдельный кабинет, «cabinet noir», без ходов к нему, без выходов от него. Ибо, по существу, он как не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я, впрочем, наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас и, вероятно, всегда имел и будет постоянно (до скончания веков) иметь 2–3, много 20–30 в стране, в цивилизации, в культуре настоящих «поклонников», хранящих «культ Леонтьева», понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его «литературный портрет» (сумму литературных и темпераментных качеств) всем остальным в родной и в неродной литературах. Давно, давно следовало бы издать «orega omnia»¹⁰ Леонтьева, но, к сожалению, между его личными друзьями¹¹, из которых некоторые обладают значительными средствами, и денежными, и типографскими, очевидно, он имел лишь приятелей или заимствователей «нужных для времени» (царствование Императ<ора> Александра III) идей, но не имел настоящего, в излагаемом выше смысле, «поклонника». К несчастью, в личной жизни он, кажется, сам больше любил людей, нежели ими был любим. Это тем более печально, что наследники литературных прав его уже сейчас не очень ясны¹²: он не имел прямых потомков, а жена его, если не ошибаюсь, или не жива, или не может распорядиться своими правами литературной собственности по болезни. Таким образом, можно опасаться, что изданные в 1885–<18>86 году два тома его сочинений

и еще ранее этого изданные «Рассказы из жизни христиан в Турции», не дождавшись переиздания теперь, попадут в фатальный цикл «пятидесятилетия литературной собственности» и не будут вообще никогда переизданы, ни собраны в фундаментальное «*orega omnia*». «*Fatum*»¹³ неизвестности, на который он мне горько жаловался в письмах, очевидно, действительно тяготеет над ним. Точно над ним стоит ангел смерти и мешает ему ожить...

Идеи Леонтьева и сложны, и просты. Это был патолог (Леонтьев был медик по образованию, ученик еще Иноземцева), приложивший специально патологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической; он отличался вкусами, позывами гигантски-напряженными к *ultra*-биологическому, к *жизненно-напряженному*. Я знал одного очень старого (и немного циничного) доктора, которого во всякую свободную минуту находил за Майн-Ридом (детские книги). На мое удивление, этот доктор-поляк, в свое время «потерпевший» и доживавший жизнь в уездном городке, — ответил: «Знаете, за день так навозишься с больными, что взять к вечеру рассказ о том, как лошадь возила по прериям всадника без головы (заглавие одного из сочинений Майн-Рида), есть истинное наслаждение: точно откроешь в душе форточку». И о Леонтьеве можно сказать, что его «эстетизм» был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на *антисмертности*, или, пожалуй, на *бессмертии красоты*, прекрасного, прекрасных форм. В «эстетику» он «открывал форточку» из анатомического театра своих грустных до черноты политических и культурных наблюдений, соображений. Старый, как Сатурн (по политике), он начинал прыгать, как молодой козленок, при виде всякой цветной ленточки (в переносном смысле), всякой эстетической черточки в окружающем (любовь его к Вронскому, восхищенность при виде красивых и стройных русских полков в Варшаве, при виде старых сенаторов, склонявшихся в Оптиной перед монахом-старцем). Тут наш Алкивиад пел свою победную песнь; клубок монаха (Леонтьев был тайно

пострижен на Афонской горе*, что не возлагало на него никакого мундира монашества в миру и мирской жизни) становился прозрачен, невидим. Но вот эстетическая, его радовавшая, ленточка кончалась: на фоне появлялся либерал-земец, либерал-адвокат, либерал-журналист. Алкивиад совершенно исчезал: мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо, «интеллигентно»-убежденно начинал дубасить этим посохом по голове либерала, большею частью действительно по голове пустой, приговаривая: «негодяй! разве я не читал Вольтера (Л<еонтьев>в именно в монастырской своей жизни любил перечитывать французских *esprits forts*¹⁴, даже не без особенного тонкого сочувствия); читал все, что ты читал, и даже больше, — и лучше твоего понял; но, как могучий конь любит узду могучего господина, — и я возлюбил власть над собою Господа и целую каждый день руку у этого невежественного и нечистоплотного монаха (не об Амвросии), тогда как ты всего только смерд и раб, ползающий неэстетично у ног поганой твоей публики, собрания таких же смердов, как сам ты. За что все вот тебе удар палкою, тебе и твоей публике». И Леонтьев писал пламенно-негодующую статью... в порицание болгарских политиканов, «честных учителей» (либералов) тамошних или в защиту игуменьи Митрофании, «которая все-таки была монахиня, а не либералка, да к тому же еще из дворянского рода». «Честные либералы», которые, нужно заметить, всегда были довольно тупоголовы, так и принимали его речи в прямом смысле, докладывая о замечательном и странном публицисте своим читателям, что «вот он выступает защитником таких личностей, как Митрофания, и противником освобождения Болгарии от турецких зверств». Либералам-докладчикам (или доносчикам) и в голову не приходило, что публицист в куколе есть самое свободомыслящее явление, может быть за все существование русской литературы, что безбрежность его скеп-

* Таковы были слухи о Леонтьеве на ближайшие после его смерти годы; но позднее точно установилось, что К. Н. Л<еонтьев>в принял монашеский постриг в Оптиной Пустыни в 1891 году.

тицизма и сердечной и идейной свободы (независимости, вытекания только из субъективного «я») оставляет позади себя свободу Вл. Соловьева, Герцена, Радищева, Новикова. Позволяю себе назвать все эти имена. Все они гораздо более были подчинены давлению окружающих обстоятельств, идей, условия или воспитания и пр., все гораздо более «сообразовались» с обстоятельствами внешними, давая место и житейски, и литературно все же некоторой дипломатической игре. Ее и тени не было в Леонтьеве, который был в трудах своих свободен, капризен, деспотичен, как царственная женщина в беспорядке своей уборной, среди черных невольниц.

Но я все отклоняюсь в сторону *характеристики* от спокойного *изложения* его идей. Он поступил в монашество, стал из неверующего естествоведа христианином, потому что в небесном и абсолютном авторитете положительных церковных доктрин, во-первых, нашел *границу* для своего философского скепсиса и пессимизма, упор для волн своего ума, которые решительно катились в бесконечность; а во-вторых, в не подвижности и консерватизме церковного строя он нашел *опору против* «разрушительного уравнительного процесса», который его пугал в Европе и России. «О стены монастыря разобьется всякий либерализм; монастырь же – от Бога, и если тоже местами крушится, то лишь по-видимому: на самом же деле, как небесное учреждение, до светопреставления, до Антихриста устоит; и если устоит – а не устоять не может – монастырь, то около него и за ним и вследствие его устоят и красивые варшавские, особенно конные, полки, где служит Вронский и его собратья и на которые я, старый монах и медик, полюбуюсь из далекого окошечка, из кельи Оптиной Пустыни, уже с чисто медицинской жизнерадостностью». Вот, собственно, и весь круг идей Леонтьева, в сущности монотонных; но разберите, читатель, не более ли в смесь этих начал входит разнообразия, чем, напр<имер>, в *summa idearum* Соловьева или Герцена? Именно Соловьев и Герцен были монотонны, при необозримом разнообразии их деятельности, их литературного выражения. Все «поделки» Герцена и Соловьева – из одной породы кам-

ня. В Леонтьеве поражает нас *разнопородность* состава, при бедности и монотонности линии тезисов. Ну, как вы сочетаете Алкивиада и Амвросия Оптинского, вкус к афонской келье и к строю кавалерийских полков, медицину и дипломатику; да и еще больше, как узнал я, прочтя всего года два назад его турецко-славянские повести, Леонтьев был первый из русских и, может быть, европейцев, который, говоря языком Белинского, открыл «пафос» (живую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности Богу и своеобразного уважения к человеку. «Ах ты, турецкий игумен», – не мог я не ахнуть, перечитав у него разговор одного муллы с молодым турком, полюбившим христианку. «Три есть столба, на которых держится мир, – толковал шепотом мулла. – Первый столб золотой и идет до неба: это наше святое и праведное мусульманство. Второй столб поменьше и сделан из серебра: он также хорош. Это – вера Авраама, которую исповедуют собаки-жиды, но Авраам через Измаила был и наш праотец: только жиды не приняли праведного Корана. Третий столб тоже к небу идет и тоже истинный, только покороче тех обоих и сделан из меди. Это христианство». И т. п. И с таким вкусом и знанием, с таким любованием на наивность турка это рассказано, как русский вообще никогда не найдет в себе подобных слов для мусульманина. Наконец, он рассказывает случаи влюбления и житейские нравы турков, и они везде почти выходят мужественнее и героичнее славянских, более, так сказать, похожи на конных солдат в Варшаве, тогда как балканские славяне все похожи на петербургских адвокатов, что для Леонтьева было до последней степени несносно. Тонкими, пластическими штрихами он набросал то, что я назвал бы «законом гарема», то есть тайну внутренней и теплой, даже горячей-горячей привязанности друг к другу членов семьи в этом, столь непонятном для нас, типе семейного сложения. Он показал здесь матерей и жен, умирающих за детей и мужей; влюбленность, которая держится до старости; и все это при правиле (и обычае), когда старая турчанка сама копит и откладывает деньги,

чтобы купить на них молодую невольницу крепкому, нестарому своему мужу: «Я смотрела на базаре ее ногу и выбрала с самой маленькой ступней: ибо красивость ступни есть первое условие красоты женской». И все эти подробности подбирает афонский монах – это гораздо свободнее, чем признание некоторых прав за консерватизмом со стороны Герцена, чем обличения печального состояния крестьянства при Екатерине Второй (Радищев). Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было в литературе. Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек; в душе его было окно, откуда открывалась бесконечность. Древние Афины, современная Турция, Оптиная Пустынь – все одинаково, как бы в лунном мерцании, проносились под ногами этого в своем роде киевского бурсака Хомы, на котором сидела чародейка-красавица («Вий» Гоголя). Не умею лучше, как с этим странным полетом ведьмы и семинариста, сравнить фантастическое (и вместе гармоничное) по составу творчество Леонтьева. «Фу, как пляшет казак, фу, черт, как он пляшет», – дивился Бульба на первого попавшегося в Сечи казака-танцора. Танец запорожца был, правда, великолепен, естествен, целостен, «гармоничен» по задачам своим и особливому смыслу. Вполне удивительно, что среди современных критиков никого не нашлось со слухом, глазом и словом старого Тараса: никто-то, никто из них не поразился и не понял своеобразных качеств в подобном же словесном танце, – я готов сказать, танце небесной свободы и прелести, – Леонтьева. Это была одинокая и единственная в своем роде душа. «Стиль моего письма недоступен никому», – мог бы сказать этот мастер, бросив предсмертно кисть. «Ни повторить моих картин, ни продолжать моих картин – никто не сможет».

Мне приятно вспомнить, что посмертно я оказал одну услугу Леонтьеву. Именно, когда в словаре Брокгауза и Ефрона¹⁵ статьи дошли до буквы «К», то Вл. Соловьев сообщил мне, что статья о Леонтьеве поручена ему. Я стал неотступно просить Соловьева написать как можно больше, страниц шесть; написать основательную статью, ибо ведь это, в таком мону-ментальном словаре, будет увековечением бедного Леонтьева,

который при жизни не дождался и сносной критической статьи о себе. В этом духе и очень настойчиво я послал несколько записок Соловьеву. Соловьев был прекрасная по податливости и мягкости душа, да и Леонтьева он сам любил, но все стеснялся «либеральных» редакторов издания, которые могут подняться на дыбы против большой статьи о «мракобесце» – Леонтьеве. Наши либералы никогда не были остроумны и, имея большую часть в сердце «пять с плюсом за поведение», имеют в голове обыкновенно плачевную «единицу за успехи» (в науках, в понимании, в идейности). Наши либералы – это самая безыдейная часть общества, до грусти, до отчаяния. От Южакова до Михайловского – это стена Петрушек за алгеброй. Но оставим их. В коротенькой записочке Соловьев меня известил с восторгом, что ему удалось провести в «Словаре» характеристику что-то около 6 столбцов и при убоистой, компактной печати и чрезвычайной («словарной») сжатости изложения это выходило цельною литературной характеристикой. Статья эта о Леонтьеве мастерски написана Соловьевым и есть прекрасное общее введение в систему его мышления. Наконец, я считаю полезным упомянуть, что к Леонтьеву всегда чувствовал смесь антипатии и уважения, смешанного с подозрительностью, Н. Н. Страхов, бывший в душе «честнейшим либералом», свободолюбом и гуманистом; но еще более, чем Страхов, его не любил Рачинский. Последнему, в устных беседах, я все навязывал Леонтьева, но встречал упорное молчание. Мне известно было, что Рачинский был консерватор и религиозный, церковный человек; поэтому его молчание приводило меня в недоумение. Наконец он сказал: «Да, Константина Николаевича Леонтьева я еще по университету помню, и тогда же мы с ним были знакомы, не близко, но как товарищи; он был на медицинском факультете, когда я был на философском (прежнее смешение естественного и филологического факультетов). Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми своими мыслями, приемами, нравственно-смелыми взглядами. Я от него *отскокил* (эти слова Рачинского) буквально», как ужаленный от гадюки. Я не спорю, что он отлично пишет и вообще очень

талантлив; но я чувствую к нему непобедимое *отвращение* (он сказал с ударением), которое от годов молодости до старости ни в чем не ослабилось». Тихий, невозмутимый и незамутненный, Рачинский чувствовал в Леонтьеве как бы Мальштрем (ревуший водоворот в Ледовитом океане) и отводил от него в сторону свою благоразумную лодочку. Леонтьев был несравненно гениальнее его, как и Страхова. Они не любили и почти боялись Леонтьева. Как Хома-философ (в «Вие»), спокойно улегшийся на незнакомом ночлеге, испугался при входе ведьмы-старухи (она же оборотень-красавица), они защищались от Леонтьева почти его словами: «нет, голубушка, теперь пост и я скоромиться не хочу». То же отвращение, негодование, до отказа просто что-нибудь прочесть. В самом деле, и тихая библиотека-квартира Страхова, и прелестное Татев¹⁶ – ото всего этого и щепок не сохранилось бы, попади они в Мальштрем Леонтьева, эту ревущую встречу эллинского эстетизма с монашескими словами о строгом загробном идеале.

Еще одно слово. Когда я в первый раз узнал об имени Ницше из прекраснейшей о нем статьи Преображенского в «Вопросах философии и психологии», которая едва ли не первая познакомила русское читающее общество с своеобразными идеями немецкого мыслителя¹⁷, то я удивился: «да это – Леонтьев, без всякой перемены». Действительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразительна, что это (как случается) – как бы комета, распавшаяся на две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а другая – в России. Но как различна судьба, в смысле признания. Одним шумит Европа, другой – как бы немороженный, точно ничего не сказавший даже в своем отечестве. Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родство эллиниста Ницше, «свирепого», с автором «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных»? Во всяком случае здесь аналогия не до конца доходит. Напротив, с Леонтьевым она именно до последней точки доходит: Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, –

против *кротости*. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он не *хочет* кротости и что земля не нуждается в ней; «ибо кротость» эта (с оттенком презрения в устах Л<еонтье>ва) ведет к духовному мещанству, из этой «любви» и «прощения» вытекает «эгалитарный процесс», при коем все становятся курицами – либералами, не эстетичными Плюшкиными; и что этого не надо, и до конца земли не надо, до выворота внутренностей от негодования. Таким образом, Леонтьев был *plus Nietzsche que Nietzsche même*¹⁸; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского человечества. Напротив, кто знает и *чувствует* Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в сущности, «ницшеанство» было непосредственным, чудовищным аппетитом и что, дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего не *сделал*, он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики. Кроткий в личной биографии, у себя дома в квартире (я слышал об этом удивительной прелести, идилличности рассказы), сей Сулейман в куколке, за порогом дома, в дипломатической службе, в цензуре, но главное, в политических аппетитах (на практике ему даны были в руки только мелочи) становился беспощаден, суров – до черточки, до конца. Раз он ехал по Москве на извозчике. «Куда едешь», – спросил возницу полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. «Что вы, барин?» – спросил тот политического Торквемаду. «Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен... (тем-то, а тот-то) губернатором, а губернатор – царем. Ты мужик и дурак – и восстаешь, как петербургский адвокат, против своего отечества». Пусть это было на извозчике и в Москве; но важно *везде присутствие* и, так сказать, *вечноприсутствие* *idée fixe* Леонтьева, из которой он ничего не сумел бы забыть и не воплотить, будь он цензором, посланником, министром, диктатором. Это был Кромвель без меча,

без тоги, без обстоятельств: в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель. Был диктатор без диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке, да еще «в дураки». Но человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души. И по такой оценке достоинство Леонтьева — чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер, в отчаянии, с талантами необыкновенными. Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не привьются и что он вообще есть *феномен*, а не *сила*; так сказать, *fata-morgana* Мальштрема, а не он в действительности. Бог одолел человека, но человек этот был сильный боготорец. Это об Иакове записано, что он «боролся с Богом» в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему «жилу в составе бедра».

ПИСЬМА К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

I

Воистину Воскресе!

Не могу Вам выразить той радости и удивления, которые я ощутил вчера, когда на поданной посылке прочел: «От *К. Н. Леонтьева*», я Вас так всегда, с этими инициалами мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда приходится заводить речь на счет истории или политики.

Впервые узнал я Вас из «Анализа стиля и веяния»¹ и, прочитав 1-ю же статью, тотчас написал Н. Н. Страхову, спрашивая, не знает ли он Вас, и кто Вы, и чем занимаетесь, и, по возможности, какой наружности: форме, как и Вы же, я всегда придавал не столько значения, сколько, не знаю почему-то, всегда интересуюсь ею.

Он мне ответил кое-что, но решительно отказался, в ответ на одно из последующих писем, хлопотать достать Ваш пор-

трет, чего я решительно от него просил. Позднее я достал все, что мог, Ваше и все прочел, и даже в «Университетском Отчете за 1855 год» разыскал Вашу фамилию в списке окончивших².

Если бы Вы меня спросили, почему мною овладело такое нетерпение, то скажу Вам: от неожиданности, от новизны впечатления. Решительно, прочтя страницы 2–3 «Анализа», я уже ясно видел, что имею перед собой человека безмерной внутренней силы, тонкой, не ошибающейся проницательности и совершенно не стесняющегося ничьим присутствием. Читатель, конечно, стоит где-то в стороне, но Вы его не видите – и разговариваете с собою. От этого невыразимая прелесть языка Вашего, этих отрывочных, сухих и точных фраз, представляющих часто (грамматически) лишь сложное сказуемое или сложное определение, напр<имер>, в характеристике Тургенева (упоминаю об этом, ибо безмерно дивился Вашему синтаксису, мне ужасно нравящемуся, хотя, конечно, неподражаемому, «не возродимому»).

Все в «Анализе» меня привлекало, все там верно: об излишестве в подсматривании, о бесцельных реалистических прибавках (шрам Кутузова), о слишком большой выпуклости в изображении людей «консульства – империи»; бесподобно нравились сжатые и сильные, *исчерпывающие* слова о Тургеневе, Щедрина, даже Достоевском; оригинально и верно «о гениальных произведениях не гениальных людей» и всего лучше о С. Т. Аксакове (я его всегда любил, но после чтения «Анализа» вдруг выписал). Поразили меня заметки о появлении у нас впервые сильного воображения у Гоголя и еще одно место, где Вы делаете в 3–4 штрихах очерк психического развития нашего общества за нынешний век (там еще есть слова, что «в шестидесятые года все сорвалось со своего места», и пр.; справиться я не могу, ибо Вашу статью уже вчера отдал в чтение). Дивился Вашим курсивам («Л. Толстой не смеется над кн<язем> Андреем... и *Долоховым почему-то*» – это меня ужасно поразило, это «подглядывание» в душу Толстого). Никак не мог только понять Вашего негодования на «типипитипити-бум» – мне представлялось убедительным, что это

муха, зацепившаяся за паутину и пытающаяся оторваться, ударяется об стену – «бум». Для больного подобные вещи, мелкие окружающие звуки, и другой раз – субъективные – все, целый мир. Это «типити-бум» точно вводит Вас в комнату больного с тяжелым воздухом, на момент – как будто Вы лежите на его месте и прислушиваетесь к странным звукам, значащим и даже ощутимым лишь для его напряженных в борьбе со смертью органов ощущения, и вовсе почти не существующим для здорового. Впрочем, быть может, я ошибаюсь.

Вовсе не нужна Ваша уступка Николаеву и мне о Достоевском – в ней бесконечно хороши только слова «впрочем – ничего, ничего – молчание», совершенно в Вашем стиле, в стиле Вашей крепкой не ошибающейся и не поправляющейся духовной организации.

Еще раз повторяю – Ваш язык, сухой, точный, как бы сталью подрезывающий каждый предмет и подводящий под него пленку именно нужной толщины и проч. (простите, что вздорно пишу – не умею выразить свою мысль), меня безмерно приковывал, и я множество страниц перечитал по многу раз, именно ради языка, люблюсь им.

Тотчас выписал, по ссылке Страхова в «Записной книжке» Достоевского, Вашу брошюру «Наши новые христиане»³. Кому я давал ее читать, всем больше нравится часть, посвященная Толстому, мне же гораздо более понравилась часть о Дост<оевском>: какая сжатая, удивительная характеристика (где Вы его называете «моралистом в смысле писателей XVII в.») и какое убийственное, опять не ошибающееся развенчание его «Пушкинской речи». Вообще, что Вы мне и в письме написали о нем, о ложности и некоторой фальшивости его стиля – я разделяю это. Меня только неизъяснимо привлекает: 1) что он до того охватил все вопросы духовной жизни нового общества, что, говоря о нем, находишься прямо в центре живой, теперешней истории; и 2) я его люблю за необыкновенную простоту всех его героев, за то, что, будучи «исковерканы», они никогда не бывают *манерны*: искусственность, придуманность в чем-либо, *важничанье* для меня всег-

да было непоправимо отвращающим свойством, и, грешный человек, я немного люблю, когда люди с очень большими мыслями немного дурачатся, фантазируют, прихотничают, словом, не «ведут себя». Мне нравится Филипп Македонский, когда он плясал и дурачился от радости на Херонейском поле⁴; Агамемнон, величия – я почему-то не люблю: скучно, и всегда не «всего более умно».

Но я все еще не знал о существовании Вашего «Востока, России и Славянства» и только дивился, почему современник Л. Толстого и участник Крымской войны, так любящий и так знающий литературу, так очевидно вдумывавшийся в то, во что другие никогда не вдумывались, – так мало писал и так мало известен (я вовсе не из особливо *сведущих* людей). И вдруг из одного фельетона Ю. Николаева узнаю, что у Вас есть какая-то книга «Византизм и славянство»: тотчас при оказии поручаю в Москве ее разыскать, и там после поисков по всем магазинам, наконец, дали 2 т<ома> Ваших статей («Восток, Россия и Славянство»), где и «Византизм и славянство».

Я только что вернулся в Елец, а главное расклеился в дороге, как Вы со своим милым Сотири⁵ (помните?) – и мне трудно писать. Скажу только, что Ваша теория прогресса и разложения (пневмония как пример выздоровления или умирания, общая формула: прогресс-усложнение, умирание-упрощение, оправдание ее даже на развитии планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд на революцию как на открывшийся в Европе эгалитарный процесс и пр., о 1000-летнем росте государств) – все меня поразило, все было ново и, очевидно, истинно («печальная и суровая наука»), и я до последней строки все принял в свой ум и сердце: потому что, очевидно, и много сердца Вы вложили во *все* свои писания. Все дальше было мне понятно в Вас: понятна любовь к Сотири и «липованам»⁶, понятно отвращение к Гладстону и *недалекому* Лессепсу, понятно все Ваше негодование, так великолепно выразившееся («не для того же Моисей всходил на Синай и пр., чтобы Гамбетты и Жюль Фавры высиживали свои яйца мещанского счастья!» – это чудные слова). Не буду

дальше говорить, потому что не в силах, — но как *Вы себя любите и понимаете, так и я Вас не только уважаю, но и люблю и понимаю* — все, все до последней мелочи, до раннего интереса к френологии, до отвращения к Оверу, любви к Бодянскому, до поездки к Смоленскому предводителю дворянства, до отсутствия всяких сентиментальностей по отношению к славянам; только больно, больно мне было, когда Вы говорили о бессодержательности русской крови, но спасибо за слова: «мы великий народ, это видно из самых отвратительных пороков наших» (только они не ясны, а уж как бы мне хотелось разгадать и недосказанное Вами).

Спасибо за письмо Ваше, я сохраню его как драгоценность; Вам трудно писать (сужу по почерку, и Вы стары), но всякую строку Вашу сохраню и приму в сердце свое: повторяю, я в Вас никогда не находил ошибки; о «трансцендентном эгоизме» и «альтруизме»⁷, который приложится — тотчас же все понял и признал. Но Вы умеете очень кратко и много выражать; не оставьте меня этими краткими строками. Скажу только, что я в высшей степени б<ыл> подготовлен к принятию Ваших идей: читая Токвиля, я также больше всего поразился, что «все люди стали схожи между собой»; но не было у меня формулы, не видел я теории, это было единичное печальное наблюдение.

Крепко обнимаю Вас и целую, как только может хоть усталый довольно, по молодой еще человек обнять и поцеловать старого, так много ему сказавшего.

Ваш глубоко преданный В. Розанов

II

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Благодарю Вас и за портрет Ваш (который очень хорош — характерен и значащ), и за письмо, и за вырезки из «*Гражданина*» Ваших «Записок отшельника»¹ и статьи г. Южного² (я ее действительно не знал, потому что «*Гражд<анина>*» здесь никто не получает).

Если я Вам скажу, что я 1) хлопочу из всех сил о переводе меня из г<орода> Ельца в какое-либо другое место службы и 2) менее чем через месяц из холостого человека становлюсь семьянином³ и 3) что у нас еще экзамены – то Вы поймете, до чего я в хлопотах и озабочен, и, верно, простите краткость моего письма.

Все, что Вы пишете о судьбе своей как писателя, действительно характерно для «граматократии»⁴ нашей: мало есть положений и мало родов деятельности, которые бы так расшатывали, обезличивали или искажали все устои индивидуального существования человека: его характер, его совесть, живое сердце и простую порядочность. Вы вот все пишете (мне это ужасно нравилось – верно): «монахи, купцы, учителя» и пр.; знаете – писателей тоже нужно поместить *в конце*.

Отвечаю Вам по пунктам:

1) Говоруха-Отрок не был знаком со мной, когда я разыскивал в Москве Ваши книги: иначе бы, конечно, я от него получил. – Почти несомненно, что он очень добрый и порядочный человек, – это видно и из письма его к Вам, и из писем ко мне. Он верит в свою деятельность и к людям способен относиться как человек, а не как писатель только. Мне он очень симпатичен, мил, я люблю его. Его я никогда не видал: видел только (бывши 1 день на Страстной в Москве) его № в Кокоревке, его портрет и портрет его жены, и также массы книг, журналов и газет. Мне стало при обзоре его квартиры жалко его как человека: люди теперешние, лучшие – это, знаете, как Франческа ди Римини у Данта – что-то вечно несущееся, ни за что не могущее удержаться, да и не знающее, что это *нужно*.

2) Ради Бога, напишите о Страхове как можно больше: он очень характерен, очень любопытен. По поводу моего увлечения Вами он мне несколько раз повторял в письмах: «мне нравится, что Вы увлекаетесь *всем умным и изящным*» и в другой раз: «он (Вы) *эстетический славянофил*». Только в последнем письме он несколько раздраженно ответил на похвалы Вашему «Национальному вопросу»⁵. Но, знаете, темную сторону в складе его характера, его сердца я давно

прозреваю: он очень холоден, сух, эгоистичен; он завистлив ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда оно имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдателен) и мелочен в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя всегда привлекателен (в письмах и сочинениях); он, не надеясь покорить себе читателей, как-то искусственно *сколачивает* себе славу: то там, то здесь искусственными мерами силится возбуждать к себе внимание. Так что письмо Ваше вдруг возбудило во мне все эти дремавшие подозрения. Я его видел в течение 1 1/2 недели на Рождестве года 2 назад и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, неприятный, деланный голос, при величайшем благообразии наружности: не верное ли отражение его духовной сути?

3) Я – учитель истории и географии, то есть в составе граматократии – кою разрушить – не пожалел бы никаких сил.

4) Обдумайте: не можете ли Вы об отце Амвросии написать так же, как об от<це> Клименте⁶. Вы не можете себе представить, как чрезмерно, как колоссально его влияние здесь! Книга о нем имела бы величайший успех: вот и прекрасный случай критику и политику, пища жизнеописание духовных лиц, начать связывать в один узел, в один моток столь разнообразные нити; это хорошо, это значаще для будущего, – это проблеск, пожалуй, византизма *начинающегося*. Прошу Вас – подумайте об этом. Здесь в редком доме Вы не найдете портрета о<тца> Амвросия.

Кстати: что для Вас – Оптиная Пустынь, то для меня – здесь церковь Введения и одна семья духовная (или вернее – род)⁷, в которой вот уже 3-й год я исключительно провожу свободное время. Знаете: что такое понятие *законности, долга, ответственности* (внутренней), я вынес из семьи этой, больше всего от старой диаконицы – вдовы, внучки Иннокентия Херсонского, которая, едва умея писать, долгими разговорами со мной, и, конечно, непреднамеренно, научила меня *впервые* всему, хотя я кончил университет и изучал римскую историю. Она знает от<ца> Амвросия, несколько раз бывала у него и в трудных (сомнительных) случаях жизни обращается к нему

письменно за советами. Ее собственная (теперь 62-летняя) жизнь начиная с 16 лет была непрерывным исполнением долга, трудом и заботами около братьев, которых должна была в 16 лет, по смерти матери, взять на свое попечение, потом о детях своих, частью несчастных, частью порочных, которых она всех сберегла, исправила и поставила на ноги, и теперь блюдет 3-е поколение внуков. Удивительный тип русского характера, по чистоте, по незыблемой совершенно твердости, по мудрости (потому что сказать «по уму» совершенно недостаточно и нелепо). И сколько, выражаясь Вашими словами, оптимизма на деле выходит при суровом пессимизме религиозного созерцания у этой женщины. Я ей передал как-то Ваши слова (из книги): «перед концом мира охладает любовь в людях». – «Да как же, конечно, охладает», – сказала она и стала разъяснять и приводить примеры из жизни, ссылки на слова Евангелия, которое она постоянно в свободное время читает (единственная ее книга). Она меня тоже очень любит, [особенно с тех пор], как, оказывается, выслушала из-за стены при начале нашего знакомства, насколько я верующий человек. Нет, знаете, в русском народе при бесконечных пороках есть и столько *здорового* еще, что иногда диву даешься, как-то это еще дожило до XX века.

Будьте добры и любезны: пошлите «Восток, Р<оссию> и Славянство» (подчеркнув карандашом в оглавлении «Византизм и славянство») и (пожалуйста) «Национальный вопрос» (мне стыдно Вас об этом просить, но ведь дали же Вы для таковой цели Говорухе-Отр<оку> и Грингмуту) – моему старшему брату, очень умному, очень твердому человеку, по адресу: в город *Белый, Смоленск<ой> губ<ернии>, в прогимназию. Николаю Васильевичу Розанову*, с припискою, какую и мне сделали: «по дружескому совету В. В. Розанова». Я Вам ручаюсь, что он будет Вашим учеником, ибо не только по воззрениям, но и по твердому складу характера, по отсутствию ложной сентиментальности, в высшей степени, в *подробностях* к Вам склонен и Вас поймет. По должности же директора и по умственной смелости сумеет Вас и распространить. Так я думаю. Когда я

восторгался здесь Вашим «Византизмом», больше всего меня разбирало нетерпение поделиться с ним, и так как Гов<оруха>-Отр<ок> обещал мне потом экземпляра 3 «Востока», я думал ему послать. Но этого не случилось. Кстати, не вините Говоруху за небрежность: я отсюда чувствую, до чего он устает, до чего измучен противным газетным писанием.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего. Теперь я Вас знаю по портрету: он замечательно хорош: темный фон идет к Вашему очень сумрачному мирозерцанию; пенсне и [шляпа] говорят о Вашем стиле, о Вашем изяществе, о спокойном барстве слишком твердого и в удовольствиях человека; морщинка над носом, прямым и сухим, – о строгости суждений Ваших, не ошибающихся и не колеблющихся; и прямой не изогнутый рот о способности к слишком большому неуважению как глупого, так и ложно-чувствительного. Я *приблизительно* таким Вас и хотел видеть. Взглянув на портрет, я вспомнил Ваши слова: «что ж, это хорошо, что на Афоне при монастырях живут и богатые (забыл название), которые не прочь и от изящной мебели, и от хорошей сигары» и пр. Вообще в Вас стиль *очень выдержан*. Верно, к Вам много перешло от матери.

5) Ради Бога, напишите Ваши впечатления от статьи «Наше высшее церковное управление» (Русск<ий> вестн<ик>, апрель), – меня она ужасно заинтересовала и во всем прежнем поколебала (я думал, что у нас цезарепапизм).

Ваш В. Розанов

Р. S. В письмах к Говорухе-Отроку я Вас приравнивал к Макиавелли (по значительности) и был уверен, что в XX веке политика пойдет по Вашим указаниям – всюду (и в Европе). И это всегда буду думать. Если Бог даст мне сил – я помогу со временем Вашему распространению. Зимой у меня была начата статья о Вас⁸ (с. 20), но прервал за совершенною невозможностью дальше писать по недосугу. Вспомните же, что я ежедневно даю в гимназии 5 уроков. А Страхову и Соловьеву за молчание, конечно, стыдно. Верьте: тут много зависти.

В. Р.

III

Дорогой и уважаемый Константин Николаевич!

До того мне стыдно, что написал я Вам в том, предыдущем письме о чувстве, которое побудило двух известных писателей ничего не говорить о Вас. Если хотите сделать мне дорогую услугу, вымарайте это слово в моем предыдущем письме, и пусть оно будет похоронено так, как будто его никогда и не было. Много фактов заставляло меня так думать, странных, необъяснимых отсюда (из Ельца), и та темнота и грязь, которая обычно гнездится в том же месте, откуда вырастают цветы литературы.

Да, Вы правы: как чисто, целомудренно письмо сравнительно со статьей для печати. Знаете, всякий раз, когда я пишу статью – я бываю почти счастлив (и у меня есть этот благодатный дар – во время писанья не думать совершенно ни о чем, кроме предмета обдумываемого, или о том, что радуется или вызывает негодование. Вы вот пишете о *смелости* моего отзыва о Гоголе¹, – между тем, что это смело – я узнал лишь из газетных отзывов и Вашего письма; она мне не стоила никакого усилия, не сопровождалась никаким внутренним напряжением или страхом отпора: просто я сказал то, что уже много лет у меня накоплялось при наблюдении над остатками жизни *старого стиля* и сравнением виденного с картинами Гоголя; его несправедливость меня и возмутила, его грубость, поверхностность созерцания).

Но когда увидишь перед собой эти мысли, столь радостно положенные на бумагу, – на печатном листе, где-то в Москве отделанные, повсюду читаемые, – является неизъяснимо грустное чувство; что-то *опустошенное* чувствуешь в себе. Точно заветный, милый уголок Вы показали толпе праздных гостей, которые любопытно и равнодушно оглядывают все, что Вы перед ними ни раскроете. Не знаю, по-моему – пишущий должен как-то ненавидеть своих читателей: они чужие ему и, однако, смеют поступать так, как близкие; и ты сам виновник того, что они так поступают с тобой, – отсюда пре-

зрение к себе, к какому-то своему малодушию или ошибке, неблагоразумию.

В одном месте, где-то Вы сказали: «самое лучшее в добром деле – *это то*, что оно остается неизвестно»; у Вас лучше это сказано, изящнее. Я чуть не заплакал, прочитав эти слова: в них сознан центр душевного целомудрия, самое лучшее, драгоценное, к чему мы способны. Мы, пишущие, вечно оскверняем этот центр. Поэтому есть нечто развратное в писательстве; я это вечно чувствую, и, когда вижу свои мысли напечатанными, у меня пробуждается чувство мучительного неудовлетворения.

Но это – тема дальнего рассуждения; по-моему, все формы западной цивилизации (а литература в установившемся виде – одна из них) имеют в себе этот развращенный *оттенок*. Ярko, ослепительно; непреодолимо очаровывает, – но и мучит внутренне несовпадением с простотой и ясностью первозданной и чистой человеческой природы.

О себе Вы ужасно ошибаетесь: до знакомства с Вами я думал, что наиболее проницательные умы в С.-Петербург<е> поняли Ваши идеи и, продолжая молчать о них, – действуют под их влиянием. История текущая идет по путям, Вами предначертанным; отношение к южным славянам, желание отслотить опять смещавшиеся было сословия, церковноприходские школы на место земских, преобразование земства, суда и городских сословий – разве это не есть отчетливое *подморазживание*, коего Вы требовали? Твердость всех этих приемов (чего не было в самом начале нынешнего царствования) не свидетельствует ли о том, что они вытекают из какого-то очень ясного убеждения и очень сильного страха? Мне думается – это именно страх смерти, сознание умирания через смешение обособившихся форм, что Вы сделали очевидным через Вашу теорию.

Нет, знайте и помните, что Вы *влиятельнее всех нас, то есть* и Страхова, и Соловьева, и Говорухи-Отрока, и Астафьева, и меня; только Вам самим из Оптиной Пустыни это незаметно. Поэтому напрасно Вы взяли эпиграфы из Вл. Герье

и посвятили книгу² свою Т. Филиппову – это к Вам не идет. Берите эпитафии из Библии, из Евангелия, из Пророков и пишите, думая лишь о них.

Станный Вы человек, если себя не понимаете: да помните – «*трещины с углублением*» – ведь в этих двух словах, действительно, все различие Запада от Востока. Я тоже всегда так думал о нашем Востоке, и мне было ужасно грустно.

В Вас нет разнообразия интересов, предметов трактуемых, какие есть у Соловьева и Страхова, – вот чем Вы им уступаете; но Вы поняли самое важное в истории, тогда как мы все понимаем лишь второстепенное, истолковываем подробности. Что же важнее – разве Вы не видите?

И еще: Вы пишете изящнее всех нас, красивее, у Вас есть строки, есть фразы, которые никогда не забудутся, – сухие, строгие, выточенные точно из слоновой кости. У нас – клюквенный кисель, вкусный и слабый.

После Вас на первом месте по языку я ставлю Страхова: в его задумчивости, в его мужестве (о Н. Я. Данилевском, об Ап. Григорьеве), в его *неувлекаемости* ходячим – много прелести; как писатель – он один из самых любимых мною – он совершенно никогда не утомляет. Его читаешь и перечитываешь, он воспитывает своим строгим и тонким отношением ко всякому вопросу.

Во Вл. Соловьеве мне не нравится эта напряженность языка, эта торопливость; а его последние писания, простите за откровенность, мне просто противны. Вот величайший враг самого себя. Кто бы мог его побороть, есть бы он не поборол сам себя! Жалко и грустно.

Но, конечно, его разнообразие привлекательно; привлекательна и неутомимость. Но ее характер, но ее временные цели – или не тверды, или недостойны, а теперь часто и фальшивы. Как я любил его, когда, еще будучи гимназистом, узнал о его выступлении против позитивистов, но с каждым годом он становится менее и менее интересен.

Может быть, я очень ошибаюсь, но думаю так: его имя никогда не будет забыто в истории нашей литературы, так

он много нашумел, но его сочинения очень скоро перестанут читаться после его смерти; книги Страхова никогда не перестанут читаться, пока люди не устанут задумываться и размышлять; от Вас останется незыблемая теория (исторического развития) и арсенал, из которого никогда не перестанут черпать эпиграфы. Отсутствие систематичности у Вас (не в мышлении, но в изложении) неотделимо от прелестнейших сторон Вашей литературной манеры; но именно она и есть виновница, что Ваши идеи (для глупцов, конечно) не кажутся научны.

Теперь об этой научности: всегда и всем были известны некоторые аксиомы и некоторые определения в сфере политики, истории, в воззрениях на смысл нашего XIX века; но они были общими местами в разговорах и в писаниях, никем не отвергаемыми, но мало значительными.

Вы эти аксиомы и определения взяли и, взаимно сцепив их, *построили теорему*, которая охватывает форму исторического развития народов, раскрывает смысл XIX века и в подробностях указывает пути для всех, кто сознает, что спасаться нужно, и не знает, как спасаться.

Что эта теорема научна – и говорить нечего. Повторяю – в элементах своих она всегда была известна (ведь и элементы геометрии известны даже чувашам: «целое = сумме частей», «прямая короче кривой») – в целом никогда и есть философско-политическое открытие.

Статью о Вас, которую я Вам послал, верните мне, *когда я Вам напишу о том*; ее я окончу, как только будет досуг. Если бы в ней отметили (карандашом на полях) свои мысли – был бы благодарен.

Но Ваша теория, зацепляя некоторые теории, не разрешает их:

Вы *поняли* прогресс и медленную революцию (разложение), дали *теорию процесса*; силу же, которая движет этот процесс, Вы лишь отвергаете, но *не опровергаете*: это – утилитарная мечта, коя сложилась в теорию. Насколько будет моих сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в восполнении

этого недостатка. Сделаю Вам признание: мне теперь 37 лет, и я занят многими разными вопросами, но между 16 и 23 годами я не прочел ни одной книги и совершенно ни о чем не думал, кроме этой одной теории³, – думал, просыпаясь даже ночью, сидя в гостях или обедая; и на 3-м курсе университета нашел ее разрешение. В своем роде это так же просто и всеобъемлюще, как Ваша теория триединого процесса развития. Но у меня одно несчастье: я не могу писать о том, что у меня разъяснилось, что я *уже* пережил и решил; пишется лишь о том, что переживаешь теперь; прошлое – скучно.

Книга «О понимании»⁴ вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части – умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что *счастье* есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека), более полную и во всех отношениях истинную и окончательную.

Доказать и раскрыть ее всю я не имел возможности и сделал это лишь относительно умственной стороны нашей природы.

Книгу эту, я был уверен посылая ее, Вы читать не станете, – как читать 700 стр<аниц>, не зная, получишь ли достаточное за такой труд вознаграждение? Сперва хотел было отметить карандашом при оглавлении лучшие страницы (о религии и пр.), но потом и этого не сделал, зная, что у Вас самих лучших страниц довольно и ничего они Вам любопытного представить не могут. И теперь я уверен, что Вы всю ее читать не станете (Страхов – не читал сплошь); но прочтите *Заключение* (там весь план и замысел книги изложен), и главу 2-ю – «О схемах разума и сторонах существующего», – и обратите внимание на понятие потенциальности, этого странного полусуществования, которое есть в мире, действительно, – и Вы будете на пути к полному усвоению моего взгляда на человека, его природу, его душу, его цель.

Пожалуй, прочтите главу о целесообразности: там этот процесс определяется как выделение своеобразного из пер-

воначально простого; процесс истории есть целесообразный (Провидение), и здесь моя отвлеченная теория этого процесса буквально совпадает с Вашими политическими теориями; еще о целесообразности и ее проявлениях говорится в главе «О сущности», с того места, где начинается рассуждение о том, что такое *организм и жизнь*.

Еще, чтобы не было недоразумений: литературного самолюбия, Бог весть почему, во мне совсем нет. В «*Южном крае*» мой взгляд на Гоголя был изруган, и я сам назван *без малого дураком*; но статья написана в таком здоровом духе, и вообще видно, что ее писал такой хороший человек, *любящий* литературу, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить за *мотивы* статьи ее автора, хотя и упрекнул его в резкости и *неотчетливости* доказательств. Что книгу же «О понимании» никто не читает – в этом я всегда б<ыл> убежден и нисколько на это не сердился, тем более что она, особенно в самом начале, чрезвычайно дурно, тяжелым языком написана, и вообще не ясна, плохо изложена, *неосторожно*.

Невеста моя, теперь жена, Варвара Дмитриевна – благодарит Вас за любезный подарок. Мы вместе с ней перечитали и Вашу статью⁵ (она лучшая по языку из прочитанных мною в «*Гражданине*»), и Ваше письмо; я очень смеялся Вашему «*самое главное*» – статью *первому* на коврик⁶. Человек смотрит на всю землю с луны и думает о ковриках для своего знакомого, которого никогда не видал. Объяснял Ваш характер и, так сказать, необходимость в Вас этой черты.

Ну, дай Бог Вам всего хорошего. На коврик я стал 1-й, и этого потребовала во время венчания сама невеста. Она – кроткая, но без всякой вялости. В 15 лет, когда в первый раз выходила замуж, выбрала мужа себе сама и, хотя ее увозили из Ельца в Ярославль и там ее дядя, архиерей Ионафан, тоже приставал, чтобы она выбирала себе другого мужа (этот был плохо устроен по положению), – отказалась от всего, от приданого и пр. – и вышла за любимого человека, которому была примерной женой, любящей и очень любимой. Есть убедитель-

ные побуждения у меня считать ее не вульгарной, но именно в наш век исключительной женщиной.

Ваш В. Розанов

Жена очень ревнует меня к Вам за это длинное письмо, занявшее целое утро.

Карточку свою пошлю Вам, верно, завтра.

В. Р.

IV

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Я очень соскучился, долго не получая от Вас ни весточки, и стал думать, уж не больны ли Вы (что было бы всего хуже) или не написал ли я в письме своем чего-нибудь Вам неприятного, или не нашли ли Вы таковое в статье моей о Вас, вообще не нашли ли причин к неудовольствию или негодованию на меня. Если это есть, если я чем-нибудь Вас огорчил, – верьте, что это не только не преднамеренно, но и без малейшего ведения о том, что делаю. Да и не можете, мне думается, Вы и предполагать во мне ничего, кроме самого искреннего и глубокого уважения, самой горячей преданности не только идеям Вашим, но и Вам лично.

Я Вам только что писал (получили ли Вы это письмо?), что, по всему вероятно, из Оптиной Пустыни Вы не совсем верно оцениваете меру распространения Ваших идей, а приехав сюда, встретил и подтверждение: стал о Вас толковать с одним бывшим в университете товарищем, Вознесенским, и так как среди молодежи предполагал Ваше имя неизвестным (*теперешняя* молодежь, особенно самая последняя, *совершенно ничего не читает*), то очень удивился, увидя, что он знает все Ваши сочинения и, конечно, как все их читавшие и *не совершенно глупые* – ценит по достоинству, – спросил: откуда он их знает, каким путем наткнулся? – «Мой брат, – ответил он мне, – учится в Московской Духовной Академии», и в ней профессор Беляев (по церковной истории) задал курсовое сочинение «О положении христианских церквей по сочинениям Ле-

онтьева», – и, след<овательно>, все слушатели курса (а ведь их много и со многими они придут в соприкосновение) должны были не только прочесть Вашу книгу «Восток, Россия и Славянство», но и проштудировать, изучить все Ваши сочинения.

И один ли он? Сколько, быть может, есть таких пропагандаторов (простите за невозможное слово) Ваших идей. На мою оценку, Вы именно так должны распространиться со временем через личную пропаганду отдельных людей; так распространяются все очень оригинальные писатели. Толпу захватывают сразу книги хорошо написанные, но об обыкновенном и, обыкновенно, с общепринятых точек зрения.

В Оптину Пустынь мы хотели с женой приехать месяц спустя после свадьбы; но, будучи в Москве (Выставка – скверна¹), так от неопытности и дороговизны во всем растратились, что выезжать с оставшимися рублями (должно, быть 20–30) не решились, было рискованно, страшно, да и просто невозможно, а когда, посещая на прощание Воробьевы Горы (кои жене моей необыкновенно понравились), вдруг нашли дачу за 30 руб. за лето, причем в задаток можно было дать лишь 3 руб., – то с радостью на нее переехали из дорогой гостиницы и от дорогих обедов в разных гостиницах. Итак, ужас финансового кризиса заставил нас вместо Оптиной Пустыни бежать сюда, в милый и чистенький домик богомольных и трудолюбивых *липован*, коих я с наслаждением и почтением здесь наблюдаю. Но я верю, что мы свидимся, буду я ранее или позже (нынешний или следующий год) в Оптиной, и наговоримся. Знаете, я всегда представляю себе всех нас, *сражающихся, давших себе слово победить или умереть*, – сереньких «средних людей» наивного и не эстетичного Прудона – в виде крошечной дружины, но очень тесно связанной, и всегда хоть раз хочется взглянуть на каждого сотоварища по оружию.

Вы не сердитесь, что я все пишу «сотоварищи», – это не по осуществленному мною, но *по замысленному к осуществлению*. Чувствуется, что Бог мне поможет, и верю я в будущем в очень сильное свое влияние на души людей; почему-то верится <...>²

V

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Обрадовали Вы меня Вашим письмом несказанно: я, правда, был полон всяких боязней за наши отношения, – и вдруг такое письмо! Но, чем Вы больны? Я рад был с «Анализа», что Вы медик, и всегда бесконечно любил с очень старыми медиками рассуждать о человеческих характерах, об истории и также – какие и от чего бывают болезни. Я Вам еще не говорил спасибо за определение в «Анализе» болезни Ивана Ильича: ею я без конца интересовался.

Статью о Вас я надеюсь кончить зимой, на Святках или, еще вернее, на *Святой* – ибо это единственно не занятое службой время: по некоторым причинам (поездка) на Святках я заниматься не буду, а в будни служба разбивает *всякий энтузиазм к писанию*, и я, если пишу, то плохо.

Почувствовав громадную нужду в деньгах, я взялся для «*Моск<овских> вед<омостей>*» (Говор<уха>-Отр<ок> уехал) написать 4 воскресные фельетона и стал писать принципиальную вещь.

1-й фельетон (7-го июля, № 185): «Почему мы отказываемся от наследства <18>60–<18>70 гг.». Тут и о государе убитом, и о состоянии университета в мое время. Тревожит меня этот фельетон: все в нем правда, кою давно и жгуче хотелось высказать, – по мне ли, питомцу университета? о своих ли профессорах? Вот что меня мучает, и, прочтя его в печати, я пережил дурные мучительные дни, – не помутилось ли мое доброе имя? Ради Бога, напишите мне свои мысли, *когда будете здоровы*: мне не столько к спеху, сколько непременно услышать их. Может быть, одобрите. Но я о стариках очень тепло сказал, да и вообще понятие об университете, его идее, выставил высокое.

2-й фельетон (будут все воскресные): «Что составляет главный недостаток в наследстве <18>60–<18>70 гг.», об ошибках в мировоззрении, то есть разъяснение, как они произошли.

3-й фельетон: «Два исхода», об учении гр<афа> Л. Толстого, об утилитаризме, о возможности знать истинную цель человека на земле и о религиозном значении человека.

Если Вы можете, достаньте эти фельетоны, особенно 2-й и 3-й, очень значащи и, кажется, с большим одушевлением написанные.

Я только что, по моей личной просьбе, переведен на службу из Ельца в Белый, где буду жить с семьей моего брата, у коего получил, за ранней потерей родителей, воспитание.

Прощайте; крепко обнимаю Вас. *Берегите здоровье*. Кажется, мы разделаем с противной партией хорошие дела, если Бог подкрепит нас (разумею весь наш кружок людей). Чего доцент Александров, какой науки? Слава Богу, что нашего полка прибывает.

В «*Вестнике Европы*», июнь, в общественной хронике есть несколько о Вас со злобой сказанных слов. Если бы не большая начатая мною статья о Вас, мог бы я сделать формулу Вашей теории.

Ваш преданный В. Розанов

VI

Дорогой Константин Николаевич.

Не удручайтесь, а будьте веселы: вот Вы еще и не думали, а один из фельетонов¹ (4-й) в «Моск<овских> ведом<остях>» я написал специально о Вас. Не знаю, пройдет ли, кажется, нет причин не пройти. Статью о Вас тоже могу окончить гораздо скорее: в сентябре, в октябре. Боюсь только, не будет конец вялее начала.

Я *завтра* (23 июля) уезжаю из Москвы в г. Елец, и пишите мне *по адресу*: Елец, Орловск<ой> губ<ернии>, против церкви Введения, Александре Адриановне Рудневой, с передачей В. В. Розанову. *Это если будете писать не позже 8-го августа*, ибо 10 августа я выезжаю из Ельца в Белый (было бы приятно получить от Вас письмо в Ельце). Если письмо будет опущено 9, 10 и т. д. августа, то адрес: в город *Белый, Смо-*

ленской губ<ернии> в прогимназию мужскую, В. В. Розанову. Бог даст, не все же будет *fatum*. *Теперь* 1-я работа, коею буду заниматься – будет статья о Вас.

Ваш В. Розанов

VII

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Прочел там и сям первую брошюру Астафьева¹ – мысли, в ней изложенные, уже неоднократно и мне приходили в голову (о вреде быстро сменяющихся впечатлений) и, напр<имер>, в книге «О понимании» я упадок во всех людях религиозного чувства приписываю этой неустойчивости всех теперешних впечатлений, не дающих ни над чем задуматься. Но, знаете ли, истинно губительною в этом отношении является современная *изошренная* школа, кот<орая> не дает в уме человека от 7 до 23 лет держаться ни одному впечатлению долее 1 $\frac{1}{4}$ часа. Я сам учитель гимназии, сам перемолотое и перемалывающее зерно, и вот мое мнение: кто ненавидит пиджачную цивилизацию средних, сереньких людей, – должен прежде всего желать совершенного уничтожения средней школы, этой переделочной психической машины, которая цельное, полное задатков, зерно индивидуального ума, индивидуального характера переделывает в удобную, съедобную, *нужную*, – но уже безжизненную муку. Если бы я был Наполеон или Чингис-хан, не могу выразить, с каким бы удовольствием, наведя тысячи дул на эти экономические построенные здания, именуемые гимназиями, и только выведя оттуда подростков, велел бы обратить все остальное в кучи щебня, с этими гнусными учебниками, с этими обмундированными педагогами с их идиотскими глобусами, юнонами по стенам и всей учебной дребеденью. Нет, Вы, ученик *не изошренной* школы <18>60-х годов – не знаете, не понимаете и не можете понять, что делается в школах. Гр<аф> Д. Толстой был только великий канцелярист, он ничего не понимал в истории и политике, когда самодовольно докладывал государю: «...теперь

в Забайкальской области и в Москве в один и тот же месяц дети русские читают одну и ту же страницу Вергилия». Вот уравнивающий идеал, какой мог явиться только у Чингис-хана или – у современного бюрократа. Нет, своими земскими начальниками он не поправил и $\frac{1}{10}$ доли того *всесмешения*, коими (как никто до него в нашей истории) послужил он своею учебною реформою². Я ненавижу его ограниченный ум и всю эту *слепую* политику нашего века. Вы сказали, что Гладстон – всего только вульгарный характер; bravo! Поймите же, что и наши Толстые всего только канцеляристы. Мне доставляет удовольствие, просыпаясь от дремоты, объяснять ученикам вместо какого-нибудь Венского конгресса³ мою теорию среднего образования, этого всемирного обезличения людей, коему оно служит. Вообще как учитель – я несколько капризен, лениво тяну канитель, на меня возложенную канцелярскими программами, но оживляюсь только тогда, когда ученикам приходится (придет фантазия) объяснить что-нибудь свое: о платоновских идеях, о рациональной возможности бессмертия души, о том, почему они, сами ученики, так окончательно бездарны, себялюбивы и мелочны, и пр.

Что значит *ischuria*? Заражение крови мочевиной? Помоги Вам Бог переносить Ваши страдания, но, знаете, правы все, которые думают, что страдание очищает, просветляет и смягчает душу человека. Я часто бывал очень несчастен, очень угнетен и всегда становился тогда лучше, нежнее и возвышеннее в своих отношениях к людям, в сознании своего долга. Счастье, довольство – оскотинивает человека. Но отчего Вы не прибегнете к операции? Ведь теперь при помощи кокаина или эфира их делают без боли, и Вы избавились бы от хронического страдания и опасности близкой смерти? Как любопытно все, что Вы пишете о Толстом: вот не ожидал *безжалостности* в нем. Да, удивительная вещь литература и литературный талант – не симпатичная для меня вещь. *Древо жизни* – не древо *познания добра* и зла. Есть какая-то обратная пропорциональность между ними. Высший цвет почти то же, что гноящаяся рана. Не хочется жить при таких мыслях.

«Бр<атьев> Карамазовых» не могу Вам выслать ранее, чем когда приедут вещи в Белый, ибо он заложен в ящиках и уже давно отправлен товаром малой скоростью. А о чем *своем* Вы хотели бы там справиться? Вот любопытно было бы. Ваши все политические идеи я понимаю и знаю, но литературные, относящиеся к отдельным вещам, – для меня еще закрытые драгоценности. Чем можете, чем Вам не скучно – поделитесь со мною. Всякая Ваша заметка в двух-трех словах дорога для меня.

«Человечество старо», – печатали и писали в письмах Вы. Да, истошилось в произведении гениального, мудрого, героического – и осталась одна пошлость, которая, просуществовав некоторое время, исчезнет, как плесень, с лица земли. Жить не хочется, опять и опять... *Древо жизни* иссякло, потому что и к познанию окончательному уже почти близки люди. Знаете, что я *лично* испытывал: в разных местах моих сочинений Вы найдете отдельные страницы, написанные с большою страстью или где блесит совершенно оригинальная мысль, доказательства коей льются как бы сами собой. Я испытывал, что, написав эти страницы, я всегда *физически ослабевал* (как мужчина) и становился психически раздраженным, сумрачным, злым почти; а *перед* написанием бывали минуты какого-то удивительного просветления и счастья, повышения жизни. Из этого внутреннего наблюдения я вообще заключил, что психическая деятельность истощает органическую энергию, что в нее уходит первая, и раз что-нибудь хорошее написано, нарисовано, совершено – некоторая доля жизни вышла из человечества, пропала в нем навсегда. Лепесток с древа жизни опал, превратившись в крупинку сахара в плоде познания. Так иссякает жизнь в исторически-деятельных народах. Опять грустные мысли, опять жить не хочется...

Как жаль, что Вы хотите оставить Оптину Пустынь⁴, как шло к Вам жить при ней отшельником, жить и умереть там... Мне *бесконечно* хочется быть там, увидеть, посмотреть искося, из-за угла на о<тца> Амвросия, его удивительный рот и глаза, *что-нибудь прочитать в них* (беседовать я даже боюсь), побе-

седовать с Вами. Вся Ваша жизнь оригинальна: медик (по сочинениям судя – хороший, очень вдумчивый, наблюдающий), консул, и даже с хлыстом в руках⁵, порывы к монашеству, политический теоретик и отшельник Оптиной Пустыни. Кстати, не можете ли Вы хотя отчасти открыть мне (простите за нескромность, но она не пуста, не бессодержательна, а *очень серьезна*) смысл того переворота душевного, кот<орый> заставил Вас бросить консульство и думать о монашестве?⁶ И хоть что-нибудь Вы не сообщите ли мне о чудесах, которые испытали на себе. Как в самом деле жалко, что мы не можем поговорить друг с другом. Это было бы так нужно! Что за человек от<ец> Амвросий? Вы в своем роде психолог, и сжато характеризующий и объясняющий – поэтому, если не опасаетесь анализом оскорбить чтимую высоту, драгоценность, святость, – написали бы мне. Я по часам рассматривал его карточку и расспрашивал людей, его выдавших, даже о манерах; перечитывал и Ваши строки в «О Клименте Зедегольме». Напр<имер>, понимает ли и знает ли от<ец> Амвросий Вашу теорию всесмешения? Вообще держит ли в уме *наши* идеи?

Что касается до примирения науки и религии, то, писав «Место хр<истианства> в ист<ории>», я разумел: примирение точного и долголетнего научного изыскания с религиозным духом, настроением чувства. Этого я лично достиг и лично же проповедовал. Но Вы пишете о *религиозных тайнах*... Должен предварительно сказать в объяснение, что *православным* я стал лишь недавно, помолившись несколько раз в церкви Введения, познакомившись с дьяконицей Рудневой, урожденной Ждановой, внучкой Иннокентия Таврического, коего она хорошо знала до 14 лет; все это скрепилось и уяснилось *в идее* через Ваши слова: «что такое христианство без Православия (или другой формы), что такое Православие *без Византийских форм*» и пр. Вообще раньше я был абстрактно религиозен – к православию относился даже не дружелюбно (тогда и писалось «Место...»). Теперь не то... Итак, истины науки для меня – одной категории, истины религии – другой, и так же не мешают друг другу, как слух – зрению, и наоборот. Но, Вы скажете, их предмет один

часто; да, это во многих случаях, напр<имер>, рождение и после него *все-таки* девство. Знаете, истины анатомии, физиологии, вообще не теоретических, а опытных наук утверждают лишь *всегдашность* наблюдаемых фактов, но вовсе не их логическую необходимость; они говорят: *бывает так*, но не могут доказать, что *не может быть иначе*. Бессемянное зачатие века отрицалось: *omne vivum ex ovo et sperma*⁷; теперь же открылись факты деворождения, *sine sperma*⁸, напр<имер> у пчел трутни. Это показывает отсутствие вообще универсальности выводов всех опытных и наблюдательных наук: невозможности они не могут доказать.

[Далее], факт или заключение науки суть продукт *ума*, *то есть* одной из трех способностей (да и трех ли?) нашей души. Истину я признаю объективно таковую, потому что она субъективно восприимлема моею мыслью, усваиваема логическою стороною духа. И мистическую тайну я признаю объективно действительною (это *выше истины*), потому что субъективно воспринимаю ее своим религиозным чувством, второю и равною всем другим стороною моей душевной природы. Откуда у меня эта способность восприятия, если нет ей соответствующей объективной действительности? Если она не вложена в меня прежде начала мира? Бог, человеческая душа, бессмертная как Его дыхание, – для меня истины так же убедительные, как то, что Волга впадает в Каспийское море, *так же ясные и близкие*.

Я рад, что Вы браните профессоров и студентов: первое условие для ищущего истины человека – это презрение к нашим университетам, переполненным краснощекими и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умственные и часто вообще духовные проститутки – и только. И как это сделалось – непостижимо, удивительно!

Ну, простите! Прислали бы Вы мне: 1) отзывы об Вас, наклеенные – для возбуждения, для любопытства; 2) недоконченную статью о «*среднем европейце как орудии всемирного разрушения*» – кою *сберегу как свой глаз*; «*Греческие повести*». Я жаден до Вас, и писем Ваших мне мало. Статью свою я прочел,

за драгоценные примечания к ней благодарю, и только жалею, что их мало и они коротки. Через 2 дня я еду в Белый. Адрес: г. Белый, Смоленской губ<ернии>, в прогимназию В. В. Розанову (кстати – Вы все пишете Розонову – это Берг переврал – моя фамилия Розанов). Целую Вас крепко и обнимаю.

Ваш В. Розанов

За продолжение статьи о Вас примусь около 20 августа, или с 1 сентября, как только переберусь в Белый и устроюсь там на квартире. Да читали ли Вы статьи мои в «Моск<овских> вед<омостях>»? Были уже 3, а 4-я с формулой Ваших теорий и вызовом «Вестнику Европы» ответить на них – верно, скоро появится. Нет, не забывайте меня письмами.

Еще одно слово насчет *разных видов* истинного: перед нами два лица *неизвестного* происхождения: кроткое, любящее, страдающее и другое – сладострастно-скотское. Как *умом* Вы докажете, что одно прекрасно, а другое отвратительно, и между тем таковые Ваши утверждения будут объективны, истинны. Вообще ведь есть категория *святости*? и есть наше отношение к ней, вовсе не логическое, не умственное и, однако истинное, праведное. Это – отношение благоговения, богопочтения, которое вовсе не есть отношение познания. Спаситель мира, Спаситель души моей, сказавший: «блаженны изгнанные за правду» и пр., *родился*. Конечно, он родился без мужчины, без скверного плотского акта с его подробностями, потому что он Свят и к святому не прикасается нечистое. Как Св<ятая> Дева осталась Девой? Да как же ей не остаться Девой, когда я вижу мысленно ее восходящей по лестнице Храма и Первосвященника, встречающего Ее, – когда она свята, не греховна, когда родившийся от нее стал Спасителем нас всех. Она родила Спасителя, произошло Святое Святых истории, чудный акт, Ей самой непостижимый, Ее потрясший – и все тоже – благочестивый Иосиф, полулежащий в хлеве, она усталая и потрясенная, младенец в яслях и ангелы, поющие «Слава в Вышних Богу»... Зачем тут женщина или девушка, это из другого мира, другой категории, где-то за углом, где начинается совсем другое, земное и чело-

веческое. Взгляд науки есть взгляд только по одной линии забора, решительно ничего не видящий по его другую сторону. Вы лежите на траве, перед Вами звезды, тишина, сосновый лес. Вы вспоминаете мать свою, когда-то любимую Вами девушку, теперь также умершую, и думаете и о своей старости, о том, что и Вам уже не долго любоваться этим небом. «И будет земля новая, и небо новое», думаете Вы; там, под этим новым небом, на этой новой земле, я увижу опять их, и они поймут, как я любил их всю жизнь потом, как вспоминал. Вам хорошо, покойно и тепло на душе, ясно все мироздание. Разве же это не истина? Почему? Лишь только потому, что не доказуемо? Но ведь это ничего не значит, это из другого, недоказуемого и, однако, реального мира. Не умею высказать Вам, но существование разных миров я вообще как-то ясно понимаю. Что хорошо, то и истинно; и логически верная мысль потому и истинна, что она хорошо пришлась для ума, что она лучше всех ей подобных, о том же и почти так же мыслимых, но чуть-чуть неправильно, ошибочно. Иначе какой же смысл *хорошего*? Дым, призрак, исчезающее – и не истинны, и не хороши. Хорошее потому и хорошо, что оно действительно, *ens realissimus – optimus ens*.

А культуру всемирную нужно сохранить, сберечь. Мне мечтается, что догадаются наконец люди, к чему идут (к смерти) и... удержатся. Появится новый жреческий орден, появится новый союз пифагорейцев. Из семени вырастает дерево, а не складывается оно из земли: где-нибудь и когда-нибудь появится кучка людей, решившихся *взять историю в свои руки*. Это будет смешение религии, философии, политики и также высокой поэзии. Конечно, боязнь Бога, боязнь своей судьбы – будет главное; второе – окончательное познание добра и зла и приникновение к остаткам древа жизни, его сбережение. Не будет истории как развития – будет неподвижное существование в прочных, непоколебимых формах. Будет, мечтается, громадное пустое место, обнесенное высокой стеной, куда будут вталкиваться неразумные и буйные и там оставаться одни, *вне человечества и без Бога*, только со своим самодур-

ством. Простите, поболтал бы еще, но что-то нездоровится, а главное – несут обедать.

Ваш В. Розанов

VIII

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Очень, очень тяжело мне до сих пор не получить от Вас даже 2-х строк, и дай Бог, чтобы это случилось по Вашему неудовольствию на меня, а не ухудшению болезни. Если Вы сердиты на меня за что-либо (а по неумелости я часто могу вызывать это чувство к себе) – беда поправима, ибо *основания* для Вашей горечи нет во мне и не может быть. Какая-нибудь моя бестактность, глупое слово – но это *Вы всегда простите* – ведь я же отношусь к Вам и Вы всегда ко мне относились как человек не только близкий, но и совершенно, совершенно (не сердитесь) родной.

Кончил чтение Ваших статей (будущий 3-й том <«Востока»¹⁾ – множество превосходных, и если бы можно было мне его продержат еще месяц или 1 1/2 у себя. Статья о Вас² (написано 42 с.) будет, кажется, очень большая, вроде статьи о Достоевском. Теперь пишу (и с большим увлечением) о разнице в политическом складе древнего, античного государства и нового, христианского. Вообще по мысли она будет очень содержательна. Хочется очень взять кой-какие выписки из будущего 3-го тома «Востока», и для того я ее прошу позволения подержать.

Писать я Вам много раз собирался, но все не хотелось отрываться от статьи. Когда я бываю занят чем по письменной части, у меня всегда вроде физической боли возникает от всякого отвлечения в сторону. Вот и теперь пишу лишь несколько нескладных слов, чтобы сказать Вам, как мне *больно* Ваше молчание и вероятное неудовольствие и как бьется горячо мое сердце к Вам. Да хранит Вас Бог. Целую Вас и обнимаю крепко, крепко в Вашей постели.

В. Розанов

Адрес: Белый, Смоленской губ<ернии>, в прогимназию – мне.

Жена Вам кланяется и желает облегчения физических страданий. Вы мне напишите только 5 строк, что не сердитесь.

IX

Ну, дорогой, неоцененный Константин Николаевич! На с. 57, которую пишу сейчас, – я Вас приравнял к Ньютону, его яблоку и закону притяжения, приравнял, повторив после 57 с. рассуждения Ваши, слова: «Если же дело идет к победе болезни – упрощается картина организма». И знаете, клянусь Вам, я ни йоты не преувеличиваю: вот что говорит Вам человек чистосердечный, *во все время писания своего* я чувствую своим *ясным и точным умом*, что Вы великий человек, в самом простом, но и полном значении слова. Невозможно, чтобы и Вы этого не чувствовали, и тогда – зачем сумрак? Что не были признаны? да кто же *во время* был признан и понят, кроме пошляков? Прощайте, потому что некогда, я прервал работу и сейчас опять к ней.

Ваш В. Розанов

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь¹.

К. Леонтьев

I

Все, привыкшие следить за литературной критикой, вероятно, с большим любопытством встретили ряд статей, помещенных в «Русском вестнике» за истекший 1890-й год и посвященных разбору двух главных романов гр<афа> Толстого:

«Войны и мира» и «Анны Карениной»². Имя, подписанное под этими статьями, не принадлежит к числу тех, которые утомили своим звуком слух, и даже для многих читателей, вовсе не равнодушных к литературе, оно, вероятно, показалось ново. Правда, кто привык толкаться, в качестве зрителя или действующего лица, по базару литературной суеты, мог припомнить это имя из «Биографии и писем» покойного Ф. М. Достоевского³. Но и это мелькнувшее, хоть и не забытое впечатление было как-то двусмысленно: в желчных строках Достоевского сказалась какая-то ненависть... Во всяком случае, это впечатление было слишком кратко, чтобы пробудить в читателях ищущий интерес, а тот, к кому относились эти мимолетные заметки, по видимому, сам нисколько не заботился о том, чтобы привлечь к себе внимание. Его имя не повторялось в газетах и журналах, и было естественно для каждого подумать, что он стоит в стороне от большой дороги, по которой движется развитие идей, владеющих сознанием нашего времени. Вне этого движения, из какого-то глухого угла, раздался и замолк голос, который тотчас же покрылся тысячею других голосов, правда, не очень внятных и вовсе не вызывающих в нас желания прислушаться к ним, но шум которых, вопреки этому желанию, совершенно не дает возможности сосредоточиться на чем-нибудь, что им не вторит, с ними не совпадает.

Таким образом, повторяем, для очень широких слоев читающего общества имя г. К. Леонтьева год тому назад могло показаться новым. И тем сильнее и ярче становилось впечатление, которое производил ряд его критических статей, посвященных писателю, на котором так ясно лежит печать высшего избранничества. Как ни много об этом писателе передумано, каждый, кто хочет к сказанному прибавить еще слово, невольно возбуждает к себе теперь внимание всех. Все с таким напряжением следят за развитием его душевной истории. Усилия, которые делаются многими для того, чтобы набросить покров на эту историю, хотя исходят из высоких и чистых побуждений, производят невольное впечатление во всех, кто ясно понимает, где мы и куда идем. В них видно опасение за какую-то

святыню, за что-то вековечное и незыблемое, что будто бы может пошатнуть этот человек, и не видно сознания, как в действительности далека от нас эта святыня, как давно и беспредельно отошли мы от всяких незыблемых основ. Мы не с ними, не на безопасном материке — мы, как и многие уже поколения, уносимся в мутном потоке все далее и далее, бессильные ухватиться за что-нибудь прочное своим колеблющимся сердцем и слабым умом. И если среди нас, одинаково чувствующих свою беду и одинаково бессильных бороться с нею, находится человек, который пытается это сделать, — мы должны бы этому только радоваться. Вовсе не стремление к чему-нибудь дурному, но именно полное сознание невозможности для человека жить без какой-нибудь святыни, без вековечных основ в своей душе — заставляет нас с величайшим ожиданием смотреть на писателя, который из всех один, как мощный конь, бьет и обрывает берег, усиливаясь на него выйти.

В отношении к человеку такой силы и такого значения мы всегда ожидаем встретить критику подчиненную, — и, однако, достаточно было прочесть немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая сила столкнулась с не меньшей оценивающей. Писатель, так мало известный, что мы могли бы его счесть молодым, в словах, несколько разбросанных и, однако, убедительных в каждом своем изгибе, входит в безграничный лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в чем он казался нам всемогущим, в искусстве созидания, прямо указывает недостатки, которые ему больно видеть. Страстная любовь к избранному писателю сквозит через эти упреки, и мы почти не удивляемся, видя, как далее он приводит на память целые места из него, без особенной боязни ошибиться хоть в одном слове. Мы начинаем сомневаться только в молодости критика, мы угадываем в нем человека, который хоть впервые заговорил о романисте, о котором уже давно говорят все, кто может хоть что-нибудь сказать, — однако, очевидно, сжился с миром его художественного творчества и наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и

безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает. Почти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить. И в самом деле, всех поражающее отсутствие новых дарований, уже давно замечаемое в этой сфере, есть верный симптом того, что мы живем в промежуточную эпоху среди двух литературных настроений, из которых одно уже умирает, а другое еще не имеет силы родиться. Редкое знакомство г. Леонтьева с литературами разных народов, и притом в очень различные периоды их развития, без сомнения, помогло ему, выйдя из интересов и пристрастий своего дня, подняться над целым ее циклом и, поняв его отличительные черты, понять вместе и то, что в их пределах все возможное уже достигнуто и нечего ожидать еще чего-нибудь лучшего. А по самой природе своей человеческий дух, раз в каком-нибудь направлении достигнув предела, за который ему не надо переступить, избирает новые направления, в которых он может двигаться, то есть жить.

С большим мастерством, сравнивая два главных романа гр<афа> Л. Толстого, г. Леонтьев находит художественные недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» окончательно исчезают. Таким образом, именно этот роман является окончательным и высшим выражением того направления нашей литературы, которое получило, не совсем правильно, название «натурального». Отражение человеческой жизни в нем становится действительно безупречным, и эта безупречность настолько велика, что изучение людей и их отношений в самой жизни или рассматривание всего этого в отражении зеркально-чистого художественного произведения становится уже одинаково и равноценно. Это – действительно апогей натуралистического развития, достигнув которого, в

тех же пределах, художество уже не имеет более целей, теряет их. В частности, эта безупречность достигнута тем, что и психический анализ, и скульптурность внешнего изображения в этом романе уже лишены и тех недостатков, которые еще есть в «Войне и мире» и которых было гораздо более в других, ранее написанных очерках и рассказах нашего романиста.

Понимание человеческой души есть необходимое условие для понимания человеческой жизни, и вот почему в цикле нашей литературы, имевшем задачей воспроизвести последнюю, первая занял центральное положение. Этот анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр<афа> Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование. Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внутренний мир мужчины и женщины*, человека, не вышедшего из первобытной наивности** и высоко развитого***, и старика и ребенка****. В возрасте, в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встречали грани, за которыми они видели лишь положения и движения, – и только для одного гр<афа> Толстого как будто не существует этих граней, и, каков бы ни был человек, где бы он ни находился и что бы ни делал – он был ему понятен с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он встречает некоторое

* В противоположность Достоевскому, который вовсе не знал и никогда не пытался изображать внутренние движения женщины; отсюда все женские характеры у него – бледные тени, которые действуют, но не живут около изображаемых им мужских характеров. См., например, ряд женских фигур в «Идиоте».

** Сюда принадлежит, например, удивительный тип старика Алпатыча, с его поездкой в Смоленск (в «Войне и мире»).

*** Психологический мир этого последнего служит предметом постоянного анализа у Тургенева; напротив, механизм внутренних движений у людей непосредственных этому художнику недоступен.

**** Сережа Каренин.

препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, может ли, но, очевидно, не хочет* переступить. Зато его анализ и хочет, и может переступать даже границы, положенные для человеческого понимания формами человеческой же психической жизни: он без труда, на некоторые моменты, спускается и в животный мир, с его чуть брезжущими зачатками душевных состояний (например, в сценах охоты).

В этом анализе, столь всесильном по сферам изображаемым, г. Леонтьев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество наблюдения, на придиричивость, на подозрительное подглядывание, которое великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него лицам. Не только для читателей его произведений, но и для самого художника скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных и мелочных мотивов даже и там, где они вовсе не необходимы. Критик правдоподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу художника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет в них того, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается, как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пустого места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, общипанные

* Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отрочестве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплемennых людей у гр<афа> Л. Толстого вообще можно заметить, что он собирателен, тогда как, касаясь русских, он индивидуален. В изображении французов или немцев мы не видим у него лица, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих через одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно теряясь в каждой из них за чертами личными.

своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый. Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенно про это думают, – вот окончательное и неизгладимое впечатление, которое ложится на душу размышляющего читателя после долгого и внимательного изучения произведений гр<аф> Толстого.

Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней. Не менее убедительно подробными сравнениями г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые отклонения в верности тому, как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр<аф> Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху Отечественной войны, нежели как это представил гр<аф> Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и, в особенности, они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в неприменную запутанность языка и в неясность

выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр<аф> Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример, особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношение Пьера Безухова к пленному солдату Платону Каратаеву и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первые десятилетия нашего века.

Третий недостаток, также пропадающий в «Анне Карениной», есть излишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г-н Леонтьев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или сцен, если они чему-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, грубое описание физиологических отправления в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излишества натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в искусстве, как и

в органической природе, что не строго целесообразно – то уже портит, что не нужно более – делается вредным.

Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной школы. Мельком рассеяны в его пространном разборе меткие характеристики и других наших писателей, напр<имер>, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка и др. Немногие строки, посвященные им, стремительно захватывают самую сердцевину этих писателей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она захочет быть мало-мальски внимательной к своему предмету. Несколько более пространная вводная характеристика посвящена только С. Т. Аксакову. Какою бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории.

II

После цикла литературы, так полно изобразившего перед нами, *как* живут люди, всего более мы хотели бы видеть литературу, изображающую, *чем* живут они; после натурализма, отражения действительности, естественно ожидать идеализма, проникновения в смысл ее.

В психических течениях, которые мы наблюдаем в окружающем обществе, эта потребность задуматься над смыслом своей жизни и в самом деле перерастает все прочее. Как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в нас, – и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, быва-

ло, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки. Мы точно предчувствуем, и притом все, наступающий и темный трагизм в развитии нашей собственной души и, убегая его с ужасом, мучительно обращаем взоры вокруг и ищем, за что могли бы ухватиться в момент, когда почувствуем, что не в силах долее жить.

Вековые течения истории и философия – вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направит их – вот что сделается предметом нашей главной заботы. Политика в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души – такова цель, неудержимо влекущая нас к себе и которую мы должны, наконец, прояснить сознанием, чтобы сколько-нибудь успешно к ней приблизиться. Как изображение частного в искусстве, так познание только частного в науке и стремление к частным же целям в действительности – все это недостаточно уже, видимо бесполезно, и время всего этого ясно оканчивается. Мы входим в круг интересов и забот неизмеримо более трудных и неизмеримо более важных. Нас толкает в них страдание, которого мы не можем выносить и от которого нас не может избавить никакое знание подробностей и никакая власть над ними.

Писатель, так верно и так точно определивший характер и окончание пережитого нами цикла в искусстве, быть может, имеет и некоторые своеобразные понятия о самой жизни, воспроизводимой в искусстве. И в самом деле, в его критических статьях там и здесь разбросаны мысли политические, философские и исторические, и, как они ни кратки, наше внимание необыкновенно возбуждается ими. Удивительна не только верность этих замечаний, удивителен зоркий взгляд, высматривающий то, чего нужно главнее всего коснуться, и какая-то непостижимая беззастенчивость языка, гибкого и твердого, как сталь, которая то оскорбляет в нас все

привычные чувства, то неудержимо привлекает к себе наш ум. Долгий опыт жизни, огромная начитанность и, главное, упорная вдумчивость в важнейшие вопросы нашего личного и общественного существования невольно чувствуются за этими мимолетными заметками. Мы невольно начинаем неудержимо интересоваться самим критиком, мы забываем разбираемого романиста и из-за его фигуры, так всем знакомой, хотим рассмотреть стоящую в тени фигуру политика, философа и публициста, который, очевидно временно, взялся за переоценку двух знаменитых литературных произведений. Очень немного узнаем мы о нем из пространных критических статей. Раз только, читая ироническое замечание о том, как гр<аф> Толстой свои внутренние ощущения силится отыскать в людях <18>50-х годов, мы узнаем, что в то время, как наш романист боролся на Севастопольских бастионах, его будущий критик работал на перевязочных пунктах. Справляясь, мы в самом деле находим его имя в списках студентов, получивших в 1854 году степень лекаря⁴ и тотчас же отправившихся в действующую армию. Но это отрывочное сведение еще более заинтересовывает нас: в первый раз мы встречаем в летописях литературы имя, столь очевидно запечатленное высоким даром и, однако, вовсе не принадлежащее к питомцам исторических, философских и литературных кафедр. В ту немногочисленную, но в высшей степени влиятельную толпу, которая от этих кафедр всегда несла идейное развитие в наше общество, входит человек, никогда не стоявший около них и в сухих и резких суждениях которого мы тотчас узнаем, однако, такое обилие именно идейности, которая удивила бы нас и в человеке, всю жизнь посвятившем литературе и философии. Это указывает на ум, сильный и богатый самобытными стремлениями. Конечно, не требования профессии и не впечатления ученических годов, принужденно воспринятые, пробудили в нем интерес к искусству и истории, к политике и народной психологии. И если мы встречаем даже в кратких заметках его столько проницательности, такое различие главного во всем от второстепенного, то нас не удивляет это

более потому, что мы видим здесь любовь артиста к своему делу, а не простое прилежание книжного невольника к давно наскучившему для него занятию.

Любопытство наше возбуждено, и после долгих поисков мы находим наконец два тома дурно изданных статей его, которые посвящены исключительно истории и политике⁵. Г-н Леонтьев, действительно, писатель очень старый; но он сотрудничал в одной мало распространенной провинциальной газете⁶ или в разных изданиях. Точно какая-то судьба, насмешливая и предусмотрительная, не допускала его к центрам событий, куда он, очевидно, рвался, и всегда отталкивала его к их периферии, к бессильной роли исполнителя чужих предначертаний. Полный самых широких теорий, самого общего и возвышенного взгляда на текущие события, он барахтался в волне одного из них и двигался вместе с нею, один зная, куда движутся все они и куда их следовало бы направить. Можно думать, что это положение бессилия в высшей степени раздражало его, и с умом, так непреодолимо влекущимся к общим воззрениям, он, вероятно, не так ясно видел и не так умело выполнял разные мелкие обязанности, которые ему были поручены. Его служба в должности консула в турецких и славянских (до освобождения Болгарии) землях едва ли была успешна, и, вероятно, веселый и добродушный г. Якубовский, о котором он вспоминает во втором томе своих статей, был гораздо более исполнителен, деловит и удобен, чем он.

Все это сделало его наблюдателем и мыслителем. Мы редко умеем предвидеть, что было бы лучше для нас и для других, и, если бы г. Леонтьеву выпала более деятельная роль в практической политике, он, верно, отдавшись ей со страстью, до конца не высказал бы тех взглядов, которыми сам молча руководился бы. Мы имели бы несколько крупных дел, несколько лишних фактов в нашей политической истории, которые могли бы быть изменены и изглажены всяким его преемником, но мы не имели бы перед собой глубоких наблюдений и теорий, которые теперь уже стали неизгладимы и могут породить неопределенное число фактов, выполнимых для всякого, кто

хочет размышлять, видеть и не быть слепым игралищем темных исторических сил.

III

Строго говоря, г. Леонтьева занимает одна мысль, и кто ее усвоил, тот читает длинный ряд его статей, забегая воображением вперед и не ошибаясь в своих угадываниях. Но эта мысль до такой степени важна, что, почти без всякого опасения ошибиться, мы готовы сказать, что из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни. Именно он первый понял смысл исторического движения в XIX веке, преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между различными культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений, как наивность, коренным образом противоречащую ее основной идее.

Он задается вопросом⁷: что такое процесс развития, которого выражением служит историческая жизнь всех народов, как она уже совершилась, и которому служим мы все своим умом, своей волей и страстями, всегда надеясь ему способствовать, всегда желая устранять то, что его задерживает, – и отвечает следующее:

«Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений над которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

«Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от сход-

ных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений».

«Постепенный отход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности».

«Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства».

«Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная некоторым внутренним деспотическим единством».

Естественно-историческая основа, на которую становится г. Леонтьев, чтобы перейти потом к истории, чрезвычайно важна в том отношении, что она дает объективные, доступные наблюдению признаки и таким образом устраняет из научного исследования вмешательство страстей и вообще всякого субъективного чувства, которое затмевает для человека истину, когда предметом ее, еще искомой, служит он сам. И в самом деле, сложность не сливающихся в одно признаков как критерий развития – это дело почти арифметического счета, это открыто для всякого внешнего наблюдения.

Как старый медик, он находил нужным пояснить свою мысль примером из круга явлений, ему особенно известных: «Возьмем, – говорит он, – картину какой-нибудь болезни, положим, pneumonia (воспаление легких). Начинается оно большею частью так *просто*, что его нельзя строго отличить в начале от обыкновенной простуды, от bronchitis, от pleuritis⁸ и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, боль в груди или в боку, кашель, жар. Если бы в это время человек умер от чего-нибудь случайного, то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, *очень мало отличий от других легких*. Болезнь *не развита, не сложна еще*, и потому и *не индивидуализирована и не сильна* (еще не опасна, не смертоносна, еще *мало влиятельна*). Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется,

отделяется и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются (жар, боль, горячка, кашель), но есть еще новые – удушье, мокрота, окрашенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический *ronchus crepitans*. Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна: в одной части легких простой *ronchus subrepitans*, свойственный и другим процессам, в другой *ronchus crepitans* (подобный нежному треску волос, которые мы будем медленно растирать около уха), в третьем месте выслушивание дает бронхиальное дыхание *souffle tubaire*⁹, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это – опеченение легких, воздух не проходит вовсе. То же самое разнообразие явлений дает нам и вскрытие: 1) *силу их*, 2) *сложность*, 3) *индивидуализацию*.

«Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни упрощается. Если же дело – к победе болезни, то, напротив, упрощается или вдруг, или постепенно картина самого организма».

«Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие признаков, составлявших картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опеченение разрешается, то есть легкие становятся опять *однородные, однообразные* (на всем своем протяжении и также со всякими другими легкими)».

«Если дело идет к смерти, *начинается упрощение организма*. Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем в середине болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма, в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от всякого другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходят все более и более в процесс разложения, распа-

дения, расторжения, *разлития* в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются*».

Мы выписали подробное описание этого явления, потому что одно очень яркое представление необыкновенно закрепляет в воображении общее понятие, в смысл которого нам предстоит вникнуть. В этом явлении мы наблюдаем два типических процесса: органической жизни и органического умирания. Противоположные друг другу, они вступают в борьбу, и момент победы одного, совпадающий с наибольшее его сложностью, есть момент начинающегося упрощения другого. Смерть, исчезновение есть здесь действительно возвращение сложного к однородному, разнообразного – к сходному, обособленного – к смешанному. То, что силою жизни сдерживалось некогда в одних определенных границах, не сдерживаемое ничем более, – сливается с окружающим: окружающее вступает на его место и оно входит во все окружающее. Части организованного, прежде различавшиеся по виду и по назначению своему, теперь различаются только по местоположению и величине; они перестают быть качественными и становятся лишь количественными.

Обращаясь, далее, к эмбриологическому процессу, этому прототипу всякого развития, мы находим, что формирующееся в нем живое существо только в последний момент, когда рождается, имеет в себе все те сложные и строго обособленные черты, которые принадлежат ему как органическому виду. Напротив, чем в более ранней стадии развития мы рассмотрим это существо, тем менее заметим мы в нем характеристических черт, и все эти черты общи ему в позднюю стадию развития – с родом, в более раннюю – с классом, еще раньше – с отделом животного царства и, наконец, в самый первый момент (яйцо материнского организма) – с целым животным царством. Каждая ступень развития есть как бы *навивающаяся нить различия* от всего другого, которую воспринимает на себя раз-

вивающееся существо, и они становятся тем многочисленнее, чем оно – совершеннее.

Г-н Леонтьев не удовлетворяется только фактами, взятыми из органической жизни, и спрашивает себя, не остается ли верным этот критерий развития и для неорганических тел? Он берет самое крупное – планету, которая является носителем всякой жизни, и в ее существовании отмечает те же три момента, какие наблюдаются и в каждом организме: 1) первоначальной *простоты*, когда она есть только газообразная или огненно-жидкая масса вещества, 2) срединной *сложности*, когда она состоит из огненно-жидкого ядра и твердой коры, а последняя из воды и суши, которая, в свою очередь, распределена в материки, различные по строению и покрытые растениями и животными, 3) *вторичной простоты*: холодная, пустынная глыба вещества, лишенная влаги и уравненная в своей форме, которая продолжает кружиться около центрального светила. Таким образом, существование всего, подлежащего закону рождения и умирания, складывается из двух диаметрально противоположных процессов:

1) *из процесса восходящего развития*, в котором возникающее обособляется, уединяясь, от всего окружающего и внутри его каждая часть обособляется, уединяясь, от всех прочих; но это обособление касается лишь формы и функционирования: все части проникнуты единством плана и он-то, коренясь в обособляющем веществе, разнообразит своею сложностью его части и вместе удерживает их от распада;

2) *из процесса нисходящего развития*, в котором все вторичное смешивается, смешиваясь, сливается и становится однородным, как с окружающим через утрату внешних границ своих, так и внутри самого себя через потерю границ, которые в нем отделяли одну часть от другой.

В обоих процессах, как это ясно, господствующее начало есть *начало грани, предела*: становится оно тверже, не переступаемое для содержимого – и жизнь возрастает; тускнеет оно, не сдерживает более содержимого – и жизнь блекнет и исчезает. Грань – это не только символ жизни, но и зижди-

тель ее; неопределенность, неограниченность – это эмблема смерти и ее источник.

IV

Собственно, приведенным понятием исчерпывается теория г. Леонтьева; все остальное – только приложения. Но, как великие метафизики XVII века, кладя в основание своих умозрений два-три определения, возводили на них строгие и возвышенные системы, так из простого, но хорошо обоснованного понятия о развитии г. Леонтьев выводит необозримые следствия, простирающиеся на историческую жизнь и на практическую политику.

Прежде всего он спрашивает себя, не подлежит ли этому двоякому процессу, восходящему и нисходящему, и историческая жизнь народов со всем их творчеством? Обилие признаков, разнообразие сдерживающих граней не есть ли и для них признак восхождения, а слияние этих граней и смешение внутреннего содержимого – признак нисхождения, как это мы наблюдаем в органической природе и даже в неорганических телах?

В принципе ограничения, в наружном оформлении выражается внутренняя идея того, в чем оно присутствует. Если мы возьмем, напр<имер>, часовой механизм, то, будет ли он сделан из дерева, из бронзы или из золота, то, *из чего* он сделан, – будет незначащим, а то, *как* он сделан, то есть вид каждой части и соотношение или связь всех их между собой (форма целого), – будет значащим. Только эта *форма* и есть *признак*, по которому часовой механизм мы отличаем от плотного куска дерева, бронзы или золота или от деревянного, бронзового или золотого сосуда. Итак, содержимое (материал, вещество) само по себе всегда бесформенно, лишено признаков и незначаще; оно будет тем, чем сделает его привходящая форма, и лишь как способное воспринять форму, то есть сделаться тем или иным определенным существом или предметом, – оно имеет значение. Напротив, форма или вид, как начало ограничивающее и

сдерживающее, исполнено значения, и когда она приходит в какое-нибудь содержание – это последнее получает соответствующий смысл. С тем вместе оно получает (принимая в себя определенную форму) и обособляющий признак. Таким образом, многоформенность или сложность признаков во всем развивающемся тождественна с проникновением в существо его внутреннего смысла: оно одухотворяется, и именно в силу этого – нарастает в нем жизненность. Напротив, растворение сдерживающих граней и смешение их содержимого потому именно и тождественно с умиранием, что с удаляющимися гранями – исчезает смысл в том, чему они были присущи; сливаясь, смешиваясь, теряя обособленность – все обессмысливается. Так, если бы к тонкому механизму, только что изготовленному из золота, мы поднесли пламя свечи – мысль, вложенная в него художником, стала бы блекнуть и исчезать по мере того, как под действием жара все его отдельные части растаивали бы, теряли твердость граней и взаимно сливались. Винты перестали бы отделяться от того, во что они входят, зубчатые колеса заменились бы гладкими, все части сделались бы неразличимы, и, подойдя к нему слишком поздно, никто не понял бы в массе распустившегося золота той мысли, которая еще за несколько минут была так ясно в нем выражена.

Если в сложном, уже развитом организме мы рассмотрим соотношение его обособленных частей, то заметим, что каждая из них как бы обращена внутрь себя и внешняя грань, которой она отделяется от всех других, смежных частей, – имеет к этим последним отношение отталкивательное, как бы враждебное; они же стремятся преодолеть ее и смешаться с содержанием, которое за этой гранью находится. Таким образом, состояние внутреннего антагонизма есть нормальное для всего организованного: борьба есть именно то, через что каждая часть продолжает быть собой и не смешивается с прочими, через нее именно прочнее и прочнее она отделяется от окружающего и по мере этого становится совершеннее. Все стремится утвердить бытие свое и достигает этого путем все совершеннейшего и совершеннейшего обособления, которое есть нечто иное, как

отрицание всего прочего. Насколько отрицает – все утверждает, насколько силится привнести в остальное смерть – само живет, но, привнося смерть, оно тотчас сливается с умершим, то есть раздвигает свои грани и в меру этого умирает. Таким образом, жизнь есть вечная гармония борющегося, и она продолжается и возрастает, пока не наступает победа; как только эта цель достигнута – в живое привходит смерть, как естественное завершение жизни. Частичное преодоление сопротивляющегося есть частичное умирание; разрешение всех граней, которыми окружающее охраняет себя от того, что с ним борется, было бы для разрушившего окончательной и полной смертью. Неограниченное, не обособленное ни от чего – оно перестало бы быть *чем-нибудь*.

Применимое к целой природе, это правило применимо и к части ее – человеческой жизни. Если мы возьмем какую-нибудь сферу его духовного творчества, напр<имер> умственную, то содержимым явится здесь мысль, как неопределенная способность представлений и понятий сочетаться между собой; формой же или гранью будет определенное сочетание этих представлений и понятий, которое мы называем обычно наукой или философской системой. Три момента, указанные г. К. Леонтьевым для всего развивающегося, без труда могут быть найдены и в этой сфере: умственное содержание человека в начале его исторического развития скудно формами и не разграничено почти никакими пределами. Истинное смешивается с ложным, и все образует однородную массу кратких, не углубленных знаний, разных понятий и мнений, которые кажутся справедливыми. По мере развития, первой гранью является разделение ложного от истинного: находятся признаки последнего (способы доказательства или вообще убеждения) и с помощью их одно отграничивается от другого. Далее, истинное по предметам своим начинает группироваться в отделы, и возникают науки, как строго обособленные части одного ветвящегося древа познания. С другой стороны, древние простые правила народной мудрости заменяются более развитыми воззрениями и по мере того, как жизнь возрастает в них, – они

распадаются на многочисленные системы философии: является этика и метафизика, в последней идеализм и реализм, и т. д. Цветущий момент науки и философии есть момент и величайшей их сложности и в то же время – повсюдной борьбы отдельных учений, доктрин: постоянно выделяются, среди уже существующего множества, новые и новые воззрения, с мягкими оттенками различий, и каждое из воззрений этих ожесточенно утверждает свою истину и, одновременно – особенность свою от всего прочего. Затем наступает период вторичного упрощения: внутренняя сила в каждом отдельном воззрении ослабевает и оно сливается с ближайшими к нему. Теряют остроту свою и твердость и более крупные деления: целые философские системы сливаются в однородные массы мнений, с колеблющимися внутренними формами. Появляются эклектики, которые соединяют прежде непримиримое, заботясь о том лишь, чтобы в полученном был по крайней мере тот или иной общий характер, напр<имер>, спиритуализма. Распространяется индифферентизм ума, он утомляется продолжительным и строгим исследованием истины и охотно ограничивается только утверждениями и отрицаниями. Остаются лишь очень общие, совершенно лишенные внутренней архитектоники, воззрения, напр<имер>, вообще материалистическое и вообще идеалистическое. Но и эти воззрения, уже очень неопределенные, все более и более тускнеют в сознании людей: в сущности, безразлично для всех становится, которое же из двух этих воззрений правильно, и ни для одного из них человек не пожертвует уже ничем, даже незначущим. Если прежде за оттенок в мышлении люди принимали изгнание, тюрьму и костер, то теперь и за всю совокупность воззрений своих никто не поступится простыми удобствами жизни. Эта окончательная простота мысли, сводящаяся к равнодушному придерживанию немногих утверждений или отрицаний, совершенно тождественна с той первичной простотой, из которой она развилась. Таким образом, в умственной области, по-видимому, долженствовавшей бы только возрастать, в действительности происходят процессы и возрастания, и умаления; выражение: «ты *персв*»¹⁰

был и персью станешь» – применимо и к духу человеческому, как и к его внешней оболочке.

Если, далее, мы рассмотрим искусство, то и здесь найдем, что в первоначальной стадии своей оно состоит в простом прибавлении к необходимому (жилище, одежда, утварь домашняя) очень немногих знаков, которые украшают, то есть необъяснимо нравятся человеку независимо от своей полезности; таков грубый рисунок на оружии или на сосуде или иное, чем было ранее, расположение в складках одежды, наконец, какое-нибудь незначущее изменение в постройке дома, напр<имер>, приблизительное соблюдение симметрии в частях его, хотя она вовсе не требуется нуждами помещения. Дальнейший рост искусства выражается в том, что это *прибавочное сверх пользы* начинает все возрастать и с тем вместе начинает становиться все сложнее и самостоятельнее: к симметрии частей в здании присоединяются резьба или придаточные украшения, к расположению складок в одежде прибавляются узор и разнообразное окрашивание, рисунок на утвари вместо фигуры зверя представляет изображение целой охоты. Наконец, прекрасное отделяется совершенно от полезного и создание последнего является уже только как средство, иногда как предлог для того, чтобы как-нибудь и в чем-нибудь выразить красоту. Одновременно с этим искусство разнообразится: появляются, сверх архитектуры, еще скульптура и живопись и изобретается музыка. В самых видах искусства появляются школы – строгие, обособленные оттенки в выражении красоты (как, напр<имер>, в эпоху Возрождения – ломбардская, флорентийская, венецианская и римская школы живописи, существовавшие одновременно). Затем начинается и здесь вторичное упрощение: внутренний принцип, отграничивавший каждую школу от остальных, теряет свою силу и все они сливаются, заимствуя одна у другой лучшие черты. Особенности в способах воплощения красоты исчезают, и остается одно лишь воспроизведение типичного в природе – это натурализм, грубый или прикрашивающий. Наконец, сохраняются лишь внешние приемы искусства, то есть его техника; все стили смешиваются, и так как ни в одном из

них человек уже не чувствует непреодолимой потребности, то чаще и чаще при создании необходимого они забываются все. Прекрасное снова скрывается в полезном, из которого оно вышло. Быть согретым в жилище или удобно разместиться в нем – это опять становится единственной заботой человека при постройке себе дома или при возведении какого-нибудь другого здания. Сообразно нуждам этим, немногим и одинаковым, все становится по-прежнему просто и однообразно.

В религии, в поэзии и во всем другом мы также заметим сложность форм в цветущий средний период развития и простоту в первичный момент и в эпоху упадка. Религия как начинается неопределенною верою в высшее духовное существо, в загробное существование, в награду за добрые дела и наказание за злые, так и оканчивается этими же простыми и смутными верованиями: деизм философа и фетишизм дикаря совпадают между собою в простоте содержания. Напротив, строгий внешний культ, сложная духовная иерархия, обильные религиозные представления и понятия – все это нарастает только к середине развития и разрешается к концу его; в момент высшего расцвета религия соединяется со всеми формами творчества и проникает все черты быта, становясь одновременно высшею философиею, на исповедании которой сходятся все люди, и высшею поэзиею, на созерцании которой они все воспитываются. Она дает формы для выражения самых противоположных чувств, ее языком выражают радость и в ее же священных словах изливают печаль. В полном смысле слова она становится неотделимою от человека и от жизни, и вот почему ни за что другое не было пролито в истории столько крови, как за нее. Что касается до поэзии, то о большем разнообразии ее в средний, цветущий период едва ли предстоит надобность говорить: она начинается с простой песни и сказки и, с другой стороны, оканчивается безжизненным пересказом, однообразною сатирою и одою. Между этими фазами вырастают оживленная драма, напряженная лирика, неуловимо разнообразные виды эпоса. Но гораздо важнее здесь разнообразие внутреннее, а не внешнее: в моменты высшего развития поэзии творчество

каждого отдельного поэта приобретает глубокую *индивидуальность*; будучи выражением своего времени, оно, сверх того, раскрывает неисчерпаемое содержание и личного духа (как это мы видим, напр<имер>, у Шиллера, Гете или у Вальтера Скотта и Байрона). Напротив, в периоды упадка поэзии, как и при ее рождении, все в ней бывает не только малоформенно, но и *безлично*: все создают приблизительно одинаково, приблизительно об одном и все в том же духе. Внутренних, неуловимо разграничивающих особенностей, налагаемых личностью поэта на его творчество и делающих из созданий его своеобразный мир, никогда более не повторяющийся в истории, – уже не наблюдается. Есть тусклое, немногосложное выражение эпохи, над которым трудится бесчисленное количество людей; но нет выражения углубленной личности, которую за своеобразие ее и мощь мы называем гением.

V

Приложимый к видам творчества, этот критерий развития не приложим ли к самому источнику их, человеку, то есть к исторически развивающимся племенам, нациям и, наконец, группам их?

Содержимым здесь является племенная масса, а нервной тканью, которая проникает ее, разграничивает и внутренне формирует, – *учреждения* и им соответствующие *формы быта*. Самая общая и резкая грань, которая обуславливает индивидуальность племени, делает миллионы рождающихся и умирающих существ живым лицом в истории, полным смысла, определенного выражения и воли, – есть политическая форма, то есть государство. Насколько народы слагаются в государства – настолько живут они в истории, и насколько по оттенку своему политическая форма каждого из них отличается от других – настолько жизнь самого народа привходит в историю новою чертою, которая не сливается с остальными. В этом отношении творить, создавать – значит быть своеобразным; быть тождественным с другими – значит

быть звуком, усиливающим шум других звуков, но не образующим с ними никакой гармонии. Спарта или Македония были ниже Афин по своей исторической роли; но если бы вместо Спарты, Афин и Македонии было трое Афин – история была бы беднее своим содержанием. Вторые и третьи Афины уже не нужны после первых.

Политическая форма только обособляет одно племя от другого, и если бы внутри этой формы не было еще других граней, – оно было бы бедно организацией, в высшей степени не развито. Развитость здесь, внутри, выражается в проходящих горизонтальных и вертикальных делениях; первые расслаивают племя на сословия; вторые разграничивают на области территорию, им занимаемую. Чем более своеобразие в пределах тех и других граней, чем полнее в них жизненное напряжение, разбегающееся в различные стороны, тем ярче жизнь целого исторического народа, глубже и разнообразнее его творчество, ценнее то, что он вносит в общую сокровищницу человечества. Но при этом единство типа должно быть сохранено – как у самого народа с остальным человечеством, так и внутри его – между всеми обособленными частями.

Единство человеческого типа у всех исторических народов выражается как в общности некоторых основ их психической жизни, так и в том, что эта психическая жизнь у каждого народа в высшем и самом мощном своем проявлении всегда является только частью, которая, очевидно, входит слагающею чертою во что-то иное целое. Общи всем народам стремление к истине, к справедливости, к красоте, наконец, искание Бога, и общи же законы, по которым они находят все это, в меру своих сил и способностей. Это единит всех людей между собой, делает их на протяжении тысячелетий помощниками друг друга на пути к немногим и далеким целям. В противоположность этому унитарному началу истории, заложенному в душу всякого человека, в нее же заложено другое начало, но уже проявляющееся в жизни целых народов, которое их разъединяет по-видимому, в действительности же гармонизирует. В силу этого второго начала, ни один истинно исторический народ не

является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, — но, не повторяя, он дополняет. Есть внутренняя согласованность в чертах этого характера и этой судьбы с характером и судьбою других народов, в силу чего лик человеческий и уже полный — не есть бессмысленный, но мы читаем в нем живую мысль и выражение. В самых неустойчивых порывах и в вековом труде, в прихотливой игре гения и в упорном постоянстве воли мы видим, как великие народы выводят каждый свою черту в истории, о которой они, обыкновенно, ничего не знают при жизни сами, но которую мы находим готовой или выполняемой, когда они сами становятся уже трупом или когда сквозь подробности их жизни мы начинаем разглядывать ее существенный смысл. Которое бы из двух великих племен, сложивших своей деятельностью историю, мы ни взяли, мы и в них самих, и в их широких группах народов, их составляющих, одинаково найдем присутствие этих, взаимно согласованных, черт, которые в одно и то же время и противоположны одна другой, и дополняют друг друга до целого. В монгольской расе одна часть, *южная*, является, как никакой другой народ в истории — жидущей, повсюду и неустанно, почти без способности отдыха и праздной лени и без способности же задумать среди этой праздности что-нибудь гениальное, великое, особенное. Как будто самой психической природой своей она согнута над землей, по которой ползти, ее разрывать, ею питаться и удобрять ее своим прахом — составляет вечный удел, над которым она не в силах подняться ни своим воображением, ни мыслью. Мирное, обширное государство китайцев, их причудливо сложный и бесполезный быт, безбрежные нивы, обделанные с тщательностью маленькой игрушки, их живопись без теней, мастерство без искусства, долгая и утомительная история без всякой примеси героизма — все это лишь многообразное развитие одного символа, в котором перед лицом других народов это племя как будто молчаливо выразило свою мысль в истории, — символа царя и сына неба, мирно идущего за своим плугом однажды в году в назидание миллионам людей, которые это же делают во все осталь-

ные дни жизни своей. И в то время, как южная часть этого племени неустанно и тысячелетия трудится между Гималаями и Великой Стеной, его *северная* часть, от Великого до Атлантического океана, не однажды проходила бурной, все разрушающей волной. С подобным инстинктом разрушения, с такой ненасытной жадой видеть растоптанным чужой труд, с каким появлялись в истории Тимур, Атилла, Чингис-хан и другие меньшие, все из одного племени и только из северной его части, мы совершенно не наблюдаем народов из других рас на всем протяжении земной поверхности. Эти «бичи Божии» для мирного человечества, эти «порождения дьяволов» для перепуганных народов, со странной ролью своей в истории, которую нельзя ни исключить из нее, ни к чему-нибудь приспособить, в действительности являются как строгая, ни в чем себе не изменяющая черта, восполняющая до целого монгольский тип. Сущность этого типа, последней цветной расы в человечестве, составляет *деятельность*, как низшая степень выражения духа в истории, высшая форма которого, чувство и разумение, составляет удел кавказской расы. Но в пределах этой слабой одухотворенности высшее сознание, управляющее жизнью народов, выразило одинаково ясно обе возможные стороны: и положительную, которой является созидание, и отрицательную, которой является разрушение. Земледелец, никогда не отрывавшийся от своего поля, и кочующий разрушитель царств, один в труде своем и другой в завоеваниях, одинаково слепо, но отчетливо для наблюдателя выражали неизвестную для них волю и оставшуюся навсегда непонятной мысль. Если, далее, мы перейдем к кавказскому племени, то и здесь найдем подобное же выделение взаимно дополняющих друг друга особенностей. Прежде всего, в своем целом, это племя представляет противоположность монгольскому по крайнему перевесу в нем внутреннего содержания, одухотворенности над внешним выражением ее, то есть деятельностью: мир наук и философии, религиозных созерцаний и поэзии — все это есть субъективное развитие духа, неисчерпаемые сокровища его, почти не выраженные. Но если, помня только эту

противоположность, мы обратимся к составу народов самого кавказского племени, мы увидим продолжение в них того же процесса выделения противоположностей. Прежде всего, семитическому духу, столь ясному и простому, так неизменно направленному внутрь себя, противоположен арийский дух, который открыт для восприятия всех впечатлений и не только усваивает их все, но и жадно их ищет. Это удивительное явление, что, не поверив истинности тех пределов, которые открывались ему в пространстве и времени, ариец переступил их все с помощью своих наук, этих чудных изобретений своего гения, — факт этот обнаруживает непонятную и, однако, несомненную связь, которую имеет его душа с мирозданием во всем, а не видимом только, ее объеме. Душа семита как бы свернута к какому-то внутреннему средоточию, без сомнения, к самому прекрасному и глубокому, к чему может только обратиться человек; напротив, от этого средоточия, вовсе не перерывая связи с ним, душа арийца развернута и, обращаясь во все стороны, жадно пьет отовсюду дыхание природы. Далее, в пределах собственно арийского племени мы прежде всего встречаем ясно расчлененный греко-романский мир. Как ни разнообразен был гений Эллады, мы можем все-таки отметить в нем одну черту, которая, не заглушая остальных сторон его, однако господствовала над всеми ими: это — чувство красоты. Не то важно, что греки создали в поэзии и в пластических искусствах никогда не превзойденные памятники (тогда как и в философии даже они все-таки превзойдены были новыми народами), не это одно значительно, что простым идеям Гомера и статуе Венеры Милосской на протяжении более чем двух тысячелетий еще не утомились удивляться люди: гораздо значительнее удивительная пластика их жизни и истории. Вся эта жизнь ясна и проста, как обнаженная статуя, она и чрезвычайно, к тому же, кратка. Но странно, что в течении всех событий греческой истории есть какая-то удивительная мера, странно, как каждое из них оканчивалось именно тогда, когда нужно, и так, как нужно. Бесплезная деятельность Демосфена, бегущий с Марафонского поля мальчик, Фукидид в числе слушате-

лей Геродота – все это вещи вовсе не необходимые, все это – прихоть игровой фантазии, которая, творя историю, не имела других целей, кроме как украшать. Мальчик мог бы не умереть, Фукидид – родиться несколько позднее, Софокл мог бы и не иметь дурных детей, но вся греческая история от этого была бы менее прекрасна, и все это было, чтобы ничего не недоставало красоте ее. Без сомнения, позднейшие законодательства и учреждения более сложны, глубоки и мудры, нежели те, какие оставил Солон и какие приписаны Ликургу; итак, во всем они превосходят их, безмерно уступая, однако, в одном – в ясной гармонии, в какой-то безотчетной красоте, которую мы и здесь чувствуем. Можно в высшей степени сомневаться в плодотворности всех замыслов Перикла, всех достижений его; в них сомневался и Фукидид; но и он не мог оторвать очарованного взгляда от личности врага своего, и мы знаем также, что Перикл – один в истории. Есть еще другая личность в греческой истории, быть может, более удивительная в этом отношении: это Алкивиад. Мы все не сомневаемся ни в его пороках, ни в полном вреде его для государства, которое любим, как свое родное: но, замечательно, мы так же бессильны ненавидеть его, как и афиняне, которых он губил. Измените *кое-что* в его образе, придайте его тщеславию напыщенность (что так естественно), его увлекающим речам – торжественность, чуть-чуть смягчите его бессовестность – и очарование пропадет, как в чудной картине, в которой всякий штрих на месте и с его передвижением – пропадает вся красота ее. И если бы не было этого удивительного юноши, мы живо чувствуем – чего-то глубоко недоставало бы в греческой истории; ей, которая, конечно, должна была окончиться, нужно было, чтобы конец соответствовал содержанию: чтобы он не был слишком тягостен и, в особенности, чтобы чувство интереса, с ним связанного, не падало. Греции нельзя было пасть, как Риму или еще кому-нибудь, в грязи, в бездарности, в отвратительном худосочии: после гениальной жизни ей нужно было гениально и умереть. И как торжественно-ясная греческая трилогия заканчивалась искупляющим смехом заключительной комедии – так и

Греция после неясного детства, которое она пережила в мифах, после героической юности, когда она боролась с «великим царем», после зрелого плодоношения в век Перикла окончилась и страшно, и вместе как-то светло в этом чудном походе в Сицилию, в странной ночной оргии с разбитыми статуями и во всех, то жалостных, то гениально-забавных, перипетиях афино-спартанской распри, с чудным Алкивиадом в центре. Все в ней поразительно, но вовсе не заставляет отвращать от себя глаз, как заставляет это делать отвратительный трупный запах, который мы ощущаем, напр<имер>, в Риме еще задолго до его смерти. Ничего, на всем протяжении греческой истории, мы не находим ни отталкивающего, ни бездарного, ни утомительно-скучного; все исполнено жизни и движения и как вовремя приходит, так и уходит своевременно. И если, поняв эту главную черту греческой жизни, мы обратимся к Риму, то без труда заметим, что его жизнь представляет как бы отрицательный полюс только что рассмотренной: в противоположность идее красоты господствующей идеею в нем является начало пользы. В учреждениях, как и в религии, мышлением, как и волею, римляне всегда ощущали только удобную сторону во всем и, скользя по этому одному уклону, создали всемирное государство и вековечное право – нормы человеческих отношений, не обращенных ни к чему высшему, идеальному.

Переходя, наконец, к народам, история которых еще продолжается, мы встречаем идеализм германцев, противоположный универсализму южноевропейских народов. Все обобщить – все слить единством формы – это составляло на протяжении веков мучительную заботу романского гения – как все разорвалось на отдельные миры и в каждом из них поставить центром личное «я» составляло недостаток и вместе достоинство гения германского. Одна молитва для всех народов, одинаковые права для всех людей и, наконец, им всем равное имущество – это стремились утвердить на земле папство, революция и социализм, все одинаково возникшие в недрах романского племени. Костры инквизиции и гильотина конвента, залитые кровью Вандея – Нидерланды – все

это страницы романской истории, говорящие о различном, но всегда в одном духе, с одним настроением. Менялись начала, во имя которых стремилась эта раса утвердить цель свою, но никогда не изменялась в истории самая цель, ради которой избирались эти начала: слить и обобщить человечество, так далеко разошедшееся в путях своих. Совершенным отрицанием этого начала является в истории дух германский, всюду разрывающий единство – в государстве, в религии, в праве и даже в науке и в философии. Раздробленная империя, рассыпавшийся феодальный строй, наконец, безбрежно расплывшийся в сектантстве протестантизм – все это факты одного порядка, следствие неудержимого стремления человеческого духа уходить, оторвавшись от единящего центра, все дальше и дальше к периферии. Специализация знаний, почти индивидуализм в науке и в философии есть продолжение в новое время того же явления. Уже Тацит заметил, что германец всегда ставит себе жилище *среди* своих полей, а не кряду с соседями, не в деревню, не в село; и эта черта духа, замеченная полторы тысячи лет назад, является господствующею во всем и теперь. Всюду, что бы ни делал германец, он «ставит свою хижину особо», – мало заботясь о других и избегая всякой заботы о себе. Так в политике и в Церкви, и даже так в поэзии. Ни к кому не обращенный монолог – это сущность не только германской лирики, но также и эпоса в значительной степени*, и лучшей драмы. В «Гамлете», в «Манфреде», в «Фаусте» наиболее глубоко выразил германский гений свою личность, и что все эти трагедии, как не уединенные монологи, лишь для разнообразия и изредка прерываемые незначащими диалогами. По справедливости, те неощутимые нити, которыми природа каждого из нас связана с природою всех остальных людей, как будто особенно слабы в этой части человечества и, ничем не сдерживаемая, она даже тогда, когда должна бы единиться (как в знании, как в вере), – неудержимо рассыпается, как рассыпа-

* Сюда относятся многочисленные *повествовательные* произведения, имеющие форму дневника, записок и пр., лучший образец их – «Страдания Вертера» Гете.

ются монады Лейбница или мир «целей в себе» Канта. Мы взяли лишь самые крупные деления и наиболее резкие черты, проходящие по движущейся в истории массе человечества, но их *всюду отталкивающийся взаимно* характер не оставляет никакого сомнения в том, что они произошли не случайно, но в силу действия высших гармонизирующих законов. Та самая причина, которая удерживает в нашем теле всякую часть на своем месте и препятствует всем им смешаться и слиться, — эта самая причина или ей подобная, расчленив человечество на расы, дала каждой из них свой особый духовный строй и определила для каждой особый тип развития. Ясно, что обезличение народов, их взаимное уподобление (если бы оно когда-нибудь наступило в истории) могло бы быть следствием только того, что эти гармонизирующие законы уже перестают действовать в человечестве.

Мы остановились так долго на сдерживающем единстве, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, г. К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил. Теперь мы можем обратиться к этому началу разнообразия, которое наряду с единящей силой является вторым живущим элементом истории.

VI

Из расчленения человечества на племена, взаимно противоположные по духу, вытекает своеобразие каждого отдельного племени, его национальный тип. Принудительный для каждого индивидуума, для всякого сословия или какой другой группы в пределах племени, этот тип сам обязан происхождением своим исключительно соотношению, в котором находится данное племя ко всем остальным племенам рода человеческого. В силу этого соотношения, оно является в среду других народов, чтобы восполнить некоторый недостаток в них, заместить пустоту, ими оставленную, но которой они обыкновенно не чувствуют и не замечают. Ясно, что несливаемость с другими типами, борьба против них, их отрицание — есть только

наружная и необходимая черта в своеобразном народе, по которой мы именно открываем, что он гармонирует с этими отрицаемыми типами, дополняет их, как недостающий звук, который, только не сливаясь с другими звуками, образует с ними необходимый аккорд. Борьба есть здесь симптом глубочайшей связи, стремление каждой части подавить остальные – только признак высокого напряжения жизни в целом.

Этот расовый антагонизм, следствие расовой соотносительности, принудительно действуя на то, что лежит внутри каждой отдельной из них, является источником ее целостности и единства. Но мы сказали выше, раса есть слишком крупное деление, и внутренняя ткань исторически движущегося чело-вечества была бы слишком груба, если бы внутри его не про-ходили еще другие деления. И эти последние действительно есть: они расчленяют каждый народ и территорию на свое-образные части, из которых самые обыкновенные – *сословия* и *провинции*. Последним делением является *род* и *семья*, внутри которого уже находится только личность, индивидуум. Закон антагонизма как выражение жизненности сохраняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отдельные роды и, наконец, лич-ности, в пределах общего для всех их национального типа – борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одно-го элемента над всеми или их общее обезличение и слияние было бы выражением угасания целого, заменой разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося трупa.

Убедительность и верность этого общего правила стано-вится особенно яркою, если мы обратимся к живой действи-тельности, то есть к истории. В какую точку ее мы ни напра-вили бы наблюдение, раз эта точка есть высшая, если в ней совершается цветение, – она исполнена страстной борьбы взаимно враждебных элементов. Все то, что народ оставляет после себя вековечного и удивительного в сфере мысли, худо-жественного созидания, нравственности или права, – он про-изводит в немногие и краткие минуты существования, когда

каждая часть в нем надеется еще победить, когда ни одна из них не знает еще о своем завтрашнем поражении и конечной гибели. Иллюзия победы, самообман от незнания будущего есть истинный источник всех великих напряжений в истории, которые создали все прекрасное и законченное в ней. Афины времен Перикла, Рим в эпоху Гракхов, Франция Ришелье и Фронды, Германия при начале Реформации были одинаково полны внутренней борьбы и духовного сияния. Кровь обильно струилась во все времена, вражда разделяла людей, когда эти люди были особенно прекрасны, исполнены веры, когда был смысл в их жизни и они знали этот смысл.

Отсюда понятно значение некоторых особенностей, которые мы замечаем в человеческой природе. Эта природа всюду ограничена, абсолютное манит ее к себе, но никогда не достигается; ей не дано сил ни к совершенному ведению, ни к ощущению совершенного добра и красоты. Человек слаб и обусловлен, и мы понимаем, что именно поэтому он и живет: глубочайшим образом, скрытно от самого человека, этою слабостью его и обусловленностью связано самое продление его жизни. Жить – значит стремиться, значит колебаться и искать, то есть еще не знать; развиваться, переходить от несовершенного к лучшему – значит все еще быть далеким от него, значит чувствовать страдание, видеть несправедливость и, отвращаясь от нее, жаждать противоположного, чего, однако, не видишь и только предчувствуешь, что неясно и непостижимо, хотя и влечет к себе. Слияние в абсолютном идеале, равно для всех понятном, – это было бы уничтожение различий и движений, то есть самой жизни в том смысле, в каком она одна дана нам здесь на земле.

И, однако, все ограниченное, приближающееся предполагает предел, к которому оно приближается. Поэтому, если жизнь, нам данная и известная, держится лишь настолько, насколько мы сами ограничены, то это только обнаруживает перед нами точный ее смысл. Без всякого сомнения, истина и добро существуют не в том только относительном значении, в каком они открываются нам, но, хотя скрытые от нас, они

существуют и в абсолютных формах; и соответственно этому абсолютно существующему добру и абсолютной истине есть и другая, более полная жизнь – за гробом. Потому что если уже иллюзия истины и иллюзия обладания добром дает нам силы жить, то истина и добро не иллюзорные содержат в себе неугасающий источник лучшей и вечной жизни; и, однако, здесь, на земле, всякое прикосновение к абсолютному было бы равнозначуще с прекращением жизни (деятельности). Следовательно, эта должная и невозможная жизнь есть, но только там, где оканчиваются условия земной жизни человека, то есть для него – за гробом. В силу причин, о которых нам ничего не дано знать, человек должен почему-то вечно трудиться на земле, и для этого внушена ему *надежда* – чтобы он хотел трудиться, и наложено *ограничение* – чтобы он *не переставал* трудиться. Но подобно тому, как смутные, неясные и сбивчивые попытки решить математическую задачу вытекают именно из того, что для нее есть решение, и даже в уме решающего есть что-то, что соответствует этому решению, но только искажено и неправильно, – так и вечно неудачный труд человека на земле указывает на что-то окончательное и уже удачное, что его ожидает, когда он окончит свой труд.

Но, во всяком случае, это абсолютное не дано нам ни как знание, ни как ощущение, и жизнь наша проходит в формах, определяемых лишь частичным его ведением и частичным же ощущением. Мы снова возвращаемся к этой относительной жизни, самую широкую картину которой представляет собою всемирная история. В этой истории г. К. Леонтьев верно определил признак высшего напряжения жизни: это – разнообразие всех элементов живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от остального, через его отрицание; однако через отрицание, не подавляющее прочего, но лишь удерживающее его от захвата в себя и ассимиляции с собою отрицающего элемента. Разнообразие положений, обособленность территорий и прежде всего богатство личного развития – вот простые и ясные признаки, по которым мы можем судить о большем или меньшем обилии жизни в целом,

будет ли то народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец, все человечество.

Теория исторического прогресса и упадка*

VII

С таким мерилom жизненного напряжения г. К. Леонтьев подходит к своему веку, к тому великому веку, которого мы все — дети и который своим величием и силою чудовищных оборотов так сковал нашу мысль, поработил желания, так обольстительно вовлек все наши страсти в движение своих форм, что мы обыкновенно ничего другого не хотим, как только любить их, им содействовать во всем, и в этом одном полагаем цель и достоинство своего существования. Нужна была особенная и удивительная сила отвлечения, чтобы стать в стороне от этого движения и обаяния и, прикинув к своему времени строгое мерило, произвести над ним суждение, отвечающее объективной истине.

Чтобы иметь силу к этому, г. Леонтьев прежде всего освобождается от всех тех личных взглядов и субъективных чувств, которыми естественно связан каждый из нас в отношении к тому историческому целому, в чем он составляет часть. Первое и самое главное из этих чувств есть чувство страдания или счастья, которое мы пытаемся уловить в человеке и произнести, основываясь на нем, свое суждение о той или иной исторической эпохе, о том или другом общественном строе. Он указывает на неуловимость этого чувства, на его неопределенность и вместе сомневается, чтобы оно отсутствовало или смягчалось в каком-нибудь процессе живого развития. Вот прекрасные слова, в которых вылилась у него эта глубокая и справедливая мысль: «Все болит у древа жизни людской; болит начальное прозябание зерна; болят первые всходы, болит рост стебля и ствола, и развитие листьев, и распускание пышных цветов сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково процесс гниения и процесс медленного высыхания,

* См.: «Русский вестник». Кн. 1. 1892.

нередко ему предшествующий. *Боль для социальной науки – это самый последний из признаков, самый неуловимый*; ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств недостаточна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение или вообще объективное мерило». Он приводит случай, которого сам был очевидцем, где внешнее движение, по-видимому, вызываемое страданием, в действительности во-все не имело под собою этого чувства: это восстание жителей острова Крит, почти не ощущавших на периферии Турецкой империи того давления, которое было очень сильно в ее центре, где иноверное население оставалось, однако, спокойно. Всякий наблюдатель, – говорит г. Леонтьев, – «был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотою их теплиц, их прелестной, честной семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов. И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже – терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины – те даже подавали султану адреса и предлагали оружием поддерживать его против критян»¹¹. Этот случай действительно поразителен. Мы припоминаем, как Токвиль в своей превосходной книге «L'ancienne regime et la Revolution»¹² также объясняет, что положение французского народа, как городского, так и сельского, было уже значительно облегчено в царствование Людовика XVI и не могло идти ни в какое сравнение со страшным гнетом, которому он подвергался при деспотическом Людовике XIV и в распушенные времена регентства Людовика XV. И вот, однако, в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал, как только этот гнет был снят с него.

Как это нередко бывает, свободному отношению г. Леонтьева к своему предмету помогло именно то, что он не постоянно был связан с ним, что круг его наблюдений и инте-

ресов долгое время не имел ничего общего с политикой и историей. Он припоминает впечатления из совершенно иного мира человеческих страданий и верно переносит значение, которое они там имеют, сюда: «Раскройте, – говорит он, – медицинские книги, и вы в них найдете, до чего субъективное мерило боли считается маловажнее суммы всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед очами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безболезненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней»¹³.

На этих-то пластических картинах, на объективном наблюдении, из которого выделена всякая примесь субъективного ощущения, г. К. Леонтьев и основывает свои заключения. Можно отвергать эти заключения, если они почему-либо не нравятся, можно бороться против них *волей*; но нельзя их оспаривать, нельзя бороться с ними *мыслью*, потому что они являются строгим и ясным результатом именно ее деятельности.

Прежде всего он останавливает свое внимание на политической стороне европейской истории за XIX век; как ярче всего выраженная, более осязательная и уловимая, она лучше всего способна осветить истинный смысл этой истории.

Знаменитые и немногие формы политического устройства: *монархия* и *республика*, *аристократия* и *демократия*, с их типичными извращениями, *охлократией* и *тиранией*, – все это, завещанное для политической науки еще в древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного: индивидуальности исторических народов. Когда люди боролись только за форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преобладании того или иного класса населения – можно было думать, что в этом преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь интерес исторической жизни, и они же должны служить постоянным предметом мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор, как поле исторического наблюдения так расширилось,

когда вопрос идет о существовании или разрушении целых культурных миров, – рамки древнего политического созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени монархию Кира, Тиверия или Карла Великого, и еще нелепее было бы подводить сюда же единовластие какого-нибудь деспотического царька из внутренней Африки. Равным образом Венеция или Новгород, Флоренция или Рим, несмотря на отсутствие во всех <...> единоличной власти, не имеют ничего общего в стране и в духе своей политической жизни. Каждый народ, страна или даже город, если они вносят что-нибудь *свое, особенное* во всемирную историю, имеют и в политическом своем устройстве нечто особенное, несут лицо свое перед другими народами, вовсе не вторящее им, никого не повторяющее в чертах своих. Именно в этих особенных, нигде и никогда не повторяющихся чертах и содержится главная суть политической жизни; тогда как в общих явлениях единовластия или многовластия остается абстрактный ее отброс, не имеющий живого значения.

Исходят исторические народы все равно из безличной массы человечества, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими потребностями, вместе обособляло бы народы друг от друга. Но по мере того, как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают восходить в истории, – их лицо в ней проясняется, индивидуализируется. Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней народов всегда и всюду сопровождает только выяснение или затемнение этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое, все не вечно в ней, уклончиво и изменчиво; и вечно только это одно – прояснение лица своего собирательным человечеством, что выражается в формировании народов, государств, наконец, целых культурных миров.

В немногих, слишком бледных, слишком скудных словах г. К. Леонтьев отмечает, однако, своеобразные *типы поли-*

тического сложения у всех главных исторических народов. В Египте это была монархия, строго подчиненная религиозному миросозерцанию, ограниченная законами и понятиями священного характера, с народонаселением, резко распадавшимся на состояния по главным формам человеческой деятельности, из которых каждая была предоставлена выполнению особой группы людей (касты жрецов, воинов, земледельцев и другие меньшего значения). Подавленность всех, от фараона до последнего нищего, одним общим для всех религиозным ритуалом и в пределах оставленной свободы – угрюмое несение каждым своего долга, вот не повторяющаяся особенность египетской жизни, серьезной и печальной, трудолюбивой и подавленной, в одно и то же время исполненной глубокой практичности и мистических созерцаний, причудливой фантазии и недоговоренных мыслей.

Светлое представление Ормузда и его вечной борьбы со злом придало более открытый характер и сообщило более деятельную, подвижную роль древнему Ирану. Царь персов*, земное олицетворение Ормузда, то борется с окружающими дикими народами, то отдыхает после победы, наслаждаясь всем, что дает природа. Около него группируются его помощники, всегда и прежде всего воины, ведущие его полчища на другие народы, еще не признавшие его власти. Это странное желание, покорив Азию и Африку, покорить еще и неизвестную, темную Европу, от которой совершенно не видно было, что именно можно получить, есть лишь необходимое и естественное продолжение той мысли, что свет должен окончательно воспреобладать над тьмой и привести всех к единству и к поклонению единому владыке, олицетворению единого всепобеждающего добра и света. Вероятно, никогда еще и ни в какое время царская власть не была окружена таким благоговейным чувством, как здесь, и к этому чувству не примешивалось ни-

* Замечательно, что не царь *Персии*, то есть не страны, не территории, а именно людей, ее населяющих. В этом титуловании себя цари персидские бессознательно выразили взгляд на свою, и с собой – всего Ирана, миссию в истории.

чего вынужденного, подневольного. Г-н К. Леонтьев рассказывает, как он удивлен был, прочитав об одном действительно поразительном факте из истории греко-персидских войн, который рисует смысл древнеиранской жизни в несколько ином виде, чем как мы привыкли представлять его себе: «Во время случившейся бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса; при этом они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним прежде, чем кинуться за борт... Я помню, — продолжает он, — как, прочтя это, я задумался и сказал в первый раз: это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижных Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи»¹⁴. Во всяком случае, этот факт обнаруживает, что в сердце людей, которых мы привыкли считать только варварами и рабами, жили чувства, настолько внутренне сдерживающие каждого, насколько это возможно только при самой высокой и многовековой культуре, при особенных дарованиях народа, при вере его в высшие мистические идеи, управляющие историей и осуществляемые в жизни народов: потому что ведь как легко было при этом вельможам выбросить самого Ксеркса за борт, если их самопожертвование не было сознательно и свободно.

Переходя на европейскую почву, мы встречаем, на утренней заре ее истории, цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств, слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учреждений, но, главное, языком и религией. Городской характер этих государств, полное безучастие сельского люда в историческом движении — вот общая и в высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, πόλις¹⁵, и среди его площадь, вечно шумящая народом, — вот что постоянно рисуется перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин. Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа и воины, поспешно выходящие из нее и идущие к недалеким границам или сажая

щиеся на корабли в близлежащей гавани, – таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем протяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то дробно в ней и все – человечно. Нет величия огромных массовых передвижений, нет темных влечений и неясных мистических созерцаний; все в высшей степени отчетливо и ясно как в мышлении, как в чувстве, так и в течение исторических событий.

Мы уже заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так краткой и, однако, так привлекательной для всех последующих народов, гораздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключительно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное содержание греков, как-то удивительно выпукло выразилась наружу, не оставив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть то именно искусство, где за выраженной, ясною чертою ничего не скрывается, нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет неуловимых переливов, какие есть в музыке. Оно действует исключительно на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная ей живопись, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинающихся и оканчивающихся линий, действует главным образом на внутренний мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке слух, не восприимчиком впечатления, но лишь проводником его. Но даже в статуе или в изваянии греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало в себе состояние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих художников. В этих воплощениях, к всегдашнему удивлению людей, никогда не было изображения глаз, то есть, по нашему представлению – главной красоты человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выражение. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании эпоса и трагедии над

лирикой также высказывается объективный характер их творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к выражению внутреннего. В эпосе пересказываются, в трагедии передаются точно движения и слова другого, но не движения своей души. И что бы другое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой души, они не оставили после себя никаких молитв, то есть никакого уединенного обращения к Богу, как бы они его ни понимали. Торжественные церемонии, общественные процессии, наконец, жертвоприношения, совершаемые от лица народа государственным сановником, – вот в чем выразилась у них потребность религии, красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность. Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наиболее глубоким искусством.

Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже сама собою вытекала из этого объективного склада их души. Дом как место сна и даже не всегда место обеда (Спарта) и, наоборот, общественные здания как место постоянного времяпровождения – вот бросающиеся черты городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до глубокой старости, грек среди нее воспитывался, для нее творил подвиги и от нее только желал и добивался удивления, этой особенной и поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был способен. И в самом деле, как дружба*, так даже и брак имели всегда у них собственно чувственную основу, с очень сильною примесью эстетического, но нисколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас мысль Платона**, что семьи должны бы

* Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на рассказ о падении Пизистратидов – у *Геродота* и на многие указания в диалоге «Федр» – *Платона*.

** Высказанная им в «Республике».

быть устраиваемы, пары сводимы – государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афинянина или спартанца, и отсюда – такая возвышенная любовь к нему, такая привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граждан, открытость всех их отношений и также – их простота, безыскусственность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рынка юношей, беседы в тенистых садах Академии и в Лицее и это всегдашнее «ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутливости при самом серьезном содержании речей – есть уже невольное и естественное проявление широко развившейся семьи – государства.

Слишком понятен и тип политического сложения, который развился отсюда. Так тесно, так близко примыкая к государству, каждый грек являлся как бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них, – их же и стягивала и единила. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государства, и только малолетство или безумие могло помешать всякому вмешиваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на всякое возвышение, на тиранию. Это было нечто *противоестественное* в греческой общине и именно как *противоестественное* – возбуждало в себе смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения пользы, ни экономические выгоды, ни слава внешняя не искупали того позора, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На время тирании община как бы замирала, и хотя события, иногда даже великие, происходили, история ее, как биение внутренней жизни, останавливалась. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые составляли против тирана и каким бы путем ни было – свергали его. Среди несчастий или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах – все равно была жизнь после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда остракизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям, как предупреждение тирании; отсюда – предпочтение ей даже внешнего порабощения, как последнего средства от нее освободиться.

Властитель во всяком другом государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь *задевающих* отдельное лицо; в Греции он был *присвоителем* того, что составляло неотъемлемое внутреннее содержание каждого, — он был врагом и оскорбителем всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община, которую поглощена, сдавлена, но и определена в достоинствах своих, воспитана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались, как равными равному, и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается украшающее и возвышающее доверие, которое оказывается другу. Вспомним, чтобы лучше понять это явление, отвлечение и негодование, которое вызвали к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были представителями начинающейся розни, распада слитой некогда общины на мир индивидуальностей, из которых у каждой есть *свои* заботы, нужды и интересы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном, не пошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, открытость каждого ко всем сказывалась во всякой черте их жизни, во всяком движении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего народа, в Экклезии¹⁶ или в Буле их ораторы так же состязались, как борцы на Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого чужестранца объяснить их государственное устройство, как, понимая последнее, без труда было бы можно определить манеру их воплощения красоты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.

В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех соседних народов, напр<имер>, гораздо сильнее, чем какое было у древних персов. Оно находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан города, всех городов Греции. Война международная — это все-таки симптом связности народов, хотя и отрицательный, и греки никогда не вели войны с «варварами», пока они не напали на них. Все войны греков — внутренние, между собою, и замечательно, что никогда поводом к войне не было желание

для себя территориального расширения за счет соседей. Завоевательных войн, где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно греческом периоде истории почти не знаем: и это есть признак отсутствия в Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между собою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за гегемонию» или, точнее, *против* гегемона, то есть против выдающегося какого-нибудь города, который, обособляясь от прочих, силился стать над ними тираном. Таковы Пелопоннесская война против Афин, коринфская и фиванские войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную связь между собой греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь святилища, равно для всех драгоценного (так называемые священные войны), или помощь городу против овладевшего им тирана (напр<имер>, Спарты – Афинам против Гиппия). Таким образом, и внешние отношения, и внутренний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политического сложения, который не наблюдается раньше и не повторялся потом.

Черта психической объективности и вытекающей отсюда гражданской связности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность интересов (*res publica*), поручаемость и безвозмездность государственных функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но взамен конкретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованию понятий, нежели к созданию образов. Неразвитая мифология, божества как символы понятий или отношений (напр<имер>, божество границ – «термин», или храм Согласия), слабость всех образных искусств и великое развитие права есть последствия этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано уже было, на полезную сторону во всем. Образы чередуются, тогда как понятия развиваются, то есть растут и усложняются, захватывая все более в себя содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или приложимости, – и эта разница в отношении

двух продуктов человеческого духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы, которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом деле, все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои политические формы древний Лациум, потом Италию, наконец, все побережье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что межгосударственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одной чертой своей отсутствуют в Риме, другой же повторяются. В противоположность греческим государствам Рим есть община, постоянно сляющаяся разрушить или поглотить соседние, но не территориально, а, собственно, политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию, сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у соседних общин, подавляет у них волю, независимое проявление своего «Я», подчиняя и сливая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных договоров, которыми была связана Италия, но вовсе не *присоединена* к Риму перед пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим выступил за пределы Италии и стал собственно завоевательным государством, он постоянно завоевывал собственное право, а не территорию, искал более подчинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр<имер> к Нумидии, к Македонии, к Египту и, наконец, к азиатскому Востоку, ясно показывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физической. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь границы у Франции, у России, – мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте пространство Римского государства, мы, собственно, очерчиваем сферу его мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени, когда какая-нибудь страна стала *частью* Римского государства, всегда так затруднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе, присасывал и, наконец, вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной народ. Конечно, во времена

Нерона вся Италия уже *была* Рим; но когда это *сделалось*, после какого события или в каком году? или когда была поглощена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность ассимилирования со своим организмом внешних национальных тел была одной из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент поглощаемый народ не знал, что собственно он уже поглощается; было незначительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в истории, – и не казалось необходимым напрягать все силы, чтобы во что бы то ни стало удержать эти штрихи, без которых существование ведь продолжалось и только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое существование, какие велись против Рима, были для него уже борьбой внутренней, бессильным биением живого тела, вошедшего, но упорствовавшего раствориться в римском теле (напр<имер>, борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р.Х., начало же поглощения их относится приблизительно к 305 г. до Р.Х.).

В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе всего внешнего шло в Риме и урегулирование от взаимных отношений всего внутреннего, что выразилось в развитии права. Направление созерцания в сторону полезного, абстрактный характер этого созерцания, бессознательно извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу, наконец, объективность всего душевного склада – вот психические задатки, из которых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые, были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основой.

Все указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его политическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности. В его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его историческом возрастании и самой смерти все правильно и ясно, все просто, – как красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфеноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь,

привлекает и удерживает долго наше созерцание, давая ему наслаждение умственное или художественное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то чужды для нас, не вызывают сожаления к себе, как почти не жалели они и друг друга. Нет нравственного момента в их жизни и истории, и это от того, что есть великий недостаток в ней субъективного. Они близки были друг к другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы удивляемся им, но вовсе не любим их как людей.

Средние века представляют собой антитезу этому миру: все в них неправильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытны искусство, понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолепных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь неизвестному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение — удовольствие, похожее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодной красотой их подобию — статуи. Все опять просто и естественно вокруг нас, в этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем Средними веками. Люди говорят, а не произносят речи, воюют, а не совершают только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не гениальны — и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним, заинтересовываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень многое в них любим.

Если мы станем искать источника этой разницы, которую наблюдаем, не в степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самых чертах *лика человеческого* на протяжении полутысячелетия после падения античной цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству. Из всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, говорящая совести человека в уединении, то есть она наиболее запечатлена *индивидуализмом*. В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу и к народу же обращены были увещания израильских пророков, Христос — и это впервые было в истории — обратился к одному человеку,

к лицу: его беседы с Самарянкой и с Никодимом, его притчи, высказанные ученикам, все это уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной целью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история, которая долго еще шла мимо всего этого с шумом и треском, все иссякая и иссякая, все теряя силы, впала, как бы подсеченная в корне, в круг этих стоявших в стороне интересов и с тех пор идет вот уже второе тысячелетие силами, которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он раскрыл в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племенем, за государством, за общественной жизнью и общепринятыми обычаями, – и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной историей, которая, конечно, стала так же вечна и неувядаема, как неувядаема в вечных возрождениях своих человеческая совесть.

Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром таким была городская или родовая община. Там за пределами государства все тусклее становилось то, что непосредственно примыкало к человеку, и, наконец, он сам – совершенно неясный образ, только менее или более удачный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него государством. Напротив, самое ясное и самое твердое теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освещает, – *семья*. После религии, после отношения к Богу, первой святыни Средних веков – второю святынею становится семейный круг. Классическое «с ним или на нем», которое обратила спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, – не имеет никакого смысла в Средние века; и, напротив, получили смысл уединенные молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был

осуждаем всеми и даже действительно дурен. Все переменяло характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хоров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живет, живет не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осененным светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех уединенной жизни, выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.

Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое все текло отсюда: государство уже не привлекает более непосредственно к человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только неприятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить страну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах самого общества заставляют отрывать каждого свое внимание от семьи и часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называем государством. Таким образом, отношение к нему в новой истории становится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в Древнем мире оно было внутренним и интимным, ему одному отдавалась несдержанная страсть. С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отношение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского государства, как республика — античного, языческого. Общий интерес, дела, касающиеся до всех, каждое *res publica* — есть только бремя, которое никто теперь не хочет взять на себя и в которое чтобы вникнуть только — нужно забыть на время самые дорогие и близкие интересы, пренебречь то, с чем слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, кто за каждым сохраняет самое драгоценное для него, уединение и заботы о близких, каждому — оказывает благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда — взгляд на царскую власть как на источник благодеяния, поэзия и любовь, которую она окружена. В античном мире ставший один

над всеми, даже когда он для всех благодетель, есть *τυράννος*, похититель власти, всех и каждого враг, в новом мире – это заботливый устроитель общих дел, охранитель над всеми, который отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары. Его личность неприкосновенна, почти свята, его характеру удивляются, хотят знать его частную жизнь, которую любят почти как собственную. Рассказы о Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде Английском, все эти трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памяти, – как далеко отошли они от образов Тиверия, Дионисия Сиракузского или хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в могилу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого в роде людском со всеми, ранее или позже налагает свою печать на его духовный образ, дела и тайные мысли, конечно, с индивидуальными изменениями; но каждый становится тем, что от него ожидают, и это не менее тогда, когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность – любовью. Но в Средние века (и вообще в христианской истории) даже и положительно слабые государи, не успевшие ни устроить подданных, ни защитить их, пользовались, однако, их добрым чувством: о его несчастьях на войне, о его падении с престола вспоминали с большим участием, чем даже и о собственных бедах, о разорении целой страны, – факты, не известные в античном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозрительное отношение даже к Периклу). Отсюда слияние всей новой истории с личной историей государей, с рассказами о судьбах династий, – как в древности слияние ее с форумом, с *αγορά*¹⁷, сенатом – экклезией. Замечательно, что до последних десятилетий нашего века это не понималось как ошибка, не чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писали свою историю. И в том, что никто не чувство-

вал здесь чего-либо ложного, находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя: «Государство – это я». В совершенно строгом смысле слова эти мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова и Альфреда Великого, – государь, понятно, был носителем государства, то есть совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире и, когда еще оставался досуг от всего этого – личный досуг (Людовик IX), учредитель форм быта, строитель наук, литературы и искусства. Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если б можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.

И второстепенные подробности политического сложения христианских народов также вытекают все из начала индивидуальности, обращения человека внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство общих дел в античном мире поручалось по доверию некоторым и было, в каждом отдельном случае, как бы добровольным сложением власти многих на одного: это высокое право – принять хоть временно на себя власть других – приобреталось не только выдающимися достоинствами в частности, но и общим, постоянным несением на себе бремени большего, нежели какое несли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах и несение почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на государственные должности: за право получить власть от бедных богатые принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть военной службы, что было, впрочем, лишь самую общую и, для каждого отдельного лица, низшею формою государственной власти: правом, которое принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного служения и простое выражение признательности за государственные услуги, лавровый или дубовый

венек, наконец – триумф, это все естественно вытекало из античного взгляда на государство, из чрезмерной близости к нему, к его идее и выражению всякого живого индивидуума. И все это стало непонятно и невозможно в новом мире: как только центр жизни, внимания и забот переместился в частную жизнь, для общей можно было найти служителей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочими. Там эта служба покупалась как право, здесь она оплачивалась как обязанность. Отсюда вытекли два великие последствия: перемещение государственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управления взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством христианства и как бы вопреки его светлым заветам, мы видим, что повсюду, и даже до наших времен, бремя уплаты государственных повинностей, как и линейной службы в войсках, всею тягостью своей лежит по преимуществу на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы обеспеченные и свободные: *ubi ementum – ibi enolumentum*¹⁸. Эта правовая формула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно сильная и постоянно действующая причина, которая в силах была бы породить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христианства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства государство так далеко отодвинулось от индивидуума: для церкви или по предписанию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может посвятить всю свою жизнь заботе о ближнем, о неимущих, о страждущих. И факты заботы этой, не известные в древности, продолжают до наших времен вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения действий, *индивидуально никому не нужных*, что может заставить христианина отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви, о своем личном загробном спасении? Ради чего он погрузится в весь этот мелочный, неприятный и часто нечистый водоворот текущих или особых дел, где так часто нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказать? Для его свободной

души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем жизни и грозным судьей, перед которым он должен дать отчет не только за одну свою душу, но и за детей своих, — для него оставить эти высокие и чистые заботы для разбирательства вздорных дел между дурными людьми, для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное и тягостное. Вот почему вплоть до начала XV века, когда во всей Европе совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение отчетливо организованного государства было невозможно. Только с этого времени, взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной административности, возникает государство с все приближающимися к этому типу формами. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и в новом государстве; та общая сословная масса, из которой выходят оберегатели общих интересов, будет ли это воин или чиновник, в шлеме или в мундире, эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просвещенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей, кроме одной: обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе, как внешнем, так и внутреннем. С той разницей, повторяем, что в феодальном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, строго индивидуально по выражению, — что вполне согласовывалось с религиозным духом эпохи: рыцарь — повсюду, член феодальной иерархии в своем районе был сберегателем справедливости и свободы, действующим по своему побуждению, лишь в слабой зависимости от сюзерена, и притом по преимуществу в отношении к частным людям; что все и производило тогда какую-то чудную смесь личной инициативы всюду — с громадной массивностью народных масс, уже вступивших в историю, и начал религиозно-нравственных — с политическими.

По мере того как из хаоса феодальных отношений возникало новое государство, эта независимость в проявлении забот обо всех стала уступать место принудительности и безличности: возникла бюрократия, как посредствующее звено между государем и страной, как орудие деятельности первого, которая

могла бы достать всюду и коснуться всего. В силу той безынтересности государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о характерной черте новых времен, орудия деятельности этой, то есть звенья бюрократической системы, могли быть привлечены к деятельности на общую пользу не иначе как платой. Отсюда – оплаченный чиновник как непременная принадлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или республика Соединенных Штатов. Всюду за те заботы, которые отнимает он от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам людей, он требует и получает особенные выгоды, которые передает своей семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут, по вышеобъясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе – все высокочеловечное, самое существование особых облегченных классов утратило всякое основание: они опустились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя лишь одно преимущество – избыток материальных средств. Безличная, не расчлененная масса народа и управляющий класс над ней, как единственное и новое сословие, есть общая черта государств современного типа. Но купленная забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она куплена. Отсюда – развитие в новом государстве наружной стороны деятельности, отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-либо жизни, устремленности, достижения, и так как лишь этой периферией система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло вечное убежание этой истории от руководства системы, которая напряженно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изощрение контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещание прибавить еще (награды, повышения, знаки отличия) – все это есть ряд усилий, делаемых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность далеким перифериям, не знающим и не хотящим, не чувствующим в самих себе каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хороших сторон человеческой природы

является печальная и сознанная необходимость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в человеке, на его алчность, какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собой ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплодны: какая бы цель для деятельности ни была поставлена и какая бы награда возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неизменно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда, где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глубокое бессилие есть неизменная черта новых политических дел, возникших повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях: но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире был нормой, а равнодушие – исключением. В христианском мире, где государство есть второстепенное для человека, а не первое, это стало наоборот – при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минувшей истории и ожидаемой.

В целях удобства, возможности какого-нибудь действия это управление не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробегающая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным нитям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с фактами реальной жизни, силясь овладеть этими фактами. Восхождение движения обратно к центру от фактов хотя, возможно, и есть, но всюду затруднено, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в центре, абстрактность идей его и даже страстей и затруднительность движения для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь редкую уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому руслу, никем не направляемому, – вот общая картина этой системы, почти без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду картина самой территории европейских государств, которые, как остов нервную систему, облекают эту администрацию и вполне повинуются ей, ее внутреннему закону в своих внешних чертах:

уторопленная жизнь в центре каждого подобного государства, и притом жизнь крайне абстрактная, без ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей, национальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столицы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собой, как фотографии, снятые с одного лица. И до самой периферии, начиная от этих центров, всюду поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значительного интереса в себе для наблюдателя, без счастья, кроме покоя, без других забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интересы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном, ни на минуту не успокаивающемся; и это беспокойство есть самая главная печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого существования, сюда стянувшиеся.

Таковы резкие, бьющие в глаза особенности новой истории, вытекшие все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад развитие человеческого духа в новой религии. С этого времени, повинувшись этому уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противоположную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается добавить еще немного слов, чтобы закончить картину этой истории, и именно — выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно народных масс в государственной жизни.

Древнему миру вовсе не известна была противоположность между государством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, то есть совокупность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и традиций государства. И кто враг был этому государству или что клонилось к его ущербу, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там всегда была борьбой в пределах самого государства, одного элемента его против других, то есть она носила строго внутренний характер, была вполне законна, и ее влияние на развитие государства всегда было плодотворно. Напротив, в новой истории, с возникновением христианской семьи, со строгим и возвышенным развитием церкви, общество отде-

лилось от государства, и вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика государства вызвали строгую критику и даже осуждение со стороны общества, — факт, не известный в летописях истории до появления христианства. В античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникновением философии, могли появиться в ее особых понятиях опорные пункты для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с новой стороны показывает, как мало гармонировали Академия, Лицей и Стоя¹⁹ с Акрополем и Форумом со всей этой светлой, связной, в высшей степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скрытый перелом истории к чему-то новому, совершенно отличному от прежнего. Но философские понятия никогда не могут быть достоянием многих, и изгнание Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристотеля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах своей совести всякий имел постоянный критерий, который он не колеблясь применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политическим строем стала более невозможной: стала возможна особая история общества и всего того, что из него свободно выросло: религиозных движений, искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики государственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы моменты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений и общество с великим духовным миром, им созданным, становились друг против друга, чтобы победить или умереть. Таков был, между прочим, смысл

французской революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной только в христианской стране – по своему основанию, по точке опоры, какой она никогда не получила бы для себя в языческой стране*.

Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется особый характер как важнейших чисто европейских законодательств (то есть возникших без участия римского права и не на романизированной почве), так и характер в новой истории представительных собраний. «Magna charta libertatum»²⁰, «Habeas corpus»²¹, «Билль о правах»²² – эти знаменитые юридические акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государства, провести вокруг каждого черту, за которой с семьей своей, со своими высшими духовными интересами он как бы не чувствовал государства и его ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуализма лежит на этих государственных актах, – в противоположность античному миру, где всякий государственный акт расширял сферу общей деятельности (*res publica*) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой аналогии со всем сказанным), тогда как в Древнем мире всякое представительное собрание (сенат, комиции²³, буле и экклезия, герусия²⁴) имело характер, ведущий историю, в новой истории всякое подобное собрание имело характер, только ограничивающий это ведение или в нем участвующий. Вначале, когда государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших людей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии, эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, представляя собою общество, они

* Сравни судьбу Тиверия и Кая Гракхов, боровшихся за ясные для всех материальные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, боровшихся за гораздо более отвлеченные принципы.

стали ограничивать. Но в высшей степени замечательно, что, где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают критику стоящего в стороне общества, но не его действительность. Так сделался удален, со времен христианства, мир индивидуальных желаний и даже мыслей от общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные личности не могут найти способа *осуществлять* его, но лишь смотрят и критикуют то, что перед ними осуществляется, — и это одинаково в республиках, как и в *ограниченных* монархиях. Поэтому, в строгом смысле, *rei publicae* не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, но местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками, скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покорны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях незатемненных. Венец царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют на головах нескольких людей, — для большего удобства, говорят они, народа, которому, однако, предоставляется лишь смотреть на это, бессильно желать этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких он не имел прежде.

Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех новых. В бессмертной формуле своей Аристотель выразил сущность первого; ἄνθρωπος ζῶων πολιτικὸν ἔστιν²⁵, сказал он, думая о современном ему мире, высказывая то, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная красота, обилие жизненности в государстве и гражданине были простыми следствиями только этого факта. Был удивительный период в истории, когда человек не только ощущал, но и дышал, но и мыслил, но и желал только внешними покровами своего существа, подобно тем странным, еще неразвитым животным, которые живут только кожей. И этот период окончился навсегда, как только принесено было на землю Евангелие. С ним и через него вырос внутренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не укладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности.

Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец, — он художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо некоторое и искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И, не подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не устанавливая внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа — менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных*.

* Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появились еще в языческой Римской империи и что 2) в некоторые эпохи новой истории у тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это отметим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христианства) стало подготавливаться выясненное нами политическое сложение, в нем, в этом факте, с новой стороны обнаружилось подготавливание к принятию христианства: формы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, которое только подготавливалось в это время на дальнем Востоке. Замечательно, однако, что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей перешла к ясному выражению себя в истории. 2) Из новых народов у всех и во все эпохи есть более или менее выраженный уклон в указанную сторону; но, сколько по этому уклону, многие из них задерживались в движении своем разными историческими обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бюрократизма и централизации (сравни, например, Испанию при Карле V и Филиппе II); и, по истечении достаточного времени, все страны Европы принимали вид, нами очерченный. Но (и это главное), имея задачу высказать лишь схему нового государства, мы указали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях духовного сложения новых народов; а это последнее возникло главным образом из христианства, в котором, именно, индивидуализм и субъективность могли дать основу для особого строя общественной и государственной организации.

VIII

В пределах этого общеевропейского типа жизнь единичных, сколько-нибудь значительных народов новой истории приняла своеобразное выражение. Мы приведем здесь слова г. К. Леонтьева, хоть и кратко, но ясно и справедливо указывающие важнейшие из этих оттенков:

«Италия, возросшая на развалинах Рима, — говорит он, — около эпохи Возрождения и раньше всех других европейских государств выработала свою государственную форму в виде двух самых крайних антитез — с одной стороны, высшую централизацию, в виде государственного папства, объединившего весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же — для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых государств, которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.)».

«Государственная форма, прирожденная Испании, стала явна несколько позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями, — нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета этой политической формы».

«Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Ришелье и Людовике XIV, исказилась она в <17>89 году».

«Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия, или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом. Эта форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском».

«Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов <18>48 и <18>71) следующая: *союз государств небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избранным императором-сюзереном* (не муниципально-го, а феодального происхождения)»²⁶.

Нельзя отрицать, что эти формы государственного сложения типичны для перечисленных народов и что ни одна из них не была присуща какому-либо другому народу, кроме одного указанного. В своем роде они столь же характерны, как, напр<имер>, дорическая и ионийская формы для отдельных государств древней Греции.

Приблизительно с половины XVIII века все эти формы постепенно выяснились; во многих выяснение это продолжалось и в XIX веке.

Одновременно с этим процессом установления *внешнего разнообразия* происходило и возрастание *внутреннего духовного творчества* европейских народов. Век Возрождения в Италии совпал с наиболее полным развитием католицизма и с наибольшим расслаблением собственно Италии, накануне отпадения Лютера и внешнего порабощения французов и германцам. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и, с другой стороны, Козимо и Лоренцо Медичи, папы: Николай V, Юлий II и Лев X – сошли или сходили еще только в могилу, когда по ту сторону Альп раздались негодующие крики реформы, а Франциск I и Карл V набирали союзников для борьбы за прекрасную страну, которую они залили скоро кровью. Ни культурно в духовном отношении, ни политически в смысле дальнейшего выяснения своей особой формы Италия ничего не произвела в последующие века. Процесс, наступивший для нее, чуждый каких-либо бурных переломов, г. Леонтьев характерно и справедливо сравнивает с *медленным высыханием*, какое мы наблюдаем во всяком дереве, принесшем свой плод.

В Испании за высшим расцветом политической формы, отчасти совпадая, отчасти немедленно за ним следуя, наступил также высший расцвет духовного творчества: Лопе де Вега,

Кальдерон и Сервантес в сфере поэзии, Веласкес и Мурильо в сфере живописи как бы окружают собой замечательную личность Филиппа II, в котором гений испанского народа отпечатлелся с такой несравненной яркостью. И здесь, за этим резким обособлением в форме, за ярким сиянием внутреннего содержания нации, наступил тот же процесс медленного истощения сил и внешнего упадка, какой мы отметили уже для Италии.

Во Франции век Людовика XIV есть центр, около которого группируются, подготавливая его или расшатывая, великие министры Ришелье и Мазарини, короли Людовик XV и Людовик XVI. Именно это время, обнимающее с небольшим столетие, было временем высшего расцвета духовных сил французского народа: между Декартом и Кондорсе, между Паскалем и Фернейским мудрецом²⁷ здесь проходит ряд поэтов, ораторов, великих трагиков и мыслителей, которые заставили в течение почти двух веков преклониться всех перед умственным превосходством Франции. Сильное умственное движение здесь в первую половину XIX века должно быть отделяемо от предыдущего по корням своим: оно связано исключительно с революцией, о значении которой будет сказано ниже.

В Англии век Елизаветы был одновременно и веком Шекспира, эпоха Стюартов – временем Бэкона и Мильтона, а царствование Оранской и Ганноверской династий, – когда, собственно, и получило свое полное развитие парламентское правление, – было временем Локка, Ньютона и Адама Смита, а с другой стороны, таких поэтов, как Аддисон, Дефо, Свифт, Поп и др. По некоторым причинам особенная форма политического сложения Англии удержалась долее в своей цельности и самобытности, нежели в других странах Европы; и, в соответствие этому, долее, нежели в других странах, в ней продолжался высокий расцвет духовных сил. Байрона можно и следует рассматривать как завершителя высокой самобытности английского гения, уже полного предчувствием последующего падения, уже с отвращением и ужасом ощущавшего приближение эпохи, когда погаснет всякий гений и все ярко выразительное, индивидуальное в лице европейского челове-

чества. В другом роде и теснее примыкая к родине писал его современник Вальтер Скотт: как тот почувствовал с ненавистью будущее, так этот обратился с любовью к прошлому и стал Плутархом Англии и всей старой Европы, любящим собирателем ее легенд, преданий, истории. Теккереи и Диккенсы стоят уже на рубеже новой Англии, оба равно исполненные чувства действительности, но без какой-либо способности отнестись к ней положительно или с увлечением.

Наконец, если мы обратимся к Германии, то найдем в ней два момента высокого подъема умственных сил: век гуманизма, с Эразмом и Ульрихом фон Гутеном в центре, и век оригинальной, гуманной образованности, который обнимает собой вторую половину XVIII века и первую – XIX-го, с Шиллером и Гете, с Кантом, братьями Гумбольтами и Нибуром в центре. Человек как предмет внимания и изучения в его духовном содержании и историческом развитии – вот особенная сфера созерцания и воплощения, которую открыл германский гений для остального человечества. И наибольшая яркость как этого изучения, так и этого воплощения относится к эпохам великих коллизий между империей и княжествами, когда ни первая не поглощала собой вторые, ни эти последние не утрачивали, разрушая империю, всякую связь между собой и сознание единства.

Теория исторического прогресса и упадка

IX

Прежде нежели перейти к указанию на то, что за всем этим наступило для Европы, мы остановимся на глубоких соображениях г. К. Леонтьева о приблизительной долговечности национально-политических организмов в истории.

Нет сомнения, в процессе возрастания и падения государств есть столько темного, необъяснимого пока для науки, что всякая попытка подойти к этому вопросу с догматическими утверждениями, со слишком точными мерками, должна быть признана преждевременной. Но также нет сомнения,

что, насколько все государства суть действительно возрастающие организмы, к ним приложима общая истина об умирании всего органического, – и, притом, умирании через известный срок, далее которого жизнь не может тянуться. Все развивающееся – развивается *во что-нибудь*, и, раз это «что-нибудь» осуществлено, есть – наступает предел для существования того, что его осуществляло собой. Таким образом, ни в смерти государств, ни в продолжительности их жизни нет никакой игры случая и, с тем вместе, нет безграничного разнообразия: есть норма, есть грань для всего этого, до которой не дорасти можно по каким-либо историческим обстоятельствам, но за которую *перерасти* невозможно ни для какого народа. Есть *мера жизни*, отпущенная для всего живого: для растения, для животного, для человека, и так же – для вида, породы и, наконец, для нации.

Но самая жизнь является здесь под тремя формами: культуры, собственно народности и, наконец, государства. Первая как существование в истории самых продуктов народного творчества – бытового, умственного и художественного содержания – бывает неизмеримо продолжительнее, чем существование народа. И причина этого понятна: все эти продукты ясно содержат в себе неразрушимое идеалистическое зерно, около которого удерживается и многое такое, что само по себе незначаше и непрочное, но в связи с зерном этим, никогда не сгнивающим, продолжает существовать неопределенно долгое время. Тот или иной навык, тот или иной склад жизни может обладать пластической красотой, – и он перенимается другими народами, распространяется и продолжает жить, когда сам народ, его выработавший, уже давно исчез. Еще более обеспечено существование культуры, когда она богата началами философскими, научными, поэтическими, религиозными. Элементы Эвклида, какое-нибудь правовое понятие Рима, наконец, рисунок Рафаэля или монолог из «Гамлета» – это в своем роде вечно неразрушимые вещи, которые не перестанут существовать в человечестве, пока существует, понимает, любит и наслаждается кто-нибудь в нем.

А с этими неразрушимыми вещами останется и множество подробностей, которые лежали в характере и в быте народа, из души которого все это выросло.

В этом смысле можно сказать, что ни одна из исторических культур не погибла окончательно; но элементы всех их рассеянно живут в нашем образовании, в нашем быте и, без сомнения, через все это – в складе нашей души. Нет более Финикии, но есть финикийский способ закрепления на бумаге своих мыслей; песок пустыни покрыл древнюю Ниневию и Вавилон, а сравнения, а обороты речи, произнесенные там тысячелетия назад, мелькают еще иногда и в нашей речи – явление удивительное, если в него вдуматься глубже. Умерли города, народы, великие царства, а сильное и прекрасное движение души человеческой, закрепленное в слове, по-видимому, исчезнувшее, как только замолк его звук, вечно возрожденное, добежало до нас, и мы его любим, им трогаемся, как и безвестные лица, его впервые произнесшие.

Менее продолжительно, но все-таки очень долговечно бывает существование народностей, как простой этнографической массы, как неопределенного субстрата, из которого выделяется и вековая культура, как высший цвет его, как его ароматическое дыхание в истории, и государство, как внешняя его форма, как наружное самоопределение. Этот физический субстрат истории существует неопределенное число веков до ее начала и по ее окончании, после разрушения государственной формы, остается если не навсегда среди других народностей, то на очень долгое время. Такова судьба греков под Римом и Турцией или западных славян в Германии. Эти и подобные народности, которые скорее рассеиваются, нежели внутренне тают, напоминают пепел сгоревшего здания, над которым воздвигнуто новое, незаметный, но существующий, однако, не всегда же. Когда именно и как они исчезают окончательно, этого нельзя сказать, хотя по истечении достаточного времени никаких следов их не остается, – как не осталось никаких следов от древних этрусков, от греческого населения в южной Италии, от ассирийян и финикиян.

Наконец, наименьшей продолжительностью отличается существование государств, этой внешней оболочки и внутренней ткани, которая проникает собою этнографический субстрат, делая его особым, ни с кем не сливающимся существом среди других народов истории. В государстве выражается индивидуальность наций, которые, пока живут политической жизнью, – существуют для себя и через себя и во всех других отношениях и, как только лишаются ее – становятся простым материалом для посторонней жизни, своею плотью и кровью выражают уже чужое лицо в истории.

К. Н. Леонтьев делает обзор всех известных исчезнувших в истории государств и находит, что они вообще не переживали более 12 веков*. Громадное большинство государств прожило менее, но до этого срока дотянули самые долговечные национально-политические организмы: Ассирийское (около 1200 лет), Древне- и Новоперсидское (1262 года, до падения самостоятельности и религии при покорении арабами), Эллина-Македонское (ок. 1170 лет, считая с царствами сирийских Селевкидов и египетских Птолемеев), наконец, Византийское (1128 лет) и Римское (1229 лет). Последнее может служить типическим образцом нормально развившейся и умершей государственности в истории, и время его жизни является как бы гранью вообще долгомерности политических тел.

Нет сомнения, во всем этом есть много гипотетического, но гипотетического лишь по недостатку внутренних объясняющих причин, а не по недостоверности самого факта. Что составляет политические организмы, переступившие известную грань возраста, дряхлеть – этого мы не знаем; но признаки этой дряхлости для наблюдателя очевидны: она сказывается в падении всех государств, в этом чудном почти несопротивле-

* Он при этом справедливо выделяет из своего обзора Древний Египет и современный Китай, видя в них скорее своеобразные и замкнутые культурные миры, нежели собственно государства. Неосновательность считать их только государствами видна из того, что, например, Египет имел несколько преемственно сменявшихся средоточий своей жизни (Мемфис, Фивы, Саис) и его история по крайней мере раз была прервана на целых четыре столетия (нашествие и владычество азиатского племени гиксов).

нии внешним разрушающим условиям, какое мы наблюдаем в них перед смертью. Члены не только недеятельны, бессильны, но – и это самое важное – нет воли, нет энергии сильно пожелать не умереть. «Граждане Трира, уже четыре раза разрушенного, спокойно наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под ударами таранов», – говорит один современник падения Западной империи, Гонорий, когда самый Рим был осажден вестготами, удалившись в Равенну, спокойно забавлялся любимым петухом, которому тоже дал название «Рима», и при известии о гибели первого только испугался за второго. Ясно, что не в учреждениях, не в законах, не в территории, вообще не во внешних выражениях государства, но в самых людях, стоящих при законе, охраняющих территорию, в этой психической атмосфере, которою дышит каждый в государстве и ею укрепляется или расслабляется, лежит уже тление смерти и она не оживляет народных масс, которые становятся точно сонными. Выродившаяся литература, холодная безрелигиозность, вычурный стиль в архитектуре, напряженная придуманность во всем, что прежде било ключом жизни, трепетало творчеством, – все эти уже внутренние симптомы ясно указывают, как много скрытой необходимости лежит в падении государств, как мало здесь случайного, предотвратимого. И если не одно какое-нибудь, но все государства пали, и пали гораздо ранее указанного выше срока жизни, то не имеем ли в самом деле основания думать, что *где-то около этого срока* лежит, действительно, идеальная мера, отпущенная по не известным нам законам для исторического существования народов. Это – знание эмпирическое, но так же, как и то, что далее двух столетий жизнь ни одного теплокровного животного почему-то не продолжается.

Х

С этой биологической мерой исторической жизни г. К. Леонтьев обращается к европейским государствам, чтобы определить приблизительно фазу их возраста.

Теперь мы остановимся на минуту и соберем снова все мысли, так затянувшиеся при объяснении, чтобы вступить наконец в «святая святых» убеждений нашего автора:

Все органические процессы представляют собою фазу сложения их и фазу разложения.

Первая определяется возрастанием сложности, вторая – ее разрушением, возвращением к простоте, слитности, однообразию (признаков, форм, проявлений).

У народов эта сложность при возрастании выражается в формировании сословий как горизонтального расчленения нации, в обособлении провинций как их вертикальном расчленении, при сдерживающем единстве национально-исторического сознания; это усложнение ткани сопровождается и усложнением продуктов психологического творчества: высшим расцветом наук и искусств, поэзии и философии, где всякая идея, каждое произведение запечатлены глубоко индивидуальностью творца своего. Все лично, своеобразно, напряжено от полноты сил – в быте, в манере повседневной жизни, как и в гениальном замысле. Все борется, но еще без уверенности победить; все сопротивляется и с надеждой перейти к победе. Исход будущности от всего скрыт, и, порываясь к нему, все трепещет жизнью и блещет красотой. Такова картина апогея исторического развития, всегда и всюду одинаковая.

За ним начинается процесс обратный, открывается исход. Но прежде, чем перейти к его картине, обратимся к прерванной нити рассуждения, к фазе возраста европейских государств.

Год Верденского договора, 843 год по Р.Х., когда монархия Карла Великого распалась на Францию, Германию и Италию, – можно считать приблизительно моментом, когда отдельные политические тела Европы выделились из первоначальной общегерманской слитности*. До этого времени мы наблюдаем формирование и падение государств и племен, ничего от себя не оставивших, как бы усилие органической

* Гизо в «Истории цивилизации Европы» принимает за начало государственности во Франции воцарение Гуго Капета (987–996), то есть относит это начало еще позднее, чем г. К. Леонтьев.

массы сложиться в органические тела. Было брожение, но государственная жизнь не началась; было приготовление, но приготовленное еще не появлялось. Только с половины IX века нации и государства уже более не сливаются и не разделяются, но остаются изолированными и непрерывно существующими до нашего времени; только с этого столетия притяжение внутрь, к своим средоточиям, берет окончательный перевес над стихийным движением туда и сюда, из которого ранее не могли выйти германские племена.

Заметим, что в 827 году, то есть около того же времени, впервые возникла и Англия через слияние, при короле Эгберте, семи англосаксонских княжеств. Но зато образование в ней верхнего культурного слоя и королевской власти в ее позднейшем значении произошло спустя почти два века, при завоевании ее норманнами (1066).

Из всех этих стран Европы Франция ранее и правильнее всех сформировалась в государство: в ней уже через сто с небольшим лет после Верденского договора появилась династия, которая пала только в конце прошлого века, связывая непрерывностью своей ее историю в прочную, не раздробленную, хорошо сконцентрированную ветвь европейской цивилизации. Напротив, Германия и Италия еще по временам сливались между собой («Священная Римская империя»), и вообще история их гораздо менее правильна, начало государственной жизни – позднее, как позднее было в Германии и утверждение христианства (еще Карл Великий вел упорные войны против саксов-язычников).

Наконец, к этому же приблизительно столетию (собственно, к трем векам, VIII, IX и X) нужно отнести и начало собственно западноевропейской культуры, в отличие от общей первоначально и Западу и Востоку культуры византийского христианства, когда слагались догматы, устанавливалась церковь, когда государственность в строгом смысле была лишь в пределах Эллино-Римской восточной империи, в царстве Юстиниана Великого и его преемников. В эту эпоху Византия уже клонилась к закату, а Запад, руководимый

первосвященником из Рима, впервые и ясно выделился в своей особенности: разделение церквей уже ясно обозначалось, хотя они и удерживались от окончательного разрыва; католицизм в своих всемирных земных вожделениях уже зародился; закладывался феодализм и рыцарство; и самое коронование Карла Великого императорской короной было сделано на Западе и понято на Востоке как узурпация и перенесение императорского достоинства на новую почву, на далекий Запад, когда Восток обрекался гибели от арабов, от иконоборства и всяких ересей, от Бога и нового зарождавшегося человечества. С этих именно пор нити, связующие Запад и Восток, насильственно прерываются и каждый из них пошел своим путем.

Все сказанное вводит нас, наконец, в ясное уразумение своего XIX века, вскрывает источник его особенностей, движений, бродящих в нем мыслей и ползучих желаний.

Роковая грань тысячелетия (843–1843), за которую уже немного простиралась историческая жизнь самых долговечных народов, переступлена западной культурой. Не более двух веков остается за ней, куда еще дотягивалась судьба Рима, Византии, древней Ассирио-Вавилонской монархии и страны Зороастра, – то есть почти культурных миров, правда, уступавших по сложности содержания *системе* европейских государств, но превосходящих по массивности, по оригинальности культуры каждое из этих государств в отдельности.

Франция древнее всех между этими государствами, и в ней первой открылся процесс, который затем разлился по лику всего европейского человечества: *обратный прежнему усложнению – процесс вторичного упрощения.*

XI

Кто не знает энтузиазма, охватившего Францию 1789 г. при вести, что король наконец уступает нации и собирает ее представителей; кто не перечитывал с чувством ужаса страницы истории Конвента, о бурном клочкотании Террора, об этой

борьбе к чему-то новому возродившейся нации с утратившими во все веру старыми монархиями?

И потом все, что отсюда вышло: появление удивительного гения, который точно перемесил ногами своими ветхий лик Европы, и она помолодела и окрепла, как никогда прежде, выйдя из тяжкого испытания, которому он подверг ее; ряд вспышек революций на Западе, как ряд подземных толчков, уже меньших, чем первый, но разрушительных в том же направлении, как и он; возвышение слепых народных масс, в бурных движениях своих ломающих феодальные перегородки, которые в них еще оставались.

И внутри гибкого, ничем не сдерживаемого тела этих масс – рост индустрии и техники, превращение в простую же технику государственного управления и войны, замена техникой же искусства и установление всюду чудовищных машин, к которым, как к каторжной тачке, прикованы нуждой миллионы, которые прежде молились, радовались, удивлялись мирозданию и покрывали его мечтой поэзии и вымысла, – теперь же трудятся, едят и, проклиная прошлое свое, ненавидя настоящее, ждут, как зари новой жизни, времени, когда к рядам их, уже многомиллионным, присоединятся еще бесчисленные миллионы остального человечества и оно все, в полном составе, будет дергать нужную нитку и вертеть нужное колесо и за это будет получать к обеду лишний фунт мяса, а к ночи матрац и одеяло, под которым наконец не холодно.

И среди их бесчисленных рядов – бродящие как тени люди, с книжками и листками, которые им говорят о счастье этого труда, учат их восторгу перед этими машинами и шепчут о времени, когда к ним придут разделить это счастье и этот восторг и остальные народы, живущие пока бессмысленной жизнью. Они говорят, как переставят со временем ряды, какие им устроят удобные нары, как их будут кормить – и что тот день, когда все это наступит, когда ни один человек не останется незанятым и ни один же – голодным, будет днем радости, в который утолятся человеческие желания.

Вот приблизительно тот связный процесс, который за столетие жизни совершился в Европе: тут и разрыв с прошлым, и текущая действительность, и главное из всех желаний, проникающих современное человечество. Ясно, что в бурном порыве революции Европа сдернула с себя обнаженную и сморщенную шкуру какой-то стадии развития и явилась юной и свежей – *в более поздней ее фазе*.

Каков же смысл этой фазы, ее постоянный и повсюдный уклон, несмотря на разнообразие криков, надежд, желаний, которыми одушевляются люди? Что есть *безлично-общего* в том историческом процессе, в который вступила Европа с конца прошлого века?

Только упрощение, только слияние форм, только исчезновение обособляющих признаков: в учреждениях, в законах, в общественном быте, – в искусстве, философии, в человеческих характерах.

Все люди стали подобны друг другу; все государства имеют приблизительно одну конституцию; они все одинаково воюют и управляются. Во всех городах все та же индустрия – и однообразный быт, ею налагаемый. Повсюду, во всех странах, для всех классов населения одинаковое обучение, по одним и тем же книжкам – о Пунических войнах, алгебраических количествах, о греческих флексиях и догматах христианства, равно безличное и бесцветное. Нет более одиноких вершин в философии и науке, есть их бесчисленные «труженики», однообразно способные или неспособные. В замене поэзии появилась литература, но и она скоро сменилась журналистикой, которая уже убивается газетой. Стили смешались, – и архитектор, возводя храм или дворец, думает о том только, откуда взять рисунок, но он уже не творит сам, не может творить и не понимает, что это нужно. Удушливая атмосфера коротких желаний и коротких мыслей носится над всем этим, придавливая каждый порыв кверху, поощряя всякое принижение, – туда, что стоит еще ниже всех, что никого не оскорбляет своим превосходством. Слабое, даже дурное, даже преступное вызывает снисхождение, жалость, почти

любовь и заботу о себе*»; и только к тому, что возвышается свежим ли дарованием или еще прошлым величием, эта бледная, жмущаяся друг к другу, безличная и свободная толпа дышит неутолимой ненавистью, беспощадным осуждением.

И сколько же внутренней боли в этих миллионах свободных людей, если простое созерцание чужого счастья пробуждает в них столько страдания; и сколько темного несут они в себе, какие зародыши яда, если и заботы науки, и поэзию, какая еще осталась, они клонят только к больному, уродливому и преступному в человечестве, от всего же здорового и светлого непреодолимо отвращаются. Тут не придуманность, не господство искусственной теории сказывается; это растет из самой истории, это неотделимо от нового человека, как тусклый свет его глаз, как его бессвязный лепет.

«...Когда же дело идет к преодолению болезни – *упрощается картина* самого организма... Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть – она всех уравнивает. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс разложения, распада, растворения, *разлития* в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайностей неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются*. Кости, благодаря большей силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и они, при благоприятных условиях, скоро распадаются, сперва на части, а потом и на вовсе не органический и безличный прах»²⁸.

* См. новейшую беллетристику и в глубоком соответствии с ней – новейшую юриспруденцию с ее заботами больше о преступниках, чем о не преступниках.

От этих кратких, сухих отметок медика у постели умирающего перебросить мост к всемирно-историческим цивилизациям и понять, одно в них как в процессах природы, – для этого требовалось в своем роде такое же движение мысли, как то, которое заставило, по преданию, Ньютона поднять взор от падающего яблока к небесным светилам и сказать: «Они тоже падают».

Образованность *разливается* в массах, и мы сами служим этому, неся свои труды, свои знания и таланты, поднимая каждого до уровня с собою – через школу, через книгу, и вовсе не популярную только. В свободе *уравнены* уже все, и мы только думаем об одном, как бы избавить массы от ига экономической зависимости, последней зависимости их от чего-нибудь. Одинаковость перед законом *распространена* на всех, и на всех же распространено право участия в подаче голосов и через это – в управлении и в законодательстве. Умелости, навыки, образ жизни повсюду *сближены*; стали *одинаковыми* внешность всех людей, их манеры, их платье и, в сущности, их воззрения и чувства. Границы местные никого более *не сдерживают*, и всякий движется свободно по произволу нужды своей или фантазии; все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, – и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут – и человек станет абсолютно и впервые «свободен».

Свободен, как атом трупа, который стал прахом.

ХИ

Но ведь это есть именно то, что мы более всего любим, чего жаждем, на что надеемся? И неужели заблуждением были вековые усилия стольких проникательных умов и высоких характеров в истории?

Но почему мы будем думать, что писателю, который завел нас в эти дебри новых соображений, никогда не было

дорого то, с чем нам так больно расстаться? Вот замечательные слова, которыми в одном месте он прерывает нить своих мыслей: «Какое дело честной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?.. Что мне за дело в подобном вопросе до самых стонов человечества? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр<имер>, прежде серьезного, долгого и безрадостного исследования?.. Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до *моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий*»²⁹.

Вот научный дух в вопросах истории и политики, какого мы так долго и напрасно ожидали от самих историков и политиков, давно переставших различать границы между наукой и филантропией. Прислушиваясь поэтому к словам нашего автора, мы можем ощутить много болезненного и неприятного; но мы не услышим ничего ложного, нас никогда не поразит в его речи обманывающая интонация. Очевидно, *работа исследователя* есть главное, что руководит его мыслями и словами, и уже на почве того, что найдено, что он считает безусловною истиной, разыгрываются его страсти, предостережения современникам и увещания.

Этот убеждающий, взволнованный тон в самом деле разлит в его многочисленных сочинениях, но только в очень позднем из них мы находим указание на исходную точку, откуда начался поворотный пункт в развитии его убеждений. Мы приведем эту любопытную страницу («Записки Отшельника», VI), почти не прерывая рассказ автора:

«Воспитанный на либерально-эстетической литературе <18>40-х годов (особенно на Ж. Занд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист...»

«Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей».

«И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?»

«До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (*немногих в то время*) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... *Прогресс*, напр<имер>, какой именно прогресс? *Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода!* Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же. Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и «баррикады» и пр. О *вреде* или *пользе* революций, о последствии их я думал в те молодые годы гораздо меньше...»

«Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их боевую сторону. Воинственные *средства* демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о плодах этих опасных движений!.. Я сказал «довольно долго» от досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей. Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, — я исправился скоро... *Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания; время господства Добролюбова; пора европейских нот и ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. — Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моем была до того сильна в <18>62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положив голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шутил, и нелегко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши, и западные писатели...»³⁰*

Признаемся, не без чувства живейшего волнения мы прочли эти строки: значит, и он был наш, этот писатель, теперь так не похожий ни на кого, так разошедшийся со всеми в своих убеждениях. И, значит, тот путь, по которому про-

шел он, не закрыт ни для кого из нас, и мы при одинаковых условиях можем прийти к кругу его идей, так тревожных, так неизмеримо значительных. И в самом деле, достаточно *догадаться* о том, о чем он догадался, — *что все разрушительное движение последнего века имеет свою конечную, не признаваемую целью превратить человечество в аморфную, безвидную массу*, — и сердце наше забьется такою же тревогою и теми же самыми мыслями, как и его. Весь круг симпатий его, негодований и сочувствия станет и кругом наших собственных сочувствий и симпатий; потому что мы, живые еще люди, мы, остатки прекрасного тысячелетнего здания истории, — можем ли более всего не любить этой самой жизни, можем ли пожалеть чего-нибудь, чтобы продлить существование и сохранить красоту этой истории? Она есть мать наша и всего нашего, есть общее условие всякого блага теперь и в будущих поколениях; и очевидно, что то, что стремится ее разрушить, как бы обманчивым и прекрасным ни казалось, есть только обобщение всякого зла, есть его совокупность.

Мы, впервые обратив внимание на эту сторону действительности, сосредоточиваем внимание свое на том, что ранее закрывалось от нас нашими *собственными* идеалами: на этом древе исторической жизни, которое взращивает нас поколение за поколением, на его собственном благосостоянии и росте, независимо от наших минутных ощущений, радостей и скорбей. Не слишком ли злоупотребляли мы его питанием и силою и вместо того, чтобы наливаясь сладким соком, не набрались ли из окружающей атмосферы яда, которым отравляем его соки, сушим и разлагаем его жизнь? Несомненные болезненные симптомы проявляются в нем, несомненно жиздительные процессы в нем начинают умаляться, а разрушительные возрастают. И если не будет дано снова преобладание первым, жизнь самого дерева, а с ним и нас и наших будущих поколений не может быть плодотворна.

Именно наш народ является в истории не только наиболее поздним между народами, но и *самым поздним из всех* их. Недаром и границу своего распространения, своим по-

литическим владычеством он коснулся самых ветхих стран – Памира, Индии, Арарата, откуда началась история. Как и следовало ожидать, всемирная история вытянулась в цикл, которого конец коснулся начала: уже немного осталось, и они сольются. Индейское, негритянское, малайское племена по самым физическим условиям своей организации, несомненно, не могут продолжать истории, поднять ее еще на какую-нибудь высоту; они могут лишь, *замешавшись в круге европейской цивилизации*, принять какое-нибудь в ней участие, по самым лучшим ожиданиям – второстепенное, механическое. Но что же могут они прибавить к Платону, к Ньютону, к Данту или к Рафаэлю? и неужели будет у них свой Цезарь или Карл Великий, или какой-то *ихний* Петр? Из какой истории он вырастет, когда у них нет ее? и что ему делать там, где нет сопротивления и не нужно усилия и где, кто бы и что бы ни собрал силою своей воли, – вновь все рассыплется, как куча песку без всякого внутреннего скрепляющего цемента, без инстинкта к самоорганизации, без сколько-нибудь удовлетворительных способностей. До начала истории у всех народов бродили мифы, играло воображение, были уже страсти, и из всего этого возникла история, которую мы могли бы предугадать по ним, как по рапсодиям Гомера уже можно было предвидеть и борьбу с «великим царем», и междоусобную распрю Афин и Спарты, и даже такие частные образы, как Фемистокла и Аристида. Итак, если и стихийных задатков нет у только что названных племен, то есть ли какое-нибудь основание видеть в них будущих продолжателей уже совершившейся истории, преемников европейской цивилизации, которую они возведут еще на высшую ступень?

Что же касается до остальных трех рас, монгольской, семитической и арийской, то в среде их все народы уже перегорели в тысячелетней жизни и если не ясно еще будущее которого-нибудь из них, то это – нашего только славянского племени; оно одно не определилось еще окончательно, не выразило лика своего в истории, не высказало затаенных дум своих и желаний. Тогда как относительно всех других наро-

дов этого мы не можем сказать: для Испании, для Италии, для Франции, Германии и Англии, и порознь, и для всех вместе, знойный полдень склонился к вечеру, и возвыситься на высшую ступень творчества и красоты, нежели на какой стояли они уже в век Сервантеса, Рафаэля, Вольтера, Гете и Байрона, едва ли они думают, едва ли надеются сами. Все они прошли уже через зенит истории, каждый из них по-своему согрел и осветил цельное человечество, и никогда оно не забудет этого света, никогда в нем не истребится память об этих избранниках истории. Но *жизнь*, но таинственные источники ее биения – разве они те же, что прежде? и кто из народов самого Запада скрывает от себя, что прежняя волна творчества бьет с меньшей силой, что она ослабевает и падает? Франция, прежде других выступившая на путь истории, первая начала уже сходить как тень с лица земли; в ней уже открылся процесс обратного физического вырождения: цифра населения, несколько последних лет неподвижная, к ужасу всех начала неудержимо падать.

Итак, несомненно, что бремя цивилизации, которое до сих пор народы преемственно передавали друг другу, нашему народу будет некому передать. Он примет, он уже понес – криво и несовершенно – бремя европейской цивилизации, самой могущественной, самой разнообразной и глубокой, какая когда-либо возникала. Но он еще не отделился от народов, ее создавших, а между тем судьба их, все состояние так очевидно тревожно, и более всего тревожно для этой самой цивилизации, как продукта их тысячелетней духовной жизни. Они полны саморазрушения и пламеннее всего хотели бы коснуться своими гноящимися руками – своей высшей уже достигнутой красоты: своей науки, своих искусств и поэзии, своих государственных организмов и больше всего – религии. Все, что с таким трудом и так долго создавали они, ради чего принесено столько жертв, что способно пропитать собою тысячелетия, жизнь людей и само в себе совершенно вечно, – все это ненавидят они, не понимают более, все это усиливаются истребить с непостижимой враждой. Глухие и

дикие завывания несметных рабочих масс, уже давно не национальных, не религиозных, совлекших с себя все, что шло из истории, – что это, как не стихийное движение, готовое взломать слабую оформленность, какая еще существует над ними, еще сохраняется пока от истории? Пусть, кто *может*, видит в этом движении начало новой эры, неиспытанный поворот истории; мы же видим в нем прежде всего симптом и не можем скрыть от себя его смысла, его неудержимого тяготения. Разве оливы мира несут эти массы будущему? Разве они полны ожиданий светлого чего-нибудь, мирного, радостного для всех людей, для них самих и для врагов их? Не горят ли они гораздо более ненавистью, чем даже желанием себе отдохновения и покоя? Не есть ли это последнее желание лишь покров, лишь временное оправдание для разрушительной деятельности, которую они прежде всего хотят выполнить? И кто скрывает это? Разве не повторяется постоянно, что там, за гранью исторического катаклизма, который произведут они, не будет более ни государства и его организации, ни религии и ее выражения – церкви, ни «бесполезных искусств», ни философских созерцаний? Только «машины» свои они перетасут туда, около которых трудятся, которые их обездушили, – как раб уносит в могилу цепи, вросшие в его тело, или труп – продолжение гнояного процесса в землю, куда он свел некогда цветшего красотой и жизнью.

Земля и трудящееся на ней племя людское – все, что было при начале истории, готовится стать при конце ее. «В поте труда своего будешь добывать хлеб свой, пока не сойдешь в землю, из которой взят...»³¹ Труд исторический почти уже окончен, человечество пусто от других желаний, кроме умеренной еды, умеренного тепла для своих членов. *Чем еще беременеет оно!* Итак, не ясно ли, что «сойти в землю, из которой взято», – есть все, что еще ожидается от него Предвечным Источником, который его вызвал тысячелетия назад к жизни. Оно уже и сходит, уже ступает ногами в могилу, еще не чувствуя этого, обманчиво думая, что куда-то идет, к чему-то «далекому» стремится.

ХІІІ

К. Н. Леонтьев следит за различными изворотливыми течениями своего времени, которые скрыто от человека ведут его к этому концу. Внешние политические события, войны и договоры и еще более внутренние реформы, столь обильные в нашем веке, – все имеют этот один уклон: разрушение внутренней ткани, которая до сих пор проникала организм Европы, и возвращение его к первобытной аморфной массе, как продукту всякого разложения. В прекрасной брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции» (Москва, 1889 г.) он впервые вскрывает истинный смысл национальных объединений XIX века, в которых участвовали столь великие умы и характеры, все равно слепые к тому, что они делали. Поочередно проводит он перед глазами читателя прежнюю Италию, прежнюю Германию и показывает, чем стали они после того, как осуществили заветную и, по-видимому, благороднейшую мечту свою: обезличение, утрата особенностей в быте, в характерах, в поэзии и умственных созерцаниях – одинаково стали уделом обеих великих наций. Германия, победительница Франции, приблизилась к ее типу, ее духовному и политическому сложению после победы: индустрия, пролетариат, социализм, освобождение от своих *особенных* понятий, идей, вкусов – все, к удивлению общему, внедрилось в эту страну, – разлилось, переступив за Рейн, по старой Германии, как перед тем войска ее разлились по ветхой, утратившей уже силы Франции. Две воевавшие нации, доведя до высшего напряжения свой антагонизм, в то же время во всем уподобились; но чувство ненависти, – мы уже заметили, – есть общее для всей новой Европы: оно единит ее внутренне, как конституция, как рельсы, как международные союзы единят ее по внешности. Италия, некогда столь оригинальная, столь привлекательная для поэтов и художников, которые стремились в нее из душевной Европы, как в чудный заросший сад, стала после Кавура и Виктора

Эммануила как все другие*, как плоский, бескровный Берлин, как Франция Второй империи и Третьей республики. Ее

* Замечательно, что это предвидел Герцен: «Что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она, обновленная, объединенная, независимая? Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие – самых скорбных и самых спорных предметов. – Идеал итальянского освобождения беден, в нем опущен существенный, животворящий элемент. Итальянская революция была до сих пор только боем за независимость... Весь этот военный и статский getue-ménage, и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры, – все это отразится в ее жизни: она из клерикально-деспотической сделается буржуазно-парламентской, из дешевой – дорогой, из неудобной – удобной. Но этого мало и с этим далеко еще не уйдешь... Я спрашиваю себя: будет ли что Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приискав ответа, я начинаю желать, чтобы Рим остался еще надолго оживляющим desideratum. До Рима все пойдет не дурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет – и налоги, и пьемонтское местничество, и грабющую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима (тогда еще не присоединенного к Италии) все кажется не важным; для того, чтобы иметь его, – можно стесниться, надобно стоять дружно. Рим – черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддерживает лихорадку. В Риме – все переменится, все оборвется...» «Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают – и это превосходно, – что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности совершать акты – и только. Какой же акт возвестит нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на Римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»?» И далее, описав последний случай в итальянском парламенте, продолжает: «Если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. *Такого призрачного мира лжи и пустых фраз, фраз без содержания* – трудно переработать народу менее бывалому, чем французы. У Франции *все не в самом деле*, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впадшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладевает с теми тенями китайского фарфора, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, его церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер (палат депутатов) не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать, где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласят ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах, может, больше выработается, если есть чему выработаться». См.: «Былое и думы», в «Полярной звезде» за 1868 г., книжка восьмая, с. 57 и 59³².

чудные предания, ее восторженная вера, ее понимание своих великих художников – все это забыто и осмеяно, все это без сопротивления исчезло, чтобы уступить место школьному учителю, лавке ситцевых изделий, гудящему станку фабрики. И кто знает, как недалеко время, когда прекрасная Венеция, Неаполитанский залив, кружевные беломраморные соборы затянутся каменноугольным дымом, а ленивых, но, наконец, грамотных сгонят на работу их «просветившиеся», измозоленные, давно завистливые к их праздности соседние народы. К. Н. Леонтьев в одном месте сам останавливается в недоумении над этим общим результатом всех объединительных движений нашего времени: что, будучи столь национальны по цели, они являются столь антинациональными по последствиям. Но что же в них есть, как не отрицание старой государственной идеи, которая единила и оформляла людей, стоя выше их индивидуальных инстинктов, их племенных, зоологических отличий? И соединение *в одно племя* что заключает в себе особенного, чего нет уже в не исторических народных массах, населяющих центральную Африку и прежде населявших Европу? Распадение по расам, расчленение по «языкам и родам» – это так естественно для того, что возвращается к стихийной простоте сложения, что, высвобождаясь из-под истории, становится незаметно вне ее. Вот почему этому громадному и новому распадению европейского человечества всюду, обнаруживая его тайный смысл, сопутствует высвобождение народов от своих культурных особенностей, которые ведь все растут именно из прошлого, связывают и организуют народ, выражают его «лик» в истории, который и стирается по мере того, как он из нее уходит. Как определенность выражения на лице умирающего, так определенность выражаемой души у объединяющихся наций пропадает в этот великий миг, когда после тысячелетий труда и жертв во имя разных идей они опять становятся *прежде всего* расой, то есть только скопищем людей, населяющих известную территорию и говорящих на языке, непонятном для других народов.

Гораздо важнее и поистине поразительно, что все политические движения в XIX веке, исходившие из иных, *не* уравнилельных и *не* высвобождающих идей, не имели никакого успеха: Австрия, еще монархическая, еще религиозная и охранительная, разбивается Пруссией и, чувствуя слабость прежних основ жизни, принимает новые, сближающие ее с типом государственного сложения, столь прежде ненавистным. Россия, начав при императоре Николае восточную войну из-за прав покровительства своей Церкви, – столь ветхих прав, – впервые на протяжении двухвековой истории испытывает неудачу и, растерянная, открывает у себя уравнилельный и освобождающий процесс, который с конца прошлого века охватил Европу. И, напротив, начав ту же войну, но уже под знаменем новых идей – племенного освобождения и объединения, – она достигает полного успеха. Одновременно с тем, как она делает это усилие извне, внутри ее самой шире и пламеннее, шире и пламеннее разливается лихорадочное возбуждение, закончившееся, впервые на протяжении тысячелетней истории, убийством монарха. Южные народы, только что освобожденные, немедленно вступают на путь обезличивающего прогресса, обдирая с ненавистью на себе все бытовое, культурно-особенное, что сбереглось у них под турецким игом, что они любили ранее в страдании и унижении. И, наконец, сама Турция вступает на этот же путь, преобразует армию, финансы, администрацию под руководством западных «инструкторов» или обучившихся на Западе своих пашей. И она, замешавшись механически в европейскую жизнь, воспринимает в свое особенное, столь непохожее на других тело, этот же один процесс, который проникает жизнь Европы. Наконец, в силу подобных же войн, он заносится и на далекий Восток: Китай размыкается из своей замкнутости, Япония поспешно, забыв даже о смешном, преобразуется, выучивается, передевается и обустривается по-европейски. Все столь далекие народы выходят на один путь, когда в среде одного из них, по неисповедимым судьбам истории – нашего, является впервые сознание о том, куда ведет он.

Таким образом, *механизм разлагающего процесса*, который совершается в Европе, ясен: он состоит в том, что все, сохраняющее следы прежней оформленности, ослабевает в способности к сопротивлению; напротив, что становится бесформенным, получает силу преодоления. Именно эта особенность, отмечаемая во всем умирающем, неудержимо разливает всюду уравнивающий и высвобождающий процесс, роняя сословия, подкашивая церковь, снимая с народов исторически выработавшиеся формы государственности, – всюду прорывая ткани тысячелетия слагавшегося организма и открывая простор для движений исторического атома, *человека*, ни с чем более не связанного, ни к чему не прикрепленного, ни для кого не нужного и всему чужого.

Насколько, в течение века, народы становились безрелигиозными, насколько они ненавидели своих властителей, насколько проникались внутренней завистью – сословия к сословию, бедности к богатству, в конце простой неспособности к духовно богатому, – настолько, возбужденные этими новыми и страстными ощущениями, они делались физически более сильными. Эта сила всех обманула, закрыла глаза на истину, увлекла всех на один путь. Человек, так долго живший своими особенными идеалами, стал увлекаться идеалом простого преобладания, победы в борьбе, какой желает для себя всякое животное. Эту силу, эту способность поглотить другого он принял за синоним лучшего; «побеждает лишь совершеннейшее», заключил он для зоологии и тотчас подумал это о себе. С необозримыми движениями истории согласуется тихая мысль ученого, все являясь во время, когда нужно, чтобы произвести, что нужно. Высокие идеи, сложные понятия, выработанные долгой историей чувства, – все отстраняется грубой действительностью на новом праве, все уступает место простым идеям и несложным чувствам.

XIV

И в самом деле – мы остановимся на этом с минуту – как, в сущности, просты, *не трудны* все преобладающие идеи нашего времени, религиозные, нравственные, художественные,

политические. Что может быть проще этого взгляда на природу, по которой она есть только механизм, ничего не заключающий в себе, кроме движений и столкновений атомов, как эта игра упругих шаров, на которую я смотрю и ничему в ней не удивляюсь. Какое отсутствие любознательности нужно было, чтобы, кое-что заметив в природе, что происходит как игра этих шаров, заключить в уме своем, что, без сомнения, и остальное происходит так же, но мы этого не разобрали пока, и пусть разберут все наши потомки. Или, в другой сфере, как легко предписать и выполнить, чтобы в художественном произведении имелась в виду лишь полезная сторона его, им производимое впечатление и мера его выгоды для людей. Что может быть яснее арифметического взгляда на общество и государство, по которому воля большинства есть закон для всех; и что для определения этой воли выборные от всех должны собраться и, довольно послушав друг друга, подать только мнения, которые, без сомнения, будут истинны. Насколько все эти идеи (и подобные) просты, как мало они требуют умственного напряжения для понимания, это можно видеть из легкости, с которою они усваиваются среди народов самых первобытных и даже совсем диких. Разве Южная Америка не полна республик? разве негры, освобождаясь от рабства, не сложились тотчас так же в республики? Без *особенностей* в сложении своем, без некоторого мистического завитка в учреждениях, столь странных, столь непонятных потом для историков, – без этих патрициев и плебеев, без консулов, без царей-товарищей, ареопага³³ и эфоров³⁴ – республика как пустая форма есть естественный для натурального человечества строй. До нее не нужно довоспитываться, доразвиваться, – как развивались французы до верности Людовикам, англичане – до любви к своей «королеве Бетси» или русские до преданности Иоаннам и Петру. Заставить другого пожертвовать себя, даже погибнуть для себя – это легко, так понятно и естественно; но *самому* погибнуть ради другого, отдать жизнь за что-то, что останется и должно остаться, – это так трудно, так глубоко, так неизмеримо отошло от «натурального» состояния людей.

То же мы должны сказать обо всех идеях религиозных и нравственных: в них содержится так много трепета за свою бесмертную душу, такое преклонение перед темным и скрытым средоточием Вселенной, так много любви, сомнений, тревог и ожиданий, – что думать, будто *испытать* это всякий может, было бы глубочайшим заблуждением. Оригинально возникли эти чувства у людей, которых было слишком немного в истории, имена которых с невыразимою благодарностью повторялись в ней бесчисленными поколениями; но уже высоки, уже богаты духом были и те, которые только повторяли эти имена, имели силу разделить эти чувства.

Здесь и открывается наиболее опасная сторона текущей действительности, скрытый центр, от которого текут ее бесчисленные явления: жизнь упрощается, потому что упрощается самый дух человеческий; история, вся культура становится элементарна, потому что к элементарности возвращается ее вечный двигатель. Все слишком глубокое, слишком сложное, слишком нежное и деликатное в идеях, в желаниях, в ощущениях непонятно и трудно стало для человека; и от этого с такими усилиями выработанное в истории неудержимо опадает с него. «Нагим вышел из чрева матери моей и нагим возвращусь в землю»³⁵, – говорит о себе всякий человек, и то же должно будет сказать человечество. Прекрасный, пышный, разнообразный убор, в какой одела его история, разворачивается год за годом, и каким вышел он из лона природы тысячелетия назад, таким готовится сойти опять в это лоно.

XV

Не менее ясно, чем механизм разложения, г. К. Леонтьев понимает и его *орудие*, тот таран, которым преемственно разбиваются понятия, верования, учреждения исторической Европы. Это – идея счастья, как идея верховного начала человеческой жизни. Проходя через ее абстракцию, все, что живо было в человеке, что было для него абсолютно, становится относительным, условно ценным и увядает, не возбуждая в нем

прежних желаний. Он утратил непосредственное отношение к жизни; гораздо ранее, чем отверг прежние убеждения, навыки, чувства, весь окружающий склад действительности, — он отвлекся от него, уединился в себе и в этой заботе о своем счастье. Все отстало от него, отделилось; и тотчас он получил возможность смотреть на все со стороны, как на объект своих ощущений и мыслей, к которому относится через абстракцию этой идеи. Кровная связь его с исторически возникшею действительностью была утрачена; из нее лишь к кое-чему протягивал человек руку, чтобы удержать его на время, чтобы временно насладиться им, как художник наслаждается видом, на который он никогда, однако, не захочет вечно смотреть.

К. Н. Леонтьев не анализирует идеи счастья, как в ее логическом составе, так и в процессе ее исторического возникновения и усиления. Не будем и мы останавливаться здесь на этом анализе — он требует особенного труда, который не может быть побочным. Ограничимся только утверждением, что он прав в своем заключении о роли идеи счастья, которое разделят с ним как все противники этой идеи, так и особенно ее защитники. Никто не старается скрыть от себя и от других, что она является как бы религией жизни в новой истории, что ею все оценивается и на ней все утверждается. По-видимому, при помощи этого отнесения всего к идее счастья, как к основанию, реально испытываемое человечеством счастье должно было бы возрасти; в надежде этого возрастания, без сомнения, и дано ей это положение относительно нравственности, права, политики, искусства, — что все она проверяет собою. Но тайна идеи этой состоит в ее внутренней преломляемости, в силу которой она чем правильнее и полнее осуществляется, тем большее вызывает страдание, — в личности ли, в обществе, в целом ли цикле истории.

От этого мы видим, что почти в меру той полноты, с какой человек отдал все силы своего ума, изобретательности, настойчивости устройению своего счастья здесь, на земле, — «царствия Божия» долу и вне себя, — и внутри; и даже извне он видит себя все более несчастным, оставленным, до такой степени лишен-

ным какого-либо утешения, что и на деле, и особенно в мыслях, чаще и чаще останавливается на желании совершенного истребления себя. Жизнь, которая всегда была «даром» для человека, в одном XIX столетии стала бременем; она не благословляется более, но проклинается – явление чудовищное, извращение природы неслыханное! В какие времена, среди каких гонений, в какой низкой доле человек не отшатнулся бы с ужасом от мыслей, которые высказываются теперь среди избытка видимого покоя и довольства. Если бы лицом к лицу свести поколения, давно сошедшие в землю, с теми, которые ее обитают теперь, если б они увидели друг друга, высказались, – о, какими несчастными представились бы мы умершим людям, какими унылыми, жалкими, растерянными. Мы показывали бы им свои пищашие фонографы, пуки телеграфной проволоки, желатиновые пластинки, горы рельсов и говорили бы: «Вот наше счастье», а они, ничего этого не видя и только смотря в наше лицо, сказали бы: «Что вы над собой сделали, что сделали...» Таким образом, не говоря о логическом содержании идеи счастья, человек ошибся в самом избрании ее как верховного руководящего начала для своей жизни, в этом печальном предположении, что она сколько-нибудь осуществима. Он понял страдание как что-то случайное в своей жизни, как какой-то побочный придаток к своему существованию, который можно отделить и отбросить. В этом убедила его устранимость каждого отдельного страдания, и, видя устраняемыми их все, он подумал, что можно вовсе освободиться от всякого страдания. Он не заметил *соотносительности* между видами страдания, в силу которой всякое ослабление страдания в одном направлении вызывает его усиление в других; так что в минуту, когда он, по-видимому, уже достигает целей своих, когда думает, что все предусмотрено и введено в свои границы, – он именно ощущает себя нестерпимо несчастным, видит себя подавленным, хотя не понимает, откуда и каким путем. Таким образом, в общем складе физического и духовного существования человека страдание занимает определенное положение, и нельзя удалить его из жизни, не пошатнув всей жизни.

Между бесчисленными нитями, которыми скреплено страдание со всеми изгибами человеческого существования, отметим только две: это – увеличение внутреннего страдания по мере ослабления внешнего и зависимость от последнего всякого нравственного улучшения. Во все времена и у всех развитых народов наблюдалось, как по мере успехов внешней культуры, то есть с ослаблением всяких для человека тягостей, опасностей, физических бедствий, – под тою или иною формою пробуждалось неутолимое страдание внутреннее. Как будто через физическое бедствие, в гораздо более легкой форме, выходило из природы человеческой какое-то неуничтожимое зло, которое при отсутствии этих бедствий оставалось всецело в ней и в такой мере отравляло ум и сердце людей, что жизнь становилась невыносимой все более и более среди полного внешнего довольства. Учение, характеры и судьба стоиков в древнем мире могут служить для этого ярким пояснением. При таких высоких мыслях, при всеобщем внешнем уважении, среди избытка материального как были они угрюмы, как очевидно тяготились своим существованием, как слабосильны были во всякой внешней борьбе, очевидно, затратив уже весь запас сил на какую-то скрытую, внутреннюю борьбу. Кажется, тогда только и развеселялись они, когда открывали себе жилы в теплой ванне. Думать, что источником их печали служило созерцание окружающего нравственного падения, было бы глубоко ошибочно: не так относились к подобному падению Марий, Демосфен, оба Гракха и все люди, которые терпели, усиливались и не достигали, падали и, наконец, гибли – с лицом радостным, будто выполнив что-то необходимое для всякого человека на земле.

Другое и не менее замечательное явление состоит в том, что всякий раз, когда люди бывают долго избавлены от всякого внешнего страдания, они становятся сухи сердцем, безжалостны друг к другу и порою даже жадны к чужому страданию; и, наоборот, всякий раз, когда их посетит бедствие, в них пробуждаются лучшие чувства, глубокая человечность, взаимная заботливость и сострадание. Даже разум, по-видимому, так мало

соотносящийся с началами страдания и счастья, становится под влиянием первого гораздо глубже, возвышеннее, серьезнее; и, напротив, среди довольства ум становится поверхностен и мелочен. На этом основано одно любопытное наблюдение, уже давно сделанное людьми, изучавшими образование человеческих характеров: при лучших условиях воспитания, самого изощренного, предупреждающего всякое дурное влияние, редко выходило из воспитывающихся что-нибудь выдающееся в умственном или в нравственном отношении и очень часто, напротив, выходило очень дурное; наоборот, из детей, без призора росших иногда в самых бедственных условиях, в унижении, в страдании, вырабатывались нередко замечательные характеры и не менее замечательные умы. Так что если бы можно было людей, в чем-либо оказавших услугу историческому развитию человечества, разместить по роду их жизни в детстве и в отрочестве, — то нельзя сомневаться, что ни к чему не готовившиеся из них, ни для чего преднамеренно не воспитывавшиеся превзошли бы числом и достоинством тех, которым уже с ранних лет давалось все, что делает наилучшим человека в умственном и нравственном отношении. От первых ничей предусмотрительный глаз не удалял лишения, горе, унижение; вторые же, окруженные всякими воспитательными началами, были лишены этого именно, самого могущественного из всех.

Таким образом, страдание неразрывно сплетено с возрастом в человеке достоинства, и, в меру того как мы стремимся стать лучше, мы не должны во что бы то ни стало стремиться быть довольными счастливыми. Воля, неизмеримо мудрейшая, нежели наше предвидение, положила, и навсегда, предел для достижения такого довольства. Но мы пренебрегли этою волею и, не замечая невидимой сети законов, связывающих нашу природу и жизнь, слепо порываемся к счастью, от которого всякий раз, однако, неодолимо отталкиваемся. Поколение за поколением новое человечество усиливается достигнуть «этой простой и ясной цели», не будучи в состоянии освободиться от представления своей природы, как главным образом восприимчика светлых или горестных впечатлений. Ему непонятно,

почему оно не может избежать вторых и наполниться только первыми; для него весь труд истории сводится к искусству – завязать мешок своего бытия со стороны печалей и открыть его широко с другой стороны, откуда приходит все радостное. Тогда-то наступило бы это счастье, беспечальное, нескончаемое, для всех достаточное. Погрузясь в предвкушение его, человек работает над своим прогрессом, высчитывая со всяким усилием, сколько привходит ему счастья, и страшась одного только, как бы с этим счастьем не привзошло какого-нибудь горя. Но, странное дело, горя всякий раз привходит больше, чем счастья, и чем более подвигается история, тем более грозит человеку судьба безумца, который умирает от голода, высчитывая какие-то неполученные богатства.

XVI

Когда затемнение спутавшегося ума становится так сильно, можно думать, что близок исход из него. Подобно тому, как на рубеже средней и новой истории человек, дойдя до крайней искусственности и бесплодности в силлогизации, вдруг и ясно вышел на путь опыта, о котором целое тысячелетие как будто забыл совершенно, – так точно и XIX век, столь подробно попытавшийся осуществить человеческое счастье на земле, несомненно, стоит накануне исхода к совершенно противоположному течению идей и чувств.

«Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход истории»^{*}; но так же несомненно, что

^{*} См.: «Национальная политика как орудие всемирной революции» К. Леонтьева (М., 1889. С. 6). Брошюра эта состоит из нескольких писем, обращенных к г. о. И. Фудею. Преодолевая нежелание свое писать, г. К. Леонтьев и высказал в предисловии эти прекрасные слова, которые мы приведем здесь вполне: «Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность если не совсем уже бесплодной, то, во всяком случае, *преждевременной*; и потому не могуещю влиять непосредственно на течение дел... Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход истории»³⁶.

самое появление этих предвидений не совершается вне воли Провидения и вне высших его планов. Мы можем в них видеть симптом, и не было бы силы на стороне их истины, всей красоты непонятности в свое время, если бы грядущее будущее не клонилось на их сторону. Все, и дары наши, и слабость нашего духа, появляется вовремя и где нужно, бросается на извилистые пути истории не без цели направить ее согласно этому же Провидению.

Вот почему прекрасные, грустные и гордые слова, которые как надмогильную вырезку произнес о себе г. К. Леонтьев, теперь уже покойный, внушают нам не одну скорбь, но и некоторое утешение. Не может быть, невероятно, чтобы и он, и вся группа своеобразных мыслителей, которых ряд он так прекрасно завершил собою, были выкинуты на арену истории без всякого смысла; чтобы не было смысла в их горячих и убежденных словах, в неугасимой вере в свою правоту, в их одиноком и благородном положении среди общества, столь тусклого, столь зыбкого, среди которого они одни стояли, замкнувшись неподвижно в свои идеи. Не случайно их появление, их дар и судьба; но, если так, – близкое будущее включает в себе среди сумрака смерти и радость новой жизни.

Здесь от анализа истории, от критики двухтысячелетней культуры европейского человечества мы должны бы перейти к синтезу будущего. Но эти синтетические построения редко бывают удачны, и обыкновенно будущее вовсе не оправдывает наших скудных гаданий о нем. Заметим только, что у К. Н. Леонтьева, как человека глубоко религиозного, и притом в строгой форме установившейся догматики Православия, надежды на будущее связывались с мыслью о перемещении центра нашей исторической жизни на юго-востоке, вдали от разлагающегося западного мира, в сторону еще немногих свежих народов Азии, которые, войдя в нашу плоть и кровь, обогатят и дух наш новыми началами, вовсе не похожими на европейские изжитые идеи, – наконец, в сторону древней Византии, которая была, как он доказывает, общею колыбелью (до VIII века) всей западной культуры и определительницею культурных особен-

ностей нашего народа. Возрождение духа древней Византии, обновленного и усложненного элементами других цивилизаций и свежих народов, – вот более или менее конкретное представление, которое носилось перед его духовными глазами с давних пор и до смерти.

Но его аналитический, строго научный ум и этим гаданиям давал почву в наблюдениях – или истории, или действительности. Он замечает, что между всемирно-историческими народами или культурами у России только во второй раз наблюдается склонность переменять центры жизни: еще подобную же переменчивость мы наблюдаем только в мусульманском мире, где Дамаск, Багдад и Стамбул преемственно являлись столицами халифата и с тем вместе центрами силы и влияния политического, религиозного и вообще культурного. Все остальные народы древнего и нового мира, раз они были сколько-нибудь значимы во всемирной цивилизации, неразделимо сливались с жизнью и судьбою какого-нибудь одного города; таков был Рим в древности и Париж в новой истории, или Иерусалим в еще более отдаленную эпоху. Не только не было никогда перемещения центра национальной жизни из этих городов в другие; но, – мы это живо чувствуем, – подобное перемещение и как-то невозможно, почти немыслимо: Франция без Парижа и еще более Италия без Рима являлись бы в истории каким-то тусклым пятном, ничего не говорящим и не выражающим; евреи во всемирном рассеянии своем, даже не имея сколько-нибудь вероятной надежды на возвращение себе Иерусалима, именно с этим возвращением соединяют все свои ожидания, надежду на возрождение своей исторической миссии: они не хотят и даже не могут творить иначе, как в стенах своего древнего Сиона. Как будто в великих городах этих, из их особенной почвы растет какая-то живительная сила истории, которая единит народы, раскрывает их уста, окружает главу их сиянием, которое меркнет, и самые народы гибнут, как только теряют связь с этими источниками своей силы.

Но в халифате, с перемещением его центра, – замечает К. Н. Леонтьев, – *не изменялось содержание истории*: этим

содержанием всюду оставался Коран, его заветы и дух, примыкающая к нему культура, и *переменялась* только оболочка этого содержания – *племя*, ему наиболее верное. Таким образом, в судьбах мусульманского мира мы наблюдаем историю преемственных носителей одной и той же идеи, которая остается неподвижной. Напротив, в перемещении центров нашей исторической жизни мы наблюдаем *изменение* именно *носимой идеи при сохранении одной и той же народности и того же политического организма*; здесь, таким образом, является намек как бы на вечное развитие содержания в жизни одного развивающегося. И в самом деле, в Киеве, в Москве, на берегах Невы Россия являлась отрицающе себя самое, и притом окончательно и во всех подробностях прошлого бытия своего. Это была не перемена только центра влияния и силы, но переход руководителей этой жизни на новое место, с целью, с жаждой и потребностью начать жить совсем иначе, нежели как уже было прожито несколько веков. Андрей Боголюбский, с образом Богоматери бегущий вопреки воле отца на север и закладывающий там новый город, – вот лучший символ нашей истории, выражение коренной черты нашего характера и всемирно-исторической судьбы. Подобным же образом, но уже с рубанком и пушками бежал Петр еще далее к северу, за самую грань своего царства, на только что отнятый у соседа клочок земли. В страстях, в характере, в привязанностях и ненависти этих двух государей совершились два сгиба нашей духовной истории, после которых все становилось в ней иначе, для других целей и по новым основаниям. Было бы напрасно в их *деятельности* видеть их главное значение; не как законодатели, политики, воины велики они, – они велики как творцы нового исторического настроения. Их войны, предприятия, неудачи или успехи, даже в результатах своих, прошли уже скоро после их смерти – но не прошло в течение веков их особое *отношение* ко всякому делу, тот способ думать, желать, оценивать, какой они внесли с собою и распространили, передав их порождениям своим и целому народу. Угрюмый Андрей явился живым и личным отрицанием всего

киевского цикла нашей истории, светлого среди всех печалей, не озабоченного никакими помыслами, отдававшего каждому дню столько сил, сколько их оставалось от прошлого. Ни Мономахом, ни мудрым Ярославом, ни самим Владимиром, никем из светлого среди всех бед гнезда Рюриковичей, о котором рассказывает «Слово о полку Игореве», не мог и не хотел стать Боголюбский, отшельник, готовый сжечь все это гнездо, из которого, однако, сам вышел, но не любил и не уважал его. Уединясь в церковь, в долгие часы ночного бдения, он молился, неизвестно о чем, как молились государи наши и весь народ впредь до шумного карнавала при молодом царе новой эпохи. И так молившийся князь, строитель церквей и городов, «опал в лице» при одной вести, что там, на юге, его повелению осмелились насмехаться какие-то его родственники князя. В этом гордом властительстве, в этом уединении в себя, но без какого-либо просветления и углубления душевного, в этой медлительности движений и недостатке слов сказала уже вся Москва с ее великой миссией, с ее исторической озабоченностью, с ее дальнозоркими святителями и монашествующими, угрюмыми царями. На пять веков замолкла в нашей земле поэзия, принизилась мысль, все сжалось и вытянулось по одному направлению – государственного строительства. В фактах, и лишь по неречистости не в книгах, в эти пять веков было создано все, чем, в сущности, и до сих пор бессознательно живем мы в сфере политической мудрости, успешная лишь настолько, насколько верны традициям этого цикла, бессильные что-либо придумать здесь новое и оригинальное. Идеи царя и подданного, служения и прав, на нем основанных, сознание общих нужд, за которыми не видны личные интересы, – наконец, связь быта, церкви и всего царства между собою до неразъединимости и бесчисленные другие понятия – все это создано было в то время и от всего этого мы едва ли уже когда-нибудь высвободимся. Ни бурное в беззаветности своей XVIII столетие, ни наш мелкоученый век ни в чем не имели силы расстроить эти понятия, лишь порой обессмысливая их в приложении или переделках.

В цветущем отроке тихого и богобоязненного царя, на свободе и без призора выросшего, Россия сбросила прежде свое одеяние, слишком монотонное, хотя и важное, чтобы расцвести всею яркостью самых разнообразных и свежих красок. В свободе движения этого, в его прихотливости и непреднамеренности, и вместе в глубокой естественности и простоте, и сказался перелом нашей истории, – гораздо более, чем в Великой Северной войне, чем в воинских и морских артикулах, в законе о майорате и табели о рангах. И в самом деле, можно представить себе, что при Алексее Михайловиче русские победили бы шведов, как они побеждали поляков, что его намерения исполнились и мы имели флот, что немецкая слобода разрослась и русские научились, наконец, сами стрелять из пушек, – совершился ли бы от этого тот перелом в нашей истории, который мы все живо чувствуем, так неясно понимаем и не умеем сколько-нибудь определить? Ясно, что все текло бы тогда дальше, чем при Алексее Михайловиче, – как при нем текло уже дальше, нежели при Иоанне III, – но в том же направлении, так же тихо и не менее однообразно. Итак, если несомненно *не в успехах* Петра заключалась тайна его исторического значения, то в чем же она лежала?

В *способе*, каким совершились все эти дела, в той новой складке духа, откуда вырос каждый его нетерпеливый замысел, и в той несвязанности его мысли чем-либо, что прямо не относилось к делу, несвязанности, которую у него впервые мы наблюдаем в нашей истории и с тех пор сами стремимся всегда сохранять ее. И в самом деле, на протяжении пяти веков вся жизнь наша как будто носила какие-то внутренние путы, связывавшие каждый наш замысел, всякое действие, стеснявшие непреодолимой оградой всякий порыв мысли и личное чувство. Нельзя сказать, чтобы эта связанность текла из какого-нибудь внешнего требования; скорее она была следствием внутреннего расположения, уже сказавшегося впервые в Андрее Боголюбском и продолжавшегося у всех преемников его исторической миссии. Никогда и никакой уторопленности мы не замечаем в них, и это во-

все не от того, что никогда в ней не было потребности; но, пренебрегая всякой потребностью, русские люди в течение веков ни разу не ускорили своего шагу, который ранее и по малейшему требованию дела они ускоряли легко, свободно и даже капризно. Мы знаем, как религиозно было то время; но замечательно, что мы вовсе не знаем ни одного религиозного порыва из того времени, ни одной умиленной молитвы, ни одной пламенной проповеди. Святые в лесах дремучих так же молчаливо, без слов, молились, — как без слов, молчаливо, в стенах Московского Кремля, цари вершили свою политику. Даже в страшные годы царствования Грозного мы больше видим крови, видим судороги жертв, как и судороги их мучителя; но очень мало слышим криков негодования, мольбы о помощи или требования пощады. Только Курбский, изменник царю, народу и вековым заветам жить и умирать, вместо того чтобы войти молчаливою полустрокой в «Синодик», предпочел написать несколько длинных, без всякого основания, писем. И так же, как не знаем мы слез и отчаяния у людей этого времени, не знаем мы в них и радости и веселья; ни одного смеющегося лица не видим мы на протяжении пяти столетий, которое нарушало бы собою монотонную угрюмость всех и молчание. В совете царском, в молитве, перед людьми и даже Богом эти странные люди как будто боялись вечно за свое достоинство, за эту беспредметную серьезность, которую не хотели, не могли и, наконец, не умели они оставить. И если мы подумаем, что этот склад жизни установился у народа молодого, еще не испытывавшего всего богатства жизни, — мы поймем, как много во всем этом было искусственного, неестественного и ложного. Здесь была какая-то придуманная стыдливость, напрасный страх проявить свои силы, — и он выработал общие формы, под которые укрывалось всеиндивидуальное, всечастное и особенное в человеке и в жизни. Ничего не выдавалось из-под этих общих форм, заботливо хранимых в войне и мире, в чистой семейной радости и среди государственных бедствий. Никакая поэзия, никакое проявление любознательности, ни

даже простой успех во всяком живом деле не был возможен при этих общих формах, придавших печать преждевременной старости народу, у которого все еще было в будущем, ни один из даров духа не был обнаружен и проявлен.

Этот покров общих форм, скрывавших живую индивидуальность, эту искусственную условность жизни, и разбил Петр силою своей богатой личности. Полный неиссякаемой энергии и жизни, против воли неудержимый во всех движениях, он одною натурою своей перервал и перепутал все установившиеся отношения, весь хитро сплетенный узор нашего старого быта, и, сам вечно свободный, дал внутреннюю свободу и непринужденность и своему народу. В великом и незначительном, на полях битв и в веселых пиршествах он научил своих современников простому и естественному и этим открыл новую эру в нашей истории, сделав возможным в ней проявление всех даров духа, всяких способностей человека, гениального, как и уродливого. С ним и после него, впервые после векового молчания, мы наконец слышим в нашей истории живые голоса, крики радости и гнева, гордости и унижения – звуки человеческой души, более всего прекрасные. Необузданность, борьба страстей, бесстыдство и героизм на плахе и в походах наполняют волнением нашу историю, дотоле столь тихую, и то, что более всего в ней поражает нас, – это именно богатство индивидуальности. С нею возможна стала поэзия, сперва дикая, как и весь хаос перемешавшейся жизни, но потом отстоявшаяся и нашедшая звуки, столь чудные, чарующие не для одного нашего уха. С ней возможна стала любознательность, и бегство бедного мальчика с берегов Ледовитого моря в Москву, на берега Невы, к германским натуралистам, уже не представляло чего-либо необыкновенного³⁷. Каждый и прежде всего хотел удовлетворить свою нагую человечность и лишь в применении к ней рассматривал церковь, государство, поэзию, университет, – или находя в них все, что ей было нужно, или, в противном случае, усиливаясь создать новое. И с тех пор и до нашего времени эта непокорная индивидуальность и приводит в от-

чаяние, и умиляет нас, то внушая за будущее самые страшные опасения, то наполняя сердце великими надеждами. Где еще конец этому своевольству творчества, этому отрицанию векового и священного, неудержимому порыву духа из всяких твердых форм?

XVII

Но вот это богатство творчества видимо иссякает, и эта безбрежность ничем не ограниченной мысли наконец для всех становится утомительна. Это сказывается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства – и, с другой стороны, в хаосе, обезображении всей жизни личной, общественной, политической, которого мы все свидетели. Веселость и красота двухвекового карнавала прошла, а то, что остается от него, дымящиеся факелы и безобразно-уродливые маски, разбросанные там и здесь, не могут быть ни для кого привлекательны и дороги. В подобном положении, полном отвращения к только что совершившемуся, стоит наше общество теперь, – очевидно на рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а другой еще не наступил. Появление славянофилов, нам думается, есть именно симптом, глубоко выражающий это историческое положение. Но кто больше придавал бы значения их чаяниям, нежели критике и отрицаниям, – мы думаем, глубоко бы ошибся.

Недостаточность, необоснованность в синтетическом построении будущего мы находим и у К. Н. Леонтьева. Он слишком много вносит в это будущее из второй фазы нашего исторического развития, почти думая, как и все славянофилы, что мы лишь воскресим ее снова, опять переживем, что было уже пережито. *Этого никогда не происходит в истории*, и в древе жизни человеческой, что раз вскрылось и выразилось, никогда не выразится снова, перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону смерти.

Одно можно предугадать в этом будущем – второстепенное, незначущее; и предугадать, основываясь на том, что

уже совершилось в нашей истории. И в самом деле, в трех уже пройденных фазах нашего развития было не одно отрицание, но и сохранение. Главное, что создавалось в каждой фазе, уносилось и в следующую; но оно становилось там несознаваемой опорой жизни, но не предметом желания, не целью достигаемой, не главным интересом забот и деятельности. В первый период нашей истории мы просветились христианством, и в этом заключался его смысл, вся значительность его, не умершая и не имеющая когда-либо умереть. Удивительно, как характер народности нашей за это время отвечал *уже ранее* принятия христианства той миссии, которая ему выпала в истории через это принятие: дух открытости, ясности и неозабоченность какими-нибудь особенными земными нуждами и интересами – все это делало вступление юного народа в лоно новой религии легким, безболезненным, исполненным радости. И как свободно и легко он ее принял в одной незаметной частице своей, так же легко и почти без принуждения передал и другим бесчисленным частям своим, и даже иноплеменным соседям. Странно: мы почти не знаем *как* и знаем лишь, *насколько далеко* распространилось христианство в первые два-три века после просвещения им киевлян; без помощи сколько-нибудь организованной силы, без всяких средств умственного убеждения, одною силою своей простоты и чистосердечия монахи и священники того времени сделали гораздо более, чем сколько могло сделать при всей политической мощи Московское государство или при всех средствах науки новейшие миссионеры. Собственно, где остановилось тогда религиозное просвещение, оно остается и до сих пор, не будучи в силах преодолеть даже языческой косности многих финско-монгольских племен, живущих среди русского народа или о бок с ним, и тем не менее преодолевая магометанский или еврейский фанатизм.

В богобоязненном, церковном, втором периоде нашей истории это принятое ранее христианство вовсе не было главным, хотя и выставлялось таким. Оно было опорой деятельности, в своих целях не имевшей ничего общего с за-

ветах Евангелия, торжественно и неподвижно лежавшего на аналоях, а не жившего в совести и сердцах людей. Целью, главной заботой в этом втором фазисе было объединение и высвобождение земли своей и потом ее сложение в могущественный и правильный организм. И здесь, по отношению к этой миссии, мы также наблюдаем предварительное установление психического строя, при котором она наилучше могла бы выполняться: эту способность к преемственному достижению одной цели, глубокое сознание себя и всех участников своей деятельности лишь как части, которая должна покоряться целому, только как орудие идеальных требований и стремлений, которым суждено осуществиться в будущем, – что все и слило бесчисленное множество людей, от государя и до раба его, в одну компактную массу, где мы едва различаем образы, но видим могучие силы и совершение великих фактов.

Государственная организация, созданная в этом периоде, перенесена была и в следующий, и, по-видимому, ради укрепления этой организации совершился самый переход нашего исторического развития в новый фазис. Но это было лишь по-видимому; по отсутствию оригинального творчества в политической сфере мы живо угадываем ее второстепенное теперь значение, ее пособляющую, способствующую роль около чего-то другого, что и было в действительности главным. Как мы уже заметили, это главное состояло в раскрытии индивидуальных сил, вовсе не связанных непременно с государством и его нуждами, и еще менее – с религией. Эти силы обратились к сферам творчества, которые никогда ранее не влекли к себе нашего народа и, однако, для души человеческой, для ее просветления и развития, необходимы более, чем что-либо другое. Поэзия, искусство и также наука и философия составили предмет забот, любви, влечения, около которых государство было только оберегателем и религия – лишь общим, очень далеким органом, который все же бросал свою тень на прихотливые создания фантазии. Всем известно, до какой степени наше общество чем далее, тем более

удалялось, теряя связи, как от государства своего, так и от церкви*. И, будто бессознательно чувствуя свою лишь охраняющую миссию, и государство, и церковь бережно щадили эту странную свободу, столь несовместную, по сущности, с их принципами. Для будущего историка это отношение государства и церкви к независимо развивающемуся обществу представится как очень любопытное явление, – и привлекательное. Мы, правда, вечно жаловались все-таки на недостаток свободы; но это было лишь по недоразумению, лишь следствием чрезмерной нашей жажды свободы, опасавшейся даже *возможного* стеснения. Мы указывали обыкновенно при этом на западные страны, но это указание было совершенно ошибочное: ни церковь, ни государство там уже не имеют такого живого значения, такой ничем не нарушаемой веры в свою абсолютность, какая продолжала сохраняться и сохраняется у нас. Там стеснение было невозможно, – за умиранием, за истощением сил в том, что хотели бы стеснить; у нас оно было бережно удалено, – со стороны того, что было полно сил и могло бы, и даже должно по своим принципам – стеснить, но этого не хотело.

Таким образом, христианство, политическая организация и индивидуальное творчество, являясь каждое главным в одном из трех периодов нашего исторического возрастания, в каждом последующем периоде являлись как вторичное, как его опора, но не цель. Что станет новой целью в четвертой фазе нашего развития, ее главной заботой и интересом – это было бы напрасно усиливаться отгадать. Как можно было, сре-

* Это удаление до такой степени очевидно, что в монархической и православной России едва ли был даже один сколько-нибудь значительный писатель, поэт, художник или композитор и монархистом, и православным – без оговорок. И это до такой степени обычно, общество так уже привыкло к этому, что всякие слова в строго монархическом и православном духе, какому бы авторитету они ни принадлежали, встречались обществом читающим с несказанным изумлением, иногда принимались даже как признак помешательства. Ср. историю с «Избранными местами из переписки»³⁸ Гоголя, также с некоторыми стихотворениями Пушкина. Можно ли представить себе подобное отношение к протестантизму в Германии или к католицизму – в романских странах!

ди битв с половцами и печенегами, веселых княжеских съездов и шумного веча – угадать характер Андрея Боголюбского, деяния Грозного, особый оттенок благочестия его больного сына и Алексея Михайловича? Разве в Печерских угодниках были те черты, которые мы находим в митрополитах Петре и Алексее, в Александре Невском, в св<ятом> Сергии или, наконец, в Василии Блаженном? Самый характер христианства как будто изменился в круто повернувшемся складе исторической жизни. И, с другой стороны, уже при Алексее Михайловиче, в его царской думе, в Морозове и Матвееве – как можно было отгадать всеоживляющий образ Петра, его Меншикова и Остермана, его баталии и похождения, его мощь, забавы, труды и смех, которые два века отдаются в наших ушах. И так же точно в кругу, во влечениях и в интересах нашей жизни... что можем мы угадать о будущем? Куда и что понесет с собою новый избранник нашей истории, ни на кого в ней не похожий, обремененный новою мыслью, все прошлое ее ненавидящий, бегущий в новые места, – как Боголюбский бежал из Киева, Петр – из Москвы, как, повторяя историю в лице своем, каждый из нас бежал от преданий своего детства и всякое поколение – от поколения предыдущего?..

Но одна черта в представлении К. Н. Леонтьева нам кажется вероятной: это – уклонение нашей истории к юго-востоку, как естественное следствие ее отрицательного отношения к прошлому. Во всяком периоде нашей истории мы разрывали с предыдущим, – и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без сомнения, разрыв с Западом. Сомнение в прочности и в абсолютном достоинстве европейской культуры, которое является теперь общераспространенным, послужит для нового поворота нашей истории и такой же исходной точкой, как вечные неудачи и поражения русских послужили, два века тому назад, исходной точкой идей и стремлений Петра. Исторический поворот, нам предстоящий, можно думать, будет еще более резок и глубок, нежели какой произошел в то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подробностей; теперь является чувство *общей*

неудовлетворенности, при полном довольстве подробностями – живое сознание недостаточности целого.

Судя по этому сознанию, можно думать, что характер четвертой фазы нашего исторического развития будет именно *синтетический*; создание общей концепции жизни, какое-то цельное воззрение, из которого могли бы развиваться бесчисленные ее подробности и частности, – все по иному типу, нежели по какому развивались они в новой истории, – вот, думается, задача, которая предстоит нашему будущему. Не с рубанком и пушками и не с замыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, выросшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах прошлого со своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания.

К. Н. Леонтьев, по-видимому, думал, что этим воссоздаваемым будут византийские начала. Он вообще не высоко смотрит на творческие силы русского народа и с совершенным уже пренебрежением глядит на других славян, западных и южных, которые никогда и ничего, кроме подражательности, не обнаруживали в истории. Этим последним он считает совершенно пустыми от каких-либо мистических задатков, которым, сказать кстати, действительно принадлежит все истинно творческое, оригинальное в истории (в искусстве, в науке и философии, в государстве, не говоря уже о религии). На началах религиозных было многое разрушено в истории, и многое пытались создать на них, но ничего не было создано. В противоположность этим пустопорожним народностям, в русском народе он находит гораздо более глубины, более пламенное и нежное чувство, проявление склонностей и порывов, очень мало объяснимых рационально. Все говорит в нем о племени неизмеримо более творческом и оригинальном, – говорит о простом народе и в высших слоях, в древности, как и теперь. Мы позволим здесь привести одно его рассуждение, плод долгих, многолетних наблюдений его над Востоком.

«Если мы будем, – говорит он, – сравнивать европеизованных греков и таких же болгар с русскими, то первое наше впечатление будет – что вообще восточные христиане суше,

холоднее нас в частной своей жизни; у них меньше идеализма сердечного, семейного, религиозного; все грубее, меньше тонкости, но зато больше здоровья, больше здравого смысла, трезвости, умеренности. Меньше рыцарских чувств, меньше сознательного добродушия, меньше щедрости; но больше выдержки, более домашнего и внутреннего порядка, меньше развращенности, распушенности».

«У них меньше, чем у нас, оригинальных характеров, редких типов; гораздо меньше поэзии; но зато у них и помину нет о девушках-нигилистках, – о сестрах, просящих братьев убить их, потому что скучно, – о мужьях, вешающих молодых жен, потому что дела пошли худо, – о юношах, почти отроках, убивающих кучера, чтобы учиться революции, и т. д. Самые преступления у восточных христиан (у греков и славян без различия) носят какой-то более понятный, расчетливый характер; этих странных убийств от тоски, от разочарования, с досады просто, или от геростратовского желания лично прославиться, *без цели и смысла*, – убийств, обнаруживающих *глубокую боль сердца в русском обществе и вместе с тем глубокую нравственную распушенность*, ничего подобного здесь не слышно ни у греков, ни у болгар, ни у сербов. Желание грабежа, ссора, месть, ревность, – словом, более естественные, более, пожалуй, грубые, простые, но вообще более расчетливые и сухие, так сказать, побуждения бывают на Востоке причинами преступлений». И т. д.

Но для глубокого и продолжительного исторического созидания, для выполнения великих и своеобразных задач культуры – и племя русское представляется г. К. Леонтьеву недостаточно творческим; или, точнее, творчество его кажется ему бесформенным, слишком неархитектурным. Много прекрасного, глубокого, даже оригинального может быть им создано, – но этого все еще недостаточно, чтобы вылить жизнь историческую в твердые, законченные формы, сильные против разрушающего действия времени. А ввиду разложения западной культуры, ввиду того, что русский народ выступает уже последним в истории, – именно прочность созидания едва ли

не важнее еще, нежели присутствие в нем каких-либо гениальных, но недолговечных проявлений.

Указание на черту эту, ее необходимость в будущем и ее недостаток у русских есть одно из важных указаний у К. Н. Леонтьева, вытекающее глубочайшим образом из всего его исторического созерцания: в этом указании есть некоторое самоотречение, есть национальное бесстрашие, какому мы не знаем примера. Но едва ли не ошибся он здесь: мы уже сказали, что последние два века главное в историческом нашем созидании носит *индивидуальный* характер; эту индивидуальность, порой гениальную и всегда непрочную, он принял, кажется, за постоянную черту нашей истории. Таким образом, то, что составляет особенность и задачу двухвекового развития, он обобщил на все времена и перенес на особенности духа своего народа. Между тем один взгляд на второй период нашей истории, на процесс государственного созидания мог бы убедить его в способности нашего национального характера к постоянству, упорству, выдержанности в творчестве. Есть, хоть разбросанные очень, черты эти и в новой нашей истории.

Итак, неправильно (нам думается) приняв наш характер как бесформенный, он полагал, что эта недостающая оформленность может быть придана нам византизмом. Он с удивительной чуткостью подмечает, что византийские начала залегли у нас и там, где мы их нисколько не подозреваем, — в поэзии, в семейном быте, не говоря уже о государственном и религиозном складе жизни. Его указания верны и многозначительны; но есть и односторонность в них, которую нельзя пройти мимо.

Когда, в какую эпоху мы более всего были проникнуты византийскими началами? Не все ли скажут, что в период государственного созидания Москвою? Но если так, почему не в пору своей детской восприимчивости, не при живой Византии и близости от нее мы прониклись этими началами, но в пору недоверчивой замкнутости и уже павшей Византии, разделенные к тому же от нее громадными пространствами и враждебными племенами? Не есть ли византийское проис-

хождение московского склада жизни явление гораздо более кажущееся, чем действительное?

Нам не кажется, чтобы Владимир Св<ятой> и его дети, Мстиславы Храбрый и Удалой, Роман и Даниил Галицкие, Олег «Гориславич» – носили особенно византийский облик. В эту пору горячей связи, только что восприняв христианство, впечатлительные до переимчивости многого у половцев – мы сохранили, однако, общеславянские черты характера, доброго, уступчивого, несколько беспорядочного и слабого. И вот, когда Византия из могущественной и привлекательной империи стала рабыней мусульманства, выпрашивавшей у нас денег, – при гордых Иоаннах, при Годунове, при первых царях из дома Романовых, мы хотим видеть Россию проникнутой византийскими началами. Не обман ли это, не приписываем ли мы черт глубоко оригинальных и самобытных – заимствованию? По крайней мере, даже теперь, после двухвекового постоянного и тесного общения с европейцами, облик европейский лежит на нас не так прочно – его легче отодрать, – нежели как лежал особенный, *будто бы византийский*, облик на людях Московского государства.

Утонченная и порочная Византия, мешавшая отвлеченные споры богословско-философского содержания с оргиями, шумом и развратом цирка, Византия столь жестокая и лукавая, так надругавшаяся над многими своими императорами, едва ли серьезно может быть поставлена как оригинал и прототип Москвы – угрюмо-молчаливой, упорно-настойчивой, гораздо более насильственной, чем коварной, так во всем не утонченной по мысли, по вкусам, по сердечным влечениям и вместе так преданной крови своих царей, только в этом одном, кажется, нежной и утонченной.

По крайней мере, нам кажется, что все черты этого особенного типа возникли в нашем народе совершенно оригинально и самобытно, как предуготовительные для особой миссии государственного созидания, какую ему предстояло тогда выполнить. И, во всяком случае, раз несомненно, что в истории народ наш не является все с одним и тем же душевным и жиз-

ненным складом, а этот склад не изменялся у Византии, – не может быть и речи о каком-либо его заимствовании. Мы уже высказывали ранее и снова настаиваем, что одна и та же основа, например одинаковая догматика и весь ритуал христианства, будучи переносима в разные народности и в разные эпохи – дает неодинаковую им окраску. Так, нельзя приписать и влиянию византийской Церкви и государства весь склад нашего государства, быта, нравственных и других понятий. В некоторые эпохи здесь было сходство, но не было заимствования, подчинения, – или не было его в очень значительной степени.

И, однако, в объеме христианской догматики и всего церковного склада, без передачи более утонченных черт быта – Византия залегла в нашу историческую жизнь. Выработка догматики этой и всего церковного устройства составляет особенную, великую, всемирно-историческую миссию Византии. Мы никак не должны забывать, что именно Восточной империи принадлежит этот труд и на Западе он был только принят и усвоен*. Здесь еще раз сказалось вечное стремление исторических процессов к разнообразию, к расхождению задач своих, продуктов своего творчества. В особенном труде, который приняла на себя Византия и выполнив который – она умерла, погибла, заключено столько же абсолютной красоты, но совершенно и неизъяснимо оригинальной, сколько заключено ее в продуктах творчества других исторических народов: в искус-

* Вообще, нам думается, судьба Византии от Константина Великого, ее основателя, до падения ее в 1453 г. представляет интерес и значительность истории особого и совершенно оригинального культурно-исторического организма и с нею ни в какое сравнение не может идти по значительности и интересу история собственно Итальянской империи, от Августа до Ромула Августула. Только нужно при этом помнить, что центр истории византийской лежит во Вселенских Соборах, в деятельности Отцов Церкви и еретических волнениях, – наконец, в жизни и трудах отшельников-анахоретов и гораздо менее в императорском дворце или вообще в самом Константинополе. С этой точки зрения, то есть не с отрицательной, а с положительной, которая выясняла бы исторический труд Византии, – история ее не написана; но для ума глубокого и свободного нет эпохи во всемирной истории, столь же мало исчерпанной и так интересной. Добавим, что разработать в подробностях и наконец воссоздать в целом эту историю составляет прямую образовательную задачу науки всеобщей истории у нас, в России.

стве и философии Древней Греции, в праве Рима и проч., и это с точки зрения общечеловеческой, вовсе не православной только. Оригинальная черта Византии состоит в том, что, взяв важнейшие моменты бытия человеческого – рождение, смерть, обращение души к Богу, – она окружила их такой высокой поэзией, возвела к такому великому смыслу, к какому они никогда до того не возводились в истории. Литургия Иоанна Златоуста или песнопения Иоанна Дамаскина – это в своем роде исторический Капитолий или Парфенон, это так же глубоко, прекрасно и правильно отвечает некоторому предмету своему, как только что вышеназванные памятники отвечают своему особому смыслу.

А если мы подумаем, что все-таки навсегда человек останется прежде всего человеком, что его отношение к Богу, судьба души его за гробом важнее для него всяких отношений государственных, правовых и пр., – то особый труд Византии представится даже для историка-язычника едва ли не важнейшим во всемирной деятельности народов. Такому историку предстоит обнять своим умом те неисчислимые миллионы человеческих сердец, которые все были согреты, вразумлены, наполнены этими песнопениями, этими общими молитвами «о страждущих, негодующих... о мире всего мира»... Повсюду, где светит солнце, где люди болеют и скорбят, – чтобы понять все современное ничтожество в сравнении с этим эпикурейского наслаждения искусством немногих избранных или кропотливых изысканий над римским правом толпы мумиеобразных юристов. Обычно принято считать Византию чем-то сухим, от юности старообразным; быть может, это и так. Но несомненно, что в старости своей, быть может, глубже всех народов почувствовав близость к себе великого момента смерти, она высказала слова неизъяснимой глубины, создала вечно живой цвет, который вот уже тысячелетие наполняет историю своим благоуханием и дает народам силу к жизни, без которой они не могли бы, не захотели и не сумели иногда вынести тяжесть судьбы своей на земле.

К. Н. Леонтьев живо чувствовал эту красоту восточного христианства, во всей строгости его древней архитектоники.

Он справедливо не доверял творческим силам своего времени, своего общества, — и вот откуда у него вытекло глубокое отвращение и негодование при виде попыток нового религиозного творчества, какие он видел поднимающимися вокруг себя, стоя почти на краю могилы. Уже гораздо ранее, думая о нашем простом народе, он отметил странную его склонность к этому творчеству, «к разным еретическим выдумкам», вовсе не известную на Востоке. Позднее ему пришлось наблюдать взрыв этой склонности и в высшем обществе. Мудро и осторожно он указал при этом на протестантизм, по-видимому, столь высокий и прекрасный в первые свои минуты, так неизмеримо более привлекательный и жизненный, нежели ветхий католицизм. Но прошло полтора века, и этот протестантизм выродился в казуистику гораздо более сухую, чем католическая, и в ряд бледных, ничтожных учреждений полуполицейского характера. Все сохнет в нем, все разлагается на наших глазах. И, думая об этом, он печально предостерегал и наше общество. Разрушать, отшатываться от тысячелетних созданий — легко в истории; но созидать в ней — это очень трудно. Только при начале своей исторической жизни народы обладают этой удивительной, необъятной силой созидания; не думая о красоте — они созидают так невыразимо прекрасное; не думая о прочности — созидают вековечное. Быть может, потому это, что они думают только об истине, о безусловной правде для сердца своего, для Бога. Можем ли мы также думать только об этой истине, об этой правде? И гораздо более полные всяческой ненавистью, нежели истинной любовью к чему-нибудь, — что можем мы создать, кроме уродливого и безобразного, если не для нас еще, то для детей уже наших?

Отсюда вытекла его строго охранительная деятельность; тут сказался его глубокий и осторожный ум, который жизнь будущую ценит гораздо более настоящей, охранение ее от болезней считает нравственным для себя долгом. У нас все немощно «пантеисты», все несколько «республиканцы» — и по воспитанию своему, и по какой-то русской, действительно, склонности к бесформенности. У нас не любят никаких форм,

которые теснят воображение, тяготят ум. И тем более неизъяснимый интерес находим мы в писателе, который неожиданно открывает нам всю необъятную значительность этих форм, всю невозможность без них жизни или по крайней мере ее прочности. Мы находим в этом коренное противоречие с тем, как много лет уже привыкли сами думать; но вслушиваемся невольно в печальную речь человека, так очевидно благородного, который любит нас и прочность нашего будущего, быть может, более, чем мы сами его любим. Его слова производят на нас неотразимое впечатление, тем более что сказаны они в какой-то задумчивости, очевидно, не имеющей ничего общего с заботой об этом впечатлении. И течение мыслей наших невольно получает обратное с прежним направление...

Если мы спросим себя, куда же направляется это течение и в чем лежит главная забота писателя, за которым мы невольно следуем, то должны будем ответить: *в сохранении жизни, в чувстве влечения к ней, как к величайшей красоте природы.*

И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писаний: *красота есть мерило жизни, ее напряжения*; но красота не в каком-либо узком, субъективном ее понимании, а только в значении – разнообразия, выразительности, сложности. Все, что существует в мироздании, что появляется в истории, подчинено этому общему и глубокому закону, что, возрастая в жизненности своей, возрастает в обилии, разнообразии и твердости своих форм; а падая, возвращаясь к небытию, – ослабевает в формах своих, которые смешиваются, сливаются, блекнут и наконец исчезают, оставляя после себя могильный прах. Пожалуй, здесь мы видим приложение аристотелевской формулы, о котором великий Стагирит³⁹, конечно, не думал: *causa formalis* есть вместе и *causa efficiens*⁴⁰, то есть что вид, обособление от остального, есть сила, творящая в мироздании. Во всяком случае, это правдоподобно по отношению к безжизненной природе и безусловно истинно в сфере истории. Но, если так, наш взгляд на текущую историю должен быть очень печален: руководимые призрачными абсолютными идеалами и главным образом обманчивой иллюзией

устроить счастье на земле всех народов, мы более и более снимаем с этих народов именно оформливающие их начала – религиозный культ, историческую государственность, бытовую обособленность, – не замечая, что сливаем их через это в безвидную массу первобытного человечества. «Нет высшего счастья для человечества, как еда, и нет высшего закона для него, как труд», – повторяем мы и разворачиваем дальше и дальше с него исторические одеяния, – пока оно не останется наго от всего, не станет, как и при исходе истории, только с желудком и мускулами, накормить который, утрудить которые снова сделается одной его заботой.

Это все понял писатель, о котором мы говорим, и твердое слово свое противоположил течению всех дел в жизни, которая его окружала. Им руководило доверие, что идеальное начало еще не утеряно в человечестве, что, раз оно поймет смысл своей истории в текущую эпоху как регресса, оно остановится, удержится от дальнейшего разрушения всяких форм. Он думал, что инстинкт красоты в человечестве еще сильнее пылающей уже всюду взаимной ненависти, в силу которой народы, сословия, индивидуумы обрывают друг с друга последние клоки истории, чтобы равно убогими, равно нищими сойти в землю, из которой все вышли. Но его голос звучал, по крайней мере до сих пор, напрасно. Ничего не доставало этому голосу: ни красоты, ни силы, ни, наконец, понятности. Одного доставало ему: исторической своевременности... Как идут и к смыслу речей его, и к его судьбе эти известные стихи, как будто сказанные о нем:

На буйном пиршестве задумчив он сидел,
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущего, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел.
...Исполнены печали,
Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали...⁴¹

Все было так, как сказано здесь; и то, что ежедневно совершается перед нашими глазами, есть старая, вечно поучительная, но никого не обучающая история.

«В своем отечестве никто не бывает пророком»... неужели это всегда правда? Неужели и ни одно отечество, вечно повторяя эти слова, никогда не оглянется на себя и не поймет тех, кто его так любит, ради него столько несет?.. И тогда зачем же этот горький дар предвидения, эти силы души, пронизательность разума, красота слова? Неужели лучшие дары нашей природы ниспосланы нам в издевательство, чтобы только сделать более горьким наше существование?

К. ЛЕОНТЬЕВ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ

Вновь найденный материал

Удивительно, что «залежи» славянофильства до сих пор открываются, – точно какие-то долго считавшиеся ни к чему не пригодными вещества, пользу которых открыли только в наше время, – или как в географии бывало с необитаемыми островами, с обледелеными землями, с неизвестными тундрами... На открытии этих «залежей» специализировались у нас два толстых журнала, «Русская мысль» и «Богословский вестник», – решительно лучшие теперь журналы философского и исторического содержания, а по тайному мнению моему – и единственные, которые не страшно «взять в руки»... Потому что остальные-то журналы все еще жуют старую космополитическую жвачку и хотя глухо, не полными словами, но продолжают лить злобу на все «восточное» и все коренное русское, и, в сущности, им мило все «старогерманское», от пресловутого Бергсона и Трейхмюллера до еще более пресловутого «интернационала», несмотря на разоблачившиеся связи последнего с прусскою жандармерией и берлинским генеральным штабом. Но не будем сердиться, а станем благодушеествовать, не будем вырывать плевел, а укажем на доброе зерно. В «Русской мыс-

ли» г. Влад<имир> Княжнин напечатал неизвестную до сих пор статью К. Леонтьева – «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве»¹. Статья вдвойне драгоценная – и по автору написавшему, и по другому автору, о котором он пишет. И Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, хотя жили полвека назад, суть «восприемники нашего времени» – «ново-рожденные» только теперь. Их просто не читали. Никто на них не обратил внимания. Изданные было Страховым «Избранные сочинения» Ап. Григорьева² остались нераспроданными в книжных магазинах, затем пошли «с весу» к букинистам и у последних были съедены мышами – обычная судьба русского мыслителя, если он «не мирен» и не идет «со стадом». Население в России «мирное» и «ссор» не выносит, – а оба названные писателя, и Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, и сам издатель первого, Страхов, все «неприятно ссорились» и думали «по-своему». Рукопись Леонтьева извлечена г. Княжнинным из так называемого «Страховского архива», находящегося в рукописном отделении библиотеки Петроградской академии наук, где этот архив значится под шифром: «45.12.67». Это – бумаги Страхова, принесенные в дар Академии мужем наследницы Страхова, его племянницы И. П. Матченко, – издателем III тома «Борьбы с Западом». Кстати, своевременно теперь указать, что столь осмеянная в нашей печати страховская «Борьба с Западом» оказалась очень удачным предсказанием за 30 лет теперешней громоносной войны, где мы боремся не только физически с Германиею и Австриею, но и духовно, нравственно «боремся» вообще с западным духовным обнищанием, с западною лютостью и бездушием, атеизмом и механизмом, на которые Страхов указывал только *вслед* и только *согласно* с первыми славянофилами, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми, Хомяковым и Тютчевым. Но тогда их не слушали и не понимали, а теперь мы все видим «в громе и пламени»... Вот уж «не бывает *пророка* в отечестве своем»...

Статья Леонтьева подписана его *отчеством* – «Н. Константинов», как и другая статья того же Леонтьева, «Грамотность и народность», которую Страхов принял к напечатан-

нию в «Заре»³, а эту статью оставил ненапечатанною, и она сохранилась у него в архиве. Подробности этого эпизода см. у А. М. Коноплянцева в его «Жизни К. Н. Леонтьева», в сборнике статей, посвященных памяти К. Н. Леонтьева в 1911 году. В той *напечатанной* статье К. Леонтьев также мимоходом касается недавно тогда умершего Ап. Григорьева и говорит о нем следующие достопамятные слова: «Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы занимательнее, показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как высокоталантливый прилагатель европейских идей к нашей литературе» («Заря», № 11, с. 197–198)... «Последнее слово Ап. Григорьева было – *народность и своеобразие русской жизни*. Незадолго до смерти своей, в маленькой газетке «Якорь»⁴, не имевшей успеха, как и следовало ожидать, по национальной незрелости нашей публики, – он высказал мысль, что *«все прекрасное в книге – прекрасно и в жизни и прекрасного в жизни не надо уничтожать»*; он приложил эту мысль, в частности, к защите юродивых, столь поэтичных в точных описаниях наших романистов, – но имел в виду развить эту мысль и шире» (там же, с. 198).

Впервые напечатанная теперь в «Русск<ой> мысли» статья К. Леонтьева «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» полна выразительности и того богатого физиологическо-бытового восприятия, к какому К. Леонтьев был так способен:

«Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородой, когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего умного купца, конечно русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу».

Личная встреча К. Леонтьева с Ап. Григорьевым произошла так. К. Леонтьев не любил вообще писателей, не любил того обезличивающего, что кладет на их личность однообразная и монотонная необходимость все писать и писать. Посему и избегал знакомств с ними. Но интерес к писаниям Ап. Григорьева преодолел житейскую его антипатию или предрассудок. Идя раз по Невскому, он встретил Григорьева, шедшего с приятелем, которого знал. И, подойдя к последнему, – просил их познакомиться.

«Мы зашли в Пассаж, – рассказывает далее Леонтьев, – и довольно долго разговаривали там. Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время (<18>60-е годы), и не скрывал от него своего удовольствия. Он отвечал мне:

– Моя мысль теперь вот такая: *то, что прекрасно в книге, – прекрасно и в жизни; оно может быть неудобно, но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного...* (курсив Л<еонтье>ва).

– Если так, – сказал я, – то век Людовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, – стали бы вы это печатать?..»

В это время Ап. Григорьев издавал свою маленькую газетку.

«– Конечно, – отвечал он, – так и надо писать теперь и печатать!

Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском. Не помню, по какому поводу шел по улице крестный ход. Григорьев был печален и молча смотрел на толпу.

– Вы любите это? – спросил я, движимый сочувствием.

– Здесь, – отвечал Григорьев грустно, – не то, что в Москве. В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.

– Вам самим, – прибавил я, – не идет жить в этом плоском Петербурге; отчего Вы бросили Москву?..

Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов...

Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто...

Я сначала думал, что он живет *не один*. Я знал прежде, что он женат, и раз на Святой неделе спросил у него: «Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую Пасху?»

– Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин? – сказал Григорьев.

– Я думал, Вы женаты, – заметил я.

– Вы спросите, как я женат! – воскликнул горько Аполлон.

Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем *особо*, по-своему (курсив Л<еонтьева>), и понял, что избранный им смелый и странный путь породил по несчастью разрыв и нечто еще худшее разрыва...

Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Даже ближайшие его друзья не знали, где он. Я долго искал его; нашел наконец его бедный номер в громадном доме Фредерикса, но не застал его, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало.

Статья К. Леонтьева была прислана Страхову в Петербург из-за границы в виде *письма* к нему, что и обозначено в подзаголовке: «Несколько мыслей и воспоминаний об Ап. Григорьеве. Письмо к Ник<олаю> Ник<олаевичу> Страхову». Вероятно, поэтому Страхов, не напечатав статьи, не считая, однако, долгом и вернуть ее Леонтьеву как просто письмо, к нему адресованное. Почему его Страхов не напечатал? Для читаю-

щего статью это совершенно ясно и вместе очень показательно для обоих славянофилов. Страхов был славянофилом с добродетелью, а Леонтьев был славянофилом без добродетели (хотя с прелестными личными качествами). Первый был смиренно-мудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже «и о врагах своих»; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю, даже в страдание, не токмо врагов, но и друзей. Он говорит о юродивых; но не увлекайтесь и особенно – не надейтесь: он с любовью говорит и о пышном Людовике XIV. В нем было много Гераклита Темного, с его принципом вражды, с его требованием борьбы повсюду в мире. Много Гераклита и, следовательно, много Гегеля, любимца Страхова. Да, но это – в идеях (у Страхова). Но он отшатнулся со страхом и даже с некоторым отвращением (как и Рачинский, – Страхов испытывал положительное отвращение к Леонтьеву), когда «дело» пошло о деле, о жизни, о проведении «диалектического метода» (Гераклит и Гегель) – в явлениях истории, партий, вер... и даже до костюмов человеческих включительно. При этом, можно сказать, в Леонтьеве Гегеля сидело больше, чем в самом Гегеле: у Гегеля тоже были все только «идеи», а сам он был мирным берлинским профессором. Леонтьев кидал «в схватку», кидал в огонь вот эти самые явления на улице, у себя в доме, – где они ни попадались ему. Он нигде не хотел мира, не хотел мира у себя в доме, в нашей России. Он был «поджигатель» по натуре, по существу, по личному вкусу. Его «огонь» был не философией, а пылал у него в крови, жег мозг, толкал его лично на безрассудства и выходки, – между прочим, испортившие ему и правительственную службу. Он не забывал своей «идеи» ни на минуту – и, будучи глубоко «преклоненным» перед славянофильством, разорвал и с ними, именно с моральной и «смиренномудрой» их стороной (в сущности, еще глубже – с «православной» их стороной), ради отвращения и ненавидения их тихости, елейности и упорядоченности, бытовой, семейной и церковной. Но, – пусть уж диалектика доходит до конца, до груди самого Леонтьева, – около страшно серьезного в нем, около глубоко

философского и трагического лежал и простой комический элемент. Где? Как? Философски идея Леонтьева базировалась на рассмотрении биологического процесса, частью коего, разнovidностью коего для него был и процесс всемирной истории. Доселе – «премудрость», Гераклит и Гегель. Но откуда же, однако, личное пылание, которого не было ни в Гераклите, ни в Гегеле? Говоря языком комедий, – откуда в нем зажглось это желание бросить весь мир в пламя, ради цветных тряпочек? Да – «моды», ради которых женщины изменяют верности мужьям; да те «наряды», ради которых «честь» не дорога. Леонтьев слишком, «как женщина», смотрел на историю и культуру; у него был «женский глазок» на все, с его безумными привязанностями, с его безумными пристрастиями, с его безумным фанатизмом. Отсюда странное очарование, которое на нас льется из его неудержимых речей, как будто нас «заговаривает» женщина, чего-то у нас просящая, чего-то безумно требующая и которой мы не в силах противостоять. У Леонтьева – «чары» из самого слова, из строения фразы, в каждой строке «с мольбою» или «упреком». От этого его любят или, правильнее, «влюбляются» в него даже враги, например, Струве в памятной речи в Москве, года два назад, на заседании религиозно-философского общества, слушавшего доклад г. Грифцова о Леонтьеве; Струве поставил Леонтьева выше по качествам исторического учения, чем Толстого и Влад. Соловьева, – между тем как сам Струве – «освобожденец», а Леонтьев – реакционер, правее Каткова. Тут – нельзя сопротивляться. Леонтьева – нельзя не любить. Ибо как вы будете не любить того, кто сам так безмерно любит? В Леонтьеве есть что-то «от Чайковского» и его таинственной, гипнотизирующей музыки. Только у Чайковского – все в звуках, у Леонтьева – в формах, изящных линиях, любви к «наряду», «цветному», к разнообразию узора и красок, в конце концов (и тут мы рассмеиваемся) – «к моде»... Подавай нам «модный свет», подавай нам «цветистую» историю, подавай нам «яркую» жизнь...

– Господи. Но так трудно жить. Пощадите: дайте нам хоть сермяжную, но тихую жизнь. Хоть буржуазную, но

удобную жизнь. Хоть какую-нибудь бесцветную, неинтересную, но – сносную жизнь.

Леонтьев разбит. Это единственно его разбивает, опрокидывает от вершины и до пяток. И только, чтобы не довести его до отчаяния, подскажем ему единственное возражение:

– Тихая жизнь, удобная жизнь – это... старость, это... близость смерти. Есть и молодость, юность: им подавай громы, войну и наряды.

Действительно. Тут мы пасуем. Леонтьев встает во всей суровости и серьезности, как защитник юности, молодости, напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма. Сказать ли последнее, – как защитник вообще космического утра и язычества.

Права старость. Права юность. Правы мы, прав он. Тут некуда уйти. Право христианство, со страховским «смирением» и «ничего не хочу»; и прав Леонтьев с его языческим – «всего хочу», «хочу музыки», «игр»... и – «нарядов».

И смешно, и страшно. Ну, оставим его «как есть». Леонтьев вполне мировой писатель, выразивший «кое-что» в идеях, вкусах и стремлениях человечества, – как до него не выразил этого никто.

Приведем кое-что из этих «украшиваний» Леонтьева, – от которых Страхова, вероятно, стошнило (подчеркиваю такие слова):

«К журналу «Время»⁵ (где писали Ап. Григорьев и Страхов) меня влекли некоторые вещи более, чем к московским славянофилам. «Время» смотрело на женский вопрос *менее строго*, чем московские славяне. Московские славяне переносили собственную нравственность на *пестрые* (курсив Л<еонтье>ва) нравы нашего народа. Я сомневаюсь, правы ли они. Мне казалось, *наш род наш нравами не строг*, и очерки Писемского («Питерщик» и проч.) *казались мне более русскими*, чем *благочестивые* изображения Григоровича. Следующие стихи Ап. Григорьева:

Русский быт –

Увы! – совсем не так глядит.

*Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного...⁶*

И т. д. «Эти стихи, мне казалось, *вернее специфировали великоруса*, чем «четыре времени года» Григоровича⁷ и др. тому подобные вещи. Не отрицая и явлений такого рода, я говорю только, что не они характерны для нашего крестьянства, для великоруса, казачества, для миллионов раскольников наших, *в высшей степени великорусских* (курсив Л<сонтье>ва), особенно когда мы хотим сравнить их с *благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной Европы*.

Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, но – *живущая в самых недрах народа*.

Итак, эта *меньшая строгость к женскому вопросу...* более *влекла меня ко «Времени», чем к московским славянофилам*.

Ну, это – непереносимо для Страхова, для Аксаковых...

Вообще о своих идеалах:

«Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому у ее цену выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.

Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно удобными учреждениями. Лучшие украшения нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью. Люди даровитые и самобытные не могут быть без соответственной деятельности. Когда есть лица, – есть и произведения, есть деятельность всякого рода»...

Следуют примеры. Дальше переходит опять к общему суждению:

«Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, чего недоставало тебе прежде, политическое движение умов, – нынче тебе дано, и семена этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпическую, не в царство массы бытовой русской, а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновническую?»

Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было – искание прекрасного в русской жизни и в русском творчестве.

А. Григорьев хотел и старался *дополнить* во «Времени» и в «Якоре» *то, что*, по его мнению, *недоставало строгим славянофилам* (которых он высоко ценил) *для всесторонней оценки русской жизни*».

Страхов был верный страж старого славянофильства и *не допускал никаких дополнений его*, да еще... в сторону к «слабостям женского вопроса».

«...Григорьев продолжал служить прекрасному, но не тому только прекрасному, что зовут «искусством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному – в самой жизни, прекрасному – в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; но *от того, что сокол высиживает куриные яйца* (утилитарная критика Добролюбова. – В. Р.), сокол не перестает быть ловкой и смелой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля. Но в то же время он решался защищать и юродивых в «Якоре», указывая на задушевные изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классификацию.

Эта критическая всесторонность вредила Григорьеву; его не понимали; имя его никогда не было популярно; на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку: иногда – презрения, иногда – мудрой благосклонности к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайно растленное; они были не совсем не правы. Для себя лично он предпочитал ширину духа – его чистоте. В статьях его было веяние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. Но он не скрывал этого ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвинения. Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно не одно только интенсивное, строгое и чистое; он знал, что и в мире гражданских учений нужен не только политический, нравственный и религиозный аскетизм, но и широкие, критические взгляды, которые в одно и то же время и выше и ниже временно практических настроений. А. Григорьев становился к своему времени в положение историческое. Подобно тому как хороший современный француз равно ценит в прошедшем и Боссюэта, и Мольера, и Раблэ, и Кальвина, как англичанин равно считает украшением (вот основное и вот роковое слово К. Леонтьева. – В. Р.) английской истории и кавалеров, и пуритан⁸, – так и Ап. Григорьев, равно (опять роковое слово К. Леонтьева. – В. Р.) умел своей художественно-русской душой обращаться и к славизму и Православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, и к железным проявлениям материализма, который хотя по содержанию ни русский, ни немецкий, ни французский, а всемирный, но которого приемы, как бы грубы они ни были, мы должны признать вполне русскими.

«Он сам не знает, чего хочет», – говорили про Григорьева.

Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «Охота вам читать эту мертвечину – Ап. Григорьева!»

Я скоро после этого перестал с ним видаться, так он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, казенной добротой, казенным умом.

Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко национальное ярмо, – почтенна и плодоносна, но – бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!»

И т. д. Ну, ясно – *почему* Страхов не напечатал этой статьи. Из личных сношений и разговоров мне известно, что как он, так и Рачинский – эти важнейшие наши славянофилы последней четверти прошлого века, с огромными заслугами в философии, критике и в педагогике, – решительно не выносили Леонтьева, не любили говорить о нем, не желали никакого распространения его сочинениям и втайне – по мотиву: «как он *смел* растлить славянофильское учение, внеся в него яд эстетизма, – в него, которое было так ясно, просто и *благостно*».

Они не были вовсе не правы... Леонтьев вообще страшен. Он зноен, чарующ и влекущ. Он – весь соблазн, гений, сила. И, подойдя к этому огню, опаляешься... между прочим, снисхождением к явным порокам, к явно дурному. «И – юродивый, и – Людовик XIV». Этой смесью сказано все.

«Мне нравятся – оба. Нужны (жизни) – оба».

Это разрушает славянофильство. Его добро, его благость. Разрушает его прямоту. Его «дважды два – четыре».

Действительно: *закон жизни* – красота, разнообразие. Но нужно выбирать. «*Или* – юродивый, которого мы считаем святым, *или* – Людовик XIV, которого мы считаем грешником». Закон – в «разнообразии», тут Леонтьев угадал. Но *корень* жизни, этот однообразный, тусклый у всех дерев, у всех цветов корень, – он просто *кормит, поит*, он просто хочет *доброты* деревцу и *никакого вреда ничему не творит*. Тут прав и Рачинский, и Страхов, – что не захотели даже «всматриваться в философию Леонтьева». Правы. Добро просто, как белый свет, удобно, как белый свет, необходимо, как белый свет. «Людовика XIV» – вовсе не надо и «железного материализма» – не надо, он ложен; и «сокола-Добролюбова» – не надо, или не очень надо, ибо он ввел утилитарную, то есть ложную, критику («высиживал куриные яйца», по Л<еонтьев>ву). Что же «надо»? Философия Киреевских, Хомякова, педагогика – Рачинского, критика – Страхова. Она не «заворожит ума», но она надежна. Однако ведь и хлеб не «щекочет неба», а просто – сытен. Будем помнить Христа и слово Его: «*хлеб* наш насущный даждь нам днесь». Но г. Леонтьев нас научает: и «булочкой» – не по-

давишься, то есть и «пороки», «Людовик XIV и Ментенон», – «ничего себе», пришли и уйдут. Леонтьев освобождает нас от страха порока. «Все бывало, – а мир все же держится». Но «держится» он – именно корнем безвидным, именно светом белым, именно хлебом Христовым. Смеси – нет, смешивать – не нужно. Добро есть добро, а зло есть зло. Будем вечно бороться за добро; и, может быть, будем бороться тем успешнее, что мы не верим в силу зла. «Не пугает», и Леонтьев научил – не бояться. Были Содом и Гоморра⁹ – и сгорели. А православная Феодоровская Божия Матерь¹⁰ в Костроме – стоит. Был Вавилон – но Замоскворечье крепче его. Стоит. Вот «вечное» Страхова и Рачинского и вообще старых славянофилов. Пусть идет «разнообразие» (леонтьевский принцип). «Милости просим, даже – пирогом угостим». Мы знаем: придет ночь, гость – уйдет и мы, мирно помолившись, – «залажем на боковую». И всякие «грехи» есть и были в Руси, а все-таки зовется она и *останется* «Святою Русью». Мир есть вообще арена борьбы Бога и дьявола: но мы – за «Бога», наше дело только не поклониться дьяволу, не поклониться и не испугаться его «Темной Силы». Вот наш простой «аминь».

СУВОРИН И КАТКОВ

В судьбах русской журналистики XIX века сыграли исключительную роль Катков и Суворин. Они не имели между собой ничего общего. И так, через контраст друг другу, они отсвечивают особенно ярко во взаимном сопоставлении.

Катков создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении. Министры менялись, министры чередовались. Наконец, министров было всегда несколько, и они находились скорее в соперничестве между собою, нежели в единении и согласии. Уже по этому одному они оттеняли «государственное слу-

жение» личным элементом; наконец, оттеняли это служение тем, что можно назвать «чиновничьим бытовым элементом», своеобразным в каждом министерстве, и, наконец, последнее и самое печальное – сановным и чиновничьим карьеризмом... Где начинается «лицо служилое» и где начинается «государственная служба» – это не всегда было ясно самим чиновникам, самим сановникам и окружающему люду. В силу этих сложившихся обстоятельств «русское правительство» настолько же сколачивало и единило Россию, насколько ее расхищало и растрепывало. Достаточно вспомнить Министерство путей сообщения и эпоху железнодорожных концессий, достаточно вспомнить хроническое «соперничество ведомств», конкуренцию «нашивок на вицмундире», чтобы наполнить конкретным содержанием ту общую мысль, которую я говорю. Правительство «было» и его «не было». Были «векания», были «направления», были «течения». Программы же не было – иначе как случайной и временной. И хуже всего и опаснее всего было то, что власть была, в сущности, «расхищена»: и каждый ковал свое личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание.

Катков жил вне Петербурга, не у «дел», вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти «петербургские должности», не исполняющие или худо исполняющие «свою должность». Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это – единство и величие России. Ну, – и самовластность Руси: без этого такие железные дела не делаются. Хозяин «крутенок», да зато – «порядок есть». У «слабого» же, у «богомольного», у благодушно-го хозяина – «дела шатаются» и наконец все «разваливается», рушится, обращается в ничто.

Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия «текущих дел», – от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла от-

литься эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во «властных сферах», боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, «своей корысти». И – того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы «инспекция всероссийской службы», и этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались. И – ненавидели, клеветали на нее.

Между тем Катков был просто отставной профессор философии и журналист. Около него работали еще два профессора – Павел Иванович Леонтьев, классик-латинист, и профессор физики Н. Любимов. В кабинете этих трех лиц, соединенных полным единством, любовью, доверием и уважением друг к другу, – задумывались «реформы» России, ограничивались другие реформы; задумывалось вообще «ну» и «тпруу» России.

Все опиралось на «золотое перо» Каткова. В этом перо лежала сущность, «арка» движения. Без него – ничего. Без него все трое – просто отставные профессора. В чем же лежала сущность этого пера? Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было истинно гениально. «Перо» Каткова было больше Каткова и умнее Каткова. Он мог в лучшую минуту сказать единственное слово – слово, которое в напряжении, силе и красоте своей уже было фактом, то есть моментально и неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков – иногда, изредка – говорил как бы «указами»: его слово «указывало» и «приказывало». «Оставалось переписать»... – и часто министры, подавленные словом его, «переписывали» его передовицы в Министерских распоряжениях и т. д.

Что-то царственное; и Катков был истинный царь слова. Если бы в уровень с ним стоял ум его – он был бы великий человек. Но этого не было. Ум, зоркость, дальновидность Каткова – были гораздо слабее его слова. Он говорил громами довольно обыкновенные мысли. Слова его хватало до Лондона,

Берлина, Парижа, Нью-Йорка; мысли его хватало на Московский уезд, ну на Петербург; да и в Петербурге собственно хватало на министерские департаменты и преимущественно на министерство народного просвещения...

Катков был человек «назад», а не «вперед». Это был человек собственно Александровской эпохи, Николаевской эпохи, ну – краешком Екатерининской эпохи. Вот когда бы он сыграл роль – плечом к плечу около Карамзина, пожалуй – Державина, около Потемкина. Сам он был слишком чист, не испорчен и элементарен для своего времени. А время было сложное, лукавое и запутанное...

Замечательно, что в Каткове, как и в друзьях его, не было индивидуальности. Катков – фигура, а – не лицо. В нем не было чего-то «характерного» – «изюминки», по выражению Толстого; той «изюминки», которую мы все любим и ради которой все прощаем человеку. Ему повиновались, но «со скрежетом зубов». Его никто не любил. Поразительно: почти великий человек – он не оставил памяти. Его не хотят помнить. Ужасно!

Если поставить около Каткова Суворина – то это «совсем мало». Так кажется. Что такое «Маленькие письма» около передовиц его? Флейта около пушки. Да, но флейта играет и ее слушают, а пушка выстрелила и больше слушать нечего. Суворин писал и писал, издавал и издавал, трудился, копался; трудился, смеялся, основал театр; ходил в театр; любил театр; даже актрис любил – такое легкомыслие. Суворин около Каткова вообще кажется легкомыслен. Но не торопитесь судить. Вспомните. После Каткова вообще ничего не осталось, как после пушечного выстрела, которого «теперь нет». Суворина живо помнят сейчас, многие любят его; его «Маленькую библиотеку» до сих пор читают во множестве, – вообще его «маленькие сосцы» сосут и до сих пор в великом множестве русские люди.

Катков «прошел».

Суворин «вовсе не прошел».

«Маленькие письма» и «Маленькая библиотека»... Характерно, что это повторилось в названии, в заголовке, в теме.

«Мы будем работать в мелочах, в подробностях, а там – что Бог пошлет». Как ни странно сказать, Суворин при своем сравнительно с Катковым ограниченным образовании, «маленьком образовании», был природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова. Он был его впечатлительнее, зорче, дальновиднее и сообразительнее. Нельзя не сказать, что он имел право и власть иногда подсмеяться над Катковым. «Гром прогремит, а человек останется».

«Мужик» во всяком случае останется, а Суворин был сыном мужика, вышедшего в офицеры, тогда как Катков был из дворян. И «мужик» пережил «дворянина».

Нельзя было сказать, где же кончается талантливость Суворина: до такой степени, дробясь и дробясь, она уходила в бесконечность, в сложность. «И актрису люблю». Все «люблю», что есть русское, талантливое, сочное, яркое, успешное, деятельное, энергичное. И около него начало копиться все это. Он был «большой хозяин». Катков (по структуре духа) был скупой хозяин. У Суворина – денег много, детей много, магазинов много, изданий множество. Везде и все «Суворин». Если не у «Суворина» печататься, то как же «получить известность». И тысячею своих талантов, на которые уже как-то сама ползла «удача», он сделал то, что «публичность» в России, «занятие собою общего внимания», слилось с его газетою, с его знаменитым «Новым временем». «Легкомысленная газета». Да, но все читают. Печататься у Каткова значило «лечь под пушку и быть убиту», печататься у Суворина значило после 3–4 статей стать всероссийскою известностью. Все потянуло к Суворину.

Суворин посмеивался. «И денег много, и славы много. Лафа».

И в сущности, по сердцевинному пафосу, они были – единое. Любовь Каткова к России высилась, как бесплодная голая скала в пустыне; у Суворина было все равниннее и ниже, – но распустилось, как лес, как травы, как поля. У него не так ярко сияло, но было плодотворнее. Однако нельзя не заметить, что, пожалуй, Суворин любил Россию еще пуще,

еще страстнее и многообразнее, а главное – он любил Россию как-то подвижнее и живее, нежели Катков. Тот любил более память России, память Москвы, этот любил будущность России во всем его неиссякаемом и неуловимом содержании, в содержании, «какое Бог пошлет». У Суворина было гораздо менее «я», чем у Каткова; но у него было гораздо более «надежды на Бога».

У нас был патриотизм риторический, одописный – в XVIII веке; был патриотизм официальный, правительственный – в николаевские времена; Катков дал нам вспомнить патриотизм величаво-исторический; наконец, славянофилы дали нам патриотизм мистический, мессианский, внутренний. Но не было у нас патриотизма дневного, делового, практического; «ежедневного» и до известной степени «журнального». В лучших случаях у нас была греза об отечестве и ода отечеству, но работы для отечества – не было. Суворин это-то пустое место и занял, сразу поняв и оценив, что это – самое важное место, самое хлебное место, самое исторически-значительное.

И для выполнения этой роли не могло быть лучшего положения, как положение журналиста! Что такое журналист? Ничего и все. Он «ничего» по силе, по власти: но он всякой власти и силе указывает, советует, содействует ей, ее оспаривает и ее, наконец, даже обличает! Положение универсальное, положение возбуждательное, колющее и ласкающее. Газета – то же, что шпоры для коня. Сами они не «едут», но могут заставить коня скакать: и «всадник» – отечество, общество – понесется.

Суворин осмотрелся. Все наши газеты, в сущности вся наша журналистика с покон веку была идейная и кружковая, была спорчивая, полемическая, но чисто воздушным способом полемики. России никто не выражал и не искал выразить; все выражали идеи «нашего кружка», «кружка Белинского» в «Отечественных записках» <18>40-х и <18>50-х годов, «кружка Щедрина – Некрасова – Михайловского» в том же журнале <18>70-х годов, «кружка Чернышевского и Добролюбова» в «Современнике», «кружка Короленки и Михайловского» в

«Русском богатстве», «кружка Стасюлевича, Спасовича, Слонимского, Утиных, Пыпина» – в «Вестнике Европы». Если спросишь себя, что же это были за знаменитые «кружки», то увидишь, всмотревшись ближе, что это были кружки людей приблизительно одной школы, одного возраста и, самое главное – приблизительно одного «круга чтения», как выразительно назвал Толстой чтение из любимых авторов, любимых мест. Книга – вот что соединяло! Россия решительно много и решительно ничем в себе не соединяла! Через это вся литература была собственно словесная, теоретическая. И, странным образом, «русского», кроме таланта и этики, в этой литературе ничего не было! Все мысли, все сердце, вся душа были «социалистические», «марксистские», англоманские, германофильские, полонофильские, космополитические. Потому что и основные-то книги русского «Круга чтения» всегда были не русские, а переводные или «в оригинале» иностранные. Хотя что-нибудь в этом отношении началось делаться с начала второй половины XIX века и даже позже – с <18>70-х, с <18>80-х годов, но, в сущности, и до сих пор делается очень мало. Следовало бы собрать статистику русской переводной и русской оригинальной книжности: результаты оказались бы, вероятно, отчаянными! Весь университет, вся гимназия живет или питается иностранными учебниками, «руководствами», «обозрениями», «пособиями». Училась Россия и продолжает учиться по «шпаргалке» и «подстрочнику».

Все это увидел зоркий Суворин и кинулся спешно занять «пустое место». И хлебно, и славно. А главное – так важно и значительно. Но этот-то лучший и главный его шаг, поистине – лучшая его биографическая слава, и был причиною бесконечного против него журнального и газетного озлобления. Но мудрый журналист верно, конечно, разгадал, что «Россия будет за него». Россия и спокойный русский читатель поняли журналиста и оценили газеты, где представительствовавшая Россия и русское дело, а не марксизм и марксистские успехи в Германии и России, где говорилось о пользах и нуждах России, а не о «пролетариате в Саксонии» и «партийном съезде в

Марбурге левых групп», – и прочие излюбленные темы. Суворин – да будет позволено дерзкое слово – отпихнул ногою ту ленивую подушку, на которой дремала голова российского Обломова, видящая «третий сон о счастье человечества»; и все Обломовы накинулись на него с невероятной яростью за то, что он именно «ногою» смутил их блаженный сон. «Почему он не марксист или не антимарксист?» – «Почему он не любит стихов Верхарна и Поля Верлена?» – «Где следы его увлечения Шопенгауэром сперва и Ницше потом?» Вообще, «почему он не волнуется нашим кругом чтения?»

Суворин отвернулся и забыл самый вопрос. Просто он был русский ясный и деятельный человек. Ни с Обломовыми, ни с Добчинскими ему было «не по дороге». Чернышевский и его племянничек Пыпин? Суворин просто их не принял «во внимание» – предпочитал лучше заниматься актрисами Малого театра, нежели этой беллетристикой.

Но он напечатал первый «Полное собрание сочинений Достоевского» в 1882 году, в лучшем до сих пор издании, с биографией его, с воспоминаниями о нем, с письмами его. Он дал, в день 50-летия со смерти поэта, – рублевого Пушкина! По гривеннику за том, довольно значительный, в прекрасной печати, в переплете! Это значило, по тем временам, дать почти даром Пушкина!! Он дал его всей России, напечатав в огромном количестве экземпляров и не взяв в этом издании ни рубля себе в карман (я расспрашивал – о подробностях и о денежной стороне издания – его сына). И за это добро, за это просветительное добро всей России, всякому русскому мальчику, всякому русскому школьнику, наша нравственно малограмотная Академия наук сорвала с него что-то около семи или десяти тысяч рублей, потребовав купить целиком и разом все ее дорогое издание в редакции Петра Морозова, – за то, что в свое маленькое издание Суворин взял несколько каких-то «вариантов» из знаменитого «ученого» издания, для большой публики и массового читателя, конечно, совершенно незаметных, неважных и ненужных (ибо Пушкин и без «вариантов» писал хорошо!).

Все накинудись на Суворина, в сущности, за отсутствие у него этого кружкового эгоизма; за то, в сущности, что он служил России, а не «снам Веры Павловны» (забытая теперь героиня забытого романа Чернышевского – «Что делать?»)... Это-то именно сорвало с уст окружающей печати: «Суворин не имеет убеждений», «Суворин служит тому, чему велит ему служить», «его газета есть газета «Чего изволите». Хотя никто решительно не мог его своротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству; главное – ее пользам и нуждам.

На страницах «Нового времени» разрабатывались и проводились, проводились и толкались вперед все реальные интересы России. Это есть главная работа газеты, сущность ее за сорок лет существования.

Мало-помалу она сосредоточила вокруг себя весь практический, деловой патриотизм. Газету полюбили вопреки всему, всем крикам, всей травле остального газетного мира. Суворин основательно посмеивался в ответ этому миру, хорошо видя, что каждый бы занял его место, но уже было поздно, потому что теперь «место было занято». Этот «выбор места», «выбор газетного положения» был главною его историческою заслугою. Говорят о его чуткости. Но она была вовсе не в мелочах, не в частностях «чуткости», на которые указывают, а в самом главном и важном: в широком охвате глазом «всей панорамы» текущего положения вещей, среди которого он схватил себе «главный пункт», «лучшую ситуацию».

И около него стали множиться практические патриоты, люди дела, а не фразы, люди не «флага», выкрика и программы, а инженерной, долгой и трудной работы для государства Российского, для всего нашего драгоценного Отечества. Одною из важнейших его услуг перед Отечеством было то, что он быстро и верно оценил особые и исключительные политические дарования, «общий дух» и золотое перо Меншикова. При неудаче Меншиков мог бы вечно прозябать на розовых страницах наивных «Книжек недели» Гайдебурова: призванный в «Новое время», он быстро, почти моменталь-

но развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неустомимый, стойкий, «не взирающий ни на что», кроме Отечества и его реальных нужд, и подающий советы, решения, «входы» и «выходы» от А до V. Меньшиков, в сущности, очень удачно, менее поэтически и более трезво, заменил самого Суворина в газете: и уже теперь за ним тянется вереница заслуг, чисто государственных. Напомним о неустанных его (притом его одного во всей печати) напоминаниях о необходимости множить артиллерию, множить пулеметы; о напоминаниях о нужде в подводном флоте. И множество его «словечек», которые, как формула, сразу обнимали умы всей России («октябристы суть плохие кадеты», «кадеты суть русские младотурки»). И проч.

Вечная память прекрасному старцу. Имя его никогда не умрет в истории русской журналистики, – в истории вообще русского книгопечатного дела.

КАТКОВ «КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Не имамы зде пребывающего града,
но грядущего взыскуем.

Послание к Евреям, 13:14

Под этим заглавием, которое мы повторяем в заглавии своей статьи, г. Грингмут поместил статью в юбилейном сборнике «Памяти М. Н. Каткова. 1887 – 20 июля 1897 г.»¹. Нам хочется взять покойного публициста не в эмпирических данных, в которых выразилась его деятельность, не в колебаниях, какие были у него, не в слабостях, на которые указывали; нам хочется взять его в силе, в идеале – там, где он никогда не колебался и окружен похвалою, – и, подойдя к этому идеалу, к этому как бы прототипу эмпирического Каткова, показать его недостаточность и ограниченность, его, наконец, минутность.

По истечении десяти лет подробности деятельности стушевываются, и тем выпуклее обрисовываются ее общие контуры; возникает и остается то идеальное, что руководило этим и тем, а в конце концов и всеми частными понятиями, словами, практическими решениями человека. Г-н Грингмут очень удачно и исторически правильно освещает это идеальное в Каткове через сопоставление с идеальным же в двух больших наших партиях, славянофилах и западниках; он говорит – и мы только смягчим угловатости его речи, объясняемые полемическим чувством; итак, он говорит и формулирует:

«Программа славянофилов требовала такого изменения в строе жизни* для искусственного воссоздания древней Московской** Руси в ее стародавней простоте и невозвратимой патриархальности, что в Петербурге относились к этой программе с величайшим недоверием, смешивая славянофилов в одну кучу неблагонамеренных людей вместе с нашими либералами-западниками, которые тоже требовали изменения России***, но уже с совершенно другою целью. Правда, правительство имело некоторое основание относиться подозрительно к этим реформаторам двух совершенно различных категорий, ибо если славянофилы и слышать не хотели о западнических реформах либералов и в особенности о их парламентских затеях, то либералы, наоборот, очень сочувствовали программе славянофилов**** в той части ее, где она включала в себя требования перемен, так как они по принципу стоят

* «Требовала такой коренной ломки государственных учреждений», – говорит г. Грингмут; наши смягчения не простираются дальше этих жестких и узких определений, не касаясь нигде мысли автора.

** А Киевской? Вообще все изложение г. Грингмута не очень точно, и поэтому наши смягчения возвращают только его речь к действительности, к действительной программе партий. В самом деле, сказать или подумать, что филантроп Новиков (западник) и молившийся в Оптинской Пустыни Ив. Киреевский (славянофил) имели «программу» сломать правительство, – значит очень мало понять «дыхание жизни» нашей умственной истории.

*** «Требовали и коренной ломки России, и полного ее переустройства».

**** «Сочувствовали коренной ломке, предлагавшейся славянофилами».

за всякий вид перемен* в надежде чем-нибудь при них поживиться и вообще нарушить прочность государственных и народных традиций. В особенности же они всегда сочувствовали славянофильским требованиям воссоздания «земского собора», так как отлично понимали, что этот «собор» можно будет превратить в самый банальный западный парламент, столь ненавистный самим славянофилам, вполне основательно видящим в нем вершину вреднейшего абсурда для России.

Как бы то ни было, но славянофилы и либералы, расходясь между собою в своих основных началах и конечных целях, тем не менее сходились в одном: в необходимости перемен в современной России в целях возвращения ее или к типу допетровской Руси, или к типу западно-конституционного государства, начиная с ограниченной монархии и кончая республиканскими Соединенными Штатами. Удовлетворить как тех, так и других правительство могло лишь политикой опаснейших экспериментов и попыток, имевших целью либо возвратиться в безвозвратно исчезнувшее прошлое, либо рвануться вперед в погоне за совершенно чуждыми России и по существу своему негодными учреждениями Запада. Как в том, так и в другом случае правительству предлагалось сделать прыжок в мрачную неизвестность.

Правительство отказывалось от подобных головоломных *salto mortale* и предпочитало довольствоваться синицей в руках в виде *настоящего* (курсивы здесь и ниже везде автора) положения России, не гоняясь за журавлем в небе в виде ее допетровского *прошедшего* и западнического *будущего*.

И вот является Катков и впервые провозглашает, что Россия и *в настоящем своем положении* совершенно здорова, что она не нуждается ни в славянофильских, ни в либеральных переустройствах, чтобы идти по пути Православия, самодержавия и народности; что для этого нужно только *верить в себя, верить в свои силы* и, искренно уповая на Бога, беззаветно повинаясь царю и крепко опираясь на русский народ, бодро смотреть в глаза своим внешним и внутренним

* «По принципу стоят за всякую ломку всего существующего».

врагам. В этом именно и заключается великая государственная заслуга Каткова: он уверовал и заставил своих последователей уверовать в *настоящую, реальную* Россию, тогда как славянофилы и либералы соглашались верить только в несуществующую в действительности, а лишь предносившуюся их воображению совершенно утопическую Россию. Туманные противоречивые понятия, проявляющиеся то у одного, то у другого славянофила, представляли какую-то хаотическую массу, в которой трудно было разобраться. С огненной яркостью, точностью и определенностью засияло на этом туманном фоне государственное мирозерцание Каткова, вылившееся в его светлом, логическом, точном уме в стройное, гармоническое несокрушимое целое» («Памяти М. Н. Каткова», с. 55 и след.)*.

Оставим славянофилов и западников; даже в смягченной нами формулировке их взглядов, какую сделал г. Грингмут, нам не захотелось бы слить своего лица, по крайней мере сейчас слить, под впечатлением формулы ни с которой из этих партий. Оставим их; и вот, однако же, общее у них – алкание; и вот общее же у Каткова, неизменное на протяжении всей его деятельности, – сытость: сытость души эмпирическим содержанием действительности. «В этом заключается великая государственная заслуга Каткова», – говорит г. Грингмут. О, нет, ответим мы: в этом его малость; в этом и только в этом лежит губительная для его памяти сторона его деятельности, тут – червь, точащий его пирамиду, и, наконец, мы решаемся даже это сказать: тут, в этом практицизме его, лежит именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнание действительности. Тут он иллюзионист, создатель самых коротких и близко гибнущих видений. Но, чтобы показать это, нам нужно сделать, чтобы читатель на минуту, только на минуту забыл, что он читает «ежедневную» и «политическую» газету, и доверясь – только на секунду – пошел бы за нами в некий в своем роде туман «видений», где мы ему покажем

* Так же, то есть с этими же чертами эмпиризма, характеризует Каткова и Н. Любимов в книге своей «М. Н. Катков. По личным воспоминаниям».

истину. Итак, забудем «Каткова» и его «десятилетнюю память». Перед нами панорама истории; панорама уже неоспоримого величия, где мы можем научиться, что создает его, то есть создает истинное, народами признанное, народами оплакиваемое и воспоминаемое величие. Удивительно: история вся разворачивается в два, собственно, ряда людей – истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев. Вы поражены, вы спрашиваете: где же законодатели, дипломаты, политики? где, наконец, князья, цари? сословия, народ? Они *идут*, но не *ведут*. Кромвель и в дальнейшем расстоянии от него – Джон Нокс, страстный проповедник, которого однажды прихожане церкви, выведя из храма, стали топтать ногами, после чего, очнувшись, он убежал в свое дупло, – да, в настоящее дупло дерева, которое служило ему домом. Что за фантазматическая!.. Но она – действительность, то есть она на два века определила собою действительность. Разве не был вполне юродивым Лойола: вообразить, начитавшись рыцарских романов, что он будет сражаться за даму, имени которой даже не знал; а получив рану в ногу и став хромым, вообразить, что так как даме теперь он не угоден, то будет служить с такой же верностью церкви. Да, когда он повесил щит и латы в маленькой часовенке Божией Матери и молился ей... он смешивал, конечно, эту Божию Матерь с тою таинственной безымянной «*donna*», которой первоначально хотел служить; и потом всю жизнь – *sanctam ecclesiam*, святую церковь, смешивал, не ясно отделял от Божией Матери. Какой туман мечты, какая безбрежность воображения! – и даже Помбаль и Шаузель, самые ловкие министры самых неверующих королей, едва-едва имели силы «проткнуть» этот фантастический туман; да и то надолго ли? Выгнанные, иезуиты вернулись снова: «По милости Божией, революция, против нас собственно поднятая, нам же в пользу и послужила», – формулировали они между 1815 и 1830 годами.

Очень мало известно, что такое была г-жа Крюднер после 1815 года²: знают только все, и теперь это документально доказано, что мысль Священного союза ей принадлежит, что

эта мысль в ней, и ни в ком еще, зародилась, как чаяние, как предположение. В юности танцовка и очень чувственная женщина, она странно кончила: именно, она стала бродить по беднейшим германским деревням, посещать на фабриках рабочих и, проводя там недели и месяцы, возвращалась на минуты в великосветское общество, к которому, собственно, принадлежала, и тогда с упреками говорила всем, что они должны пойти к этим бедным, замученным нищетою людям и помочь им. Юродивая и еще женщина: когда она приехала в Петербург, император Александр I, уже заключивший Священный союз, не хотел более принять и видеть фантазерку. Идея Священного союза была промежуточной ступенью лестницы, по которой от танцев и лучших еще удовольствий она восходила к странному бродяжничеству; но вот факт, что от 1815 до 1848 года, то есть включая деятельность Меттерниха и Гизо, дипломатия Европы – да, эта хитрая и «умная» дипломатия, – во всем опиралась и всегда принимала к расчетам странный бред странной женщины, ткала по нему «цветочки».

Когда Густав Адольф и Тилли («всегда непобедимый Тилли»), а потом за ним и Валленштейн напрягали в борьбе силы и сопрягали в борьбу силы почти всей Европы, – за какой странный туман мысли они боролись: можно ли или нельзя оправдаться одной верою. Именно мучась этим вопросом, во время торжественнейшей у католиков процессии «несения сердца Господня» с Лютером сделалось дурно, и, здоровый монах, он упал в обморок при мысли, что несет тело Господне, когда обременен «не прощенными» и какими-то «не прощаемыми» – кстати, верно у него бывшими – «грехами». Фантастика, как и колебания Блаженного, в самом деле «блаженного», Августина между антиками и Евангелием, чувственностью и аскетизмом. Его «Град Божий», «Civitas Dei», есть что-то вроде Священного же союза, но только прочнее воздвигнувшееся и всемирнее раскинувшееся; за целость этого-то «Civitas Dei», против сомнения Лютера, и встали Тилли и Валленштейн. Там и здесь равно туман воображения; как равно если мы не хотим ограничиться христианством, так как им не ограничи-

вается история – и у Магомета: «Более всего в жизни любил я прекрасных женщин и ароматы, но истинное наслаждение находил только в молитве»; веки бытия, категория желаемого, которые в обратном порядке могла бы указать у себя Крюднер: «Очень любила я молиться; еще более – танцевать, но истинное наслаждение находила только в мужчине»; за то же ею созданное и продержалось 30 лет, тогда как им созданное пережило тысячелетие. «Юродивые», уродливые и еще с печатью какого-то космического неприличия на себе – истинные «хромцы» духа. Это легенды передают о Тамерлане, что когда он родился, то сверх всякого другого безобразия оказался еще и «хромцом»; Иаков тоже стал «хромать», проборовшись целую ночь с Богом, «до утра». И все они ясно, эти юродивые, где-то и как-то «поборолись с Богом» и чувствуют Его: таинственное теистическое дуновение при всей яркой и не укрытой от человечества «хромоте» их собственно у них одних и замечается. В XVIII веке у одного Руссо мы видим его, к удивлению, к негодованию «салонов» и «философов». Никогда, ни однажды, ни ради каких успехов, он не покинул идей «Савойского викария»³ – он, «Confessions» которого так напоминают в одном определенном направлении «хромоты» «Confessions» Августина⁴. Да, это вот еще юродивый; он вечно «пел» о чем-то; не видел и даже не знал (не предугадывал) революцию, но позвал ее: «Без Руссо не было бы революции», – формулировал Наполеон I, а он и умел формулировать, а главное – пережил, и даже в сердце своем пережил, все ее перипетии. Станные песни, вполне мистическая песнь: как удивителен язык Руссо; кто научил его ему? До него, даже при нем и даже после него именно так никто не умел, не мог и – мы решаемся это сказать – не смел бы заговорить. Что-то манящее, какой-то зов: верно, что-то очень похожее на то, что между четырех глаз произошло и навсегда осталось тайною между Александром I, недоверчивым, скептическим, боящимся смешного, и между действительно смешною женщиной – Крюднер. «Ветхий деньми» туман, происхождения которого мы не знаем; он оседает, выходя из каких-то глубин, на человеке, и – вчера растленный,

завтра юродивый – сегодня, вот на краткие минуты «аудиенции», он является в нимбе таинственного сияния, которое остается памятно и на всю жизнь influentially даже в том, кто назавтра не захочет принять, допустить до себя этого человека. Что-то святое делается в истории, мы не умеем лучше назвать; ибо в этом слове совмещены необходимые предикаты неразгадываемого, мощного, очаровывающего, что мы находим всегда в этих секундах: «Какие-то голоса я слышала. – Чьи голоса, юродивая? – Мне кажется – святой Екатерины, но, может быть, и святой Елизаветы» – вот краткий диалог в основе истории Жанны д'Арк, в действительности коей мы ни за что бы не поверили, если бы она не была документально засвидетельствована. Теперь опрокинем все эти панорамы; перед нами – день этого месяца и года, «ежедневная» и «политическая» газета, и частный вопрос, нас занимающий.

«Катков» и его «десятилетняя» память; Катков «как великий государственный человек». Нет, малый. Почему? Он – среди идущих, а не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании – в отрицании на века, в отрицании для всего народа этих «зовущих голосов», этих таинственных «зовов», на которые оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно в себе эту глубокую тайну почувствовав:

...Из пламя и света
Рожденное слово...
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду;
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу⁵.

Мы выше назвали Каткова «мечтателем»: это потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый; и потому же еще мы назвали его «неопытным сердцем»: он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях — тех основаниях, которые бросили военную Францию за 17-летнюю девушкою, кинули Карно и даже позднее Бонапарта распространять «исповедание савойского викария» и, наконец, циничную и растленную, какова она была при Борджиях, римскую Церковь повлекли вслед странного пападина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта грамота психики и реальной действительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали; все было у нас меньше, бледнее; и суженность русской истории сравнительно с европейскою заключается в том, что «ветхий деньми» туман «юрродства и истинной хромоты духа» чуть-чуть брезжил у нас в почти политических, то есть узких и сухих, слишком «умных» для настоящей значительности, партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю «взыскуемого града» — как еще говорит, и, говоря, конечно, освящает, Апостол — он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Они еще «ищут», эти партии; они «алчут» — когда он так «сыт». В самом деле, какая беда и «мука» для уравновешенности от этого! И вот «великий государственный человек», взяв в руки «государственную клюку», хотел бы вымести всю эту «мистику»; или, как говорит Федор Павлович Карамазов своей жене «кликуше»: «...из тебя эту мистику-то выбью», не подозревая, что «малейший в царстве сем» непреодолимо сильнее его, и, как гиппопотам Иова, без труда и даже равнодушно мнет «выгребающие клюки», подобные для него «мягкому тростнику». Вот, мы, «искренно уповая», как и г. Грингмут, «на Бога», окончили анализ «идеала» и определили «великое» как малое, поставив на место его кой-что «малое», но что и

для Бога, а главное — для самих людей есть истинно «великое», оплакиваемое и возлюбленное.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

Н. Страхов. Философские очерки. Спб., 1895.

Мир как целое. Изд. 2-е. Спб., 1892.

Об основных понятиях психологии и физиологии. Изд. 2-е. Спб., 1894.

О вечных истинах (мой спор о спиритизме). Спб., 1887.

Из истории литературного нигилизма (1861–1865). Спб., 1890.

Заметки о Пушкине и других поэтах. Спб., 1888.

Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Изд. 3-е. Спб., 1895.

Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая. Изд. 2-е. (Герцен. — Милль. — Парижская коммуна. — Ренан. — Историки без принципов. — Штраус. — Поминки по И. С. Аксакове). Спб., 1887.

Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. Изд. 2-е. (Ход нашей литературы, начиная от Ломоносова. — Роковой вопрос. — Наша культура и всемирное единство. — Дарвин. — Полное опровержение дарвинизма). Спб., 1890.

Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка третья. (Итоги современного знания. — Ренан. — Тэн. — Ход и характер современного естествознания. — Спор о «России и Европе» Н. Я. Данилевского. — Разбор книг. — Белинский). Спб., 1896.

Воспоминания и отрывки (Афон. — Италия. — Крым. — Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердие и святость. — Последний из идеалистов. — Стихотворения). Спб., 1892.

Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк. Спб., 1867.

О методе естественных наук и значении их в общем образовании. Спб., 1865.

I

Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать и все-таки находить еще новые мысли в них, которые или остались незамеченными при первом чтении, или впечатление от которых закрылось впечатлением от других, более важных мыслей. Эта особенность его таланта становится всего более ярка, когда переносишься мыслью от него к его другу – Н. Я. Данилевскому. Связанные тесною и многолетнею дружбою и единством убеждений, они были люди, в сущности, противоположного умственного склада. Н. Я. Данилевский разработал две громадные идеи, в которых одна положительная по содержанию, другая – отрицательная. Мы разумеем его теорию культурно-исторических типов, развитую в книге «Россия и Европа»¹, и критику дарвинизма², изложенную в двух томах неоконченного сочинения, которое носит название этой теории. По своему универсальному значению обе эти идеи высоко возвышаются над умственною производительностью нашего общества, и, конечно, чем далее ряды сменяющихся поколений будут отходить от нашего времени, тем яснее проступят перед ними величественные черты умственного здания, которое он пытался воздвигнуть. Но, подходя ближе к этому зданию, мы замечаем, что многое в нем выполнено просто и грубо, хотя в общем всегда верно. Истинность и совершенство целого при грубости в обработке частей есть общая черта научно-литературных произведений Данилевского. Он всегда видел только главную идею, для которой работал; эта идея поглощала его мысли, и он менее внимательно смотрел на самый процесс выполнения. Оттого, раз прочитав его труды и согласившись с ним в главном, не имеешь охоты возвращаться к ним снова, зная, что не найдешь в них уже ничего нового. И, однако, самые идеи его уже входят в систему ваших убеждений, они не могут ни исказиться, ни забыться.

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Страхова. Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли выделить которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только их. И что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною сложностью и тонкостью, они трудно усваиваемы, и это несмотря на совершенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно выражены, но сами по себе, именно как мысли*. Все слишком ясное и простое, все умственно грубое не особенно занимает его, и если во 2-м томе «Борьбы с Западом» так много места отведено им теории Дарвина, то это, конечно, лишь из желания объяснить достоинства труда Данилевского и этим почтить память своего умершего друга. В действительности же теория эта, слишком простая и грубая, не могла надолго приковать к себе внимание критика, раз ее истинное достоинство стало для него ясно. С неудержимою силою его мысль влечется к темным и неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории и в вопросах общественных; он ходит около этих областей, тщательно взвешивает все, что о них думали выдающиеся умы разных времен и народов; и вывести из этой темной глубины хоть что-нибудь к свету ясного сознания – вот что составляет его постоянную и тревожную заботу. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли: вы никогда не увидите у него повторений того, что уже известно вам из других книг; отсюда же – отрывочность этих мыслей, их редкая законченность и вместе обилие их. Первое происходит от того, что он никогда не хочет говорить более, нежели сколько знает; второе – от того, что чем труднее занимающий его вопрос, тем менее он в силах оставить его и все с новых и новых сторон пытается разрешить. Вот почему он не создал ни одного большого систематического труда: «заметка», «очерк» или, как дважды озаглавливает он свои статьи, «попытка правильной постановки вопроса» – вот самая обыкновенная и действительно самая удобная форма для

* Сюда относится много удивительных и лучших страниц в «Общих понятиях психологии и физиологии».

выражения его мыслей. Они напоминают собою ажурную работу необыкновенной тонкости и изящества, каждый уголок которой занимает вас, в которой вы открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. Его труды – это не величественный храм, который издали привлекает путника, но удивительная и разнообразная орнаментация, которую он неожиданно замечает, войдя в него, и прихотливые изгибы которой уходят в неопределенную даль. Ничего крупного и резкого не запоминается в ней, но, долго всматриваясь в ее мелкие черты, начинаешь чувствовать пренебрежение и даже неприязнь ко всему умственно-грубому, что, отвернувшись, находишь снова в обыденной жизни и что раньше не казалось грубым. Она не столько входит какою-нибудь определенной мыслью в состав ваших убеждений, сколько изошряет вашу мысль и воспитывает ее, и, хотя бы предметом ее стали другие вопросы, на всем, что создается ею, ляжет уже своеобразная печать.

Мы сказали об однородности впечатления, которое остается от чтения всех трудов г. Страхова. Это зависит от единства настроения, с которым писались они, и от цельности мысли, отсутствия разорванности в ней, несмотря на разнообразие предметов, которым они посвящены. Множество мыслей, переплетаясь и, по-видимому, прерывая друг друга, в действительности связываются в одну непрерывную ткань. Вы чувствуете, что, о чем бы ни писал он, будет ли то научный вопрос, явление литературы, политическое увлечение, он постоянно думает о чем-то одном; в отношении к этому одному, не называя его, он высказывает все свои мысли, чего бы ни касались они прямым, точным значением своих слов.

Это сообщает его разнообразным критическим, публицистическим и научным статьям глубокую, хотя не резко выраженную сосредоточенность. Следя за направлением, в котором она возрастает, мы открываем две идеи, которые, не будучи центром всех его мыслей, стоят наиболее близко к нему; самого же центра он никогда почти не касается словом; *о чем он постоянно думает, он не говорит совсем*. Вы только

чувствуете этот центр, открываете его из общего течения его мысли и из общего настроения, под которым он писал все свои труды.

Два ближайшие к центру сосредоточия, о которых говорили мы, — это, во-первых, идея рационального естествознания и, во-вторых, идея органических категорий как особых понятий, исходя из которых можно было бы наконец пролить объясняющий свет на никогда не разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена в самом почти раннем и наиболее цельном, закругленном труде его: «Мир как целое; черты из науки о природе»; вопрос о вторых уже поставлен им в первом не специальном его труде: «О методе естественных наук и значении их в общем образовании», и к нему же вернулся он снова и с величайшею энергиею в позднем и лучшем труде своем: «Об основных понятиях психологии и физиологии». Нужно прочитать обе эти книги, чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена в них, чтобы дать себе ясно отчет во всей гениальности догадок, которые здесь высказаны, но, к сожалению, не развиты*. Об идее рационального естествознания написано им немного, и, однако же, она совершенно ясна из этого немногого; напротив, об органических категориях написано им гораздо более, и между тем сущность их, точное значение и формальное определение гораздо менее ясны. Очевидно, он встретился здесь с гораздо более трудным вопросом, который не столько разрешил, сколько твердо выставил и резко указал на него как на такой, без предварительного решения которого все труды натуралистов осуждены вечно оставаться только собиранием бессмысленных фактов, а не созиданием науки в истинном и строгом значении этого слова.

Неверность надежды достигнуть когда-нибудь полного проведения первой теории по всей области естествознания и ясности в разрешении второго вопроса была, вероятно, не единственною причиною того, что г. Страхов не посвятил этим двум задачам всей своей жизни, как хотел сделать это

* См. об этом предисловие в книге «Мир как целое и пр.». С. IX.

вначале*. Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего к центру его интересов, однако, все-таки не составляют этого центра и он, предавшись им, не мог закрыть глаза на то, что вечно и неумолкаемо тревожило его мысль. Он сошел с пути чистого естествознания и, весь руководимый одною мыслью, обратился к разнообразным сферам истории, литературы, политики, как будто повсюду и в них продолжая искать чего-то, чего не нашел в естествознании за совершенно ясным решением двух главных вопросов, занимавших его там. В явлениях литературы его более всего интересуют произведения, в которых среди мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого существа и вечные основы, по которым движется жизнь народов. Отсюда восторг, который он почувствовал при появлении «Войны и мира» гр<афа> Л. Н. Толстого, и лучшая оценка им этого произведения, какая была сделана до сих пор в нашей литературе; отсюда его колеблющееся отношение и, наконец, неприязнь к Тургеневу, который ради интереса к текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем. Отсюда же вытекает его глубокий интерес к отрицательным и разрушительным явлениям в истории Западной Европы – к французской революции, к падению философии, к особенному характеру, который приняло там естествознание. Он с любопытством всматривается во все эти явления, старается уяснить смысл их возникновения и точные причины, которые сделали его возможным. Но эта научная сторона в его взглядах на текущую историю есть только предварительная ступень к тому, что всего более занимает его: он пытливо всматривается в лица людей, которые идут впереди этого исторического движения, и ищет в них выражения тревоги и смущения. Он как будто спрашивает: «Как вы будете жить, заглушив в себе вечные потребности человеческой души? что вы поставите на место их и, чего бы ни достигли вы в жизни, что почувствуете вы в самих себе?» Симптомы этой внутренней тревоги с проницательностью че-

* См. в особенности объяснение кристаллических форм в минералах и теорию внешних чувств человека в книге «Мир как целое».

ловека, слишком много пережившего в себе, он отыскивает в великих представителях современной западной литературы – в Ренане, Штраусе, Д.-С. Милле, у нас – в Герцене. Отсюда ряд удивительных его статей об этих писателях. Можно сказать, что их духовная физиономия, внутренний и скрытый центр их деятельности, так хорошо известной и так мало понятой, впервые раскрылись в своем истинном значении в этих статьях. Объективное значение трудов этих писателей, их содержание и то новое, что оно пытается внести в науку, – все это как второстепенное и имеющее пройти оставлено в стороне г. Страховым. Он рассматривает эти труды не в их значении для читателей, но в их отношении к самим писателям, как показатели их внутреннего настроения. Именно оно служит предметом его постоянного размышления как момент в развитии человеческой души, как исполненная захватывающего интереса страница из судеб человеческой совести в истории.

Здесь мы подходим к тому, что уже не *около* центра постоянных размышлений нашего автора, но составляет *самый* центр в нем, в его деятельности и многолетних исканиях. Искусный в определении скрытого нерва других, он ни разу не вскрыл перед читателями своего собственного, высказав о том, что его постоянно, в сущности, занимало, лишь немного отрывочных слов, сказанных по поводу чего-нибудь постороннего и только произнесенных с чрезвычайно вдумчивостью. Есть известие, что самый религиозный народ в истории – еврейский – никогда не произносил имени своего Бога и не писал его всеми буквами, так что древний звук этого имени наконец утерялся и в поздние и менее религиозные времена стал предметом разысканий, но уже тщетных. Нечто подобное мы наблюдаем и во многих писателях. Как будто какой-то страх удерживает их говорить о том, о чем одном они хотели бы говорить, и они только подводят читателя к этому главному, но, подведя, сами ничего о нем не произносят. Боязнь сказать что-нибудь не так, ошибиться хоть в одном слове о предмете столь важном все-таки есть не единственное, что закрывает им уста. Тут есть действительно нечто целомудренное, есть

резкое сознательное нежелание выносить словом из своей души то, что составляет самую сущность этой души и потому должно быть навеки схоронено в человеке, должно быть цельным и нерастерянным возвращено им туда, откуда пришло.

От этого, вероятно, происходит, что о некоторых важнейших сторонах человеческого существа и человеческой жизни оставлено так мало истинно ценных слов во всемирной литературе и так много посредственного и ненужного. О них говорили люди, которые даже не понимали, о чем, собственно, они говорят, и часто молчали те, которые могли сказать нечто действительно значительное. Но, хотя изредка и почти всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они все запомнены человечеством как самые дорогие для него. В образах поэзии, в идеях философии и гораздо реже в прямом учении во всемирной истории было создано хоть и немного, но зато такое, что и сообщает ей все значение, в чем и лежит ее главнейший смысл.

Религиозное составляет область самую важную из тех, которых изредка действительно достойным образом умел касаться человек. Все великие умы в истории явно или скрыто тяготели к этой области, и даже по степени, в которой они испытывали это тяготение, можно судить об их сравнительной силе. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и это было причиною, почему они избрали для себя иные сферы деятельности – искусство, науку или философию, реже – политику; однако на всем этом уже отразилось то главное тяготение, которому они были подчинены. Они любили и хотели только религиозного, но, не осмеливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философию, поэзию. И в то время как, более чувствуя, нежели зная истинный смысл этого тяготения, они о нем молчали, все остальные, от которых не могло укрыться это странное тяготение, пытаясь определить его причину, начали произносить о нем – то положительно, то отрицательно – бесчисленные пустые слова. Так образовалась необозримая у всех народов литература о предметах религии, где все они уже давно объяснены, классифицированы и рассказаны. Но, как само

собою ясно, эта литература в действительности не столько касается религиозного, сколько появилась потому, что религиозное действительно существует в человечестве.

В статье «Место христианства в истории»^{*} мы уже имели случай высказать, что для народов арийского племени вследствие особенностей их психического склада религиозное доступно с особенным трудом; они чувствуют его почти всегда не прямо, редко без искажения и большею частью через посредство других народов. Сфера знания, политической деятельности, объективного воспроизведения природы и жизни в искусстве есть настоящая сфера их деятельности, и она-то составляет неумолкаемый шум истории, который тысячелетия стелется по земле, изредка поднимается над нею, большею же частью низко к ней склоняется. Подобно тому как для народа неарийского племени странно и чуждо было бы заинтересоваться внешними очертаниями окружающих предметов и он с удивлением, как на нечто непонятное, посмотрел бы на попытку найти их геометрическое определение, так точно для арийца странно и чуждо исключительно религиозное настроение и обращение мыслью к тому, что служит его вечным источником. И только встречая у некоторых народов постоянным и всеобщим это настроение, он невольно задумывается над ним и, даже усвоив, перелагает согласно со своею психическою природою в форму идей о религиозном и знания о нем. Но и тогда, при всех средствах воспитания извне, даже делая знание религиозного предметом своих постоянных занятий, ариец редко достигает того, чтобы и все внутреннее его существо обратилось к религиозному, чтобы оно перестало наконец быть для него чем-то внешним и лишь занимательным или практически нужным.

Изредка появлялись, однако, среди этих народов люди, в которых ограниченность их племенной природы как бы поддавалась и они самостоятельно и изнутри себя начинали ощущать религиозное. Но, поддавшись отчасти, эта природа в главном все-таки сохранялась, и вот почему, не будучи в силах

^{*} Сборник В. Розанова «Религия и культура». Изд. 2-е. Спб., 1901.

прямо обратиться к религиозному и живо чувствуя недостаточность только внешнего обращения к нему других людей, они искали его в природе – то изучая ее явления, но как будто с мыслью о ней, то изображая ее красоту, но как будто чувствуя при этом красоту чего-то иного.

К ряду людей этого типа, очень немногих и очень редких, принадлежит и разбираемый нами писатель: религиозное составляет ни разу не названный центр постоянного тяготения его мысли. Оттого и предметы, над которыми он вдумчиво останавливается, так разнообразны, что ни один из них не занимает его сам по себе, но лишь в отношении к иному, о чем говорить прямо он не хочет и не может; оттого и люди, к мысли которых он прислушивается, так до странности несхожи: это и Кювье, недавний творец трех точных наук, и старик Платон с его полузабытыми «идеями», и наш мистик Лабзин, цитату из которого не поместил бы в своей статье ни один ищущий популярности, но несколько не ищущий истины современный журналист. Он проследил каждый изгиб мысли в Герцене и в Ренане, а потом захотел поехать на Афон, чтобы и там посмотреть, как чувствуют себя и что думают несколько странных анахоретов: тот же ли встревоженный у них взгляд и то же ли смущение, которое он подметил в так хорошо знакомой ему Европе? Впечатление, им вынесенное оттуда, было иное, но он уже так отвык говорить собственно о том, что его занимает, чего он ищет в людях и в жизни, что он и здесь о главном умолчал и только с удовольствием рассказывает о своей поездке в этот своеобразный уголок Европы, столь на нее непохожий.

Всех людей подобного типа можно назвать скорее ищущими, нежели уже нашедшими, и вот почему так много в европейской литературе произведений религиозного характера, написанных под конец жизни людьми, которые о своем интересе к религии прежде ничего не говорили и только отрицательно относились к тому, что обычно грубо писалось о ней их современниками. Они не хотели говорить, пока не нашли, и, не дойдя до конца, не могли удержаться, чтобы не

высказать хотя в несовершенной форме того, чего не успели для себя выяснить, но к чему тяготела всегда их мысль. Это тяготение, однако, скрыто определяет сферы знания, литературы или искусства, которым была посвящена и вся остальная их жизнь. Оно же определило и круг интересов разбираемого нами писателя.

Граница между материальным и духовным – тот узел, где мы видим, как теряются они, но не видим, как они связываются, – составляет главный предмет внимания г. Страхова. «Человек – вот узел мироздания, его величайшая загадка и, если бы ее удалось объяснить, совершенная разгадка этого мироздания»*, – говорит он не один раз в своих трудах. Законы внешней, механически устроенной природы, как и законы чистой психической деятельности, хотя и занимают его, но менее, нежели та неясная область, где каким-то непостижимым образом они переплетаются и взаимно переходят друг в друга. От этого физиология – его любимая наука и в ней эмбриологические процессы – предмет его усиленного внимания; рядом с этим предметом неустанного же внимания служат для него глубокие и скрытые движения человеческого сердца в истории, его вечные потребности, без удовлетворения которых человек не может жить и которые отразились в литературных и философских произведениях – все равно Лабзина или Платона. С величайшею отчетливостью он видит то, что с противоположных концов, как исключительно материальное и как чисто психическое, подходит к этому узлу и, точно бледнея, теряет ясность своих очертаний и наконец становится неуловимым, когда входит в него. После долгих мыслей он наконец решается отвергнуть представление, к которому мы все так привыкли: организм, говорит он, вовсе не есть предмет или существо; это есть *процесс*, последний в природе, через который выделяется из нее духовное; создание его, этого духовного, вызвало все особенности организации как необходимые свои условия**.

* См. об этом в особенности «Мир как целое».

** Там же.

Мы видим, что в этих простых и кратких словах содержится новая точка зрения на две великие области, органического и психического, связь которых представляется столь неуловимой. Мы ожидали бы, что вслед за установлением этой точки зрения он начнет искать ее оправдания на всех частностях организации; но он только определяет задачу физиологии словами: показать, почему для появления духовного та или иная и в конце концов каждая черта организации есть условие необходимое, — и затем переходит к иным областям знания, всюду и там останавливаясь лишь на общих точках зрения и не проникая в глубину частного. Этот единственный пример лучше всего может объяснить, каким образом он не сделался ученым натуралистом. Слишком большая субъективность, отсутствие способности заинтересоваться подробностями так же сильно, как и целым, помешали ему разработать до конца какую-нибудь мысль, и вот почему он повсюду не обосновывает теории, но только роняет семена, из которых могли бы вырасти прекрасные теории, только вкидывает различные вопросы или ограничения в разработку науки другими или резко порицает их, когда они уклоняются от своих задач.

Подобное резкое порицание ему случилось высказать, когда в недавнюю пору увлечения спиритизмом наши ученые перемешали все области и стали отвергать ради утверждения духовного ненарушимость законов внешней механической природы. Подобное глубокое заблуждение не могло не вызвать протеста со стороны человека, уже десятилетиями стоявшего над вопросом об этом же духовном и ясно видевшего, где лежит узел его разрезания. С необыкновенной силой он утвердил непреложность и вечность законов материальной, физической природы; и не только ему самому, но и каждому постороннему читателю, без сомнения, больно и трудно было видеть, как самые ясные его слова о том, где нужно искать духовное, как будто пропускались мимо и явился удивительный вопрос среди небрежных его противников: «Да уж не скрытый ли он материалист?»

II

Человек, так напряженно живущий мыслью, не мог не стать рационалистом, и хотя г. Страхов нигде этого не высказывает, однако для всякого его внимательного читателя не может не стать ясным глубокий *теоретизм* всего его душевного склада. У него нет трактатов по логике или метафизике, все его писания удивительно просты, и, однако, за простотою этою невольно чувствуется присутствие громадной теоретической работы, которая совершилась в духе писателя и только последние результаты которой мы видим в его утверждениях и отрицаниях, всегда просто выраженных и в то же время глубокомысленных до трудности усвоения.

Главный и, быть может, лучший сборник своих статей г. Страхов озаглавил: «Борьба с Западом», и это невольно должно удивлять каждого, кто хорошо освоился с его умственным миром. Автор, так озаглавливающий свои статьи, не впал ли в недоумение относительно самого себя? Так точно разграничивая все области знания и не терпя смешения их с другими, верно ли определил он свое собственное положение между двумя великими духовными областями – ветхой и мудрой, которую он нашел на Западе, и юной еще, неразвитой и часто нелепой, которую он находит вокруг себя и которую иногда так страстно ненавидит? Правда, к России и к ее будущему обращены все его надежды и желания, но он не публицист, он прежде всего мыслитель, и какими же мыслями живет он? Разве не ясно для всякого, что духовный мир Европы, глубокие идеи ее философии, чудные и сложные здания ее наук – это то самое, во что врос он своею душою, что живет в нем такою могущественною и яркою жизнью, как, быть может, в немногих и европейцах. Встречая в различных местах его книг слова, в которых он отделяется от западников и становится на сторону славянофилов, недоумевающему читателю невольно хочется спросить его: «Разве в Вас есть это соединение простоты и ясности созерцания, которое присуще нашему народу и отразилось в простоте и ясности его

великих поэтов, как Пушкин и автор «Семейной хроники»?³ Разве с жизнью нашего народа связаны Ваши самые глубокие интересы? Знаток и любитель поэзии, зачитывались ли Вы когда-нибудь нашими былинами, заслушивались ли народною песнею, следили ли с интересом за прихотливым вымыслом народной сказки? Разве Вы знаете хорошо русскую историю? Ценитель поэзии «преданий русского семейства» в «Капитанской дочке» и в «Войне и мире», разве Вы искали ее когда-нибудь в русских мемуарах? И, напротив, разве Вы с большим интересом говорите даже о Пушкине, чем о Ренане и Штраусе? Разве Вы писали обо всех переменах прошлого царствования столько, сколько о дарвинизме? Разве самая идея культурно-исторических типов занимала Вас сильнее, нежели идеи Клода Бернара об общей физиологии? Если когда-нибудь появлялся писатель столь мало местный и так слабо связанный с текущею действительностью, то это именно Вы. Вековые вопросы всего человечества, искание «вечных истин», как озаглавили Вы один сборник своих статей, – вот Ваша постоянная тревога, главный смысл Вашей жизни, и неужели, столько поняв, Вы не поняли смысла всей Вашей деятельности?»

Повторяем, сомнение это невольное, и может пройти много лет, прежде чем для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющий свет. Повсюду, полемизируя с западниками, он направляет их понимание главнейших идей, которыми живет Европа, и нередко поправляет в знании ее литературы и философии. Однажды, делая подобную поправку, он замечает: «Для того, чтобы хорошо понимать Европу, конечно, менее всего нужно быть западником». В словах этих как будто слышится признание, что именно глубокое вникание в духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере ее идей и интересов произвело в конце концов и его собственное отчуждение от нее. В «Воспоминаниях о поездке на Афон» есть несколько любопытных строк, бросающих свет на характер этого отчуждения, быть может более желаемого, чем уже достигнутого. «Имея два месяца

свободных, – рассказывает он, – мне *хотелось присоединиться душою к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам, по которым мы живем...* Но где же искать другой жизни? Европейские нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; везде власть и движение, рост и сила принадлежат Европе, а всякая другая жизнь лишена развития и будущности. Сотни миллионов людей, *еще не уподобившихся европейцам*, составляют лишь служебное, рабочее, податное население, которое уже не может мечтать о своеобразной культуре, о каком-либо участии в ходе истории человеческой». Он думал сперва о поездке в Египет, но мысль, что и там он найдет ту же Европу, какую можно видеть и в Петербурге, те же пароходы, гостиницы и итальянскую оперу, остановила его. Он был в затруднении, куда поехать: «Не то же ли самое и везде, что в Египте? *Везде остались только обломки и дребезги былой жизни*, везде туземное население на заднем плане, лишенное средоточия и самобытного движения, а на первом плане живет и движется Европа». Ему пришло наконец на мысль поехать на Балканский полуостров. И что же, не в родные славянские страны потянуло его и не в чужую Грецию, где он мог бы еще увидеть памятники так ценимой им, так понимаемой античной жизни. Он останавливается на стране, которая должна бы быть ненавистна и отвратительна для всякого русского и каждого славянофила; он вспоминает, что «у нас под боком есть страна, представляющая высокую занимательность новизны и оригинальности. *Сама страшная Азия, последняя могучая форма восточной жизни еще царит в Константинополе*; на самом Европейском материке еще сохраняется грозное некогда владычество турок». Целью его поездки сделался Константинополь, а по близости соседства он посетил и Афон.

Во всяком случае, как странен тон всех приведенных слов и как странно самое желание поехать посмотреть базары и мечети Турции, чтобы хоть там забыться от впечатлений Европы, от которой некуда теперь уйти. Как не похоже это на все, что обычно говорят наши путешественники. Г-н Страхов

сам, впрочем, не скрывает этого различия: «Куда ехать? зачем ехать? – спрашивает он самого себя несколькими страницами выше. – Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всяком месте, *и от души своей никуда спастись невозможно*. Да и вообще, не везде ли вокруг нас люди, а перед нами земля и небо, все стихии природы и жизни человеческой? *И счастлив, конечно, тот, кто прямо живет этими окружающими его стихиями, кого не тянет вдаль, кто почерпает свою духовную пищу из близкой и родной почвы*. Для таких людей путешествие не может иметь глубокого интереса; оно всегда будет для них только забавою, только охотою».

Лишь на два месяца оставляя город, где Европа свила одно из своих гнезд, он бросает взгляд назад и произносит о людях своего времени и своего положения несколько слов, которые поражают своею верностью и проникнуты какою-то грустью: «Мы, русские, легко вникаем в чужую жизнь, легко отдаемся чужим понятиям, и нельзя не сознаться, что большею частью мы этим портим свою душевную деятельность. Если бы мы были посерьезнее, то нас должно бы ужасать то *отсутствие крепких связей со всякою жизнью, и со своею и с чужою*, которое у нас так часто встречается. Все мы понимаем, всем умеем интересоваться, и ничем серьезно не заняты, и ни к чему не питаем глубокого, кровного участия, кроме разве своих мелких личных выгод и прихотей. *Вследствие долгого умственного блуждания по разным эпохам истории и народам земного шара русский образованный человек часто по душевному складу бывает похож на отжившего старика, невольно пришедшего к той степени отвлеченного понимания, на которой все вещи равны и нет уже ничего ни нового, ни важного, а все сливается в однообразном потоке вечности*».

Как напоминают эти слова другие жалобы, которые он подслушал у Герцена, на холодный мир абстракций, который окружает наконец душу человека, слишком сильно живущего теоретическою мыслью⁴. И весь тон приведенных строк и сам странный замысел посетить Турцию и Афон – не пробуждает ли все это в уме далекое воспоминание об одном писателе

же, о великом и странном поэте, который оставил, и навсегда, свою родину и поехал в те же страны, с тою же мыслью прильнуть к новой, еще не испытанной и первобытной жизни; и там погиб, сражаясь за свободу восставшего народа?⁵ Но о чем поэту мечтается, что он хочет сделать и делает, то мыслителю всегда хочется только видеть.

Не будем, однако, вдаваться в аналогии и сближения, которые могли бы повести нас слишком далеко. И без них не может не стать ясен особенный смысл вражды против западничества, который мы встречаем у г. Страхова, но находим также и у других славянофилов. Есть в европейской цивилизации одна черта, которую очень трудно объяснить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, кто внимательно к ней присматривался. «Страна святых чудес» — она неудержимо влечет нас к себе, и все, что находим мы в ней, мы не можем не одобрить, не в силах бываем отрицать. Сколько душевной красоты разлито в ее истории — в этих крестовых походах, в ее свободных коммунах, в величественном здании средневекового католицизма и в том полном одушевления восстании против него, которое мы называем Реформацией! Где найдем мы этот трепет жизни, какой наблюдаем в Возрождении, где увидим ясновидцев-художников, как Рафаэль и Мурильо, и окутанные вечным полумраком чудные кафедралы, стены которых возводились благочестивым населением целых городов? И какую мысль все это облито — мыслью еще более, нежели красотой! Станем ли говорить мы, что все это только внешность? Не будем ни обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет нас к этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории, чрезвычайное чистосердечие в отношении к тому, что она делала в каждый момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела. Разве эти художники, которые постом и ночью молитвою приготавливались к своему труду, не были глубокие люди? Разве перепуганные и обрадованные спутники Колумба, запевшие «Тебе Бога хвалим» на цветущем берегу новой земли, не были верующие? Оставим ложное и злое в своем

отношении к Европе, оно недостойно нас, недостойно того смысла, уразуметь который мы хотим, подходя к ней.

Этот глубокий, странный и необъяснимый смысл заключается в том, что чем глубже входим мы в духовный мир Европы и чем теснее сливаемся с ним, тем сильнее поднимается в нас чувство странной неудовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и, что особенно замечательно, эта неудовлетворенность и усталость испытывается и самими европейцами – именно теми из них, которые являются глубочайшими и последними выразителями ее начал, движущих ею идей. Повидимому, усвоение правильных мыслей ее философии и строгих истин ее наук должно бы удовлетворить разум, который и не ищет ничего, кроме истины, и не стремится к иному, кроме как к правильности в своем мышлении; чувство должно бы испытывать тем большее наслаждение, чем совершеннее мир красоты, который перед ним раскрывается; воля должна бы быть удовлетворена стройностью всех учреждений, через посредство которых она действует на народные массы. И это удовлетворение всех способностей человеческой души действительно испытывается: оно-то и вовлекает все народы в своеобразный и чудный мир европейской цивилизации и делает неотразимыми удары, наносимые ею прочим культурам, от которых всех теперь остаются почти только «обломки», она же одна неудержимо и могущественно разрастается по земле. Но так должно быть до конца, потому что окончательное совершенство мысли, последняя красота искусств, полнота всех учреждений еще более должны бы удовлетворять требованиям человеческой души, нежели все это в несовершенной степени, только на пути к идеалу. И вот именно здесь-то, где еще один шаг – и окончательное, вечное торжество европейской цивилизации было бы несомненно, обнаруживается то странное явление, о котором мы заговорили, и неожиданно раскрывает двусмысленный характер этой цивилизации, заставляющий некоторые народы пугливо сторониться от нее.

Мы утверждаем только факт, без каких-либо объяснений к нему. Нужно читать великие произведения европейских

поэтов, нужно всматриваться в создания искусств, чтобы почувствовать всеобщность и постоянство этого факта. Что может быть выше, нежели «Фауст», а сколько невысказанной грусти залегло в это чудное создание, в это соединение высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать воодушевленные страницы Байрона, Шатобриана, Руссо, Ламенэ и множества других писателей, чтобы увидеть повсюду, что чем глубже проникали они к тем скрытым силам, которыми движется европейская история, тем более покидал их дух светлой радости. И то, что наблюдаем мы в частностях, разве не очевидно для всякого и в целом? Разве когда-нибудь достигало развитие наук такой высоты, как в XIX веке? Не в этом ли столетии жили самые великие поэты? В какое время еще в европейской цивилизации было столько могущества; в ее движениях – столько силы и правильности; когда она давала народам столько покоя; так заботливо охраняла каждого; столько представляла всем наслаждений и умственных, и эстетических? А удовлетворены ли эти народы? Кто, кроме дурных, подходит к этим наслаждениям? Не ищут ли лучшие, скорее, какого-то страдания и не странен ли этот факт? Кто не смутится от него и не задумается над смыслом европейской цивилизации и истории?

Мы все понимаем только в частностях, смысл же целого от нас скрыт. Проследить, откуда именно произошло это странное явление, что наилучшим образом посаженное дерево приносит столь горький плод, мы не в силах. Одно несомненно для нас, что в европейской цивилизации есть какое-то странное искривление; что, будучи столь правильной *в частях*, она заключает что-то ложное *в своем целом* и то, над чем трудились столько поколений и с такими надеждами, вовсе не достигает цели, ради которой над ним трудились.

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не в состоянии различить, анализировать и понять, вошло в целый строй европейской цивилизации; и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь возможности оценить его, по-видимому, ей нужны гораздо более глубокие сведения о природе челове-

ческой души и острое исторического развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю о том, как некогда голодный сын старого отца променял свое первенство и связанные с ним обетования на чечевичную похлебку⁶. Что-то вознаградимо дорогое, без чего невозможно жить, европейское человечество утратило, созидая свою цивилизацию, и томится, войдя в ее чудные формы.

Здесь именно и лежит разгадка наших особенных отношений к Западной Европе и причина возникновения двух великих партий, которые в течение целого столетия разделяют нашу литературу и наше общество на два враждующие лагеря. Не раз проводилась мысль, что значение этих партий уже минуло теперь, что никто более не может в настоящее время оставаться ни чистым западником, ни исключительным славянофилом. Напротив, мы думаем, что спор этот не кончен, и даже утверждаем, что значение его далеко переступает тесные границы национального и имеет всемирно-историческую важность. В подобном же отношении к западноевропейской цивилизации, в каком стоит и наш народ, стоит и длинный ряд других народов, но только у нас возник вопрос: следует ли, оставив пути самостоятельного развития, вступить на путь европейской цивилизации или удержаться от этого? Другие же народы вступают или готовятся вступить на этот путь, не задавшись вопросом, который так смущает нас. Ясно, что то или иное решение, которое *мы* вынесем для него, будет иметь значение и для всех других народов.

Различие в отношении к частному и к целому составляет узел всех этих вопросов — всего, что мы решили и не умели решить, и всего, что нам предстоит разрешить с трудом гораздо большим, нежели мы когда-нибудь думали об этом. Когда — два века назад — совершался перелом в нашей истории, великий государь, ведший за собою наш народ, видел перед собою также только частное и к частному же относилось каждое его деяние, всякий его замысел и каждый поступок. Частное же в европейской цивилизации невозможно не одобрить и нельзя

удержаться от того, чтобы его не принять. Отсюда твердость деятельности Петра, отсутствие каких-либо сомнений в ее благотворности при величайшей любви к своему народу, при жертве будущности его – себя, себе близких и целого поколения этого народа. Не могло быть сомнения в том, нужно ли, оставив прежний строй войска, завести регулярное, когда первое били, а второе било; нельзя было оставаться при прежнем судостроении и при неопытных матросах и не ввести перемен, сводивших к тому, чтобы люди не тонули более в море и суда не разбивались. И во всем другом также вопрос сводился к ясной и простой дилемме: нужно ли данное дело совершать по-прежнему дурно или как-нибудь иначе и хорошо и следует ли нам, как и прежде, всегда ожидать неуспеха или стремиться, надеяться и наконец достигнуть успеха? Деятельность имеет всегда предметом своим конкретное, единичное, она не может коснуться общего иначе как через это конкретное, улучшать которое составляет задачу всякого практического деятеля. Европейская же цивилизация содержит в себе *неопределенное множество улучшенных форм всего частного*, и притом во всех направлениях, и каждый раз, когда мы думаем об улучшении, наш взор всегда и невольно обращается к ней. Здесь и лежит ее неотразимость, и здесь же тайная причина того, почему с вопросом об отношении к ней всегда связывается вопрос об отношении к прогрессу как просто *улучшению*, в абстрактном значении этого слова. Прошло два века со времен Петра Великого, и целая группа людей с утонченным умом и благородными характерами фанатично борется против его дела, видит в нем гибель дорогой России; и всякий раз, однако, когда им предстоит не говорить и мыслить, но *делать*, они делают то самое и так именно, что и как делал он. Разве, желая издать «Семейную хронику» своего отца, И. С. Аксаков не заботился о том, чтобы печатание книги было наиболее скоро, дешево и красиво? Когда заболел он сам, разве он не послал за медиком, наилучше изучившим природу и свойства болезней и способы бороться с ними по наилучшим книгам и у наиболее опытных учителей? И далее, когда уже существуют в

стране движение и торговля и покрыты дороги, облегчающие все это, разве может быть какое-нибудь сомнение в том, что ездить по ним скорее – лучше, чем медленно, что уставать при этом тяжело и было бы лучше не уставать, что платить дорого – трудно, а дешево – легко? Но точно так же и министр, ведению которого поручено образование подрастающих поколений целого народа, разве не должен тревожно заботиться о том, чтобы обучение происходило по наилучшим книгам и с помощью наилучших методов; чтобы сведения, выносимые детьми из школы, были обильно и твердо усвоены? Разве не должны были смущать другого министра несправедливость в судах, запутанность и противоречия в законах, невообразимая медленность каждого процесса – и все они должны были поступать так же, как поступал Петр Великий в своих заботах об армии, флоте и администрации? И таким образом все мы, от государя и до последнего бедняка, руководимые целью делать каждое дело наилучшим образом, все более и более втягиваемся в форму европейской цивилизации, где уже все и во всех направлениях улучшено в наибольшей степени.

Абстрактность улучшенных форм и составляет могущество европейской цивилизации, универсальность ее характера и всемирность ее стремлений; ею одерживает она все победы, даже и не стремясь к ним, невольно; против нее бессилы бороться другие культуры, или тая и претворяясь в формы этой цивилизации, или разбиваясь при встрече с нею. Народы, некогда столь же слабые, столь же грубые и темные, так же гибнувшие в борьбе с природою и между собою, как и другие, не хотели переносить своих страданий, как терпеливо переносили их те. Более ярко, чем все другие, чувствовали они несправедливость и не захотели мириться с нею; вдумывались в причины бедствий, которые наносила им природа, и стали бороться с ними. Шаг за шагом, в течение полутора тысячелетий они переходили от улучшения к улучшению, все более преодолевая препятствия, все чаще научаясь достигать успеха. В неустанной борьбе силы их укрепились и ум их изощрился, все шире становилась их деятельность; желая прежде

избежать только невыносимых страданий, они стали наконец думать о том, чтобы не переносить более и легких. От борьбы против частного, что губило их, от стремления к единичным целям они стали переходить к целям и заботам более общим. Изощрившаяся мысль послужила могучим средством для всего этого. Ничем не пренебрегали они, ни у кого не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой труд и свою мысль, — и все претворялось, как пища, в растущее тело их. Над чем не думали никогда люди, они задумались; чего не хотели они ни разу, эти народы захотели; и поняли они почти все, что доступно для человека, и достигли почти всего, чего он мог пожелать. Создались государства и удивительные учреждения в них; возникли стройные здания наук и чудный мир философии. И теперь, после стольких веков исторического труда, силы этой цивилизации так напряжены и так полны, что, кажется, что бы ни поставила она для себя целью, она успеет ее достигнуть и никогда не устанет она в этом, потому что именно достижение составляет высшее ее наслаждение. Вот почему прогресс, как улучшение, составляет сущность европейского развития и европейскую цивилизацию можно определить как полноту улучшенных форм человеческого существования. Однако кроме частного эта цивилизация есть и нечто общее; и сверх того, что в ней все части улучшены, есть некоторый смысл в целом, составленном из этих частей. В высшей степени замечательно, что Европа сама не знает этого смысла; но не менее замечательно, что к нему именно — к этому общему, относится все недовольство, все смущение и порою ненависть и отвращение, которое она внушает собою. Отсюда вытекает неопределенность этого смущения, кажущаяся беспредметность этой ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчивою, когда, пытаясь говорить для всех понятным языком, она обращается против чего-нибудь частного. Всегда может быть предложен вопрос: почему вы не боретесь против этого или того зла в формах политической борьбы, которая для вас открыта, или путем ученых трактатов, издавать которые вам никто не мешает? Отсюда же тот за-

мечательный факт, что не политические и общественные деятели, видящие наибольшее количество еще не исправленных зол, выражают недовольство европейской цивилизацией, но поэты и философы. Первые всегда обращены к частному и не чувствуют общего; и, как ни много зла предстоит им улучшить — зная, как в европейской истории ничто из частного никогда не было непреодолимо, — они любят эту историю и созданную ею цивилизацию: на нее одну надеются; готовы простить все и примириться со всем, кроме как с восстанием против нее или даже простым ее осуждением. Напротив, мыслители и поэты, которые наиболее слабо чувствуют частное, но зато наиболее глубоко связаны с общим и (как все признают это) наиболее чутки и проницательны из всех людей, — непреодолимо и безотчетно отвращаются от того, что так ценят и любят практики. К этому же общему относится и отрицание, которое высказывают славянофилы, и общее же осуждают они и в реформе Петра. Два века спустя после его преобразований все частное, что сделал он, исчезло: оно или заменено другим, или уничтожено, или изменено до неузнаваемости. Ни один из фактов, им созданных, не существует более вполне; но существует общий смысл этих фактов, о котором он вовсе не думал, и мы живем в цикле истории, им начатом, движемся в направлении, им данном. Только к этому общему смыслу, который один остался и один значим, мы можем относить свои суждения, как он в свое время только к частному мог относить свою деятельность. Дилемма, которая была для него так проста, для нас сделалась необыкновенно сложной и трудной. Он улучшал армию, создавая флот, искоренял злоупотребления в администрации; мы же, ничего не говоря об этом, думаем о разрыве в нашей истории, утверждаем невозможность нормального роста для дерева, раз оно переломлено, мы страшимся за все наше существо и спрашиваем: «Что же останется от нас, кроме языка и его форм, когда, все стремясь стать лучше, мы шаг за шагом будем входить в улучшенные формы европейской цивилизации и наконец войдем в них без остатка? Не станем ли мы только этнографическою массою и неужели

словарь своеобразных слов да своеобразная грамматика, которую мы сами не сумели даже обдумать, есть все, что мы оставим после себя в истории? Неужели для этого появлялся народ наш и самобытно рос уже восемь веков? Мы стали лучше во всех отношениях, в каждой подробности, но какой ценой купили мы это? Мы стали пустым остовом, принявшим чужое содержание после того, как его собственное выброшено за ненужностью, стали одеждою, в которой движется, живет и развивается иное существо, которое сумеет сохранить ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и заменить новою одеждою».

Вот одна половина славянофильского отрицания, вытекающего из общего взгляда на нашу историю и будущность нашего народа.

Его вторая половина обращена к самой европейской цивилизации и состоит в отрицании ее, основанном на знании в ней общего. Эта цивилизация не может быть нормальной для всего человечества; она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданием. Пусть все частное в ней совершенно: есть глубокая расстроенность в ее целом, если вместо того, чтобы испытывать гармонию, радость и успокоение – естественную награду столь положительного труда, труд человеческий испытывает в ней неудовлетворенность. Происходит ли это от того, что столь совершенные части в ней несовершенно соединены и эта дисгармония отражается расстроенностью духа, или другое что закралось в европейскую цивилизацию – этого решить невозможно. Но если несомненно, что стремиться к страданию как венцу своего бытия было бы ложно, то так же несомненно, что человечество должно удержаться от того, чтобы вступать всецело в формы европейской цивилизации.

Ясно, что подобное отрицание не могло быть результатом безотчетного отвращения слепых национальных инстинктов против стремящейся вытеснить их иной культуры. И действительно: оно всегда сосредоточивалось в тесном круге немногих людей, утонченных по своему образованию, в высокой степе-

ни склонных к обобщению, наконец, свободных по своему положению от каких-нибудь частных забот или единичных и временных интересов. Они не были людьми, отрицающими то, что они мало понимали; напротив, они отрицали именно потому, что слишком глубоко поняли известное другим только своею поверхностною стороною и лишь в частностях. Скажем более, они были люди, до конца выполнившие мысль Петра I и именно из полноты этого выполнения вынесшие ее отрицание. Тогда как все остальные еще только движутся в пределах этой мысли, только идут выполнять ее, главную же, коренную частью своего существа продолжают оставаться людьми до-реформенными, — деятельность и благожелательность, как и в самом Петре I, остается для тех людей главною их чертою. Таким образом, если мы глубже всмотримся в психический склад славянофилов и западников, мы найдем в нем обратное тому, что они видимо утверждают. Западники являются таковыми лишь в своих стремлениях — и именно потому, что по своему духовному содержанию и его складу они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы так страстно тянутся прикоснуться к родному, так глубоко понимают его и так высоко ценят — именно потому, что так безвозвратно, быть может, уже порвали жизненную связь с ним, так поверили некогда универсальности европейской цивилизации и со всею силою своих дарований не только в нее погрузились, но и страстно коснулись тех глубоких ее основ, которые открываются только высоким душам, но прикосновение к которым никогда не бывает безнаказанным. Кто станет отрицать, что во многих наших западниках, оставшихся таковыми до конца, более ясный и спокойный дух нашего народа; и кто не заметит, напротив, некоторой сумрачности в складе чувства и глубокого теоретизма в складе ума у всех наших славянофилов? Истории, самой конкретной из наук, они никогда не изучали ради нее самой и обращались к ней лишь за пособиями для оправдания своих теорий; они не любили факта как такового; даже из всех русских историков совпал с ними во взгляде на нее, равно как в своих симпатиях и антипатиях, единственный, который об-

рабатывает ее, и с таким успехом, теоретически*»; напротив, самый слабый из наших историков по силе обобщения и наиболее привязанный к конкретному** был чистый западник.

Едва ли не здесь следует искать разгадки постоянной безуспешности славянофильского учения; их мудрость не привлекала к себе, их горячее слово не убеждало; холод и почти враждебность всегда окружали их. Они сами склонны были приписывать это глупости окружающих, и высокомерное отношение их к людям и фактам своего времени общеизвестно. Но кажется, что причины здесь лежат гораздо глубже. Они скрываются в дисгармонии их психического склада с психическим складом нашего общества, или слабо тронутого, или еще не тронутого европейскою цивилизацией.

Понять, в чем именно разошлись две великие партии нашего общества – значит понять глубокую правоту каждой из них; невозможность для одной из них поступать иначе и для другой – иначе мыслить. Понять особенности в психическом их складе – значит понять множество литературных явлений. Мы обращаемся снова к одному из них, которое так надолго оставили для этих общих рассуждений.

III

«Неудовлетворенность тем, что обыкновенно называется познанием, есть чувство очень обыкновенное», – писал г. Страхов в 1887 году по поводу своей полемики с Бутлеровым, который обнаружил это чувство и высказал его в прекрасных и глубоких словах. «Не только питаюсь естественнонаучными познаниями, но *поглощая и всякие другие*, мы можем оставаться совершенно голодными. Но возможно ли составить общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончил свою книгу «Мир как целое», в которой с увлечением развивал глав-

* В. О. Ключевский. См. предисловие к его «Боярской думе Древней Руси», напечатанное предварительно в «Рус<ской> мысли»⁷, а также известный разбор типа Онегина⁸.

** Разумею Костомарова.

ные и общие учения о природе, мною овладело это чувство неудовлетворенности, и я позволяю себе привести здесь то место, где я пытался тогда дать себе отчет в своих чувствах»*. Мы повторим его также, потому что оно может служить ключом объяснения ко всей литературной деятельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на расстоянии двадцати пяти лет, оно обнимает почти всю его деятельность.

«Если мы чувствуем недовольство этим взглядом (то есть тем, который изложен в книге), если он в нас что-то затрагивает и чему-то противоречит, то нет никакого сомнения, что источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь других требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то *враждует против рационализма* (курсив автора), и эта вражда упорно ведется всеми – спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами».

«Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли»**.

Вот слова, могущие внушить самое глубокое удивление. Обращаясь к предисловию книги «Мир как целое», мы узнаем из него, что основой для мыслей автора, развитых в этой книге, послужили: во-первых, данные естественных наук и, во-вторых, философия Гегеля¹⁰, именно его диалектика. Ланге в «Истории материализма»¹¹ замечает, что одна специальная работа в каком-нибудь отделе естествознания более знакомит того, кто произвел ее, с общим духом и методом всего круга наук о природе, нежели самая обширная начитанность в этих науках, сделанная с целью ознакомиться с их содержанием в последних выводах. Это условие, очень редко выполняемое, было выполнено г. Страховым. И специальные его работы, произведенные в области сравнительной анатомии¹², внушили ему столь общую идею, как идея рационального естествознания. Склонности ума совлекли его с пути чистого естествознания, или, точнее, он вошел в более широкий и гибкий мир

* «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)»⁹. С. XXIX.

** «Мир как целое». С. IX.

философии, чтобы с точек зрения, в ней открывающихся, посмотреть на те данные, которые в круге наук о природе скорее излагаются только, нежели объясняются.

Интерес к факту, однако, уже настолько окреп в нем, что во всем ряде последующих философских трудов его мы не находим и тени развития чистых понятий, с каким обычно встречаемся в философских книгах, но видим только философский анализ, приложенный к явлениям внешней природы или внутренней жизни человека. Философия Декарта и философия Гегеля наиболее, как кажется, послужили к выработке его мирозерцания, и обе не столько содержанием своим, сколько методом. В первой он нашел принципы, и до сих пор развиваемые физическими науками: это – принципы механического объяснения природы; во второй он нашел разработку категорий, то есть понятий, не сводимых одно на другое и, однако, выводимых друг из друга, под которые подводятся, как под общее, все единичные явления природы и все разнообразные ее области.

Таким образом, под рационализмом, неудовлетворенность которым почувствовал г. Страхов, разумеется не какая-нибудь односторонность научного исследования, но дух знания во всей широте его, в его целом; и в этом духе, которым он так глубоко и, по-видимому, так доверчиво проникся вначале, ничто не было рождено тем народом, к которому он принадлежал: он возник и вырос в Западной Европе как одна из лучших и самых совершенных форм ее развития. В различных местах многочисленных книг г. Страхова можно видеть, до какой степени высоко в авторе понятие о науках, как удивляется он твердости их начал и выдержанности их методов. И вот, однако, против этих именно наук – предмета его главного удивления, очевидно не в частностях их, но в целом, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности.

Высказанное более нежели четверть века назад, это чувство определило его отношение к западноевропейской цивилизации и к той, которой смысл еще неизвестен, но которая может, при благоприятных условиях, развиваться в среде нашего

народа. Отсюда горячая его полемика (против г. Вл. Соловьева) в защиту книги Данилевского «Россия и Европа», где развита теория культурно-исторических типов как ряда своеобразных цивилизаций, развивающихся в историческом процессе человечества; он же первый в журналистике* и приветствовал и объяснил главный смысл этой книги. Отсюда участливое его внимание к судьбам славянофильской партии, высказавшееся, например, в статье «Поминки по И. С. Аксакове», одной из лучших в сборнике «Борьба с Западом». Отсюда всегда исполненные уважения слова его о русском народе и его истории. Но когда читаешь их, всегда и невольно приходят на ум его «Воспоминания о Ф. М. Достоевском», который был его близким другом и товарищем по журнальной деятельности (см. первое посмертное изд<ание> сочинений Достоевского, 1882 года, т. I)¹³. Слишком глубокий теоретизм душевного склада потому, быть может, и вызывает неудовлетворенность, что всякого, кто имел несчастье дойти до него, он отделяет глубокою и уже никогда не переступаемою чертой от всего живого и единичного. Те связи, которые соединяют каждого с окружающею средою, как будто прерываются, и глубокое внутреннее одиночество, способность ко всякому предмету или явлению, к лицу, народу или истории становиться лишь в отношении наблюдателя и мыслителя есть невольное последствие этого поступка против собственной души, есть неизбежная кара за нарушение гармонии в ее развитии. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретического ума была присуща и разбираемому нами писателю и всякий раз, когда он привязывался к чему-нибудь, он, собственно, оценивал дорогие ему качества и влекся более к ним, нежели к их живому носителю. Это не может не причинять глубокого внутреннего страдания, и отсюда-то, думается нам, вытекла та особенность, что неудовлетворенность рационализмом высказалась у г. Страхова как «враждебность» к нему, а не как простое сознание его недостаточности только. Не менее знаменательно и то, что, попытавшись истолковать точный смысл этой враждебности, он заговорил об исполне-

* В «Заре» за 1871 г., март.

нии долга как о том, что может более всего другого успокоить встревоженный дух человека*. Понятие долга, выросшее на холодной почве Рима, абстракций его права и тоски его стоицизма, есть лишь сомнительная замена истинных чувств, которыми жива всякая жизнь. «Должное» указывается умом и выполняется, когда более не подсказывается сердцем и жизнь уже не творится; не играет, но только поддерживается.

Мы входим здесь в темную, всегда скрытую область соотношения отдельных сторон психической жизни. Духовный мир человека есть уже от начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с этим и нечто глубоко гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования, но она, к несчастью, обыкновенно сознается человеком тогда уже, когда расстроена непоправимо. Грусть, доходящая до помешательства у Гамлета и вызывающая в Фаусте жажду, возвратившись к юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, вытекает из того именно, что в них обоих основная гармония души была нарушена, что у одного над волею, а у другого над чувством так воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокие для человека всегда выслушиваются им небрежно или не понимаются; их, правда, трудно и выполнить. Во всяком случае, духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество, к которому мы стремимся сами, всегда почти состоит в том, даже начинается с того, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками.

Трудно сохраняемая в личном существовании, эта гармония душевных способностей еще неизмеримо труднее сохраняется в истории, и мы склонны думать, что глубокая расстроенность европейской цивилизации объясняется чрезмерным нарушением в ней равновесия духовных элементов – подавленностью одних из них, исключительным развитием других, наконец, несогласованностью их всех между собою. Сюда

* «Мир как целое». С. Х.

следует, быть может, присоединить ложность и самого типа, по которому развиты по крайней мере некоторые из этих элементов. Со всем этим в высшей степени соединены необыкновенная изощренность, высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое обилие жизни – все то, о чем мы единственно и можем утверждать, что оно несомненно присуще европейской цивилизации. Но не будем слишком входить в рассмотрение этих трудных вопросов; и сказанного достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами писатель пришел к своим отрицаниям и утверждениям.

Перенесенное страдание, как и испытанное счастье, всегда является источником заветного и непреклонного в наших убеждениях; оно же открывает для нас и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубив и усложнив жизнь собственной. В незаметном уклоне мыслей, в особом тоне речи мы открываем присутствие черт, которых не можем не сознавать и в себе, и по ним заключаем безошибочно об общности причин, которые их вызывали. Эту принципиальность суждения, основанную на богатстве собственной внутренней жизни, мы находим и у г. Страхова. Неудовлетворенность – и безотчетная – одною из самых общих и великих форм европейской цивилизации дала ему возможность безошибочно определить подобное же недовольство ею и в других умах, которое сказалось так же враждебно, повело к таким же, как и у него, страстным отрицаниям. Рационализирование природы в философии и науке; безграничное стремление, избегая всякого страдания, улучшать каждую частность жизни и надежда через это достигнуть ее полного совершенства; вера в могущество своей природы и отрижение необходимости для себя какой-нибудь помощи в религии – все это может считаться главными и самыми общими чертами европейского общества второй половины XIX века. В целом ряде западных писателей г. Страхов открывает, как вера в рационализм, столь же горячая, какую он исповедовал некогда, привела к недовольству и отрицанию других сторон европейской цивилизации, то подавляемому еще, как у Штрауса, то колеблющемуся, как у Д.-С. Миля, то исполненному

какого-то недоумения, как у Фейербаха, то открытому и резко-му, как у Ренана и отчасти у Герцена.

Но если для западноевропейских писателей за отрицанием своей цивилизации остается только сумрак и отчаяние, то для писателя иного народа, еще не вошедшего окончательно в формы этой цивилизации, остается надежда на возможность иной культуры. К этой надежде примыкает, из нее исходит вся критическая деятельность г. Страхова.

Одно из самых удивительных заблуждений первых представителей славянофильской партии составляло мнение, что пережитое в два последних столетия нашим обществом может быть как-то забыто и мы снова можем вернуться к простоте своего быта до реформы Петра, чтобы затем продолжать свою историю так, как будто в ней не было перерыва. Здесь забывалось, что если все можем мы изменить, все заимствованное снять с себя, то не можем возвратиться к простоте прежнего содержания, не можем истребить в себе понятий и чувств, усвоенных и сложившихся в два последние века. А в них, очевидно, и заключается все дело; формы же быта и все прочее внешнее являются лишь необходимою их оболочкою, которая не может не соответствовать своему содержанию. Таким образом, возможность иной культуры в нашей истории обуславливается возможностью для нас, сохраняя уже возникшую сложность своего созерцания, перейти в нем с типа западноевропейского к типу иному, который соответствовал бы тому, какой в неразвитой форме продолжает и до сих пор существовать в нашем простом народе. Эта возможность действительно открывается в нашей литературе, исторические заслуги которой теперь нельзя даже оценить.

В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания и склонения в сторону западноевропейских типов духовной красоты человека мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели и которые вместе с тем

совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем простом народе. Эта особенность нашей литературы впервые была замечена Ап. Григорьевым – критиком, который ни при жизни, ни после смерти не был оценен по достоинству. Он открыл новую точку зрения на нашу литературу, и так как она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою. С чуткостью, которая после всего сказанного должна быть ясна, г. Страхов понял верность этого воззрения, оценил всю его значительность для нашего духовного развития и со всею страстностью примкнул к воззрениям Ап. Григорьева¹⁴. Он собрал его статьи, рассеянные в малораспространенных журналах, и, приведя их в систематический порядок, издал, со своим предисловием, биографией и указателем*. В долгие годы последующей собственной литературной деятельности он испытал сам, как трудно добиться в читающем обществе внимания, как всякая оригинальность и самостоятельность проводимых воззрений сопровождаются враждебностью или отчужденностью остальной журналистики, в своей совокупности представляющей непреодолимую силу, способную как дать распространение самым пустым мыслям, так и задавить идею, самую высокую и плодотворную.

Энергия деятельности, когда она неутомима и сопровождается талантом, может, однако, преодолеть и эту косную силу. В ряде собственных превосходных статей по поводу «Войны и мира» г. Страхов изложил предварительную точку зрения Ап. Григорьева и тем гораздо более, нежели изданием его сочинений, способствовал ознакомлению с ней широких слоев читающего общества. Затем эту же точку зрения он приложил и к произведению Л. Толстого. Их глубокое соответствие, как теории и факта, не могло не поразить всякого. В отношении ко всему предыдущему развитию нашей литературы великая эпопея гр<афа> Толстого являлась светлым и высоким торжеством той стороны ее, которая впервые сказала у Пушкина, была совершенно не понята его современниками и последующими критиками и оценена впервые Ап. Григорьевым.

* Сочинения Аполлона Григорьева. Т. 1. Спб., 1876.

Но и для самого г. Страхова появление «Войны и мира», можно думать, было важным моментом во внутреннем развитии. То, чего он смутно искал, чего ожидал с сомнением, появилось в образах удивительной красоты и твердости, перед которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего их значения. Ни для кого значение это не могло быть так ясно, как для него. В четырех томах громадного литературного произведения он нашел две строчки, мимоходом брошенные автором, в которых была сгруппирована вся мысль романа, быть может, не так отчетливая и для самого знаменитого художника. Эти строки он избрал эпиграфом для своего разбора: *«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»*. В этих коротких словах содержится указание иного и высшего типа для всемирной истории, по которому она еще никогда не двигалась и которая хранится, как нравственный идеал, бессознательно в недрах народа нашего; по нему, конечно ступая и вкривь и вкось, развивался и быт наш до реформы Петра. Этот тип может быть удержан при всей сложности развития, при всякой высоте умственных созерцаний или обширности замыслов и стремлений. Нельзя не согласиться, что он есть норма для человеческого духа и мерило достоинства для человеческой деятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствует неудовлетворенности и тревоги, а вторая успеет достигнуть всяких целей. Если мы всмотримся в двухтысячелетнюю историю Западной Европы, мы увидим, что все великое, в ней совершившееся, совершилось по иным типам, нежели этот. Могущество внешнего авторитета в одни моменты ее развития, свобода личной совести в другие, гражданское равенство в третьи, далее, спиритуализм или материализм воззрений, чувств и отношений – вот окончательные цели, которые преследовались западными народами и породили великие циклы их развития: католицизм и Реформацию, систему централизованных государств и революцию, рыцарство и промышленность, аскетизм монастырский и шум энциклопедистов. Идеал всегда бывает несложен, он называется двумя-тремя словами, но его осуществление на всех ступенях жизни,

проникновение им всех форм развития, всех моментов личного существования и общественных отношений наполняют собою века народной жизни, поглощают труд бесчисленных поколений. Западная Европа в течение всего последнего столетия движется в пределах мысли, которую мы можем читать в двух словах, вырезанных на французских пушках, хранимых в Московском Кремле, – «liberté, égalité»¹⁵; сюда примыкают ряд монархий и республик, законодательства и журналистика, индустрия и пролетариат. Итак, слова эти кратки, но смысл их долог. Нетрудно понять, как забвение великого идеала, хранимого в нашем народе, пренебрежение которою-нибудь из его черт порождает наше бессилие достигнуть хоть каких-нибудь из своих целей, и не нужно быть особенно проницательным, чтобы предвидеть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы их всех, если бы в стремлении своем действительно были всегда просты, совершенно не заботились ни о чем, кроме добра. Но к добру мы примешали лживость, к правде – ожесточение, извратились сами и извратили свою жизнь и несем ее как бремя, ненавистное для себя и для других.

К разбору «Войны и мира» прилегает, как к своему центру, и вся остальная критическая деятельность разбираемого нами писателя. В ней особенно следует отметить превосходные «Заметки о Пушкине и других поэтах». В противоположность основным славянофилам, которые гениального, но извращенного Гоголя признавали самым великим деятелем в нашей литературе, потому что он отрицанием своим совпал с их отрицанием, – ветвь этой партии, к которой принадлежал г. Страхов, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствие этого поэта, равно как широта его симпатий, более соответствовали положительному характеру идеалов этой ветви славянофильства, главными представителями которой были кроме разбираемого нами критика Ап. Григорьев и Ф. М. Достоевский (к их же кругу принадлежал и Н. Я. Данилевский). Пушкин сделался центром их симпатий и толкований. В его знаменитом стихотворении «Возрождение» они видели высказанную судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое

скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное преклонение перед богами чужих народов, утомление всеми ими и возвращение к идеалам своего родного народа.

Это можно почти толковать так, что уже при первом выступлении на историческое поприще каждый народ, как и всякий вчера рожденный человек, в своих скрытых духовных дарах носит определение своей судьбы. В течение долгого времени он смутно и безотчетно идет правильным путем, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не сознавая их. Но настает время, когда он сходит с этих путей, и временные желания, придуманные цели становятся его руководителями. Он называет это время периодом пробуждения в себе сознания, пробуждения своей личности в истории. Однако он скоро познает, как недостаточны его силы для поддержания его на этих путях, как слаб его ум для выбора наилучших из них. Измученный и не достигнув ничего, он снова возвращается тогда на великие пути, по которым шел раньше. Но все переменяется теперь: не тот уже и он, и иначе понимает он путь, который уже совершил и который ему предстоит еще окончить. Он догадывается, наконец, что было сознание, великое и глубокое, которое и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; не мыслью своею, но деяниями, повиновением он совпадал и прежде с этим сознанием. Утомленный, он и теперь хочет только повиноваться ему и повинует; но он вместе с тем совпадает теперь с ними своею мыслью. Этот последний период и есть период действительного сознания, которое можно назвать мудростью.

* * *

Мы поставили для себя задачею – указать главные линии в строе мышления избранного писателя и объяснить их происхождение; при этом, естественно, мы опустили все частное, что содержится в его трудах. Сделаем теперь общую характеристику его значения.

Прекрасная и уже обширная в поэтическом и художественном отношениях, наша литература не дает еще достаточ-

ной пищи для *ума собственно, для размышления*. Любя своих великих писателей и постоянно перечитывая их, мы можем воспитаться нравственно: научиться с достоинством проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому страданию и воздерживаться от всякого зла. Круг отношений к ближнему, к своему народу, разные житейские отношения – все это истолковано в образах нашей литературы с удивительным разнообразием, с глубоким знанием человеческого сердца.

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть самая сложная и трудная задача всякого человека, то за нею остается еще и другая. Часть жизни своей всякий человек проводит наедине, и здесь он невольно обращается своею мыслью не к временному и текущему, что окружает его, но к вечному и постоянному. Он хочет сколько-нибудь уразуметь тот мир, в котором мгновение назад появился и через мгновение же исчезнет; хочет унести с собою что-нибудь вечное. Это желание делается источником размышления.

Чего-либо соответствующего ему недостает в нашей литературе, и мы склонны думать, что в ближайшем будущем ее главною заботою станет восполнение этого недостатка. Нужно понять эту великую задачу во всей ее строгости, нужно отнестись к ней с тою же простотою и серьезностью, с какою относится к ней каждый в глубине своей души, наедине с собою. Для литературы это задача неизмеримо трудная. Заинтересоваться единственно предметом своим и относиться к читателю так же правдиво, как к самому себе, – это может быть доступно только высоким душам.

Им и будет принадлежать умственное воспитание нашего общества, руководство его мыслью. Не раз, вчитываясь в многочисленные труды разобранных нами писателя, мы старались дать себе отчет, почему именно он так не похож на всех других, что сообщает ему такое своеобразие? Цельного мировоззрения он не дает, никакой яркой идеи не высказал и не утвердил, даже ни на один вопрос не ответил ясно и отчетливо, окончательно. Но со всем этим странным образом соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать себе

отчет о нем, невольно останавливаешься на отношении автора к предметам своего размышления и к своему читателю.

Заинтересованность первыми — до забвения личного в себе и, в силу этого, забвения личного и в читателе — есть постоянная и отличительная его черта. Это и порождает в размышляющем читателе чувство совершенного удовлетворения: никакой дисгармонии между своею душою и книгою он не испытывает; все временное, все личное, что отделяет его от других людей и минутно соединяет с ними, так же как и тогда, когда он остается наедине с собою, уходит куда-то в безграничную даль и пропадает. Мысли, в действительности усваиваемые им извне, как будто вырастают в его собственной душе и развиваются в ней.

Это и составляет притягательную силу разбираемого автора. Он не столько разрешает наши вопросы, сколько научает нас серьезно искать их разрешения; не так наполняет ум, как prepares его к принятию истинно достойного содержания. Длинный ряд книг, им написанных, касающийся самых разнообразных вопросов внешней природы и внутренней жизни человека, истории и политики, философии и религии, служит прекрасным началом выполнения нашею литературою той задачи *умственного развития общества*, разрешения которой мы ожидаем от нее после того, как она столь прекрасно выполнила задачу его художественного и отчасти нравственного воспитания.

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И Н. Н. СТРАХОВА

I

Печатающаяся в «Современном мире» переписка между гр<афом> Л. Н. Толстым и Страховым полна местами несравненного интереса¹. Толстой все творил и творил; выкидывал из себя целые каскады новых мыслей, новых пожеланий, новых

оценок. Тихо шел за ним или около него Страхов, – ослепленный или, вернее, очарованный этим творчеством, хорошо понимая, что *выше творчества* в писателе и мыслителе ничего нет; но и понимая одновременно, что *сама-то история человечества* есть тоже великое сотворение, гениальное сотворение и что поэтому относиться к нему отрицательно или разрушительно невозможно. Толстой, в каскаде «своих мыслей», почти не заметил и прошел мимо этих нежных ему укоров друга; скажем прямо – он просто их не понял, так как в нем говорил или из него кричал «дух пророчества» и вот этого сотворения «все вновь и вновь»; Страхов же ясно видел неверность путей, на которые вступает Толстой, потому именно, что Страхов лишен был «творчества из я» и ум его был прикреплен к созерцанию вековых устоев истории, вечных, так сказать, «стран горизонта», с которыми и Толстой должен бы сообразовать свое «плавание», но не сообразовал его, и потому именно, что прямо *не видел* горизонта *дальнего*. Страхов был компас, но только компас; Толстой был паровик, но только паровик. Увы, «дружба» их не вылилась в гармонию «паровика и компаса»; и теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что «новаторство» Толстого было по существу продолжением того «нигилизма», против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого. Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии и религиозности, – уверенный, что это подействует на наш «старый нигилизм», свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то оказалось, что «старый нигилизм» был крепче и выжил, а Толстой, в сущности, покорился ему в самой религиозности своей, в самых своих исканиях, «где *лучшее*» религии.

Спор начался с «Писем о нигилизме», напечатанных Страховым в аксаковской «Руси»². Письма эти не удовлетворили Толстого и даже раздражили его. И виден пункт разницы между Толстым и Страховым. Страхов судит нигилизм как *историческое явление*; судит его под впечатлением 1 марта³.

Толстой совсем не видит истории и даже не интересуется ею, а судит скорее не «нигилизм», а «нигилистов», – с точки зрения на «запросы души их», этих нигилистов, говоря, что они правы, отрицая всю теперешнюю действительность, этот мир форм и мундиров, мир внешности и официальности. Таким образом, спор между «друзьями» происходил в совершенно разных плоскостях, и они никак не могли понять друг друга и сговориться. Здесь крайне характерно и высоко ценно письмо Страхова к Толстому от 25 мая 1881 года:

«Я думал, бесценный Лев Николаевич, что после напечатания моего третьего или четвертого «Письма о нигилизме» Вы скажете мне хоть в нескольких словах Ваше мнение... Но стал я вспоминать наши разговоры прошлым летом, когда мы *не соглашались*... Написал я, конечно, очень дурно, потому что не выразил и сотой доли того, что хотел, а то, что выразил, сказал в сто раз холоднее, чем думал. Не хватило и, может быть, никогда уже не хватит прежней силы. Но тема меня увлекла. *Этот мир я знаю давно, с 1845 года*, когда стал ходить в университет. *Петербургский люд с его складом ума и сердца* и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. – главных проповедников нигилизма, – все это я *близко знаю, видел их развитие*, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. *Тридцать шесть лет я ищу* в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы – *ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела* – и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет *скорбь и ужас*, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет *только это растет*, тридцать шесть лет *только это может надеяться на будущность*, а все *другое гложет и чахнет*. Вы помните, какой отрадой были для меня Вы, в какой восторг меня привела «Война и мир». Но общий поток прошел мимо и Вас, и Вашей «Войны и мира» – и все возрастал и усиливался. Если бы Вы знали, что я чувствую тут, слушая нынешние речи и рассуждения, следя за *чувствами и поведением милых моих петербуржцев!* Одна уже при-

вычка к болтовне, принимаемой за дело, одни уже непрерывные умничанья, не содержащие капли ума, могут привести в неистовство самого серьезного человека. А если у человека шевельнулось и серьезное чувство, то он готов будет и возненавидеть этих болтунов, говорящих с простодушнейшим видом самые отвратительные вещи. Конечно, хорошие, настоящие нигилисты в тысячу раз выше этого общества, но, к несчастью, они его плод, они приняли всерьез его бездушие и пустомельство и исполняют его программу. Я не могу равнодушно думать о той истории, которая совершается перед нами, об этом извращении сил и бесплодной гибели. Это похоже на то, как если бы человек сам себя резал ножом в куски или бился головой об стену, воображая, что творит какой-то подвиг, который принесет и всем и ему и славу и благополучие» (курсивы везде мои. – В. Р.).

Тут центральную мысль, центральное наблюдение «за 36 лет жизни» составляют слова Страхова, что даже «наилучшие настроенные нигилисты» тем не менее продолжают бездушные болтающего, пустомельного общества – переводят только это «пустомельство» его в серьезную программу и гибнут за осуществление этой программы. В самом деле, «террор» и «террористы», конечно, осуществили в «1-м марте» программу старого «Современника», старых «Отечественных записок» и «Дела», *не прибавив*, да и *не желая прибавлять*, ни одной *своей и новой мысли* к атеистической и нигилистической болтовне этих корифеев русской журналистики, по существу совершенно невежественной и только чрезвычайно волевой и напряженной. В *воле*, а не в знании и образовании лежит корень русского и, точнее, семинарского нигилизма. Воображать, что Добролюбов и Чернышевский были какими-то философами или политико-экономами, – могут только их совершенно неразвитые ученики и последователи. Самый страх их перед серьезной мыслью и почти полувековой журнальный «террор» над спокойно мыслящими людьми вроде Б. Н. Чичерина и самого Н. Н. Страхова – объясняется из испуга, как бы ученики не посмотрели куда-нибудь «дальше учителя», как бы они не уви-

дели чего-нибудь «в стороне» от философа Михайловского и от политико-эконома Чернышевского; как бы они не вздумали «уклониться» от Дарвина, Гексли, от Бюхнера и Молешотта. «Не дальше нас» – вот ферула всех этих воистину учителей нигилистической бурсы, которая была темна, сыра, промозгла и вонюча, как бурса Помяловского⁴.

Толстой возражал против этого: «Но они – идеалисты *по душе*», по порыву, по мечте. Однако самая *мечта-то* не шла дальше Бюхнера и Молешотта, то есть это была просто философская галиматья, галиматья в *зерне* своем, в способе своего *зарождения*. Просто это было «яйцо-болтун», из которого цыпленок не может родиться, – а выходит из такого яйца какая-то кровавая и затхлая мерзость. В *миросозерцании* нигилистов, при наилучших их «волевых намерениях», содержалось, однако, именно *разрушение* и только *разрушение* стройных идейных миров, прежде всего *мира религиозного* и потом *мира политического*. К спору-то об этих мирах и переходит далее Страхов, нападая, хотя в высшей степени кротко и деликатно, на учение самого Толстого.

II

Спокойствие не есть равнодушие, а есть мудрость. Вот этой мудрости *воздержания*, мудрости *самоограничения* в самом творчестве – недоставало Толстому. Можно «распустить-ся», можно «забыться», например, даже шествуя по такой идеальной стезе, как «личное самоусовершенствование». Как ни странно сказать, но, «лично совершенствуясь», можно дойти до сплошного хулиганства. Страшно выговорить, но ведь это очевидность для всей России, что Толстой, уйдя в «чревосмотрение» личного совершенства, внутренних добродетелей, – дошел до раскидывания как какой-то «ненужной поленицы дров» всей старой цивилизации – церкви, государства, искусства, науки. Может быть, поленица-то и полуразвалилась, но все люди *пока* берут из нее дрова и топят свои маленькие печи. И без этих дров человечество замерзнет. Сюда входит и

личный спор его с Софией Андреевной, которая решительно была права с *семьей* и со своими *попечениями о семье*. Пусть это «язычество», но – совершенно необходимое, эти заботы «о себе» и «о ближайших». София Андреевна только раньше всей России, как ближе всех стоявшая к Толстому, почувствовала «невозможность Толстого» и «непереносимость толстовства». Но она почувствовала то самое, что потом почувствовала и вся Россия. Толстой против всего восстал, все стал раскидывать в стороны. Что это? Да просто – нигилизм, но не позитивный, не материалистический, а мистический и страстный, но, однако, именно нигилизм. Толстой именно «забылся», «распустился», стал величайшим эгоистом своего *творческого «я»*, – противопоставив его всему миру, всей истории. Но он забыл, что он человек и что никакому человеку не дано божеских сил нового создания. Он не хотел творить рядом с другими, творить около Гете, творить около Шекспира, творить около скромной науки с ее «шаг за шагом». Он хотел творить – *один*. Здесь-то его и «роковое»: в нем не было маленькой и совершенно необходимой для каждого черты – скромности. Да, – за Сютяевым он шел, потому что Сютяев был «мужичок» тех же нравственных требований, как «я». Но поразительно в Толстом уже молодых лет, еще великих художественных и, казалось бы, безупречных созданий: постоянное соперничество, не лишенное завидования, в отношении всех *больших лиц*, больших авторитетов, больших значительностей; соперничество и ревнование к «властям предрежащим», говоря словом церковной эктении, перекидывая «власти предрежащие» в «идейный мир».

«Власти предрежащие» в искусстве – это Шекспир и Гете. Вспомним толстовское: «ничего нет скучнее Гете», «пьесы Шекспира – это сумбур». Это – «писаревщина».

«Власть предрежащая» – это наши попы. Ну, да: деревенская литургия. «Слушай!» – орет она на весь мир. Толстой ответил: «Не хочу слушать». Это – Чернышевский.

«Власть предрежащая» – это судебный следователь своего уезда; «суд», какой он ни на есть, ну, там – «кустар-

ный суд». И – «г. губернатор». Знаю, знаю – полны несовершенства. Но ведь и я несовершенен, и Толстой все-таки имел грехи. И *скромность* указывала бы ему «все осуждать», «все критиковать», но, однако, *на сегодня* – «повиноваться всему», всем этим, в сущности, «властям предержащим», от Шекспира до господина исправника. Что делать, не ангелы живут на земле. Вот этого смирения, к которому обязаны все, от царя до последнего подданного, не было вовсе у Толстого. И нельзя не заметить, что здесь, в сердцевине, лежало черное я, лежал моральный *эгоизм*, страстно патетический и, однако, безумно грешный. «Сю-таевым» или «Платоном Каратаевым» Толстой был за чайным столом, за обедом, вообще дома и в домашнем быту: ну, а в делах своих и большой судьбы, в больших шагах своей биографии, он был тот хищный и властный Долохов, который безжалостно ремизит⁵ Николая Ростова. «Что же, ты в любви счастлив, потерпи в картах».

Но слаще и *мудрее* было бы нам увидеть Платона Каратаева не за кусочком сахара, который он смиренно обгрызает и остаточек кладет на дно опрокинутой чашки, – а увидеть в критике христианства и государства.

Страхов пытался стать на толстовские пути «личного усовершенствования», – но несколько *лениво*... И в том было его спасение: он не кувырнулся через голову в близлежащую яму. «Ваши упреки, – пишет Страхов Толстому, – смущают меня перед Вами и тревожат мою совесть постоянно. *Почему я понимаю Ваши чувства, но не разделяю их?* (Курсив Стр<ахо>ва.) Буду говорить, как на исповеди. Потому что у меня нет такой силы чувств, как у Вас; *не хочу я насиловать себя или прикидываться*, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою Вы чувствуете, которою озарено Ваше сердце?»

Тут не совсем точен Страхов в отношении самого себя. «Старый нигилизм», известный ему с 1845 года по личным впечатлениям, и петербургских болтающих людей – он ненавидел достаточно «горячо». Но он чувствовал себя как-то пассивным в отношении моральных требований Толстого «воздерживаться от пороков»... «Пороки Страхова» могут вызвать только улыбку:

всю жизнь учился, читал, изучал книги по биологии, по философии, по критике и эстетике и всю жизнь был беден и скромнен, тих и застенчив. Врожденный «Платон Каратаев» науки, он просто *ничего не чувствовал* перед лицом требований Сютеева или Толстого, которые могли поразить только и вызвать бурю борьбы с собою у страстного и хищного «Долохова»...

«Будьте снисходительны ко мне, – молит кроткий Страхов, – не отталкивайте меня из-за разницы. Ваше отвращение к *миру*, – я его знаю, потому что сам испытывал его и испытываю, но *испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит* (курсив – мой); но и привязанности к миру у меня никакой нет, если же есть какая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. *Не имея положительных качеств, я решил заботиться об отрицательных.* Постоянно я думаю об этом и, мне кажется, сделал некоторые успехи – не буду Вам рассказывать, так они еще малы, а может быть, и те обманчивы. *На усилия, на крутые повороты я не способен* (мой курсив – В. Р.), но знаю, что постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря Вам и *чтению монашеских книг*» (мой курсив – В. Р.). Страхов деликатно и кратко упомянул о «чтении монашеских книг», не давая настойчиво понять «творцу новых мыслей», что, в сущности, указываемый Толстым «новый путь личного самоусовершенствования» – есть старый церковный путь, давно и издревле разрабатываемый в монастырях и для коего *там* есть не одни «слова, слова и слова», как у Толстого, но и помогающая практическая дисциплина. Страхов как питомец духовной школы, *которую он очень уважал*, знал это; Толстой как человек барского, графского воспитания думал, что «творит *все новое*», начиная со своей «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты». Но Страхов-то помнил, и осязательно помнил, что кроме «Исповеди» Толстого и так увлекшей Толстого «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо – есть и «Исповедь» Блаженного Августина. Вообще, в теме «борьбы со страстями и пороками» Страхов был неизмеримо образованнее и начитаннее Толстого, коему

казались «новинками», чуть ли не им «открытыми», и Эпиктет, и Марк Аврелий, и «Дневник» Амьеля, и разные изречения китайских и индийских мудрецов. Страхов в немногих словах о «старой науке монахов» как бы прошептал про себя и едва слышно другу: «Знаю. Старо. Испытано. И не всегда действует; но – попытаюсь».

Замечательно, что «проповедь» Толстого всего более подействовала на неимущих студентов и таковых же курсисток, вообще на молодежь, которой Бог весть от чего было «отрекаться», – от каких «пламенных страстей» и «роскошеств жизни». И вот потянулись неимущие студенты в аскетические «толстовские колонии», выплеснули за окно последний стакан тощего пива и отказались от булочки к чаю, а стали «с черным хлебом». Учитель их все погонял, и они все уменьшали порцию. Все это было какое-то не «дело», а разговоры и кипение воды в пустом пространстве. России нужна была положительная работа молодежи, усилия и усилия, еще усилия и опять усилия, – каторжный труд, забота, энергия, борьба...

Толстой вдруг сказал: «Не надо» (его «неделание»), «назад», «углубимся в себя»... Да, «Долоховым» и отчасти «Нехлюдовым» (его «Юность» и «Воскресенье») – следовало «на себя оглянуться». Но что же было «на себя оглянуться». Страхову, который жил нищим, как студент, и что было «оглядываться на себя студентам и курсисткам с «уроками»? – «Но Вы выпиваете лишнюю кружку пива 12 января, в Татьянин день» (Толстой об университетском празднике). Нельзя не заметить, что во всей этой проповеди утонул «комар фарисеев»: «Вы отцеживаете комара и поглощаете верблюда»⁶.

5 февраля 1892 года Страхов пишет Толстому:

«Вопрос об искусстве и науке не выходит у меня из головы. Вы, Лев Николаевич, по натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать искусство и науку из всех сил против Вас, Соловьева и против Николая Федоровича (Федоров – библиотекарь-философ в Москве). Эта область – *мне сродная, область мысли*, а не дела; никто из вас, стремящихся к деятельности, не может понять, какое различие

между деятельностью и совершенным отсутствием позывов к ней, чистым созерцанием. Тут у меня весь центр тяжести».

Что же, в самом деле, было делать в «толстовских колониях», если – кроме песенки и гармонии – отказаться еще и от мысли, от науки, философии?

III

Я не позволил бы себе утомлять внимание читателей идейными спорами Толстого и Страхова, если бы споры эти характеризовали только переписывающихся лиц и имели отношение лишь к ним самим. Нет, эта сторона вовсе не важна. Но Толстому и Страхову пришлось коснуться самых центральных, самых стержневых частей *русского исторического развития*, да даже и *устройства цивилизации вообще*, и слова, ими произнесенные, имеют величайший интерес и значение для нашего понимания *теперь*, для моего читателя *сейчас*. И, читая пожелтевшие старые письма их, читатель пробегает «самую интересную новость сегодня». Она его *наставит*, она ему укажет *путь*.

«Все это движение, – пишет Страхов Толстому от 31 марта 1882 года о русском умственном развитии и о западном умственном и политическом движении, коего олицетворителем можно, например, назвать Герцена или журналистику <18>60-х годов, – это движение, которое наполняет собою последний период истории, – либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах *отрицательный* характер, и, отрицая его, – я *отрицал отрицание*. Часто я задумывался над этим и был изумлен, видя, что *свобода, равенство*, эти идолы многих, эти знамена битв и революций, в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделать положительными целями. Начиная с Реформации и раньше, и до последнего времени все, что «*люди делают*, не есть только вздор», как выражаетесь Вы, а есть постепенное разрушение некоторых положительных форм, сложившихся в Средние века. Четыре

столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. Все эти четыре века *положительного ничего не явилось*, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое – в Америке и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. п. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а *против них* или *помимо их*. Все новые принципы – прямое признание мирской земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для каждого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию».

«В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, например *свободы, национальности, обязательного обучения* и т. п.

И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы. Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала». Вот изложение дела, которое случайным образом удалось Страхову в частном письме лучше, чем в каком-либо из напечатанных сочинений. Это бывает... Генний «случая» («Bonus Euentus»), которому римляне молились как «богу», управляет битвами и иногда управляет пером писателей. Вдруг скажется слово, напишется страница, где литературное положение и личность автора засияют так ясно и так читаемо, как они не читаются в томах им напечатанных книг, – зрелых, обдуманых. Вовсе не «с Западом» боролся Страхов, как он выразился в заголовке трехтомного труда своего, а он *боролся или «отрицал» то отрицание, то разрушение положительных твердынь истории и цивилизации европейской, какие*

были заложены И. Христом, заложены греческою философией и римскою гражданственностью и которые в течение *четырех веков новой истории* подвергаются всестороннему подтачиванию, критике, ненавидению и разрушению.

Рушение светлых миров в безнадежную бездну Хаоса. Вот что ненавидел Страхов всеми силами души, как благожелательный старец, как просто порядочный человек, – не говоря о высших определениях, вытекавших из его литературных и философских способностей и из его занятий. Нет, эти способности и занятия он подчинил простейшему в себе идеалу, доступному и каждому человеку... «Я живу, чтобы *создавать*, а не живу, чтобы *разрушать* и портить»... «И если целая эпоха занимается, в сущности, разрушением, то я *складываю руки* и не принимаю никакого участия в ее работе и жизни, в ее надеждах и пафосе». Эта простая мысль Страхова объясняет историческое положение всей так называемой «консервативной» партии в литературе и в жизни, которая вовсе не есть партия застоя и недвижности, не есть партия приверженцев каких-либо лиц, сословий, общественных групп, а есть целый стан людей, целый лагерь людей, не выдающих «последнюю икону на поругание». Суть в «иконе», а не в людях, не в лицах, не в интересах. «Вы не молитесь, никто не молится, – но мы хотим молиться». «Вы – без литургии, а только с кабачком и удобствами: а мы испытываем потребность молиться и не даем вам ни заглушить свои хоры, ни загасить свои свечи». Консерваторы – люди Последнего Огня, последней звездочки. Вот. Это не черствые, не бессердечные, не глупые и тупые, как по ним хлестала и хлещет сатира. Не те, которые крадут казенный сундук и целуют у высокопоставленных особ ручку, как утверждают стишки и проза. На них мечутся эти стихи и проза. Кипит вокруг них горячая злоба, о которой они спокойно говорят: «Это не вулкан, а грязная сопка азиатского происхождения, монгольского происхождения, которая кипит грязью и выкидывает из себя грязь». Этой горячей грязью усиливаются залить: «якобы» наука – подлинную, с древности идущую, науку и философию, «якобы» поэзия вычур, злобы и извращения – подлинную поэзию; подземные пар-

тии, kloкочущие завистью к богатству и власти, к авторитету и силе, пытаются опрокинуть подлинные и совершенно необходимые человечеству авторитеты правильной государственности и подлинной церкви. С бледным лицом, с зелеными глазами угорелой кошки «подпольное неистовство» кидается на все эти авторитеты, – нисколько не ложные, ибо они идут от Христа, от Рима и от Греции, крича, что из какой-нибудь полоумной головы Бакунина они построят нечто лучшее Капитолия, Акрополя и Голгофы. Не все знают, что, когда Бакунин устроил маленькую революцию в Дрездене и королевские войска осадили город, он, – распоряжаясь в нем, – потребовал вывесить на стены города картины Дрезденской галереи, то есть подставить под ядра Мурильо, Веласкеса, Рембрандта и Рафаэля, – дабы, расстреляв сотни три полотен, – остановились разрушать тысячи. Почему должны были «остановиться» грубые солдаты, когда «не остановился» образованный Бакунин, – непонятно. Страхов и шептал про себя, да и нашептывал читателям: «Это – не Атилла, а просто помещик Ноздрев, естественное и единственное отношение к которому – связать и выбросить его *вон*. И – ни малейше не писать о сей знаменитости историю». Теперь (продолжим неконченный факт до полной его мысли) – Страхов ли, охранявший Дрезденскую галерею, или Бакунин – требовавший ее расстрела ради необузданной своей мысли, ради «Кит Китыч⁷ *так* хочет» – кто из них двух, «консерватор» или «революционер», был за культуру, был за прогресс, был за добро, был за благополучие человеческое? Спокойным и мудрым глазом Страхов рассмотрел старые «мертвые души» под всеми своими звонкими одеяниями, под всеми этими звонкими выкриками, под всю эту феерическую обстановкою. Суть Страхова, мне кажется, лежит в глубоком личном *бескорыстии*. «Мне самому ничего не нужно, кроме книг: но в книгах этих, которые я всю жизнь читаю, мне открылось столько красоты и смысла, столько вечной истины, без которой человеку страшно и невозможно жить, что я старою и бессильною рукой выковырну из мостовой булыжник и буду этим булыжником защищать сокровищницу человечества – Чашу Даров св<ятого> Духа, – от всех этих

славных и знаменитых Бакуниных, Герценов, Прудонов, Лассалей, Робеспьеров, суть коих – гениальная злоба или могучая волевая бессмыслица»...

Страхов не мог не видеть, что Толстой, который начал было с отрицания безрелигиозности общества, – незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗГНАННИКОВ»

1. Избранные письма

Н. Н. Страхова В. В. Розанову

* * *

Многоуважаемый Василий Васильевич.

Только что кончил корректуру своей статьи против Соловьева (явится 1 июня в «Русск<ом> вест<нике>») и тороплюсь написать Вам несколько слов. Благодарю Вас за Ваше письмо. Мне всегда совестно читать Ваши длинные и прекрасные письма – я ведь знаю, что Вы заняты гораздо больше меня. Боюсь, что моя статья не вполне Вас удовлетворит. Вопрос о самом Соловьеве, интересный для Вас и, конечно, для многих, я оставил совершенно в стороне. Я разбил* в прах только его статью, его

* Слова эти могут показаться нескромными ввиду большой репутации Влад. Соловьева; но всегда нужно помнить слова одного скромного ученого, сказанные *сравнительно о Страхове и Соловьеве*... Не привожу фамилии этого молчаливого и вдумчивого ученого, так как приведение этих его слов однажды (в «Русском слове») было ему в высшей степени неприятно (он – большой почитатель Соловьева). Мы шли от Страхова вместе и говорили что-то о нем. Так как в то время «весь мир говорил о Соловьеве», – то я спросил его, что он думает об их полемике и вообще о них обоих. «Какое же может быть сомнение, – Страхов, конечно, *гораздо умнее Соловьева*». Я был поражен, и по молодости, и по огромной репутации Соловьева, и что-то сказал. Отвечая на это «что-то», он добавил: «Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того *великолепного творчества*, какое есть у

историю, логику, физику и отчасти религию – насколько все это есть в статье. О «русском духе»* тоже почти не говорю. Словом, я ограничил задачу «наинужнейшим», как мне показалось.

Главное, из-за чего пишу Вам, – хочу похвалить Вас за Бакунина. Вы отлично сделаете, если растолкуете эту книгу Вашим легким и ясным языком**. У меня была мысль самому заняться таким толкованием, но вижу, что никак не удастся это сделать. Философ он вполне, но он прямо питомец Шеллинга и Гегеля – тут нет существенной разницы, да и нет того школьного подчинения, которое обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы. Философия *немецкого идеализма* вообще чужда догматичности, дает свободу и вполне развивает ум. Со временем будет же когда-нибудь это понято.

Но Вы можете написать Ваше толкование, вовсе не указывая на положение Бакунина по отношению к известным школам. Сам я навел кой-какие справки об этом и постараюсь уяснить

Соловьева». Две эти фразы, *в обоих изгибах верные*, вполне и до конца исчерпывают «взаимное отношение» этих двух лиц, в которых, в сущности, ничего не было сходного, ни – умственно, ни – морально. Но собственно *критико-философское* и вообще *научное* превосходство свое над Соловьевым Страхов чувствовал – и был вправе в частном письме выразить его. Почти не нужно договаривать, что в споре *шум победы* был на стороне Соловьева, а *истина победы* была на стороне Страхова. Но Страхов писал в «Русском вестнике», которого никто не читал, а Соловьев – в «Вестнике Европы», который был у каждого профессора и у каждого чиновника на столе. И, как всегда, спор решил не «писатель», а «уважаемая редакция», которая дала писателю нужных 60 000 тысяч *своих* читателей. Страхов был измучен и угнетен этою полемикой, зная хорошо, что его «читать не будут», а Соловьева будут «читать и аплодировать» подписчики Стасюлевича, то есть вся (условно) образованная Россия. *Примечание В. В. Розанова 1913 года.*

* Вероятно, я ему упоминал в своем письме о полном отсутствии у Влад. Соловьева «русского духа». Действительно, это – замечательно не русский, а *международный, европейский писатель*. Тут есть – и качество, но есть – и явный недостаток. *Примечание 1913 года.*

** Книгу Бакунина (это, кажется, брат сумбурного Бакунина) я не разобрал: но она – действительно *удивительна* с первых же страниц. Помню, я особенно восхищался его указанием на «живоверие» (живая вера) в человеке!... Вообще, что же делают наши-то профессора университетов? Ведь это *образовательная* обязанность их – давать отчет читающему обществу о новых явлениях русской философской мысли?! *Примечание 1913 года.*

себе это отношение вполне, потому что Бакунин есть свидетельство силы и жизни этих школ, есть доказательство в их пользу.

Недавно он захотел познакомиться со мною, но мы виделись только один раз. Крепкий старик, еще с чернеющими волосами, лет 70. Он мне сказал, что его книга дурно написана (что совершенно справедливо), что он сам иногда не может добратся, какая мысль внушила ему слова и фразы, напечатанные в его книге. «Я себя испортил, – говорит он, – я писал для себя и позволял себе самые странные выражения своих мыслей».

Но Вы правы в том, что содержание прекрасное. Совершенно правы Вы и в оценке Чаадаева*.

А Соловьев в *«Критике отвлеченных начал»* говорит нечто согласное с тем, что теперь, т. е. что нам назначена Богом не *культура*, а религиозная роль в человечестве.

Простите, многоуважаемый Василий Васильевич. Вашу книгу теперь примусь читать, – до сих пор не заглянул и в указанные Вами страницы.

Дай Бог Вам всего хорошего. Ваш искренно преданный

Н. Страхов.
1888, 18 мая. Спб.

* * *

Многоуважаемый Василий Васильевич.

<...>То, что Вы пишете о себе лично, навело на меня грусть. Так я и предполагал, что Вам свойственная болезненная впечатлительность – неизбежный спутник всякой возбужденной мысли, всякого писательства. – Вам, как мне кажется, нечего еще больше себя возбуждать, а наоборот, – нужно себя успокаивать; я бы строжайше предписал Вам правильный об-

* Эту часть своего письма я помню: я проводил ту мысль, что Чаадаев был увлеченный католичеством русский человек, но – все-таки русский, и без «коварства» в отношении к России, к Православию, к русскому народу (мои тогдашние фетиши); Соловьев же по отношению ко всему этому совершает *предательство* (т. е. тогда писал я), и, прав он или не прав в статьях (их в *подробности* я не читал) – он является *возмутительным лицом* в нашей истории. *Примечание 1913 года.*

раз жизни. Вы не владеете собою в занятиях. Так вот Вам задача: – выучитесь владеть; попробуйте и увидите, что это не трудно. А я так радовался, что Вы женаты*.

Скоро пришлю Вам свою новую книжку *«Заметки о Пушкине и других поэтах»*. Пожалуйста, напишите Ваше мнение. То, что Вы пишете о статье *«Наша культура»*, – совершенно справедливо. Нет в ней *одного* тона, и все заметили резкие вскрикивания. Но если бы я задался одним тоном, было бы хуже, вышло бы не сердито, а злобно** – чего я не хотел. <...>

* Увы, всякие советы вообще бесплодны (и все-таки их надо давать и даже *надо твердить*, дабы поплакал о себе советуемый). Жизнь наша течет из корня нашего рождения... Этот «корень» у меня был крайне смутный, хаотический и воспламененный. *Примечание 1913 года.*

** Глубоко тонкое замечание. Во всем славянофильстве и бесчисленных его полемиках нельзя найти *ни одной злобной страницы*, – и бедные славянофилы только именно «вскрикивали», когда палачи – поистине палачи! – западного и радикального направления жгли их крапивой, розгой, палкой, колом, бревном... Да, это мученики русской мысли: и в полемике со Страховым «торжествующий» Соловьев со своим тоном «всегдашнего победителя» был мучителем. Страхов – спорил, строил аргументы; Соловьев хорошо знал, что дело «в настроении», и, не опровергая или слегка опровергая аргументы, обжигал противника смехом, остроумием и намеками на «ретроградность» и «прислужничество правительству» как покойного Данилевского, так и «недалекого уже до могилы» Страхова. Во всей этой полемике, сплетшей наиболее лучший, то есть наиболее либеральный, венок Соловьеву, он был отвратителен нравственно. Недаром пронизательный и гениальный Шперк сказал мне задумчиво о нем, после 2–3–4 визитов к нему: «Соловьев в высшей степени эстетическая (т. е. в нем все *красиво*) натура, но совершенно не этическая». Никто не догадывается, что это вполне очерчивает Соловьева. Тихого и милого добра, нашего русского добра, – добра наших домов и семей, нося которое в душе мы и получаем способность различать нюхом добро в мире, добро в Космосе, добро в Европе, – не было у Соловьева. Он весь был блестящий, холодный, стальной (поразительный стальной смех у него, – кажется, Толстой выразился: «ужасный смех Соловьева»)... Может быть, в нем было «божественное» (как он претендовал) или – по моему определению – *глубоко демоническое*, именно преисподнее: но ничего или очень мало в нем было человеческого. «Сына человеческого» (по-житейскому) в нем даже не начиналось, – и, казалось, сюда относится вечное тайное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многооцененный и *страшный человек*. Несомненно, что он себя считал и *чувствовал* выше всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех «странных» и «мудрецов Пансофов», которых выводил в «Антихристе» и которыми сту-

чал (т. е. *лицом* их!), как костяшками на шахматной доске своей литературы... Пошлое – победившее по улицам прозвище его «Антихристом», «красивым-брюнетом-Антихристом», не так пошло и собственно сказалось в «улице» под неодолимым впечатлением от личности и от «всего в совокупности». Мне брезжится, что тут есть настоящая *ноуменальная* истина, настоящая оглядка существа дела: в Соловьеве попал (при рождении, в зачатии) какой-то осколок настоящего «Противника Христа», не «пострадавшего за человека», не «пришедшего грешных спасти», а вот готового бы все человечество принести в жертву себе, всеми народами, всеми церквями «поиграть как шашечками» для великолепного фейерверка, в бенгальских огнях которого высветилось бы «одно мое лицо», «единственно мое» и до скончания веков только «*мое, мое*»!! И – ради Бога, «никакого *еще* лица», – «это-то, это-то и есть главное!» Жажда потушить чужое лицо (воистину, «*человекоубийца* бо искони») была пожирающе в Соловьеве, и он мог «любить» именно студентиков, «приходящих к нему», «у двери своей», «курсисточек», или – мелких литераторов, с которыми вечно возился и ими окружал себя (всегда на «ты»), «журнальной компанией», «редакционной компанией», да еще скромными членами «Московского психологического общества», среди которых всех, а паче всего среди студентов, чувствовал себя «богом, пророком и царем», «магом и мудрецом». В нем глубочайше отсутствовало чувство *уравнения себя с другими*, чувство *счастья себя в уравнении*, радости о другом и о достоинстве другого. «Товарищество» и «дружба» (а со всеми на «ты») совершенно были исключены из него, и он ничего не понимал в окружающих, кроме рабства, и всех жестко или ласково, но большею частью ласково (т. е. наиболее могущественно и удачно) – гнул к неперемennomу «побудь слугою около меня», «поноси за мной платок» (платок пророка), «подержи надо мной зонтик» (как опало над фараоном-царем). В нем было что-то уродженное и вдохновенное и гениальное от грядущего «царя демократии», причем он со всяким «Ванькой» будет на «ты», но только не он над «Ванькою», а «Ванька» над ним пусть подержит зонтик. Эта тайная смесь глубоко демократического братства с ужасающим высокомерием над братьями, до обращения их всех в пыль и ноль, *при наружном равенстве*, при наружных объятиях, при наружных рукопожатиях, при самых «простецких» со всеми отношениях, до «спанья кажется бы вповалку», – и с секретным уходом в 12 часов ночи в свою одинокую моленную, ото всех скрытую, – здесь самая сущность Соловьева и его великого «solo-один». Но это его «solo» было не в сознании, а в воле, муке-жажде. Он, собственно, не был «запамятовавший, где я живу» философ; а был человек, которому с человеками не о чем было поговорить, который «говорил только с Богом». Тут он невольно пошатнулся, то есть натура пошатнула его в сторону «самосознания в себе пророка», которое не было ни деланным, ни притворным. «С людьми мне не о чем говорить», а с Богом – «говорится», «речь льется». Тут какое-то брезжение ему в себе «Моисея», тоже не ложное как *самоощущение*. Только вот Моисей за каждого «жидёнка» душу бы отдал... В нем (Соловьеве) был именно ложный пророк и ложный же Моисей, в основе – ложный Мессия (суть Антихриста), – и распознавалось это потому, что ни капельки, ни цветочка, ни крупинки в нем не было «дам *другому*», «полюблю *другого*», «покормлю его», «пособлю, под-

Статья очень понравилась, однако, иным, например поэту Ку-тузову, большому приятелю Соловьева.

Итак, Вы простите меня. Видите, сколько я Вам написал, стараясь отплатить за то великое удовольствие, которое доставляют мне Ваши письма. Дай Вам Бог всего хорошего, главное – мирного духа, бодрости, здоровья.

Ваш искренно преданный

Н. Страхов.

1888, 9 ноября. Спб.

* * *

<...> Что мне с Вами делать, дорогой Василий Васильевич? Из Ваших длинных писем, доставляющих мне истинное наслаждение по множеству ума и чувства, по расположению ко мне (большему, чем я стою), увидел я, что ошибся в своем мнении о Вас. В первом Вашем письме всего больше меня обрадовало то, что Вы писали об Ваших отношениях к ученикам. Вы говорили, что на них легко действовать* и что они Вас

держу, подыму, защищу *кого-нибудь*». Нет местоимений, кроме «я». Это и есть разница и *вся* разница между областями божественного, как самоотверженно-го и служащего, и демонического – как поглощающего и обращающего себе в службу, при полном сходстве и даже тождестве других «образующих линий» и форм и устройства всей вообще мировой, и божественной, и демонической пирамиды. Земля – основание; над нею пирамида вверх, к ангелам, солнцу, к Богу, откуда текут лучи света, жизни, устройства, блага; откуда все – *растет, здоровеет, долгоденствует, благоденствует*. Простое житейское добро. Но *точь-в-точь* такая же есть книзу пирамида, откуда поднимаются «к нам на землю» испарения, угар, путаница, злоба, разрушение, подкапывание, клевета, «революция», «социал-демократия», газеты, журналы, «Вопросы философии и психологии». Лес, пустыня, пустынный – одно; такое же *одна* – семья связанных друг с другом людей, с варевом к обеду, работою днем, сном без сновидений или с благими сновидениями ночью. Вот божественный порядок, божественная тишина, божественный труд. И совсем другое – улица, гам, клуб, кокотка, писатель. Здесь – демоническое безделье, или если «дело» – то злобное, разрушительное, кого-нибудь опрокидывающее, что-нибудь разрушающее, подо что-нибудь подкапывающееся. У Соловьева не было ни «йоты» от тишины. *Примечание 1913 года.*

* Все – в стремлении, в аппетите; но «еда» не всегда бывает похожа на аппетит. *Примечание 1913 года.*

любят. Я и подумал, что, значит, Вы учительствуете охотно и, следовательно, хорошо*.

А теперь что же оказывается? Что Вы сами «мучитесь» и других «мучите». Да ведь это большое горе, и откуда же оно явилось? Неужели от географии и истории? Да это прекрасные науки**, гораздо более содержательные, чем русская словесность.

Ну и по другим признакам я убедился в том, чего боялся, – в Вашей несоразмерной чувствительности, в силу которой Вы вообще несчастны и едва ли будете вперед счастливы, но в частности, конечно, испытаете много наслаждений, недоступных другим людям. Обыкновенная история! Так и хочется Вам крикнуть: берегитесь, уходите с этой дороги!

Вы хотите оставить Елец, а Елец я воображаю чем-то вроде Белгорода, в котором родился. Благословенные места, где так хороши и солнце, и воздух, и деревья. И Вы хотите в Петербург, в котором я живу с 1844 года – и до сих пор не могу привыкнуть к этой гадости, и к этим людям, и к этой природе.

* *Бесконечно* была трудная служба, и я почти ясно чувствовал, что у меня «творится что-то неладное» (надвигающееся или угрожающее помешательство – и нравственное, и даже умственное) от «учительства», в котором, кроме «милых физиономий» и «милых душ» ученических, все было отвратительно, чуждо, несносно, *мучительно в высшей степени*. Форма: а я – бесформен. Порядок и система: а я – бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным, и со всяким «долгом» мне в тайне души хотелось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме *трагического* долга). В каждом часе, в каждом повороте – «учитель» отрицал *меня*, «я» отрицал *учителя*. Было взаиморазрушение «должности» и «человека». Что-то адское. Я бы (мне кажется) «схватил в охапку всех милых учеников» и улетел с ними в эмпирию философии, сказок, вымыслов, приключений «по ночам и в лесах», – в чертовщину и ангельство, больше всего в фантазию: но 9 часов утра, «стою на молитве», «беру классный журнал», слушаю «реки, впадающие в Волгу», а потом... систему великих озер Северной Америки» и все (все!!!) штаты с городами, Бостон, Техас, Соляное озеро, «множество свиней в Чикаго», «стальная промышленность в Шеффилде» (это, впрочем, в Англии), а потом лезут короли и папы, полководцы и мирные договоры, «на какой реке была битва», с какой «горы посмотрел Иисус Навин», «какие слова сказал при пирамидах Наполеон», и... в довершение – «к нам едет ревизор» или «директор смотрит в дверь, так ли я преподаю». Ну, что толковать – сумасшествие. *Примечание 1913 года.*

** У меня никогда не было склонности к конкретному, и в этом-то и был ад. *Примечание 1913 года.*

И что Вы будете здесь делать? Здесь учителя дают по пяти, по шести уроков в сутки. Настоящее Ваше место – сотрудничать в журналах, если бы Вы это умели сделать; но Вы едва ли справитесь и с собою, и с журналистами.

Приезжайте и поговоримте, если Бог даст, если положит нам на души хороший разговор.

Очень я дивился, что Вы угадали мою грусть, но вижу, что Вы не на все проницательны: Вы не угадали моей веселости, да, кажется, мои шутки в статьях Вас вовсе не смешат. Приезжайте и увидите действительность, не совсем похожую на Ваше идеальное понятие.

Меня одно очень порадовало: Вы начали чувствовать *болезненность* Достоевского; по-моему, он очень вреден для многих, я думаю, и для Вас – теперь можно сказать – *был* вреден. Он бередил в других всякие раны, которыми сам очень страдал, и все доказывал, что это и есть настоящая жизнь, настоящие люди. Разумеется, в каждом вопросе он колебался, но думал, что так и нужно.

<...> Итак, до свидания! Дай Бог Вам счастливого пути и всякого душевного блага. Увидеть Вас, наконец, мне очень захотелось, и от этого свидания я жду одной радости.

Ваш душевно преданный и благодарный

Н. Страхов.

1888, 14 декабря. Спб.

* * *

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, дорогой Василий Васильевич.

Сегодня я получил Ваше прошение* от нашего письмоводителя <...>. Недели через две сделаю доклад, разумеется, бла-

* При представлении книги «О понимании» в Ученый комитет Министерства народного просвещения – для одобрения в фундаментальные библиотеки гимназии. Не помню, едва ли это не было сделано по (устному, при одной беседе) предложению А. И. Георгиевского, тогдашнего председателя Ученого комитета и лица всемогущего в министерстве («вице-министр»). Но это – не наверное. *Примечание 1913 года.*

гоприятный, а затем – Ваша книга едва ли много скорее станет раскупаться. Это дело большой важности не имеет, и торопиться не было надобности. Гораздо важнее Ваша статья, и с нею не запоздайте. Меня испугало Ваше желание распространить ее; хорошо, если Вы сделаете ее *немножко пространнее*, как Вы желаете; но я видел большое удобство в ее краткости, которою Вы и хвалились. Вообще, даю Вам совет и увещание, обращаю к Вам усердную просьбу и желание – пишите статьи небольших размеров. При Вашем обилии мыслей и легкости изложения это не должно быть трудно; из длинного можно сделать короткое, но не наоборот. Дело в том, что короткую статью всегда можно напечатать; а с большою статьею всегда будет затруднение, а иногда и непреодолимое затруднение. Если Вы желаете зарабатывать деньги писанием, то это Вам главный и необходимый совет*.

<...> Здесь мы Вас не забудем; особенно если будете напоминать о себе статьями несколько раз в год. Но напрасно Вы думаете, что Георгиевский будет торопиться и, вообще, – что

* Хорошо советовать, трудно исполнить. Всякий *написанный* труд созидает в голове написавшего *форму*, которая неодолимо хочет подчинить себе *следующий труд*. После «О понимании» у меня всякое написание, за которое я садился, слагалось с первых же строчек, «парило» с первых же строчек, – непременно торжественных, протяженных, медлительных – в некоторый «ouvrage»²... Должно было не год, не два уйти на какое-то *молекулярное перестраивание мозга*, когда «парение» посократилось и я сделался способен написать «лирическую журнальную статью» книжки на три журнала, то есть листов на 7–8–10 печатных: причем «музыку» мог продолжать сколько угодно. Так произошли «Легенда об инквизиторе», «Эстетическое понимание истории» и «Сумерки просвещения». Как некоему чуду и удаче я удивлялся и радовался, если удавалось написать статью только на одну книжку. Наконец, перехожу в газету: писать фельетон, ну в 700 строк! «Не могу»!! «Мало места»!! «Дух не входит». А нужда за горбом скребет: «пиши», «умей». И так, все сокращаясь «в форме», я дошел до теперешних статей: но и теперь еще «чем длиннее, тем легче дышится», а «коротко – дух спирает». Но нужда все говорит: «старайся». Ах, эта «нужда»: и ненавидишь ее, но в конце пути начинаешь и любить ее, как вечную старуху-спутницу за горбом, как хриплую «музу» с клюкой в руке, которая тебя погоняла много лет. И много била; но и *много заставила* сделать. Не будем на нее все сетовать, будем ее иногда и благодарить. Не одни жаворонки пели мне справа и слева в пути, но каркали и черные вороны... И в конце пути скажешь и им великое «прости». *Примечание 1913 года.*

подобные дела скоро делаются. Я скажу ему при случае, который, конечно, скоро представится. Наконец, успокойтесь – и отказаться можно без всякой обиды*: довольно здесь кандидатов на всякие места. <...>

1 февраля в «Русск<ом> вестнике» будет моя статья «*Последний ответ Вл. С. Соловьеву*» – всего 12 страниц. Пришлю Вам оттиск, – пожалуй, два. Вот чем я был занят это время и почти все время проболел, хотя и не сильно, и даже выходил на воздух через день, через два. Теперь, слава Богу, все прошло.

<...> Поверьте, дорогой Василий Васильевич, что это только от любви, что я всею душою желаю Вам спокойствия,

* Теперь я припоминаю, что в бытность в Петербурге познакомился с Леонидом Николаевичем Майковым, издателем Пушкина и братом поэта Аполлона Николаевича Майкова. Все это были «свои люди», «свой кружок» у Страхова. Именно Леонид Николаевич, полный и добродушный человек, и сказал «им всем» обо мне, что мне надо увидеться с А. И. Георгиевским («вице-министр»). «Зачем» увидеться, ни они не сказали, ни я ничего об этом не подумал. Свидание было ужасно странное. Войдя в кабинет, я был поражен беспримерною в истории некрасивостью «владыки кабинета». Сел. Он немного расспрашивал, много сам говорил. Лицо, я думаю, выражало ум «деловой формы», злость к «сопротивлениям в службе», бесконечное упорство и даже прямо неспособность сказать «нет» после того, как однажды сказано «да»; и, наконец, даже неспособность понять или допустить, что «где-то там»... существуют философия, поэзия, звезды и нумизматика; существуют «барышни», «кормилицы», любовь и некоторый флирт; существуют «картинки» и политика. «Вне службы и служебного долга вообще ничего не находится», а «служба» самая состоит «в исполнении моих предначертаний», в гениальности которых он Бог весть как уверился, но уверился. <...> «Не практичный в делах мира», я взял бы себе в исполнители вот таких людей, как А. И. Георгиевский, то есть взял бы «столпы несокрушимые», но дал бы им иное вдохновение, чем какое они получили в Каткове и Леонтьеве... Но оставим предположения. Я сидел. Он говорил. Видя, что я ничего не прошу, он в заключение и предложил мне: 1) перевестись в Петербург и 2) одобрить книгу «О понимании». Слова в письме Страхова и показывают мое смущение «быть скоро переведенным в Петербург», где как учитель гимназии я конечно быстро бы погиб. К учительству у меня не было никакой способности. Опять без скромности скажу, что настоящее мое emproi было дать вдохновение, толчок, импульс к преобразованию вообще всего ведомства Министерства просвещения, к *стальному* заложению для него принципов, причем «инженерную» и «копательную» роль должны бы сделать другие, «подручные мастера», с коими во власти и «гордости» у меня не было бы ни малейшего соперничества, ни малейшего ревнования, и я мог бы быть около них хотя «шапкою невидимкою», оставив им все ордена, мундиры и пенсии. <...> *Примечание 1913 года.*

бодрости и успешной работы. Ваш приезд оставил у всех у нас приятное впечатление, и мы Вас добром поминаем с Майковым, Кусковым и всеми, кто Вас видел.

Дай Бог Вам здоровья. Простите и не забывайте Вашего душевно преданного

Н. Страхова.

1889, 20 января. Спб.

* * *

Многоуважаемый Василий Васильевич.

Получил я от Вас нехорошее письмо, очень печальное по смыслу и очень дурное по изложению. Что с Вами? Вы все не рассказали мне Вашей тоски. Попробуйте же дать себе отчет. Если это только физическое состояние, то его нужно выдержать и побороть. Для этого первое дело – воздержание, спокойствие; нужно избегать всякой усталости, быть чаще на воздухе* и пр.

Но Вы принадлежите к числу тех людей, которые действуют на меня всегда раздражительно; Вы *не владеете собой*, а всегда что-нибудь Вами владеет, и Вы с полнейшим бесстыдством говорите: я *не могу***. По-моему, это значит – я не хочу быть человеком и отказываюсь от своего сознания.

<...> Есть разница между человеком, для которого жизнь есть поучительный и воспитательный опыт, какова бы она ни

* Есть у меня (должно быть) какая-то вражда к воздуху, и я совершенно не помню за всю жизнь случая, когда бы «вышел погулять» или «вышел пройтись» ради «подышать чистым воздухом». Даже в лесу старался забиться поскорей в сторонку («с глаз» и «с дороги»), чтобы немедленно улечься и начать нюхать мох или (лучше) попавшийся гриб, или сквозь вершины колеблющихся деревьев смотреть в небо <...>. *Примечание 1913 года.*

** <...> Страхову было «хорошо рассуждать» с почвы своей натуры. Мы все рассуждаем с почвы своей натуры. Но если бы я с почвы *моей* натуры ему сказал: «улягтесь на кровать, задерите ноги кверху и бросьте ветрила воображенья на все распутья», что бы он мне сказал? «Наученья» вообще невозможны. Возможны только факты, – и слава Богу – если около них есть *плач*. «Исправляются» лишь крохи человечества, ^{1/1000} дробь его. Сих счастливых натур я не знаю; то есть видал, но внутренне их представить не умею. *Примечание 1913 года.*

была, – и таким, который не хочет ничему учиться и ни с чем бороться, а хочет только, чтобы ему было приятно.

<...> Отчаяние приводит к великим откровениям, и кто не испытал его, тому они недоступны. Вам нужно подняться на новую ступень, чтобы стать выше его. Терпите, уясняйте свое сознание, научайтесь новым мыслям и будьте уверены, что Бог всегда с Вами.

Впрочем, я напрасно стараюсь в коротеньком письме подействовать на Вас. Так это не делается. Вы сами должны трудиться и спасти себя, – иначе Вас никто не спасет.

Простите меня. Хотелось бы поговорить с Вами о своих литературных делах, но лучше отложить это до другого времени. Вы знаете – меня выбрала Академия наук членом-корреспондентом. Вот награда, которая была мне очень приятна. Мне приятно и то, что тогда как меня мало знают, а <...> я гордец: у меня большое честолюбие, – мне хочется что-нибудь значить для *лучших умов* своего народа. Гете говорил, что это должно быть настоящею целью писателя.

Если даст Бог прожить деятельно еще несколько лет, я таки добьюсь кое-чего*.<...>

* *Ничего* не добился, и теперь, через 18 лет после кончины, имя Страхова лишь *немногими* помнится, почти исключительно в кругах *лично его знавших* людей, – а «образ его мыслей», то есть его «главное», являет тот безнадежный туман, который он, человек *точного ума*, отбросил бы с негодованием, как что-то даже худшее *полного незнания*. Россия не воспользовалась его мыслями и не взяла его мыслей. Для России он есть *молчание*.

Между тем он есть первоклассный мыслитель и в жизни и во всех человеческих отношениях – безукоризненная душа. Что же это такое? что же это такое? Что же это за ужас? Потому что это есть ужас в темной и необразованной России, со «столькими-то школами», – когда мы видим ум и книги брошенные! *Кто же не «брошен»?* Да, например, Коган, печатающий пятым изданием «Историю всемирной литературы», а потом «Историю русской литературы», не имея вкуса ни к той, ни к другой литературе. Да шумят «теософы» со своими «астралами», «флюидами» и чтением мысли в животе какого-нибудь индуса. Россия имеет *испорченное образование*, – вот в чем дело, и – *все дело!* – и каждая школа, всякая гимназия, каждый «благотворительный пансионшко» распространяет дальше и дальше это «попорченное образование» и ничего другого не делает, как еще и еще плодит, родит и старается распространить этот же все умственный мрак, эту же все обледенелость души... «Испорчено *это самое место*», которое мы зовем «отечеством», «нашей *милой родиной*»,

Душевно преданный

Н. Страхов.
1890, 5 января. Спб.

* * *

Многоуважаемый Василий Васильевич.

Письмо ваше застало меня в то время, когда я усердно писал *«О времени, числе и пространстве»**, так что я испол-

«своей верой», *«святыней всех»*. Испорчен *идеал*, а не *эмпирия*. Замутился, помутился вкус, родник оценок... «Когана, а не Страхова!» – «Кабак, а не Серафима Саровского!» Тут или *примыкай* сам к «кабаку», или «отходи в *сторону*. Началось это *отдаленно* и *косвенно* действительно с Петра, прекраснейшие и нужнейшие реформы которого содержали, однако, тот ядовитый общий смысл, что «мы *сами* ничего не можем» и «все надо привезти изчужа», а окончилось и въявь выползло на свет Божий в кабаке Некрасова-Щедрина и «Современника», который уже и не таился в дурном, который не драпировался в «цивилизацию» и «образованность», а запел песенку:

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...

Прошла дубина по спинам русских – литературная «дубинка», как завершение гражданской «дубинки» Петра, – и расквасила самые мозги «тупых отечественных голов», после которой они не «реформировались», а просто обратились в *небытие*. «Со Скабичевским» Россия просто обезголовилась, а «с Герценом-Михайловским» она просто стала фальшива, притворна, обманна, деланна, фразиста и пустозвонна. В «пустой звон» вообще нельзя вложить никакой мысли, а в «кабак» вообще нельзя внести никакой иконы. В России настала тьма, куда *нельзя внести идеал*, не поругав идеал, да и *самому* – не разбившись. Вот сущность дела. Но «и погромче нас были витии»... Умолкнем. *Примечание 1913 года.*

* *Методическая* – и учебно-методическая, и учено-методическая – даровитость Страхова всегда мне казалась (до знакомства в письмах) столь превосходящею все, что приходилось читать на русском языке (родного и переводного), что вместо крошечной формальной логики, проходимой в гимназиях, было бы прекраснейшим делом ввести, напр<имер>, в преподавание VIII класса изучение его «Мира как целого», всего или хотя части. Это было бы полезнее смешной «гимназической химии» и смешного «гимназического Аристотеля» (формальная логика). Вообще, при некоторых недостатках (именно – *творчества*) в Страхове было что-то «от Сократа», от его великого метода «*все растолковывать юношам*». И совершенно дико, что Министерство просвещения ничем от него не воспользовалось и даже не заметило «у себя *бриллианта* в руках»... Не умею себе объяснить этого

нил Ваш совет прежде, чем Вы мне его дали. Опять скажу, Вы вообще удивительно верно понимаете меня; Ваши похвалы и упреки я готов принять почти без поправок. Вы правы, что я везде только расчищал дорогу, а потом почти везде не шел по ней. Ну что ж? Скажите мне спасибо, и ступайте сами.

А знаете ли, что меня останавливало? Те высокие требования, которыми я всегда задавался. Поэтому я ограничивался маленькою задачею, где мог быть ясен и точен. Не поверите, как мне трудно писать *«О времени...»* и пр. Но, слава Богу! половина дела сделана, и осенью, надеюсь, статья будет кончена. Каждый шаг в ней я обдумываю со всех сторон и потому движусь медленно. Но главное — *я не могу иначе, я не могу писать*, пока не вижу, что ни по бокам, ни сзади ничего нет, что угрожало бы опасностью*.

<...> От души желаю Вам всего доброго.

Ваш Н. Страхов.
1890, 6 июня. Спб.

* * *

Целую Вас от всей души, дорогой Василий Васильевич, за Вашу статью обо мне. Не думал я, что доживу до такой иначе, как тем, что Страхов официально, с одной стороны, был чиновник, а с другой стороны, не был велик по чину, всего «действительный статский советник». — «Неужели действительный статский советник может быть Со-кратом?» Всегда в письмах я и старался подтолкнуть Страхова к писанию об *элементарных* и вместе *основных* понятиях, словах, определениях, категориях философии и *вместе космогонии*. Здесь он был первым, всегда оставался первым. Невозможно забыть его прямо *классической* книги — «Об основных понятиях психологии и физиологии». *Примечание 1913 года.*

* По-видимому, есть *два вида* писательства: 1) полет, 2) постройка. В корне их лежат вечные начала человеческого духа — *пророчествовать, философствовать*. Надежны книги и вообще писания только вторых, а первые лишь увлекают и творят жизнь. Страхов принадлежал к *строителям*, как обратно, напр<имер>, Влад. Соловьев — к полетчикам. Процесс писания у Страхова был вообще труден; но, беря его книги, *читатель мог знать наперед*, что он берет что-то «оконченное», «без ошибок» и «без вредностей». Удивительно, что *такой-то* писатель, *такой-то* философ у нас вовсе безвестен: тогда как *чем же*, чем только русские не увлекались, не *зачитывались*! *Примечание 1913 года.*

оценки, и когда я читал, как я хожу около трудных вопросов, или как молчу о самом важном, что думаю, слезы выступали у меня на глазах (я ведь старик). Наконец, Ваше определение, что я деятель *умственного воспитания читателей*^{*}, – это определение я сам себе давал, когда думал вообще о своих писаниях. Меня и удивляет и трогает, что Вы все это поняли и высказали; сердечно благодарю Вас! Да и менее общие замечания – как верны и как прекрасно сказаны! Вообще, почти все, что прямо ко мне относится, очень хорошо; что же касается до рассуждения о славянофилах и западниках, то оно очень остроумно и глубоко, но слишком отвлеченно и поверхностно с фактической стороны. Поразительна и свежа мысль, что западники – более русские, более допетровские люди, чем славянофилы; но напрасно говорить, что славянофилы равнодушны к русской истории, народной словесности и т. д. Тут факты против Вас: К. Аксаков, Хомяков, Киреевские, Гильфердинг и т. д.** И нигилизма Вы не знаете, потому не видите, что западничество принимается худшими*** сторо-

* Действительно, Страхов – вечный педагог. Даже полемизируя с Фаминцыным, с Тимирязевым, Бутлеровым, он как будто внушает им истинные приемы мышления, истинные методы философствования, а не столько занят опрокидыванием их мыслей и нисколько не занят их уязвлением (обычные приемы полемики). Страхов *вечно болел о читателе*, о путанице в уме его и о притуплении в русских читателях нравственных и всяческих вкусов; он был «мамкой», «дядькой»: и это несколько даже отразилось в общем старообразном его положении в литературе. Это же было и одной из причин его неуспеха. «Ах, этот старик вечно учит!..» И молодежь пробежала мимо него. Но в Страхове, в *нем самом*, содержится вечная необходимость «вернуться к нему». И вернуться, и оглянуться, не наше поколение, то следующее или следующие... *Примечание 1913 года.*

** Меня, однако, удивляло, почему не *славянофилы* написали такие труды, как «История с древнейших времен» в 29 томах (С. М. Соловьева) или «Исторические монографии», что-то около 17 томов (Костомарова); также *все-таки западником* был и великий Буслаев. Вообще «русская история» и «славянофилы», даже «русский быт» и «славянофильство», как-то «знакомы-то знакомы» между собою, и даже кажутся «друзьями», – но, однако, пробежала и пробегает какая-то «черная кошка» между этими «близкими знакомыми». *Примечание 1913 года.*

*** Вот это – глубоко; Герцен был, в сущности, *дурной человек*, и только свет солнца его талантов залил это и не допустил рассмотреть. И «нигилизм», ко-

нами русской души, что нигилизм его логический плод. О Европе Вы чудесно говорите и очень хорошо останавливаетесь в суждениях, смотря на нее, как на загадку. Но об этом вопросе так много писано, что – не говорю привести и разбирать, а хоть бы только упомянуть, что есть-де решение этой загадки, – нужно бы было. Вижу, что и тут Вы выступаете ярким примирителем, неукротимым обобщителем; не могу этому не сочувствовать, но не могу и не заметить, что дело у Вас ведется слишком быстро. Однако положение, что спор славянофилов с западничеством имеет *всемирное* значение, – какая бесподобная и бесподобно сказанная мысль.

<...> Теперь я весь поглощен писанием ответа Вл. Соловьеву. Вы, конечно, знаете, что он опять выкинул штуку в «Русской мысли»*. Я сперва сердился, потом успокоился и

нечно, уже содержался имплицитно даже в реформе Петра Великого; и – *докончил* эту «реформу», сказал ее последнюю мысль. Что нигилизм вообще есть «что-то *последнее*», грань чего-то, «пропасть», «обрыв» – это невольно чувствуется. В «нигилизме», собственно говоря, мы и сейчас существуем; «нигилизм» тянется, таким образом, более уже полувека; *более* или *менее* «мы все – нигилисты», и выход из него или преодоление его в себе каждым – дело величайшего труда и страдания. Главным нашим «нигилистам», вроде Чернышевского, Писарева, Зайцева, Шелгунова, Скабичевского, Желябова, Перовской, в голову никогда не приходило, что они суть *ленивые* люди, плывущие по течению, – косные люди, неспособные поворотиться *по-своему*, люди *не оригинальные*, шаблонные, «как все», без звездочки во лбу, тусклые и неинтересные. А они-то «Байронами» расхаживали, распускали павлиньи хвосты, учили, «обновляли», «развивали». Бедные курочки, «пришедшие ко двору», – «механическая обувь», выделяваемая не поштучно, не по «мерке заказчика, а «вообще» и целыми «партиями», – люди «правительственной системы» (системы Петра I) и, как говорится в промышленности и торговле, – «по Высочайше одобренному образцу». Со своим «я» и «против течения» были единственно славянофилы. *Примечание 1913 года.*

* Книжка «Русской мысли» лежала у Страхова на столике, придвинутом к чайному (овалом и большому) столу, где у него лежало «текущее чтение», какой-нибудь трактат по физике на немецком языке, и вот «Русская мысль». Беря эту книжку со статьей Соловьева, он (мне и другим) говорил: «Вот – *видите?* Книжка вышла (такого-то) числа и, следовательно, *печаталась* (такого-то числа). Вы читали? Нет? Я вам прочту только несколько выражений (унизительные, ругательные). А та-ко-го-то числа (слышите!!!) он со мной пил чай и вино на Курском вокзале, был до приторности любезен, и я, не подозревая ничего, говорил с ним если не как с другом, то и не как с врагом. О-н ни-че-го об ста-тье не сказал, а она пе-ча-та-лась». И он бросал кни-

теперь пишу непрерывно и все разогреваюсь. Напишите мне Ваше мнение: ведь нужно ему отвечать?

<...> А что Вам открыли мои «Воспоминания о Достоевском», я не могу догадаться. В «Воспоминаниях...» я был очень сдержан; это не была свободная статья; я писал правду, но ту, которую прилично и уместно было напечатать в самом «Собрании сочинений» Достоевского. Вообще, я пишу холодно и сухо*; но бывает у меня скрытый огонь, который Вы иногда хорошо видите.

<...> Не могу я не чувствовать Вашей доброты, теплой, чистой любви ко всему высокому и умному. Дай Бог мне вполне заслужить ее, дай Бог Вам сохранить этот пламень и найти для него более достойных писателей и встретить более достойных людей.

Ваш душевно преданный

Н. Страхов.

1890, 13 сентября. Спб.

гу на стол. «Теперь судите, что это за че-ло-век!!!» Действительно, это было просто – *дурное*. Не – философия, не – литература, не – разные теории, а кривое лицо, кривая душа, темная, в которую человек (Страхов) «оступился». Именно после этого (вот «питья на вокзале чая») Страхов совершенно перестал выносить Соловьева, выбросил его из сознания своего как «что-нибудь», и тут сказалось великое шперковское (о Соловьеве): «эстетический человек, а не этический человек». Вечный «учитель», Страхов не мог перенести в «учительстве», в стезях учительства – поступка, какой совершается в темном переулке темными людьми. Последующее отношение Страхова к Соловьеву было отвращающееся. Так, идя с похорон Я. К. Грота, я от него выслушал негодующее упоминание о нечаянном и невольном столкновении с Соловьевым на улице: «Как же, и он (Соловьев) *был* (на похоронах)! Разве вы его не знаете в лицо? И опять подошел ко мне и протянул руку, которую я взяв – с отвращением *бросил*». *Примечание 1913 года.*

* В сущности, – *вовсе нет!* Хотя Страхов постоянно наукообразен и философичен, всегда «правилен» и «последователен», наконец, хотя он повсюду цитирует других, *говорит свою мысль чужими словами*, но у него постоянно *есть пульс* в этих построениях и даже в чужих словах: так он много жару, надежд, убеждения, наставничества *соединяет с мыслью*. Наоборот, есть *шумные писатели*, был шумный Скабичевский, шумный Шелгунов, а уж Чернышевский просто «гремел», – и тем не менее они все были, в сущности, *холодные писатели*; как и Герцен есть блестящий и *холодный писатель*. Мне кажется, теплота всегда соединяется с грустью, и у Страхова есть постоянная тайная грусть; а те все были «пресчастливы собою». *Примечание 1913 года.*

* * *

Многоуважаемый Василий Васильевич.

<...> Вы просите, – нет, не просите, а просто желаете или требуете от меня совета о деньгах. Деньги величайшее зло потому, что кто не умеет их держать в руках, тому они вечно бывают нужны, тот осужден на то, что их никогда у него хватать не будет и он постоянно будет мучиться мыслями об их добывании. Мне очень приятно было узнать, что Вам хорошо платят; 80 рублей за лист и 10 коп. за строчку – хорошая плата, по моему мнению. Правда, я получаю 100 руб. за лист и 16 коп. за строчку, но только недавно, не более пяти-шести лет, а прежде получал меньше Вашего. Право, не умею Вам посоветовать; может быть, при нынешнем развитии печати, Вам можно получать и больше, но все-таки незначительно больше. Вы заработали 1000 руб. в 10 месяцев, и Вам кажется это мало*.

Мне не кажется. Прежде, когда я жил исключительно литературой, я зарабатывал до 2000 и более, но я их зарабатывал преимущественно переводами, больше всего с немец-

* Просто не узнаю себя, – но почти уверен, что Николай Николаевич Страхов чего-нибудь не понял в моем письме. Я так был обрадован первому гонорару в 110 рублей из «Русского вестника», присланному при любезной записочке Ф. Н. Бергом, и настолько был доволен вообще этою платою (и до сих пор обычно в журналах, не споря, получаю 100, 80, 76 рублей, *никогда больше*, – а у Шарапова и у Перцова-Мережковских в «Нов<ом> пути» писал вовсе бесплатно), что вопрос высоты платы мною никогда и ни в одной редакции не поднимался, предлагаемое – никогда не оспаривалось. Иное дело – следующее: и Берг и Александров («Русский вестник» и «Русское обозрение») вскоре перестали *вовсе уплачивать*, отговариваясь – «нет денег» и «уплатим потом». Но этот воистину ужас положения настал только потом, по моем переводе в Петербург, приблизительно в 1894, и дальше, годы. «Денег нет» всегда, и я выпрашивал, вымаливал за статьи, уже месяца 2–3, иногда более, иногда полгода назад напечатанные. *Без сомнения*, я у Страхова спрашивал, как «вообще обходиться с деньгами», почему у меня всегда их не хватает, «хотя платят отлично, 80 рублей в журналах и 10 коп. за строку; и я выработал в год 1000 рублей», тогда как не «на 1000 же живут писатели, публицисты, газетчики, *не имеющие государственной службы*, каковых большинство». Вот это, вероятно, и было в моем письме, и некоторые строки письма Страхова показывают, что письмо было именно «спрашивающее» и «недоумевающее», а отнюдь не претенциозное. В этот 1892 год этого тона и *этого смысла не могло быть. Примечание 1913 года.*

кого. Вообще же я всю жизнь прожил на очень малые деньги. За редакцию «Зари» и прежде – «Отечественных записок», я получал только 100 рублей в месяц*. Что делать. Умственный труд не такое дело, чтобы можно было точно перекладывать его на деньги.

<...> От души желаю Вам здоровья и всего хорошего.

Ваш искренно преданный

Н. Страхов.

1892, 25 октября. Спб.

* * *

<...> Вот что я подумал, дорогой Василий Васильевич, прочитавши Вашу статью «О монархии». Меня просто сокрушают подобные явления. Я невольно вспомнил Влад. Соловьева. Разве не похоже? Разве не даровитый человек, разве дурно владеет словами? Но неисцелимая путаница мысли, не дающая ничему созреть и сложиться, сумбур са-

* Удивительно... Конечно, в радикальных и либеральных изданиях дело обстоит совершенно иначе. Все те – и «редакторы» и «сотрудники» – отходили от литературы с домами, с состояниями (Краевский, Некрасов, Благосветлов, Стасюлевич). Входя в консервативную, а вернее – *в уважительно-народническую литературу*, писатель знал заранее, что он – входит в бедность, в вечную угрозу нуждой, причем размеров этой угрозы совершенно невозможно предвидеть; и выходит, имея крики за спиной из-за стола жирно кушающих литературных бар: «видите – его, видите – куда он идет: он идет сманиваемый *богатством*, сманиваемый щедрой *наградой правительства*». Так Страхов «служил правительству», а Владимир Соловьев «страдал от правительства»; так Достоевский в квартире Свечного переулка «загрэбал деньги от правительства», а Стасюлевич в своем каменном доме на Галерной улице был «угнетен правительством». И т. д. Так как консерваторы презирали отвечать на это, а те, за жирным столом, все-таки этим молчанием не стеснялись и продолжали орать: «Мы – ушли в стан погибающих за великое дело любви», а «Достоевский, Страхов и Константин Леонтьев находятся в стане *ликующих, праздно болтающих*», то этот монолог – один утвердился в обществе, ему верили в провинции, да еще и до сих пор эта легенда не вовсе рассеяна. *Правдивой биографической литературы у нас вовсе не написано*, и, конечно, не Венгеров, не Скабичевский и не Овсянко-Куликовский, равно не Рубакин станут рассказывать гимназистам и студентам денежные секреты литературы. *Примечание 1913 года.*

мых высоких понятий, полная воля извержения всяких слов и мыслей – погубили все плоды, которые мог бы принести этот талант. Вы мне во сто раз дороже и милее его, по Вашей сердечности и по свойству Вашего таланта, но Вам предстоит подобная же судьба*. <...>

Мне горько особенно потому, что дело зашло о таких предметах, как *монархия, религия, наука*. Я чувствую, что эти важные вопросы опять тонут, опять извращаются и распускаются в тумане. *Гибнет работа мысли* – то, чем я всего более дорожу, чего нам недостает, что одно крепко и может нас спасти. Я с ужасом вижу, что русские умы движутся и управляются громкими словами, сладкими чувствами, всякими соблазнами красивых и восторженных чувств и форм, но что серьезно мыслить они не способны. Как все трудно на свете, как мучительно трудно. Февраль «Русского обозрения» весь пропитан каким-то фанатизмом, то есть слепым и неумолимым пристрастием**. Удивительно, до чего мы дошли – никак я этого не ожидал! Качнулись в одну сторону и потом настолько же качнулись в противоположную! Спаси нас, Боже! Когда же это кончится?

* В глубочайшей основе вещей Соловьев был, в сущности, *вовсе не умен*, – «при всем гении»... Это есть целая категория людей, философов, писателей, политических деятелей, которые именно «при гении» – просто «не умны». Как это происходит и почему, – трудно понять: а на ощупь – чувствуешь, «когда кончилось все» (смерть) – видишь. Именно – сумбур, шум, возня, пена, – конница стучит, артиллерия гремит. Час минул. И нет ничего. Один картон, да и тот порванный, лежит в стороне. Таковую роль имеет, бесспорно, «богословие» Толстого, на которое он потратил столько усилий, и «три единства», «три власти», «всеединство» чего-то, – и еще какие там «единства», которыми стучал Соловьев. Все – пустота. <...> Все время сближения с Соловьевым я чувствовал, сидя в комнате, на извозчике, что около плеча моего «пена и прах», как с Толстым в единственное свидание: «он смотрит только на себя, кроме себя он ничего не видит, – и оттого не понимает элементарнейших вещей в религии». *Примечание 1913 года.*

** Как хорошо все, как верно! Только «безмощные фразеры» радикализма или оскопленные либералы вроде Стасюлевича – не умели рассмотреть в Страхове драгоценную помощь гражданскому развитию страны, не умели рассмотреть прекрасного и глубоко свободного гражданина. Но Страхов – думал, а наша «гражданственность» всегда заключалась в этом «говоре-нии»: и *говоруны* возненавидели мыслителя. *Примечание 1913 года.*

<...> От души желаю Вам всего хорошего и прошу верить
неизменным чувствам

Вашего преданного

Н. Страхова.

1891, 23 февраля. Спб.

* * *

Дорогой* и многоуважаемый Василий Васильевич.

Наконец я могу курить, думать и писать. 14 июня я был уже в Эмсе, но когда стал пить воды, почувствовал себя очень больным** и очень медленно оправлялся, так что не мог похвалиться приятным началом своего заграничного проживания. Слава Богу, все пришло теперь в порядок и впереди, надеюсь, все пойдет как по писаному.

<...> Послушайте, однако, что я тут надумал. Хочу прибегнуть к помощи Вашей и Вашего кружка – в двух важных делах:

1) Мне хотелось бы, чтобы явилась маленькая статья (не больше печатного листа) *«Нечто о славянофильстве»*. Нужно указать, что ярые нападки на славянофильство и всякие его похороны*** доказывают только его силу в настоящую минуту. Нападки

* Все-таки, должно быть, лично я симпатичнее, чем в писаниях: несмотря на идейную переписку и все *связывающее*, что из нее вытекает, Страхов нигде в предыдущих письмах не переступал за далекое «многоуважаемый». И – сейчас перешел на более теплый эпитет, едва я приехал в Петербург. Отсюда правило для моих критиков: «не все в Р<озано>ве так худо, как кажется в его сочинениях». Все-таки «человек» выше и подлиннее его «сочинений». *Примечание 1913 года.*

** Вот странное действие вод: значит, они *показывают* болезнь, ранее предполагаемую и скрытую, – которая была для самого больного незаметна. *Примечание 1913 года.*

*** Тогда появились, вслед за смертью К. Н. Леонтьева, статьи князя С. Н. Трубецкого и П. Н. Милюкова в этом смысле. Оба «хоронившие» славянофильство ученые, однако, могли бы оглянуться на тот факт, что уже одно появление в славянофильстве такой *гениальной* личности, как Леонтьев, в самом конце XIX века показывало могущество этой старой почвы – могущество идейных *корней*, в ней заложенных. В *корнях* все и дело. Слиянные в одно народность и христианство, – то есть Церковь, – вот ее корень. Эмпирически, сейчас, она могла быть полна слез оплакивания. Но когда же над Иерусалимом пророки не

делаются по старой манере: или клеветают на славянофилов, или говорят, что прежние были-де хороши, но теперешние никуда не годятся. К славянофильству приплетают всякие глупости, какие встречают у глупых патриотов, но забывают его сущность, которая всегда чиста и неизменна, и теперь, очевидно, стала крепче и яснее для большинства читателей; она беспрестанно искажается, но в *хороших* умах существует в своем истинном виде.

Ну, извините: Вы, может быть, лучше это поймете, я хотел только намекнуть, *в каком роде* мне хотелось бы статьи*.

2) Великая была бы для меня радость, если бы кто взял на себя определить отношение книги Рюккерта к книге Данилевского. Мне непременно предстоит это дело, но не могу Вам выразить, какую лень я чувствую при этой мысли. Эти две книги не имеют между собой ничего общего**; Рюккерт плакали. Если «плакали» – значит, было о чем. Так и Церковь: чем укорямее *сейчас* она, тем *выше* ее вечные начала. Однако, по существу дела, после смерти Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, в те мрачные для славянофильства в смысле *личного состава* годы, Страхов был, собственно, единственным представителем славянофильства, и ему, понятно, хотелось закричать в глубокой старости: «Верю! хочу! *есть!*!» «Верю, *будет!*» Собственно, когда он мог бы это сказать – только *теперь*, с появлением в Москве *второго расцвета славянофильства*, в лице господ Кожевникова, Новоселова, Флоренского, Андреева, Цветкова, с примкнувшим к ним С. Н. Булгаковым и целым книгоиздательством «Путь». Вообще, *теперь* – Страхов совсем покаялся бы. А «теперешние» должны чутко и благодарно прислушаться и присмотреться, как он держал гаснущую свечу в старческих руках. *Примечание 1913 года.*

* Ему, очевидно, хотелось, чтобы я это исполнил; но вечное «некогда»... *Примечание 1913 года.*

** Между тем до сих пор многие верят Влад. Соловьеву, будто Данилевский «украл» у Рюккерта его мысли и «Россия и Европа» есть плагиат с немецкого. Соловьев мог бы понять, что *самый ум Данилевского* был не компилятивный, – и если он не пошел за Дарвиным, странно было вообразить, что он начнет «компилировать с (безвестного) Рюккерта». Данилевский вообще *этого не мог, не умел*. – Дар компиляции и плагиата, – им же переполнены все русские профессора, – есть именно *дар*, и очень тонкий, ажурный; к которому несколько «медвежья» натура русского антидарвиниста, виноградаря и рыбоведа (охранение рыбных промыслов в России) была совершенно не приспособлена. Нельзя тайно не подумать про себя, что сам бурный Соловьев в муть и пену свою вовлек без особенных ссылок внизу страницы весьма и весьма много чужих идей и средневековых, и манихейских, и просто обычно католических. Вот его бы следовало проверить с источниками в руках, и это могли бы сделать такие ученые, как Н. Н. Глубоковский или М. М. Тареев. *Примечание 1913 года.*

пускается во всякие рассуждения, но не держится никакой определенной мысли; мельком он говорит о типах, но это не те типы, какие у Данилевского. Если рассматривать зачатки мысли о национальностях в истории, то нужно бы взять 1) Гердера, 2) Шеллинга и Гегеля, 3) Вильгельма Гумбольдта. Тут везде можно указать, что *человечество* все больше и больше оказывается отвлеченным понятием, а реальность народностей выступает все яснее*.

Ну, неужели же мне придется писать на обе темы? У меня так много набралось своих особенных тем! На первую тему я подбивал написать В. И. Ламанского, но до сих пор не добился даже того, чтобы он прочитал *«Национальный вопрос»* Соловьева. До сих пор он не читал такой знаменитой книги! На вторую тему я подбивал написать А. И. Георгиевского, отлично знающего обе книги: по Рюккерту он даже читал лекции, когда был профессором в Одессе. Но он очень занят – и чем же? –

* Кажется, это одна из тех проблем, которые вечно *будут* и до конца никогда *не исчерпаются* мыслью человеческой. Видится, будто «есть только *народности!!*» – «Есть *Мы*» и «такие как *мы!!*» – это навсегда останется столь же страстным криком, таким же отчаянным исповеданием, как и иное растворяющее, поглощающее: «Полноте!.. Не *вечно ли* небо? Не *одно ли* оно? И разве тебе, русский, тебе, Киреевский, не драгоценная сестра та, *не названная по имени* финикиянка из Сидона, что сказала Пророку: «Что тебе и мне, человек Божий, – ты пришел умертвить моего сына», и т. д. и т. д. Есть что-то именно *растворяющее* национальную душу, что-то *далекое и конечное*, где нации исчезают. Есть такое, когда русский, француз, немец, итальянец, грек утирают рукавом глаза, плачут, – и уже не говорят, а лишь сквозь слезы мычат что-то, – а глаза ясны, а на душе легко. Это – конец. И немногие – дойдут до него.

Но не против этого *растворяющего* борются народности: их «я» и «мы» справедливо поднимаются, когда на них идет напором обшмыганный космополитизм, который так же *беднее* всякой национальности, как «международный» банкир, международный шулер и приказчик «универсального» магазина Мюр-и-Мюрилиз беднее всякого русского пастуха и скуднее всякого цыганенка.

Так, что острая стрела «национальности», гордая, сверкающая, неколебимая и неуступчивая, – это упорное *Я* – оно столь же истинно и вечно, как голубой свет вдали, завидя который все склоняются и с умершим «я» говорят:

Он! они!! оно!!!

Примечание 1913 года.

псалмами, которые изучает в подлиннике, по-еврейски*. Бывают такие кудрявости во вкусах и занятиях!

Ну, что Вы на это подумаете и скажете? Не прошу непременно, чтобы Вы писали мне за границу; но если будет у Вас охота, то напишите: Deutschland, Ems, pose restante.

<...> Дай Вам Бог всего хорошего. Варваре Дмитриевне низкий поклон.

Ваш искренно преданный

Н. Страхов.

1893, 4 июля (16). Эмс.

2. Рассеянное недоразумение

Н. Н. Страхов. Взгляды Г. Рюккерта
и Н. Я. Данилевского // Русский вестник. 1894, октябрь.

Среди возражений, которые были в свое время сделаны г. Влад. Соловьевым** на книгу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», одно было чрезвычайно многозначительно. Он поставил вопрос: каким образом теорию культурно-исторических типов, созданную нашим покойным ученым, совместить с универсальным характером некоторых истин, вышедших из недр того или иного народа, но, по-видимому, не для него, а именно для *других народов*. Так еврейство культурно умерло после Христа, но христианством ожили народы, совершенно чуждые по крови евреям; Греция истощилась, создав искусства и философию, которыми оживилась Европа эпохи Возрождения и XIX века; римляне умерли, создав всемирное право, которое даже на наших факультетах изучается с большею тщательностью, чем собственно русское, — изучается как *прототип*, как *образец всякого права*; и даже в истории самой Европы мы

* Вот неожиданно! Но ведь это совершенный показатель русского таланта. За это А. И. Георгиевскому можно простить много из его «классической гимназии» (которую он, собственно, — отнюдь не Толстой, отнюдь не Катков, — организовал). *Примечание 1913 года.*

** В «Вестнике Европы»; позднее эти статьи были повторены изданием в сборнике «Национальный вопрос в России» (выпуск 2).

наблюдаем, как Италия блекнет и вянет после Renaissance, а *итальянский Renaissance* является зарею и пробуждением для всех *северных заальпийских стран*. Правда, это старый вопрос, который волновал уже Карамзина; но Влад. Соловьев по предметам своего постоянного внимания сумел придать этому недоумению особенную неотразимость: что делать, в самом деле, с совестью своею, с идеей греха, искупления, с христианством, что все *не у нас родилось*, но, очевидно, *родилось и для нас*? И, повторяем, это недоумение становилось так сильно, что при наилучшем уважении к памяти Данилевского, при согласии со всеми коренными устоями его теории каждый невольно от этих устоев отходил в сторону, предпочитал молчать, нежели говорить «да» или «нет» там, где так мучительно было бы «нет», так против совести — «да».

Недавно появившаяся статья нашего уважаемого писателя Н. Н. Страхова «Взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» рассеивает наконец это недоумение. Статья посвящена собственно определению литературных отношений Г. Рюккерта, автора книги «*Lehrbuch der Weltgeschichte*», 1857 г., и Н. Я. Данилевского* как творца теории культурно-исторических типов;

* Общий вывод, к которому приходит г. Страхов на основании строгого сравнения той и другой книги: «Данилевский даже вовсе не читал и не знал книги Рюккерта» («Русский вестник», 1894, октябрь, с. 158), — можно было предвидеть и заранее, притом на основаниях чисто психологических: плагиатор робок в отношении к заимствованной им мысли и в изложении ее неуклюж, неумел (большинство русских диссертаций): особенности, которые совершенно отсутствуют в смело, мастерски, хотя и несколько грубо написанной «России и Европе». Только очень недальновидный читатель не отличит творца, инициатора от последователя, заимствователя. И, к сожалению, таких именно читателей Данилевский нашел в своих поздних критиках. И притом, к чему ему было скрывать родственность своих взглядов с идеями Рюккерта, когда все вообще русские подобною родственностью гордятся, на нее ссылаются как на непререкаемый авторитет? Как было ему этот авторитет опустить, когда он был в течение пятнадцати лет не признан, пренебрежен? И, наконец, ведь не *открытие*, не *изобретение* он сделал, приоритет которого мог бы бояться потерять, а высказал некоторый взгляд на историю человечества, где всякая и для всякого поддержка может быть только ценна, желательна, — как и для Гегеля были ценны идеи Гераклита и Аристотеля, и он их разъяснял, освещал и гордился совпадением их идей со своими, нисколько не затушевывая этого поведения.

но, сверх того, в конце ее автор развивает некоторые мысли, в высшей степени многозначительные и ценные.

Г-н Страхов справедливо указывает, что понятие «культурно-исторических типов» не только не возвышает идею «культуры» вообще, но, напротив, вводит ее в границы, суживает ее значение для всякого человека. Привыкнув понимать все народы как преемственно поднимающиеся по ступеням *единой* для них всех культуры, в этой культуре люди наконец стали видеть что-то абсолютное, в сравнении с чем все другое, во что они веровали, что читали, — относительно, изменчиво, есть только служебное средство, а не конечная цель; «в ней мы увидели, — говорит он, — великое божество, поклонение которому незаметно вошло в наши мысли и составляет скрытую пружину самоотверженных трудов, пламенных восторгов, гордости и унижения, любви и ненависти». И в самом деле, эти слова: «монах», «воин» — символы отживших циклов единой культуры, *их* веры, *их* заветов, как это поблекло теперь перед именем «образованный человек», «человек высокой культуры», где высказывается какая-то новая вера, новый завет?! И отвергнем ли мы, что это есть, действительно, вера в некоторую единую, высшую культуру, которая в более или менее далеком будущем сольет все народы, им всем придаст одно лицо, общее выражение.

«Понятно, что для таких поклонников очень противна мысль о *разнородных культурах*, и они невольно и упорно избегают проведения этой мысли до конца. Прежде всего потому, что из нее, очевидно, следует *понижение значения культуры* (курсив автора). Так, защитники какой-нибудь религии часто смущаются фактом существования других исповеданий и не хотят признать их за религии».

«Как только мы признаем, что существуют и всегда существовали разнородные культуры, то мы поймем, что *никакая любая культура не может быть высшею целью человеческой деятельности*. Это мы, впрочем, должны бы хорошо знать и без того, потому что у нас всегда бывают цели и стремления, которые мы ставим выше всякой культуры и всякой истории.

Мы любим и уважаем людей не по их национальности, не по истории, к которой они принадлежат, не по культуре, которой достигли, а по другим, более глубоким основаниям. Мы действуем и ставим себе правила действий, справляясь не с историею, а со своею совестью».

«Что Данилевский имел в виду этот общий результат и желал отнять у культуры ее верховное значение, это ясно уже из его характеристики европейской культуры и из борьбы с «европейничанием». Если культура есть цель истории, то не правы ли будут те русские юноши, которые стремятся в Берлин, Париж, Лондон, как в те места, где могут достигнуть высших понятий и вкусов? Когда-то Герцен, очутившись в Париже, искренно и верно называл себя «благочестивым пилигримом Севера», пришедшим поклониться величайшей святыне мира. Точно так же он очень хорошо выразился, говоря, что потом перестал верить в «единую спасающую цивилизацию». Культура, действительно, имела и имеет свою религию».

«Данилевский, однако, ясно видел сферу, в которой мы становимся выше культуры и истории, и выразился об этом совершенно ясно. Книга его есть проповедь славянства, как особого культурного типа, и содержит всякого рода соображения, ведущие к возможности культурного развития и объединения славян, но этой цели он не дает верховного значения: «для всякого славянина, – говорит он, – *после Бога и Его святой Церкви*, – идея славянства должна быть высшею идеей» («Россия и Европа», с. 133).

«Бог и его святая *Церковь*, – так заключает г. Страхов, – вот что *выше* всего для человека, твердо держащегося Православия. Если мы обобщим, то должны будем сказать, что *религиозная и нравственная область стоит для всякого человека выше истории, культуры и всякой политики. История есть дело земное, временное; а мы всегда носим в себе позывы к небесному, вечному...* Для человека, ищущего спасения своей души, для того, кто глубоко погружен в вопросы нравственности, *история исчезает* или является не в том виде, как обык-

новенно... В той или иной степени, мы всегда *отрекаемся от мира*, когда начинаем искать Бога» (с. 136–138).

Вот объяснение, столь же прекрасное, как и удивительное; объяснение, совершенно неожиданное для всякого, кто размышлял о теории культурно-исторических типов и пытался примирить ее с универсальностью христианства, с одним для всех людей голосом совести. Этот голос, это учение Христа, конечно, покрывают собою всякую культуру, – не вопреки, однако, учению о культурно-исторических типах, но в строгом соответствии с ним, так как именно оно низводит всю «цивилизацию», «гражданственность», «культуру» к ее земным основаниям, тесным границам. Можно наконец легче вздохнуть; я – русский, им останусь, им умру, ни в чем не изменив своей родине: в обычае, языке, во всяком земном деле; но за гранью этих земных дел, в своем уединении, ночью, перед горящею лампадою, в колебании перед дурным поступком – я только человек; спрашиваю римлянина, грека, всякого, как *мне* поступить, как поступали *они* в лучшие, просветленные свои минуты.

1894 г., Спб.

ПОМИНКИ ПО СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ И СЛАВЯНОФИЛАМ

Есть идеи прилипчивые, навязчивые. Может быть, и не вполне основательные, ни в каком случае не глубокие, но которые как-то саднят в уме, – и, верно, в них есть какая-нибудь истина. Вот уже много лет, всякий раз, как мне приходится думать об А. С. Хомякове, столетний юбилей которого мы недавно почтили речами и статьями, приходит на ум странный, можно сказать, необычайный способ его смерти. Человек универсального, пылкого и самоуверенного ума, он не только оспаривал исторические мысли Т. Н. Грановского, копался в санскрите, изобрел способ утилизации снега, но также и придумал «верно действующее» средство от холеры. И умер от холеры!!! Когда

читаешь его биографию, такую трогательную, серьезную, всю исполненную напряжений и надежд, и доходишь до этого конца: «умер от холеры!» – то до того теряешься, факт до того поражает ум, что впадаешь во что-то похожее на истерику и начинаешь смеяться. Человек – всех лечил в Москве (то есть советовал всем лечиться), а в деревне и наверное уже и фактически лечил! И умер именно от этой болезни, сопровождаемой, как известно, ужасными страданиями. «Будь скромнее, человек!» – как бы прошептала смерть над этою могилою; или, как сказал Ф. М. Достоевский на памятном пушкинском празднике в Москве: «смирись, гордый человек!» Во всяком случае, это поучение о скромности никак не умеет отделиться в уме моем от идеи о Хомякове; предательская холера 1860 года скалит скверные зубы за его бронзовым монументом и говорит: «Как он ошибся! как он ужасно ошибся со своим снадобьем! И ошибся не только в расчете на меня и мою податливость, но и вообще в расчетах своего пылкого, пусть очень острого, но слишком самоуверенного ума».

Годы пронеслись после его смерти; годы – скажем о России – многих испытаний! И как-то не верится на слово; как-то хочется проверки *делом*. А вот перед проверкою делом большинство его возвышенных и благородных теорий: исторических, общественных, не говоря уже о научных, оказывается не реальнее и не целебнее, чем знаменитое средство от холеры. Едва умер сам изобретатель его, никто более не проверял и не занимался научною ценностью снадобья. Все просто его забыли. Огромное множество его идей, все так называемое славянофильство... да дайте осязаемые плоды в руку? Напр<имер>, школа, университет, гимназия, народное училище? Но ведь из ста народных учителей и учительниц, довольно-таки самоотверженно зябнувших и голодающих в деревне, 99 не заглядывали ни в Хомякова, ни в Данилевского, ни в Страхова. До последней степени очевидно, что человеческая волна, идущая сюда, имеет импульс свой совсем в другом месте. Посмотрите мелькающие в журналах статьи: «Что читать народу», «Книжный поток», «Как я читал (или «читала») русских

поэтов деревенским мальчиком»; увы, и обложки журналов, и тон статей ни малейшего не оставляют сомнения, что все эти во всяком случае добрые сеятели пришли совсем из другого лагеря. Гимназии? Но Н. Н. Страхов был членом Ученого комитета Мин<истерства> нар<одного> просвещения в самую удушливую его пору, в <18>80-х и <18>90-х годах; а Данилевский и И. С. Аксаков ничем не обмолвились против педагогического прессы, надавившего на всю Россию. А витии были великие. Словом, в деле воспитания и учения руководители были Ушинский, Стоюнин, был замечательнейшим педагогом Н. И. Пирогов; но из славянофильства ни единого зернышка добра или даже хотя бы «благопожелания» не вывалилось на эту часть родной нивы. Возьмем ли земство? Но не напоминая ярких фактов, все мы знаем, что и здесь больницы, школы, дороги, кустарные выставки, мелкие технические школы и пр. и пр. шли, как и «чтения с народом», от людей совсем иного закала и направления. Остается еще одна и почти специальная область славянофильства: Православие и дух его. Но и это стоит на своем корню; и есть около него славянофильство или нет его – оно ничего от этого фактически не приобрело и не потеряло. Серафим Саровский и Амвросий Оптинский были современниками зарождения и расцвета славянофильства, но едва ли принимали его близко к сердцу. Славянофильство, правда, *их* принимало к сердцу: по ведь это не одно и то же, что *сотворить* что-нибудь подобное. И учитель словесности «принимает к сердцу» Пушкина, но Пушкин остается Пушкиным, а учитель словесности остается учителем словесности. Таким образом фрукта, дела – нет и нет в запасе славянофильства! А «словесности» – после перенесенных Россией испытаний – как-то не верится...

Дело Гоголя – именно практическое – необъятно! «Куда ни глянем – все от него имеет начало»: как не повторить это слово, сказанное лет 20 спустя после кончины Петра Великого, к нашему Гоголю. А кажется, только «писал и писал». Действие Пушкина, да даже и живых или недавно живых писателей, всей плеяды <18>50–<18>60-х годов, всего этого

«реального романа» также очень велико. Ну, хотя бы в том отношении, что впервые западный мир они ознакомили с русской душою. Да и сколько дали русской душе Тургенев, Гончаров, даже Лесков или Островский, Достоевский, Толстой: право, если мы не задохлись в неудачной нашей школе, мы этим очень многим обязаны названным писателям! Сколько утешения; сколько тайного, незримого развития, уже неодолимого, незаглушимого!

Но отчего же это в реальную Россию не вошло славянофильских дрожжей? Почему земцы, почему особенно народные учителя – не славянофилы? Дрожжи – двигают. Но дрожжи – кислы, неприятны на вкус. Все славянофильство, от корня его до самой вершины, слащаво и несколько приторно: не ощущали ли вы этого непосредственного впечатления от каждой решительно славянофильской книги и статьи? Хомяков, оба Аксаковы, Киреевский, Данилевский, Страхов – ничего кислого, горького, терпкого. Напр<имер>, все без исключения славянофилы имеют много порицания для современности; но чувствуешь, что за этим порицанием, нисколько не жгущим, *не больным*, лежит столько сахара, что порицаемый (или порицаемые вещи) никогда не закричит от боли. Напр<имер>, возмем знаменитый стих Хомякова («Россия», 1854 года, – ходило в рукописи и напечатано только потом):

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.
О, недостойная избранья,
Ты избрана...

Ну, и всякий успокаивается, если «избрана»! Что за дело до слагаемых, если итог благополучен! Дело в том, что, конечно, «избрана» не сорвалось бы, как пророчество будущего с языка у человека, если бы весь перечень «грехов» выше не

был сделан так себе, лишь для того, чтобы не слишком уже сладко показалось заключение, – да, наконец, чтобы ему просто поверили!! Видите, как порицает отечество: это ли не Кай Грах перед сенатом. Это – не поэма «Россиада», а гражданское стихотворение 1854 года: и уж если в заключении его все-таки сказано, что «избрана» и далее:

И бросься в пыл кровавых свеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом – то Божий меч
(То же стихотворение, «Россия»), –

то даже сам генерал-губернатор Москвы, гр<аф> Закревский, мог найти стихотворение патриотическим и даже сделать из него в рукописи подношение куда следует: «вот патриотический голос Москвы».

Схема порицаний лишь отвлеченно жила во всех славянофилах; и это вовсе не то, что «незримые слезы», до которых Гоголь дошел через свои рассказы. От «перечня» Хомякова никому больно не стало. Пропись без имен, без адресов и примет. Бранись сколько хочешь. А вот Гоголь понаписал всем адреса. Понаписал всех приметы. То же делал позднее Щедрин. А об «избрании России» умалчивали. И уж если к «призыванию» Россия сколько-нибудь придвинулась, то от того, что всякому почтмейстеру во всяком Царевококшайске сделалось за себя совестно; вздохнул он, сам пообчистился, а главное, хоть сынишку в гимназию отдал: «пусть учится другому, чем я». И вот придвинулась Россия все же к кое-каким школишкам, к кое-какой медицине; придвинулась от обличителей с перцем и уксусом; а от обличителей с сахаром – ровно никуда не придвинулась. Так и пошла генерация добра на Руси: от желчи, кислоты, горечи. Это – бродило, это – дрожжи. А от сладкого решительно ничего не выросло: ибо все это – пресно; порицания – без страдания, да и призыв, пожалуй, без энтузиазма. Разве сравнятся военные крики в последних строках приведен-

ного стихотворения Хомякова с известными словами Некрасова – «Внимая ужасам войны» (1856–1857):

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы –
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.

Вот и любовь тут примешалась: та «любовь», о которой Хомяков исписал так много страниц и почти томов, а когда зашло дело о *конкретном*, напр<имер> о войне, то и не нашел ей места, оставшись при том же холодном, схематическом: «рази!» Ну, конечно, во время войны «рази», а во время мира: «люби», – но все это скучно и ужасно пресно. Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И они все, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. «Не солоно! Ни капельки соли!» И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба! К 1 мая, юбилейному дню рождения Хомякова, и в юбилейный 1904 год появились: книга проф<ессора> Л. Е. Владимирова «Алексей Степанович Хомяков и его этико-социальное учение» (Москва) и ряд статей о нем известного сотрудника «Моск<овских> вед<омостей>» г. Басаргина. Последний приурочивает статьи свои к названной книге. Нельзя не радоваться всякому серьезному труду, посвященному хотя бы в юбилейные дни памяти исторических русских лиц. Статьи и книга – серьезные, местами патетичны. О них можно было бы, однако, много спорить. Напр<имер>, знаменитое, вы-

сказанное Хомяковым, определение Православия, в отличие от католицизма и протестантизма, как учения: 1) кротости, 2) мира, 3) смирения, – едва ли составляет *догматическую* его разницу от западных исповеданий, а не вытекает из исторического положения православной Церкви, православных народностей, находившихся (на Балканском полуострове и у нас во время монгольского ига, да и позднее, что касается простого народа, находившегося в тяжелой крепостной зависимости) в положении угнетения. Увы, узники часто бывают лучше тюремщиков, ученики – учителей, солдаты – офицеров, и вообще «наковальня» имеет великие моральные преимущества перед «молотом». Это психология положения, а не последствие исповедуемого учения. Присоедините к этому мягкий славянский характер; прибавьте меланхолический шум северного соснового леса; осложните вообще психику угнетенности с вековой жизнью в близости с природой, – и вы получите подлинное разъяснение «коренных черт Православия», не нуждающееся в том пособии, что на Западе «исповедовали *filioque*»¹, а на Востоке его не было. Что касается до «соборного» начала, то, конечно, оно выразилось на Западе, где были соборы² Клермонский, Флорентийский, Базельский, Констанцкий, Wormский, а не на Востоке, где всегда церковь управлялась единолично местными патриархами. Впрочем, это вытекает и из идей Хомякова, где «соборности» тоже уделяется поверхностное, без энтузиазма, место, – а с энтузиазмом указывается «решение единоличной совести», в иллюстрации – ну, хоть приснопамятного гр<афа> Закревского, современника Хомякова. Но здесь мы должны войти в некоторые подробности, так как это связано с некоторыми подробностями земского самоуправления, шире или уже понимаемого. Здесь Хомяков, проф<ессор> Владимиров и г. Басаргин сливаются в согласный хор, и мы дадим место: проф<ессору> Владимирову – как истолкователю, и г. Басаргину – как истолкователю проф<ессора> Владимирова.

«На высшей точке государственного строения, – пишут они согласно, – русский народ ставит *живую единичную*

совесть (курсивы здесь и ниже г. Басаргина). Русский народ, по-видимому, не верит в отвлеченные формулы, так же как не верит в механизм учреждений, сам-де по себе обеспечивающий применение воплощаемых ими начал. Русский народ отлично понимает, что в государстве все приводится в действие человеком; что государство получает содержание, направление и одухотворение от человека, его совести, ибо в большинстве человеческих дел единственным обеспечением правильного действия служит совесть действителя. Вся традиция человеческой жизни ведь и состоит в постоянных, на каждом шагу, столкновениях между неподвижною, условною формулой права и живым голосом совести человеческой».

Но чуткая совесть – неумела, неловка, неискусна: а искусство, а дар принадлежат человеку без совести. В «трагедии человеческой жизни» (о ней пишут господа Басаргин и Владимиров) пусть они расчислят, много ли приходится случаев соединения высокой даровитости и совести и не на всяком ли шагу встречается их плачевное разъединение («первородный грех», как мы думаем; первородный грех – в этой слабости, немощи человеческой). Да и потом: почему уединенной жизни в кабинете присуща «совесть», а как улица, толпа – то и «бессовестность»? Не Клермонский разве собор решил *толпою*: «идем освободить Св<ятую> Землю»? Нет, именно в толпе-то (вспомним Минина на площади Нижнего Новгорода) и бывают нечаянные и святые движения народной души: личное – вдруг забывается, забывается – эгоистичное, и являются манифестации общечеловеческого, общенародного. «На *ура* пойдем за правду!» – почему это не *так*?

Цитируем дальше.

«Старые народы, народы рассудка, стоят за *форму* (курс<ив> г. Басаргина): она исключает, по их взгляду, произвол. «*Dura lex – sed lex*»³, «жестокость закон – но он закон»! Народы молодые, народы чувства стоят за *совесть*: она отступает от правила, но зато прислушивается к голосу человеческой души (а если не прислушивается? – В. Р.). Формула коренится в компромиссе, то есть в силе; совесть отражает в

себе безусловное, божественное веление. Формула есть стена и ограда фарисеев; совесть – истинная арена человеческой души, христианского верования, христианской любви. В этом и смысл слов Хомякова, сказавшего: «Наша такая земля, которая никогда не пристрастится к так называемой практике гражданских учреждений. Она верит высшим началам, она *верит человеку и его совести; она не верит и никогда не поверит мудрости человеческих постановлений* (курсив автора). Оттого-то и история ее представляет такую, по-видимому, неопределенность и часто такое неразумение форм, а в то же время, последствие той же причины, от начала этой истории постоянно слышатся человеческие голоса, выражаются такие глубокочеловеческие мысли и чувства, которых не встречаем в истории других, более блестящих и, по-видимому, более разумных общественных развитий».

Доселе – Хомяков и проф<ессор> Владимиров.

«Вот именно!» – патетически подхватывает г. Басаргин и пишет на ту же тему статьи. Мы их не будем приводить. Мысль достаточно закруглена и в сделанной цитате. Останемся на ней.

Во-первых, в русской истории было не только «неразумение форм», но между прочим и «неразумение» хорошего пороха в Крымскую войну, и дальноточных ружей в минувшую турецкую: от какового «неразумения» раздавались «истинно человеческие голоса» не только В. В. Верещагина («На Шипке все спокойно»), но и многого множества других: но все то были «плачи Иеремии», плачи не вовремя, запоздалые. Теперь, какую нужно «совесть» иметь (дело идет все о ней), чтобы и впредь, на все предбудущие времена, отечеству своему советовать это же «неразумение» западных премудростей, будут ли то пастеровские прививки, электрическое освещение или «гражданские учреждения» (ведь это все одного порядка вещи, «премудрость»). Хорошо было Хомякову в своей деревне, Басаргину – в «Моск<овских> вед<омостях>», а вот обывателю нашему нужны и конка, и лекарь, и окружной суд, и пр. Решительно обывателю нужно и «земство», с разными

самоотверженными учительницами, врачами. Ах, холера, холера: подсидела она Хомякова. Как плакались на худой порох в Крымскую войну и на короткострельные ружья в турецкую, так большую слезу вылил и малоизвестный поэт Б. И. Алмазов, прислушиваясь к причудливым идеям Хомякова. Мы приведем его, и уже никак нельзя сказать об этом стихотворении, чтобы его также «забыли посолить», как вообще всех славянофилов и все славянофильство:

По причинам органическим,
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем Сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
Мы враги сухой формальности,
Мы чувствительны душой, –
И при виде «благодарности»
Не владеем мы собой.
Вот по этой-то причине я
С умилением гляжу
На управу благочиния,
В ней одной лишь нахожу
В дни печали утешение:
В ней одной лишь не погиб
От напора просвещения
До Петровского «кормления»
Совершенно чистый тип.
Не к пути земному, тесному,
Создан, призван наш народ,
А к чему-то неизвестному,
Непонятному, чудесному,
Даже, кажется, небесному
Тайный глас его зовет.

Смех поэта, историческая неправда и какой-то гнусный воровато-ханжеский тон излагаемой «теории» прелестно соединены здесь. Переходя к прозе, в чем основная ошибка господ Басаргина, Владимирова, Хомякова? Нигде не открывается на нее такой возвышенной точки зрения, как в религии. Ну, да: «форма» – это действительно слабость, несовершенство: возможность сухости и по существу – неправды. *Возможность* этого, а не *необходимость*, не требование: заметьте. Итак, усовершенствуйте «форму» и старайтесь (главное!) праведно к ней отнестись: не переводя ее в формализм («форма все поглощает»), а удерживая на степени упорядоченности. Спор против «форм» – ведь это требование устранить контроль в денежном хозяйстве. Это – постановка на месте «Вексельного устава» – «сделок по душе»: которым прежде всех обрадовались бы кулаки. «Мир» кулаками и закрепощен не по векселю (крестьяне и подписать его не умеют), а «по душе». Да и что за односторонности: уже если «формальное начало» есть сухое и юридическое, то не прежде ли всего его предстоит выгнать из области, где все основывается и должно бы основываться действительно на любви, согласии, взаимной уступчивости – в брак? Теория Басаргина, Владимирова и Хомякова падает прежде всего сюда и, разрушая «формальное в нем начало», проповедовала бы «свободную любовь». Но о такой проповеди из их лагеря не слышно. Теории трех названных славянофилов наивны или, точнее, наивничают: они навевают мечты какого-то золотого века, когда вокруг нет никакого золотого века, проповедуют какой-то пастушеский быт среди фабричного производства и удушливой канцелярии. Они возвращают к моральной анархии, когда мы живем в имморальности; к анархии бытовой, когда мы живем среди бытового безобразия. «Форма» и входит сюда бедным, слабым, ограниченным, бездарным началом: но все же каким-нибудь началом. С помощью «формы» я все же могу возразить вору, а без «формы» не могу. Взойдем к религии. В тоне славянофилов по части «учреждений» есть доля ханжества и хитрости: но есть и доля искреннего, мечта, слезы (увы, это смешивается ино-

гда). В чем же ошибки этой доли «слез», мечты: они судят о виновном состоянии как бы о невинном, о состоянии падшего человечества под условием как бы не падшего, безгрешного. Вполне основательно, что вообще «легальное начало», «юридическое» несимпатично, грубо, поверхностно. Это суковатая палка, скверная. Кто ее не старается избежать? Кто хочет идти в суд? Народ справедливо ужасается этого. Весь этот ужас, неприязнь, отвращение суть осколки (в душе нашей) первобытной невинности и чистоты; осколки, но не цельное зеркало. В двух областях, семье и школе, я вот уже много лет проповедую устранение формального начала: и кто же оспорит, что если уже *где* быть ему отмененным, то действительно – *тут*, где слишком связывают людей естественная привязанность и естественный интерес. Где есть *jus naturale et divinum*⁴ – не нужна *jus civile et humanum*⁵. Такова моя скромная личная мысль. Но поистине семья и детское воспитание есть уже в *быту* самом тоже осколки первобытного счастья; и закон рая уместен в раю.

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЕВЫМ

Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьев, бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, начал быстро и энергично расходиться с ним. В третьем томе «Сочинений» покойного философа помещены статьи, где мы наблюдаем первые шаги этого расхождения. Каковы были основные его побуждения?

В лучших, золотистых своих страницах Достоевский навевал на читателя грезы всемирной гармонии, братства человеков и народов, гармонии жителя земли с этою обитаемою им землею и небом; «Сон смешного человека» в «Дневнике писателя» и некоторые места в романе «Подросток» дают в Достоевском почувствовать сердце, которое не словесно только, но реально прикоснулось к тайне этих гармоний. На-

половину слава Достоевского основывается на этих золотых его страницах, как ее другая половина основана на знаменитом его «психологическом анализе», если и не высший, то самый знаменитый пример которого дан в «Преступлении и наказании». На прямой и краткий вопрос: «Да за что вы любите так Достоевского?», «за что Россия так чтит его?» – всякий скажет кратко и почти не думая: «Как же, это самый *проницательный* в России человек и самый – *любящий*». Любовь и мудрость – вот два венца Достоевского, около которых более проблематичны остальные.

В одном месте выражения этой экстатической любви, в «Бесах», он говорит: «Я – всему молюсь; вот ползет паук по стене – я и ему молюсь». Паук – это что-то злое. Но силою любви, из него исходившей, Достоевский преодолевал самое зло, разгонял потоками психического света всякую тьму, и, как в знаменитых словах о «солнце, восходящем над злыми и добрыми», – он тоже разламывал перегородки добра и зла и снова чувствовал природу и мир невинными, даже в самом зле их. В секунду этой «гармонии» – его лично, Достоевского, «гармонии» – вина снималась с мира, и он (Достоевский) знал тайну мира искупленного, о чем мы болтаем пустые деревянные слова, в сущности вовсе не зная и не постигая, что такое для мира быть «искупленным». Метафизический секрет этой «искупленности», нам только словесно известной, был открыт или по крайней мере секундами открывался Достоевскому. Те страницы, где проскальзывает этот секрет, и создали все положительное имя Достоевского, где он дал свой «тезис», в отличие от других, часто очень мрачных страниц его, где он развил множество «антитез» современной ему культуре, да и вообще сердцу человеческому («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).

Состав этого «белого луча» в «темном Достоевском» чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого «белого света». Тут входит и «Лик Христа», к которому он еще с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которою проверяется все

сомнительное, земное. Может быть, в чувстве Достоевским Христа заключалась личная особенная примесь, может быть, он чуть-чуть Его иначе чувствовал, чем все мы, чем православный обыкновенный священник; именно – жизненное нас, не столь книжно и воспоминательно, как мы. Вторую частью «гармонии» Достоевского было его русское народное чувство, почти – простонародное («Мужик Марей», «Столетняя» в «Дневнике писателя» и там же некоторые рассуждения). С ним к концу жизни слилось его отношение к Пушкину и к лучшим частям нашего образованного класса, с их «всемирной отзывчивостью и перевоплощаемостью». Неразделимо это ощущение Достоевским своего народа сливалось с упомянутым уже чрезвычайно жизненным ощущением Христа. «Наш народ (и только наш) – Христа в себе принял – оттого он такой» – вот формула и частые разъяснения Достоевского. Для него «Православие», «Христос», «народ русский» сливались так тесно, что можно было одно имя употреблять вместо другого; и это не звуковым образом, а мистически. Известно, что есть в русском народе секта, которая кроме Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате, признает множество воплощаемых на земле «христов» и «богородиц», к которым относит все благоговение, какое надлежало бы относить к Тому одному. В чудных, выразительных страницах Достоевского о русском «народе-богоносце» («Бесы») мы чуть ли не имеем гениальную и интеллигентную вариацию этого народного мифа-веры. И, вместе, чуть ли в Достоевском и его пророчественном, вдохновенном творчестве нам не дан психологический ключ к разгадке этой темной русской секты. Третья часть «белого луча» Достоевского лежит в его пантеизме, однако не объективно художественном (как у Гете), а скорей в пантеизме субъективно-религиозном, нервно-моральном. Достоевский не сказал: «Я люблюсь на паука», «созерцаю в нем мудрость природы и изучаю его», а кратко и вместе сильнее: «молюсь ему». Тут, пожалуй, тоже есть наука и есть любовование, но они позади и забыты, а налицо – сладкая молитва, экстаз. «Дневник писателя» он открывает с рассуждения

«О Большой Медведице» (созвездии) – немножко странно для публициста, слишком высокая нота для журналиста. Это – характерная хлыстовская нота, ибо и хлыстов наших, несмотря на их «духовные стихи» и постоянные ссылки на Христа, миссионеры очень тесно связывают еще с дохристианским язычеством. И тут есть основательность. Мы уже заметили, что и в старце Зосиме «Братьев Карамазовых» действуют более звезды, чем монастырский устав, доброта лесов, благодать утреннего воздуха, «который вдыхают злые и добрые». Мы вообще не различаем в себе мотивов религиозности, а разобравшись в них, исследовать душу даже великого подвижника – и найдешь в ней слой за слоем чуть ли не целый том «истории религий», и самых древних, и самых новых. Кто объяснит нам, почему Франциск Ассизский и люди его типа вырастали только в пустынножительстве, среди скал, в пещерах, среди вековых сосен, а едва подвижник входил в город, он начинал действовать и говорить жестко, сухо, кратко, раздраженно. И в тех мантиях, в которых мы видали Франциска Ассизского, мы трепещем Торквемады. Монастыри, уединенные в лесах, в древних «священных рощах» Галлии, в диких горах Пиренеев, Апеннин, Афона, – дали все христианство, весь его дух, аромат. Города дали иерархические препирательства, власть, закон, томительные книжные споры. Тут разграничение между Никоном и Сергием Радонежским, между Франциском Ассизским и Иннокентием III; между Ватиканом и... напр<имер>, лесною Русью.

* * *

Соловьев весь проникся идеею (и чувством) этой «гармонии» Достоевского, не различая в ней указанных сложных элементов; и, приняв ее за выражение и за миссию подлинного исторического христианства, потребовал, так сказать, уплаты по ее невероятно большому векселю. Он был похож, во всей последующей богословско-публицистической своей деятельности, на не очень симпатичного судебного пристава,

который с документом в руках все хлопочет около богатого дома, но никак не может добиться, чтобы хоть открыли в нем форточку и подали оттуда ломоть свежееиспеченного хлеба.

«Издали еще можно любить ближнего, но вблизи – ни за что! никогда!» – воскликнул Достоевский в одном месте («Братья Карамазовы»). И в этом печальном признании высказал глубокую границу и ограниченность себя и даже своего творчества. Золотые его страницы вплетены в томы беспредельного сумрака. Он «молился на паука...». Ну, вот паук не паук, а хоть поляки, нация все-таки не пауковая. Пусть это недостаточный человеческий тип; но ведь нашел же всеоправдывающие человеческие черточки Достоевский и в капитане Лебедкине («Бесы»), пропойце и мошеннике, и в Грушеньке, и в Митеньке Карамазове. Надо бы бросить нации, может быть только униженной и оскорбленной, а от этого и изломанной в характерах, ту «луковку» помощи и признания, о которой он сам так хорошо говорит в «Братьях Карамазовых». Но он не бросил и «луковки». Он накидал фигуры двух шулеров и альфонсов из поляков («Братья Карамазовы») – и больше ничего не промолвил, отвернулся. Вот, опять католичество. Не могу самонужнейшим эпизодом не ввести здесь двух-трех слов, пронизательно брошенных мне подлинно добрым, и притом вблизи, – добрым Н. Н. Страховым. Кончая одну большую свою статью, где сравнивались три церкви, наша, католическая и протестантская, я закончил ее описанием простой провинциальной нашей церкви, куда ко всеобщей приходят немногие старики и старушки и молятся с тою наивностью и теплотой подлинной веры, «которая везде на Западе утрачена». Прежде всего я списал это с того, что лично мне было известно. Да ведь и все решительно русские, на прямой вопрос о преимуществах их веры перед другими, прямо ответят: «Наша вера – настоящая, в ней нет морального лукавства, ни умственных художеств, а простое и смиренное отношение к Богу. Молитва наша тепла, а упование несокрушимо». Словом, кто наблюдал внимательно «сущность русской веры», заметил или заметит, что она неотделима от «сущности ве-

рующего русского» и что смиренная-то фигура последнего, а не догмат и составляет «отличие православного вероисповедания от инославных». В сущности, даже богословские рассуждения «о разделении церквей» имеют нравственным под собой пафосом чуть ли не это же «разделение племен» и бесконечное восхищение каждого своим племенем в его «коренных чертах». Коренная черта русского, «а следовательно, и Православия», – смирение. Прочитав эту статью и поняв, что в приведенном месте лежит главное мое основание гордости своею верою и пренебрежения чужими, Страхов мне и заметил, покачивая головою: «Ах, В. В., эти смиренные, совершенно так же молящиеся старушки, с этою же теплою верой и простотой, – неужели Вы думаете, их нет в протестантстве и католичестве? Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что...» И он махнул рукой. В словах этих, сперва механически мною выслушанных, заключается, в сущности, целое мировоззрение, и собственно с этого и надо бы начать толки о «соединении церквей», оставив вовсе в стороне и разницу догматов, и соперничество иерархий. Если когда суждено объединиться христианскому миру, он объединится из народных масс, снизу, а не сверху. И началом объединения послужит та простая страховская истина (да укрепим за ним эту честь), что ко Христу и католик, протестант, и православный равно относятся, то же в Нем чувствуют, так же Ему молятся. И что, следовательно, помолиться есть основание и почва каждому русскому за каждого поляка, вообще католика, за каждого немца и лютеранина. Ранее или позже этот мир сердец народных увлек бы к миру и иерархию, и догмат, вызвав отношение к различиям в последних, то есть собственно к религиозной философии, такое же, как к различиям в культе, в предании, в обычае вер. Не нужно слияние, униформность. Перед Престолом Божиим, в «Апокалипсисе», стоят и молятся не одно, а четыре животных – орел, лев, телец, человек. Почему это не указание, не «откровение», что Богу и не нужна униформная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к Нему во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к

Нему свое слово на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками. В основе разницы вер, как и разницы языков, лежат разницы этнографические. И вера есть такой же природный цветок, неуничтожимый *species fidei*, как и какой-нибудь говор. Если в Христе, в сущности, уже сейчас примирены все европейцы, то отдаленные – в Отце Небесном, распростертом «над худым и добрым», примирены европейцы и с сирийцем, с арабом, молящимся «на запад солнца», «вечернему свету», молящимся с таким же трепетом к Богу, как мы. Но как нам уже трудно постигнуть, «прिया в сердце» римского понтифика или ученого протестантского пастора – по расхождению кровей и психологии, – еще труднее нам, уже почти невозможно что-нибудь понять в сирийце, арабе. Но это наша граница, преемников Синесу, Трувора, Рюрика, а не граница человечества, преемника Адама.

* * *

В спорах того времени, середины <18>90-х годов, и мне пришлось принять участие¹ – полемикою с Соловьевым.

Мне представлялось в ту пору (и чуть ли это не есть довольно распространенное представление), что Православие – это древняя и тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, а главное, которая никого никогда не обидела; и вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьева и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Всегда для меня слово «Православие» просто выражало «приходскую церковь во время литургии»; ее же я любил, как исключительное и единственное место, где никогда и никакой человек не бывает обижен. Часто посещая церковную службу, всегда стоя там, я думал: «Везде есть разделения людей, везде есть ум и злоба, высшие и низшие, ученые и неученые, и везде-то, везде человек обижен: ученик – учителем, мужик – барином, чиновник – начальником. Только одно

есть место на земле, куда какой бы обиженный ни пришел, он перестает чувствовать себя обиженным, и никто на него так не смотрит, и он, как с ангелами и Богом, выше и в стороне от своего обидчика». Храм как место «без обиды» был моей иллюзией (теперь думаю), музой, источником вдохновений много лет.

Между тем Соловьев (чего я не рассмотрел) вовсе и не нападал на церковь-храм, а имел в виду, как он часто выражался, «исторические дела». В этом случае я чувствовал и поступал, как солдат с ранцем, а он – как полководец, как стратег, соображающий местность. Точки зрения совершенно разные, могущие привести к ссоре и разногласию, когда для нее нет настоящих мотивов. Движимый идеей «мировой гармонии», Соловьев повел вопрос религиозный, церковный, но, во-первых, он повел его как вопрос о соединении, а не о примирении и, во-вторых, ожидал этого соединения от рассорившихся иерархий, сверху, аристократически. Ему мечтался единый организм христианства («одно животное перед Престолом Божиим», в «Апокалипсисе»), а не христианство как сад веры. И здесь он сделал много открытий, внес много новых точек зрения на предмет, но в общем потерпел неудачу и покончил тем же раздражением и исключением «инакомыслящих», как и Достоевский, в пределах его «гармонии». Тот видел комизм или преступление во всем нерусском (поляки, евреи, католичество, протестанты). Он начал с «молитвы пауку», а кончил подозрением или клеветой, что католичество есть поклонение сатане, «заговор сатаны против Христа» («Легенда о Великом инквизиторе»), кончившимся весьма грустным признанием, что и «нельзя обойтись без такого заговора» (Христос, целующий Инквизитора в конце «Легенды»). Соловьев также никого не примирил, и едва ли, по крайней мере при жизни его, отношения католического и православного мира не заострились так же нервно, как в эпоху борьбы около унии, и именно благодаря его попыткам. Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьева: он покачнул status quo наше, преодолел квиетическую

школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл – и это есть важная заслуга его, – серьезнейшие нравственные мотивы для вечного нравственного обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитою и уничтоженною Соловьевым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством. Дело в том, что приписанные Западу «высокомерие и заносчивость» оказались именно в мешке, среди богатств старушки Востока, которая, как древние последователи Диогена, щеголяла дырками своего платья. Возьмем ли мы раскол наш, возьмем ли другие недуги, слишком явные, слишком всеми сознаваемые: мы просто ничего не делаем для их устранения. Мы исторически ленивые. И эту леность возвели в догмат, чуть ли не считая ее главною чертою разделения золотого Востока от оловянного Запада. Живой, энергичный, неустанный, вечно умственно копающийся Соловьев и положил конец этой лени. В этом его великая историческая заслуга, «оправдание» (он написал книгу «Оправдание добра») 8-ми томов, его «opera omnia».

К сожалению, Вл. Соловьев ко всем великим запутанностям психологии человеческой – они же суть и запутанности человеческой истории – подошел слишком просто и мелко, как судебный пристав с исполнительным листом. Прямо и отчетливо он потребовал у русского, «который способен во всех перевоплощаться», – между прочим, хоть перевоплотиться на первый раз в католика. Он был жестоко в ответ осмеян и отвергнут. Отсюда даже началось умаление его славы, упадок авторитета. Но нельзя не признать, что у него было то, что было у Страхова и чего вовсе не было у Достоевского. Достоевский умел любить «ангельскою любовью» ближнего, если этот ближний стоял на бесконечном удалении; а Страхов знал тайну маленькой любви к близко стоящему, и эту же тайну знал и по ней выплатил вексель (самое главное) и Со-

ловьев. В несчастнейшем своем периоде и когда он был весь изранен стрелами «примирившихся со всем миром в сердце» своем «перевоплощенцев» (идея Достоевского, за которую ухватились славянофилы), – он не глубоко, не страстно, не гениально, а, однако, подлинно примирился и с католиками и с католичеством, и с протестантами и протестантством. В конце жизни, в глубокую минуту бессилия, он высказал, что отказывается от примирительных между Православием и католичеством попыток, а умер крепким православным человеком. Таким образом, подозрение в сильной его католической окрашенности падает само собою. Роль стратега христианских церквей не удалась ему. Но он совершил первый великое дело просто христианина: выдавил из сердца своего черную каплю «разделения вер», будучи лично ни с кем не разделенным и со всеми примиренным.

Весь период этот мелькнул в русской литературе, и уже сейчас, кажется, мы можем только вспоминать его, а не разбираться в реальных последствиях во всяком случае неумело начатого дела. Лучшая черта Соловьева есть его подлинная благожелательность; то, что в литературной своей деятельности он пытался осуществить некоторые добрые намерения, но крайне неудачно. Мы в нем вовсе не имеем повторения Чаадаева. Смешение его с Чаадаевым было постоянно при жизни и, кажется, очень вредно ему. Но Чаадаев был ум гордый, высокомерный, изумительно талантливый по силе экспрессии, литературной выразительности, но принадлежавший человеку (судя по некоторым воспоминаниям о нем) едва ли не пустому. С его эффектной, изящной и мимолетной фигурой мало что общего имеет Соловьев, действительно трудившийся до пота над великою задачею, трудившийся долго, неотступно и в неизмеримо менее изящных литературных формах. Вообще Бог не дал ему силы, а добрые желания дал. Возвращаясь к сравнению его с Достоевским, к их обоюдным отношениям, мы можем сказать, что философ стоит около романиста-мистика, как тростинка около дуба. Но Достоевский только заражает собою людей, а не питает. Этой заражающей, обаятельной

силы не было вовсе (кроме как в сторону наивных) у Соловьева, который был слишком рационален, прост и внутренне прозаичен (в противоположность наружной поэтичности). Я сказал: «Достоевский заражает только людей», но это без упрека и квалификации худого в нем. В его идеях, в самом языке его, в золотых его страницах все... пряность и пряность, а нет хлеба, нужного, годного, употребительного. Ничем из него невозможно воспользоваться. А кто очень войдет в манящие «сады Гесперид», им открываемые, и надышится их не родным, не русским благовонием, выйдет на арену русской действительности только с головной болью, с изломанным сердцем. Все начинается у него с великих примирений; но они идут по сгибающейся параболе – и все кончается великими разъединениями. Всем раскрываются объятия, а в заключение все выталкиваются. Начинается с бесконечного расширения – кончается бесконечной удушливой суженностью; фанатизмом какого-то семейства Капернаутовых («Преступление и наказание»), в котором «и он сам заикается, и все его девять детей заикаются, и свояченица тоже заикается», – и почему-то все это не только хорошо, но чуть не просится на всемирную выставку. Наши односторонности <18>80-х, <18>90-х годов и даже до сих пор имеют для себя много объяснения и в старце Зосиме, и Алеше Карамазове. Честное пробуждение от сна, куда нас звал Соловьев, прямо оскорбило бы нервы Достоевского. Вспомним, как заволновался он от того, что Левин в «Анне Карениной» чего-то ищет, о чем-то еще беспокоится. И вся эта, вторая и отрицательная, половина «параболы Достоевского» выражена с тем же могуществом, как и первая, как его «тезис». Соловьев проще, рациональнее, прозаичнее. Никакого наркоза в нем нет; никакими «неземными лилиями» он не надышался. Но в его сердце действительно жило несколько добрых чувств, правильных намерений, весьма применимых, весьма осуществимых. И он не был гений, но был хороший работник Русской земли, в высшей степени добросовестный в отношении к своим идеям и в своем отношении к родной земле. Вообще мнения о нем чуть ли не

противоположны истине; в нем всегда предполагалось что-то демоническое, «неземное», лукавое и вместе – могущественное. Вовсе все напротив.

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД<ИМИРЕ> СОЛОВЬЕВЕ

Очерк

Vladimir Soloviev. «Introduction et choix de textes traduits pour la première fois» par J. B.-Severac, docteur es-lettres, professeur de philosophie au Collège de Chateau-Thierry. Paris, 1911*.

I

Талант *быть громким*, быть сразу *заметным* и оставаться *заметным до конца дней* – есть какой-то совсем другой талант, нежели быть глубоким, интересным, значительным и плодотворным. Конечно, большей частью первый дар и вторые дары совпадают, то есть истинно значительное в то же время есть и самое видное. Но не всегда. Достаточно напомнить о христианстве, которое в первые годы существования и даже целый век не было «очень заметно», так что у языческих писателей-современников не сохранилось даже упоминания о нем. В параллель этому можно припомнить Ньютона: он открыл «про себя» дифференциальное исчисление, названное им «теориею флюксий»; но это открытие, составляющее целый и едва ли не главнейший отдел теперешней высшей математики, лежало у него в письменном столе неопубликованным целые тринадцать лет, пока то же открытие, сделанное и опубликованное Лейбницем, не заставило и Ньютона наконец

* *Владимир Соловьев*. «Введение в избранные сочинения, переведенные впервые» Ж. Б. Севераком, доктором литературы, профессором философии в колледже Шато-Тьере. Париж, 1911 (фр.).

расстаться со своими домашними бумагами и дать их на прочтение ученому миру Европы, о котором он, очевидно, ничего не думал, ни «да», ни «нет».

Талант *громкости* проистекает из одного недостатка и одного достоинства. Нельзя скрыть от себя, что он рождается от некоторого недостатка внутреннего целомудрия, тишины и застенчивости; но в то же время нужно признаться, что он проистекает и из подлинной любви к людям, братства с людьми; из доброго и доверчивого к ним отношения. «Громкий человек» вечно публикуется; не спешите думать, что это он «хвастается»: совсем нет! Просто – он ничего в себе не удерживает, у него нет молчания. Если это и «нехорошо» в некотором смысле, то превосходно в другом смысле. Если в одном отношении «не совсем нравственно», то зато в другом отношении «в высшей степени нравственно!» Что делать: есть такие противоречия и совместность! Такой «вечно публикующийся человек», шумный, шипящий, брызгающий пену во все стороны, привлекающий к себе всеобщее внимание, в сущности, отдает себя в общую «еду», на «всеобщее употребление», делается некоторою «всеобщею евхаристиею», как в Мексике юноши, отдавшие себя в жертву богу Солнца. Публика, обожавшая и даже «боготворившая» юношу, разрывала его тело на куски и жадно поедала эти куски, думая соединиться через это с «Солнцем»... Так в истории проходят эти знаменитые «поедаемые» юноши и мужи, девы и женщины, которые с самых юных лет необъяснимо волнуют около себя толпу, всегда любимы ею, всегда сами ее любят; и не имеют другой жизни иначе, чем на глазах толпы. Даже свои «тайны» они все публикуют; интимные переживания, задумчивые грезы, передуманное и недодуманное, перепеченное и недопеченное, по поговорке: «Что ни есть в печи – все на стол мечи».

Одни и другие люди, громкие и тихие, играют хотя совершенно разную, но одинаково необходимую роль в истории человечества. Без «шумных людей» жизнь была бы как-то скучна, монотонна; уж слишком и до зевоты добродетельна. Бог с нею, – нужно отдавать земле все земное. Пусть мудрецы

строят храм; в стороне от него, совсем в другой стороне, пусть строят другие совсем иное здание – обширный театр, по древнему начертанию – «феатр», «позорище», «зрелище». И когда одним людям захочется помолиться, то пусть они помолятся; а когда другим людям захочется сыграть комедию и даже водевил, то пусть они тоже не стесняются.

Покойный Вл. Соловьев принадлежал, бесспорно, к категории этих невольно-шумных и неодолимо-шумных людей. Что бы он ни пережил, даже что бы с ним ни случилось, – он непременно об этом расскажет всем в печати. Плыл он раз по Финскому заливу на пароходе, засыпал в каюте. Вдруг вскочил в ужасе: ему показалось, что на плечо к нему уселся мохнатый чертенок. Можно было бы или испугаться до вечного молчания, или рассмеяться как пустяку. Ибо есть люди, которые видят же «зеленого змия»... Так и этак, но едва ли это есть тема для печати. Но Вл. Соловьев немедленно изложил все в стихах:

Черти морские меня полюбили...¹

и проч. Из Лондона в Египет его позвала Небесная Дева... Он отправился в Египет; затем, все манный Девкою, побрел пешком и без проводников в пустыню и едва не был убит арабами, принявшими его за «шайтана», за «духа»... И опять об этом подробнее изложил «господам читателям» («Три свидания»). По поводу этих «Трех свиданий», где Соловьев рассказывает, по собственному признанию, о «самом важном в жизни, что он пережил», – один глубокой мысли человек передал мне, что если зорко присмотреться ко всем, и особенно к мистическим, самым задушевным его стихам, да и к его богословской системе «богочеловечества», то можно не только в неясных намеках, но и в совершенно отчетливых словах прочесть некоторую «навязчивую идею», овладевшую философом, которая, содержа в себе высшее богохульство, имеет параллели только в средневековых каббалистических мечтаниях и умозрениях. Что такое эти «свидания» его с Небесною

Девую? Куда и, в особенности, *для чего* он, стремительно и никому не сказав, уходил в пустыню? На что надеялся, *чего* в особенности *желал*! Точные слова его, пафос его в этих словах, их религиозный экстаз не оставляют сомнения, что в «предмете свидания» он видел, чувствовал и обожал Божественное существо – христианского или нехристианского значения, на это невозможно ответить. Но мысль его, надежда и *желание*, в особенности *желание*, совершенно ясно заключались в том, чтобы стать к этому существу в отношения «возлюбленного» или «жениха»; точнее, он уже сознавал себя «женихом», он уже был «возлюбленным», об этом ясно говорят его слова: и, услышав трижды «зов» прийти на свидание, спешил на него, как жених, порывающийся стать супругом. Таким образом, у Соловьева на степени любимой мечты, но неотступной и с болью, была мысль «овладеть Божественною субстанциею» через посредство одной из тех историй, какие рассказывают о средневековых суккубах и инкубах, но державших на отношения только с мелкими, грубыми и, главное, грешными «духами»². Особенность и новизна мысли Соловьева заключались в том, что ничего ни грешного, ни низкого *в предмете* его «розовых мечтаний» (собственный его термин) не было. Совершенно напротив... Но совершенно вместе с тем понятно, что, образовав такую странную тенденцию и особенно охваченный этим желанием, он с такою силой, как никто до него, с такой «осязательностью» и «очевидностью», с такою близостью *ощущения* заговорил об «Антихристе», как никто ранее его не говорил у нас... Ну, что же... «неотвязчивая мысль»... которую «побороть невозможно»... но которой очень естественно можно бояться, можно пугаться. В литературной деятельности Соловьева заметно присутствие этого постоянного испуга; и самая его «публичность», постоянное публикование всего о себе, содержит как бы этот вечный крик: «Отворите двери и войдите ко мне. Я боюсь быть один». Его «публичность» была трагическою и этим отличалась от обыкновенной, от житейской. Но потом и сама собою она осложнилась житейской шумностью, шумностью вечного публициста и вечного спорщика.

Если справедливо, что у Соловьева была эта концепция, для которой никаких precedентов в православии нет, но эти precedенты *косвенно* имеются в мистических течениях католичества (например, экстазы св<ятой> Терезы) и у нас в хлыстовстве, – то отсюда объясняются многие частности его биографии и его писаний: прежде всего, его непобедимое отвлечение к *земной, обыкновенной* форме плотских отношений, решительная вражда к земному *деторождению и семье*, личный аскетизм и, наконец, параллельная этому постоянная нескромность языка, мысли и, так сказать, смущающих образов. О последнем с удивлением и очень многое рассказывала в своих «Воспоминаниях» года два назад его замужняя сестра, г-жа Безобразова³. Как «уневестившиеся Христу» святые католичества отрекались от вступления в замужество, так и по тому же мотиву Вл. Соловьев сохранил, как об этом существует всеобщее убеждение, свое девство ненарушенным. Это – не скопчество, это – обратный ему полюс.

* * *

Образ Влад<имира> Соловьева, естественно, сделался самым занимательным и вместе шумно-известным среди русских мыслителей. Тихие тени таких затворников мысли, как братья И. В. и П. В. Киреевские, или таких спокойных мыслителей, как Данилевский и Страхов, были совершенно заслонены им. Как мы сказали выше, дар шумности не всегда совпадает со значительностью; и обратно: многое очень ценное остается совершенно в тени. Исследователь самой ранней поры нашего славянофильства М. О. Гершензон говорит об И. В. Киреевском, что он на несколько десятилетий предвосхитил мысли некоторых лучших западноевропейских философов...⁴ Но кому же до этого дело?.. Нужен был специальный исследователь, нужно было появиться специальной книге о Киреевском, чтобы уведомить самих русских о бытии у них такого самостоятельного и оригинального мыслителя. Нечего и говорить, что его имя осталось и, по

всему вероятно, навсегда останется вовсе неведомым западноевропейским читателям.

Столь же понятно, наоборот, что Влад. Соловьев, первый из русских мыслителей, сделался известен в Западной Европе. Он сам проложил к этому дорогу, издав по-французски два своих труда: «Россия и всемирная Церковь» («La Russie et l'Eglise Universelle») и «Русская идея» («L'idée russe»).

Только что вышло по-французски целое исследование о Соловьеве в составе библиотеки изданий под общим заглавием: «Les grands philosophes français et étrangers». До сих пор вышли следующие тома этой «Библиотеки», посвященные, каждый том отдельно, одному философу: «Платон», «Декарт», «Кант», «Габриэль Тард», «Ламарк», «Монтескье», «Генри Бергсон», – и предначертаны к изданию «Кабанис», «Бутру», «Гельвеций», «Лейбниц», «Аристотель» и «Дюркгейм». Среди первых книг, уже изданных, находится и труд о Влад. Соловьеве, принадлежащий перу г. Северака, доктора словесных наук и профессора философии в коллегии Chateau Thierry: «Vladimir Soloviev. Introduction et choix de textes traduits pour la première fois». В изучении России, притом народной, автор этой книги не новичок: темою для докторской диссертации по предмету словесности он избрал «Духовные стихи русской секты людей Божиих», и под этим заглавием и появился его труд на французском языке. Книга о Владимире Соловьеве является довольно естественным продолжением этой диссертации, так как и у него много «Духовных стихов», да и сам он без всякой натяжки может быть назван «человеком Божиим». Именем этим называют себя последователи нашей «христовщины» – хлыстовщины, которой подлинный смысл гадателен, и, кажется, суть этого сектантства заключается не столько в определенных мыслях, сколько в довольно особой и исключительной духовной организации, а может быть, и в физиологической, мозговой организации.

Книга содержит небольшой (33 страницы) биографический очерк, переходящий, за бедностью внешних перемен, в историю философских и религиозных переживаний

Влад. Соловьева. Это как бы введение. Главную же работу профессора Северака был умелый подбор текстов из всех его сочинений, который связывался бы в целое и закругленное изложение его главных мыслей, главных тенденций, главных тезисов. Работа эта как по подбору, так и по переводу не могла не быть очень тяжелой, и нельзя не заметить, что этого не сделано для Соловьева и в русской научно-популярной литературе. Вот перечень отрывков, данных г. Севераком, в той последовательности, как они у него стоят:

1. «Философия и богопознание (теория)». Перевод второй главы из «Философских начал цельного знания».

2. «Воплощение Бога-Слова». Перевод одиннадцатой и двенадцатой глав из «Чтения о богочеловечестве», содержащих рассуждения об искушении И. Христа в пустыне и о роли Запада и Востока в боговоспитании человека и человечества.

3. «Христианство и революция». Перевод *приложенного* к русскому изданию «Сочинений Влад. Соловьева» – «Изложения его речи, произнесенной 13 марта 1881 г. на высших женских курсах в Петербурге».

4. «Природа и смерть. О грехе, законе и благодати». Перевод введения к «Духовным основам жизни».

5. «Христос и совесть». Перевод «Заключения» к «Духовным основам жизни».

6. «Аскетизм и нравственность». Перевод второй главы из первой части «Оправдания добра».

7. «Религиозно-нравственные добродетели». Перевод четвертого параграфа из пятой главы первой части «Оправдания добра».

8. «Личность, семья и государство». Перевод восьмого параграфа из первой главы третьей части «Оправдания добра».

9. «Национализм и космополитизм». Перевод четырнадцатой главы из третьей части «Оправдания добра».

10. «Вина и смерть». Перевод четвертой главы из «Права и нравственности. Очерков из практической этики».

11. «Антихрист». Перевод третьей и заключительной глав из «Трех разговоров».

12. «Идея сверхчеловека». Перевод статьи 1899 г.
13. «Тайна прогресса». Перевод статьи.

* * *

Все это сделано и любовно и зорко. Ввиду популярных задач книги, г. Северак приложил к ней три портрета Владимира Соловьева, в возрасте 25 лет, в зрелом возрасте и в старости, затем два снимка Московского университета, его старого здания с актовым залом и библиотекой и нового здания с аудиториями историко-филологического факультета; вид пятой московской гимназии, где учился Владимир Соловьев; вид Москвы из Кремля; и портреты двух писателей, Достоевского и Толстого, идеи которых Соловьев или пламенно поддерживал (Достоевский), или жестоко на них нападал (Толстой). Последнего, как известно, Соловьев даже сблизил (в «Трех разговорах») с Антихристом за его мысль о возможности своими усилиями, без благодати, церкви и таинств, достигнуть нравственного совершенства. Хотя нельзя про себя не заметить, что ведь и либеральная полемика Влад. Соловьева, как и множество глав его «Оправдания добра», где он ведет человека к возможному «добру» средствами логики, средствами философии и, наконец, зовом просто к чувству человеческой порядочности, — заключают в себе ровно эту же долю «антихристовства». Нужно вообще раз и навсегда спросить себя: что же трагедии Шекспира и Шиллера, где эти поэты без ссылок на Христа призывают к человеческому сердцу, защищают человеческую свободу, учат понимать человеческую душу, надеются на нее, верят в нее, неужели это все «Антихристовы зовы», «Антихристовы предвестники»? Неужели вообще то доброе, что по *корню и происхождению* лежит действительно вне Христа и даже как бы вне памятования о Христе, тем самым, то есть вот этою своею самостоятельностью, *направлено против Христа*?! Конечно, — нет! Тут Соловьев дошел до средневеково-католического изуверства, до концепций Данта в его «Аде». Скажем присловьем доброго

русского народа: «Волков бояться – в лес не ходить». Все православные преспокойно верят, что всякое добро, и вне Христа сделанное, остается добром же, самостоятельным человеческим добром, Христу *не противоположным, а сродным*. Как убеждены и в том, что всякое зло, «богомольно» сделанное (есть такие святости), не искупается именем Христовым, «всуе произнесенным», – и остается решительным и отвратительным злом. В противном случае в раю осталось бы много людей, от встречи с которыми «избави Бог», а в ад попали бы люди «ничего себе», с которыми «можно водить компанию». Куда при этой строгой концепции девать Любима Торцова? Да даже и Ноздрева и Репетилова страшно запихивать в ад: а уж какие они все «богословы».

II

Г-н Северак, не обратив внимания на таких мыслителей, как братья Киреевские и А. С. Хомяков, впал в преувеличение, назвав Влад. Соловьева «первым русским философом»⁵. Мысль эту он повторил вслед за проф<ессором> философии в Московском университете, почтенным Лопатиным (автором «Основ положительной философии», в 2 томах), который мотивированно и все-таки *преувеличенно* дал Влад. Соловьеву этот титул. Он справедлив в отношении *преподавателей* философии в наших высших школах (Лопатин так и выразился), которые *излагают* философские системы, но до сих пор ни разу не творили философских мыслей; но явно несправедлив, если взять во внимание все умственное и литературное развитие России. Гораздо больше, чем томик, собранный г. Севераком из Владимира Соловьева, можно было бы извлечь философских мыслей у Достоевского, особенно из «Дневника писателя», у Толстого, наконец, даже у Гончарова (рассуждения в «Обрыве») и у Тургенева (как здесь и там разбросанные афоризмы). Наконец, еще раз повторим имена Киреевских, Хомякова и прибавим к ним имена Гилярова-Платонова и Герцена. У всех у них найдется

совершенно достаточно философских мыслей, и, что касается *компетентности* мыслей, — несколько не уступающих соловьевским. Остается совершенно определенным и твердым тезис, что Соловьев *колебался* во всех своих мыслях, то расширял, то суживал одни из них и от некоторых совершенно *отказывался*. Само собою разумеется, что в этом ничего не было худого, а только хорошее. Отказаться от неверной мысли — такой же выигрыш перед Богом и миром, как и найти вновь самую лучшую мысль. Но все-таки процесс умственной работы, состоящий в «восхвалениях» и «отречениях», не есть философский. Мысли Соловьева всегда были более вдохновениями, чем собственно доказанными мыслями, что тоже к лучшему: философия в греческом смысле и в смысле германо-английско-французском явно не сродна русской душе, русскому уму... И, кажется, не к чему нам стремиться повторять греков, немцев, англичан. У нас все же есть «мудрость» и «правда», от народных пословиц до вдохновенных «дневников» Достоевского и коротеньких рассуждений Толстого. Выковырять ногтем у Неба его тайны русский человек не надеется: а ведь к этому рвались «систематики» в философии. Бог с ними. Эти «системы» все разрушились: а из русских «поговорок» и «пословиц», созданных 1000 лет назад, многие остаются верными, глубокими и правыми до сих пор, несмотря на весь совершившийся с тех пор прогресс.

Влад. Соловьев был вдохновенный человек... очень большой сложности. Конечно, он был универсально образован, но не это в нем главное. В своих сочинениях он действительно коснулся, *колеблясь*, всех тем философии... Но, именно, «коснулся»: а «прикосновение» только — всегда есть не главное. За восемью томами его сочинений лежит нечто более интересное, привлекательное, значительное, чем все они, это — сам наш бородатый и сухощавый философ, с его странным смехом, постоянным впадением в задумчивость, с его сарказмами, шутками, балагурством и какою-то внутреннею литургиею... Не было человека, более сосредоточенного внутри, «до безумия», и более рассеянного, и как будто веселого снаружи.

Его портрет, его лицо, его фигура, перипетии его жизни в их мало известной сердцевине – вот что занимательно. Словом, «Владимир Сергеевич Соловьев» занимательнее «Собрания сочинений Влад. Серг. Соловьева». Совершенно твердо можно сказать, что в нем ужились гений и безумие; что он был в равной мере грешник и святой, – и в церковном, и во всяческом смысле; неоспоримо то, что он был вполне благородным человеком, то есть благожелательным человеком в отношении к родине своей и людям вообще. «Оправдание добра» это – характерное название, и это есть программа его *личности*, как он *хотел бы*, как ему *мечталось*. Но... не как у него *выполнилось*. Вся его критика славянофильства слаба и ничтожна; врагов он побеждал более шумом призванного «к шуму» человека, чем истиною. Наконец, при всем его благородстве «во вдохновении», – им владели слишком явно «слабости», «соблазны» и «грехи» в эмпирической действительности; владели «духи низшего порядка»... Это – у всех есть и, конечно, ему не упрек. Но все это – мелочи. Есть какая-то загадка в нем как в человеке. Он так же темен, как Гоголь. По всему вероятно, *окончательно* и он не будет никогда разгадан. Все его сочинения, все восемь томов, есть какая-то пена, то белая, то темная, бьющая из водоема, в который никогда никто не заглядывал, и теперь уже невозможно в него заглянуть. Он вечно был чем-то встревожен; вечно о чем-то тосковал: вечно куда-то рвался... куда? – определенно никто не знает. Его «возлюбленную» осталась все-таки «теософия», то есть и не философия, и не богословие, а что-то третье. С маниакальным постоянством ум и сердце его возвращаются сюда. Он все говорит о «Божественной премудрости», а не о Христе и не об Иегове Ветхого Завета, а вот об этой «Премудрости», «Софии» («Софийские храмы» древнего Православия), которая есть какая-то мечта Византии, никогда явно не формулированная. Может быть, он старался разгадать, что содержалось в этой мечте. Кидался за этим и к гностикам, и в Каббалу, – кидался в языческие даже мифы. Здесь мы снова припоминаем его «роман с Богом» («Три свидания»).

Может быть, его увлекла мысль, что был же когда-то заключен «завет» между Богом и человеком, как известно, получивший себе физическую, телесную и именно на *поле* мужчины и печать... Завет этот имел вид обоюдного договора, связывавшего не только человека, но и связывавшего Бога. В Ветхом Завете евреи представлены «требующими» от Бога, требующими «по договору»... богатств, силы и прочего. «Значит, возможно», «значит, бывало»... – подумал Влад. Соловьев... Если *было* «возможно», то отчего невозможно «*в будущем*» или «*теперь*»... «Было раз» – может случиться и «еще»...

Все хорошо сознают, что Соловьев писал свою «философию» не в порядке «раз», «два», «три», а именно как что-то будущее, мечущееся и в конце совершенно неясное... Все сознают или недалеко от сознания, что около гения в нем жило и безумие или почти – даже безрассудство. Около святости был и «грех»... Не невозможно, в самом деле, думать, что им овладела мысль еще «заключить союз с Богом», «третий завет», – персонально, лично, страстно, мучительно. «Удалось Аврааму, отчего не удастся мне?»... Какой-то безвестный пришлец из Халдейской земли, из городка Ур... Какие у него особенные, исключительные, названные в Библии заслуги перед Богом? Послушание да любовь, преданность. Но разве же Владимир Соловьев не был всецело «предан Богу», «не любил Его», не «слушался Его»?!! Все это было, все это он исполнил; больше, – он как бы вытянул жизнь и личность по пути этого «повиновения, любви, преданности». Такой «богословской» *личности*, до такой степени всецело и безраздельно поглощенной Богом, действительно никогда у нас в России не появлялось, не было. Ни один священник, ни одно духовное лицо не было до такой степени переполнено, насыщено, почти до физического насыщения, мыслью, и заботой, и надеждой, и восторгом о Боге, как Влад. Соловьев. *Вот в этом его первенство* в литературе русской и в мысли русской. «Ну, так что же?... Почему же не завет?... Где же завет, когда же завет?..»

Авраама «позвал Бог»... И все дело в «зове»... Бог «избирает» Сам, неведомо *кого*, неведомо *когда*... Соловьев очень настоятельно и очень страстно, горячо в биографии Магомета (для издания Павленкова) доказывает, что и Магомет был «позван», «истинно позван»⁶. Значит, и не к одному Аврааму были «зовы», через что возможность «зова» вообще увеличивается... Владимир Соловьев был «владеем» этою мыслью, – вот как «владеемы» бывают «одержимые», – кто знает, может быть, истинно. Мы входим здесь в совершенно неисследимые изгибы души человеческой. В *организации* Владимира Соловьева лежало что-то, почему он *думал, предчувствовал и ожидал*, наконец, *надеялся и молил*, что «будет *день и место*, – и он будет позван»... наречение совершится, завет состоится...

Наконец, ведь «заветы» бывают большие и малые, на определенную миссию и вообще...

И он рвался, рвался...

И в этом рвении и сгорел...

«Хоть какой-нибудь» завет, «хоть что-нибудь»... И, конечно, он в *самом деле* слышал «зовы», за которыми (не малое расстояние!!) *без колебания* проплыл из Лондона в Египет («Три свидания»)... бросив все дела, реальные дела, диссертацию, темы...

«Пророком» он не был, но полупророком был; и если он не сделался Авраамом, то все же «грешным» Валаамом он был. В наш рациональный век и это ново, громадно и исключительно.

Около «колодца, в который заглянуть никто не успел», мы можем, естественно, только гадать; но, может быть, некоторые почувствуют, что в изложенных догадках есть в самом деле *частица личности* Соловьева, что догадки эти правдоподобны...

«Приди», – манила его «Премудрость»... И он шел... Но видение исчезало, – и он возвращался, расстроенный, измученный и опять надеющийся...

ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Кончина Василия Осиповича Ключевского отзовется в тысячах сердец как *личное* несчастье, в десятках тысяч умов — как горе о потере для *науки и литературы*; а вся Россия если не сейчас, то очень скоро сознает, что в лице его утрачен нашею землею историк, так сказать, наиболее отвечающий своему предмету. О последнем мы скажем ниже; в первую же минуту охватывает душу самое горячее чувство именно как бы личного несчастья, которое переживут в эти дни, без сомнения, все личные ученики и слушатели покойного профессора.

Он соединил все качества, которые требуются для идеального наставника. Если с «лекциею» соединять представление о «музыке, наполняющей аудиторию», а в Москве, где читал Грановский, это ожидание естественно, то мы скажем, что у Ключевского этого не было. Ни голос его, тонкий, резкий, несколько женский, не отвечал такому ожиданию, ни особенно — ум, вовсе не гладкий, не летучий, а скорее цепляющийся за свой предмет, и цепляющийся с такою силою, изгибистостью и приноровленностью, что уже нельзя было различить субъекта от объекта, разделить историка от истории, «Ключевского» от «Грозного», «Петра» или «Екатерины». Нет, это не был певучий лектор, наполняющий музыкою голоса зал и которому слушатели отдаются как прежде всего очарованию. Но ведь это и не нужно. Или нужно в другом месте. В университет слушатели собираются, чтобы научиться, а не насладиться. И вот этому-то инстинкту научения он идеально отвечал как *наставник*.

Отвечал всем... И прежде всего тем, что он был монах-профессор, живший в своей науке, как в келье, из которой никуда не уходил, никогда не имел ни явного, ни затаенного желания куда-нибудь переступить, был ею счастлив, был ею сыт и напоен, и как келья светится своим обитателем, так Ключевский осветил всю русскую историю своею любящею личностью, до такой степени преданною ей одной; своим, на-

конец, разумением ее и, словом, тем, что так сжился с нею... Тут и объясняются слова: «он соответствовал своему предмету», по-видимому, простые и мало говорящие. Русская история ждала своего историка... и не находила. Нужно ли говорить, что из трех выдающихся лиц, посвятивших ей свои силы и таланты, – Карамзина, Соловьева и Костомарова – ни один ей не соответствовал. Великолепный Карамзин, захотевший дать отечеству красноречивого Тита Ливия, явно не соответствовал «новгородским мужикам», дела и мысли которых, удачи, приключения и несчастья сплели нашу раннюю историю; просто он был слишком великолепен, слишком литературное имя, слишком счастливый вотчинник своей симбирской вотчины, чтобы полазить и поразгребаться в новгородских и псковских кочках, на московских задних дворах, как известно, всегда не чищенных, и острым глазком все там выглядеть, а затем острым язычком, сплетая грешное и святое, обо всем порассказать. Карамзин, в духе, в идеях, весь был продукт правящего дворянского сословия, чисто-сердечно и идеалистически слившегося с реформационною деятельностью от Петра до Александра. Народ, племя, задворки села просто были неизвестны ему, поэзия и грех кабака – неведомы, судьба солдата – не печальна, сказки мамушек, начетчиц, приживальщиц – или не услышаны, или закрылись литературными впечатлениями. И история его, в сущности история одного правительства центрального, была великолепною словесною панорамой, где мы видим только передний фасад Кремля, соборов, дворцов, правильно движущихся войск, успехов, – или оплакиваемых в молитве неудач, – перемены на троне. Самая кисть его была так устроена, что не могла бы написать никакого настоящего безобразия, никакого настоящего греха, в его крупное, большое, красивое слово не попадали «мелочи жизни»... А без мелочей, греха и безобразия какая же история? Где она?

В Костомарове историк разжиживался беллетристом, он унился до написания размалеванного «Кудеяра», просто чтобы излить месть на не видимого им Ивана Грозного.

Похвально такое негодование в нем как в моралисте, но просто это – ниже историка. Историк имеет свою месть: это – *правда*, и месть эта делается убийственной, когда правда рассказана спокойно. «Синодик царя Ивана», приложенный к «Сказаниям Курбского», с этими ужасными славянскими буквами под титлами, где говорится об «утопленных в Шексне», и в других местах, с надписками между строками: «да с ним два брата» или: «и с женою и с детьми», и так несколько страниц все одних имен, все одних «убиенных», – говорит куда больше повести Костомарова, напечатанной в «Вестнике Европы». Костомаров жил в слишком мятушееся время и сам был слишком взволнованный человек, притом человек не центра России, а одной из ее окраин, со всею скорбью этой окраины и памятью мучительных чувств, чтобы мог сделаться центральным русским историком. Он дал блестящие труды по русской истории, но войти в дом и принести блестящие подарки не то, что быть хозяином дома. Наша история с ним не сжилась, он не вжился в нашу историю.

Не был хозяином ее и Соловьев; в 29 томах «Истории России» он будто распоряжается ею, почти как господин или как арендатор, арендовавший плохо устроенное имение, которому умом своим, ученостью и крепким, стойким характером придает лучший вид, разум и осмысленность. Весь *тон* его таков, как бы историк стоит выше истории. Он не уравнился с народной судьбою в ее, увы, бывающем и необходимом оподлении. А без этого, как без позора и греха, опять где правда истории, правда в *тоне*? В 29 томах мы имеем беспримерно ученого и беспримерно работоспособного русского человека, но который лично и врожденно не имел множества таких русских «жилок», без которых просто невозможно усвоить всю полноту русской действительности. Несмотря на огромное протяжение почти трех десятков томов, она не полна. И не полна в существенных частях. В ней нет тех «ветров буйных», которые гуливали по Руси, и той «землицы», в которую по пояс увяз Святогор-богатырь. Нужно ли договорить, что Соловьеву совсем непонятна была личность св<ятого> Сергия Радонежского.

Во всяком случае, он построил и изъяснял тело России. Души ее он не коснулся.

Замечательно и привлекательно, что Ключевский, по-видимому, не имел намерения с первой же молодости выступить «историографом отечества», как это совершенно явно в Карамзине и Соловьеве. Оба – и Карамзин, и Соловьев – не были «сверстниками» своих сверстников, товарищами – товарищей, но и в сознании способностей своих, а главное – достоинства, ставили себя особо и над ними; и, пройдя быстро (Соловьев) фазис магистерских и докторских диссертаций, клали уже в молодости первый этаж здания «на всю жизнь», – выпуская 1-й том систематического изложения. Это – и хорошо: должен же быть и *сознавать* кто-нибудь себя полководцем; но в *истории*, и особенно в *русской истории*, это не совсем хорошо, ибо не обещает богатого внутреннего успеха. Слишком русская история не «формальна», чтобы довольно формальное сознание своего личного первенства и авторитета обещало в сознающем так себя человеку глубокого «ведуна» недр этой истории... И останется «излагатель», все клонящий к «правительству» и «правительству», к фасаду и фасаду... Ключевский уже в середине своего возраста оставался весь со студентами, весь в аудитории, почти не показываясь наружу, не заявляя себя громадой печатных трудов, и особенно такой значительности в заглавии, как «История России»... Можно сказать, любовь к нему возникала раньше, чем уважение; любовь созревала, становилась совершенно крепкою, но только в тех, естественно немногих, лицах, которые его лично знали, слушали, учились у него, видели его самого в занятиях. России в то же время он оставался совершенно неизвестен. Так, он не был никому известен среди московского студенчества, когда был приглашен на кафедру Московского университета. Забелин или Иловайский заливали его своей знаменитостью. Только люди такого *вкуса*, как незабвенный Николай Саввич Тихонравов, могли рассмотреть жемчужину в сору; мне ничего не известно о роли Тихонравова в приглашении Ключевского на кафедру русской истории после смерти Соловьева;

но почему-то думается, что именно Тихонравов «утвердил» его сюда, несмотря на то что у Ключевского не было почти никаких печатных трудов, а профессором (Московской духовной академии) он был уже давно – седой волос уже давно показался в его небольшой черненькой бородке или «в чем-то», что росло на месте бороды. Но едва Ключевский вошел сюда на кафедру, – с первой же лекции, битком набитой любопытствующими и не ведающими ничего студентами, – он покориł их себе всех умом, мастерством, изумительным русским талантом в применении к главному русскому делу. «Главным русским делом» естественно назвать для русских «русскую историю». Сейчас все почувствовали, что лучшего лица нельзя было поставить на эту кафедру, что «дело» нашло своего «мастера», а «мастер» впервые получил в свое обладание все «дело». Московский университет – центральный в России; Москва собрала, выковала, выучила, как-никак, Россию; в Москве, и именно профессором этого университета, была написана самая громадная «История России»... Приглашение сюда заместителя Соловьева было ответственным... Но сразу же, в первые недели, даже с первой лекции, столь памятной, все *твердо* сказали (именно – твердо!), что совершилось нечто удачное, что никакого другого лица сюда не нужно, что Ключевский есть даже не «лучший», а какой-то «естественный» заместитель этой кафедры, есть профессор «само собою разумеется»...

До этого времени была отпечатана им только маленькая книжка, которую можно было разыскать лишь у букинистов, – «Жития святых как исторический *материал*»... Не правда ли, как характерна тема? Ее и вообразить нельзя под пером Соловьева или Карамзина. Ведь «жития» не могут помочь установлению какой-нибудь исторической *даты*; по ним нельзя распутать какой-нибудь родственной связи великокняжеской путаницы, ни сделать заключения об экономическом состоянии сословий или века. «Жития» путают легенду и историю, вымысел и действительность. Итак, для «осозательной действительности», которую, естественно, были заняты истори-

ки, эти жития не давали ничего, и историки прошли мимо них. Но душа не осязаема. Чем-то она жила у русского народа до университета, до гимназии, до книгопечатания и газет. Ключевский увидел то, что было очевидно всегда, но очевидно не для профессоров *его кафедры*, а для ученых соседних кафедр, для Тихонравова или Буслаева, что без вникания в «Жития святых Русской земли» невозможно постигнуть целой *половины* народной души и народного быта, а следовательно, и уловить душу, аромат, наклон и неодолимые течения больших, объемных событий истории, которыми были заняты Соловьев и Карамзин. Те рубили березу, а сока ее не отведали. И сока ее не дали испить читателю. Ключевский, в незаметном раннем труде, именно обратился к этому соку, как бы сказав: только отведав его, можно понять и светло-зеленую листву березы, и ее белый ствол.

И все это вышло у него «само собою» вовсе не как «метод», как новизна в науке, как ее другое направление. Отшельник жил в келье, вовсе не желая обратить на себя чье-нибудь внимание, не желая, чтобы его кто-нибудь увидел и за ним кто-нибудь последовал.

Впервые общее внимание было обращено на него с появлением «Боярской думы», и это время, <18>80-е годы, было первым, когда имя его сделалось общеизвестным в России. Авторитет его, «знаемость» его – утвердились. Но и здесь он не воспользовался ею: он не спешил издать новые труды и остался по-прежнему профессором для своих студентов, наставником аудитории и исторических «семинариев» (занятие со старшими группами и писание рефератов). Жизнь его проходила в любящем уяснении *для себя* предмета, но в уяснении открытом, вслух, среди учеников, которые, понятным образом, привязывались к такому наставнику. Все было «само собою»... В этом «само собою» почти весь секрет и душа Ключевского. Он «никуда» не рос, никуда не «хотел», ни к чему не стремился; но как около старого дерева «само собою» нарастает с каждым годом новая древесина и оно становится все больше и толще, – так Ключевский «само собою» вырос в

коренного русского историка, – по справедливости оттеснив в разряд чего-то *искусственного* всех историков до себя... Все это произошло «само собою». Уже лет за шесть до напечатания первого тома его «Курса лекций по русской истории» в обществе, между прочим в Петербурге, сильно и волнуясь говорили: «Отчего не печатается курс лекций профессора Московского университета Ключевского?» Говорили, волнуясь и негодуя на книгоиздателей и книготорговцев. Литографированного текста его лекций искали, покупали за высокие цены. Вообще, устная слава Ключевского предшествовала его печатной славе. Он весь был в слове и весь был для слушателя. Вне личного общения, с теплым голосом, с живой улыбкой в ответ на слово, как будто для него не было общения. Он не «имел воли к нему», – говоря языком Шопенгауэра, – хотя и не избегал его. Эта черта его показывает высокое интимное напряжение его души, – и им-то именно он и *уродился* русской истории, как ни один историк до него, стал «естественным русским историком», наиболее «отвечающим своему предмету». В «историографе» Россия не нуждается; «историограф» всегда напишет: «Ach, du mein lieber Augustin...»¹ «Естественный русский историк» и должен был зародиться где-нибудь незаметно среди студенчества, живущий для этого студенчества, как для слушателей только своих, с глубокой субъективностью отношения к ним, без желания для себя красоты и славы, почти без книг, без книжного выражения. Все так именно и совершилось, как должно было быть: под давлением требования, едва ли с большой охотой, Ключевский стал «выдавать в печать» свои «Лекции по русской истории», которые можно было бы озаглавить: «Мои чтения в Москве своим слушателям», – до того они имеют в виду не публику, не Россию, а именно «личного своего слушателя».

Но эта-то особенная теплота, связанность наставника «со своим слушателем» и есть надлежащая форма, надлежащий канон для единственного возможного и единственного следующего изложения русской истории. Вся она – не показная; вся она тиха, непритязательна; вся, вместе с тем, прекрасна и глу-

бокомысленна. «Нет лучше русской истории», – как ответил Пушкин Чаадаеву, но это «лучше» ее разглядывается в тихих студенческих аудиториях да в келье-кабинете ученого и совершенно улетучивается с великолепных страниц историографии. Где великолепные победы? Где шумные на весь свет походы? Где такие «успехи дипломатии», которым дивится весь свет? Ни, наконец, великих завоеваний ума и энергии нет. Тихо копается русский человек. Точно и лица от земли не поднимает. Но любящую «отцовской» рукою историк поднимает к свету это лицо древнего русского человека и в какой-нибудь вдове-помещице Осоргиной дает увидеть читателю, дает услышать своим слушателям такую милую человечность, такой вечный подвиг любви и терпения, перед которыми вдруг все успехи римских пап кажутся какою-то ненужною вознею, кажутся бесчеловечной грубостью (см. «Добрые люди Древней Руси» В. Ключевского. Сергиев Посад, 1892).

Из такой одной черты сыплется ослепляющий свет объяснений. Например, читая Соловьева или Карамзина, никак нельзя понять, отчего же, например, Россия, «в интересах единства христианства, не приняла католичества»? «Не приняла его и в интересах освобождения от татарского ига»? Католики бы помогли. Для могучих держав Запада ничего не стоило бы сбросить с нас монгольское иго. Повторяем, в «гладкой», «нешероховатой» истории и Соловьева, и Карамзина этого не видно. Но в изложении Ключевского сразу видно: для Руси так же невозможно было принять католичество, как для мягкой и довольно пухлой Ульяны Осоргиной «невместно» было бы надеть железные рыцарские латы. И она не надела бы их даже при обещании, что в таком виде покорит весь свет. «Невместно мне», «не умеаюсь я», «жестко мне». Католичество *грубо и жестко* для православной души, насильственно для самого славянского тела, выпеченного из пшеницы, а не скованного из железа. А мал ли этот факт, что русские остались вне католичества? Соловьев мог превосходно распутать дипломатические отношения с западными дворами при Елизавете или Екатерине, но вот этого огром-

ного факта церковной особености Руси он не только не понимал сам, не только не объяснял слушателям, но даже его и не замечал вовсе иначе как случай, без всякой внутренней необходимости.

Ключевский «как раз пришелся по русской истории» — этим все сказано. Не мудрил, но старался понять ее. Везде стоял в уровень с нею: мысль, что его ум мог бы быть применен к занятиям историей более сложных народов, более, так сказать, «всемирных», оскорбила бы его. Его нельзя было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамы или мамку от ребенка. Только «вместе» они составляли «одно». Эта взаимная приспособленность «питания», где индивидуум просто не жил бы, не питай его соком своим «прародительская история», а «историю» эту, в свою очередь, никто не умел бы так «разжевать» другим, как он, — это-то и образовало полную гармонию ученого и науки.

Ключевский был тепел всем, это была самая незабвенная черта его для слушателей. И это равно и для тех, кто не имел к нему никакого личного отношения, ни разу глаз-на-глаз не беседовал с ним. Тепло лилось из его слова, из его интонации, из взглядов, какие он бросал на предмет своего слова. Нельзя представить его сонным, вялым, недеятельным. Он был московский живой человек, но с киевским поэтическим оттенком, с киевским нравственным и церковным идеалом. От Костомарова его отделяло московское благоразумие, московское чувство единства Руси, но возможную жестокость и властительство, хотя бы в идеях, в тенденциях московского историка, смягчали тихие напевы Украины. Так вышел этот замечательный выразитель *всей* Руси, как и следует быть историку *всей* Руси. Но у него это вышло как-то «само собою», «от натуры», а не через ломку убеждений, не через «проверку ума». Вышло безболезненно и безобидно — врожденно. Широки звоны московские, и под ширь их должны войти и грусть Украины, и удаль Питера. В некоторых полосочках лекций Ключевского есть и она: например, где он говорит о русской любви «*подразнить* счастье», пошалить около «удачи», что и сложило пого-

ворку «авось». Вот этой заметки опять не сделали бы Карамзин и Соловьев. А без «авось» не было бы Руси.

Нельзя полчаса читать «Лекций» Ключевского, чтобы не наткнуться на объяснение, обмолвку, заметку, которая вас удивляет. Она ценна тем, что не случайна: обмолвка всего в строку зрела годы занятий над историею, и не только чтения памятников исторических, но и обдумывания их, взгляда на них *художественного глаза*. Вот в этом-то художественном глазе, художественном вкусе Ключевского все и дело. Его не заменить, не возродить...

Да будут дозволены два слова, которые нам хотелось бы сказать в заключение и без которых дух усопшего возроптал бы. Во всей его личности, и особенно в отсутствии в нем жажды славы или известности, чувствуется, что он прожил счастливую личную жизнь. За всеми его трудами, за *способом* его трудиться чувствуется, что кто-то всю жизнь оберегал его, — оберегал, как он берег русскую историю.

Когда в Москве открывался памятник Гоголю, он нигде не показался — ни при «открытии», ни на одном из «заседаний по поводу»... Когда об этом невольно спрашивалось, слышался ответ, что он «загрустил и никуда не показывается» и будто это связано с тем, что лошади расшибли переходившую улицу его старушку жену. Другие этот случай отрицали (или не знали о нем), но говорили, что у него в доме действительно неблагополучно — хворают. Этот колеблющийся слух полуразъяснился, когда вышел четвертый том его «Лекций», посвященный «памяти» жены. Тихо прожили они, кажется без детей, день за днем сорок с лишком лет. Нельзя не отметить в Ключевском чрезвычайно доброго отношения к русской женщине. Нельзя не отметить, что для подобного отношения всегда требуется живое ощущение, личная удостоверенность. В богатых свойствах русского историка, в сохранении и возделывании этих свойств, которые могли бы и развестись «ветрами», могли бы исказиться и надорваться, а между тем все сохранены нам в целостности, чистоте и гармонии, — во всем этом и за все это Русская земля обязана многим его незаметному

другу, начавшему тогда «прихварывать». И нам не кажется неуместным сказать, что, прося у Бога «вечной памяти рабу Его, новопреставленному Василию», мы хорошо сделаем, если прибавим про себя: «и рабе Божией Анисье». Вместе жили, вместе трудились для нас словом, духом, больше всего – духом. Вместе их и помянем.

ПАМЯТИ УСОПШИХ

Ю. Н. Говоруха-Отрок

(†27 июля 1896 г.)

Тесен в литературе нашей круг людей, остающихся еще верными заветам, смыслу и духу земли Русской. Против широко раскинувшихся рядов противников эта кучка гонимых, эта партия литературных гезов едва имеет несколько разрозненных имен. Грустна судьба их. Без личного счастья, без какого-либо привета, в нужде и часто унижении, задыхаясь среди безжалостной клеветы, они отстаивают предметы своего культа с очень слабой надеждой на их сохранение и только с верой, что эти предметы суть лучшее, драгоценнейшее из всего действительного. Угрюмо проходит их жизнь; они почти не перекидываются словом друг с другом, едва имеют возможность не терять из виду один другого. И когда выбывает товарищ – едва имеют время оглянуться на него и сказать то-ропливо: *вечная память*.

Так свежа еще утрата незабвенного Н. Н. Страхова – и вот потерял Юрий Николаевич Говоруха-Отрок. Да, нет в нашей партии ликования, огней; противники могут веселиться – все угрюмо и печально у нас.

Они не были связаны дружбой – за недосугом; лишь проезжая через Москву, Страхов пользовался несколькими днями остановки и почти постоянно проводил их у Говорухи-Отрока. Он высоко ценил ум покойного и его образование.

Когда однажды пишущему эти строки случилось говорить о печальном состоянии текущей литературы, он с живостью указал на Юрия Николаевича и назвал его критическую деятельность «светлым явлением нашей литературы за последние годы». Он находил в нем существеннейшую черту критика: любовь к литературе в ее собственных задачах и оценке каждого порозня литературного произведения с точки зрения *правильности* способов, в нем употребленных для осуществления такой задачи. «Всегда он умеет схватить, – продолжал еще маститый критик, – главную мысль обсуждаемой статьи и подвергает ее суду основательному и точному». Особенно он ценил разбор, им сделанный, литературной деятельности Тургенева¹; менее удачным ему представлялся критический очерк произведений Вл. Короленко², и он тогда же писал ему о своем неудовлетворительном впечатлении; он не имел уже случая прочесть истинно превосходное раскрытие, им сделанное, музыки Некрасова (в весенних номерах «*Московских ведомостей*» за 1896 год)³. Однако заветные его темы остались невыполненными; необходимость писать еженедельно, крайнее утомление сил к месяцам летнего отдыха – все это год за годом отодвигало выполнение долго лелеянного им плана: написать полный и обширный разбор «Гамлета», любимейшего его произведения в европейской литературе*.

Как ни странно будет сказать, этот приземистый, черно-волосый, типично *русский* человек – был сам Гамлет; точнее – та трансформация этого векового и универсального типа, которая для русской действительности была оттенена и обрисована такими верными и тонкими штрихами Тургеневым⁴. Говоруха-Отрок обильно пережил глубочайшие сомнения; он был благороднейшая и *тонкая* натура, тонкая именно в ощущениях истинного и ложного в человеке, достойного в нем или только грубой подделки под достойное. Печальная

* Редакция «Московских ведомостей», вероятно, выполнила бы невысказанное желание многих любителей литературы, если бы дала сборник лучших его критик. В последнем случае, думается, едва ли есть нужда сохранять его некрасивый и бесцветный псевдоним-отчество (Николаев).

полузадумчивость никогда почти не оставляла его; и вы чувствовали, как бы ни мало времени пробыли с ним, что между предметом текущего разговора и главным устремлением его мысли есть непереступаемая черта; что есть эта черта между предметами всех его видимых забот и центром его души; что литература, писание, не только не есть для него ремесло, но и не есть даже самое священное; что он охотно отдался бы погружению в себя, простому *течению* своих мыслей – о предметах ли, вопросах ли, но во всяком случае о чем-то, что для него несравненно ценнее самой литературы и что он задевает в ней не иначе как побочно, но так, что вы чувствуете, что при этом побочна для него именно литература. Он был реалист в том благородном смысле, что словесное искусство освещалось для него некоторым высшим светом, идущим от реального; и он был мистик, потому что это реальное хотя и могло бы быть названо «жизнью», однако не имело ничего общего с «долами и днями», бегущими в ней, с частностями, хлопотами, – что это была скорее *мысль* жизни, нежели ее фактическое содержание. Все освещалось в поле его зрения глубоким, неясным, несколько *матовым* светом; в этом свете он созерцал и любил жизнь, любил ее, как носительницу этого света – то есть *не самостоятельно*; литературу любил он только как третье. И вот отчего самый взгляд его на литературу был глубок и чист, никогда не был тревожен, вот отчего он никогда не стал публицистом в критике, имея все внешние и технические средства к этому.

Отсюда же некоторая небрежность в нем, как бы невнимательность к писаниям своим, в которых далеко не выразились богатство его сил и тонкость натуры; случайность избираемых тем; не избегание поводов, вызывающих на слово, но его вовсе не требующих, и, однако же, ко всем этим поводам не нервное, не нетерпеливое отношение – как бы чуждое полного напряжения сил. При всякой теме он не терял сокровища своих размышлений; и ни в одной не высказал его прямо. Это как бы равенство для него *всяких* тем, отсутствие вот в эту минуту потребности об *этом* именно сказать – ослабляло его

силы как пишущего, сообщало некоторую идейную вялость порознь взятым его трудам. Есть именно *рассеянность* в его писаниях – та рассеянность, которая бывает у говорящего, когда он не занят очень лицом, которому говорит, и вопросом, который предложен ему этим лицом. С тем вместе предметом, фиксировавшим его внимание, едва ли была мысль, *теоретический* вопрос, – и здесь разграничивающая черта между ним и Страховым: Страхов также редко был *возбужден* в своих писаниях, но он ровным и спокойным языком высказал целый обширный организм мысли, и побуждением к писанию для него было именно член за членом высвободить из себя этот организм – пожалуй, в каком угодно порядке, но *весь*. Рассеянность Говорухи-Отрока была, скорее всего, рассеянность чувства; он был фиксирован на некоторой мысли сердца, не развивающейся, не нудящей братья за перо. Скорее он отрывался от нее, чтобы взяться за перо и начать говорить о предметах не слишком интересных, но среди которых нет-нет и вдруг мелькнет нечто, что поддается освещению этого постоянного чувства, что можно осмыслить им или создать в нем.

По мелькающим там и здесь словам, по оживленности, которая вдруг овладевает тут или в ином месте его речью, можно даже конкретнее отгадать это чувство: это – некоторое ощущение вечности, в противоположность временному. Если бы усопшего спросить, который из атрибутов Божиих, обычно исчисляемых, ему представляется особенно понятным и необходимым, – он, наверно, не назвал бы ни разума, ни благодати, ни святости и особенно могущества: он, наверно, назвал бы *вечность* и, может быть, назвал бы еще *милосердие*. Вот два угла, под которыми он особенно хотел созерцать мир; точнее, без которых мир ему не был бы нужен. Нельзя забыть здесь *второго* фельетона из двух, посвященных им Антону Рубинштейну (кажется, по поводу выхода его книжки о музыке и музыкантах)⁵; нельзя не припомнить глубокой любви, с которой он остановился и потом еще все возвращался, к прекрасному и трогательному рассказу

Вл. Короленко «В дурном обществе»; да и множество других подробностей в его описаниях. Эту-то вечность он особенно любил, на ней фиксировал свой взгляд; этого-то милосердия он особенно хотел, без него не понимал жизни, отвергал людей: отсюда, как уже последующее, его невнимание почти к политическим тревогам своих дней, его гуманизм, демократизм его ощущений и симпатий.

И наконец, отсюда его *индивидуализм* – эта еще гамлетовская черта. Он вовсе не имел «общественных» чувств; кажется, в юности он принял участие в некотором массовом движении; кажется, для интересов и успеха этого движения он пожертвовал, где-то на юге России, родовым имением своим (он был дворянин), – но это ясно лежало вне основных черт его характера⁶. В его писаниях общество, его судьбы, тревога о его будущем не занимают никакого места; вероятно, смена царствования в 1894 году⁷ и возможная перемена «политики» не вызвали никакого в нем вопроса, ни недоумения, ни страха. Он был весь погружен в то единственное, что в истории, в народе можно было созерцать под углом вечности, – в человека. Черта человеческого характера, выведенная в том или ином литературном произведении, черта характера, не скрытая в себе писателем, – его занимали более, чем всякий новый закон или предполагаемая важная мера. Вопрос о гибели парохода «*Русалка*»⁸, *то есть* технический и административный, не мог бы его занять; иное дело, если б у погибшего на «*Русалке*» моряка нашлась записная карманная книжка, – он с интересом раскрыл бы ее. Человек, его лицо, его сердце, и никогда «человечество» <18>60-х годов, – его занимали. И в этом он представляет собой заметное и ценное звено перехода тех лет в нечто новое и противоположное. Счастливо и благодатно сухие тревоги политики оставили его; счастливо и благодатно взор его упал на то вечное, в потоке чего эти тревоги проходят, как дни и ночи землевращения в течении околосолнечном.

Он нет-нет и все возвращался к *Гамлету*; помню, он любил цитировать из него части этого монолога:

Окончил жизнь – уснуть,
Не более. И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов –
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть... уснуть...
Но если сон виденья посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда стряхнем мы суету земную?
Вот что дальнейший заграждает путь!
Вот отчего беда так долговечна!
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притеснение,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар? Кто нес бы бремя жизни?
Кто гнулся бы под тяжестью трудов?
Да, только страх чего-то после смерти:
Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам – смущает волю:
И мы скорей снесем земное горе,
Чем убежим к безвестности за гробом⁹.

Вот удивительное сплетение земного с небесным; вот взгляд сюда, на землю, брошенный под углом *не раскрытых*, но *ощущаемых* небесных тайн.

Пишущий строки эти видел покойного не более 3–4 раз, и также при случайном проезде через Москву. Помнятся обширные две комнаты, с неуклюжими книжными полками, закрывавшими большую часть стены: бездна книг, и из них особенно выделялись громадные фолианты отцов Церкви, в кожаных переплетах, с белыми серебряными надписями на корешках и красным обрезом; Тургенев, кажется, был его любимцем и стоял в прекрасном шагреневом переплете. За исключением богатства полок, все было пустынно в комнатах; помню скудный обед, неизменную рюмку водки перед

щами, которая при оживленном разговоре удваивалась, даже утраивалась; деревянные ложки, всегда мне напоминавшие детство и археологию; была какая-то прекрасная, умная запустелость, нечто печальное и задумчивое в квартире и хозяине: «старый бурш, старый 40-летний studiosus¹⁰, – думалось, глядя на него, – сколько ты бурь пережил, от шумных сходов <18>70-х годов и до этих отцов Церкви?» Он весь ушел в себя; помню его восклицание: «да, я ничего не любил читать позднее XVII века – нахожу, что чем позже, тем люди начинают скучнее, *вялее* писать: живость и правда только в старых книгах». Однажды, идя по улице, я смеясь сказал ему: «что если представить апостола Павла вставшим среди живых, и вот он входит, со своим словом... в Литературно-артистический кружок, в Петербурге...» Говоруха-Отрок расхохотался: «конечно, конечно, ничего не вышло бы; не произвел бы решительно никакого впечатления». Человек *здесь* умер; в значительной степени в новой цивилизации человек *умер*. Вот источник того, что звали или могли бы в покойном назвать «консерватизмом». Некоторая глубокая мизантропия лежала в основе этого – то есть то странное, в высоких лишь душах соединимое, чувство почти обоготворения человека в идеях, в представлениях, в некоторых *запомненных* образах и – глубокого негодования к нему же, насколько он мечется в глаза: плод недостаточного углубления в отцов Церкви, недостаточного укрепления в богопознании, которое отмывает от человека эту желчь идеализма и дает силу ему, умение любить «всяческая во всем». До этого возросли *избранные* – отец Амвросий Оптинский, Феофан Тамбовский-затворник, Иоанн Кронштадтский, Климент Зедергольм – счастливы, труженики, обрадованные за правильный труд. Прекрасно и благородно вполне было слияние усопшего с Православием – этим «путем и жизнью»¹¹, «иде же несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Православие есть вечная религия, в противоположность временным – католицизму и протестанству: вечная, ибо она не раздражает, как те, но удовлетворяет душу человеческую и все меры ее искания, все

степени ее тоски. Религия совершенной простоты и совершенной мудрости. Покойный теоретическим умом не был, конечно, в достаточной мере погружен в ее научение; и также он иногда трудился, писал, не справляясь с отцами Церкви. Но, думается, как и многие уже теперь, он делал все это как бы *условно* – *то есть* при молчаливом согласии отвести все в своих мнениях и осудить все в своих поступках, чему одобрения не произнесла бы Церковь. Этот духовный строй, напоминающий канун иноческого пострига, когда все еще отдается сегодня миру с тем, чтобы завтра от этого всего отказаться, то есть уже *сегодня* с некоторой *условностью*, – есть строй лучших, нежнейших душ нашего времени, так чуждых специфического самоощущения <18>60-х годов: личной автономии, самонадеянности, гордости.

В жизни покойного был случай, очевидно повлиявший на его слияние с Церковью во всех ее частностях и подробностях, со всею ее *полнотой*; нижеследующие строки, наверное, будут в печати прочтены лицом, рассказывавшим мне его, – итак, доверие может быть дано этим строкам. В юности Юрием Ник<олаевичем> был пережит роман – с печальным исходом: любовь *ее* не была разделена *им*, и она умерла, с глубокой верой в Бога, но насильственно. В любви есть столько самоопределения, ее пробуждение и угасание так мало зависят от нашей воли, что лишь никогда не любивший мог бы осудить покойного за то, что возбужденное им чувство он оставил неразделенным. Но – и здесь сказывается поворот духа от самонадеянных <18>40–<18>60-х годов к совсем новому настроению – то, что прошло бы у человека прежней структуры как горделивое воспоминание (тип Печорина, кое-где, в слабых чертах, повторенный и у Тургенева), в памяти Юрия Николаевича легло как воспоминание мучительное, может быть – как незабываемый укор; во всяком случае – как тревога, жалость. Эта часть факта была передана покойным рассказывавшему мне лицу независимо от следующей: всем знавшим покойного известно было, что какое-то женское имя, но не имя матери или сестры, им подается постоянно в церковь к поминанию «за упокой». «Одна

женщина, – рассказывал Говоруха-Отрок, – нередко виделась мне во сне, всегда печальная и одетая в черное; раз моя дальняя родственница отправилась на богомолье, и я, дав ей записочку, попросил ее отслужить панихиду об этой покойнице у мощей местного угодника. Прошло не меньше двух недель, и снова она привиделась мне во сне, но, к удивлению, одетая в белое, только с черной каймой на платье, и без печали в лице. Прошло еще несколько времени, и снова я встречаю свою родственницу: с первых же слов она стала извиняться передо мной, говоря, что по болезни не попала тогда же в монастырь и только через две недели могла исполнить мою просьбу. Изумленный, я стал расспрашивать подробнее о числе и дне недели, и она назвала день, когда мне приснился удививший меня сон». Кто следил за статьями покойного, может припомнить, что в них не раз и не два упоминалось «о мощах св<ятых> угодников, к которым спешит народ русский и несет туда свои скорби», о воспитательном значении для народа монастырей и паломничества. В свете приведенного рассказа это становится ясно: покойный писал об испытанном.

Н. Н. Страхов

(†24 января 1896 г.)

I

Покойный Страхов всю жизнь ожидал этих *залогов* – залогов действительности того, о чем философы и поэты смутно гадают, а Церковь твердо молится на земле. Логически и психически он был подготовлен к ним; но не было залогов, и он умер с верой менее ясною, чем Говоруха-Отрок.

Помню, ранее напечатания статьи своей «По поводу одной тревоги гр<афа> Л. Н. Толстого»¹ я передавал ему доказательства бессмертия души, там развитые. Он слушал меня нетерпеливо и, когда я кончил, сказал: «Душа бессмертна не от того, как Вы говорите, что она есть один из принципов бы-

тия и что принципы неразрушаемы, но потому, что это твердо обещано нам св<ятым> Писанием». Я был изумлен (потому что подозревал в нем скептика) и сказал – что, уже не помню. «Да, да, обещано и Ветхим заветом, и Евангелием, – он привел 1–2 текста на память, – и этого совершенно достаточно». Он относился с величайшим неудовольствием, когда богословы (профессора духовных академий), между прочим в *«Вере и разуме»*², пускались в физические, астрономические и физиологические исследования, чтобы подтвердить тот или иной свой тезис. «Они не уважают, – говорил он, – своего предмета; им не кажется достойным заниматься религиею, и вот они берутся за чуждые им области физических и естественных наук». Он не любил смешения областей знания; но область религиозную он признавал не только этически, но и трансцендентно. Уже идя за его гробом, я разговорился о религиозных мнениях покойного с г<оспо>жою Алексеевой, переводившею на немецкий язык его книгу *«Мир как целое»*. «Что покойный (сказала она мне) твердо был убежден в бессмертии души – это я знаю из следующего. Однажды я спросила его, не знает ли он книги, где я могла бы прочесть об Элевзинских таинствах. Он дал мне из своей библиотеки; я заинтересовалась ею и, помню, в разговоре, передавая – в составе таинств – о вкушении посвященными ячменных зерен в связи с идеями о бессмертии души, сказала: «Это, без сомнения, было у них аллегорически, как и в причастии мы аллегорически принимаем тело и кровь Христову». «Как Вы говорите: «аллегорически», – воскликнул он, – нет: это – есть, это – в самом деле», – без пояснений, что «в самом деле»; но по связи разговора было ясно, что он высказал полноту веры в таинство причащения, как оно исповедуется Церковью. В одном из писем ко мне, из-за границы, он, передавая содержание проповеди православного священника, между прочим, писал: «Всем, кажется, она понравилась, а мне было досадно, потому что он говорил ересь. Он говорил о двух заповедях евангельских – любви к ближнему и любви к Богу – и указывал, что первая особенно важна. Но ведь это не так: в Евангелии сказано, что именно к Богу любовь есть

первая заповедь³, а любовь к человеку – вторая, и, конечно, это правильно». Я упомянул о его нелюбви к богословам, пускающимся в физику; но вот не однажды он с восхищением заговаривал со мной об Иоанне Кронштадтском и всегда прибавлял при этом: «И не удивительно ли, что такой человек явился на самом крайнем пункте нашего соприкосновения с Европой – даже не в Петербурге, а в Кронштадте» (кажется, он связывал эту радость свою со славянофильскими своими чаяниями). – Однажды, года 3 назад, произнеся это, он прибавил: «Но вот чего Вы, Вас<илий> Вас<ильевич> , не знаете: Иоанн Кронштадтский вовсе не единственное у нас лицо: есть несколько таких же; то есть они делают совершенно то же, что он, – и только не пользуются этою славой, не имеют такой известности». Я боялся разрушить это твердое слово, услышать ограничения, поправки и поэтому не спросил имен и местностей. Да и зачем это? Зачем заглядывать в имена, местности, годы? Не этот ли скептицизм, это рвение Фомы во все «вложить палец»⁴, подсек и яркость веры у Страхова и лишил его, без сомнения, величайшего счастья, за которое он отдал бы и свою неоцененную библиотеку, и множество своих знаний... Его отношение к религии, как я уже сказал, было полно, но не ярко, не напряженно; форма веры была целостна, не разрушена, но была бледность в ней, как бледны бывают полные черты в слабо проступившем негативе. Взамен этого, было нечто другое в этом чувстве, и на весах Божиих не сосчитано, есть ли это меньшее: постоянное *памятование* религии. В какую бы минуту вы ни спугнули мысль его, эта спугнутая мысль отбегала именно от религии, чтобы обратиться – конечно, на минуту и не с настоящим интересом – к предметам конкретным, к вопросам знания, философии, к бегущим интересам политики. Невозможно представить себе, чтобы покойный просто *присутствовал** там, допустив себя *видеть, слышать* шутивное

* Однажды, в одну из «Сред», один из гостей неуважительно отозвался о Пушкине и, не замечая впечатления или надеясь, что он «гость», впал в дальнейшую иронию. Сперва возражавший, Страхов через несколько минут предложил ему просто *замолчать* – что и было исполнено.

отношение к религии; но вот вы заговаривали *положительно* – и какое-то бессилие сказывалось в нем. Он именно отрицал отрицания и ненавидел их, презирал; но его невозможно было ввести в утверждения: он поднимал палец и требовал указать «рану», куда бы мог вложить его и ощущать. Раз, в обычную у него «Среду», среди довольно большого общества писателей, гр<аф> А. А. Голенищев-Кутузов передавал содержание им прочтенной – кажется, в рукописи – брошюры, где были собраны медицинские удостоверения об исцелениях в Лурде: «Опущенная в источник девушка, страдавшая костоедой ноги, по вынугии из воды оказалась исцеленною...» Страхов вспыхнул: «Как исцеленною? что же именно сделалось у нее с раной?» Добрый и прекрасный поэт растерялся: при чтении рукописи он не обратил на это внимания или в самой рукописи не было ничего. Страхов продолжал: «Пишут Бог знает что и как: она исцелела, было страдание кости; что же, восстановилась ли целостность кости? или рана зарубцевалась? Может быть, она только снаружи затянулась кожей или нога только перестала чувствовать боль: я не могу верить тому, чего не знаю, и вы не можете мне даже описать факта».

Он равным образом прямо негодовал на неясность сообщений проф<ессора> Доробца об исцелении от сиккоза⁵: «Пишет *стоял* (в храме Спасителя) и *ничего особенного не чувствовал*; ну, а не особенное? ведь *что-нибудь* он чувствовал же, думал о чем-нибудь?» Но в самой ревности негодования я замечал именно психическую и логическую готовность Страхова принять чудо: никогда над рассказом я у него не видел ни улыбки, ни шуток, ни даже простого невнимания: именно всегда какой-то порыв, мысль, чутко слушающая и палец, уже готовый вложиться в «рану»; но не было раны, не открывались точные, научные формы знамения, не было латинского названия исцелевшего мускула, и он, не отвергая, переставал слушать. Был ли прав он? был ли он не прав? – трудно судить. Нельзя, не следует, не должно ожидать, чтобы исцеленный в том светлом сиянии души, благодарной к Богу, какое переживает, требовал скорее перо, бумаги, вынимал

циферблат часов и точно записывал факт; так, но и прав неверующий, не зная, *чему* в точных формах он должен верить. Однако исцеленный и не приглашает никого верить: он выражает просто сияние души своей; и в людях так много благородства, так много интимного понимания друг друга, что, взглянув на это сияние, и без слов они ощущают его причину и верят, почти удерживая, гоня доказательства. Тут если и есть доказательство, то психологическое: доказательство именно в благородстве, в относительной чистоте души человеческой; сам Страхов раз зло смеялся над Писемским, когда он в ряд «русских лгунов»⁶, наконец, увлекшись, поместил и шекспировского Ромео: но если люди всегда и только лгут, лгут одинаково в словах, в интонациях голоса, в том, что мы называли «сиянием души», – почему, наконец, не лгал и Ромео перед Джульеттой, говоря о любви? Но есть красота, пробуждающая истинную любовь; есть истинные сердца, чувствующие любовь; есть правда в людях, от того только есть и поэзия; и, наконец, есть чудеса, есть религия.

Кстати, чудо Страхов определял как «нарушение какого-нибудь физического закона», временную и местную отмену его действия; я запомнил это определение и, забыв слово «закон», сказал однажды кому-то при нем: «Чудо есть нарушение которой-нибудь из логических и физических аксиом»; Страхов с живостью подтвердил: «Вот-вот».

Здесь я должен сказать, что Страхов вовсе не отвергал, что *весь* мир есть некоторым образом чудо, а *не* чудесное есть редкое в нем исключение. Раздраженный его требованиями «раны», в которую можно было бы вложить «персты», я встал однажды и, пройдясь по комнате, сказал: «Вот – чудо (то есть что я *иду*), ибо это вопреки всем аксиомам механики: 1) что движущее – вне движимого; 2) что движимое пассивно по отношению к двигателю; 3) что оно не останавливается до встречи с препятствием или иначе как от сопротивления среды и пр.». Он в высшей степени принял это; продолжая, я сказал ему: «Итак, весь живой мир есть чудо и также – вселенная, объяснить происхождение которой мы механически

не умеем; даже самое притяжение тел (ньютоновское) – разве это механика? То есть разве это не факты, нарушающие принципы механики, местно и временно исключаящие ее законы? Но вот, из этих чудесных фактов следствие уже течет механически: и раз *чудно* тела стягиваются, а центробежная сила планет равна и противоположна по направлению этой стягивающей силе – планеты естественно, *механически* удерживаются в своих орбитах». Эта точка зрения была в высшей степени ему понятна; но она была слишком обща, и перейти от нее к Богородице, мощам св<ятых> угодников, чудесам исцеления не было возможности.

Это давало основу для спиритуалистического только созерцания мира, но не для церковного; Страхов же, я видел, хотел церковного чуда; да, конечно, оно только и нужно. Спиритуализм – это пустыня; церковь – это отчий дом. Оба суть некоторое «место»; но одного нам не нужно, мы в нем погибаем; во втором же – «жизнь бесконечная».

То *постоянное памятование религии*, о котором я сказал, что оно было у Страхова, было именно памятование, *склоненное ухом к церковному*. Нельзя сказать, что он не допустил бы в своем присутствии кошунства над «спиритуализмом»: механические и вообще совершенно материалистические воззрения он оспаривал в длинных беседах, без тени какого-либо негодования к оспариваемому. Он именно не допускал кошунства там, где в спиритуалистическом начинало чувствоваться *лицо*: он этого лица не видел, не различал; не называл его имени; но вот вы подходили, чтобы его оскорбить, как пустоту некоторую, как мертвый идол людского воображения, – и он с гневом и презрением вас отталкивал. Его «перст» был не вложен; он не дотянулся до осязаемой раны; но, значит, было же твердое у него чувство, что левее или правее, ближе или дальше в этой темноте, ему предстоящей, есть живая «рана», есть *тело*, присутствует *лицо*. Можно сказать, он ненавидел гораздо сильнее, чем всякие материалистические воззрения, так называемые «влечения» к религии, исходившие из эстетических или этических иллюзий: был целый ряд «религиозных» писа-

телей (и поэтов), которых он прямо не выносил за этот мотив их религиозности; то есть не читал их, не видел, отвергал; не хотел, чтобы вы их знали. Помню, едва я переехал в Петербург, из ближайшего соседства к Татеву⁷, он стал меня внимательно расспрашивать о тамошнем труженике, известном Рачинском; почти боязливо он спросил меня: «Не есть ли его отношение к религии *эстетическое* только? Не любит ли он только *красоту* в ней, любит ли он ее как *истину*? В нем столько *вкуса* – не говорю уже о писаниях, – но в выборе предметов интереса, предметов чтения, занятия (с учениками)…» Разумеется, я не мог ответить на такой вопрос, касавшийся интимных тайн души, но указал, что отношение к религии Рачинского так строго, почти сурово, что ни у него, ни даже в его присутствии у другого нельзя было бы спрашивать о подобном, то есть спрашивать как бы с сомнением, с собственным скепсисом.

При этом тусклом созерцании Божества, Его неясном ощущении, он сделал все, чем мог восполнить недостающее: выправил строго свою жизнь по стезям Его заповедей, не писанных, но запечатленных в разуме человеческом. Вполне можно назвать религиозною всю жизнь Страхова; сосредоточенная мысль была положена им в основу ее; в целом весь его прижизненный труд можно назвать «служением». Печать общности, глубокого в себе уединения, глубокого и *постоянного* внутреннего служения чему-то, некоторому Богу, никогда не называемому, скрытому от взглядов людей, чувствовалась в нем тотчас после первых слов беседы, при входе в его комнаты, при взгляде на их убранство: «келья», «монастырь» и во всяком случае место, где даже нельзя вспомнить веселья, шума, как и ничего бесстыдного, – таково было впечатление, которым они встречали вас и вас провожали. Замечательно, что беседа его всегда *очищала* и *просветляла*, как и всегда *успокаивала*; я не помню за три года частых собеседований, чтобы вопрос когда-нибудь коснулся фривольного, чтобы шутка была бесстыдна, даже нескромна, равно – чтобы в разговоре сказалась зависть, недоброжелательство, излишество в презрении. И все это при отсутствии какой-либо напряженности, преднамеренности,

при полной несвязанности речей. Просто низкое или гадкое *естественно* не вилося около него; *здесь* – этому не было места; корысти, угодничества здесь нельзя было бы высказать, оно ни к чему бы не прилипло, ни на чем бы не зацепилось и, как ненужное, вылетело бы в дверь вон. Есть собеседования, знакомства, связи, которые понижают, будят дурное в вас, дают ему рост; не создают в вас *нового* дурного, но манят распустить то, что всегда в вас было и вы в себе это осуждали. При общении со Страховым это дурное как бы *отсыхало*; не находя себе пищи – оно позабывалось. И, нет сомнения, долгое и постоянное общение с ним могло бы поправить порочного человека или человека, *склонного* к пороку; как с другим общением иногда губит его.

Здесь я должен сказать об его отношении к гр<афу> Л. Толстому, которое часто неправильно понималось. Он его деятельность рассматривал в исторической перспективе, то есть как бы *издали* и в *целом*, вовсе он не сливался с его «учением», даже просто – он отвергал его или почти отвергал; во всяком случае, не придавал ему значения. Но *смысл* его учения, но *направление*, в котором пошел Толстой, его восхищало, вызывало в нем величайший восторг, прямо энтузиазм. Вот – *путь* (то есть для писателей), как бы говорил он: путь к исканию правды, путь – к Богу; не эти тропинки, по которым бредет Толстой, но это направление, в котором он двинулся (да едва ли, не *так* себя понимает и сам Толстой? См. его *последствие* к «Крейцеровой сонате»). Как-то при нем заговорили о «непротивлении злу». «Да, это очень неясная, очень спорная вещь в его учении», – проговорил Страхов; видно было, что он даже не давал себе труда вдумываться в нее; «когда приехал из Киева (едва ли не г. Витте), его спрашивают: *ну, что там нового?* он ответил: *да что? разве то, что все нигилисты поделались толстовцами*; он сказал это небрежно: очевидно, он не следил за фактом, факт бил в глаза, – и разве этот результат не поразителен, не благодетелен? Сухой, черствый, жестокосердый нигилизм перевести к мягкости, серьезности, религиозности Толстого». Еще раз он сказал мне: «Никто и не останав-

ливается на учении Толстого; его посещают, беседуют с ним, размышляют; и потом вы видите – едут в Оптину Пустынь; множество примеров». Другой раз, после одного рассказанного у него эпизода, он проговорил с задумчивостью и грустью: «Да, это печальная для Льва Николаевича сторона дела, что его писания всецело овладевают как-то слабыми головами». Вообще *детали* в учении Толстого его не занимали; его доктрина в составе своих *членов* для него почти не существовала; но Толстой как человек и писатель, как мыслитель – был для него велик и прекрасен; он не находил слов, чтобы выразить к нему почтительность и любовь. Как-то однажды Страхов очень спорил об одном писателе, уже умершем, – очень порицал его: «Он (этот писатель) точно лишен был обоняния *чистого* и *нечистого*; в нем вовсе нет ощущения этих вещей; с великим талантом, чудесным языком он говорит о прекраснейших вещах и вот начинает говорить о величайших мерзостях без всякого чувства, что это уже другое... (он на минуту остановился и поднял глаза на собеседников): вот Толстой – в нем удивительно это чувство чистоты; какое бы у него сочинение вы ни взяли, вы увидите, что чистое и нечистое никогда не смешивается в его глазах, что он постоянно видит сам и дает вам чувствовать разграничивающую их черту». Я передаю не очень точно и поэтому очень слабо мысль Страхова; но он сказал это таким особенным тоном, что нельзя было не почувствовать, что *здесь* именно центр его привязанности к Толстому; что после долгого питания, долгого всматривания он увидел в нем человека, к груди которого можно прилечь и не замараться, не обжечься, не «погубить душу». Он почувствовал к нему *доверие*, и, конечно, это выше терминов «гениальность» и всякой литературной гари и нечистоты, какою – едва ли *чувствуя* этого писателя глубоко – люди окружают его имя.

«Вот, Господи, сколько было сил – я подошел к Тебе: возьми же и донеси меня силой Твоею через остаток пути, где ноги мои не нащупывают почвы и руки тщетно протягиваются в темноту» – так, в последнем синтезе, можно определить Страхова, эту правдивейшую и смиреннейшую душу, смирен-

ную в очень богатых (кто мог его *понимать*) дарах. Его жизнь и его нравственный образ вполне удивительны; я уже не хочу говорить, что они особенно удивительны в нашем веке. Долго будет это всеми отвергаться, но когда-нибудь будет признано: что в нем, в совершенно простых чертах, среди нас жил феномен, придавший лучшее и благороднейшее выражение всему лику нашего времени. Как незаметен, по-видимому, он, не ярок, бесшумен: Страхов умер – что же случилось? о чем писать? о чем даже сожалеть?.. Да, его могила закрылась: чистейшее сердце не *блюдет* нас; осторожнейшая мысль уже не *следит* за нами; рука добрая, дрожащая, рука бесконечно благородная, рука, никогда не нуждавшаяся в благодарности, даже в простом рукопожатии, – уже не поддержит нас в падении. Страхов умер – о чем *писать*? Да, но *плакать* можно и, быть может, следует: литература в нем потеряла пестуна своего; наша незрелая, младенческая мысль потеряла в нем драгоценнейшую няню, как-то естественно выросшую, само собою поднявшуюся с почвы среди цветов, деревьев, «пшеницы и плевел»⁸ нашей словесности. Это Бог во благовремении ее послал, послал в самую тревожную, опасную минуту нашего роста... Личная, индивидуальная жизнь Страхова была глубока и сложна; мы не имеем почти следов этой жизни в его словах; мы имеем в них только *плод*, только *вывод* глубокой мудрости и великой старости*.

II

Необходимо, для характеристики покойного, указать его отношение к идеям веры и свободы. При жизни, когда он отказывался печатно об этом со мною полемизировать, я говорил, что это нужно для *дела*, для сохранения важных черт его *лич-*

* Однажды, в шутовом разговоре, он сказал: «Я люблю *три* вещи: логику, хороший слог и добродетель»; рассмеявшись и попрекая его за такой порядок любимых предметов, я сказал: «А вот, я расскажу это в Вашем некрологе». Он с живостью обернулся ко мне и сказал: «Когда я умру – скажите обо мне: *он был трезвый среди пьяных*». Ясно, что *так* определял он себя мысленно среди современников.

ности, и по крайней мере по его смерти нужно будет указать на это. Трудно сказать, на какой стороне здесь истина. Иногда думается, что весь источник спора заключается в избрании точек зрения, *откуда* смотришь на религию, моментов *в ней самой*, в которых *ее* рассматриваешь. Страхов смотрел на религию исключительно подчиненно: истина дана и ее нужно принять – принятие может быть только *свободно*; *он вовсе не смотрел на религию из ее центра, из зерна* растущей и *покорящей* себе истины, силы, значения. Религия *in warden*⁹ – это не приходило ему на ум, религия *in sein*¹⁰ – это одно он знал; и вот отчего активные, деятельные, даже разрушительные, иногда грозные манифестации религиозных чувств в истории были чужды и непонятны ему, были глубоко враждебны и антипатичны в самой идее; понятна была только мирная культура усвоения. С каким-то недоумением, тоской, наконец, с негодованием и истинным неуважением он выслушивал мысль о возможном насилии в сфере религиозных чувств; нельзя передать той красоты духовной, того ума и благородства, с которым он указывал, что никогда и ни для какого случая Спаситель не разрешал насилия, что весь дух Евангелия есть дух убеждения и никогда принуждения. По-видимому, тут было недоразумение: принудить *верить*, *слиться* со мною в вере – никого нельзя; усвоение веры, как акт чисто субъективный, внутренний, сердечный, – *eo ipso*¹¹ может совершиться только усилиями верующего, то есть только *свободно*. Но верующие не только не могут, но и не должны выносить присутствия отрицаний своей веры около себя: итак, не принуждение к вере, но акт сбрасывания с себя, физический и территориальный, всякого легкомыслия в вере и ее искажения – есть то, правоту и необходимость чего я всегда чувствовал. Это я говорил ему, то есть в форме отрицательной, не как принцип *intrare compelle*¹², но – *extrare compelle*¹³. «Как сбрасывать? Да если я *не могу* верить, чистосердечно, искренно...» В смущении я ничего не говорил... «Так рожном меня?» – и он сделал жест. «Для чего Вам жить среди верующих, уезжайте в Германию», – сказал я. Все наши разговоры об этом текли как-то

быстро и неясно; была какая-то несговариваемость, что-то непостижимое в идеях каждого для другого. Не держали ли мы факты различные в уме: он упоминал о духовборцах на Кавказе, куда-то сосланных около этого времени; о толстовце, у которого отняли («взяли в опеку») сына; я же держал в памяти (из «Дневника писателя» Достоевского) факт, когда жена, ежедневно избиваемая, чуть не поленом, самодовольным мужем, просила защиты у «мира» и «мир» ответил («промямлил», — пишет Достоевский) уклончиво-индифферентно: «Живите согласнее»; она удавилась через несколько дней, кажется, на глазах 5-летней дочери¹⁴; и еще держал я в памяти бездну любви истерзанной, оплеванной. «Вы не только темно и запутанно, скверным синтаксисом написали эти статьи: это — Ваше дело; но Вы совершили ими дурной поступок в литературе, — и это уже мое дело». И опять тут была нить, которая убеждала меня в истине моих мыслей. «Это — *мое* дело, — говорит он о *дурной* мысли; эта дурная мысль есть худой *поступок*, коего бы он в себе не допустил и, будь редактором, не допустил бы его на страницах своего журнала; но, Боже, чего же я хочу иного, как чтобы жизнь, история та же хорошо редактировалась, чтобы одна страница в ней не говорила одного и другая — противоположного». Не без боли я смотрел на выражение его лица, так убеждающего, с которым так хотелось бы согласиться — и нельзя было; однажды, забывшись, он просто стал кричать на меня, чего с ним никогда не было, и потом, спохватившись, проговорил: «Ну, Бог с Вами, — пейте чай». Мне же казалось, что в этой так непостижимой для него мысли скрыт истинный λόγος¹⁵ истории; тайна управления ею. «Евангелие кротко»... Но, Боже, род «лукавый и прелюбодейный»¹⁶ не обратил ли самую его кротость в риторику для себя и прикрыл ею жестокосердие? Евангелие разрушают и, едва вы подняли руку, чтобы защитить его, — вас спрашивают: «Разве это по Евангелию? Спаситель повелел Петру — *вложи меч в ножны...*»¹⁷ И повсюду, во всех ее линиях, жизнь наша облеклась в христианскую терминологию, при исчезновении духа христианства, и, двигаясь по мотивам, ничего общего с христианством не имею-

щим, – в неправде своей, в жестоковыйности пытается опереть себя на Евангелие, по крайней мере защитить свое бытие им, – и обыкновенно успевает в этом. «Хладающая любовь»¹⁸, которую грозил Спаситель «последним дням», – ее дни настали, и вот она произносит термины: «любовь», «милосердие», «прощение», ничего этого *около сердца* не имея. Вот откуда жажда «опаляющей святости» актов насильственных в пределах самой веры: из жажды нарушить всемирно наставшую условность языка, пробудить людей к реализму и истине; ибо это закон природы человеческой, что, когда телу очень жестоко, уста теряют искусство лгать. Не от этого ли все бедные, нуждающиеся, все, кому *трудна* жизнь, все истинно гонимые и мучимые в истории были просты и правдивы; жили грубым реализмом, в котором спасение; не от этого ли проповедь Спасителя понесена была к ним и они ее услышали, когда фарисеи и книжные люди, жившие в *условной лжи* «закона», то есть в законе истинном, но прикрытом условною их ложью, остались к словам Спасителя глухи? Настала некоторая всемирная глухота к истине и в наши дни; и нет средств преодолеть ее иначе, как *жгущей* истиной – истиной, которая *кусала бы* ухо и *рвала* человека к вниманию...

Вот почему, – конечно, в идее только, – статьею «Свобода и вера»¹⁹ я решился нарушить этот всеобщий риторический мир: мир, который ложен; мир, под прикрытием которого живет всякая неправда; мир, который не от Христа, но в котором создается царство против Него. В этой и последующих статьях²⁰, «так дурно синтаксически написанных», дан полный очерк мотивов к нарушению мира; именно в интонациях, с которыми и связана запутанность, лежит потенциально взрыв чувств – тех именно, какие могут и должны взломать лед всеобщей условности.

Но, повторяю, так много красоты в отвержении этих идей, все-таки по существу жестоких; так много красоты в Евангелии всепрощения, и всякое отражение ее на каждом человеческом лице так прекрасно, что, не убеждаемый нисколько доводами, смотря лишь на прекрасное лицо Страхова, я под-

давался и предпочитал молчать, видя его гнев. «Никогда, никогда Православная Церковь этому не учила: в Ваших мыслях есть существенно католический характер...» Это была наиболее смущавшая меня сторона дела; но не «католический характер», следовало бы сказать, а «характер *последовательности*, который есть также и в католичестве». Вся наша (русская) история – особенно в эти два века, и чем далее, тем хуже, – носит характер хаотичности; все в ней «обильно», «широко» – и все «не устроено»; мы как бы живем афоризмами, не пытаюсь связать их в систему и даже не замечая, что все наши афоризмы противоречат друг другу; так что *мы* собственно, наше духовное *я*, – неопределимы, неуловимы для мысли и вот почему не развиваемся. «Существенно католический?» – нет, но *нравственно-последовательный и так во внешних* чертах, без изменения внутреннего *я*, пожалуй, и католический. Так же мощно, прекрасно, так же вековечно, как католицизм, – и даже по внутренним задаткам несравненно вековечнее – поднимется Православие, доселе захудалое, – жемчужина, тонущая в навозе нашей действительности. Никогда *внутри* себя оно не станет нетерпимо: кротость, милосердие, чистый Евангельский дух – все то, что удивительным образом в нем единственно на земле сохранено (это признавал и даже указывал мне Страхов), – тем прочнее сохранится в нем, чем тверже, *нетерпимее* оно отвергнет все внешние на себя посягательства – католичества ли, протестантства ли или еще более опасные посягательства нового ложного «просвещения».

Некоторая духовная гордость, гордость обладания истинной, – это все, эта вся тень упрека, какая могла бы быть высказана новым пожеланием, с какими я обратился к Церкви, – сколько смел это сделать; и ничего более, ничего еще, ибо смиренно я не коснулся ее содержания, ни слова об ее учении не высказал, поставив только «рожон» около ее внешних притворов. Как великая самоутверждающаяся истина, она отрицает все свои отрицания; она удаляет их за горизонт своего видения: это, пожалуй, нетерпимость – и *католическая* черта; но более – черта *последовательности*, которой в свое время следовал и

католицизм и ею устроился. Это – вечная логика; и нельзя же Православию отказаться от употребления силлогизма потому только, что он был открыт «языческим философом»²¹. Но внутри этой черты, по *сю* сторону крепко запертых дверей, – что мешает Православию сохранить весь свет и радость и теплоту своего научения, своих молитв? Зачем ему сумрак католицизма, тоскливость протестантских сект? Это – не от Бога, потому только уже, что это – не радость. Снова и снова повторяем: только в Сирии, только в Греции, только в Балканских землях и на широких равнинах России сохранена еще тайна молитвы; это – сокровище, уже всюду утерянное. Нет более *умелых* молитв нигде: храм потух повсюду в западных, протестантских и католических странах; там есть догматы, богословие, церковная археология; есть залы музыкальных собраний, морализирование с церковных кафедр, и нет ничего подобного живому, горящему молитвой, храму Православного Востока. Дать его залить новой цивилизации (как он уже заливается в «лаических» землях южных славян), из почтения большого перед формулами французского просвещения, чем перед заветами Евангелия; не помешать «свободно» оспорить эти молитвы, поглумиться над ними (разве уже Щедрин со своими «же за ны» и «же можаху»²² не простирал на это дерзости?) – совершить это наш век, наше время, наше поколение, может быть, хотели бы... Но ведь этого многоголового Louis XV с его *après nous le déluge*²³ – не выроешь потом из могилы; и пусть можно будет развезть его кости: это уже не поправит преступления. Итак, лучше преступлению не совершиться, то есть его не допустить, хотя бы по нужде, насильственно.

И почему, почему в «жестком для тела» не допустить некоторый коррелятив греха? Наша природа уже испорчена – признаем это смиренно и свой грех обречем жертве. Действительно: слабость веры, блуждания ума, самый атеизм уже стал как бы природой некоторых людей; но для чего в этой природе человеку гордо замыкаться? Не лучше ли, уединившись от нее умственно и все-таки не будучи в силах ее сбросить с себя, – отдать ее, как нечто чужое, постороннее себе, на суд и при-

суждение. Здесь все-таки есть некоторый просвет к свободе, некоторая дверь убегания от зла, его отрицание. Я не верю, я совершенно не могу поверить, и вот – я отрицаюсь себя, становлюсь индифферентен к своему я и соучаствую сам всему, что с ним производят. Изгиб духовный, имеющий точку опоры для себя в таинстве покаяния... Это даже для неверующего, как бы совершенно обреченного, лишенного всяких духовных сил, есть средство не выйти из стада Христово...

И много еще аналогичных доводов я развивал перед Страховым; более сбивчиво, чем здесь. Он настаивал, что это выходит из пределов литературы: «Литература есть существенно сфера духовного воздействия, и по этому самому о материальном воздействии, о физическом принуждении она не может даже поднимать вопроса: это всегда для нее чуждо, всегда ей враждебно в силу самой природы ее». В другой раз он говорил: «Вы можете это проводить где-нибудь в комиссии, но не на страницах журналов; усиливайтесь изменить законодательство – это Ваше дело, никто этого права у Вас не отнимает. Но, оставаясь писателем, то есть владея сами только духовными средствами и подчиняясь лишь духовным же воздействиям, – заговаривать о насилии Вы не вправе, не отрекаясь от себя, не изменяя своему призванию, избранной Вами сфере труда». Как бы в ответ на это, предупреждая самый вопрос, в статье «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?» я развил образ исторической жизни, понимаемой как состязание кафедр, где люди произносят друг перед другом речи, нагромождая горы слов. *«Но кто же начнет действие? – спросил я там и ответил: – Тот – кто, имея более веры, чем все говорящие, первый над ними произведет насилие, создаст факт; и в ответ вызовет насилие же, новый факт»...* Вообще, нечто несговоримое было между мною и Страховым; у него была линия законченных соображений, куда мои доводы не проникали, не могли быть вставлены; мне же казалось все так аксиоматично в линии моих мыслей, что хотя я его слушал и с болью смотрел на его лицо, – но вместе как бы и не слышал, но только любовался

просветами – противоположной своей – веры, которая в нем сказывалась. Еще он говорил, помню: «Вы славянофилы или по крайней мере поднялись с почвы славянофильской; вы приносите поэтому неизмеримый вред школе, ибо ваши мнения могут быть поставлены ей на счет: между тем славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповедовало». Но он не замечал, что это была школа существенным образом словесная; школа замечательных теорий, из которых никак не *умел* родиться факт. Жизнь именно есть вереница фактов и *eo ipso* понуждений; понуждали Апостолы, понуждали святые; понуждал Спаситель «выйти торгующих из храма»²⁴; понуждали соборы мир, и на самых соборах отцы Церкви понуждали отступить иересиархов. Слово есть бич духовный так же, как и питающая манна; бич телесный поднимается, когда безумие или порок не внимает никакому слову. Зачем *это* или *то* возводить в правило вечное? не даны ли человеку разум и совесть, чтобы различать, когда и что нужно? Нужен и меч в истории, нужно и слово; прекраснее слово, но необходим бывает и меч. Не будем бояться в себе лицемерия при спрятанном мече; будем бояться глухоты сердца при гремящих «словесах любви». Будем правдивы, будем грубы, будем просты...

III

Прекрасна вполне была кончина Страхова, – прекрасна по обилию в нем терпения и светлого духа. В Великом посту 1895 г., на третьей или четвертой неделе, садясь однажды у меня за обед, он остановился на минуту и спросил: «Вы замечаете – я худею?» Он был широк в кости, и поэтому особой худобы в нем не было заметно, кроме обычной старческой у нетучных людей. Впрочем, как будто некоторая худоба в лице была все-таки. Он в это время лечился, то переставая, то возобновляя, – от чего-то за ухом, или в ухе, или около уха и носил, но только иногда, черную узкую повязку вокруг всей головы, придававшую ему старческий вид; но *болеи* не было, и как он, так и никто не обращал внимания на это ничему не

мешавшее недомогание. Видя его в 1889 году, я уже тогда видал его – при выходе из дома – с этою характерною повязкой. «Маленькая есть язвочка на языке – и не проходит, – сказал он мне в этот же пост, вероятно, на вопрос о здоровье, – и опухают околоушные железы. Рюльман (лечивший его доктор) говорит – вставьте зубы, а то мы напрасно с вами возимся; а мне не хочется». Он год назад ездил летом на воды в Эмс и вернулся бодрым и веселым: повязочки не было. «Катаральное состояние слизистых оболочек носа и горла», – пояснял он тогда и, кажется, этому или почти этому приписывал теперешние какие-то неопределенные болячки. Очень скучал он одним – бессилием писать. «Стыдно жить, ничего не работая», – писал он мне как-то. Он не знал лучшей функции, какую выполнял: *присутствие* светлого и доброго, на коего работающие могли бы оглядываться в своем труде. Уже весной, как-то зайдя к нему и не застав его дома, я машинально прошел, дожидаясь огня, в его спальню-кабинет: листки узкой белой бумаги, целою пачечкой, лежали исписанными на письменном столе – обыкновенном ломберном раскрытом столе, который ему служил вместо письменного. На нем стояла (кабинетная) карточка гр<афа> Л. Н. Толстого, снятая в блузе, с засунутыми за пояс руками, и лежало 5–6 книг; в 3-х шагах от стола, наискось, стояла кровать, с бедным шерстяным одеялом, над изголовьем висела большая гравюра Божией Матери Рафаэля – della Sedia; у ног – гравюра со знаменитыми надгробными изваяниями аллегорических «Дня и Ночи» – Микеланджело. Далее, от потолка до полу, у всех трех стен стояли полки с книгами: тут особенно была замечательна полка с классиками-математиками и натуралистами. В первых и в улучшенных позднейших изданиях стояли Ньютон и его ближайшие предшественники и продолжатели. С благоговением, бывало, я рассматривал editio princeps²⁵, на сероватой бумаге, в малую четверку листа «Philosophiae naturalis principia mathematica»²⁶. Далее, стояли тут Линней и другие основатели живой органологии. На другом столе, близ окон, обращенные корешками кверху, лежали новые книги,

по естественным же наукам; здесь, в его спальне, жил новый мир: не было *humaniora*²⁷. Он объяснил мне, придя, относительно листочков, что работает над статьей «О естественной системе, или Идее естественной системы»^{*}; он стал спрашивать о заглавии, и, правда, все были как-то неудобны в словесном или логическом отношении, удобные же не выражали мысль статьи. «С восторгом читаю Декандоля, – он развел руками, и что-то бессильное выразилось в его фигуре, как всегда при восхищении, – вот книга, вот как нужно писать. Какое обилие мысли, что за точность выводов»... Он не досказал, но ясно было, до какой степени слабы (в его глазах и почти наверное – в действительности) были новейшие пусто-писания сравнительно с полузабытым этим классиком. Но он любил и новые превосходные сочинения: как-то однажды я застал его за чтением только что появившейся французской книги об *общественных* (или *колониально живущих?*) животных, как кораллы и другие. «Вот, переучиваться приходится на седьмом десятке лет», – сказал он мне на вопрос о книге. Вообще ничего *стариковского*, или враждебного к *новому*, в его умственных симпатиях и вкусах не было. Он, напр<имер>, терпеть не мог волюминозные издания XVIII века классических писателей: «Отвратительнейшая редакция – весь текст переверн», и он или продавал букинистам, или дарил приятелю классика в пергаменте, когда появлялось лучшее издание в Берлине. Так, в трудах, проходили его дни, и первый раз в Троицын день этого года я узнал истину о его болезни...

^{*} Рукопись статьи этой находится или у наследника Страхова, или у г. Б. В. Никольского, автора обширных посмертных статей о покойном²⁸. *Ее необходимо издать*, ибо ее место в *организме* работ Страхова очень важно, и нет никакой важности, что она выполнена лишь наполовину или на четверть. В Страхове как *писателе* нет *пустых* страниц, и каждое его предложение, включая в себе определенную мысль, есть уже приобретение для ума размышляющего. Кстати, последние 5–6 лет он очень занят был, в мыслях своих и, быть может, на бумаге, темой статьи – «О мере, числе и времени». Редакция журнала «Вопросы философии и психологии», уже так много сделавшая для поддержания у нас философских изучений, оказала бы историческую услугу русской образованности, если бы *теперь*, пока еще *не поздно*, приняла меры к разысканию и напечатанию философских начатков усопшего – планов, обрывков и т. п.

Сев в кресло – он пришел ко мне за час до обеда, – он оживленно заговорил: «А меня, Вас<илий> Вас<ильевич>, собирались резать... – Да! да!.. Рюльман говорит: никакого толку из нашего лечения не будет, пока вы зубов не поправите; вставьте зубы, и болячка сама собой пройдет; иначе язык постоянно раздражается острыми остатками корешков. Ах, думаю, напасть, – ну, что делать; это было в пятницу, в субботу отправляюсь к зубному врачу, говорю: нужно мне вставить зубы. Он посмотрел: нужно вам будет сделать челюсть. И стал снимать мерку, форму десен; я ему говорю – мне больно. Он снял – массу или шаблон измерительный – и посмотрел внимательнее зубы. – «Я Вам не могу вставлять зубов: у вас тут ранки, и Вам нужно отправиться к хирургу и залечить их предварительно». В понедельник у нас заседание комитета (Ученого комитета Министерства народного просвещения, в котором он служил); во вторник отправляюсь к Склифосовскому; рекомендую ему: но он меня помнит, оказывается, по Одесской гимназии, где он учился, когда я был там учителем²⁹. Обласкал меня, как только может ученик обласкать старого, случайно встреченного учителя. Я рассказываю ему, в чем дело, и заключение зубного врача. Он усадил меня и стал исследовать. «Вам нужно приготовиться к мысли, что нужно сделать операцию; я Вам ее сделаю, и это Вам ничего не будет стоить»... До того хорош, и деликатен, внимателен. – Что такое, думаю; нужно еще с кем-нибудь посоветоваться. Есть у меня в Медико-хирургической академии хороший и давнишний знакомый, профессор патологической анатомии – Ник<олай> Алекс<сандрович> Батуев: иду к нему, рассказываю все и прошу совета, как поступить. Он тоже посмотрел и говорит: «Отправляйтесь к Мультиановскому – оператор при Николаевском военном госпитале и светило в хирургическом петербургском мире, – и что он вам скажет, то и нужно будет сделать». Пропускаю среду и иду на другой день к Мультиановскому: «Мы операцию успеем сделать, если необходимо, но я Вам дам полоскание, и Вы аккуратно его употребляйте, а через два дня я у Вас буду»...

Третье присутствовавшее при этом лицо говорило потом, что с первых слов рассказа я смотрел на него с ужасом: в самом деле, с первых же слов зубного врача я понял, что это был рак... От старых и опытных людей мне приходилось слышать, что у умирающих Бог как бы отнимает разум, наводит затемнение на них, вследствие которого они не видят то, что ясно как день для остальных. Язвочка на языке, не поддающаяся лечению; оказывается – такие же и в деснах, около зубов, уже не вызываемые раздражением о них; худоба, замеченная самим ранее; и – «мысль приготовиться к операции». Бедный и милый друг – «приготовиться к смерти», следовало бы сказать... «Что же Вы не сказали об этом нам в среду, когда мы были у Вас?» И вот, никогда, никогда я не забуду его ответа, прошедшего до глубины души и в котором вдруг обнажилась и просияла его прекрасная, смиренная и добрая душа: «Зачем же бы я стал огорчать моих друзей?» Невозможно забыть тона, каким это было сказано: истинно праведная душа, которой заноза в пальце ближнего больнее, чем отсечение своей руки; осторожно, бесшумно, никого даже не заставив встать, он хотел уйти из мира, к своему Богу, оставив людей так же беседующими, не замечающими его отсутствия, как бы он на минуту только вышел, и вот они ждут, но он уже не вернется... В среду он не был ни смущен, ни расстроен; не был говорлив, но и не был задумчив; так же тихо шутил и подавал обычный свой чай.

Скоро – через день или два – передано мне было известие, что болезнь – действительно *рак*, чрезвычайно уже запущенный, и операция будет произведена г. Мультиановским, в Николаевском госпитале, где больному отводится свободная (за выводом собственных больных в летние бараки) комната в офицерском отделении. Сказан был и день операции, кажется – суббота. Во всяком случае, именно накануне вечером я пошел провести с ним вечер. «А, отлично, отлично, – встретил он меня, не вставая с кресел и не выпуская из рук какую-то книгу, – будем пить чай»; и, сделав торопливо распоряжение: «До чего, до чего Вы были не правы, нападая на Гоголя: я перечитываю вот, по просьбе Майкова – его просил Маркс сделать

выбор статей для популярного дешевого издания, – и изумляюсь; изумляюсь этой неистощимой силе творчества, этой верности взгляда, этому чудному языку. Вы говорите – «Мертвые души»: да помилуйте, они до сих пор живые, оглянитесь только, только *умейте* смотреть...» Он назвал знаменитого нашего политика-дипломата, уже умершего. «...Это был, – он развел руками, – в огромнейших размерах, в грандиозных, массивных чертах, но – *только* Хлестаков; Хлестаков – и ничего более, с теми индивидуальными черточками, какие уже умел подметить в этом типе Гоголь...» И мы весело заговорили, заговорили как никогда оживленно; речь как-то коснулась Толстого, и, поспешно встав и выйдя в другую комнату, он вынес том его последнего дорогого издания, где, открыв «Декабристов», – прочел мне из них некоторые отрывки. Я и раньше читал этот неоконченный отрывок, в каком-то литературном «Сборнике», где он впервые появился, но ничего особенного в нем тогда не заметил. В превосходном выразительном чтении Страхова я вдруг увидел в нем бездну для себя нового – бездну значительного, и, что меня заняло, – значительного для самого Толстого. Я слушал чтение с восхищением к художественному мастерству рассказа и с живейшим любопытством относительно написавшего рассказ; но я также чувствовал с горестью, что, в силу дурного чтения, в силу *неумения* читать, мы знаем, поняли и оценили только малую долю тех сокровищ ума и дивного художества, какие таятся в наших классиках; мне показалось, что от этого мы гораздо менее развиты и образованны, чем могли бы, чем уже имеем средств... И, переносясь далее мыслью, я думал с досадой о школе, где ничему, чему следует, не выучивают; думал с презрением о «литературных вечерах», где не читают просто и задушевно, а *ломаются* перед публикой литераторы... А чтение все продолжалось.

Часы летели, и около 12 я хотел подняться. Во все время, как мы говорили, я не забывал об операции. Но таково жестокосердие человеческое, что, когда ему не было больно завтрашнего дня, и мне не было его больно. Я не очень смеялся, но был истинно увлечен беседой, и увлекающим был *он*: мысли, воз-

бужденные чтением, как-то текли по своему закону, когда тут же, где-то в стороне, но не уходя, стояла мысль об операции. Уже было за полночь. «Ну, хорошо, Николай Николаевич, но что же Мультановский и как Ваше полоскание?..» – «Мультановский был сегодня утром и сказал, что нужно сделать операцию...» Не переменяя тона и как бы *его* продолжая – «Ну, что же, Николай Николаевич, – сказал я, – нужно это сделать, уже как *он* сказал...» – «О, да, да! Я нисколько, нисколько...» Он затруднился словом: «Да куда Вы спешите; конки уже перестали ходить, и Вам все равно придется взять извозчика». Я сидел у него еще часа полтора и, спокойный, ушел от спокойного, с каким-то далеко стоящим ужасом в душе...

Перед операцией, на другой день, он сидел – это было уже в больнице, куда его взяли утром, – за чаем и начал письмо к гр<афу> Л. Н. Толстому, без сомнения, с известием о болезни. Вообще чрезвычайно была любовь его к этому человеку; к Данилевскому Николаю Яковлевичу он был привязан как к типично собравшему в себе светлые народные черты: ясный ум и твердый, открытый характер; к Аполлону Григорьеву – как к инициатору правильных приемов в любимейшем его деле, критике; к Толстому привязанность его была более глубокая и мистическая: он любил его как олицетворение лучших и глубочайших стремлений души человеческой, как особый нерв в огромном теле человечества, в коем мы, остальные, составляем менее понимающие и значащие части; он любил его именно в его неясности, неоконченности... Любил в нем темную бездну, дна которой никто не видел, из глубин которой еще поднимется множество сокровищ; и, нет сомнения, лучшего друга Толстой никогда не терял. – Письмо не было еще окончено, когда вошли доктора и сказали, что все уже готово в операционном зале. «Я сейчас, сейчас...» – сказал он, отодвигая письмо, и, запахивая больничный халат, пошел... Операция – под хлороформом – длилась почти два часа; за дверями ожидало его несколько друзей и знакомых, из последних один мне передал эти подробности. Дверь открылась, и, смертельно бледного и недвижимого, его пронесли

на носилках. Не выдержал и горько заплакал среди присутствующих любимейший из друзей покойного, Иван Павлович З., директор одной из петербургских прогимназий, старый-престарый... Отрезана была половина языка, и вырезаны были ранки в деснах и железы около ушей, под нижнюю челюстью. Это давало 6–8 месяцев жизни и, главное, – кончину без тех ужасных мучений, какими осложняется рак полости рта в случае, если операция отсутствовала.

Я увидел его только на четвертый день, занятый все это время у себя больным; со страхом, полуживого я ожидал его встретить и, робко отворив дверь, подходил к постели с неясным силуэтом лежащего на ней человека... Розовый, свежий, вполне прекрасный, с веселым выражением глаз – он пожал мне руку и, указав на рот, дал знак, что не может говорить: «Запрещено говорить до снятия швов», – пояснила мне сестра милосердия, дальняя его родственница, за ним ухаживавшая, Наталья Ивановна, – да будет благословенно ее имя. Лицом и рукой он сделал ей какой-то знак. «Велит Вам рассказывать, как производили операцию», – пояснила она и повела рассказ, при живом его внимании в остановках, когда она должна была поправиться или вспомнить подробность. Хлороформ не все время действовал, был перерыв, он очнулся и закричал: «Не давите мне ноги»; а на ногах сидел солдат-служитель; крови было потеряно мало вследствие искусства оператора; долго продолжалась операция вследствие обилия кровеносных сосудов в языке, требовавших перевязки.

И потом я его часто посещал, иногда вечером – надолго, иногда утром, на краткий час перед службой. Мы пили бесконечный чай и бесконечно «говорили». Где тетрадошка, где он писал – карандашом, подкладывая дощечку, употреблявшуюся им при корректурах, – свои вопросы и на которой отвечал? Так хотелось мне сберечь ее на память, и я просил, но, верно, он отдал другому, более близкому человеку. В первое же посещение он написал мне: «Мультановский сказал: в Вас нет теперь никакой болезни, – только швы снять»; и еще: «он сказал – отличное сердце и отличнейшие нервы». Его посто-

янно посещали, и тут сказалось, как много и многие любили этого доброго человека; почти постоянно приходили письма, между прочим, от Толстого и его семьи, где он был так любим. Ни тени уныния я в нем не видел; ни тени сожаления о прошедшем, о потере языка, о том, что вот он – в больнице, что в такие годы ему пришлось перенести такой труд... Не успел я сесть или едва задумывался, как он уже писал: «Да рассказывайте же...» Я решительно не знал, о чем рассказывать: так все было обыкновенно, кроме *его* самого, его *ближайшей* смерти. Но он этим не интересовался; он интересовался суетой, миром, людьми, литературой. Около него, на столе, лежало 4–5 последних книжек журналов; он отметил в библиографическом указателе г. Колубовского (в «Вопросах философии и психологии») несколько строк под рубрикой «Н. Н. Страхов» и написал мне: «Кажется, эта статья моя была содержательна³⁰ – и только (то есть так мало строк в указателе), – ну, что это». В нем была прекрасная черта открытости, и он не скрывал, не *затаивал*, как огорчает его молчание или радуется похвала. Занятый, позднее несколько, статьей о Толстом и желая проверить свое впечатление, я спросил его о Василии Андреевиче (в «Хозяине и работнике»), что он думает об этом типе, кажется ли он ему дурным, достойным осуждения; живо взяв тетрадку, он написал мне: «Отличнейший человек – *горячий*» – и подчеркнул «горячий». В самом деле – это *главная* черта «хозяина», то есть по всей *основе* своего характера он прекрасный человек, только несколько запутавшийся «в делах»; Толстой это *почуял* художественно, создавая тип, а рефлексивно, осудив его, *ошибся*. До операции, я помню, Страхов был ужасно возмущен статьей о «Хозяине и работнике» в «Вестнике Европы»³¹: рецензент находил паскудство в изображенной там жизни и объяснял ее отсутствием школ в окрестностях. Паскуден был и работник, пьяница и грубиян («жену бил» или собирался бить), а в хозяине, «эксплуататоре и кулаке», критик уже и подобия человеческого не находил. Страхов был очень взволнован. «Да успокойтесь – это все от природы глупые пишут», – сказал я; он с недоумением на меня по-

смотрел. «Критик чувствует в себе, что все, чему он обязан, — это школе: природа ему ничего не дала; и вот естественно у него возникает идея, что если нет школы — *eo ipso* окружающая жизнь паскудна, и именно от ее отсутствия». Но статья, в высшей степени оскорбительная, неблагородная какая-то, низкая по своему тону, глубоко втайне возмутила и меня, и никогда я не написал бы Толстому несколько грубых упреков за «хозяина»³², если бы предварительно бедному, умершему на работнике, Василию Андреевичу не надавал заушений бессердечный, тупой, глубоко неразвитой и необразованный рецензент академического и великосветского журнала.

Но светлые дни прошли; на лето, почти тотчас по выходе из больницы, Страхов поехал сперва в Ясную Поляну; потом к семье Данилевского, в Мшатку, на южном берегу Крыма; и на обратном пути поехал и погостил в Белгороде, своей родине, и в Киеве — у родных. Никогда и никому он не называл своей болезни, но едва ли он не знал ее существо: так похоже было на прощанье это посещение всех ему дорогих по воспоминанию и по живой дружбе мест. Замечательно: придя к нему на дом, в начале лета, еще до отъезда, — я его не нашел веселым. Был один огромный недостаток в его квартире: недостаток ясного, *белого*, дневного света; войдя, я почувствовал, что это — огромный гроб, полный книжных сокровищ. Впечатление усиливалось еще отсутствием комнатных цветов, всякой зелени и вообще всего живого: хоть бы он канарейку завел. «Гроб, гроб ошибочно прожившего человека, гроб не понявшего смысл жизни человека: где твоя ученость? для чего она? куда ты унесешь ее? О тебе и поплакать некому и некому тебе пожать руку на прощанье». Вроде этого я говорил ему и раньше; он, смеясь, бывало, отвечал: «О жене беспокоиться нужно — книги не так притязательны и не требуют хлопот». Теоретический интерес сильно перевешивал в нем практический, действие живых эмоций. Взамен он очень любил людей, любил толпу и в ней имел друзей; любил воспоминания и любил надежды — науки, политики, истории. *Настоящее*, ослабнув в напряжении своем, в яркости света, — как бы разлилось

на *прошедшее* и *будущее*, он не жил сосредоточенною *теперь* жизнью, и более ярко горела перед ним жизнь минувшая, как и готовая настать. Богу известно, которое из этого лучше: мне же всегда казалось грустною, а следовательно, и ошибочною жизнь таких людей. Осенью, когда он приехал, ко времени открытия заседаний Ученого комитета, он выглядел очень хорошо и заметно, несомненно, пополнел; состояние здоровья было отличное. Я потом узнал, что ему сказано было, для лета, время от времени показывать себя врачу; но не было случая, да и никакого повода к этому. Одна перемена в нем, однако, была: он всегда и прежде был тих, бесшумен, но он стал теперь *неуловимо* отчужден от всего; никакой видимой, заметной перемены не было, но он более слушал, чем спрашивал, не настаивал на ответе: ответ, да и все окружающее ему стало менее нужно. Только чудная его доброта не прошла. В эти последние месяцы жизни он познакомился с одним молодым человеком, который, поссорившись (из-за женитьбы) с семьей родителей и начав литературную работу, обрывался в ней и вот, голодный, обратился к Страхову, прося помощи в приискании верных занятий. Страхов немедленно же отправился к г. Бычкову, директору Публичной библиотеки, и к Л. Н. Майкову; и там и здесь было обещано, но нужно было ждать; молодой человек изредка стал ходить к Страхову, но, кажется, видел его не более трех или четырех раз. Последний раз он приходил к нему в воскресенье, 21 января, всего за три дня до смерти. Задыхаясь, едва сидя, Страхов – как только он показался в дверях – воскликнул: «Что же Вы не идете к Бычкову?» Нужно было представиться тому и со своей стороны попросить – на что, по крайней степени застенчивости, не решался юноша; дело же определения его на службу от этого затягивалось. И еще мне известны случаи, когда Страхов начинал «ходить» даже по почти ему незнакомым людям «с положением», чтобы помочь в нужде человеку, дать ему заработок...

Он не торопился показаться Мультановскому, по приезде осенью в Петербург, и, видимо, отдалял встречу с медицинским миром; *труд* перенесенной операции сказался в этом.

Освидетельствованный наконец, он услышал, что нужно еще кое-что сделать, «швы внутренние несколько разошлись» и «нужно кое-что обчистить» – во всяком случае нужно быть готовым еще к легкой, поправляющей операции. Он, видимо, этого не хотел; и нежеланию своему нашел пособляющее объяснение. «Ведь они не терапевты», – говорил он мне; я не понимал. «Они не лечат, – объяснял он раздраженно, – и не умеют, и не хотят лечить – они хирурги». Так тянулись неопределенные дни. Под нижней челюстью, в вершке от уха, на месте произведенной операции, была небольшая опухоль; как бы лежал продолговатый мешочек, слабо набитый крупой, без всякой, впрочем, боли и даже простой неловкости; тут-то и были «внутренние швы», которые нужно было «поправить». Невозможно было представить себе, чтобы тут содержалось что-нибудь значительное: царапина на лице более была бы заметна и более бы саднела; и мысль об операции, как игру хирургов, он, естественно, гнал. Не скоро еще он увидал Мультиановского, безмерно занятого и иногда больно-го; и, когда увидал, – тот сказал ему, что выпот может еще всосаться, так что нет крайней настоятельности в операции: раковые узлы уже ушли так глубоко, что их нельзя было сыскать ножом. Иногда он чувствовал – но только самые легкие – боли под мышками, и вообще в шее и верхней грудной клетке прощупывались болящие при надавливании точки, не беспокоившие в остальное время. Опять шли смутные дни, в которые не прерывались ни его занятия для Ученого комитета (разборы представляемых к одобрению учебников), ни посещения ближних своих друзей; однако, видимо, силы его падали и худоба возрастала. Как-то в половине января 1896 года он должен был у меня обедать; утром приходит открытое письмо: «Ни сегодня, ни завтра не могу я у Вас быть – в хлопотах; после расскажу». Я пропустил день; следующий была среда: Страхов был расстроен и встревожен, задыхался. «У меня сердцебиение открылось, – сказал он на вопрос, – «доктор» – на этот раз «терапевт» – сказал, что это от желудка: желудок переполнен и не очищается – да-

вит на грудобрюшную перегородку и стесняет сердце; пропи-
сал слабительное, назначил диету и велел дня 3–4 посидеть
дома». – «Разве *radix rhei*, – а он его обычно принимал, куби-
ками, во время еды, уже много лет, – не помогает?» – «Нет,
нужно более энергическое; неприятно, что лежать нельзя: ля-
жешь – сердцебиение усиливается; устаешь ужасно». Он был
худ, и, видимо, «среда» утомляла его. Мы разошлись раньше,
чтобы «дать больному покой»... На лестнице, при спуске с его
5 этажа, мы остановились и переговорили; кто-то, видевший
доктора, сообщил, что разветвления рака дошли до легкого и
сердца: отсюда – одышка и сердцебиение, которые будут те-
перь все возрастать. – «Как только узелки проникли в около-
сердечную сумку – сердце потеряло свой ритм», – объяснил
мне, уже после смерти, Н. А. Батуев; и в самом деле, оно би-
лось теперь то так, то этак, без всякого порядка, – что Страхов
и называл «сердцебиением», отмечая, однако, его странные
особенности. В следующие за тем дни я посещал его каждый
день; в воскресенье – то самое, когда он так заботливо торо-
пил молодого человека к Бычкову, – зашел ко мне Кусков*,
старинный и неизменный друг покойного, еще от юношеских
дней, и пригласил вместе пройти к нему. – «Я не хочу один
идти к нему – разговор его утомляет: мы будем говорить при
нем, но не с ним». Мы пришли к нему часов около 7–8 вечера.
«Устал ужасно – ни часу сна; сердце, однако, лучше... гораздо
лучше, – протянул он, – но вот сил нет: это от бессонницы». Тревоги, к *сейчас* относящейся, не было в нем, как в среду; но
выглядел он гораздо хуже: точно уходил куда-то, провали-
вался во что-то. Трудно было быть у него и с ним, видеть его,
просто разговаривать при нем. «Читали?» – спросил он, подо-
двигая книгу и показывая раскрытую страницу; это было – в
январской книжке «Русского вестника» или «Русского обо-
зрения» – стихотворение гр<афа> Голенищева-Кутузова³³,

* Платон Александрович – автор простого и глубокомысленного рассужде-
ния «Наши идеалы» («Русское обозрение», 1893, февраль) и сборника сти-
хов, между которыми есть прекрасные; переводчик сонетов Шекспира и его
«Ромео и Юлии». К суждениям его всегда чутко прислушивался Страхов.

что-то о природе, но я хорошо не помнил. Он укоризненно покачал головой: «Я *четыре* раза перечитал», и он сделал движение головой, как всегда, когда не хотел говорить и нужно было выразить удивление или удовольствие. Стихотворение, правда, было хорошо, и, главное, оно как-то шло, было *нужно* и *внятно* умирающему. Страхов любил задумчивые и чистые оттенки музыки этого поэта, которого очень любил и как человека. В гостях у него еще сидела дама, видимо, им уважаемая. Мы говорили втроем, стараясь предупредить его вмешательство, но разговор был преднамерен и напряжен, тяжел. Что-то заговорили о службе и наградах – это был январь.

– Верно, вот Николай Николаевич и не знает, какие есть у него ордена, – сказал кто-то; я вспомнил невольно и рассказал, как в ночь на 1 января 1889 года ему принесли звезду: после звонка и минутного разговора в передней входит его старая Матрена и подает продолговатый ящичек. Он раскрывает и вдруг заволновался: «Ах, да зачем же это? Бог знает что такое; кто их просил? Что же, нужно теперь будет ехать и благодарить?» Я взял ящичек – там лежала звезда и лента. До того мне странным представилось его крикливое почти волнение (в провинции «звезду» всегда «спрыскивают» шампанским), что я недоумевал тогда и никогда потом этого не мог понять. И теперь, передавая – в затрудненном разговоре – гостям эту сцену, верно, я выразил то же недоумение. «Да ведь за нее нужно было заплатить почти 200 руб., а мое жалованье 87 рублей с копейками, – что же вы не понимаете?» – воскликнул он, тоже недоумевающий. Тут только – это было за три дня до смерти – я узнал, до чего был беден этот человек, имевший библиотеку, несомненно, стоившую несколько тысяч, даже десятков тысяч рублей, езжавший за границу и убедивший меня издать «Легенду об Инквизиторе», взяв на себя расходы. Он всегда был безупречно чисто одет, но более зоркий взгляд других замечал, что все это было ужасно ветхо, хотя и хорошо сбережено; как-то, месяца за два, его спросили, как он справляется с бельем (то есть будучи бессемейным): «Все поношено, – но уже не хочется заводить, думаю, авось обойдется»; я напомнил об

этом, после похорон, студенту Вальневу*, жившему с Данилевскими во второй половине его квартиры; он улыбнулся: «да, действительно – все так оказалось изношенным и разваливалось в руках, что едва отыскалась перемена, в которую можно было одеть его» (после смерти).

В понедельник, после службы, я снова был у него: разница со вчерашним днем была поразительная. Куда-то девались прежние черты Страхова, и то, что оставалось в лице, лишь *напоминало* его. Он сидел в спальне, на кресле; теперь уже минута напряжения его истощала: «Не смотрите на меня – это меня утомляет»; голос его был глухой, слова не вняты в буквах; он опирался локтями – одним о стол, другим о ручку кресла; шея с трудом поддерживала голову; уже неделю он сидел. Нужно было сказать утешение, и не было никакого. Развлекать?.. Что-то гнало отсюда, гнало всякого, как ненужного. Скоро пришел доктор, и я вышел. «Еще денька три, может быть, четыре, Вам будет трудно, даже труднее будет минутами: но потом мы справимся...» – «Еще три дня», – сказал он со страданием, когда мы остались вдвоем. На лестнице я нагнал доктора – помнится, Павлова: «Долго ли еще жить ему? ведь он постепенно задыхается; и откуда такая слабость?» Слабость была от сильных возбуждающих средств, которые восстанавливали ритм сердца, но поглощали последние жизненные силы организма: как только сокращались дозы – силы были лучше и в то же время сердце начинало мучительно биться. Другого соотношения не было, – кроме еще призыва скорой смерти. И тут доктор сказал памятные слова: «Самому больному предложите на выбор – сейчас умереть безболезненно или жить еще несколько, долго, с таким же и даже с большим страданием; и всякий выберет жить – всякий человек». Верно, есть своеобразная мудрость у медиков. Но развязка была ближе, чем он предполагал, – не через полторы недели. Во вторник уже Страхова не было: была груда дышащего тела, и билось сознание. Он все, однако, пом-

* Собственно, окончившему курс филологу; ему принадлежит прекрасное выражение о Стракове (устно мне сказанное): «Он был для меня вторым университетом».

нил – малейшие детали: сужу по невнятным ответам на мои растерянно-неуместные слова. Жизнь его и весь труд, весь круг известных ему людей, с их ошибками, – не потеряли отчетливости в его духовном зрении. Только от всех от них, не теряя мысли, он *сам* уходил куда-то и почти уже ушел... Как отличительна, *нова* была его теперешняя слабость, сравнительно с тою, в какой его, в обмороке, пронесли из операционной комнаты: там была *жизнь* в теле, при безмолвии и потерянном сознании, – здесь, при ярком, освещающем сознании и речи, уже почти отсутствовала жизнь... Есть, в самом деле, различие между телесною душой, мускульною жизненностью, одухотворенностью органов, и между нашим *воўс*³⁴ – как это заметил уже Аристотель. Первая есть как бы мысль кого-то *об* нас и нам не принадлежит, от нас отходит: тогда органы развязываются, тело гибнет; второй есть собственно наше *я*, во всем ответственное, и в гаснущем теле, когда его жизнь уже только «мигает», – оно полно, как и всегда.

Вечером, в этот же вторник, к нему пришел Кусков и встретился с торопливо пришедшею девушкой – родственницей, которая ухаживала за ним в госпитале. Она служила в одной из общин Красного Креста и, позванная еще накануне Страховым, была задержана дежурством на целые почти сутки. На этот раз решили его уложить: точно застывшая на нем одежда, столько дней не снимаемая, наконец облегчила его. Долго за полночь сидел и читал над ним почти 40-летний его друг и незаметно был выпущен в дверь сиделкой. Незаметно же, где-то между полуночным часом и утренним, отошел и Страхов... Все поздно было, что хотели около него сделать, и опоздало все для его собственного, выраженного кивком головы желания.

На другой день, в среду 24-го, вернувшись после панихиды по Достоевском к нему, я нашел странную свободу в квартире: никого не было и двери были раскрыты; машинально я прошел в спальню – и там не было никого. На столе лежал какой-то огромный пакет, казенный, и машинально же я заглянул в него: там были рукописи и едва ли не книги. «Да где

Николай Николаевич?» – громко спросил я. Вошла – очевидно, впрочем, не на зов – Наталья Ивановна и, не здороваясь, странно и угрюмо посмотрела на меня. «Где Страхов?..» – «Как где? – еще сердитее она ответила, – умер». И она указала на комнаты Данилевских. Там, на сдвинутых столах, под коленкором, лежало дорогое тело; читали псалтирь; около него стоял какой-то господин: я едва узнал – это был, однако, несомненно, Ал<ександр> Ив<анович> Георгиевский, председатель Ученого комитета. Он ничего не знал о трудном положении Николая Николаевича; он привез ему, кажется, жалование и тот огромный пакет с рукописями, требовавшими разбора и одобрения. Мы немного поговорили об усопшем и разошлись. Началось обычное течение вечерних и утренних панихид...

IV

Так умирал и умер этот человек – лучший, какого я когда-либо знал. Многое можно было бы указать, чего недоставало ему, что в нем отсутствовало, с чем он не был рожден (именно – страстных и порывистых, творческих эмоций); но то, что в нем было, – им было упорядочено до высших форм совершенства, доведено до высшей степени культуры, просвещения, блага. Это был землевладелец, распахавший свое поле с заботливостью и умом, какого только мог потребовать от него Пославший его в мир. Вот почему эпитет *безупречности* не только может быть дан ему в целом, но он навертывается на язык и при рассмотрении каждого шага его жизненного пути, каждого им совершенного дела. Именно этою постоянною вдумчивостью в то, что им делается, детскою чистотой души, которая едва останавливалась на границе* наивности, огромным умом, истинною мудростью сердца в распознавании свет-

* Помнится мне одно восклицание старика (ни фамилии, ни имени не знаю) на каком-то обеде, когда в тесном, отделившемся кружке лиц кто-то упомянул о дружелюбии и постоянном расположении Страхова к высокопоставленному человеку, не знаменитому своею честностью: «Да у Николая Николаевича и *органа нет*, которым *обоняется* нечестное!» Выражение это – очень характерное и очень верное.

лого и темного, нужного и бесполезного, серьезного и пустого — он выделялся на фоне людской толпы, он с нею никогда не смешивался. Без страстных, порывистых движений в себе, никогда не составляя центра какого-нибудь шума, движения, он был, тем не менее, неизмеримо богат *индивидуальностью*, и богатство *индивидуальности* же лежит на его трудах. Но это была та индивидуальность, к которой нужно присматриваться, уметь ей *внимать*, ее *ловить*; чудно идут к нему эти стихи Баратынского, обращенные к своей музе:

Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором,
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица *не общим* выраженьем, —
Ее речей спокойной простотой...³⁵

Гений духовный почившего критика был родствен с чертами музы прекрасного поэта. Мы назвали выше его няней и пестуном младенческой нашей мысли; можно еще сказать, что он был Баратынским нашей философии. Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отворачиваемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих — где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не *обманывает*.

Его труды есть истинный thesaurus³⁶ умственно и нравственно *должного*. Все они, хоть это прямо и незаметно, обращены к юности: не академии, не кафедре он говорил, хотя был и академик, и часто оспаривал кафедру, — но именно к *развертывающимся, раскрывающимся* силам ума и дарам души; в нем юность потеряла наставника и руководителя, какого, может быть, еще ей никогда не будет дано. Едва ли не входило в жизненные планы покойного именно создание в себе идеальных черт наставника; не отсюда ли развитие, какое он дал в себе критическим способностям, воспитание в себе вкусов,

такая осмотрительность в полемике, как бы заглядывающая в будущность, и все возведение здания жизни своей, куда не замешалось ничто нечистое, что могло бы когда-нибудь оскорбить вкус или поколебать совесть? Входя в ряд томиков, им оставленных, — характерен самый формат их, печать, разделение на главы, все рассчитанное на *неутомление* внимания, — вы как бы входите в прохладную северную рощу, без колоссов южной растительности, колючих и перепутанных, но где вы отдыхаете и можете научиться. С великою предусмотрительностью в ней собраны образцы всех форм растительного мира, и каждый экземпляр обдуманно поставлен: нет шага в ней, какой бы вы ни сделали, нет взгляда, куда бы вы его ни бросили, — которые бы не просвещали вас, не образовывали. Все, как я упомянул, рассчитано здесь на *неутомление*: между тем нет писателя, который с таким удовольствием бы перечитывался во второй и третий раз; и именно потому, что во всякую точку здесь вкраплена мысль, — при третьем чтении вы открываете столько же свежего для себя и любопытного, как и при первом, когда масса деталей его мысли от вас ускользнула.

Но не побежит или еще долго не побежит юность в эти образовательные сады, для нее возвращенные; и гораздо скорее войдет туда и научится опытная старость. Мы, русские, не имеем *оригинальной* и *живой*, не имеем *самостоятельной* юности; мы имеем только истощенную юность. Пряность продолжительной лести дала свой плод; уже ничто горькое не переносится ею, ничто трудное; и нет сил в ее мускулах для свободного и героического движения. Робкою толпой она жметя еще и еще к новой подачке самолюбию своему. Но если вот человек «вся сладкая земли» для нее оставил, и как при жизни призревал порознь разбросанных в ней овец, так призрел высоким умом своим и общие ее духовные нужды и заботы: что в том? — она не откроет паломничества на его могилу; она даже не вспомнит, где эта могила; она не поймет ничего. И «хладною» толпой — как вчера, так завтра и еще долгие годы — побредет к своим повседневным утешителям. Так юный и дряхлый супруг, оставляя целомудренную жену, бредет иногда и ищет

в навозе... я едва не сказал – Кареева и Михайловского. Он бредет и ищет красавицу с прыщами и в нарывах.

V

Волна суетности, волна жизни уже играла около гроба умершего. Нужно было хоронить, и хорошо, и не было денег или, точнее, – нельзя было их получить. Бедный не расписался «20-го» в требовательной ведомости, и жалованья нельзя было выдать; в свою очередь, «пособие» должно было пройти через контроль, и раньше трех дней его нельзя было получить; а труп разлагается иногда на второй. Решили, что имя покойного в литературе может быть достаточным для уверения в монастыре, что деньги *будут* уплачены. Бездна литераторов толпилась в комнатах; и был с цепью судебный пристав, явившийся описывать имущество; не забуду, как он спрашивал постоянно: «Скажите, тут нет Суворина?» Очевидно, грозный владыка «Нового времени» подавлял воображение бедного судебного чиновника. Какой-то литератор все хотел перевести «среды» к себе и собирал обычных гостей покойного, спрашивая: «Так Вы согласны?» Все были согласны. Но вот наступило третье утро; все хотели нести «голову» покойного, но она была одна, а рук гораздо больше. Бесконечно далек был путь на кладбище. Но кладбище было прекрасно – далекий, уединенный женский монастырь. И на самом кладбище его могила была далека и уединенна. Как всегда чудно сплетается в жизни прекрасное и смешное, сплелось оно и здесь: бедный Иван Павлыч – тот Иван Павлыч, который зарыдал, когда Страхова вынесли из операционной комнаты, карабкаясь на холм мерзлого песку, имел нерассудительность быть впереди важного сановника и почти писателя, также шедшего «бросить горсть праха на дорогую могилу»; литератор, перетащивший к себе «среды», быстро схватил его за горб шубы и вовремя оттащил в сторону. Но, хоть и позже, свою горсть он также верно бросил. Когда комья перестали стучать по крышке гроба, полотна были отхвачены назад и все несколько успокоилось, – незаметно,

не выдвигаясь и даже как бы не обращаясь к живым, заговорил об усопшем стариннейший, кажется, из присутствующих друг его свою речь. По *манере* произнесения – она не была вовсе речью, но как бы размышлением про себя, случайно выговорившимся вслух. И для понимающего, поэтому, она была истинно прекрасна, не нарушая вовсе могильного покоя и смертного величия. Он говорил:

«Самый очевидный способ, которым жизнь заставляет существа, одаренные свободною волей, идти к целям ее, заключается в том наслаждении, которое ощущается при исполнении ее велений. Судя по тому наслаждению, с которым соединено всякое творчество, надо думать, что творчество и составляет главную работу нашей жизни. Но *«не может Сын творити о Себе ничего же, аще не еже видит Отца творяща»* (Ин. 5:19).

Может быть, оттого так и велик восторг творчества, что в минуты его человек видит Бога, и чем яснее мысль его сознает ею видимое, тем необъятнее получается от этого наслаждение. Вся жизнь нашего друга, которого мы теперь хороним, была почти непрерывным рядом таких наслаждений. Он совершенно ясно выразил, в чем состояло упоение его философствующей мысли, в эпитафии, который он поставил на заглавном листе одной из своих книг («О вечных истинах»): «*philosophari nihil aliud est, quam Deum amare*, – философствовать не иное что есть, как любить Бога». И с этою любовью ему было так хорошо среди 10 000 томов его библиотеки, что его друзья никогда не находили его там в пригнетенном состоянии: он всегда был ясен духом и всем доволен.

В последней выпущенной им книжке, третьей книжке «Борьбы с Западом», он говорит в предисловии: «В какой-то старой немецкой книге я видел, что на заглавной странице третьей части после заглавия было напечатано: *третья, последняя и лучшая часть*. Очень мне хотелось бы иметь право сделать такую же надпись на этой третьей книжке «Борьбы»: написать, что это последняя и лучшая из трех. Что она *последняя* – в этом, кажется, мне нельзя сомневаться, чувствуя,

как убывают у меня силы и расположение писать. Что она *лучшая* – этому мне хотелось бы верить; писатель, ведь, должен стараться идти вперед по мере того, как проводит годы и десятки лет в чтении и размышлении. Но одного старания здесь мало, и об успехах своих стараний мне следует ожидать и просить суда читателей».

Душа его, исполнившая ту волю жизни – чтобы *ничего не погубить из того, что ей дано жизнью* (Ин. 6:39), была освобождена от самого ужасного из всех страхов, от страха смерти. Он о смерти до последней минуты не говорил. Она взяла его в такое время, когда он сам признавал уже, что у него проходит расположение писать, значит, – когда он признавал сам, что все было им сделано, и когда мог сказать: «Ныне отпускаеши».

Он исполнил свой долг и умер спокойно, вполне удовлетворенный.

Нам остается пожелать самим себе подобной кончины».

Так говорил Платон Александрович Кусков, проводя и свои любимые идеи, которые можно было бы назвать виталистическим пантеизмом, – крепыш, поднявшийся с почвы земли Русской и образовавший самостоятельно очень высокие созерцания.

Едва произнесены были речи – были сказаны еще две, – как уже кружки литераторов зашумели сборами на литературные чтения «памяти покойного», почти с назначением тем и распределением очередей чтения. Могила была засыпана; и когда она очистилась, на нее робко поднялся молоденький человечек – никому не знакомый, – также, очевидно, хотевший сказать что-то. Он долго придумывал; все стояли поодаль. «Прости, дорогой... не осталось после тебя у нас еще такого писателя, только Лев Николаевич Толстой и Владимир Сергеевич Соловьев». Он постоял еще с полминуты, но ничего больше не придумывалось, и он сошел. Бедный, он не был посвящен в подробности подразделений литературы нашей, понимал ее слишком «вообще». Бурным рокотом прошло неудовольствие среди обдумывавших «память» писателей, когда на «глубоко православной» могиле было упомянуто имя проблематичного

христианина и особенно имя ненавистного полемиста с усопшим, тоже «схизматика» и почти язычника. Человечек не заметил этого, к счастью; и, по крайней мере, наверное он никого не хотел оскорбить. Было очень холодно, и все извозчики уже разобраны; сели в вагон конки – и туда же робко вошел последний оратор. Худой, истощенный, почти несомненно из актеров без места (по характерно выбритым щекам), в холодном пальто и летней шляпе, он имел нос самого неприятного цвета. Робко выглядывал он, как мышка из клетки, на нас, очевидно, знакомцев усопшего, и следовательно, «писателей». Так он чужд был нам. Конка остановилась перед каким-то переулком, на окраине еще города. Встав и приподняв шляпу, он неуверенно посмотрел на всех в вагоне, очевидно, прощаясь и, может быть, извиняясь за невольное сообщество. Мы посмотрели на него. Он вышел и побрел по переулку, очевидно, до места первого возможного «поминовения» покойного...

Между тем он не был так абсолютно не прав. Великое солнце где-то в полуденных странах передвинулось через равноденственную линию; и в высоких широтах, еще заносимых вьюгами и снегом, осязаемо зашевелились обмершие растения – ток соков пошел вверх, корни выпустили новые мочки, между тем как стужа сильнее, чем в декабре. Неуловимы и таинственны пути и средства роста; различим только его источник. Те имена, которые назвал говоривший, что вызвало ропот негодования, и сам усопший – они имеют истинное и глубокое родство между собой, более значительное, чем разделявшая их рознь. Первые и ранее всех в нашей обмершей, студеной стране они поклонились истинному Богу; в обществе, не хотевшем слышать святого Его имени, – они произнесли это имя громко. Чувство *теизма*, самое глубокое, самое живое чувство, – не есть только риторика их языка, средство политики; с первых трудов и до последних, в значительных, как и самомалейших, оно сказывается уже, *есть*, – как *есть* лето в обратном движении растительных соков. Бог идет посетить нас; *эти* первые увидели лучи Его; что в том, что, измученные, испуганные, они заговорили невнятно, розно, косноязычно: важное – в их

сердце, в *жажде* говорить; важное не в словах их и даже не в них самих, но в том именно, что Бог идет.

Что это не пусто и незначительно – можно видеть из того, что каждый из них отдал бы, и уже осязаемо отдал, то, чего обыкновенно люди *ни за что* и *никогда* не отдают. Как почти ненужную мишуру – один отбросил всемирную свою славу, *мотивы* этой славы; другой – переходил из кружка в кружок людей, из лагеря в лагерь и почти из Церкви в Церковь, взглядываясь всюду в лица, на которых он мог распознать мятущее его чувство; третий каким-то далеким тяготением заставляет его чувствовать в каждой строке своей и разошелся с временем своим, с веком и поколением, которые ничего не знали об этом чувстве. Все трое потеряли вдруг родину, потеряли – время, потеряли – людей. Не святое ли, не великое ли грядет, ради чего люди развязывают кровнейшие узлы бытия своего; не живое ли это, если питает их более, нежели как может напитать человека эпоха, люди, вся окружающая цивилизация?.. Не есть ли это небесная и истинная родина человека, ради которой он так легко оставляет земную?

РАЗДЕЛ III

ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

Гоголь, приехав в Петербург, поспешил к светилу русской поэзии. Был час дня уже поздний.

«Барин еще спит», – равнодушно сказал ему лакей.

«Верно, всю ночь писал?» – спросил автор Ганса Кюхель-гартена.

«Нет, всю ночь играл в карты»¹.

Диалог этот – многозначителен, то есть в вопросе Гоголя. Как *не пусты* уже его юношеские письма, напр<имер>, между прочим, к матери! Это – послушник в стихаре², вообще какой-то член церковной службы, коего речь постоянно сбивается на поученье. Несравненный рассказчик, в письмах он не умеет рассказывать. Но письма суть самый *ненадуманный* вид литературы, и вот именно в них – какая-то вечная надуманность у Гоголя, то есть вдумчивость, дума.

Печально я гляжу на наше поколенье³ –

эта строфа Лермонтова – почти эпитафия к «Выбранным местам из переписки с друзьями», да и вообще ко всем моральным фрагментам Гоголя. Вечная, говорю я, надуманность, так что, переходя от переписки Гоголя к его «творениям», чувствуешь некоторую

их искусственность: он «не от души» рассказывал, как милейший почтмейстер о капитане Копейкине. Напротив, садясь «сочинять», он ставил тему, он ее развивал и доводил до конца. Отсюда необыкновенная зрелость *мысли* в его «творениях». Их высокое совершенство есть уже плод его технического гения, «таланта», «богоданной» руки, что вообще никак нельзя сливать с «думкою» человека, «пением» его сердца, порывом, потоком, течением то слез, то радости. Гоголь имел гений комической техники при страшно трагическом сложении души. Во всяком случае вопрос:

«Верно, всю ночь писал?» –

характерен. Гоголь всю бы ночь писал, как и Лермонтов:

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи.
На сердце – жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется – и язык
Лепечет громко, без сознания.

.....

Тогда – пишу⁴.

Что строки эти списаны с натуры и представляют как бы портрет самого художника, снятый с отражения лица своего в зеркале, – видно из того, что знаменитый этот отрывок есть собственно *вставка, прерывающая* течение пьесы «Журналист, читатель и писатель» – и даже повторяющая в теме предшествующий абзац, но повторяющая его *истиннее и действительнее*:

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда...

Поэт как бы *перебивает и исправляет*:

Бывают тягостные ночи...

Мы не умеем доказать, но кто много писал и знает технику писанья, прямо повторит за нами, догадавшись из намека, что монолог

...холодная рука
Подушку жаркую объемлет –

есть автобиографическое даже не «признание», а невольно вырвавшийся крик. И опять это не то, что:

«Нет, играл в карты всю ночь».

«Боже, как мне писать хочется!» – воскликнул Толстой, где-то около родных своих Хамовников, в Москве, возвращаясь домой, среди толпы знакомых и друзей. Была ночь; верно, звездная ночь. И вот, остановившись и как бы не помня себя, он прошептал вслух:

«Как же мне писать хочется»*.

Опять это как у Лермонтова, как у Гоголя; и характерно противоположно тому, как у Пушкина. О Достоевском записано:

«Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой камере) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом, *изолированном* от других столиков, месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по каморам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было за-

* «Как живет и работает гр<аф> Л. Н. Толстой» – г. Сергеевски⁵.

метить Ф<едора> М<ихайловича> у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли от внешнего холода; особенно это было чувствительно подле окна, где Ф<едор> М<ихайлович> любил заниматься. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф<едор> М<ихайлович> любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать, но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою... В то время нельзя было думать, чтобы предметом занятий Ф<едора> М<ихайловича> был его первый роман «Бедные люди», но, зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф<едору>М<ихайлович>у недоставало днем времени для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная, ночью, когда никто ему не мешал, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте под заглавием «Рижский сняток», а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф<едор> М<ихайлович> никому об ней не говорил»*.

Т. е. опять, у этого третьего:

...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.

Что-то *подобное* в настроении, потому что *подобное* в манере письма.

Осень, ненастная осень была лучшим временем для писания у Пушкина; ссылка и карантин – это два места и внешних положения, два условия труда, среди которых и были созданы, по его собственному признанию и по разысканиям биографов,

* Воспоминание надзирателя инженерного училища А. И. Савельева, относящееся к 1841 г. См. «Биография и письма Ф. М. Достоевского», изд. 1883 г., часть I, с. 42–43.

все лучшие его создания. Что это значит?.. Тогда как Гоголь для писания вырвался в Рим, Достоевский – сквозь нищету никогда не искал службы и обеспечения, Лермонтов вечно рвался – то на Кавказ, то куда-нибудь. Для одних простор, внешний, почти пространственный простор, есть требуемое и достигаемое условие созидания; для другого условием созидания служит внешнее и почти пространственное же ограничение.

Пушкин писал не всегда. Ночь. Свобода. Досуг:

– Верно, всю ночь писал?

– Нет, всю ночь играл в карты.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, – и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, – и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин – всегда среди друзей, он – *дружный* человек; и, применяя его глагол о «гордом славянине» и архаизм исторических его симпатий, мы можем «дружный человек» переделывать в «дружинный человек». – «Хоровое начало», как ревели на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилы. Достоевский, Толстой, Лермонтов имеют только *видимость знакомств*. «Его никто не знал», – замечает о Гоголе С. Т. Аксаков («Воспоминания»), «знавший» его чуть не 20 лет⁶. То есть «знать» Гоголя, как равно Лермонтова, Достоевского, – значило просто ничего не знать о них и даже вовсе почти не быть знакомым с ними. Какая-то вешалка с платьем, а не человек: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Погодин, Аксаковы или, пожалуй, Савельев, Ризенкампф, А. Майков и, далее, Краевский или Столыпин – в Достоевском и Лермонтове. Душа их, свободная, вечно витала где-то: как «душа Катерины», в «Страшной мести», которую вызывал Пан-Отец, и она являлась к нему в замок всякий раз, когда сама Катерина имела неосторожность заснуть.

«Меня сон так и клонит, мой любимый муж... Мне думается, я боюсь... что опять засну»⁷.

Но что же все это значит, то есть эта разница в условиях и, так сказать, «пространстве и времени» работы?

Ничего, кроме того, что ярко написано в этой разнице: душа *не нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех – она нудила, и, собственно, абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете» они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя-автора «Записок о мертвом доме» – об этом испытанном им мертвом доме:

«Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: *я никогда больше не буду один... долго, годы не буду*»:

...и язык
Лепечет громко, без сознания,
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянии прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах – обман,
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда – пишу⁸.

Что «пишу», что «написал»? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека. Да, они все, то есть эти три, – были пьяны, то есть *опьянены*, когда Пушкин был существенно *трезв*. Три новых писателя, существенно новых, – суть оргиасты в том значении и, кажется, с тем же родником, как и Пифия⁹, когда она садилась на треножник. «В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары», – записано о Дельфийской пророчице. И они все, то есть эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм, не как особенность Дельф, но как принадлежность

истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: «хороводы», «танец», «пляска» и, в конце концов, — именно *пифизм* светил, как свежая их *самовозбужденность*, «под одуряющими внешними парами». Ведь и подтверждают же новые ученые, в кинетической теории газов, старую картезианскую гипотезу космических, влекущих «вихрей». Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил...¹⁰ —

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которым он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков:

Ревет ли зверь...
Поет ли дева...
На всякий звук
Родишь ты отклик.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но «пифийской расщелины» в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать — мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, то есть в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звездную ночь:

«Барин всю ночь играл в карты», —

и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

Ночь тиха.
Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Как хорошо. Почти – Вифлеемская ночь; да ведь почти и слышится «Слава в вышних Богу»:

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сияньи голубом... –

но поэт не догадывается о родстве ночи и ночи, как ничего не сознает и об одуряющих «парах». Он только «дурочка»-Пифия, и от этого одного неясность настроения его:

Что же мне так больно и так трудно...
Жду ль чего? *Жалею ли* о чем?..

И посмотрите – «нет друзей», «не надо друзей»:

Уж не жду *от жизни** ничего я,
И не жаль мне *прошлого*** ничуть;
Я ищу свободы и покоя –

ну таковы-то все они: и сейчас – в видения, видения; «душка» их полетит не то в замок к Пану-Отцу, как у Катерины, не то – подлинно к Богу:

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как *зелен и пушист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же*, и хата наша, и *огород*. О, как *обняла меня добрая моя мать!* Какая *любовь у нее в очах!* Она *приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу*» («Страшная месьть»).

* Своей.

** Своего.

Я б хотел забыться и заснуть.
Чтоб – всю ночь, весь день мой слух лелея –
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел¹¹, –

и еще лучше, если бы шумела целая «дуброва Мамврийская» (в еврейском подлиннике – не «дуб», а «дуброва Мамврийская»¹²).

Отношение в древнем мире Гомера к позднейшим трагикам может дать аналогию отношения у нас Пушкина к последующим главным творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла, Эврипида. Но пришел нужный день – и из лона земли вышли Эсхил, Софокл, Эврипид, чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного научения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода. Пушкин, по многогранности, по *все-гранности* своей, – вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это – во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненное, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже о них, не мог бы *никак* отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, «как старец Гомер», – для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно – зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам *нужнее*, как ночью, в лесу – умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожание. Мы его «обожали»: так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул» умер; на небо вознесся «бог Квирин».

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? *Он ли* тому причина, *окружающие* ли, *Провидение* ли, – об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде *факта* раскрывшегося зева «пожирательницы людей». И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» – это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: «Постой!»

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то *шалит*», «это кому-то *надо*», «кто-то *уносит* у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня¹; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один – нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что, когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год – другой, мы восклицаем: «Поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметном* отношении, в отношении к *Пушкину* и его *смерти*) статье «Судьба Пушкина» г. Влад. Соловьев² попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел; что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невинных детей». В век, когда люди только *по книгам* помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают

смешивать «черта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «Кто это?» – «Это – Бог!» – «Нет, это – *черт*». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «Это – *нечистый* унес его», и все тут «погано», «страшно», «неодолимо».

...Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух – известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела – часто в видах разных;
Бесов вообще рисуют безобразных³.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21–22 «Мира иск<усства>» я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова⁴. «Ну, – сказал я себе, – больше не буду думать о Пушкине. Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не *чертовым* взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально-умным* в объяснениях, не говорил себе: «Ну, тут-то я и пофилософствую», – и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как *тень добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *теме* передана не как ряд эмпирических данных, но как цепь полунравственных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, «дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции».

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору – нового («Еще о судьбе Пушкина», г. Рцы,

№ 1–2 «Мира искусства», 1900). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском *упреке* Пушкину:

И он погиб и взят могилой.

*Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?*⁵

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: «Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. Ан, хочу! Ну, тогда больно будет. *Хочу Петербурга* (курс<ив> автора). Ну, тогда тебе не избежать и *логики Петербурга* (опять его курс<ив>), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени – Дантесами... Мы *сами себе* (его курс<ив>) даем пощечины... И мы глубоко верим, что, если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс<ив>) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, – *наверное* (курс<ив> его) спасся бы».

Тут есть немножко и соловьевского объяснения («поехал бы на Афон»)⁶, и обыкновенного, даже самого либерального объяснения («надел ливрею»), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мещанское (да простит автор мне упрек этот): «Он носил ливрею, когда ему нужно было петь «на седьмой глас»: «Господи, воззвах»⁷. Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьева), ни «воззвах» не стал бы и не хотел читать, –

ибо не таково было настроение его души, и правда его души, и *факт* его души *в это время* грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята* логика только «посмертных рассуждений», но и *прижизненных* страстей логика может быть *свята*. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою – и погиб; что он был прав и свят в эти 3–5 предсмертных дней, когда

Восстал «во блеске власти»,⁸ –

но он действительно, как объясняет г. Перцов, был не прав 3–5 предсмертных лет, и... «все произошло так, как должно было произойти».

Я счастливый муж, любящий; у меня все исправно в дому. – За моей женой ухаживают. – Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

Вот, братец мой, потеха!
Ей-ей умру,
Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха⁹.

В «Графе Нулине» Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска усакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
*Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?*
Не угадать вам! Почему же?
Муж? – Как не так. Совсем не муж.
*Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак.
Молокосос; что если так,*

*То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.*

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и, так сказать, центральное – в последних двух строчках:

*Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!¹⁰*

Когда «муж» и «любовник» совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса, и Нулина, и «женихов» Пенелопы. «Дом мой – твердыня моя: кого убоюся?!»¹¹ Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталье Николаевне, – а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: «Дом мой – твердыня моя: кого убоюся!»

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было «23-летнего Лидина». А теперь *она* – крепость от Нулина и всякого, то есть чистосердечие *ее* смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся!) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забормотал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший «Нулина» и «Руслана», вещим, гениальным и *простым* умом он *почуял*, что если «ничего еще нет», то «психологически и метафизически уже возможно», уже настало время ему самому испить черную чашу и вместе весь непререкаемый и

фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Наины... о, ведь дело не в *летах* именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата,
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила.
Зато, – прибавила болтунья, –
Открою тайну – я колдунья!

Точка в точку с великою и вещею мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16 лет может представиться «умом колдуна», весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее *внимание* – совсем иное будет, чем его *речи*:

Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание:
«Так – сердце я теперь узнала.
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О, милый, милый, умираю...»

И что же ответил Финн, когда-то *сам* и *первый* полюбивший Наину, то есть стоявший к ней в неизмеримо ближайшем,

по возрасту и, *главное, по опыту*, расстоянию, чем поэт к своей невесте и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!¹²

Что делать – это *роковое!* А ведь вещун-Пушкин, колдун-Пушкин все видел, все знал, «*на три аршина под землю*» он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал «Руслана» и «Нулина», и в последнем эти насмешливые строки:

Она все мужу рассказала,
Всему соседству описала.

Смеялся – Лидин!

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было *совершенного чистосердечия* и «гомерического хохота» в ее рассказах Пушкину о Дантесе. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблещут. – «Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его...»

– «Ну, хорошо, уж поздно: доскажу завтра». Речи недоговаривались, смех *не раскатывался*; так – улыбнется, *мертвенно* улыбнется. – «Да что ты, Наташа?» – «Ничего, утомлена. Я рано встала». И вечно утомлена. – «Верна?» – «Конечно!!» – «Довольна?» – «Довольна!» – «Счастлива?» – «Счастлива!» – «Не упрекаешь (меня)?» – «Нет». – «Детей любишь?» – «Люблю». – «Но поговори же, но Расскажи же: так ты этого молокососа...» – «Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать...»

Она совершенно нравственна или, пожалуй, «корректна» в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...¹³

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. Она не согрешает. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница молодая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.

(Нулин, на другой день)

Вдруг шум в передней...
«Наташа, здравствуй!»
– «Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж!»

Ну ради Бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет*! Просто – *нет*! А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого – нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, *скучающего* «общего ложа» и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро – общее; посуда – общая; пожалуй, интересы – общие и, конечно, знакомые. Но *не* общий – *смех*:

...Потупя взор
И губки алые кусая...¹⁴

Это – не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его – вообще *отсутствует*. Да – нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав

эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой – нет и что тут – не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в *свой* путь, луну – в *свой же другой*, то еще вина – *его*, *Пушкина*, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, – «*вина*» Пушкина, и именно здесь – в сфере «своего дома».

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и *выжать из себя* форм обращения и быта, бытья, «жительства-бытья» с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней – гармония...
Все – выше мира и страстей:
Она *покоится стыдливо*
В красе *торжественной* своей,
Она кругом себя взирает –
Ей нет соперниц, *нет подруг*;
Красавиц наших бледный круг
В *ее сияньи исчезает*, –

он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы*, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, – увы, *и в замужестве девушки*:

Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!

* См. «Мир искусства», 1900. № 1–2. С. 20.

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, *умерла* девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты¹⁵

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю!

«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель,
В простом углу моем, среди медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она – с величием, Он – с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона»¹⁶.

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться*; как он мог *написать*, но вот практически-то к этому приуготовиться и *не мог*! Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего – просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» – которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал – и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке – «Леду»¹⁷, – сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький

«Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился и дальше все «зрел» и «перегорал».

«Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерен, «ибо я так чрезмерно страдаю», «так мне дурно»... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молюсь – и не вижу «образа». Он не отвернулся, а просто поблек, умер в линиях, ушел куда-то внутрь».

Г-н Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: «*Чудные* отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально суметь избежать приторности, сентиментальности, прикрыв грубоватую корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или *она* его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как *могли* любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве*» (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «ромеовский», не есть «ромеовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливой; но с Пушкиным, в 17–22 года, не настал. Она имела *свой* тон, *свои* струны «ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем-то*, таком решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо, – вещун, он – вещий.

«Я же верна тебе, – ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* – этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша – и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дантес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно*. Убить и даже... убивать, убивать; или – умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

«В чем дело, – пишет г. Рцы, – Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* – какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастливая московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), для бедной Наташи все были жребии равны¹⁸. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова). Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...»

Чудак. Он пишет: «Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженому, настоящему*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «тайнством», если б он не был «членом веры». И вот, когда верующий, – о, не изменяет своему символу, но *вздыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой, новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет?!

Нет, он этого не сделает. Но не то ли же самое и в тайнстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в

религии, в догматике, вздоха прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно*. Да просто – нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы – суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя –

это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я, – но так же это скажет и тысяча жен. Пушкин – не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не заклевал:

Не серна под утес уходит,
Орла слышит тяжкий лет;
Одна в сених невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это – Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и *старца строгий вид*,
Рубцы чела, власы седые
В воображение красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
*Она – в объятиях злодея...*¹⁹

Не отпустил отец, сама ушла. Что делать – *так!!* Так было спокон веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так Бог благословил. Но

почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

...о, старец – *Море*.

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, *будто спит...*

Не правда ли, в стихах Лермонтова – будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

«Слушай, дядя, дар бесценный:
...Я примчу тебе с волнами
Труп казачки молодой
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой».

И старик, *во блеске власти*,
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.
Он взыграл, веселья полный,
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви²⁰.

Тысяча романов в действительности – на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, за 2–3 года до встречи с Пушкиным (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но *никогда бы не сбежала к Пушкину*. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, потряхнувший – да как! – Малороссией и забурливший около своего имени Рос-

сию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф – потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него освободиться. Вот уж *не* Каспий... Что же ему сравниваться с Мазепой *в линии данной темы*. Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, – к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии, – «Он»... Ну, – Он, «Озирис», «Зевс»...

...Дух – известно, что такое дух:

Жизнь, сила, чувство, зреньё, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава»), и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась-то* она сама к нему, и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт – но *в меру* (Пушкин – *без меры*); какие речи! какой взгляд! И – седина, седина; «ветхое деньми»²¹. Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет («Вишня»). Да, целомудрие старости – обаятельно, и у Марии, а могло бы быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме*, так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помещика 23 лет Лидина» и, словом... Феба. Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской Богоматери» и там этот старинный, горестный (до

слез) роман. Эсмеральда – само упоение; ею упилась *Европа*; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безличен*. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, *гениального* монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин – Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы – он умен; я же только и могу припомнить: «И к мужу – *влечение твое*» (Быт. 3). Да, «к мужу» и «влечение», то есть «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Дантес, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны, – погиб тот желчный монах («Соб<ор> Пар<ижской> Богоматери»), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И, вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вечно* «бог семьи и брака» требует и *получает* себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разъясню это. Конечно, можно представить, как, по-видимому, мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы *не рождали!* Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклания» (на этой почве) окончательно прекратятся на земле, – человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жервы», без нее не будет беременности и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское – *играет*; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности – не ранило бы вас осколком стекла в лицо и руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности

жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет силу*, не будет рождать, так Татьяна в скорбном своем романе:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется *vulgar*.

А *дети*?! Что вы мне суете «старушек, которые ей улыба-лись», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет *жена*, – и я спрашиваю: а где же ее *дети*? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кощун-ственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анали-зе «пушкинского и русского идеала женщины»! О, любители бескровных жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных, – как иногда можно ненавидеть вас и ваше!..

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ведь плакать хочется, – не знаю, как читателю, но мне хочется. Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (*Онегин*)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
*Усталый взгляд...*²²

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский – оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

С Татьяной – никого. Только старушки покланялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь *вы* уже устаете? Почему же только *жена* не может устать?

Поэт, умири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклонясь Бенкендорфу. «Низко поклоняюсь»?! Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше «низких поклонов» должна отдавать тому, кто ей *чужд* и *на нее не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон, – почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*? У Урии – только Вирсавия²³. У Давида – царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи – только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

«Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».

Татьяна уступила. Наташа уступила. – «Да, мне все равно!» И усмехнулась.

Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» – вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин и тысячи, – между ними Достоевский, – воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для *table d'hôte*^{*}, так же можно мистический узел семьи, мистическую *душу* семьи, *ангела* семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: Функция. Она – в слезах, он – в бешенстве; или – она – в терпении, он – в унынии. Да что же случилось? Да нет *лица*, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы *говорить* можете со всяким из 1 200 000 петербургских жителей; обедать – не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом – ему нужно Пущина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать, «задушевно и со вкусом», со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкою и которую кроме Петрушки на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1 200 000, *обедаем* – с 200 000, *читаем* – с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» – все *одухотворяются* и *одухотворяются*, становятся *личнее и личнее, интимнее и интимнее*. Но общение в предполагаемой функции супружества – насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и, главное, главное – личнее, не говорю – разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, – нет, тут обломила бы «кошачья живучесть», которую

* Общий стол (фр.).

гордился в себе Достоевский. И так, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как «думать» можно только с собою и при *такой* думе вспыхивает гений, поэзия, — так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. — «Ну, давайте думать вдвоем, я и Рцы». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «<Анной> Карениной». Попробуйте «сочинять вместе» «Преступление и наказание»?! Хорроша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая как *произведение*, конечно, выше гением и мистицизмом «Преступления и наказания» и «Войны и мира», можно, «согласившись», «начать сочинять вдвоем»? Тут нужно, чтобы Бог *согласил, то есть* семью, которая немыслима без двух. Эти двое тогда ткнут, когда их устроил Бог в одно (одно *лицо*). Великие поиски семьи — то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим, не в нашей улице, не в нашем городе, а при случайной и единственной поездке в Сибирь, — отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это Божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас *двое*, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука, и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двое»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не было уже «ни Пушкина», ни «Гончаровой», а — Бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «Ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и *одно*?! Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога — не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого Бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

ПУШКИН И ГОГОЛЬ*

В первых главах статьи «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского¹ мне пришлось коснуться творчества Гоголя и, в частности, его отношения к действительности, которое не повторялось у последующих писателей наших и вызвало их противодействие. Мысль эта встретила в нашем уважаемом критике, г. Николаеве**, несколько возражений, в частности имеющих в виду точнее определить значение личности Гоголя и также – его творчества². Так как за всем высказанным с той и другой стороны многое еще остается неясным и оспоримым в самом предмете, то мне показалось удобным и небезынтересным остановить на нем еще раз внимание читателей.

Прежде всего считаю долгом оговориться, что я не имел в виду Пушкина, говоря, что «в литературе позднейшей (у Тургенева, графа Толстого и др.) *впервые* появляются живые лица»: я сказал это только в отношении к самому Гоголю, а не к тому, что лежало еще позади его. Но о Пушкине – ниже, теперь же вернемся к главной сущности вопроса.

I

Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе; он создал ту форму, тот тип, впадая в который и забывая свое первоначальное и естественное направление, – вот уже несколько десятилетий текут все наши мысли и наши чувства. Идеи, которых он вовсе не высказывал, ощущения, которых совсем не возбуждал, возникнув много времени спустя после его смерти, – все, однако, фор-

* По поводу статьи Говорухи-Отрока (под псевдонимом Ю. Николаева): «Нечто о Гоголе и Достоевском».

** Позднее, по поводу высказанного мною взгляда на Гоголя, появилось еще несколько статей в наших периодических изданиях, частью ценных. Их общий, однако, недостаток состоит в том, что они вовсе не разбирают как характер гоголевского творчества, так и моих о нем замечаний.

мируются по одному определенному типу, источник которого находится в его творениях. С тех пор как эти творения лежат пред нами, все, что не в духе Гоголя, – не имеет силы и, напротив, все, что согласуется с ним, как бы ни было слабо само по себе, – растет и укрепляется. Душевная жизнь исторически развивающегося общества получила в его личности изгиб, после которого пошла непреодолимо по одному уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, – но все и постоянно в одном роде. Каков смысл этого изгиба? Вопрос этот разрешается, в частности, отношением Гоголя к Пушкину.

Мой критик сравнивает их и находит «равноценными»: но прежде всего – они разнородны. Их даже невозможно сравнивать, и, обобщая в одном понятии «красоты», «искусства», мы совершенно упускаем из виду их внутреннее отношение, которое позднее развивалось и в жизни, и в литературе, раз они привзошли в нее как факт. Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. Но сверх этой противоположности в форме, во внешних очертаниях их творчество имеет противоположность и в самом существе своем.

Пушкин есть как бы символ жизни: он – весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет, – влечет его, и, подходя ко всему, – он любит его и воплощает. Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очертаниями. Это он есть истинный основатель *натуральной школы*, всегда верный природе человека, верный и судьбе его. Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства. Отсюда – индивидуализм в его лицах, вовсе не сводимых к общим типам. Тип в литературе – это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждое своею особенною жизнью, неся в самом себе свою цель

и значение. Этим именно, несливаемостью своего лица ни с каким другим, и отличается человек ото всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды и неделимое есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, – и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой, и то в несовершенной степени, сумел достигнуть того же: и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина и только почему-то осталось незамеченным.

Во всяком случае, это есть величайший признак того, что в произведениях сохранена жизнь, перенесенная из действительности. Но и не только как воплоитель Пушкин дает норму для правильного отношения к действительности: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего утормпляющего или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она *не мешает* жизни, – и это также вследствие того, что в ней отсутствует болезненное воображение, которое часто творит второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый. Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается *самим собою*.

Все это и делает его поэзию идеалом нормального, здорового развития. В ней заложены уже направления, следуя которым, сколько бы ни усложнялась жизнь, – она не отклонится в сторону; станет полнее, разнообразнее, наконец, – глубже: но от этого не потеряет ни прежнего единства и цельности, ни спокойствия и ясности. Иное поймется в ней, иное совершится, нежели что могло быть понято и совершено в эпоху Пушкина; но все понятое также правильно ляжет на душу, и, совершаясь, ничто не примет уродливости в движениях.

II

Но вот появился Гоголь. Не различая типов в психическом развитии людей, мы все гениальное в творчестве группируем в одно целое; и вообще думаем, что оно не разъединено, внутренне согласно, что оно усиливает друг друга. Но это не так: только гений же может быть губителен для гения, и именно – гений другого, противоположного типа. Известно, как затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин. В это время «Мертвые души» уже вырастали в нем, но они еще не появились, а того, кто последующими своими созданиями мог бы уравновесить их, – уже не стало. Без сомнения, вся тайна гения неизвестна и ему самому; но что он мощь свою ощущает и знает границы ее – это ясно. Если уже мы, открыв случайно «Мертвые души», к какому бы нужному делу ни спешили, перевернем еще и еще страницу, то сам-то дивный творец их уже, конечно, знал, какая сила грядет с ним в мир. И он, носитель этой силы, был теперь один. Он знал, он не мог не знать, что он погасит Пушкина в сознании людей и с ним – все то, что несла его поэзия. Вот откуда вытекает тревога его по мере того, как стали выходить главы «Мертвых душ». В письмах к друзьям он выискивает их впечатление, спрашивает о качестве его и сам упорно молчит о смысле поэмы. Слава, несущаяся о нем, его не занимает; он глубже и глубже уходит в себя, тон писем становится все беспокойнее и страннее. Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гении, что центр и направление его лежит в «мирах иных»; но он-то, личный носитель его, все-таки видит и знает это направление, хотя и бессилен помешать ему. Последние главы «Мертвых душ» Гоголь сжег; но и те, которые успели выйти, исказили совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин.

Где причина, что один равнозначий гений был, однако, вытеснен* другим? Объяснение этого лежит в самой

* Совершенно несправедлива и унижительна для памяти Пушкина мысль, что он был вытеснен из живого сознания нашего общества критикой <18>60-х годов: он уже *не читался*, когда эта критика появилась, и потому

сущности их разнородного творчества и в особом действии каждого на душу. Если, открыв параллельно страницу из «Мертвых душ» и страницу же из «Капитанской дочки» или из «Пиковой дамы», мы начнем их сравнивать и изучать получаемое впечатление, то тотчас заметим, что впечатление от Пушкина не так устойчиво. Его слово, его сцена как волна входит в душу и как волна же, освежив и всколыхнув ее, – уходит назад, обратно; черта, проведенная ею в душе нашей, закрывается и зарастает; напротив, черта, проведенная Гоголем, остается неподвижною: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавилась однажды – так и остается навсегда. Как преднамеренно ошибся Собакевич, составляя список мертвых душ, или как Коробочка не понимала Чичикова – это все мы помним в подробностях, прочитав только один раз и очень давно; но что именно случилось с Германом во время карточной игры, – для того чтобы вспомнить это, нужно еще раз открыть «Пиковую даму». И это еще более удивительно, если принять во внимание непрерывное однообразие «Мертвых душ» на всем их протяжении и, напротив, своеобразие и романтичность сцен Пушкина. Где же тайна этой особенной силы гоголевского творчества и вместе, конечно, его сущность? Откроем первую страницу «Мертвых душ»:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака, против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого

именно она для всех была внятна; с какого же времени он *перестал* читаться?

видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своею дорогой».

Всмотримся в течение этой речи – и мы увидим, что оно безжизненно. Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Уже отсюда, как обусловленное и вторичное, вытекает то, что у всех этих фигур мысли не продолжают, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда – неизгладимость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому что тут нечему зарости. Это – мертвая ткань, которая каковою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда.

Ничего этого не было понято у Гоголя, и он сочтен был основателем «натуральной школы», то есть как будто бы *передающей* действительность в своих произведениях. Только к этому наивному утверждению и относятся мои отрицания, и подтверждение их можно было бы найти во всех воспоминаниях о нем близких людей:

«В январе 1850 года, – пишет С. Т. Аксаков (Соч., т. III, с. 358), – Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: «Вот что значит, когда живописец дал последний туш своей картине. Поправки, по видимому, самые ничтожные: там *одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено* (мой курс<ив>) – и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны»... Слово «картина», то есть *срисованное*, здесь, очевидно, поставлено ошибочно: это не кисть живописца, не

краски, исполненные разнообразия и жизни, которые воспроизводят разнообразие другой действительности; это скорее какая-то *мозаика слов*, приставляемых одно к другому, которой тайна была известна одному Гоголю. Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем; но и нам входить в этот мир, связывать его со своею жизнью и даже судить о ней по громадной восковой картине, выкованной чудным мастером, — это значило бы убийственно поднимать на себя руку. На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны; всмотритесь еще раз в приведенный выше отрывок: картуз есть единственное живое лицо там, которое хочет жить, но и оно придерживается вовремя. Все остальные передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому. И это не потому вовсе, что они бессмысленны: бессмысленность — второе здесь, что уже само собою вытекает из безжизненности. Вспомните Плюшкина: это в самом деле удивительный образ, но вовсе не потому, как оригинально он задуман, а лишь потому, как оригинально он выполнен. Вот рядом с ним стоит Скупой рыцарь, человек с головы до ног, который понимает и что такое искусство, и что такое преступление и только надо всем этим господствует своею страстью. Его можно бояться, можно ненавидеть, но нельзя не уважать: он человек. Но разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного делания знал один Гоголь. Мы над ними смеемся: но замечательно, что это не есть живой смех, которым мы отвечаем на то, что, встретив в жизни, — отрицаем, с чем боремся. Мир Гоголя — чудно отошедший от нас вдаль мир,

который мы рассматриваем как бы в увеличительное стекло; многому в нем удивляемся, всему смеемся, виденного не забываем; но никогда ни с кем из виденного не имеем ничего общего, связующего, и – не в одном только положительном смысле, но также – в отрицательном.

Мой критик указывает на высокую нравственную сторону в Гоголе³. Ее, действительно, нельзя достаточно оценить: то, на что он решился, не сделал еще никто в истории. Мы уже сказали ранее, что направление и источник гения всего менее лежат в воле его личного обладателя. Но *сознать* этот гений, но *оценить* его для людей и для будущего – это он может. Гоголь *погасил свой гений*. Неужели и это недостаточное свидетельство того, чем он был?

III

Благодаря образам Пушкина и благодаря новой литературе, которая вся силится восстановить его, поборая Гоголя, и в нашей жизни раньше или позже этот гений погаснет. И в самом деле, его ирония к всему живому уже неоднократно заставляла свертываться самый высокий энтузиазм. Вспомним речь Достоевского на Пушкинском празднике: в минуту такого порыва, такого обаяния для всех он упал, как скошенный, когда к его ногам были брошены гоголевские мертвецы. Отсюда – мучительное раздражение, с которым он отвечал профессору Градовскому⁴. Он понял, что, сколько бы ни говорил он далее, к какой бы диалектике ни прибегал, – все это не будет ясно, и ясны для всех эти вековечные мертвецы, и с ними – истина, что человек может только презирать человека. И действительно, все в его полемике забыто, никто не помнит подробностей спора, но, верно, всякий помнит мысль, что в прежнее время людям высшей души некуда было и деваться, как только уходить в цыганские таборы от ходячих мертвецов, населявших города. Но то же можно сказать и о всяком времени: непреодолимою преградой незабываемые фигуры Гоголя разъединили людей, заставляя их не стремиться друг к другу, но бежать

друг от друга, не ютиться каждому около всех, но от всех и всякому удаляться. Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения*, сделала то, что всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы стали так полны фантастического. Прочтите «Невский проспект», это удивительное сплетение самого грубого реализма и самого болезненного идеализма, – и вы поймете, что он был прологом, открывшим нить событий, сложивших очень грустную историю. Великие люди своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого родятся потом с необходимостью и осязаемые факты.

Успокоение – вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, – и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту; но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым.

* В ранних произведениях полную аналогию к этой лирике представляют описания природы («как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии» и пр.), всегда напряженные, всегда абстрактные, представляющие только общую панораму, а не собрание частных, из которых каждая дорога и привлекательна. Если сравнивать их с описаниями природы, напр<имер>, у Тургенева, то тотчас можно заметить, что Тургенев видел, знал и любил природу: множество подробностей у него, очевидно, *запало в душу*, и он их *воспроизвел*, хотя, может быть, и бессознательно. В описаниях Гоголя чувствуешь человека, который никогда и не *взглянул даже с любопытством на природу* (см. также и воспоминания о нем разных лиц). Вообще замечательна в Гоголе эта особенность, что он все явления и предметы рассматривает не в их действительности, но *в их пределе*: отсюда поэзия его украинских рассказов, вовсе не похожая на простую действительность Малороссии; отсюда его петербургские повести, «Мертвые души» и «Ревизор», возводящие обыкновенную серенькую жизнь до предела пошлости. С Гоголя именно начинается в нашем обществе *потеря чувства действительности*, равно как от него же идет *начало и отвращения к ней*.

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся к мечте, *растлило* наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем... игру теней в зеркале?

К счастью, в самом творчестве Гоголя есть черты, по которым мы можем, наконец, определить его сущность. Мы возвратимся к частному факту, чтоб уяснить все сказанное и укрепить его, как кажется, непреодолимо. По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклос и Алкид, не похожие ни на что в детском мире – ни действительном, ни опозитизированном. Ведь о *них-то* уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было⁵. И все-таки они – куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры «Мертвых душ». Не вскрывает ли это с очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? «Не мешайте этим приходить ко Мне», – сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и «оплотненных» душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем говорить о какой-то «религиозной высоте», в свете которой знаменитый сатирик судил людей? Если это – высота, то она не имеет ничего общего с тою, с которой смотрел на людей Христос, где лежит Его Евангелие и крест и куда, конечно, должны направляться народы, убегая от всего, что обманчиво блистает для них с противоположной стороны, к счастью – всегда в очень различных точках.

ВОЗВРАТ К ПУШКИНУ (К 75-летию дня его кончины)

27 января 1837 — 27 января 1912 года

Его еще нет, но его так хочется, этого возвращения. Правда, прошел уже

...суд глупца и смех толпы холодной¹, —

который надвигался на Пушкина при жизни и торжествовал свои триумфы в «разливанном море» <18>60-х-<18>70-х годов. Пушкин поставлен на свое место — и место это, первого русского поэта, утверждено за ним. Но это всероссийское признание, торжественное и национальное, почти государственное, — наконец, признание литературное и ученое, — не то, о чем мечтается и что нужно; нужно не *ему*, а *нам*. Хочется, чтобы он вошел *другом в каждую русскую семью*, стал дядькою-сказочником для русских детей, благородным другом-джентльменом молодых матерей, собеседником старцев. Все это возможно. Для каждого *возраста* Пушкин имеет у себя нечто соответствующее, и мысль о разделении Пушкина и отдельных его изданиях «для детей», для «юношества» и для «зрелого возраста» — приходит на ум. Но это уже техника, и мы ее оставляем в стороне. Вот этого «под *кровом домов*» — ужасно мало. «Под *кровом домов*» скорее живут Лермонтов и Гоголь, всякая мельчайшая вещица которых бывает прочитана русским даровитым мальчиком и русскою даровитою девочкою уже к 12 и самое позднее к 15 годам. Между тем как пушкинская «Летопись села Горюхина» или «Сцены из рыцарских времен» неизвестны или «оставлены в пренебрежении» и многими из взрослых. Дивные вещицы из его лирики, как мы неоднократно убеждались из расспросов, из разговоров, — остаются неизвестными или тускло помнятся, с трудом припоминаются, даже иногда корифеями литературы,

не говоря о «людях общества». Пушкин скорее пошел в детальное изучение библиофилов. Вот они спорят и препираются о каждой его строчке. Но эти великие «корректоры текста» скорее мешают введению его под кровы домов. Нет *удобных* изданий Пушкина... Чтоб «взять Пушкина с полки», нужно иметь хороший рост, да и здоровенные руки: академические томы изломают руки, изломают институтке, гимназистке, мальчику. Студент ни за что их не возьмет в руки по «превосходительной учености»; «Петя 11 лет» ни за что не отыщет в десяти толстых томах, с грудями примечаний и вообще ученой работы, «своей дорогой сказочки» о царе Салтане или о работнике Балде. *Ходких изданий* совершенно нет; никакой «Посредник»² над ними не трудился. Нет «Пушкина», которого можно было бы «сунуть под подушку», «забыть на ночном столике», «потерять – не жаль», потерять «с милым на прогулке», сунуть в корзину или в карман, идя в лес по грибы или ягоды. Наконец, нет изданий той чарующей внешности, которые покупаются за обложку. Наши виртуозы обложки, как молодой художник Лансере, которые «возвели обложку к роскоши Шекспира», к «свободе и прелести Гете и Шиллера», – ни разу не коснулись волшебным пером своим «обложки к Пушкину». По-видимому, повинуясь господину всего, заказу, – они украшают обложки совершенно мертвенных и лишь претенциозных поэтов и прозаиков наших дней. Академии и большим издателям следовало бы давно утилизировать талант рисовальщиков в пользу Пушкина и других классиков.

Если бы Пушкин не только изучался учеными, а вот вошел другом в наши дома, – любовно прочитывался бы, нет – *трепетно переживался бы каждым русским от 15 до 23 лет*, – он предупредил бы и сделал невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого, разносторонность его души и занимавших его интересов предохраняет от того, что можно было бы назвать «раннею специализацией души»: так марксизм, которому лет

восемь назад отданы были души всего учащегося юношества, совершенно немыслим в юношестве, знакомом с Пушкиным. А это было именно время, когда шли «академические издания» Пушкина в редакции ученого Леонида Майкова³, когда Лернер собирал свои «Дни и труды Пушкина»⁴ и шел спор о подлинности его «Русалки». Вина этому – и семья наша, где Пушкин решительно не «привился», но отчасти – и солидное Министерство народного просвещения. Оно решительно еще не созрело до Пушкина, находясь на уровне «Былин, собранных Рыбниковым»⁵ и од Державина. Держась метода «всезнания», оно пичкает учеников всех разрядов своими «образцами из всего понемножку», образцами из «Домостроя», образцами из Карамзина, «да не забыть бы хоть двух басен И. И. Дмитриева, как предшественника Крылова»; и когда ученики до-таскиваются до Пушкина, то они до того бывают истомлены «предшествующим курсом», а вместе получили такое основательное отвращение к «попам Сильвестрам и Юрию Крижаничу» (всё область *науки*, а не педагогики), что, присоединив мысленно Пушкина «тоже к Крижаничу», ограничиваются и из него «требуемыми образцами», переходя в восьмом классе гимназии и на первом курсе университета прямо к Леониду Андрееву, как «сути» всего, как сочетавшему в себе «Манфреда», Шекспира и решительно всех. *Гимназия* – далека от задач *учености* и научного отношения к вещам, в том числе – к литературе. Отроческий возраст и возраст первой юности – время эстетики, годы увлечений, а не «ума холодных наблюдений»⁶, которыми его *преждевременно и по-старчески* пичкает чиновное Министерство. Вот если бы этим годам увлечения, да нашего русского увлечения, самозабвенного, даны были «в снесь» всего *три писателя*, только три – Пушкин, Лермонтов и кн<язь> Одоевский, – причем они в семь лет могли бы быть разучены со всем энтузиазмом Белинского, прилежанием Лернера и любовью к минувшим дням Анненкова, – то и дома русские, и общество русское, и несчастная наша журналистика были бы предохранены от тысячи не только ложных шагов, но и шагов грязных, мараящих. Но нашему Министерству

просвещения «хоть кол на голове теши» – оно ничего не понимает. Ну, Бог с ним. Надежда – просто на отцов семьи, на матерей семьи. Пусть они воспользуются принципом педагогики: «не – *многое*, а – *много*». Пусть они предостерегают отрочество и юношество от *литературной рассеянности*: один Пушкин – на *много лет*, вот лозунг, вот дверь и путь.

Пушкин – это покой, ясность и уравновешенность. Пушкин – эта какая-то *странная вечность*. В то время как романы Гете уже невозможно читать сейчас или читаются они с невыносимым утомлением и скукою, «Пиковую даму» и «Дубровского» мы читаем с такой живостью и интересом, как бы они *теперь были написаны*. *Ничего не устарело* в языке, в *течении речи*, в *душевном отношении* автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это – чудо. Пушкин нисколько не состарился; и когда и Достоевский, и Толстой уже несколько устарели, устарели по самой нервозности своей, по идеям, по взглядам некоторым, – Пушкин ни в чем не устарел. И поглядите: лет через двадцать он будет *моложе и современнее* и Толстого, и Достоевского. Как он имеет в себе нечто для всякого возраста, так (мы предчувствуем) в нем сохранится нечто и для всякого века и поколения. «Просто – поэт», как он и определял себя («Эхо»⁷), – на все благородное давший благородный отзвук. Скажите: когда этому перестанет время, когда это станет «не нужно»? Так же это невозможно, как и то, чтобы «утратили прелесть и необходимость» березовая роща и бегущие весной ручьи. Пушкин был в высшей степени *не специален ни в чем*: и отсюда-то – его вечность и общевоспитательность. Все «уклоняющееся» и «нарочное» он как-то инстинктивно обходил; прошел легкою иронией «нарочное» даже в «Фаусте» и в «Аде»⁸ Данте (его пародии), в столь мировых вещах. «Ну, к чему столько», например, мрака и ужасов – у флорентийского поэта? К чему эта задумчивость до чахотки у туманного немца:

...ты думаешь тогда,
Когда не думает никто⁹.

Пушкин всегда с *природою* и уклоняется от человека везде, где он уклоняется от природы. В самом человеке он взял только природно-человеческое, то, что присуще мудрейшему из зверей, полубогу и полуживотному: вот – старость, вот – детство, вот – потехи юности и грезы девушек, вот – труды замужних и отцов, вот – наши бабушки. Все возрасты взяты Пушкиным; и каждому возрасту он сказал на ухо скрытые думки его и слово нежного участия, утешения, поддержки. И все – немногословно. О, как все коротко и многодумно! Пушкина нужно «знать от доски до доски», и слова его:

Над вымыслом слезами обольюсь¹⁰ –

есть завещание и вместе упрек нам – его благородный, не язвительный упрек. Заметьте еще: ничего *язвительного* на протяжении всех его томов! Это – прямо чудо... А как он негодовал! Но ядом не облил ни одну свою страницу. Вот почему он так воспитателен и здоров для души. Во всех его томах ни одной страницы *презрения к человеку*. Если мы будем считать, что у него *отсутствует*, то получится почти такое же богатство, как если мы будем пересчитывать, что у него *есть*. Мусора, сора, зависти – никаких «смертных грехов»... Какая-то удивительно *чистая кровь* – почти суть Пушкина. И он не входит в «Курс русской словесности», а он есть *вся русская словесность*, но не в начальном осуществлении, где было столько «ложных шагов», а в благородной первоначальной задаче. Мы должны любить его, как люди «потерянного рая» любят и воображают о «возвращенном рае»... Но «хоть кол теши»... Оставим. Купите-ка, господа, сегодня своим детишкам «удобного Пушкина» и отберите у них разные «новейшие произведения»... Уберите и крепко закройте в шкаф, а еще лучше – ключ потеряйте. «Новейшие произведения» тем отмечаются, что польза от них происходит только тогда, когда их теряешь, забываешь у приятеля, когда их «зачитывают» или, наконец, когда какая-нибудь несгорающая «Анафема» (Л. Андреева)¹¹ наконец сгорит, хоть при пожаре квартиры.

Ну, довольно. Все это мысли тоже «потерянного рая». К Пушкину, господа! – к Пушкину снова!.. Ондохнул бы на нашу желчь, – и желчь превратилась бы в улыбки. Никто бы не гневался «на теперешних», но никто бы и не читал их...

ГОГОЛЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕАТРА

Литература как *рассказ* и литература как *излияние сердца* глубоко разнородны с театром, который дает *зрелище, представление*. Вот отчего *повесть и стихотворение* с древнейших времен и до нашего времени заняли и занимают почти все поле литературы, словесности, – оставив театру сравнительно малое место у себя. Театр имеет *боковое соприкосновение* с литературой, – *но он глубоко самостоятелен, самороден*. Боковое соприкосновение он имеет также с музыкой и с живописью: ибо театр есть *зрелище* и уже поэтому он есть *картина* или становится в некоторые моменты картиной; и некоторые движения на сцене или некоторые патетические места представления зовут в помощь себе *музыку*, – улучшаются, когда сопровождаются музыкой. Один вид театральных представлений, а именно *балет*, даже и состоит только из музыки и живописи, из ряда музыкальных номеров, сопровождающих ряд сменяющихся немых картин. Все это мы говорим, чтобы утвердить в мысли слушателей то положение, что театр есть *совершенно самостоятельное целое*, имеющее свой *дух*, свои *внутренние законы*, а не есть отдел литературы, не есть одна из форм литературного творчества писателей. К сожалению, театр далек от признания этой полной самостоятельности своего значения и большинство литераторов смотрит на него как на некоторую второстепенную область своего творчества, как на место отдохновения, как на арену похвал себе, как на сферу забав, шутки, веселости. Мы несколько преувеличиваем положение вещей, чтобы ярче подчеркнуть ту истину, которая существует. Уменьшите наши жалобы и обвинения, и вы получите полную действительность.

Такие лица, как Шекспир, Мольер или Островский, – исключение. Это всецело люди театра. И скорее к литературе они принадлежат боковым образом. Но что такое «Плоды просвещения» и «Власть тьмы» около «Войны и мира» и «Анны Карениной» у Толстого? Что такое «Ревизор» около «Мертвых душ» Гоголя и даже «Борис Годунов» около «Евгения Онегина» и стихотворений Пушкина? Как ни прекрасны и полны величия эти драматические создания, сразу же очевидно, что это суть плоды отдыха названных поэтов и художников.

Плодом отдыха, или, вернее, – вторичным помещением в другое место своего богатства, был и «Ревизор» Гоголя, как и его другие более мелкие пьесы, «Тяжба», «Женитьба», «Игроки». Хронологически, правда, они предшествовали «Мертвым душам»: но по существу это те же «Мертвые души», перенесенные на сцену. Тот же рисунок, *та же тема* живописи, один рисуемый сюжет и – ни одной *новой* мысли в «Мертвых душах» сравнительно с «Ревизором» – или в «Ревизоре» сравнительно с «Мертвыми душами».

Мы можем поэтому сказать, что «Ревизор» и прочие пьесы Гоголя суть *первоначальный абрис*, суть *пробные эскизы*, на которых великий писатель пробовал свою силу, в которых он приспособлялся и подготавливал себя к великой эпопее «Мертвых душ». «Мертвые души» исчерпали всего Гоголя и выразили всего его; в этом отношении они свели значение «Ревизора» в положение этюда. Так у живописца Иванова, друга Гоголя, множество этюдов подготавливали «Явление Христа народу». Все это – «предварительное» и до известной степени зачеркнутое главной окончательной картиной. Но, рассматривая их, мы находим, что некоторые этюды до того разительны, вышли до того удачны под моментальным вдохновением живописца, – что стоят выше соответствующих частей большой картины Иванова. В этом их интерес и значение для изучающего художественную личность Иванова; в этом лежит и некоторая их «абсолютная ценность» для зрителя и для истории русской живописи.

Точь-в-точь такое же положение занимает «Ревизор» в отношении к «Мертвым душам».

Рисуется все то же темное, вернее – *грязное*, засоренное и заношенное, русское захолустье, какое рисуется и в «Мертвых душах»... Какая-то «щель жизни», полная мрака, невежества, злоупотреблений, являет для парящего над ней гигантского воображения художника *ряд прежде всего* смешных, забавных сцен и положений, – представляет область сплошного и притом невыразимого комизма. Вот основная сущность всего – та сущность, которая потом повторится в «Мертвых душах». Но в литературе, как и вообще в *искусстве*, гений сказывается не в *теме*, а в *выполнении*, не в «*вообще*», а в *частности*; не в том, что изображает автор, а в том, *как он* это изображает.

И здесь Гоголь, можно сказать, не знает соперничества, великое мастерство его не имеет предела. Один знаменитый германский критик пишет, что первые главы «Мертвых душ» вполне уравниваются совершеннейшим произведениям греческого резца, то есть что его Чичиков, Петрушка, Манилов, Собакевич, Плюшкин – такие же вечные, но только *уничжительные*, фигуры человечества, какие эллинский гений рукой Праксителей и Фидиев воплотил в своих Зевсах, Аполлонах, Палладах, Афродитах, в этих образах *преувеличенной, идеализированной* человечности; что у Гоголя и у тех греков – одно мастерство, одно искусство, одна степень волшебной силы. Вот эта волшебная сила мастерства вложена и в «Ревизора». Хлестаков, почтмейстер, вводное лицо Осипа и все чиновничество маленького городка того времени – вычеканены для русской сцены, для русского зрителя, для всего потомства с таким же изумительным мастерством, с той же *вечностью* и *типичностью*, как Софокл воплотил для всего человечества греческий тип человека и греческий тип жизни в своих Эдипах, Антигонах и Креонах. Мало того – Гоголь дал *школу*, создал *движение на сцене*. Если мысленно мы будем держать в памяти «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери» Пушкина, – то почувствуем, что все последующее движение русского театра продолжало и продолжает Гоголя, а

не Пушкина, продолжает «Ревизора», а не продолжает «Бориса Годунова». Не только весь Островский, но и такие вещи, как «Плоды просвещения» и «Власть тьмы» Толстого, примыкают к «Ревизору». Они изображают то же самое, что изображал Гоголь, и под тем же самым углом смеха и ужаса, под каким он взглянул на сор и темь русской жизни.

Между многими качествами сила Гоголя и власть его над читателями проистекают из изумительного чувства им *русского слова*. Никто так не знал русского слова, не чуял его духа и формы. Можно сказать, *лицо* русского человека он видел под формой русского слова, — как бы *в вуали из слов, речи*. Точно он слышал речь человека или речи множества людей: и так постигал душу слова, что по малейшим вибрациям его безошибочно заключал о личности фигур, о характере и жизни человека и людей. Вот это-то знание слова передано им и в великую комедию. Как у Фидия значаще не то, что он изображал именно «Зевса», то есть — не в теме, а все дело заключалось в том, *как* резец и молоток работали около мрамора, *как* именно *провел он* одну черту, провел другую, — так и у Гоголя в его «Ревизоре» изумительную сторону составляет дух языка, все эти речи, какие говорят Хлестаков или Сквозник-Дмухановский, в *интонациях* речей. *Действия, хода* в пьесе почти нет, — или они, в сущности, глупы; того, что технически зовется «интригой» или «фабулой», — почти нет, или они совершенно не значащи сами по себе. Все дело в фигурах, в изваяниях. Гоголь дал нашему театру изваянную комедию, — но где материалом ваяния было слово, а не мрамор. В конце концов, поэтому его пьеса есть живопись. И к театру он примыкает именно этой стороной, то есть насколько театр имеет боковое соприкосновение с живописью, поскольку он есть в тесном смысле — *зрелище*.

Таким образом, он толкнул русский театр на дорогу жанра, бытового изображения. Здесь он дал нечто несравненное, и здесь лежит его величие. Но здесь же он получает себе и границу. Жанр и быт навсегда останутся *одной из глав* великого театрального мастерства, но не всей книгой театрального искусства. Вспомним Шекспира и его «Гамлета»: это уже не жанр,

это уже не быт. Это – *мысль* и некоторое *вековечное поучение* со сцены. Этого не нужно забывать.

Много ли говорит Осип в «Ревизоре»? – всего один монолог.

– «Веревочку... Давай сюда и веревочку. И веревочка пригодится»...

Так говорит этот изголодавшийся слуга около изголодавшегося барина. И вся Россия запомнила эту «веревочку». Вот что значит дух языка. Осип произносит один монолог о ничего не значащих вещах. Но он *так* произнесен, – слова, им выговоренные, соль этих слов, дух их *таковы*, что Осипа из «Ревизора» все знают, пожалуй, ярче, чем знают и помнят главных действующих лиц многих комедий Островского. Тут – совершенство чеканки, – тут все принадлежит форме, а не содержанию. В содержании – ничего значительного. С мастерством Фидия Гоголь изваял насекомых маленького городка в маленькую историческую эпоху: и эти крошечные бронзовые фигурки, которые могут все уместиться на ладони руки, – их рассматривают и всегда будут рассматривать с удивлением и завидованием более слабые мастера более громоздких созданий.

– «И веревочку подай сюда»...

Так в этой фразе и исчеканился весь человек и вся его голодная, бесприютная жизнь. Именно бесприютная, бездомная, в зависимости от бездомных привычек хозяина. Так умел Гоголь в одной фразе вычеканить всего человека. Поклонимся этому удивительному художнику, поклонимся его гению, украсившему театр наш бессмертной комедией. Пусть это был только предварительный эскиз «Мертвых душ»... Гоголь не жил для театра, и театр не может жить им. Театр может жить только тем, кто сам *весь* и *всю жизнь* живет или жил для театра. Так английский театр весь сплелся с Шекспиром. Так прошла эпоха Островского в истории русского театра. Гоголь положил сюда один цветок... Сцена взяла его с благодарностью. Но она помнит, что это есть более литературное произведение, нежели сценическое произведение; это есть прежде всего *живопись*, а не *действие*. А сцена без действия есть то

же, что тело без души. И театр не может не искать эту свою душу, не может не звать ее, не надеяться найти. Пока наш театр далеко не нашел еще своей души. Он весь в поисках, в тревоге, в ожидании, – и не нужно закрывать глаза на эту действительность.

Сцена призвана не только изображать и осмеивать, она еще может поучать и растрогивать. Она может звать к идеалу, к более утонченному и благородному взгляду человека на человека, к лучшему отношению людей друг к другу. Сцена могущественна: и в пять минут она может взволновать зрителей так, как читателя не взволнует целая книга. Это оттого, что на сцене все *осязательно*, все *очевидно*, что она убеждает не доводом, а *фактом*. Не воспользоваться этим могущественным нравственным рычагом невозможно. И театр должен после Гоголя расти и в *глубину*, и в *ширину*. Он должен давать не только сценки, изображать не только происшествия; он в силах рождать в обществе новые *мысли*, он в силах поднимать бродящие в обществе настроения до напряжения могучей страсти, до пламенной решимости. И один из великих учителей театра, Гоголь, не сказал бы «спасибо» ученикам, если бы они не пошли вперед своего учителя, а все толкались бы на том месте, на котором он стоял. Вещий ум Гоголя этого бы не одобрил. Он благословляет нас из темной могилки в московском Даниловском монастыре идти в новый и трудный путь, в долгий путь.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

Странно, я хочу защитить себя чужим образом, чужою фантазией. Не потому одному, что она – прекрасна, но потому, что она выражает действительное существо дела, и притом с мастерством, к какому я не способен и вообще едва ли способен прозаик. Это – «Морская царевна», стихотворение Лермонтова, которое вместе с «Пророком» составляет два предсмертных его очерка. Тон «Пророка» – суров; не совсем удачен;

напротив, в «Морской царевне» есть нежное и ласкающее, и это совершенно удавшееся поэту стихотворение. Наши дни – дни такой дурной памяти поэзии, что я его приведу почти целиком: начинается оно с описания, как на берег моря пришел царевич, – очень простой царевич очень маленького племени, и, конечно, во времена крайне археологические, – для простой надобности – выкупать лошадь.

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет, и дале плывет¹.

Царевич – не муж, но юноша; неопытный, наивный и, в сущности, очень напоминающий греческого Эндимиона, как и все стихотворение Лермонтова напоминает чуть-чуть эллинский миф о Диане², застигнувшей этого прекрасного спящего мальчика; пожалуй – Иосифа, в его приключении с египтянкою.

Слышит царевич: «Я царская дочь;
Хочешь провести ты с царевною ночь?»
Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелковой узды.
Вышла младая потом голова;
В косу вплелась морская трава.
Синие очи любовью горят,
Брызги на шее как жемчуг дрожат.

Но царевич – совершенный Эндимион, из какой-нибудь Абхазии или Грузии; он на переходе из отрочества в юность, когда еще грубость не растворилась и не разнежилась в лучах внутреннего солнца.

Мыслит царевич: «Добро же, постой!»
За косу ловко схватил он рукой.
Держит. Рука боевая сильна...
Плачет, и молит, и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл, товарищей громко зовет.

Совершенный мальчишка, который и не может обойтись без сверстников, потому что не хочет и не желает ничего еще интимного.

«Эй вы, сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...
Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?..»

Даже отроки смутились, и только он, ротозей, все еще не понимает, что с ним случилось такое. Но наконец и он же начал понимать, что вытащил не каракатицу, а пережил момент *своего* возраста, своей тайны, своей судьбы.

Вот оглянулся царевич назад,
Ахнул, — померк торжествующий взгляд.

Теперь и начинается описание, которое, имея всю красоту фантазии и будучи для Лермонтова случайным, — так *необходимо и лично* многозначительно для меня в моих особенных исканиях:

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом.
Хвост чешую змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит.
Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.
Бледные руки хватают песок.
Шепчут уста непонятный упрек...

Тайна выявлена и — умерла. Она умерла именно в «тайне» своей; и если мы возьмем что-нибудь, куда «тайна» вхо-

дит не побочною, но существенною чертою, даже, может быть, составляет самое ядро дела, — умирает тайный этот предмет, тайное действие, тайная сущность:

Очи одела смертельная мгла.

Что же я хочу защитить этим образом? Хочу им объяснить свою *неудачу*, вот продолжающуюся три года, где самые грубые люди смеются надо мною и говорят: «ничего не видим», «да покажите», и когда я действительно показываю, я показываю что-то «мертвое» на место живого, что билось у меня в руках, что я имел в уме, чего ищу, чего желаю.

Бледные руки хватают песок.
Шепчут уста непонятный упрек.

Как верно! как точно! и — именно специально в отношении к моей теме. Вот три года я задался целью заглянуть в утреннюю зорьку бытия человеческого; я вижу чудные видения, сказочные миры; вижу красоту, неземное. В радости я тороплю день, восход солнца:

«Эй вы, сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя!»

Солнце взошло. Нет сумерек. Совершенный день; я оглядываюсь: не только нет никакой красоты, но — полная ей противоположность, какое-то специальное ее отрицание; почти мистическое безобразие столь же бесспорно здесь днем, как бесспорна была мистическая красота ночью. Чудо. Преображение.

Я начинаю тогда думать, что в этом «преображении» содержится ключ к загадке. Действительно, не *чудна* ли вещь, которая при взгляде на нее, *вашем* взгляде, сама меняется и, в сущности, *скрывается* вся, умирает. Но вы на нее не смотрите, перед вами бегут одни *отраженные* ее лучи — ну,

семья, дети, домашний кров – и вы испытываете умиление. Да, лучи «тайны» могут жить в этом мире; они – наземны или просто земны; и тем еще поразительнее, что она сама совершенно и безусловно при взгляде на нее являет холодное безобразие. И наше безобразие! Особенное, специфическое, невыразимое и которому нет подобного в мире. Именно – нет подобного! Древняя Горгона, это лицо с вьющимися в волосах его змеями, есть прекрасный символ отвратительного и ужасного здесь, и, может быть, создавая аллегорию Горгоны, греки вращались в цикле мысли, в котором бродим мы. Поразительно, что даже животные, для которых есть категории *еды* и *голода* и нет категории *приличного* и *стыдного*, в этом единственном пункте ищут тайны, ночи, сумерек, то есть испытывают то же, как и человек, безобразие при *дневном* здесь свете и при чужом глазе... Стыд... природы! стыдливость... животных! Да ведь «стыд» и «стыдливость» суть тончайшие духовные состояния, и вот в данных точках и секундах они присущи миру, организму! Животные становятся духом – в этих точках. Еще меньше что-нибудь можно понять!

«Отвратительный»... «дух»! Мы входим в область наивных суждений и, так сказать, самоиспуга человечества, который породил исторически всю европейскую так называемую демонологию. Не выходя из пределов одного поэта, мы можем совершенно точно доказать, что по крайней мере у него знакомый и постоянный образ «демона» совершенно тождествен с греческою Горгоною, в том специальном истолковании, какое мы ей дали. Судите сами:

...Розовые шторы
Опущены; с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них,

На кисее подушек кружевных,
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.
То был ли сам великий сатана,
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных –
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью.
Но дух – известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зрение, голос, слух
И мысль без тела – часто в видах разных
(Бесов вообще рисуют безобразных).
Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...³

Вот уже поистине... видение Озириса⁴! Или, чтобы взять ближе и понятнее нам, в пределах арийского же духа, видение «старца Зевса». В самом деле, некогда читая одно из самых ранних произведений христианской письменности, именно «Прощение о христианах» Афинагора-афинянина, философа христианского, я был поражен взятой из Гомера характеристикой Зевса (говорит Зевс сам о себе):

Такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной
В грудь не вливалась мне и душою моею не владела!
Так не любил я, пленяся молодой Иксиона супругой,
Ни Данаей прельстясь, белоногой Акризия дочерью,
Ни владея молодой знаменитого Феникса дочерью,

Ни прекраснейшей смертной пленясь Алкменою в Фивах,
Даже Семелой, родившею радость людей – Диониса;
Так не любил я, пленясь лепокудрой царицей Деметрой,
Самою Летою славной, ни даже тобою, о Гера!

Мы совершенно ясно видим, что в приведенном отрывке «Сказки для детей» Лермонтов начинает рисовать *девятое* возле *восьми* приключений Зевса, вся биография которого в бедном воображении греков (да, *бедном*, не изобретательном) разлагается на ряд торжественных событий. Вдумаемся же в отрывок – не олимпийских мифов, но творчества нашего поэта. Здесь, в «Сказке для детей», спящим Эндимионом является уже не «царевич», но девочка-подросток, дочь петербургского вельможи:

Имел он дочь *четырнадцати* лет;
Но с ней видался редко; за обед
Она являлась в фартучке, с мадамой,
Сидела чинно и держалась прямо.

А роль «морской царевны», *mutatis – mutandis*⁵, переходит к «Мефистофелю», «мелкому бесу», «сатане». Лермонтов сбивался в названиях, и это тем лучше, потому что за всеми названиями в «Морской царевне», «Сказке для детей», «Демоне» мы читаем одно существо дела. В «Сказке для детей» поразительно, что он почти плачет в последних стихах:

...он сиял
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...
И душа тоскою
Сжималась...

Это – в самом деле факт *видения, ощущения*; и мы только у Лермонтова его и встречаем. Но, во всяком случае, совершен-

но очевидно, что он считает «демоничным» – «порыв», характерный на Олимпе и характерный во всей его поэзии:

...очи любовью горят...
Слышит царевич: «Я – царская дочь;
Хочешь провести ты с царвною ночью?»

Тут, в этом стихотворении – так открыто, что неловко списывать, и только авторитет поэта может защитить нас от упреков. Но лицо «порывающегося» и даже мотив порыва и есть – та утренняя зорька, которая видима только при ночном освещении и странно преображается, когда мы ее вытаскиваем к свету грубого дня. Читатель с воображением, читатель с большими историческими сведениями не станет отрицать, что мы верно и точно указываем родник вообще всей европейской «демонологии». Лермонтов ничего не изобрел нового, залепетав: «бес», «Мефистофель», а только повторил бесчисленных германских, французских, испанских, английских старух и старцев, невежд и ученых, крестьян и академиков, которые назвали и увидели «дух», но «гадкий» дух в так занимающей нас теме. И вот, три года возясь около своей темы, я испытываю это же бессилие неосторожного «царевича» и наконец сосредоточиваюсь мыслью на этом самом бессилии, на невозможности при свете дня увидеть живую тайну нашего бытия, нашего рождения... Значит *день, жизнь, мы* – противоположны ей: море и суша. Ведь «царевна» потому и *мертва* на песке, что ее стихия не земля, а совершенно ей обратная стихия моря; и если родники нашего «я», для всей *природы*, для *нас*, для *земли*, для *жизни*, для *целого* здешнего *бытия* просто не переносимы на вид, несносно «гадки», суть «гадкий дух», – то не совершенно ли очевидно, что эта специфическая какая-то гадость и непереносимость и есть свидетельство, почти документ того, что его родная стихия есть не *природа*, не *земля*, не *здесьнее бытие*, и там-то, в своей родной стихии, вид их совершенно обратен нами здесь созерцаемому. Почему *обратен*? Да ведь смерти же обратна жизнь; и безобразию обратна красота, греху – святость. И если

здесь, на суше и земле, мы ощущаем в роднике жизни какое-то чудное «начало греха», «прототип безобразия», то совершенно очевидно, что, лишь уменьшая их, получая «немножко греха» и «немножко безобразия», мы, так сказать, доводим «царевну» до разграничительной между землею и морем черты, но вовсе не ввергаем ее еще в пучину соленых волн. Нуль греха и безобразия – это «ноги в воде и голова на суше»; но ведь есть мир, и именно совершенно потусторонний, где она развится в полной жизни, как и описал Лермонтов в другом стихотворении:

Там рыбок златые гуляют стада.
Там хрустальные есть города⁶.

Не умею выразить; нет средств математически доказать; да, может быть, потому и нет средств, что мы вошли в круг бытия, где математика не применима и логика бездейственна. Но *догадки* – есть; но *анalogии* – все указывают на то, о чем мы говорим, а именно, что так называемый «тот свет» не за тридевять земель от нас лежит, но всякое бытие имеет в себе самом по-ту-светную сторону, носит ее с собою, вероятно, живет ею и во всяком случае из нее рождает живое, а другую по-сю-светную стороною он виден нами, рационален для нас, математичен для нас; это – сторона его гражданства, его законов, его общественной и всякой жизни, кроме семейной... Никак нельзя сказать, что «дух государства», «дух политики», «дух публицистики» равноценен и равнокачествен «духу семьи». Мы берем образцовое государство и образцовую семью. Никак не скажешь: «святая Спарта», «святая римская республика». Не идет. Не правдоподобно: как-то смешно и неудачно. Но «святая семья» – это идет, это уместно; это не вызывает улыбок и иронии.

Младенец – вот еще самый *читаемый* луч трансцендентного царства: никак его не сочинишь; из каучука не сделаешь; не вылепишь штемпелем. Младенец «рождается», и таинственная «зорька», которую никак не перетащишь *живую* и в *своем образе* к дневному свету, просто разрешается

в «рождающемся младенце». Замечательно, что нет двух людей, между собою тождественных, и «родиться» всегда значит ниспасть на землю *совершенно новым и небывалым существом*. Новый житель приходит в мир. Как мы можем сказать, что он вылеплен из стихий мира и, так сказать, механическим каучуковым способом? Тогда бы именно люди были одинаковы, но в каждом из них свой свет и своя душа. Откуда это? Таинственная «зорька» разрешается собственно в мириады индивидуальностей, индивидуальных совестей, индивидуальных сердец, индивидуальных умо-устроений: то есть она бесконечная совесть, бесконечное сердце, бесконечный ум. Как хотите, а этого нельзя ни оспорить, ни перетолковать. Младенец есть плод сочетания полов, в простом и натуральном их факте, независимо от всяких «слов», какими мы его окружаем. Младенец есть «натура», и он есть «священство», то есть он есть «священная натура» и часть «священной натуральной истории». Опять перед умом апокалипсические животные, и между ними «лице как бы человеческое», среди трех, вовсе не человеческих. Да ведь и пророк Иона не пренебрег чревом китовым, и в состав Бытия чуда, чуда с этим пророком, взята смиренная земная тварь.

Но мы вернемся к человеческому младенцу; сочетание полов и, следовательно, полосношение – вот бесспорный трансцендентный мир, «мир иной». Оговоримся, что здесь имеет значение не какая-нибудь территория, формы, части (все бесконечно разнообразится в мире животном и растительном), а самая тайна мужа, как бы *мужественности*, и жены, как бы *женственности*. Вот два *душевных* качества, так явно зависящие и текущие из пола. Какая-то нега мира, и суровый в нем «покров». Как отец не похож на мать; но оба необходимы и даже немыслимы один без другого. Ласка и закон, «заповедь»; но около заповеди – непременно прощение. «Через семя жены будет прощен грех миру». Какая правда! какое объяснение материнства в мире и его особой миссии. Материнство – забота, материнство – ходатайство; истинно «святой» дух, и не хотим другими словами определять. Право, давно бы следова-

ло все тюрьмоведение да и все больницы вверить и передоверить — контингенту вдов и женщин. Их природное царство. Но оставим политику, ибо мы исследуем лучшее: природу вещи, таинство вещи. Бабушки целой Европы прогудели, что «мesto сие нечисто», что тут «нечистая сила»: и опять до чего, в самом деле, объясняется европейская демонология. Характер «силы», то есть неодолимого к себе притяжения, которому не умеет противиться ничто живое, присущ таинственной «зорьке»; и, как мы уже объясняем, потребованное к свету дня, «вытащенное на песок морской», существо пола в его, так сказать, территориальных очертаниях представляется характерно и специально «не чистым». «Не чистая сила»: как это точно, как это верно во впечатлении. Но «рождается чудный младенец», мать берет его на руки, прикладывает к груди: какое рассеивание недоумений, или, точнее, какое ужасное сомнение именно о характере «нечистоты» и ужасный порыв все прежнее здесь похерить и объяснить в том новом смысле, как мы сделали. Все казалось и кажется на сем свете обратным тому, как есть в самом деле на том свете:

Едет царевич задумчиво прочь,
Будет он помнить про царскую дочь.

Да, это удивительно, что, кроме намека и иносказания, аллегии, жеста, и нет других способов говорить и объяснять в этой области. Отсюда поэзия, то есть аллегория, окружила эту сферу; вероятно, отсюда же возникли мифы. Ведь они все витают на границе трансцендентного и земного, таким образом они разлагаются или, точнее, в них разлагается один акт или один феномен, но непременно пола, на трансцендентную и земную сторону, как это и есть в самом деле. Кажется, Семела или кто-то сказала Зевсу: «Дай мне взглянуть на тебя». — «Ты не можешь увидеть меня и не умереть», — отвечал греческий Мефистофель. Какая истина: чтобы увидеть по-ту-светное, собственно нужно перейти в «тот свет», то есть умереть; и ведь это почти то же самое, что, прямо

и непосредственно взглядывая на *тайное существо* «Зевса», видишь мертвеца, труп, тление:

Шепчут уста непонятный упрек.

Но как хорошо в своем стихотворении уловил Лермонтов этот секрет соотношений; истинный «vates», то есть «пророк» в древнем смысле. И он всегда собственно пел одно и то же, была у него одна песенка, но золотая, «залетная». Но как хочется кончить выдержкой из Афинагора-афинянина; перед тем, как привести характеристику Зевса, он пишет: «И как много нечестивых бредней рассказывают Гомер и другие! Уран оскопляется (NB: поразительный миф, если принять в соображение тенденции к оскоплению наших идей), Кронос (= «время»: «и времени больше не будет», клянется Ангел в «Апокалипсисе») низвергается в тартар, титаны делают восстание, Стикс умирает в битве; даже влюбляются друг в друга, влюбляются в людей. Подлинно боги они, и не коснется их никакая страсть!.. Если бы Бог по божественному домостроительству и принял плоть, и тогда разве Он уже есть раб похоти?» Следуют приведенные выше стихи о Зевсе, которым подводит итог древний апологет: «Говорящий так о себе (то есть Зевс) получил начало бытия, подвержен тлению и ничего божественного не имеет».

Так, если мыслить Зевса как «шестивершкового солдата», то есть как человека определенного возраста и положения, пусть даже олимпийского, но Лермонтов поправил:

...дух – известно, что такое дух:

Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела – часто в видах разных
(Бесов вообще рисуют безобразных)⁷.

Вот эту-то «мысль без тела» и нужно было выразить как-нибудь грекам. Географы, придя на Олимп, не нашли там

никого и заключили, что не только приключение Зевса, но и сам «царь богов и людей», или, что почти одно и то же, царь полубожественного, получеловеческого, – есть смешной и недостойный вымысел. Правы географы, но не ошибались и греки. Да Зевс – это «я» и трансцендентное в моем «я». Соберите ученых всего мира и разгадайте мне мое «я», бессильны будут. В «я» есть феномен – и его они измеряют, сочтут, выварят в реторте, разложат в колбе на «газы», «жидкости» и «минералы». Но вот одного они и не уловят, и не опишут, и не разгадают: как я родился, как я рождаю. Это-то и есть трансцендентная моя сторона, а вместе это есть и объяснение, почему у греков Зевс вечно и только рождает. Мифология и наука складываются в удивительно ясную, читаемую страницу. Загадка – одна: и только разгадки ее разны, и есть, конечно, менее удачные, есть более плохие. Греческая – не из гениальных, но «так себе историйка», «не хуже других».

О ДОСТОЕВСКОМ

(Отрывок из биографии,
приложенной к собранию сочинений
Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»)

I

Теперь, когда с номерами «Нивы» полное собрание Достоевского будет разнесено по самым далеким и укромным уголкам России, действие его на умственное и нравственное развитие нашего общества получит наконец те размеры, к каким оно способно по внутренним своим качествам, без всяких внешних задерживающих обстоятельств. Толпа слушателей, какую только может пожелать себе мыслитель или художник, невидимо, неосязимо собрана: что скажет он ей – в этом и ни в чем другом теперь весь вопрос. Невольно является смущение при мысли: что же в немногих строках,

в краткие минуты, какие мне уделены на то, чтобы сказать этой толпе об этом писателе, *следует* сказать?

Что нужно ей от писателя? Зачем, отрываясь от насущных дел, забот, иногда обязанностей, читатель берет книгу и уединяется с нею – уединяется в себя, но зачем-то в сообществе с человеком, давно умершим или далеким, которого он не знает и, однако, в эти минуты уединения предпочитает всем, кого знает? Какой смысл в книге, в чтении? Наслаждение ли? Но в непосредственных созерцаниях, в реальных ощущениях действительности оно может быть всегда ярче. Красота ли? Но разве для нее уединяется человек? Он уединяется, чтобы, на минуту оторвавшись от частных, от подробностей своей жизни, своих тревог, обнять их в целом, понять эту жизнь в ее общем значении. Что скажет, что может сказать он *обо мне* самом и обо всем, что так тяготит меня и смущает в жизни, – вот вопрос, который определяет выбор нами того, кого мы зовем с собою в уединение, или книги, какую избираем. «Помоги мне разобраться в моей жизни, освети, научи» – вот самая серьезная мысль, с какою может читатель обратиться к писателю; думаем даже, что это есть единственная серьезная мысль, на которой может истинно скрепиться их общение. Вне этого, вне отношения писателя к нашим индивидуальным тревогам, заботам, опасениям, празден смысл самого чтения, незначаше появление книги, мишурно все, что в необъятных размерах мы называем литературою и чем любимся или гордимся как народ, но можем гордиться и любоваться с правом тогда лишь, когда она удовлетворяет только что определенной нужде.

В индивидуальном – основание истории, ее главный центр, ее смысл, ее значительность: ведь, человек, в противоположность животному, всегда *лицо*, ни с кем не сливаемое, никого не повторяющее собою; он – никогда не «род»; родовое – в нем несущественно, а существенно особенное, чего ни в ком нет, что впервые пришло с ним на землю и уйдет с нее, когда он сам отойдет от нее в «миры иные». Не от этого ли и попытки дать философию истории в смысле законов исторического развития всегда были напрасны: ведь эти законы, если

они и есть, обнимают самое незначущее в истории; в противоположность природе, где, обнимая родовое, общее, – они обнимают существенное. В Цезаре, в Петре, в тебе, читатель, и во мне, который пишет эти строки, разве главное – то, в чем мы не отличаемся от всех других людей? Как главное в планетах – конечно, не их разное расстояние от солнца, а фигура эллипсиса и законы, повинаясь которым они по этой фигуре все одинаково движутся. Здесь – тайна безуспешности науки и философии понять человека, его жизнь, его историю; тайна безуспешности их истинно в ней наставить, просветить; и, к удивлению, проблески истинного знания о себе, какое человек почерпает в областях, ничего общего с его умствованиями не имеющих, – в религии и в высоком искусстве. Они не знают законов и не ищут их; но, не находя их, не находят только несущественного; они обращены к сердцу человека, всегда говорят его лицу – главному, что есть в нем; и, зная это сердце, проникая в самые его сокровенные движения, говорят этому лицу с глубочайшим знанием, какого только может он допытываться о себе самом. Вот где понятная нам, уразумеваемая в истории сторона значительности религии; вот где тайна, почему так прилепляется человек к высокому искусству – первое любит его в истории, с последним им расстается, обращается к нему в тревожные и светлые минуты своей жизни.

Как, однако, художник достигает этой силы научения и в чем, вообще, значение гения в истории? Не в другом чем, как в обширности духовного опыта, которым он превосходит других людей, зная то, что порознь рассеяно в тысячах их, что иногда скрывается в самых темных, невысказывающихся характерах; знает, наконец, и многое такое, что никогда еще не было пережито человеком и только им, в необъятно богатой его внутренней жизни, было уже испытано, измерено и оценено. Можно сказать, что в то время, как другие люди по преимуществу только *существуют*, гений – по преимуществу *живет*: *то есть* он никогда не остается все тем же, разные душевные состояния слагаются в нем и разлагаются, миры созданий проходят через его сердце – и все это без сколько-нибудь прочно-

го, уловимого отношения к действительности. Посмотрите на великих художников, поэтов: разве жизнь их особенно богата событиями, разве поле их наблюдения так особенно превосходит наше? И, однако, какое необъятное множество лиц, положений, движений сердца, просветлений человека и падений его совести отражено в их произведениях. Как узко поле их фактической жизни сравнительно с полем какой-то другой жизни, где все это они видели уже, все поняли и, поняв, по одной черте сходства определяют характер и судьбу реальных явлений их окружающей действительности. Высокий поэт или художник есть всегда вместе и провидец; и это потому, что он уже *видел* многое, что для остальных людей остается на степени возможного, что для них только будущий вероятный факт. От этого, посмотрите, как много встревоженного в лице их, когда так мало причин для этих тревог в действительности; какой перевес в задумчивости над другими людьми, когда предметов для нее у них вовсе не более, чем у остальных людей; и еще более удивительный, столь же общий факт: какая растерянность среди практической жизни, рассеянное невнимание к ней. К чему же, на что, не отрываясь, устремлено это внимание?.. Но если все, что мы сказали, действительно так, то как не искать нам в самом деле научения у того, кто столь превосходит нас опытом и, следовательно, плодом его – мудростью?

Какая же мудрость заключается в произведениях, лежащих теперь перед читателем? В чем духовный опыт творца их? На что главным образом было устремлено его внимание?

II

Три момента мы можем различить в душевном развитии каждого человека, пожалуй, всякого народа и целого человечества. Не все они переживаются каждым, развитие может быть не окончено у индивидуума ли, у народа или даже у целой их группы, слагающей совокупную жизнь обширный цикл истории. Но всегда, когда это развитие полно, оно протекает три фазиса: непосредственной первоначальной ясности, паде-

ния, возрождения. Есть целые эпохи истории, которые выражают собою только один который-нибудь из этих моментов; так, жизнь некоторых людей, которым мы удивляемся, которых понять не можем, является утверждением и развитием подобного же единичного момента. В обоих случаях, однако, это суть только части цельного процесса, однородность которых объясняется из совершенной их противоположности с другими смежными частями. Все, что, рождаясь, достигает естественного конца и вместе одарено высшим сознанием, не может избегнуть ни одного из этих моментов.

Если, однако, мы всмотримся в их соотношение, то увидим, что в наблюдаемой действительности средний момент чрезмерно преобладает над остальными двумя. В истории падение, преступление, грех – это центральное явление*, в нем бьются бессильно индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своею оно задевает, наконец, и высокое искусство. И между тем смысл этого момента только отнесенный: преступное, греховное – это преступное против чего-то, что ранее ему предшествовало и было лучше его; это падение, от которого нужно подняться к чему-то, вновь возродиться. Этим значением своим, обращенным к прошедшему и будущему, он указывает на другие два момента, которых, однако, только просвет, только краевое сияние мы наблюдаем в текущей действительности и истории; и вот почему их яркое выражение, полное осуществление человек переносит за границы им проходимого на земле бытия – к своему доземному

* Мы говорим «центральное» по тем усилиям, по той степени внимания к себе, какой требует грех, преступление, вызывая на борьбу с собою религию, законодательство, поэзию. Но не следует забывать, однако, что в них содержится отступление от нормы, и в жизни норма естественно преобладает над своим исключением, *не возбуждая к себе, тем не менее, нашего внимания*, не вызывая ужаса, удивления, сожаления, – и потому как бы затеняется в своей значительности пороком. Какой-нибудь всемирно известный пример, взятый хотя бы из поэзии, лучше всего пояснит нашу мысль: Гретхен (в «Фаусте») раз только согрешила, долгие годы она была беспорочна – и *долгие* годы были забыты ее окружающими, неприпомнены: ими помнится и *нам* внушает горесть, вызывает на размышления день только ее падения. В судьбе ее – он центральный, не будучи центральным по времени, преобладающим по положению в ряду других фактов ее жизни.

существованию и послезагробному. Мысль о бессмертии своей души, так трудная, так непостижимая, не только постигается человеком, но и становится неотделимою от его сознания, как только он глубоко погружается в смысл греха, и еще более, когда он погружается в него не мыслью одною своею, но всею природою – когда он глубоко греховен, преступен. Нет человека, кто бы он ни был, как бы ни был он полон отрицания, сомнения, который, преступив какой-нибудь коренной закон своего существа, в меру того, как преступил, – не почувствовал бы тотчас, как напрасны были все его верования, что с землею для него кончается все; нет народов, которые на исходе своего исторического труда, и труда серьезного, не были бы проникнуты этим же убеждением. Только в светлые, юные моменты жизни своей народы ли или отдельные люди равно бывают далеки от этих идей: рождаясь и умирая в том краевом сиянии, о котором мы упомянули, они думают, что им, этою смесью относительной темноты и относительного света, исчерпывается все возможное бытие. Как бы то ни было, но в законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком постигается главная истина его бытия, содержится условие перехода его к утверждению этой истины в своем сознании и жизни; сущность греха такова, что она предполагает возрождение:

Чем ночь темней – тем звезды ярче,
Чем глубже скорбь – тем ближе Бог¹.

В этих двух стихах – смысл всей истории и история развития тысяч душ.

Проникновение в закон этот, и не только умом своим, но сердцем, совестью, – составляет особую, ни с кем не разделенную сферу духовного опыта Достоевского. Можно сказать, что, в то время как другие великие художники, его современники (Гончаров, Тургенев, Островский, гр<аф> Л. Толстой), заняты были воспроизведением первого момента – это было великолепное рисование общества и народа в его исторически сложившемся быте, в его непосредственной ясности, – все его

произведения посвящены изображению момента второго и указанию из него выхода. В этом последнем указании – объяснение особого характера его романов, повестей, все зовущих куда-то или грозящих, хотя, по-видимому, они только изображают, рисуют. Он кончил «Дневником писателя» – субъективной формой беседы ли с собою или, как в данном случае, обращения к окружающим²; страницами этого дневника, в сущности, были и все его романы, повести, с однообразным колоритом, на всех их лежащим, одним языком, которым говорят все лица. Это относится к форме его творчества; напротив, если мы обратимся к главному в нем, к содержанию, мы и самый «Дневник», и все остальные произведения поймем как обширный и разнообразный комментарий к самому совершенному его произведению – «Преступление и наказание». В романе этом нам дано изображение всех тех условий, которые, захватывая душу человеческую, влекут ее к преступлению; видим самое преступление; и тотчас, как совершено оно, с душою преступника мы вступаем в незнакомую нам ранее атмосферу ужаса и мрака, в которой нам почти так же трудно дышать, как и ему. Общий дух романа, неуловимый, неопределимый, еще гораздо замечательнее всех отдельных поразительных его эпизодов: как – это тайна автора, – но он действительно подносит нам и дает ощутить преступность всеми внутренними фибрами нашего существа; сами мы ведь не совершили ничего и, однако, окончив чтение, точно выходим на воздух из какой-то тесной могилы, где были заключены с живым лицом, в ней похоронившим себя, и с ним вместе дышали отравленным воздухом мертвых костей и разлезающих внутренностей. Колорит этого романа и уже затем эпизоды его, весь он в своей неразрывной цельности – есть новое и удивительное явление во всемирной литературе, есть одно из глубочайших слов, подуманных человеком о себе. Возрождение – здесь только издали показано нам; «его история должна бы составить новый роман...» – никогда не написанный; мы и в других произведениях Достоевского имеем все только этот же колорит; дышим все тою же атмосферой душевного ужаса и мрака; среди него

играют лучи ослепительного света, также ниоткуда еще нам не известной душевной чистоты и светлости. Вот все, что мы у него находим; но ведь это и *все*, чем в глубочайшей сущности исчерпывается человек и его земное странствие. Прочее – за гробом, прочее – в ожидании, в надежде; да и могли ли бы мы, в этой брэнной оболочке своей, в этих земных условиях, надолго вынести этот ослепительный свет? Умереть, узнав о себе окончательную истину, это так естественно, почти необходимо; для чего бы еще жить, мястись душою, изменяться, когда самого условия для этого, неведения, – нет более?

Зов к этому свету, к этому выходу – вот что составляет второй момент в деятельности покойного писателя, то, что так поверхностно, так не глубоко, приравнивая к *своему*, звали его «публицистикой»; о, конечно, это было обращение, но уже почти не к читателю, а к *ближнему* своему, которого он предостерегал, которому грозил, от которого требовал. Да, это был, если уж нельзя отвязаться от неприятного слова, всемирно-исторический публицист, интересы которого были вне своего дня, зов которого был обращен к векам и народам, взор – устремлен в вечность. Нет, это ошибка сказать, что он был «публицист <18>60–70-х годов»; к этим ли годам относится «Легенда о Великом Инквизиторе»³, к ним ли – изображение будущего атеистического состояния людей (разговор Версилова со своим сыном в «Подростке») или «Сон смешного человека»⁴? Конечно, не более к ним, чем и к цельной всемирной истории, возвести к глубочайшему смыслу которой свой преходящий момент – вот что составляло его задачу и что сказать о нем – значит действительно определить его значение. Печать эпохи его, встревоженной, мятущейся, лежит и на его взволнованных трудах; к счастью, однако, он уберется от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы – и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность, возвел ее к вечному смыслу и значительности. <18>60–<18>70-е годы почти уже умерли в своем *точном* и *ограниченном* смысле; не так уже смотрим мы

на дела их и речи, многое растеряли из них и не особенно дорожим оставшимся; еще всплеск исторической волны, и все будет залито там; но какое время, какие новые заботы, более высокие созерцания зальют бессмертные страницы «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», где все, что *было* в то время, что на минуту условно и ограниченно *мелькнуло* в ту эпоху, – в гениальном уме их творца взошло на вечное *есть*, стало для всех времен неумирающей *их* тревогой?

Все остальные черты в творчестве Достоевского, нередко выставляемые как главные, составляют только детальную разработку этой основной темы. Неутолимое страдание, нищета, разврат – что так широко разлито на его страницах – это только гноище, на котором по закону необходимости вырастет преступное; искаженные характеры, то возвышающиеся до гениальности, то ниспадающие до слабоумия, – это отражение того же преступного в человеческих генерациях, наконец, это борьба с ним человека и бессилие его победить. Среди хаоса беспорядочных сцен, забавно-нелепых разговоров (быть может, умышленно нагроможденных автором) – чудные диалоги и монологи, содержащие высочайшее созерцание судеб человека на земле: здесь и бред, и ропот, и высокое умиление его страдающей души. Все в общем образует картину, одновременно и изумительно верную действительности, и удаленную от нее в какую-то бесконечную абстракцию, где черты высокого художества перемешиваются с чертами морали, политики, философии, наконец, религии, везде с жаждой, скорее потребностью не столько передать, сколько сотворить или по крайней мере переиначить. Удивительно: в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся – создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени. Все подробности здесь – *наше*; это – *мы*, в своей плоти и крови, бесконечном грехе и искажении говорим в его произведениях; и, однако, во все эти подробности вложен не наш смысл или по крайней мере смысл, которого мы в себе не знали. Точно кто-то, взяв

наши хулящие Бога языки и ничего не изменяя в них, сложил их так, так сочетал тысячи разнородных их звуков, что уже не хулу мы слышим в окончательном и общем созвучии, но хвалу Богу; и, ей удивляясь, ее дичась, — к ней влечемся.

III

Мирозерцание народное, как общая *почва*, на которой может единственно правильно возрасть всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая, — как фундамент и ряд звеньев, на который налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться, — вот вкратце формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю. Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и др.). Это так называемая школа *славянофилов* — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. Правильнее было бы назвать ее школою протеста психического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, — протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной сознания критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: начало гармонии, *согласия* частей, взамен антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, положений, классов, в противоположении церкви государству; начало *доверия* как естественное выражение этого согласия, которое при его отсутствии заменилось подозрительным подсматриванием друг за другом, системою договоров, гарантий, хартий, — конституционализмом Запада, его парламентаризмом; начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и

нравственною стороною своею, полнотою своего существа; наконец, в церкви – начало *соборности*, венчающая все собою любовь, слиянность с ближним – что так противоположно римскому католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не организующим в себе жизнь духа, – и не похоже также на протестантизм, который, отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала внутреннего согласия, кинулся в разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его «мирском» владении землей, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной власти, безусловно свободной в своих решениях, но и зато прислушивающейся без страха к свободному же выражению боли, страдания, к голосу «земли» (народа), – начала эти обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примиренную, нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация. Славянофильская школа, долгое время гонимая официально и пренебрегаемая нашим темным обществом, только в последнее время получила если не в жизни (все еще текущей по инерции в прежнем направлении), то в сознании лучшей части образованных кругов России свое признание и торжество. И ничто не способствовало этому в такой мере, как распространение Достоевского; его творения, всюду читаемые, его речь на Пушкинском празднике – это такие памятные слова, которые не могли не врезаться в мысль каждого; и с ними – новые начала сознания, внесенные славянофилами, стали печатью в душевном складе каждого, только более или менее мешающеюся с другими, но никогда и ни в ком не исчезающею. «Правда народная» получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был ее Аароном, и речь его потому именно звучала так твердо, что он чувствовал за собою несметные народные толпы, которые, не будь они немые, заговорили бы то именно и так именно, что и как говорил он.

IV

Биографические черты, чрезвычайно значащие для объяснения душевного склада самого Достоевского, мы находим в четырех его произведениях – в «Игроке», в «Униженных и оскорбленных» (и его прототипе – «Белых ночах»), «Идиоте» и в «Записках из подполья». Можно сказать, что повсюду в письмах, в воспоминаниях, в самом художественном творчестве он является с чертами которого-нибудь из главных выведенных здесь лиц: как *теоретик* – это человек угрюмого подполья, гениальный диалектик, недоверчивый и презирующий людей, и в то же время ненавидящий действительность; как журналист, как человек своего времени, отчасти как член общества – это задушевный, простой, измученный своим сердцем и нуждою друг Наташи («Униж^{енные} и оскорбл^{енные}»); в своем дурачестве, пренебрежении к жизни, к будущему, в своей вульгарной стороне – это «Игрок». В «Идиоте» отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной степени то, что каждый поэт зовет своею «музою». «Преступление и наказание» – самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение Достоевского, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен как личность. Но «Идиот» – это было его любимое создание; кажется, – самое свободное, наименее связанное с волнениями текущей действительности. Странный колорит лежит на этом романе; все фантастично здесь, и, вместе, как будто это фантастическое – звездный, мерцающий свет, падающий на серую нашу действительность из далекого, далекого будущего. Колорит этого романа, но уже с чертами более ясными и поразительными в своем смысле, повторяется в двух только произведениях: «Сон смешного человека» (в «Дневнике писателя»), и в разговоре Версилова с «подростком» (см. «Подросток»), и, отчасти, в знаменитой Пушкинской речи. Аскетизмом, чистотой и высшим духом примирения и со

страданием человека, и с его бедностью духовною веет от всех этих произведений, глубоко однородных и представляющих как бы антитезу мучительно-беспокойным созданиям вроде «Записок из подполья», «Pro и Contra»⁵ и «Легенды о Великом Инквизиторе»; это – рафаэлевские черты, это – его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микеланджело.

В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнения, что в натуре своей, тревожной, мятущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойным и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему, сближаясь с Гоголем и, еще далее, быть может, с Лермонтовым; с тем различием, однако, что он вечно жаждал успокоения, как те, тревожась, искали новых тревог. Пушкин был для него этим успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего сберегателя от смущающих идей, позывов – всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог. Этим сберегателем, он чувствовал, Пушкин может стать и для каждого; может стать им, наконец, для народов, и особенно в моменты великих внутренних тревог, в которые, по-видимому, все они более и более входят. С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотические начала человеческой души; они улегаются от нее, противоречия смолкают, сомнения и темные помыслы отходят далее; его муза – как арфа Давида: она и невыносима для нашего слуха, но, если бы мы могли ее вынести, принять в свое сердце, в ее звуках нашли бы успокоение для своей души. Вот невысказанные и, быть может, не сознанные основы великой любви творца «Легенды об Инквизиторе», «Pro и Contra» к творцу «Онегина», «Капитанской дочки»; создателя образов Свидригайлова, Карамазовых – к создателю Татьяны, летописца Пимена.

Во всем этом есть, однако, некоторая ошибка, скорее иллюзия, и она сказалась в знаменитой Пушкинской речи⁶: этот экстаз, этот призыв к всемирному братству, этот вопрос об единичной человеческой душе, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое окончательное счастье, – разве это пушкинское? Разве это его покой? Разве это покой

какой-нибудь? Пушкинское осталось в безграничной дали, отделенное от слов этих беспросветным хаосом, из которого, однако, душа великого художника имела силы подняться к новому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естественный, эпически ясный? Это – *просветление, возрождение*; это уже свет другой и по происхождению, и по природе, и по его влиянию на человеческую душу. Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского; здесь были слезы, кажется мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения – там был восторг, но кто же «едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»⁷... Мы хотим сказать, что не в слушающих только, но и в сердце, из которого лились эти проникновенные слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какою жили и дышали люди пушкинской эпохи; то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

V

«Карамазовщина» – это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название «обломовщина»; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в «карамазовщине». Не правильнее ли будет думать, что «обломовщина» – это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он – детски чистый, эпически спокойный, – в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; «карамазовщина» – это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов – найти наконец эти последние и подчиниться им. Главы «Братьев Карамазовых» – «*Pro* и *Contra*» и «*Великий Инквизитор*» – центральные не только

по отношению к роману, в котором они содержатся, но и по отношению ко всему длинному ряду произведений Достоевского, который можно рассматривать как предварительные, неясные и неполные вариации мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти без связи с самим романом, в этих главах, по времени написания – почти предсмертных. Гений писателя поднимается здесь на высоту, на которую еще не восходил до него никто в художестве: в чудной сцене, где представляются, в узком подземелье, вновь сведенными Христос и человек, – Бог принимает исповедь от твари своей за все тысячелетия ее страданий, смрада, греха и могучих и напрасных усилий превозмочь это. Было бы затруднительно в целой всемирной литературе найти какие-нибудь аналогии этой сцене; чтобы отыскать их, нужно обратиться к памятникам письменности совсем другого рода. Это опять пред нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль проникновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб. Событие тесное, частный эпизод в земле Уц⁸, с похищенными стадами, потерянными детьми, – как будто раздвинулось в необозримую панораму всемирной истории, сохранив, однако, свой смысл и имея для себя тех же виновников. Только положение этих виновников взаимно переместилось, – и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые века внесли в смысл сетований, столь древних: дерзкий вопрос уже не находит себе ответа, спрашивающий – до конца спрашивает, и, наконец, мы не различаем, *кто же* именно спрашивает? Граница между человеком и искушающим Бога дьяволом исчезает, их образы сливаются, смысл их слов становится тождествен, и весь эпизод получает невыразимо тягостный смысл. Нет более праведного Иова, и не будет для него утешения; есть Иов другой, без утешения, без веры, который так же покрыт проказой, на том же сидит гноище, но уже без какого-либо смысла своего страдания только ощущающий его боль и ропот которого переходит в темный хаос слов. Вера ли это? Безверие ли? Какой окончательный смысл сцены?

Его договорит история – мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история к нашему многозначительному и тревожному моменту.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Заметки и наброски

В № 35 «Нивы» за 1898 г. приложен снимок с бюста гр<афа> Л. Толстого, выполненного И. Я. Гинцбургом, и тут же в маленькой статье объяснено, что 28 августа этого года автору «Войны и мира» минуло 70 лет. Бюст замечательно хорош; скульптура тем совершеннее и выше живописи, что схватывает и выражает идею предмета (или вещи), а не ее состояние; не штрихи в ней или сбегаяющие и набегающие тени. Живописец берет вещь в ее целостности; имея серию красок, а главное – такой тонкости переливов, и имея такое послушное орудие в руках, как кисть – он рисует не только лицо, но и пылинку, которая села на это лицо и о которой он не знает, принадлежит ли она лицу или внешней природе. Скульптор беден средствами, это монотонный мрамор или монотонная бронза; самое орудие его, резец, не так послушно; нужно усилие, чтобы выдать черту. Ваятель сосредоточивается, напрягается; уловив одно и главное – он разливает это на все подробности предмета, и мы получаем его мысль, как бы окаменевшую в веках и для веков.

Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают вам недоговоренное в «полном собрании сочинений». Самая, напр<имер>, поза Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека; в Тургеневе за писателем вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов или вечером у камина, после охоты – что-нибудь рас-

сказать. Быт, манера, воспитание, привычки – все это, как-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо, и последнее получило ту сложность и глубину, которую вы никак не покроете кратким и оголенным, в сущности, одичалым термином: «интеллигентный». Тургенев – «интеллигентный человек», у Тютчева – «интеллигентное» лицо: какая профанация! «Интеллигентность» – это, правда, нечто «духовное»; но это – бедно-духовное; это – бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство, начинающаяся «барковщина» в поэзии. Но мы отвлеклись. При взгляде на бюст Гинцбурга невольно подумаешь: именно такого прекрасного лица еще не рождала русская литература. Коренное русское лицо, доведенное до апогея выразительности и силы; наша родная деревня, вдруг возросшая до широты и мер Рима. Конечно, – как прообраз, как штрих, коему через немного лет сбежать в могилу, укрыться стыдливо под землю, как преждевременному еще явлению; но если когда-нибудь настанет время (если только оно настанет), что русский голос заговорит миру, – то по этим прекрасным чертам мы можем приблизительно догадываться, какое будет, как сложится, как выразится это грядущее и русское, и одновременно уже мировое лицо. И в самом деле: в нем есть все черты исторической многозначительности и устойчивости; и вместе это – буднично-сегодняшнее лицо, какое я могу встретить, выйдя на улицу. Это «наш Иван», «наш Петр» – мужики, с коими мы ежедневно говорим; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микеланджело, оно бы не нарушило единства и общности падающего от них впечатления; совсем напротив. Тогда как, например, лицо Тургенева или Островского – нарушило бы; это – слишком честные и дробные лица, не отстоявшиеся в тишь и величие истории.

Такое лицо надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого, «лицо» у себя под старость мы «выслуживаем», как солдаты – «Георгия». В лице – вся правда жизни; замечательно, что нельзя «сделать» у себя лицо, и если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, «простодушное» человечество

все-таки определит вас «подлецом». Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; не одного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого – истинно прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждения, но не порочные, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и «да будет благословенно имя Господне»¹ за все и о всем, что он совершил.

Мы упомянули о мотивах. Высоко печальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет, но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнание именно всей полноты его мотивов. Левин (в «Ан<не> Кар<ениной>») женится – и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; какое обаятельное лицо священника и сколько седины в его простом недоумении-вопросе кающемуся:

«Без веры в Бога как же вы будете воспитывать детей?»²

В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин – слушают и умиляются. У Толстого была кроткая полоса в отношениях к церкви, он брел – некоторое время, и, очевидно, издавна (см. его «Юность», и там тоже радостное исповедание кн<зя> Нехлюдова), до очень поздних лет – как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем; ведь мы не знаем начатых и не конченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым глазом, когда он наблюдал то и это. Удивительно много может значить лицо человека в образовании наших убеждений; можно стать не только истовым православным, но и фанатичным, даже до пролития крови, увидав (и подсмотрев) свет душевный в приходском священнике. Я собственно верую именно только этому священнику и в этого священника; но мне так хорошо в этой вере, около его светлой и живой души, что я говорю: «и умру со всем тем и за все то, что есть в этом священнике и за что стоит этот свя-

щенник». Эта, казалось бы, странная вера – есть, в сущности, очень живая и глубокая: мы доходим до Бога через человека; за человеком, понунив голову свою, во всей знаменитости своей бредем – за смирением и красотой человеческой. «Вместе» идем к Богу – так выходит; и, может быть, сущность церкви основывается не на догматической солидарности, но на этом как бы чтении лика Божия, отраженного в лице человеческом, «в брате моем», «чистейшем, нежели я». Толстой мог быть так несчастен, что около себя, или как и где-нибудь, он усмотрел неблагообразие человеческое, именно «пастырское» – что-нибудь притворное или непоправимо-равнодушное: и догматическая солидарность с церковью рухнула, не найдя почвы в солидарности человеческой. Да ведь и в самом деле церковь – не *summa regulorum*³, а море лиц и совестей; он был оттолкнут от лица и потерял связь с церковью. Повторяем, это не так мелко, не так глупо, и, обернувшись на историю своих убеждений, твердейшие из нас, быть может, найдут, что это есть собственно история человеческих привязанностей, привязанностей к человеку, к лицам, и уже за ними – к концепциям философским и религиозным. Да и хорошо это: иначе человеку пришлось бы ведь только читать «догматы» и «критику» и истории превратиться в «кабинет для чтения». Очень скучно.

Мы мотивов Толстого не знаем; во всяком случае к исторической России, даже к «православной» России автор «Войны и мира» пережил такую важнейшую детски-чистую и упорную (в <18>60-е годы!) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы из нас не доросли. Он любил ее серую любовью солдата, «казака» на Кавказе, обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от старосты Дрона⁴ до двух братьев, офицера и прапорщика⁵, которые спрашивают друг у друга о «родительских» деньгах (то есть у меньшего старший – не потерял ли, не растерял ли, не растратил ли он денег, в «Севастоп<ольских> рассказах») перед тем как назавтра умереть за отечество, – все это было понятно Толстому, то есть все это прошло страданием и любовью через его сердце. Вот почему за «нигилизм» (теперешних дней) очень трудно судить Толстого: не знаем мы

всего, не обо всем догадываемся, даже просто многого не видели, «не побывав в его коже». Мы можем негодовать – это наше право, как православных, как русских; мы можем говорить самые резкие вещи по его адресу, но с осторожной памятью: «может быть, все это – ужасная ошибка». Во всяком случае, в укладе русского бытия, как оно есть сейчас, мы – дробь, частица, с частичным же и дробным пониманием, а он более нас всех приближается к целому и целостному же постижению вещей. Притом он так много дал России, что, видя даже положительно злое или безумное, что стал бы творить этот «старый Лир», мы можем – из деликатности, из благодарности, даже просто из осторожности – только произнести с Иовом: «да будет благословенно имя Господне; Ты – дал, Ты и взял», то есть в дарах Толстого есть столько печати Божией, печати «даров Духа святого» – что, прияв благое от них, мы можем и должны перенести около этого благого и вредное.

В поздних своих писаниях он впал в бедные и скудные опыты новых построений. Нельзя не отметить, что, тогда как в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Севастопольских рассказах» он – может быть незаметно для себя – являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное, – его катехизические опыты последних лет – это сгущенное богословие – бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто диэтичны, то есть сводят религию к правилам опрятного и жалостливого поведения. Где же тут Бог – как в битвах при Аустерлице и Бородине? Судьба – как в неравенстве доль Наташи и Сони («Война и мир»)? Вмешательство иного мира в наши действия – как сны-предчувствия Вронского и Анны? Или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе – где преклонение перед неисповедимым? Все сужено: и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного – мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, то есть существенно не религиозных.

Еще хуже, нежели «догматическая» сторона его книжек, их моральная сторона: это вечное «воскресение» – купца ли на «Никите», «Никиты» ли – под купцом⁶, и вероятное «воскресение» Нехлюдова в начавшемся в «Ниве» «Воскресении»⁷. Столько «воскресших», а все так плохо в сей «юдоли скорби и греха» и плохо, по-видимому, на душе и у самого автора. Не живые это воскресения; не простые воскресения. Автор, не замечая сам того, пишет примеры на пиэтическую тему: холодные, педагогические, почти немецкого сложения (не от этого ли такая *понятность* и популярность Толстого на Западе?) – после которых у читателя руки сложились бы крестом на груди и глаза поднялись к небу. Не поднимаются. И «мир любодейный и жестоковыйный» сильнее и как-то *правдивее* этих ему укоров и его подталкиваний. Да, в «грехе» и «смерде» мир силен и как-то *прав*. In ge⁸ и «грех», и «покаяние» сплетаются у него в могучее кровавое вервие, до которого куда же всем этим типографическим увещаниям... И вот мы невольно вспоминаем кроваво-грешную и *действенную* Библию; какое отсутствие пиэтизма! Как дерзок ответ Каина Богу, но Бог победил. Какие преступления, что за чудовищность в них; но книга победила, изумительным светом она прорезала и рассеяла человеческую ложь и *лживость*, почти главного и могущественнейшего человеческого врага, и человечество воскликнуло: «вот – святая книга!», «вот – святая правда о нас и Боге». Пиэтизм – начало лжи в самой вере; это – ложь, проникшая в самое запретное для нее место: в молитву. Человек молится – и чуть-чуть лжет; колена натрудились, да уж и голова ничего не думает, но человек все еще не встает с колен: отчасти «для примера», но тоже и «по собственному долгу». Этот кончик уже холодной молитвы, думается, все портит перед Богом; а на земле суммации таких кончиков породили необозримое зло лицемерствования в самом нежном и субъективном, в самом необходимом для человека – в сплетении его с Богом.

Еще слабее собственно моральная, морализующая сторона его маленьких новых книжек. Это – Шекспир, вдруг поселившийся в имени Коробочки и начавший продолжать ее хлопотливое устройство. Он ходит как Коробочка; он говорит как

Коробочка. Коробочка так благочестива. «Приживальщик» в «Кошмаре Ивана Федоровича» («Бр<атя> Карамазовы») говорит юному нигилисту, несколько скучающему собою и как бы в pendant⁹ к его скуке: «вековая мечта моя – это воплотиться в семипудовую купчиху и начать свечи ставить. Всю бы надзвездную жизнь и там почести, чины (ибо ведь и у нас есть *чины*) отдал за это», – поясняет единственно реальный в целой всемирной литературе бес. Гений тяготит. Гений – бремя. Земная оболочка трещит и лопается, и бедный человек, которому случится быть Шекспиром или Толстым, хватается за голову, сжимает сердце, бежит к Коробочке – под ее покров «простоты», «смирения», «посредственности». Коробочка, никогда не воображавшая для себя такой исторической миссии, завертывает сальный фартук, который она не успела переменить после посещения Чичикова, и кутает в него пылающую голову. «Вот теперь мне хорошо», – говорит Толстой. «Я – смирился». Из-под фартука доносится: «смирись и вы», «упроститесь и вы». Просты. Смирны. Холодны. Мы – *растущие, дорастающие*, в нас и без того *мало сил* и... до Коробочки ли поэтому нам? Мы ищем *гигантства* Толстого, как он – нашей *малости* <...>.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ*

Они не понимали друг друга; даже не знали. И – разошлись. До проклятия с одной стороны (отлучение Толстого

* «Настоящая статья была написана по просьбе г. редактора журнала «Revue contemporaine» – для ознакомления с вопросом о Толстом и Русской Церкви западноевропейских читателей. К такому уху и уму она и приурочена – подробностями своими, тоном своим, *мелочами*. Но тезисы, в ней высказанные, суть в точности мои тезисы. Русская Церковь в 900-летнем стоянии своем (как, впрочем, и все почти *историческое*) поистине приводит в смятение дух: около древнего здания ходишь и проклинаешь, ходишь и смеешься, ходишь и восхищаешься, ходишь и восторгаешься. И недаром – о, недаром – Бог послал Риму Катилину и Катона, Гракхов и Кесаря... Всякая *история* непостижима: причина бесконечной *свободы* в ней – и плакать и смеяться. И как основательно одно, основательно и другое... Но все с осторожностью...

Или, может быть, даже без осторожности?

И это – *может быть*. История не только бесконечна, но и неуловима».

от Церкви с его впечатлением в обществе), до полного пренебрежения – с другой (отношение Толстого к Церкви¹). Софья Андреевна передала мне на вопрос, «как отнесся Толстой к отлучению его»², что он «выходил на свою обыкновенную прогулку, когда принесли с почты письма и газеты. Их клали на столик в прихожей. Толстой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучавшем его от Церкви. Надел, прочитав, шапку – и пошел на прогулку. Впечатления никакого не было».

Потом, может быть, – было впечатление, но как последующая волна *от его собственных об этом предмете размышлений*. Но никакой «волны» не поднялось в момент удара и от самого удара.

* * *

Духовенство наше страшно не воспитано художественно, поэтически, литературно. И это справедливо не только относительно простых священников, но и относительно епископов и даже митрополитов. Митрополит Филарет Московский был последним всесторонне просвещенным и художественно развитым лицом в составе русской иерархии. Его стихотворный ответ на одно стихотворенье Пушкина, где говорилось о бесцельности жизни, указывает, что он был впечатлителен, и глубоко впечатлителен, к поэтическому слову. Но Филарет был вообще человек исключительных способностей. Чрезвычайно ученый архиепископ Херсонский и Одесский Никанор уже писал профессору Н. Я. Гроту, что он «имел терпение прочитать» всего несколько глав *«Анны Карениной»*: но роман ему «показался так неинтересен, скучен и бессодержателен, что он его бросил, не дочитав». Между тем этот архиеп<ископ> Никанор известен в нашей ученой литературе как первый знаток позитивной философии Огюста Конта и английских его последователей, написавший самый серьезный разбор ее. Большинство же духовенства, и высшего и низшего, не читало – иначе как случайно и в отрывках – даже

«Войну и мир» и совершенно не имеет понятия о других превосходных и небольших произведениях Толстого. Оно так занято предметами своей церковной службы, вообще своею собственною «церковною историей», истекшею и текущею, неудовольствиями и затруднениями в своих отношениях к светской власти, от которой зависима, наконец, экономическим своим обеспечением, или, вернее, полною необеспеченностью (русские священники не получают жалованья), что ему «не до стихов и прозы». Если оно что и читает, то сочинения друг друга о разных духовных предметах; это – серьезные; менее серьезные читают газеты и низменную беллетристику. Вообще они придают значение жизни своей сословной и – жизни государственной; но жизни литературной они не придают никакого значения, «не ставят ее ни в какое *число*», говоря языком пифагорейцев. Поэтому, когда вопрос зашел об отлучении Толстого от Церкви, то духовенству субъективно он представился совершенно иначе, чем всему русскому обществу, наконец – чем России. Для Церкви и духовенства «отлучить Толстого» значило выразить, что начал еретичествовать и оскорблять Церковь «один из литераторов, незаслуженно превознесенный, который писал романы из пустой жизни светского общества, совершенно уже не христианской по нравственности и быту». О Толстом знали только, то есть знало духовенство, что он изображал балы, скачки, увеселения, охоту, сражения – все «до духовных предметов не относящееся». И духовенство совершенно не знало, а в случаях знания – совершенно не понимало, тот огромный, волнующийся и тонкий духовный мир, в который Толстой проник с небывалою проницательностью. Духовенство наше не только литературно не образовано, но оно и психологически не развито: и сомнения, тревоги, колебания, мучения совести и ума Левина («Анна Каренина»), князя Андрея Болконского и Пьера Безухова («Война и мир»), Оленина («Казачья»), Нехлюдова («Воскресение» и «Утро помещика») – для него просто не существовали. Все это казалось «вздором и баловством барской души», праздной без работы и серьезного служебного долга.

Это – понимание одной стороны. Мы видим, что оно граничит с полным непониманием.

Но и Толстой, со своей стороны, совершенно не понимал Церкви.

Он знал Евангелие – да.

Он видел темноту и корыстолюбие духовенства. Видел его мелкую бытовую неряшливость, сказывающуюся в мелкой боязни перед большою властью, непрямоту в отношениях к богатым людям, от которых оно экономически зависимо; и равнодушие к нравственному состоянию народа. Действительно, духовенство сумело приучить весь русский народ до одного человека к строжайшему соблюдению постов; но оно ни малейше не приучило, а следовательно, и *не старалось приучить* русских темных людей к исполнительности и аккуратности в работе, к исполнению семейных и общественных обязанностей, к добросовестности в денежных расчетах, к правдивости со старшими и сильными, к трезвости. Вообще не научило народ, деревни и села, *упорядоченной и трудолюбивой, трезвой жизни*. Это имело страшно тяжелые последствия. Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство случилось в постный день, когда Церковью запрещено употребление мяса. Это – ужасный случай, но он действителен. Толстой вывел это во «Власти тьмы», где даже убивают новорожденного ребенка – но *предварительно надев на него крест, то есть приобщив его к составу верующих, введя в Церковь*. В России есть много *святых людей*: и гораздо реже попадаете просто *честный, трудолюбивый человек, сознательный в своем долге и совестливый в обязанностях*.

Это – общее несчастье России. Сколько в обществе и печати ни говорили об этом духовенству, оно было исторически глухо к этим словам. Оно не замечало, не чувствовало укоров. Таков *дух и история* Русской Церкви и русского духовенства: а известно каждому из личной жизни, как трудно

сознать, почувствовать и исправить специфические личные недостатки и пороки. Таким образом, этот страшный проступок духовенства есть, однако же, проявление только общечеловеческой, мировой слабости, безволия, бессознательности. Все – таковы: только *мы* и *лично* «таковы» в отношении других слабостей и пороков.

Толстой гневался и волновался около этих недостатков духовенства. Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, развиваясь дальше, – выразилось в резком осуждении русских *пышных* церковных служб, *пышных* облачений и присущего духовенству значительного *властолюбия* и *честолюбия*. «К чему все это, когда вы не выучили народ даже воздерживаться от водки».

* * *

Конечно, Толстой был прав здесь. Но *мелкою правдою*. Есть в мировых и исторических вещах крупная правда и мелкая правда. Перикл украсил Афины великими созданиями архитектуры и скульптуры: и *истощил государственную казну* на это. Афиняне бросились на него с жестокими упреками, и едва он сам не принужден был пойти в изгнание. Он спасся только, сказав: «Хорошо, граждане, – расходы на статуи и храмы я приму на свой личный счет; но зато на них сотру надпись: *воздвиг афинский демос*, и выставлю подпись: *это сделал для города Афин Перикл*». Афиняне взволновались и оставили прежние надписи, но приняли на себя и расходы, то есть увеличение налогов. Другой пример: Сципион Африканский спас Рим, победив Аннибала; но на поход в Африку истратил очень много денег, и, главное, не записал всех расходов, и не мог дать отчета. Народ, подговоренный агитаторами, в шумном собрании потребовал у него отчета. Молча он взглянул на неблагодарных граждан и сказал: «Сегодня годовщина битвы при Заме (где он разбил Аннибала); я иду в Капитолий принести благодарность богам. Кто хочет – пусть следует за мною». Впечатлительный народ под обаянием бла-

городного слова кинулся за ним в Капитолий, покинув клеветников. В обоих случаях народ, *требуя отчета в деньгах*, – был, разумеется, прав. Но он был *мелочно прав*: и от того вообще не прав. В такую неправоту впал и Толстой.

Он не понял или, лучше сказать, *просмотрел* великую задачу, над которою трудились духовенство и Церковь девятьсот лет, – усиливалось и было чутко, и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это – выработка *святого человека*, выработка самого типа *святости*, стиля *святости*; и – *благочестивой жизни*.

Конечно, если бы русский народ ограничивался представлением, что убить не так грешно, как съесть мяса в постный день, – то в России не было бы возможно вообще никому человеку жить, сам народ давно погиб бы в пороках и Россия как государство и нация развалилась бы. Но *чем-то* она держится. Чем? Тем, что от старика до ребенка 10-ти лет известно всем, что такое «святой православный человек»; тем, что каждый русский знает, что «такие святые – есть, не переведутся и не переводились»; и что *в совести своей*, которая есть непременно у каждого человека, все русские вообще и каждый в отдельности тревожатся этим образом «святого человека», страдают о своем отступлении от этого идеала и всегда усиливаются вернуться к нему, достигнуть его; достигнуть хотя бы частично и ненадолго.

«Святой человек» или «Божий человек» есть образ, именно художественный образ (а не понятие), совершенно неизвестный Западной Европе и не выработанный ни одною Церковью – ни католицизмом, ни протестантизмом.

Он заключается в полном и совершенном отлучении себя от всякого своекорыстия; не говоря о деньгах и имуществе, даже вообще о собственности, – это отречение простирается и на славу, на уважение другими, на почет и известность. «Святой человек» погружается в совершенную тишину безмолвной, глубоко внутренней жизни: но не пассивной и бездеятельной, а глубоко напряженной. Усилие направляется на искоренение в себе всяких «нечистых помыслов», то есть на

искоренение самых *мыслей* и *желаний*, связанных с богатством, знатностью, женщинами, шумом городов и базаров. Но это – только отрицательная половина дела, которая была бы неисполнима без положительной: что же наполнило бы душу, опустевшую от «нечистых помыслов»? Свобода от «нечистых помыслов» есть только выметенная горница для принятия какого-то гостя. Этот «гость», в нее входящий, есть Бог. Но не «Бог» как понятие, не «Бог» как религиозная истина: а Живое Лицо Его, Живое Его Существо, наполняющее душу такого «русского праведника», «русского юродивого», «русского святого» неопишуемым восторгом и счастьем. Но – не это одно, хотя это – главное. Русский не остается с этим. Иногда он на десять лет уходит в лес, выкапывает себе пещеру, строит себе шалаш и в нем живет, на голоде и холоде и в полном безмолвии, чтобы «сподобиться узреть Бога», «почувствовать Бога»... Он непрерывно молится: и молитва русского человека есть опять душевный феномен, малоизвестный или вовсе неизвестный у других народов. Этого ни описать, ни выразить нельзя, это нужно тайно подсмотреть или случайно услышать. Вся молитва сплетается из глубокого сознания своей греховности, своего ничтожества, из совершенной примиренности души со всеми людьми, виденными и которых не видел он, из жажды Божией помощи, из надежды на Божию помощь, из веры в чудо и чудесную Божию помощь. Душа такого человека за 5–10 лет прошла страшные отречения и полна страшной жажды. И «по вере» дается: он «чувствует Бога около себя», в своей пещере, шалаше, в келье; больше же всего, конечно, в душе и пылающем сердце. И вот он закален: закален от «искушений», соблазнов, от влечения к пустоте и ничтожеству мира. Но «русский святой» не бывает без великой любви ко всем людям. «Русский святой» есть глубоко *народный святой*. Тогда он выходит из своего уединения и безмолвия: и одни из таких людей делаются «странниками», то есть переходят из места в место, странствуют по всей России, идут в знаменитые величием и древнею славой монастыри России, Греции, Палестины. Или, чаще, поселяются где-

нибудь *поблизости* к монастырю (но никогда почти в самом монастыре) и беседуют с теми людьми, которые к ним приходят искать утешения и совета в несчастии жизни, в потере близких, смерти жены или мужа, смерти детей, в брошенности мужем или возлюбленным, в разорении, притеснениях от людей и власти. Наконец, приходят люди, запутавшиеся со своим умом и совестью; приходит убийца, приходит богач, кающийся в дурных способах приобретения богатства. Приходят все «труждающиеся и обремененные», о которых учил Спаситель, что Он «пришел исцелить их». Приходят, наконец, неизлечимо больные телом, чтобы он о болезни их «попросил Бога». Шалаш или келья такого «святого» бывают окружены массою народа: и, проходя среди его, «святой», по взгляду на лицо уже узнав, чем (приблизительно) томится пришедший, дотрагивается до него рукою, уводит его к себе в келью или как-нибудь уединяется и беседует, расспрашивает, советует. Такому «святому», по общему народному убеждению, нельзя солгать, как и нельзя, «грех», что-нибудь ему не досказать. Таким образом, перед ним раскрываются вся душа и вся жизнь пришедшего за помощью человека. И как за год он переговорит таким образом с несколькими тысячами людей, а за много лет со многими десятками тысяч человек, то душа и духовный взор и духовный разум такого «святого» до того изоощряются и утончаются в постижении природы человеческой и всех колебаний жизни человеческой, что он становится – как народ называет – «прозорливым», то есть он прозирает до самого дна душу человеческую, видит эту душу в самом трепете, в самых потаенных волнениях, в самых скрытых поползновениях и слабостях; и в то же время он видит в этой душе лучшие возможности, находит такие силы, которых сам пришедший в себе не создавал; наконец, одушевляет и укрепляет к лучшей новой жизни своим святым одушевлением. Он не просто *советует*, а *повелевает* человеку сделать то-то и то-то, всегда в глубочайшем соответствии с силами и способностями человека, никогда ее резко не насилуя и не ломая. Очень нуждающимся, сиротам, вдовам, он помогает

деньгами – из тех, которые приносят «в дар» ему другие. Толстой любил посещать таких «святых», ибо зрелище народное нигде так не открывается, как около жилищ таких «святых». Один такой русский отшельник дал ему сюжет для рассказа «Три старца»: он в нем только несколько переиначил случай, которого случайно был зрителем. Именно – Толстой раз видел, как такой «старец», уже окончив беседу с народом, шел к келье, а люди все бежали около него и он от этого еще более изнемогал. Вот один из таких «бегущих» схватил его за край одежды. Старец к нему обернулся. – «Что тебе?» – «Как спасись?» – Старец, совсем изнеможенный, в силах был только проговорить: «Да сколько вас в дому?» – «Трое», – ответил пристававший. Тогда, остановясь и задыхаясь, старец сказал: «Ну, так и *спасайтесь*, молясь: *три вас, три нас – спаси нас*». Так мне рассказывал сам Толстой. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» вывел в лице старца Зосимы иеросхимонаха Амвросия из той Оптиной Пустыни, куда перед смертью поехал из Ясной Поляны гр<аф> Толстой. Здесь же у отца Амвросия бывали лучшие русские философы, Страхов и Соловьев; первый был не только философом, но и превосходным ученым по физиологии и физике. К старцу Амвросию (он умер лет 18 назад) приезжали и купцы-миллионеры, и придворные лица, дворяне, военные, и последние бедняки, и убогие. И он совершенно одинаково говорил со всеми. Таким образом, подобный «святой» есть собственно «исцелитель» болящей душою России и болящей в жизни России – иногда на свою небольшую местность, иногда на несколько губерний, иногда даже на всю нашу землю. Последнее было со священником города Кронштадта, Иоанном.

Но это – завершенный образ «святого». Однако *приближения* к нему крупными рассеяны во всем народе; или – редкий русский человек не переживает порывов к этой святости, хотя недолгих и обрывающихся. Вот этою стороною своей нравственной, или, вернее, своей духовной, жизни и живет русский народ, ею он крепок, через нее встает из всяких бед. Русский народ никогда не отчаивается, всегда надеется. Парал-

лельно с грубостью, ленью, пьянством, пороками, но в другом направлении идет другая волна – подъема, раскаяния, порывов к идеалу. И это в простом народе еще сильнее и распространеннее, чем в образованных классах.

Но этот «святой человек» дан Церковью, церковным духом, церковною историею. Молитвы, присущие нашей Церкви, которые непрерывно народ слышит в храмах, полны совершенно особенного духовного настроения и жизненного понимания. Это духовное настроение полно нежности, деликатности, глубокого участия к людям, глубокой всемирности... В храме постоянно слышатся молитвы «о всех людях» (не об одних православных, не только о своей Православной Церкви), о «примирении всех людей» (между прочим – о примирении «всех Церквей»); о том, чтобы Бог укрепил в людях кротость, прощение обиды; вместе с тем в храме упоминаются с молитвою о помощи «все теперь болящие», все «путешествующие»; священник вслух молится, чтобы Бог помог присутствующим «подавить свой гнев», «не осуждать своего ближнего», «видеть собственные недостатки»; чтобы Бог помог каждому «рассеять свое печальное настроение». Есть ежедневная молитва о том, чтобы Бог каждому присутствующему послал в свое время «безболезненную кончину» и «образ христианской смерти». Вместе с тем Церковь молится о плодородии земли, о «мире всего мира», о «благорастворении воздуха», то есть о хорошей погоде для урожая, овощей и плодов. Все это очень *народно* и очень *жизненно*: храмовая служба наша обнимает мелкое и великое жизни человеческой во всех ее подробностях, в высшей степени понятных и в высшей степени нужных каждому. Отсюда проистекает народный и любимый характер церковной службы. Не зная церковной службы, совершенно нельзя понять, что такое русский народ и как он произошел. Если бы уничтожить церковную службу и разрушить действие ее на душу народную и на быт народный – Россия немедленно дезорганизовалась бы, пришла в хаос и пала. Храм вполне заменяет для нашего народа гимназию, школу, университет, книгу и науку. Этого нельзя понять, не зная универсальности

нашей храмовой службы и того, что она вся выражена поэтично, вдохновенно. Ее музыкальная сторона, заключающаяся в повышении и понижении голоса, произносящего молитвы, в напевах молитв, — удивительна. Таким образом, она не только просвещает народ известными истинами, но и постоянно зовет его к идеалу, притом к идеалу жизненному, простому, достижимому, практическому, трезвому и благородному.

* * *

Вот великий «Акрополь» русского народа; его «победа над Аннибалом»... Здесь таится так много сокровищ, что в виду их совершенно невозможно было подымать тех споров с *богословием* Церкви, то есть с *книжными теориями* о Церкви, которые начал Толстой. Пусть был бы во всем прав Толстой и «русское богословие» под его критикою превратилось бы в развалины. Это ничего решительно не затронуло бы. И «русский святой», с помощью всему слабому и болящему в народе, остался бы по-прежнему все так же нужен и полезен народу, так же свят и прекрасен в своем образе; и «даруй, Господи, мир всему миру, соедини всех верующих вместе, уничтожь разлад их сердец, дай нам всем кончину жизни светлую, совестливую и безболезненную» — все это осталось бы истиною, все это останется прекрасным и глубоким. Толстой был очень похож в своих богословских трудах на медведя, который — желая согнать муху с лица своего заснувшего друга-человека — поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека.

В этом он был неправ и бессилен. В России, в образованных классах, очень развит полный атеизм: атеисты шумно приветствовали его критику, воображая, что она что-то разрушает. Наконец, ей очень обрадовались теснимые правительством сектанты, так как эта критика удовлетворяла их чувству вражды к Церкви. Но на нее совершенно не обратила никакого внимания вся масса серьезно образованного русского общества, которая знает существо своей Церкви и знает ее корни.

* * *

Еще о последних, об этих «корнях»... Толстой учился в университете на физико-математическом факультете, причем, по собственному воспоминанию, – учился плохо и небрежно. Хотя он потом всю жизнь очень много читал и изучал, но это не могло заменить университетских лекций по истории. Дело в том, что никакая книга не содержит в себе *интонации* живого голоса живого человека и не содержит «отступлений в сторону», оговорок и замечаний – которыми профессор сопровождает чтение в аудитории. Наконец, ни в какую книгу нельзя уложить и ни в какой ученой форме нельзя выразить тех частных бесед, бесед мелькающих, обрывающихся, недоконченных, которые студент, заинтересованный наукою, может иметь с профессором у него на дому или идя по коридору из аудитории. Ведь часто афоризм скажет больше, чем рассуждение; насмешка, сарказм живого человека или его восхищение, выраженное в блеске глаз и вибрации голоса, – скажут больше, чем печатные строки с печатным знаком восклицания. Словом, книга всегда «без штрихов»; и в книге говорит ученый «без тона»; а «тон делает музыку»: и Толстой знал историю вот именно «без музыки». То есть, в сущности, он ее вовсе не знал, иначе как скелетно и в одних фактах. Духа ее не знал, аромата ее не обонял. Только ученый, уже всю жизнь посвятивший на изучение эпохи перехода античного мира в новый, христианский, мог бы в четыре года университетского курса дать почувствовать Толстому такие тайны античных чувств, такие тайны противоположных христианских чувств, мог бы передать такую непостижимость древней смерти и нового воскресения, какие поистине уловимы для голоса и уха и неуловимы для бумаги и чтения. Толстой был просто необразован в этой области. Как ни велик его гений, как ни глубоко и всемирно его сердце, он понял бы, что все-таки это есть *личный* гений, *личное* сердце, что через голову его проходят *личные* мысли, сегодня *одни* и завтра – *другие*: и все это только омывает подножие

того гигантского горного хребта, какой являет собою *история* в бесчисленных *пластах* ее, *твердых* и *неисповедимостях*. Как мал Шекспир перед английскою историею! Может быть, он гениальнее всякого англичанина: но *все-то* англичане, весь английский народ, все поколения этого народа так велики, мудры, поэтичны, что Шекспир все-таки является среди его как Монблан среди Альп. Он *выше* всех: но Альпы неизмеримо *больше* его... То же и Толстой в религиозной критике Православия: в одежде мужичка и странника, *подражая русскому мужику и страннику* – он входил в толпу народную, где-нибудь около монастыря. И он *тонул* в ней, исчезал, становился невидим. Это – физически, но *также и духовно*. Он вдруг действительно перестает быть «великим» среди этого народа, болящего всеми язвами человеческими и мучающегося всеми человеческими сомнениями. Народ, простая обыкновенная толпа в тысячу человек, но измученная и религиозно взволнованная, поднятая религиозно молитвой, надеждой, страхом, отчаянием, принесенным сюда из домов своих, – она религиозно была... не выше, но массивнее, серьезнее, страшнее всех учений Толстого о «непротивлении ли злу» или каких других, все равно. Народ – гигант, всегда гигант. История – еще больший гигант, колосс. И нельзя человеку, никогда нельзя подходить к этим величинам иначе, чем с желанием вникнуть сюда, уважать это, любить это...

Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтичнее его. И хорошо, конечно, что оно «позволило» Колумбу переплыть себя; но могло бы и «не дозволить». Природа всегда более неисповедимая тайна, чем разум человеческий. Толстой – был разум. А история и Церковь – это природа.

НАШ «АНТОША ЧЕХОНТЕ»

Мечта юности, или грусть юности, – как и первая любовь, не забывается до старости. Она кладет на личность человека неизгладимый отпечаток.

Теперь среди портретов «любимых писателей» вы во всякой образованной семье, в комнатке всякого студента или курсистки встретите портрет или карточку «Антон Чехова»... И среди бородатых, могучих в лепке матушки-натуры или глубоко оригинальных фигур Тургенева, Толстого, Плещеева, Мея, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского – фигура или, точнее, фигурка Чехова представляется такою незначительною, обыкновенною... Слишком «наш брат», то же, что «мы, грешные», – слабые, небольшие и вместе недурные люди. Положенная нога на ногу, подпертая рукою голова, волосы и не большие, и не маленькие, не вовсе гладкие и не слишком волнистые, вероятно, русые, – и это пенсне, до того у всех обычное, – наконец, выражение лица скорее скучающее, чем грустное, – конечно, умное, но без всяких мировых вопросов на себе, без «запросов духа», «мировой скорби» и «политического негодования», – все это как будто сводит Чехова во второй ряд литературных величин...

«Эх, обывательщина!..»

Это – наша собственная фигура, когда в пору студенчества мы мотались по урокам, или – знакомого, не окончившего курс студента, который, поступив на медицинский факультет, вышел было в юристы, но и юриста из него не вышло, и вот он живет теперь «так»; словом, лицо и фигура «обыкновенного русского человека из образованных»; сплошь все милых и сплошь все жалких, которые ни в чем не могут помочь и явно нуждаются во вспомоществовании. Гения нет, силы – небольшие, дум, как серых мышей, – толпы, но все незначительных, обыкновенных, которые не могут дать человеку большой судьбы.

«Эх, русское бессилие!..»

Но все так умно, душевно, – как вы не встретите у заграничного «авиатора», – «завоеывающего воздух», черт бы его побрал. У «авиатора» такая же деревянная душа, как и весь его деревянный аппарат, и только удивительным образом на этом «ничто-человеке» выросла одна чудовищной величины способность вот к авиации или к передаче звука по проволоке.

Чехов, конечно, никогда не выдумал бы даже новой зубочистки, «более удобной и приспособленной к культуре», хотя бы из него тянули жилы. И ничего не выдумал бы, да и действительно никогда ничего не выдумал бедный «Антоша Чехонте», которому не удалась медицина, юриста тоже из него не вышло, — и вот, в раздумье и безденежье, он начал писать, что видел и что слышал, и помещать где-то в «Листках» и читаемых по портерным иллюстрированным журнальчиках. Как это поется в нетрезвой песенке:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят..!
Что видели, что слышали,
Про то не говорят¹.

Чехов начал рассказывать, — и, вместо «медицины», у него вышла «литература». Как «обыкновенно у русских»... Именно, как ночной мигающий фонарик, мимо которого бегут люди, спешит преступление, готовится скандал, и фонарь всем светит, «добрым и злым», богатым и бедным, никого не удерживая, никому не помогая, но все видит и знает... Так «Антоша Чехонте» начал писать свои миниатюрные рассказы, в 3–4 страницы, в фельетон длиной, в полфельетона.

— Пока не устал и как длинно выйдет. Точку везде поставить можно.

Оглянулась гордая литература на него, взором назад и вниз:

— Это еще что такое?..

Бедный «Антоша Чехонте» съезжился... Еще бы не съезжиться под величественным вопросом Михайловского, у которого что мысль, то — гора: «о прогрессе истории», о «правдистине и правде-справедливости», «герои и толпа», «вольница и подвижники». Но была нужда, да и в душе было что-то такое, что пело... Все «поется и поется», и «Антоша Чехонте» все «писал и писал»... почти не смея выйти в большую литературу, где сидели люди с такими бородами... Как ассирийские боги.

Почти до смерти Чехова продолжалось это недоумение:

Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?²

О, наш всевидец, Пушкин: за столько лет он предсказал критические вопросы Михайловского о Чехове, установившие тон отношения к нему больших журналов... но не публики. «Публика», серая и непретенциозная, полюбила «Антошу Чехонте», «своего Чехонте», – этого человека в пенсне, совершенно обыкновенного.

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. «Без героя» – так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не без грусти: «без героизма». В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, как у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова – маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову...

У Чехова все стелется по земле. Именно, даже не идет, а стелется... Вернее растет по земле.

Как жизнь, как природа, как все.

Сударики-фонарики

мигающими глазами своими видят, может быть, самое важное в жизни, потому что они видят *самое обыкновенное* в ней, то есть везде бывающее и чему суждено всегда остаться.

Утешимся, как слагатель народных присказок, изрекший:

Дождичек идет
Перед солнышком...
Солнышко взойдет –
Перед дождичком.

Без героического и величия земля тоже не прожила бы, как и без травы и мхов ее не бывает. Даже более: тот гений, та виртуозность, до которой Чехов довел обыкновенный рассказ, об обыкновенном событии, свидетельствует, как и всякий апогей и вершина, что мы подошли к краю, за которым начинается «перевал к другому»... Чехов довел нас как раз до взрыва – поднятия большой волны. И его «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» по времени почти сливаются, немного отступая назад, с «Песнью буревестника».

Дождик моросит
Перед солнышком...

Но я оставляю в стороне историческое положение беззвучной, глухой музыки Чехова... Это – особая линия размышлений. Мне хочется еще докончить об его музыке.

В юности и героически настроенный человек, конечно, ищет горя, препятствий, борьбы. «Ступай на погибелый Капказ». Все Бог дал и все Бог устроил – в природе и в жизни.

Но в полдень нет уж той отваги, –
Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги. Кричим:
«Полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега.
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега,
А время гонит лошадей³.

Этот усталый полдень жизни и еще более усталый и немного сонный вечер жизни – их и рисовал Чехов с миной горькой и усмешливой. Чехов не был бы Чеховым, не был бы «русским интеллигентом», если бы к простодушной и доброй его поэзии не примешивалась везде эта кислотца. Не жгущая, не острая – для этого он был слишком «русским», – но все-

таки именно кислотца. «Люблю кислые щи с кашей, но на этот раз они уже слишком перекисли, да и каша распирает бока» – вот Чехов и его отношение к жизни, прощающее, с усмешкой, любящее, но не уважающее.

«Что же тут уважать? Конечно, все плохо... И всем ужасно скучно».

Это – припев и «Вани», и «Сестер», и старожилов «Вишневого сада».

Толстого или Достоевского, даже Тургенева, наконец, ленивого Гончарова Бог или Natura-Benitrix⁴ вырубали из большого дерева большим топором. Все крупно, сильно – в творчестве, в лице их. Сотворение Чехова все шло иным способом. На небольшой дощечке дорогого палисандрового или благочестивого кипарисного дерева, из мирных стран Востока, тонкою иглой начертан образ тихого, изящного человека, «вот как мы все», но от «всех» отличающегося чрезвычайным благородством рисунка, всех линий. В Чехове Россия любила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже и в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении. «Все вышло, как у всех русских: учился одному, а стал делать другое; конечно, не дожил полных лет. Кто у нас доживает? Гнезда не имел, был странствующий. И все немного музыканил или мурлыкал себе под нос. Ни звука резкого, ни мысли большой. Но что-то такое во всем этом есть, чего нигде еще нет. Что бы это такое? Да, скучно без этого было бы жить. С другим было бы удачнее, счастливее, благополучнее, но скучнее. А этого вот слушаешь, слушаешь и забываешь, что дождь идет, что так глупо все, и не то что миришься с глупым, – этого нет, – но в беспримерно глупую и дождливую эпоху находишь силы как-нибудь просуществовать, пересуществовать ее, перетащиться по ней».

Спасибо тебе, поэт. Ты нас баловал, когда всем было очень тяжело. Но в музыке твоей всегда звучала струна, по которой мы знали, что «есть край иной». И суть твоей песни заключалась в том, что пела-то она об одном, вот «об *этом*»,

а грезы навевала-то совершенно о другом, «вот о том». И мы под звуки твои и спали и не спали.

* * *

А впрочем, и настанет «все то же», мы нашего «Антошу Чехонте» не забудем... Есть «погибельный Капказ», и есть срединная, плоская «Рассея», куда обширнее кавказских стремнин... Настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую эпоху все-таки не разбивать о стену голову. Великое «что делать» всегда останется под солнцем: «что делать» – как недоумение, «что делать» – как бессилие. Беспримерно героическая натура, Достоевский, устами Мити Карамазова, сказал:

«В тысяче мук я *есмь*. Корчусь – и все-таки *есмь*». Это говорит Митя перед каторгой; но сам Достоевский, в горячайшую минуту личного существования, в одном частном письме, порассказав приятелю все напасти, кончает:

«Не правда ли, живуч я, *как кошка...*»

Это – когда ее выкинут из третьего этажа в окно, а она перевернется и все-таки побегит.

«Есмь» – самое главное; «есмь» – первое. Рождаемся мы не все для варенья и яблок, но, между прочим, и для кислого существования. «Что делать!» «*Быть* человеком» важнее, чем быть «сытым человеком» и даже «нравственным человеком», «добрым человеком», ибо, черт возьми, кто же будет «сыт-то» или «нравственен», если «*меня* нет», существа с желудком и 10 заповедями? И поэтому я всегда сперва подумаю о том, чтобы «мне на земле», и уже потом подумаю, какими заповедями обставляюсь и по сколько фунтов хлеба буду съедать в день. Все *после* «жизни», все «позади» жизни... Не знаю, для чего мне после этих строк о грустном Чехове хочется кончить, обращаясь в особенности к юности:

– Не убивайте себя!

Никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах, ни даже после преступления или перед ним, – все-таки не убивайте.

Нить, которая раз оборвется, – никогда не завяжется. А все прочее, ей-ей, все, не только тяжесть жизни, но и грех ее, даже ужасный грех, – все-таки можно связать ею «вторичный узелок».

* * *

Эту мысль о жизни внушает Чехов тем, что грустная дума и тон его полны полужизни. Мерцает, мигает, теплится, но не горит. И, глядя на это «мигающее», долго глядя, вдруг преисполняешься мистического страха: «вдруг погаснет». И кричишь: «зажигай все, лучше все зажигай, нежели эти ужасные темень и холод, когда вдруг все погаснет!»

А. П. ЧЕХОВ

<...> Мне два года случилось выжить в городе Белом Смоленской губернии; там единственное место гулянья было кладбище. И я, помню, с молодой женой, только что повенчавшись, ходил гулять туда. Больше решительно некуда пойти. А природы хочется, в «медовый-то месяц»...

Незабываемо выла там баба над могилой. Впервые услышал *живые* причитанья...

А молодому хочется жизни... «Ну, какая жизнь в России». Посопим.

Воет ветер в поле. Истории – ниоткуда. «На кой тебе леший история?» – озирается злобно на вас полицейский. Да, в Белом была история: именно, интеллигентные старожилы уверяли, что «Белый», с мужским окончанием, это теперешнее имя города, а некогда он назывался «Белая», с женским окончанием, «потому что была крепость *Белая*, защищавшая Московское государство от набегов Литвы, с земляным валом. А остатки вала – это и есть вон те бугорки, что сейчас поднимаются за кладбищем. Но когда Польшу присоединили к России и вообще все это кончилось, то Белая естественно переименовалась в Белый».

– И больше ничего?

– Ничего.

«На кой тебе леший история?» – это как-то звенит в ушах, в душе... «И без нее беспокойно: вон кажинный день предписания от начальства. Опять убили в Косой улице; начальство предписывает – разыскать. А как его разыщешь, когда он убежал? Поле велико, лес велик, – где его искать? Убили – Божья воля. А начальство серчает: ищи, говорит».

И запахиваешься ту же в пальто, в шубу, – смотря по времени года. Идешь с кладбища домой. Скидываешь пальто, отряхивая снег или дождь с него... «Дома» натоплено, тепло, тепло, как за границей решительно не умеют топить домов – нет таланта *так* топить. И садишься за самовар, «единственное национальное изобретение». Самовар же вычищен к «кануну праздника» ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шумом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает большой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них серебряными ложечками...

И сахарница со щипчиками, и чайник под салфеткой. Сейчас разольется душистый чай.

И будет сейчас всем хорошо. Тоже «как не бывает за границей». Несется небольшой смехок, без злобы:

– Дверь затворите крепче, чтобы полиция не вошла. Черт с ней! Не дает она нам настоящей истории, так будем жить маленькими историями.

«Маленькими придуманными историями»... Вот Тургенев в его рассказах. Вот весь Чехов.

...Небо без звезд, без силы, ветер без негодования, непогодь, дождь, серо, сумрачно, день, не отделяющийся ярко от ночи, ночь, не отделяющаяся ярко от дня, травки небольшие, деревья невысокие, болотце, много болотца; и дальше, на черте недалекого горизонта, – зубчатый частокол «тюремного замка», еще дальше – кладбище, а поближе сюда желтая гимназия, в сторонке – белая церковь с колоколом и крестом, – вот обстановка Чехова, в которой он рос и захворал, и все

запечатлел в уме своем под углом этой серости и бессилия, этого милого и недолговечного.

Чехов жил и творил в самый грустный период нашей истории, кульминационно-грустный. Он не дожил до «освободительных дней», и так как самые дни эти пришли случайно, в связи с непредвиденною войною, то в нем и не было никакого предчувствия взрыва, ожидания его. Гладко позади, гладко было и впереди... По этой глади шел он, больной раннею чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика.

Мне передал о нем один человек, близко его знавший и горячо любивший:

– Мы как-то встретились с ним в Москве... Я был на перепутье, проездом через Москву... Он и говорит мне раз: «А не пройдемся ли мы на кладбище (такого-то) монастыря? Смерть люблю читать надписи на надгробных памятниках. Да и вообще люблю бродить среди могил»... И это бывало не раз. Я уступал ему. И, бывало, мы бродим, бродим... Какие попадаются надписи – то ужасно смешные, то замысловатые, то трогательные. Это еще не разработанная часть русского словесного творчества.

Какой вкус... Но как это похоже на Чехова, как идет к нему.

Другое сообщение чрезвычайно меня удивило. Оно шло от того же человека и, я думаю, совершенно достоверно. Было передано просто как удивительный факт, без тени осуждения.

– Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей и вообще что там есть. Но Антон Павлович отказался; он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом. Удивительно!

– Вполне удивительно!!

Рассказывавший не сказал мне, что он ездил туда *не* «для себя» и что вообще это не было с теми целями, с какими обычно делается; но из всего хода рассказа, передачи видно

было, слышно было, что Чехов любил это как *сферу наблюдения* или как обстановку грез, мечты; может быть, как стену *противоположности*, через которую пробивалась его идеалистическая мысль и, пробиваясь, становилась энергичнее в действии, в напряжении. Бог знает. Можно разное объяснить. Мне и на ум не приходит объяснить в дурную сторону, дурным любопытством. Тут что-нибудь глубоко грустное, какая-нибудь такая глубокая «своя дума» у Чехова, которой он даже и не рассказал и не рассказывал приятелям «в объяснение», которое так естественно ожидалось бы. Скажу только, что с юности грустный Гоголь вывел же в «Невском проспекте» встречу художника-мечтателя с «такой барышней»... Тут, в этих встречах, что-то острое, печальное, жуткое и страшное. Но я нахожу, что этот дикий вкус в Риме – в *самом* Риме поехать «первым визитом» именно сюда – как-то совпадает со вкусом пойти и погулять по кладбищу...

Ведь и *там* смерть, и *здесь* смерть... Там – смерть человека, индивидуума; здесь – смерть цивилизации, общества, фазиса культуры и истории.

«Люблю видеть, как человек умирает. Жутко, страшно. А так хочется заглянуть».

Чувство медика. В особенности больного медика. Может быть, что-нибудь объяснит в этом вкусе Чехова та прибавка к рассказу, какую я выслушал, когда все продолжал удивляться:

– В этом отношении был похож на Чехова еще один наш писатель.

И рассказчик назвал одно из аристократических имен литературы: не то гр<афа> Алексея Толстого, или Соллогуба, или Плещеева. Во всяком случае писателя без малейшей порнографии.

– Он любил целые вечера просиживать в зале таких домов. «Я полужакрою глаза. Несется ихняя музыка. Танцуют. Пары уходят и возвращаются. Все как следует. И я переносюсь в прошлое и воображаю, что сижу на вице-губернаторском балу».

Я передаю сообщение буква в букву. Пусть разбирается читатель в том, в чем я не умею разобраться.

Но почему-то *именно* в Чехове мне нравится это слияние... «Тут есть что-то чеховское» – от этого впечатления не отвяжешься.

– Кладбище. Могилы, эпитафии...

– И зала с музыкой. Барышни в розовом, удаляющиеся с кавалерами...

И он грезит. Он, Чехов...

– А что мне Колизей? Мертвечина. Декорация прошлого – и черт с нею. Я живой человек, и мне не долго жить, я болен, но я ни минуты не отдам на этот раззолоченный славою Колизей, ни на св<ятого> Петра с его пилигримами. А пойду-ка я лучше в дом... и увижу настоящее, живое, трепещущее, и руками медика пощупаю ребра у больных, у падающих, у искалеченных и, однако же, все-таки лучших и прекраснейших по присутствию в них жизни и действительности, нежели сто Колизеев вместе сложенных. Черт с ними... Вы – обыкновенные, и вам надо смотреть Колизей, чтобы из надуманной души вытащить несколько надуманных же ощущений, а я – особая статья, Чехов, и вот пойду в б...

Что-то в этом роде, должно быть, шевелилось у него.

* * *

Когда я читал его «Баб», то сухим, деловым глазом исследователя вопроса видел, что этот очерк-рассказ должен быть введен целиком в «Историю русской семьи», в «Историю русского быта», в «Историю русской женщины». Но особенно – в первую. Только одна вялость русской души, выросшей между кладбищем и б... сделала то, что никто не застонал над рассказом, никто не выбежал на улицу и не закричал, и вообще не совершил того скандала, после которого уже нельзя прятать шило в карман. «Мы не жида и дела Дрейфуса не подыдем». Собственно, начальство на это и рассчитывает: «Русские – паиньки: даже в случае несчастья пропустят в горло лишнюю рюмочку и уснут обломовским сном, без сновидений и привидений». У нас «какая леди Макбет» – сто человек зарежут

и только потребуют кусок брокаровского мыла. Нет, в самом деле, ну, только одного человека, всего ведь одного, и даже буржуа, богатенького, без особенных улик обвинили в измене и сослали на ихний остров Сахалин – начался «гвалт», сто, тысяча голосов закричали во Франции, а затем *заставили* кричать и во всей Европе, наконец, в целом свете; кричали четыре года и заставили вернуть с Сахалина... одного человека, всего только одного! Это отдает песками Аравии, солнцем Сирии, «Книгой Иова», авторов этой книги, коллективных, народных. «Око за око»... У нас хоть ломай всем руки и ноги, никто у тебя за это подушки из-под головы не выдернет, никто из шевелюры волоса не вынет. 1) «Обязаны простить», 2) «Во всяком человеке есть искра Божия, в том числе и у ломающего руки и ноги», 3) «Ведь уже все прошло, ноги-то и руки поломаны, ничего не воротишь, – зачем же чужую шевелюру портить» и 4) фундаментальное: «А какое нам до всего этого дело? Мы пьем чай из хорошеньких чашечек, которые в случае дела Дрейфуса могут и разбиться». Наши «Рюрики, Синеусы и Труворы» это хорошо знают и как о Сахалине, так и о Шлиссельбурге полагают, что русский человек никак из-за этого не поднимет *фактической* истории. «Напишет горячую статью в журнал, но затем – все успокоится».

Мы народ не мстительный и давно живем под заветами евангельского прощения. «Вот и Л. Н.¹ это же говорит». «Рюрикам» все на руку.

Ни русская юриспруденция не обеспокоилась «Бабами», ни духовенство. А. Ф. Кони так же остался величествен и недвижим, как и митрополит Антоний, благожелательный не менее Кони. Если бы они рассердились на русскую действительность за «Баб», они испортили бы безоблачно-доброе выражение лица своего и вообще покачнули бы ту репутацию, приобретение которой стоит столько жизненного труда. Лишние нервы портят физиономию. В «Бабах» рассказывается, как русский простолюдин, у которого отлучилась жена, сходится с бабою и прижил от нее ребенка. Затем, когда жена к нему возвращается, то он читает этой бабе наставительное

рассуждение об ее нехорошем поведении, говорит, что «теперь эти глупости надо оставить» и вообще приходить в норму, порядок и законность. «Все как следует»... Все эпически спокойно. Рожденный мальчик, уже подрастающий, торчит тут же на телеге, никому ненадобный. «Все как следует», «все – по-христиански». «По-христиански»: 1) согрешил – без этого человек не живет, для искупления таких грехов и Христос пришел на землю; а потому 2) «надо покаяться после греха» и «вернуться на добрый путь». Об этом Христос говорит в притче о блудном сыне, да и вообще это – само собою. Но все это – с *личной точки зрения*, как перипетии *моей личной судьбы*: Евангелие обществом не занимается, а «спасает только душу». Торговец, «спасающий свою душу», естественно, когда вернулась к нему жена, и возвращается к ней; а той женщине что же он скажет, кроме того, что она – дурного поведения и даже он с нею «вот нагрешил». «Все по истине, по-христиански», и женщине, как и мальчику ее, только остается подумать: «мы же должны простить его», – потому что древнее *око за око* отменено высшим законом евангельской любви. Все «утрачивается» и «закругляется» в такой порядок, исторически высший и окончательный, что...

Но и у Кони, и у митрополита Антония такие хорошенькие фарфоровые чашки, что они никак их не разобьют ради этой бабы и ее мальчика.

«Все-таки уютно на Руси»... Ну, не на всех хватает счастья, ну – и что же. И Мессина² тряслась, и в Мартинике было извержение³. Позвольте, да в самой Евангелии и притом Сам И. Христос говорит: «Повалилась башня и задавила многих... Грешных ли одних? Нет, но и праведных».

Баба эта и мальчик ее попали в число «задавленных праведных». Но раз сказано, что о них нечего спрашивать, то *кто же и как* будет спрашивать? «Солнце восходит над добрыми и злыми»; вот оно взошло и над мужичком, любившимся с бабою, когда вернулась жена. Даже если он «хуже разбойника», то опять ничего, ибо сказано, доброму раскаявшемуся разбойнику сказано: «Днесь будешь со мною в раю». Вернув-

шись к жене от той бабы, разве он не «раскаялся в поведении»? Даже до того, что стал учителем. Но мысль: «солнце восходит над добрым и злым» – естественно имеет дополнение: «а когда заходит солнце – то ночь наступает для злого и *доброего*». Баба опять как попала под Силоамскую башню⁴, так и под эту «ночь» недоговоренной притчи...

– Ну, и темно, ну, и Бог с тобой, и плачь... Ныне свет Христов пришел, – и тебя никто ровно не заметит, ибо ты уже обработана и в притчах, и прямым учением.

Не могу объяснить, но как-то брезжится, что написавший этот сюжет, написав в строках такой ужасающей правды, простой и *спокойной*, естественно, заехав в Рим, должен был поспешить не в Колизей, чтобы посмотреть новость, а в такой дом, который ему и на Руси давно пригляделся. «Наша старая правда, наша христианская правда».

Бабы, так как их «задавила Силоамская башня» и по жребию им выпала «ночь», утешаются хоть орехами и подсолнечниками. Тут же у Чехова рассказано, что, когда мужья их загнули, одна толкнула другую в бок и прошептала:

– Ин, сноха, пойдем, побалуемся с семинаристами.

Это приезжие к попу сыновья, из семинарии, уже кончавшие курс, кони добрые, выросшие на хорошем овсе. «Все над добрым и злым», и «сперва постранствуем в грехах, а потом будем обедню служить».

Все закругляется во что-то доброе и милое. Мила наша Русь круглостью. Ведь какой круглый был Платон Каратаев (в «Войне и мире»). Столько жил и ни на что не сердился. Его наконец застрелили, но он и тогда остался «круглым». Решительно, солнышко на Руси не заходит. Холодноовато оно, но зато уж не заходит.

Близко к полюсу.

* * *

Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох в печати, – он, такой тихий и бесшумный всегда. Не знали, как

отнестись к ним. Хвалить? Порицать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиком «симпатией». Не хлебом и чаем, а «симпатией». «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбило интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись «Любить» явно можно только симпатичное, а тут?..

– Они не любви просят, а хлеба. Работишки, хлеба или земли.

Все было поставлено жестко, экономично. Тут Чехов писал рукою не беллетриста, а медика. Почти центральное место в рассказе есть одна строка: Он у нас не *добытчик*.

Это семья аттестует одного своего члена-инвалида.

«Не добытчик»... Это глупое, тупое слово, какою-то кувалдою стоящее в строке, слово такое не литературное, но тургеневское, – сосет-сосет вашу душу по ночам. Сперва ошпарило, а потом сосет.

– Куда же его, если он не добытчик?

Лишний рот в большой семье около маленького каравая. Скверные мысли приходят на ум. Ну, а если «недобытчик» захворает, – значит, его хворь не почувствуют другие так, как если бы заболел добытчик? Или если его ушибет камень, убьет гром? С «добытчиком» сделается, – и все ахнут, застонут; а с «недобытчиком»?..

Тут «закругления» Платона Каратаева разрываются: «недобытчика» вообще не жалеют, к «недобытчику» ничего не чувствуют, – и не по злобе, а *по усталости*.

– Все привыкаем не есть. Никак не можем привыкнуть. Все хочется, каждый день хочется... Хлебца и молочка. *Устали*, «привыкая»...

Ужасное «устали» за десять веков существования! Как не устать... Ну, и где же тут «десять заповедей» морали, куда приложить тут Нагорную проповедь Евангелия?..⁵

«Блаженны ищущие и алчущие правды...»

– Нам бы хлебца. Не совпадает.

«Блаженны, когда вас будут гнать и поносить»...

– Никто нас не гонит, и даже все «любят». Только проходят все мимо. Нам бы землицы.

Но о земле и хлебе Учитель жизни ничего не сказал. Указал на Небо, что «туда надо стремиться». «Вот и Л. Н. подтверждает».

* * *

С изнурительною чахоткой в груди, неудачник-медик, с нуждой в деньгах, не большой и не острой, но «все-таки», – Чехов прошел недлинный путь жизни, на все оглядываясь, все замечая, ни с чем не враждуя и вообще бурь в себе и из себя не развивая. «Штормы – в океане; на Руси какие штормы? Стелется ветерок». И безграничные равнины Руси, с ее тихими реками, вялой и милой зеленью, все окинул он ласковым и печальным взглядом, – взглядом человека, который добирается до ночлега и обдумывает, будет ли он тепел, не придется ли опять зябнуть.

Он наблюдал, видел, рассказывал...

«Любовь? Где же вечная любовь?» – Не на Руси! «Верная любовь?» – Не по нашим нравам.

Какой-то почти «прохожий» человек, соседний человек, инженер, что ли, или чиновник, ухаживает за «женой ближнего», и с желанием непрямого успеха. Жена – хорошая женщина, обыкновенная женщина. У нее ребенок, мальчик. Тянется что-то 14-й год брака. «Инженер» нисколько ей не нравится. Но удивительно «хочет». Есть нагнетания воли, магнетизм воли, шопенгауэровское «хочу», – и волны этого чужого «хочу» захватывают ее. Но она честная женщина, вполне честная. Это уже я комментирую. В критическую минуту или накануне критической она играет со своим ребенком, прижимается к нему, старается вообще преднамеренно и нравственно отразить наступающую волну отбойною волной

материнского чувства. Все правильно, верно, мудро, все по инстинкту. Но «канун» прошел, и наступил настоящий день. Зов повторяется, волна идет сильнее, – волна, ее затревожившая, – и она кличет отдыхающего мужа.

– Саша! Проснись!

– А? Что?– Храп продолжается.

– Саша, ты нужен мне. Проснись...

Муж все сопит в кровати.

– Беда идет, Саша... Если ты не будешь со мной, беда будет.

– Да оставь же ты меня, дай выспаться. – И муж поверты-
вается на другой бок.

Жена спустилась с балкона, в аллею сада... Все «случи-
лось»...

Что случилось? *Как* случилось? – «Все по-русски»...
У нас штормов нет, рыцарства не было, даже дуэли не при-
вились. «На нашу русскую точку зрения» даже все это пред-
ставляется комизмом – и дуэли, и рыцарство, а уж штормы в
особенности.

Тиха Русь. Гладка Русь. Болотцем, перегноем пахнет, «а как-то мило все». Отчего мило? Кому мило? Кто это расска-
зывает – тому мило, кто это видит – тому мило, да, по правде,
и всем нам мило. «Ко всему приноухались».

И задумчивый художник, с полукритикой, без возмож-
ности протеста и борьбы, шел и шел... к ночлегу ли, к станции
ли. Пресса и общество шумели вокруг него, неглубоким и не
«своим» у каждого шумом. Лес шумит, а деревья не слышно. И
среди шумящего леса шел путник-созерцатель, не вторя лесу,
но и не дисгармонируя с ним, его не поддерживая, но ему и не
противореча. У Чехова было столько же «хочу», сколько «не
хочу». Именно как у Руси, у которой «не хочется» так же мно-
го, как «хочется»... Все нерешительно, все неясно...

Он стал любимым писателем нашего безволия, нашего
безгероизма, нашей обыденщины, нашего «средненького». Ка-
кая разница между ним и Горьким! Да, но зато Горький груб,
короток, резок, неприятен. Все это воистину в нем есть, и за
это воистину он недолговечный писатель. Все прочитали.

Разом, залпом прочитали. И забыли. Чехова не забудут... В нем есть бесконечность – бесконечность нашей России. Хороша ли она? – Средненькая. Худа ли? – Нет, средненькая.

О, Боже! Да тянись же ты, кляча, хоть до глубокой могилы.

С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ

Размышление о ходе русской литературы

Нет предмета, смысл коего мы могли бы вполне понимать, если он еще *не закончен*. В этом отношении 1917 и 1918 годы, когда рухнуло Русское Царство, представляют собою исключительную историческую минуту, в которую видно все сполна историческое течение и литературное течение в их завершенном, окончившемся уже течении. Мы видим, куда все шло, к чему все клонилось, во что все развивалось, двигалось, формировалось. *Этого*, что лежит перед нашими глазами, уже нельзя переменить, переделать. Оно – *есть*, оно представляет собою *факт, зрелище*; нечто *созревшее* и переменам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и настанут, но самые эти перемены настанут от впечатления испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в общем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то «кончилось» в России. И куда побегут новые побеги ее – это будет зависеть от того, как мы уразумеем сошедшее вон именно в этих 1917 и 1918 годах.

Маленькою горсточною славян, живших по Ильменю-озеру, совершилось более чем тысячу лет тому назад так называемое «призвание князей на Русь» – но побуждению чрезвычайно странному, не записанному в летописях и хрониках никакого другого народа. Жили-были люди, занимались торговлею, маленькою на великом водном пути «из варяг в греки», то есть от язычествовавших в тот IX век после Рождества Христова варяжских викингов в страну христиански просвещенную, в великую Византийскую империю, наследницу античных языческих сокровищ, обогащенных и углубленных смыслом христианским.

Жили-были; торговали; занимались звериным промыслом; рубили лес, вспахивали поля; все – в тех небольших пределах, каких требовала жизнь, каких требовала небольшая северная нужда. Жили; но, без сомнения, по причине мелких житейских ссор, мелких житейских свар – уголовно-полицейского характера – стали нуждаться в ком-то «старшем», кто дал бы им «порядок» условно-всеобщий, условно-постоянный, который бы «признали все до единого». «Порядок» этот назван в летописи «нарядом». «Приидите, – сказали новгородские посланцы варяжским мелким князьям, – володеть и княжити над нами. Земля-бо наша велика и обильна, а – наряда в ней нет»¹. Тот «порядок», какой новгородцы видели как у варягов, так и в Византии, они назвали «нарядом», без сомнения по впечатлению «красивого зрелища», какое являет собою вообще упорядоченная, правильная, единообразно текущая жизнь, сравнительно с течением разрозненным, в разные стороны, направленным один день «так» и другой день «иначе», в одной семье, улице или городке по такому-то «ладу», а в другой семье, улице и городке по совершенно иному «ладу» и «складу».

Так и пошло «начало Руси», начало «русской истории». «Как начала быть и откуда пошла есть Русская Земля»... Нельзя не отметить глубоко прекрасного смысла этого «начала Руси»: всегда и во всех историях первым толчком к образованию у себя гражданского порядка, вообще чего-то вроде «государства» и «государственной власти» – служили без исключения воинственные намерения, более или менее разбойного характера. Как «напасть» или каким образом «защититься» – это и было мотивом к возникновению «княжеств», «государств», «царств». «Самый смелый и хитрый разбойник», «атаман» в разбойниках и становился «князем», «королем» или «царем». Лучший образец этого – *Рим*, образец вообще начал государственного строительства, образец вообще – течений исторических. Было поистине прекрасно «начало Руси», безоблачное, безбурное, бесшумное. «Когда солнышко всходило – даже и незаметно было ни для кого», – а «когда оно взошло – уже день начался», и вот все начало русской истории.

И – начало русской литературы. Буквально, русская литература начинается из столь же безвестных источников, как и наша история: также – ночь, сумерки раннего утра, и вот – солнышко начинает прорезывать тьму. *Город* Новгород уже стоит, построен, ранее «призвания князей», а сказки рассказываются, песни поются, пословицы складываются и поговорки шутятся именно у звероловов кривичей, древлян, полян и т. д. Все это «разговорные» начала Руси, все это «говорные начала Руси», и тут уже не было «никакого призвания князей», все это было еще бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И вместе с тем: еще – фундаментальнее. «Говор», уличная речь, речь базара, речь охоты, речь рыбной ловли, заунывный плач на похоронах – все это является полным составом «литературы» в том предрассветном сумраке истории. «Говор», «слово» – есть орган литературы; он орган ее – в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежности. Наверное, у римлян не было вот этих указываемых оттенков. Их твердые супины, их повелительные герундии – все говорит о воле, о приказании народа, и в самом деле раскинувшегося на весь свет властью, но у которого «золотого слова» не вышло в литературе, литература которого всегда была коротка и груба.

Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие песенки и весь «зимний сон» сказок предвещали литературу из чистого золота; как и странное «призвание князей» из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарактерном, не могущем «управиться с собою» и учинить у себя «свой собственный наряд». Говорит о народе пассивном, мягком, «зазевывающемся» при зрелище другого народа и всегда готовом побеждать и «сделать *так же, как он*».

«Начала истории» как-то «надевают шапку» на все последующее течение ее; как «говоры базарны и уличные» – слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное.

После «начала Руси», которое было и вышло из Новгорода, при Владимире «Красном Солнышке» произошло в стольном городе Киеве – *крещение Руси*. Опять же факт, столь же царственный, государственный, – наконец, факт, столь же ре-

лигиозный, как слиянно и литературный. И в мотивах одного факта, новгородского, и другого факта, киевского, лежит опять один и тот же мотив – красота, зрелище, вид: «Стоя на богослужении в Святой Софии Цареградской – мы не знали, находимся ли на небе или на земле».

И вот совершился второй акт «пришествия Руси в себя» или, вернее, «одеяния Руси в свой образ»: после «наряда», в каком мы живем и ходим, – надела Русь «наряд», в каком она молится.

И факт опять же слиянно и *литературный*. Отсюда, от Киевской Руси взамен «звериных обычаев», какими красилась или какими безобразилась Новгородская Русь, – потекут с 988 года тихие и кроткие описания «житий» сперва греческих «угодников», а потом и русских «угодников»; потекут «патерики» и «поучения». «Како надо ставить правду Божию на земле», «како надо править правду Божию в душе». «Из грек» полился совершенно иной свет в душу русскую, в душу славянскую, нежели «из варяг»: все море, весь океан и древних античных, а главным образом – новых христианских волнений, впечатлений, переживаний, опытов, размышлений – стал входить и стал овладевать душою неопытною и впечатлительною, как воск. «Возсиял свет разума». И первые – монахи, они же, правя службу церковную, записали и начала гражданской Руси, «как пошла есть и откуда начала быть Русская земля».

Литература вся стала церковною, по единственным источникам самого бытия ее. Все залилось переводами, переводами с золотого греческого слова, золотого и по форме, по чекану – золотого и по содержанию, по духу. «Златоструй», «Пчела», «Изборник» – «Измарагд»², все говорит о себе уже самыми заглавиями своими; все говорит и о тоне благоговейного слушания, с каким внималось слово поистине небесного слушания. То, что испытывали посланцы Святого Владимира, стоя на службе Святыя Софии Цареградской, то самое испытывали русские читатели тех древних книг с медными застежками и в почерневших переплетах. «Не знаем, читаем ли мы

слово человеческое или слово – Ангельское». «Книга та – с Неба, и все это премудрое Божие научение».

Все старое, новгородское, языческое – начало устыжать человека самую возможностью внимания к нему. Поразительное «Слово о полку Игореве» – произведение, каким-то чудом сохраненное и пронесенное через все века русской истории, но уже по единичности экземпляра найденного – явно целые века не читаемое, не находившее к себе интереса, пренебреженное – являет собой хотя памятник Киевской Руси, но еще почти киевско-языческий.

И вот все переносится в Москву. Переносится от отсутствия того «наряда», какой спал с Руси в ее удельно-вечевой период и недостаток которого заставил новгородцев «призвать князей». В сущности – «много князей» – то же, что «нет князя», нет «Большого», нет «Набольшого»: и переход Руси на недолго в Суздаль, во Владимир-на-Клязьме и затем быстро – в Москву есть незаметно и вторично опять же «призвание князей»: «бо (ибо) наряда на Руси нет» или «опять не стало».

Уже это перенесение центров исторической жизни, перенесение культуры – знаменовало многое; как и последовавшее потом перенесение столицы еще раз в Петербург Петром Великим. Перемена *места*, перемена *жилища* знаменует собою отсутствие большой *крепости* к земле, большой *тяги* земной, тяги планетной и, до известной степени – легкомыслия человека. Славяне не жили *родовою жизнью*, вот в чем дело; и они не так глубоко *врастали* в землю, *гнездились* в земле. Эта птица не вьет такого *большого гнезда*, эта птица – *поменьше будет*. Вот, пожалуй, печальные предвестники и *конца* истории, если мы действительно переживаем уже таковой конец, а во всяком случае – ее зыбкого, колеблющегося течения, не столь твердого и массивного. *Родовою жизнью* жили только твердыни истории; твердыни, до некоторой степени, планеты: евреи (двенадцать колен Израилевых, сохраняющиеся от Авраама, Исаака и *Иакова* с двенадцатью его сынами, до настоящего даже времени); греки (их *фильы*³), римляне (трибы⁴, курии⁵, *patres*, патриции⁶), германцы («родовой быт гер-

манцев», описанный изначально Тацитом). Таковые «роды» пирамидально, вершиною книзу, корнем книзу, вырастают в землю и питаются из более глубоких слоев ее, из более горячих слоев ее, питаются жизненнее, сильнее. Не только земля, в смысле мистическо-жизненном, нужнее для них; но в странном-мистическом смысле, в космогоническом смысле, и они как-то и в каком-то значении – более нужны для мира. Здесь последняя разгадка принадлежит концу времен, о котором мы смеем только трепетать, но не смеем размышлять. Очевидно, однако, что в русской истории содержится интерес, но не содержится значительности, по крайней мере столь исключительной, как в евреях, эллинизме и романизме; наконец – как в германизме, увы... Что же было у нас вместо «родового быта»? начало – «ватажное» (ватага), соседское, которое распадается на добрососедское и злобнососедское; общинное; артельное; казацкое. Действительно, те, в сущности, «общины новгородские», которые, подумав, «призвали к себе князей», – «порядка-бо у нас нет», – эти же самые общины вылились в XV, XVI и XVII веках на юге России в форму «казачества», – пожалуй, с заветом или мыслью – «бо (ибо) порядка и *не надобно*». Вообще тут выразилось некоторое «побродяжничество Руси», как племени, не очень драгоценного для планеты и которое она держит на себе, но с которым особенно не связана. Питает, хранит, но не вынимает из чрева. Москва есть устой русской истории; и если бы представлять себе всякую историю как *мост*, по которому народ переправляется куда-то, переправляется приблизительно в *вечность*, то Москва есть главный опорный *бык* такого моста. Здесь Россия сделала наибольшие усилия *сосредоточиться, утвердиться*, почти – *обдумать себя*. Она стала растить *царскую власть*, которая отстояла Русь, от края и до края, и от корня которой Русь вся питалась, тоже от края до края. Царская власть есть духовное и личное осмысление всей Руси, и, ничего здесь не деля, а только целебно соединяя и совмещая, мы бы повторили народное и благодатное народное слово: «как на Небе – Един Бог, так и на Земле – Един

Царь»... И продолжили бы и развили эту мысль, досказав, что «как на Небе Бог устанавливает *миропорядок*, – так на Земле Царь устанавливает *землепорядки*». Русь получала в царской власти то, чего ей недоставало в родовом быте: землеприкрепление, планетоприкрепление. Русь с царской властью начинала тверже держаться на планете, больше «светиться в подсолнечной» – «Ах, вот где мы нашли *себя*»: и Русь распоясалась и села.

Именно – села, утвердилась и выросла.

Самостоятельный, большой русский мир. Начало цивилизации, самобытности, оригинальности.

«Василий Блаженный», как никакая церковь на земле; «кремлевские терема», как никакие терема на земле; «грановитая палата», как опять никакая палата на земле; «батюшка Грозный», как тоже никакой царь на земле. И – «лобное место», чтобы казнить супостатов.

Крепкое место. Сильное место. Но, крепясь, – надо было крепость разливать на всю Русь; надо было ее ожелезивать всю. Тогда как Цари – и добавим с любовью и благодарностью – «батюшки наши, цари и благодетели наши» – ее скорее разрыхляли. Именно – из *рода царского*, от *корня царского* надо было начать *пускать корни, крепить сословия*. Укрепляться не только лично и *самому*, но укреплять свою *державу* и *державство*. Этого-то и не было сделано. Безумная борьба Грозного с дворянством, борьба, наконец, со Святыми, с церковью (судьба митрополита Филиппа; судьба Адашева и Сильвестра; судьба князя Курбского) – все это похоронные этапы Руси; все это грозные предвестники разложения Руси. Все это было «скрепление Руси», но с таким «наоборот», при котором все целебное как-то пропадало, испарялось.

Порок, грех, судьба. Нужно же было, чтобы Грозный лично так несчастно воспитался. Что это – «случай»? Да, «случай»? Да, «случай». Невозможно совершенно исключать «случай» из истории. Мы впоследствии, в отметках о смерти Пушкина и Лермонтова, повлиявшей на ход и судьбу всей русской литературы, – будем иметь возможность отметить еще два «случая»

и повторить вопрос, какой задаем себе сейчас: имеет ли *право* «случай» влиять на историю и, так сказать, изменять мировые гороскопы? Как смеет «случай», нечто мелькающее, нечто именно «случайное», то есть мизерабельное по смыслу и физиономии, с лицом не то старушонки, не то мальчишки, «выросши из щели», из «дыры» и «небытия», – касаться тронов и весов судьбы? И, горестно должны ответить – «да, может»: «случай», который «не смеет», на самом деле: «да, смеет»... Бездонности небес никто не исчерпал.

«Порок», «случай», «несчастье» и «грех» в воспитании Грозного, не уравновешенные другими ослабляющими влияниями, не уравновешенные благородством и великодушием самого боярства, а также – благоразумием и осторожностью последующих государей, – заставили его почти истребить боярство, засушить и попалить огнем тот «подлесочек», из которого сама царская власть брала себе сослужение, черпала соки и помощь. Работник, главный работник рубил у себя руки и ноги. Громадное дерево, Райское дерево – царская власть – стало расти одно, одиноко, без леса; начало огрубляться, одеваться коркою, черстветь, червиться. Вместо «Райского дерева» начал расти «могильный гриб». Нет «Государя» без «благородного дворянства», как не может быть «полководца» без «храбрых солдат» и «службы доблестной» без «честных сослуживцев». Словом – «Царь был», но он – «не одел себя порфирию», а «порфира царская» – это «люди царственные».

Когда мы в последующее время увидим яростные порывы интеллигенции взять себе «всю власть», мы увидим, как «царская власть», в сущности, и погибла от того, что вовремя и благоразумно не сумела окружить себя защитным лесом. Интеллигенция, в муке на дворянство, в злобе «почему оно – не дворянин», рвала последние клоки его, вырывала «свиным рылом» последние корни того дуба, который начала шатать царская власть. А когда, в одиночку и в борьбе, встретился «интеллигент и царь», то интеллигент сбросил царя с перил моста, как более молодой, как более сильный,

как менее стеснявшийся в средствах борьбы, как более злодей и разбойник и вообще – как менее воспитанный человек и более преступный тип. Но все это настало потом и к нашим временам. Все это уже открылось к «вершине пирамиды», которая «разрушилась».

«Золотого царства» не бывает без «позолоты всех вещей». И царю, укрепившись, надо было сейчас же золотить все вокруг себя: украшать людей, а не унижать людей, украшать и возвеличивать сословия, а не гноить и не гнать их; надо было сейчас же воздать труду, ремеслу, таланту в ремесле, торговцу, фабриканту. Надо было рыхлить почву подо всем, а не иссушать ее подо всем. «Царству» надо было разрастаться в «царский сад», а не в «царское уединение». И, словом, тут встретился тот же «грех» и «случай», встретился, в сущности, «личный недостаток», который как «обойти» и как его «избыть». Разве Адам не был прекрасно сотворен Богом? Но что-то «случилось»...

Русская история как-то неполна, и менее всего она полна тем, что не выработала она в себе крепкого сословного строя; гордого сословного слоя; самобытного сословного слоя; соперничающего сословного строя. Она виновна и слаба тем, что не развила в себе вихревых эгоизмов, твердых «я», могучих «я»... В противовес «дворянству», в Германии «выросла» «Ганза» и союз «ганзейских городов»⁷. «Короли» соперничали с «рыцарством» – и «освобождать Иерусалим» ходили не только «Людовик Святой», но и «Готфрид Бульонский». Вот как дела делаются. Всякая планета имеет *свое притяжение*, притяжение – *в себя*; центр вращения вокруг *своей оси*, именно – *своей*, именно – *исключительной*. Так творится *настоящая история*, творится на вращательных *вихревых эгоизмах*, которые не покоряло бы Христово смиренное:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...⁸

Увы, история вообще есть *языческое* явление... И кто хочет очень «поклониться Христу», не должен приниматься за «дела истории»...

...«Victoria! Victoria!..», «Побеждай», «Триумф!» Это также свет истории, по крайней мере – это также *толчок* в истории, как и другой «Христов свет» и Христово поползновение...

Москва, от всех стран столь удаленная, уже жила менее подражательно, чем Новгородская Русь и чем Киевская Русь... Более уподобилась она Востоку, филигранному Китайскому царству, особливому Батыеву царству, и особенно понимаемой и воображаемой Византии... Мня быть похожею на все сии царства, Москва была похожа только на себя. Со своей большой пушкой. Со своим большим колоколом. Со своим исключительным «красным звоном». И «зазвонила ты, Матушка, весь мир», и зачаровала весь мир...

Очарование кончилось, когда обнаружилась слабость. Петр Великий. Напор западных держав. Швеция, Польша. Стрелять не умеем. Стрельцы бунтуют; стрельцы – слабы. Требования военного строя, который стреляет из ружей, а не из «пищалей». И вот – вся Россия преобразована, и под молодым царем – поскакал молодой конь в безбрежность, в незнаемое...

И – новая литература, совершенно новая... Она вся вспрыснула, вскочила. «Помощь – империи! Помощь – молодому царю!»... Помощь – особенно в преобразовании. Как стар Стефан Яворский, как молод Феофан Прокопович. Все вообще разделилось на *старое* и *молодое*, и если в России «сословий» собственно не было, то их теперь заменили сословия «молодого поколения» и сословия «старого поколения», которые на Руси стали соперничать, как в Германии «рыцарство» и «Ганза»...

«История русской литературы» от Петра Великого и до могилы русского царства есть явление настолько исключительное, что оно может назваться «всемирным явлением», всемирною *значимостью* – независимо нисколько от своих талантов... Может назваться таким явлением в силу, так сказать, своего «гороскопа». Еще никогда не бывало случая, «судьбы»,

«рока», чтобы «литература сломила наконец царство», «разнесла жизнь народа по косточкам», «по лепесткам», чтобы она «разорвала труд народный», переделала «делание» в «неделание» – завертела, закружила все и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениального своего писателя: «Записки сумасшедшего».

«Литература» в каждой истории есть «явление», а не *суть*. У нас же она стала *сутью*. Войны совершались, чтобы беллетристы их *описывали* («Война и мир», «Севастополь», «Рубка леса», «Красный смех» Леонида Андреева), и преобразования тоже совершались, но – зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если «освободили крестьян» – то это Тургенев и его «Записки охотника», а если купечество оставили в презрении – то потому... что там было «Темное царство» Островского, и нужно было дожидаться времени, когда они преобразятся в новофасонных декадентов. Цари как-то пошли на выставку к Пушкину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его «Семью повешенными». Наконец, даже святые и праведники церкви рассортировались в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот «Мелочей архиерейской жизни» Лескова... Это так сделалось напряжено парами, литература до того напряглась парами, что, наконец, когда послышалась ломка целого корабля – все было уже поздно... Поздно поправлять, поздно целить, подставлять пластырь корабельный: Россию разорвало, разорвала ее литература. И когда еще не произнеслись выкрики, испуги – на месте чего-то, что «было», – заплывали осколки досок, завертелись трупы, кровь, все захлебнулось в пене, бури, зловонии и смерти.

«Литература», которая была «смертью своего отечества». *Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться*. Но между тем совершенно реальна эта особенность, что «ни одной поломки корабля» и «порчи машины» нельзя указать без ее «литературного источника». И к «падению Руси» нужно и возможно составлять не «деловой указатель»,

а обыкновенную «библиографию», указатель «печатный», «книжный», перечень «пособий в стихах и прозе», в журнальных статьях и в «хрониках внутренней жизни». Работа кропотливая, изнурительная. Но если бы новый Тэн, эмпирик и реалист без всякой особенной философии, вошел в Императорскую Публичную Библиотеку со словами: «Покажите мне, пожалуйста, отдел русской журналистики и русских газет, начиная с *«Отечественных Записок»* времени еще Белинского и затем Щедрина и Некрасова, и *«Голоса»* со времени Краевского», – будто бы *это и есть* источник к развалинам нового Карфагена: то, порывшись достаточно, порывшись всю жизнь, он вынес бы *resumé*:

Каким образом величайшая благожелательность, прямо «христианские чувства» – правда, без упоминания имени Христова, – и вечное служение родине, – только родине, – народу и только народу, – но не с забвением и универсальных задач человечества, и вообще всего гуманного, просветительного, школьного, – каким образом целый век служения «Литературе и жизни» (очень замечательное название на этот раз гениальных – именно в *удаче названия* гениальных статей Михайловского) привело именно к тому, что все «провалилось, погибло» – и от России столько же осталось, сколько после закончившей дневную атаку броненосцев, – ночной атаки миноносцев осталось от знаменитой эскадры адмирала Рожественского в Цусимском проливе...

Как это могло случиться в Государстве величавом – от действия писателей презираемых, гонимых, цензурируемых, за которыми глядело «сто глаз», с которыми «не церемонились», которых почти вешали, для которых были заготовлены специальности вроде Петропавловки и Шлиссельбурга, которых едва не «драли», да, кажется, и «драли», потаенно и некоторых... И которые вообще приняли на себя Голгофу долготерпения...

Вот *кто* им помог... Бес или Бог... «Христа» не надо, «имя Его ненавистно», – но ведь в тайне и в сердце – что же выше Нагорной проповеди и привлечения «чистого сердца»

на «алтарь отечества» нашей хмурой и несчастной Руси... нашей лютой и холодной Руси, с обдираемым и кровенящимся народом... Вообще, что выше священного служения Человечеству, сироте, бедняку? Все языческое, грубое, жесткое – этого не надо... Все повелительное – о, не надо этого... Мы так измучились, измучены... Голгофский страдалец – это Россия, это мы...

О, не надо Христа, вообще этих суеверий – не надо. Мы соединим величайший позитивизм, полную трезвость взглядов, – полную реальную научность – с тем, однако, что с Голгофы потекло в сердце человеческое, утешило и облагородило его, возвеличило и истончило... что есть самое гуманное, эфирное, о чем человечество, как о недостатке своем, всегда рыдало... Мы добавим к этому нашу русскую раскаянность, это чувство греха, – мы не будем гордыми, самолюбивыми, тщеславными... Мы поиграем и в карты, как «Рыцарь на час»⁹, плачущий над могилою своей матери, и поленимся, как Обломов, надевающий три дня одну туфлю... Кто не грешен, кто Богу не грешен... Но мы – люди, но – золотое русское сердце... И вот последняя книжка журнала, которую Белинский требовал, чтобы ему положили ее под голову в гроб, когда его тело в плохом сюртучишке положат в гроб же перед тем, как отнести на мокрое Волково кладбище... Бр-р... – какое название... В России даже гробницы волком воют и все дожидаются, когда честный человек умрет, по слову поэта.

У счастливого – недруги мрут...

*У несчастного – друг умирает...*¹⁰

О, о, о...

Цусима, взрывы...

Мелькание огней в холодном море...

И этот жалкий Рождественский, отдающийся в плен дикому Ояме, в отвратительном морском мундире, японского фасона: «Возьмите, генерал, мою шпагу», «Сам я ранен, и у меня перевязки»...

Ояма приказал не тревожить больного и окружить его цветами... Прекрасными японскими хризантемами окружить подушку страдальца при Цусиме.

Мне как-то пришлось прочесть, кажется, даже два раза, о том, как умирал беллетрист Каронин, – беллетрист и отчасти публицист, – приблизительно семидесятых или восьмидесятых годов прошлого XIX века. Ничего *его* не читал, и, кажется, нечего было читать: он всю жизнь трудился и не написал ни разу ничего выразительного, значащего. Все «общие места» и все «то же»... И вот – он умирает: и перед смертью у него прошептались слова до того поразительные, что тогда же мелькнуло у меня – их следовало бы вырезать надгробием всего *этого течения* русской литературы. Смысл их заключался в том, что выше русской литературы, и вот именно в этих *мелких ее течениях*, в *течениях незаметных*, не было ничего в целой всемирной литературе, и именно – по служению народу и человечеству. Что это было – одно *служение*, одно *бескорыстие*, одно – *самоотвержение*. Не помню слов: но слова (у умирающего!) были так прекрасны, ровны, не возбуждены, не истеричны, от них веяло таким прекрасным веянием и могилы, и вечности, такую готовность «пойти на Страшный Суд» и рассудиться «хоть с Самим Богом», что в душе у читающего оставалось впечатление полного умиления, полного восторга. Белинский был все-таки знаменитый критик, знавший свое значение для всей России, и в словах его о книжке «*Отечественных записок*», которую кладут ему в гроб, могло быть и самообольщение, и гордость собою, заслугами своими перед литературою, да и перед всею даже историческою русскою жизнью. Он был Карамзиным русской критики. Но *этот?.. ?.. – ничего*. Прополз как клоп по литературе, кого-то покусал обличительно, но даже городской не оглянулся на «укус». Таким образом он сказал не *о себе*, а *о всех нас*, вот таких же журнальных страдальцах, живших впроголодь, и все строчивших и строчивших, и все обличавших и обличавших, все «боровшихся со злом грубой жесткой действительности»... И вот он выговорил, что этого

«обличения» и всей его скорби не выше Шекспир, не выше и Гете и Шиллер, не выше Байрон с его громами и молниями... «Выше ли?»... А и в *самом деле* – не «выше», как толпа «мучеников христианства», выведенных в цирк на борьбу со львами, на сражение со львами, причем самые имена их никому не ведомы, – до некоторой степени выше проповеди всех Апостолов, которые «глаголом жгли сердца людей», которые если и пострадали, то за то и велики. Прославлены. И вообще, с них началось «Новое Небо».

Бывает, что пыль земная – священнее звезд. Это – пыль усталого человечества, протоптанная ногами в ранах, в болячках, да и просто пыль от *очень усталых ног*. И Каронин сказал именно что следует. Что пусть западные литературы более блистают, чем наша, талантом, – что пусть их заливают гений и что «пусть никто у нас не может сравниться с Вольтером остроумием и с Байроном дерзостью: но что все это – в золотых странах Запада и настоящего просвещения, а вот они «потерли бы ляжку у нас, в этом тусклом погребке, где не на кого и оглянуться, и вообще где «заедает среда», и где все такие исправники, что даже «хуже Думбадзе» и, можно сказать, «прямо Гершельманы».

Не знаю. Не умею выразить. И даже не хочу выражать. Но что «сапоги выше Пушкина», – притом *действительно выше* и священнее, святее его, – показала и *доказала* впервые русская литература вот этого особенного течения и направления... Позвольте: но уже не я и не Каронин сказали, что Лазарь в *ранах* выше Давида, играющего псалмы на арфе, выше Соломона в его убранстве одежд и что вообще «*последний* в Царстве Божиим – выше Авраама с его плодущим лоном»... Таким образом, «Пушкин» и «сапоги» далеко, но впервые прозвучали во всемирной истории, и выдумала эти слова все не русская литература... Есть *вечная истина*, когда «сапог» действительно выше Аполлона, играющего «на цитре». Это – пот, страдание, подвиг. Вот Он. Голгофский Страдалец сказал. А русская литература вся превратилась в Голгофу от Шлиссельбурга и от Гершельмана...

...Я так говорю, потому что вижу пирамиду уже с *вершины* тысячелетия, когда «Голгофа» сорвала шапку с русского царства, истерзала порфиру на русских царях, которые, увы, все не были «Лазарями», а – теми «богатыми» и «жившими во дворцах», которые в час гнева и суда попросили у нищего Лазаря несколько капель холодной воды на язык. «О, будет суд, о – будет *терзание*...»

«Но есть и *Божий суд*, наперсники *разврата*»...¹¹

Этот «суд русской интеллигенции над своею историею», – имевший в сердцевине суд литературно-образованного, суд журнально- и газетно-начитанного *общества* над тою же историею, закончился скандальным шепотом германской полиции: «сколько же вам следует миллионов, бильонов талеров уплатить за продажу своего отечества, за уступку провинций ваших, за развал вообще всей России: раскалывание которой, щели которой мы давно видели, и на них рассчитали победу военную и политическую, после того, как давно, уже с Петра Великого и Екатерины Великой, с Александра I и Николая I, культурно, идейно, научно, университетски, школьно, административно, законодательно, судебно, медицински, аптекарски, фабрично, заводски, торгово, по отделу страхования и банков постепенно овладели и давно и крепко всем овладели в России?» – «Деньга *счет любит*» и «даром мы ничего не берем, хотя бы вы и отдавали в рабство нам свое отечество совершенно задаром»... «Вот счетные книги Германского Имперского банка: и сверх того, Германия имеет всемирно-необозримый кредит».

И Грановский, Белинский, Станкевич, люди совершенно чистые, люди страдальческие и жертвенные, и Некрасов, Щедрин, люди уже иного разбора, Бакунин и Кропоткин, а главное, в глубине за всеми ими «всадник, поскакавший в Берлин за наукою» с Сенатской площади, вдруг почувствовали бы вар горячего золота, вар расплавленного золота, вар банковского золота – вар Иудиного золота, – за великое историческое предательство...

– Кипи, окаянный Иуда, в золоте... Ты был окаянен в земле своей. Ты мнил себя *святым*, «жертвою», *замученным* и *праведником*... Но, поистине, слова проходят, а дела остаются... Дело же твое, уже с чудного гения, озарившего все на Востоке, прискакавшего к нам с Востока, принятого нами как гость с Востока, – было отвратительно и предательно.

Не смеет Царь предавать Царство, ему врученное Богом, врученное как ветвь Сада Эдемского, как Ветка Дерева Жизни... Он не имел ума, как простой японский микадо, как рядовой японский микадо, *преобразовать свое отечество*... Он с ручищами Исполина, он бил бедную Россию, бил бессильную Россию, уже и без того забитую «Грозными» царями Московского периода, обухом в темя, обухом в затылок, обухом по шее... Бил и – *убил*... Его назвал народ «Антихристом», и было что-то вроде этого... От «Антихриста» пошел «род Антихристов», «порождение Антихристово, племя Антихристово, поколение Антихристово»... Были и праведники, вас исправляющие, вас предупреждавшие: но *грех*, врожденный вам, был сильнее их праведности. Горсточка и в образованном классе примкнула к этим праведникам земли Русской: это – славянофилы, славянофильство. Но они все были бессильны. Они звонили в колокольчики, когда в стране шумел набат. Никто их не услышал, никто на них не обратил внимания. Когда уже все рушилось, пирамида падала, царство падало, когда поднялась Цусима одного дня, о всех этих предупреждавших Катковых, Леонтьевых, Гиляровых-Платоновых, Данилевских, Страховых, Аксаковых, Хомяковых, Киреевских даже не вспоминали, даже не называли ни разу их имен. Они были вполне – *могилы*, вполне *могильны*... Нельзя всех назвать. Были еще Флоренский, Эрн, Булгаков, Рцы-Романов, Пл. А. Кусков, Гильфердинг, Востоков. Это алтарь. Растоптанный алтарь.

Все растоптанное поистине растоптано и не достойно даже памяти имени. История есть все-таки история дел, а не жалкая хроника мнений. Песок пустыни, песок забвения – вот его участь. «Забудьтесь» – и никакого глагола еще.

«Triumph, triumph, Mars, Mars»... Иди же ты, Вильгельм: и заканчивай похороны Руси. Которая языками восторжествовавших наконец социалистов облизывает твои фельдмаршальские руки. Справляй триумф, Вильгельм, и длинный ряд Вильгельмов и Фридрихов: ты победил восточного Ивана-Дурака.

Что же случилось? В конце концов, как же все *произошло*? История есть слово о *происшедшем*. Я говорю о *resumé* русской истории, о *resumé* и хода ее литературы. Началось все очень радостно, с Петра, с Кантемира, с Фон-Визина, Ломоносова, Княжнина, Хераскова, Хемницера, с прекрасного Державина.

Восторг внезапный ум пленил –

в этой строке, в этой исключительной по наивности и по чистоте сердечной строке – выражается, в сущности, вся русская литература XVIII века, литература Петра, Елизаветы, его «дщери», и двух Екатерин, счастливой и несчастной, и кровавой Анны.

Утихающий «восторг», но все-таки восторг, что-то крепкое и славное, держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине.

Это солнцестояние русской литературы. Это – ее высший расцвет, зенит. Эдем ее. Все сияет невыразимую, *независимую* красотой: и Смирдин оплачивает червонцем каждый стих Пушкина. На самом деле, если бы Николай не был таким тупым остзейским императором и петербургским бароном, он призывал бы каждый день Пушкина поутру во дворец и, спросив: «Писал ли ты что сегодня ночью, друг мой, сын мой, – мой *наставитель*», – целовал бы, в случае «написал», руку у него: потому что все его глупые и пошлые воины не стоили:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...
– Тятя! тятя – наши сети
Притащили мертвеца.
– Врете, врете, бесенята...¹²

Но – солнце не стоит... Близится вечер, близится ночь. Зима и осень близкие, увь, для всякой истории. Мы, русские, считали себя бессмертными. Страшно, дико: но, проживя *тысячу лет*, – мы все еще считаем себя «молодыми», «молодою нациею». Мы, в сущности, были глуповатою нациею, и еще мы ничего вообще не сделали, не совершили в Подсолнечной – и в этом заключалось все право наше на «молодость»: мы были развращенные старики-мальчишки, со скверными привычками, со скверными пороками.

Взвилась звездою не то утреннею, не вечернею узкая лента поэзии Лермонтова, что-то сказочное, что-то невероятное, для его возраста, для его опыта: взглянув на которую черный гном Гоголь сказал: «Я тебе покажу, звездочка»...

И вот все рушилось.

...в безнадежную бездну хаоса.

Причина – семинаристы, тупые, злые, холодные. Равнодушные ко всему, кроме своей злобы. Напрасно Герцен приезжал к ним увещевать, что он «тоже социалист», – «социалист, да не тот»... «Ты – *барин, барское отродье*, и твой отец драл наших отцов, когда они были еще не дьячками, а его *крепостными* мужиками». Поднялась черная сплетня о том, кто кого «драл» и «кто дольше сидел в Шлиссельбурге». Весь воздух огласился криками: «Нас били и еще *продолжают бить*», «нас унижали и еще *продолжают унижать*».

Вся русская история стала представляться или была выставлена как гноище пороков и преступлений, которое чем больше кто ненавидел, тем он казался сам пророчественнее, священнее... Собирались уже «Самуилы, которые должны резать «царя Агага»... Кровью дышала вся страна... «Кто-то должен *пасть*», «кто-то должен быть убит»...

– Голгофа, Голгофа...

Доблестные сыны Туснельды ждали... Сыны старой, верной Германии... Наивной, не очень умственной, простой. – Сыны «Германа и Доротеи», образ которых создал старец Гете.

В сущности, чем же *превозмогла* Германия Россию? В составе *громады*, – в *целом*? Как море людей, как «шапками закидаем»?

Благородством.

Выживает *наилучшее*, сказал Дарвин.

И «пирамида» рассыпалась по *достаточному нравственному основанию*, как сказал бы Лейбниц.

И еще, и еще – уже немного слов: где же наш *оригинальный* труд в истории? В истории Россия всегда обнаруживалась *слабою нацией*, как бы слабо *отпечатанною* на космическом печатном станке. Как бы не ушедшее глубоко ногами в землю – поверхностною. Что за странная жизнь – жизнь «впечатлениями», жизнь «подражаниями». Между тем от «призвания князей» и до «социал-демократии» мы прожили собственно *так*. В объем *подражательности* и ряда подражательностей умещается объем всей русской истории. Мы – слабо оригинальная страна, не выразительная. Именно – не сильный отклик чужих произведений. Далее – гибель от литературы, единственный во всей всемирной истории образ гибели, способ гибели, метод гибели. Собственно – гениальное, и как-то *гениально-урожденное* – в России и была только одна *литература*. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство – все уже не было столь же гениально, выразительно, сильно. Русская литература, несмотря на всего *один только век ее существования*, – поднялась до явления совершенно универсального, не уступающего в красоте и достоинствах своих ни которой нации, не исключая греков и Гомера их, не исключая итальянцев и Данта их, не исключая англичан и Шекспира их и, наконец – даже не уступая евреям и их Священному Писанию, их «иератическим пергаментам». Тут дело в самоощущении, в душе, в сердце. Тот век, который Россия прожила в литературе *так страстно*, этот век она совершенно верила, во всякой строчке своей верила, что переживает какое-то священное писание, священные манускрипты... И это – до последнего времени, до закрытия всех почти газет, вот до рокового 1918 года, когда каждый листочек «Утра России»

или «Социал-демократа» еще дышит полным вдохновением: «у меня одного – правда». Это, конечно, экстаз.

Когда «дряхлый старик» – «.....»¹³.

Это его конец и правда. Развратный старик. Так ты и по-гиб. Но погиб пророчественно и великолепно, от Пушкина до Лейкина, не отняв смычка от струны.

Сам заслушался...

И когда все уже горело...

Алтари падали как в Карфагене...

Римские воины ломились в стены...

Ты слушал и слушал, великолепный певец.

Ты был небесен только в слове.

И – Это небо тебя раздавило.

ПРИМЕЧАНИЯ

Основным источником публикации в настоящем издании философских, исторических, литературоведческих, публицистических работ, заметок и писем В. В. Розанова является Собрание сочинений в тридцати томах под общей редакцией А. Н. Николюкина (М.: Республика; Спб.: Росток, 1994–2011). Наряду с комментариями к этому изданию учтены комментарии к опубликованным в последние десятилетия однотомникам розановских произведений:

Розанов В. В. Мысли о литературе. М.: Современник, 1989.

Розанов В. В. Религия и культура: в 2 т. Под ред. Е. В. Барбанова. М.: Правда, 1990.

Розанов В. В. Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990.

Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990.

Розанов В. В. Литературные изгнанники: Воспоминания. Письма. Подготовка текста, послесловие, именной указатель Г. Р. Евграфова. М.: Аграф, 2000.

Каждая статья снабжена данными о первой публикации произведения. Сохранены особенности авторской пунктуации и своеобразие лексики России конца XIX – начала XX в. Написание собственных имен не унифицируется и не приводится в соответствие с современным написанием. Воспроизводятся шрифтовые выделения розановских текстов. Сноски в тексте, помеченные (*) звездочкой, принадлежат перу Василия Васильевича Розанова. В указателе имен можно найти библиографические сведения о лице, на которого ссылался В. В. Розанов.

Составление, подготовка текста, вступительная статья, указатель имен и примечания предлагаемой книги выполнены А. В. Беловым. Во второй части Предисловия использован очерк о В. В. Розанове прот. В. Зеньковского из его книги «История русской философии» (Т. 2. Париж.: YMCA-PRESS, 1950).

РАЗДЕЛ I РУССКАЯ ЦИВИЗАЦИЯ И НАРОДНАЯ ДУША

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Первая публикация – «Русский вестник». 1892. № 7. С. 213–227.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Религия и культура: в 2 т. Т. 1. Под ред. Е. В. Барабанова. М.: Правда, 1990. С. 82–95.

¹ «Отай» – «тайно, скрытно, секретно, закрывом, украдкой, втайне, скрывом, укрывом» (*В. И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1994. Т. 2. С. 1841); «шуйца» – «левая рука, левица, левша» и противоположное – «правая рука, правица, правша» (*В. И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1994. Т. 2. С. 1481).

² «De civitate Dei» – книга «О граде Божием» блаженного Августина.

³ Католики-миряне причащаются только хлебом; право причащения хлебом и вином, означающих «тело и кровь» Иисуса Христа, принадлежит клиру.

⁴ Мф. 10:34–35.

⁵ Мф. 19:19; 5:44.

⁶ *Compelle intrare (лат.)* – «убеди прийти».

ГДЕ «КУЛЬТУРА» РУССКАЯ...

Первая публикация – «Новое время». 1911. 11 октября. № 12781.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2005. С. 278–281.

¹ Чудотворная икона соборной церкви г. Ельца явилась в 1060 г. и обретена Антонием Печерским стоящею «на дереве еловом, на горе Болдиной».

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ В ВОЙНЕ

Первая публикация – «Новый мир». 1904. 18 февраля. № 10042.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2008. С. 289–294.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

Первая публикация – «Новое время». 1899. № 8551.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 389–391.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И НАШЕ К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ

Первая публикация – «Московские ведомости». 1891. № 225.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 145–153.

¹ Речь идет о комментарии по поводу брошюры Петра Евгеньевича Астафьева «Из итогов века» (М., 1891), опубликованном в

разделе «Из общественной хроники» в июньской книжке журнала «Вестник Европы» за 1891 г.

² Имеется в виду западничество.

³ Речь идет о книге Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому». См.: современное издание «России и Европы» *Данилевского*. Составление и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 816 с.

⁴ См.: современное издание сборника статей *Константина Сергеевича Аксакова* «Государство и народ». Составление и комментарии А. В. Белова, предисловие А. Д. Каплина. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 608 с.

⁵ Статья *Константина Николаевича Леонтьева* «Национальная политика как орудие всемирной революции» была опубликована в журнале-газете «Гражданин» в 1888 г. (№ 256, 258, 261, 262, 265, 269, 272, 275, 279), а в 1889 г. вышла отдельной брошюрой. См.: современное издание сборника статей *К. Н. Леонтьева* «Славянофильство и грядущие судьбы России». Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 1232 с.

⁶ К. Н. Леонтьев (1831–1891) так и не дождался при жизни систематического обсуждения своей идеи «триединого процесса развития» обществ, государств и культур, высказанной им в книге «Восток, Россия и Славянство» (М., 1885–1886), со стороны широкой общественности. Частично ему была известна всего лишь одна статья *В. В. Розанова* «Эстетическое понимание истории» (1892). См.: настоящее издание.

⁷ *К. Н. Леонтьев*. Национальная политика как орудие всемирной революции // *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 278.

⁸ Предсказания славянофилов В. В. Розанов сравнивает с пророчествами Кассандры – в греческой мифологии дочери Приама и Гекубы, – предсказавшей гибель Трои. Однако как предсказаниям славянофилов, так и пророчествам Кассандры никто не верил.

⁹ *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст.,

указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 34–172.

¹⁰ Статьи *Ф. И. Буслаева* «Мои воспоминания» опубликованы в журнале «Вестник Европы» за 1891 г.

¹¹ Остров в Неаполитанском заливе.

¹² «Декамерон» – сборник новелл итальянского писателя эпохи Возрождения Дж. Боккаччо.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

Первая публикация – «Новое время». 1902. № 9309.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 375–378.

¹ Римляне.

² *Raison d'être (фр.)* – смысл существования; оправдание существования.

³ *A-prior*-ное – доопытное.

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА РУССКОГО ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ ЗА XIX ВЕК

Первая публикация – «Русский вестник». 1895. № 10.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Религия и культура: в 2 т. Т. 1. Под ред. Е. В. Барабанова. М.: Правда, 1990. С. 96–120.

¹ Настоящая статья написана через семь лет после начала публикации Николая Платоновича Барсукова (1838–1906), библиографа М. П. Погодина, когда были напечатаны уже девять томов его фундаментального труда «Жизнь и труды Погодина». Она помогла продолжению публикации этого труда, испытывающего большие финансовые трудности. А. Н. Мамонтов оплатил стоимость публикации труда Н. П. Барсукова. В творчестве В. В. Розанова имеются еще две заметки, в которых он обращался к фундаментальному труду Н. П. Барсукова (в 1898 г. и в

1910 г.). В последнем случае это была его заметка «Посмертный том Н. П. Барсукова» в «Новом времени» (25 июня 1910 г.).

² Работа М. П. Погодина «Древняя русская история до монгольского ига». Т. 1. М., 1871.

³ Пс. 118:73.

⁴ Du haut de sa grandeur (фр.) – с высоты своего величия, свысока, презрительно.

⁵ Juste milieu (фр.) – золотая середина.

⁶ Addio (итал.) – прощайте.

⁷ «Les aventures de Télémaque» (фр.) – роман «Приключения Телемака» французского писателя Фенелона.

ГДЕ ИСТИННЫЙ ИСТОЧНИК «БОРЬБЫ ВЕКА»?

Первая публикация – «Русский вестник». 1895. № 8.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Религия и культура: в 2 т. Т. 1. Под ред. Е. В. Барабанова. М.: Правда, 1990. С. 153–162.

¹ Коммунистическая утопия «Город Солнца» (1602) итальянского философа Томмазо Кампанеллы.

² Des phrases creuses (фр.) – пустые фразы.

МЕСТО ХРИСТИАНСТВА В ИСТОРИИ

Первая публикация – «Русский вестник». 1890. № 1.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Религия и культура: в 2 т. Т. 1. Под ред. Е. В. Барабанова. М.: Правда, 1990. С. 22–47.

¹ Т.е. финикиянами, которых одни ученые относят к семитам; другие оспаривают принадлежность к семитам финикийского народа, жившего вблизи от моря; вследствие развития торговли и судостроения у них появился опыт в сооружении больших зданий.

² Мф. 23:37–39.

³ Под видом цитат из учения Ксенофана В. В. Розанов дает суммарное изложение высказываний. См.: русский перевод текстов Ксенофана в книге «Фрагменты ранних греческих философов». Ч. I. М., 1989. С. 156–176.

⁴ Δαιμόνιον (*греч.*) – божество, демон, гений, дух; божественное начало.

⁵ Ин. 1:14.

⁶ Мф. 6:33.

ОКОЛО НАРОДНОЙ ДУШИ

Первая публикация – «Новое время». 1908. 20 апреля. № 11531.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2003. С. 297–301.

¹ Козьма Прутков – коллективный псевдоним, под которым в журналах «Современник» и «Искра» выступали в 1850–1860 гг. поэты А. К. Толстой и братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир и Александр Михайловичи). Сатирические стихи, афоризмы Козьмы Пруткова и самый его образ высмеивали умственный застой, политическую «благонамеренность», пародировали литературное эпигонство.

² Цитата из стихотворения А. К. Толстого «Ходит Спесь, надувающихся...» (1856).

³ Заушение – оплеуха. (*В. И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 1639).

О НАРОДНОЙ ДУШЕ

Первая публикация – «Новое время». 1908. 28 апреля. № 11539.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2003. С. 305–308.

¹ Речь идет о пьесе бельгийского драматурга *Мориса Метерлинка* «За стенами дома» (1894), опубликованной в трехтомнике его произведений (Спб., 1907), к которому В. В. Розанов написал предисловие.

² Цусимское морское сражение произошло 14–15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Вторая русская Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского предназначалась для усиления Первой эскадры, которая уже была практически уничтожена. В руках русских на Тихом океане оставался только один полноценный военно-морской порт – Владивосток, подходы к которому были прикрыты сильным японским флотом. 14 мая русская эскадра продвигалась по Восточному проходу Корейского пролива (Цусимский пролив), оставляя по левому борту остров Цусима, и уже вошла в Корейский пролив с целью прорваться во Владивосток, но была обнаружена японцами. Завязалось морское сражение, которое длилось два дня и было проиграно. В целом русский флот потерял в Цусимском сражении 8 эскадренных броненосцев, один броненосный крейсер, один броненосец береговой обороны, 4 крейсера, один вспомогательный крейсер, 5 миноносцев и несколько транспортов. Два эскадренных броненосца, два броненосца береговой обороны и один миноносец сдались в плен японцам. Во Владивосток прорвались лишь крейсер «Алмаз» и два эсминца.

³ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «В дороге» (1845).

⁴ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Первая публикация – «Новое время». 1908. 4 июля. № 11605.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2003. С. 319–322.

¹ В. В. Розанов приводит эту цитату на память и ошибается. У Л. Н. Толстого в «Анне Карениной» сказано, что «из всех русских удовольствий более всего нравились принцу», приехавшему в Петербург, «французские актрисы».

² «Vorwärts» (нем.) – берлинская социал-демократическая газета последней четверти XIX в. и первой четверти XX в.

³ Amalchen (нем.) – домохозяева женского пола.

СИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Первая публикация – «Новое время». 1908. 7 июля. № 11608.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2003. С. 322–325.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ

19 февраля 1861 г. – 19 февраля 1911 г.

Первая публикация – «Новое время». 1911. 19 февраля. № 12551.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2005. С. 33–36.

¹ Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828–1829).

² 17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», согласно которому провозглашались неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и преподавания, была создана Государственная дума.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Первая публикация – «Русское слово». 1911. 19 февраля. № 40.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. // Собрание сочи-

нений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2005. С. 36–38.

¹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» (1819).

НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО

Первая публикация – «Богословский вестник». 1914. Январь. № 1.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* На фундаменте прошлого. Статьи 1913–1915 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2007. С. 201–206.

¹ Герои пьесы «На дне» (1902) М. Горького.

² Летом 1913 г. В. В. Розанов с женой и дочерью Варварой отдыхал в Бессарабии.

³ Хозяйкой имения Сахарна в Бессарабии, где отдыхала семья Розановых, была Евгения Ивановна Апостолопуло.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИЛЫ В РОССИИ

Первая публикация – «Новое время». 1914. 14 января. № 13593.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* На фундаменте прошлого. Статьи 1913–1915 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2007. С. 214–218.

¹ ζῷον πολιτικόν (зреч.) – животное политическое.

АНТИСЕМИТИЗМ – АНТИИЕЗУИТИЗМ

Первая публикация – «Новое время». 1899. 5 октября. № 8479.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Юдаизм. Статьи и очерки 1898–1901 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб: Росток, 2009. С. 263–267.

¹ *Ad maiorem Dei gloriam (лат.)* – к вящей славе Божией.

² *Genus judaicae (лат.)* – племя иудейское.

ЕВРЕИ В ЖИЗНИ И В ПЕЧАТИ

Первая публикация – «Новое время». 1900. 28 марта. № 8651.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Юдаизм. Статьи и очерки 1898–1901 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб: Росток, 2009. С. 406–408.

О ЕВРЕЙСТВЕ

Первая публикация – «Русское слово». 1897. 6 июня. № 149.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Эстетическое понимание истории. Статьи и очерки 1889–1897 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб: Росток, 2009. С. 604.

РАЗДЕЛ II

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ. СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ?

ФИЛОСОФСКИЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Первая публикация – «Вопросы философии и психологии». 1890. № 3. С. 1–36.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб.: Росток, 2008. С. 119–139.

¹ Перевод книги Христиана Вольфа «Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в познании правды» был издан в Петербурге в 1765 г.

² «Video meliora proboque, deteriora sequor» (лат.) – «Доброе вижу и сочувствую ему, но влекусь к иному» – высказывание Овидия в «Метаморфозах».

³ Ex cathedra (лат.) – с кафедры.

⁴ Credo, quia absurdum est (лат.) – верую, потому что абсурдно.

СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Первая публикация – «Русское обозрение». 1895. № 7. С. 193–207.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2008. С. 139–149.

¹ Убитого российского императора Александр II (1855–1881) сменил на престоле его сын, российский император Александр III (1881–1894).

² Работу Ч. Дарвина «Origine of species» («Происхождение видов») перевел (1865) Сергей Александрович Рачинский. С этим видным деятелем народного просвещения В. В. Розанов был знаком и состоял в многолетней переписке (1892–1901). В «Русском вестнике» (1902–1903) В. В. Розанов опубликовал письма к нему С. А. Рачинского.

³ Речь идет о двухтомном произведении *Николая Яковлевича Данилевского* «Дарвинизм. Критическое исследование», подготовленном к печати Н. Н. Страховым уже после смерти своего друга в 1885 г.

⁴ Работой английского историка и социолога «История цивилизации в Англии» (1857–1861; рус. пер. 1861–1865) *Генри Томаса Бокля* В. В. Розанов увлекался в гимназии. Вскоре это увлечение прошло. Подробнее см.: статью В. В. Розанова «Книга особенно замечательной судьбы» (1898) // *Розанов В. В.* Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. // Собрание сочинений под общей

редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2008. С. 153–240.

ДВЕ ФИЛОСОФИИ

Критическая заметка

Первая публикация – «Новое время». 1897. 20 августа. № 7715.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Природа и история. Статьи и очерки 1904–1905 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2008. С. 149–152.

¹ «Novum Organon» (*англ.*) – «Новый Органон», сочинение *Ф. Бэкона*.

² *Naturam rerum* (*лат.*) – сущность мира, природа.

ПОЛ КАК ПРОГРЕССИЯ НИСХОДЯЩИХ И ВОСХОДЯЩИХ ВЕЛИЧИН

Первая публикация – *Розанов В. В.* Люди лунного света. Метафизика христианства. Спб., 1911. С. 27–57.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 394–417.

¹ Обращение к Богу у евреев – в форме двойственного числа.

² *Ad infinitum* (*лат.*) – бесконечно.

³ *In potential* (*лат.*) – потенциально.

⁴ См.: *Тареев М. М.* Основы христианства. Т. 4. Изд. 2. Сергиев Посад, 1908. С. 55–69, и в частности, выражение: «Мораль утверждается на субъективной воле, на личном разуме» (с. 58).

⁵ *Krafft-Ebing R.* Psychopatiasexualis. Stuttgart, 1893.

⁶ *Пирогов Н. И.* Вопросы жизни. Дневник старого врача. Спб., 1885. С. 302.

⁷ *Maspero G.* Histoire ancienne des peuples de l'orient classique, vol. 1–3. Paris, 1895–1897.

⁸ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Выхожу один я на дорогу» (1841).

⁹ «Всегда непременно с органом рождения», — указывается в книге «Религии Древнего мира в их отношении к христианству архим. Хрисанфа». Т. 2. Спб., 1875. С. 58.

¹⁰ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Сон» (1841).

¹¹ *Иловайский Д. И.* Руководство ко всеобщей истории. Ч. 2. Средние века. М., 1875.

¹² Валгалла — в скандинавской мифологии место пребывания павших на войне.

¹³ Повесть «Дневник лишнего человека» (1849) *И. С. Тургенева*.

¹⁴ Повесть «Тарас Бульба» (1835) *Н. В. Гоголя*.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН

Первая публикация — «Новое время». 1911. 12 февраля. № 12544.

Печатается по изданию — *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 392–400.

¹ Полное собрание сочинений И. В. Киреевского (под редакцией М. О. Гершензона) вышло в 1910–1911 гг.

² *Vis-à-vis* (фр.) — против, напротив, лицом друг к другу.

³ У *А. С. Пушкина* в драме «Скупой рыцарь» (1830): «Как некий чародей // Отселе править миром я могу».

⁴ У *А. С. Пушкина* в драме «Скупой рыцарь»: «Что неподвластно мне?»

⁵ *Immodeste* (фр.) — чрезмерность, неводержанность, неумеренность.

⁶ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Песни о свободном слове» (1865–1866).

⁷ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Выхожу один я на дорогу» (1841).

⁸ Цитата из стихотворения *Н. А. Добролюбова* «Милый друг, я умираю» (1861).

⁹ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Умру я скоро...» (1867).

ПАМЯТИ А. С. ХОМЯКОВА

1 мая 1804 г. – 1 мая 1904 г.

Первая публикация – «Новый путь». 1904. № 6.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 382–394.

¹ Цитата из стихотворения *А. С. Хомякова* «Мечта» (1835).

² Высота колокольни собора Святого Марка в Венеции, построенной в 976–1071 гг., составляла 98 метров. В 1902 г. колокольня разрушилась.

³ Речь идет о полемике Т. Н. Грановского и А. С. Хомякова (1845–1847) по поводу вводной статьи А. С. Хомякова к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных» (1845).

⁴ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Дядюшка Яков» (1867).

⁵ Мартин Лютер.

⁶ *Filioque* (и от сына – *лат.*) – добавление к Никео-Цареградскому Символу веры, сформулированное ахенскими богословами.

⁷ Древняя христианская церковь в VI в. была объявлена самостоятельной, отказалась признать постановление Халкидонского собора о двойственной природе Христа, считает Христа только Богом, отличается некоторыми культовыми особенностями.

⁸ См. статью *А. С. Хомякова* «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси» в современном издании: *Хомяков А. С.* Сочинения в двух томах. Т. 2. Работы по богословию. М.: Медиум, 1994. С. 25–71.

⁹ Версаль – резиденция французских королей; Трианон – название двух дворцовых павильонов (Большого и Малого) в Версальском парке.

¹⁰ В немецком городке Вормсе в 1521 г. собрался сейм государственных чинов для обсуждения вопроса об ереси Лютера.

¹¹ Авиньон – резиденция пап для их укрытия от самовластия римской знати под покровительством французских королей. Авиньонское пленение (1309–1377) – время наибольшего упадка силы и авторитета папства.

¹² Римский папа Бонифаций VIII (1235–1303) проводил политику резкой конфронтации с французским королевским домом; эта политика привела к Авиньонскому пленению пап, на период которого папство стало орудием политики французских королей и утратило значение самостоятельной силы. Целью царствования Филиппа Красивого было создание мощного государства и сильной королевской власти. В 1295 г. Филипп начал войну с Англией; в 1299 г. – войну с Фландрией. В 1297 г. вспыхнул конфликт между Францией и папством, вызванный тем, что папа Бонифаций VIII, сторонник всемирного господства Церкви, издал буллу, запрещающую светским властям требовать с клириков налоги, а тем – платить, чего вечно нуждавшийся в деньгах и нетерпимый к вмешательству в прерогативы королевской власти Филипп допустить не мог. Когда в 1300 г. король арестовал папского легата, допустившего оскорбительные высказывания в адрес Филиппа, папа заявил о неподсудности духовенства королевскому суду. Король в борьбе с Церковью решил опереться на формирующуюся нацию и в апреле 1302 г. созвал первые в истории Франции Генеральные штаты, поддержавшие своего монарха. Бонифаций VIII в ответ издал буллу, провозглашавшую подчинение папскому престолу не только в делах веры, но и в политике обязательным условием спасения души и отлучил короля от Церкви. Филипп послал канцлера захватить папу. Во время ареста папу стащили с престола, один из свиты ударил его железной перчаткой по лицу.

¹³ См. современное издание: Ю. Ф. Самарин. Иезуиты и их отношение к России // Юрий Самарин. Православие и народность. Составление, предисловие и комментарии Э. В. Захарова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 111–194.

¹⁴ Сомнамбулизм (от *лат.* *somnus* – сон и *ambulo* – хожу) – расстройство сознания, при котором автоматически во сне совершаются привычные действия ходьбы, перекладывания вещей и др.

¹⁵ Констанцкий собор созван в 1414 г. для искоренения ереси Яна Гуса, после чего он и его ученик Иероним Пражский были сожжены.

¹⁶ Арианство – ересь Ария, епископа Александрии (IV в.). Он утверждал, что Сын не вечен, не существовал до рождения. Эта ересь была осуждена Никейским собором (325), Арий и его сторонники отлучены от Церкви.

¹⁷ См. указанную статью А. С. Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси» в современном издании: Хомяков А. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Работы по богословию. М.: Медиум, 1994.

¹⁸ Илоты – земледельческая часть населения в Спарте, прикрепленная к земельным участкам спартиатов.

¹⁹ См. указанную статью А. С. Хомякова «Несколько слов...».

²⁰ Н. В. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ

Юбилей В. Г. Белинского – 26 мая 1898 г.

Первая публикация – «Русское обозрение». 1898. № 5.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 348–359.

¹ Перистиль (от *греч.* peristyllos – окруженный колоннами) – прямоугольный двор и сад, площадь, зал, которые окружены с четырех сторон крытой колоннадой.

² Письма В. Г. Белинского к невесте М. В. Орловой опубликованы в «Русских ведомостях» (1895, № 163 и № 185) и в сборнике «Почин» (М., 1896).

³ Цитата из пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума».

⁴ *Emploi (фр.)* – употребление, применение, использование.

⁵ *Studiosus (лат.)* – студент.

⁶ В августе 1847 г. тяжело больной В. Г. Белинский уехал лечиться во Францию, откуда писал письма своим родным.

⁷ См.: Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. 1, 2. Спб., 1876.

⁸ И. С. Аксаков писал: «Нет ни одного учителя гимназии, ни одного уездного учителя... который бы не знал наизусть письма Бе-

линского к Гоголю, а под их руководством воспитываются новые поколения» // И. С. Аксаков в его письмах: в 4 т. Т. 3. М., 1892. С. 261.

⁹ Эту точку зрения Николай Николаевич Страхов выражал, например, в рецензии на роман «Война и мир» Л. Н. Толстого.

¹⁰ *Гончаров И. А.* Заметки о личности Белинского // Четыре очерка И. А. Гончарова. Спб., 1881.

¹¹ *Мещерский В. П.* Письма отца к сыну... Спб., 1897.

¹² Статьей о стихотворении А. С. Пушкина «Бородинская годовщина» у В. Г. Белинского начинается так называемый период примирения с действительностью.

¹³ «Литературные мечтания» – первая крупная статья *В. Г. Белинского*.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Первая публикация – «Русское обозрение». 1892. № 8.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 247–264.

¹ Цитата из оды *Г. Р. Державина* «Фелица» (1782).

² Цитата из стихотворения *Н. А. Добролюбова* «Милый друг, я умираю...» (1861).

³ См. современное издание: *Аполлон Григорьев.* Апология почвенничества. Составление, комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 688 с.

⁴ «Божественная комедия» – произведение итальянского писателя *А. Данте*.

⁵ «Декамерон» – произведение итальянского писателя *Д. Боккаччо*.

⁶ «Письма русского путешественника» – произведение русского писателя *Н. М. Карамзина*.

⁷ Страус.

⁸ Агриппа известен постройками в Риме водопровода, термы и Пантеона – памятника древнеримской архитектуры – «храма всех богов», купол которого своими размерами превосходит все крупные своды, построенные в последующее время.

⁹ Цитата из стихотворения *А. С. Пушкина* «Возрождение» (1819).

35-ЛЕТИЕ † АП. АЛ. ГРИГОРЬЕВА

Первая публикация – «Торгово-промышленная газета». Литературное приложение. 1899. 3 октября. № 29.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Юдаизм. Статьи и очерки 1898–1901 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб: Росток, 2009. С. 260–263.

¹ Статья «Одинокый критик» А. Григорьева (сына) в «Книжках «Недели» (1895. № 8–9).

² В 1876 г. Н. Н. Страхов предпринял попытку опубликовать собрание сочинений Ап. Ал. Григорьева, но вышел лишь первый том (СПб., 1876. Т. 1).

³ См.: *Страхов Н. Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862–1885). СПб., 1885.

К ВЫХОДУ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Первая публикация – «Колокол». 1911. 26 февраля. № 2915.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* В чаду войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2008. С. 105–110.

¹ Цитата из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850).

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»...

Первая публикация – *Розанов В. В.* Среди художников. СПб., 1914. С. 353–379.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 317–334.

¹ Затем эти статьи были включены В. Г. Тардовым (псевдоним «Т. Ардов») в книгу «Судьба России. Избранные очерки (1911–1917)» (М., 1918).

² Qui pro quo (лат.) – одно вместо другого, то есть путаница.

³ Начальные строки поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1837–1841).

⁴ Через эту пограничную станцию на прусской границе осуществлялся главный ввоз иностранных товаров в Северную столицу.

⁵ Слова Н. В. Гоголя из книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

⁶ Этот случай описан канцлером в книге «Мемуары князя Бисмарка». М., 1899. С. 47–48.

⁷ Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

⁸ Слова из русской летописи «Повесть временных лет» о призвании варягов.

⁹ «Замечания на записки Манштейна о России 1724–1744 гг.», написанные Иоганном Эрнстом Минихом.

¹⁰ La gloire (фр.) – слава.

¹¹ Фигнер В. Две встречи (П. Ф. Лесгафт, 1871–1907) // Русское богатство. 1910. № 12. С. 80–91.

¹² Летом 1910 г. В. В. Розанов путешествовал по Германии и побывал в этих местах.

¹³ Miracula ethnica (лат.) – загадки этики, загадки души.

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский

Первая публикация – «Новое время». 1895. № 6811.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 183–202.

¹ Впервые книга «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского публиковалась отдельными главами в № 1–6 и 8–9 за 1869 г. в журнале «Заря» В. В. Кашпирева, в котором фактическим редактором был Н. Н. Страхов. В 1871 г. она вышла отдельным изданием в количестве 1200 экземпляров под редакцией Н. Н. Страхова. В 1895 г. он опубликовал уже пятое издание «России и Европы»,

и лишь спустя век – сначала в 1991 г., правда с купюрами, под редакцией С. А. Вайгачева, а в 1995 г. под редакцией А. А. Галактионова вышло шестое издание. В XXI в. книга «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» Н. Я. Данилевского вместе с его политическими статьями была опубликована в издательстве «Институт русской цивилизации» в 2008 г.

² Славянофилы – направление русской философии, к которому принадлежали А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин. В отличие от западников славянофилы, определяя ход развития русского общества, полагали, что оно должно основываться на национально-русских началах, коренящихся в народе, но пока не вполне развернувшихся и к тому же подавленных «европеизацией» России, начатой Петром I. В своих философско-исторических взглядах они следовали органической теории, выведенной из шеллингианства.

³ Концепция Н. Я. Данилевского во многом противоречила традиционной славянофильской, не укладывалась в нее. Сам Н. Я. Данилевский отчетливо формулировал пункт расхождения с ними. Если славянофилы считали, «будто бы славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу», то Н. Я. Данилевский, отмежевываясь от этого положения, полагал, что такой задачи и вовсе не существует. Если она в чем-то и состоит, то только в проявлении «в разные времена и разными племенами всех тех сторон, всех тех особенностей направления, которые лежат... в идее человечества». Поскольку для Н. Я. Данилевского растения, животные, человек и даже культура суть *организмы*, постольку и в мировой истории невозможна единая культура, которая соединяла бы в себе «богатство фантазий Индии», «прозаическое стремление к практически полезному Китая», «живое религиозное чувство» евреев, «осуществление идеи изящного» греками, «государственное величие Рима» и достигнутое европейцами «совершенство положительной науки».

В отличие от славянофилов, испытывших на себе влияние германской философии, немецкая философия истории вовсе не являлась источником мировоззрения Н. Я. Данилевского. Автор «России и Европы» стремился преодолеть заблуждение тех теорий о движении единого человечества по пути достижения прогресса (в частности, гегелевской схемы развития исторического

процесса), при каждом последующем шаге которого реализуется более высокий уровень духовного прогресса, чем при предыдущем. Из этой схемы Гегелем было выведено теоретическое положение о превосходстве уже проявившихся в истории культурных (исторических) народов над некультурными (неисторическими), то есть неразвитыми народами. Напротив, Н. Я. Данилевский предложил отказаться от деления истории единого человечества на периоды «*Древний мир – Средние века – Новое время*», безоговорочное господство которого над историческим мышлением мешает правильно воспринимать в масштабе всеобщей истории действительное место Западной Европы, этой «маленькой части мира». Н. Я. Данилевский критиковал «общепринятое» деление *прогрессистов*, накладываемое на бесконечно-неисчерпаемую многообразную *жизнь* мировой культуры, которое ограничивает «объем истории», но хуже того, «сужает и ее арену». Разве не замалчивалось ради этой невероятно скудной и бессмысленной схемы всемирной истории развитие культур Египта и Вавилона, Китая и Индии, Америки в качестве «примечания», «прелюдии» к Античности, Средневековью и Новому времени? Европейскому человеку, не научившемуся принимать в расчет внутреннюю и внешнюю дистанцию, кажется, что темп развития индийской, вавилонской, египетской культур был медленнее, чем темп европейской. Русский мыслитель называл *перспективным обманом* взгляд историка, которому кажется более важной и существенной жизнь близких ему по времени культур, а «все предшествовавшие века представлялись им как бы на заднем плане ландшафта, где все отдельные черты сглаживаются». Этот «перспективный взгляд на историю» сродни обману перспективы натуралиста, внимание которого поражают высшие животные, более близкие по своей организации к человеку. См.: современное издание «России и Европы» Н. Я. Данилевского. Составление и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 141–144, 99–104.

И все же Н. Я. Данилевским были усвоены вопросы, над которыми трудились славянофилы, прежде всего их вывод об особом характере и путях развития русской культуры, отличных от западноевропейских. Однако славянофильство не представлялось ему научно обоснованным учением, но было лишь «мечтой», которая в большей или меньшей мере выражала «требования народного

чувства». Исходя из такого источника, как учение славянофилов, уважая его независимость и особенность, главной задачей, которую поставил перед собой русский мыслитель, была попытка реформирования славянофильских представлений об исторической миссии России до теоретического осмысления самобытной славянской цивилизации среди прочих культурно-исторических типов. Тем самым обозначился круг проблем, размышление над которыми послужило ему отправным пунктом для превращения «мечты» в научно обоснованное учение о культурных и политических взаимоотношениях славянского и германо-романского миров. К славянофильскому *изучению начал русской жизни* он добавил множество важных наблюдений, уточнил признаки исследуемых явлений, стремился их описать и классифицировать, действуя как натуралист, который познает формы растительных и животных организмов.

⁴ См., например, оценку Н. Н. Страхова, что «Россию и Европу», конечно, следует отнести «к той школе нашей литературы, которая называется славянофильскою, ибо эта книга основана на мысли о духовной самобытности славянского мира. Притом книга так глубоко и полно обнимает этот вопрос, что ее можно назвать целым катехизисом или кодексом славянофильства. В какой мере она завершает и совмещает в себе славянофильские учения, это другой вопрос; но что она имеет такое завершающее и представительное значение – в том невозможно сомневаться. Быть может, со временем Николай Яковлевич Данилевский будет считаться славянофилом по преимуществу, кульминационной точкой в развитии этого направления, писателем, сосредоточившим в себе всю силу славянофильской идеи». – *Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Страхов Н. Н. Борьба с Западом. Составление, вступ. статья и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 376.*

⁵ Статья *И. В. Киреевского* «Девятнадцатый век» впервые была напечатана в журнале «Европеец», 1832, № 1, 3, за публикацию которой журнал был закрыт.

⁶ Двухтомное собрание сочинений И. В. Киреевского было издано А. И. Кошелевым в 1861 г.

⁷ Современные публикации статьи «В ответ А. С. Хомякову» (1839), статьи «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852), статьи «О необходимости и

возможности новых начал для философии» (1856), статьи «Отрывки» (найденной в бумагах И. В. Киреевского и впервые опубликованной в «Русской беседе», 1857, № 1, уже после смерти автора) см. в книге: *И. В. Киреевский*. Духовные основы русской жизни. М.: Институт русской цивилизации, 2007. С. 344–363, 149–228, 228–295, 295–321.

⁸ Речь идет о «веровании» и «в Духа Святого, Господа животворящего, Иже от Отца исходящего...», причем взаимные отношения Отца, Сына и Святого Духа непостижимы для разума, выработанного в IV в. на Никейском и Константинопольском соборах единой вселенской Церкви. В католичестве Символ веры был изменен.

⁹ Русский перевод книги *И. К. Блюнчли* «История общего государственного права и политики от XVII века до настоящего времени» вышел в Санкт-Петербурге в 1874 г.

¹⁰ *Штурнер Макс*. Единственный и его собственность. Лейпциг, 1845. Русский перевод книги был осуществлен в 1918 г.

¹¹ Школа итальянского психиатра Чезаре Ломброзо придерживалась теории прирожденного преступника.

¹² Книга английского философа *Фр. Бэкона* «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы» (1620) написана в параллель аристотелевскому «Органону».

¹³ *Добролюбов Н. А.* Луч света в темном царстве (впервые – «Современник», 1860, № 10).

¹⁴ Современные публикации богословских произведений *А. С. Хомякова* см.: *Хомяков А. С.* Сочинения в 2 т. Т. 2. Работы по богословию. М.: Медиум, 1994.

¹⁵ *А. С. Хомяков* видел существенную разницу между формами христианства западных обществ, условное единство которых у католиков состояло только в стройности движений поданных полудуховного государства, а у протестантов – только в арифметическом сложении отдельных личностей, которые имели тождественные верования и исповедовали, как они сами считали, идею «единой и свободной» Церкви. Славяне IX–X вв. являли собой редкий пример народа, «не ждущего христианства, а идущего к нему навстречу», «признающего себя единством органическим, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви». «Понятно, что чисто духовная вера должна смотреть на вещественность как на корень всякого зла, – утверждал он. –

Две религии, основанные на противоположных началах, не могут слиться в мирное единство без упорной борьбы». Эта истина доказывается у него ссылкой на легкое введение христианства в Россию и кровавую борьбу славян Поморья против германских проповедников-меченосцев. «Запад, одевший жизнь свою в христианство, но не проникнувший в него душою и чувством, сражался против учений чуждых кострами и железом». Почему? Потому что «шаткое полуверование чувствует свою слабость и ищет спасения в опьянении гнева». Напротив, «вера, знающая свою силу, терпелива и кротка», она защищается философским словом и христианской проповедью. Чуждые юридической формальности Рима, славяне развивали христианскую мысль, но не заковывали ее в чисто логический силлогизм. Русский мыслитель критически относился к отколовшемуся от православной Церкви католицизму, который опирался на внешнюю связь и разрушал соборность ложным единством в форме папизма – «единством без свободы». Верующий католик оставался только присутствующим в Церкви, но бездействующим в ней и совершенно одиноким. Такого человека он сравнивал с «кирпичом, уложенным в стене», хотя и не портившимся, но и не приобретающим совершенства от места в иерархии, уготованной ему свыше.

Протестантизм – «большое дитя католичества», в котором А. С. Хомяков также не находил спокойной уверенности в обладании Словом Божьим. Религиозной основой для верующих протестантов была Библия, субъективно толкуемая каждым из них. Для протестантов существовала «свобода без единства», ибо в этой форме христианского верования человек подобен «песчинке», которая не получала в своем одиночестве нового бытия от целостности.

Для соборного же единения всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма, сама же получает от него новый смысл и новую жизнь, считал он. «Вызовите сперва начало жизни – любовь, и вы опять узрите пред собою живой организм». Церковь, по убеждению А. С. Хомякова, – это *духовный организм*, который воплотил в своей исторической плоти и продолжает воплощать «единство благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати». Она *многоипостасна*, и все ее члены не внешне, а духовно органически должны быть соединены друг

с другом. Каждый человек способен найти самого себя в Церкви, этом едином и целостном организме, причем не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе духовного единения с братьями и со Спасителем.

Но в католицизме и протестантизме, по мнению А. С. Хомякова, личность не может найти таких предикатов соборности, как **свобода, единство, органичность, Божественная благодать и взаимная любовь**. Понятие *соборности* означало для него церковную общность людей, объединенных единой верой, с гарантией духовной целостности личности, истинности познания и примирения в христианской любви, свободы каждого и «согласно единству всех». Такое понимание соборности он оправдывал переводом с греческого языка слова *кафолический* не как «повсеместно», а как «всецелостно»; понятие *соборности* выражало идею собрания (не обязательно соединенного в каком-либо месте) – это «единство во множестве».

Соборность и индивидуализм – антиподы: первое понятие предполагало цельность человеческого духа, второе – его раздробленность. Чтобы стать соборным, верующим христианам нужно восстановить атрибуты первохристианской апостольской Церкви. А русское Православие, по глубокому убеждению А. С. Хомякова, и есть та форма христианской веры, которая в своей жизненной практике сохранила соборный дух.

¹⁶ См. современную публикацию статьи К. С. Аксакова «По поводу VII тома Истории России г. Соловьева» (1858) в книге: Аксаков К. С. Государство и народ. Составление и комментарии А. В. Белова, предисловие А. Д. Каплина. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 503–539.

¹⁷ См. современную публикацию статьи К. С. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» (1852) в книге: Аксаков К. С. Государство и народ. Составление и комментарии А. В. Белова, предисловие А. Д. Каплина. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 341–407.

¹⁸ Филоктет – герой поэмы «Одиссей» Гомера, один из женихов прекрасной Елены и участник Троянской войны. В начале похода под Троию он был укушен змеей. Рана его была столь сильна, что товарищи оставили его на острове Лемносе.

¹⁹ Капитолий – в Древнем Риме самый крутой из семи холмов, укрепленная часть города.

²⁰ Афродита Книдская – скульптура древнегреческой богини любви и красоты Афродиты работы Праксителя.

2. К. Н. Леонтьев

Написано в 1895 г. Опубликовано – *Розанов В. В.* Литературные очерки. Спб., 1899. С. 115–124.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 291–303.

¹ *Opera politica (лат.)* – политические сочинения.

² Константин Николаевич Леонтьев обогатил методологию органицизма Н. Я. Данилевского формулированием закона развития жизни и смерти всего сущего, выделением периодов *первичной простоты, цветущей сложности и вторичного смесительного упрощения* природных и культурных организмов. С позиции этого закона, положенного им в основание истории мировой культуры, Востока, Запада и России, из статьи в статью он подвергал беспощадной критике *эгалитарно-либеральный прогресс*, разрушающий христианскую культуру.

³ См. современную публикацию статьи *К. Н. Леонтьева* «Национальная политика как орудие всемирной революции. Письма к отцу И. Фуделю» (1888) и статью Иосифа Фуделя «Культурный идеал К. Н. Леонтьева» (1895) в книге: *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Составление, вступительная статья, указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 277–327, 1086–1103.

⁴ Книга К. Н. Леонтьева об отце К. Зедергольме, сыне протестантского пастыря, перешедшего в Православие и убившегося в его истинности, а впоследствии и православного писателя и церковного деятеля, есть опыт современного жития, в котором одновременно дан пример нравственной, исполненной религиозного подвижничества, жизни и привлекательности Православия.

⁵ Цитата из стихотворения *Ф. И. Тютчева* «Эти бедные селенья...» (1855). Правда, у Тютчева в третьей строчке – «Не поймет и не заметит...»

⁶ Как пример сочетания порока и поэзии в древнем мире К. Н. Леонтьев называет Юлия Цезаря, а не Алкивиада.

⁷ Цитата из стихотворения *Ф. И. Тютчева* «Эти бедные селенья...» (1855).

⁸ Письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову публиковались в «Русском обозрении» в 1894 г. (№ 9, 11); в 1895 г. (№ 11, 12); в 1896 г. (№ 1–3, 11–12) и в 1897 г. (№ 1, 3, 5–7). В одном из них К. Н. Леонтьев признавался: «...Только Вы понимали меня и мою жизнь так... как я сам ее понимал», «...только Вы... с полуслова, полунамека понимали меня» («Русское обозрение». 1897. № 3. С. 443, 445).

⁹ К. Н. Леонтьев считал, что «где много поэзии – непременно будет много веры, много религиозности и даже много живой морали» («Русское обозрение». 1895. № 1. С. 272).

¹⁰ *Eo ipso (лат.)* – тем самым, в силу этого.

НЕУЗНАННЫЙ ФЕНОМЕН...

Первая публикация – «Русский вестник» (1903, № 4–6) без названия в качестве вступления к письмам К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 203–215.

¹ «Ave, Caesar, morituri te salutant» (*лат.*) – «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»

² «Ave Caesar! Salve, plebs!» (*лат.*) – «Здравствуй, Цезарь! Привет тебе, народ!»

³ Оптиная Введенская-Макариева мужская пустынь (монастырь) Калужской губернии Козельского уезда основана в XIV в. предводителем разбойников Оптою (в иночестве Макарием), со второй половины XIX в. – центр старчества. Оптиная Пустынь – место паломничества множества православных верующих и видных деятелей отечественной культуры.

⁴ Рамолик – старчески расслабленный, близкий к слабости человек.

⁵ Маркиз Поза – персонаж поэмы «Дон-Карлос» *И. Ф. Шиллера*.

⁶ Кудиново – имение К. Н. Леонтьева в Калужской губернии, находящееся неподалеку от Оптиной Пустыни.

⁷ Квиетизм – мистическое, религиозное учение XVII в., проповедовавшее «всеобщий покой и погружение в безмолвную молитву»; наивысшая степень созерцания, безучастность и полное бездействие, проистекающее из неизменности круговорота природы.

⁸ В Древней Руси так изгоем называли князя, у которого отец умер, «не быв старшим в роде», и потому сын его терял право «на старшинство», то есть не мог быть великим князем.

⁹ Титулярный советник.

¹⁰ *Opera omnia (лат.)* – полное собрание сочинений.

¹¹ Речь идет прежде всего об А. А. Александрове, Н. П. Игнатьеве, К. А. Губастове, Т. И. Филиппове.

¹² Дело в том, что у К. Н. Леонтьева детей не было, а его жена Елизавета Павловна (урожденная Политова) «страдала душевною болезнью».

¹³ *Fatum (лат.)* – рок, судьба.

¹⁴ *Esprits forts (фр.)* – вольнодумец.

¹⁵ Брокгауз – немецкая издательская фирма, основанная Ф. А. Брокгаузом (1772–1823) в 1805 г. в Амстердаме, с 1808 г. издавала энциклопедию под названием «Брокгауз» (в XIX в. вышло четырнадцать изданий). В последней четверти XIX в. энциклопедия Брокгауза и Эфрона стала публиковаться и на русском языке. Философский отдел Словаря Брокгауза и Эфрона возглавил Вл. Соловьев, который написал для энциклопедии более двухсот статей.

¹⁶ Татево – имение С. А. Рачинского в Вельском уезде Смоленской губернии. Здесь в 1867 г. он основал «народную школу» для крестьянских детей.

¹⁷ *Преображенский В. П.* Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма // Вопросы философии и психологии. 1892. Кн. 15. С. 115–160.

¹⁸ *Plus Nietzsche que Nietzsche même (фр.)* – более Ницше, чем сам Ницше.

ПИСЬМА К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Первая публикация – «Русский вестник» (1903, № 4–6) с предисловием, послесловием и комментариями к каждому письму В. В. Розанова.

Письма В. В. Розанова К. Н. Леонтьеву печатаются по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 466–488.

С письмами К. Н. Леонтьева В. В. Розанову (с большими комментариями В. В. Розанова) читатель может познакомиться по книге: *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. Спб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1991. С. 118–195.

I

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 13 апреля 1891 г.

¹ *Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяния в произведениях графа Л. Н. Толстого // *Русский вестник*. 1890. Кн. 6–8.

² По окончании гимназии в 1849 г., К. Н. Леонтьев поступил в Ярославский Демидовский лицей. В ноябре 1849 г. он был переведен в Московский университет на медицинский факультет. Не окончив полного курса, К. Н. Леонтьев в мае 1854 г. подал прошение о поступлении на военно-медицинскую службу. Прошение было удовлетворено, и К. Н. Леонтьева определили в Белевский егерский полк лекарем.

³ В брошюру «Наши новые христиане» (1889) К. Н. Леонтьев объединил две свои статьи «О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (1880) и «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы?»» (1882).

⁴ Здесь после победы в битве (338 г. до н. э.) над «священным» войском фиванцев, выступавших в союзе с Афинами, царь Филипп II Македонский, по свидетельству историков, был «не воздержен» и проявлял «шумные и часто грубые удовольствия».

⁵ Сотири – герой рассказа *К. Н. Леонтьева* «Разбойник Сотери» («Нива». 1884. № 19–21).

⁶ Липоване – старообрядцы, поселившиеся на территории Османской империи.

⁷ К. Н. Леонтьев в своем письме к В. В. Розанову от 13 апреля 1891 г. писал: «...Христианство личное есть, прежде всего, *трансцендентный* (не земной, загробный) *эгоизм*. *Альтруизм* же сам собою «приложится...»

II

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 8 мая 1891 г.

¹ Ряд статей из цикла «Записки отшельника», выходивших в 1887–1888 гг. в журнале-газете «Гражданин».

² Южный М. (Зельманов Михаил Григорьевич). Литературно-критический фельетон: О романах гр<афа> Л. Н. Толстого, К. Н. Леонтьева // Гражданин. 1890. 8 июня. № 157; 1890. 13 июля. № 162.

³ В. В. Розанов был женат на А. П. Сусловой, с которой совместно не проживал, но она не давала согласия на развод. Вместе с тем В. В. Розанов встретил молодую женщину Варвару Дмитриевну Бутягину, с ней он желал связать свою судьбу. Настоятель церкви Колабинского детского приюта в г. Ельце согласился тайно обвенчать В. В. Розанова и Варвару Дмитриевну без свидетелей и записи в церковной книге, но с условием, что после свадьбы молодожены переедут в другой город. К моменту женитьбы В. В. Розанов договорился со своим университетским товарищем К. В. Вознесенским, а затем и поменялся местом работы. Молодая семья сразу же после венчания переехала из г. Ельца в г. Белый.

⁴ Граммотократия – власть образованных.

⁵ См.: Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции. Письма к отцу И. Фуделю // Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. Составление, вступительная статья, указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 277–327.

⁶ См.: Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедеггольм, иеромонах Оптиной Пустыни // Русский вестник. 1879. Кн. 11–12.

⁷ Речь идет о семье Варвары Дмитриевны Бутягиной: ее матери – Александре Андреевне Рудневой (урожденной Ждановой), брате Варвары – отце Иоанне (Иване Дмитриевиче Рудневе) – деревенском священнике.

⁸ См.: статью В. В. Розанова «Эстетическое понимание истории» в настоящем издании.

III

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 24 марта 1891 г.

¹ См.: работу В. В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением 2-х этюдов о Гоголе» (1891). Первые главы этой работы были опубликованы в «Русском вестнике» (1891. Кн. 1, 2, 3); заметка «Несколько слов о Гоголе» – в «Московских ведомостях» (1891. 15 февраля).

² Книгу «Восток, Россия и Славянство» К. Н. Леонтьев посвятил своему старшему товарищу Тertiю Ивановичу Филиппову, знатоку и пропагандисту русской народной песни, автору ряда статей по церковным вопросам.

³ Речь идет о неопубликованной в то время работе В. В. Розанова «Исследование идеи счастья как идеи верховного начала человеческой жизни», написанной еще в годы учебы в университете. Статья эта была предложена журналу «Русская мысль», но не была в этом журнале опубликована. Статья напечатана в книжке журнала «Вопросы философии и психологии» (1892. Кн. XIV. С. 1–31) как часть исследования «Цель человеческой жизни».

⁴ Розанов В. В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания (М., 1886).

⁵ Статья К. Н. Леонтьева «Добрые вести» (Гражданин. 1890. № 81, 83, 87, 95).

⁶ В письме к В. В. Розанову от 24 мая К. Н. Леонтьев писал: «...Прошу Вас, какова бы ни была Ваша невеста, – *станьте первый на коврик...* Если она кроткая, ей это понравится, если вспыльчивая, тем нужнее *это*».

IV

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 5 июня 1891 г.

¹ Речь идет о французской промышленной и художественной выставке в Москве (май 1891 г.)

² Конец письма утерян.

V

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 20 июля 1891 г.

VI

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 22 июля 1891 г.

¹ Речь идет о статье В. В. Розанова «Европейская культура и наше отношение к ней» (Московские ведомости. 1891. № 225). См. также настоящее издание.

VII

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 14 августа 1891 г.

¹ П. Е. Астафьев. Страдание и наслаждение жизни (Спб., 1885. Вып. 1).

² Речь идет о реформе среднего образования 1871 г., в которой деятельное участие принимал министр народного просвещения (1866–1880) граф Дмитрий Андреевич Толстой.

³ Венский конгресс (1814–1815) завершил войну европейских государств с Наполеоном.

⁴ С Оптиной Пустынью тесно связаны последние 15 лет жизни К. Н. Леонтьева. В оптинской аскетике искал он твердые, правильные формы для своей рвущейся к краю натуры. У оптинских старцев прошел он суровую школу усмирения своего слишком широкого и своевольного духа. Именно старец Амвросий благословил его 23 августа 1891 г. принять тайный постриг. К. Н. Леонтьев стал иноком Климентом. По настоянию старца он переехал в Троице-Сергиеву лавру; однако прожил там недолго. 12 ноября 1891 г., через месяц после кончины Амвросия, он умер от воспаления легких в Троице-Сергиевой лавре и был похоронен на погосте Гефсиманского скита.

⁵ К. Н. Леонтьев служил секретарем при русском консульстве на острове Крит. Летом 1864 г. он вынужден был покинуть службу из-за ссоры с французским консулом Дерше, который позволил себе «оскорбительно отозваться о России», в ответ на это К. Н. Леонтьев нанес ему удар хлыстом.

⁶ К. Н. Леонтьев, отвечая В. В. Розанову на этот вопрос, писал: «Причин было много разом, и сердечных, и умственных <...>».

Думаю, впрочем, что в основе всего лежат, с одной стороны – уже и тогда в 1870–1871 гг.: давняя (с 1861–1862) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой – эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших потрясений (слыхали Вы французскую поговорку: «Cherchez la femme!», то есть во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину»?); и наконец, внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни (1871) и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще и гипотеза триединого процесса, и «Одиссей Полихрониадес» (лучшее, по мнению многих, произведение мое, и, наконец, не были еще высказаны о «югославянах» все те обличения в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей... Одним словом, все главное мною сделано после 1872–1873, то есть после поездки на Афон и после страстного обращения к личному православию... Личная вера почему-то вдруг dokonчила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 г., когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог и все литературные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже не о спасении души (ибо вера в личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и могущество этой Божией Матери; поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Мать Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь

старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...» (Цит. по: *Прокопов Т. Ф.* Неузнанный гений. Парадоксы судьбы Константина Леонтьева // *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. Воспоминания. М., 2002. С. 17–18).

Жизнелюбие в К. Н. Леонтьеве было настолько прочным, что болезнь стремительно отступила. Исполненный благодарности тем могучим силам, которые даровали ему выздоровление, он отправился 24 июля 1871 г. верхом на лошади к Святой горе – на Афон, но пробыл там недолго. Затем он, сказавшись на службе нездоровым, поселился на даче на острове Халки, где у него были удобства «...для молитвы и для того необременительного и приятного богомыслия, которое впору мне по моим духовным и телесным немощам. Я жил близко от знаменитой Богословской Халкинской Академии (греческой), был дружен с монахами-профессорами; ректором митрополитом Анхиольским любим и раз или два-три раза, не помню, имел от него секретные поручения к Игнатьеву. Я очень часто бывал в Академии у вечерни и обедни и потом, беседуя подолгу с ректором и профессорами, многому у них научился и свои понятия о церкви уяснил. Афон показал мне примеры высокого и даже страшного аскетизма; старцы Руссика выучили меня послушанию, посту и молитве, заставили понимать жития святых, раскрыли мне истинный дух церкви. Халкинские богословы познакомили меня с канонами церкви, с ее администрацией и с современным состоянием церквей на Востоке. Меня это очень все утешало и расширяло мои познания...» См.: *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т. 6. СПб., 2003. С. 231–233).

⁷ Omne vivum ex ovo et sperma (лат.) – все живое из яйца и семени.

⁸ Sine sperma (лат.) – без семени.

VIII

Это письмо В. В. Розанова является ответом на письмо К. Н. Леонтьева от 18 октября 1891 г.

¹ Речь идет о том, что К. Н. Леонтьев собрал вырезки своих статей и заметок за 1887–1891 гг. и, наклеив их в тетрадь, предпо-

лагал в дальнейшем издать их в качестве третьего тома сборника «Восток, Россия и Славянство». Но по болезни издать этот том уже не смог, однако выслал тетрадь для прочтения В. В. Розанову.

² Речь идет о большой работе В. В. Розанова «Эстетическое понимание истории», опубликованной уже после смерти К. Н. Леонтьева. См. следующую публикацию в настоящем издании.

IX

Это последнее письмо В. В. Розанова написано после 18 октября и до 12 ноября 1891 г.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

Первая публикация – «Русский вестник». 1892. № 1. С. 156–188. № 2. С. 7–35. № 3. С. 281–327.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Эстетическое понимание истории. Статьи и очерки 1889–1897 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; СПб: Росток, 2009. С. 35–114.

¹ Эпиграф взят из статьи *К. Н. Леонтьева* «Национальная политика как орудие всемирной революции» для первой публикации (1892) редактором журнала «Русский вестник» Ф. Н. Бергом. См. современное издание: *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 278.

² *Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр<афа> Толстого // *Русский вестник*. 1890. Июнь, июль, август.

³ Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Т. 1. Отд. 2. С. 369 (Из записной книжки).

⁴ См. «Историческую записку, речи, стихи и отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 г. по случаю его столетнего юбилея». М., 1855. С. 22.

⁵ «Восток, Россия и Славянство». Сборник статей К. Леонтьева. М., 1885.

⁶ В «Варшавском дневнике».

⁷ См. современное издание: *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. Гл. VI: «Что такое процесс развития». С. 104–112.

⁸ Bronchitis (*лат.*) – бронхит; pleuritis (*лат.*) – плеврит.

⁹ Souffle tubaire (*фр.*) – туберкулезное дыхание.

¹⁰ Правильнее – персть, то есть земной прах.

¹¹ *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 117–119.

¹² Работа *Алексиса Токвиля* называется «Прежний порядок и революция».

¹³ См.: *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 118.

¹⁴ Там же. С. 43.

¹⁵ Πόλις (*греч.*) – полис.

¹⁶ Экклесия – народное собрание в греческих полисах.

¹⁷ Ἀγορά (*греч.*) – площадь для проведения народных собраний в Древней Греции.

¹⁸ Ubi ementum – ibi enolumentum (*лат.*) – где выдумка, там успех.

¹⁹ Академия, Лицей и Стоя – древнегреческие философские школы, основанные Платоном, Аристотелем и Зеноном Китийским.

²⁰ «Magna charta libertatum» (*лат.*) – Великая хартия вольностей как основа конституции в Великобритании (1215).

²¹ «Habeas corpus» (*лат.*) – начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом (1679).

²² «Билль о правах» – закон, утверждающий конституционные основы английской монархии, принятый английским парламентом (1689).

²³ Комиций – народное собрание в Риме.

²⁴ Герусия – высший государственный орган в Спарте.

²⁵ «Ἄνθρωπος ζῶων πολιτικὸν ἔστιν» (греч.) – «Человек – животное политическое» (Аристотель. «Политика»).

²⁶ См.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 122.

²⁷ Фернейский мудрец – французский философ-просветитель Вольтер, в 1753 г. поселившийся в замке Фернэ около Женевы.

²⁸ См.: Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 107–108.

²⁹ Там же. С. 115–116.

³⁰ Там же. С. 758–759.

³¹ Парафраз: Быт. 3:19.

³² См.: современное издание Герцен А. И. Былое и думы. М., 1969. Т. 2. Ч. VIII. Гл. 2. С. 382–383, 386–387.

³³ Ареопаг – холм в Афинах, место заседания суда.

³⁴ Эфоры – пять высших должностных лиц в Спарте.

³⁵ Иов. 1:21.

³⁶ См.: Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции // Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. Сост., вступит. ст., указатель имен и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 280.

³⁷ Речь идет о Михаиле Ломоносове.

³⁸ На самом деле произведение Н. В. Гоголя называется «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

³⁹ Аристотель из Стагир (Македония).

⁴⁰ Causa formalis (лат.) – формальная причина; causa efficiens (лат.) – действующая причина.

⁴¹ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «На буйном пируестве задумчив он сидел» (1839).

К. ЛЕОНТЬЕВ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ

Первая публикация – «Новое время». 1915. 9 декабря. № 14279.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 608–615.

¹ Русская мысль. 1915. № 9.

² *Григорьев А.* Сочинения. Т. 1. Предисловие Н. Н. Страхова. Спб.: Издание Н. Н. Страхова, 1876.

³ «Заря» – журнал, издававшийся в 1869–1872 гг., фактическим редактором которого был Н. Н. Страхов.

⁴ «Якорь» – газета, издававшаяся в 1863–1865 гг., редактором которой был Ап. Григорьев.

⁵ «Время» – журнал, издававшийся в 1861–1863 гг., фактическим редактором которого был Ф. М. Достоевский.

⁶ Цитата из поэмы Ап. Григорьева «Олимпий Радин» (1845).

⁷ Повесть *Д. В. Григоровича* «Четыре времени года» (1849).

⁸ Пуритане – последователи кальвинизма в Англии в XVI–XVII вв., выступавшие за углубление Реформации, проведенной сверху в форме англиканства, против абсолютизма.

⁹ Содом и Гоморра (*библ.*) – два города у устья реки Иордан или на западном побережье Мертвого моря, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с небес.

¹⁰ Федоровская-Костромская икона Божией Матери – одна из самых древних русских чудотворных икон Богоматери, сохранившаяся до наших дней. Была создана (1239) по заказу великого владимирского князя Ярослава Всеволодовича к свадьбе его сына Александра Невского, является списком-репликой чудотворной Владимирской иконы.

СУВОРИН И КАТКОВ

Первая публикация – «Колокол». 1916. 11 марта. № 2947.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* В чаду войны. Статьи и очерки 1916–1918 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2008. С. 126–131.

КАТКОВ «КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Первая публикация – «Биржевые ведомости». 1897. 17 октября. № 283.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 340–348.

¹ Специальный выпуск журнала «Русский вестник». 1897. № 8. С. 1–182.

² По легенде, распространенной поклонниками Варвары Крюднер (1764–1825), ей принадлежала идея Священного союза, заключенного 28 сентября 1815 г. в Париже. В необычных для дипломатии формулировках договора отразились религиозно-мистические интересы Александра I. Политический договор монархов трактовался в духе христианского братства, соединения христиан в единую семью, которые проповедовала Крюднер, имевшая большое влияние на Александра I. После приезда в Петербург (1821) широкая проповедь ей была запрещена. Свою молодость, полную светских удовольствий и любовных приключений, Крюднер описала в романе «Валерия» (1809).

³ «Исповедь савойского викария» включена в роман Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

⁴ Сравниваются откровенные «исповеди» Аврелия Августина и Ж.-Ж. Руссо.

⁵ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи – значенье...» (1840).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

Первая публикация – «Вопросы философии и психологии». 1890. Кн. 4. С. 27–64.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 303–340.

¹ См. современное издание: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения сла-

вянского мира к германо-романскому. Составление, комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 816 с.

² *Данилевский Н. Я.* Дарвинизм. Критическое исследование. Т. 1. Ч. 1, 2. СПб., 1885; Т. 2. СПб., 1889.

³ «Семейная хроника» (1855), «Детские годы Багрова-внука» (1857) – книги *Сергея Тимофеевича Аксакова*.

⁴ Н. Н. Страхов развивает мысль А. И. Герцена: мы «поднимаемся в какую-то изреженную среду, в какой-то мир бесплотных абстракций».

⁵ Речь идет об английском поэте Байроне.

⁶ Речь идет о библейском сюжете об Исаве, продавшем свое первородство младшему брату Иакову (Быт. 25:27–34).

⁷ В предисловии к книге «Боярская дума Древней Руси» (М., 1881. С. 1–15) В. О. Ключевский выступал против «односторонности» как западников, так и славянофилов.

⁸ Речь идет о докладе «Евгений Онегин» и его предки», который был прочитан В. О. Ключевским на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г. (Русская мысль. 1887. № 2).

⁹ В газете «Новое время» (1884–1885) развернулась острая полемика Н. Н. Страхова со сторонниками спиритизма химиком А. М. Бутлеровым и зоологом Н. П. Вагнером. Эти статьи Н. Н. Страхова, а также его «Три письма о спиритизме» и два ответа А. М. Бутлерову «Медиумизм и умозрение без опыта» и «Закономерность стихий и понятий» составили основное содержание его книги «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)». СПб., 1887.

¹⁰ «...Источником своих взглядов я считал гегелевскую философию, но не ее учение в каком-нибудь определенном виде, а только ее методу, которую... признаю полным выражением научного духа» // *Страхов Н. Н.* Мир как целое. С. VI.

¹¹ *Ланге Ф. А.* История материализма и критика его значения в настоящее время (издано в 1865 г.; русский перевод Н. Н. Страхова. СПб., 1899).

¹² См.: магистерскую диссертацию *Н. Н. Страхова* по биологии «О костях запястья у млекопитающих» (СПб., 1857).

¹³ См.: *Страхов Н. Н.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1883. С. 179–332.

¹⁴ Ап. Григорьев первым в отечественной литературной критике высоко оценил значение пушкинских «Повестей Белкина». Все развитие послепушкинской русской литературы, по его мнению, определялось борьбой типа, заимствованного из «чуждой» нам жизни и национального, народного, продолжение которой Н. Н. Страхов вслед за Ап. Григорьевым усматривал в Платоне Каратаеве Л. Н. Толстого.

¹⁵ *Liberité, égalité (фр.)* – свобода, равенство.

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И Н. Н. СТРАХОВА

Первая публикация – «Новое время». 1913. 24, 25 ноября, 4 декабря; № 13544, 13545, 13554.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* На фундаменте прошлого. Статьи 1913–1915 гг. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика; Спб.: Росток, 2007. С. 163–172.

¹ *Толстой Л. Н.* Переписка с Н. Н. Страховым (1870–1894). Предисловие Б. Модзалевского // Современный мир. 1913. № 1–12.

² *Страхов Н. Н.* Письма о нигилизме // Русь. 1881. № 23–25, 27.

³ 1 марта 1881 г. террористами был убит Александр II.

⁴ Речь идет об «Очерках бурсы» (1863) *Н. Г. Помяловского*.

⁵ Ремизить – суетиться, торопить (*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 1674–1675).

⁶ Мф. 23:24.

⁷ Купец Тит Титыч Брусков – персонаж пьесы *А. Н. Островского* «В чужом пиру похмелье» (1856).

Из «ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗГНАННИКОВ»

1. Избранные письма Н. Н. Страхова В. В. Розанову

Письма Н. Н. Страхова В. В. Розанову с комментариями самого В. В. Розанова опубликованы в книге – *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Спб., 1913.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Литературные изгнанники: Воспоминания. Письма. Подготовка текста, послесловие, именной указатель Г. Р. Евграфова. М.: Аграф, 2000. С. 86–257.

¹ Речь идет о книге «Основы веры и знания» (Спб., 1886) *Павла Александровича Бакунина*, младшего брата анархиста и революционера Михаила, книге, которую до сих пор так никто и «не разобрал».

² *Ouvrage (фр.)* – труд.

2. Рассеянное недоразумение

Статья опубликована в книге – *Розанов В. В.* Литературные изгнанники». Спб., 1913.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Литературные изгнанники: Воспоминания. Письма. Подготовка текста, послесловие, именной указатель Г. Р. Евграфова. М.: Аграф, 2000. С. 81–86.

ПОМИНКИ ПО СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ И СЛАВЯНОФИЛАМ

Первая публикация – «Новое время». 1904. № 1035.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 401–409.

¹ Догмат католической Церкви, признающей «исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына».

² На Констанцском соборе (1414) были приняты декреты о реформе церкви; на Базельско-Флорентийском соборе (1431–1449) была заключена Флорентийская уния. Собор содействовал окончательному разгрому гуситов в Чехии.

³ *Dura lex – sed lex (лат.)* – закон суров, но он закон.

⁴ *Jus naturale et divinum (лат.)* – право естественное и божественное.

⁵ *Jus civile et humanum (лат.)* – право гражданское и человеческое.

РАЗМОЛВКА МЕЖДУ ДОСТОЕВСКИМ И СОЛОВЬЕВЫМ

Первая публикация – «Новое время». 1902. 11 октября. № 9556.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 439–445.

¹ См.: статьи *В. В. Розанова* «Свобода и вера» и «Ответ г. Владимиру Соловьеву» // *Русский вестник*. 1894. № 1, 4, 7.

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД<ИМИРЕ> СОЛОВЬЕВЕ

Очерк

Первая публикация – «Новое слово». 1911. № 7. С. 4–9.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2005. С. 136–145.

¹ Цитата из поэмы *В. С. Соловьева* «Три свидания» (1898).

² В средневековой мифологии суккубами и инкубами назывались женские и мужские демоны, которые домогались любви от спящих.

³ *Безобразова М. С.* Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // *Минувшие годы*. 1908. № 5–6.

⁴ *Гершензон М. О. И. В. Киреевский* // *Вестник Европы*. 1908. № 8.

⁵ Не обратив внимания на творчество И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, Ж. Б. Северак вслед за Л. М. Лопатиным также утверждал, что Вл. Соловьев первым в России «стал заниматься темами или предметами самой философии, а не мнениями об этих темах западных философов; и через это стал первым русским философом» (см.: *Лопатин Л. М.* Философское мирозерцание В. С. Соловьева // *Вопросы философии и психологии*. 1901. № 1. С. 54).

⁶ *Соловьев В. С.* Магомет, его жизнь и религиозное учение. Спб., 1896.

ПАМЯТИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Первая публикация – «Русское слово». 1911. 15 мая. № 111.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 567–573.

¹ Ach, du mein lieber Augustjn (нем.) – Ах, мой милый Августин.

ПАМЯТИ УСОПШИХ

Ю. Н. Говоруха-Отрок

Первая публикация – «Русское обозрение». 1896. № 9. С. 386–395.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 351–355.

¹ *Николаев Ю.* (Ю. Н. Говоруха-Отрок). Тургенев. М., 1894.

² *Николаев Ю.* (Ю. Н. Говоруха-Отрок). Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко. М., 1893.

³ *Николаев Ю.* (Ю. Н. Говоруха-Отрок). Гражданская поэзия // Московские ведомости. 1896. 31 марта, 2, 6, 11 апреля. № 87, 89, 93, 99.

⁴ См. рассказ *И. С. Тургенева* «Гамлет Щигровского уезда» (1849) из «Записок охотника».

⁵ Речь идет о двух статьях Ю. Н. Говорухи-Отрока в газете «Московские ведомости» по поводу книги *А. Рубинштейна* «Музыка и ее представители». См.: «Искусство» (1891. 14 декабря. № 345) и «Сумерки богов» (1891. 21 декабря. № 352).

⁶ В юности в 1874 г. Ю. Н. Говоруха-Отрок был арестован за участие в нескольких сходках (так называемое хождение в народ), был приговорен к трем годам тюрьмы, а также провел некоторое время в ссылке.

⁷ В 1894 г. на престол вступил последний российский император Николай II Романов (1894–1917), старший сын императора Александра III Александровича и императрицы Марии Федоровны.

⁸ Речь идет о броненосце береговой обороны «Русалка», погибшем в 1894 г. при переходе из Либавы в Кронштадт.

⁹ Цитата из драмы «Гамлет, принц Датский» У. Шекспира.

¹⁰ Studiosus (лат.) – см. прим. 5 к статье «50 лет влияния».

¹¹ Ин. 14:6.

Н. Н. Страхов

Первая публикация – «Русское обозрение». 1896. № 10. С. 629–664.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 355–375.

¹ Розанов В. В. По поводу одной тревоги гр<афа> Л. Н. Толстого // Русский вестник. 1895. № 8. С. 154–187.

² «Вера и разум» – богословско-философский журнал, издававшийся в Харькове (1884–1916).

³ Мф. 22:37–39.

⁴ Ин. 20:24–29.

⁵ О своем исцелении от сикоза (воспаления кожи) приват-доцент Московского университета Н. К. Доробец рассказал в «Письме к издателю» (Московские ведомости. 1895. 12 октября. № 281). В. В. Розанов написал ответную статью «Нечто об «излечениях» и о чудесном» (Русский вестник. 1896. № 1).

⁶ «Русские лгуны» – цикл рассказов (1865) А. Ф. Писемского, в частности, рассказ «Красавец».

⁷ Друзья перевели В. В. Розанова по службе в петербургский Государственный контроль весной 1893 г. До этого с 1891 г. он учительствовал в прогимназии г. Белый Смоленской губернии и неоднократно приезжал в имение Татевое той же губернии, где учил крестьянских ребят вышедший в отставку профессор Московского университета С. А. Рачинский.

⁸ Мф. 13:24–30.

- ⁹ In warden (*нем.*) – в становлении.
- ¹⁰ In sein (*нем.*) – в бытии.
- ¹¹ Eo ipso (*лат.*) – тем самым.
- ¹² Intrare compelle (*лат.*) – убедить прийти – евангельское выражение (Лк. 14:23).
- ¹³ Extrare compelle (*лат.*) – убедить уйти.
- ¹⁴ См.: главу «Среда» в «Дневнике писателя» за 1873 г. *Ф. М. Достоевского*.
- ¹⁵ Λόγος (*греч.*) – логос.
- ¹⁶ Мф. 12:39; Мф. 16:4.
- ¹⁷ Ин. 18:11.
- ¹⁸ Мф. 24:12.
- ¹⁹ *Розанов В. В.* Свобода и вера // Русский вестник. 1894. № 1.
- ²⁰ См.: статьи *В. В. Розанова* «Ответ г. Владимиру Соловьеву» (Русский вестник. 1894. № 4) и «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?» (Русский вестник. 1894. № 7).
- ²¹ Разработал силлогистику древнегреческий философ Аристотель.
- ²² Тропарь Преображения Господня. Гл. 7-й.
- ²³ Après nous le déluge (*фр.*) – после нас хоть потоп – высказывание французского короля Людовика XV.
- ²⁴ Мф. 21:12; Мк. 11:15; Лк. 19:45; Ин. 2:14.
- ²⁵ Editio princeps (*лат.*) – первое издание.
- ²⁶ «Philosophiae naturalis principia mathematica» (*лат.*) – работа *И. Ньютона* «Математические начала натуральной философии» (1687).
- ²⁷ Humaniora (*лат.*) – человечность.
- ²⁸ *Никольский Б. В.* Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк. Спб., 1896.
- ²⁹ В середине XIX в. Н. Н. Страхов служил учителем во 2-й Одесской гимназии.
- ³⁰ Речь идет о статье *Н. Н. Страхова* «Заметки о Тэне» // Русский вестник. 1893. № 4, которую упомянул в библиографическом обзоре Я. Н. Колубовский в приложении к «Вопросам философии и психологии» (1895. № 3. Май).
- ³¹ Статья *Л. Слонимского* «Новый рассказ гр<афа> Л. Н. Толстого» в «Вестнике Европы» (1895. № 5).

³² См.: статью *В. В. Розанова* «По поводу одной тревоги гр<афа> Л. Н. Толстого».

³³ Стихотворение *А. А. Голенищева-Кутузова* «Майский день» // *Русский вестник*. 1896. № 1.

³⁴ *Νοῦς* (греч.) – ум.

³⁵ Цитата из стихотворения *Е. А. Баратынского* «Муза» (1829).

³⁶ *Thesaurus* (лат.) – сокровищница.

РАЗДЕЛ III ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

Первая публикация – «Мир искусства». 1899. № 13–14. С. 1–10.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // *Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина*. М.: Республика, 1996. С. 420–426.

¹ Об этом пишет *П. В. Анненков* в «Материалах для биографии Пушкина». М., 1855. С. 368–369.

² Стихарь – длинное платье с широкими рукавами, церковное облачение дьяконов и дьячков, нижнее облачение священников и архиереев.

³ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Дума» (1838).

⁴ Цитата из произведения *М. Ю. Лермонтова* «Журналист, читатель и писатель» (1840).

⁵ См.: *Сергеенко П. А.* Как живет и работает гр<аф> Л. Н. Толстой. М., 1898. С. 50.

⁶ *Аксаков С. Т.* Письмо к друзьям Гоголя // *Московские ведомости*. 1852. 13 марта.

⁷ Цитата из произведения «Страшная месть» *Н. В. Гоголя*.

⁸ См.: *Лермонтов М. Ю.* Журналист, читатель и писатель.

⁹ Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

¹⁰ Цитата из произведения *М. В. Ломоносова* «Ода на взятие Хотина 1739 года».

¹¹ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Выхожу один я на дорогу» (1841).

¹² Быт. 18:1.

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

Первая публикация – «Мир искусства». 1900. № 7–8 (апрель). С. 133–143.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 426–439.

¹ «Поликратов перстень» – так называется баллада (1831) В. А. Жуковского, перевод баллады *Ф. Шиллера* (1797).

² Показательна, например, следующая сентенция В. С. Соловьева: «Пушкин постоянно колебался между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него... *Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна*». См.: *Соловьев В. С.* Судьба Пушкина // *Соловьев В. С.* Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 286, 294.

³ Цитата из поэмы *М. Ю. Лермонтова* «Сказка для детей» (1837–1841).

⁴ *Перцов П. П.* Смерть Пушкина // Мир искусства. 1899. № 21–22. С. 156–168.

⁵ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Смерть поэта» (1837).

⁶ Так же как и Романов (Рцы), Вл. Соловьев гадательно предполагал: «...для примирения с собой Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был ви-

новат своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе». См.: *Соловьев В. С.* Судьба Пушкина // *Соловьев В. С.* Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 286, 294.

⁷ Псалом 140 («Господи! к Тебе взываю...») поется на всеобщей службе на 8 голосов, в котором «седьмой глас» – глас мягкий, трогательный, увещевающий.

⁸ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Дары Терека» (1839).

⁹ Цитата из песни *Беранже* «Как яблочко румян...» (1856) (перевод В. С. Курочкина).

¹⁰ Цитата из поэмы *А. С. Пушкина* «Граф Нулин» (1825).

¹¹ Пс. 26.

¹² Цитата из поэмы *А. С. Пушкина* «Руслан и Людмила» (1817–1820).

¹³ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Кавказская пленница» (1840).

¹⁴ Цитата из поэмы *А. С. Пушкина* «Граф Нулин» (1825).

¹⁵ Цитата из стихотворения *А. С. Пушкина* «Красавица» (1832).

¹⁶ Перефразированный сонет *А. С. Пушкина* «Мадонна» (1830).

¹⁷ Заключительными строками «Леды» (1814) пятнадцатилетнего *А. С. Пушкина* являются:

Сим примером научитесь,
Розы, девы красоты;
Летним вечером страшитесь
В темной рощице воды.

¹⁸ Перефразированные строки из романа *А. С. Пушкина* «Евгений Онегин». Гл. VIII.

¹⁹ Цитата из поэмы *А. С. Пушкина* «Полтава» (1828–1829).

²⁰ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Дары Терека» (1839).

²¹ Дан. 7:13.

²² Цитата из романа *А. С. Пушкина* «Евгений Онегин». Гл. VIII.

²³ 2 Цар. 11.

ПУШКИН И ГОГОЛЬ

Первая публикация – «Московские ведомости». 1891. 15 февраля. № 46.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Несовместимые контрасты жития. Литературно-эстетические работы разных лет. Составитель: В. В. Ерофеев. М.: Искусство, 1990. С. 225–234.

¹ Большая статья *В. В. Розанова* «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» впервые была опубликована в «Русском вестнике» (1891. № 1–4).

² В статье «Нечто о Гоголе и Достоевском», опубликованной в «Московских ведомостях» (1891. 26 января. № 26), Ю. Н. Говоруха-Отрок утверждал, что Гоголь первым посмотрел на мир с «христианской точки зрения», первым призвал Россию к покаянию, поэтому именно он стоит у истоков русской литературы: «Начало Достоевского – в Гоголе... Благодаря его великому уроку («уроку смирения») и Достоевский мог показать нам те же мертвые души, но уже в состоянии некоего движения, некоего пробуждения, совершающегося под гнетом невыносимых несчастий и страданий».

³ Указывая на величайшую требовательность к себе Гоголя, Ю. Н. Говоруха-Отрок считал, что писатель смотрел и на мир, и на себя с точки зрения Высшей правды. И именно эта Высшая правда заставила Гоголя сжечь второй том «Мертвых душ».

⁴ Полемика, произошедшая между А. Д. Градовским (*Градовский А. Д.* Мечты и действительность // *Голос*. 1880. 25 июня. № 147) и Ф. М. Достоевским (См.: гл. 3. «Дневника писателя», 1880, *Ф. М. Достоевского*).

⁵ Ю. Н. Говоруха-Отрок писал, что Гоголь «в свете Высшей правды» увидел «душу, поворотную плотью... и показал ее нам в ее мертвом покое, в этом ее уплотнении...»

ВОЗВРАТ К ПУШКИНУ

К 75-летию со дня его кончины

Первая публикация – «Новое время». 1912. 29 января. № 12889.

Печатается по изданию – *Розанов В. В. Среди художников // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1994. С. 371–375.*

¹ Цитата из стихотворения *А. С. Пушкина* «Поэту» (1830).

² «Посредник» – издательство, которое возникло по инициативе Л. Н. Толстого в 1884 г. и выпускало доступные для народа книги художественного и нравоучительного содержания.

³ Первый том сочинений *А. С. Пушкина* под редакцией и с примечаниями Л. Н. Майкова вышел в 1899 г.

⁴ Работа пушкиниста *Н. О. Лернера* «Дни и труды Пушкина» вышла в 1903 г.

⁵ В четырехтомный сборник «Песни, собранные Рыбниковым» (1861–1867) включены былины, исторические песни и баллады Севера.

⁶ Цитата из посвящения к «Евгению Онегину» *А. С. Пушкина*.

⁷ Речь идет о следующем стихотворении «Эхо» (1831) *А. С. Пушкина*:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом –
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внимлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов –
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

⁸ См.: *Пушкин А. С. «Сцена из «Фауста»»* (1825) и строки из «Евгения Онегина».

⁹ Неточная цитата из пушкинской «Сцены из «Фауста»».

¹⁰ Цитата из стихотворения *А. С. Пушкина* «Элегия» (1830).

¹¹ Речь идет о философской драме *Л. Н. Андреева* «Анатэма» (1910).

ГОГОЛЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕАТРА

Первая публикация – «Новое время». 1909. 21 марта. № 11862.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Среди художников // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1994. С. 298–302.

ПО ПОВОДУ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

Первая публикация – «Весы». 1904. № 5.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 379–388.

¹ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Морская царевна» (1841).

² В греческой мифологии Эндимион – прекрасный юноша. Его полюбила богиня Диана, но, прежде чем поцеловать юношу, она погрузила его в вечный сон.

³ Цитата из поэмы *М. Ю. Лермонтова* «Сказка для детей» (1840).

⁴ Озирис – египетский бог Нила, растительности и загробного мира. Умиравший и воскресающий бог.

⁵ *Mutatis – mutandis* (лат.) – изменив то, что следует изменить.

⁶ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Русалка» (1832).

⁷ Цитата из поэмы *М. Ю. Лермонтова* «Сказка для детей» (1840).

О ДОСТОЕВСКОМ

Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»

Первая публикация – предисловие к первому тому Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Приложение к журналу «Нива». Спб., 1894. С. V–XXIV.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 277–286.

¹ Неточная цитата из стихотворения *Ап. Н. Майкова* «Не говори, что нет спасенья» (1878).

² См.: *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. Составление и комментарии А. В. Белова. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 880 с.

³ Глава из романа *Ф. М. Достоевского* «Братья Карамазовы».

⁴ Рассказ *Ф. М. Достоевского*, впервые опубликованный в «Дневнике писателя» (1877, апрель).

⁵ Заглавие книги пятой, второй части романа «Братья Карамазовы» *Ф. М. Достоевского*, куда и входит глава «Великий инквизитор».

⁶ Пушкинская речь *Ф. М. Достоевского* опубликована в «Дневнике писателя» (1880).

⁷ Об этом подробно писал Н. Н. Страхов в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 310.

⁸ Земля Уц (библ.) – родина праведного Иова в северной части Аравии.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Заметки и наброски

Первая публикация – «Новое время». 1898. 22 сентября. № 8107.

Печатается по изданию – *Розанов В. В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях // Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. С. 334–338.

¹ Иов. 1:21; Пс. 112:2; Дан. 2:20.

² *Толстой Л. Н.* Анна Каренина. Ч. 5. Гл. 1.

³ Summa regulorum (*лат.*) – свод правил.

⁴ Дрон – персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир», староста имения Богучарово.

⁵ Герои рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года» братья Козельцовы.

⁶ Речь идет о героях рассказа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» (1895).

⁷ Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» печатался в журнале «Нива» с № 11 (13 марта) по № 52 (25 декабря) 1899 г.

⁸ *In re* (лат.) – в действительности.

⁹ *Pendant* (фр.) – под статью.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Первая публикация – отдельное издание. Спб., Тип. А. С. Суворина. 1912.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Религия и культура: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 355–368.

¹ Небольшая заметка В. В. Розанова «Об отлучении гр^афа Л. Толстого от Церкви», прочитанная на третьем заседании Религиозно-философских собраний, затем вошедшая во второй том сборника «Около церковных стен» (Спб., 1906), поможет современному читателю в уяснении идей брошюры «Л. Н. Толстой и Русская Церковь»:

«Акт Синода относительно Толстого я считаю невозможным теоретически, а потому и в действительности как бы не состоявшимся вовсе. Это по следующим причинам. «*Similia similibus expellitur*» («подобное подобным изгоняется») – равно в органической и духовной природе. Нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически. – Синод может быть святым и, вероятно, *праведен* по личностям, его составляющим: но нужно же всмотреться во все его учреждение, в рождение его и историю, в механизм его устройства в смысле вызова епископов заседающих и в самый процесс заседания, и, наконец, в постоянные двухвековые темы его суждений, чтобы понять, что это есть строгое, точное, так сказать, алгебраическое учреждение, без всякой собственной души в нем, волнения, совести, свободы, – неперменных элементов религиозности. Синод

не есть религиозное учреждение, почти не есть, очень мало есть. И не имеет ни традиций, ни форм, никаких способов религиозное религиозно судить. Отсюда прозаичность бумажки о Толстом, им выпущенной; Синод не умеет религиозно говорить. Митрополит Антоний в ответном письме графине Толстой не назвал Синод «Святейшим», что тогда же меня поразило как правда, как пример невозможности употребить сей эпитет в языке неофициальном, серьезном, частном, сердечном. Синод, не говоря о лицах, а говоря об учреждении, не имеет сердца и вообще никаких признаков личного и живого и свободного существа. А Бог – личен, жив, свободен – и от Бога и именем Божиим что-нибудь сказать Синод просто не может, не умеет, не имеет формы по отсутствию в самом нем «образа и подобия Божия». Между тем Толстой при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное *религиозное* явление, может быть – величайший феномен религиозной русской истории за XIX век, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений). Посему Синод явно не умеет подойти к данной теме, долго остерегался подойти; и сделал, может быть, роковой для русского религиозного сознания шаг – подойдя. Акт этот потряс веру русскую более, чем учение Толстого. «А, так вот в *чем наша вера*» – могли воскликнуть русские в параллель толстовской «В чем *моя вера*». Там, у Толстого – тоска, мучения, годы размышлений, Иово страдание, Иова буря против Бога. Даже бесы видели Иисуса и трепетали, но Синод вовсе не видел никакого Иисуса и похож на рожденных до Христа: ни мучений, ни слез, ничего, а только способность написать «бумагу», какую мог бы по стилю и содержанию написать каждый учитель семинарии или гимназии. Толстой – как бес перед Иисусом (допустим), но поступок Синода просто есть решение византийского или римского юрисконсульта, до рождения Христа высказанное: до такой степени в характере и методе и тоне его не отражается ничего христианского.

Толстой написал: «Чем люди живы». Он как бы видел Ангела у мужика; я настаиваю на слове «видел»: густота размышлений уплотнилась до осязательности этого образа. Скажите: какие «видения» видел когда-либо Синод? Никаких. Покажите мне «знамения» Сино-

да – ибо верующие требуют «знамений», когда философы спрашивают «доказательств». У Синода есть доказательства, а вот «знамений» – нет; и он в одной части есть административное учреждение, а в другой – философская академия, без всякого «помазания». Вот, в самом деле, еще термин: каждый из членов Синода – помазан, но ведь не *каждый* отдельный член Синода судил Толстого от себя и за себя, а судило учреждение, которое ни на коллективные суждения, ни на коллективные решения помазания не имеет.

Все это чувствовали и все остались холодны к решению, безотчетно чувствуя, что в нем нет ни святости, ни религиозности, а исключительно светскость, мирской характер.

Это – мирское дело, только совершенное не мирянами.

1902 г.

Р. С. Толстого могла бы осудить, «отлучить от Церкви» толпа закричавших мужиков, баб, – веру и даже «суеверия» которых он оскорбил. Пусть и «суеверия», но под ними века, кровь и умиление. Я хочу сказать, что «отлучение» понимаю и даже допускаю (ведь отлучение – «от себя» только, от верующих, без универсального тезиса): но нужны эти воспламененные лица, горячо дышащие груди, поднятые руки, загоревшиеся глаза. Нужно «с кровью» оторвать такое явление, такого человека от своей груди, от народной груди; а вот «крови»-то мы и не видели, а только бумагу и номер. Это кощунство, а не серьезный факт; и менее всего – факт «церковной жизни». Отлучение было а-экклезиастично, вне-церковно.

1902–1906 г.»

² В. В. Розанов посетил Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 6 марта 1903 г. Об этой поездке см.: *Варварин В. (В. В. Розанов)*. Одно воспоминание о Л. Н. Толстом // *Русское слово*. 1908. 11 октября; или современное издание: *Розанов В. В. Мысли о литературе*. М., 1989. С. 281–286.

НАШ «АНТОША ЧЕХОНТЕ»

Первая публикация – «Русское слово». 1910. 17 января.

Печатается по изданию – *Розанов В. В. Сочинения*. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 421–426.

¹ Цитата из стихотворения И. П. Мятлева «Фонарики».

² Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

³ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Телега жизни» (1823).

⁴ Natura-Benitrix (лат.) – природа-мать.

А. П. ЧЕХОВ

Первая публикация – Юбилейный Чеховский сборник. М., 1910. С. 115–132.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 412–420.

¹ Скорее всего, речь идет о Льве Николаевиче Толстом.

² Речь идет о землетрясении в итальянском городе Мессина в 1908 г.

³ На острове Мартиника, находящемся в группе Наветренных островов, в Вест-Индии, существует действующий вулкан Монтань-Пеле.

⁴ При падении Силоамской башни в Иерусалиме, о чем рассказывается в Евангелии от Луки, погибло 18 человек.

⁵ Мф. 5.

С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ

Размышление о ходе русской литературы

Одна из последних работ В. В. Розанова (1918), при его жизни не опубликованная.

Печатается по изданию – Розанов В. В. Сочинения. Составители: А. Л. Нелепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 448–464.

¹ Здесь и далее по тексту идет пересказ В. В. Розановым «Повести временных лет».

² Речь идет о сборниках поучений на темы христианской морали Древней Руси.

³ Фила – высшее родовое деление жителей древней Аттики.

⁴ Трибы – первоначально родовое, а затем территориальное деление римского народа.

⁵ Курии – совокупности нескольких родов, являвшиеся одним из гражданских подразделений древнеримских общин.

⁶ Патриции – коренные граждане Древнего Рима, принадлежавшие к родовой аристократии.

⁷ Ганза – торговое товарищество немецких купцов за границей, возникшее для взаимной помощи и защиты. В 1367 г. был основан Ганзейский союз.

⁸ Цитата из стихотворения *Ф. И. Тютчева* «Эти бедные селенья...» (1855).

⁹ «Рыцарь на час» – стихотворение *Н. А. Некрасова*.

¹⁰ Цитата из стихотворения *Н. А. Некрасова* «Не рыдай так безумно над ним...» (на смерть Д. И. Писарева).

¹¹ Цитата из стихотворения *М. Ю. Лермонтова* «Смерть поэта» (1837).

¹² Цитата из стихотворения *А. С. Пушкина* «Утопленник» (1828).

¹³ Здесь пропущено слово.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абеляр Пьер (1079–1142), французский философ – 294

Авель (библ.), сын Адама и Евы – 194

Аверроэс (Ибн Рушд) (1128–1198), арабский философ, представитель аристотелизма – 129

Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.–14 н. э.), римский император (с 27 г. до н. э.) – 60, 540

Августин Блаженный Аврелий (354–430), христианский теолог, «отец церкви» – 53–54, 133, 571–572, 620, 880

Авраам (библ.), прародитель еврейского народа – 138, 397, 686–687, 862

Аврелий Марк Антоний (121–180), римский император, философ – 273, 621,

Агамемнон, царь Микен, предводитель коалиции ахейских царей в десятилетней Троянской войне – 405

Агриппа, (ок. 63–12 до н. э.), римский полководец – 324

Адам (библ.), первый человек, прародитель человечества – 72, 139, 189, 255, 294, 392, 866

Адашев Алексей Федорович, окольничий царя Ивана Грозного. В 1560 г. сослан в Дерпт, взят под стражу и умер в заключении – 864

Аддисон Джозеф (1672–1719), английский просветитель, журналист – 493

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), русский писатель – 326, 403, 437, 750, 780, 919

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), русский писатель, критик, публицист славянофильского направления – 13, 74, 105, 333, 366, 370–372, 374–375, 379, 640, 656, 816, 882, 899, 904

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), русский публицист, общественный деятель славянофильского направле-

ния – 77, 105, 111, 155, 302, 305, 372, 575, 595, 604, 655–656, 816, 895–896, 899

Аксаковы – 88, 293, 546, 553, 750, 874

Аларих (370–410), король вестготов с 395 г., захвативший (в 410 г.) и разграбивший Рим – 53

Александр Македонский (356–323 до н. э.), древнегреческий полководец – 113

Александр Невский (1220–1263), русский государственный деятель, полководец – 535, 917

Александр VI (в миру Родриго Борджа) (ок. 1431–1503), папа римский (с 1492 г.) – 574

Александр I (1777–1825), российский император (с 1801 г.) – 165, 179, 571, 572, 689, 873, 918

Александр II (1818–1881), российский император (с 1855 г.) – 31, 94, 177, 179–180, 233, 890, 920

Александр III (1845–1894), российский император (с 1881 г.) – 170, 393, 890, 924,

Александров Анатолий Александрович (1861–1930), журналист, редактор-издатель «Русского обозрения» – 392, 420, 643, 907

Алексеева, переводчица книги Н. Н. Страхова «Мир как целое» на немецкий язык – 707

Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь (с 1645 г.) – 91, 528, 535

Алексий (90-е г. XIII в.–1378), митрополит Московский, основатель Чудова монастыря – 27, 59, 91, 535

Алкивиад (ок. 451–404 до н. э.), афинский политический деятель – 383, 392, 394–395, 397, 457–458, 905

Алмазов Борис Николаевич (1827–1876), поэт, критик «молодой редакции» журнала «Москвитянин» – 662

Альба Фернандо (1507–1582), испанский полководец и правитель Нидерландов (1567–1573) – 389

Альберт Великий (1193–1280), немецкий философ, теолог – 237

Альмансун, халиф – 129

Альф-Араби – 129

Альфред Великий (ок. 849–900), король англосаксонского королевства Уэльс – 480–481

Амвросий отец (в миру Гренков Александр Михайлович) (1812–1891), иеромонах, старец Оптиной Пустыни – 18, 388–389, 395, 397, 408, 423–424, 655, 704, 836, 911

- Амьель* Анри Фредерик Печерского монастыря (1051 г.), один из родоначальников русского монашества – 59, 535, 881
- Анакреон* (около 570 – 478 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик – 117
- Анаксагор* (500–428 до н. э.), древнегреческий философ – 237
- Анна Леопольдовна* (1718–1746), правительница России с 9 ноября 1740 г. по 25 ноября 1741 г. при малолетнем сыне Иване Антоновиче (1740–1764) – 875
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), русский писатель – 647, 787–789, 868
- Андрей Боголюбский* (ок. 1111 –1174), князь Владимиро-Суздальский и Великий князь Киевский (с 1157 г.), старший сын Юрия Долгорукого (ок. 1090 – 1157) – 31, 177, 526–528, 535
- Анненков* Павел Васильевич (1812/1813–1887), критик, историк литературы – 105, 107, 787, 926
- Аннибал* – см. Ганнибал
- Антоний* (в миру – Вадковский Александр Васильевич) (1846–1912), митрополит, русский церковный деятель – 853
- Антоний Печерский* (983–1073), основатель Киево-
- Антонович* Максим Алексеевич (1835–1918), литературный критик, сотрудник журнала «Современник» (1860–1866) – 615
- Антонский* Антон Антонович – 103
- Аполлоний* (260–170 до н. э.), древнегреческий математик, астроном – 212
- Апостолонуло* Евгения Ивановна (†1915), хозяйка имения Сахарна в Бессарабии, где отдыхала семья Розановых летом 1913 г. – 888
- Аппий Клавдий* (?–449 до н.э.), римский политический деятель – 373
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1769–1834), русский государственный деятель – 187
- Арий*, епископ Александрийский (IV в.) – 895
- Аристид* (ок. 540 – ок. 467 до н. э.), афинский полководец – 509
- Аристотель* (384–322 до н. э.), древнегреческий философ – 127–130, 147–149, 190, 205–206, 220, 233, 235–236, 240–241, 243, 368–369, 489, 543, 650, 680, 737, 915, 916, 925

Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), адвокат, литературный критик и публицист либерального направления. Сотрудник журналов «Русский вестник», «Отечественные записки», «Вестник Европы» – 83

Архимед (287–212 до н. э.), древнегреческий ученый – 212

Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893), русский философ, публицист-почвенник – 412, 421, 881, 911

Аттила (?–453), предводитель могущественных гуннов (с 434 г.) – 455, 625,

Афинагор Афинянин (II в. н. э.), философ школы Платона, автор послания «Прощение о христианах» (177 г.), представленного императору Марку Аврелию –

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт – 98, 289, 325, 327, 334, 335, 452, 493, 510, 593, 641, 872,

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), анархист, революционер, публицист – 114, 307, 625, 626, 873

Бакунин Павел Александрович (1820–1900), русский философ, автор книги «Основы веры и знания» – 627–628

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист – 341

Барабанов Е. В. редактор двухтомного сочинения В. В. Розанова «Религия и культура» (1990) – 879–880, 883–884

Баранович Лазарь (1620–1693), украинский церковный деятель и писатель, архиепископ Черниговский (с 1657 г.) – 59

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844), русский поэт – 739, 926

Барсуков Николай Платонович (1838–1906), архивист, библиограф, историк – 26–27, 87–89, 91, 96, 103, 883–884,

Басаргин (Введенский) Алексей Иванович (1861–1913), критик, сотрудник «Московских ведомостей» – 658–661, 663

Батуев Николай Александрович (1855–?), профессор патологической анатомии – 725, 734

Батый (1208–1255), монгольский хан, внук Чингисхана – 59, 165, 867

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), русский поэт – 90, 325, 329, 875

Безобразова (урожденная Соловьева) Мария Сергеевна

(1863–1919), автор воспоминаний о Вл. Соловьеве – 679

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик, публицист, редактор журнала «Современник» – 6, 16, 28, 33, 74, 92, 105, 107–113, 289, 301–314, 318, 321, 325–326, 328, 331, 337, 397, 506, 547, 562, 575, 787, 869–871, 873, 895–896

Белов Анатолий Викторович, составитель настоящего и ряда других сборников, изданных «Институтом русской цивилизации» – 4, 35, 880, 882–883, 896, 900–901, 904–905, 909, 914–916, 919, 932

Беляев, профессор церковной истории Московской духовной академии – 134–333, 417

Бенкендорф Александр Христофорович (1781–1844), граф, государственный деятель, член Государственного совета – 291, 769, 772–773

Бентам Иеремия (1748–1832), английский философ, экономист, юрист – 5

Берг Федор Николаевич (1840–1909), русский писатель, поэт, журналист – 643, 914

Бергсон Анри (1859–1941), французский философ – 545, 680

Бернар Клод (1813–1878), французский физиолог, патолог – 588

Бисмарк Отто (Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шенхаузен) (1815–1898), князь, государственный деятель Германии, первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890) – 171, 350–351, 354–355, 357, 363–365, 898

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880), публицист, журналист, издатель журнала «Русское слово» – 14, 615, 644

Блюнчли Иоганн Каспар (1808–1881), швейцарский правовед – 367, 902

Богров Дмитрий Григорьевич (1887–1911), анархист-террорист, убийца П. А. Столыпина – 62

Боден Жан (1530–1596), французский философ, юрист – 379

Бодянский Осип (Иосиф) Максимович (1808–1877), русский филолог и историк-славист – 406

Боккаччо Джованни (1313–1375), итальянский писатель эпохи Возрождения – 267, 883, 896

Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк,

социолог – 113, 167, 169, 235, 239–241, 352, 358, 890

Бонифаций VIII – 296, 894

Бопп Франц (1791–1867), немецкий лингвист – 241, 349

Борк Эдмунд (1730–1797), английский государственный и политический деятель, оратор, обличитель Великой французской революции 1789 г. – 379

Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704), епископ, французский духовный писатель и церковный деятель – 555

Боткин Василий Петрович (1812–1869), писатель, критик – 107–110, 304, 310

Бругш Генрих Карл (1827–1894), немецкий египтолог – 267

Брут Марк Юний (81–42 до н.э.), римский политический деятель – 389

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), религиозный философ, богослов, публицист – 647, 874

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист и писатель – 104

Буслаев Федор Иванович (1818–1897), русский фольклорист-славист, профессор Московского университета – 6, 83, 349, 693, 883

Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886), русский химик, спиритуалист – 601, 640, 919

Бутру Эмиль (1845–1921), французский философ – 680

Бычков Афанасий Федорович (1818–1899), директор Публичной Библиотеки – 732, 734

Бэкон Роджер (1214–1294), английский философ, естествоиспытатель – 237

Бэкон Фрэнсис (1561–1626), английский философ – 128, 221–222, 237, 248–249, 367, 369, 891, 902

Бэр Карл Эрнст (1792–1876), российский естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из учредителей Русского географического общества – 15, 243

Бюхнер Людвиг (1824–1899), немецкий философ, вулгарный материалист – 262, 617

Вайгачев С.А., редактор книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1991) – 899

Вагнер Адольф (1835–1917), немецкий экономист – 169, 171

Вагнер Николай Петрович (1829–1907), российский зоолог, спиритуалист – 919

Валленштейн Альбрехт Венцель Евсевий (1583–1634), немецкий полководец – 389, 571

- Вальнев*, студент-филолог – 736
- Василий Блаженный* (1469–1557), московский юродивый – 269, 535
- Василий*, епископ Черниговский и Нежинский – 61
- Веласкес* Родригес де Сильва (1599–1660), испанский живописец – 493, 625
- Веллингтон* Артур Уэлси (1769–1852), английский полководец, фельдмаршал – 191
- Венгеров* Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы, библиограф – 644
- Вербицкая* (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница – 59, 62
- Вергилий* (70–19 до н. э.), римский поэт – 422
- Верещагин* Василий Васильевич (1842–1904), художник-баталист – 661
- Верлен* Поль (1844–1896), французский поэт-символист – 33, 564
- Верхарн* Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт-символист – 33, 564
- Веселовский* Алексей Николаевич (1843–1918), историк литературы – 27, 89
- Веспасиан* (9–79), римский император – 476
- Вико* Джамбаттиста (1668–1744), итальянский философ – 235–236
- Виктор Эммануил II* (1820–1878), король Сардинии (1849–1861) и первый король объединенной Италии (с 1861 г.) – 513
- Вильгельм III Оранский* (1650–1702), правитель Нидерландов (с 1674 г.), король Англии (с 1689 г.) – 491
- Вильгельм II* (1859–1941), германский император (до 1918 г.) – 349, 351, 353–355, 357, 363–365, 875
- Винкельман* Иоганн Иохим (1717–1768), немецкий историк искусства, классицист – 241, 337
- Виргиния* (?–449 до н.э.), девушка из плебейской семьи, которую похитил Аппий Клавдий – 373
- Вирсавия*, жена царя Давида, мать царя Соломона – 373, 772
- Витте* Сергей Юльевич (1849–1915), российский государственный деятель – 713
- Владимир* (†1015), Великий князь Киевский (с 980 г.) – 61, 539, 860–861
- Владимир Мономах* (1053–1125), Великий князь Киевский (с 1113 г.) – 60, 527

Владимиров Л. Е., профессор, автор книги о А. С. Хомякове (1904 г.) – 658–661, 663

Вовчок Марко (Вилинская-Маркович Мария Александровна) (1833–1907), писательница – 317, 437

Вознесенский Константин Васильевич, товарищ В. В. Розанова по университету. Был шафером на свадьбе В. В. Розанова и А. П. Сусловой – 909

Волконские, русский княжеский род, восходящий к XIII в. – 359

Вольтер (Аруэ Франсуа Мари) (1694–1778), французский писатель, историк и философ эпохи Просвещения – 152, 395, 493, 510, 872, 916

Вольф Каспар Фридрих (1734–1794), основоположник эмбриологии, проживал в России с 1766 г. – 243

Вольф Христиан (1679–1754), немецкий философ – 208, 890

Воронцов Михаил Илларионович (1714–1767), государственный деятель и дипломат, участник дворцового переворота 1741 г., канцлер (1758–1762) – 187

Воротынские – 27, 91

Востоков (Остенек) Александр Христофорович (1781–

1864), русский филолог и поэт – 354, 359, 364, 874

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт и критик – 97

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), эстрадная певица (сопрано) – 59

Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882), дипломат, в 1843 г. уехал из России, перешел в католичество и вступил в орден иезуитов – 359

Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893/94), издатель, писатель, публицист – 565

Галактионов А.А., редактор книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1995) – 899

Гален (ок. 130 – ок. 200), римский врач и естествоиспытатель – 129

Галилей Галилео (1564–1642), итальянский астроном, физик, механик – 229, 294, 296

Галицкие: Роман Галицкий (†1205), Великий князь Галицко-Волинский, княживший в 1168–1170 гг. в Новгороде Великом, затем во Владимире-Волинском и Торческе. В 1199 г. объединил под своей властью Владимиро-Волинскую и Галицкую зем-

ли. Его и Великой княгини Анны (до замужества – венгерской королевны) сын Даниил Галицкий (1201–1264), Великий Галицко-Волынский князь – 539

Галлер Альберт фон (1708–1777), швейцарский поэт, естествоиспытатель – 323

Гамбетта Леон Мишель (1838–1882), французский государственный деятель, глава партии республиканцев – 405

Ганнибал (ок. 247 – 183 до н. э.), карфагенский полководец – 71, 832

Гарвей Уильям, английский врач – 101

Гартман Эдуард фон (1842–1906), немецкий философ – 214, 226–227

Гачев Георгий Дмитриевич (1931–2008), российский культуролог – 21

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ-диалектик – 15, 72, 208, 227, 241, 243, 305, 325, 335, 352, 550–551, 602–603, 627, 648, 650

Гейлинкс Арнольд (1624–1669), голландский философ – 237

Гейм – 100

Гексли Томас Генрих (1825–1895), английский биолог,

пропагандист учения Дарвина – 617

Гельвеций Клод Адриан (1715–1771), французский философ – 680

Гельмгольц Герман (1821–1894), немецкий ученый – 224, 235

Генрих I Птицелов (X в.), германский император – 481

Генрих Мореплаватель (1394–1460), португальский принц – 272

Генрих VIII (1491–1547), английский король (с 1509 г.) из династии Тюдоров – 491

Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), председатель ученого комитета (1873–1898), член совета министра народного просвещения (с 1871 г.) – 24, 633–635, 648–649, 738

Гераклит Темный (ок. 520 – ок. 460 до н. э.), древнегреческий философ – 550–551, 650

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ-просветитель – 235, 648

Геродот (ок. 484 – 425 г. до н. э.), древнегреческий историк – 457, 471

Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк, профессор Московского университета – 412

Герцен Александр Иванович (1812–1870), публицист, литературный критик, общественный деятель – 17, 20, 92, 105, 107, 112, 276, 278, 280, 282–286, 304, 307, 310, 358, 396, 398, 513, 575, 581, 584, 590, 607, 626, 638, 642, 652, 683, 876, 892, 916, 919

Гершель Уильям (1738–1822), английский астроном – 222

Гершельман Сергей Константинович (1854–1910), московский генерал-губернатор, командующий войсками Киевского военного округа – 872

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк русской литературы, философ, публицист – 28, 276–277, 282, 360, 364, 679, 892, 922

Герье Владимир Иванович (1837–1919), профессор всеобщей истории в Московском университете, основатель Высших женских курсов – 6

Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.), древнегреческий поэт – 142

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, поэт и мыслитель – 58, 279, 305, 309, 452, 459, 494, 510, 618, 637, 666, 786, 788, 872, 876

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874), французский историк, государственный деятель – 235, 285, 499, 571

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), русский фольклорист и историк – 354, 364, 640, 874

Гильяров-Платонов Никита Петрович (1824–1887), русский философ, публицист славянофильского направления – 372, 683, 874

Гинцбург Илья Яковлевич (1859–1939), скульптор, автор галереи скульптурных портретов деятелей русской науки, искусства и литературы – 822–823

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, жена Д. С. Мережковского – 30

Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач, основатель медицины – 101, 129

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), английский политический деятель, лидер либерализма – 405, 422

Глинка Михаил Иванович (1804–1857), русский композитор – 312

Глубоковский Николай Никандрович (1863–1937), богослов и историк Церкви – 647

Говоруха-Отрок (псевдоним Ю. Николаев) Юрий Николаевич (1850–1896), русский писатель, критик, публицист – 17–

18, 389, 404–405, 407, 409–410, 412, 419, 698–699, 701, 704–706, 775, 784, 923, 929

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель – 17, 28, 72, 88, 92–93, 98, 193, 273, 275, 291, 308–310, 344, 350, 398, 403, 411, 416, 436, 534, 610, 655, 657, 697, 726–727, 746–748, 750, 754–776, 778–785, 790–795, 819, 850, 876, 892, 895–898, 910, 916, 926, 929

Годунов Борис Федорович (1549 или 1552–1605), русский царь с 1598 – 51, 539

Голицына, княгиня – 90

Гольдсмит Оливер (1728–1774), английский писатель – 116

Гомер, древнегреческий поэт – 113, 130, 142, 456, 509, 754, 800, 806, 876

Гонкуры: братья Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870), французские писатели – 774

Гонорий Флавий (384–423), император Западно-Римской империи – 498

Гончаров Иван Александрович (1812–1891), русский писатель – 307, 317, 320, 349, 352, 433, 656, 683, 812, 843, 845, 896

Гончарова Наталья Николаевна (1812–1863), жена

А. С. Пушкина – 759, 761, 763, 765–766, 768–770, 772–774

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936), писатель, публицист, общественный деятель – 857, 868, 888

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь, русский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел (с 1856), государственный канцлер (с 1867) – 507

Готфрид Бульонский (ок. 1060–1100), герцог Нижней Лотарингии, предводитель первого Крестового похода – 866

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), юрист, публицист – 345, 782

Гракхи: братья Тиберий (163–132 до н. э.) и Гай (159–121 до н. э.), политические деятели Древнего Рима – 462, 488, 521, 657, 828

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), российский историк, профессор – 105–106, 188, 289, 304–305, 310, 653, 688, 873, 893

Грау, немецкий ученый – 133–134

Греви Жюль (Франсуа Жюдит Поль) (1807–1891), фран-

- цузский политический и государственный деятель, президент Французской республики (1879–1887) – 122
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1790–1829), русский писатель – 895
- Григорий VII*, римский папа (1073–1085), боровшийся за неограниченную власть папы – 290
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900), русский писатель – 175, 552–553, 917
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), русский поэт, литературный критик почвеннического направления – 17, 28–29, 243, 306–307, 320–321, 327–328, 331–336, 338, 341–344, 413, 545–549, 552, 554–555, 608, 610, 728, 816, 896–897, 917, 919
- Григорьев* А. А., сын Аполлона Григорьева – 332, 897
- Гримм*, братья Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859), немецкие филологи – 241
- Грингмут* Владимир Андреевич (1851–1907), русский публицист, журналист – 409, 566–567, 569, 573–574
- Грифцов* Борис Александрович (1885–1950), критик, переводчик, литературовед – 551
- Громека* Михаил Степанович (1852–1883), преподаватель русского языка и литературы в Варшавской гимназии – 319, 329
- Грот* Яков Карлович (1812–1893), российский филолог – 359, 642
- Грот* Николай Яковлевич (1852–1899), российский философ, психолог, профессор – 359, 829
- Губастов* Константин Аркадьевич (1845–1913), секретарь посольства в Адрианополе, сменивший К. Н. Леонтьева на этом посту (1867 г.) – 385, 906–907
- Гуго Капет* (ок. 940–996), французский король (с 987 г.) – 499
- Гульковский* – 27, 89
- Гумбольдт* Александр (1769–1859), немецкий натуралист, географ и путешественник – 168, 494
- Гумбольдт* Вильгельм (1767–1835), немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат – 168, 241, 494, 648
- Гус* Ян (1369–1415), чешский деятель Реформации – 290, 298, 894

- Густав II* Адольф (1594–1632), король Швеции, полководец – 571
- Гюго* Виктор (1802–1885), французский писатель – 361, 362, 770
- Гюйгенс* Христиан (1629–1695), нидерландский ученый – 230
- Давид* (1004–965 до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства, призванный ко двору царя Саула как певец-гуслиар, чтобы игрой своей отогнать злых духов – 133, 135, 148, 153, 185, 373, 772, 819, 872
- Давыдов* Денис Васильевич (1784–1839), русский поэт – 93, 98
- Даль* Владимир Иванович (1801–1872), русский писатель, этнограф – 163, 287, 354, 359, 364, 880, 885, 920
- Дамаскин* Иоанн (конец VII в. – ок. 754), византийский богослов, церковный поэт – 300, 541
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), русский философ, создатель учения о культурно-исторических типах, натуралист, публицист почвеннического направления – 5, 10–11, 13, 17, 74–75, 155, 164, 234, 365–366, 372, 374–375, 379–380, 392, 413, 575–577, 604, 610, 629, 647, 649–650, 652, 654–656, 679, 728, 731, 736, 738, 816, 874, 882, 890, 898–901, 905, 918–919, 921
- Данте* Алигьери (1265–1321), итальянский поэт эпохи Возрождения – 83, 129, 407, 509, 682, 788, 876, 896
- Дантес* Жорж Шарль (барон Геккерн), убийца А. С. Пушкина – 757, 761, 765–766, 769–770,
- Дарвин* Чарльз Роберт (1809–1882), английский ученый, естествоиспытатель – 11, 84, 194, 234, 243, 575, 577, 617, 647, 876, 890
- Д'Арк* Жанна, Орлеанская дева (ок. 1412–1431), народная героиня Франции – 259, 573
- Дебогорий-Мокриевич* Владимир Карпович (1848–1926), революционер, мемуарист – 360
- Декандоль* Огюстен Пирам (1778–1841), автор одной из первых естественных систем растений (1835) и труда «Введение в естественную систему царства растений» в семнадцати томах – 724
- Декарт* Рене (1596–1650), французский философ – 211, 221, 223, 235, 237, 241, 243, 249, 493, 603, 680

Демосфен (ок. 384 – 322 до н. э.), древнегреческий оратор и политический деятель – 456, 521

Державин Гаврила Романович (1743–1816), русский поэт – 27, 89–90, 323, 560, 752, 787, 875, 896

Дерше, французский консул – 911

Дефо Даниэль (ок. 1660–1731), английский писатель – 493

Диккенс Чарлз (1812–1870), английский писатель – 171, 361, 494

Димант Ойзер Львович, страпчий в Петербурге – 200

Диоген Синопский (ок. 400 – ок. 323 до н. э.), древнегреческий философ-киник – 672

Дионисий (ок. 431–367 до н. э.), сиракузский тиран, отличавшийся бесчеловечной жестокостью, подозрительностью. Пробовал себя как поэт, но его стихи были осмеяны слушателями – 84, 117, 480

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), русский поэт – 90, 93, 97, 329, 787

Дмитриев-Мамонов М. А., граф – 97

Дмитрий Ростовский (Туптало Даниил Саввич) (1651–

1709), митрополит Ростовский и Ярославский (с 1702 г.) – 60

Добровский Иосеф (1753–1829), чешский славист – 93

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист – 6, 33, 108–110, 112, 285–286, 306, 315–319, 328, 340, 369, 507, 554, 556, 562, 615–616, 841, 892, 896, 902

Долгорукий Яков Федорович (1639–1720), сподвижник Петра I – 182

Донской Дмитрий Иванович, св. (1350–1389), Великий князь Московский (с 1359 г.) и Владимирский (с 1362 г.) – 27, 91

Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), публицист-почвенник, издатель журналов «Время» и «Эпоха», брат великого русского писателя – 164

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), великий русский писатель – 6–7, 14, 16–18, 32, 72, 110, 163–164, 175, 233, 274, 302, 309, 317, 326–327, 335–336, 340–341, 344–350, 352–356, 361–362, 382, 386, 389, 400, 403–404, 428, 430, 433, 436–437, 564, 604, 610, 633, 642, 644, 654, 656, 664–668, 671–674, 682–684, 717,

- 737, 748–751, 754, 771–775, 782, 788, 807, 812, 815–821, 836, 843, 845–846, 868, 908, 910, 914, 917, 919, 922–923, 924, 929, 932
- Доробец* Н. К., приват-доцент Московского университета – 709, 924
- Дрейфус* Альфред (1854–1935), офицер французского Генерального штаба, обвиненный по ложному доносу в измене и шпионаже – 851–852
- Дружинин* Александр Васильевич (1824–1864), писатель, литературный критик – 337
- Дрэпер* Джон Уильям (1811–1882), американский естествоиспытатель, историк – 352
- Думбадзе* Иван Антонович (1851–1916), генерал, главнокомандующий Ялты, известный крутыми мерами по отношению к революционерам – 872
- Дунс Скот* Иоанн (1266–1308), средневековый философ-схоласт – 237
- Дюма* Александр (отец) (1802–1870), французский писатель – 361
- Дюмуре* Шарль Франсуа (1739–1823), французский генерал – 69
- Дюркгейм* Эмиль (1858–1917), французский социолог – 680
- Ева* (библ.), жена Адама – 255
- Евграфов* Г. Р., составитель сборника статей «Литературные изгнанники» (2000) В. В. Розанова – 879, 921
- Евфросиния Суздальская*, княгиня, дочь князя Черниговского Михаила Всеволодовича – 60
- Екатерина II* (1729–1796), российская императрица (с 1762 г.) – 179, 182, 353, 398, 688, 695, 873, 875
- Елизавета* Петровна (1709–1761/62), российская императрица (с 1741 г.), дочь Петра I – 118, 695, 875
- Елизавета Тюдор* (1533–1603), английская королева (с 1558 г.) – 491, 493
- Елизавета* Тюрингская (1207–1231), христианская подвижница – 53, 57
- Елисеев* Григорий Захарович (1821–1891), публицист, сотрудник журналов «Современник» и «Отечественные записки» – 615
- Ерофеев* В. В., составитель сборника сочинений «Несовместимые контрасты жития» В. В. Розанова (1990) – 879, 891, 893, 896–897, 905, 918
- Желябов* Андрей Иванович (1851–1881), один из руково-

дителей «Народной воли», организатор убийства Александра II – 641

Жемчужниковы (братья: Алексей, Владимир и Александр Михайловичи) – 885

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт – 90, 98, 188, 269, 325, 327, 329, 868, 875, 927

Забелин Иван Егорович (1820–1908/1909), русский историк – 691

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), публицист, сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 641

Закревский Арсений Андреевич, граф (1783–1865), государственный деятель, министр внутренних дел, генерал-губернатор Москвы (1848–1859) – 657, 659

Захаров Э. В., составитель сборника статей «Православие и народность» Ю.Ф. Самарина (2008) – 894

Зевс, бог-громовержец в греческой мифологии – 769, 793, 800–801, 805–807

Зенон, древнегреческий философ – 915

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962), историк русской философии – 42

Златоуст Иоанн, святой (ок. 344/354 – 407), архиепископ Константинопольский (398–404), «отец Церкви» – 90, 541

Иаков (библ.), младший сын Исаака и Ривекки, называемый иначе Израиль – 135, 402, 572, 862

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург, писавший романтические, исторические и философско-символические драматические произведения – 158

Иванов Александр Андреевич (1806–1858), русский художник – 791

Игорь (Ольгович) (†1147), внук Святослава Ярославича, князь Новгород-Северский, Великий князь Киевский – 60

Иегова (библ.), от Яхве – 140

Иероним Пражский (ок. 1380–1416), чешский реформатор, ученый, сподвижник Яна Гуса – 894

Иисус Христос (библ.) – 37, 40, 45, 54–55, 72, 138, 140, 151–152, 156–157, 240, 269, 275–276, 291, 295–297, 299–300, 370, 382, 384, 385, 400, 426, 477–478, 556–557, 624–625, 630, 649, 653, 665–666, 669–671, 679, 681–683, 685, 707, 709, 716–718,

721–722, 764, 766, 784, 791, 821, 853–854, 858, 866–867, 869–870, 880, 893

Иловайский Дмитрий Иванович (1830–1920), русский историк – 691, 892

Иноземцев Федор Иванович (1802–1869), врач-хирург, профессор Московского университета – 394

Иннокентий III, первый римский папа (1198–1216), который стал называть себя наместником Христа – 290, 667

Иннокентий Таврический – 424

Иннокентий Херсонский (Борисов Иван Алексеевич) (1800–1857), уроженец г. Елец, богослов и церковный оратор, ректор Киевской духовной академии (с 1830 г.), отменивший преподавание богословия на латинском языке, архиепископ Херсонский и Таврический (с 1848 г.) – 408

Иоанн (библ.), евангелист – 148

Иоанны, русские великие князья, а затем российские цари из династии Рюриковичей – 27, 31, 91, 177, 517, 539

Иоанн (Иван) III Васильевич (1440–1505), Великий князь Московский (с 1462 г.) – 27, 91, 528

Иоанн IV, (Иван) Грозный (1530–1584), русский царь (с 1547 г.) – 72, 91, 122, 170, 187, 529, 535, 688–690, 864–865, 874

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван Ильич) (1829–1908), протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, церковный оратор и проповедник – 704, 708, 836

Иов (библ.), страдалец, искушаемый сатаной. Его имя – символ «образцового праведника» – 373, 574, 821

Ионафан, архиерей в Ярославле (1880-е гг.), дядя Варвары Дмитриевны Бутягиной (Розановой) – 416

Исайя (библ.), пророк – 137

Исаак (библ.), сын Авраама, отец Иакова (Израиля) – 862

Иуда (библ.), пророк – 874

Ишимова А. О. (1805–1881), автор книги «История России для детей» – 105

Кабанис Пьер Жан Жорж (1757–1808), французский философ – 680

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, философ, правовед – 105, 175, 214

Кавур Камилло Бенсо (1810–1861), граф, премьер-министр

Пьемонта – Сардинского королевства (1852–1861) – 512

Казанский Петр Евгеньевич (1866–?), юрист, педагог, декан юридического факультета Новороссийского университета в Одессе (с 1908 г.) – 181, 185

Каин (библ.), старший сын Адама и Евы – 190, 194

Калигула Гай Август Германик (12–41), римский император, стремившийся к неограниченной власти и требовавший почестей к себе как к Богу – 290

Калита Иван (1296–1340), Великий князь Московский (с 1325 г.) – 27, 91

Калойдович – 27, 89

Кальвин Жан (1509–1564), французский богослов, один из лидеров Реформации, основатель кальвинизма – 293, 367, 370, 555

Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), испанский драматург – 493

Кампанелла Томмазо (1568–1639), итальянский гуманист, философ, создатель коммунистической утопии «Город солнца» – 114, 116–118, 884

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 15, 168, 208, 211, 235–236, 241, 460, 494, 680

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1844), русский поэт – 323, 875

Каплин А. Д., автор предисловия к сборнику статей К.С. Аксакова «Государство и народ» (2009) – 882, 904

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), русский писатель, историк – 5, 28, 90–93, 97–98, 100, 302, 306, 312, 323–324, 371, 560, 650, 689, 691–693, 695, 697, 787, 871, 896

Карл Великий (ок. 742 – 814), франкский король, позднее император – 467, 480, 499–501, 509

Карл V (1500–1558), император Священной Римской империи (1519–1556), испанский король Карлос I (1516–1556), принц Нидерландов (1516–1555) – 490–492

Карно Лазар Никола (1753–1823), французский политический и военный деятель – 574

Карно Мари Франсуа Сади (1837–1894), французский политический деятель – 69

Каронин С. (Петропавловский Николай Елпидифорович) (1853–1892), писатель-народник – 871, 872

Катилина (ок. 108 – 62 до н. э.), римский претор в 68 г. до н. э. В 66–63 гг. до н. э.

пытался захватить власть, но заговор был раскрыт Цицероном – 828

Катков Михаил Никифорович (1818–1887), русский публицист, журналист – 5, 17, 31–33, 110, 551, 557–562, 566–570, 573–574, 635, 649, 874

Катон Младший (95–46 до н. э.), римский политический деятель, судебный оратор, философ, известный своей справедливостью и неподкупностью, убежденный республиканец и противник Цезаря – 828

Кашпирев Василий Владимирович (1836–1875), русский издатель – 898

Квирин – в римской мифологии бог-покровитель народного собрания, впоследствии отождествлялся с Ромулом – 754

Кеплер Иоганн (1571–1630), немецкий астроном – 235

Кимон (ок. 504 – 449 до н. э.), афинский полководец и политический деятель – 187

Кир (?–530 до н. э.), древнеперсидский царь (с 558 г. до н. э.) из династии Ахеменидов – 467

Киреев Александр Алексеевич (1833–1910), генерал, публицист-славянофил – 375

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), русский философ славянофильского направления – 13, 16, 28, 75, 105, 276–278, 282–286, 311, 366, 368, 374–375, 379, 567, 640, 656, 679, 816, 892, 899, 901–902, 922

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, русский литератор славянофильского направления – 105, 281, 372, 679, 899

Киреевские – 88, 546, 556, 683, 874

Клавдий (10 до н. э. – 54 н. э.), римский император (с 41 г.) – 476

Климент Зедеггольм (Зедеггольм Константин Карлович) (†1878), иеромонах Оптино-ского скита, духовный писатель, помощник старца Амвросия в изданиях духовных произведений Оптиной Пустыни – 18, 381–382, 389, 408, 422, 704, 905, 909

Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803), немецкий поэт – 92

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), русский историк – 43, 48, 53, 360, 601, 688, 691–698, 880, 919

Княжнин (Ивойлов) Владимир Николаевич (1883–1942),

- поэт, литературный критик, литературовед – 546, 875
- Коган* Петр Семенович (1872–1932), историк литературы, критик, переводчик – 637–638
- Кожевников* Владимир Александрович (1852–1917), историк культуры, публицист – 647
- Козимо* – 492
- Козьма Прутков* – коллективный псевдоним русских поэтов XIX в. А. К. Толстого и братьев Алексея, Владимира и Александра Михайловичей Жемчужниковых – 155, 885
- Кола ди Риенцо* (1313–1354), глава Римской республики – 239
- Колумб* Христофор (1451–1506), испанский мореплаватель – 287, 291–292, 296, 376, 591, 840
- Колубовский* Яков Николаевич (1863–?), историк русской философии – 730
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), русский поэт – 269, 287, 306,
- Конт* Огюст (1798–1857), французский философ-позитивист – 188, 216, 222–225, 236, 238, 240, 829
- Кондорсе* Жан Антуан Никола (1743–1794), французский философ-просветитель, политический деятель – 124, 493
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), судебный и общественный деятель, писатель – 852–853
- Коноплянцев* Александр Михайлович (1875–?), публицист, биограф К. Н. Леонтьева – 547
- Константин Великий* (Флавий Валерий) (ок. 285 – 337), римский император (с 306 г.) – 490, 540
- Константин Николаевич* (1827–1892), Великий князь, второй сын Николая I, участник подготовки крестьянской реформы, председатель Государственного совета (1865–1881) – 175
- Коперник* Николай (1473–1543), польский астроном – 149–150, 152, 296
- Корейша* Иван Яковлевич (†1861), бывший учитель, юридивый, прорицатель – 279, 283, 285
- Корнель* Пьер (1606–1684), французский драматург – 361
- Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921), русский писатель – 562, 699, 702
- Костомаров* Николай Иванович (1817–1885), русский историк, публицист, критик – 601, 689, 690

- Кохановская* (Соханская) Надежда Степановна (1825–1884), писательница – 437
- Кошелев* Александр Иванович (1806–1883), русский общественный деятель, публицист славянофильского направления – 366, 901
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), журналист, издатель – 105, 304, 644, 750, 869
- Крафт-Эбинг* Ричард (1840–1902), немецкий психиатр – 262–263
- Крижанич* Юрий (ок. 1618 – 1683), ученый-славист, публицист и писатель – 787
- Кромвель* Оливер (1599–1658), английский государственный деятель – 389, 401, 402, 570
- Кропоткин* Петр Алексеевич (1842 – 1921), теоретик анархизма – 873
- Крылов* Иван Андреевич (1769/1768–1844), русский баснописец – 154, 287, 787
- Крюднер* (Криденер) Варвара Юлия (1764–1825), проповедница мистицизма, писательница – 570, 572, 918
- Ксенофан Колофонский* (ок. 570 – 480 до н. э.), греческий философ, поэт и рапсод, основатель элейской школы философии, критик религиозного антропоморфизма – 143, 146, 237, 884
- Ксеркс* (Хшаяршан) (?–465 до н. э.), древнеперсидский царь (с 486 г. до н. э.) из династии Ахеменидов – 469
- Кубарев* – 27, 89–90
- Кудрявцев* Петр Николаевич (1816–1858), историк, критик, беллетрист – 106–109, 112, 305, 307
- Кулиш* – 105–106, 108, 110
- Кульженко* С. В., владелец фотолитотипографии в Киеве (XIX в.) – 60
- Курбский* Андрей Михайлович (1528–1583), князь, боярин, писатель – 529, 690, 864
- Кусков* Платон Александрович (1834–1909), поэт, литературный критик, переводчик – 636, 734, 737, 743, 874
- Кутлер* Николай Николаевич (1859–1924), политический деятель, юрист – 344
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745–1813), русский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. – 71, 178, 191, 403
- Кутузов-Голенищев* Арсений Аркадьевич (1848–1913), русский поэт – 631, 709, 734, 926
- Кювье* Жорж (1769–1832), французский зоолог – 584

- Лабзин* Александр Федорович (1766–1825), философ-мистик – 584–585
- Ламанский* Владимир Иванович (1833–1914), русский историк, филолог, этнограф, славянофил и панславист – 648
- Ламарк* Жан Батист (1744–1829), французский естествоиспытатель – 680
- Ламенне* Фелисите-Робер де (1782–1854), французский политический деятель, писатель – 593
- Ланге* Фридрих Альберт (1828–1875), немецкий философ, автор книги «История материализма и критика его значения в настоящее время» (рус. пер. Спб., 1881–1883. Т. 1–2) – 214, 602, 919
- Лансере* Евгений Евгеньевич (1875–1946), художник и книжный график – 786
- Лассаль* Фердинанд (1825–1864), немецкий политический деятель, социалист – 6, 626
- Лев X* (в миру Джованни де Медичи) (1475–1521), папа римский (с 1513 г.) – 492
- Левшин*, педагог, администратор, попечитель Рижского учебного округа – 167, 169
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик – 208, 211, 221, 229, 233, 249, 254, 460, 675, 680
- Лейкин* Николай Александрович (1841–1906), писатель, журналист, редактор-издатель журнала «Осколки» – 876
- Ленорман* Шарль (1802–1859), французский археолог, писатель – 267
- Леонардо да Винчи* (1452–1519), итальянский художник, ученый эпохи Возрождения – 492
- Леонид* (508/507–480 до н. э.), царь Спарты (с 488 г. до н. э.) – 469
- Леонтьев* (Щеглов) Иван Леонтьевич (1855–1911), прозаик, драматург – 331
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), русский философ, публицист консервативного направления, «крестный» отец литературной деятельности В. В. Розанова – 9, 14–15, 17–21, 23–25, 35, 74–75, 77, 79–81, 86, 314, 375–376, 378–383, 386, 388–406, 411, 417–421, 428–437, 440–442, 445–446, 448, 460, 463–467, 469, 491–492, 494, 497–499, 512, 514, 518–519, 523–525, 531, 535–538, 541, 545–553, 555–557, 635, 644, 646–647, 816, 874, 882, 905–908, 910–911, 913–916

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), журналист, историк, соредактор (вместе с М. Н. Катковым) журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (с 1863 г.) – 559

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), русский поэт – 16, 71, 86, 193, 268, 283, 287, 306, 309, 325, 327, 334–335, 746–748, 750, 752, 757, 768, 785, 787, 795–797, 801–803, 806, 819, 843, 864, 868, 876, 892, 898, 916, 918, 926–928, 931

Лернер Николай Осипович (1877–1934), литературовед-пушкинист – 787, 930

Леруа Пьер (1797–1871), французский социалист, публицист – 309

Лесгафт Петр Францевич (1837–1909), педагог, анатом, врач – 360, 898

Лесков Николай Семенович (1831–1895), русский писатель – 16, 656, 868

Лессепс Фердинанд Мари де (1805–1894), французский дипломат, инженер-предприниматель – 405

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий писатель-просветитель, теоретик искусства – 199, 241, 337

Ливий Тит (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк – 689

Ликург (IX–VIII вв. до н. э.), легендарный спартанский законодатель – 457

Линней Карл (1707–1778), шведский натуралист – 368, 723

Липсиус Юстус (1547–1606), голландский филолог, исследователь римских древностей – 116

Литтре Эмиль (1801–1881), французский философ, приверженец позитивизма О. Конта, автор четырехтомного «Словаря французского языка» (1863–1877) – 214

Лодер, профессор анатомии – 101–102

Лойола Игнатий (1491–1556), христианский проповедник, основатель ордена иезуитов – 570

Локк Джон (1632–1704), английский философ – 237, 493

Ломброзо Чезаре (1835–1909), итальянский психиатр, антрополог – 368, 902

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый, поэт – 27, 89–90, 99–100, 306, 575, 752, 875, 916, 927

Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), русский философ – 683

Лопе де Вега (1562–1635), испанский драматург – 492

Лоран – 93

Лоренси Пьер Себастьян (1793–1871), французский редактор клерикально-монархической газеты – 369, 893, 895

Лоренцо Валла (1405–1456), итальянский гуманист эпохи Возрождения – 239

Лоренцо Медичи – 492

Льюис Джорж Генри (1817–1878), английский писатель, публицист – 352

Любимов Николай Алексеевич (1830–1897), русский физик, писатель, соратник М. Н. Каткова – 221, 559

Людовик IX Святой (1215–1270), французский король, вдохновитель Крестовых походов – 481, 866

Людовик XI (1423–1483), французский король (с 1461 г.) – 169, 491

Людовик XIV (1638–1715), французский король (с 1643 г.) – 465, 481, 491, 493, 548, 550, 556–557

Людовик XV (1710–1774), французский король (с 1715 г.) – 293, 465, 493

Людовик XVI (1754–1793), французский король (1774–1792) – 465, 493

Людовик-Филипп (Луи-Филипп) (1773–1850), французский король (1830–1848) – 285

Лютер Мартин (1483–1546), немецкий деятель Реформации, основоположник протестантизма – 124, 290–294, 296–298, 370, 492, 571, 766, 823, 893

Магомет (Мухаммед) (ок. 570–632), основатель ислама – 572, 687

Мадзини Джузеппе (1805–1872), итальянский революционер и мыслитель – 284

Мазарини Джулио (1602–1661), кардинал, первый министр Франции (с 1643 г.) – 493

Мазепа Иван Степанович (1644–1709), гетман Украины и персонаж поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828–1829) – 766–769

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), русский поэт – 635, 750

Майков Леонид Николаевич (1839–1900), историк русской литературы, академик, журналист – 24, 635–636, 726, 732, 787, 930

Макиавелли Никколо (1460–1527), итальянский политический деятель, писатель – 6, 379, 410

- Маколей* Томас (1800–1859), английский историк – 480
- Мальбрани* Никола (1638–1715), французский философ – 237, 269
- Мальпиги* М. – 101
- Мамонтов* А. Н. – 883
- Маништейн* Христофор Герман (1711–1757), прусский подданный, перешедший на сторону русских – 357, 898
- Марий* Гай (ок. 157 – 86 до н. э.), римский полководец, политический деятель – 521
- Мария* (библ.), св. Дева – 137, 275–276, 570, 912
- Маркс* Адольф Федорович (1838–1904), издатель – 726
- Маркс* Карл (1818–1881), политэконом, философ, автор труда «Капитал. Критика политической экономии» – 116, 162, 271
- Мартынов* Иван Михайлович (?–1894), археолог, в 1860-х гг. эмигрировал во Францию, принял католичество, вступил в орден иезуитов – 359
- Масперо* Гастон (1846–1916), французский египтолог – 266–269
- Матвеев* Артамон Сергеевич (1625–1682), боярин, приближенный Алексея Михайловича – 535
- Матченко* И. П., племянница Н. Н. Страхова – 546
- Мей* Лев Александрович (1822–1862), русский поэт – 841
- Меланхтон* Филипп (1497–1560), немецкий протестантский богослов и педагог, сподвижник М. Лютера – 124
- Мендельсон* Мозес (1729–1786), немецкий философ, друг Лессинга – 199
- Ментенон* Франсуаза де, маркиза д’Овинье (1635–1719), фаворитка Людовика XIV – 557
- Меньшиков* Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I – 182, 535
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 565–566
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, публицист, издатель – 20, 30, 643
- Мерзляков* Алексей Федорович (1778–1830), русский поэт, переводчик – 27, 89, 103
- Метерлинк* Морис (1862–1949), бельгийский драматург и поэт – 157–158, 160, 885
- Меттерних* Клеменс Венцель Лотар (1773–1859), австрийский государственный деятель, дипломат – 571

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, журналист, издатель, беллетрист – 68, 166, 308, 896

Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, архитектор, поэт эпохи Возрождения – 492, 723, 819, 823

Миллер Орест Федорович (1838–1889), российский филолог – 327

Миль Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист, общественный деятель – 6, 213–215, 222, 575, 581, 606

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), историк, теоретик и лидер партии кадетов – 184, 375, 646

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872), экономист, руководивший подготовкой крестьянской и земельной реформ 1861 г. – 175

Минин Козьма (Кузьма Минич Захарьев-Сухорук) (†1616), один из организаторов борьбы с польской интервенцией в XVII в. – 660

Миних Бурхард Кристоф (1683–1767), военачальник, генерал-фельдмаршал (с 1732 г.) – 357, 359

Миних Иоганн Эрнст (1707–1788), автор «Замечаний на записки Манштейна о России 1724–1744» – 898

Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749–1791), французский политический деятель – 293, 488

Митрофанья (в миру баронесса Розен Прасковья Григорьевна, фрейлина императорского Двора) (1825–?), игуменья Владычно-Покровского монастыря в Серпухове, занимавшаяся подлогами денежных векселей и завещаний в пользу монастыря – 395

Михаил Всеволодович (1179–1246), князь Черниговский, убит в Золотой Орде за отказ следовать языческому ритуалу – 59–60

Михайловский Николай Константинович (1842–1904), критик, публицист, общественный деятель – 24, 33, 68, 108, 113, 399, 562, 617, 638, 842–843, 869

Мишле Жюль (1798–1874), французский историк – 480, 555

Могила Петр Семенович (1597–1647), деятель украинской культуры, богослов, церковный писатель, митрополит Киевский и Галицкий

(с 1632 г.), основатель Киево-Могилянской академии – 60

Моисей (библ.), пророк – 90, 145, 291, 405, 477, 630

Молешиот Якоб (1822–1893), голландский философ, вульгарный материалист, физиолог – 262, 352, 617

Мольер (Жан Батист Поклен) (1622–1673), французский драматург, актер, театральный деятель – 555, 791

Моммзен Теодор (1817–1903), немецкий исследователь римской истории – 116

Мономах Владимир (1053–1125), Великий князь Киевский (с 1113 г.) – 527

Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689–1755), французский философ, писатель – 379, 680

Мор Томас (1478–1535), английский гуманист, государственный деятель, основоположник утопизма – 114–118

Морозов Борис Иванович (1590–1661), боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича, фактический глава правительства (1645–1648) – 535

Морозов Петр Осипович (1854–1920), редактор собрания сочинений А. С. Пушкина – 564

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 343, 772

Мстислав Удалой (†1228), князь, участник битвы на реке Калка – 59–60, 539

Мстислав Храбрый, сын Мстислава Удалого – 539

Мудров М. Я, профессор – 102

Мультиановский Помпей Яковлевич (1839–1897), хирург при Николаевском военном госпитале – 725–726, 728–729, 732–733

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский художник – 493, 591, 625

Мусин-Пушкин – 106

Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), русский композитор – 343–344

Наполеон Бонапарт (1769–1821), французский полководец, император Франции (1804–1814) – 69, 124, 172, 178, 180, 359, 421, 492, 572, 574, 632, 772

Нарышкина Наталья Кирилловна (1651–1694), мать первого российского императора Петра Великого – 91

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877), русский поэт, публицист, редактор – 6, 66, 68, 105, 108, 110–111, 162, 282–

283, 287–289, 304, 317, 339, 562, 644, 658, 699, 841, 869, 873, 886, 892, 893

Нелепин А. Л., составитель однотомного собрания сочинений В.В. Розанова (1990) – 879, 881, 883, 892, 897, 906, 908, 921, 931, 936

Немезида, в древнегреческой мифологии богиня возмездия – 826

Нерон (37–68), римский император – 290, 476

Нестор, древнерусский летописец XI–XII вв. – 95, 100

Нибур Бартольд Георг (1776–1831), немецкий историк – 494

Никанор (в миру Бровкович Александр Иванович) (1827–1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский (с 1886 г.), духовный писатель, религиозный философ – 829

Никитин Иван Саввич (1824–1861), русский поэт – 306

Николай V (в миру Парентучелли Томазо), римский папа (1447–1455) – 492

Николай I (1795–1855), российский император (1825–1855) – 179, 515, 873, 875

Николай II (1868–1918), последний российский император (1894–1917) – 887, 924

Никольский Борис Владимирович (†1919), русский поэт, критик, юрист – 724, 925

Николюкин А. Н., редактор собрания сочинений в 30 томах В. В. Розанова (1994–2011) – 879, 881, 885–891, 897, 914, 917, 920, 922–924, 926, 930–931

Никон (в миру Минов Никита) (1605–1681), патриарх (1652–1666) – 290, 667

Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900), немецкий философ-иррационалист – 33, 158, 352, 358, 368, 400–401, 564, 907

Новиков, железнодорожник – 35

Новиков Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель – 323, 358, 396, 567

Новоселов Михаил Александрович (1864–1938), религиозный мыслитель, издатель «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917) – 647

Нокс Джон (1505/1513–1572), шотландский церковный реформатор, проповедник – 570

Ньютон Исаак (1642–1727), английский ученый – 176, 222, 229–230, 235, 237, 254–255, 368, 429, 493, 505, 509, 675, 925

Оболенский – 27, 89

Овер Александр Иванович (1804–1864), врач, профессор Московского университета – 406

Овидий (43 до н. э. – 18 н. э.), римский поэт – 890

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед, языковед – 644

Одоевский Владимир Федорович (1804–1869), князь, русский писатель – 787

Озирис, в египетской мифологии предводитель и судья мертвых – 267, 769, 800

Олег «Гориславич» – 539

Олсуфьев Юрий Александрович (1869–1939), юрист, искусствовед, специалист по иконописи, друг В. В. Розанова – 35

Орлова Мария Васильевна (1812–1890), невеста В. Г. Белинского – 895

Ормузд, в зороастризме покровитель добра и олицетворение мудрости – 468

Осорьина Ульяна Устиновна (†1604), вдова зажиточного провинциального русского дворянина конца XVI – начала XVII вв. – 48–53, 57, 360–361, 695

Остерман Андрей Иванович (1686–1747), государственный деятель, дипломат – 535

Островский Александр Николаевич (1823–1886), русский драматург – 175, 306, 317, 656, 791, 793–794, 812, 822, 823, 920

Павел (библ.), апостол – 278–279, 281, 704

Павленков Флорентий Федорович (1839–1900), русский книгоиздатель – 352, 687

Павлов, врач, лечивший Н. Н. Страхова – 736

Павлов М. Г. – 27, 89

Пальмер Уильям (?–1879), англиканский архидьякон – 369

Парменид, древнегреческий философ – 143–144, 237

Паскаль Блез (1623–1662), французский математик, философ – 493

Перикл (ок. 490–429 до н. э.), древнегреческий политический деятель – 187, 457–458, 462, 480, 832

Перовская Софья Львовна (1853–1881), организатор и участница покушения на Александра II – 641

Перцов Петр Петрович (1868–1947), русский публицист, критик, издатель – 30, 643, 755, 758, 763, 766

Петр (библ.), апостол – 296, 717

Петр (†1328), митрополит
всёя Руси (1308–1326) – 535

Петр I (1672–1725), русский
царь (с 1689 г.), первый импе-
ратор Государства Российско-
го (с 1721 г.) – 72, 87, 90–91,
100, 158, 182, 323–324, 353, 517,
526, 528, 530, 535, 595–597, 600,
607, 609, 638, 641, 655, 688–689,
809, 862, 867, 873, 875, 899

Петрарка Франческо (1304–
1374), итальянский поэт эпохи
Возрождения – 392

Петропавловский И. Ф., то-
варищ В. В. Розанова по гим-
назии в г. Ельце – 21

Печерин Владимир Сергее-
вич (1807–1885), религиозный
философ, эмигрировавший в
Европу и принявший католи-
чество – 360, 705

Пирогов Николай Иванович
(1810–1881), хирург, попечи-
тель Одесского (с 1856 г.) и
Киевского (с 1858 г.) учебных
округов – 102, 263, 265, 655,
891

Писарев Дмитрий Иванович
(1840–1868), литературный
критик, публицист – 6, 108–
110, 112–113, 155–157, 284, 641

Писемский Алексей Феофи-
лактович (1821–1881), русский
писатель – 552, 710, 924

Писистрат (ок. 600 – 528 до
н. э.), афинский тиран – 480

Платон (427–347 до н. э.),
древнегреческий философ –
114–118, 129, 145–146, 166, 168,
188, 205–207, 235, 251, 471, 509,
584–585, 680, 915,

Платон (в миру Левшин
Петр Егорович) (1737–1812),
митрополит Московский, бо-
гослов – 60

Плеве Вячеслав Константи-
нович (1846–1904), министр
внутренних дел и шеф корпу-
са жандармов (с 1902 г.) – 179

Плетнев – 105

Плещеев Алексей Николае-
вич (1825–1893), поэт, участ-
ник кружка петрашевцев –
841, 850

Плутарх (ок. 45 – ок. 127),
греческий писатель, историк –
494

Погодин Михаил Петрович
(1800–1875), русский историк,
журналист, писатель – 26–27,
87, 89–94, 96–103, 750, 883–
884

Погодина, вдова профессио-
ра Московского университета
М. П. Погодина, передавшая
тетради, дневники, письма
своего мужа, которые он вел
в течение 55 лет, архивисту
Н. П. Барсукову для издания
«Погодинского архива» – 87

Полоцкий Симеон (в миру
Петровский-Ситнианович

Самуил Емельянович) (1629–1680), белорусский и русский общественный и церковный деятель, писатель, проповедник – 164

Помбаль Себастьян-Жозе ди Карвалье-и-Мелу (1699–1782), первый министр португальского короля Жозе I, в 1759 г. изгнал иезуитов. В 1779 г. по ложному обвинению был осужден, пожизненно изгнан из столицы. Почти все его реформы были отменены – 570

Померанская Т. В., составитель однотомного собрания сочинений В. В. Розанова (1990) – 879, 881, 883, 892, 897, 906, 908, 921, 931, 936

Помпеи Великий Гней (106–48 до н. э.), римский полководец, государственный деятель – 476

Помяловский Николай Герасимович (1835–1863), русский писатель – 617, 920

Поп Александр (1688–1744), английский поэт – 493

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II – 187, 560

Пракситель (ок. 390 – ок. 330 до н. э.), древнегреческий скульптор – 792

Прокопович Феофан (1681–1736), писатель, публицист, государственный и религиозный деятель, один из помощников Петра I в делах духовного управления – 323, 867

Протопопов Н. А., художник-иллюстратор (XIX в.) – 60, 113

Преображенский Василий Петрович (1864–?), писатель, член Московского психологического общества (с 1888 г.) – 400, 907

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский экономист и политический деятель – 284, 379, 418, 626

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775), предводитель крестьянской войны (1773–1775) – 72

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), великий русский поэт – 6, 16, 28, 32, 68, 73, 83–84, 90, 98–99, 174, 180, 188, 193, 243, 278, 287, 306–307, 312, 321, 325–326, 329, 334, 336, 358, 534, 564, 575, 588, 607–608, 610, 629, 635, 655, 695, 708, 746, 748–752, 754–759, 761–768, 773–779, 782, 785–789, 790, 792–793, 819–820, 829, 864, 868, 872, 875–876, 887–888, 892, 896, 898, 927–928, 930, 936–937

Пуцин Иван Иванович (1798–1859), лицеист, декабрист, друг А. С. Пушкина – 773

Пытин Александр Николаевич (1835–1904), филолог, историк литературы – 305, 345, 347–348, 563–564, 895

Рабле Франсуа (ок. 1494–1553), французский писатель эпохи Возрождения – 555

Радищев Александр Николаевич (1749–1802), писатель, революционер – 358, 396, 398

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), предводитель крестьянской войны (1670–1674) – 72

Рандаль Теодор, автор статьи о Максе Штирнере в одном из французских журналов – 367

Расин Жан (1639–1699), французский драматург – 361

Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский художник эпохи Возрождения – 492, 495, 509–510, 591, 625, 723

Рачинский Сергей Александрович (1836–1902), русский педагог, ботаник, писатель – 9, 234, 390, 399–400, 550, 556–557, 712, 890, 907, 924

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), нидерландский живописец – 625

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк, филолог – 208, 575, 581, 584, 588, 607

Ригер Франтишек Ладислав (1818–1903), чешский политический деятель и публицист, руководитель партии старочехов, один из лидеров чешского либерализма – 77

Рид Томас Майн (1818–1883), английский писатель – 394

Ризенкампф Александр Егорович (1821–1895), врач Ф. М. Достоевского – 750

Рикардо Давид, экономист – 130

Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642), французский кардинал (с 1622 г.) – 462, 491, 493

Робеспьер Максимильен (1758–1794), руководитель якобинцев во времена Французской революции (1789 г.) – 626

Рождественский Зиновий Петрович (1848–1909), вице-адмирал, один из виновников гибели русской эскадры в Цусимском сражении (1905 г.) – 870, 886

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), русский философ, публицист – 4–11, 13–31, 34–42, 237, 247, 406, 409–410, 417, 420–421, 426, 428–429,

555, 583, 616, 620, 626–628, 631, 635–636, 639, 643, 646, 660, 669, 708, 725, 879–893, 895–898, 905–911, 913–914, 917–918, 920–933, 935, 936

Розанов Николай Васильевич (1847–1894), директор гимназии в г. Белый, старший брат В. В. Розанова – 5, 25, 409, 554

Розанова Надежда Ивановна, урожденная Шишкина, мать В. В. Розанова – 5

Розановы, семья – Василий Васильевич Розанов, его жена Бутягина (Розанова) Варвара Дмитриевна, их дети: Надя (1892–1893), Татьяна (1895–1975), Вера (1896–1919), Варвара (1898–1943), Василий (1899–1918), Надежда (1900–1958), а также падчерица В. В. Розанова, дочь Варвары Дмитриевны от первого брака Александра Михайловна Бутягина (1883–1920) – 21–23, 30, 34–35, 416, 649, 888, 909

Роман Михайлович, сын князя Черниговского Михаила Всеволодовича – 60

Романов Иван Федорович (псевдоним – Рцы) (1861–1913), критик, публицист, сотрудничал в «Новом времени», «Руси», «Благовесте», «Русской беседе», «Мире искус-

ства» – 756–757, 763, 765–767, 769–770, 772–774, 874

Романовы – династия русских царей (1613–1917) – 539

Ромул – в римской мифологии основатель Рима – 540, 754

Рубакин Николай Александрович (1862–1946), писатель, библиограф – 644

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель – 701

Руднева Александра Андриановна (урожденная Жданова) (1824–1910), мать Варвары Дмитриевны Бутягиной, жены В. В. Розанова – 22, 420, 424

Руссо Жан Жак (1712–1778), французский философ, писатель – 89, 124, 306, 368, 572, 593, 620, 918

Рыбников Павел Николаевич (1832–1885), фольклорист, этнограф – 787, 930

Рюккерт Генрих (1823–1875), немецкий историк – 11, 647, 649–650, 921

Рюльман, врач, лечивший Н. Н. Страхова – 723, 725

Рюрик, согласно русским летописным преданиям, предводитель варяжской дружи-

ны, призванный «из-за моря» новгородскими славянами с целью прекращения междоусобиц в Новгороде и основавший Древнерусское государство (в IX в.) – 170, 352–353, 670, 852

Рюриковичи – династия русских князей (IX–XVI вв.) – 527

Саблер Владимир Карлович (1847–1929), политический деятель, обер-прокурор Синода (1911–1915) – 364

Савельев Александр Иванович (1816–1907), офицер Инженерного училища – 749–750

Саводник Владимир Федорович (1874–1940), историк русской литературы, издатель – 336, 341–343

Савонарола Джироламо (1452–1498), итальянский религиозно-политический деятель, проповедник – 290

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889), писатель, критик, публицист – 6, 16, 68, 108, 110, 200, 317, 403, 437, 562, 657, 720, 869, 873

Самарин Юрий Федорович (1819–1876), русский общественный деятель, публицист славянофильского направления – 103–105, 214, 297, 369, 372, 816, 894, 899

Санд (Занд) Жорж (Sand, Georges) (псевдоним баронессы Дюдеван) (1804–1876), французская писательница – 506

Саркисов Сергей Иванович, учитель греческого языка в г. Белый, составитель учебника армянской грамматики – 348

Саровский Серафим (в миру Мошнин Прохор Сидорович) (1759/1760–1833), православный подвижник – 638, 655

Свифт Джонатан (1667–1745), английский писатель – 493

Святослав Ярославич (1027–1076), сын Ярослава Мудрого, князь Черниговский (с 1054 г.), князь Киевский (с 1073 г.) – 60–61

Северак Ж. Б., французский профессор философии – 675, 680–683, 922

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), римский философ, политический деятель – 240

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 493, 510

Сергий Радонежский (1314/1322–1392), православный подвижник, основатель Троице-Сергиева монастыря – 535, 667, 690, 691

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905), создатель русской физиологической школы – 214

Сильвестр (конец XV – 60–70-е гг. XVI в.), священник московского Благовещенского собора, автор одной из редакций «Домостроя». Вместе с А. Ф. Адашевым и митрополитом Филиппом входил в круг наиболее приближенных к Ивану Грозному советников. Попав в опалу (1560 г.), удалился в Кирилло-Белозерский монастырь – 864

Симеон Бекбулатович (†1616), касимовский хан, которого Иван Грозный нарек вместо себя «Великим князем всея Руси» – 187

Синеус, легендарный князь из варягов, правивший в Белозере, брат Рюрика – 670, 852

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900 г.) – 179

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), критик, историк литературы, сотрудник «Отечественных записок», «Биржевых ведомостей», «Русского богатства», «Северного вестника» – 76, 108, 113, 638, 641–642, 644

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), русский

военачальник, генерал, герой Русско-турецкой войны (1877–1878) – 173

Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель – 291, 452, 494

Склифосовский Николай Васильевич (1836–1904), российский хирург – 725

Слонимский Людвиг Зиновьевич (1850–1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 8, 563, 925

Смит Адам (1723–1790), шотландский экономист – 493

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), издатель, книгопродавец, библиограф – 875

Сократ (470/469 – 399 до н. э.), древнегреческий философ – 117, 144–146, 237, 240, 268, 272, 638–639, 823

Соллогуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), русский писатель, поэт – 850

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), религиозный философ, поэт, публицист – 9–13, 226, 251, 396, 398–399, 410, 412–413, 551, 604, 621, 626–631, 635, 639, 641–642, 644–645, 647–650, 664, 667–668, 670–675, 677–687, 755, 757, 907, 922, 925, 928

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), русский историк – 93, 176, 370–371, 640, 689–693, 695, 697,

Соломон, царь Израильско-Иудейского государства в конце XI – около 950 до н. э., сын Давида – 130, 135, 185, 872

Солон (640/635–559 до н. э.), афинский архонт – 457

Софокл (ок. 496 – 406 до н. э.) – древнегреческий поэт-драматург – 168, 457, 754, 792

Спасович Владимир Данилович (1829–1906), юрист, публицист, историк литературы – 345, 563

Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ, социолог – 214, 352, 358

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), русский государственный деятель – 72, 187

Спиноза Бенедикт (1632–1677), голландский философ – 129, 268–269, 272

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), философ, поэт, общественный деятель – 187–188, 873

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик – 70

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, профессор Петербургского университета, издатель-редактор журнала «Вестник Европы» (1866–1908) – 14, 33, 68, 345, 347–348, 350–351, 563, 627, 644–645, 773

Стахович Михаил Александрович (1861–1923), общественный деятель, публицист – 68

Столыпин Алексей Аркадьевич (1816–1858), двоюродный брат матери М. Ю. Лермонтова, служил в гусарском полку – 750

Стороженко Николай Ильич (1836–1906), историк литературы, профессор Московского университета – 6, 53

Страхов Николай Николаевич (1828–1896), русский философ, литературный критик, публицист почвеннического направления – 9–11, 13–15, 17, 23–24, 26, 155, 164, 226, 233–234, 242, 246, 251, 306–307, 320, 325, 328, 332–333, 339, 343, 392, 399–400, 402, 404, 407, 410, 412–415, 546, 549–550, 552–554, 556–557, 575–579, 581, 585, 587, 589, 591, 601–604, 606–610, 613–617, 619–629, 631, 633, 635–647, 649–652, 654–656, 669, 672,

679, 698, 701, 706, 708, 709–716, 718–719, 721–722, 724, 727–728, 730–738, 741, 816, 874, 890, 896–898, 901, 917–921, 925, 932

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, государственный деятель, генерал-адъютант, член Государственного совета. Председатель Общества истории и древностей Российских при Московском университете, председатель Археологической комиссии, основатель Строгановского художественно-промышленного училища в Москве – 83

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888), педагог, видный деятель средней школы – 655

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), философ, историк, публицист – 551

Студитский – 104

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), русский издатель, писатель – 17, 30–34, 557, 560–566, 741

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), русский полководец, генералиссимус – 71–72, 182, 353

Сулла (138–78 до н. э.), римский диктатор – 476

Сусанин Иван Осипович (?–1613), крестьянин, который зимой 1613 г. завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен – 68, 350

Суслова Аполлинария Прокофьевна (1839–1918), первая жена В. В. Розанова – 7–8, 23, 909

Сципион Африканский-старший (ок. 235 до н. э. – 183 до н. э.), римский полководец; во Второй Пунической войне разгромил войска Ганнибала при Заме (202 г. до н. э.) – 832

Сю Эжен (1804–1857), французский писатель – 361

Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин из Тверской губернии, самоубытный религиозный мыслитель – 618–620

Тамерлан (Тимур) (1336–1405), полководец, создатель государства со столицей в Самарканде, разгромил Золотую Орду, а затем совершал завоевательные походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию, сопровождавшиеся разорением многих городов, истреблением населения – 72, 455, 572

Тард Габриэль (1843–1904), французский социолог – 680

Тардов Владимир Геннадиевич (псевдоним Т. Ардов) (1879–1918), журналист, писатель, автор ряда поэтических сборников и критико-публицистических статей – 344–345, 349–351, 353–354, 897

Тареев Михаил Михайлович (1867–1934), философ и богослов, профессор Московской духовной академии (1902–1918) – 256, 647, 891

Тассо Торквато (1544–1595), итальянский поэт эпохи Возрождения – 83, 90, 92

Тацит Публий Корнелий (ок. 56 – ок. 117), древнеримский историк – 459, 477, 863

Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1864), английский писатель – 494

Теодолинда (?–628), лангобардская королева, жена короля Автариса – 480

Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940), чиновник Синода, участник Религиозно-философских собраний, друг В. В. Розанова – 23

Тертулиан Квинт Септилий Флорес (160–220), христианский теолог – 219

Тиверий (42 до н. э. –?), римский император – 467, 480, 488

Тилли Иоанн Церклас (1559–1632), полководец 30-летней войны – 571

Тимашев Александр Егорович (1818–1893), министр внутренних дел России (1868–1878) – 179

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920), российский естествоиспытатель, пропагандист дарвинизма – 640

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), революционер, член Исполнительного комитета «Народной воли». В 1888 г. выпустил в Париже брошюру «Почему я перестал быть революционером», в которой отрекался от своих прежних революционных убеждений. По возвращении в 1889 г. в Россию стал сотрудником «Московских ведомостей», «Нового времени», «Русского обозрения» – 114, 121–123, 375

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), историк русской литературы – 691–693

Токвиль Алексис Шарль Анри Морис Клерель де (1805–1859), французский социолог, историк, политический деятель – 406, 465, 915

Толстая Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 618, 829

Толстой Алексей Константинович (1817–1875), граф, русский писатель, сатирический поэт – 850, 885

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного просвещения России (1866–1880) – 179, 421–422, 911

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), великий русский писатель – 6, 9, 16–17, 73, 116, 163, 165, 175, 177–178, 302, 307–309, 314, 317, 319, 327, 332, 334–335, 352–353, 359–360, 362, 368, 381–382, 386, 389, 403–405, 420–422, 429, 432–436, 439, 551, 560, 563, 575, 580, 608, 613–615, 617–622, 626, 629, 645, 649, 656, 682–683, 706, 713–714, 723, 727–728, 730–731, 748, 750, 754, 775, 777, 788, 791, 793, 812, 822–824, 826–833, 836, 838–841, 845, 852, 855–886, 896–897, 908–909, 914, 919, 920, 925–926, 933, 935

Трейхмюллер Гуслав (1832–1888), немецкий философ – 545

Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899), философ, профессор Московского университета – 6, 8

Трубецкая Аграфена Ивановна, княжна – 93

Трубецкие – 88–89, 92, 94, 96

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1900), религиозный философ – 375, 646

Трувор – легендарный князь из варягов, брат Рюрика – 352, 670, 852

Тур Евгения (Салиас-де-Турнемир Елизавета Васильевна) (1815–1892), российская писательница – 437

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), русский писатель – 16, 68, 172, 175, 273, 302, 307, 317, 327, 332, 352, 359–360, 362, 403, 433, 437, 506, 575, 580, 656, 683, 699, 703, 705, 775, 783, 812, 822–823, 841, 845, 848, 868, 892, 897

Тьерри Огюстен (1795–1856), французский историк – 356

Тэн Ипполит (1828–1893), французский теоретик искусства и литературы, философ, историк – 208, 575, 869

Тютчев Федор Иванович (1803–1873), русский поэт, дипломат, публицист славянофильского направления – 88, 302, 372, 546, 822–823, 905–906

Ульрих фон Гутен – 124, 494

Урия, муж Вирсавии, которого царь Давид послал на заведомую смерть – 772

Успенский Глеб Иванович (1843–1902), русский писатель – 16, 343–344

Утин Евгений Исаакович (1843–1894), адвокат, публицист либерального направления, литературный критик. За нарушение норм адвокатской этики в 1872 г. был вызван на дуэль, где, нарушив «дуэльный кодекс», фактически убил своего противника – 83

Утины, родня жены М. М. Стасюлевича, материально поддерживающая «Вестник Европы» – 563

Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1870), педагог, основатель научной педагогики – 655

Уэвелль Вильям (1794–1866), английский математик, философ – 367

Фаминцын Андрей Сергеевич (1835–1918), российский физиолог растений, пропагандист дарвинизма – 405, 640

Федоров Николай Федорович (1928–1903), религиозный философ – 621

Фейербах Людвиг (1804–1872), немецкий философ – 367, 607

Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 до н. э.), древнегреческий полководец – 509

Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651–1715), французский писатель и религиозный деятель – 113, 884

Феодор (†1246), боярин, убит вместе с князем Черниговским в Золотой Орде за отказ следовать языческому ритуалу – 59

Феодосий Печерский (1036–1074), один из основателей Киево-Печерского монастыря – 59, 90

Феодосий Углицкий (†1696), архиепископ Черниговский – 59, 61

Феофан Тамбовский Затворник (в миру Говоров Георгий Васильевич) (1815–1894), публицист, переводчик, богослов, епископ – 704

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), русский поэт – 340, 386, 897

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942), революционерка – 360, 898

Фидий (нач. V в. до н. э. – 432/431 до н. э.), древнегреческий скульптор – 792–794

Филарет Московский (в миру Дроздов Василий Михайло-

вич) (1782–1867), митрополит Московский (с 1825 г.), богослов, проповедник, церковный и общественный деятель – 92, 175–176, 829

Филельфо Франческо (1398–1481), итальянский гуманист, писатель, поэт – 392

Филипп Македонский – 405, 908

Филипп (Федор Степанович Колычев) (1507–1569), митрополит Московский и всея Руси, задушен в монастыре Малютой Скуратовым – 91, 864

Филипп II (1527–1598), испанский король (с 1556 г.) – 490–491, 493

Филипп IV Красивый (1268–1314), французский король (с 1285 г.) из династии Капетингов – 894

Филиппов Третий Иванович (1823–1899), публицист славянофильского направления, государственный контролер – 24, 413, 907, 910

Филоклет, в греческой мифологии царь Мелибеи – 373

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ-идеалист – 227

Фишер Куно (1824–1907), немецкий историк философии – 271

Флоренский Павел Александрович (1882–1937), религиозный философ, богослов, ученый – 35, 647, 874

Фома (библ.), апостол – 296, 708

Фонвизин Денис Иванович (1744/1745–1792), русский писатель – 90, 322, 875

Фонтенель Бернар Ле Бовьеде (1657–1757), французский писатель – 323

Фохт Карл (1817–1895), немецкий философ, вульгарный материалист – 6, 113, 155–157, 162, 262

Франц Иосиф (1830–1916), австрийский император – 350, 364–365

Франциск Ассизский (1182–1226), учредитель названного его именем монашеского ордена – 667

Франциск I (1494–1547), французский король (с 1515 г.) – 492

Фредерикс – 549

Фридрих II Великий (1712–1786), полководец, прусский король (с 1740 г.) – 353, 389

Фудель Иосиф (Осип Иванович) (1864–1918), протоиерей, консервативный публицист, близкий друг К. Н. Леонтьева, издатель и редактор его собрания сочинений – 375, 380–381, 383, 386, 523, 905

Фукидид (460–400 до н. э.), древнегреческий историк – 456, 457, 477

Фурье Шарль (1772–1837), французский социалист-утопист – 116, 262

Хемницер Иван Иванович (1745–1784), поэт, баснописец – 875

Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), русский писатель – 323, 875

Хлодвиг I (ок. 466–511), король франков (с 481 г.), затем всего Франкского королевства; в 496 г. принял христианство – 481

Холмские – 27, 91

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), русский философ, поэт, литературный критик и публицист славянофильского направления – 13, 16, 28, 75, 287–295, 297, 299, 300–301, 366, 369, 374–375, 379, 437, 546, 556, 640, 653–654, 656–659, 661–663, 672, 683, 874, 893, 895, 899, 902–904, 922

Хоренский Моисей – 349

Хрисанф (в миру Ретивцев Владимир Николаевич) (1832–1883), архимандрит, духовный писатель – 267, 892

Цветков Сергей Алексеевич (1888–1964), философ, публицист – 647

Цвингли Ульрих (1484–1531), глава Реформации в Швейцарии – 370

Цезарь Гай Юлий (100/102–44 до н. э.), римский полководец, диктатор (48–44 до н. э.) – 388–389, 480, 509, 809, 828, 906

Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель – 240

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), российский философ, публицист – 358, 628, 670, 672, 695

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор – 551

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, общественный деятель, критик, публицист – 33, 108–109, 112–113, 284, 339–341, 562, 564–565, 615–618, 641–642, 841

Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), русский военный и общественный деятель, генерал-лейтенант, активный участник Русско-турецкой войны (1877–1878); журналист, издатель-редактор газеты «Русский мир» (1871–1880) – 173

Чехов Антон Павлович (1860–1904), русский писатель – 17, 840–851, 854–858

Чингисхан (ок. 1155–1227), монгольский полководец – 421, 455

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), русский философ, правовед, публицист – 616

Шарапов Сергей Федорович (1855–1911), русский общественный деятель, публицист и журналист, издатель-редактор газет «Русское дело» и «Русский труд» – 643

Шашков – 110

Шатобриан Франсуа Огюст Рене де (1768–1848), французский писатель – 99, 593

Шауфель – 570

Шах-Паронианц Л. М., литератор – 331–332, 336

Шевырев Степан Петрович (1806–1864), поэт, литературный критик, публицист – 98

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт – 106, 108

Шейн Павел Васильевич (1826–1900), фольклорист, этнограф, педагог – 277, 359, 364

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург, поэт – 84, 493, 618, 682, 734, 786–787, 791, 793–794, 827–828, 840, 872, 876

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891), революционный деятель, публицист,

сотрудник журналов «Русское слово», «Дело», «Русская мысль» – 76, 108, 110, 641–642

Шелли Перси Биш (1792–1822), английский поэт – 188

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854), немецкий философ-идеалист – 90, 100, 188, 208, 227, 278, 627, 648

Шереметев Борис Петрович (1652–1719), русский военачальник, сподвижник Петра I – 182,

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, писатель, теоретик искусства – 89, 191, 325, 346, 452, 494, 682, 786, 872, 906, 927

Шлегель Август (1767–1845), немецкий историк литературы – 337

Шлегель Фридрих (1772–1829), немецкий философ, историк литературы, филолог – 337

Шлоссер Фридрих Христофор (1766–1861), немецкий историк – 95, 100

Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ-иррационалист – 33, 214, 226–227, 352, 358, 564, 694

Шперк Федор Эдуардович (1872–1897), русский литера-

турный критик, философ, друг
В. В. Розанова – 247, 250–252,
629

Шталь Александр Викторович, лейтенант морской службы, восприемник от купели во время крещения «незаконно-рожденных» детей В. В. Розанова Веры, Варвары и Василия – 23

Штирнер Макс (1806–1856), немецкий философ – 367, 902

Штраус Давид Фридрих (1808–1874), немецкий богослов, философ, публицист – 575, 581, 588, 606

Шуазель Этьен-Франсуа (1719–1785), министр иностранных дел Франции при Людовике XV, в 1764 г. изгнал иезуитов. В 1777 г. был обвинен в государственной измене, сослан – 198

Шувалов Петр Андреевич (1827–1889), шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения, советник Александра II – 179, 187

Эвклид, древнегреческий математик – 212, 495

Эврипид (ок. 480 – 406 до н. э.), древнегреческий драматург – 754

Эгберт (?–839), король англо-саксонского королевства Уэссекс (с 802 г.) – 500

Эмпедокл (495–435 до н. э.), древнегреческий философ – 237

Энгельс Фридрих (1820–1895), общественный деятель, публицист – 162

Эпиктет (ок. 50 – ок. 140), древнегреческий философ-стоик – 621

Эразм Роттердамский (1467–1536), гуманист эпохи Возрождения, богослов, филолог. Автор «Похвалы Глупости» – сатиры, высмеивавшей нравы и пороки современного ему общества – 124, 494

Эрн Владимир Францевич (1882–1917), российский философ и литературный критик – 874

Эсхил (ок. 525 – 456 до н. э.), древнегреческий драматург – 754

Южаков Сергей Николаевич (1849–1910), публицист, сотрудник «Отечественных записок», «Северного вестника», «Русского богатства» – 399

Южный – псевдоним журналиста Зельманова Михаила Григорьевича (1869–1901) – 406, 909,

Юлий II (1441–1513), римский папа (с 1503 г.) – 492

Юстиниан I, св. (ок. 482/483 – 565), византийский император (с 527 г.) – 500

Ющинский – 34

Яворский Стефан (в миру Симеон Иванович) (1658–1722), православный церковный деятель, проповедник, публицист – 60, 867

Языков Николай Михайлович (1803–1846), русский поэт – 329, 875

Якубовский Николай Федорович (1825–1874), русский дипломат – 440

Ярослав Мудрый (978–1054), сын князя Владимира, Великий князь Киевский (с 1019 г.) – 31, 177, 527

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------|---|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
|-------------------|---|

РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

| | |
|--|-----------|
| И НАРОДНАЯ ДУША | 43 |
| Черта характера Древней Руси | 43 |
| Где «культура» русская... .. | 58 |
| Поучительное в войне | 62 |
| Попутные заметки | 69 |
| Европейская культура и наше к ней отношение | 73 |
| Национальные таланты | 83 |
| Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век..... | 87 |
| Где истинный источник «борьбы века»? | 114 |
| Место христианства в истории..... | 125 |
| Около народной души | 153 |
| О народной душе..... | 159 |
| Национальное назначение..... | 164 |
| Сила национальности | 169 |
| Великий день нашей истории. <i>19 февраля 1861 г. –</i> <i>19 февраля 1911 г.</i> | 173 |
| Последняя капля | 177 |
| На фундаменте прошлого | 181 |
| Центробежные силы в России. <i>К вопросу об инородчине</i> ... | 189 |
| Антисемитизм – антииезуитизм | 195 |
| Евреи в жизни и в печати | 200 |
| О еврействе | 202 |

| | |
|--|-----|
| РАЗДЕЛ II. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ. СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ? | 204 |
| Философские влияния в русском обществе..... | 204 |
| Смена мировоззрений..... | 233 |
| Две философии. <i>Критическая заметка</i> | 247 |
| Пол как прогрессия нисходящих и восходящих величин..... | 252 |
| И. В. Киреевский и Герцен..... | 276 |
| Памяти А. С. Хомякова. <i>1 мая 1804 г. – 1 мая 1904 г.</i> | 287 |
| 50 лет влияния. <i>Юбилей В. Г. Белинского – 26 мая 1898 г.</i> | 301 |
| Три момента в развитии русской критики..... | 313 |
| 35-летие † Ап. Ал. Григорьева..... | 331 |
| К выходу сочинений Аполлона Григорьева..... | 336 |
| Возле «русской идеи»... .. | 344 |
| Поздние фазы славянофильства..... | 365 |
| 1. Н. Я. Данилевский..... | 365 |
| 2. К. Н. Леонтьев..... | 375 |
| Неузнанный феномен..... | 388 |
| Письма К. Н. Леонтьеву..... | 402 |
| Эстетическое понимание истории..... | 429 |
| К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве..... | 545 |
| Суворин и Катков..... | 557 |
| Катков «как государственный человек»..... | 566 |
| Литературная личность Н. Н. Страхова..... | 575 |
| Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова..... | 613 |
| Из «Литературных изгнанников»..... | 626 |
| 1. Избранные письма Н. Н. Страхова В. В. Розанову | 626 |
| 2. Рассеянное недоразумение..... | 649 |
| Поминки по славянофильству и славянофилам..... | 653 |
| Размолвка между Достоевским и Соловьевым..... | 664 |
| Французский труд о Влад<имире> Соловьеве. <i>Очерк</i> | 675 |
| Памяти В. О. Ключевского..... | 688 |
| Памяти усопших..... | 698 |
| Ю. Н. Говоруха-Отрок..... | 698 |
| Н. Н. Страхов..... | 706 |

РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ

| | |
|---|-----|
| ЦИВИЛИЗАЦИИ | 746 |
| Заметка о Пушкине | 746 |
| Еще о смерти Пушкина | 755 |
| Пушкин и Гоголь | 775 |
| Возврат к Пушкину. <i>К 75-летию дня его кончины</i> | 785 |
| Гоголь и его значение для театра | 790 |
| По поводу одного стихотворения Лермонтова | 795 |
| О Достоевском. <i>Отрывок из биографии, приложенной</i> <i>к собранию сочинений Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»</i> | 807 |
| О писателях и писательстве. <i>Заметки и наброски</i> | 822 |
| Л. Н. Толстой и Русская Церковь | 828 |
| Наш «Антоша Чехонте» | 840 |
| А. П. Чехов | 847 |
| С вершины тысячелетней пирамиды. <i>Размышление</i> <i>о ходе русской литературы</i> | 858 |

| | |
|-------------------------|-----|
| ПРИМЕЧАНИЯ | 879 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН | 938 |
|-----------------------------|-----|

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 70 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор З. Н. Скобелкина
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 30.11.2011 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 44,9 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация (*вышел*)
- Русское Православие в трех томах (*вышли*)
- Русское государство (*вышел*)
- Русский патриотизм (*вышел*)
- Русское мировоззрение (*вышел*)
- Русский образ жизни (*вышел*)
- Русская география
- Русское хозяйство (*вышел*)
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература (*вышел*)
- Русская икона и религиозная живопись в двух томах (*вышли*)
- Русская архитектура и скульптура
- Русская живопись
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.

Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-
сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.;
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

- Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.
Платонов О. История царевубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор царевичей, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)